ВАСИЛИЙ
АРДАМАТСКИЙ

„ГРАНТ“ ВЫЗЫВАЕТ МОСКВУ

ПОСЛЕДНИЙ ГОД

ВАСИЛИЙ
АРДАМАТСКИЙ

„ГРАНТ" ВЫЗЫВАЕТ МОСКВУ

ПОВЕСТЬ

ПОСЛЕДНИЙ ГОД

РОМАН-ХРОНИКА

МОСКВА
« ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА »
1988

ББК 84 Р7
А79

Вступительная статья
А. ПОТАПОВА

Оформление художника
В. МАКСИНА

Портрет работы
Н. ЖУКОВА

Ардаматский В. И.

А79 «Грант» вызывает Москву: Повесть; Последний год: Роман-хроника./Вступ. статья А. Потапова.— М.: Худож. лит., 1988.— 704 с.

ISBN 5-280-00199-6

«Грант» вызывает Москву — это повесть о героической, самоотверженной борьбе советских подпольщиков в захваченном фашистами южном городе.

В романе «Последний год» автор показывает кризис, охвативший правящие классы России в последний год существования самодержавия, крах царя и его приспешников.

А $\frac{4702010200\text{-}173}{028(01)\text{-}88}$ 44-88 ББК 84Р7

ЗАЧЕМ МЫ ВГЛЯДЫВАЕМСЯ В МИНУВШЕЕ?

В самом деле: зачем? Что мы ищем с такой неутолимой страстью там, где все уже произошло, состоялось? Откуда у нас этот незатухающий интерес к своей истории? В данном случае имеется в виду не наука собственно, а добросовестно осмысливаемая и воспроизводимая непосредственно, пластически, художнически *человеческая история* — как деятельность, говоря словами Энгельса, преследующего свои цели человека.

Ответ на эти вопросы становится яснее, если обратить внимание на такой, лишь внешне парадоксальный факт. Оживление интереса к *минувшему* происходит в периоды особенно бурного натиска *современности*: когда захлестывают, подталкивают в спину накалившиеся застарелые проблемы, «социальные болячки», разрешение которых откладывалось годами в «долгий ящик». Такой период мы переживаем сейчас: бурно и отнюдь не бесконфликтно разворачивается революционная по своей сути перестройка всех сторон жизни, нравственное обновление общества, его глубокая демократизация. И этому естественно сопутствует обострение интереса к прошлому. Во-первых, чтобы лучше понять и увереннее «выправить» многое в настоящем. Во-вторых, история нужна для *самопознания*, для более полного представления о том, что мы собой представляем и каковы возможности деятельной реализации *нынешнего* уровня нашей свободы и нашей гражданской ответственности.

...Вот к таким размышлениям располагает чтение, на первый взгляд, не притязательных, «не громких» произведений В. И. Ардаматского, очень популярных, однако, у читателей, особенно молодых. И популярность эта во многом произрастает из прочной историко-документальной основы его прозы. А «остросюжетность», детективность — это уже, думается, вторично. Историческая правда, выверенная достоверность разлом-

ных обстоятельств и живых, конкретных лиц — здесь, видимо, «центр притяжения» читательского внимания к лучшим книгам Ардаматского. Пусть не всегда «лица» вырастают до полнокровных, противоречивых характеров — это тоже отчасти объясняется стремлением к точности, а значит, и определенной аскетичности в изобразительно-психологических красках.

Чтобы представить себе масштаб популярности книг Ардаматского, достаточно вспомнить хотя бы «Сатурн» почти не виден» (1963) и особенно «Возмездие» (1968—1972). Этот роман если кто и не прочитал, то почти наверняка представляет по телесериалу «Синдикат-2», за сценарий которого автор удостоен Государственной премии РСФСР. В «Возмездии» ярко раскрыта — на фоне многотрудного становления молодой республики Советов — одна из сложнейших и блистательных операций чекистов, проведенная в начале 20-х годов под руководством Ф. Дзержинского. В результате был не просто обезврежен, а и до конца развенчан весьма талантливый политический авантюрист, заклятый антисоветчик, бывший эсеровский террорист Борис Савинков. Буржуазные идеологи от истории, мемуаристы и поныне пытаются романтизировать, приподнять этот зловещий образ организатора покушений на Ленина и мятежа в Ярославле, доверенного белогвардейских генералов, готового на все ради своего диктаторского самоутверждения в России — на костях новой власти, разумеется. Нет, не просто так этот «артист авантюры» признавался в одном из последних писем, что фашизм ему «близок и психологически и идейно»...

Писатель показывает Савинкова как бы в многочисленных «зеркалах», через связи с разномастными и разномасштабными деятелями, антисоветчиками. Есть и интимное «зеркало»— некая Любовь Деренталь, которую ее муж уступает своему более колоритному сопернику и патрону. Но истинный, без грима и эффектной позы Савинков ясен лишь большевикам, которые вовлекают его в западню, используя непомерное самомнение, истерическую амбициозность опасного противника.

Подлинные герои этого невероятного по драматизму и сложносплетению судеб и коллизий сюжета — чекисты, большевики — люди правды и совести. Такие, как Федоров — скромный, несуетный, на поверхностный взгляд, даже ординарный, а на деле — доказавший свое безоговорочное превосходство над типичным индивидуалистом Савинковым: превосходство мужества, замешанного на верности высокой коллективистской идее, на подлинной духовно-нравственной культуре. Здесь — сущностное противостояние человека подлинно богатого, открытого вовне, к обществу и —«окороченного» (при всех ярких свойствах), замкнутого «на себя» эгоцентриста. В таких романах Ардаматского, как «Возмездие», весьма последовательно высветляется неизбежность краха антисоветчиков, мелкобуржуазных «революционеров» разных мастей, всех этих «сильных личностей», для которых народ, человек труда, сама живая, истинная жизнь — не цель, а средство.

Не столь, быть может, известен, но не менее важен для представления о писательской позиции и роман-хроника Ардаматского «Последний год» (1974), включенный в этот однотомник. Здесь — весьма впечатляющая попытка проследить подоплеку событий «закатного» для царизма предреволюционного года, агонию обреченной, гнилой изнутри системы,

над развалинами которой неотвратимо занимается алая заря Великого Октября.

Но прежде чем подробнее остановиться на этом романе, пора сказать хотя бы коротко о судьбе самого автора.

Родился Василий Иванович Ардаматский 8 сентября 1911 года на Смоленщине, в тихом городке Духовщина. Семья была музыкальной: отец преподавал пение, мать училась в консерватории. А их сын, комсомолец, уже соприкоснувшийся, как и многие его сверстники в то бурное время, со «школой жизни», писавший селькоровские заметки в газеты и на радио,— вполне опрометчиво поступил в Смоленский мединститут. Невзвешенность этого шага выяснилась на первом же занятии в «анатомичке»: вот теперь, вспоминает с юмором писатель, нужно было решать, чем заняться. «Как раз в ту пору мама переслала мне письмо из московского радио, пришедшее в Духовщину. Из него я узнал, что моя заметка передана в радиогазете «Комсомольская правда» и меня в весьма уважительной форме просили писать еще... В письме было сокрушившее меня утверждение, что мои корреспонденции привлекают живостью языка и отсутствием общих фраз и что у меня развита наблюдательность... Я твердо решил стать радиожурналистом».

После службы в Красной Армии (1931—1932 гг.) Ардаматский переехал из Смоленска в Москву и очень скоро набрал силу как известный журналист центрального радио. Сергей Баруздин в одной из своих статей вспоминает то мальчишеское волнение, с каким слушал он в тридцатые годы живые рассказы Ардаматского по радио о первых крупных стройках и переменах в деревне на путях коллективизации; о спасении челюскинцев и необыкновенных по тому времени полетах Чкалова и других наших летчиков; о первой экспедиции на Северный полюс и о девушках, уезжавших работать на почти не освоенный Дальний Восток; о сражениях у озера Хасан и на Халхин-Голе; об установлении Советской власти в Латвии, Литве и Эстонии; об освободительном походе нашей армии в Западную Украину и Западную Белоруссию... И о многом другом, незабываемом, что было для Ардаматского той «пропускаемой через себя», обжигающей современностью, которая формировала его и как писателя, и как патриота: чтобы убедительно писать о прошлом, надо прежде всего с полной самоотдачей жить сегодняшней жизнью страны, ее победами, радостями и — болями, неудачами.

Ардаматскому повезло: в его журналистской биографии было все — арктические походы и полеты на дирижабле, участие в боях на Карельском перешейке и затянувшаяся командировка в Латвию, где только что возрождалась Советская власть. Темы сами «искали» его: работай, пиши. Именно в латвийской командировке он, как вспоминает, «своими глазами увидел схватку революции и контрреволюции... Мог составить представление о деятельности буржуазных разведок, в частности, гитлеровской, ибо видел «живьем» пойманных шпионов и диверсантов, имел возможность даже присутствовать на их допросах и говорить с ними. Один из них, до времени не разоблаченный, работал у меня под боком на Латвийском радио, чтобы после нового захвата власти буржуазией сесть в мой кабинет. Словом, первая встреча с темой «тайной войны» произошла именно там и оставила во мне глубокий след на всю жизнь».

Ардаматский — из журналистов, всегда чувствующих себя мобилизованными: уже 25 и 27 июня 1941 года в «Правде» были опубликованы его корреспонденции с фронта. Глубочайшее потрясение на всю жизнь — работа в блокированном Ленинграде. Именно отсюда, видимо, исток его убежденности: «Как писатель я рожден войной». Своим духовным литературным отцом он называет Всеволода Вишневского, категорически внушавшего ему при встречах на радио: ты должен писать! Он начал свой ленинградский дневник, использованный затем в повести «Ленинградская зима» и книжке рассказов «Уменье видеть ночью», вышедшей в 1942-м, сразу по возвращении в Москву. Редактировал ее Евгений Петров, это он сказал Ардаматскому навсегда врезавшиеся в память слова о том, что писатель несет в себе постоянную тревогу за жизнь людей, страны, что он — это «суд» в полном составе — и прокурор, и защитник, и судья. Совет приучать себя к такому писательскому самоощущению упал на добрую почву...

Война окончательно сформировала его и как писателя, и как коммуниста. В партии он — с 1943-го.

Его жизнь — неустанный поиск, череда трудных открытий. Они — результат повседневной, буквально по крупицам, исследовательской работы. Ардаматский — блестящий архивист, но он никогда не устает и от поездок, встреч с людьми, приносящих ту незамутненную «достоверность необыкновенного», которую просто за столом не воссоздашь. Зато какие бывают награды за этот терпеливый, доводящий порой до отчаяния поиск! В результате одной негаданной встречи в маленьком городке родилась известная повесть «Я 11-17». А чего стоит вот это письмо от вдовы болгарского генерала Заимова — антифашиста и советского разведчика, героя романа «Дорога чести»: «Ваша книга доставила мне радость и боль. Боль не предусмотренной судьбой новой встречи с живым Володей и радость сознания, что теперь он будет жить долго среди людей, ради которых погиб...»

Многие вещи Ардаматского заслуживают отдельного критического рассмотрения. Но давайте остановимся здесь на двух произведениях, внешне таких разных, однако не случайно объединенных в этом однотомнике. Упомянутый «Последний год» — холодновато-беспощадная «хроника» кровавого крушения династии Романовых и с ней — старой России, сотрясаемой мощными толчками назревающей Революции. И тут же — повесть «Грант» вызывает Москву» (1948): это, на первый взгляд, гораздо более «локальное» по замыслу, по объему жизненного материала описание (в жанре своеобразно «заземленного» героического детектива) трагической и светлой истории самоотверженной борьбы в оккупированном гитлеровцами городе наших подпольщиков во главе с чекистом «дзержинской» закваски Шрагиным. В обоих случаях для автора особенно важны достоверность, «воздействие правдой», исследование закономерной связи определенной цепи фактов, поступков персонажей. «Романический» характер хроники позволяет ему, не претендуя на яркие художественные обобщения, типизацию, а также и на завершенную полноту исторической картины, выстроить весьма пеструю систему персонажей и их действий так, чтобы предстала живая картина открытой и тайной борьбы полити-

ческих сил и страстей, интриг и предательств, ускоренно разрушающих обреченно-гнилое основание царизма.

Верный признак агонии — циничная свалка вокруг «золотого тельца», жестокая эгоизация правящей «элиты» и облепивших ее дельцов всех мастей. В этой атмосфере всеобщей погони за наживой (в первую очередь — на войне, на солдатской крови) вольготно чувствовали себя просочившиеся во все поры государства шпионы, разные представители «немецкой партии»,— как их называет активно отстаивающий английские интересы в России посол Бьюкенен.

Вспомним в этой связи хотя бы сцену нетрудного обольщения немецким разведчиком Грубером (он же — респектабельный петербургский делец Грубин) миллионщика Мануса, мыслившего «только категориями наживы». В своих целях Грубину надо подтолкнуть его поближе к царскому двору и ко всей этой камарилье, клубившейся вокруг «друга» монаршей семьи Распутина, психически неуравновешенного министра внутренних дел Протопопова, внутренне ничтожного премьера Штюрмера. Манус колеблется: он знает, как покупать поставщиков и прочий товар, а вот министров... «Техника та же,— улыбнулся Грубин.— Разве стоить это будет чуть дороже. Но и выигрыш... соответственно».

Ардаматский не стремится окарикатурить царя: достаточно того, что это совершенно заурядная, духовно бесплодная, начисто лишенная перспективного мышления фигура. Разумеется, никакого сочувствия у человека хотя бы с зачатками классового миропонимания этот «самый богатый и самый черносотенный помещик» (по Ленину) вызвать не может. В романе убедительно показывается обескураживающее незнание «хозяевами» «своего» народа, его нужд и настроений — это то, что изнутри предопределяло омертвелость верхушки. Николай в своем осмыслении происходящего едва ли возвышается над своей истеричной, склонной к мистицизму супругой, которая советовала ему в канун февральского переворота: «Дорогой, будь тверд, покажи властную руку, вот что надо русским... Сколь многие недавно говорили мне: нам нужен кнут».

Для царствующего семейства неким воплощением «народности», чуть ли не «связующим звеном» с глубинной Россией были Распутин и... распутинщина — эта страшная, фантасмагорическая пародия на народ. В романе «Последний год» достаточно убедительно воссоздан подлинный облик этого порожденного временем абсолютно безнравственного, хитрого и ловкого мистификатора,— не без успеха и любыми путями стремившегося пробиться «наверх», заниматься «миллионными делами и жить в свое удовольствие». Используя его влияние на «двор» и корыстные цели, многие получали возможность влиять на саму политику, на перемещения «чинов», просто — добывать нужные сведения. (Поэт А. Блок не зря заметил, что Распутин был «удобной педалью» немецкого шпионажа.)

А чего стоит эпизод, фарсово-выразительно показывающий монаршью «близость» к «верноподданной» армии (тоже — народ). Николай, вспоминает, как славно ему было на Западном фронте, где командующий провел, в сущности, грандиозный спектакль. Репетиции шли две недели. В штабных блиндажах отрабатывались «непринужденные беседы с царем русских героев». Роль царя исполняли командиры дивизий, и вполне успешно, поскольку «вопросы, которые монарх повсюду задавал своим солдатам,

были давно известны. Как и ответы, которые любил царь». Этот символ не знающей границ лжи и парадности своеобразно перекликается через много страниц с другой, не менее многозначительной картиной: мужичок нещадно хлещет лошаденку, завязшую в грязи по ступицы колес. Лошаденка вздрагивала, дергалась вперед и бессильно опускалась на согнутые передние ноги. И только вселенская грязь кругом... За этой простой и близкой всякому сердцу картиной — ясная и точная мысль: загнали Россию! Дальше ехать некуда...

И нет, не «мир деловых людей» спасет страну, как утверждали Гучков и К° , пытаясь спасти тонущий вместе с монархией корабль предпринимательства, эксплуатации, капиталистической наживы.

Одна только сила, не просто близкая народу, а плоть от плоти его, способна была взять на себя миссию освобождения, исторического возрождения общества, России. Эта сила — большевики, революционное движение пролетариата. Среди множества документальных фактов в романе приводятся убийственно-точные слова из листовки Московского бюро РСДРП, выпущенной в канун нового, 1917 года: «...Отжившее свой век правительство является образцом бездарности и низости. Дворцовые интриги, захват власти проходимцами и изменниками, предательство и провокации стали «обычным делом правящей шайки». Эти слова перекликаются с известными ленинскими оценками гнилости, гнусности, цинизма и разврата царской шайки с чудовищным Распутиным во главе, всего зверства семьи Романовых — «этих погромщиков, заливших Россию кровью...» (Особо важно при этом ленинское указание о том, что до «последней черты» монархию довели первая революция и следующая за ней контрреволюционная эпоха.)

В романе Ардаматского сравнительно немного места посвящено непосредственно показу революционной борьбы на фронте и в тылу. Запоминается, в частности, образ умного, ироничного большевика — интернационалиста Воячека, уверенно побеждающего в споре с допрашивающими его «интеллектуалами» из охранки.

Но всей своей логикой — логикой самодвижения истории, сцеплением фактов, раскрывающих вызревание революционной ситуации,— «Последний год» подводит к идее неизбежности обновительной, спасительной социалистической революции как акта подлинной свободы. За последним годом агонизирующего царизма видится первый год, открывающий для России и для мира трудный, непроторенный путь к идеалам действительного гуманизма...

События другого представленного в однотомнике произведения — повести «Грант» вызывает Москву» — происходят всего через 25 лет после «Последнего года». Но это целая эпоха. Эпоха становления — через невероятно суровую эпопею гражданской войны и последующих лет, через ошибки и утраты — качественно новой государственности и основ коллективистской морали.

Трагический пролог войны. В захваченном фашистами южном городе, каждодневно сознательно рискуя жизнью, борется группа наших подпольщиков. Атмосфера романа накалена, хотя в нем мало внешних примет «остросюжетности».

Группу возглавляет Игорь Николаевич Шрагин, «вписавшийся» на работу у немцев технологом на кораблестроительном заводе. Задача «проста»: по возможности максимально войти в доверие к врагу и до конца исполнить партийное задание: разведка и диверсия. Постоянно накапливаемый опыт, мужество, ум и железное товарищество патриотов — вот что помогает коммунисту Шрагину и его друзьям по смертельно опасной борьбе выполнить это задание. Нисколько не рисуясь, один из оставшихся в живых героев этой суровой истории — Петр Луценко скажет после писателю: «В общем, работа была как работа. Нужно было только привыкнуть, что смерть — рядом. Все время — рядом». Вот и все. Это — так сказать, камертон повествования.

Смерть — рядом. А надо жить, улыбаться, работать. И они — Шрагин, Федорчук, его жена Юля, Харченко, Назаров, Дымко и другие — постоянно должны играть свою двойную роль, не позволяя себе выйти «из маски» обывателей, как-то приспособившихся к «новому порядку», глубоко прятать свою боль и ненависть, свое подлинное гражданственное «Я». Вот это психологическое напряжение, идущее от внешнего «двойничества» героев, риск без рисовки, без малейшей «детективной красивости» — и завладевает вниманием читателя, особенно молодого. Мы говорим об общей атмосфере, ибо автор, оставаясь в пределах своей сдержанной документалистской манеры, пишет максимально прозрачно, просто, используя минимум изобразительности, что порой, пожалуй, оборачивается и некоторой публицистической одномерностью, «спрямленностью».

Одно из бесспорных достоинств повести — в ее трагедийной правдивости. В ней не оглупляются нарочито враги (скептик адмирал Бодеккер, следователь СД Релинк и др.). Сам Ардаматский как-то заметил, что он этой книгой полемизировал с известной тенденцией «победительного опрощения» советской героической темы, против многочисленных сочинений о разведчиках с непременно «розовым» финалом.

Немало успели свершить мужественные подпольщики, помогали делу их ценные сведения, передававшиеся в центр в шифровках, подписанных «Грант». Отчаянные диверсии, взрывы и поджоги под носом у врага нагоняли на гитлеровцев страх, поднимали дух, веру в освобождение и победу у советских людей. Подпольщики работали, рисковали — и допускали, случалось, ошибки. Главное было — не ошибиться в привлекаемых к опасным операциям людях, порой совсем неискушенных. Говорят, самая простительная ошибка — переоценить достоинства человека. Но только не в подпольной борьбе, где все в одной связке — в этой благородной «цепи взаимозависимости». И вот кто-то попадает к гестаповцам — по доносу ли, по своей ли оплошности,— как получилось с Григоренко. Он был по-своему смелым, его влекла романтика «красивых» подвигов, игра со смертью. Но убежденности, воли ему недоставало — слишком был сосредоточен на себе, самовлюблен без готовности к настоящей самоотдаче и выдержке ради общего дела. И Григоренко сломался, не устоял в жестоком поединке со страхом смерти — в поединке с таким изощренным врагом, каким был Релинк, вполне профессионально старавшийся пытками «задушить сознание, обнажить подсознание»... По тому же «кругу ада» проходит и коммунист Шрагин. И у него были мгновения, когда «зыбкое и чужое сознание вдруг обрело над ним силу»... Он мог по-

кончить с собой, но не мог позволить врагу сломить душу, то, ради чего он, Шрагин, жил, боролся, как умел.

Перед концом он думал о том, что сделал меньше, чем мог, были ошибки. Но совесть его чиста. Итог его жизни — и всего этого бесхитростного, горького повествования прост и благороден. И звучит он уже как бы за рамками единичной судьбы, этой ситуации: «Главное, что мы выстояли, когда было самое тяжелое»... И еще мысль о жене и сыне — Ольге с Мишкой: как будут жить они?..

В основном за рамками сюжета — личные, интимные отношения персонажей. Интересно намечена, но разработана лишь эскизно психологически сложная линия Шрагин — Лилия.

Многолетний опыт работы писателя в журналистике отразился, думается, в его творчестве стремлением к точности, достоверности и некоторой, может быть, излишней сдержанности в изобразительных средствах. Логика действия, факта довлеет зачастую над психологической «нюансировкой». Открытая публицистичность, прямое следование «сюжету жизни» может оборачиваться излишней фактографичностью, декларативностью. Что ж, документальность, имея свои достоинства, неизбежно и ограничивает художника.

Но закрывая книгу, думаешь: так это было. Чтобы идти увереннее дальше, надо знать больше правды о прошлом, о нашей всегда живой истории. Всю правду. И светлую, и горестную. В этом помогает нам и литература, в том числе — лучшие книги Ардаматского, в которых есть живое дыхание времени, слышится не громкий, но внятный и совестливый голос писателя-гражданина, нашего современника.

...Сегодня мы с обостренной пристальностью вглядываемся (и тут нам помогает честная, настоянная на бескомпромиссной правде литература) в семидесятилетние дали нашего первопроходческого многосложного движения по пути, начатому в очистительно-грозовом 1917-м. Историческая память, беспощадное самопознание насущно необходимы новым поколениям, вступающим на дорогу правды и справедливости, постигающим революцию не только как историю, но прежде всего — как самое главное и высокое *дело*, требовательно обращенное к сердцу и разуму каждого из нас.

А. Потапов

„ГРАНТ" ВЫЗЫВАЕТ МОСКВУ

ПОВЕСТЬ

Петр Луценко,
ставший одним из героев
этой повести,
сказал мне:
«В общем работа
была как работа.
Нужно было только привыкнуть,
что смерть — рядом.
Все время — рядом...»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

НЕ ОПОЗДАТЬ!

ГЛАВА 1

Только бы не опоздать! Эта мысль гнала Игоря Шрагина на юг, к Черному морю, в город, который не сегодня завтра мог быть захвачен гитлеровцами. Ему нужно было оказаться там хотя бы на час раньше...

О том, что он назначен руководителем разведывательно-диверсионной группы, Шрагину сказали только две недели назад. Неделя ушла на разработку легенды, по которой он должен был появиться и жить в том южном городе. Легенда получилась очень сложной, для ее подтверждения нужно было изготовить более десятка документов. И кончилось тем, что ему оставили его настоящую биографию, заменив только имя и выбросив из нее, что он коммунист и последние годы работал в органах государственной безопасности.

Уже можно было выехать, но возникло осложнение. Люди его группы отправились на место прямо из Ленинграда, где все они учились в спецшколе, и целую неделю о них не было никаких сведений. В южном направлении транспорт работал с перебоями, станции часто подвергались бомбардировкам, и можно было предполагать что угодно. Но выезжать без подтверждения, что группа добралась до места работы, было бессмысленно. В ожидании известий прошло еще четыре дня. Одно хорошо — он получил возможность побыть с женой и с месячным сынишкой и сам отправил их к родственникам на Урал. Только вчера Шрагин с ними расстался, а сегодня он тоже в пути...

Старенькая дребезжащая «эмка» показывала чудеса. Шофер говорил: «Машина-то нашенская, понимает что к чему...» Почти до самого Брянска мчались со скоростью сто километров в час. Когда

до города было уже рукой подать, уставший шофер не заметил впереди развороченное бомбежкой шоссе и поздно затормозил. «Эмка» нырнула в яму, оттуда ее вышвырнуло через кювет в кусты, и там она еще долго прыгала, пока не завалилась на бок... Удивительно, конечно, но ни Шрагин, ни шофер не пострадали. А «эмка» окончательно вышла из строя.

Пришлось воспользоваться оказией. Это был небольшой санитарный автобус, в который набилось полным-полно народу. Сидели даже на полу.

Все это были военные люди, им тоже срочно нужно было попасть в Киев.

На рассвете где-то за районным городком Красная Слобода шофер резко затормозил. Дремавшие люди попадали со скамеек. Шрагин больно ударился головой о чей-то чемодан. Сон слетел мгновенно.

Путь преграждала толпа вооруженных людей в штатском. Высокий мужчина в короткой, не по росту, милицейской шинели стоял перед автобусом, растопырив руки. Шрагин вспомнил рассказы о вражеских десантниках в милицейской форме и, переложив пистолет в карман пиджака, выскочил из автобуса. Вслед за ним вышли еще несколько военных.

— Что случилось?— спросил Шрагин, вглядываясь в изможденное и давно не бритое лицо человека в милицейской шинели.

— Да вот не знаем, что с немцем делать,— возбужденно ответил он.

— Что за немец?

— Да вот...— Человек в шинели показал на лежавшего ничком у кювета немецкого солдата, на сером его кителе возле левого плеча расплылось кровавое пятно.

Оказывается, ночью здесь с самолета была сброшена группа диверсантов. Местная истребительная рота вступила с ними в бой и перебила их. Один десантник пытался спрятаться в кустах, но его нашли. Тогда он решил застрелиться, но ему помешали, и рана казалась не смертельной.

— Может, захватите его с собой?— спросил человек в шинели.

Среди пассажиров автобуса оказался военный врач, он подошел к немцу, перевернул его на спину и склонился над ним.

— Нечего беспокоиться,— сказал врач, выпрямляясь.— Он уже готов.

— Ну и ладно,— сразу успокоился человек в шинели.— Баба с возу — коню легче. Извините, что задержали вас.

— Документы убитых взяли?— спросил Шрагин.

— Мы, товарищ, потерь не имеем,— почти обиделся человек в шинели.

— Я про немцев.

— А? Недосуг было... Они ж раскиданы по всему оврагу — кто где.

Шрагин подошел к мертвому немцу и вынул из его карманов бумаги.

Автобус продолжал путь.

Шрагин просматривал документы и бумаги десантника. По солдатской книжке пленного получалось, что он, Вальтер Гейвиц, был солдатом танковой дивизии. Но почему тогда он прыгал с парашютом? «Очевидно, у них в танковых частях есть и такие подразделения»,— решил Шрагин. С потрепанной фотографии улыбалась молодая женщина, державшая на руках маленькую девочку. На обороте фотографии надпись: «Вальтер, это мы без тебя и с тобой. Жду. Мара. Дортмунд, 1940 г.».

Шрагин рассматривал фотографию, но думал уже о своей Ольге и о сынишке, к которому он даже не успел привыкнуть. Старался представить себе его физиономию и не мог. Ясно помнился только его неистовый крик по ночам, переходящий в сладкое урчанье, когда Ольга давала ему грудь. «Сейчас они, как и я, в дороге, и мы уезжаем друг от друга все дальше и дальше»,— тоскливо подумал он.

Спрятав фотокарточку немки в карман, он развернул письмо. Оно пахло духами. Письмо из Дортмунда и подпись уже знакомая — Мара.

«Вальтер, Вальтер, мне грустно, конечно, но долг выше всего...» Странно, но эта строчка из письма стала как бы продолжением собственных мыслей Шрагина, это его и разозлило и озадачило. «Раз война, мужчинам — мечи, а нам — ожидание, тревоги и, конечно, заботы об армии,— читал он дальше.— Но я спокойна, Вальтер, я знаю, ради чего я жду, так как я знаю, чего хочет для всех нас наш фюрер. А когда план вождя становится надеждой всех женщин страны — горе врагу. И я не боюсь России. Раз фюрер сказал, она будет поставлена на колени, а Германия возвысится над всем миром непобедимым колоссом. Верной фюреру я выращу и нашу Кити, вот увидишь, Вальтер. Сейчас она спит. Я только что подходила к ней — она во сне улыбнулась, наверное, своему счастью, что она маленькая немка вечной и великой Германии. Кончай поскорее с Россией и возвращайся к нам. Прижимаюсь к тебе, люблю навеки. Твоя Мара...»

Шрагину хотелось наотмашь обругать эту сверхидейную немку, и в то же время что-то заставляло его серьезно думать о ней, и о том, что она писала, и об ее Вальтере, который остался лежать у кювета, и о той совсем маленькой немке, которая улыбается во сне... Ведь это было первым непосредственным знакомством Шрагина с врагом.

В Киеве было решено, что дальше Шрагин поедет по Днепру на пароходе: по мнению киевских товарищей, этот способ передвижения сейчас был самым надежным. Кроме того, для Шрагина крайне важно попасть в город обычным гражданским путем и вместе с другими случайными людьми.

Когда Шрагин прибежал на пристань, трап был уже убран, и ему пришлось прыгнуть через метровый просвет. Он прошел на

мостик к капитану — коренастому старику с желтыми, прокуренными усами, фиолетовым носом и выцветшими глазами.

— Примоститься где-нибудь можно? — спросил Шрагин.

Капитан, не отвечая, посмотрел в небо и крикнул в переговорную трубку:

— Убери сопли!

Тотчас дым перестал валить из пароходной трубы.

— Ну-ка, сойдите с мостика,— сказал капитан, вглядываясь в небо, откуда чуть доносилось звенящее завывание моторов.

Послышался быстро нараставший свистящий вой, и метрах в ста от парохода реку вспучило, вскинуло кверху огромным водяным кустом. Шрагин почувствовал тупой удар в грудь, который отшвырнул его в угол капитанского мостика.

— Говорил — уходите,— ворчливо сказал капитан, продолжая смотреть в небо.

Пароход назывался «Партизан Железняк». В этом допотопном суденышке с хлюпающими по воде плицами колес, с утробно громыхающими и трясущими весь пароход машинами была какая-то спокойная домовитость и надежность.

Отыскивая, где бы притулиться на ночь, Шрагин ходил среди спящих и еще бодрствующих пассажиров, шагал через чемоданы, котомки, поражаясь тому, как быстро люди обживаются в любых условиях. В конце концов он нашел местечко на корме и сел на палубу между мешками и узлами. Рядом располагалась целая семья: отец, мать, трое детишек дошкольного возраста и сухонькая старушка, которую ребята звали бабусей. Сгрудившись у чемодана, они ужинали. Бабуся хозяйничала, как дома: аккуратно резала хлеб, поровну делила мясо, жалела, что не купила черного хлеба, одергивала ребят и успевала еще певучим голосом рассказывать про какую-то Клавдию Анисимовну, которой все как с гуся вода...

Шрагин почувствовал, что он голоден: со вчерашнего вечера он ничего не ел, и не было даже минуты подумать о продуктах на дорогу.

— Молодой человек, у вас що, нечего поснедать? — услышал он певучий голосок бабуси.

— Ничего, спасибо,— отозвался невпопад Шрагин: ему еще никто ничего не предлагал.

— Ничего — это ничего, а ты на-ка возьми мясца домашнего.

— Снежко Павел Ильич,— как-то по-старомодному представился Шрагину глава семьи. И весь вид его тоже был старомодным. Такими показывают в кино дореволюционных рабочих. На нем был добротный синий костюм, но брюки были заправлены в сапоги. Горло высоко обхватывал застегнутый на белые пуговички ворот русской косоворотки, синей в полосочку, и, наконец, у него были пушистые усы. Он возвращался из отпуска в тот же город, куда стремился и Шрагин. Мало того, он работал на том судостроительном заводе, на который, если все сойдет, как задумано, должен устроиться Шрагин. Поистине это было счастливым началом операции.

— Черт нас попутал,— рассказывал Павел Ильич неторопливо и чуть окая.— Поехал отдохнуть к моему брату под Москву, и теперь уже сколько времени прорываемся обратно до дому. А вы чего и как?

— Да вот получил не ко времени перевод на ваш завод,— ответил Шрагин.

— Почему не ко времени?

— А вдруг немцы займут ваш город?

Снежко прожевал мясо, запил водой и совершенно спокойно сказал:

— Займут не займут — на все воля божья. Немец, конечно, супостат и зверь в образе человека, но нам-то что, мы в кумовья ему не полезем. Он сам по себе, а мы сами по себе. К рабочей чести, коль она есть, никакая грязь не пристанет.

Шрагин слушал его пораженный, но продолжал думать о том, что именно такое знакомство и может ему пригодиться.

— Ты у нас блаженненький, тебе всюду рай,— сказала до того молчавшая жена Снежко, крупная красивая женщина, она поглаживала лежавшую у нее на коленях головку уснувшего сына.

— А тебе везде один ад мерещится,— с запалом сказала ей бабуся.— Поехали к Андрею — там тебе лихо. Теперь домой едем — и все равно ты Павла пилишь. Сам бог не ведает, где тебе хорошо.

— Не будем, мамо, на людях считаться,— тихо произнесла жена Снежко и с тяжелым вздохом добавила:— За детей мне страшно, вот что.

— А мне, думаешь, не страшно? — живо возразила бабуся, но жена Снежко промолчала, и разговор надолго прервался.

Потом Павел Ильич спросил Шрагина:

— Вы по какой специальности будете?

— Инженер по механике. После института два года работал в Ленинграде, на Балтийском. И вот получилось, что перевели к вам. С начальством я не ладил, а оно, как известно, таких не любит...

Снежко сочувственно засмеялся:

— Начальство все может. У нас мастер был, Савельев. Руки — золото, а нрав неспокойный. Чуть что, в газету строчит или на собрании речь держит. Сам директор завода по его милости выговор схлопотал. И тогда начальство расставило ему хитрую ловушку. Все недовольны были нашим отделом кадров: брал он на работу кого попало. Про это и в газете написали. Тогда начальники наши взяли и поставили на кадры Савельева — дескать, кто же лучше его, старого партийца, все, как надо, соблюдет с кадрами? Савельеву и деться некуда. Сел он на кадры, и теперь все шишки на него валятся, а ему и рта раскрыть нельзя. Хитро!..

Между тем пароход плыл уже в непроглядной летней ночи. Ничего вокруг не видно, только вверху звезды переливаются — ни дать ни взять плывет пароход прямо по этому звездному морю.

Бабуся и жена Снежко уже спали, привалившись к своим узлам. Возле них пристроились ребята. Стал устраиваться и Снежко и вскоре захрапел с легким посвистом...

На рассвете Шрагин поднялся на капитанский мостик.

— Как спали?— спросил его капитан.

— Нормально,— ответил Шрагин, глядя на тихий Днепр в нежном рассвете, на его берега, где косматые ивы полоскали в воде свои длинные ветви.— Красиво!— тихо произнес он.

— Мне приелось,— отозвался капитан.— Двадцатый год хожу тут взад-вперед без остановки.

— Трудно поверить, что кругом война.

— Трудно?— спросил капитан. Он показал на воду, там, на водной гряде, бегущей от носа парохода, что-то качалось. Это был труп женщины в веселеньком желтом платье из ситца...

В полдень немецкий самолет на небольшой высоте пролетел над пароходом и скрылся за противоположным берегом.

— Воздух! Воздух!— закричал матрос, стоявший на носу парохода.

Когда раздались гудки и крик матроса, бабуся мелко и часто перекрестилась, прижала к себе ребятишек. Перекрестился и Павел Ильич Снежко. Он сделал это привычно, неторопливо, с сосредоточенным видом. В это время самолет снова появился над рекой. Он быстро приближался и когда был уже совсем близко, пароход резко развернулся поперек реки. Самолет с диким ревом промчался дальше. Две бомбы вскинули воду. Хлестнула воздушная волна, пароход сильно качнуло. Во время новой атаки летчик открыл огонь из пулеметов. Шрагин видел, как стремительно приближались вспоротые на воде пулями две сверкающие дорожки. Он затаил дыхание, напряг мышцы и непроизвольно закрыл глаза. Но капитан снова скомандовал крутой поворот, и только одна дорожка прошлась наискось по носу парохода. Там дико закричал раненый паренек лет шестнадцати. Пуля пробила ему руку выше локтя. Паренек с ужасом смотрел на свою рану, из которой хлестала кровь, и кричал...

Шрагин снова поднялся на мостик. Капитан как ни в чем не бывало стоял, опершись грудью на перила, и смотрел на проплывавший мимо берег. Шрагин хотел сказать этому славному старику какие-то слова благодарности, что-то сердечное, теплое, но сказал только:

— Здорово все получилось.

— Кому здорово, кому кровь,— не оборачиваясь, отозвался капитан и вдруг заговорил сиплым захлебывающимся голосом:— Что же это такое, скажите мне? Он же, сволочь, знает, видит, что посудина моя не военная, что набита она бабами, детьми,— знает, а бьет, бьет! Ведь я за последние два рейса тридцать семь покойников на берег сдал. Я их столько за всю свою жизнь не видел. А вы говорите — здорово. Как только язык у вас повернулся? Обрадовались, что сами живы остались? Нехорошо, дорогой товарищ, нехорошо!

Вечером прибыли в Днепропетровск. На затемненной пристани никого не было. Только матросы, которые приняли причальные концы. Над городом качалось зарево большого пожара. Когда пароход прижался к причальной стенке и его машины остановились, наступила глухая тишина.

— С парохода никому не уходить!— объявил с мостика капитан.

— Это же наш конечный!— тревожно крикнул кто-то с кормы.

— Все равно без приказа не сходить,— громко повторил капитан. Вскоре он прошел мимо Шрагина к трапу — сутулый, в кургузом кителе и в мятой форменной фуражке. Потом на пароход поднялись две девушки в белых халатах. Они увели раненого паренька.

К Шрагину подошел Павел Ильич Снежко.

— Ищу вас, дело есть,— сказал он тихо и, оглянувшись по сторонам, продолжал еще тише:— Не сойти ли нам здесь? Люди говорят, что ниже по Днепру немец лютует, топит пароходы почем зря, а отсюда нам до нашего города каких-нибудь двести километров. Подхватим левачка, вместе и расплата будет легче, и как-никак в пути будет нас двое мужиков, а?

Шрагин сразу согласился.

Уже больше часа семья Снежко и с ними Шрагин сидели на узлах у ворот пристани. Павел Ильич ушел доставать машину, и теперь все с нетерпением ждали его. Больше всех нервничала жена Снежко.

— Не знаешь ты своего Пашку, не знаешь,— горестно корила ее свекровь.— Раз уж он сказал, значит сделает все как надо. Сиди и не тычь в глаза людям свое неверие...

Павел Ильич приехал на военной полуторке с солдатом-шофером и сильно подвыпившим старшиной. Все быстро разместились в кузове, и солдаты накрыли их брезентом.

— Пока я не постучу — молчите,— приказал старшина.— А как проскочим пропускной пункт на выезде из города, брезент можете снять.

Минут через двадцать машина остановилась. Шрагин услышал, как мальчишеский голос спросил:

— Что везешь?

— Спецгруз, а что именно, нам знать не дано,— ответил старшина.

Лучик фонарика скользнул по кузову грузовика.

— Кати, не загораживай!

Полуторка двинулась дальше. Спустя минут десять старшина, как обещал, постучал в окошечко из шоферской кабины. Шрагин открыл брезент. Над ними распахнулось все то же черное спокойное небо, усыпанное уже по-южному крупными и яркими звездами.

ГЛАВА 2

Все получилось наилучшим образом. Снежко сам пригласил Шрагина на первое время остановиться у них. Хозяев он никак не стеснил: в добротном доме Снежко было пять комнат, не считая кухни.

Побрившись с дороги и позавтракав, Шрагин вместе с Павлом Ильичом пошел на завод. Улицы города выглядели тревожно. Много военных машин. На перекрестке в садике из траншей торчали жерла зенитных орудий. Стоявший возле них солдат, сдвинув каску на затылок, в бинокль оглядывал небо. На окнах белые кресты из бумажных лент — наивный способ уберечь стекла, когда рушатся дома. Двухэтажный каменный дом бомба разворотила на три стороны. Осталась только одна стена — вся в квадратах разноцветных обоев.

— Тут жил один адвокат,— с непонятной усмешкой сказал Снежко, показывая на развалины.— Очень плохой человек. Когда я судился за мой дом, он хотел меня по миру пустить, а, глядишь, сам все потерял. Бог, он все видит и шельму метит.

По пути на завод они встречали людей, которые знали Снежко, здоровались с ним.

— Здравствуйте, здравствуйте...— отвечал он то снисходительно, то приветливо, а то и иронически.

— Я гляжу, вас весь город знает,— сказал Шрагин.

— Ничего удивительного,— с достоинством сказал Снежко.— Я тут родился, вырос, человеком стал. А только знакомство знакомству не пара. Вот давеча низко кланялся мне старичок, сухопарый такой, в кепочке. У меня с ним свара была на заводе. Он тогда еще не вышедши был на пенсию, в активистах ходил. Сейчас он первый раз за последние два года откланялся. Я вот все думаю, с чего бы это он вдруг признал меня?

«Я-то знаю, почему он тебя признал»,— подумал Шрагин, еще раз убеждаясь, как хорошо может пригодиться ему знакомство с Павлом Ильичом, который, конечно, не покинет город.

— Будем жить, как бог присудит,— сказал тот за завтраком.— А потом немца нам рисовать не надо, у нас немецких колонистов испокон веков полный город. И скажу вам: ничего люди, а есть кое-кто и почище наших.

Шрагин знал, что в этом городе живет много немецких семей, поселившихся здесь с незапамятных времен. Квартира, в которой для него должны были подготовить комнату, принадлежала как раз такой семье.

— А как же вы... если что?— спросил Снежко. Шрагин вопросительно смотрел на него.— Ну, если немец сюда придет...

— Еще не знаю,— беспечно ответил Шрагин.— Сейчас главное для меня — проявить дисциплину: раз меня сюда перевели, я — здесь. И готов выполнить любое распоряжение.

— Могут на вас и шинельку напялить,— усмехнулся Снежко.

— Все же я специалист.

— Это да,— согласился Снежко.— А только для наших вы человек пришлый, а вокруг туча свояков да шуринов, которым броня нужна.

— Поглядим — увидим,— все с той же беспечностью отозвался Шрагин.

Снежко прошел на завод, а Шрагин направился в стоявшее рядом с проходной здание и вскоре уже сидел в кабинете заведующего кадрами завода — того самого Савельева, о котором ему рассказывал Снежко. Это был усталый и нервный человек, с первой же минуты заговоривший с ним раздраженно и грубо. Швырнув на стол бумаги Шрагина, он воскликнул:

— Болваны! Тупые болваны!

— Кто?— удивленно спросил Шрагин.

— В том числе и вы, раз вы не понимаете, что только неизлечимые болваны могли в такое время затеять переброску кадров через всю страну, а главное — куда?

— Вам не нужны инженеры?

— Знаете, кто нам сейчас нужен?— почти закричал Савельев, но остановился и снова стал смотреть бумаги. Вдруг он удивленно уставился на Шрагина.— Глядите, оказывается, перевод по вашему желанию?

— Я был вынужден подать такое заявление.

— Вынужден не вынужден, это не главное. Но, может, вы мне все-таки объясните, почему у вас вспыхнуло желание поехать в город, который не сегодня завтра окажется в руках врага?

— Я просил бы вас свои провокационные мысли оставить при себе,— зло сказал Шрагин, глядя в красные, воспаленные глаза Савельева.— В документах ясно сказано, что мое заявление подано больше чем за месяц до войны, и не моя вина, что наркомат затянул решение. И наконец, зря вы берете на себя роль пророка и позволяете себе назначать сроки сдачи врагу советских городов.

— Вы, очевидно, не знаете, где сейчас немцы,— устало произнес Савельев.

— Зато я знаю, где завод, на котором я могу пригодиться хотя бы для того, чтобы, уходя, взорвать его,— сказал Шрагин.

— Может, вам лучше сначала сходить в горком партии?— с плохо скрытой злорадной надеждой спросил Савельев.

— Я понимаю, на что вы рассчитываете,— сказал Шрагин.— Однако война не отменила порядка, который установили не мы с вами. Отдайте обо мне, как положено, приказ, и я пойду в горком.

Савельев ожесточенно нажал лежавшую на столе кнопку звонка. В кабинет вошла пожилая женщина в строгом черном костюме и солдатских сапогах.

— Анна Гавриловна, напечатайте приказ о назначении данного товарища на вакантную должность инженера в отдел главного технолога. Вот его документы.— Савельев протянул ей бумаги, смотря на нее так, словно он приглашал ее подивиться вместе с ним происходящему.

— Когда вам дать приказ? — невозмутимо спросила женщина.
— Сейчас, — выдохнул Савельев.

Женщина уже давно ушла, а Савельев все еще смотрел остановившимися глазами на то место, где она только что была, и молчал. Шрагин тоже молчал. И вдруг Савельев, тяжело вздохнув, перевел взгляд на Шрагина и сказал тоскливо:

— До чего дело дошло... Кто бы мог подумать еще три месяца назад, а?

— Да, испытание выпало нам тяжелое, — в тон ему сказал Шрагин. — И сейчас очень опасно потерять власть над нервами.

— Черт возьми! — тихо воскликнул Савельев. — Но нельзя же и делать вид, будто ничего не происходит. Я же в этом городе родился, а этот завод — вся моя жизнь. Где мне занять нервов, где? Ползавода ушло на фронт, а я все ведаю кадрами. Воевать — это я понимаю... — проговорил он так печально и без всякого наигрыша, что Шрагину стало жаль этого измученного человека.

— Ничего, ничего, войны хватит и на нас с вами, — сказал Шрагин.

Через несколько минут приказ был подписан. С 10 августа 1941 года Игорь Николаевич Шрагин, инженер-механик, обязан приступить к работе. Десятое — завтра.

Прямо с завода Шрагин пошел в областное управление НКВД. Он без труда нашел это здание, но вошел в него не сразу, минут тридцать выбирал момент, когда поблизости не будет прохожих.

Начальника управления на месте не оказалось, он еще ночью уехал в обком и когда вернется, никто не знал. Шрагина принял его заместитель подполковник Гамарин, который как раз и занимался первичной подготовкой шрагинской операции. Он был еще довольно молод, лет сорока, плотный, подтянутый, с широкими бровями на смуглом лице.

— Почему Москва с таким запозданием получила сообщение о прибытии моей группы? — спросил Шрагин.

— Пошлая накладка, — ответил подполковник. — Мы думали, что об этом сообщит сама группа, а они думали, что сделаем это мы.

Шрагину понравилось, что он не пытался ни выгораживать себя, ни обвинять других.

— Когда и где я могу увидеть своих людей? — спросил он.

— Мы соберем их, конечно, а вот когда, это сказать нелегко. Все они сейчас участвуют в чистке города, вылавливают всяческую сволочь.

— Кто разрешил использовать их для этого? — стараясь сохранить спокойствие, спросил Шрагин.

— В данной обстановке никто не мог допустить существования безработных чекистов, — раздраженно ответил подполковник.

— Но этим людям предстоит остаться здесь и действовать при немцах. Неужели вы не понимаете, что вы заранее поставили их под удар?

Гамарин спокойно улыбнулся одними уголками рта:

— Тех, кого они чистят, в городе не будет.

— Мне необходимо связаться с Москвой.— Шрагин встал и отошел к окну, давая понять Гамарину, что больше говорить с ним не намерен.

Подполковник соединился с кем-то по телефону.

— Как обстоит дело с Москвой?— спросил он все так же спокойно.— А какие надежды?.. Спасибо... Связи с Москвой, товарищ Шрагин, мы не имеем уже вторые сутки...

Шрагин продолжал смотреть в окно на улицу, но он ничего там не видел. Он напряженно думал, как ему поступить. Если строго придерживаться стратегии и тактики порученного ему дела, он должен отказаться от использования присланных сюда людей. Но как тогда поступить самому? Немедленно уехать? Или остаться и создать группу из местных жителей?

— Телеграфная связь, надеюсь, есть?— Шрагин вернулся к столу Гамарина.

— Теоретически есть,— подполковник снова улыбнулся уголками тонкого рта, и это вызвало у Шрагина бешенство, которое ему нелегко было подавить.— Сегодня, например, мы получили из Москвы телеграмму, которая была отправлена...— Гамарин заглянул в бланк телеграммы, лежавшей перед ним, и добавил:— Пятого августа.

— А наша внутренняя связь по эфиру?

— Увы!— развел руками Гамарин.— В первую же бомбежку разбит наш приемо-передаточный центр. В исключительных случаях мы связывались через Одессу, но, например, сегодня утром Одесса не смогла дать нам связь.

— Вам было приказано Москвой подготовить для группы радиста. Это сделано?— спросил Шрагин, стараясь не смотреть на подполковника.— Или, может, он тоже участвует в облавах?

— Нет. Для этого он слишком одиозная фигура в городе. Он ждет вас на своей квартире...

Гамарин не договорил: шумно открылась дверь, и в кабинет вошел высокий тучный полковник. Швырнув планшет на диван, он снял фуражку и, выхватив из кармана большой носовой платок, начал вытирать потное лицо и бритую до блеска голову.

— Жарища!— произнес он, тяжело дыша.— Жарища во всех мыслимых смыслах.

— Это товарищ Шрагин,— сказал ему Гамарин поспешно, точно предупреждая, что в кабинете находится посторонний.

Рука полковника замерла с платком на бритой голове.

— Наконец-то прибыл! Здорово. Я — Бурмин.— Он перехватил платок левой рукой, крепко сжал руку Шрагина и, не выпуская ее, сказал:— Наверное, клянешь нас последними словами?

— Я просто не знаю, что делать.

— Понимаю, понимаю...— Полковник Бурмин сел в кресло напротив Шрагина.— Я ночью из обкома говорил по «ВЧ» с Москвой, наслушался всякого.— Он быстро повернулся к Гамарину.— Ну, как ты мог такое сморозить? Поместить этих людей

в гостиницу, да еще по нашей броне, и вдобавок сунуть их в облаву!

— Я вам докладывал,— сухо произнес Гамарин.

— Застраховался?— Полковник Бурмин смотрел на Гамарина с откровенной насмешкой.— Будто ты не понимаешь, что́ сейчас на моей шее. Тебе, тебе, Юрий Павлович, были поручены все эти дела, и ты обязан, обязан был все предусмотреть.

— Даже бог всего не мог предусмотреть,— глядя в сторону, сказал Гамарин.

— С тобой, Юрий Павлович, каши не поешь, ложка всегда у тебя,— устало сказал Бурмин и, тяжело поднявшись с кресла, кивнул Шрагину:— Идем ко мне.

В затемненном с ночи кабинете полковника кисло пахло табаком. Раздернув шторы и распахнув окно, полковник сел за стол. В кабинет врывался тревожный шум города.

— Ну, что ты на все это скажешь?— спросил полковник.

— Говорить поздно, надо решать. Группа фактически подорвана, ее нужно передать вам для ваших нужд.

— А ты сам?

— А мне надо уезжать... или остаться и создавать новую группу из коммунистов, которых здесь оставляют для подполья. Ваше мнение?

— Я доложил комиссару все как есть,— сказал полковник Бурмин.— Он обложил меня всячески и приказал немедленно исправить положение.

— Исправить?— изумленно спросил Шрагин.— Как?

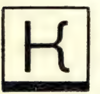
— Комиссар сказал, что ты знаешь, как это сделать. Он только очень нервничал, что тебя еще нет...

Шрагин молчал. Он уже был спокоен, и его мозг работал с особенной четкостью. Так с ним бывало всегда, когда он оказывался перед лицом тяжелых обстоятельств.

— Век живи, век учись,— заговорил Бурмин.— Сам понимаешь, сколько сейчас на меня всякого свалилось. Решил, что этим делом должен заниматься человек, освобожденный от всего другого.— Полковник шумно передохнул и продолжал, будто прислушиваясь к шуму на улице:— И ведь прекрасный работник — четкий, дельный, поворотливый... Но, видно, только когда налаженное годами дело катится с горы. А в этих условиях оказался...

— Надо сейчас же отдать приказ,— перебил его Шрагин.— Моих людей снять с операции по чистке города. Сегодня же они должны быть переведены из гостиницы на частные квартиры. Это надо сделать ночью. Послезавтра утром собрать их...

ГЛАВА 3



огда на другой день утром Шрагин вошел на территорию завода, он сразу понял, что делали небольшие группы людей — и штатских и военных — у силового цеха и немного

поодаль, у стапелей, где возвышался стальной громадой недостроенный крейсер. «Минируют»,— догадался Шрагин и вдруг с болью представил себе, как будут рушиться все эти сложные и так дорого стоящие сооружения и этот корабль-красавец... Ему вспомнилась первая студенческая практика на Балтийском заводе. Инженер, который знакомил студентов с заводом, повел их вдоль стапелей. На одном они увидели маленькие человеческие фигурки, копошившиеся на дне громадного котлована,— здесь будущее судно только зарождалось. На другом стапеле они уже видели контуры судна, растущие вверх, красиво выгнутые его бока, распертые стальными ребрами. На третьем стапеле уже настилали палубу, а на последнем был корабль, почти готовый к спуску. Он стоял наклонно, точно изготовившись к прыжку в море, и был удивительно красив — он весь был в сиянии голубых звезд электросварки... Да, человек, однажды видевший чудо рождения корабля, навсегда проникнется уважением к людям, которые это чудо совершают, сами того не замечая...

Главного технолога на заводе не оказалось. В зале перед его кабинетом за вздыбленными чертежными досками не было ни одного человека. Шрагин постоял в раздумье и пошел в дирекцию.

Просторная приемная директора была забита встревоженными людьми. Помощник директора — молодой парень с худым узким лицом и светлыми прямыми волосами — метался между телефонами и кричал в трубки одно и то же:

— Директор на объектах! Я ничего не знаю! Придет, тогда все выяснится!

— Вот приедет барин, барин все рассудит,— злобно сказал кто-то в толпе.

Шрагин пробился к помощнику директора и тихо спросил:

— Что здесь происходит?

— Что, что... Не прибыли грузовики на сборный пункт, а там несколько сот человек: семьи, дети. Люди прибежали сюда. А что я могу сделать?

Зазвонил еще один телефон. Шрагин поднял трубку и услышал строгий голос:

— Кто со мной говорит?

— Инженер главного технолога Шрагин.

— Вы член партии?

Шрагин чуть не сказал «да», но, немного помедлив, ответил:

— Беспартийный.

— Ладно, все равно. Ваши машины по ошибке задержаны военной комендатурой. Ошибка исправлена. Там в комендатуре есть ваш человек, но он не знает, где сборный пункт. Немедленно звоните в комендатуру, наведите порядок. Скажите еще раз фамилию!

— Шрагин.

— Действуйте, товарищ Шрагин.

Шрагин сказал помощнику, чтобы он немедленно соединил его с военной комендатурой.

Приемная опустела, люди побежали на сборный пункт. Шрагин остался вдвоем с помощником.

— А самому мне что делать?— растерянно спросил парень.— Жена с грудным ребенком там, на сборном пункте, а я здесь.

— Беги на сборный пункт, я за тебя останусь. Как-нибудь справлюсь,— сказал Шрагин, не раздумывая.

Только парня и видели, даже спасибо не сказал.

Шрагин сел за стол. Он отвечал, как умел, на телефонные звонки, делал в книге аккуратные записи о каждом разговоре и сбоку ставил пометку: «Дежурный инженер Шрагин»,— это потом может пригодиться.

Часа через два пришел директор.

— Переведи телефон на меня,— сказал он, проходя в кабинет и нисколько не удивляясь тому, как изменился его помощник. Он, наверное, просто не заметил, кто сидел за столом.

В приемной остались двое мужчин, которые пришли вместе с директором. Они тоже не обращали на Шрагина никакого внимания и, отойдя к окну, разговаривали о чем-то.

Зазвонил звонок где-то над дверью в кабинет, и Шрагин понял, что это вызывает директор. Когда он вошел, директор удивленно приподнял брови:

— Вам что?

— Вы звонили.

— Где помощник?

— Я за него. Он побежал на сборный пункт, там у него жена с грудным ребенком.

— Кто вы такой?

— Инженер из отдела главного технолога Шрагин.

— Шрагин? Что-то я вас не знаю.

— Я новенький,— улыбнулся Шрагин.

— Почему не уехали со своим отделом?

— Я только вчера оформился, ничего не знал.

— Как это вчера?

— Да так, переведен к вам с Балтийского.

— Переведен? Сейчас?!

— Да. Вот выписка из приказа.

Директор прочитал выписку, вернул ее Шрагину и вдруг рассмеялся:

— Канцелярия наша из железа — хоть потоп, а она свое дело крутит. Ну что же, действуй пока при мне. Признаться, я забыл о помощнике. Как тебя зовут?

— Игорь Николаевич.

— Так вот, Игорь Николаевич, сиди здесь на телефонах. Я опять пойду на территорию. Отовсюду буду тебе звонить, докладывай только о самом важном. Понял?

Директор ушел.

Шрагин невольно улыбнулся: здорово у него все складывается...

Когда время уже шло к вечеру, директор вернулся. С серым,

мрачным лицом он подошел к Шрагину и, глядя на него отсутствующими глазами, сказал:

— Все. Смертный приговор вынесен, исполнение — по ситуации.

— Кому?

— Заводу вынесен приговор! Заводу! — закричал директор. Он был на грани истерики.— Сам все проверил! Каждый заряд. А я же все это сам строил! Сам! Понимаешь ты это?!

В кабинет вошли два офицера со знаками различия инженерных войск: капитан и лейтенант.

— Явились, убийцы,— мрачно усмехнулся директор. Казалось, он уже успокоился.— Здесь будете команду ждать?

— А где же еще?..— отозвался капитан и сел на диван. Рядом с ним сел лейтенант.

— Я сейчас еду в горком,— сказал им директор.— Буду позванивать.

— Приказ я должен получить от полковника Стеблева,— строго уточнил капитан.

— Знаю, знаю,— раздраженно сказал директор.— Я такой приказ не смогу и выговорить.

Капитан промолчал и заговорил о чем-то с лейтенантом.

— А с тобой мы решим так...— обратился к Шрагину директор.— Помощник мне пока еще нужен, так что ты к семи утра явись сюда, если, конечно...— директор запнулся и потом быстро закончил: — ...если ночью не сработает приговор...

Шрагин шел по улицам города. Опускались медленные летние сумерки. На заводе как будто все в порядке, он зацепился там неплохо. Он шел теперь на квартиру, где ему предстояло жить.

Когда готовилась операция, этот жилищный вопрос выглядел довольно надежно. Большая квартира принадлежала немке-колонистке, которая двадцать лет проработала в этом городе учительницей немецкого языка. Муж ее давно умер, а она в прошлом году вышла на пенсию. Единственная ее дочь училась в Ленинградской консерватории, была комсомолкой. Словом, можно было надеяться хотя бы на то, что на открытую подлость хозяйка квартиры не способна. В большой ее квартире, занимавшей весь дом, только одна комната принадлежала не ей, и до первых дней войны в этой комнате жил инженер местной электростанции. Он переехал. Теперь эту комнату должен занять Шрагин, ордер у него в кармане. На нем дата — 14 июня 1941 года. Хоть это местные товарищи сделали как надо...

Дом Шрагину понравился. Каменный, одноэтажный, старомодный, он находился и в центре и в то же время на тихой улице, засаженной акацией и каштанами. Своим фасадом он не бросался в глаза, но выглядел вполне прилично, хотя было видно, что не ремонтировался он, вероятно, с царского времени.

Шрагин нажал кнопку звонка возле двери с накладными деревянными завитушками. Подождав немного, он позвонил еще раз.

Никто не отзывался. Наверно, в дом есть черный ход со двора, а этот, парадный, может, и вовсе не работает. Шрагин прошел вдоль дома и через калитку в узорчатых железных воротах попал во двор, который больше был похож на сад. Обойдя дом, он постучал в низенькую дверь. Она тут же открылась, и Шрагин увидел высокую женщину с замысловатой прической из седеющих волос, с дряблым лицом.

— Вам кого?— спросила она без всякой тревоги.

— Прошу прощения, я ваш новый сосед,— сказал Шрагин.

— Наконец-то! Заходите!— Женщина пропустила Шрагина мимо себя и заперла дверь.

Они прошли в небольшую переднюю парадного входа. Здесь стояли ломберный стол и два кресла. Пол покрывал потертый ковер.

— Вы Эмма Густавовна?— спросил Шрагин.

— Да, я Эмма Густавовна Реккерт,— с достоинством ответила женщина.

— В горжилотделе мне приказали жить с вами в мире и согласии,— улыбнулся Шрагин.— Меня зовут Игорь Николаевич.

— Вы извините меня, но раз уж я ответственный съемщик, я хотела бы видеть ордер,— немного смущаясь, сказала Эмма Густавовна.

Она внимательно прочитала бумажку и подозрительно поглядела на Шрагина.

— Вы получили его, когда прежний жилец еще жил здесь?

— Да, он почему-то тянул с переездом, а главное, я сам задержался...— небрежно сказал Шрагин, отметив про себя внимательность женщины к таким формальным мелочам.

— Ну что же, будем знакомы,— сказала Эмма Густавовна.— Ваша комната вот там, последняя дверь налево. Ключ висит на гвоздике. Там же и ключ от парадного. Должна предупредить, что мебель в комнате, какая она ни есть, принадлежит мне. Прежний жилец платил мне за нее десять рублей в месяц.

— Я последую его примеру,— улыбнулся Шрагин.

Комната оказалась довольно большая. Открыв штору затемнения, Шрагин увидел, что окно выходит во двор. Старинная деревянная кровать, стол, кресло и стул. Шкаф с зеркальной дверцей. На полу у кровати коврик с вышитыми на нем козликами. Все эти вещи уже давно несли свою службу людям, и если они выглядели еще вполне прилично, то только потому, что люди, которым они служили, были бережливы и аккуратны.

В дверь постучали.

— Хочу показать вам места общего пользования,— сказала Эмма Густавовна из коридора. Когда Шрагин вышел, она повела его, как экскурсовод по музею.— Вот эта дверь — в кухню, слева у парадного — ванная и туалет,— объясняла она.— Дрова для подогрева колонки и для кухонной плиты лежат в чулане, вон та дверь. Кстати, за дрова прежний жилец тоже рассчитывался со

мной. Впрочем, он пользовался ими непонятно редко — я имею в виду для ванны.

— Вероятно, он предпочитал одиночеству в ванной общество в бане,— рассмеялся Шрагин.

— Вероятно,— улыбнулась Эмма Густавовна.

Приготовив постель, Шрагин прошел в ванную и долго блаженствовал там под тугим холодным душем. Возвращаясь, он погасил свет в коридоре и на ощупь пробирался в свою комнату. И вдруг он услышал молодой взволнованный женский голос:

— Мама, это же ужасно, как ты не понимаешь этого!

«Здесь ее дочь»,— озадаченно констатировал Шрагин. Это было непредусмотренным осложнением. По имевшимся в Москве сведениям, студентка консерватории Лиля Реккерт, когда началась война, поступила на курсы медсестер и уезжать к матери не собиралась. В этом новом обстоятельстве следовало немедленно разобраться.

Шрагин постучал в дверь, из-под которой пробивался свет.

— Пожалуйста,— услышал он голос Эммы Густавовны и вошел в просторную комнату, которая, судя по обстановке, была гостиной. Посреди комнаты стоял рояль из красного дерева. У стены — целый строй стульев с плюшевыми сиденьями и маленький диван с резной спинкой. За круглым столом в глубоких креслах друг против друга сидели Эмма Густавовна и светловолосая девушка с заплаканным лицом.

— Простите, пожалуйста,— виновато улыбнулся Шрагин,— но оказалось, что у меня нет спичек.

— Лили, принеси, пожалуйста, возьми у меня на туалете,— сказала Эмма Густавовна. Когда девушка принесла спички, Эмма Густавовна сказала Шрагину:— Кстати и познакомьтесь, это моя дочь Лили.

— Очень рад. Игорь Николаевич.

— Лиля,— девушка подчеркнуто иначе, чем мать, назвала свое имя и, кивнув Шрагину, отошла к окну. Ей было лет двадцать, может, чуть больше. Светлые волосы гладко зачесаны и на затылке завязаны тугим узлом. На болезненно бледном ее лице резко выделялись большие серые глаза, снизу подчеркнутые синеватой тенью, а сверху — золотистыми пушистыми бровями. Внешность у нее была привлекательная, но красивой ее назвать было нельзя. Чувствовалась какая-то нервная напряженность во всем ее облике.

Эмма Густавовна вздохнула и тихо сказала:

— Вот остались мы с ней вдвоем и, что с нами будет, не знаем, не ведаем.— Она подняла взгляд на Шрагина, ожидая, что он скажет, но, не дождавшись, спросила:— Но и вы как будто уезжать не собираетесь?

Шрагин заметил, как Лиля требовательно и гневно посмотрела на мать.

— Да, я пока не уезжаю,— сказал Шрагин.— У меня вообще дикое положение.

— Посидите с нами,— предложила Эмма Густавовна и показала на кресло.— Видишь, Лили, товарищ тоже не уезжает...

— Это его дело,— отозвалась Лиля, продолжая стоять у окна.

— Это верно, каждый за себя решает сам,— подхватил Шрагин.— Но мой случай действительно дикий. Представьте себе, меня только что перевели сюда на завод из Ленинграда.

— Из Ленинграда?— радостно встрепенулась Лиля и подошла к столу, не сводя глаз со Шрагина.

— Да, из Ленинграда, а что?— спросил он.

— Это мой самый любимый город на свете,— тихо сказала девушка.

— Не забывай, Лилечка, что ты на всем свете знаешь только два города,— наставительно заметила Эмма Густавовна.

— Ах, мама, ничего ты не понимаешь!— устало произнесла Лиля и села в кресло.

— Да, так вот...— продолжал Шрагин.— Вопрос о моем переводе был решен еще до войны. Но наркомат тянул бумажную волынку, и практически меня оформили на здешний завод только вчера.

— Вот уж вовремя так вовремя!— покачала головой Эмма Густавовна.

— И всем здесь, понятно, не до меня. Но тем не менее кто-то все же обязан сказать мне, как я должен поступить?

— Вы что, хотите, чтобы вам кто-нибудь напомнил, что вы советский человек и рассчитывать жить тут при фашистах не имеете права?— насмешливо спросила Лиля.

— Лили, прекрати, пожалуйста!— по-немецки сказала Эмма Густавовна.

— Во всяком случае,— тоже по-немецки заговорил Шрагин,— вы, Лиля, не имеете никаких оснований думать обо мне скверно, а тем более говорить.

— Тогда мне остается только предполагать,— иронически и тоже по-немецки сказала Лиля,— что вас оставляют здесь партия, правительство и лично товарищ Сталин.

То, что они перешли на немецкий, почему-то сразу обострило разговор.

Шрагин встал:

— Прошу меня извинить...

— Игорь Николаевич, пожалуйста, не уходите!— взмолилась Эмма Густавовна.— Хоть вы, может быть, поймете и пожалеете старого человека. Уже третий день мы с дочерью мучаем друг друга. Мне трудно...— Ее голос задрожал, и из глаз потекли слезы.

Лиля подбежала к ней, прижалась щекой к ее лицу.

— Мама, мамочка, но я сама не знаю, что делать! Успокойся ради бога!

Эмма Густавовна вытерла слезы кружевным платком и виновато улыбнулась Шрагину:

— Видите, какая у нас неврастеническая квартира.

— Я сам виноват, ворвался в ваш разговор...

— О! Она всегда такая! — воскликнула Эмма Густавовна, перебивая Шрагина. — Ведь она весь мир, всю жизнь видит только в двух красках — черной и белой. Она мне говорит: «Ты советский человек, ты должна отсюда бежать». И ей не понять, что я не могу бежать от могилы моего мужа, ее отца. Все, что было в моей жизни хорошего, прошло в этом городе, в этом доме. Она этого не понимает.

— Мамочка, а ты не хочешь понять меня! — страстно заговорила Лиля. — Ты человек пожилой, с тебя нет спроса. А что будет со мной? Идти работать на фашистов?! Лучше смерть! Бежать, оставив тебя одну?.. — Она подождала ответа и воскликнула с тоской: — Хоть бы кто-нибудь понял мое состояние!

— Глупенькая, пусть они сюда являются, нас это не касается. Мы будем с тобой вдвоем и останемся честными людьми. И раньше были войны, и раньше занимали города, но разве все жители этих городов автоматически становились предателями? — Эмма Густавовна улыбнулась Шрагину. — Может, останется с нами и наш новый сосед. А, Игорь Николаевич?

— Увы, Эмма Густавовна, я в своих поступках не волен — я подчиняюсь приказу, который я должен в конце концов получить. — Шрагин посмотрел на часы. — Но я отлично понимаю всю сложность вашего положения. Понимаю и вас и Лилю. Я бы очень хотел вам помочь, но как? А теперь я должен идти, извините. Мне очень рано вставать. Спокойной ночи.

Вернувшись в свою комнату, Шрагин думал не о Лиле и ее матери, а о том, что в общем квартира, кажется, подобрана удачно...

ГЛАВА 4

Шрагин проснулся, как по будильнику, без семи минут шесть. Раздернул на окнах шторы и замер. Ему показалось, что он уже видел, и не однажды, и этот сад и это по-южному дремотное утро, когда солнце уже осторожно скользит по верхушкам деревьев, а на земле еще лежат синие пятна теней — следы, оставленные ночью. Шрагин грустно улыбнулся, это же Ольгины слова — «следы, оставленные ночью». И он уже знал, что сейчас за окном совсем не тот сад, который привиделся ему в первое мгновение. Тот сад — в Ялте, был он перед окнами дома отдыха, в котором Шрагин в прошлом году проводил свой медовый месяц с Ольгой. Они любили в такой вот ранний час сидеть на подоконнике, раскрыв в сад окно, смотреть, как рождается день, и разговаривать шепотом. Однажды Ольга показала на пятна теней под деревьями и таинственным шепотом сказала: «Смотри, это следы, которые оставила ночь. Ты же ловец шпионов, ты только так и должен все видеть...» Черт побери, какой это был радостный месяц! Наверное, за всю свою жизнь они не посмеются столько, как за тот май. Как невообразимо далеко все это!..

Шрагин осторожно открыл окно, и в комнату вместе с прохладным, пряно пахнущим воздухом ворвался отдаленный грохот, похожий на гром. Воспоминания отброшены, его мысли устремлены вперед, в начинающийся новый день, полный неизвестного. Шрагин стал быстро одеваться.

Прежде всего — на завод.

Смертный приговор, о котором говорил директор, еще не был приведен в исполнение. Возле стапелей сидели солдаты, некоторые из них, сняв рубахи, подставили солнцу спины. «Исполнители приговора»,— подумал Шрагин. Тысячи людей годами, как трудолюбивые муравьи, строили завод, потом на этом заводе строили красивые, могучие корабли. И вот пришли саперы, и они, тоже люди, где-то что-то строившие, заложили взрывчатку и теперь, греясь на солнышке, ждут приказа, чтобы в одно мгновенье превратить завод в груду развалин. Но иначе поступить нельзя: подарить врагу такой завод означало бы подарить ему свою силу, которая тут же станет смертью тысяч и тысяч наших людей. Невероятная логика войны.

Директор завода стоял у входа в заводоуправление с тем самым капитаном инженерных войск. Когда Шрагин подошел к ним, директор только мгновенье недоуменно смотрел на него, а затем спросил:

— Ну, что хорошего скажешь нам?

— Ничего.

— А хотелось бы...— вздохнул директор.— Ночью я задремал на диване в горкоме и вдруг вижу — входит генерал и говорит: «Все в порядке, директор, прогнали мы Гитлера, давай запускай завод...» Очнулся, а передо мной стоит он...— директор кивнул на капитана.— Стоит и спрашивает: «Где полковник Стеблев?»

Капитан согнулся, подтянул брезентовые голенища сапог и сказал, будто извиняясь:

— Служба такая.

— Зверская у тебя служба, капитан,— убежденно сказал директор, точно не понимая всей бессмысленности своих слов, и обратился к Шрагину: — В общем чуда не будет, и ты, честно говоря, больше мне не нужен. Ты без семьи? Ну и хорошо. Иди к мосту и подсаживайся к кому придется. Не думай, не думай, действуй. Сегодня попутный транспорт еще будет...— Он протянул Шрагину руку.— Действуй!

Шрагин зашел в дирекцию и позвонил в управление НКВД подполковнику Гамарину.

— У меня к вам просьба,— умышленно не здороваясь, сказал он.— Сегодня днем, как условлено, я встречаюсь со своими товарищами, но до этого мне хотелось бы с кем-нибудь из них поговорить.

— Как раз у меня сейчас Григоренко,— сказал Гамарин.— Куда ему подъехать?

— Я прошу его через двадцать минут быть на углу Советской и Херсонской.

— Ясно. Больше вам ничего не нужно? — спросил Гамарин.

— Нет. Спасибо.

Когда Шрагин подходил к условленному месту, он еще издали узнал Григоренко, хотя никогда до этого его не видел. На перекрестке стоял, поглядывая во все стороны, франтовато одетый молодой человек. На нем был новый габардиновый плащ стального цвета, серая шляпа и ярко-желтые туфли. Шрагин нарочно не условился о приметах и теперь, замедлив шаг, с любопытством наблюдал за парнем. Проходя мимо него, Шрагин встретился с ним глазами, не подав никакого знака. Но когда, сделав несколько шагов, оглянулся, он увидел, что парень его нагоняет.

— Нет ли у вас спички, товарищ? Извините, конечно...

— Я не курю, — ответил Шрагин. И подумал: интересно, как поведет он себя дальше?

Лицо у парня приняло лукавое выражение, и он сказал:

— А я, кажется, вас знаю. Вас случайно не зовут Игорем Николаевичем?

— Нет.

— Смотри, обознался! — сокрушенно произнес парень. — Извините...

— Вы Григоренко? — спросил Шрагин.

— Да!

— Идите за мной...

Вскоре они уже сидели вдвоем в укромном уголке, недалеко от дома, где жил Шрагин.

Шрагин молчал, бесцеремонно разглядывая парня, который вдруг засмущался и сердито швырнул наземь только что закуренную папиросу:

— Не могу к куреву привыкнуть, хоть убей...

Парню было года двадцать четыре, не больше. Лицо у него какое-то странное: вроде и красивое, а чем-то и неприятное, как будто и простецкое, а вместе с тем хитроватое. Светло-серые его глаза смотрели прямо, даже нагловато, а то вдруг начинали бегать, прятаться. Его широкая грудь распирала шелковую полосатую рубашку, повязанную ярко-желтым, как туфли, галстуком. Пока Шрагин знал о нем только одно: воспитанник спецшколы НКВД.

— Как вас зовут?

— Миша... Михаил, — поспешно ответил парень.

— Полностью, пожалуйста.

— Григоренко Михаил Филиппович, — четко ответил парень, и Шрагин заметил, что он хотел, как положено военному, встать, но не встал.

— А я Шрагин Игорь Николаевич. Вы раньше не курили?

— Не довелось. Только теперь.

— Покажите ваши папиросы.

Григоренко вынул из кармана коробку «Герцеговины Флор», раскрыл и протянул Шрагину:

— Прошу.

Шрагин закрыл коробку и спросил:

— Как вы думаете, в этом городе курит кто-нибудь, кроме вас, эти папиросы?

— Да тут таких и нет вовсе,— не без гордости ответил Григоренко.— Это же нам в рацион дали, еще в Ленинграде.

— Тогда, значит, эти папиросы являются безошибочной вашей приметой. Кроме того, когда человек курит, не получая от этого удовольствия, это всем видно и при определенных обстоятельствах может стать подозрительным и тоже приметой.

— Ясно, Игорь Николаевич,— покраснел Григоренко, и это его смущение понравилось Шрагину.

— И вообще что это вы так вырядились?

— Так нас всех обмундировали еще в школе,— ответил Григоренко, и в глазах у него появились веселые искорки.— Вид, как у интуристов.

— Все так одеты?

— Как один с иголочки. На вешалке путаем плащи и шляпы,— рассмеялся Григоренко.

Шрагин заставил себя помолчать — в конце концов не Григоренко повинен в этом безобразии.

— Пока мы сюда добирались, нас два раза в милицию заметали,— продолжал Григоренко.— Смеху полные штаны.

— Как вы узнали меня на улице?— спросил Шрагин.

— По описанию подполковника Гамарина.

— Молодец,— похвалил Шрагин и спросил:— Из гостиницы выбрались?

— Выбраться-то выбрались, а вот как устроились — неизвестно. Но я лично уже давно живу на частной.

— Где?

— Подыскал себе квартирку что надо,— подмигнул Григоренко.— Я же прибыл сюда с женой. А в гостинице жен не предусмотрели. Тогда мы с ней сняли комнатку у одинокого пенсионера, чин по чину прописались. Завтра жена отбудет, так сказать, в порядке общей эвакуации членов семей местных сотрудников, а я останусь в комнате один и на полных правах. Мне туда уже и продуктов забросили, считай, год вся группа сыта будет,— добавил Григоренко.— Целую машину привезли.

— Кто привез?

— Как кто?— удивился Григоренко.— Солдаты из дивизиона НКВД.

— И соседи это видели?

— Кто глядел, тот видел,— беспечно ответил Григоренко.

— Если кто-нибудь из соседей спросит, откуда продукты, говорите, что купили налево и больше ни в какие объяснения не вступайте.

— Порядок, Игорь Николаевич.

— Как настроение?— спросил Шрагин.

— Боевое, Игорь Николаевич, скорей бы в дело. Руки чешутся.

— Было бы лучше, если бы чесались мозги, а не руки,— чуть улыбнулся Шрагин.

— Сознание тоже начеку. За всех, конечно, не скажу, но я лично страха не испытываю, дам фрицу прикурить, будьте уверены!

— А все остальные что, трусят?— спросил Шрагин, которому не понравились и бодрый легкий тон Григоренко и его слова «за всех, конечно, не скажу».

— Да ведь каждый человек, Игорь Николаевич, построен по персональному, так сказать, проекту. И что кому запроектировано, поди узнай, пока с ним соли не наглотаешься.

Шрагин молчал. То, что говорил Григоренко, было в общем правильно, но плохо было то, что он отделял себя от товарищей. И в то же время было ясно, что сам он пока поступил разумнее других.

— Игорь Николаевич, вы всегда говорите мне, как лучше действовать,— сказал Григоренко и засмеялся.— Вы ведь не знаете, я как патефон: что на пластинке записано, слова не выпадет. Меня в школе так и звали —«Миша-патефон»...

— Хорошо. Пока не забудьте, что мы собираемся сегодня в четырнадцать ноль-ноль.

Вернувшись домой, Шрагин хотел спокойно подумать о предстоящем разговоре с товарищами по группе, но услышал тихий стук в дверь.

— Да,— недовольно отозвался он.

Это была Лиля. Смотря в сторону и краснея, она быстро сказала:

— Я хочу извиниться перед вами... за вчерашнее.

— Ерунда. У всех нервы не в порядке, я тоже, знаете...— улыбнулся Шрагин. Он хотел в этот момент только одного — чтобы она поскорее ушла и не мешала ему. А она переступила порог и закрыла за собой дверь.

— И все-таки я не знаю, что делать,— тихо произнесла она.

— Одно из двух: или уезжать, или оставаться,— сказал Шрагин.

— Значит, вы допускаете или — или?

— Допускаю,— ответил он, серьезно смотря ей в глаза и повторяя про себя: «Уходи, уходи, нет ни минутки. Уходи».

Казалось, Лиля услышала его, она резко повернулась и выбежала из комнаты...

Перед встречей с товарищами Шрагин с теми же предосторожностями зашел в управление. Полковник Бурмин выгребал из своего сейфа папки и запихивал их в фельдъегерские брезентовые мешки.

— Остаешься?— спросил он Шрагина вместо приветствия.

— Что на фронте?— ответил Шрагин тоже вопросом.

— Всюду плохо, а у нас так просто табак. Может, уже завтра

к ночи все кончится. Наши семьи уезжают сегодня, а мы завтра утром. А ты?

— Остаюсь.

— Я думал о тебе...— говорил Бурмин, продолжая распихивать папки по мешкам.— Я все, майор, понимаю: остаешься ты здесь голый и на голом месте, и мы в этом тоже очень виноваты. Но кто мог подумать, что мы не провоюем и двух месяцев — и отдадим юг? Да еще неделю назад я и подумать не мог, что придется вот так сейфы вытряхивать. Ни пяди чужой и тем более своей — вот какая была программа. А теперь свою землю отдаем целыми областями, да еще кровью своей поливаем. Впрочем, тебе это вдруг да и поможет? Немцу небось в голову не придет, что на его пути вдруг станет какой-то майор Шрагин с горсткой людей. В общем, не поминай нас лихом, и желаю удачи. Был бы я помоложе да меньше бы меня здесь знали, ей-богу, остался бы тоже...

Шрагин разволновался. В Москве в спешке с ним не смогли даже попрощаться как следует. И только здесь, от этого усталого пожилого полковника, он услышал человеческие слова, которые так были нужны ему сейчас.

— Спасибо, товарищ полковник,— тихо произнес Шрагин и подошел близко к Бурмину.— Ведь, может, и не увидимся?— так же тихо спросил он.

— Выживем, так увидимся,— буркнул полковник, который, сидя на корточках, застегивал пряжки на мешке. Он поднялся, отпихнул мешок ногой и протянул Шрагину руку.— До встречи, майор, до встречи.

— До встречи, товарищ полковник,— сказал Шрагин, крепко сжав широкую руку Бурмина...

Спустя час состоялась его встреча с участниками группы.

Готовясь к ней, Шрагин отлично понимал, что его рассказ о предстоящей работе будет чисто умозрительным, и теперь даже не пытался делать вид, будто знает что-то такое, чего не знают его товарищи. Самое ценное в этой встрече — возможность хоть немного узнать друг друга. Так вот вышло, что, может быть, завтра им идти вместе на смерть, а они сегодня только впервые увидятся...

— Прочно осесть в городе — наша первая и очень важная задача,— сказал он.— После прихода сюда немцев минимум месяц мы ничего не делаем. Забудем, кто мы. Более того, мы люди вне политики. Нам все равно: хоть сам черт у власти, лишь бы сытыми быть. Но каждый из нас может оказаться в ситуации, когда полезно стать и сочувствующим новой власти. Но тут опасно переиграть. Словом, первый месяц — на изучение каждым своей ситуации и для выработки своей позиции. Затем по моему сигналу вступит в действие известная вам схема связи номер один.

А теперь я хочу побеседовать с каждым из вас в отдельности...

ГЛАВА 5

Первым в кабинет вошел высокий парень с каким-то неуловимым выражением лица. Шрагин сначала не понял, в чем дело,— парень явно старался не показать ему своих глаз.

— Рубакин, Анатолий Рубакин,— глухим тенорком представился парень, смотря себе под ноги.

— Садитесь, товарищ Рубакин. Мне бы хотелось услышать, что вы думаете о предстоящей нам работе.

— Ничего я не думаю, товарищ майор,— Рубакин первый раз поднял глаза на Шрагина, и с этого момента на лице его появилось выражение решительности.— Делайте со мной, что хотите, но я не считаю себя способным для этой работы.

— Боитесь?

— Да. И считаю себя не способным.

Все, что говорил этот человек, было так неожиданно, так неправдоподобно, что Шрагин молчал, не находя слов.

— Мне кажется, что вам лучше обнаружить труса сейчас, а не позже,— решительно продолжал Рубакин.

— Но о чем же вы думали, когда шли в спецшколу и собирались стать чекистом?— спросил, наконец, Шрагин.

Рубакин стал с готовностью объяснять:

— Я после семилетки был шофером, но работал мало, имел успех в самодеятельности, у меня тогда тенор прорезался. Мечтал стать артистом. И вдруг меня вызвали и сказали: вот тебе почетная путевка в спецшколу, давай оправдывай доверие и так далее. Как тут откажешься, товарищ майор?

— Почему же вы молчали, когда вас включали в группу?— спросил Шрагин.

— Опять струсил, товарищ майор.

Шрагин долго молчал, смотря в окно, на пустынную улицу.

— Идите к подполковнику Гамарину,— наконец сказал он,— пусть он включит вас в эвакуацию.

— А куда мне явиться... там?

— Куда прикажет совесть. Идите...— брезгливо и с нетерпением ответил Шрагин, смотря на Рубакина и уже не видя его...

В кабинет вошел плотный низкорослый парень с крупной головой, увенчанной копной каштановых вьющихся волос. Прикрыв за собой дверь, он вытянулся, четко, по-военному прошагал к столу, остановился и громко отрапортовал:

— Харченко Павел Петрович.

— Садитесь, товарищ Харченко. Давайте потолкуем о нашей будущей работе.

Харченко сел, провел рукой по своим пышным волосам и, вздохнув, сказал:

— Поздно вы приехали, товарищ майор. Хотя бы на недельку раньше.

— Надеюсь, вы не думаете, что я задержался умышленно?

— Та ни,— с добродушной украинской интонацией ответил Харченко.— Все мы под приказом ходим. Но как теперь успеть исправить то, что наворочено?

— Что вы имеете в виду?

— Ну вот дали нам здесь новые паспорта, таки новеньки, аж скрипят,— Харченко обнажил крупные белые зубы, но непонятно было, улыбается он или злится.— Поставили в них прописку и штамп о работе. Я еще в гостиницу не въезжал, пошел по своей прописке, а там — учреждение. Еще хуже со штампом о работе. У меня, например, пометка, что я работаю на кожевенном заводе. Сходил я и туда. Заводик маленький, рабочих и сотни не будет. А вдруг немцы прикажут всем явиться по месту их прежней работы? Я явлюсь, а меня там никто не знает и я никого не знаю. А кроме того, у меня нет никакой кожевенной специальности. Неужели некому было подумать об этом?

— Подождите. И у всех так?

— Кроме Григоренко, он получил паспорт без штампа о работе.

— Молодец, я вижу, этот Григоренко.

— Не без того...— согласился Харченко, но в его интонации Шрагин почувствовал иронию.

— Он и в гостиницу не полез,— сказал Шрагин.

— А мы что, хотели туда? Ему из-за жены подвезло. Нам приказали, и все.

— А сами вы разве не понимали, что это подрывает конспирацию?— спросил Шрагин.

— Поначалу не понимали,— откровенно сознался Харченко.— Думали ведь, что до сдачи города вагон времени и что мы еще успеем нырнуть в гущу.

— А ваши костюмы? А участие в облавах?

Харченко насупился и, глядя на Шрагина из-под косматых бровей, сказал:

— Лично я в облавах участвовал с полным сознанием и удовольствием. Вот так. И давайте, Игорь Николаевич, поговорим напрямоту. По оперативным дисциплинам я в спецшколе был первый отличник. Вот так. А что из этого? Разве кто думал, что так все дыбом перевернется? И спешка и ошибки — разве все это по злу или по дурости? Вот вы вроде обиделись, что я сказал про ваше опоздание сюда, сказали, что это неумышленно получилось. Так же и со всеми нашими бедами. Вот так, Игорь Николаевич. И в Москве небось не все идет как по нотам. И давайте сейчас вместе налаживать дело, а не виноватых искать. У меня, если разрешите, есть разные мыслишки, как нам половчее к городу прижиться...

Следующим собеседником Шрагина был Федорчук, плечистый увалень с голубыми добрыми глазами, обрамленными густыми белесыми ресницами. Густые светлые волосы зачесаны назад. Руки молотобойца. Держится спокойно, непринужденно, говорит неторопливо, точно...

— Как вы расцениваете наше положение? — спросил для начала Шрагин.

— А никакого положения еще и нет. Есть только глупости, которые могут его осложнить.

— Надо же, наконец, принимать меры предосторожности.

— Я лично их уже принял. Поскольку я отвечаю за взрывчатку и оружие, сегодня ночью мы с Харченко все перепрячем. Одно недостроенное здание нашли. В подвал — надежно. И как раз там же, по соседству, я и жилье себе нашел.— Федорчук неожиданно улыбнулся.— Только вот вроде жениться придется. Как вы на это посмотрите?

— Кто она?

— Хорошая девушка, наша полностью.

— А почему остается в городе?

— Ее комсомол оставляет. Но она и нам будет полезна. Немка из колонисток. Язык знает. Бойкая. Вы, товарищ майор, в ней не сомневайтесь, я познакомился с ней не вчера.

— Позавчера?

— В самый первый день приезда, товарищ майор.

— Так что же, вы женитесь всерьез?

Федорчук ответил не сразу, щеки у него порозовели, он сморщил лоб и долго с выражением страдания смотрел куда-то в угол.

— Не знаю, поверите ли вы, товарищ майор,— сказал он.

— Да вы прямо скажите: брак у вас будет фиктивный или настоящий?

— У меня жена есть, товарищ майор. И двое сынишек, малыши. И они для меня — все...— Федорчук все больше краснел и морщил лоб, подыскивая слова.— Ну вот... А эта девушка — одна на всем свете, а жених ее в армии. И он для нее тоже — все. Так что в этом вопросе у нас с ней полная ясность. Но сегодня же, если вы не будете возражать, мы с ней чин по чину запишемся в загсе.

— Загс-то, наверно, эвакуировался...

— Штампик в паспорте поставить проще простого. Сделают здесь, в управлении. Я уже говорил...

— Вы в ней уверены?

— Как в себе, товарищ майор. Надо только с горкомом партии договориться, чтобы потом комсомольцы ее не требовали. Так что вы уж поверьте, товарищ майор, у нас с ней все только для дела.

— Про себя ей рассказывали?

— Да что вы, товарищ майор? Тут у нас с ней единственная трудность. Понимаете ли, она вербует меня в комсомольское подполье. И я, так сказать, поддаюсь помаленьку. И пока суд да дело, я с ней немецкий язык совершенствую.

— Какое у нее жилье?

— Была одна комната в маленьком домике, а теперь сосед эвакуировался, и получился совсем отдельный дом. Даже садик свой. Но главное, товарищ майор, чтобы вы поверили, что во всем этом нет ничего, кроме нашего святого дела. Ни-че-го!..

Федорчук все больше нравился Шрагину.

— Расскажите мне коротко свою биографию,— попросил он.

— Из рабочей семьи. Три года без толку томился, все работу по душе искал,— охотно начал рассказывать Федорчук.— А тут армия. Попал в саперы. Потому мне теперь и взрывчатку доверили. Вернулся домой, стал работать в милиции. А между прочим, еще в армии я увлекся тяжелой атлетикой, даже разряд получил. Дома меня сразу в спортивное общество «Динамо». Попал на динамовское соревнование в Ленинград, взял второе место, и меня назначили в спецшколу инструктором по физкультуре. А я как пригляделся, подал заявление, чтобы взяли курсантом. Вот и вся моя биография...

Шрагин попросил Федорчука охарактеризовать участников группы.

— Это занятие не для меня, я к людям очень доверчивый.

— Это опасно.

— Согласен, я еще до войны сделал для себя этот вывод. Что сказать о людях группы? Все мы одного покроя, вместе учились. Ну, а если по-человечески, больше всех мне по душе Харченко.

— Почему?— спросил Шрагин.

— Да по всему,— коротко ответил Федорчук и, видя, что Шрагин ждет более подробного ответа, добавил:— Безотказный, работу любит, любую, я еще в школе приметил. Знаете, есть такие люди: пошли их в ад печи топить, они слова не скажут, поедут в тот ад и будут те печи топить. Работа так работа... Мы и тут держимся с ним на пару, и, если можно, учтите это на будущее...

Новым собеседником Шрагина был худощавый, нервный паренек. Он вошел моряцкой походкой вразвалочку, но тут же спохватился и пошел ровнее.

— Явился для беседы,— сказал он бойко и при этом покраснел. Было видно, что он старается держаться независимо и в то же время он чисто по-мальчишески боится произвести плохое впечатление.

— Моя фамилия Дымко... Сергей Дымко... Сергей Николаевич Дымко... Это если полностью,— говорил он быстро и сбивчиво, прямо смотря на Шрагина, будто желая знать уже сейчас, какое впечатление он произвел. Но так как Шрагин выжидательно молчал, он продолжал:— Начал я жизнь беспризорником... Сиротой остался... Ну, конечно, детдом, учеба... Первичная, так сказать. Там же вступил в комсомол. По путевке комсомола строил московское метро. Не я один, конечно, строил. Оттуда послали в спецшколу. Учился ничего. Бывало, конечно, и срывался. Но когда зашла речь о создании нашей группы, я вызвался первым, вернее, одним из первых.

— Вы представляете себе, чем мы будем заниматься?

— Конечно, представляю,— уверенно ответил Дымко и тут же поправился:— В общих чертах, конечно.

— А к чему у вас больше лежит душа?

— Как к чему? — смешался Дымко.

— К диверсии, разведке, пропаганде?

— Что прикажете, то и буду делать,— выпалил Дымко, явно избегая разговора о предстоящей работе.

«Парень ты хороший,— думал о нем Шрагин.— Но зачем тебя решили сделать разведчиком, никто не знает, а сам ты — тем более».

— Это моя беда, я не умею сразу произвести хорошее впечатление,— огорченно сказал Дымко, будто разгадав мысли Шрагина.— И знаете, это началось еще в детдоме. Но поверьте, всегда со временем выяснялось, что я не такой уж плохой, честное слово. А может быть, это мое свойство как-нибудь пригодится?— с надеждой спросил он.

— Ничего, не боги горшки обжигают. Будем работать,— сказал Шрагин.

Глаза у Дымко радостно вспыхнули, и Шрагин подумал, что он сейчас скажет что-нибудь выспреннее, ненужное, но Дымко промолчал...

Парень, который пришел после Дымко, был неразговорчив, каждое слово приходилось вытягивать клещами.

— Ястребов Алексей Васильевич,— представился он, а потом на все вопросы отвечал только: «да», «нет», «не знаю». У него было открытое, простоватое лицо, и только светло-серые глаза, которыми он в упор смотрел на Шрагина, таили в себе пока еще непонятную силу характера. Шрагин не терпел болтливых людей, но, сталкиваясь с людьми молчаливыми, всегда стремился разгадать, отчего у человека замкнутость. Далеко не всегда это выражает характер человека. Сейчас он осторожно выспрашивал Ястребова о его жизни, учебе в спецшколе, об отношениях с товарищами по группе и, слыша односложные его ответы, видел, что не жизнь сделала этого парня таким сдержанным. Его биография была прямой и чистой, как взгляд его светло-серых глаз. Значит, все дело в характере, а такой характер для разведчика — ценнейшее качество.

Шрагин спросил, любит ли он свою чекистскую работу.

— На эту работу, товарищ майор, без любви вряд ли так просто пойдешь,— убежденно и с хорошей злобинкой ответил Ястребов.

— А вы что же, так вот, сразу эту работу и полюбили?

Ястребов долго не отвечал.

— Батя мой — украинский большевик,— сказал он наконец.— Его на глазах у матери немцы убили... в восемнадцатом году. Мне тогда и трех лет не было...

Следующим пришел Семен Ковалев. Он был выше среднего роста, широкий в плечах, но немного сутулый и оттого казался неуклюжим. Он уже успел избавиться от казенной одежды, на нем были разномастные пиджак и брюки, заправленные в резиновые рыбацкие сапоги с отвернутыми голенищами. Все это сидело на нем ладно и естественно, прямо заскочил сюда человек, идя на рыбалку...

— Вид у вас отменный,— похвалил его Шрагин.

— Натерпелся с этим. Первый раз, знаете, на рынке менялу изображал. Но вроде спецовочка получилась ничего.

Шрагин попросил его рассказать о себе.

— Из крестьян я, из потомственных плотников,— говорил он, мягко окая.— Мне бы дома строить, а не это...— он подмигнул.— Но раз уж груздем назвался, надо лезть в кошелку. Так что давайте задание — выполню все, что будет по силам. А надо, так и через силу...

— Что вам больше с руки?— спросил Шрагин.

— Что-нибудь такое, товарищ майор, чтобы немца бить издали и в разговор с ним не вступать,— спокойно и неторопливо ответил Ковалев.— Говорить с ним, наверно, не смогу. И не оттого, что языка не знаю. Просто выдержки не хватит. А вот, к примеру, сбросить под откос поезд — это я готов. И если их там хоть с полсотни сгинет, тогда и самому умереть будет не жалко.

— Ну что же, пристраивайтесь к железной дороге. А только погибать не надо, и менять вас на полсотни фашистов не выгодно.

— Я и не спешу. Я хотел только, чтобы вы знали: перед смертью не дрогну,— просто сказал Ковалев.

— Демьянов Иван Спиридонович,— густым басом представился следующий участник группы, аккуратный, подтянутый мужчина, на котором даже нелепая казенная одежда выглядела ладно и не бросалась в глаза. Он был постарше всех, с кем уже беседовал Шрагин, и в нем сразу же обнаруживалась военная косточка. А спустя несколько минут Шрагин уже знал, что перед ним человек с опытом чекистской работы, который хорошо представлял, чем будет заниматься группа. Шрагин даже подумал, что надо будет иметь его в виду как своего преемника на случай беды. Шрагин спросил Демьянова, почему он в таком возрасте оказался выпускником спецшколы.

— Сколько раз я это объяснял людям!— сдержанно улыбнулся Демьянов.— Я уже шесть лет работал в органах и на седьмой обнаружил, что, если не подучусь, лучше мне в шоферы идти. Поверьте, пять рапортов написал, выговор получил за попытку отлынивать от работы, а все-таки прорвался. И не жалею...

Последним собеседником Шрагина был Егор Васильевич Назаров. Он родился и вырос в рабочей семье на берегу Волги, а похож был на южанина: смуглое лицо, угольно-черные волосы и глаза. А речь неторопливая, рязанская, со всякими самодельными приговорочками. И весь он был такой же неторопливый, скупой на движения.

— На заводе я проработал всего три года,— рассказывал он.— Так что я возле рабочего класса только слегка повертелся, вроде как торопливый гость на свадьбе. И сразу меня в спецшколу. Шел по грибы, а попал на охоту. Но ничего, кончил школу, получил звание. Но звание — это еще не знание, так что я стараться буду, но прошу и подсказать, когда требуется...— говорил он спокойно и даже с улыбочкой.

— Страха не испытываете? — прямо спросил Шрагин.

— Немного есть, конечно... — не успев стереть с лица улыбку, ответил Назаров. — Но умереть, товарищ майор, можно и от аппендицита, а в наш образованный век такая смерть, по-моему, страшнее. — Назаров опустил свои черные глаза, лицо его стало строгим. — Я знаю, товарищ майор, на что иду, но думаю не о смерти, а о борьбе с заклятым врагом, его смерть меня интересует, его, товарищ майор! — сказал он и опять улыбнулся, подняв глаза на Шрагина...

Пока снова все друг за другом входили в кабинет и рассаживались, Шрагин смотрел на них и думал: «Славный в общем народ подобрался. Но вряд ли вот так все соберемся... после...»

— Теперь я еще тверже уверен, дорогие товарищи, что нам по силам развернуть большую работу, — начал он и никак не мог выбросить из головы: «Вряд ли вот так все соберемся... после...» — Наше дело — разведка и диверсия. В отношении диверсии все ясно: выбираем цель покрупнее и наносим удары, чтобы врагу и не думалось о спокойной жизни. Разведка — это для всех нас ежедневная, кропотливая и предельно важная работа. Наш город и весь этот район — южный фланг немецкого фронта. Когда они пройдут дальше на восток, наш город окажется как бы изолированным от фронта и потому удобным для расположения здесь военных и административных служб. Большой судостроительный завод привлечет сюда морское начальство...

...Сейчас мы расстанемся, чтобы в дальнейшем видеться только по установленной системе встреч. Главное для всех — прочней осесть в городе. Нужно торопиться. Считайте, что на эти дела вам даны одни сутки. Григоренко я назначаю своим связным. Мои приказы, переданные через него, подлежат неукоснительному исполнению. Ко мне обращаться можно только через связного, и только я решаю, с кем из вас нужно встретиться лично. Повторяю: я уверен, что мы поработаем хорошо. А теперь идите, товарищи. Времени мало. За дело.

Прощались, как после обычного совещания. Короткое рукопожатие и привычные слова:

— До встречи.

— До свидания.

— Пока...

Был уже поздний вечер, когда Шрагин вышел на улицу. Город погрузился в кромешную темноту. Непрерывно и глухо слышался отдаленный рокот, будто где-то работал большой завод. Это была вплотную приблизившаяся к городу война, там работала ее ночная смена.

На перекрестке ждал, как условились, Григоренко. Некоторое время они шли вместе.

— Через три дня после захвата города каждый день смотрите мой сигнал о явке, — говорил Шрагин. — Схема номер один, запомните?

— Не беспокойтесь, Игорь Николаевич. Патефон...

— Больше никаких действий.
— Ясно, Игорь Николаевич.
— Все. До свидания.
Григоренко исчез в темноте...
Дома Шрагина ждали, усадили за стол ужинать. Увидев горячую с шипящим салом яичницу, Шрагин почувствовал такой голод, что ему нелегко было соблюдать приличие и есть спокойно. Он видел, что между Эммой Густавовной и Лилей установился мир. Однако ничто не говорило о сборах в дорогу.
— Ну как, Игорь Николаевич, ваши дела? Остаетесь?— спросила Эмма Густавовна.
— По-прежнему ничего не известно,— огорченно ответил Шрагин, незаметно наблюдая за Лилей.— Заводское начальство уже драпануло, и никто слова мне не сказал. Попробую завтра выбраться один, свет не без добрых людей.
Лиля сказала, подчеркивая каждое слово:
— А мы с мамой решили положиться на милость фашистов.
— Ну что же, бог не выдаст, свинья не съест,— усмехнулся Шрагин.
Эмма Густавовна с возмущением стала рассказывать о том, как на ее глазах какие-то люди грабили промтоварный магазин.
— Вот это самое страшное, самое страшное,— говорила она огорченно.— Немцы этого никогда не поймут, никогда.
— Ну что вы, они сами беспардонные грабители,— заметил Шрагин.
— Неправда!— воскликнула Эмма Густавовна.
— Мама!— предостерегающе крикнула Лиля.
— Ну да, ну да,— поправилась Эмма Густавовна.— Немецкие фашисты — это бандиты, но они ведь и не немцы. Во всяком случае, не те немцы, которые чтят Гёте и Шиллера.
— И Гейне,— добавил Шрагин.
— Ну нет, знаете,— с запалом возразила Эмма Густавовна,— Гёте нельзя равнять с Гейне. Гёте поэт Германии, а Гейне, если хотите, ее судья, а судьи никогда не бывают так популярны, как поэты.
— Да, пожалуй...— рассеянно проговорил Шрагин, думая в это время о том, что хозяйка совсем не так проста, как показалось ему раньше.
— Оставайтесь! Мама поможет вам разобраться в немцах,— насмешливо сказала Лиля.— Это же так интересно — выяснить, кто из них любит Гёте, а кто Гейне и почему.
— Ты, Лили, невыносима,— Эмма Густавовна прикоснулась пальцами к вискам и вышла из гостиной.
Лиля подняла голову. Глаза ее теперь были совершенно сухими, и она смотрела на Шрагина с мольбой.
— Оставайтесь,— шепотом сказала она.— Или возьмите меня с собой.
Шрагин смотрел ей в глаза и молчал.

— Я боюсь возненавидеть мать — единственно близкого мне человека на всей земле,— продолжала Лиля шепотом.— Это страшней всего. Понимаете вы это?

— Я все отлично понимаю. Но я же ничем не могу вам помочь,— сказал Шрагин.— Я ведь и сам в таком же положении...

Он встал, поблагодарил за ужин и ушел к себе. Ему хотелось сказать девушке что-то ласковое, успокоить ее, он видел, что она тяжело и мучительно страдает. Она не понимает, что за всю свою прошедшую и будущую жизнь держит сейчас самый ответственный экзамен на право называться человеком. По-человечески надо бы ей помочь. Но нельзя. Он не имеет права.

Шрагин уже хотел раздеться и лечь в постель, но вдруг подумал, что ни за что не заснет. Не зажигая света, он открыл окно и сел на подоконник. Мгновенно его обступили впечатления окончившегося дня, но они точно плясали вокруг него, и ни на одном из них он не мог сосредоточиться. В конце концов эта сумятица впечатлений вылилась в острое ощущение невероятности всего, что с ним происходит. Когда в Москве шла подготовка операции и потом, когда он мчался сюда, он просто не имел времени задуматься толком над тем, как он будет жить и работать в этом городе, он понимал только, что не может безмятежно полагаться на детальную ясность плана операции. И вот он здесь, и его работа уже началась. И все-таки невероятная работа! Его товарищи относятся к ней совершенно спокойно, как ко всякой другой, в глазах у них он не увидел и тени сомнения. Дезертир Рубакин не в счет. А сам он спокоен?.. Нет, он этого сказать не может. И дело не в допущенных здесь опасных просчетах. Просто уже второй раз в своей не такой уж длинной биографии ему приходится как бы начинать жизнь сначала, не очень ясно представляя себе все завтрашнее, а это не так просто...

Первый раз это было, когда он вдруг из инженера превратился в чекиста. Тогда кончался первый год его работы на Ленинградском судостроительном заводе. Осуществлялась его давняя мечта — он строил могучий военный корабль. И он уже был человеком, который был нужен всем, нужен был кораблю.

И вдруг его вызвали в городской комитет партии и объявили, что он в порядке партийной мобилизации направляется работать в НКВД.

— Но я инженер-судостроитель, меня государство учило этому пять лет,— пытался он возражать.

Ему ответили, что именно инженер-судостроитель был и нужен.

В большом доме на Литейном Шрагин не без труда отыскал в бесконечных коридорах нужную ему дверь. Полковник Сапаров, к которому его направили, оказался человеком в летах и по всему своему облику совсем не таким, каким Шрагин представлял себе чекиста. Это был человек веселый, с живым открытым взглядом карих глаз, в которых любое его настроение отражалось раньше, чем он его высказывал.

— О субботнем пожаре на вашем объекте знаете?— сразу спросил он.

— Слышал, конечно,— ответил Шрагин.— Прокладка строительного кабельного хозяйства — традиционная беда.

Глаза у Сапарова засмеялись.

— В общем, традиционное короткое замыкание. Да? — Он протянул Шрагину что-то похожее на большую отвертку с резиновой ручкой и, привстав, склонился над столом, вместе со Шрагиным рассматривая железку. А потом поднял на Шрагина внимательный взгляд.— Вот эту штуку вытащили из кабеля, с ее помощью было сделано короткое замыкание, то самое, традиционное. Видите, как от дуги оплыл и деформировался металл? А до употребления конец этой штуки был, очевидно, острым, как у шила. Ведь иначе его и не воткнуть бы. Верно?

— Верно,— отозвался Шрагин, продолжая рассматривать находку.— И ручка как здорово заизолирована — колоть безопасно. Но кто же это мог сделать?

— Кто это сделал? Вот это, товарищ Шрагин, нам с вами и надо выяснить. И как можно скорее...

Вот так, незаметно для себя, Шрагин стал чекистом. Два года он проработал в Ленинграде рядом с Сапаровым, учась у него. Потом его перевели в Москву, и там рядом с ним тоже были опытные боевые товарищи. Но никто никогда не учил его, как работать, как вести себя в родном своем советском городе, захваченном врагами. Ему еще никогда не было так трудно, как сейчас. Но он помнил, как Сапаров сказал ему однажды: чекистом должен быть человек честный, но не честолюбивый, а главное, он должен так любить свою работу, что чем она тяжелее, тем он счастливее.

ГЛАВА 6

Шрагин стоял на улице, по которой густо двигались немецкие войска. Они ехали через город весь день, было такое впечатление, что город их совершенно не интересует и они торопятся куда-то дальше. Всю первую половину дня двигались плотно — пехота на машинах, тягачи с пушками на прицепе, мотоциклисты. Пеших солдат не было. Часам к трем в потоке войск стали образовываться просветы. На главных улицах уже стояли грузовики и легковые машины, возле которых томились солдаты и офицеры. Зеваки от греха подальше разошлись по домам. Но один рослый пожилой мужчина в хорошем светло-сером костюме и белой соломенной шляпе продолжал стоять у витрины аптеки. Шрагин уже давно смотрел на него и старался угадать, что это за человек, с таким абсолютно безразличным лицом наблюдающий движение вражеских войск.

Вдали показалась медленно двигавшаяся грузовая автомашина с откинутыми бортами. Рядом с ней шли солдаты. В машине рядом с шофером сидел офицер. У каждого перекрестка машина

останавливалась, солдаты брали из машины и прикрепляли к столбам указательные знаки — стрелы с нарисованными под ними эмблемами воинских частей. Одна эмблема была в виде выгнувшегося волка со стоячей шерстью, другая — в виде лебедя с распахнутыми крыльями, третья — львиная голова. Шрагин наблюдал за работой немцев и запоминал эмблемы — его работа уже началась.

— Вот это порядок! Силища и порядок! — вдруг услышал он за спиной тихий голос.

Шрагин оглянулся. Это был пожилой мужчина в сером костюме.

— Да, порядку у них следует поучиться,— сказал ему Шрагин.

— А как они шли! — тихо воскликнул мужчина.— Где нашим? Идут без оркестра, без криков, без лозунгов, а видишь — силища прет. Вы согласны?

— Вы правы, конечно, как ни трудно это признать,— как бы задумчиво сказал Шрагин, смотря на проезжавшую мимо них вереницу легковых машин.

— Начальство прибыло,— уважительно сказал мужчина, провожая взглядом автомашины.— И где он, я вас спрашиваю, бандитский грабеж? Где убийства женщин и детей? Я с самого начала не верил в это.— Мужчина умолк, как будто вдруг испугался, внимательно посмотрел на Шрагина, а потом продолжал: — Вы не подумайте только, что я какой-нибудь...— сказал он тихо.— Я просто человек вне политики. Я всего-навсего портной. Я гляжу на события трезво и вижу: немец есть немец.

Шрагину очень хотелось сказать этому портному, что из таких, как он, вырастают предатели. Но вместо этого он вздохнул:

— Но что теперь будем делать мы — не знаю.

— А что нам думать, пусть они думают! — беспечно сказал портной.— Взяли господа город, извольте наладить в нем жизнь. А я как шил мужское платье, так и буду шить, весь вопрос — достать у немцев выкройки, какие у них в моде.— Он помолчал и спросил: — А вы чего же оставались, если не знали, что будете делать?

— Так вот вышло. Собирался с заводом, а все уехали без меня.

— Это у нас вполне возможное дело,— ядовито заметил портной.— В общем, все есть, как есть, и надо идти обедать. Будьте здоровы,— он коснулся пальцами полей шляпы, поклонился и медленно пошел по улице...

В этот же час Мария Степановна Любченко, врач местной туберкулезной больницы, смотрела на ту же улицу из окна своей квартиры. Она стояла в глубине комнаты, чтобы с улицы ее не увидели. Каждый раз, когда от двигавшейся по улице техники звякали стекла в окне, она вздрагивала. Ей было страшно. Месяц назад, когда ей в горкоме партии сказали, что нужно остаться для подпольной работы, она заявила прямо:

— Я боюсь.

— Ничего страшного, Мария Степановна,— сказал ей работник горкома.— С автоматом и гранатой вам орудовать не придется. К вашим услугам подпольщики прибегнут только в крайнем случае, если вдруг понадобится спрятать в больнице кого-нибудь.

— Но в больнице каждый знает, что я член партии, меня выдадут,— ужаснулась Любченко.

— Во-первых, вы в партии без году неделя,— быстро раздражаясь, возразил работник горкома.— Во-вторых, нам известно, что в больнице про вас судачили, будто вы пошли в партию из-за карьеры, чтобы стать главным врачом. Почему бы вам эту мысль теперь не поддержать? И как доказательство — вы остались в городе. Наконец, Мария Степановна, разве вы, вступая в партию, не писали в своем заявлении, что готовы выполнить любое ее задание?

Мария Степановна чувствовала, что с ее боязнью этот человек не посчитается, а других аргументов у нее не было. И тогда она подумала: «Пожалуй, немцы продержатся в городе недолго, так что, может, мои услуги никому и не понадобятся, а то, что я здесь останусь, потом мне зачтется». И она дала согласие.

Но теперь, наблюдая через окно движение немецких войск, Мария Степановна горько об этом жалела. Если бы даже она осталась, но просто как врач, который не смог покинуть своих больных, ей сейчас не было бы так страшно. Ее пугала мысль, что она не сумеет справиться с порученным ей тайным заданием и что об этом тайном могут узнать немцы... Страшно даже подумать, что тогда будет.

Звякнуло окно — Мария Степановна вздрогнула...

В этот же час Павел Харченко, в нелепом своем казенно-щегольском одеянии, стоял в заросшем акациями дворике и в щель забора смотрел на двигавшиеся по улице гитлеровские войска.

Он скрипел зубами от досады — все у него получилось так нелепо и глупо...

Какой-то майор, корчивший из себя осведомленного, сказал ему вчера, что немцы остановлены в тридцати километрах от города. И Харченко решил сегодня с утра спокойно искать для себя простую одежду, а затем жилье. Он отправился на рынок, но там было пусто. Возвращаясь, он шел переулками и вдруг, когда до главной улицы оставалось шагов сто, не больше, увидел немецкие военные машины. Не раздумывая, Павел вскочил в первый попавшийся двор и вот уже четвертый час стоял здесь, не зная, что предпринять. Страха он не испытывал, но просто не знал, что делать, и казнил себя: он не имел права поверить этому майору.

Когда начало смеркаться, Харченко подошел к домику, по самую крышу оплетенному виноградником. В этот момент из домика вышел высокий сухощавый старик с взлохмаченными седыми волосами. Он стоял, подняв лицо вверх, и прислушивался. Ветерок

шевелил его вздыбленные волосы. Потом он направился к калитке и выглянул на улицу.

— Митя, вернись сейчас же!— послышался из домика женский голос.

Старик прикрыл калитку, задвинул ее засовом и, шаркая ногами, пошел к дому.

— Здравствуйте!— тихо произнес Харченко, когда старик поравнялся с ним.

Старик остановился, спокойно вглядываясь в сумеречный сад. Харченко вышел на дорожку. Старик смотрел на него без всякого удивления и испуга.

— Здравствуй, коли не шутишь,— сказал старик.— Интересно, однако, что ты тут делаешь?

— Прячусь, батя.

— От кого, однако?

— От кого теперь можно прятаться советскому человеку?

Старик оглядел его с головы до ног и сказал:

— Ну что ж, заходи в дом, гостем будешь.

В доме были две комнаты, разделенные перегородкой не до потолка. На перегородке стояла коптилка, сделанная из аптекарского пузырька. Свет от нее был очень тусклый, и Харченко не сразу разглядел, что в углу за столом сидела женщина.

— Гость обнаружился,— сказал ей старик.

— Какой еще гость в такое время?— спросила она удивленно, но не сердито.

— Он, однако, прячется, Анна, этот человек, понимаешь?— Старик сел к столу и пригласил присесть Харченко.

Харченко молчал, ему хотелось, чтобы говорили старики — надо знать, чем они живут, чем дышат. Может статься, что тут и минуты нельзя находиться.

— Ты что же, отстал, что ли, от своих?— спросил старик.

— Ну отстал, если хотите...

— Я-то хочу спать, однако, спать спокойно,— строго сказал старик.

— Одним словом, попал я в беду, и все тут.

— Всем лихо,— проворчал старик.

— Тому, у кого крыша над головой, все же полегче,— сказал Харченко.

— И ты не с неба свалился,— сказал старик и спросил:— Где, однако, твоя крыша?

— Далеко, батя, отсюда, очень далеко,— печально сказал Харченко.— Я не здешний, вот как вышло-то.

Старики молча глядели друг на друга, потом женщина сказала:

— Ладно, ночуй у нас, а утром все будет виднее.

— Позади дома, в клети, койка есть, постели сена,— ворчливо добавил старик.

Харченко встал:

— Спасибо.

— Чего вскочил? — вмешалась женщина. — Поужинаешь с нами, тогда и спасибо скажешь.

Старик не унимался и за ужином, все старался заставить Харченко рассказать, кто он и откуда. Харченко как мог выкручивался, а заодно прощупывал хозяев дома. Но и они не спешили открываться.

Старик завел разговор о войне. Харченко стал рисовать картину войны совсем не такой безнадежной, какой она виделась этим людям.

— Послушать тебя, так и горевать не о чем. Однако немцы в нашем городе, а не мы с тобой в ихнем, — сказал старик.

— А что тебе, батя, от того, кто в городе? — спросил Харченко.

— Дурак ты, однако.

— Зачем же, батя, ругаться? Я про то, что виноград в саду и так и так созреет и в цене будет. А на хату твою разве кто позарится?..

— Я, однако, не в хате живу, а в государстве, — проворчал старик.

— Были б мы, а государство будет, — беспечно сказал Харченко.

— Какое, однако? — спросил старик, смотря в глаза Харченко.

Долго они так петляли вокруг да около, пока выяснили, что бояться им друг друга нечего, и Харченко решил довериться этим людям. По крайней мере сегодня.

Уже за полночь старик свел его в клеть и сам постелил ему сена на койку.

— Спи, горемыка, — с невидимой в темноте доброй улыбкой сказал старик и ушел.

Так Харченко провел свою первую ночь в занятом врагом городе, еще не зная, что этот дом станет его родным домом на долгое время.

Шрагин еще не спал в этот полуночный час. В своей комнате он вел нелегкую беседу с хозяйкой.

То, что он так и не покинул город, как будто не удивило Эмму Густавовну. Вечером, впустив его в дом, она посветила ему свечой, пока он открывал дверь в свою комнату, и пожелала спокойной ночи. Но минут через десять она постучалась и попросила разрешения зайти на минутку. И вот уже давно шел их путаный, опасный для Шрагина разговор.

Эмма Густавовна была обеспокоена состоянием дочери, которая, по ее мнению, находится на грани безумия.

— Вы не представляете, что она тут говорила, — тихо рассказывала Эмма Густавовна. — Когда забежала соседка и сообщила, что немцы уже в городе, Лиля заявила, что пойдет на главную улицу, убьет там хотя бы одного немца, а после этого хоть потоп. Потом она сказала, что будет плевать в лицо каждому встречному

немцу. И все это в дикой истерике, с безумными глазами. Я ведь ее знаю, она девочка страшно импульсивная. Я боюсь за нее, Игорь Николаевич.

Шрагин не мог понять, чего хочет от него хозяйка, и на все ее страхи отзывался ничего не говорящими утешениями: «все обойдется», «со временем обвыкнется».

И вдруг Эмма Густавовна спросила деловито:

— Значит, вы остались?

— Пытался уехать, но не смог... Не успел.

— И вы будете жить у нас?

— Не знаю, Эмма Густавовна, ведь неизвестно, будете ли жить здесь и вы. В один прекрасный день сюда могут явиться новые хозяева и попросить всех нас убраться.

— Этого не произойдет, я все же немка,— почти с гордостью заявила Эмма Густавовна.

— Вы для них немка советского толка,— заметил Шрагин.

Эмма Густавовна долго молчала. Шрагин видел, как она несколько раз порывалась заговорить и не решалась.

— Разве только они придерутся к количеству комнат,— сказала она наконец.— Но на этот случай я подумала...— Она осторожно посмотрела на Шрагина.— Что, если бы вы были... ну, как бы числились членом нашей семьи?.. Вот тут, за шкафом, есть дверь, ее можно открыть. Тогда моя спальня станет второй проходной комнатой и вопрос о вселении к нам жильцов отпадет.

— Вы, очевидно, забыли железный педантизм своих соплеменников, они верят только бумагам и печатям,— сказал Шрагин.

— Ну, почему?— почти обиделась Эмма Густавовна.— Они же люди, и, как говорится, ничто человеческое... Разве не могло быть так: вы из Ленинграда, а Лили там училась. Допустим, что у вас там был роман, и вы, так сказать, из самых серьезных намерений добились перевода сюда, но отношений оформить не успели. Вполне человеческая ситуация. Надеюсь, вы понимаете, что я напрашиваюсь вам в тещи не всерьез...

Шрагин смотрел на Эмму Густавовну и думал о том, с какой чисто немецкой педантичностью она продумала весь этот вопрос. С такой тещей не пропадешь.

— Вы оскорблены?— высокомерно спросила Эмма Густавовна.

— Нисколько! С волками жить, по-волчьи выть,— беспечно ответил Шрагин.

— Это мы с Лили... волки?— тихо спросила она.

— Да нет,— рассмеялся Шрагин.— Как вы могли подумать?

— Значит, вы согласны?

— Прошу дать мне срок подумать, женитьба, даже фиктивная, вещь серьезная.

— Но долго ждать нельзя,— деловито предупредила Эмма Густавовна.— Они могут заняться квартирами уже завтра.

— А что думает на этот счет невеста? — спросил Шрагин, стараясь продолжать разговор в несколько легком тоне и этим оставить себе путь к возможному отступлению.

— Могу сказать одно: чтобы не видеть их в своем доме, Лили пойдет на все, — торжественно заявила Эмма Густавовна.

— Я все же оставляю за собой право подумать, — сказал Шрагин.

Эмма Густавовна ушла явно обиженная. А Шрагин стал со всех сторон обдумывать эту так неожиданно возникшую ситуацию...

ГЛАВА 7

Когда солнечным августовским утром сорок первого года в открытом «мерседесе» Ганс Релинк приближался к этому южному советскому городу, он, конечно, не знал, что едет навстречу своей виселице. Спустя пять лет он скажет советскому военному трибуналу: «Мне не нужен был бог на небе, у меня был всемогущий бог на земле — наш фюрер. И только фюрер знал, что ждет впереди Германию и каждого из нас...»

В то утро Релинк был весел, его распирало сознание своей значительности. Надменная улыбка не сходила с его уже загоревшего в пути лица, утяжеленного массивным, квадратно обрезанным подбородком. Волосы тщательно убраны под фуражку. Они у него рыжеватые, и эта привычка прятать их — еще с поры военного училища, где ему дали прозвище «Рыжий подбородок». Три дня назад он случайно встретился в Тирасполе с генералом Генрихом Летцером и пригласил его поехать с ним. В тридцать пятом году они вместе учились в военной школе, но затем их пути разошлись. Летцер стал быстро делать военную карьеру, а Релинк пошел работать в СД [1]. Сейчас Релинк по званию и по служебному положению был значительно ниже своего друга, но генерал ему завидовал.

— Ты не можешь себе представить, как мне трудно и противно, — жаловался до приторности красивый и совсем молодой генерал. — Истый генералитет, все эти надутые типы с моноклями совершенно открыто третируют нас, молодых генералов. Какие только должности они не придумывают для нас, чтобы не подпустить к настоящей работе! Я, например, именуюсь уполномоченным ставки по группе дивизий. Чистейшая фикция. Я, даже когда нужно, не могу связаться со ставкой. При главном штабе группировки «Юг» есть настоящий представитель ставки. В Тирасполе ты встретил меня у командующего армией Шобера. В этот момент он, бедный, мучился, пытаясь придумать для меня занятие. Ты его просто выручил, когда пригласил меня поехать с тобой. А как он преобразился, увидев твой мундир!

---

[1] СД — гитлеровская служба безопасности. *(Здесь и далее примеч. автора.)*

— Чего-чего, а прав у нас побольше,— самодовольно улыбнулся Релинк.

— Но я бы не смог больше месяца просидеть в одном русском городе. Ты ведь сюда прямо из Парижа?

— Последнее время я наводил порядок в Голландии.

— Все равно. Здесь же просто негде жить. Сегодня в этом, как его... Тирасполе пришлось спать на сене без простыни. Непереносимо! Мне казалось, что я валяюсь на муравьиной куче.

— Генерал рейха не умеет устраиваться,— дружелюбно подсмеивался Релинк.— Сейчас приедем, и ты увидишь, как надо жить.

— И все же в русских городах лучше быть гостем, и притом недолго...— генералу очень хотелось обнаружить хоть какое-нибудь свое преимущество перед другом.

— Нет, мой друг, мы прибыли сюда не в гости. Теперь это все наше, и навеки. Все!— Релинк победоносно посмотрел вокруг, но по обеим сторонам шоссе была голая степь, и взгляду его бесцветных глаз не за что было зацепиться.— Мы должны всю эту гигантскую страну положить к ногам рейха — такова наша святая обязанность, наша, Генрих. Вы свою войну скоро закончите, а мы свою только начинаем, и наша потрудней,— закончил он с серьезным и торжественным лицом.

Их автомобиль оказался в гуще воинской колонны и двигался очень медленно, а вскоре и совсем остановился. Где-то впереди образовалась пробка.

— Я схожу пугну солдатиков своим генеральским чином...— Летцер вылез из машины и пошел вперед. Релинк видел, как вытягивались перед ним солдаты и офицеры, и на тонких его губах подрагивала ироническая улыбка.

Летцер вскоре вернулся.

— У танка сорвалась гусеница, он развернулся поперек дороги, и никто ничего не может сделать,— сказал он.— Если это порядок, то что тогда безобразие?

Релинк молча вылез из машины и направился к затору вместе с генералом. Перед ним никто не вытягивался, но теперь генерал видел, как застывали лица солдат, когда они видели форму его друга, как мгновенно обрывались разговоры, смех.

У танка, развернувшегося поперек шоссе, стояла толпа танкистов с других машин. Они гоготали, беззлобно издевались над своими товарищами из застрявшего танка.

— Отпуск домой обеспечен! Война приостановлена! Все по домам!

Релинк стал пробиваться сквозь толпу танкистов. Смех и разговоры мгновенно прекратились.

— Что можно сделать?— тихо и буднично спросил Релинк у оказавшегося рядом с ним танкиста.

— Взять его на буксир и стащить с дороги,— ответил танкист.

— Сделайте это,— так же буднично распорядился Релинк и, демонстративно посмотрев на часы, пошел назад к своей машине.

Возле застрявшего танка закипела работа, и вскоре движение по шоссе возобновилось. Вскочивший на подножку автомобиля офицер-танкист доложил Релинку, что он распорядился пропустить его машину. «Мерседес», не задерживаясь, помчался к видневшемуся вдали городу.

Немного погодя Релинк сказал:

— Знаешь, Генрих, что замечательно в нашей службе? У нас чины и звания ничего не значат. Каждый из нас совершает все, что может, во имя порядка и безопасности рейха, и это знает каждый человек рейха, а отсюда одинаковое уважение ко всем нам — от рейхсминистра до последнего чиновника. Вот я еду сюда в качестве главного следователя, а в Берлине, в имперской безопасности, мне сказали: «Вы, Релинк, отвечаете за порядок на юге России». И будьте покойны, об этой моей ответственности будут знать все. В том числе и ваши генералы с моноклями...

У городской окраины Релинка ждал мотоциклист. Он поехал впереди и вскоре привел «мерседес» к воротам, которые тут же раскрылись. Машина въехала в густой сад, в глубине которого располагался красивый особняк. Стоявшие на его крыльце гестаповцы приветствовали прибывших поднятием рук. Генерала Летцера они, казалось, не замечали. Но когда Релинк представил им его как своего друга юности, последовал новый взмах рук.

После бритья и ванны друзья отобедали в компании еще двух гестаповских офицеров в большой столовой с высокими окнами, за столом, покрытым крахмальной скатертью и сервированным, как в первоклассном ресторане. Обед прошел быстро и деловито, без речей и тостов, но Летцер был поражен и сервировкой, и едой, и тем, как великолепно работали обслуживавшие обед солдаты.

Релинк с улыбкой поглядывал на друга — знай наших, мы не спим на муравьиных кучах!

После обеда Летцер отправился отдохнуть в отведенную ему комнату, а гестаповцы прошли в кабинет Релинка.

Расстегнув китель, Релинк устало опустился в глубокое кресло и попросил своих коллег рассказать, что происходит в городе.

Ничего тревожного он не услышал. Город затаился, это естественно. Никаких контрдействий пока не зарегистрировано. Полиция СД готовит необходимые приказы. Биржа труда открывается завтра. Все трудоспособные будут взяты на учет. Военная комендатура уже вывесила строжайший приказ о немедленной сдаче оружия. Создается гражданская полиция из местных жителей. Евреям будет приказано провести регистрацию в своей общине и сдать списки в комендатуру. Начато выявление коммунистов и прочих красных активистов. Издан приказ о комендантском часе. Подысканы помещения для СД... Словом, хорошо выверенная машина оккупации работала точно и быстро.

Релинк поблагодарил коллег за информацию и особо за проявленную заботу о нем лично.

— Сами того не зная, вы доставили мне дополнительное удовольствие щелкнуть по носу моего друга генерала Летцера,— довольно говорил он.— Генерал слезно жаловался мне, что в Тирасполе ему пришлось спать на сене без простыни.

Оба гестаповца от души смеялись над страданиями генерала. Релинк смеялся вместе с ними и думал: «Славные парни, с ними можно горы свернуть...» Он знал обоих еще по Франции и затем по Голландии. Про Иохима Варзера, высокого, костлявого верзилу, говорили, что он не знает только двух вещей — что такое усталость и где у него нервы. Бертольд Ленц, коренастый, бритоголовый, по прозвищу Бульдог, конечно, не так умен, как Иохим, но зато, когда нужно, чтобы заговорили даже камни, лучше Бульдога это никто не сделает... «Славные парни»,— еще раз подумал Релинк и сказал вставая:

— Пусть мой генерал, как положено ему по чину, спит, а мы поедем смотреть наши служебные помещения...

Два отведенных им дома — одноэтажный и двухэтажный — стояли рядом на уютной тенистой улице, их соединял глухой каменный забор. Перед большим домом тополя так разрослись, что его фасада не было видно. Зато уныло-неприглядный длинный одноэтажный дом весь был открыт взгляду. Релинку он не понравился, в таких домах на окраинах Парижа помещались сиротские приюты.

— Что здесь было?— спросил он.

— Лечебница. Будем тут лечить и мы...— сострил Варзер.

Видя, что Релинку этот дом не нравится, Варзер предложил посмотреть дом со двора. Они прошли через ворота и оказались в узком, как коридор, дворе, который отделял дом, выходивший на улицу, от другого, такого же одноэтажного, только без окон.

— Перед вами, господа, удивительно гармоническая картина,— сдержанно шутил Варзер, изображая музейного гида.— Слева здание большевистского ренессанса, здесь будет происходить будничная оперативно-следственная работа. А справа удивительное по своей архитектурной красоте здание, которое впредь мы будем именовать следственной тюрьмой СД. Поговорим там с господином большевиком — и через дворик его сюда.

Релинк больше не морщился.

— А теперь пройдем в здание, где будем работать мы с вами, господа,— продолжал фиглярничать Варзер...

Но вот Релинк остался один в отведенном ему кабинете. Вся мебель была расставлена именно так, как он любил. Был даже маленький столик с креслами. Осмотрев его, Релинк рассмеялся. Брамберг, очевидно, не нашел в этом городе низкого столика и, недолго думая, подпилил ножки у какого-то старинного стола красного дерева.

Релинк достал из сейфа толстую тетрадь в кожаном переплете, на котором золотом было тиснено «Дневник», и сел к столу. С пер-

вых дней войны с Польшей он почти ежедневно делал записи в дневнике. Все его друзья знали об этом, иногда в тесном кругу Релинк вслух читал свои записи.

В этот день он записал:

«Итак, начинается новый этап моей жизни. Я прибыл в этот русский город. Впрочем, он почему-то считается украинским. Город совсем не так мал и не так плохо благоустроен, как мне казалось. Но все это неважно. Главное — гордое сознание своего участия в великой истории рейха. Подумать только: еще недавно я был на французском побережье Ла-Манша, потом в Амстердаме, а сейчас я на русском берегу Черного моря. Волшебный гений и волшебная сила фюрера не знают расстояний и преград!

Когда думаешь об этом, хочется одного: быть достойным истории. И вот моя клятва: моя рука ни разу не дрогнет и здесь. Придет час, и я доложу рейхсминистру, что советский юг в полном распоряжении Германии и фюрера. Так будет!

Я закончу писать этот дневник в тот день, когда война будет завершена, и передам его в музей, прославляющий гений фюрера...»

Этот дневник находится сейчас в архиве военного трибунала среди вещественных доказательств по делу повешенного Релинка.

ГЛАВА 8

Несколько дней на заводе немецкие саперы тушили пожары и искали невзорвавшиеся мины. Наконец они покинули завод, а настоящих новых его хозяев все еще не было...

Каждое утро сюда вместе со Шрагиным приходили сотни две рабочих и десятка полтора служащих заводоуправления. Рабочие растекались по территории, а потом весь день слонялись без дела. Служащие просиживали в пустующем кабинете директора. Шрагин тоже являлся в этот кабинет. В первый день он рассказал им, как попал на завод, но, видимо, рассказ его не вызвал доверия. А бывший управделами заводоуправления, полный, краснощекий здоровяк, которого все звали Фомич, выслушав рассказ Шрагина, подошел к нему и посоветовал «тикать на все четыре стороны».

— Вы же еще не учтенный, так сказать, в случае чего вам полное оправдание,— сказал он, непонятно усмехаясь.

Шрагин внимательно наблюдал этого человека, стараясь разгадать, почему он остался и к чему готовится. Сейчас среди оставшихся служащих он вел себя наиболее развязно и верховодил ими.

В это утро Шрагин у заводских ворот встретил Павла Ильича Снежко. Он был в аккуратно выглаженной темно-синей паре, при галстуке, в начищенных до блеска сапогах.

— Чего это вы так принарядились?— спросил Шрагин, поздоровавшись.

— Товар лицом показываем,— подмигнул Снежко.— Пусть не думают, что мы какие-нибудь бескультурные азиаты.

Шрагин смотрел на него с удивлением и любопытством: а к чему готовится, на что способен этот?

— Что будем делать, Павел Ильич? — спросил Шрагин.

— Я человек дисциплинированный, — ответил Снежко. — Смену отболтаюсь — и домой с чистой совестью.

Они остановились перед зданием заводоуправления.

— Знаете, о чем я все время думаю?.. — заговорил Снежко. — Вот нам говорили: советская власть, советская власть, все, дескать, на ней держится. Погибни она, погибнем и мы. А вот советской власти нет, пришла другая власть, и ничего не погибло, и мы с вами живем под тем же солнышком.

— А завода вам не жалко? — спросил Шрагин. — Вы же столько лет отдали ему.

Снежко пожал плечами.

— Так, наверное же, немцы завод наладят, — невозмутимо ответил он. — А не все ли равно, где нашему брату вкалывать? Я тут на пальцах разговаривал с одним немчиком-сапером, он из города Гамбурга, как я понял. Так он говорил, рабочие у них получают жалованье пребольшое и живут не бедствуя.

— Все же надо будет привыкнуть к новой жизни, — неопределенно сказал Шрагин.

— Да к чему привыкать-то? — удивился Снежко. — Что такое жизнь? Утром встал, позавтракал, пошел на работу, вернулся, пообедал, прилег отдохнуть. Потом с ребятишками поиграл и — спать. Что же, по-вашему, немцы помешают нам так жить?

— Черт их знает! — вздохнул Шрагин. — Пойду-ка я в заводоуправление, может, какие новости есть...

В кабинете директора была все та же картина: служащие в ожидании новых хозяев изображали непринужденный разговор.

Все сидели вокруг просторного стола, будто собрались на совещание у директора. На председательском месте возвышалась, как всегда, крупная фигура Фомича. Войдя в кабинет, Шрагин громко поздоровался, но ответил ему один Фомич.

— Здравствуйте, товарищ неучтенный, — сказал он ухмыляясь. — Или, может, теперь надо говорить господин неучтенный?

Несколько человек засмеялись. Шрагин улыбнулся и молча сел на диван.

— Нет, как видно, дисциплины у немецких директоров. Так мы и размагнититься можем, не дай бог, — ерничал Фомич.

Он поднял глаза вверх и вдруг закричал:

— Братцы, глядите! — Он показывал на портрет Сталина, висевший над директорским столом. — Не было бы нам от этого беды, а? Ну-ка, Капликов, ты самый длинный, лезь на стол, сними от греха подальше. И как это мы до сих пор не заметили!

Долговязый мужчина встал.

— Не надо этого делать, — громко сказал Шрагин.

Долговязый остановился и, даже не посмотрев на Шрагина, поспешно вернулся на свое место.

— Слушай-ка, не опоздали ли вы тут командовать?— спросил Фомич.

— Нечего нам лишнюю активность показывать,— спокойно сказал Шрагин.

— А если они взбесятся, когда увидят?— спросил Фомич.

— Прикажут — снимем,— ответил Шрагин.

— Ну глядите!— угрожающе сказал Фомич.— В случае чего мы на себя этот грех не возьмем.

— Выдадите?— спросил Шрагин.

— Зачем?— усмехнулся Фомич.— Дадим объективную информацию.

И снова за столом засмеялись.

Вдруг дверь распахнулась, и в кабинет вошли два солдата с автоматами. Они остановились по бокам двери, и тотчас в кабинет быстрой походкой вошел пожилой сутулый человек, непонятно, военный или штатский, и за ним еще трое в штатском.

Пожилой снял военную фуражку с высокой тульей и протянул ее назад, через плечо. Фуражку подхватил молодой человек в светлом плаще.

Сидевшие за столом вскочили и стояли по-солдатски, вытянув руки, не сводя глаз с вошедших.

Пожилой расстегнул темно-серый плащ и, поглаживая ладонью седой ежик волос, оглядывал кабинет. Его взгляд остановился на портрете Сталина.

— О!— воскликнул он и повернулся к своим спутникам.— Спросите, почему это здесь?

Один из его спутников вышел вперед и на довольно приличном русском языке — очевидно, это был переводчик — обратился к служащим:

— Господин шеф-директор адмирал Бодеккер интересуется, почему это здесь,— он показал на портрет.

— Мы хотели снять... Но вот данный... господин не разрешил,— быстро ответил Фомич, показывая на Шрагина.

Выслушав перевод, шеф-директор обратился к Шрагину:

— Почему вы не разрешили?

Прежде чем переводчик успел открыть рот, Шрагин сам ответил по-немецки:

— Я подумал, может быть, вам будет приятно сделать это самому.

— О!— адмирал внимательно посмотрел на Шрагина, и вдруг лицо его растянулось в улыбке.— Прекрасно! Это будет мой сувенир. Снимите кто-нибудь...

Это сделал тот же долговязый Капликов. Адмирал приказал своему адъютанту спрятать портрет и обратился к Шрагину:

— Вы кто здесь?

— Инженер.

— А эти?— адмирал кивнул на остальных.

— Служащие заводоуправления,— ответил Шрагин.

— Прекрасно...

Шеф-директор прошел к директорскому столу, провел по нему пальцем, посмотрел на палец, покачал головой и, вынув из кармана платок, вытер палец. Он подозвал к себе переводчика.

— Переведите им мое распоряжение...— он прокашлялся и громко сказал:— Господа! Первое, что мне бросилось в глаза,— это страшная грязь и беспорядок на заводском дворе и в помещении дирекции. Мы, немцы, не любим это больше всего. Приказываю прежде всего привести в порядок здание дирекции. Вынести мусор, вымыть полы и окна, проветрить все помещения. Завтра утром я проверю. Кто из вас будет отвечать за эту работу?

Фомич вышел вперед.

— Запишите его фамилию,— распорядился шеф-директор и сказал:— Можете идти работать.

Шрагин вместе со всеми направился к дверям, но его остановил переводчик:

— Шеф-директор просит вас остаться.

— Не топи, служивый,— тихо буркнул Фомич, проходя мимо Шрагина.

— Значит, вы инженер?— спросил адмирал, внимательно смотря на Шрагина чуть прищуренными светло-карими глазами.

— Да, инженер-механик.

— А кто эти люди?

— Не знаю.

— Как это так?

Шрагин кратко рассказал историю своего недавнего появления на заводе.

Адмирал Бодеккер выслушал его очень внимательно и даже, как показалось Шрагину, подозрительно, но, когда Шрагин замолчал, он сказал:

— Ну что же, может быть, для вас это и лучше. Ведь мы здесь все начинаем заново, так что у вас такое же положение, как у нас. Ваша фамилия?

— Шрагин.

— Шра-гин? Прекрасно. Ну, что же вы скажете мне о заводе, господин Шрагин?

— Пустить его будет нелегко,— ответил Шрагин.

— Да, да, я видел,— вздохнул адмирал.— Какое изуверство! Разрушить завод, закупорить гавань потопленными судами.

— По-моему, это сделали военные,— сказал Шрагин.

— Это не война, а стратегическая истерика!— воскликнул адмирал.— И к тому же полное незнание наших возможностей. Попомните мое слово, еще в этом году мы отпразднуем здесь закладку кораблей. Но почему на территории завода так мало рабочих?

— Большинство эвакуировалось, их организованно вывезли на восток.

— А!— поморщился адмирал.— Все та же стратегическая истерика! Кроме вас, инженеры есть?

— Я не знаю,— ответил Шрагин.

— Приказываю вам, господин Шрагин, в течение суток выяснить, сколько осталось на заводе инженеров. Доложите мне завтра в двенадцать ноль-ноль.

— Слушаюсь,— склонил голову Шрагин...

Шрагин решил посоветоваться с Фомичом, где и как искать инженеров. Он увидел его на площадке главной лестницы. Шрагин стал рядом с ним и сказал:

— Мне приказано разыскать всех оставшихся инженеров.

Фомич присвистнул:

— Ищи ветра в поле! А немцы что, неужели завод пускать собираются?

— Адмирал сказал, что еще в этом году заложат корабли.

— Сказать все можно.

— Немцы могут.

Фомич удивленно посмотрел на Шрагина и вдруг громко закричал кому-то вниз:

— Эй, не суй мусор под лестницу, вынеси на улицу!— и снова повернулся к Шрагину:— Люблю руководящую работу, какую хошь, абы руководящую.

— Вы можете выдвинуться на доносах, у вас это получается,— тихо, с вызовом сказал Шрагин.

Фомич чуть помедлил и потом как ни в чем не бывало продолжал:

— Насчет инженеров хорошо бы возле завода вывесить вежливое приглашение: мол, приходите на завод работать. Но чтобы без всякого обещания расстрела, вежливо, одним словом. Я знаю, кое-кто остался.

— Может, вы знаете кого лично?— спросил Шрагин.

— Двоих знаю, вроде даже соседи.

— Зайдите к ним сегодня, пожалуйста...— попросил Шрагин.— Скажите, чтобы явились на завод.

— За это можно и по харе получить. Скажут: на кого, гад, работать зовешь? Как отвечать?

— Надо сказать, что на таком заводе два инженера — это капля в море и что им не придется изображать море.

Фомич чуть улыбнулся и, глядя на Шрагина хитрющими глазами, сказал:

— Ладно, с такой формулировкой можно попробовать.

Кто-то снизу крикнул:

— Фомич, в водопроводе воды нет, чем полы мыть?

— У моря сидишь и воды просишь?— крикнул в ответ Фомич и побежал вниз по лестнице. Шрагин смотрел ему в спину и снова думал: что же это за человек?

Да, отныне этот вопрос он будет задавать себе при каждой встрече с новым человеком. И что самое нелегкое и опасное — что на вопрос этот ему необходимо будет самому давать ответ, от которого будет зависеть многое, очень многое, возможно, даже его собственная жизнь.

ГЛАВА 9

Шрагин шел с завода домой. Светило доброе южное солнце, ветерок с моря играл листвой деревьев. За белеными заборами сонно дремали отягощенные плодами фруктовые деревья. Ничто как будто не говорило о войне, город выглядел так же, как в мирное время. И улицы не были безлюдны. Приказы оккупационных властей уже выгоняли людей из домов, заставляли их, пересилив страх, идти по делам своей новой жизни. Но что-то в облике улицы было странным... Не сразу Шрагин обнаружил, что люди двигались в одиночку и как-то каждый сам по себе. За весь путь он только раз встретил двух, которые шли вместе. Это были старик и старуха. Он заботливо вел ее под руку, но и они не разговаривали и, точно стыдясь чего-то, смотрели себе под ноги. Куда их гнал приказ, зачем?.. Люди словно не видели и не хотели видеть ничего, кроме клочка земли под ногами. Встречаясь друг с другом, они, как те старики, не поднимая взгляда, ускоряли шаг. А яркая и добрая красота юга еще сильнее подчеркивала эту неприкаянность людей.

Свернув на свою улицу, Шрагин невольно замедлил шаг: перед его домом стоял громоздкий легковой автомобиль — такими в немецкой армии пользовались только высшие начальники. Что могло это означать? Если автомобиль приехал за ним, то зачем было гестаповцам оставлять на улице, как визитную карточку, эту роскошную машину? Возможно, что это сделали нарочно, чтобы посмотреть, как он, увидев ее, поведет себя? Но тогда сейчас вся улица должна быть под наблюдением, а ничего подозрительного вокруг Шрагин не видел. Да нет, не такие уж они гении и чудотворцы, чтобы раскрыть его так быстро: скорей всего вот что — оправдались опасения Эммы Густавовны, и на ее жилплощадь уже покушается какое-то немецкое начальство.

Шрагин отпер своим ключом парадное и спокойно, неторопливо вошел в дом. В прихожей висела генеральская шинель, а на столике лежали фуражка и желтые замшевые перчатки. Из гостиной доносился воркующий смех Эммы Густавовны и басовитый голос мужчины. Шрагин тихо прошел в свою комнату и, прикрыв дверь, лег на постель.

Вскоре Шрагин услышал, что гость или квартирант ушел. Подождав немного, он с чайником в руках отправился на кухню. И тотчас туда пожаловала Эмма Густавовна. Она была возбуждена, дряблые ее щеки пылали румянцем.

— Случилось невероятное, Игорь Николаевич! — воскликнула она, прижимая руки к груди. — У меня объявился родственник в Германии. И не кто-нибудь, а земельный аристократ. Невероятно, правда? Сейчас у меня был генерал Штромм. И представьте, тоже родственник: он женат на племяннице моего аристократа. Он привез мне письмо — не хотите прочесть? Бросьте свой чайник, идите к нам, генерал привез волшебный кофе и совершенно изумительный ликер «Бенедиктин». Я сварю вам кофе. Идите, идите.

В гостиной пахло тонкими духами. Вышедшая из своей комнаты Лиля сухо поздоровалась со Шрагиным и села на диван. Эмма Густавовна звякала посудой на кухне.

— Как вам понравился родственник? — спросил Шрагин.

Лиля подняла брови и сморщила лоб.

— Прочитайте письмо, оно лежит на столе,— сказала она.

На голубой шершавой бумаге было написано старомодной готической вязью, и Шрагину не так-то легко было прочитать письмо. Он попросил Лилю помочь ему, она подошла и стала рядом с ним.

— Я сама без помощи мамы прочитать не могла. И вообще все это как бред,— сказала она, беря письмо.— Ну, это, очевидно, его фамильный герб и девиз: «Терпение и верность». Давайте я все же попробую...

Вот что услышал Шрагин:

«Здравствуйте, Эмма! Вас должны звать именно так, ибо ваш отец пятьдесят лет назад известил моего отца о рождении у него дочери, которую назвали Эмма Розалия, а наши отцы были двоюродные братья.

Поскольку я не уверен, что вы живы, это письмо будет кратким. Оно не больше, как запрос в неизвестность. Но как только я узнаю, что вы еще есть на этом свете, вам придется испытать на себе утомительное многословие стариковских писем, тем более что мне и писать-то больше некому.

Как только в наших военных сводках появился ваш город, меня осенила мысль. Ведь именно этот город упоминался в письмах вашего отца. Память меня не обманула, хотя свой семейный архив я последний раз ворошил лет десять назад. И так как я совершенно одинок, это открытие стало моим идефиксом. Когда я узнал, что генерал Штромм (он женат на моей племяннице) отправляется именно в ваш город, я написал это письмо. Теперь я с трепетом буду ждать известий. Если вы есть на этом свете и прочтете мое письмо, то примите генерала Штромма по-родственному. Однако не могу удержаться — между родственниками все должно быть начистоту — и предупреждаю вас, что он весьма легкомысленный господин, особенно в отношении женщин. Он знает, что я пишу вам об этом, и смеется. А вообще-то он отец уже взрослого сына и, говорят, способный администратор в новом духе. В отличие от меня, зарывшегося в землю, как крот, он живет в ногу с веком, и уже сам этот век позаботился, чтобы он был на виду. Теперь он призван его фюрером наводить порядок на завоеванных землях. От меня он имеет приказ позаботиться о вас, как положено добропорядочному немецкому родственнику. Весь в ожидании Вильгельм фон Аммельштейн».

Лиля бросила письмо на стол.

— Ну, что вы скажете? — спросила она.— Я же вам сразу скажу, что в письме меня устраивает только одно выражение — «призван его фюрером»,— она подчеркнула местоимение «его».

Шрагин тоже отметил про себя это выражение, и сейчас ему понравилось, что Лиля тоже обратила на него внимание.

В гостиную с кофейником в руках вернулась Эмма Густавовна.

— Вы прочитали письмо?

— Лиля прочитала его вслух,— ответил ей Шрагин.

— Боже, какая идиллия! Мои дети вместе читают письмо своего далекого родственника,— она громко рассмеялась и стала разливать кофе.

— Я должна предупредить вас,— вдруг резко сказала Лиля, обращаясь к Шрагину.— Мама заявила генералу, будто вы... мой муж.

— Да, да, я позволила себе это,— нисколько не смутилась Эмма Густавовна.— И я уверена, Игорь Николаевич меня поймет. Представьте, этот генерал вдруг спрашивает: «Вы тут живете вдвоем?» Я поняла, что он напрашивается в жильцы. Потом он так смотрел на Лили. И я вспомнила характеристику, которую дал ему Вильгельм. Решив сразу пресечь все это, я сказала ему: у Лили есть муж, он живет вместе с нами. И ничего страшного не случилось, а он по крайней мере не заговаривал больше о жилье. Игорь Николаевич, не смотрите на меня так иронически. Мы же с вами говорили об этом.

— Конечно, лучше без новых квартирантов,— сказал Шрагин.

— Ну, видишь, Лили? Игорь Николаевич относится к этому трезво и спокойно. И тебе тоже надо учиться приспосабливаться к обстановке.

Лиля смотрела на мать холодно и презрительно.

— Я сойду с ума, честное слово,— тихо сказала она.

Шрагин как только мог естественно рассмеялся.

— Остается только предположить, что вы втайне рассчитываете выскочить замуж за какого-нибудь немецкого генерала и поэтому хотите оставаться свободной даже от фиктивных обязательств.

— Вам не идет говорить глупости,— спокойно парировала Лиля.

— Тогда, Лиля, скажите прямо, что вы предлагаете или как собираетесь поступить?— уже серьезно спросил Шрагин.

— С момента, когда я проявила позорное малодушие, согласилась с мамой и осталась здесь, я уже не имею права рассчитывать на что-нибудь хорошее,— отчеканивая каждое слово, ответила Лиля.

— В городе остались не одна вы. Если вы думаете, что все остались, проявив малодушие или с подлыми замыслами, вы опасно заблуждаетесь,— сказал Шрагин, смотря в яростные и холодные глаза девушки.

— Вот, вот!— обрадовалась Эмма Густавовна.— Я говорю ей то же самое!

Лиля молчала, но Шрагин читал в ее взгляде безмолвный вопрос: «А почему вы остались?» И он подумал, что однажды на этот ее вопрос он ответит правду. Однажды, но не сейчас. И не всю правду. А теперь ее надо успокоить, дать ей хотя бы маленькую надежду.

— Я, как вы знаете, хожу на завод,— сказал Шрагин.— Но завод парализован, и это надолго. Зная это, я спокоен. И если вы внутренне будете уверены, что ни в какую подлую сделку с совестью не вступите, вы тоже будете спокойны. Это качество в наших условиях — оружие. А истерика — не что иное, как начало поражения. Подумайте над этим, Лиля, и вы увидите, что я не так уж неправ.

Шрагин вежливо пожелал женщинам спокойной ночи и ушел в свою комнату.

ГЛАВА 10

Первая встреча Шрагина с Григоренко состоялась в воскресенье на бульварчике возле пристани.

Согласно вступившей в действие схеме связи их встречу охранял Федорчук. Он занимал наблюдательный пост со стороны города, и Шрагин все время видел его.

Шрагин и Григоренко сидели на скамейке, положив между собой на газетном листе хлеб и помидоры,— просто устроились два приятеля перекусить и отдохнуть в тени.

— Крепче всех чувствует себя Федорчук,— говорил Григоренко тихим, глухим голосом.— По-моему, очень у него удачно с бабой получилось...

— Избегайте давать свои оценки. Только факты, и как можно короче,— прервал его Шрагин.

Григоренко обиделся, замолчал. Потом продолжал говорить отрывистыми фразами. Из его рассказа Шрагин выяснил, что все товарищи — один похуже, другой получше — закрепились. Однако оставалось тревожным положение с работой. Товарищи спрашивали, следует ли просить работу через биржу труда. У Дымко откуда-то были сведения, будто всех, кто помоложе, биржа заносит в особый список для отправки в Германию.

— Откуда он это знает?— спросил Шрагин.

Григоренко улыбнулся:

— Опять же деваха одна есть, на бирже работает. Дымко с ней познакомился у Федорчука.

— Федорчук эту девушку тоже знает?— спросил Шрагин.

— Лучше ее знает Федорчукова... ну, как ее... ну, невеста, что ли, не знаю.

— Какое у Федорчука впечатление о ней?

— Я не спросил.

— Напрасно.

— Мне же о ней не Федорчук сказал, а Дымко.

— Что он сказал?

— Да он вроде пошутил, спросил: не стоит ли ему, как Федорчуку, боевую подругу завести?.. И сказал про эту самую... ну, девушку.

— Что он говорил о ней?

— Сказал, что лицом она хорошая,— чуть улыбаясь, ответил Григоренко.— Сказал, веселая, на все чихает.

— Вы ему никаких вопросов не задавали?

— Нет.

— Передайте Дымко мой приказ: он должен сблизиться с ней, все о ней выяснить — из какой семьи, почему осталась, что думает. В среду вечером мы опять встретимся по расписанию. Кстати, как у вас с работой?— спросил Шрагин.

— Думаю пока обойтись. Семья, в которой я живу, обеспеченная — кустари, одним словом. Хозяин ходил в городской магистрат, зарегистрировал там свою семью и меня тоже, сказал, что я его работник, и никаких вопросов по этому поводу не было.

— Осторожней, Григоренко, заметите малейшее осложнение — срочно устраивайтесь.

— Я все время начеку, Игорь Николаевич.

— Надеюсь на это. Ну, пора прощаться. До свидания.

Шрагин смотрел ему вслед, и на душе было неспокойно. Он думал о том, что его боевые товарищи уменье и опыт будут приобретать только теперь, когда борьба уже началась. А наука эта не простая: самая малая ошибка может стоить жизни. Вот тот же Григоренко. Сейчас он вроде не трусит, но он и не понимает, что в их положении осторожность — это совсем не трусость. Его придется учить еще и деловитости и даже умению говорить кратко и точно выражать свои мысли — для связного это очень важно... «Ну что ж, будем учиться все вместе»,— подумал Шрагин, встал со скамейки и кружным путем направился домой. Некоторое время Федорчук в отдалении сопровождал его, проверяя, нет ли слежки.

Шрагин шел по пустынным улицам, уже затопленным сумеречной синевой, и думал, как удивительно устроен человек. И трех лет нет, как он по приказу партии оставил работу инженера-судостроителя и стал чекистом. Разве мог он подумать, что однажды окажется в этом занятом врагом городе и будет возглавлять здесь целую группу и вести тайное сражение? Но это случилось, и он уже работает. И работа, какой бы опасной она ни была, как всякая работа — к ней, оказывается, можно привыкнуть, и в ней есть свои рабочие будни...

Подходя к дому, Шрагин опять увидел генеральскую машину. Шофер спал, нахлобучив на нос пилотку.

Шрагин нарочно хлопнул дверью, когда входил, и тотчас из гостиной вышла Эмма Густавовна.

— А вот и наш Игорь Николаевич!— громко воскликнула она.— Заходите к нам хоть на минутку. У нас генерал Штромм.

Шрагин вошел в гостиную и увидел сидевшего в кресле генерала, сегодня он был в штатском. Ему было лет сорок пять, может быть, чуть больше. Крупное прямоугольное лицо, массивная фигура. Очевидно, близорук. Он разглядывал Шрагина, сощурив глаза.

— Добрый вечер, господин генерал,— с умеренной почтительностью сказал по-немецки Шрагин, остановившись посреди комнаты.

— Добрый вечер, добрый вечер, счастливый избранник,— с притворным недовольством басовито отозвался генерал, тяжело поднялся с кресла, подошел к Шрагину и протянул ему руку.— Штромм, Август,— четко выговорил он.

— Шрагин, Игорь.

— Шрагин? О! Мы оба на «с»? Простите, а как вы сказали имя?

— Игорь.

— И-гор?

— Да.

— Таинственные русские имена,— покачал головой генерал.— Посидите с нами. Мне ведь придется докладывать моему родственнику и о вас. И вы тоже наш родственник, И-гор.— Генерал басовито рассмеялся.

Эмма Густавовна поставила перед Шрагиным кофе.

— Что же вы не спрашиваете, где ваша Лили?— с противной интонацией спросила она.

— Я ошеломлен знакомством с живым немецким генералом,— улыбнулся Шрагин.

— Вы предпочли бы знакомиться со мной — мертвым?— громыхнул генерал своим басовитым смехом.

— Лили валяется в постели,— сказала Эмма Густавовна.— У нее страшная мигрень. Позовите ее, может быть, все-таки она выпьет кофе?

Шрагин встал и, извинившись перед генералом, прошел в комнату Лили. Она ничком лежала на диване.

— Лиля, что с вами?— тихо спросил Шрагин.

Она вскочила, села и удивленно уставилась на Шрагина.

— Ах, это вы,— с облегчением сказала она.— Страшный сон видела, б-р-р! Он все еще там?

— Мама хочет, чтобы вы показались,— сказал Шрагин.

— Он вызывает у меня тошноту. Я не пойду. Скажите, мигрень, и она не хочет портить всем настроение.

— Мигрень так мигрень,— сказал Шрагин и ушел в гостиную.

— Какая прелесть, какая прелесть!— гудел генерал.— Послушайте, И-гор, я только сейчас узнал, что ваша жена пианистка. Это же прелесть! Она просто обязана угостить нас Бетховеном.

— У нее, господин генерал, страшная головная боль, и с этим нельзя не считаться,— мягко сказал Шрагин.

— Немецкий генерал не должен ни с чем считаться,— заявил Штромм почти серьезно.

— Но вы же еще и человек и к тому же родственник,— улыбнулся Шрагин.

— Поймал, черт побери! Капитулирую перед мигренью. Хо-хо-хо! Садитесь, И-гор, и примите сердечный привет от Вильгельма фон Аммельштейна, вашего... гм... кто же он вам приходится?— не соображу, хо-хо-хо, но в общем это достойнейший и...— генерал поднял палец,— богатейший человек. Я ему звонил по телефону, рассказал о моем визите в ваш дом. Он так разволновался, что стал заикаться. Говорит, что сегодня у него первая за многие годы настоящая радость — он узнал, что не один на земле. Надеюсь, вы понимаете, чем это пахнет?

— Не совсем...— ответил Шрагин.

— Боже, что с вами сделали коммунисты? Он не понимает, что для него означает, если богатейший фон Аммельштейн признает в нем родственника!

— Расскажите нам, что нового,— вмешалась Эмма Густавовна.

— Нового?— Генерал поднял брови.— Ни-че-го. Меня лично интересует только одна новость — падение Москвы. И это случится, можете быть уверены.— Он обратился к Шрагину:— Мне сказали, что вы работаете на верфи. Как там у вас дела?

— Пока еще никак,— ответил Шрагин.

— Что же это дремлет наш дорогой адмирал Бодеккер? Он же прославленный администратор верфей рейха.

— Завод разрушен, работа предстоит гигантская. Рабочих нет, инженеров нет,— вздохнул Шрагин.— А между тем как хочется работать...

— Вот это прекрасно!— воскликнул генерал.— Ваш ответ я сегодня же включу в сводку. Я не устаю всем твердить, что для русских главное счастье — работа и, если мы обеспечим их работой и приличным жалованьем, они станут могучей опорой рейха. Верно?

— Да, мы любим работать.

— Слушайте, И-гор, значит, вы поддерживаете мою мысль?

— Сделать это, однако, не так просто. Для этого нужно немедленно начать восстанавливать все, что разрушено,— с достоинством и сдержанно отвечал Шрагин, решив раз и навсегда принять этот тон для бесед с генералом.

— Согласен,— кивнул Штромм.— Но огромное количество ваших людей мы вывезем в Германию, в Польшу, во Францию. Люди, которые хотят работать, нам нужны везде. Уверяю вас, никто без работы не останется. Ведь вы инженер? С Бодеккером вы познакомились? Я вас отрекомендую.

— Спасибо, мы уже знакомы. К тому же не в моих правилах пользоваться протекцией.

— Мне бы хотелось узнать, И-гор: вы остались сознательно?— продолжал генерал.

— Как вам сказать? Бессознательно поступают только животные.

— Хо-хо! Замечательный ответ!

— Это безобразие,— врезалась в разговор Эмма Густавовна.— Как только сойдутся двое мужчин, они сразу начинают говорить о деле и никого больше не хотят замечать. Я прошу вас, генерал, рассказать, как там у вас сейчас в Германии.

— Как? Изумительно, милейшая фрау Реккерт, и-зу-ми-тельно! Нам, живущим в эту эпоху, будут завидовать все будущие поколения. И все это фюрер, фюрер и еще раз фюрер. Он, фрау Реккерт, подумал и о вас. Мой рейхсминистр, когда я уезжал сюда, сказал мне: «Фюрер озабочен судьбой осевших там немцев». Слышите, фрау Реккерт? Фюрер озабочен вашей судьбой!..

Шрагин наблюдал генерала с огромным любопытством, и одновременно его мозг фиксировал все, что могло пригодиться для дела.

— Да, господа,— разглагольствовал генерал.— Новая Германия уже родилась и идет к великому будущему. Конечно, еще не околело поколение чистоплюев, еще барахтаются где-то бывшее чиновничество и бывшие плутократы. Но мы всю эту мразь уничтожим, смею вас уверить! Вот, рассчитаемся с русскими, с англосаксами и потом одним ударом окончательно очистим воздух Германии от испражнений прошлого! Пардон, фрау Реккерт!— Он даже извинение выкрикнул, как команду на плацу. Затем медленно обернулся к Шрагину и сказал напыщенно:— И я хочу вас, молодой человек, предупредить: любите вы работу или не любите — это все-таки не главное. Ваша судьба зависит от того, поймете ли вы величие фюрера и новой Германии. Если нет, вас растопчет сама история, запомните это.

— Я уже сейчас все это прекрасно понимаю,— твердо и убежденно ответил Шрагин.

— Тогда хайль Гитлер!— неожиданно гаркнул генерал и выбросил вперед руку.

Шрагин, чуть помедлив, тоже поднял руку и негромко произнес:

— Хайль... Гитлер!

— Браво, И-гор! Вы первый русский, который передо мной приветствовал гений фюрера...

Эмма Густавовна снова попыталась увести разговор от политики, которая ее всегда пугала. Она попросила описать, как выглядит ее родственник фон Амельштейн. И вдруг генерал Штромм снова закричал:

— Кстати, вот и ваш родственник, фрау Реккерт, тоже непозволительно долго воротил нос в сторону. Когда я женился на его племяннице, я, естественно, вошел в его дом. Бывало, придем с женой в гости. Я — хайль Гитлер! А он — здравствуй, дорогой мой друг. Я все понимал и с опаской для себя терпеливо смотрел, что будет дальше. И только когда мы прибрали к рукам Австрию, Чехию, Польшу, Францию и я однажды пришел в его дом и сказал

«Хайль Гитлер!», он, наконец, ответил тоже: «Хайль Гитлер!» И тогда я обнял его и сказал: «Слава богу, теперь мы действительно родственники». Но разве я могу забыть, что он признал фюрера только после того, как фюрер подарил ему Европу? Вот он,— генерал кивнул на Шрагина,— даже он понял все гораздо раньше...

Вскоре генерал уехал. Прощаясь, он сказал Эмме Густавовне, чтобы она не опасалась никаких притеснений со стороны оккупационных властей.

— Все, кто нужно, мною предупреждены,— сказал он.— Однако я и мои друзья оставляем за собой право ходить к вам в гости. И вы уж поймите, пожалуйста, нас, попавших на чужбину. Для нас ваш дом как остров в черном океане.

— Прошу вас, не стесняйтесь,— лепетала Эмма Густавовна.

Генерал поцеловал ей руку.

— Ради бога, не провожайте меня,— сказал он.— Я уже чувствую себя здесь как дома.

Хлопнула наружная дверь, взревел мотор автомобиля, и все стихло.

Эмма Густавовна смущенно смотрела на Шрагина.

— Все-таки это ужасно!— проговорила она устало.— Мне иногда кажется, что я вижу все это во сне.

ГЛАВА 11

Зина — так звали девушку, работавшую на бирже,— воспитывалась в детдоме. После окончания детдомовской семилетки она приехала в этот город, стала работать уборщицей в больнице и сразу же поступила в школу медсестер. Кончить школу помешала война.

Зина пошла в военкомат, пыталась попасть в армию, но вместо этого ее отправили на рытье оборонных сооружений. Так она осталась в городе.

На бирже, куда устроилась Зина, было два начальника: один — немецкий, недосягаемый для Зины, хмурый немец с искусственным стеклянным глазом — господин Харникен; другой — русский, в недавнем прошлом заведующий городской баней, Прохор Васильевич, который принял Зину на работу и звал ее теперь не иначе, как дочка. А Зина за глаза называла его Легавым — за то, что он самым непонятным образом чуял, когда приближался господин Харникен. Тогда у него сразу поднималось ухо, он весь преображался, вскакивал из-за стола, втягивал живот и преданно смотрел на дверь. Именно в этот момент и появлялся немецкий директор.

— Встать!— кричал Легавый и уже тихо и почтительно произносил:— Здравствуйте, господин Харникен.

Немец кивал головой и торжественно проходил в свой кабинет.

В первые дни Зина не очень-то задумывалась над тем, что произошло. Но все же скоро она поняла, что и с ней и со всем городом случилось огромное несчастье. Работая на бирже, она раньше других узнала, что немцы готовят отправку работоспособных горожан в Германию. «Их там, как рабов, будут продавать»,— сказала Зине Вера Ивановна, пожилая женщина, в прошлом учительница, а теперь такая же, как Зина, учетчица.

Каждый вечер на бирже появлялись гестаповцы. Зину пугала их черная тараканья форма с черепами на рукавах. Легавый вываливал перед ними на стол учетные карточки, и гестаповцы долго рылись в них. Какие-то карточки они забирали с собой, и после этого Легавый брал к себе регистрационную книгу и вычеркивал из нее несколько фамилий. «Этих уже можно считать покойниками»,— говорила тогда Вера Ивановна.

Однажды утром Легавый подозвал к себе Зину:

— Когда видишь, что пришел еврей, а пишет в карточке, что он русский, подай мне сигнал. Подойди ко мне вроде за справкой и скажи,— приказал он.

Вера Ивановна, узнав о приказе Легавого, сказала Зине:

— Если ты это сделаешь, станешь убийцей.

Но Зина и не собиралась выполнять этот приказ.

После работы она забегала домой, надевала свое единственное выходное платьице — синее в белую полоску — и шла, как она говорила, на люди. Она просто болталась по городу и смотрела во все глаза, что делается вокруг.

И вот однажды в воскресенье, когда она стояла на углу возле рынка, кто-то тихо позвал ее:

— Зина, это ты?

Она обернулась и увидела девушку, вместе с которой работала в больнице.

— Юлька! Здравствуй!— обрадовалась Зина. Они обнялись, будто были подругами. А на самом деле тогда в больнице они мало знали друг друга.

— Познакомься, это мой муж,— сказала Юля и за руку подтащила стоявшего поодаль плечистого парня с добродушным улыбчивым лицом.

— Саша,— сказал он и так сжал руку Зины, что она вскрикнула.

— Ты что тут делаешь?— спросила Юля.

— Я? Ничего. Гуляю,— беспечно ответила Зина.

— Работаешь? Учетчица на бирже?

Зина махнула рукой:

— Лишь бы зарплата да карточки. А ты где?

— О! У меня должность самая ответственная, я жена своего мужа,— весело сказала Юля.

— Она замечательная жена,— засмеялся Саша и, обняв Юлю, прижал к своей огромной груди. И шепнул:— Позови ее в гости...

— Сашка, люди кругом,— сказала Юля, высвобождаясь из объятий мужа.

Зина смотрела на них с завистью.

— Чего смотришь так? Завидуешь? В одночасье устроим,— рассмеялась Юля и серьезно спросила: — Ты что собираешься делать?

— Ничего.

— Идем к нам, попьем чаю, поговорим.

Чай был необыкновенно вкусный, с вареньем, с мягкими домашними коржиками. За столом разговаривали о чем угодно. О том, как варить кисель из давленого винограда. Как смешно немцы, не зная русского языка, пытаются говорить с нашими. Что на рынке появился какой-то свихнувшийся старик, который, как увидит немца, становится руки по швам и во все горло поет «Боже, царя храни»...

Стало темнеть. Юля занавесила окна и зажгла керосиновую лампу под зеленым стеклянным абажуром. За столом стало еще уютнее. Зина с тоской подумала, что ей надо уходить,— приближался комендантский час, и она окажется в своей комнатушке, где даже света нет никакого.

В окно дважды отрывисто стукнули по раме.

— Серега, беспризорник наш! — воскликнул Саша и пошел открывать дверь.

Гостя усадили рядом с Зиной. Уголком глаза она видела его худое и, как ей показалось, усталое лицо.

— Думаю, дай хоть на минутку загляну до комендантского часа,— говорил гость сипловатым тенорком.— А главный расчет — хоть немного подзаправиться на сон грядущий.

— Ты у нас всегда на учете,— смеялась Юля, ставя перед Сергеем тарелку с вареной картошкой, политой подсолнечным маслом. Он съел эту картошку в одну минуту и принялся за чай. Делал он все стремительно, успевая, впрочем, участвовать в разговоре.

И вдруг он будто только сейчас обнаружил, что рядом с ним сидит незнакомая девушка, хотя Федорчук еще в передней шепнул ему, какая у них полезная гостья и что надо завязать с ней знакомство.

— А я же вас и не знаю. Как вас зовут? — спросил он Зину.

— Ну и люди мы! — спохватилась Юля.— Забыли познакомить. Это Зина.

— Стало быть, Зина? — спросил Сергей.— А я Сережа.

— Знаю,— сказала Зина и засмеялась.

Скоро пришлось уходить. Саша шутливо приказал Сергею проводить Зину до дому:

— Головой отвечаешь мне за нее...

Они быстро, почти бегом шли по улице — приближался комендантский час. Сергей вел Зину под руку, и это ее смущало и сковывало. Она вообще не любила и не умела ходить под ручку. Разговор у них не получался.

— А чего это Саша зовет вас беспризорником? — спросила Зина.

— Согласно анкете, я из детдома.

— И я тоже,— удивилась и обрадовалась Зина.

— Сестричка, значит?— Сергей сжал ее локоть.— Мне другой раз кажется, что каждый второй прошел через это.

— А я ни одного нашего еще не встречала,— сказала Зина.— Разве только одну подружку, еще до войны.

Они подошли к дому Зины, попрощались церемонно за руку, и Зина прошмыгнула в калитку.

После этого они стали встречаться каждый день. Сергей приходил к бирже к концу рабочего дня, встречал Зину, и они шли гулять. Они вспоминали каждый про свой детдом, и все у обоих было похоже. Но Зина начала бояться Сергея. Ее настораживала его порывистость. Однажды, когда они прощались возле ее дома, он схватил ее неловко за шею и пытался поцеловать. Она уперлась ему в грудь локтем и нечаянно очень больно ударила его головой в подбородок. Он сразу отпустил ее и, потрогав подбородок, сказал мрачно:

— Зубы, кажется, целы, и то хорошо. Спокойной ночи.— И ушел.

Зина боялась, что их знакомство на том и оборвется.

Но как раз в это время Дымко получил приказ Шрагина сблизиться с Зиной. Да и без этого он не оборвал бы с ней знакомства — сам понимал, как может это пригодиться для дела. И наконец девушка ему попросту все больше нравилась. Словом, на другой день Сергей как ни в чем не бывало ждал ее у биржи. В этот раз он был молчалив и задумчив. «Обижается»,— решила Зина. Но он вдруг сказал:

— У меня, сестренка, компотное положение с работой,— сказал он, решив, не откладывая, выяснить, способна ли Зина оказать помощь.

— На учете у нас стоишь?— спросила она.

— Нельзя, сестрица, могут упечь в Германию за здорово живешь. Уж больно возраст у меня для них нужный.

Зина молчала, она знала, что опасения Сергея основательны. Последнее время Легавый завел специальную регистрацию безработных мужчин, которым меньше тридцати лет. Сказал при этом, скалясь желтыми зубами: «Экскурсанты — поедут Европу глядеть...»

— А нельзя там у вас сварганить какую-нибудь справку?— осторожно спросил Сергей.— Ну, что предъявитель сего работает там-то и там-то и чтобы печать с подписью?

— Нельзя,— ответила Зина.— Нас каждый день стращают, и начальство за каждым бланком в три глаза смотрит.

— Мельчает, я вижу, наше детдомовское племя,— вздохнул Сергей.— Да если бы меня кто из своих детдомовских попросил на стену влезть, я бы в один миг...

— Нельзя,— строго повторила Зина и уже мягче добавила:— Не могу, Сережа.

— На нет и суда нет,— весело сказал Сергей.— Спасибо этому дому, пойдем к другому.

— Никто тебе этого не сделает,— будто испугавшись, сказала Зина.

— И даже директор биржи?— спросил Сергей.

— Легавый-то? И не думай даже. Он тебя в два счета в тюрьму отправит.

— Тогда табак мое дело,— вздохнул Сергей и сжал ее локоть.

Они снова шли под ручку, Зина к этому уже начинала привыкать.

На другой день Зина все время думала о справке для Сергея. Но стоило ей поднять взгляд, как она натыкалась на водянистые глаза Легавого, и у нее сразу начинали дрожать руки, будто она уже подделала эту страшную справку и Легавый знает об этом.

Вера Ивановна спросила ее:

— Зина, у тебя что-нибудь случилось?

Зина вздрогнула и, взяв себя в руки, спокойно сказала:

— Что может со мной случиться, разве что влюблюсь?

— Ну, это не беда,— улыбнулась Вера Ивановна.— Хотя вроде и не время.

— Почему это не время?— задорно спросила Зина, чтобы отвлечься от своего страха.— «Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь»,— тихонько пропела она.

— Эй, дочка́! Может, ты лясы будешь дома точить, а тут надо работать!— крикнул из своего угла Легавый...

В этот день, когда Зина вышла из здания биржи, Сергея на обычном месте не оказалось. Она встревожилась. Часа два бродила по городу, думая о том, что могло с ним случиться, и, не выдержав характера, пошла к Юле.

Юля сразу увидела, что Зина встревожена. Обняла ее за плечи, ввела в дом, посадила за стол, поставила перед ней стакан чаю и сама села напротив нее.

— Что с тобой? Ты лучше скажи, легче будет.

Зина молчала и не притрагивалась к чаю.

— Что-нибудь с Сергеем?

— Ты не знаешь, где он?— не выдержала Зина.

— Они с Сашей пошли куда-то насчет работы, ведь Сергея твоего могут запросто угнать в Германию.

— Почему это моего?— фыркнула Зина.

— Ну, нашего, все равно,— тихо произнесла Юля и, вздохнув, добавила:— Чудесный он парень. Поженились бы, стало бы вам обоим легче в этом аду. Знаешь, как хорошо, когда рядом верный человек!..

Зина вспыхнула, уже готова была защититься грубой шуткой, но не сделала этого, промолчала и тут же ушла.

Назавтра Сергей был на месте, и Зина так обрадовалась, увидев его, что, сама того не заметив, побежала к нему, но, не добежав немного, вдруг испугалась своего порыва, остановилась и стояла как вкопанная, пока Сергей сам не сделал к ней несколько шагов.

Они пошли уже привычным им маршрутом, по тихим маленьким улочкам, минуя центр города.

— Я знаю твой вчерашний разговор с Юлей,— сказал Сергей.

— Какой еще разговор?— спросила Зина, холодея.

— Какой, какой... Ну, что скажешь?

— Ей и скажу при случае,— тихо ответила Зина.

Они некоторое время шли молча, и вдруг Сергей сказал:

— Правда, Зина, давай жить вместе. Ей-богу, веселей будет.

— Как это жить?— спросила Зина.

— Как все живут, семейно.

— А любовь?— спросила Зина, сама не очень-то понимая, что это такое.

— Стихи не пишу,— усмехнулся Сергей.

Зине казалось, что все это он говорил несерьезно, а главное, совсем не теми словами, о которых ей иногда мечталось, но одновременно она видела его беспокойное лицо, его тревожный, ожидающий взгляд и вдруг почувствовала, что он не шутит.

— Ну так как, Зина?— нетерпеливо спросил Сергей и остановился.

— Как же ты про это думаешь? Без всякой записи?— помолчав, спросила Зина.

— Почему?— возразил Сергей.— Какая у них тут будет запись, кто знает... К тому ж их запись для меня ничто. А друзья мои уже сделали разведку насчет попа и всего такого прочего. Там в церкви и запись ведут по-старинному. Правда, поп цену заломил — упадешь.

— В церкви?— удивилась и обрадовалась Зина. Она видела в каком-то фильме церковное венчание, и оно ей очень понравилось. Там все было так торжественно, красиво, с пением.

— Больше же негде,— сказал Сергей и снова спросил:— Ну, что ты решаешь?

— А ты меня не бросишь? — Зина смотрела на него, и он видел в ее глазах веселые искорки.

— Только б ты меня не бросила,— тихо сказал он и осторожно, совсем не так, как в первый раз, ласково притянул ее к себе и стал искать ее губы...

В воскресенье утром по главной улице, направляясь к церкви, степенно двигался свадебный кортеж на двух извозчиках. Моросил дождь, и верх над пролетками был поднят. Верх этот был из желтой, грязной кожи и весь в дырках. Да и сами пролетки имели такой вид, будто их вырыли из земли. В самом деле, где они были, пока по этим улицам бегали такси и трамваи?

Прохожие, увидев кортеж, останавливались и удивленно смотрели ему вслед: кому это сейчас пришло в голову жениться да еще свадьбу играть? А немцам это зрелище нравилось. Они смеялись, кричали что-то вслед процессии.

В первой пролетке сидела молодая и старший боярин Харченко. У него через плечо был повязан вышитый рушник. Во второй пролетке жених сидел между стариком и старухой — это были Михаил Степанович Быков и его жена Ольга Матвеевна — хозяева дома, в котором провел первую тайную ночь и теперь жил Харченко. Жених — Сергей Дымко — украдкой любовно посматривал на своих посаженых батько и мамашу и диву давался, с каким истинным достоинством играли старики свои свадебные роли. Он знал, что они без особого раздумья оставили у себя Харченко. Мало того, они сумели через церковь получить фальшивую метрику, свидетельствующую, что Харченко усыновлен ими еще в 1930 году. Когда Харченко попросил их участвовать в свадьбе, старики сразу согласились. Харченко рассказывал, что их беспокоило только одно — не произойдет ли на свадьбе какая-нибудь стрельба и что в таком случае не надо брать с собой Ольгу Матвеевну, потому что она не переносит выстрелов...

В церкви было темно, как в погребе. Поп выглядел довольно странно — наголо бритый и даже без усов. Он встретил приехавших на паперти, торопливо провел в церковь и, взяв Харченко за руку, отошел с ним в сторону. Они долго о чем-то шептались.

— Ладно, дадим тебе еще две пачки чаю, и шабаш,— громко сказал Харченко и вернулся к молодым.

— Осьмушки или четвертушки?— поинтересовался поп.

— Ты сказал бы еще, по кило каждая,— разозлился Харченко.— Как тебе не стыдно из церкви ларек делать? Осьмушки, осьмушки...

— Ладно, идите к церковным вратам,— сказал поп и куда-то скрылся.

Вскоре он снова появился, уже в рясе, довольно потрепанной. Рядом с попом семенила сгорбленная крохотная старушонка в таком длинном черном платье, что оно волочилось за ней, как хвост.

— Молодые, станьте сюда,— распорядился поп, показывая на низкую кафедру, на которой лежала большая книга с крестом на переплете. Зина и Сергей стали рядом. Позади них — Харченко со своими стариками.

— Зовут как?— строго спросил поп.

— Зинаида и Сергей,— ответила за двоих Зина. Она очень волновалась и боялась чего-то, ей хотелось, чтобы все поскорее кончилось.

Поп посмотрел на нее насмешливо и, задрав голову вверх, громко проголосил:

— Венчаются раба божья Зинаида и раб божий Сергей. И да пусть...— больше из того, что он бормотал, резко снизив тон, ни одного слова разобрать было нельзя. Харченко знал, что поп до прихода немцев был бухгалтером строительного треста и, конечно, ничего не понимал в церковной службе, но наблюдать за этим самодельным попом было смешно. А молодые, казалось, не замечали комизма положения и были полны серьеза и трепета.

Побормотав минуты две, поп вдруг умолк и строго спросил Сергея:

— Будешь верен своей жене?

— Буду.

— Гляди!— пригрозил ему пальцем поп и обратился к Зине:— А ты?

— Буду, буду,— быстро проговорила она.

— Гляди!— пригрозил поп и ей, после чего он сошел со своего пьедестала и, задрав до груди рясу, вытащил из кармана бумажку.— Сейчас, я только фамилии ваши проставлю и в книгу занесу...

Харченко взял у него справку, проверил, что в ней написано, проверил запись в книге и после этого отдал попу две осьмушки чаю, сказав при этом:

— Живодер ты, а не поп.

— Каждый живет, как может,— ответил поп, поглаживая свою бритую голову.

Из церкви все уже пешком отправились к Федорчукам, где их ждал свадебный стол...

ГЛАВА 12

Штурмбаннфюрер Вальтер Цах рассказывал Релинку о подготовленной им акции «Шесть лучей». Именно рассказывал, а не докладывал. Начальник полиции безопасности вообще не был обязан отчитываться перед старшим следователем СД. И если он пришел к нему, то только потому, что знал, какой большой опыт у Релинка в проведении подобных акций и что в СД города он фигура наиболее значительная. И все же разговор их вроде неофициальный. Вот и встретились они не на службе, а в воскресный вечер в особняке, где жил Релинк. Они сидели на тесном балконе, выходившем в сад. Плетеные кресла еле поместились на балконе, и собеседники все время чувствовали колени друг друга. Но зато можно говорить совсем тихо, тем более что обоим известен параграф 17 инструкции Гейдриха, в котором особо подчеркивается секретность именно этих акций.

— По-моему, шифр операции подобран неудачно,— сказал Релинк.— Каждому дураку ясно, что речь идет о шести лучах еврейского клейма.

Цах, не моргнув глазом, проглотил «дурака» и спросил:

— А что, если ее назвать просто акция номер один?

— Во всяком случае, лучше,— ответил Релинк.— На сколько человек вы рассчитываете акцию?

— Я думаю, что по первому приказу о явке придут около двух тысяч человек и через неделю столько же по второму приказу.

— Возможность побега из города, надеюсь, предусмотрена?

— Да, все сделано. У нас единственная трудность — довольно большое расстояние от места сбора до места акции.

— Это очень плохо, Цах,— с мягкой укоризной сказал Релинк.— Каждый лишний десяток метров пути — это лишний шанс расшифровки акции.

— Но мы их доставим туда ночью.

— Как вы их доставите? У вас будет для этого необходимый транспорт?

— Я провел хронометраж. Ночью гнал по маршруту полицейских. Получилось девятнадцать минут. Учитывая, что в колонне будут и старые люди, планирую тридцать минут.

— А вы помните случай в Польше, когда пять тысяч человек просто отказались идти и сели на дорогу! Что будет, если предчувствие не обманет и ваших?

— Что вы предлагаете?

— Я предлагать не могу вообще.

— Я все-таки проведу их за тридцать минут! Не то чтобы сесть на дорогу, подумать об этом не успеют,— энергично сказал Цах.

Они разговаривали вполголоса, совершенно спокойно, как могут говорить о своих делах любые люди. И они будто не знали, что каждое их слово — это автоматная очередь, предсмертные крики женщин и детей, шевелящаяся земля над могилами тысяч людей, виноватых только в том, что они родились евреями.

Нет, они знали! И именно поэтому они заменили предложенный Цахом не слишком хитрый шифр операции. Они знали, и именно поэтому Релинк избрал местом разговора этот тесный балкон. Они знали, и поэтому их так заботило скрытие акции от посторонних глаз.

Релинк и Цах закончили свой разговор на балконе и некоторое время молчали. После недавнего дождя в саду позванивала капель, в небе сверкали, будто вымытые, крупные звезды. Какая-то бессонная чайка метнулась над садом, и от ее пронзительного тоскливого крика вздрогнули те, на балконе.

— Завтра в это время мы начнем,— сказал Цах, вставая.

— Позвоните по окончании. Желаю успеха.

— Я в нем уверен. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Релинк проводил Цаха до ворот и потом долго гулял по саду. Он завидовал Цаху — у того уже началась настоящая работа, а ему приходится заниматься пока очень нужным, но, увы, не самым интересным делом.

Весь день он провел на конспиративной квартире, куда к нему по строгому графику водили людей, завербованных в секретные агенты СД. Удивительно, как похожи друг на друга все эти люди — и во Франции, и в Голландии, и в Польше, и здесь. После двух-трех бесед Релинку казалось, что вместе с каждым кандидатом в агенты в комнату почти зримо входили либо страх, либо алчность, либо ненависть. После каждого разговора он записывал в свою крохотную записную книжечку кличку агента и в скобках ставил одно из тех слов: «страх», «алчность», «ненависть». Это

чтобы потом всегда помнить главную душевную пружину агента. Помнить это очень важно, ибо, что по силам ненависти, не может осилить алчность и тем более страх... Подготовительную, самую первичную работу с агентами Релинк не любил, потому что люди эти ему были не интересны и заранее во всем понятны.

Релинк вернулся домой поздно.

Он заснул быстро и крепко, как засыпают люди, у которых здоровье и нервы в полном порядке и которые от завтрашнего дня не ждут никаких неожиданностей, так как считают, что свое завтра они делают сами...

Но в половине третьего ночи его поднял с постели телефонный звонок из СД.

— Позволю себе звонить на правах коменданта,— услышал он, как всегда, веселый и, как всегда, надтреснутый голос Брамберга.— К нам тут явился очень интересный тип.

— Сам явился?

— Да.

— Что ему надо?

— Требует, чтобы с ним говорило начальство повыше меня.

— Так арестуйте его, и завтра разберемся.

— Но мы же договорились на первых порах добровольцев не брать. Притом нюх меня обманывает редко. Вам стоит приехать. От этого типа идет крепкий запах.

— Ладно, высылайте машину...

Релинк сидел за столом, еще не совсем проснувшись, когда к нему ввели того, кого Брамберг называл интересным типом. Да, этого не могли сюда привести ни страх, ни алчность. В облике вошедшего были лишь независимость и уверенность. Перед Релинком стоял крепкий, осанистый мужчина лет пятидесяти, с крупным волевым лицом. Его массивная голова была на такой короткой шее, что казалось, будто она приросла прямо к плечам.

Не дожидаясь приглашения, он сел на стул и, внимательно смотря на Релинка, спросил:

— С кем имею честь разговаривать?

— Здесь обычно первый спрашиваю я,— улыбнулся Релинк, уже предвкушая интересный и сложный кроссворд.

— Моя фамилия Савченко, Илья Ильич Савченко. Но это ровным счетом ничего вам не говорит.

— Начальник СД доктор Шпан,— назвал Релинк не свою фамилию.

— Почему же вы принимаете меня не в своем кабинете?— спокойно спросил Савченко.

— Разве суть разговора может зависеть от мебели?— в свою очередь, спросил Релинк.

— Ну, а все же?

— Вы пришли в учреждение, где я могу позволить себе фантазию принимать людей в любом из кабинетов. И вам не кажется, что мы начали разговор не самым деловым образом?

— Кажется,— согласился Савченко и неторопливо достал из кармана коробку папирос и спички.

— Я не курю,— сухо заметил Релинк, и это была его первая проба собеседника на характер.

Поискав глазами пепельницу и не найдя ее, Савченко положил погашенную спичку в коробку с папиросами.

— Я пришел к вам... по указанию украинской националистической организации,— многозначительно сказал он, шумно раскуривая отсыревшую папиросу.

— Что за организация?— вяло поинтересовался Релинк.

Савченко, не глядя на него, удивленно поднял брови:

— Вам известна такая фамилия — Бандера?

— Да.

— То, что вы находитесь на территории Украины, тоже, надеюсь, вам известно?

— Безусловно.

— Это автоматически освобождает меня от объяснения, какую организацию я представляю.

— Но в вашей организации, я знаю, есть какие-то разветвления, оттенки, нюансы. И вот в этом, признаюсь, я еще не успел разобраться,— ответил Релинк.

— Видите ли, это не совсем верно,— огорченно сказал Савченко.— Разветвления, или, как вы говорите, нюансы, существуют, к сожалению, только в нашем заграничном руководстве, где, кроме подлинного вождя Украины Бандеры, бьются за власть и за место возле украинского пирога различные деятели рангом пониже и умом победнее. А здесь, на месте, мы абсолютно едины в нашей любви к Украине и в нашей ненависти к коммунистам. До первых дней войны я находился во Львове, а затем согласно приказу Бандеры прибыл сюда, чтобы возглавить местную организацию и установить с вами деловой контакт. Моя область — весь юг Украины. Мы не торопимся и не хотим торопить вас. Мы понимаем, что первая ваша задача — расчистить город. Но сегодня мы решили, что уже сейчас можем быть вам полезны. С тем я и пришел. Должен извиниться, что пришел в поздний час, но нужна осторожность.

— Понимаю, понимаю,— рассеянно проговорил Релинк, вспоминая в это время все, что говорили ему в Берлине по поводу использования украинской националистической организации. А говорили ему, что публика эта может быть и полезна и опасна. Их ненависть к Советам, ко всему, что идет от Москвы, следует использовать, но нужно всегда помнить, что они хотят с помощью немецкой армии стать во главе самостийной Украины, а это, кроме как им самим, никому не нужно. Так что контакт с ними следует поддерживать и извлекать из этого максимум пользы, но подпускать их к власти нельзя. Им даже не надо давать на этот счет никаких конкретных обещаний. Максимум — участие в органах местного управления.

— Могу ли я знать численность вашей организации?— спросил Релинк.

— Все украинское население города. Но точнее об этом позже и вообще все организационные вопросы — позже. Сегодня я явился к вам с одним совершенно конкретным делом.

— Слушаю вас.

— Вы знаете о том, что местный горком партии оставил в городе хорошо вооруженное подполье?

— Во всяком случае, думал об этом,— равнодушно ответил Релинк.

— По нашему мнению, вы должны уже не думать, а действовать. Мои люди обнаружили в городе больше десятка оставленных здесь коммунистов, сменивших не только место работы, но и все свое обличье...— Савченко выжидательно замолчал.

— Дальше,— попросил Релинк.

— Я ждал, что вы спросите фамилии и адреса этих коммунистов,— улыбнулся Савченко.

— Это мы узнаем сами,— небрежно обронил Релинк.

— Не сомневаюсь.— Савченко затянулся дымом папиросы и добавил:— Но если у вас возникнут трудности, мы поможем, только скажите.

Релинк выругался про себя. Черт его дернул самому отрезать возможность сейчас же спросить фамилии оставшихся в городе коммунистов.

А Савченко в это время думал о том, что его собеседник, пожалуй, не так уж хитер и легко впадает в фанаберию. Он собирался уже сегодня парочку фамилий обменять на кое-какие привилегии для членов своей организации, а дело явно затягивалось.

— Что у вас ко мне еще?— спросил Релинк.

— Мне хотелось бы еще только высказать пожелание, чтобы вы и другие оккупационные власти при подборе работников для различных целей делали некоторое предпочтение нашим людям. Только и всего.

— Лично я это обещаю,— заявил Релинк.— Что же касается других оккупационных институтов, вам, вероятно, придется установить контакт и с ними.

— Мне этого не хотелось бы делать. На этот счет желательна ваша авторитетная рекомендация. Вы могли бы, например, сообщить мой адрес кому надо, тогда я знал бы, что назревающий контакт вами одобрен. Словом, пока мне хотелось бы иметь дело только с вами.

— Я подумаю об этом,— ответил Релинк.— Прошу ваш адрес, а заодно и документы, подтверждающие ваши полномочия.

Савченко неторопливо вынул из кармана аккуратно сложенную бумагу и протянул ее Релинку.

Это оказался вполне официальный документ, подписанный самим Бандерой и на его личном бланке. В нем было даже обращение к немецким оккупационным властям «оказывать Сав-

ченко И. И. всяческое содействие в выполнении им высокого национального долга».

Релинк вернул документ.

Савченко сказал:

— Мой адрес: Первомайская улица, двадцать девять, спросить Евдокию Ивановну.

Релинк записал адрес и поблагодарил Савченко за полезный визит.

— Я хотел бы, перед тем как попрощаться, внести в наши отношения дополнительную ясность и для этого говорю: до свидания, господин Релинк,— с любезной улыбкой сказал Савченко.

Релинку ничего не оставалось, как тоже улыбнуться и сказать:

— До свидания, господин Савченко.

В кабинет заглянул Брамберг, он без слов спрашивал, как поступить с посетителем.

— Выпусти его и сейчас же вернись ко мне,— распорядился Релинк.

Вернувшийся Брамберг уже понимал, что в чем-то провинился, и преданно смотрел в глаза Релинку.

— Откуда он узнал мою фамилию?— холодно спросил Релинк.

— Когда я сказал ему, что вы сейчас приедете, он спросил, как к вам обращаться. И я сказал ему: «господин Релинк», вот и все.

— Осел!— тихо произнес Релинк.— Запомни этот случай на все время, что я еще буду тебя терпеть.

— Запомню,— четко произнес Брамберг.— Я могу идти?

— Машину к подъезду,— приказал Релинк.

— Уже стоит.

— Тогда иди к черту!

— Слушаюсь, пошел.— Брамберг круто развернулся и, печатая шаг, направился к дверям.

ГЛАВА 13

Оккупанты цепко брали в свои руки все, в том числе и тех, кто остался на заводе. Немецкие специалисты за редким исключением хорошо знали дело и зорко следили за работой русских. Все заводские инженеры, а их в конце концов набралось около десятка, работали бок о бок с немецкими. В этих условиях саботаж почти исключался, он был бы немедленно обнаружен, тем более что новые хозяева завода ждали саботажа и были настороже. Для Шрагина же видимость его добросовестной работы была единственной возможностью прочно закрепиться и легально жить в городе.

Адмирал Бодеккер запомнил его с первой встречи и затем убедился, что он знающий инженер и умный человек. Однажды после совещания специалистов адмирал попросил его остаться.

— У меня для вас интересное предложение,— сказал Бодеккер, поглаживая ладонью седой ежик волос.— Мне нужно, чтобы у меня под рукой всегда был русский инженер, который являлся бы унформером, преобразующим немецкую инициативу и энергию в русскую и наоборот, причем в масштабе всего подчиненного мне Черноморского бассейна. Идеально, чтобы унформер хорошо знал, как вы, немецкий и русский языки. Что вы скажете?

Шрагин не торопился отвечать, да и не знал, как ответить. Он полагал, что не имел права так круто связать себя с делами адмирала, но отказаться без убедительной для Бодеккера мотивировки тоже было нельзя. Наконец сам адмирал очень интересовал Шрагина — это был, судя по всему, крупный специалист-судостроитель с очень высоко идущими связями и, кроме того, немец с самостоятельными и далеко не стандартными взглядами. Чего стоит одно его выступление на первом же совещании инженеров, когда он попросил при обращении к нему не упоминать его адмиральского звания. Он сказал, что это только удлиняет разговор и, кроме того, каждый раз заставляет от гнева переворачиваться в гробу знаменитого Нельсона, которого он глубоко уважает... Шрагин видел, как при этом переглянулись немецкие инженеры. Шутка сказать, немецкий адмирал открыто заявляет о своем уважении к английскому адмиралу...

— Ну, так что вы скажете?— снова, уже нетерпеливо спросил Бодеккер.

— Я прошу дать мне возможность подумать,— ответил Шрагин.

— Вы, очевидно, разгадали мою слабость...— добродушно сказал адмирал, его светло-карие глаза смеялись.— Я люблю, когда мои люди думают.

Они помолчали.

— Подумайте, кстати, еще и о том,— уже серьезно добавил он,— что нам все-таки делать с плавучим краном. Вы его не осматривали?

— Такого приказа не было, господин адмирал.

— Если русские воспримут немецкую привычку все делать только по приказу, не будет у нас толка,— поморщился Бодеккер.— Прошу вас, осмотрите кран. А ответ на мое предложение я хочу услышать сегодня, в восемнадцать ноль-ноль...

Шрагин шел к причалу, где стоял кран. Все, что он видел по пути, не могло его не радовать. Обещанная Берлином немецкая ремонтная и всякая другая техника до сих пор не прибыла. На стапелях чернела обгорелая громада недостроенного военного корабля. При отступлении наши саперы пытались его взорвать, но только покалечили немного. Чтобы разрушить такую громадину, наверно, нужен был вагон взрывчатки. Сейчас возле корабля не было видно ни одного рабочего. А Бодеккер грозился весной спустить его на воду. Плавучий док, надобность в котором была очень велика, по-прежнему стоял полузатопленный у того берега залива, и румынские солдаты, купаясь, прыгали с него в воду. На

том берегу была территория, отданная румынам. По-прежнему не хватало рабочих. Словом, хваленая немецкая организованность здесь явно давала осечку.

Шрагин остановился возле плавучего крана. На внешнем его борту, свесив в море ноги, рядком сидели человек десять рабочих. Прислонившись грудью к перилам, бездумно смотрел вдаль знакомый Шрагину Павел Ильич Снежко. Он теперь возглавлял ремонтную бригаду.

— Павел Ильич!— позвал его Шрагин.

Снежко вытянулся и закричал во все горло:

— Лодыри, кончай кемарить!

Рабочие не спеша поднялись и, недобро посматривая на своего бригадира и на Шрагина, пошли к ручному насосу, установленному на палубе крана.

По настланным с причала упругим доскам Шрагин перебрался на кран.

— Ну, что у вас тут делается?— громко спросил он у Снежко.

Насос перестал скрипеть. Послышался чей-то насмешливый голос:

— Качаем воду из моря в море.

— Отставить разговоры!— гаркнул Снежко.

Помпа снова заскрипела, и из выброшенного за борт брезентового рукава полилась в море ржавая вода.

— Вот откачиваем согласно приказу немецкого инженера,— огорченно сказал Снежко.— А только течь дает больше, чем мы выкачиваем. Надо бы достать мотопомпу.

— Спустимся в трюм,— предложил Шрагин.

Первый момент в темноте ничего нельзя было разглядеть, только тускло блестела вода, заполнявшая весь трюм.

— Вон там дыра почти что аршин в диаметре, хорошо еще, что со стороны причала,— пояснил Снежко.

— Что же тут хорошего?— спросил Шрагин.— Кран опасно накренен на ту сторону и может перевернуться.

— А что можно сделать?

— Надо подумать, рассчитать,— вслух, про себя размышлял Шрагин.— Конечно, расчетная плавучесть у него огромная. И все же крен опасный. Ведь все рассчитано на строго горизонтальное положение крана, тогда он берет на себя великие тяжести. Но крен все это перечеркивает. Переборки внутри отсеков целы?

— Вроде целы,— неуверенно ответил Снежко.— Видите, почти вся вода с одной стороны.

Шрагин в это время разглядывал сдвинутые узлы крепления переборок и размышлял о том, что затопить эту махину совсем не трудно...

Снежко задумался:

— Если вы говорите, что в ровном положении плавучесть у него большая, может, открыть кингстон с левой стороны и пуском воды выровнять крен?

Вот! Именно это! Даже если чуть приоткрыть кингстон, его уже никто не удержит, тяжесть крана обеспечит такой напор воды, что она сорвет кингстон, и тогда кран в течение часа пойдет на дно.

Над их головой по железной палубе загремели чьи-то шаги. Шрагин и Снежко вылезли из трюма и увидели немецкого инженера Штуцера — молодого и, как всегда, франтоватого паренька, который в отличие от Бодеккера всегда требовал, чтобы его величали инженер-капитаном. Шрагин уже имел возможность выяснить, что за душой у этого инженер-капитана, кроме звания и наглой самоуверенности, нет ничего, и прежде всего нет опыта.

— Здравствуйте, господин инженер-капитан,— почтительно приветствовал его Шрагин.

— Что вы там выяснили?— начальственно спросил Штуцер.

— Положение сложное,— огорченно сказал Шрагин.— Необходимо какое-то смелое решение, иначе кран может перевернуться. Дело в том, что вода заполняет только одну полость трюма. У бригадира есть предложение приоткрыть кингстон с левой стороны и впуском воды выровнять крен, но я на это не могу решиться, да и не имею права.

— Но ведь сейчас крен — главная опасность!— сказал Штуцер, сам идя в западню.

— Безусловно...— подтвердил Шрагин.— И если он перевернется, тогда беда. А если бы, выровняв крен, вы со своим авторитетом добились на сутки хотя бы одной мотопомпы, все было бы в полном порядке.

— Так и сделаем,— быстро сказал Штуцер.— Приказываю выровнять крен, а завтра будет помпа.— Он посмотрел на часы и ушел с крана легкой балетной походкой.

Шрагин разговаривал со Штуцером по-немецки, и все это время Снежко, ничего не понимая, вытянувшись, стоял рядом. Когда Штуцер ушел, Шрагин сказал бригадиру:

— Инженер-капитан Штуцер одобрил ваше предложение насчет кингстона, приказал действовать, а завтра утром будет помпа.

— Может, подождать, пока получим помпу?

— Есть приказ инженер-капитана,— сухо сказал Шрагин.— И на вашем месте я не брал бы на себя ответственность изменять его распоряжения...

Пройдя полпути к заводоуправлению, Шрагин оглянулся — Снежко все еще стоял на том же месте, возле лестницы в трюм крана.

Адмирал Бодеккер не принял Шрагина, он торопился на какое-то совещание. Только спросил на ходу:

— Что решили с краном?

— Какое-то решение принял инженер-капитан Штуцер,— небрежно ответил Шрагин.

На мгновение Бодеккер задержал шаг, и в глазах у него появилось недовольство, но, к счастью, только на мгновение.

— Я ухожу,— сказал он,— на мой вопрос ответите завтра утром. До свидания.

Шрагин потолкался немного в дирекции и тоже ушел. За воротами завода его ждала вторая его нелегальная жизнь...

Хотя Харченко и Федорчук говорили Шрагину, что Сергей Дымко с Зиной живут дружно, хорошо, он поначалу тревожился. Он помнил Дымко по первому разговору, помнил его неуверенность в себе, его чисто юношескую порывистость, так подкупившую его, и думал, что Сергей легко может попасть под влияние жены, а тогда все будет зависеть от того, какой она человек, эта Зина. Но тревога Шрагина оказалась напрасной. Встретившись с Дымко, он с удивлением наблюдал, как изменился парень: посерьезнел, весь как-то подобрался, даже говорить стал иначе — скупо и точными словами. Шрагин поздравил его с женитьбой и пожелал ему счастья. Дымко даже не улыбнулся, сказал тихо:

— Спасибо. Все теперь стало и сложней и радостней.

Шрагин понял, о чем он думает, но решил вызвать его на более подробный разговор — спросил:

— А почему сложней?

— Я теперь отвечаю и за себя и за нее. И она — тоже.

— А она понимает это?

Дымко посмотрел прямо в глаза Шрагину.

— Не тревожьтесь, Игорь Николаевич, прошу вас. Зина — человек надежный.

— Она знает о вас все?

— Да,— твердо ответил Дымко и спросил:— А как же ей не знать, если она для всех нас справки на своей бирже добывает?.. Рискуя жизнью, между прочим...

Да, Зина как-то сразу вошла в дела группы. Она оказалась действительно неунывающей девушкой. Но совсем не легкомысленной. У нее появились смысл и цель жизни, и ей не понадобилось объяснять, что она получила неспокойное счастье. Она сама сказала Дымко: «Ты меня не оберегай, цветочки я буду разводить потом...»

Вскоре она принесла с биржи пачку чистых бланков для справок, оттиск печати и образчик подписи Легавого и немецкого директора биржи. Подпольщики изготовили из куска резины печать и так научились подделывать подписи биржевого начальства, что оно само не обнаружило бы подделки.

Все участники группы получили, наконец, довольно надежные документы. Дымко и Харченко, подчиняясь справке, которую они сами изготовили, пошли работать на открытую немцами и работавшую для армии макаронную фабрику...

Так неожиданно решилась очень трудная задача, и Шрагин с благодарностью думал о Зине.

А вот у Федорчука с его Юлей возник настолько опасный конфликт, что Шрагин нашел нужным вмешаться. Энергичная, смелая, с волевым характером, Юля рвалась в бой с фашистами и обвиняла Федорчука в бездеятельности и трусости, а тот пока не имел разрешения сказать ей, кто он. Поначалу Шрагин не придавал значения этой истории и не торопился с разрешением Федор-

чуку открыться перед Юлей. Тогда Юля начала действовать сама. Прекрасно говоря по-немецки, она начала напропалую знакомиться с немцами, ходила с ними в кино, на вечеринки и на днях сказала Федорчуку, что скоро с помощью какой-то своей знакомой, работавшей в аптеке, достанет цианистый калий. «Буду травить фашистов, как крыс»,— сказала она. А когда Федорчук назвал это дурацкой затеей, она чуть не выгнала его из дому и обозвала дезертиром.

Сейчас Шрагин шел в дом Федорчука...

Григоренко уже стоял в условленном месте. Шрагин медленно прошел мимо него, но вскоре связной обогнал его и пошел шагах в пятидесяти впереди. Он должен подвести его к дому Федорчука, а потом дежурить на улице.

Федорчук встретил Шрагина во дворе своего дома. Они прошли в глубь двора и сели на скамейку.

— Дурацкое положение создалось, Игорь Николаевич,— тихо сказал Федорчук, вспахивая пятерней своей густые светлые волосы.

— Что вы сказали ей обо мне?

— Один мой давний и хороший знакомый, толковый, мол, человек и так далее.

— Вы за нее ручаетесь?— строго спросил Шрагин.

— Как за себя. Она же от ненависти к немцам прямо худеет на глазах.

— Позовите ее.

Юля вышла из дому и твердым мужским шагом приближалась к Шрагину, чуть сузив устремленные на него глаза. Небольшого роста, но широкая в плечах, черные пушистые волосы спадали на плечи. Большие и тоже черные глаза смотрели смело из-под прямых, как стрелы, бровей.

— Здравствуйте, не знаю, как вас звать-величать,— сказала она низким, грудным голосом и села на краешек скамейки.

— Игорь Николаевич,— ответил Шрагин, продолжая ее рассматривать.

— Вы что, свататься пришли?— усмехнулась Юля.— Саша сказал, что вы хотите поговорить о каком-то деле.

— У нас у всех одно дело,— сухо сказал Шрагин.— А если уж зашла речь о Федорчуке, то должен сразу предупредить: он отвечает передо мной за каждый свой шаг и без моего разрешения ничего делать не имеет права.

Юля посмотрела на него удивленно и сказала:

— Но меня-то ваша власть не касается. Да и кто вам дал власть над Сашей?

— А это уже не ваше дело,— нарочито резко ответил Шрагин.

Они помолчали.

— Я слышал, вы хотите травить гитлеровцев?

— Для начала хоть это.

— А продолжения может и не быть. Они поймают вас на первом, в лучшем случае — на втором. Не так-то уж трудно им будет установить отравителя. Вы уже достали яд?

— Обещали принести завтра.

— Кто?

— Одна женщина, я ее с до войны знаю. В аптеке работает.

— Вы ее хорошо знаете?

— Мы с ней раньше у одной парикмахерши голову делали.

— Явно не доделали,— резко сказал Шрагин.— Она знает, зачем яд?

— Если б не знала, не дала бы.

— Завтра вы пойдете к ней и скажете, что яд вы искали для себя, придумайте какую угодно причину: разочарование, ревность и тому подобное. И заявите, что вы передумали. Извинитесь, переведите все в шутку. Я не могу допустить, чтобы Федорчук погиб оттого, что какая-то аптекарша, с которой вы вместе ходили к парикмахеру, сболтнет кому-нибудь о ваших детских замыслах.

Юля смотрела на Шрагина широко открытыми глазами. Казалось, она начала что-то понимать. Вдруг она сгорбилась, уронила голову и голосом, полным боли, сказала:

— Поймите, я немка, я не могу. Знакомые соседи пальцами на меня показывают — вот, мол, что значит немка: пришли в город немцы, так она первым делом любовника завела.— Юля подняла голову и, смотря на Шрагина воспаленными, блестящими глазами, сказала:— Я им покажу, какая я немка, покажу!

— Показывать это надо не соседям, которые сами еще неизвестно, как себя поведут,— тихо сказал Шрагин.

— А кому же?

— Вашему другу Федорчуку,— улыбнулся Шрагин.— Это для начала, а затем и мне, если я, конечно, увижу, что вы не истеричка, а настоящий боец и хотите наносить врагу серьезные удары.

— Кто вы?— спросила Юля.

— Я уже сказал: я отвечаю за все, что будет делать здесь ваш друг Федорчук.

— И за его безделье тоже?— усмехнулась Юля.

— И за безделье тоже.

— С детства не люблю дешевые тайны,— язвительно сказала Юля.

— А дорогие?— спросил Шрагин.

Юля промолчала.

— Расскажите-ка лучше о себе, хотя бы в двух словах.

— Автобиография требуется?

— Да, пока краткая.

— Поинтересуйтесь у товарища Федорчука, он в курсе.

— А он говорил, между прочим, что вы человек серьезный.

— Боже мой, ну никто я, никто! Училась в школе, из-за болезни стариков не кончила, пошла работать. Была санитаркой

в больнице. Старики перед войной умерли. Отец был рабочий. Вот и вся анкета.

— В комсомоле состояли?

— Что значит — состояла? Мне же еще нет двадцати семи. По июнь включительно взносы уплачены.

— Кто те немцы, с которыми вы познакомились?— спросил Шрагин.

— Сволочи.

— Офицер? Рядовые?

— Я о рядовых руки марать не собиралась.

— Они не предлагали устроить вас куда-нибудь?

— Предлагал один,— удивилась Юля.— Переводчицей в ресторан для летчиков. Тут, в городе.

— Что вы сказали?

— Сказала: будем посмотреть.

— Надо устраиваться.

— Зачем?

— Нужно, Юля. Очень важно знать, что думают летчики Гитлера, о чем между собой говорят, куда собираются лететь. А переводчик все это может узнать.

— Так что же, прямо вот так идти в этот их ресторан?— спросила она.

— Прямо вот так и идти... И сделать это, Юля, надо быстро. Дня через три-четыре постарайтесь сообщить, чем все кончилось. Скажете Саше, а он передаст мне. Если не выйдет, подумаем о чем-нибудь другом. Договорились?— Юля кивнула.— Ну что ж, по рукам! А теперь пошлите сюда Сашу. До свиданья.

Федорчук сел рядом со Шрагиным и выжидательно молчал.

— Кто я, ей по-прежнему неизвестно,— сказал Шрагин.— Знает она только, что мы с вами связаны каким-то общим делом. А теперь покажите мне, где спрятана взрывчатка.

Федорчук подвел Шрагина к забору.

— Глядите в щель. Видите недостроенное здание? Сюда, ближе, к самому забору, угол здания. Под ним и зарыто.

Шрагин внимательно осмотрел местность и предложил Федорчуку подумать, как без риска брать из тайника взрывчатку.

— А я уже продумал...

Федорчук провел Шрагина в маленький сарайчик, снизу доверху забитый дровами.

— Вот отсюда я сегодня ночью начну рыть подземный лаз прямо к тайнику.

— Куда будете девать землю?

— А вот туда, на грядки. У меня одна просьба: все, что связано с добычей взрывчатки и ее дальнейшим использованием, я хотел бы делать вместе с Харченко.

— Не возражаю,— отозвался Шрагин.— Как у вас с работой?

— Дымко сработал для меня надежную справочку на случай, если спросят. А с настоящей работой, пожалуй, нужно повреме-

нить, пока выяснится, куда мне полезно идти, прихватив взрывчатку.

Все продумал этот спокойный и сильный человек. Шрагин поблагодарил его за это и ушел. Теперь Григоренко сопровождал его, идя позади.

ГЛАВА 14

Дверь Шрагину открыла Лиля.

— Как хорошо, что вы пришли! — шепнула она.— У нас ваш начальник адмирал Бодеккер. Его привел генерал Штромм, он сказал, что хочет лично рекомендовать вас адмиралу. А вас нет. Приведите себя в порядок и выходите.

— Хорошо.

Шрагин наскоро побрился, надел белую рубашку с галстуком и вскоре вошел в гостиную.

— Вот и господин И-гор! — крикнул генерал Штромм.— Узнаете его, адмирал?

— Как же, как же...— отозвался Бодеккер.— Мы знакомы.

— Добрый вечер, господа,— Шрагин сделал общий поклон и, подойдя к Эмме Густавовне, низко склонился к ее руке.

— Садитесь на диванчик к Лили,— томно сказала она.

Коньячная бутылка была уже пуста, генерал Штромм разливал в бокалы принесенное им немецкое вино.

— Как можно, господин И-гор, не торопиться домой к такой прелестной жене? — спросил генерал.

Шрагин любезно улыбнулся генералу и обратился к Бодеккеру:

— Я искал одного инженера нашего завода. Мне сказали, что он остался в городе, но где он живет — выяснить не удалось.

— Зачем вам заниматься этим? — загремел генерал Штромм.— Пусть адмирал позвонит коменданту города, и завтра же вашего инженера доставят на завод. И вообще — к черту дела! И этот бокал золотого, как солнце, немецкого вина я хочу выпить за воздух нашего города, за воздух, который в эти дни стал чище.

Генерал выпил вино и, поставив на стол бокал, обнаружил, что больше никто из сидевших за столом свое вино даже не пригубил.

— Господа, в чем дело? Мой тост вам не по душе? Может, у вас в родне есть еврейские хвосты, хо-хо-хо!

Все молчали. И тогда Эмма Густавовна, не столько понимая, сколько чувствуя возникшую за столом напряженность, на правах хозяйки решила исправить положение.

— Ну зачем такие непонятные тосты? — пропела она своим воркующим голосом.— И вообще к чему за столом политика и всякое такое?..

— Непонятные тосты? — удивился генерал Штромм, оглядывая сидевших за столом.

— Я бы сказал — не совсем понятные,— заметил Бодеккер.

— И вам, адмирал? — еще больше удивился Штромм. — Из чистой вежливости в присутствии милых дам я не хотел вдаваться в подробности, но теперь я просто вынужден это сделать. В городе проводится ликвидация евреев, вот и все.

Глаза у Эммы Густавовны округлились.

— Что значит... ликвидация?

— Гнедиге фрау, ради бога... — генерал Штромм прижал руки к груди. — Не требуйте от меня дальнейших подробностей.

— Вы имеете в виду их выселение? — спросил Бодеккер.

Шрагину показалось, что на самом деле адмирал прекрасно знал, о чем говорит генерал, но провоцировал его сказать все до конца.

Штромм всплеснул руками:

— Боже, куда я попал! В общество наивных слепцов! Может, вы меня разыгрываете? — Он посмотрел на Бодеккера и, начиная сердиться, сказал: — Да, адмирал, выселение или, точнее, переселение к праотцам. — Он повернулся к Эмме Густавовне. — Извините, мадам.

За столом воцарилось еще более напряженное молчание. Шрагина очень тревожила Лиля, она смотрела на генерала с откровенным отвращением. Шрагин незаметно для других под столом крепко сжал руку Лили и сказал спокойно:

— По-моему, все настолько ясно, что можно перейти к другой теме.

— Браво, господин И-гор! — гаркнул генерал и налил себе вина. — Черт бы побрал моего шофера, говорил же я ему взять вина побольше.

— Я могу предложить наше крымское, — поспешно сказала Эмма Густавовна.

Шрагин чувствовал, как дрожала в его руке холодная рука Лили.

— Вы плохо себя чувствуете? — тихо спросил он.

Лиля кивнула.

— Тогда зачем вы здесь сидите? Идите и ложитесь в постель, на вас никто не обидится. Верно, господа?

— Право огорчиться мы все же за собой оставим, — прогудел генерал, окидывая взглядом тонкую фигуру Лили.

— Правда, меня что-то знобит, — сказала она.

Шрагин помог ей встать и повел в спальню. Когда они вошли туда, Лиля вырвала у Шрагина свою руку.

— Вы слышали, что он сказал?

— Он говорил правду.

— Они их убивают?

— Да.

— И вы спокойны?

— Я вынужден быть спокойным, и я очень боялся, что сорветесь вы.

— Они же убийцы! — сдавленно крикнула Лиля.

Шрагин схватил ее за плечо и, прижав к себе, прикрыл ей рот рукой.

— Вы что, хотите, чтобы они уничтожили всех нас?

Шрагин подвел ее к постели, и они сели рядом. Лиля тупо смотрела прямо перед собой.

Из гостиной доносился раскатистый генеральский хохот.

— Игорь Николаевич, давайте ночью убежим отсюда,— прошептала Лиля, вплотную приблизив свое лицо к лицу Шрагина.— Я не могу, не могу...

— Нельзя, Лиля. Мы обязаны оставаться здесь, хотя бы для того, чтобы знать обо всех их преступлениях и о том, кто их совершал.

— Смотреть и бездействовать — это тоже преступление,— сказала Лиля.— Боже мой, у меня есть школьная подруга... Рая... Неужели и ее?.. Третьего дня я видела ее.

— Бездействовать мы не будем.

— Вы просто утешаете меня, думаете, я последняя дура.

Шрагин взял Лилю за плечи.

— Нет, Лиля, я плохой утешитель. Меня самого трясет от ярости. Но не надо торопить события, это опасно, очень опасно. И если вы будете меня слушаться и верить мне, вы скоро убедитесь, что я вас не обманываю.

— Я сойду с ума, я могу выдать себя,— тихо произнесла Лиля.— Что же мне делать, что?

— Для начала внимательно слушать и запоминать все, что они говорят. Один сегодняшний разговор многого стоит. Придет час, и мы напомним генералу Штромму этот вечер.

— Если бы вы знали, как мне хочется поверить вам!— тихо воскликнула Лиля.— Ведь это единственное, что дало бы мне право жить.

— Прошу вас, поверьте мне. И от вас пока требуется не так уж много: не сорваться по-глупому и, наконец... слушаться меня и верить мне,— сказал Шрагин, взяв ее руки в свои.— А теперь ложитесь и постарайтесь уснуть, нам с вами нужно быть в форме, несмотря ни на что. Спокойной ночи.

Когда Шрагин вошел в гостиную, адмирал Бодеккер уже прощался.

— Я страшно устал.— Он посмотрел на часы и обратился к Эмме Густавовне:— Хочу поблагодарить вас за чудесный вечер и откланяться, оставив за собой право не забывать к вам дорогу.

Адмирал поцеловал руку хозяйке, кивнул генералу Штромму и направился в переднюю. Шрагин пошел его проводить, помог ему надеть пальто.

— Я вас вовремя не предупредил, что Штуцер — балда, и за это он серьезно поплатился,— сказал адмирал, нервно натягивая на руку лайковую перчатку.— Они приоткрыли кингстон и затем, конечно, не смогли его закрыть. И кран затонул... Вы решили что-нибудь по поводу моего предложения?— спросил он без паузы.

— У меня только одно сомнение,— ответил Шрагин.— Я не хотел бы часто отлучаться из города. Все-таки семья...

— Познакомившись с вашей милой женой, я понимаю вас,— улыбнулся Бодеккер.— Обещаю, что вам не придется часто ездить.

— Тогда я согласен,— ответил Шрагин.

ГЛАВА 15

Было раннее осеннее утро, по-южному нежное и ясное. На аэродроме близ города небольшая группа людей ожидала прибытия рейхсминистра Генриха Гиммлера. Только что всплывшее над землей солнце светило в спины встречавшим, и их непомерно длинные тени тянулись по зеленому полю на запад, туда, где должен был показаться самолет.

Самая длинная тень принадлежала командующему восемнадцатой армией генералу фон Шоберу. За ним ходило прозвище Длинная Берта. Среди встречавших он был самым высоким также по чину. Черный плащ балахоном висел на его костлявой фигуре, из застегнутого ворота кителя торчала тонкая длинная шея, увенчанная маленькой головой, потонувшей в фуражке с длинным, как клюв, черным козырьком. Он стоял чуть поодаль от всех и заметно нервничал: излишне часто посматривал на часы, переступал с ноги на ногу, тревожно о чем-то задумывался. Остальные встречающие группировались вокруг коменданта города полковника Гофмана — коротконогого крепыша с плоским лицом. Он был похож на боксера, напялившего на себя военную форму. Тут был и шеф местной СД, обер-штурмбаннфюрер доктор Шпан, старший следователь Релинк, начальник полиции СД штурмбаннфюрер Цах, генерал Штромм. Они стояли плотной группой и держались друг с другом так, будто все они были ровня по званиям и чинам. Их равняла и объединяла принадлежность к той особой касте военных, в чьих званиях присутствовали две магические буквы «СД». И это их министром был Гиммлер, которого они сейчас ждали. Все они знали, отчего нервничает генерал фон Шобер, и понимающе посматривали на него. Они знали, что судьба командующего армией предрешена, ибо именно их стараниями в Берлине создано мнение, что генерал недостаточно решителен в проведении особых мероприятий по внедрению «нового порядка» на занятых территориях. Генерал позволил себе, и не один раз, отказать в помощи эйнзатцгруппе «Д» [1], у которой часто не хватало сил оперативно проводить «эффективный» террор против местного населения. Сегодня они уже рассчитывали узнать, кто будет вместо Шобера. О сгустившихся над ним тучах генералу фон Шоберу сообщили его друзья из Берлина, и он прекрасно знал, что это дело рук стоявших рядом с ним на аэродроме, и вспоминал сейчас все стычки, происшедшие между ним и этими людьми. Но ведь, как нарочно, всякий раз они

[1] Террористическое подразделение СС.

требовали у него транспорт и людей, когда на фронте складывалась напряженная ситуация и ему дорог был каждый солдат, каждая автомашина. Он как раз понимал, что у них тоже важные и крайне необходимые обязанности, он только считал, что своей головой он отвечает перед фюрером прежде всего за ход наступления, и поэтому надеялся, что в будущем, при оценке его действий по самому высокому счету войны, все эти его стычки не будут стоить ломаного гроша и на них никто не обратит внимания...

Релинк взял Цаха под руку, они отделились от группы и стали прохаживаться по зеленому лугу.

— Как идет номер один? — спросил Релинк.

— Половина — там,— Цах поднял глаза к небу и продолжал: — Все сошло довольно гладко, никаких эксцессов не было, но после начались нехорошие разговоры среди моих солдат. Мне кажется, это естественная реакция после такого дела.

— Естественная? — удивился Релинк.

— Ну да. Во-первых, непосредственно вели расстрел слишком мало людей, это затянуло процедуру. Возникли разговоры, почему нам не придали роту солдат.— Цах помолчал и продолжал: — Многих возмущает привлечение к операции штатских, которых мы заставили зарывать трупы. Мои люди спрашивают, не слишком ли много цивильных свидетелей.

— Штатских можно после акции отправить туда же,— сказал Релинк.

— Я думал об этом,— отозвался Цах.

— Что же думать, надо сделать. Ведь речь идет о каких-нибудь двадцати человеках.

— Почти пятьдесят.

— Да не все ли равно: двадцать, пятьдесят... Что же касается болтовни среди ваших людей, примите против этого самые решительные меры. Отдайте одного болтуна под суд.

— И без того у меня мало людей.

— Пополнение вы получите. Будем просить об этом рейхсминистра. И если новым командующим армии будет, как предполагается, Манштейн, он сделает для нас все, что мы попросим. Больше решительности, Цах...

Над горизонтом показался самолет, и они поспешили присоединиться к встречающим.

Над аэродромом на небольшой высоте с диким ревом промчались истребители сопровождения, и тут же совершил посадку самолет рейхсминистра. По трапу сбежал на землю адъютант, он вытянулся в струнку и смотрел на открытую дверь. В черном чреве самолета блеснуло пенсне, и в дверном проеме появился Гиммлер. Он был в черном кожаном пальто, в высоких лакированных сапогах. Его маленькая шарообразная голова со скошенным подбородком тонула в фуражке с высокой тульей, в тени козырька, за стеклами пенсне глаз не было видно. В нескольких шагах от встречавших министр остановился и выкинул вперед правую руку. Но традиционного «Хайль Гитлер!» он не произнес, это нестройно сдела-

ли встречающие. Гиммлер подал руку только генералу фон Шоберу, что вызвало у встречавших недоумение, а самого генерала привело в растерянность.

Чуть позади министра держался приехавший вместе с ним Отто Олендорф. Все встречавшие знали, что это очень близкий министру человек, но что прибыл он сюда как командир эйнзатцгруппы «Д», приданной южной группировке войск, и начальник третьего отдела главного управления СД.

Гиммлер уехал с аэродрома в закрытом «оппель-адмирале» коменданта города Гофмана. Когда машина скрылась за зданиями, Олендорф поздоровался за руку со всеми встречавшими, а Релинка дружески похлопал по плечу. Они были давними знакомыми еще по Франции, и это знали все присутствовавшие, кроме генерала фон Шобера, который продолжал поодаль стоять один в растерянной задумчивости.

Гиммлер занял отведенный ему особняк, в котором до войны был детский сад. Увидев во дворе груду маленьких стульев, рейхсминистр сострил:

— Очевидно, до меня здесь жили большевистские карлики...

Олендорф остановился у Релинка. За завтраком Релинк рассказал ему о наиболее важных делах: об акции против евреев, к слову — о сегодняшней жалобе Цаха, о своем свидании с лидером местных украинских националистов Савченко и, наконец, о плане операции против оставленного в городе коммунистического подполья. Выслушав его, Олендорф в хорошо знакомой Релинку телеграфной манере сказал:

— Первое — не взят нужный темп. Второе — действовать более решительно. Савченко — червяк. Их лидер номер два Мельник — наш агент. Бандера тоже у нас в кармане. Берите у Савченко данные о подполье и наносите удар. Если из трех уничтоженных только один настоящий подпольщик — и то хорошо. Цах жалуется не первый, за его жалобами — страх, а за ними — неверие в победу. Понимаете?

— Я тоже подумал об этом,— сказал Релинк.

— Еврейская проблема вызывает судороги даже у крупных сановников, не Цаху чета. Безжалостно подавляйте всякое шатание в этом вопросе. Если Цах не перестанет жаловаться — на фронт. Мы найдем решительных людей...

К двум часам дня в особняк, отведенный Гиммлеру, съехались Олендорф, генерал Штромм, Шпан, Релинк, Цах и комендант города полковник Гофман.

Ровно в два часа адъютант Гиммлера попросил генерала Штромма пройти к министру. Это никого не удивило и не обидело. В системе СС уже давно существовал институт генералов без должности. Впрочем, генералов было всего пять или шесть, гораздо больше было полковников, отсюда и прозвище «гафеноберст» — глазеющий полковник. Все эти бездолжностные генералы и полковники находились в распоряжении высшего руководства, которое посылало их для дополнительного контроля над своими же

людьми. Таким генералом без должности был и Штромм, так что не было ничего удивительного в том, что Гиммлер пожелал говорить прежде всего с ним. Релинка это нисколько не тревожило, он уже успел убедиться, что генерал Штромм неумен, ленив и обожает жизнь с комфортом. Заблаговременно предупрежденный об этих чертах генерала берлинскими друзьями, Релинк сам позаботился о создании для генерала вожделенного комфорта и о доставке ему партии картин из местного музея.

Краткость беседы Гиммлера с генералом подтвердила расчеты Релинка. Не прошло и десяти минут, как в комнату рейхсминистра были приглашены все. Когда они входили, генерал Штромм пытался сказать министру что-то еще, но тот остановил его пренебрежительным жестом.

Подождав, пока все расселись, Гиммлер вышел из-за стола, молча прошелся до дверей и обратно, бросая мимолетные взгляды на собравшихся. Потом сел за стол, скрестил ноги под креслом и заговорил:

— Фюрер доволен своими солдатами и генералами. Это естественно. Их подвиг беспримерен в истории, ибо они неукоснительно выполняют предначертания своего фюрера. Неплохо выполняем свои обязанности и мы. Но я прилетел сюда не для того, чтобы объявить вам о наградах. Наоборот...— Гиммлер сделал большую паузу, во время которой обстоятельно протирал стекла пенсне кусочком замши, и, наконец, продолжал:— Медлительность и нерешительность, характерные для вашей деятельности здесь, я объясняю только непониманием вами особого значения доверенного вам плацдарма. Считаю своим долгом объяснить вам это. В огромных размерах этой страны вы, надеюсь, убедились сами. Наши солдаты сейчас в тяжелых боях успешно осваивают эти пространства. Их тыл — сама Германия, и солдату не нужно с тревогой оглядываться назад. Впереди — враг, и что с ним надо делать — солдат прекрасно знает. Остаются фланги. На севере этот фланг надежно прикрыт нашим доблестным флотом и авиацией. Самый сложный фланг — здесь, на юге. Это Турция, которой никогда нельзя верить до конца; это Иран, запроданный на корню англичанам, но крайне необходимый нам как ворота для дальнейшего устремления в глубь континента; это Афганистан; это, наконец, Китай. Вот что такое ваш юг и ваши дела здесь. Теперь, я надеюсь, вы понимаете, что́ означает для нас установление образцового порядка на всей этой южной полосе.

Затем Гиммлер попросил всех высказать свои претензии к руководству.

— Не стесняйтесь, пожалуйста,— сказал он, улыбаясь какой-то бессмысленной, точно выдавленной ртом улыбкой; неживые его глаза, увеличенные сильными стеклами, казалось, занимали половину его мелкого лица. Никто слова не попросил, и он продолжал:— Прошу говорить смело. Ведь не только вы не понимаете особого значения юга, из-за этого приходится менять даже командующего армией. Выкладывайте ваши претензии, требования,

я заблаговременно передам их новому командующему фон Манштейну...

Претензий и требований не последовало. Релинк, как и все, почувствовал, что это небезопасно, тем более что он помнил свой недавний разговор с Олендорфом.

Вернувшись к себе, он немедленно отдал приказ отыскать и сегодня же доставить к нему местного лидера украинских националистов Савченко. Одновременно он специальным приказом создал оперативную группу по борьбе с коммунистическим подпольем.

Не прошло и часа, как Савченко привели в его кабинет.

— Прошу извинить за срочность приглашения,— небрежно сказал ему Релинк.

— Ничего себе приглашение,— усмехнулся Савченко, впрочем, без всякой обиды.— Ваши люди схватили меня, как уголовника, и притащили сюда.

— Я уже извинился,— повысил голос Релинк.

— Извинение принято,— спокойно сказал Савченко.— Догадываюсь: торопиться вас заставил приехавший сюда рейхсминистр. Вы удивлены моей осведомленностью? Пора перестать недооценивать возможности таких организаций, как наша. Я слушаю вас, господин Релинк.

— Что вы имеете по красному подполью?— спросил Релинк.

— Во всяком случае, больше, чем вы. Но я не жадный и готов поделиться.

— Прошу вас,— Релинк положил перед собой лист чистой бумаги.

— Я пока дам вам две ниточки,— Савченко вынул из кармана потрепанную записную книжку, долго ее перелистывал, пока нашел в ней нужную запись.— Пишите: Любченко Мария Степановна — коммунистка, главный врач туберкулезной больницы, и второй — Родионов Павел Сергеевич, тоже коммунист, бывший директор трамвайного парка. Адреса нужны?

— Давайте.

Релинк записал адреса и, отодвинув в сторону лист бумаги, строго спросил:

— Сведения точные?

— Абсолютно. И тем более досадно, что вы отказались получить от меня их раньше.

Релинк съел и это. Савченко положил на стол напечатанный на машинке список фамилий и сказал:

— Это мои надежные люди, которых я всячески рекомендую вам назначать на решающие должности в гражданской администрации: магистрат, полиция и так далее. Можете положиться на них.— Он встал.— Надеюсь, обратно мне тоже дадут машину?

Релинк распорядился подать к подъезду машину и, прощаясь, сказал:

— В дальнейшем мы будем встречаться с вами не здесь. Адрес моей конспиративной квартиры вам сообщат.

Когда Савченко ушел, Релинк вызвал Бульдога и передал ему адреса Любченко и Родионова.

— Докажи, что ты действительно бульдог. Еще сегодня ночью обе эти твари должны быть здесь...

ГЛАВА 16

В группе на особом положении был радист Кирилл Мочалин. О его существовании, кроме Шрагина, никто не знал, и в отличие от всех он был местным человеком. Здесь он родился и прожил все свои двадцать пять лет. Правда, последние два года перед войной его в родном городе видели редко: он работал матросом на грузовом пароходе и подолгу находился в заграничных плаваниях. Два-три раза в год он появлялся в городе и неделю гулял «на всю железку», окруженный своими дружками детства. Он выглядел среди них, как попугай среди воробьев,— яркий, пестрый в своих заграничных обновках. Отца у Кирилла не было. Мать работала в пошивочной мастерской закройщицей. Зарабатывала она неплохо, и Кирилл — единственное ее сокровище — никогда нужды не знал.

Война застала Кирилла на побывке дома. Он появился в городе 10 июня и на другой день объявил матери, что женится. Ее это не удивило, она знала, что сын уже давно «крутит любовь» с соседской девчонкой Ларисой. Более того, она обрадовалась, что теперь не будет одинокой во время долгих отлучек сына. Через неделю сыграли свадьбу, и в их домике на тихой окраине города завязалась новая семья. А спустя пять дней — война. Кирилл не побежал в райвоенкомат и не явился на свой корабль в Одессу. Рассказывая о себе Шрагину, он чистосердечно сознался, что «пехотный вариант» его не устраивал, а тонуть в море на старом своем корыте он не хотел. У него был дружок, работавший шофером в областном управлении НКВД. Кирилл побежал к нему — помоги, мол, устроиться к вам. Стали они думать, за что зацепиться. И тут выяснилось, что Кирилл, будучи по штату палубным матросом, в порядке комсомольского соревнования овладел профессией радиста и уже поддежуривал в радиорубке парохода. Решили поставить на это. Приятель Кирилла возил самого начальника управления, ему он и замолвил словечко о друге. И как иногда бывает в жизни, случилось счастливое совпадение: именно в этот день начальник получил секретное приказание из Москвы подобрать радиста, годного для работы в подполье.

Начальнику Кирилл понравился — именно то, что надо. Известный в городе пижон и гуляка из матросни, мамаша — кустарь-одиночка без патента, вдобавок верующая. Сам парень хоть и плохо, но знает немецкий язык. Правда, при проверке оказалось, что радист он не ахти какой, но Кирилл дал слово, что «отполирует это дело до полного блеска». И действительно, не прошло и двух недель, как радист управления доложил начальнику, что новенький

занимается упорно и уже сделал большие успехи. Кирилл был способным малым, он любил говорить о себе: «Ты меня только подожги как следует, а свету я дам за пятерых». А тут он зажегся, по его выражению, «со всех сторон». Во-первых, начисто отпадали и пехотный и морской варианты, а во-вторых, его волновала перспектива тайной работы и связанные с ней приключения, риск.

Все это Кирилл Мочалин открыто и чистосердечно рассказал Шрагину при первой их встрече, происходившей в домике, где он жил.

Кирилл нравился Шрагину тем, что не трусит, держится уверенно и даже весело. Но одновременно Шрагин, что называется, на просвет видел его несложную легкую душу. Он попытался говорить с ним о политике, но из этого ничего не вышло.

— Вы на это меня не щупайте,— весело сказал Кирилл.— Я еще со школы политики не терплю, но...— он сделал большую паузу, поднял вверх палец и продолжал без улыбки, чеканя слова:— Но перед фашистом, душу его в яму, будьте покойны, не дрогну. Я эту сволочь с близи видел в разных портах мира. Хуже типчиков ищи — не найдешь, и у них крови не хватит заплатить за нашу порушенную житуху.

Шрагину оставалось пока довольствоваться хотя бы такой политической программой радиста, и он продолжал разговор с ним о деле.

— Где находится рация?

— Идемте, покажу вам мои тайные катакомбы,— подмигнул Кирилл.

Они прошли в сенцы, и Кирилл фонариком осветил угол, где стояла скамья с ведрами, наполненными водой.

— Тут мы имеем парадный ход,— сказал Кирилл, лукаво щурясь.— Не обнаруживаете?

Он отодвинул скамью, нажал ногой край широкой половицы, она чуть приподнялась, он подхватил ее рукой и поднял на попа. Вниз, в черноту подвала, спускалась узкая лестница.

— Нырнем?— весело спросил радист.

Глубокий, аккуратно обшитый тесом подвал под сенцами был заставлен бочками и ящиками.

— Здесь мы имеем квашеную капусту, овощи и прочую снедь,— объяснил Кирилл.— Другими словами, здесь живут запасливые люди, и вся недолга. Но,— он поднял палец,— айн минут, как говорят фрицы,— мы берем вот эти две тесины и...— Сбитые вместе две тесины оказались дверцей, за которой находилась тесная каморка. Луч фонарика осветил там стол, на котором стояла рация, тумбочку и поставленную к стене кровать-раскладушку.

— Не радиорубка, а фантастика!— с веселой гордостью заявил Кирилл.— Сам все спланировал и сам выполнил, одной земли вынес, наверное, целый вагон.

— Кто, кроме вас, знает о тайнике?— спросил Шрагин.

— Только товарищ из управления, который привозил рацию.

— Неужели ни мать, ни жена не заметили, как вы тут работали?

— Почему не заметили?— удивился Кирилл.— Они даже помогали мне посильно, но им известно только одно: что я привел в порядок подвал, чтобы запасти продукты на тяжелое время, и как военный вариант — бомбоубежище. А то, что я еще оборудовал тут радиорубку, это им и во сне не снилось. Одним словом, будьте покойны...

Но Шрагин не мог быть спокоен — речь шла о самом важном во всей деятельности группы, потеря связи означала бы почти полный провал работы. До появления в городе немцев он еще дважды встретился с Мочалиным, стараясь узнать его получше и внушить ему чувство высокой ответственности за порученное дело. Эти встречи не прошли даром для Кирилла — он стал заметно серьезней.

Вскоре после прихода гитлеровцев Шрагин пришел к нему с первой радиограммой и снова встревожился. Они сидели в подвальном тайнике, Кирилл налаживал рацию. Шрагин спросил, что он думает об устройстве на работу.

— А зачем?— беспечно отозвался Кирилл.— Мамаша моя уже вкалывает кастеляншей в немецком госпитале. Она взяла туда и мою Ларку. Харч оттуда таскают. А главное, работа у них ночная, и я тут могу без свидетелей делать что угодно.

— Вас могут угнать в Германию.

— Не та я овечка, чтобы меня угнать.

Шрагин разъяснил ему, насколько велика и реальна эта опасность.

— Ну что ж, раз надо — устроюсь,— так же беспечно согласился Кирилл.— Я уже имею миллион предложений. Ведь у меня, куда палец ни сунь, всюду дружки. Между прочим, один мой дружок подался в полицию. Зовет, говорит, работка не пыльная, харч что надо и жалованье будь здоров. Не пойти?

— А товарищ ваш пошел служить в полицию верой и правдой?

— Ленька-то? Не смешите меня, Игорь Николаевич, он когда на фрица смотрит, у него зубы, как от песка, скрипят. Не дальше как позавчера был у меня. Говорит, давай устроим на них охоту. Он мелкокалиберку где-то зацапал, коробку патронов. Выстрел, говорит, как хлопок ребенка в ладоши, а черепная коробка навылет. Но я ему сказал: давай погодим, может, что-нибудь лучше надумаем.

— Напрасно,— сказал Шрагин.

— Что напрасно?— Кирилл настолько удивился, что оставил работу.

— Напрасно дали ему понять, что вы готовы на борьбу с немцами.

— А что же, по-вашему, я должен был сказать — не тронь фрицев, они мне дороги, как родные братья?— спросил Кирилл, и в глазах у него вспыхнули злые искорки.

— У вас может быть только одна-единственная работа,— строго сказал Шрагин.— Иначе вы мне не нужны. Запомните это.

— Есть запомнить!— растерянно произнес Кирилл, и было видно, что он не на шутку испуган.

Между тем рация была налажена, Кирилл надел на голову наушники и начал вызывать Москву. Она отозвалась на первый же его позывной.

— Москва... Просит начинать передачу...— потрясенно прошептал Кирилл.

В эту минуту для него все, что говорил ему Шрагин, слилось в эти отрывистые и такие ясные сигналы Москвы, и он впервые почувствовал, понял, в каком действительно огромном и важном деле он участвует. Невозможно поверить! Он сидит в занятом врагом городе, а Москва разговаривает с ним через тысячи километров! Шрагин, и сам очень волнуясь, по лицу радиста понял, что тот сейчас переживает, и, передавая ему зашифрованную радиограмму, сказал улыбаясь:

— Это вам не Ленькина мелкокалиберка.

Кирилл положил перед собой лист бумаги с колонками цифр и начал передачу. Если бы он знал шифр, он из цифр сложил бы такие фразы:

«Несмотря на многие промахи, допущенные в предварительной подготовке, группа в основном закрепилась. Приступаем к работе. Лично мое положение хорошее, и благодаря этому уже могу сообщить следующее: заменен командующий восемнадцатой армией. Назначен Манштейн. Сюда прилетал Гиммлер, находился в городе несколько часов, потребовал большей решительности по своему ведомству, разъяснял особую важность южного фланга в связи с дальнейшими планами фюрера в отношении Турции, Ирана, Афганистана и, возможно, Индии и Китая. На бирже труда идет интенсивное выявление контингента, который будет вывезен на работу в Германию. Проявляется особый интерес к местным немецким колонистам, есть на этот счет указание Гитлера. Постараюсь его уточнить. Восстановление предприятий происходит медленно. Судостроительный фактически парализован. Однако начат мелкий ремонт небольших судов типа сторожевых катеров. Плавучий док в полузатопленном состоянии. Недавно удалось потопить плавучий кран. Обещание немецкого руководства завода спустить на воду недостроенный нами крейсер ничем не подтверждается, все же не мешало бы с воздуха нанести удар по первому стапелю, где стоит крейсер. Зенитной обороны на заводе пока нет. Вторым очень важным объектом бомбардировки следует считать плавучий док, который они собираются восстановить. Он стоит у противоположного берега напротив крейсера. Два дня назад в городе ночью были расклеены напечатанные на машинке листовки, призывающие к борьбе с оккупантами. Количество листовок незначительное, но очевидно, что подполье начинает действовать. Выхожу на связь с ним в ближайшее время. Привет. Грант».

Кирилл Мочалин передал радиограмму, быстро перестроил рацию на прием и начал записывать цифры. Расшифровывая их по ходу записи, Шрагин прочитал:

«Все принято идеально. Спасибо. Поздравляем вас и ваших товарищей с началом работы, желаем больших успехов. Имеем сведения об активизации по всей Украине националистических центров, руководимых из-за границы Бандерой. Следите за этим внимательно, это для вас большая опасность. Государственно важно знать развитие планов противника в отношении Турции и дальше. О воздушной бомбардировке первого стапеля и дока подумаем. Сердечный привет. Центр».

— Все замечательно, Кирилл! — взволнованно воскликнул Шрагин.

— Как они слышали? — сдавленно спросил радист.

— Отлично, Кирилл!

— Я не медленно работал?

— Отлично, Кирилл!

Они некоторое время молчали. Потом радист сказал:

— Так вот, насчет работы. Могут меня устроить мотористом на катер, обслуживающий судостроительный завод. На таком же катере у меня там кореш ходит.

— Очень хорошо. Устраивайтесь туда немедленно. Я ведь тоже работаю на судостроительном, нам будет удобно встречаться.

— Будет сделано.

Нет, положительно это был какой-то особенно счастливый день! Шрагин крепко пожал руку радисту и ушел...

В этот вечер гостей у Эммы Густавовны не было. Шрагин прошел в свою комнату, собираясь спокойно обдумать дальнейшие свои дела. Но только он сел к столу, как в комнату без стука вошла Лиля, и по ее виду Шрагин сразу понял — что-то случилось. Закрыв дверь, она стала к ней спиной, точно боясь, что в комнату может войти кто-то еще. Она была возбуждена, встревожена, но вместе с тем в глазах ее были незнакомая Шрагину решительность и даже радость.

— Ну, Игорь Николаевич, сейчас мне станет ясно, какой вы человек, — шепотом сказала она. — Я спасла от гибели свою школьную подругу Раю Рафалович. Ее прятал наш бывший учитель, но вчера он с семьей переехал в Днепропетровск. В общем, сейчас Рая у нас на чердаке. Ну скажите, я сделала хорошо или плохо?

— Мама знает? — быстро спросил Шрагин.

— Да что вы, ей-богу!

— Кто-нибудь видел, как Рая пришла?

— Она надела мужской костюм, и было уже темно.

— Учитель знает, что Рая у нас?

— Он еще вчера уехал в Днепропетровск. Все вышло очень неожиданно. Я шла по улице и как раз думала о Рае: одна наша подруга сказала мне, что Рая и ее родители уничтожены. И вот я иду и думаю — после этого разве я имею право жить как ни

в чем не бывало? И вдруг кто-то меня зовет. Гляжу — это наш школьный учитель музыки. Я была его любимая ученица. И Рая тоже. И он говорит, что меня послал ему сам бог. А сам нервный такой, глаза горят. Спрашивает, знаю ли я, где он живет. Я говорю — знаю. Тогда говорит, зайди ко мне под вечер. И добавляет: «Если ты еще любишь свою школьную подругу Раю Рафалович, ты придешь обязательно и больше ни о чем не спрашивай...» Я еле дождалась сегодняшнего вечера. Прихожу туда, а домик учителя пустой — ни людей, ни вещей. И вдруг из-за печки вылезает Рая...— Лиля замолчала, глаза ее стали влажными.— Ну вот... Рая рассказала мне, что учитель ее прятал все это время, а сегодня днем он с семьей уехал жить в Днепропетровск, к брату. И перед самым отъездом он сказал ей: «Вечером сюда к тебе придет человек, которого ты знаешь и любишь. Он тебе наверняка поможет». И пришла я...

— Вы, Лиля, сделали очень хорошее дело,— не скрывая волнения, сказал Шрагин.— Но вы должны уяснить себе, чем вы рискуете.

— Лучше рисковать жизнью, чем честью,— с вызовом сказала Лиля.

— Это верно. Но что вы думаете делать дальше?

— Как что? Она будет жить на чердаке, я буду носить ей еду.

— Это глупости, Лиля. Ее надо переправить куда-нибудь в более надежное место.

— Вы это можете?— Лиля удивленно смотрела на Шрагина.

— Надо подумать.

Лиля порывисто обняла Шрагина за шею, притянула к себе, поцеловала в щеку и смущенно отошла в глубь комнаты.

— Прошу вас быть предельно осторожной, мать ничего не должна заметить. Где у вас ход на чердак?

— В ванной.

— Можно запускать душ и под этот шум лазить на чердак, но делать это надо как можно реже.

Лиля кивнула, не сводя со Шрагина напряженного, изучающего взгляда.

— Значит, мы ее спасем? Я могу ей это сказать?— спросила она.

— Обо мне ей — ни слова,— строго сказал Шрагин и повторил: — Ни слова. А завтра вечером я уже буду знать, как мы поступим. А сейчас... я, Лиля, чертовски устал, мне нужно поспать.

— Спокойной ночи,— чуть слышно произнесла Лиля и ушла.

Шрагин еще долго смотрел на закрывшуюся за ней дверь и взволнованно думал о происшедшем. Поистине сегодня счастливый день. И вдруг он вспомнил слова генерала Штромма о том, что русских можно сделать послушными при помощи работы и приличного жалованья. «Идиоты! Всей вашей казны не хватило бы, чтобы купить одного учителя музыки, который спас Раю...»

Поступок Лили радовал Шрагина, хотя он и знал, что совершила она его почти случайно и не отдавая себе отчета, к чему он может привести. Так или иначе, но девушку, которая сидит сейчас на чердаке, надо спасти...

ГЛАВА 17

Мария Степановна Любченко недавно вернулась из больницы и хотела ложиться спать, когда в дверь ее квартиры громко постучали.

Любченко сразу решила — несчастье, и страх лишил ее сил. Она не могла сделать ни шагу и стояла у кровати, держась за ее спинку. Стук повторился, Любченко не двигалась с места. Дверь начала дрожать, что-то с треском сломалось, и в квартиру ворвались гестаповцы. Их было трое; двое совсем молодые, а третий — это был Бульдог — показался ей страшным чудовищем громадного роста.

— Любченко Мария? — спросил он, ткнув в ее лицо пистолетом.

— Да... Любченко, — пробормотала она. Силы совсем оставили ее, и она упала на постель.

— Взять! — приказал Бульдог.

Молоденькие гестаповцы подхватили Любченко под руки и потащили к дверям. Она не могла даже переставлять ноги. Ее пихнули в машину на заднее сиденье. Молодые гестаповцы сели с обеих сторон, продолжая держать ее за руки. Вдруг Любченко застонала и уронила голову на грудь. Один из гестаповцев взял ее за подбородок и запрокинул ей голову на спинку сиденья.

— Она случайно не околела от страха? — тихо сказал один из них.

Бульдог сел рядом с шофером. Машина сорвалась с места и помчалась по темным улицам...

— Одна тварь доставлена, — доложил Бульдог Релинку. — Еду за другой. Только леди немного не в форме, я вызвал к ней доктора.

— Обыск делали? — спросил Релинк.

— Я не человек-молния, — усмехнулся Бульдог. — Мне приказано доставить обе твари еще этой ночью, и приказ, как видите, выполняется. Привезу вторую тварь и займусь обыском.

— Мне нужна хоть одна улика для первого допроса, — строго сказал Релинк.

Бульдог рассмеялся:

— Да бросьте вы, ей-богу, вы же сейчас увидите не человека, а жидкую манную кашу. Она вам сама все охотно выложит.

Доктор приводил Любченко в чувство. Он сделал ей укол и с чисто профессиональным равнодушием наблюдал безотказное действие лекарства. Любченко открыла глаза, удивленно оглянулась по сторонам и задрожала всем телом. Доктор дал ей воды. Клацая зубами о стакан, Любченко сделала несколько глотков.

— Что вам от меня надо?— спросила она по-немецки.

— Ничего. Я доктор.

— Доктор?— удивилась Любченко.— Где я нахожусь?

— Там, куда вас доставили,— улыбнулся доктор.

— Что со мной было?

— Думаю, спазма сердечной мышцы, это не страшно...

У Любченко появилась надежда, что ее привезли не в гестапо. Но в этот момент в комнату вошли два молоденьких гестаповца, молча подхватили ее под руки и повели. Теперь ноги немного слушались, она уже была способна думать. И она видела: никакой надежды нет, она в гестапо. «Я же знала, что все этим кончится, знала...» Она вдруг вспомнила свой разговор в горкоме партии. Глухая злость толкнула ее в спину, и она зашагала быстрее, точно спеша доказать кому-то, как она была права, не соглашаясь и боясь остаться в городе.

Молоденькие гестаповцы посадили ее на стул перед столом Релинка и отошли к дверям. Релинк несколько минут молча смотрел на Любченко, он точно руками ощупывал ее дряблое, с обвисшими щеками лицо, всю ее рыхлую бесформенную фигуру и в конце концов остановил взгляд на ее руках, безжизненно лежавших на коленях.

— Вы, кажется, говорите по-немецки?— добродушно спросил Релинк.

— Да, но не совсем хорошо,— тихо ответила Любченко.

— Ваша профессия?

— Врач. Узкая специальность — туберкулез.

— Ах, узкая? Прекрасно. А еще какая у вас есть специальность, пошире?

— Больше никакой.

— А по какой специальности вас оставили в городе ваши партийные фюреры?

Релинк смотрел на Любченко весело, без всякой злости. Это ее обезоруживало, она ждала, умирая от страха, совсем другого.

— Я осталась в городе по той же специальности, то есть как врач возле больных, которых нельзя было вывезти,— ответила она.

— О! Понимаю, понимаю, профессиональный долг,— как бы поверил Релинк.— Ну, а что вы должны были делать как коммунистка?

— То же самое, лечить больных,— Любченко постепенно успокоилась. Ей казалось, что гестаповец ее ответами удовлетворен.

— Это правда, только правда?— проникновенно спросил Релинк.

— Да, только правда,— ответила Любченко и подумала про себя, что она действительно говорит полную правду, а о поручении прятать в больнице людей подполья гестаповцы просто не могут знать.

Релинк и в самом деле не имел никаких данных о характере тайных поручений, данных этой женщине, и получить их он мог сейчас только от нее самой. Он вышел из-за стола, остановился

вплотную перед Любченко и сверху вниз пристально смотрел на нее. И она, подняв свои отечные веки, снизу вверх смотрела на него.

— Значит, только правда?— тихо спросил Релинк.

— Да, правда.

Релинк мгновенно сначала левой, а потом правой ладонью ударил Любченко по лицу. Голова ее мотнулась в одну сторону, в другую. Любченко хотела отпрянуть назад, но стул опрокинулся, и она вместе с ним упала на пол. Релинк сделал знак молоденьким гестаповцам, они подняли Любченко и усадили на стул. Ее лицо, ставшее багровым, выражало только ужас, один только ужас, и Релинк, видя это, был уже уверен в успехе.

— Значит, только правда?— тихо спросил он, снова придвинувшись к ней вплотную.

Она молчала.

Релинк вернулся к столу, закурил и, выждав немного, сказал:

— Вы, очевидно, не знаете, что у вас нет никаких возможностей избежать неприятностей, включающих в себя и смерть. Мы оставим вас в покое только в том случае, если вы скажете нам полную правду — что вам поручили делать в городе? Впрочем, мы это знаем сами, как знаем и то, что вы еще ничего не успели сделать, и это облегчает вашу участь. Но сейчас необходимо, чтобы вы все сказали сами. Говорите, я жду ровно минуту.

Любченко сидела, уставясь мертвыми глазами в пол. Ее мозг, гудящий после побоев, обжигала одна и та же мысль: «Они знали, что посылают меня на гибель».

— Дайте ей воды,— распорядился Релинк.

Один из гестаповцев поднес ей стакан, но она с ужасом отшатнулась от него.

— Вылейте ей на голову.

Гестаповец не спеша, тонкой струйкой вылил воду на голову Любченко. Вода потекла ей за кофту по спине и ее начало трясти.

— Минута истекла,— громко объявил Релинк.— Отвечайте: кто и зачем оставил вас в городе?

«Я же знала, что никакой пользы принести не смогу,— лихорадочно думала Любченко.— И они это тоже знали. И они знали, что посылают меня на гибель, и теперь все кончено. Ну что произойдет особенного, если я скажу, кто меня оставил в городе и зачем? Они знают все и без меня, и ведь я никого не выдам, кроме себя».

— Меня оставил здесь горком партии, чтобы я прятала в больнице его людей,— сказала она тихо.

— Другими словами, вы добровольно согласились вести деятельность, враждебную Германии?— уточнил Релинк.

— Меня уговорили, заставили,— еле слышно произнесла Любченко.

— Это положения не меняет,— подхватил Релинк.— На плечах у вас я пока вижу вашу собственную голову, а это значит, что вам придется нести ответственность.

Релинк соединился с кем-то по телефону и сказал:

— Зайдите ко мне, тут нужно заняться одной красной дамой.

В кабинет вошел гестаповец уродливо кубической формы, он был плечист и одновременно тучен. В руках у него была толстая тяжелая плеть с коротким кнутовищем. Он стал в двух шагах перед Любченко и, поигрывая плетью, выжидательно смотрел на Релинка.

— Этой престарелой девочке в целях внушения уважения к нашем рейху следует всыпать,— сказал Релинк.

Кубический гестаповец молниеносно хлестнул Любченко плетью. Удар пришелся по плечу и по спине. Удар был с оттяжкой и такой сильный, что он сбросил ее со стула, она упала на четвереньки.

— Не надо! Не надо! Не надо!— завыла она высоким голосом.

— Почему не надо?— крикнул Релинк.

Плеть трижды влипла в спину Любченко, и она, воя, ничком упала на пол.

Молоденькие гестаповцы снова посадили ее на стул.

— За что? За что?!— судорожно всхлипывала она.— Вы же сами сказали — я ничего плохого еще не сделала. И не собиралась...

— Спасибо, мадам,— улыбнулся Релинк.— А может быть, вы хотите сделать для нас что-нибудь хорошее?

Релинк сделал знак квадратному, и тот замахнулся плетью.

— Мадам, вы готовы сделать для нас хорошее?— деловито спросил Релинк.

— Я не знаю... не знаю, что вы хотите!— закричала Любченко, не сводя глаз с нависшей над ней плети.

— Хотите или не хотите?— крикнул Релинк.

— Хочу... хочу...— торопливо проговорила Любченко.

— Всем выйти,— распорядился Релинк.

Они остались в кабинете вдвоем. Релинк взял стул и сел вплотную напротив Любченко.

— Прошу прощения, мадам,— сказал он устало и, вздохнув, продолжал:— Увы, я должен выполнять свои обязанности, как всякий, и должен признать, что мои обязанности не из приятных. Я отвечаю за порядок в этом городе, и его можно было бы установить быстро и без всякой крови и террора, если бы ваши обезумевшие начальники не предприняли безнадежной авантюры, оставив в городе таких, как вы, обреченных функционеров. Но, учитывая ваш фанатизм и страх перед партийной дисциплиной, вы для нас, черт возьми, опасны, и мы вынуждены принимать крутые меры. Ну скажите, вы объективно понимаете меня?

Любченко кивнула. «Пусть говорит подольше этот беспощадный человек с желтыми, как у кошки, глазами, лишь бы не били. А кроме того, он правильно делает, что боится оставленного в городе подполья, но меня-то ему бояться нечего. Неужели он этого не понимает? Я же вот понимаю, что он вынужден поступать так, как он поступает...»— думала в эту минуту Любченко.

— Вы посмотрите, в какой пошлой авантюре вы оказались замешанной,— продолжал Релинк доверительно, как будто ничего не произошло.— Ваше партийное начальство заставило кучку таких, как вы, остаться в городе, но сами-то они поспешили убежать отсюда подальше, где безопаснее.

Но вы еще и шагу не сделали, как мы уже знали, кто вы и что вы замышляете. Скажу вам по секрету: даже среди ваших коммунистов, оставшихся в городе, уже есть наши друзья. Они сами пришли к нам и сказали: «Мы не хотим пролития лишней крови». И дали нам необходимые сведения, в частности и о вас. Понимаете?

Любченко снова кивнула. Спина ее еще горела от плети. Все, что говорил Релинк, звучало для нее очень убедительно. «Ну конечно же, они знали, что посылают меня на гибель, а сами верно — убежали подальше...»

— Вы, мадам Любченко, я вижу, разумная женщина,— продолжал Релинк.— Для вас главное — больные, которым вы хотите облегчить положение. Не так ли?

— Да, так.

— И вы наверняка понимаете, что безнадежно пытаться изменить ход истории. Всем вашим людям сейчас нужно делать только одно: прекратить кровопролитие, помогать нам поскорее установить новый порядок и начать нормальную мирную жизнь. Вы лично хотите нам помочь?— спросил он с утвердительной интонацией.

— Ну чем я могу помочь?— сказала Любченко, с трудом шевеля губами.

— Все очень просто, мадам Любченко. Вы подпишите вот эту бумажку.

«Я с полным сознанием ответственности,— читала Любченко,— принимаю на себя обязанность информировать СД о всяких известных мне попытках вредить новому порядку и германской армии».

— Все очень просто,— повторил Релинк.— Или вы вместе с нами, или мы вас уничтожим этой же ночью.

Любченко особенно страшно было то, что Релинк это слово — «уничтожим» — произнес просто, легко, на таком хорошем немецком языке и с такой внутренней убежденностью, которая не допускала и мысли, что он этого не сделает.

Она подписала обязательство. Релинк спрятал бумажку в стол.

— Прекрасно, мадам Любченко, я в вас не ошибся,— сказал он.— Вы можете идти, спасибо. Главное, чего мы от вас пока ждем, это немедленно сообщить нам, если к вам обратятся с просьбой спрятать их человека. Запомните телефон: 22-22 — четыре двойки. Когда позвоните, скажите: «Туберкулезная больница», а затем сообщайте день и час, когда вам доставят того человека. И все. Как видите, все очень просто и ничего страшного.

Когда она ушла, Релинк записал в своем дневнике:

«Люди однообразны до утомительности. Страх, боязнь смерти интернациональны, как небо над землей. Даже неинтересно выяснять это еще раз. Только что передо мной была коммунистка. Кто-то мне в Берлине говорил, что они в своем фанатизме непостижимы. Ерунда! Они хотят жить, как все, и во имя этого готовы на все. В том-то и есть величие нашей нации, что нам безразлично, жить или умереть, только бы тобой был горд фюрер».

Спустя пять лет, когда военный трибунал приговорит Релинка к смертной казни через повешение, он в заявлении о помиловании напишет:

«Я умоляю вас предоставить мне возможность жить хотя бы для того, чтобы быть вам полезным в установлении всех преступлений, совершенных против вашего государства и народа, и чтобы акт помилования меня явился демонстрацией силы вашего государства, позволяющей ему не быть мстительным».

Его повесили, но не из мести, а за те преступления, которые он лично совершил на нашей земле...

ГЛАВА 18

Осень наступила злая, с ветрами и непривычными для этого края ранними холодами. Вечерами город погружался в непроницаемую тьму. Ветер метался по улицам, гремел сорванным с крыш железом, выл и свистел в голых садах, бился в стекла ослепших окон. В такие ночи казалось, что жизнь окончательно покинула город.

Но и в эти ночи к зданию гестапо, как обычно, подъезжали арестантские автофургоны и часовые торопливо открывали перед ними ворота.

В эти ночи делали свои святые дела подпольщики...

Шрагин ждал на конспиративной квартире Ивана Спиридоновича Демьянова, который просил его об этой встрече, и как можно скорее. Что у него там случилось? Человек он серьезный, по пустякам торопиться не станет...

Ветер прогромыхал закрытыми ставнями окон, выл в печной трубе. Пламя коптилки беспокойно качалось. Сейчас квартиру охраняли: со двора — Григоренко, а на улице Федорчук. Шрагин подумал о них, мерзнувших на ледяном ветре, и решил провести встречу как можно быстрее. Он ждал и думал о Лиле. Сейчас они вместе с Юлей должны вести Раю на далекую окраину города, где их ждут надежные люди, которые переправят еврейскую девушку в деревню. Удалось ли им незаметно покинуть дом? Сумеют ли они благополучно пройти через весь город и найти нужный адрес? Шрагин очень волновался и вместе с тем был рад за Лилю — лиха беда начало...

Дверь открылась, и Шрагин увидел Демьянова. Встреть он его на улице, пожалуй, и не узнал бы — так за два месяца тот изменил свою внешность. От его аккуратности и подтянутости не осталось

и следа. У него была густая темно-рыжая борода и лихие казацкие усы. Ватник с дыркой на плече, из которой торчал клок серой ваты, громадные кирзовые сапоги и кепочка блином.

Они обнялись, ткнулись щекой к щеке, и оба, стесняясь этого порыва, некоторое время молчали, поглядывая друг на друга.

— Видик у вас...— покачал головой Шрагин.

— Нормальный вид мастера забоя,— улыбнулся Демьянов.

— Какого забоя?

— Должность моя на бойне так называется — мастер забоя. Бью коров и мелкий рогатый скот для пропитания германской армии фюрера. Впрочем, и себя не забываю. Возле меня кормятся человек десять, а может, и больше...

Как-то само собой получилось, что около Демьянова образовался как бы филиал группы, в которой, кроме него, вошли Алексей Ястребов и Егор Назаров. Он поддерживал связь и с Ковалевым, работавшим сцепщиком поездов на товарной станции. Ястребов работал грузчиком в типографии, где печаталась издаваемая немцами на русском языке газета «Молва». Там он завел дружбу с наборщиками и печатниками и недавно сообщил, что в типографии можно печатать листовки. Это и было первым делом Демьянова к Шрагину. Обсудив его со всех сторон, решили: печатать листовки в типографии нельзя, слишком велик риск и вдобавок никто из группы не знает печатного дела. Надо попытаться вынести из типографии шрифт и передать его подпольщикам. Ястребов должен продумать, как это сделать, и сообщить об этом Демьянову.

Второе дело — Ковалев просит снабдить его минами с часовым заводом, чтобы устанавливать их на поездах. Шрагин попросил передать Ковалеву, что мины он получит в самое ближайшее время.

Наконец, дело, возникшее у самого Демьянова. Совершенно случайно, в бане, он познакомился с неким Пидхатько. Отдыхая после парилки, они разговорились. Узнав, что Демьянов щирый украинец, Пидхатько стал интересоваться, что он делает, и, когда узнал, что работает на бойне, вдруг полез к Демьянову в друзья. После бани повел к себе домой, угостил горилкой. Демьянов думал, что все кончится предложением красть мясо на бойне, но Пидхатько предложил ему вступить в украинскую националистическую организацию. Уже имевший указание Шрагина вести разведку националистов, Демьянов согласился. На другой день Пидхатько познакомил его со своими, как он выразился, братьями по крови. Так Демьянов проник в группу украинских националистов из организации, возглавляемой Савченко. И получил первое задание — вести счет убитому скоту. Это поручение он получил от самого Савченко, который сказал: «Этот счет мы — истинные хозяева Украины — должны иметь в кармане, а придет час, мы его предъявим немцам, чтобы они были покладистей и знали, что Украина имеет настоящих хозяев».

Дальше — больше. Демьянов узнал, что украинские националисты вошли в контакт с СД для истребления коммунистов и «всякой совдепии». Они помогают гестаповцам выявлять советских патриотов. В благодарность за это оккупанты предоставляют людям Савченко посты в гражданских органах власти. Демьянов установил, что центром организации является автокефальная церковь, а работающий в ней священник — бывший бухгалтер строительного треста — правая рука Савченко.

— Их организация довольно многочисленна,— продолжал рассказывать Демьянов.— В ней есть опытные бандиты и политиканы, прибывшие сюда с Западной Украины. Они получают директивы от какого-то своего заграничного центра...

Однако Демьянов считал, что большинство местных людей, вступивших в организацию, попросту обмануты и слепо поверили, что главной целью организации является создание «самостийного» украинского государства. И они не знают, кому служат. Демьянов предложил развернуть среди них агитационно-разъяснительную работу и подорвать организацию изнутри.

Шрагин с этим не согласился и посоветовал пока что вести дальнейшую разведку организации и внимательно присматриваться к ее людям.

С делами было покончено, Шрагин простился с Демьяновым и первый покинул дом. По-прежнему бесновался ледяной ветер. Начинался снегопад. Из темноты к Шрагину приблизился Федорчук.

— Все спокойно,— сказал он тихо.— И Юля уже вернулась.

Из-за его спины показалась Юля.

— Все сделано точно по плану,— сказала она, но в ее голосе Шрагин почувствовал усмешку.— Только ваша девица так перетрусила, что смотреть было смешно, дрожала как осиновый лист.

— Храбрыми не рождаются,— сухо заметил Шрагин.

— А трусливыми?

— Да брось ты, ей-богу!— сердито зашипел на нее Федорчук.

— Не надо впутывать в дело кого попало,— не обратив никакого внимания на слова Федорчука, сердито сказала Юля и растаяла в темноте.

— Не обращайте внимания, Игорь Николаевич, характер у нее такой, ничего не поделаешь,— оправдывался Федорчук...

Шрагин шел домой быстрым, энергичным шагом, не замечая хлеставшего ему в лицо ветра с зарядами снежной крупы. Радостного ощущения от встречи с Демьяновым как не бывало, он думал о том, что сказала ему сейчас Юля. «Она права, она права,— говорил себе Шрагин.— Я же знал, что Лиля человек настроения и нервов. Но что я мог сделать, если она поставила меня перед фактом, а оставлять ее подругу в доме было недопустимо?..»

Шрагин твердо решил, что впредь Лиля если и будет действовать, то только в пределах своего дома.

ГЛАВА 19

Еще одно радиодонесение Шрагина в Москву: «Уточняю переданную ранее характеристику адмирала Бодеккера. Как истый немец и потомственный моряк, он благодарен нацизму за возрождение флота, которому он теперь верно служит. Критикуя непорядки организационного характера и не принимая террора как государственного метода, он вместе с тем не отрицает величия достижений нацизма и считает их историческими. Однажды он сказал: «Ничего, кончим войну и займемся совершенствованием нашего рейха, и это сделают именно моряки — наиболее образованная и думающая часть военной элиты». Крайне важно его более раннее заявление, что гросс-адмирал Дениц является его большим и давним другом. Можно предположить только то, что в среде морских военачальников существует критическое отношение к некоторым делам нацистов. Но не больше. И в этом направлении следует вести разведку. Ваши сведения об украинских националистах целиком подтверждаются, они идут на активный контакт с гитлеровцами, в частности с гестапо. Предлагаю ликвидировать головку местной организации. Ваше мнение... Вернувшийся из Одессы генерал Штромм последними словами поносит румынских союзников — трусы, спекулянты, взяточники, юбочники, болтуны и тому подобное. Говорил о готовящемся посещении Одессы Антонеску, которому будет оказан его шайкой восторженный прием, а после этого командующий группировкой немецких войск «Юг» устроит Антонеску холодный душ. Говорил, что румыны получили все, что хотели, но после этого не хотят воевать, но «мы сунем их дивизии в самое пекло — им все-таки придется заплатить за полученное». И так далее. Дату посещения Антонеску Одессы постараюсь своевременно уточнить. Ночная бомбардировка крейсера и плавучего дока, к сожалению, больших результатов пока не дала. Пожар на стапеле удалось быстро ликвидировать, а док только чуть больше наклонился. В обоих случаях необходимо прямое попадание... Почтовый ящик вызова на связь представителя подполья пока не сработал. Вынужден воспользоваться резервной цепочкой связи. Привет. Грант».

Спустя три дня Шрагин встретился, наконец, с представителем подполья Бердниченко. Это был мужчина примерно сорока лет, спокойный, неторопливо-рассудительный. Он с первой же минуты понравился Шрагину. Но несколько насторожила уверенность, с какой он говорил о подпольной борьбе.

— Вы уже связались со всеми оставленными в городе людьми?— спросил его Шрагин.

— Пока это не вызывается необходимостью,— ответил Бердниченко.

— Но вы знаете, хотя бы, уцелели они?

— Судя по всему, основной костяк в порядке,— неторопливо ответил Бердниченко.— Но есть всякие слухи.

— Какие слухи?

— Будто некоторые наши люди уже провалились.

— А точнее?

Бердниченко взглянул на него удивленно:

— Все равно гитлеровцы победить нас не смогут, и переловить всех они тоже не в силах.

— Нет, неверно,— резко перебил его Шрагин.— Достаточно попасть в руки гестапо одному малодушному человеку, и вся ваша концепция разлетится в прах. Они переловят и уничтожат всех подпольщиков.

— На их место станут другие!— с торжественной отрешенностью произнес Бердниченко.

— Вы не знаете, кто пытался взорвать сторожевик на заводе?— спросил Шрагин, уводя разговор из области общих фраз.

— Мину снесла туда одна наша комсомолка,— с гордостью ответил Бердниченко.

— А то, что эту мину немедленно обнаружили и была арестована вся ремонтная бригада, это вы знаете?

— Мы знаем только, что взрыва не было, думали — не сработал механизм.

— Не сработало умение.

— Ну что же, будем учиться и на таких ошибках,— невозмутимо отвечал подпольщик.

— Когда повесят бригаду рабочих, не покажется ли вам такое учение слишком дорогим?— спросил Шрагин.

— Эти рабочие помогали захватчикам,— сердито сказал Бердниченко, и серые глаза его сузились.

— Тогда вы должны немедленно ликвидировать меня,— улыбнулся Шрагин.— Я работаю инженером на этом заводе.

— Не может быть!— воскликнул Бердниченко с неподдельным удивлением.

Заговорили о совместной работе. Шрагин сообщил, что его человек подготовил похищение шрифта из типографии.

— Мы об этом ничего не знаем,— почти обиделся Бердниченко.— У нас там тоже есть свой человек.

— Вот так и надо работать, это и есть конспирация,— примирительно сказал Шрагин...

— Ясно...— вздохнул Бердниченко.— Ведь мы не имели никакого инструктажа и никаких методических пособий...— он сказал это так, будто речь шла о его прежних школьных делах. До войны он был завучем техникума.

Договорились впредь встречи проводить по возможности регулярно...

За два дня до 7 ноября на улицах города появились листовки, посвященные 24-й годовщине Октябрьской революции.

Первую такую листовку Шрагин увидел, когда ранним утром 5 ноября шел на завод. Моросил дождь, все вокруг было серое, холодное, чужое. По улицам сновали немцы в своих мышиных, по-

черневших от дождя шинелях. Разбрызгивая грязь, проносились раскрашенные в лягушиный цвет автомашины. Среди этого чужого холодного мира на сером столбе желтела листовка, кричавшая о Великом Октябре, о нашей вере в победу.

На грубой обойной бумаге было напечатано:

«Двадцать четыре года назад пролетариат России под руководством партии большевиков во главе с Владимиром Ильичем Лениным совершил Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Так родилось наше первое в мире государство с советской властью рабочих и крестьян. Его Красная Армия выстояла перед военной интервенцией капиталистической Европы и Америки, разгромила всех внешних и внутренних врагов революции. За двадцать четыре года своего существования Советский Союз объединил в свою семью сотни народов и народностей, и все они участвовали в построении социализма, который стал их радостной, свободной жизнью.

Никто и ничто не может остановить наше дальнейшее движение вперед и не сломит нашей веры в дело Октября, нашей преданности Коммунистической партии! Велик и непобедим Октябрь! Смерть немецким оккупантам!»

Шрагин бегло взглянул на листовку и пошел дальше. Ему стало жарко, и сильно забилось сердце. В одну минуту все вокруг изменилось, словно по волшебству.

Главная сила человека — в его причастности к своему народу, ко всей его жизни, к его счастью и к его горю. Шрагин чувствовал сейчас эту свою причастность с особой остротой. Он не замечал ни холода, ни дождя — ведь это была его осень, и этот холод и дождь были против его врагов. Здесь против них все, потому что и здесь фронт, и здесь война. И война особенно страшная для них, потому что они не знают, откуда их ждет удар. И это страх выкрасил их машины в лягушиный цвет, а их самих одел в шинели неприметной мышиной окраски.

Шрагину вспомнился родной Ленинград и как он — школьник — получал комсомольский билет из рук участника октябрьского штурма Зимнего. Это был еще совсем не старый человек, инженер завода, который шефствовал над их школой на Выборгской стороне. Вручив билеты, инженер сказал: «Не важно, ребята, кем вы станете, все вы будете продолжать великое дело Октября. И может статься, придется вам за это великое дело и жизнью своей пожертвовать, как тем, что лежат теперь на Марсовом поле...»

Воспоминание пришло из детства, а было оно как еще один приказ, прямо касавшийся его сегодняшней жизни.

Шрагин был уже на территории завода и шел вдоль стапеля, как вдруг увидел впереди под краном плотную группу рабочих. Он остановился у них за спиной и через головы увидел уже знакомую ему листовку, приклеенную к внутренней стороне железной ноги крана.

— Гляди, не забыли поздравить,— тихо сказал пожилой рабочий и оглянулся. Он увидел Шрагина, и улыбка мгновенно сле-

тела с его лица. Подтолкнув локтем соседа, он громко сказал: — Чего побасенки читать? Пошли работать.

Шрагин остался перед листовкой один. Теперь он читал ее медленно и обдумывал, как ему поступить: сорвать или оставить? Рабочие ушли, но позже они могли вернуться и увидеть листовку на месте. А среди них мог оказаться и предатель. Рисковать нельзя! Шрагин как мог аккуратно оторвал крепко приклеенную листовку и, держа ее в руках, пошел в дирекцию.

Он немножко досадовал, что в листовке, если не считать слов «Смерть немецким оккупантам!», ничего не говорится о борьбе с ними. Надо бы сказать людям, что партия здесь, вместе с ними, в оккупированном врагом городе, и зовет их в бой за свободу и честь Родины. Хорошо было бы подсказать людям, что им надо делать...

Войдя в кабинет адмирала Бодеккера, Шрагин с удовлетворением отметил, что там находится и нацистский комиссар при адмирале майор Капп.

— Извините, господа, но у меня срочное дело.— Шрагин положил перед Бодеккером листовку.— Это было приклеено к подъемному крану.

Майор Капп быстро подошел к адмиралу, и они вместе прочитали листовку. Переглянулись. Майор Капп взял листовку и внимательно рассмотрел ее с обеих сторон. Он даже понюхал ее, потом провел пальцем по тексту и еще раз осмотрел листовку с обеих сторон.

— Даже краска еще не высохла,— сказал майор Капп и, подойдя к столику с телефонами, соединился с кем-то по служебной связи.— Говорит майор Капп, поздравляю вас с датой революции в России... Нет, нет, мне не до шуток. Вы взяли под контроль городские типографии?.. Тогда, значит, большевистские листовки печатаются под вашим контролем... У нас на заводе... Да, но у меня всего один экземпляр, а сколько их есть еще, мне неизвестно. Но думаю, что в типографии незачем печатать маленький тираж. Хорошо, я сам сейчас привезу.

Майор Капп положил трубку и, уходя, обратился к Шрагину:

— Благодарю вас.

Шрагин молча наклонил голову.

Бодеккер сидел неподвижно, уставившись прищуренным взглядом в глухую стену кабинета.

— Нет, нет, все-таки мы чего-то об этой стране не знаем,— сказал он наконец, точно размышляя вслух. Бодеккер повернулся к Шрагину, но задумчивость в его светло-карих глазах оставалась, он смотрел на Шрагина и точно не видел его.— Вчера мой коллега, но настоящий плавающий адмирал рассказал о бое нашего эсминца с русским торпедным катером. Русские дрались, как львы; уже теряя плавучесть, успели выпустить торпеду и повредить эсминец, а когда стали тонуть, они пели какую-то песню. Моего коллегу поразило, что этот свой подвиг горстка моряков совершала без свиде-

телей, зная, что их героизм останется безвестным. Что же ими двигало? А?

— Фанатизм,— ответил Шрагин.

— Нет, господин Шрагин!— решительно возразил Бодеккер.— Фанатизм на войне — это явление сугубо индивидуальное, здесь следует употреблять совсем другое понятие — патриотизм. Интересно, как вы прочитали эту прокламацию?

— С удивлением,— ответил Шрагин.

— Чему вы удивились?

— Самому факту ее появления.

— Да, да, именно удивление, понимаю вас,— вдруг возмущенно заговорил адмирал, и лицо его начало наливаться краской.— И это ваше и мое удивление, скажем прямо, на совести гестапо. Это их стиль. Так было и в Берлине. Они громят еврейские магазины и синагоги, а коммунисты в это время действуют у них под носом...

В кабинете Релинка листовку исследовали специалисты. Они сошлись на том, что напечатана она на примитивном станке, который может быть установлен где угодно. Релинк позвонил генерал-наблюдателю Штромму, сообщил ему о листовке и о заключении экспертов.

Штромм попросил доставить ему экземпляр листовки.

— У нас всего-навсего один экземпляр,— ответил Релинк.— Мои люди ищут по городу второй. Я пришлю вам фотокопию.

Релинк умышленно сказал неправду. На столе у него лежало несколько листовок и уже сделанные с них фотокопии. Релинк отобрал самую плохую фотокопию и отправил ее Штромму...

В этот день Релинк записал в своем дневнике:

«5 ноября 1941 года в городе обнаружены прокламации коммунистов к годовщине их революции. Поражает текст прокламации. Кроме стандартного московского вопля в самом конце, в прокламации ни слова о катастрофе, постигшей их хваленое государство. Она написана так, будто ничего в их стране не произошло и наши солдаты не стучатся в кремлевские ворота. Прочитав прокламацию, я, честное слово, испытал чувство оскорбления равнодушием. Мне было бы приятней, если бы они осыпали нас бранью, проклятиями и угрозами. По крайней мере я бы почувствовал, что я есть и что они чувствуют мои пальцы на своем горле. Но если они отказываются признавать, не говорит ли это о том, что я и моя служба недостаточно активны и беспощадны?..»

Листовок было немного, но о них говорил весь народ. Эксперты Релинка смеялись, что листовки напечатаны на обратной стороне обоев с идиллическими цветочками, а жителям города это говорило, в каких тяжелых условиях действуют люди, которые выпустили эту листовку. Город волновало, что листовка по содержанию была похожа на обычное праздничное поздравление мирного времени. Люди, прочитав листовку, вспоминали, как они, бывало, праздновали октябрьскую дату, как ходили друг к другу в гости, пели за столом песни... И еще они думали о том, что в городе есть

люди смелее их, люди, которые не смирились с несчастьем и свято оберегают традиции прежней жизни. Одним от этого становилось стыдно, и они начинали отыскивать причины, оправдывающие их молчаливую покорность событиям. Другие задавали себе вопрос, как они могут помочь тем храбрым людям.

ГЛАВА 20

7 ноября Эмма Густавовна решила устроить семейный ужин.

— Отметим все же наш привычный праздник,— немного смущенно сказала она Шрагину.

— А если явятся ваши гости?— спросил Эмму Густавовну Шрагин.

— Для них это будет просто ужин, и все,— ответила она и шепотом добавила:— Это Лили потребовала, чтобы я устроила ужин.— Она тяжело вздохнула.— Я говорю ей: учись у Игоря Николаевича спокойствию. Работает человек с немецким адмиралом и никакой трагедии из этого не делает...

Недавно Эмма Густавовна сказала Шрагину: «Мы же с вами не какие-нибудь предатели, мы просто понимаем, что изменить ничего не можем...» Уже не первый раз она говорит с ним, как со своим союзником. Лиля понимала, что Шрагин остался в городе не для того, чтобы работать с немецким адмиралом, но она не могла смириться с тем, что ее мать так просто принимает новую свою жизнь и даже утверждает, что ей сейчас интереснее жить, чем раньше. Лилю бесило и то, что мать легче, чем она, находит общий язык со Шрагиным.

Шрагин видел, что происходит с Лилей, и надеялся, что она постепенно разберется во всем и поймет, что от нее требуется. После того как история с Лилиной подругой благополучно завершилась, Шрагин прямо сказал ей, чтобы она в подобные дела больше не лезла, если не хочет вызвать трагических последствий для всех, и объяснил, что самую большую пользу она может принести, внимательно слушая и запоминая все, что говорят гости в ее доме. Лиля сначала обиделась, но потом как будто согласилась со всем, что говорил ей Шрагин, и даже стала время от времени передавать ему подробные записи застольных разговоров немцев. Она очень переменилась. Совсем недавно она, сидя за столом, больше молчала, а теперь вдруг стала болтлива, кокетлива, много смеялась, охотно садилась за рояль. Перемена в ее поведении так бросалась в глаза, что это могло вызвать у гостей в лучшем случае недоумение, и Шрагин вынужден был сказать ей об этом.

— На что же я тогда способна? Ничего не умею, ничего!— воскликнула она, и глаза ее наполнились слезами.

— Все требует умения, дорогая Лиля.

Шрагин и досадовал на нее и в то же время жалел и понимал, что должен терпеливо и осторожно вести ее по трудной дороге, на которой она случайно оказалась...

Ужин по случаю, как выразилась Эмма Густавовна, «привычного праздника» начался с того, что Лиля нечаянно разбила единственную бутылку немецкого вина.

Эмма Густавовна возмутилась. Шрагин видел, как Лиля вспыхнула после резких слов матери, съежилась, будто от удара, и поспешил разрядить обстановку.

— Это сделала не Лиля, а само провидение,— весело рассмеялся он.— Мы собирались по случаю нашего праздника пить чужое вино, и, очевидно, провидение решило помешать этому.

— А что, ведь правда,— сменив гнев на милость, сказала Эмма Густавовна.— Это был бы форменный нонсенс — выпить за наш праздник вино, оставшееся от немецкого генерала. Извини меня, девочка...— она обняла и поцеловала дочь. Мир был восстановлен.

Шрагин, а за ним Эмма Густавовна и Лиля подняли пустые бокалы.

— Вообразим, что в них наша родная русская водочка,— сказал Шрагин.— И выпьем по случаю нашей... привычной даты...

— Я пью за Великий Октябрь!— воскликнула Лиля и чокнулась со Шрагиным.

В это мгновение в передней раздался звонок.

Эмма Густавовна пошла открывать дверь и поспешно вернулась.

— Спрячьте бокалы,— шепнула она.

Лиля взяла бокалы, но Шрагин остановил ее:

— Не надо. Только прошу вас, не надо повторять ваш тост.

В передней слышались мужские голоса. Генерал Штромм на правах старого знакомого первый вошел в гостиную.

— Что я говорил?— крикнул он, обернувшись к кому-то в переднюю.— Они, конечно, празднуют!

В гостиную вошел высокий худощавый человек в черном штатском костюме и в крахмальной рубашке. Рыжеватые его волосы, коротко подстриженные, разделял аккуратный боковой пробор. В черном галстуке блестел золотой значок со свастикой.

— Ганс Релинк,— представился он.

— А лучше просто Ганс,— по обыкновению очень громко и бесцеремонно начал генерал Штромм и обратился к Эмме Густавовне с притворной строгостью: — Значит, отмечаете, мадам, праздник революции?

Лицо Эммы Густавовны покрылось красными пятнами.

— Привычка, как известно, вторая натура,— спокойно сказал Шрагин.— Четверть века — срок для выработки привычки достаточный.

— Не нужно оправдываться,— с мягкой улыбкой, открывшей крупные зубы, сказал Релинк, поглаживая свой квадратный подбородок.— Мы все понимаем и даже кое-что захватили с собой... Там, в передней, корзинка,— обратился он к Эмме Густавовне.

— Воевать с привычками людей не наша обязанность,— сказал Релинк, садясь на диван рядом со Шрагиным.

— Это, по-моему, не совсем точная позиция,— возразил Шрагин.— У русских есть привычки, которые для вас очень опасны.

Релинк удивленно посмотрел на Шрагина:

— Что вы имеете в виду?

— Позавчера я у себя на заводе сорвал листовку коммунистов, и это значит, что они продолжают привычную для них деятельность,— сказал Шрагин.

— Где эта листовка?— небрежно спросил Релинк.— Мне очень хотелось бы на нее посмотреть.

— Я отдал ее адмиралу Бодеккеру, потом ее взял майор Капп.

Релинк вспомнил, как майор Капп говорил ему, будто листовку сорвал он сам. Интересно, кто из них врет?

Эмма Густавовна суетилась, расставляя закуски и вино, принесенные гостями. Когда все было готово, над столом всей своей грузной фигурой поднялся генерал Штромм.

— Господа, внимание,— прогремел его голос, как команда на плацу.— Наполните бокалы. Слово имеет мой друг Ганс.

Релинк встал и заговорил тихим приятным голосом:

— Господа хозяева этого уютного дома, аттестованного мне генералом Штроммом в качестве истинно немецкого! Собираясь к вам, мы подумали о том, что вы сегодня отмечаете свою историческую дату, и, признаться, боялись, как бы наше появление не смутило вас. Чтобы это смущение с самого начала устранить, я предлагаю выпить за вашу историю, ее не в силах изменить никто. Хох!

Релинк в одно дыхание осушил свой бокал и с торжественным лицом ожидал, пока выпьют все. Его тост растрогал Эмму Густавовну. Она пила свое вино, благодарно смотря на гестаповца. Шрагин отдал должное ловкости, с какой Релинк повернул эту щекотливую тему. Лиля смотрела на Релинка с каким-то тревожным интересом. Генерал Штромм выпил и усмехался чему-то про себя.

Непринужденный разговор, однако, не завязывался. Генерал Штромм усиленно угощал Лилю и Эмму Густавовну. Релинк внимательно и деликатно посматривал на Лилю и, наконец, сказал:

— Я столько слышал о вас от генерала, что, наверное, узнал бы на улице. Знаете, что он говорит? Самая красивая молодая женщина в городе, но увы, она оккупирована, как и город, но только не нами. Могу заявить, что согласен с генералом.

Лиля покраснела.

— Просто в городе осталось слишком мало женщин... А в мире все относительно.

— Не согласен,— любезно наклонив рыжеватую голову, возразил Релинк.— В отношении женщин теория относительности неприменима.

— Не спорьте вы с ним, это бесполезное занятие, он же по специальности следователь! Хо-хо!— прогремел генерал Штромм.

Шрагин заметил, как по лицу Релинка метнулась тень недовольства.

Заговорили о музыке, и вскоре Лиле пришлось сесть за рояль. Она сыграла свою любимую «Лунную сонату» Бетховена.

Все долго молчали. Потом Релинк сказал задумчиво и томно:

— Поразительна сила гения, забываешь все. Ради бога, сыграйте что-нибудь Вагнера.

— Не хочется. Я его не люблю,— ответила Лиля.

— Как можно!— воскликнул Релинк.— Вы же немка, а Вагнер — это поющее сердце Германии.

— А я не люблю,— упрямо повторила Лиля и заиграла Чайковского из «Времен года».

— О, Чайковский!— тихо воскликнул Релинк, блаженно закрыв глаза.

Генерал Штромм сидел молча и с каменным лицом цедил вино. Шрагин, слушая музыку, думал все время о своем, о самом главном. Да, это люди гестапо...

Релинк продолжал сидеть рядом с ним на диване и, казалось, не замечал и не слышал ничего, кроме музыки, взгляд его не отрывался от Лили. Вдруг она на середине такта оборвала игру.

— Что-то ужасно заболела голова. Извините...— она встала и вышла из комнаты.

Релинк осторожно тронул Шрагина за локоть и шепотом сказал:

— Ваша жена производит впечатление нездорового человека. Не нужна ли наша помощь? Мы можем прислать прекрасного врача.

— Нервы!— вздохнул Шрагин.— Вы должны понимать, что нам не так просто пережить ломку всей жизни. Это процесс мучительный.

— Да, да, мы это понимаем,— сочувственно и с сожалением закивал Релинк.— И очень досадно, что не все наши люди понимают это. Как в этом смысле у вас на заводе?— участливо спросил он.

— Трудно ответить кратко,— попадая в тон Релинка и точно жалуясь, сказал Шрагин.— С одной стороны, известная вам листовка, а с другой — я каждый день вижу, как спокойно ведут себя на заводе рабочие.

— Вы слышали о попытке взорвать ремонтирующийся корабль?

— Слышал,— небрежно ответил Шрагин.— И все-таки делать выводы еще рано.

— Вы имеете в виду и себя?

— Конечно, и себя,— спокойно ответил Шрагин.— Только для меня все легче и проще оттого, что у меня есть этот дом и любимая жена. А ведь наши рабочие, да и инженеры живут очень плохо. И стоит кому-нибудь напомнить им о недавнем прошлом, как это вызывает озлобление ко всему сегодняшнему.

— Неужели это прошлое было таким хорошим? — совсем без иронии, мягко спросил Релинк.

— Все в мире относительно, — улыбнулся Шрагин. — Во всяком случае, люди жили значительно лучше, чем теперь.

— Но глупо быть нетерпеливым, когда речь идет об устройстве жизни в такой огромной стране, как ваша, да еще когда идет война. Мы все же не волшебники.

— Это могу понять я, но как это объяснить тем рабочим, которым не только нечего есть, но даже нечем протопить печь?

— Да, городское самоуправление работает отвратительно, — согласился Релинк.

— Там тоже не волшебники, — заметил Шрагин.

— Но знаете, сказать откровенно — мы ожидали здесь для себя более тревожную жизнь. Пожалуй, уже можно сказать, что расчет ваших партийных кругов на то, что советские люди ринутся в безрассудную борьбу с нами, мягко говоря, не оправдался. Интересно, что вы думаете на этот счет?

— О том, что делается в городе, я просто не знаю, — ответил Шрагин.

— О! Если б делалось, вы бы знали! В том-то и дело! — рассмеялся Релинк. — Очевидно, господа коммунисты ушли в такое глубокое подполье, что не могут из него вылезти.

— И все же вы ошибаетесь, если считаете, что люди довольны своей нынешней жизнью, — сказал Шрагин.

— Скорей бы весна и лето! — тихо воскликнул Релинк. — Тогда все будет восприниматься иначе.

Гости ушли около часу ночи.

— Очень славно все получилось, — сказала Эмма Густавовна. — А я так боялась, так боялась! Ну посмотрите, как тактично они отнеслись к тому, что мы отмечали свой праздник. Верно, Игорь Николаевич?

— Да, не без того, — рассеянно ответил Шрагин.

Ему казалось, будто он был виноват в том, что Релинк имеет возможность говорить об отсутствии заметного сопротивления оккупантам.

ГЛАВА 21

Уже целую неделю Федорчук по ночам рыл подземный лаз к тайнику с оружием и взрывчаткой. Это была адова работа: стоя на четвереньках, топором вырубать землю, затем выгребать ее и рассыпать на огороде. А надо было прорыть почти десятиметровый ход. Вот когда пригодилась ему тяжелая атлетика. Но что она в сравнении с этой работой? Лицо у него осунулось, стало серым, пышные волосы слиплись от пота, даже белесые его ресницы потемнели от грязи. На полпути появилась непредвиденная трудность — стало не хватать воздуха. Федорчук задыхался, обливался холодным потом и быстро терял силы. Ему при-

ходилось подолгу лежать на спине, прежде чем он мог снова собраться с силами. Хорошо еще, что ему не надо было ходить на работу — он хорошо отсыпался днем.

А три дня назад Федорчук услышал громкие голоса за забором. Он глянул в щель и замер: в недостроенное здание, под которым был его тайник, в ту его угловую часть, которая была уже под крышей, вселялись немецкие солдаты. Федорчук решил работу продолжать, только заменил топор винтовочным штыком. Теперь стало еще труднее. На другой день к нему подключился Харченко. Работали попеременно. Пока один отсиживался в сарайчике, другой работал. И вот, наконец, на Федорчука обрушился последний пласт земли и оголилась доска, которую он узнал. Это было дно тайника.

На другой день взрывчатка и оружие были взяты из тайника и перепрятаны в сарайчик и в дом Федорчука. Часть взрывчатки унес к себе Харченко.

Первой целью для диверсионного удара была избрана устроенная немцами в городском саду ремонтная автобаза и склад автоимущества. Работавший на железнодорожной станции Ковалев сообщил, что в адрес этой базы идет очень много всякой техники.

Принимая решение нанести первый удар именно здесь, Шрагин понимал, что материальный урон от диверсии может оказаться не очень большим, главное было в моральном эффекте — сад, где расположилась база, находился в центре города, и весь он станет очевидцем еще одного эпизода борьбы патриотов с оккупантами. А это поважней счета материального...

В воскресенье Федорчук и Харченко, как благонамеренные горожане, прогуливались по городу. А почему бы им и не погулять, если их документы свидетельствуют, что и минувшую неделю они добросовестно трудились для нового порядка?..

Они побывали, конечно, возле городского сада. Там не было заметно никаких признаков жизни — немцы свято соблюдали воскресенье. На аллеях сада лежал чистый, нетронутый снежок. Но и в будни немцы работали здесь только по ночам, и это очень осложняло предстоявшую операцию. Шрагин требовал совершенно точно установить, в какие часы на базу доставляется техника. Уже несколько раз Федорчук и Харченко ходили в ночную разведку и установили, что грузовики с техникой прибывают на базу не позже трех часов ночи и что при складе постоянно находится не меньше двадцати солдат. Шрагин приказал провести еще одну поверочную разведку. Это следующей ночью сделает Федорчук. А пока он вместе с Харченко гулял по городу.

Они шли через центр и только теперь заметили, что вокруг солнечный декабрьский день и город, припушенный снежком, выглядел чистеньким и даже повеселевшим. Но он был таким безлюдным, что опасно было идти как ни в чем не бывало по этому пустынному мертвому городу.

— Давай зайдем за Юлей?— предложил Федорчук.— Она уже отдежурила, возьмем ее и пойдем к нам чаевничать.

— Не опасно?

— В ресторан мы не полезем...

Они вошли в длинный узкий двор позади ресторана, и Федорчук скрылся за маленькой дверью с табличкой «Служебный вход». Харченко, присев на бочку, стал ладить самокрутку.

Из маленькой двери вышли Федорчук, Юля и с ними коренастый немец в военном кителе, но без всяких знаков различия. Харченко на всякий случай решил сделать вид, что он не знает ни Федорчука, ни Юли, а те, стоя у дверей, весело о чем-то поговорили и стали прощаться. Немец поцеловал Юле руку, с Федорчуком обменялся крепким рукопожатием и скрылся за маленькой дверью. Федорчук кивнул другу:

— Пошли!

Когда они уже далеко отошли от ресторана, Харченко спросил:

— Что это ты за дружка завел?

— Погоди, Паша...— ответил Федорчук...

Юля уже давно выполнила указание Шрагина и работала переводчицей в ресторане для офицеров военной авиации. Красивая, бойко говорившая по-немецки, она пользовалась среди офицеров большим успехом. Шрагин уже начал получать от нее дельные донесения. Так благодаря Юле Москва своевременно узнала о переброске из Франции на Кавказ третьей воздушной армии... И вот несколько дней назад, когда она дежурила, с ней заговорил очень странный немец. Он был в военной форме, но какое у него звание, понять было нельзя. Однако он жил в отеле, а это рядовому солдату не по карману. Он спрашивал Юлю про жизнь в городе, интересовался, как она относится к немцам. Юля, конечно, представила ему жизнь города и свою жизнь в самых радужных красках. Он серьезно выслушал ее и сказал, что сам уже успел кое-что увидеть и поэтому думает, что Юля говорит неправду.

— Зачем?— спросил он, заглядывая ей в глаза.

— Может, другим и не так хорошо живется, как мне, а человек ведь судит по себе,— игриво ответила она, поправляя свои модно валиком причесанные волосы.

— Это не похоже на русских, тем более на советских,— сказал немец.— Я ведь бывал в вашей стране раньше и еще тогда восхищался развитым у вас чувством коллектива, общества.

Услышав это, Юля невольно оглянулась по сторонам.

— Не бойтесь,— шепнул немец.

— А мне бояться нечего,— нарочито не понижая голоса, сказала Юля, смотря в глаза немцу своими большими черными глазами.

— Положим, это тоже не совсем верно,— улыбнулся немец и спросил:— Как вас зовут?

— Юля... Юля Федорчук.

— А меня Вальтер. Вот мы и познакомились.

Юля молчала.

— И еще я хочу сказать вам, что я женат и очень люблю свою жену, у нас двое ребятишек. Хотите посмотреть?— Он вынул из кармана портмоне, в котором внутри под слюдяной бумажкой находилась фотография некрасивой женщины, обнимавшей двух мальчишек дошкольного возраста.— Это Петер, а это Иохим, а это моя Анна,— показывал Вальтер.— Так что я прошу вас не думать, что у меня есть какие-нибудь задние мысли. Просто я здесь чертовски одинок. И потом, мне хочется поговорить с советским человеком. Откуда же вы так хорошо знаете немецкий?— вдруг спросил он.

— А я немка,— с вызовом ответила Юля и заметила, что Вальтер насторожился.

— Но вы назвали совсем не немецкую фамилию,— сказал он.

— Мужа выбирают не по фамилии,— улыбнулась Юля.

— И вы приехали сюда... с нашими?

— Я родилась в этом городе, и таких немцев тут полным-полно.

Вальтер улыбнулся, но как-то принужденно. Он, наверное, еще не верил Юле.

— Откуда же здесь такие немцы?— спросил он.

Юля в двух словах рассказала ему давнюю историю поселения немецких колонистов на юге Украины.

— Вон, оказывается, как давно началась здесь немецкая оккупация,— рассмеялся Вальтер.

Они поговорили еще немного, и Вальтер ушел, церемонно поцеловав ей руку.

Два дня он не показывался, а сегодня утром пришел в ресторан, когда еще никого не было, и стал рассказывать Юле о себе. Он авиамеханик. В тридцатых годах работал в русско-немецкой акционерной компании «Дерулюфт», самолеты которой летали между Россией и Германией. Два года он обслуживал немецкие самолеты на нашем аэродроме в Великих Луках. Научился немного говорить по-русски, завел себе русских друзей, с которыми активно переписывался и после возвращения в Германию. В тридцать пятом году за эту переписку его уволили из авиации. Два года он работал на велосипедном заводе, но как только завод стал делать мотоциклы для армии, его снова уволили. Когда началась война, он был без работы, его сразу взяли в армию, однако оружия не давали. Он почти два года просидел писарем на интендантском складе, имея дело с бельем, ботинками и прочей амуницией. Но о нем вдруг вспомнил летчик, с которым он работал в «Дерулюфте», теперь летчик стал военным и служил в штабе восемнадцатой армии. Он затребовал Вальтера к себе. И вот теперь Вальтер в этом городе и ждет оформления на какой-то аэродром...

Слушая Вальтера, Юля старалась понять, зачем он все это ей рассказывает. Ей хотелось верить, что он говорит правду. Вальтер вызывал доверие всем своим видом, ровным спокойным голосом, открытым взглядом серых глаз. Но Юля всегда помнила главный

наказ Федорчука — быть трижды осторожной со своими немецкими знакомыми.

— Зачем вы все это рассказываете? — прямо спросила она.

— Чтобы вы знали, что я не из тех оголтелых, которые ворвались в ваш дом и не считают вас за людей, — не отводя глаз, ответил Вальтер. — И еще я хочу, чтобы вы знали, что немцы есть всякие, в том числе и такие, которым стыдно за то, что здесь творится...

Как раз в эту минуту Федорчук вошел в ресторан, и Юля познакомила его с Вальтером. О первом ее разговоре с этим немцем Федорчук уже знал и сейчас внимательно его рассматривал.

— Вальтер Шницлер, авиамеханик, — представился немец.

Произошло мгновенное замешательство из-за того, что Федорчук не сразу протянул ему свою руку.

— Не опасайтесь пожать мне руку, она у меня абсолютно чистая, как и совесть, — сказал Вальтер напряженным голосом.

Федорчук протянул руку. Вальтер сжал его ладонь и тихо сказал:

— Мне очень дорого ваше рукопожатие, — и вдруг рассмеялся: — Довольно вульгарная ситуация: муж застал жену с другим.

Никто даже не улыбнулся его шутке, и Вальтер смущенно пробормотал:

— Прошу прощения.

Они стояли в неловком молчании, избегая смотреть друг на друга.

— Ну, теперь я вас увижу не скоро, — сказал Вальтер Юле. — Назначение уже в кармане, правда, я буду служить совсем недалеко от города и когда-нибудь позволю себе зайти к вам. Можно?

— Пожалуйста.

— Спасибо, до свидания...

Сейчас, по дороге домой, Юля рассказывала Федорчуку и Харченко о своем сегодняшнем разговоре с Вальтером.

— Черт его знает, но он не производит впечатления сволочи, — говорил Федорчук, рассматривая свои ободранные руки. — А ведь он назначен на аэродром, которым интересуется наш Батя.

— Вот и надо доложить о нем Бате, — отозвался Харченко.

Так и решили...

ГЛАВА 22

Операцию в городском саду проводили Федорчук, Дымко, Ковалев, Григоренко и местный подпольщик Зиканов — пожилой человек, до войны работавший сторожем в этом саду. Харченко должен был задержать пожарные машины, когда они будут мчаться к месту диверсии.

Начало операции было назначено на два часа ночи. С вечера потеплело, и с гавани в город надвинулся густой туман, затопивший улицы непроницаемой белой мглой. Еще до тумана Федорчук,

руководивший операцией, встретился с подпольщиком Зикановым, и они спрятались под развалинами дома недалеко от сада. В это время Дымко и Григоренко уже находились на своей исходной позиции — с другой стороны сада. Всех тревожил туман, боялись, что в нужный час не найдут друг друга. Больше всех нервничал Харченко, место которого было в двух кварталах от городского сада. Он изготовил специальные ленты с гвоздями, которые должен был расстелить на мостовой. Как в такой мгле нащупать середину улицы? Сработают ли его ленты? А что будет, если машины поедут не по этой улице и он не успеет перетащить свои ленты к перекрестку?..

Зиканов огородами провел Федорчука к той части сада, где размещались военные склады. Он шагал сквозь туман уверенно, как днем, Федорчук с двумя тяжелыми минами еле поспевал за ним. Там, где забор сада вплотную примыкал к стене кирпичного здания, в котором размещался гарнизон базы, Зиканов оставил Федорчука и исчез во мгле.

Федорчук положил мины на землю и стал прислушиваться к тому, что происходило на территории базы. Оттуда приглушенно доносились голоса, рычали автомобили — там, как всегда, шла ночная приемка грузов. Она обычно заканчивалась к двум часам ночи, но случалось, и позже. Тогда грузовики оставались на базе до следующей ночи и шоферы ночевали у солдат гарнизона. Очень важно было установить, остались ли грузовики на эту ночь и сколько их.

Из мглы бесшумно возникли человеческие фигуры — Зиканов привел Дымко и Григоренко. Все дальнейшее происходило в полном молчании — детальный план диверсии каждый знал настолько хорошо, что никаких распоряжений не требовалось. Зиканов и Ковалев быстро вынули из забора бруски известняка, образовался довольно широкий лаз. Первым в сад проникли Григоренко и Дымко. Их задача — заблаговременно подобраться к зданию, где ночуют солдаты, чтобы в нужную минуту держать двери здания под огнем автоматов, а в конце операции прикрывать отход товарищей. Вслед за ними, взяв по мине, пошли Федорчук и Зиканов. У них задача была самая сложная — подорвать два больших пакгауза. Мины были довольно мощные, но, чтобы они сработали на всю силу, их нужно было бросить внутрь зданий. Туман и помогал и мешал. В белой его мгле Федорчук и Зиканов быстро прошли к пакгаузам, но для того, чтобы обнаружить вентиляционные окна, через которые они рассчитывали бросить мины, им пришлось искать их буквально на ощупь. Так же на ощупь Ковалев обнаружил пять оставшихся на ночь грузовиков.

...Мины взорвались почти одновременно. Крышу одного из пакгаузов сбросило на землю, и Федорчук чуть не попал под нее. В казарме стекла вылетели из всех окон. Оттуда начали выбегать солдаты. Григоренко и Дымко вели по ним прицельный огонь. Солдаты, оставшиеся в здании, начали стрелять из окон.

Над городским садом поднялась ревущая стена огня. Харченко раскатал по улице ленты с гвоздями и затаив дыхание ждал.

Три пожарные машины пронеслись мимо него, и только несколько секунд спустя раздались хлопки и шипенье лопнувших камер. Первую машину развернуло поперек улицы, вторую вынесло на тротуар, третья врезалась в первую. Там слышались крик и ругань пожарников.

Харченко, как было предусмотрено планом, поспешил к городскому саду на помощь товарищам. Но когда он подбежал к горящим складам, его помощь уже не была нужна — товарищи отходили к лазу...

Было условлено: сразу после диверсии разойтись по домам.

Город был разбужен взрывами, у домов стояли люди, наблюдавшие пожар, обагривший все небо.

Федорчук присоединился к группе людей, стоявших на перекрестке, и слушал их разговор.

— В горсаду горит, это точно. А только чему там гореть?..

— Значит, есть чему, если так горит...

— А тряхнуло-то как — посуда загремела...

— Неужели наши с воздуха кинули?..

— Тревоги не объявляли, да и попади-ка сверху, да еще ночью.

— Просто так могло взорваться...

— Просто так только воронье кричит.

— Аккуратно сделано, с умом.

— Ведь поди ж ты, полон город солдатни, опять же гестапо, а проморгали.

— Когда жди беды со всех сторон, глаз не хватит...

Федорчук слушал этот неторопливый разговор незнакомых ему людей и переживал, может быть, самые счастливые минуты за всю свою жизнь в этом городе.

Шрагин в этот час сидел на скамейке во дворе своего дома. Он вышел сюда еще задолго до взрыва и проложил на снегу тропинку, вышагивая от дверей дома к водопроводной колонке и обратно. Его остановил только грохот взрывов. Теперь он сидел на скамейке и, улыбаясь, смотрел на розовую от зарева заснеженную крышу соседнего дома. «Ну, господин Релинк, что вы скажете сегодня о своей спокойной жизни здесь?..»

А Релинк в это время стоял на перекрестке у городского сада, в лицо ему хлестал раскаленный пожаром воздух, крупные искры кружились над его головой. Полчаса назад его подняли с постели, и он примчался сюда. Ему уже показали ленты с гвоздями, остановившие пожарные машины, но и без этого он понимал, что здесь совершена смелая диверсия, эффект которой тем больше, что совершена она на виду у всего города.

К Релинку подошли комендант города Гофман и начальник полиции Цах. Насколько позволило бушующее пламя, они обследовали место происшествия, лица у них были в пятнах копоти, от них пахло горелым...

— Что скажете, хозяева города?— спросил Релинк с недоброй усмешкой.

— Команда, охранявшая склады, судя по всему, перебита,— сказал Гофман, вытирая лицо платком.

— Это были не солдаты, а слепые кроты, и их судьба — урок для всех ваших гарнизонов,— холодно сказал Релинк.

— Но как быстро все вспыхнуло! Я приехал сюда через пять — семь минут после взрыва...— заговорил Цах.

— Завидная оперативность,— оборвал его Релинк, направляясь к стоявшей поодаль машине...

«Хотелось бы, чтобы этот год ушел вместе с неприятностями, которые он принес Германии и мне лично,— записал Релинк в своем дневнике 31 декабря 1941 года.— В том, что случилось под Москвой, пусть разбираются господа генералы. Эта неприятная история чисто военная. Мне надо разобраться в своих неприятностях, и это совсем-совсем другое дело, ибо моя война развертывается на другом фронте...»

Релинк не понимал, что фронт советских людей против лютого врага их Родины был единым, он простирался по всей стране и линию этого фронта невозможно было изобразить на военной карте.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ОНИ ВСТУПАЮТ В БОЙ

ГЛАВА 23

Одновременно две жизни были у Шрагина,— каждая требовала предельного напряжения физических и душевных сил, и неизвестно, которая была важнее,— обе были слиты воедино и зависели одна от другой. Разведывательно-диверсионная деятельность его группы становилась все сложней и рискованней. А для того чтобы спокойно руководить этой работой, он должен на заводе и дома быть всегда уверенным в прочности своего легального положения. Но обе жизни непрерывно вели его к новым трудностям и опасностям.

Являясь теперь приближенным к адмиралу Бодеккеру человеком, он был на виду у всех. Каждый его шаг контролировался не одним десятком глаз, и если бы он не выполнял свои обязанности сверхдобросовестно, это было бы сразу замечено и вызвало бы подозрение. Но Шрагин был настолько точен в исполнении каждого адмиральского поручения, что его побаивались даже иные немецкие инженеры. Сам адмирал проникался к нему все большим доверием, и не только в вопросах техники.

Зато среди рабочих Шрагину уже давно была присвоена кличка «Немецкая овчарка», и он то и дело перехватывал их злобные взгляды. Шрагин подумал как-то, что получить нож в спину от своих было бы самой чудовищной несправедливостью судьбы. Так или иначе, но он должен был остерегаться и этого.

В канун рождества адмирал вызвал к себе Шрагина и вручил ему рождественский подарок — конверт с денежной премией. Пожелав ему весело провести рождественские вакации, адмирал в ответ на благодарность Шрагина вдруг сказал:

— Если на рождество к вам придет Релинк, я бы просил вас не распространяться об этой премии.

Шрагин почтительно и чуть удивленно смотрел на адмирала, ожидая объяснения. Адмирал молчал. Подождав еще, Шрагин положил конверт на стол:

— Я не имею права получать вознаграждение, если кто-то против этого. И я не хочу подводить вас, господин адмирал.

На глянцевых щеках адмирала проступили розовые пятна, и он начал хрюкать, как это делал всегда, когда злился.

— Там всеми недовольны, и мной в том числе,— невнятно пробормотал он.

— Но избави бог, чтобы они были недовольны мной!— сказал Шрагин.

— Ну вот что. Мы с вами люди техники, люди дела, а не болтовни,— сердито сказал адмирал.— То, что я скажу вам, надеюсь, останется между нами.

Шрагин молча кивнул.

— Так вот,— адмирал нервно провел рукой по седому ежику волос.— Как-то на совещании у командующего я встретился с Релинком, и он сказал мне, что познакомился с вами в вашем доме и что вы представляете собой экземпляр очень любопытного и, может быть, весьма полезного русского, но тут же посоветовал не торопиться доверять вам. Вот и все.

Адмирал сказал не все. Релинк сообщил ему тогда еще и о том, что он поручает своим людям последить за этим русским, и обещал сообщить о результатах проверки. Но Шрагину было достаточно и того, что он услышал: у Релинка он вызвал опасное любопытство...

— Спасибо, господин адмирал,— сказал Шрагин и взял конверт.— Я не скажу о премии никому, даже дома. Но я еще раз искренне говорю вам: если эта премия хотя бы на кончик ногтя создает какие-нибудь осложнения для вас, я не хочу ее получать.

— Оставим этот неприятный разговор,— перебил его адмирал.— Если бы все нормальные люди стали относиться друг к другу по рекомендации СД, мир превратился бы в сумасшедший дом.— Он уставился на Шрагина своими прищуренными светло-карими глазами, в которых поблескивала злость.

Шрагин промолчал, с бесстрастным лицом выдерживая взгляд адмирала, и спросил:

— Может, вы зайдете к нам в рождественские дни? Мы были бы очень рады.

— Благодарю вас,— сказал адмирал отрывисто и с интонацией, дающей понять, что разговор окончен. Но когда Шрагин встал, добавил: — Я не хотел бы оказаться в обществе тех господ... Но, возможно, зайду, тоска по дому может оказаться сильнее...

Адмирал не пришел. Тоска по дому не оказалась сильнее осторожности. Но не было и Релинка с генералом Штроммом. Ге-

нерал улетел на рождество в Германию, а Релинк был, видимо, очень занят. Ведь как раз под самое рождество он получил неприятные подарки от группы Шрагина и подполья...

Последний разговор с адмиралом еще больше сблизил с ним Шрагина, но это потребовало от него еще большей осторожности. Ведь глаза и уши Релинка могли оказаться всюду.

В конце января адмирал Бодеккер сам напросился в гости к Шрагину и при этом сказал смеясь:

— Теперь это не опасно. Релинк сказал мне на днях, что вы, очевидно, белая ворона, характерная только для инженерной публики, предпочитающей воротить морду от политики. Последнее относилось уже и ко мне...

Адмирал пришел в гости на другой день. После домашнего ужина Эмма Густавовна — она не считала адмирала своим гостем — извинилась и ушла спать. Кофе готовила уже Лиля, но и она скоро ушла. И все, что услышал Шрагин в этот вечер, стало важнейшим его радиодонесением в Москву...

Уже за кофе, после того как Лиля по просьбе адмирала сыграла два любимых им этюда Шопена и вернулась к столу, адмирал долго и сумрачно молчал. И вдруг сказал:

— Какой прекрасной могла бы быть жизнь человечества!..— Он не окончил мысль и будто без всякой связи с ней продолжал: — Всемирное могущество Англии в течение целого века было в ее морском флоте. И она прекрасно пользовалась им без тотальных войн. А когда великие страны влезали в большие войны, ничего хорошего из этого не получалось. Но мы догнали Англию, и наш флот стал достаточно сильным, чтобы бросить перчатку дряхлеющей владычице морей и колоний. Мы — государство омоложенное, это наше неоспоримое преимущество. Представьте себе, господин Шрагин, что могло быть? Локальная морская война, и мы получаем не только свои прежние колонии, но и английские. Вот где наиболее верный путь к мировому господству Германии. Причем путь этот не стал бы кровавой дорогой для нашего народа. И не только для нашего. А для всего цивилизованного мира такая наша победа выглядела бы как нечто закономерное. Этот мир, может быть, и огорчился, но он не был бы раздражен, как теперь. Понимаете?

— А Америка?— спросил Шрагин.

— А боссы Америки люди деловые,— охотно отвечал адмирал,— с ними всегда можно договориться на обоюдовыгодных началах. Но увы... Во главе нашего флота появилась плеяда скороспелых гениев, которым было не по силам взять на себя такую историческую ответственность.

Так начался этот интереснейший для Шрагина разговор, из которого он узнал о дальнейшем расслоении командного состава гитлеровского военно-морского флота, узнал имена морских военачальников старой школы, стоящих в почти открытой оппозиции к военной доктрине Гитлера.

Позже адмирал заговорил о ходе военных действий. Больше всего его тревожило распыление морских сил по многочисленным театрам войны, из-за которого немецкий флот бессилен даже сорвать морские поставки союзников России. Теперь вступает в дело американский флот, и это еще больше ухудшит положение. И если не удастся вывести из войны Америку, немецкий флот будет полностью лишен возможности сыграть в этой нелегкой войне сколько-нибудь значительную роль...

Было видно, что адмирал много и тревожно думал обо всем этом и сейчас ему, лишенному здесь своего круга людей, просто захотелось высказаться перед умным человеком, которому он доверял, а главное, не был немцем с ушами из гестапо.

— Вот и здесь, на Черном море,— говорил адмирал,— наш флот своей задачи не выполняет. Русские продолжают удерживать очень важные базы, и мы несем потери. А пополнения сил нет. Наш завод продолжает находиться на уровне ремонтной базы средних возможностей. А какие были роскошные планы и для этого театра войны! Вот вам еще один, и уже совершенно реальный, результат распыления нашего флота. Да, если нашим сухопутным войскам не удастся форсировать Кавказские горы, я ни за что не поручусь на этом плацдарме войны.

— И все-таки Кавказ — это частность,— осторожно вставил Шрагин.

— Целое складывается из частностей,— мгновенно парировал адмирал.

— Мне кажется, что такой вождь, как Адольф Гитлер, найдет выход из любой ситуации,— спокойно и уверенно возразил Шрагин.

Адмирал мельком глянул на Шрагина и красноречиво промолчал...

Они говорили до двух часов ночи, и, когда адмирал ушел, Шрагин, не откладывая, начал зашифровывать донесение обо всем, что сегодня услышал.

Шли дни, и каждый приносил разведчикам новые опасности.

Украинские националисты начали в открытую работать на гитлеровцев. В городе появился будто бы созданный на выборных началах «Комитет по украинско-германскому сближению», во главе которого стал все тот же Савченко. Комитет получил в свое распоряжение целый дом возле городского собора, и там уже действовала его канцелярия.

Через этих украинских националистов СД протянула свои щупальца в глубь города. Около трех десятков комитетчиков надели формы полицаев, а при себе Савченко создал так называемый «боевой актив комитета», в который вошло с полсотни вооруженных головорезов.

Так возникла новая и очень большая опасность. Специально по этому вопросу Шрагин встретился на квартире у Федорчука с представителями подполья и с Демьяновым, который продолжал разведку националистической организации.

Демьянов по-прежнему считал, что реально опасными были не больше ста националистов, остальные же «украинцы» обмануты пропагандой или связались с комитетом в расчете получить от этого какие-нибудь жизненные блага. Таким, по его мнению, достаточно было разъяснить истинное положение вещей, и они разбегутся.

— Кто будет разъяснять?— спросил Шрагин.

— Как кто?— удивился Демьянов.— Все мы... подпольщики.

— Это означало бы всех поставить под удар. Это равносильно выходу из конспиративного положения. Я категорически против.

Представитель подполья Бердниченко сказал, разделяя слова:

— Я... тоже... против.

Шрагин был согласен с Демьяновым: конечно, большинство «украинцев» обмануты комитетчиками, но вести среди них разъяснительную работу нельзя — первый же «идейный» националист передаст разъяснителей в лапы гестапо. Значит, к решению задачи следует подойти совсем с другой стороны.

— Надо обезглавить комитет,— предложил Шрагин.— Устранить главных обманщиков.

— Уберем Савченко, появится другой,— возразил Демьянов.

— Ликвидируем все их руководство,— сказал Шрагин.— Это отрезвит остальных.

Стали обсуждать план операции. Демьянов сообщил, что одной из баз комитетчиков является так называемая автокефальная церковь, а поп этой церкви, по совместительству казначей и делопроизводитель комитета, подыскивает себе дьякона.

— Мы просто обязаны устроить на это место своего человека,— сказал Шрагин.— Другого шанса у нас пока нет, а ждать нельзя.

Уже на следующий день Харченко и другие участники группы получили приказ искать подходящего человека на должность дьякона...

К старикам, у которых жил Харченко, изредка заходил случайно оставшийся в городе инженер-электрик Владимир Петрович Величко. Он был в каком-то дальнем родстве со стариками. Харченко не раз с ним разговаривал и имел возможность убедиться, что человек он хороший, но словно потерял себя, опустился и безвольно смирился со своей судьбой. Сейчас он работал сторожем на рынке. Он рассказывал Харченко, что до войны участвовал в художественной самодеятельности.

Харченко вспомнил про это и решил не ждать, пока Величко сам придет в гости к его старикам. Под вечер он отправился на рынок.

Снег на опустевшей площади рынка после толкучки был грязный. Ветер кружил обрывки бумаги, гудел в пустых ларьках, как в морских раковинах. Харченко болтался по рынку, пока откуда-то из щели между двумя ларьками не послышался густой бас:

— Эй, тебе чего здесь надо?

Они поздоровались и сели на бревно в проходе между ларьками.

— С чего это вас сюда принесло?— Величко был страшно удивлен.

— Дело есть. Хочу узнать, почему вы не сказали мне, что являетесь членом партии,— без лишних предисловий начал Харченко.

— А зачем? Не надо... не надо...— пробормотал Величко, опуская голову.

— Что значит не надо? Небось, вступая в партию, клялись ей в верности, а когда запахло паленым — в кусты?— Харченко только предполагал, что Величко коммунист. И не ошибся...

— Да я и в помыслах против партии шага не сделал,— тихо сказал Величко.

— Против — да. А что вы сделали за? Может, вы решили, что партия уже вроде ликвидирована? Скажете, где она, мол, эта партия, да? А она здесь и поручает мне узнать, не забыл ли коммунист Величко свои клятвы. Что ей ответить?

— Ничего я не забыл,— прогудел Величко.

— Тогда в воскресенье утром приходите ко мне и приготовьтесь — придется вам работать, как положено члену нашей партии...

В воскресенье Величко пришел. Впервые Харченко увидел его чисто выбритым и обнаружил, что ему лет тридцать, не больше. Они вошли в холодную пристройку и, усевшись там на ящиках, заговорили о деле.

— Лучше дайте мне какое-нибудь самое тяжелое задание, только не это,— умолял Величко, когда узнал, что ему предстоит делать.

Но когда Харченко рассказал ему всю ситуацию с украинским комитетом, Величко перестал возражать.

— Давно бы так. Только ваше согласие — еще не все. Вас на этот пост будут утверждать, можете еще и не пройти,— сказал Харченко.

— Кто же это будет утверждать?

— Считайте, что горком партии, а может, и повыше.

Величко написал очень подробную автобиографию и заявление о желании работать в церкви... на благо Родины. Поручились за него старики Колесниковы, у которых жил Харченко. Шрагин приказал Харченко разузнать, что можно, о Величко там, где он жил. Пока шла эта проверка, несколько подпольщиков, дивясь этому поручению, добывали у местных стариков «учебные пособия» — Евангелие, молитвенники. Сам Величко раздобыл где-то бесценное пособие — описание церковных служб.

Так в городе появился новый дьякон — воин подполья Владимир Петрович Величко.

ГЛАВА 24

Релинк начал день в прескверном настроении. Накануне его огорчил неприятный телефонный разговор с Берлином. Позвонил Отто Олендорф. Бегло справившись о здоровье, он обратил внимание Релинка на то, что работа СД и подрывная деятельность красного подполья идут как бы сами по себе, параллельно и не соприкасаясь.

— В ваших информационных донесениях мы читаем о весьма неприятных происшествиях,— говорил Олендорф.— А в оперативных материалах никакой связи с этими происшествиями. Создается впечатление, что вы ловите кого попало...

Ничего резонного ответить на это Релинк не мог.

Утренний доклад оперативного дежурного Иохима Варзера тоже не принес ничего нового и тем более значительного.

— Служба связи опять утверждает, что в городе работал не нашим шифром чей-то передатчик,— добавил Варзер, закончив доклад.

— Пусть найдут передатчик и тогда докладывают!— разозлился Релинк.

Оставшись в кабинете один, он уставился на лежащий под стеклом «для памяти» перечень городских происшествий. Их накопилось уже немало:

Уничтожение автобазы в городском саду. 38 убитых.

Уничтожение склада амуниции.

Уничтожение склада автопокрышек.

Четыре выведенных из строя паровоза.

Два железнодорожных состава, подорванных на минах.

Отравление продукции на макаронной фабрике, работающей для армии. Пять смертных случаев.

На судостроительном: потопление плавучего крана и мина в трюме сторожевика.

Прокламации: о праздновании Октября, об отступлении немецкой армии под Москвой, об акциях против евреев, призыв к саботажу и отказу ехать в Германию.

Каждое утро, садясь за стол, Релинк пробегал глазами этот перечень, и потом, когда он вел допросы, список все время оставался перед ним. Он старался так направлять допрос, чтобы арестованный вольно или невольно вдруг зацепился за какое-нибудь дело из его списка.

Но происходило действительно нечто странное и тревожное — в расставленные им сети попадало немало людей, тюрьма была все время переполнена, многие арестованные были уличены или даже сами сознались в действиях, враждебных Германии, но ни от одного из них не протянулась хотя бы паутинная ниточка к происшествиям из списка. Можно было подумать, что люди, попадавшие в сети СД, делали то умышленно, и только для того, чтобы отвлечь внимание на себя от более крупных фигур. Поверить в это Релинк не мог. Он уже отказался от предположения, что все крупные про-

исшествия — дело рук одной и той же небольшой группы фанатиков, но одновременно он не хотел допустить мысли, что против него находится столь многочисленная и хорошо оснащенная организация.

И все же между прошедшими через его руки арестованными и теми безвестными и более опасными какая-то неясная Релинку связь все же чувствовалась.

Релинк был по-своему умный и умелый работник СД. Его работа в Париже и Голландии была замечена и вознаграждена высшим руководством. И сюда его послали, учитывая перспективность советского юга в исторических планах фюрера. Он гордился, что попал на такой важный участок фронта, и собирался оправдать это доверие. Правда, последнее время Берлин уже не напоминал ему об особой важности южного плацдарма, и можно было подумать, что этой важности больше не существует. Но сейчас его огорчало другое: он оказался не в состоянии понять природу и психологию своего нового противника. А он знал, что успех борьбы начинается с этого.

Хорошо бы поговорить обо всем этом с умным человеком, имеющим больший, чем у него, опыт общения с советскими людьми, но Релинк просто не знал такого человека. Впрочем, нет, один такой человек есть — лидер украинских националистов Савченко. Уже при первой встрече с ним Релинк понял, что имеет дело если не с умным, то по крайней мере с очень хитрым человеком. Но Релинк не мог откровенно выложить перед ним свои сомнения и свое непонимание. Кроме того, с этими украинскими деятелями вообще велась какая-то сложная игра. То их категорически отвергали, а то требовали всячески приблизить их к себе, оказывать всяческую поддержку. Но три дня назад Берлин приказал разъяснить местным украинским лидерам, причем в самой резкой и категорической форме, что на оккупированной территории Украины Германия — это и единственная власть и единственная политика. Как раз по этому поводу сегодня Релинк и должен встретиться с Савченко...

На конспиративную квартиру, специально отведенную для их встреч, Савченко явился точно в назначенное время. Релинк знал привычку своего украинского партнера являться минута в минуту и уже ждал его.

— Ну, как дела, господин Савченко?— безмятежно спросил Релинк.

— Неважны, если вас интересует только то, что интересует всегда,— сухо ответил Савченко.— Хотя мои люди, можете мне поверить, делают все, чтобы найти мерзавцев.

— Да ну их к черту!— воскликнул Релинк и пригласил Савченко в другую комнату. Пройдя туда впереди Релинка и увидев накрытый стол, Савченко удивленно оглянулся.

— Проходите, проходите,— взял его Релинк за плечи.— Не можем же мы всю свою жизнь свести к борьбе с мерзавцами, ког-

да-нибудь надо вспомнить и о том, что мы тоже люди и не прочь пополоскать горло хорошим вином.

— К сожалению, я совершенно не пью.

— И со мной? И за наше боевое сотрудничество? — спрашивал Релинк, деликатно подталкивая Савченко к столу.

— Только чисто символически,— согласился, наконец, Савченко.

Релинк думал, что Савченко просто куражится и что его символика окончится тем, что он вылакает коньяк. Но он ошибся. Савченко только раз пригубил рюмку и затем демонстративно отставил ее на середину стола.

Релинк оказался в невыгодном положении,— он должен был пить один, иначе Савченко мог подумать, что коньяк был приготовлен специально для него.

Выпив первую рюмку и не торопясь наливать вторую, Релинк спросил:

— Вы не пробовали анализировать причины, по которым ваши люди не в силах оказать нам существенную помощь в поимке бандитов?

— Тут глубокий анализ и не требуется,— невозмутимо ответил Савченко.— Причина одна и для моих и для ваших людей. Мы имеем дело с умным и умелым врагом. А потом, прятаться всегда легче, чем искать, я знаю это еще по детским играм,— тонко улыбнулся он. — Случилось что-нибудь еще?

— А вам мало?— спросил в ответ Релинк, скрывая раздражение.— Вы мне не раз говорили, что ваша организация представляет абсолютно все слои населения. Я начинаю в этом сомневаться.

Савченко долго не отвечал, жевал виноград, аккуратно выплевывая косточки в ладонь.

— Ну?— совсем не миролюбиво поторопил его Релинк.

— Хорошо.— Савченко ссыпал косточки в пепельницу.— Вы просили меня быть откровенным. Скажу, что думаю... С одной стороны, вы здесь никому не верите, даже нам. А с другой стороны...— не дождавшись возражения, продолжал Савченко,— вы имеете дело с паршивым стадом и стараетесь во что бы то ни стало найти в нем самую шелудивую овцу. Неужели вы надеетесь, что, если вы ее найдете, стадо сразу перестанет быть паршивым? Чепуха! Вы же демонстрируете понимание еврейской проблемы и решаете ее радикально, раз и навсегда. Вы, может быть, думаете, что русские для вас меньшая опасность? Да пока хотя бы меньше половины русских живы, вы не можете говорить ни о какой своей победе на этой земле...— Савченко остановился, подождал немного, смотря на Релинка хитрым, все понимающим взглядом, и продолжал:— Мы создали здесь свой комитет. При мне есть боевой актив. Вместо того чтобы использовать наши силы для тотальной борьбы с коммунистами, вы играете с нами в кошки-мышки и ждете, когда мы приведем вам за шиворот главного коммуниста...

А теперь давайте-ка вернемся к нашим баранам. Что вы от меня хотите?

— Большей помощи.

— Я делаю все, что в моих силах.

— Когда речь идет о ваших сугубо украинских целях,— добавил Релинк.— Но пока, подчеркиваю, пока за порядок здесь отвечаем мы. Никакой другой власти, никаких других целей и интересов здесь нет и не предвидится. Мы не будем невежливы, если заметим, что кто-то, прикрываясь болтовней о верности нам и пользуясь ею как щитом, будет заниматься мелким политиканством. Мы здесь единственная политика!..

Савченко понял, что Релинк не шутит и, по-видимому, он имеет на этот счет приказ начальства, иначе он не позволил бы себе все это сообщить. Считая за лучшее скорее закончить беседу, Савченко сказал:

— Я думаю, что у нас состоялся хороший и полезный разговор...

Релинк не дал ему договорить:

— Он будет считаться хорошим и полезным только в том случае, если после него вы и ваши люди оставите до лучших времен игру в будущее украинское государство и уже сегодня употребите все свои силы на помощь нам. Только через это лежит ваш путь к тем целям, которые вы перед собой ставите, увы, пока еще преждевременно...

— Я хорошо понял вас, господин Релинк,— сказал Савченко, вставая.— Не думайте, что мы не понимаем, с какими трудностями вы столкнулись в этой стране. Но, наверное, иногда мы, украинцы, сами того не замечая, начинаем подчиняться простой истине, что своя рубашка ближе к телу. Словом, я обещаю вам максимальную помощь, максимальную.

— Посмотрим,— угрюмо обронил Релинк...

ГЛАВА 25

Боевой актив комитета Савченко поступил в полное распоряжение СД. Его люди принимали участие в расстрелах, стали самыми беспощадными палачами в тюрьме и в созданном возле города концентрационном лагере. Члены организации, каждый по месту своей работы, стали верными ищейками гестапо.

В типографии, где работал грузчиком Алексей Ястребов, метранпажем был активист украинского комитета Михаил Кузьмич Кулешов, пожилой степенный человек, пользовавшийся всеобщей симпатией. Было ему лет шестьдесят. Седой как лунь, но еще довольно крепкий, он сумел подружиться не только с пожилыми, но и с молодыми рабочими типографии. О том, что он «украинский

комитетчик» и платный агент СД, никто не знал. Его авторитет в маленьком коллективе типографии особенно вырос, когда он однажды открыто вступился за наборщика Киреева, которого заподозрили в краже бумаги.

Сразу после появления в городе листовок, отпечатанных типографским шрифтом, гестаповцы организовали тщательное наблюдение за типографией. Подпольщики, которые держали связь с наборщиком Глушковым, понимали, что гестапо займется типографией, и на время оборвали цепочку связи. Беда была в том, что еще осенью первым с ним установил связь Ястребов, потом он передал эту связь подпольщикам. Глушков помнил, конечно, что все началось с Ястребова, и упорно называл его «крестным». Типографские рабочие интересовались, почему он так называет грузчика. Он объяснял это страшно неуклюже... А теперь Глушков недоумевал, почему подпольщики оборвали с ним связь, и чуть не каждый день спрашивал у Ястребова: «Чего же они больше не показываются?» Тот отвечал: «Не знаю»,— и каждый раз втолковывал ему, что он к тем людям не имеет никакого отношения. Глушков был человеком хорошим, преданным, но, к сожалению, очень плохо разбирался во всех тонкостях конспирации.

А Кулешов между тем уже давно обратил внимание, что между наборщиком Глушковым и грузчиком Ястребовым существует какая-то связь, а не просто знакомство, тем более что по работе они никак не были связаны. Он внимательно наблюдал за ними, но долго ничего особенного заметить не мог. А когда Савченко потребовал от своих людей большей активности в поиске красных и пообещал за это большую награду, Кулешов решил свои неясные подозрения выдать за уверенность в том, что шрифты из типографии выносил наборщик Глушков и грузчик Ястребов.

Они были арестованы, и Глушков, не выдержав пыток, сознался, что крал шрифты для подпольщиков. Однако никого из тех, кому он эти шрифты передавал, он не знал и назвать их не мог. Но он сказал, что связал его с подпольщиками грузчик Ястребов.

Что после этого досталось на долю Алексея Ястребова, можно только предполагать и преклониться перед его мужеством: он никого не выдал.

Когда Ястребов был взят, Шрагин объявил по группе состояние тревоги и приказал прекратить на время всякую деятельность...

В эти две тревожные недели, пока стало известно, что Ястребов и наборщик Глушков казнены, продолжал работать только Владимир Величко. «Внедрение» его в церковь прошло успешно. Величко быстро сошелся с таким же липовым, как он, попом Савелием, и тот свалил на него не только все церковные дела, но и заставил переписывать начисто и подшивать в папки финансовую отчетность комитета националистов. Здесь Величко узнал о том, что метранпажу типографии Кулешову по распоряжению СД была выдана крупная денежная премия. Все стало ясно...

В субботу после вечерни «отец» Савелий сказал Величко, что завтра утренняя служба отменяется, в церкви будет собрание украинского актива и им обоим придется вести регистрацию присутствующих на собрании.

— У входа поставим стол, и чтобы ни один не выпал из списка,— приказал «отец» Савелий.

— А чего строгость такая?— наивно полюбопытствовал Величко.

— Чего, чего?— оскалился «отец» Савелий.— К восьми утра будь тут, и весь разговор!

— Быть так быть,— обиженно отозвался Величко и вздохнул.— Хотелось в воскресный день выпить спокойно — и вот на тебе.

Величко знал, чем заинтересовать «отца» Савелия. Услышав про выпивку, поп оживился:

— А что у тебя есть?

— Слеза божья,— печально ответил Величко.

— Врешь!

— Девяносто градусов, как в аптеке.

— А если мы сегодня на двоих примем?

— И оба завтра будем спать на регистрации?— все еще обиженно и даже сердито говорил Величко.

— Дети мы, что ли?— настаивал «отец» Савелий.— Ну ладно, ты, Петрович, чего дуешься? Валяй-ка за своей «слезой», а я — домой, распоряжусь насчет достойной закуски. Лады?

Величко посопротивлялся немного и пошел за спиртом. Всю жизнь не терпевший спиртного, он с отвращением, почти с ужасом думал о предстоящей выпивке. Но ничего не поделаешь — приказ есть приказ, Шрагин требовал ускоренной разведки всех дел главарей националистической банды...

Все в доме «отца» Савелия, в том числе и сам дом, было присвоено этим мерзавцем. Даже его сожительница — разбитная горластая бабенка — была домработницей у прежних хозяев дома. И он был убежден, что все это он взял по полному праву человека, которому советская власть, или, как он выражался, совдепы, не давала жизненного хода.

— Ты не представляешь, как тихонечко я жил,— рассказывал он Величко.— Первого мая кто первый приходил на сборный пункт с во таким бантом на груди? Я приходил. Кто на всех собраниях был всегда «за» и никогда «против»? Я был. А пожить-то хотелось не так. Да, не так. Один раз попробовал урвать у совдепов кусочек. Так поймали, за решетку сунули, мерзавцы. Годы жизни в помойку пошли. И я ждал, ждал. Было у меня предчувствие. И вот пришло, да, пришло мое времечко. В этом домике проживал зубной доктор. Дом — полная чаша, будь здоров. Вот это все, что на столе,— еще его запасики, да, его. Ну и как только немцы начали еврейскую нацию ликвидировать, я тут как тут... И на церковь я, брат, тоже заранее нацелился. И тут тоже все вышло как по писаному, да, как по писаному. Прежний поп — деру, а я тут как тут.

Но, по правде тебе сказать, в церкви я обманулся — доход тут мышиный, а хлопот — лошадь не вывезет. Это ж прямо счастье, что ты объявился. Но главное, мне счастье привалило только за то, что по паспорту я украинец. А то забыл о том и думать — и вдруг на́ тебе, пригодилось, и еще как! Господин Савченко всем нам ба-альшую дорогу открывает. Да, ба-альшую...

После первого же стакана спирта «отца» Савелия потянуло на политику.

— Хорошо бы немцы всю землю под себя подмяли,— разглагольствовал он.— Чтобы вокруг куда ни глянь — одна власть, один порядок и повсюду тебе почтение и жизнь в свое удовольствие. А ведь к тому, Петрович, идет, да, идет.

— Похоже,— согласился Величко.

— Похоже, похоже,— передразнил «отец» Савелий.— Даже наш Савченко пластинку меняет, почуял, куда ветер лозинку гнет, да, почуял.

— Про что это ты?— спросил Величко.

— Да, меняет пластинку господин Савченко,— говорил вконец разошедшийся от выпитого спирта «отец» Савелий.— Я кто? Я всего-навсего поп и всего только секретарь-казначей при комитете. А и я стал тревожиться, когда наш вождь заладил трубить про самостийную Украину. Какая, я думаю, самостийная? А куда немцы денутся? Или они ни при чем? Нет, думаю, не туда он мушку наводит, да, не туда. И я будто в воду глядел. Не прошло и недели, и господин Савченко мушку крутит совсем в другую сторону. Все — на помощь немцам, все. И завтрашнее собрание для того же: все — ловить красных и розовых. Вот то дило!

Они выпили еще, и «отец» Савелий вдруг мечтательно сказал:

— Вот бы поймать какого красного гуся, да чтобы покрупнее. Большие деньги сулит за это Савченко, да, большие. Везет же людям! Завтра на собрании будут давать премии тем, кто отличился. Кто евреями занимался, тем по десять тысяч отваливают.

— Рублей?— не поверил Величко.

— Каких рублей?— заорал опьяневший «отец» Савелий.— Марок! И не этих сортирных, а тех, настоящих! Шутка!

— Откуда в твоей казне марки?

— Откуда, откуда...— «Отец» Савелий хитро прищурился.— Дурила, немцы третьего дня сто тысяч отвалили комитету, да, сто тысяч. Подумать только!

— И завтрашнее собрание только для раздачи денег и созывают?

— Деньги — в разном, а главное — Савченко речь держать будет, а потом голосованием будет утверждаться состав комитета, чтобы полные права ему были...

Как только бутылка спирта иссякла, «отец» Савелий потерял всякий интерес к беседе и начал голосисто зевать, похлопывая ладонью по растянутому беззубому рту. Он сразу захотел спать...

Пока информация Величко о предстоящем собрании националистов прошла по цепочке связи, прошло три дня, и предложение

Величко сунуть взрывчатку в церковь во время собрания осталось невыполненным. Впрочем, Шрагин об этом и не сожалел. Он продолжал считать, что удар нужно наносить по головке банды.

Сразу после собрания Величко узнал, что Савченко на среду назначил первое заседание избранного комитета. Соберутся к восьми часам вечера на его квартире. Лучшего случая ждать было нельзя. Величко немедленно сообщил об этом Харченко, а тот по «молнии» вызвал связного Григоренко...

Два дня и две ночи Федорчук и Демьянов вели разведку дома, где жил Савченко. С начала января он жил уже в центре города. Величко предупредил, что при Савченко неотступно находится его личный охранник — парень богатырского роста, который носил морской китель поверх украинской вышитой рубашки со шнурочками на шее. Вход в квартиру был со двора, в котором находился какой-то военный склад, круглые сутки охранявшийся часовыми.

Почти до трех часов ночи под среду на квартире Федорчука разрабатывался ход операции. За столом, озаренным тусклым светом коптилки, сидели Шрагин, Федорчук, Демьянов и Ковалев.

План, предложенный руководителем операции Демьяновым, был очень простой, но в его простоте и таилась главная опасность. Если все сойдет гладко, операция займет не больше пяти минут. Но Шрагина волновало все, что входило в это «если». Он видел, что в любую минуту из тех пяти гладкий ход операции может быть нарушен, и необходимо предусмотреть любой поворот событий. Он неутомимо задавал вопросы-загадки участникам операции Демьянову, Федорчуку и Ковалеву.

— А если часовой успеет объявить тревогу, что тогда?

— Не успеет и пикнуть,— отвечал Демьянов, который по плану операции должен был заняться часовым.

— Ну, а если все же он пикнет?

Предусматривалось и это.

— А если кто-нибудь из бандитов опоздает на заседание и появится во дворе в момент операции?..

— А если не удастся быстро взломать ставни и бандиты успеют воспользоваться оружием?..

— А если кто-нибудь из вас пострадает от взрыва?

— А если в момент взрыва случайно на улице окажется военный патруль?

После каждого «если» наступало молчание — все думали.

На эти шрагинские «если» и ушли часы, и работа их была похожа на коллективное решение алгебраической задачи с бесконечным количеством неизвестных. Но ни у кого и мысли не было обидеться на придирчивость Шрагина, все понимали: он хочет одного — чтобы операция прошла успешно и без потерь.

В среду вечер, к счастью, был пасмурным, и уже к семи часам, когда в квартиру Савченко начали приходить члены комитета, двор, с трех сторон сжатый домами, погрузился в темноту. Кова-

леву стало труднее оставаться на улице: с приближением комендантского часа она совершенно обезлюдела, и всякая одинокая фигура привлекала внимание. Но и это «если» было предусмотрено: он укрылся в темном подъезде дома напротив заветных ворот и оттуда вел наблюдение.

Во двор уже прошло четырнадцать человек, а должно их быть семнадцать. Ковалев ждал этих опоздавших, но и после восьми больше никто не появлялся. Ровно в восемь произошла смена часового у склада.

Ковалев вышел из подъезда, завернул за угол. Здесь в тихом переулке на скамеечке сидели Демьянов и Федорчук.

— Уже четырнадцать,— тихо сказал им Ковалев, не останавливаясь.

Федорчук встал и пошел к цели. Выглядел он весьма респектабельно: черное пальто с барашковым воротником, шляпа, в руках пузатый портфель. Минуту спустя за ним двинулся Демьянов. Чуть позади — Ковалев. Теперь его задача — в случае чего броситься на помощь товарищам и прикрывать их отход. Если потребуется огнем — под пальто у него был подвешен тяжелый маузер.

С независимым, уверенным видом Федорчук прошел в глубь двора — часовой должен думать, что это еще один гость Савченко. Но, оказавшись там, где была дверь в квартиру, Федорчук метнулся за угол дома и присел за мусорным ящиком. Спустя минуту часовой увидел вошедшего во двор пьяного мужчину, который явно искал укромный уголок. Пьяный качался из стороны в сторону, но шел прямо на часового, как бы не видя его.

— Хальт!— негромко крикнул часовой.

— Что хальт, почему хальт?— бормотал пьяный и, остановившись в двух шагах от часового, повернулся к нему спиной и занялся вполне естественным делом.

— Ду, руссише швайн,— выругался часовой и сделал шаг к пьяному, замахнувшись прикладом автомата.

Стремительно повернувшись, Демьянов всадил нож в грудь часового и навалился на него всем телом. Тотчас Федорчук вышел из-за мусорного ящика и направился к закрытым ставнями окнам квартиры Савченко. Туда же подбежал и Демьянов. Он взял у Федорчука похожую на кирпич мину. Федорчук двумя своими мощными руками взялся за низ ставен и изо всей силы рванул их на себя. Замыкающий болт выдержал, но завесы с треском вырвались из стены и ставни отлетели в сторону. Демьянов широко размахнулся и бросил сквозь окно мину.

Грохот взрыва настиг их, когда они уже выбегали на улицу. От удара взрывной волны они не удержались на ногах. Улица была пустынна. Только Ковалев стоял у ворот. Все они спокойным, неторопливым шагом направились к перекрестку, а там в разные стороны и бегом...

В этот же вечер перестал существовать и метранпаж типографии Кулешов. Он шел домой и когда свернул в свой переулок, то

нос к носу столкнулся с каким-то прохожим — в последнюю секунду своей жизни предатель увидел перед собой Григоренко...

От взрыва мины не погибли только два человека: совершенно не пострадал прибывший на совещание из Львова представитель украинского центра Кривенко, и до утра прожил доставленный в госпиталь «отец» Савелий, которому оторвало обе ноги.

Релинк прибыл на место происшествия через час после взрыва. Никаких сомнений, что здесь совершена новая крупная диверсия, у него не было. Не сомневался в этом и начальник полиции СД Цах. Это ясно было всем, кто видел мертвого часового и развороченную квартиру Савченко.

Посоветовавшись с Цахом, Релинк громко обратился к окружавшим его людям:

— Все ясно, убегая из города, красные оставили здесь мину замедленного действия.

— Безусловно,— подтвердил Цах.

Внушив присутствующим эту версию, они сразу уехали.

На другой день утром к Релинку был доставлен уцелевший представитель украинского центра Кривенко. Вид у него был страшный: его лицо было все в синяках и беспрерывно подергивалось, нижняя челюсть отвисла, франтоватый костюм забрызган грязью.

— Что это за тайная вечеря была у вас?— с яростью начал Релинк.

— Мы... вырабатывали... мероприятия... лучшей помощи... оккупационным властям...— запинаясь, еле слышно отвечал Кривенко.

— Почему я ничего не знал о вашем приезде?

— Вас... должен был... информировать... Савченко.

— Кустари! Идиоты!— крикнул Релинк и, сжав зубы, выдавил:— Как это произошло?

— Мы... сидели... за столом... Савченко докладывал обстановку... затрещали ставни... разбили окно... Я вижу, летит кирпич... Успел свалиться под стол. Больше ничего... не помню...

— Почему Савченко не организовал охрану?

— Я как раз... тревожился. А Савченко сказал... во дворе часовой.

— Идиоты!— тихо, не разжимая губ, произнес Релинк.

Кривенко с трудом встал, но ноги его подкосились, и он рухнул на пол...

СД предприняла все, чтобы город не узнал об этом событии. Но спустя два дня подпольщики выпустили листовку, в которой сообщалось об уничтожении по приговору подпольного центра шайки предателей.

Ночью Релинк и Цах поехали в тюрьму. В кармане у Релинка был список из двадцати фамилий. Эти люди были ими приговорены к расстрелу. Выбор произвели очень просто: из каждой камеры по одному человеку. У Релинка было такое ощущение, что, если он не сделает этого, он просто не сможет ни работать, ни спокойно

спать. От предвкушения мести он испытывал почти радостное возбуждение. Да, он будет наблюдать расстрел каждого из этих двадцати и сам воспользуется пистолетом...

Вот краткая запись, сделанная Релинком в дневнике после возвращения из тюрьмы:

«Какое наслаждение видеть падающего врага! Нет, нет, они смертны, как все! Смертны! И убедиться в этом еще раз очень приятно и полезно...»

ГЛАВА 26

В солнечное зимнее утро, в такое солнечное, что невольно думалось о весне, Шрагин шел на завод в приподнятом, радостном настроении. Ночью Кирилл Мочалин передал в Москву его очередную шифровку о боевых делах группы и подполья. Сообщил о ликвидации главарей националистической банды, передал новые и важные разведывательные данные. Шрагин думал о том, что вот сейчас его шифровку читают в Москве. Представить себе какого-нибудь конкретного человека из той прежней своей жизни он не мог. «Москва читает», думалось ему. Москва знает, что он и его люди ведут борьбу и уже имеют первые успехи.

«А ты разве забыл?..» — вдруг спросил его незнакомый злой голос. Шрагин даже замедлил шаг: «Нет, нет, я не забыл! Но мне хочется сегодня смотреть вперед. Только вперед!»

И он энергично зашагал дальше.

Недалеко от завода увидел впереди двух мальчишек. Прячась, один — за афишную тумбу, другой — за столб, они обстреливали друг друга снежками. «Вот кому наплевать на все»,— подумал он и невольно улыбнулся, увидев, как мальчишка, высунувшийся из-за тумбы, схлопотал себе снежок прямо в лоб. С воинственным криком он ринулся на противника врукопашную. Они сцепились, упали и покатились по снегу. Шрагин смотрел на них и смеялся. Ребята вскочили, отбежали к воротам и оттуда настороженно и враждебно смотрели на него.

— Война, ребята?— подмигнул им Шрагин.

Они молчали, не сводя с него враждебных глазенок. Но как только Шрагин сделал несколько шагов, в спину ему хлопнул снежок и он услышал злобный выкрик:

— Шкура продажная!

Он оглянулся, ребят словно и не было. Шрагин опять рассмеялся — и это сегодня было его радостью. «Ну конечно,— думал он,— в занятом врагом городе идет и еще смеется человек в добротном кожаном пальто и беличьей шапке. Кто же он может быть, этот человек, если не продажная шкура? Молодцы ребята!» И вдруг он вспомнил своего сына: «Сколько же ему сейчас? Да, целых полгода! Наверное, уже сидит. Сиди, малек, сиди, спокойно жди своего батьку...» Перед взором Шрагина, как в ускоренном кино, промелькнула суета людей на московском вокзале, тревож-

ная толкотня садящихся в вагоны женщин, детей. Все остановилось. Теперь Шрагин видел только лицо Ольги, он помнил его таким, каким увидел в последний раз в окне вагона уже тронувшегося поезда. Она смотрела на него какими-то онемевшими глазами, прижимая к груди заснувшего сынишку. Сердце Шрагина сильно забилось, но он быстро взял себя в руки.

И снова тот злой голос: «А ты разве забыл?..» — «Да не забыл я! Не забыл!..» Сам того не замечая, Шрагин шел все быстрее и быстрее, точно хотел убежать от этого ненавистного голоса...

Служебный стол Шрагина стоял в приемной адмирала Бодеккера. Сидя за столом, он видел из окна причалы верфи, широкий просвет гавани и чуть правей и дальше панораму южной части города. Здесь же в приемной работал и адъютант Бодеккера, высокий, худощавый молодой человек Герман Пиц. Это был недоучившийся из-за войны инженер, он приходился дальним родственником адмиралу, и тот взял его в адъютанты, чтобы спасти от фронта. «Адмиральский шпиц»,— так звали его рабочие на заводе. Однажды адмирал сказал, что Пиц — его глаза. Это было сказано точно. Пока адмирал сидел в своем заводском кабинете, Пиц шнырял по заводу. Он ни во что не вмешивался, только смотрел и потом докладывал адмиралу о том, что видел. Когда Пиц работал в приемной, Шрагин был настороже, он знал, что адъютант его не любит, наверное, ревнует к адмиралу.

Пиц был уже на месте, рылся в бумагах. Сухо ответив на приветствие Шрагина, он ушел в кабинет адмирала.

Шрагин сел за стол и подвинул к себе «Журнал распоряжений». Но смотрел он в это время в окно. И как всегда, прежде всего увидел торчащее из воды плечо потопленного им осенью крана. Ему всегда было приятно видеть это мертвое плечо, оно казалось ему символом бессилия оккупантов заставить советский завод жить и работать для них. Да, бессилия, несмотря ни на что! Что же ты молчишь, злой голос?..

Когда Пиц вернулся, Шрагин раскрыл журнал и прочитал написанное самим Бодеккером распоряжение «проверить правильность оплаты труда рабочих, занятых на ремонте военных судов. Есть жалобы, что главный учетчик искусственно снижает оплату и делает это из каких-то корыстных побуждений»,— писал адмирал.

Шрагин поднял глаза и наткнулся на злорадный взгляд Пица. Застигнутый врасплох адъютант скривился в улыбке и сказал:

— Там у вас запись об оплате рабочих. Снижение оплаты обнаружил я. И я просил адмирала поручить проверку вам. Учетчик — ваш... советский...

Главным учетчиком работал тот самый Фомич, который в ожидании прихода немцев верховодил среди оставшихся сотрудников заводоуправления. Еще тогда у Шрагина появлялась мысль: не оставлен ли он для подпольной работы? Когда связь с подпольщиками был налажена, Шрагин справился о нем, но оказалось, что его никто в городе не оставлял.

Однажды Шрагин слышал разговор рабочих о том, что Фомич — за глаза они звали его «Шакалом» — завел знакомство с немецкими интендантами и скупает у них консервы. Но особую ненависть рабочих вызвало поведение Фомича на заводе. Перед немцами он пресмыкался, а со своими разговарил, как хозяйчик с батраками. «Эй, быдло, поворачивайся быстрее»,— было любимым его выражением. Около месяца назад рабочие заманили Фомича в заброшенный пакгауз и пытались там расправиться с ним, накинув ему на голову мешок. Он вырвался, но потом никому ничего не сказал. Шрагин узнал об этом случайно...

И вот теперь Фомича обвиняли в искусственном занижении оплаты труда рабочих. Было, однако, не ясно, что заставляет его так поступать — ведь он не мог присвоить разницу в оплате. Может, он таким способом срывал на рабочих свою злость? Так или иначе, все это надо было выяснить, и Шрагин отправился к Фомичу, занимавшему маленькую комнатку возле бухгалтерии. Того на месте не оказалось. В бухгалтерии сказали, что он пошел принимать какую-то работу.

Шрагин отправился на верфь, но Фомича и там нигде не было. Он остановился на минутку возле стапеля с мертвой громадой недостроенного корабля, а потом прошел к носу корабля и сел там на груду досок. В обступившей его тишине было слышно тоскливое подвывание ветра в лесах стапеля. И вдруг его охватила тревога. Он даже оглянулся вокруг. Хотя уже знал — нечего оглядываться, тревога родилась в нем самом, опять звучал внутри злой голос: а ты помнишь? У тревоги было имя — Алексей Ястребов, и она смотрела на него глазами Ястребова — серыми, с коричневыми крапинками вокруг зрачков. И Шрагин слышал его голос: «На эту работу без любви вряд ли так просто пойдешь...»

Страшную весть об этой первой потере принес Григоренко на очередную встречу, происходившую на кладбище.

— Ястребов погорел,— сказал он.— Позавчера его взяли прямо из типографии. Его и наборщика, который шрифт добывал.

— Это точно?

— К сожалению...

— Почему вы сообщаете мне только сегодня?— спросил Шрагин, сильно побледнев.

— У меня же вчера не было с вами встречи,— чуть обиженно ответил Григоренко.— Я человек дисциплинированный и подчиняюсь схеме.

— Но вы могли сами подать сигнал,— тихо сказал Шрагин.

Григоренко молчал, тревожно поглядывая на Шрагина,— таким он его никогда еще не видел.

— Объявите по всей группе состояние тревоги,— после долгой паузы сказал Шрагин.— Прекратить все на две недели.

— Вы думаете, он не выстоит?

— Такие, как он, не сдаются,— тихо произнес Шрагин.— Идите и выполняйте мой приказ. Связь со мной через десять дней...

Григоренко ушел, и Шрагин сразу пожалел, что отправил его. Сейчас ему, как никогда, нужен был рядом свой человек. А вокруг торчали молчаливые могильные кресты, и прямо перед Шрагиным на холмике лежала мраморная плита с надписью: «Мужу и другу, вечно любящая жена». Мелькнула мысль: была ли у Алексея Ястребова жена? Шрагин этого не знал. Ведь толком ему так и не удалось поговорить о жизни со своими товарищами. Шрагин вспомнил свой первый разговор с Ястребовым, и ему стало стыдно, что его встревожила тогда угрюмая молчаливость парня.

Потом они виделись всего два раза. Встречи были краткие, разговор только о деле — как быстрее добыть шрифт, где лучше его спрятать, как с жильем, с документами. Ястребов был все таким же: говорил обдуманно, ни одного лишнего слова. Во время последней встречи, когда Шрагин спросил у него, не стоит ли ему покинуть типографию, он сказал:

— Не стоит. Шрифт может понадобиться еще.

...Мысли Шрагина оборвал услышанный им глуховатый мужской голос, он звучал откуда-то снизу. Шрагин выглянул из-за досок и увидел двух мужчин, стоявших прямо под ним на нижней площадке стапеля. Они, наверно, вышли из трюма корабля. В одном из них Шрагин сразу узнал Фомича, другого он видел впервые.

— Ты же мне всю судьбу покалечил,— сказал незнакомый Шрагину мужчина.— Я мог спокойно уехать, а ты наплел: «Давай останемся, будем немцам хребты ломать...» Как ты ломаешь перед ними свой хребет, это я вижу. Так ты хоть передо мной не верти, скажи прямо, что решил пойти по другой дорожке, тогда я свою дорожку сам найду.

— Никакой другой дорожки, Костя, у меня нет,— ответил Фомич.— Я сам как в волчью яму влетел. Обещали, что придет ко мне для связи человек. Вот жду... А пока решил заручиться у немчуры доверием...— Он длинно, витиевато выругался.— Меня самого рвет, когда я со стороны на себя гляжу.

— Давай придумаем что-нибудь,— предложил незнакомец.— Ведь главное — не сидеть сложа руки.

— Что мы, Костя, с тобой можем придумать?— тоскливо спросил Фомич.— Я уже додумался. Пристрелю адмирала, а там будь что будет...

— Пойдем, я тебе кое-что покажу,— сказал незнакомец, и шаги их вскоре затихли.

Пораженный неожиданным открытием, Шрагин подождал немного и пошел к заводоуправлению. Еще утром он собирался расправиться с шакалом Фомичом руками немецкой администрации, а как поступить теперь, просто не знал...

Фомич, наверно, еще находился под впечатлением разговора с приятелем и на вопросы Шрагина давал весьма неосторожные ответы.

— Есть жалобы, что вы без всякого основания уменьшаете заработки рабочих,— сказал Шрагин, подчеркнув слова «без вся-

кого основания», как бы подсказывая ему необходимость придумать основание.

Лицо у Фомича покрылось красными пятнами, он с ненавистью смотрел на Шрагина и отвечать не торопился.

— Я экономлю не свои деньги, а немецкие,— произнес он наконец.

Отметив про себя, что Фомич выдвинул неплохой аргумент, который можно будет использовать в рапорте начальству, Шрагин сказал:

— Но озлобленные рабочие хуже работают, и это наносит ущерб, который может быть гораздо дороже вашей экономии. Кроме того, это наносит ущерб немецкой армии.

— А я в их армию не нанимался,— отрезал Фомич и продолжал в том же тоне:— И рабочие тоже. А если кто из них ждал, что получит здесь кисельные берега и молочные реки, пусть знает, что для этого им надо было идти в полицию.

— По меньшей мере странное заявление,— сказал Шрагин.— За подобные мысли вы можете понести серьезное наказание.

— Я же еще тогда, в первые дни, понял, что вы далеко пойдете, и просил вас — не топите, помните? Считаете, что пришло время топить?

— Послушайте, я не могу поддерживать такой странный разговор,— сказал Шрагин.— Мне поручено выяснить, чем вызвана искусственно заниженная оплата труда рабочих. Если вы говорите — экономия средств, это я понимаю. Но одновременно вы не понимаете свою ошибку.— Шрагин подбрасывал Фомичу возможность сослаться на то, что он чего-то недопонял. Тогда все могло сойти без особого скандала. Ну не понимал человек, что его экономия неразумна, а теперь понял и делать этого больше не будет. В крайнем случае можно будет предложить перевести Фомича на другую работу...

— Может быть, наших рабочих собираются бесплатно в санаторий отправлять?— с вызовом спросил Фомич.— Я же понимаю так: добровольно остался, значит, сдался в плен, а в плену коржиками не кормят.

— А вы сами разве не в таком же плену?— тихо спросил Шрагин.

Фомич молчал.

— А если вы тоже находитесь в плену,— продолжал Шрагин,— почему вы, в отличие от рабочих получая приличный оклад, занимаетесь еще аферами с немецкими интендантами?

Фомич снова промолчал. Шрагин обдумывал, что он скажет адмиралу по поводу этой истории.

— В общем, я вижу, что вы просто не поняли, что ваша экономия немецких денег неразумна,— примирительно сказал Шрагин.

— Допустим,— согласился Фомич.— И что из этого?

— Раз вы, наконец, поняли — значит, надо от этой позиции отказаться, вот и все.

Фомич молча покачал головой.

— Словом, если вы хотите, чтобы я выполнил вашу просьбу — не топить вас,— сказал Шрагин,— я должен услышать ваше признание в том, что вы не поняли вредности придуманной вами экономии. В конце концов мне не хочется, чтобы вы понесли слишком тяжелое наказание. Как-никак мы с вами в одинаковом положении.

— Положим, я в холуях при адмирале не состою,— отрезал Фомич.

— Холуи бывают разных рангов, и вам от этого звания тоже не отречься,— улыбнулся Шрагин.

— Может, и так, может, и так,— пробормотал Фомич, удивленно глянув на него.

— Значит, договорились?

— О чем?

— Давайте кончать эту сказку про белого бычка,— рассердился Шрагин, рассчитывая подавить Фомича логикой ситуации.— Если вы действительно хотите, чтобы я помог вам избежать тюрьмы, я могу это сделать только при одном условии: вы должны искренне сознаться, что не понимали абсурдности своей экономии, иначе вы попросту сознательно совершали диверсию. И именно так руководство завода склонно расценивать ваши действия.

— Говорите, что хотите,— устало произнес Фомич.

— То, что я скажу, это мое дело,— Шрагин встал и взялся за ручку двери.— Но если вызовут вас и вы скажете сами, что признаете свою ошибку...

В тот же день Фомич распоряжением адмирала Бодеккера был переведен на должность кладовщика. Шрагин срочно сообщил обо всей этой истории подпольщикам, и вскоре человек подполья, действовавший на заводе, установил связь с Фомичом.

ГЛАВА 27

То, что Эмма Густавовна буквально растворилась в новой своей жизни и сейчас трепетно ждала приезда в гости из Германии своего родственника, это можно было если не оправдать, то хотя бы понять. Так уж получилось, что вся ее жизнь в советское время прошла в стороне от тревог и радостей страны, а начало ее жизни прошло в атмосфере типично немецкого мещанства. И сейчас перед ней словно воскресло все из детства и юности.

Шрагин не мог понять Лилю, и это тревожило его все больше и больше. Между ними произошел разговор, которого он, по совести сказать, ждал, потому что замечал кое-что в отношении Лили к нему, но он не мог предположить, что разговор этот приведет к таким неприятным результатам.

Как-то вечером Лиля завела поначалу шутливый разговор об их, как она выразилась, юмористических личных отношениях.

— Я не вижу в этом юмора,— серьезно сказал Шрагин.— То, что нас с вами считают мужем и женой, в данном положении полезно для нас обоих.

— А мне смешно,— упрямо повторила Лиля.— Ставлю вас в известность, муженек, что позавчера генерал Штромм почти что объяснился мне в любви. Но я не смогла выдержать роли и расхохоталась в голос, а потом сказала ему, чтобы он сначала этот вопрос согласовал с моим мужем. Но генерал заявил, что мой муж меня не стоит и что, по его наблюдениям, вы меня не любите. Я, конечно, возражала ему, что мы очень любим друг друга, и еще напомнила ему церковную заповедь: да убоится жена мужа своего.— Лиля засмеялась и, вдруг сникнув, тихо сказала:— А все это вместе взятое дается нелегко.

Шрагин молчал, собираясь с мыслями. То, чего он очень боялся, наступило. У него уже давно были подозрения, но он очень надеялся, что ошибается. Надо было объясниться.

— Лиля, милая,— сказал он, подойдя к ней совсем близко. Он увидел, как она вздрогнула и повернулась к нему с широко открытыми глазами.— Поймите меня, милая Лиля, мы с вами в этом не принадлежим себе,— сказал он очень тихо.— И то, что вы называете «все вместе взятое»,— это ведь не что иное, как наша с вами борьба.

— Наша... Наша с вами... Мы...— сказала Лиля, закрывая лицо руками, теперь ее голос слышался глухо, прерывисто.— Если бы вы только знали, как я одинока среди всех этих «нас», «мы» и так далее!.. Ведь у меня даже матери не стало... Вы же сами видите, какая она теперь.

— Надо стараться ее хотя бы понять,— мягко сказал Шрагин.

Лиля открыла лицо, выпрямилась.

— Вам остается только добавить, что она в этом своем состоянии содействует нашей с вами борьбе!— тихо сказала она, глядя ненавидящими глазами на Шрагина.

— Да, это так и есть,— снова мягко ответил Шрагин.— Она создает обстановку, в которой мы с вами получаем очень ценную информацию, не забывайте это.

— Возможно... возможно,— словно сразу обессилев, еле слышно сказала Лиля и спросила жалобно, точно уже зная ответ:— Вы любите свою жену?

— Да.

Она прошлась по комнате, потом остановилась перед Шрагиным и, глядя ему в глаза, сказала с неподвижным лицом:

— Наверное, все сложилось бы иначе, если бы ее не было.

— Нет, все было бы так же,— выдерживая ее взгляд, мягко и грустно сказал Шрагин.

Лиля закрыла глаза, из которых вот-вот должны были брызнуть слезы. Но она пересилила их, постояла немного возле Шрагина и отошла к окну.

— Это последний в моей жизни случай, когда я послушалась маму,— сказала она, не оборачиваясь.— Это она посоветовала мне объясниться с вами. Извините меня.

Шрагин встал, подошел к ней, взял ее руку и поцеловал.

— Лиля, вы еще найдете себе достойного друга, поверьте мне. Нужно только пережить это черное время.

Не отнимая руки, Лиля сказала чуть слышно:

— Видимо, я переиграла свою роль в спектакле.

— Я не могу, Лиля, лгать ни вам, ни себе. Не могу.

Лиля тихонько высвободила руку и решительно сказала:

— А я больше не могу играть ложь. Я буду играть теперь правду, и моя новая роль: жена, не любимая мужем и не любящая его. Как говорится, семья не получилась...

— Зачем вам это?

— Я должна сделать это в ваших же интересах,— уже спокойно говорила она, но сколько скрытой иронии и горечи было в каждом ее слове!— Я боюсь, что наши такие полезные вам гости начнут подозревать неладное сами.

— Наши семейные дела никого не касаются,— начал Шрагин, но Лиля будто не слышала его.

— Но не станут ли они со мной более разговорчивыми, когда я буду играть иную роль?— перебила она и торопливо добавила:— Вы не беспокойтесь, грязи я не коснусь, но мне так будет легче, честное слово, а в старой роли я могу и сорваться. И дело остается делом, можете мне поверить.

— Могу вам сказать одно: мне будет неприятно видеть вас...— Шрагин запнулся и сердито закончил:— Видеть вас в другой роли.

Лиля ушла к себе. На другой день она вела себя, как раньше, как будто и не было этого разговора. Прошло недели две, и Шрагин успокоился, решив, что она, наверное, передумала менять свою роль.

Так и было до появления в доме полковника медицинской службы из восемнадцатой армии Бертольда Лангмана. В первый раз его привел в гости генерал Штромм, а затем он стал приходить и без генерала. Ему было лет тридцать пять, и он совершенно не был похож на немца, тем более военного. Черные вьющиеся волосы, крупные печальные карие глаза, узкое лицо, тонкий нос с горбинкой делали его похожим на еврея. Именно это подумала Эмма Густавовна еще в передней, когда он пришел первый раз, и уставилась на гостя с невежливым испуганным удивлением.

— Не волнуйтесь, мадам,— расхохотался генерал Штромм,— он немец, но, правда, с примесью союзнической венгерской крови. Простите ему это и знакомьтесь: Бертольд Лангман, полковник. Воюет он с ножом в руках, он — главный хирург армии.

Шрагин в этот вечер был дома и провел его вместе с гостями. Вскоре пришли еще адмирал Бодеккер и его комиссар-майор

Капп. Бодеккер уже не раз бывал в доме Эммы Густавовны, и он сам просил Шрагина, «чтобы не дразнить гусей», приглашать и Каппа, хотя он его и сам не терпел.

Разговор сплетался вокруг модной тогда темы: действительно ли русские смогли организовать под Москвой контрнаступление или события там не что иное, как маневр немецкого командования? Понятно, какой громадный интерес представлял этот разговор для Шрагина.

Эмма Густавовна пыталась взять разговор в свои руки и стала вспоминать все суровые зимы в своей жизни, но ее никто не поддержал. Доктор Лангман встал из-за стола, подошел к роялю и перелистывал там Лилины ноты.

— Кто в этом доме музицирует?— спросил он.

— Это моя обязанность,— вздохнув, сказала Лиля.

— Музыкант по обязанности не музыкант, а трубач из военного оркестра,— сказал Лангман, внимательно смотря на Лилю, которая обиделась и покраснела.— Прошу извинения,— негромко произнес Лангман и снова занялся нотами.

Шрагин с любопытством наблюдал немецкого доктора. Он заметил, что во время беседы за столом Лиля молчаливо поддерживала Лангмана то взглядом, то улыбкой, а доктор несколько раз внимательно посмотрел на нее.

Генерал Штромм спросил Шрагина:

— А что вы думаете об этом? Как вы расцениваете московский эпизод? Вы, русский, поверили в то, что ваша армия вдруг обрела волшебную силу, способную нас победить?

— Мне этот вопрос неприятен,— услышал генерал ровный голос Шрагина.

— Почему?

— Я встревожился, конечно, узнав о том, что произошло под Москвой,— сказал Шрагин.

— За нашу армию? За судьбу Германии? Хо-хо! — развеселился генерал.

— Я встревожился за себя,— продолжал спокойно рассуждать Шрагин, как будто он говорил про кого-то другого.— Вы должны понимать, что такое решение, какое принял я, возможно принять только один раз в жизни.

— Что за решение?

— Сменить бога и веру,— улыбнулся Шрагин.— И я принял это решение, трезво оценивая ход истории, в данном случае — ход войны. Естественно, что каждая малость, подвергающая сомнению правильность моего решения, очень для меня тревожна. Я пошел с вами, но я не из тех, кто делает это из примитивных шкурных соображений. Меня пугает не то, что мои соотечественники не простят мне такое решение. Мои соотечественники теперь вы, ваши тревоги — мои тревоги. Я слишком мало знаю о войне и слишком плохо в ней разбираюсь.

— Я могу добавить,— сказал адмирал Бодеккер,— что господин Шрагин действительно пришел к нам искренне и работает получше иных наших настоящих соотечественников.

— Вы не поиграете нам?— вдруг обратился доктор Лангман к Лиле.

— Поиграть вам?— переспросила Лиля.— Это же и есть приказ исполнять свои обязанности трубача. Я люблю играть для себя.

Лангман быстро подошел к ней, взял ее руку, поцеловал.

— Вы поймали меня на хамстве,— сказал он,— и я еще раз прошу извинения.

— Хо-хо-хо!— гремел генерал.— До чего же тонкая душа у нашего доктора, просто непонятно, как он с такой душой безжалостно кромсает нашего брата!

Позже Лиля все же села за рояль и сыграла два прелюда Рахманинова. Доктор Лангман слушал музыку, закрыв глаза, а когда Лиля кончила играть, сказал восторженно:

— Чудо... Чудо... Но, по-моему, Рахманинов все же не очень-то русский гений, эту музыку мог написать и француз и...

— Немец?— иронически подсказала Лиля.

— Нет,— ответил Лангман.— Я хотел сказать — и англичанин. Но должен заметить: германская культура если уж может чем гордиться, так это музыкой: Бетховен, Вагнер, Бах.

— Не люблю, они бездушные,— сказала Лиля.

— Ну что вы говорите, как можно?— доктор Лангман подошел к Лиле, и они начали спорить.

— Остерегайтесь, господин Шрагин, докторов, любящих музыку, помните, что ваша жена пианистка, хо-хо-хо!— резвился генерал.

Шрагин натянуто улыбнулся и промолчал.

Да, именно в этот вечер Лиля начала играть свою новую роль, роль жены, которую муж не любит и к которому она тоже равнодушна. Она вела себя так, будто мужа здесь не было. Шрагин видел, что Лиля нравится Лангману. Впрочем, это, конечно, чувствовала и она — больше и громче, чем всегда, смеялась, спорила, говорила колкости, игриво посматривая на немца.

Шрагин понял: в его жизнь входит серьезное осложнение. Он еще и еще раз вспоминал свой недавний разговор с Лилей и приходил к неизменному выводу: иначе он вести себя не мог...

ГЛАВА 28

Начальник СД доктор Шпан в присутствии всего офицерского состава вручал ордена трем работникам, участвовавшим в раскрытии хищения типографского шрифта. Бульдог произнес благодарственную речь.

— Мы вышли на верный след, пройдем по нему до конца, и город раз и навсегда будет очищен от врагов Германии,— закончил он.

Раздались аплодисменты. Шпан пожелал успеха всем работникам, закрыл церемонию и поспешно ушел к себе, даже не поговорив с награжденными. Никто этому не удивился. Все знали, что его переводят в Киев, он уже давно сидит на чемоданах и делами не интересуется. Впрочем, и до этого все своим настоящим начальником считали Релинка.

Как только дверь за экс-начальником закрылась, Релинк подошел к Бульдогу, поздравил его с орденом и сказал:

— Твоя речь прекрасна, но после операции в типографии прошло больше двух месяцев, мы идем по твоему «верному» следу, а листовки, как прежде, выходят и выходят. Я думал, что ты в своей речи скажешь об этом хоть пару слов.

Бульдог мгновенно побагровел и хотел что-то ответить, но Релинк предостерегающе поднял руку:

— Не надо портить прекрасного впечатления от церемонии,— сказал он, скосив в злой улыбке массивный подбородок.

Релинк вернулся в свой кабинет, приказал адъютанту никого к нему не пускать и отключить все телефоны, кроме берлинского. Последнее время он все чаще так уединялся и обдумывал свою работу. Делать это ему посоветовал в телефонном разговоре Отто Олендорф, высказав предположение, что он погряз в повседневных мелочах и не умеет или не имеет возможности взглянуть на свою работу со стороны и объективно анализировать ее.

Но думай не думай, общая картина работы от этого не менялась. В городе продолжали происходить неприятнейшие события, а вся агентура СД, точно по сговору, уводила от этого основного, подставляя, как правило, весьма расплывчатые, а главное, третьестепенные цели. В пору подумать, что непрекращающиеся диверсии, уничтожение комитета Савченко, организованное бегство пленных из лагерей, регулярное появление листовок, акты саботажа — что все это своими корнями уходит за пределы города. Но Релинк знал — это не так. Его главный враг находится в городе, и цели, по которым он наносит удары, выбираются обдуманно, и они, как правило, очень значительны. Чего стоит одна ликвидация Савченко! И этот удар нанесен именно в тот момент, когда люди Савченко начали активно сотрудничать со службой безопасности. А теперь они перепуганы насмерть; когда их начинают настойчиво привлекать к работе, они попросту исчезают из города. Релинк вынужден признать, что и разведка врага работает очень точно: они быстро установили, кто выдал похитителей шрифта в типографии, и ликвидировали его. «Чего же не хватает нам?— думал Релинк.— Что должны делать мы, чтобы тоже быстро и точно находить главные цели?..»

Он вынул из стола и начал внимательно перечитывать «Дело о похищении типографского шрифта» — единственное дело, которое явно коснулось того главного, неуловимого. Не протекло ли тогда меж пальцев что-нибудь такое, что могло приоткрыть тайну над другими силами главного противника. Релинк перелистывал страницу за страницей, и перед ним проходило недавнее...

Уже после первых допросов он понял, что наборщик — фигура случайная и малоинтересная. Он был полезен только тем, что указал второго участника кражи шрифтов — Ястребова, а вот тот оказался достойным противником.

Его привели к Релинку рано утром. В окно ярко светило солнце, и на лице арестованного особенно резко были видны черные следы побоев. Релинк знал, что Бульдог всю ночь трудился зря. Серые глаза Ястребова смотрели на него с какой-то спокойной, усталой злостью.

Релинк начал допрос. Переводчик, который всю ночь работал с Бульдогом, говорил медленно, сбивчиво и с какой-то безнадежной интонацией, точно он заранее знал бесполезность этого занятия. На первые два вопроса Ястребов не ответил, а когда Релинк задал третий, он сказал спокойно:

— Ничего полезного для себя вы не услышите, не тратьте зря время.

Переводчик, наверное, думал, что на этом допрос окончится и он сможет идти спать. Но его надежды не сбылись.

— Все, что вы могли бы нам сообщить, мы уже знаем,— сказал Релинк, приноравливаясь к спокойной интонации Ястребова.— Я хотел бы поговорить с вами совсем о другом. Скажите, вы искренне уверены в своей победе над всеми нами, над Германией?

— Если бы не верил, не молился...— на вспухшем лице Ястребова мелькнула тень усмешки.

— Вы верите в бога?

— Я верю в нашу победу. За нее отдал жизнь мой отец, и я сделаю это с готовностью.

— Мне нравится ваша аналогия. Действительно, ваша вера в свою победу так же абсурдна, как религия,— сказал Релинк спокойным ровным голосом, рассчитывая этим взорвать Ястребова и заставить его заговорить по-другому. Но Ястребов усмехнулся страшным черным лицом и отчетливо сказал:

— Вспомните этот наш разговор, когда вас поставят к стенке.

Релинку стоило большого труда сдержать ярость.

— Хорошо, я обещаю вам вспомнить,— Релинк изобразил на своем лице улыбку — сейчас надо было до конца использовать возможность заглянуть в душу этому типу. Он сдержался и спросил:— Но право же, любопытно, на чем держится эта ваша уверенность?

— Чтобы победить нашу страну,— спокойно, точно выступая на политкружке, ответил Ястребов,— вам надо убить всех до одного советских людей. А это не под силу даже вам. Выбьетесь из сил.

— Вы заблуждаетесь!— покачал головой Релинк.— Уже сейчас половина ваших людей работает вместе с нами для Германии.

— Неправда, с вами только предатели. Но не очень-то надейтесь на них. Чуть запахнет паленым, они разбегутся от вас в разные стороны, следа их не найдете.

Релинк не мог больше продолжать этот разговор и перешел к деловому допросу.

— Где типография, печатающая листовки?

Ястребов молчал.

— Кто принимал шрифты у наборщика?

Ястребов молчал.

— Вы здешний или вас сюда прислали?

Ястребов молчал.

Релинк почувствовал знакомый озноб, появлявшийся, когда он давал волю своей ярости. Он встал из-за стола, подошел к Ястребову и ударил его в подбородок снизу вверх. Ястребов вместе со стулом опрокинулся навзничь. Релинк подбежал к нему и стал бить его ногами в лицо, в грудь, в живот...

Ночью Ястребов был расстрелян.

«Вот она, моя ошибка,— думал теперь Релинк.— Мы поторопились с расстрелом. Надо было держать Ястребова в тяжелом режиме до тех пор, пока он не заговорит. Ведь вполне возможно, что стойкость его была не больше как истерикой после ареста, со временем он бы опомнился. А расстреляв его, мы потеряли последнюю нить следствия. Да, здесь ошибка. И вывод — никогда не следует торопиться...»

На телефонном аппарате замигала лампочка — по прямой линии вызывал Берлин. Релинк снял трубку и услышал голос Олендорфа. Просто удивительно умение этого человека возникать перед тобой в самое неподходящее время!

— Приветствую. Поздравляю,— сказал Олендорф своим неизменным телеграфным стилем.— Ордена за типографию вполне заслужены...

— Спасибо,— еле слышно пробормотал Релинк, пытаясь понять, есть ли ирония в поздравлении начальства.

— Типография — прямой ход к главному,— продолжал Олендорф.

— Я тоже так считаю,— вставил Релинк.

— Здесь и надо копать,— сказал Олендорф и замолчал, паузой как бы приглашая Релинка говорить.

— К сожалению, операция оказалась локальной,— сказал Релинк.— Это следствие их хорошей конспирации.

— И вашей торопливости,— добавил Олендорф, который, конечно, уже знал о расстреле подпольщиков из типографии.

— Я только что сам думал об этом.

— Прошу вас впредь в каждом сообщении указывать направление к главному.

Релинк молчал, обдумывая, что хочет от него начальник, и сказал после затянувшейся паузы с еле уловимой интонацией вопроса:

— Конечно, когда будут к этому основания.

— Объективно всё — часть главного,— сказал Олендорф и закончил разговор, пожелав Релинку успеха.

«Так... сказано достаточно ясно,— думал Релинк, положив трубку.— Всё — часть главного. Значит, важно всё? Абсолютно

всё? А может, я не уловил какой-то другой смысл? Это надо спокойно и хорошо обдумать...»

В кабинет вошел начальник радиослужбы Элербек, как всегда, чистенький, подтянутый, поблескивающий лысиной под редкой сеткой зачесанных набок белесых волос.

— Прошу десять минут для срочного доклада,— сказал он, подойдя к столу Релинка.

— А на двенадцать минут материала уже не хватит? Садитесь, я слушаю,— усмехнулся Релинк. Он уже знал, что Элербек пришел с каким-то сообщением о работающем в городе таинственном передатчике, но не верил, что сообщение будет интересным.

Месяц назад он приказал Элербеку найти передатчик. Но оказалось, что это совсем не простое дело. Передвижных радиопеленгаторных станций в городе не было. Восемнадцатая армия располагала только тремя станциями, из которых две обслуживали штаб, а третья была в распоряжении зондеркоманд, действовавших против партизан. Релинк связался с Берлином и получил ответ, что этих станций не хватает, но все же ему обещали оказать помощь.

Станций до сих пор нет. Вместо них из Берлина пришло письмо о том, что пеленгирование в приморском городе, да еще находящемся на полуострове, занятие почти безнадежное, так как передатчик может работать с лодки, находящейся в море. Единственное, что сделал Берлин,— дал разрешение выделить специального радиста для наблюдения за неизвестным передатчиком. Но за целый месяц эти наблюдения ничего не дали. Таинственный передатчик работал очень редко, в самое разное время суток, и его сигналы звучали всего несколько минут. За месяц он был обнаружен в эфире всего два раза. Первый раз не сработал магнитофон, а записывать рукой и потом пытаться расшифровать быструю кодированную передачу было бессмысленным занятием. Во второй раз удалось сделать запись на пленку. Над ней неделю бились опытные шифровальщики, но, увы, безрезультатно. Несколько дней назад по требованию Релинка Берлин приказал действующей в этом городе группе абвера откомандировать в распоряжение СД специалиста по русскому шифру. Но и специалист достиг немногого. Со вчерашнего дня на столе у Релинка лежала схема сделанной им расшифровки, в которой понятны были только четыре ничего не говорящих слова: «стать», «разнообразные», «крыша» и, наконец, «Грант». Специалист по русским кодам высказал предположение, что Грант — условное имя посылающего шифровку. Теперь таинственный передатчик так и называли: «Рация Гранта».

И сейчас Релинк не верил, что Элербек принес важные новости.

— Сделана третья запись Гранта,— сообщил Элербек.— Он был в эфире три минуты четырнадцать секунд. Снова абракадабра. Но в конце снова «Грант». Потом была поймана дальняя мощная станция, которая в течение десяти минут посылала в эфир один и тот же вызов, и в нем тоже фигурировало слово «Грант». Затем

рация Гранта снова появилась в эфире и передала трижды повторенные буквы «П» и «А».

— Это все? — с недоброй улыбкой спросил Релинк.

— На сегодня все, — ответил Элербек. — Но теперь мы уже знаем, что рация Гранта имеет прямую связь с какой-то мощной дальней станцией. Я считаю это очень важным.

— Благодарю вас, — иронически поклонился Релинк. — А то я все время думал, что Грант посылает свои сообщения господу богу, и не беспокоился.

Элербек обиженно поджал свои узкие бледные губы и встал.

— Я считал своей обязанностью доложить, — сухо сказал он и ушел.

Релинк с яростью швырнул ему вслед карандаш, но сейчас же встал, поднял карандаш и, вернувшись к столу, сказал вслух:

— Господин Релинк, я не узнаю вас...

И здесь то же самое — невозможность пробиться через конспирацию противника. И Релинк бесился все больше, хорошо понимая, какое значение имеет обнаружение этой рации. Его бесило и то, что он, изучавший приемы конспирации, применяемые на всех континентах, и довольно легко вскрывавший тайны подполья во Франции и Голландии, оказался бессильным против конспирации русских. Как-то Олендорф сказал ему: «Русские большевики — азиаты и в конспирации. Но что это, черт возьми, значит? Что они, волшебники, что ли, эти большевики?»

Вечером Релинк вызвал к себе агента по кличке «Беглый». Этот человек работал администратором в театре, снабжал СД подробнейшими и на первый взгляд перспективными доносами, но все они при проверке оказывались полной чепухой. В прошлом Беглый был кандидатом в члены Коммунистической партии, и у Релинка возникло подозрение, не являются ли его лживые доносы злоумышленными.

Допрос Беглого длился меньше часа. Релинк прервал его, испытывая такое брезгливое отвращение к агенту, что ему захотелось скорей пойти домой и принять горячую ванну. Перед ним сидело взмокшее от страха подобие человека. То и дело поддерживая рукой вставную челюсть, тот бормотал глухой скороговоркой... Да, он писал заведомую неправду, но каждое донесение он начинал словами: «Надо проверить такого-то человека». И он думал, что проверят, убедятся, что человек этот ни в чем не замешан, но одновременно увидят и как старается он, Беглый, помочь новой власти. Релинк уже видел, что за всем этим стоит только примитивный животный страх за свою шкуру.

— Зачем вы пошли в коммунисты? — спросил Релинк.

— Я же не дошел... кандидатом был... — пробормотал Беглый запекшимся ртом.

— Но зачем? Зачем? — крикнул Релинк.

— Для анкеты, господин начальник. Исключительно для анкеты.

Релинк распорядился отправить Беглого в уголовную тюрьму.

— Ну, что вы скажете об этом экземпляре? — обратился Релинк к переводчику.

— Все они такие. Им понятен только страх, — ответил переводчик, приводя в порядок свои записи.

— Вы родились в Германии? — спросил Релинк.

— Да. Мои родители эмигрировали отсюда в 1917 году.

— Так что вы нынешних своих соотечественников попросту не знаете, — заметил Релинк.

— Но я уже успел повидать их здесь, — сказал переводчик.

— Как вы думаете, почему так получается: те, кто против нас, — люди волевые, храбрые, а те, кто с нами, — такие вот? — Релинк задал этот вопрос и нетерпеливо ждал ответа. Он уже успел убедиться, что этот русский парень не глуп, и ему было очень интересно, что он скажет.

Переводчик отвечать не торопился и, продолжая укладывать в портфель свои бумаги, поглядывал на Релинка, точно проверяя, можно ли ему говорить то, что он на самом деле думает.

— Очевидно, все те, на ком держалась коммунистическая Россия, оказались в стане наших врагов, — осторожно ответил переводчик.

— Это из области дважды два — четыре, — грубо заметил Релинк.

— Почему? — обиделся переводчик. — За этим дважды два стоит вывод, что коммунизм здесь поддерживали сильные люди, а над этим уже следует подумать.

Да, это был именно тот вывод, к которому уже не раз приходил и сам Релинк, избегая, впрочем, развивать эту мысль.

Вот и сейчас ему захотелось оборвать этот разговор и заодно припугнуть переводчика.

— Но отсюда следует и другой вывод, — сказал Релинк, — что коммунизм — дело умных и сильных людей, а наши идеи... — Релинк замолчал, как бы приглашая переводчика закончить фразу. Но тот уже понял, в какой опасный разговор он залез, и молчал. — Вы видите, как опасно делать обобщенные выводы, основываясь на примитивных данных, — нравоучительно заключил Релинк.

— Да, конечно, я знаю слишком мало, — поспешно согласился переводчик, но эта его поспешность снова вызвала у Релинка раздражение, и он, не попрощавшись, ушел.

Поздно ночью Релинк записал в своем дневнике:

«Все-таки наша пропаганда делает ошибку, создавая у немцев представление, будто коммунизм — это нелепая и непопулярная в России затея. Тогда становится непонятным, почему здесь так нелегко дается победа. Эту мысль надо при случае высказать Олендорфу. В Берлине хватает умных бездельников, пусть они придумают ловкое объяснение силы коммунизма. Это поможет всем правильно понимать, что здесь происходит, и объяснит особые трудности нашей работы в России...»

ГЛАВА 29

На первом этапе борьбы городское подполье понесло немалые потери — сказалось прежде всего отсутствие опыта. Он приобретался уже в бою, и за него первыми расплачивались жизнью те, кто недооценивал силу врага и переоценивал свою. Другие погибли оттого, что им трудно было сразу поверить, что в городе окажутся предатели из своих. Были и жертвы «слепые». Это когда люди попадались случайно, во время массовых облав. Были потери и бескровные, когда люди, не обнаружив в себе мужества, просто отходили от борьбы.

Но каждая потеря учила подпольщиков мужеству, закаляла их волю, обогащала опытом борьбы. И после всех понесенных потерь подпольная организация не только окрепла духовно, она значительно увеличилась, и приток людей в нее продолжался. Подпольщики действовали уже не только в городе, но и в близлежащих колхозах и совхозах, и там, где на сотни километров вокруг голая степь, их работа была не менее трудной, чем в городе. Группа Шрагина могла теперь опираться на помощь подпольщиков, а Шрагин к этому времени фактически стал одним из руководителей подполья. Все чаще дела подполья и группы Шрагина дополняли друг друга.

В начале весны Шрагин начал готовить крупную диверсию на аэродроме морских бомбардировщиков. Эту цель указала Москва. Самолеты, действовавшие с этой базы, представляли большую опасность для наших черноморских портов и в особенности для морских коммуникаций, питавших героический Севастополь.

Разведку подходов к аэродрому вели Федорчук, Харченко и люди подполья. Вскоре подпольщикам удалось устроить на аэродром землекопом своего человека — Григория Серчалова. С его помощью начал устраиваться туда и Федорчук. Серчалов завел на аэродроме знакомство со странным немцем, который открыто клянет Гитлера и с большой симпатией говорит о Советском Союзе. Если этот немец не провокатор, получить на аэродроме такого помощника было необыкновенно важно. Но возникало множество тревожных вопросов. Почему немец сразу доверился подпольщику? И так как было известно, что Серчалов в конспиративных делах неопытен, возникло подозрение: не ведет ли он себя там, мягко говоря, неосторожно? И не ведут ли его с помощью этого немца в ловушку? Связные с ним встречались раз в неделю, а выяснить все это надо было немедленно.

...В воскресенье после дежурства в ресторане Юля шла домой. Свернув с главной улицы в переулок, она чуть не столкнулась с Вальтером. С тех пор как, получив назначение, он уехал, Юля его не видела. Сейчас было похоже, что он специально ее поджидал. Уж очень неловко разыграл он сцену случайной встречи.

— Как неожиданно и замечательно! — говорил он торопливо.— Иду и как раз думаю о вас. В город приехал с целым мешком

дел, заскочить к вам в ресторан пообедать минуты нет, а увидеть вас очень хочется, и вдруг...

Юля сказала, что она тоже рада его видеть, и Вальтер предложил ей погулять.

— Такой чудный весенний день! Покажите мне ваш город, я ведь совсем его не видел,— попросил он.

— Город-то большой,— улыбнулась Юля.— А у вас ведь полон мешок дел и ни минуты свободной.

Вальтер покраснел.

— В общем, боялся я зайти в ресторан и ждал вас здесь,— смущенно сознался он.

— А что же вас испугало?

— Что?— переспросил он и осторожно взял ее за локоть.— Идемте, не надо мозолить людям глаза.

Они пошли в сторону Юлиного дома.

— Черт возьми!— вдруг воскликнул Вальтер.— Стоит где-нибудь появиться немцу, как люди начинают бояться друг друга, а главное, даже мы, немцы, боимся друг друга. Верно я говорю?

Юля спросила в ответ:

— Где вы теперь служите?

— Главная авиабаза морского бомбардировочного полка. Старший механик по ремонту и редчайший экземпляр военного без звания. Штопаю дырки на самолетах, и тут я сам себе фельдмаршал и фюрер. И так как я умею работать, фельдфебели, не смущаясь, мою работу присваивают себе. У них из-за меня даже драка идет. Переманивают меня, как певичку в кабаре.

Вальтер рассказывал все это весело, но Юля видела, что его веселость искусственна, не верила ему и ждала, чего же он хочет.

— Вы надолго в город приехали?— спросила она, чтобы выяснить, как себя вести. Они продолжали идти к ее дому, и, если окажется, что у Вальтера есть время, надо будет изменить маршрут прогулки. Приглашать его к себе в гости Юля без разрешения Федорчука не собиралась.

— Не знаю,— ответил Вальтер.— Все будет зависеть от вас.

Юля удивленно посмотрела на него: Вальтер был совершенно серьезен.

— Я должен сказать вам... даже обязан сказать,— он сильно волновался.— Я обдумал все, что происходит здесь, и пришел к выводу, что я не имею права и не желаю нести ответственность за дела наших обезумевших наци, но отречение на словах ничего не значит, и я решил действовать. Конечно, проще всего удрать отсюда в Германию — я ведь фактически не военный. Но это было бы трусостью. Я еще не знаю, что я сделаю, но, клянусь вам — сделаю. Я хочу помогать русским бороться против Гитлера, и пусть будет со мной все что угодно. Главное, что совесть моя будет чиста.

— Что касается меня,— сухо начала Юля,— то я честно служу новой немецкой власти и не знаю, почему вы решили именно мне сделать это странное признание.

— Я это предвидел,— закивал головой Вальтер.— Я допускал, что ошибаюсь, веря вам вслепую, и даже... что меня могут выдать. Но тогда моя судьба будет моим оправданием перед всеми честными людьми в Германии...— Он остановился и взял Юлю за руку.— Но я не верю, что вы такая. А я еще ни разу не ошибался в людях. Впрочем, нет, один раз ошибся. Хотите, я вам расскажу?— Вальтер заглянул Юле в лицо и, увидев ее глаза — холодные, не верящие, осекся и замолчал.

Некоторое время они шли молча. Юля понимала, что если она сейчас оттолкнет его, он во второй раз к ней с таким разговором не придет. И вообще не придет. А как-то, хотя бы намеком, выразить свое отношение к тому, что он сказал, она, не посоветовавшись с Федорчуком, не решалась. И вместе с тем она верила Вальтеру.

— Я ведь хочу услышать от вас совсем немного, это ни к чему вас не обязывает,— снова заговорил Вальтер.— Посоветуйте мне, как узнать, можно ли доверять человеку — русскому, вашему...

— Этого никто не знает, я этого даже про своего мужа не знаю.

— Меня огорчает, что вы так говорите о муже,— серьезно сказал Вальтер.— Впрочем, я понимаю, вы шутите, чтобы отвязаться от меня. А мне нужен серьезный совет. У нас на аэродроме бригадиром землекопов работает Григорий Серчалов, пожилой такой человек, высокого роста. Вы его, случайно, не знаете?

Юля отрицательно покачала головой.

— Жаль. Я с ним познакомился, и мне он очень понравился. Я чувствую, что он ненавидит наци. Вот уже месяц, как мы знакомы, но боимся друг друга и разговариваем, как два глухонемых. Но я же действительно не знаю, как выяснить, что он за человек. А нарваться на провокатора было бы очень обидно.

Юля уже слышала от мужа о странном немце, который доверился подпольщику Серчалову, и сейчас не верила своим ушам: неужели странный немец — Вальтер? Так или иначе, сама она решать эту задачу не могла и не имела права.

— Знаете, Вальтер, мне просто некогда сейчас разговаривать с вами,— сказала Юля.

— Я понимаю,— усмехнулся Вальтер.— Мешок дел и ни минуты свободного времени.

— Нет, правда, сейчас мне некогда,— сказала Юля, тоже усмехаясь.— Но если вы хотите поговорить со мной, приходите через час к кинотеатру.

— Я не хочу смотреть кино.

— Мы просто там встретимся и пойдем погуляем по городу. Хотите?

Вальтер внимательно посмотрел на нее.

— Хорошо, я буду там через час.

Юля обошла стороной целый квартал, пока не убедилась, что нет слежки, и пошла домой.

Федорчук выслушал ее торопливый рассказ и задумался. Как мог Вальтер догадаться о настроениях Серчалова? А кто на самом

деле этот Вальтер? Проще всего было сейчас же с ним повидаться. Но пойти на такую рискованную встречу без ведома Шрагина Федорчук не мог. Свидание же с ним могло состояться не раньше чем через три дня.

Обдумав все «за» и «против», Федорчук все же решил действовать, не дожидаясь встречи со Шрагиным, и послал Юлю за связным Григоренко. Времени было в обрез, и теперь все зависело от того, окажется ли Григоренко дома, хотя по действовавшей схеме он обязан был находиться именно там.

Через полчаса Юля вернулась вместе с ним.

Федорчук предложил ему такой план. Возле кинотеатра Григоренко подойдет к Вальтеру, убедившись прежде, что там нет засады. Скажет ему, что знает его по работе в довоенное время на аэродроме в Великих Луках, когда тот был механиком от «Дерулюфта». Если Вальтер пойдет на разговор и будет пытаться вспомнить Григоренко, то надо предложить ему уйти с толкучки возле кинотеатра и увести его в переулок, где меньше людей. В дальнейшем Григоренко должен поступить в зависимости от того, как поведет себя Вальтер.

Если немец подтвердит все то, что говорил Юле, Григоренко прямо скажет ему, что может помочь связаться с нужными людьми. Сделает он это при условии, что Вальтер своей рукой напишет по-немецки и по-русски, что хочет связаться с советскими патриотами, чтобы участвовать в борьбе против Гитлера. Григоренко не скроет, что это необходимо как гарантия от провокации. Получив такой документ, Григоренко скажет немцу, что вскоре на аэродроме к нему обратится человек с паролем: «Не хотите ли купить новые сапоги?» Вальтер должен ответить: «Спасибо, но я сапогами обеспечен». И в дальнейшем Вальтер будет получать указания от этого человека. Если же Вальтер откажется писать расписку, Григоренко должен быстро уходить, соблюдая всю необходимую конспирацию...

Григоренко согласился с планом, но очень боялся, что Шрагин будет возмущен их самостоятельными действиями.

— Я все беру на себя,— успокоил его Федорчук и подтолкнул к двери.

Прошло уже гораздо больше часа, а Вальтер все еще стоял возле кинотеатра. Юля издали показала его Григоренко и вернулась домой.

Григоренко остановился в двух шагах от немца и бесцеремонно смотрел на него, как это делают люди, встретив давно знакомого, но еще не уверенные в том, что не ошиблись. Вальтер заметил, что его рассматривает какой-то парень, и сначала отвернулся. Через минуту он оглянулся — парень все еще смотрел на него, но теперь приветливо улыбался. Вальтер тоже улыбнулся, и тогда Григоренко подошел к нему.

— Вас, случайно, зовут не Вальтер?— спросил Григоренко.

— Да, Вальтер,— удивленно ответил немец.

— Вот так встреча!— воскликнул Григоренко.— А вы меня не помните?

— Извините, нет,— ответил Вальтер, удивленно глядя в лицо Григоренко.

— Ай, нехорошо,— укоризненно покачал головой Григоренко.— Я же вместе с вами работал на аэродроме в Великих Луках, вы были механиком от «Дерулюфта», а я — слесарем в мастерских. Впрочем, тогда я еще был не слесарем, а всего только учеником слесаря. Костя меня звать.

— Не может быть!— тихо произнес Вальтер.

Григоренко видел, что он волнуется.

— Что значит — не может быть?— рассмеялся Григоренко.— Тогда, значит, я вру?

— Нет, нет, что вы,— торопливо говорил Вальтер.— Но это так неожиданно. Да, да, я работал там и имел там много друзей...— Вальтер весь сжался, предчувствуя, что наступает момент, которого он так ждал, но он постарался взять себя в руки и сказал спокойно:— Но вас, извините, не помню. Я помню, например, Григория Осокина.

— Гришку! Ну как же! А Петрова помните?— наобум спросил Григоренко, рассчитывая только на популярность этой фамилии.

— Кузьму Петровича? Конечно, помню. Я же с ним потом целый год переписывался,— радостно подтвердил Вальтер. И вдруг пропел:—«Мы молодая гвардия рабочих и крестьян»— это же Кузьма меня выучил.

— Идете в кино?— спросил Григоренко.

— Н-нет,— Вальтер смущенно запнулся.

— Тогда уйдем с этого базара, поговорим хоть пяток минут, вспомним старое время,— предложил Григоренко.

Вальтер замялся и посмотрел на часы:

— Я жду одного человека...

— Да мы вон там, около дома, сядем на лавочку, и вам будет видно, как он подойдет,— говорил Григоренко, направляясь к скамейке. Они сели, и Григоренко, положив руку на колено немца, спросил:— Как же это получается, друг Вальтер: тогда в Великих Луках вы завели друзей, а теперь приехали их убивать?

Вальтер вздрогнул и повернулся лицом к Григоренко.

— Нет, я приехал не за этим,— сказал Вальтер.

— А зачем?

Вальтер помычал и ответил негромко:

— В общем, Костя, не затем — можете мне поверить, не затем.

И хотя он не повторил того, что сказал Юле, Григоренко решил больше не тянуть время.

— У нас, у русских, есть поговорка: «Языком масла не собьешь»,— сказал он.— Ваш Гитлер тоже говорит, что желает нам добра, только мы от того добра в крови захлебываемся.

Вальтер молчал, Григоренко видел его стиснутые, побелевшие руки.

— Я все-таки не помню вас по Великим Лукам,— вдруг сказал немец с вызовом.

— В данных обстоятельствах важно, что я вас помню,— ответил Григоренко, делая ударение на слове «я».

После этого Вальтер долго молчал, а потом сказал:

— Хорошо, я пойду на риск, я делаю это сегодня уже второй раз.

— Второй раз?— удивленно спросил Григоренко, прекрасно зная, что имеет в виду немец.

— Но это не имеет значения,— устало ответил Вальтер и вдруг решительно спросил:— Вы действительно хотите убедиться, что я не на словах, а на деле друг советских людей?

— Да, хочу.

— Тогда скажите, что я должен сделать, и я сделаю это, клянусь моими родителями и моими детьми...

— Я скажу. Но при одном условии..

Требование написать расписку испугало Вальтера. Сначала он категорически отказался. Потом спросил, кому нужен этот документ.

— Тем, кому вы хотите помогать,— ответил Григоренко.

Вальтер снова помолчал, потом вынул из кармана записную книжку и сказал решительно:

— Диктуйте...

Григоренко сообщил ему пароль, они крепко пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны...

Вечером Григоренко доложил обо всем Шрагину и вопреки его ожиданию получил одобрение.

Так завершилась встреча с «непонятным» немцем, с которым познакомился на аэродроме подпольщик Серчалов. Но самого Серчалова по просьбе Шрагина с аэродрома отозвали: он действительно оказался плохим конспиратором.

ГЛАВА 30

В гости к Эмме Густавовне приехал из Германии ее родственник Вильгельм фон Аммельштейн. Это был семидесятипятилетний старик огромного, почти двухметрового роста, но его позвоночник словно устал носить громоздкое тело: когда Аммельштейн стоял, вертикально держалась только нижняя часть его тела, а верхняя была сильно наклонена вперед. Впрочем, это не мешало ему быть весьма подвижным и даже суетливым. Его распирали впечатления, и так как он был говорлив до невозможности, его въедливый тенорок звучал в доме с утра до вечера.

— Ах, как это прекрасно, что я нашел вас! — говорил он Эмме Густавовне.— Я промчался через всю Европу и прямо помолодел от этой поездки.

Первое время Эмма Густавовна держалась смущенно и больше молчала, но постепенно она освоилась с объявившимся родственником и стала ему достойной собеседницей. С интересом выслушала она историю рода Аммельштейнов и в ответ рассказала свою родословную. Да, да, не было уже никакого сомнения, они действительно родственники. Когда Эмма Густавовна знакомила Аммельштейна с Лилей и Шрагиным, старик прослезился.

— Как это прекрасно! — пробормотал он, и его склеротическое лицо потемнело.— Теперь я знаю, моя одинокая могила не зарастет бурьяном.— И тут же, без всякой паузы, он начал деловито расспрашивать Шрагина, кто он, и какая у него специальность, и не знает ли он, случайно, сельское хозяйство.

— Нет, в сельских делах я ничего не смыслю,— с любезной улыбкой ответил Шрагин. Ему была смешна вся эта ситуация, и он понимал, куда клонит старик.

— Это понятие составить не так уж трудно, когда хозяйство ведет умный управляющий.— Старик победоносно оглядел все маленькое общество, собравшееся в гостиной, и сказал: — Я надеюсь, что как только кончится эта военная неразбериха, вы переедете ко мне. Я хочу в своем доме видеть правнуков.— Старик поманил Лилю к себе и, пригнув, поцеловал ее в лоб.

В ближайшее воскресенье у Эммы Густавовны был день рождения, и она решила позвать гостей. Впервые она пригласила не только немцев, но и своих давних знакомых из оставшихся в городе. Вероятно, ей хотелось похвастаться перед ними своим новым положением. Аммельштейн дал деньги, а Штромм договорился с офицерским рестораном, который должен был обеспечить ужин всем, вплоть до сервировки и кельнеров.

С утра в квартиру явились ресторанные работники, которые принесли посуду. В кухне обосновался повар, готовивший закуски. Доктор Лангман, чтобы избавить Лилю от обязанности развлекать гостей на рояле, прислал свою радиолу и портфель с пластинками. Ближе к вечеру пришли два официанта. Как будто не было никакой войны и все события сосредоточились вокруг дня рождения старой женщины.

Утром Лиля вместе с Аммельштейном и доктором Лангманом уехали на машине в Одессу за подарками для матери. Эмма Густавовна отправилась в парикмахерскую. Дома оставался один Шрагин. Он сидел в своей комнате и читал книгу, забытую генералом Штроммом. Это было глупейшее, полное демагогии сочинение гитлеровского социолога доктора Бютнера, который поставил своей задачей доказать неизбежность принятия всем миром идей Гитлера. Слово «нацизм» он производил из слова «нация», делал из этого вывод, что нацистом является каждый представитель любой нации и что ему для того, чтобы стать национал-социалистом, остается только усвоить основы идей Гитлера...

В передней раздался звонок. Отложив книгу, Шрагин пошел открывать дверь.

Перед ним стоял мальчик лет пятнадцати.

— Здесь живет Эмма Густавовна?

— Здесь.

— Так передайте ей, что к предателям честные люди в гости не ходят! — крикнул мальчик и убежал.

Шрагин вернулся к книге и невольно рассмеялся — то, что крикнул этот мальчуган, было убийственным опровержением всех разглагольствований гитлеровского социолога.

...В передней послышался воркующий голос Эммы Густавовны, и она вошла в гостиную, торжественно неся голову, на которой была уложена старомодная пышная прическа, похожая на просвирку.

— Ну, Игорь Николаевич, как вы находите свою тещу? — спросила она игриво и в то же время несколько смущенно.

Шрагин улыбнулся и еще не успел придумать, что ответить, как Эмма Густавовна сказала высокомерно:

— Напрасно вы улыбаетесь. Сегодня я хочу быть красивой. — Вдруг она повысила голос: — И вообще вы все привыкли только распевать, что «старикам везде у нас почет». А у немцев уважение к старости человека — традиционно. За всю свою жизнь я такого внимания к себе не видела, Игорь Николаевич. А теперь можете улыбаться сколько вам угодно... — Гордо запрокинув голову, она ушла в свою комнату...

В пять часов вечера у Шрагина было срочное свидание с Федорчуком.

Они встретились в доме Величко, который после смерти «отца» Савелия стал уже полноправным священником автокефальной церкви.

Величко провел Шрагина на кухню, где ждал Федорчук, а сам вышел во двор, чтобы охранять их.

Федорчук принес тревожную новость: стоящий на аэродроме бомбардировочный полк в самое ближайшее время будет перебазирован ближе к Кавказскому фронту. Это может случиться в течение недели, а Харченко еще не начал переброску взрывчатки в тайник возле аэродрома.

Шрагин и Федорчук занялись переработкой всего графика операции, сокращая его до предела. Харченко начнет доставку взрывчатки завтра. Но ее нужно сразу же забирать из тайника и переносить на аэродром, а Федорчук не имеет возможности заниматься этим каждую ночь.

— А Вальтер? — спросил Шрагин.

— Может.

— Решено.

Они обговорили все, что нужно было сделать для ускорения операции, и стали прощаться.

— Москва о наших делах знает? — вдруг спросил Федорчук, смотря на Шрагина своими чистыми голубыми глазами.

— Конечно, знает, — ответил Шрагин. — В каждом донесении я от всех вас передаю приветы родным.

— А в ответ что бывает? — тихо спросил Федорчук.

— В ответ все больше директивы — начальству не до лирики, ему дело давай. В общем, снимать с работы вроде не собираются и рапортов по собственному желанию не требуют,— рассмеялся Шрагин.

Федорчук прикрыл глаза пушистыми ресницами:

— Невозможно представить себе, что там, в Москве, бегают трамваи, люди утром свободно идут на работу, не оглядываются по сторонам, говорят по телефону, вечером дома пьют чай; ложась спать, не суют под подушку пистолет.

— Они знают, что мы спим с оружием, и спокойны,— улыбнулся Шрагин...

Эмма Густавовна, конечно, была права — такого дня рождения у нее никогда не было. За сдвинутыми столами расселись около двадцати гостей. Одних генералов было четыре: Штромм, Летцер и неизвестный Шрагину авиационный генерал Унгер. Вместе с доктором Лангманом пришел генерал от военной медицины. Адмирал Бодеккер привел представителя главного военно-морского штаба адмирала Циба. Среди военных гостей вообще ниже полковничьего звания не было. Блеск орденов соперничал с блеском ресторанного хрусталя. Фон Аммельштейн восседал в смокинге с белоснежным пластроном, в черном галстуке сияла бриллиантовая булавка. Было еще несколько немцев в чинах, о которых Шрагин, опоздавший к съезду гостей, ничего не знал. И наконец, пришли двое гостей из местных знакомых Эммы Густавовны: глухой старичок маленького роста, который все время обалдело разглядывал гостей и явно чувствовал себя не в своей тарелке, и оказавшаяся рядом со Шрагиным пожилая седовласая женщина с умным и каким-то тревожным лицом, главный врач туберкулезной больницы Мария Степановна Любченко.

Специальный столик у дверей был завален подарками, и Эмма Густавовна то и дело поглядывала туда с детской счастливой улыбкой. В радиоле приглушенно звучала красивая музыка. Поздравительным тостам, казалось, не будет конца, причем все говорили длинно, витиевато и по-немецки сентиментально. Фон Аммельштейн первый произнес тост.

— Вы, господа, люди военные и видите только войну и кровь, кровь и войну.— Старик поморщился и продолжал:— А происходит нечто большее. Находят друг друга и объединяются все немцы на всей земле. Судьба решила, что я к старости оказался одиноким. Вам трудно себе представить, что такое была моя одинокая осень: громадный пустой дом, в парке воет ветер, и ты один прислушиваешься к перебоям своего сердца.— Фон Аммельштейн последние слова произнес еле слышно и, достав белоснежный платок, начал вытирать слезы.

— Все-таки сентиментальность — это их стихия,— шепнула Шрагину его седовласая соседка. Шрагин сделал вид, что не слышит ее, и продолжал внимательно и уважительно слушать фон Аммельштейна.

— Вот почему, дорогая Эмма Розалия — разреши мне говорить тебе «ты»,— твой сегодняшний праздник — это и мое торжество над одиночеством. Я теперь не один на земле. За твое здоровье, Эмма Розалия! За мою радость!— воскликнул он и, наклонившись, поцеловал Эмму Густавовну в висок.

Все беспорядочно закричали, зазвенели бокалы, и на секунду за столом наступила тишина. Затем снова возник веселый гомон и шум. Официанты бросились наливать вино в бокалы...

Пир продолжался почти до полуночи, когда гости начали по одному уходить — незаметно, по-английски. Еще раньше фон Аммельштейн почувствовал себя плохо, и его уложили в постель.

— Вот она, извечная и историческая слабость немецкой аристократии, хо-хо-хо!— громыхал по этому поводу генерал Штромм.

Но вот ушел с помощью своего шофера порядком нагрузившийся Штромм. Покинули дом официанты. И в конце концов, кроме Шрагина и его соседки, сидевших за столом, в гостиной остались Эмма Густавовна, Лиля и доктор Лангман. Они разговаривали возле рояля. Лиля, изредка вставляя слово, одной рукой наигрывала грустную мелодию. Шрагин видел, как они с Лангманом то и дело встречались глазами, Лиля казалась веселой, а взгляды доктора становились все значительнее. Да, Лиля успешно играла свою новую роль...

Соседка Шрагина Мария Степановна успела несколько раз дать ему понять, что чувствует себя здесь очень плохо («пир во время чумы»), что немцы ей неприятны с детства, и она с этим ничего не может сделать, и что ей почему-то безумно жаль Эмму Густавовну.

Шрагин учтиво слушал ее и, улучив удобную минуту, сказал насмешливо:

— Можно думать, что вас привели сюда насильно, под конвоем гестапо.

После этого Мария Степановна надолго замолчала. Но когда они остались за столом одни, она вдруг стала говорить ему, что он просто неправильно ее понял.

— То, что я говорила, было чисто человеческое, без всякой политики,— пробормотала она.

— В вашей больнице и сейчас есть больные?— спросил Шрагин, чтобы прервать ее объяснения.

— Да, конечно. Туберкулез не считается с войной,— ответила она.— Наоборот, в тяжелое время туберкулез увеличивает свою страшную жатву.

Она говорила охотно, и было видно, что она очень рада перемене в разговоре.

— Вот и мы, врачи,— продолжала она,— тоже вынуждены, не считаясь ни с чем, исполнять свой долг и оставаться с больными.

— Больница не успела эвакуироваться?— спросил Шрагин.

— Половина больных нетранспортабельна, они, по сути дела, обречены,— вздохнула Любченко.

— Много таких?

— Около двадцати.— Любченко сокрушенно покачала головой.— Парадоксально, конечно: в то время как на войне гибнут миллионы, мы бьемся, чтобы хоть немного отсрочить гибель этих двух десятков больных.

— По-моему, это не парадокс, это вечный долг врачей,— сухо заметил Шрагин.

— Но врач еще и человек,— печально сказала Любченко и тихо добавила:— Советский человек.

— И ваши больные тоже советские люди,— ответил Шрагин.

Ему по-прежнему не нравилось что-то в этой женщине с умным и тревожным лицом. В самом деле, она же знала, куда шла в гости, видит, что за люди пришли в этот дом, и почему-то не боится делать двусмысленные намеки человеку, с которым почти не знакома. «Это странно»,— подумал Шрагин и сказал строго:

— Между прочим, Мария Степановна, вы поставили меня в очень неловкое положение. Как человек определенных взглядов, я обязан не забывать сделанные вами признания. Но, с другой стороны, вы подруга матери моей жены, и я обязан верить, что Эмма Густавовна не могла пригласить сюда ни красных, ни даже розовых.

Любченко посмотрела на Шрагина долгим прищуренным взглядом, встала и, не говоря ни слова, направилась в переднюю.

— Мария, куда вы?— поспешила за ней Эмма Густавовна.

Несколько минут из передней доносились их голоса, потом хлопнула дверь, и Эмма Густавовна вернулась в гостиную. Бросив недовольный взгляд на Шрагина, она направилась к роялю, возле которого сидели, тихо разговаривая, Лиля и доктор Лангман.

Шрагин тоже подошел к ним. Они будто не замечали его и продолжали говорить о том, может ли музыка выражать не возвышенные, а самые простые, обыденные чувства человека.

— По-моему, музыка способна передать только такие чувства, которые человек переживает как потрясение: любовь, смерть, счастье,— говорил Лангман.

Лиля утверждала, что она в музыке слышит улыбку человека, его облегченный вздох, задумчивость, тихую грусть.

— Вот вам человек улыбается,— сказала она и сыграла несколько тактов из вальса Шопена.— Никаких потрясений, просто улыбка человека — не правда ли!

Шрагин смотрел на Лангмана, ждал, что он скажет. Но он, по-видимому, понял взгляд Шрагина по-своему, засмеялся и сказал:

— У нас, немцев, самым страшным считается гость, который, уже надев шляпу, начинает в передней рассказывать о привычках своей бабушки.

Лангман встал и начал прощаться. Лиля вышла провожать его. Услышав, как хлопнула парадная дверь, Эмма Густавовна спросила у Шрагина:

— Что такое вы позволили себе сказать моей подруге? Она заявила, что ее ноги не будет в моем доме.

— Мне не понравились ее настроения,— угрюмо ответил Шрагин.

— Мало ли кому не нравится чье-то настроение!— с явным намеком воскликнула Эмма Густавовна.— Вы же интеллигентный человек и находитесь в интеллигентном доме.

— По-вашему, я должен был молчать даже тогда, когда эта ваша подруга заявляет, что вечер, на который вы ее позвали, напоминает ей пир во время чумы?— с усмешкой спросил Шрагин.

— Что? Она так сказала?

— Да, она так сказала и сказала еще, что ей жаль вас. Вот тут я не выдержал и спросил: «Разве ее привели сюда насильно, под конвоем?»

Из передней вернулась Лиля.

— Ты послушай только, что тут выясняется,— обратилась к ней Эмма Густавовна.— Оказывается, эта Любченко назвала наш вечер пиром во время чумы!

— Боже, как мне все это противно!— воскликнула Лиля и, по привычке прижав пальцы к вискам, убежала в спальню.

— Чума не чума, но то, что здесь сумасшедший дом,— это правда,— потерянно произнесла Эмма Густавовна...

ГЛАВА 31

Четвертую ночь подряд природа справляла весенний шабаш. Днем она точно стеснялась кого-то — ветер стихал, светлело небо, дождь почти прекращался. Ночью закручивалась форменная чертовщина. Степные ветры, будто по команде, набрасывались на город со всех сторон, с неба на него рушился степной густой свинцовый ливень такой силы, что черепичные крыши звенели от ударов воды. А если вдруг степной ветер встречал своего морского соперника, они затевали дикую игру, скручивали в жгуты дождь и взвихренную воду лимана и хлестали ими в стены домов.

В эти бешеные ночи Харченко совершал рискованные походы через весь город, через мост — к военному аэродрому и обратно. Он носил в потайное место взрывчатку для Федорчука и Вальтера. Это была нелегкая работа. Придя домой после дневной смены на макаронной фабрике, он формовал тол в брикеты, похожие на поленья дров, потом обшивал их холстом, в котором прорезал дырки для подрывных капсюлей. А как только начинало темнеть, выходил из дому, неся на спине большую вязанку дров, среди которых были запрятаны два-три грозных полена.

Холодной зимой и теперь многие жители города ежедневно занимались поисками топлива. Немцы привыкли к серым фигурам с вязанками дров за спиною. И все же трудно было выйти с дровами из города и перейти мост.

Харченко выходил из дому незадолго до комендантского часа, когда начинались сумерки. Толовые поленья запрятаны в вязанке неплохо, и все же, если приглядеться, заметить их можно. По го-

роду надо идти так, чтобы за спиной близко никого не было.

Перед мостом — будка контрольного поста. Солдаты вроде не обращают на него внимания. Но каждую минуту они могут окликнуть — вдруг им взбредет в голову поворошить вязанку или просто поглядеть ее вблизи?.. Правда, в эти бешеные вечера солдаты вовсе не вылезали из будки. Так что хозяйственный Харченко и обратно шел с вязанкой — дров не напасешься, если их каждый раз выкидывать...

Вот уже в четвертый раз Харченко благополучно выбрался из города. Каждый шаг вперед стоил ему невероятных усилий. Ветер валил с ног, толкал в грудь. Одежда сразу намокла и стала тяжелой, связывала каждое движение, а по спине, вызывая озноб, стекала вода. И не дай бог попасть в место, где ветер крутил свою дикую игру с ливнем! Тогда самое лучшее опуститься на колени прямо в грязь, положить впереди вязанку и держаться за нее руками, как за якорь, ожидая, пока водяные жгуты пойдут хлестать куда-нибудь дальше. А тогда вставай, выдирая ноги из трясины, взваливай свою вязанку на спину и вперед — в глухую, как стена, темноту.

Пять километров этого адского пути он уже знал, что называется, на ощупь. На том берегу реки сперва скользкий, как лед, суглинок, потом полоса вязкого теста чернозема и, наконец, зыбкий, засасывающий ноги песок. По пути — памятные приметы: вырванный из земли и висящий на проводах телеграфный столб — в первый раз издали показалось, будто человек висит; лужа громадная, как озеро; сваленный в воронку сожженный грузовик, а чуть дальше — аккуратная немецкая могила с березовым крестом и рогатой каской на ней. И наконец, за аэродромом береговой склон, на который нужно было подняться, сделав ровно пятьсот шагов, после чего сворачивать влево, к размытому песчаному карьеру. Здесь тайник.

Харченко шел от приметы к примете, и двухпудовая вязанка дров становилась все тяжелее и тяжелее. Он стал думать, что нашим солдатам сейчас еще хуже, еще тяжелее, и незаметно для себя начинал шагать все энергичнее, и вязанка вроде становилась полегче. А мысль летела дальше: «Такое выпало на долю не мне одному, всем, всем без разбора выпало, весь народ тяжестью придавил. Но если каждый не будет охать да стонать, а сожмет зубы и будет вот так, вот так идти вперед, нести свою грозную для врага ношу, судьба повернется к нам лицом, немец побежит, и станет он тогда считать свои могилы на обратном пути в свою распроклятую Германию».

И, точно подтверждая его мысли, справа в темноте проплыл силуэт березового креста с каской. Харченко даже остановился, внимательно посмотрел на этот силуэт: «Лежишь, гад... Так тебе и надо...»

Он легко взошел на береговой склон. Здесь было посуше. Отсчитав пятьсот шагов, свернул налево к карьеру. Когда-то здесь грузовики проложили путь прямо по целине, размесили песок на

две колеи, а между ними образовали горбатую скользкую грядку. Вот по этой грядке и надо идти. А ветер сталкивает.

Впереди был уже виден взлобок карьера. Харченко предвкушал, как он скроется за ним от злющего ветра. Пошевелив вязанку, чтобы она лучше легла на плечи, он стал приглядываться, где половчее сойти в карьер...

А утром как ни в чем не бывало работал на макаронной фабрике, вальцуя тесто. Но все же эти бесноватые ночи не проходили даром. Руки быстро немели, становились слабыми, лоб покрывался холодной испариной. Работавший рядом Дымко видел, что с товарищем неладно, но подойти к нему с добрым словом не мог. И все же не выдержал, выбрал минуту, когда мастер и немецкий часовой ушли в дальний угол цеха, и быстро подошел к Харченко.

— Что с тобой?

— Порядок, Сережа. Осталась одна ходка.

Дымко ласково прикоснулся к руке товарища и вернулся на свое рабочее место.

ГЛАВА 32

Адмирал Бодеккер захотел посмотреть службу в церкви. Он сказал об этом Шрагину, и в воскресенье утром они поехали в храм. Машину оставили за два квартала. Адмирал был в штатском, и на них никто не обратил внимания, тем более что церковь была полным-полна. Обедню служил Величко. Шрагин первый раз видел, как он это делает, и с волнением наблюдал за ним. Окладистая борода, на затылке грива, медленные и величественные жесты, густой красивый бас — просто роскошный поп.

Между тем служба текла как положено.

Адмирал Бодеккер внимательно всматривался в лица прихожан. Потом придвинулся к Шрагину и прошептал:

— Все-таки большевикам уничтожить религию не удалось.

Шрагин кивнул.

В церкви было очень тихо. Величко медленно и торжественно прошел к аналою, установленному перед царскими вратами. Толпа верующих со всех сторон придвинулась к нему. Величко начал проповедь.

— Мир вам и благоденствие,— начал он негромким глуховатым басом.— Но поговорим сегодня о карающей деснице божьей. Она обрушилась на всех нас как наказание за грехи наши. Давайте обратимся к душам и делам своим и поймем согрешения наши, ибо человек, понявший свой грех, уже встал на путь искупления... Нам заповедано превыше всего на свете любить ближнего своего, а это значит — любить народ свой. Все ли эту заповедь выполняют? Загляните в душу свою — не завелся ли в ней червь измены, предательства, продажности и прочей грязи?

Шрагин затаив дыхание смотрел на окружающих его людей — понимают ли они, о чем им говорит священник? Все стояли, покорно опустив головы, как грешники. Как узнать, что они думают?

Между тем проповедь продолжалась, и чем дальше, тем все яснее и обнаженнее была мысль священника. По его словам получалось, будто провидение давало прямо-таки прямое указание покарать злодеев и злодейство, не подчиняться злодейским законам, не становиться рабами злодеев и врагами ближних своих.

Служба окончилась, и люди двинулись к выходу, толкая со всех сторон Шрагина и Бодеккера. Они выбрались из церкви в центре толпы верующих. Адмирал с любопытством смотрел на лица окружающих его людей. А Шрагин в это время думал: надо немедленно предупредить Величко, чтобы он был осторожней. «Разве не герой этот человек? — думал он.— Не боится перед сотней совершенно незнакомых ему людей так открыто призывать к сопротивлению...»

— Интересно, о чем говорил священник?— прервал размышления Шрагина адмирал, когда они уже подходили к машине.

— То же, что говорят все священники мира. Не надо грешить.

— По-видимому, он говорил очень хорошо. Я видел, как все внимательно его слушали,— задумчиво сказал адмирал.

— Да, он говорил очень хорошо,— охотно согласился Шрагин...

В этот час Релинк, несмотря на воскресенье, находился на службе. Вместе с начальником радиослужбы Элербеком и специально вызванным из абвера специалистом по русским делам Грозовским они исследовали перехваченную ночью передачу радиостанции Гранта. Уже третий час они тщетно бились над тем, чтобы разгадать шифровку. Перед ними лежал лист бумаги с бессмысленным текстом:

«На основании 3407 небесное не рука книгу 001... Программа да ветер... 8282: совершенно или лошадь прима — 11 — итоги А двигатель: 0000 — тренировка»... и так далее. Но последним словом в этой абракадабре снова было «Грант».

— В общем ясно только одно — шифр вам не по зубам,— язвительно сказал Релинк.

— Шифры все время меняются и, кроме того, создаются новые,— официально ответил Грозовский.

— Вы мне скажите твердо хотя бы одно: те слова, которые мы расшифровали сейчас, они-то бесспорны? Или какой-то другой ключ породит и совершенно другие слова?— спросил Релинк.

— Слова могут оказаться другими,— никак не реагируя ни на язвительность, ни на горячность Релинка, сухо отвечал Грозовский.— Однако у нас есть надежда, что получение отдельных и грамотно сложившихся слов свидетельствует о том, что мы ищем правильно. И наконец, мы уже третий раз получаем все ту же подпись «Грант».

— Но она ведь не зашифрована и, может быть, даже умышленно дается открыто, чтобы... напомнить нам о капитане Гранте, детей которого описал Жюль Верн.

— Вы напрасно иронизируете,— все так же сухо сказал Грозовский.— Я уже просил, чтобы мне достали эту книгу на русском

языке. Очень может быть, что именно в ней и кроется ключ шифра. В нашем деле все может быть.

— Читайте, но не впадайте в детство,— по инерции язвил Релинк, хотя он понимал, что Грозовский работает серьезно и знает свое дело.

— Я все же удивлен, что вы не можете получить пеленгирующие станции,— заметил Грозовский, вставая.

Релинк промолчал. Он сам был не только удивлен, но и возмущен. Только вчера он снова говорил об этом с Берлином, и ему категорически заявили, что станций он не получит, так как они нужны на объектах, которые поважнее. Так, кроме всего, ему дали еще и понять, что он сидит далеко не на самом ответственном месте...

Когда Элербек и Грозовский ушли, Релинк подумал со злостью, что еще одно воскресенье испорчено. О перехваченной передаче ему звонили сегодня в семь утра, а накануне он работал без перерыва шестнадцать часов. Сейчас он чувствовал тяжелую усталость, но знал, что заснуть днем не сможет... Позвонил генералу Штромму, адъютант ответил, что генерал в гостях. Релинк вспомнил, что генерал звал идти вместе с ним в гости к той местной немке, у которой они однажды уже были.

Отпустив машину, Релинк пошел пешком. Был мягкий весенний день, и, хотя дождя не было и стояло безветрие, воздух был сырым и холодным. Релинк поднял воротник шинели, глубоко засунул руки в карманы и зашагал быстрее.

На углу, где он должен был свернуть в переулок, стояли, разговаривая, два парня. Приближаясь к ним, Релинк наблюдал за ними с чисто профессиональной настороженностью. Ему не очень нравилось, что один из них держит руку в кармане. Релинк автоматически нащупал свой пистолет и продолжал спокойно идти. Он был не из трусливого десятка.

Увидев приближающегося Релинка, парни сошли с тротуара.

Релинк уже миновал их, как вдруг земля под его ногами продолжительно и судорожно вздрогнула и тотчас раздался такой могучий громовой раскат, что из окон углового дома посыпались стекла. В первое мгновение Релинк подумал, что рядом с ним разорвалась граната, и инстинктивно сделал прыжок в сторону. Оглянувшись, он увидел тех двух парней — они смеялись.

Релинк почти бегом вернулся к себе в кабинет и позвонил в военную комендатуру.

— Что за взрыв?— спросил он.

— По предварительным данным, на аэродроме,— ответил дежурный.

— Позвоните мне, когда все узнаете.

Дежурный позвонил спустя пять минут.

— Сильный взрыв на аэродроме. Значительные потери в технике и людях...

Когда Релинк вместе с Цахом и Бульдогом приехали на аэродром, пожар еще бушевал, в серое небо упиралась стена черного

дыма. Большой пролет маневровой бетонной полосы, возле которой стояли самолеты, был выворочен из земли. Вокруг валялись обломки догоравших самолетов. Поодаль рядком лежали трупы. Некоторые из них были в офицерских мундирах воздушных сил. Солдаты бестолково суетились возле охваченных огнем ангаров.

Релинк сразу понял — диверсия. Огромная, хорошо подготовленная.

— Немедленно собрать все командование аэродрома,— приказал он Цаху и Бульдогу.— И ни один человек не должен уйти с аэродрома.

Прибежал полковник — начальник инженерной службы базы. Тучный, краснолицый, он задыхался после бега и с минуту стоял перед Релинком с раскрытым ртом, из которого вырывались только судорожные хрипы.

— Что скажете, полковник?

— Несчастье... грандиозное несчастье...— еле выговорил тот.

— Да что вы? Просто маленькое происшествие, и все,— издевательски заулыбался Релинк.

Полковник, ничего не понимая, пучил на него налившиеся кровью глаза.

— Покажите, где стояли самолеты,— приказал Релинк.

Полковник подвел его к краю развороченной маневровой полосы.

— Часть стояла здесь с положенными по инструкции интервалами, а другие — там,— он показал на горящий ангар.

На том месте, где стояли самолеты, зияло несколько глубоких воронок. Было совершенно ясно, что эти воронки образовались от взрыва мин.

— Взрывы в ангаре и здесь произошли одновременно?— спросил Релинк.

— Сначала в ангаре и через три секунды здесь,— ответил толстяк.

Вернулся Цах, который доложил, что никого из главного начальства на аэродроме нет.

— Где они? Где ваши главные болваны?— заорал Релинк.

— Поехали в город... смотреть новый кинофильм... Сегодня воскресенье,— ответил полковник.

— Этот кинофильм они запомнят на всю жизнь,— сквозь зубы процедил Релинк и повернулся к Цаху.— Выходы с аэродрома закрыты?

— Так точно.

— До нашего приезда кто-нибудь уходил с аэродрома?

— Дежурные всех проходных и выездных ворот заявили, что, кроме начальства, с утра никто не покидал аэродрома.

— Вызовите сюда всех своих людей и начинайте строжайшее расследование. Я пойду в штаб базы. Идемте со мной,— приказал Релинк полковнику.

В кабинете командующего базой генерала Витиха все блестело. Генерал славился своей неистовой любовью к штабной чистоте

и порядку. Релинк вспомнил ходивший во Франции анекдот, как генерал Витих, расположивший свой штаб в каком-то парижском отеле, распорядился вымыть здание пожарными брандспойтами внутри и снаружи. Сейчас Релинку хотелось взорвать этот сверкающий кабинет вместе с его хозяином. Однако надо заниматься делом, и Релинк с ненавистью уставился на потного полковника.

— Расскажите, как это произошло.

— Взрыв последовал в 12 часов 14 минут,— ответил уже пришедший в себя полковник.

— Где вы были в это время?

— Спал.

— Прекрасно. А кто-нибудь был на базе, кто помнил бы, что идет война, и находился бы на посту?

— Оперативный дежурный и его помощник.

— Позвать сюда дежурного, быстро.

Явился дежурный.

Ходивший за ним полковник предусмотрительно в кабинет не вернулся.

Дежурный был сильно взволнован и перепуган, его бледное лицо подрагивало, китель спереди был заляпан грязью, а кисть левой руки была обмотана бинтом, промокшим от крови.

— Взрыв произошел в 12.14,— рассказывал он.— Ровно в 12 я на машине объезжал аэродром и примерно за две минуты до взрыва проехал возле стоянки самолетов. Там у трех самолетов работали механики, они готовили машины к завтрашней переброске на Кавказ.

— Кто знал о переброске?— спросил Релинк.

— Это все знали,— ответил дежурный.— На базе такие дела обычно все знают.

— Дальше.

— Я отъехал от стоянки метров двести, когда мою машину остановил инженер мастерских, который...

— Фамилия инженера?

— Пфлаумер, Генрих Пфлаумер.

— Почему он находился не в мастерских?

— Он искал меня.

— Какое у него было к вам дело?

— Он не успел сказать. Я вылез из машины, мы только успели поздороваться с ним, как произошел взрыв, меня швырнуло на землю.

— Как вел себя Пфлаумер, когда раздался взрыв?

— Он был убит.

Релинк чуть не сказал: «Прекрасно». В это время в его мозгу уже складывалась версия, которую он, наверное, преподнесет Берлину, если не найдет подлинных диверсантов. Им станет Пфлаумер, но, поскольку он убит, вместе с ним в могилу ушли и подробности организации взрыва, а фоном для этого будет беспечность командования, которое фактически оставило базу на произвол судьбы. В такой обстановке может случиться что угодно.

— Пфлаумер был хороший работник?— небрежно спросил Релинк.

— Очень хороший.

— Вы можете за него поручиться?

В тоне Релинка дежурный почувствовал угрозу и решил уточнить свое мнение.

— Я имею в виду, что он был грамотным специалистом,— сказал он.

— Эти вот грамотные и оказываются на поверку главными врагами Германии,— холодно и все же примирительно заметил Релинк.— Вспомните-ка лучше, какие у вашего очень хорошего Пфлаумера были неприятности за последнее время.

— Вы имеете в виду эту историю, когда он продал мотоцикл гражданскому лицу?

— Хотя бы... Для начала.

Пока дежурный рассказывал о том, как Пфлаумер собрал мотоцикл из разбитых машин и потом продал его кому-то в городе, Релинк уже сформулировал новое обвинение покойнику: передача подпольщикам мотоцикла.

— Так. А еще?— спросил Релинк.

— Еще с ним было что-то в Польше.

— Что именно?

— Я тогда вместе с ним не служил, я только слышал от кого-то... Он там высказывал какие-то ошибочные мысли по поводу уничтожения Варшавы.

Распахнулась дверь, и в кабинет вошел в сопровождении двух своих заместителей генерал Витих. По их виду можно было понять, что в городе они были не в кино, а занимались гораздо более веселым делом. С лица одного из заместителей не сходила пьяная улыбка.

Релинк отпустил дежурного и, когда тот вышел, обратился к командующему базой:

— Что скажете, генерал?

Витих сжал голову руками, повалился на диван и зарыдал...

Релинк вернулся к себе поздно вечером и застал в своем кабинете генерала Штромма. «Этот бездельник, как ворон, чует, где пахнет трупом»,— подумал Релинк, но, не выдавая злости, приветливо поздоровался с генералом и потом долго и обстоятельно раздевался у вешалки, сдувая пылинки с фуражки, причесывался перед зеркалом.

— Ну, что там?— нетерпеливо спросил Штромм.— Действительно ужасно?

— Чтобы точно оценить происшедшее, туда надо съездить,— не удержался от шпильки Релинк.— Да, это самое серьезное происшествие за все время.

— Напали на какой-нибудь след?

— Не хочу торопиться с выводами, кое-что, однако, наметилось.

Но сколько Штромм ни добивался узнать, что именно сумел выяснить Релинк, ничего определенного он не услышал.

— Я все-таки прошу вас съездить на место происшествия,— устало произнес Релинк.

— Утром съезжу,— недовольно отозвался генерал.— А сейчас я больше не буду вам мешать. Желаю успеха.

Штромм ушел вовремя. Спустя несколько минут Релинка по прямому проводу вызвал Берлин, и он услышал телеграфную речь своего шефа.

— Доложите, что случилось. Короче: факты и результаты расследования.

Релинк коротко рассказал о диверсии и довольно складно изложил свою версию насчет инженера мастерских Пфлаумера.

— Одному человеку такая диверсия непосильна,— сказал Олендорф.

— Найдем и остальных.

— Поищите их в тюрьме,— неожиданно для Релинка последовал совет из Берлина.— Найдете там человек двадцать. Наказание должно последовать в течение трех дней.

— Может, лучше оформить их как заложников? Это произведет полезный моральный эффект в городе,— предложил Релинк.

— Действуйте, как найдете нужным. Шифровку об инженере мастерских я должен иметь завтра утром.

— Будет исполнено!— почти радостно воскликнул Релинк. Он уже видел, что Олендорф не меньше его заинтересован в любом варианте расследования. Главное, чтобы все было сделано быстро и решительно.

В этот час главный участник диверсии Федорчук лежал в госпитале авиабазы. С приступом острого воспаления почек его положили туда еще за два дня до взрыва. Когда взрывчатка была уложена в дренажные колодцы у стоянки самолетов, в ангаре и в мастерских и оставалось только подключить часовой механизм взрывающего устройства, у Федорчука и начался приступ. Он свалился прямо на работе, и его, корчившегося от боли, увезли в госпиталь. Было совершенно ясно, что сложнейшую операцию почек ему делать никто не будет, а уличить в симуляции этой болезни очень трудно, особенно если больной хорошо проинструктирован врачом. Сам Вальтер еще в пятницу взял разрешение уехать в город на субботу и воскресенье в аэродромном автобусе в компании двух десятков военнослужащих, которые, как и он, получили увольнительные на субботу и воскресенье. Но в ночь на воскресенье он вернулся на велосипеде, пробрался на аэродром через песчаный карьер, включил механизм и снова уехал в город. На все это у него ушло меньше двух часов, так что он успел вернуться в компанию, с которой он пьянствовал в ресторане. Он покидал компанию с Зиной Дымко, которая в этот вечер играла роль его девушки. Так что когда спустя два часа он вернулся уже без нее, никто из собутыльников даже не спросил, где он пропадал...

ГЛАВА 33

Ни Релинк здесь, ни тем более Отто Олендорф далеко в Берлине не поняли сразу всего значения диверсии на аэродроме. Дело было совсем не в количестве уничтоженных самолетов и убитых летчиков. Взрыв встряхнул душу горожан. Событие мгновенно обросло легендами, в которых безудержно преувеличивались результаты взрыва, но было и довольно точное описание того, как этот взрыв был организован и выполнен. Здесь народная фантазия была неистощима. Одни рассказывали, будто на аэродром был совершен налет целым отрядом героев, которые половину самолетов взорвали, а на остальных улетели через фронт к своим. По рассказам других, аэродром в течение двух суток находился в руках подпольщиков и они на немецких самолетах отправили на Большую землю своих раненых товарищей. Был еще рассказ, будто взрыв был произведен по сигналу из Москвы и что в тот же день, час и минуту таких взрывов были тысячи по всей оккупированной территории. Оттого, мол, так и дрогнула земля под ногами, от одного взрыва так не дрогнет.

Во всех рассказах непременно подчеркивали, что дело это было хорошо организовано, что в нем участвовало много людей и что так или иначе люди, которые готовили взрыв, находились в прямой связи с Большой землей.

Агентура исправно донесла до Релинка все эти легенды. Осведомленный лучше других о диверсии, он прекрасно видел, что́ в этих легендах правда и что́ вымысел. Однако холодный анализ привел его к выводу, что в основе всех легенд находится неопровержимая правда. Ясно, что такую большую диверсию один человек совершить не мог. Ясно, что диверсию готовили очень опытные и смелые люди. Кто-кто, а Релинк знал, что ни один подлинный участник диверсии не пойман и напасть на их след пока не удается. И наконец, у Релинка не было ни малейшего основания не видеть связи между взрывом и работой радиостанции «Гранта».

Только теперь до Релинка дошло все опасное значение этой диверсии. Опасными для него были даже фигурировавшие в агентурных донесениях добавления, при каких обстоятельствах агент слышал ту или иную легенду. Люди, рассказав легенду, добавляли: «Кончилась у немца спокойная жизнь». Или: «Взрыв — это только начало». Или: «Все одно к одному. Осенью на немецком складе пристрелялись, а теперь начали бить как следует». Или: «Взрыв — это сигнал для всех, кто еще не стал полной сволочью...»

Релинку доносили и другое — как реагировали на взрыв немцы и, в частности, даже его сотрудники. А в штабе армии высокопоставленный офицер сказал Релинку с издевкой: «Ну вот, теперь и вы узнали, что у русских есть не только шея для петли, но и крепкие кулаки...»

Угнетающее впечатление произвел на Релинка разговор со штурмбаннфюрером Цахом. Он ждал, что взрыв подхлестнет Цаха и заставит его действовать более решительно. Но вместо того он увидел его если не подавленным, то, во всяком случае, растерянным.

— Это же немыслимо понять,— говорил Цах.— Почти год мы работали впустую, и я целое кладбище сделал не из тех, из кого нужно было его делать.

— Чепуха!— отвечал Релинк.— Теперь мы видим, как мы были либеральны и недеятельны.

— Да?— иронически воскликнул Цах и, вынув из кармана конверт, молча протянул его Релинку. Достав из конверта листок бумаги, Релинк прочитал: «Вальтеру Цаху. (На случай неполучения предыдущих уведомлений.) Ставим тебя в известность, бандита и палача, что ты приговорен к смерти. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит и будет приведен в исполнение в назначенный нами срок». Вместо подписи нарисованы серп и молот.

— Это уже третье уведомление,— сказал Цах.— Это я получил сегодня утром. Его нашли на полу в комнате, где происходит прием родственников арестованных.

— Взять всех, кто был сегодня на приеме, и вырвать признание,— приказал Релинк.

Цах поморщился:

— Пустой номер. Мы знаем только тех, от кого приняли передачи и письма, а комната была набита битком. Первые два уведомления пришли по почте.

— Дешевый трюк для слабонервных,— резюмировал Релинк и швырнул письмо Цаху.— Давайте заниматься делом. Надо как можно эффективнее казнить двадцать заложников. Это будет нашим ответом.

— Когда?— вяло поинтересовался Цах.

— В ближайшее воскресенье.

— Тогда этим займется мой заместитель,— глядя куда-то в сторону, сказал Цах.

— Это что еще за фокус?— насторожился Релинк.

— Никаких фокусов. Еще до взрыва я согласовал с высшим начальством свою поездку в Бухарест к брату. Он тяжело ранен и лежит в госпитале.

— Никуда вы не поедете!— Релинк ударил ребром ладони по столу.— Я не хочу заводить дело о трусости начальника полиции СД.

— Брат уже извещен о моем приезде. Он в очень тяжелом состоянии.

— Да что вы несете, Цах? Идет великая война, а не месячник семейных сантиментов! Поймите наконец, что если вы настоящий наци, вы после получения этих грязных писем, в час, когда будем вешать бандитов, должны быть на самом виду. Это ваш ответ на грязные письма. Угрожать подметными письмами могут только

отпетые трусы, но и они, если увидят, что вы сдали, могут оказаться храбрыми.

— Хорошо,— холодно и безучастно произнес Цах.— Я проведу акцию и потом все-таки съезжу к брату.— Цах помолчал и продолжал в том же тоне:— Я трусом никогда не был, и вы прекрасно знаете это, вы знаете, что я здесь сделал для укрепления порядка. Но я не лишен права думать о происходящем и... любить своего единственного брата.

— О чем думать?— смягчил тон Релинк.

— Я не верю, что взрыв не заставил вас задуматься,— все также холодно продолжал Цах.

— О чем?

— О том, достаточно ли умело и правильно мы выполняем здесь свой долг перед Германией и фюрером.

— Не знаю, как вы, я отдаю нашему делу все.

— Это несомненно,— согласился Цах, смотря на массивный подбородок Релинка.— Но тогда в Берлине могут решить, что вы просто не обладаете достаточными данными, чтобы справиться с порученным вам делом.

— Я вынужден напомнить вам, Цах, слова фюрера о том, что возможности каждого рядового немца неограниченны, как неограниченны возможности его рейха, а это значит: сейчас вы признаетесь, что исчерпались до дна. Я сделать такое признание не посмею, просто не посмею.

— А по-моему, нам просто не следует так разговаривать,— спокойно сказал Цах.— Уже пора перейти от абстракции к факту. Взрыв на аэродроме по истечении года нашей работы здесь — это факт, свидетельствующий не в нашу пользу. Наш долг — трезво разобраться в том, что произошло. А если мы будем делать вид, будто ничего особенного не случилось, мы не выполним другого указания нашего фюрера: о том, что враг, как правило, имеет успех там, где мы выпускаем из своих рук инициативу.

— Хорошо. Я согласен на досуге поговорить с вами об этом. Но сегодня наша инициатива должна выразиться в нашем ответе на случившееся, ответе, который скажет врагу, что мы решительны и беспощадны до конца. Я прошу вас, Цах, сейчас же заняться акцией.

— Хорошо.— Цах встал.— Но все же поговорить нам следует.

— Мы обязательно поговорим,— дружески и интимно сказал Релинк и добавил многозначительно:— Сразу после акции, у меня дома. Договорились?..

Особую ярость вызывал у Релинка генерал Штромм. Этот бездельник не только занял позицию стороннего наблюдателя, он был почти открыто рад случившемуся. Он, видите ли, уже давно сигнализировал Берлину о недостаточной решительности местной СД. О, генерал знал, что делал, когда посылал в Берлин эти свои реляции! К решительности призывал приезжавший сюда сам Гиммлер, и теперь сигналы Штромма свидетельствовали о его дальновидности и проницательности. Этот точный расчет генерала и вызывал

ярость Релинка. Он знал цену уму генерала, а на поверку выходило, что этот дурак с громовым голосом действовал беспроигрышно.

Вечером Релинку позвонил из Берлина Олендорф. С первых же его слов Релинк понял, что дело плохо: не жди добра, когда Олендорф перестает говорить своим обычным телеграфным стилем.

— Доложите, что вы предприняли после диверсии,— предложил Олендорф.

Релинк начал рассказывать о готовящейся казни двадцати красных и о ходе следствия по «группе аэродромного инженера Пфлаумера». Но Олендорф недолго слушал его, прервал и потребовал внимательно выслушать его указания.

— Тех двадцать необходимо казнить открыто, как заложников по делу диверсии. И никаких попыток выдать их за участников взрыва.

— Я именно так...— хотел вставить Релинк, но Олендорф снова оборвал его:

— Прошу вас слушать меня. Итак, эти двадцать — заложники, и необходимо дать понять, что этими двадцатью расплата города не кончится, это первое. Второе: необходимо прочистить тюрьму. Мне стало известно, что у вас в камерах сидят по тридцать человек. Вы что, собираете коллекцию? В течение трех-четырех дней извольте оформить приговоры на всех, у кого хоть пушинка на рыле. Третье: еженедельно облавы по городу — квартал за кварталом, дом за домом. Раз город прячет врагов Германии, он должен нести за это ответственность. Вы должны знать поправку, которую внес фюрер в приказ о наказании местного населения за смерть одного немца. Проект приказа говорил: за одного немца от пяти до десяти советских. Фюрер исправил: от пятидесяти до ста. Вот вам генеральное указание, как поступать. На войне несправедливая смерть — повседневность. И все это надо разъяснить населению в соответствующих приказах, кратких и ясных. Диверсии красных должны стать кошмаром для города, а не для нас. Понимаете, в чем ваша задача?

— Все будет сделано,— четко, по-военному ответил Релинк.

— Дальше: дело инженера Пфлаумера прекратить. Сегодня же арестуйте и отправьте самолетом в Берлин работающего на аэродроме механика Вальтера Шницлера. Записали?

— Будет исполнено.

— О том, как вы исполняете свои обязанности, мы будем судить по дальнейшему положению в вашем городе,— холодно закончил разговор Олендорф.— И должен предупредить: сейчас все зависит только от вас, а то, что вы делали до сегодняшнего дня, свидетельствует против вас. У меня все.

Олендорф давно дал отбой, а Релинк еще долго сидел, приложив трубку к уху, точно надеясь, что Берлин скажет ему что-то еще. Но Берлин молчал. Релинк швырнул трубку на рычаг и нажал кнопку. В дверях возник адъютант.

— Всех офицеров сюда!— крикнул Релинк.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

СХВАТКА

ГЛАВА 34

Такое на нашей земле случается не в первый раз... В 1812 году жестокое Бородинское сражение окончилось тем, что Кутузов со своими войсками отступил к Рязани, а Наполеон занял Москву. По свидетельству очевидцев, армии Наполеона входили в русскую столицу «без ликования и блеска победителей, на их нестройных колоннах лежала печать огорчения, злобы и уныния...» Для того чтобы понять, что же на самом деле в те времена произошло на войне, надо еще раз перечитать толстовские страницы «Войны и мира», рассказывающие о том, как дрались артиллеристы батареи капитана Тушина. Они тоже отступили, израненные, оставив на поле боя павших, но перед тем, как отступить, выиграли сражение. Гитлеру не дано было и этого. Весну и лето 1942 года гитлеровская армия наступала. Но впереди Германию ждала трагедия шестой армии в Сталинграде. И в это знойное лето она шла к дням своего траура, когда ее военачальники и обыватели почувствуют ужас поражения, которое неотвратимо двинется на них от Волги. Немецкие дивизии наступали на Сталинград уже побежденными.

Что же произошло между этим летом и сталинградской зимой? Что опрокинуло все расчеты и прогнозы немецких генералов и военных наблюдателей? Они вели подсчет взятых советских городов и разгромленных дивизий, но не понимали, что в каждой дивизии была своя батарея Тушина, что в каждом городе тоже были свои батареи Тушина.

И вот почему разбитый, окровавленный южный город, о котором идет рассказ, так и не стал для оккупантов спокойным и по-

коренным. Заложников повесили в четверг утром. Накануне в местной газетке на первой странице было напечатано объявление о предстоящей казни.

Объявление писал сам Релинк. Он подолгу обдумывал каждую фразу и потом позаботился о том, чтобы при переводе на русский язык не пострадали лаконичность и точность объявления. Вызвал к себе одновременно двух переводчиков и вместе с ними отредактировал текст. Он придавал этому объявлению большое значение. Когда работал над ним, вдруг подумал о том, что это объявление является документом, оправдывающим все задуманные им террористические акции против населения.

Казнь заложников была назначена на четверг. А накануне Релинк записал в своем дневнике:

«Только что приехал из тюрьмы, где присутствовал при объявлении смертного приговора двадцати заложникам. Допускаю возможность случайного совпадения, что один из заложников действительно имел какое-то отношение к диверсии на аэродроме. Но что прикажете думать, если все двадцать выслушали приговор совершенно спокойно, как должное и как закономерное? Только один заплакал. А выслушав приговор, они начали обниматься, пришли в непонятное нервно-радостное возбуждение, кричали что-то... Двое пытались что-то запеть, но остальные их не поддержали. Но одним из тех, кто пытался петь, был тот, который вначале заплакал. О, таинственный русский характер!..»

Виселицу построили ночью возле базара.

Поставили ее так, что стоило вам выйти на любое место главной улицы города, как вы видели ее.

В объявлениях казнь была названа публичной, однако там не было сказано, что население обязано на ней присутствовать. Релинк хотел приказать, чтобы на казнь явились все не занятые на работе, но против этого восстали Цах и военный комендант города. У них не было достаточно сил, чтобы обеспечить порядок на месте казни, если туда придут несколько тысяч людей, а неконтролируемая толпа может помешать казни или способствовать побегу заложников.

В это утро Шрагин вышел из дому, когда солнце было еще так низко, что не могло заглянуть на улицу, и она была окутана сумеречной дымкой. Шрагин торопился на завод, чтобы узнать, стал ли на ремонт большой военный корабль, о котором запрашивала Москва, а затем он собирался под каким-нибудь предлогом уйти с завода, чтобы присутствовать на казни.

У заводских ворот он встретил Павла Ильича Снежко. Последний раз они встречались зимой. Тогда Снежко похвастался ему, что история с краном кончилась для него благополучно и он даже назначен бригаденфюрером и что под его началом теперь почти двести рабочих. Он был очень доволен собой. «В общем, не промахнулись мы с вами, Игорь Николаевич...» — сказал он тогда.

Сейчас Снежко выглядел растерянно, в глазах у него стояли вопрос и недоумение.

— Сегодня вешают моего соседа, его взяли на улице неделю назад,— сказал Снежко, приблизив свое лицо к уху Шрагина.— Это верующий человек, он при Советах всякого натерпелся. Я его знаю почти тридцать лет. Ведь так же они завтра могут схватить и меня. Ведь могут?

— Что могут, то могут,— отвечал Шрагин. Он в этот момент тоже думал о сегодняшней казни, о том, что она означает и что вызовет. И было ясно, что начатый немцами тотальный террор испугал и привел в растерянность даже тех, кто верой и правдой им служит.

Шрагин пожелал Снежко не оказаться на виселице, попрощался с ним за руку и пошел в дирекцию. В коридоре он столкнулся с адмиралом Бодеккером.

— Зайдите ко мне через пять минут,— бросил на ходу адмирал.

В приемной все было на месте, но в воздухе чувствовалась какая-то напряженность. Майор Капп говорил по телефону. Адъютант адмирала Пиц и два немецких инженера делали вид, будто не прислушиваются к его разговору.

...— Я этого не знаю,— нервно говорил по телефону майор Капп.— Но почти семьдесят рабочих не вышли на работу, и это похоже на стачку. Если учесть, что у нас начинается срочный ремонт очень важного объекта флота...— Слушая затем своего собеседника, майор Капп от нетерпения непрерывно кивал головой.— Я еще не могу сказать, что стачка, но факт я вам сообщил.

Через приемную быстро вернулся в свой кабинет адмирал Бодеккер, и Шрагин пошел за ним.

— Ну, что вы скажете об этом?— громким шепотом спросил адмирал, как только Шрагин закрыл за собой дверь.

— О чем, господин адмирал?

— Они устраивают здесь публичные казни, как в Древнем Риме, а ведь нам после этого нужно работать с местными людьми и требовать, чтобы они хорошо трудились.

— Но, может быть, как раз страх и заставит их работать лучше?— возразил Шрагин.

Адмирал удивленно посмотрел на него и промолчал. Потом сказал:

— Но вы посмотрите, что происходит. Везде мы обнаруживаем отсутствие настоящего немецкого порядка. Хорошо, пусть они вешают, но пусть не мешают нам. Возьмите историю с плавучим доком. Мы тратим деньги, вызываем специалистов из Голландии, чтобы поднять, наконец, этот док и сделать его работоспособным, а док, оказывается, румыны считают своим, и наше военное начальство до сих пор не может их переубедить.

Теперь молчал Шрагин. Очевидно, адмирал вдруг вспомнил, в каком доме живет Шрагин, с кем там общается, и решил больше не откровенничать.

— Я хотел бы на часок уйти с завода — разрешите? — спросил Шрагин.

— Идите, идите, — сразу согласился адмирал, который не успел, очевидно, придумать, зачем он приглашал Шрагина к себе...

Шрагин вышел на главную улицу, которая вела прямо к базарной площади. И сразу увидел виселицу, возле которой чернели фигуры людей. Оттуда, от виселицы, навстречу Шрагину на дикой скорости промчалась легковая машина серо-зеленого цвета.

«Неужели они идут смотреть казнь?» — думал Шрагин, двигаясь по улице вслед за другими людьми. Но он видел, скорее чувствовал, что люди стараются даже не смотреть туда, где стоит виселица. Мало ли у кого какие дела? По направлению к виселице промчались два мотоцикла. Люди, которые шли по улице, и эти серо-зеленые, думающие, что они тоже люди, существовали явно отдельно, и каждый занимался своим делом. Люди города были заняты жизнью, какой бы она у них ни была, а серо-зеленые были заняты смертью.

Шрагин подошел к базару и остановился возле силовой трамвайной подстанции, похожей на церковь. Отсюда хорошо был виден весь базар. Там, на базаре, все было как всегда и в то же время по-другому. Обычно людей сгоняла сюда нужда или жажда наживы, и всегда по лицам, по повадкам или даже по глазам можно было узнать, зачем человек пришел сюда. Но сегодня все, кто был на базаре, мрачно посматривали на виселицу, возле которой уже собралось немало серо-зеленых машин. И все люди на базаре выглядели одинаково.

Шрагин зашел в гущу базарной толпы и вместе со всеми смотрел на происходящее. Четыре крытых грузовика стояли вплотную друг к другу перед виселицей, как бы отгораживая ее от базара. Подъехали сразу три легковые машины. Среди начальства Шрагин узнал генерала Штромма и Релинка. Они держались вместе. Отойдя в сторону, разговаривали, облокотившись на афишную тумбу. Все последующее происходило быстро, четко, в каком-то странном и страшном ритме. Со слитным стуком откинулись задние стенки грузовиков. Солдаты вытолкнули из кузовов обреченных — из каждой машины по пять человек. Руки у них были связаны за спиной. Многие упали, спрыгивая с машины. Их подняли и поставили на ноги солдаты, выстроившиеся двумя цепочками от машин к виселице. По этому коридору обреченные прошли к эшафоту.

На скамейку поставили первых трех. Три солдата, сидевшие на высоких стремянках, набросили петли на шеи обреченных. В тот же момент солдаты, которые стояли внизу, выбили скамейку из-под ног казнимых, и они повисли, чуть болтнувшись от рывка или от конвульсий. А скамейку уже переставили чуть правее, и на ней — новая тройка обреченных. Все происходило быстро и неумолимо четко, и невозможно было поверить, что те трое уже мертвы.

И опять трое на скамейке. Солдаты со стремянок берутся за петли, и вдруг в глухой тишине площади раздается громкий, ясный голос:

— Всех не перевешаете! Смерть оккупантам!..

Немец на стремянке торопливо надевает петлю на кричащего кудрявого и бородатого человека, но тот делает резкое движение головой и не дается. На скамейку вспрыгивают двое солдат, они мгновенно надевают петлю на того, который кричал, спрыгивают на землю и тотчас опрокидывают скамейку...

И вот все двадцать повисли в ряд на длинной перекладине. Сначала уехали легковые машины, потом зверино взревели моторами и двинулись с площади грузовики. Солдаты построились в колонну и четким квадратом двинулись к центру города. Возле виселицы остались только четыре автоматчика.

Шрагин смотрел на окружавших его людей и не видел их лиц, он видел только белые или серые пятна и чувствовал, как вся толпа в молчаливом ужасе медленно отступает в глубину базара.

«Ваши палачи, товарищи, от кары не уйдут. Мы их знаем, мы их найдем всех до одного. До одного!» Так говорил себе Шрагин, шагая по пустынной улице, и все тело его наливалось яростью, новой силой. Сам того не замечая, он шагал все быстрее.

ГЛАВА 35

На этой улице, в лучших домах города, жили немцы. Из распахнутых окон гремело радио — Берлин передавал утреннюю военную сводку. И пока Шрагин шел по этой улице, он узнал, что немецкие войска прорвались к берегу Волги и видят горящий Сталинград.

Уже вторую неделю гитлеровские армии наступали, и радио, как летом сорок первого года, с утра до вечера кричало о скорой победе. Шрагин старался меньше думать об этом, но легко сказать — не думать. Немцы повеселели. А город стал еще сумрачней. На днях Федорчук сказал с горькой усмешкой:

— Да... Мы их ложкой по лбу, а они нас — танками, танками...

Шрагин промолчал. Он чувствовал, что не находит достаточно веских слов, чтобы рассеять настроение товарища. И разозлился: почему он должен объяснять? Все ясно! «У нас здесь свой фронт, мы солдаты и обязаны вести бой, несмотря ни на что!»

В городе положение с каждым днем осложнялось. Создавалось впечатление, будто гитлеровцы решили сопроводить наступление своих войск усилением оккупационного режима. Сразу после казни заложников почти каждую ночь в городе проводились облавы и массовые аресты. Один за другим отправлялись в Германию эшелоны угнанных в рабство. Вывозили даже тех, кто имел работу.

Шрагин прекрасно понимал, что его товарищи по группе в любой день могут оказаться под ударом, и на каждую встречу со связным шел с ожиданием беды. Вот и сегодня ему предстояла такая тревожная встреча...

Войдя в кабинет адмирала Бодеккера, Шрагин увидел его возле укрепленной на стене большой карты. Он не подходил к ней со времени московского контрнаступления наших войск. В радиоприемнике рокотали барабаны, ревели фанфары — обычная музыка после передачи военной сводки.

Адмирал жестом подозвал Шрагина и, показывая на карту, сказал:

— Слышали? Мы вышли к Волге. А?

— Поразительно,— с трудом произнес Шрагин.

Адмирал резко повернулся, внимательно посмотрел на него и сказал негромко:

— Но и столь же опасно...— Он снова, прищурясь, смотрел на карту. Потом показал рукой куда-то вверх и оттуда провел в воздухе линию до Волги.— Почти три тысячи километров! Три тысячи!

— Поразительно,— тихо повторил Шрагин.

И снова адмирал внимательно посмотрел на него, и в его светло-карих глазах мелькнуло непонятное Шрагину выражение.

— Я вижу, что вы в военных делах разбираетесь не больше майора Каппа,— огорченно вздохнул адмирал.— Он заявил мне сегодня, что Германия накануне полной победы. А сейчас для Германии нет ничего опаснее непонимания, что война не только вот это...— адмирал показал на ревущий приемник, но вдруг быстро встал и выключил передачу. Вернувшись к карте, он продолжал:— Неужели действительно вы не понимаете, какая опасность в том, что коммуникации, питающие фронт, растянуты на три тысячи километров? И это когда с севера почти по всей их длине над ними висит противник и когда две ее трети — под ударами партизан? Фокусов и чудес на войне не бывает. Да, если Паулюс со своей армией задержится здесь, у Волги, хотя бы на месяц, русские должны быть идиотами, чтобы не воспользоваться такой идеальной для них возможностью сделать котел для шестой армии. Понимаете?

Шрагин озадаченно молчал, как школьник, не знающий урока. А сам в это время мысленно умолял адмирала продолжать урок — ведь то, что он говорил, было необычайно важно.

— Не обижайтесь, пожалуйста,— улыбнулся адмирал, приглашая Шрагина к столу.— Не вы один этого не понимаете. Вчера командующий нашей армией созывал совещание. Так даже он, знаете ли, трубил в фанфары. А ваш знакомый — господин Релинк — дошел до того, что свою деятельность здесь назвал подкреплением исторической победы с тыла. Но ничего, к счастью, более ответственные люди, чем они, там, в Берлине, об этой опасности думали еще раньше. Месяц назад, когда я летал в Берлин, мои друзья, куда более квалифицированные в вопросах войны, чем

я, прямо говорили об этом...— Повернувшись к карте, адмирал продолжал:— Конечно, замысел фюрера заманчив — перерезать Россию пополам, отрезать Урал, как базу материального питания советских войск, и положить Москву и все русские силы в глухой мешок. Но вот это...— адмирал снова провел рукой в воздухе путь от Германии к Волге,— это очень опасное обстоятельство. Очень!— Адмирал помолчал, приглаживая ежик седых волос, и сказал с усмешкой:— Но давайте и мы с вами займемся подкреплением победы с тыла. Я прошу вас, по вашему выбору, взять трех инженеров и произвести технический осмотр силового цеха. Надо выяснить, почему завод не получает достаточно энергии. Мне говорят — саботаж. Так ли это?..

Весь день Шрагин с комиссией работал в силовом цехе, а вечером пошел на кладбище, где у него была назначена встреча со связным Григоренко. Он все время помнил услышанное от адмирала и огорчался, что сможет передать это в Москву только завтра...

Григоренко немного опоздал, и Шрагин уже начал беспокоиться, не случилось ли с ним беды, но в это время увидел связного.

— Извините, Игорь Николаевич,— стараясь справиться с одышкой, начал Григоренко.— Поехал на трамвае, а на полпути ток выключили, пришлось поднажать...

Ничего утешительного Шрагин от связного не услышал.

...На бойню, где работал Демьянов, почти совершенно прекратилось поступление скота, и ее, очевидно, закроют. Демьянов подыскивает новую работу, но пока безрезультатно. Зина Дымко узнала, что есть приказ — в течение трех месяцев никого не брать на работу. На бирже отдел найма закрыт. Ковалев просит по крайней мере месяц не ждать от него никаких действий, сообщает, что на железной дороге идут повальные аресты, а у него случилась беда: он дал мину одному паровозному машинисту, которого в тот же день арестовали. Правда, Ковалев уверен, что машинист не выдаст, но мало ли что... Харченко и Дымко узнали, что у них на макаронной фабрике в ближайшее время все рабочие из местных жителей будут уволены... По-прежнему без работы и Федорчук, но он считает, что, пока его Юля работает, он в безопасности. Напоминает, что взрывчатка на исходе.

Закончив сообщение, Григоренко сказал угрюмо:

— Остается еще добавить, что и подо мной земля вроде теплится.

Шрагин вопросительно посмотрел на него.

— Хозяйку мою вызывали в полицию. Мной интересовались,— пояснил Григоренко.— Правда, хозяйка говорит, что обошлось...

— Приказ всем — осторожность и еще раз осторожность,— сказал Шрагин.— Каждому продумать, как выскользнуть в случае, если облава застанет дома. Все встречи на время прекратить...

Выслушав распоряжения Шрагина, Григоренко помолчал, будто запоминая их, и вдруг сказал:

— Хочу у вас спросить... Только не серчайте, может, я чего и не смыслю. Я вот все думаю об этих повешенных. Ведь как ни верти, мы виноваты в их смерти. Или нет?

Тревога похолодила сердце Шрагина. Он понимал, что подобные опасные настроения могут возникнуть. Но он не допускал и мысли, что подобные настроения возникнут в его группе!

Шрагин смотрел на связного и в прищуре его глаз видел не сомнение, а убежденность. Эта его убежденность была тем опасней, что он носил ее с собой на встречи со всеми товарищами по группе. Нужно было немедленно и не горячась разъяснить ему его заблуждение. А если это не удастся, Григоренко не может оставаться связным...

— Идет война, Григоренко,— спокойно начал Шрагин.— Представьте себе, что на фронте погибает солдат, а оставшийся в живых думает, что немец убил его товарища потому, что они вместе стреляли в него. Тогда вывод один: бросай оружие, сдавайся в плен врагу или беги с поля боя куда глаза глядят...

Шрагин внимательно наблюдал за Григоренко, который слушал его, опустив глаза и согласно кивая головой, но, как только Шрагин закончил говорить, он резко выпрямился и снова, глядя на Шрагина с каким-то ехидным прищуром, сказал:

— Все же какой-то расчет должен быть. Немец вон как рассвирепел, и выходит, что мы тем взрывом и сами себя подорвали.

— Взрыв уничтожил на аэродроме более двадцати самолетов-бомбардировщиков,— продолжал Шрагин.— Сколько наших людей на фронте и в нашем тылу погибли бы от бомб, сброшенных с этих самолетов? Тысячи. А Федорчук их спас. Может, вы считаете, что эти тысячи жизней не стоят наших?

— Это правильно... это правильно...— тихо повторил связной, отрешенно смотря прямо перед собой.

— Мы действовали и будем действовать,— сказал Шрагин.— Я почти каждый день передаю в Москву ценную информацию. Москва знает о каждом нашем шаге. За взрыв на аэродроме Федорчук награжден орденом.

— И остальных Москва тоже знает?— спросил Григоренко.

— Конечно. В первомайском приказе нас отметят, каждого по заслугам.

— Так уж не забудьте там в молитвах своих,— неуклюже пошутил Григоренко.

— Забыть вас я не мог и думал представить к ордену,— не замечая тона Григоренко, серьезно сказал Шрагин.

— А теперь передумали?

— Пока особых оснований к этому не было. Я рад, что вы откровенно рассказали о своих сомнениях. А теперь идемте...

Представителя подполья Бердниченко на явочной квартире не оказалось. Шрагин уже имел возможность убедиться, что Бердниченко очень точный во всем человек. Значит, что-то случилось. Странно вела себя хозяйка квартиры. Она поминутно заглядывала в комнату, где находился Шрагин, точно проверяя, не ушел ли он.

Если бы Бердниченко не сказал ему в свое время, что хозяйка вполне надежный человек, он уже давно покинул бы квартиру.

Подойдя к окну, Шрагин в щель между занавесками смотрел на улицу. Сумерки сгустились, и Григоренко, который должен был стоять на перекрестке, уже не было видно. Вдруг на другой стороне улицы Шрагин увидел человека. Это был не Григоренко. Человек медленно шел по тротуару, смотря на дом, в котором находился Шрагин.

Шрагин решил выждать несколько минут и уходить. На всякий случай проверил, нет ли в его карманах чего-нибудь, что может его изобличить или вызвать подозрение. Он вышел в переднюю и стал надевать пальто. В это время в дверь осторожно постучали. Из кухни вышла встревоженная хозяйка, она вопросительно смотрела на Шрагина.

— Открывайте,— шепнул он и стал у самой двери за шкаф.

Хозяйка приоткрыла дверь на цепочку.

— Вам кого?— сердито спросила она.

Хриплый мужской голос произнес явочный пароль.

Хозяйка сняла цепочку и открыла дверь.

— Здравствуйте... Анна Петровна, кажется...— негромко сказал вошедший человек и, осмотревшись, спросил:— Кто-нибудь есть?

Хозяйка молчала. Очевидно, этот человек был ей не известен и она не знала, что ответить.

Шрагин вышел из-за шкафа.

— А кто вам нужен?

Человек внимательно оглядел Шрагина и сказал:

— Очевидно, вы... Мне описал вас товарищ Бердниченко. Я Зворыкин.

Шрагин не раз слышал эту фамилию от самого Бердниченко и знал, что этот человек из актива подполья.

— Где он сам?— спросил Шрагин.

— Анна Петровна, куда нам с товарищем пройти?— не отвечая, обратился к хозяйке Зворыкин.

Она молча указала на дверь в комнату.

— Ваша охрана работает топорно,— устало сказал Зворыкин, садясь к столу.— Пока я понял, что за парень топает за мной как тень, я опоздал сюда к сроку.

— У него свои обязанности,— сухо заметил Шрагин и повторил свой вопрос:— Где Бердниченко?

— Он временно покинул город. У нас два провала: вчера взяты наши подпольщики Кулешов и Хоромский.

— Случайно?

— Кулешов вроде случайно. Был по делу на вокзале, а там — облава. А вот Хоромского взяли дома. Бердниченко просил передать, что, по его мнению, и вам своих людей лучше временно вывести из города.

— Куда?

— Ориентир — деревня Смакино, а там — учитель Павел Михайлович. Он связан с партизанами и переправит ваших людей куда надо.

— Что еще?— спросил Шрагин.

— Все.

Шрагин встал.

— У вас связь с Бердниченко сохраняется?

— Будет через месяц, не раньше.

— Здесь замените его вы?

— Да.

— Возможность печатать листовки еще есть?

— Что толку — некому сочинять текст!

— Сейчас я напишу.

Шрагин сел к столу и с ходу написал листовку.

«Дорогие товарищи!— писал он быстро и без поправок.— Борьба нашего народа с заклятым врагом становится все более упорной. Москва показала героический пример, а за ней идет наш великий Ленинград, беззаветный Севастополь. В общем строю борьбы стоит и наш город, наносящий врагу свои смелые удары.

Объявленный Гитлером блицкриг провалился. Это вызвало у врагов звериный страх и звериное бешенство. Объятые страхом за свою шкуру, они надеются кровью залить огонь народной ненависти. Их цель — запугать советского человека, заставить его быть покорным рабом без родины. Не выйдет! Даже перед лицом смерти советские люди показывают высокий героизм и преданность Родине. Когда вешали двадцать заложников, на площади раздался звонкий голос одного из них: «Всех не перевешаете! Смерть оккупантам!»

Этот грозный голос слышали руководившие казнью гитлеровский генерал Штромм и его сатрапы вроде Релинка. На их лицах был страх! Бойтесь, палачи! Мы всех вас знаем по именам, и вам никуда не спрятаться от расплаты!

Дорогие товарищи! Ответим на террор еще большей ненавистью к врагу! Наше дело правое! Мы победим!

Смерть немецким оккупантам!

Центр».

Шрагин передал Зворыкину листовку:

— На следующую явку придете?

— Если жив буду...

— До свидания.

— Пока.

Когда Шрагин вышел на улицу, перед ним из темноты возник Григоренко.

— Ну и переволновался я тут!— сказал он.— Этот тип колесил возле квартиры минут двадцать. Я уже решил применить финку, чтобы без шума...

Григоренко исчез в темноте...

В эту ночь Шрагин не заснул ни на минуту. Картина рисовалась ему мрачная. Мысль вывести товарищей из города поначалу он категорически отвергал, полагая, что это всех деморализует. Нет, сейчас, как никогда, надо действовать смело, энергично и ощутимо для немцев. Но единственное, что они могли бы сейчас сделать,— это провести серию диверсий. А запасы взрывчатки почти полностью исчерпаны. Москва отклонила его предложение сбросить взрывчатку с самолета, и он понимал, что действительно сброс вслепую, без оперативной радиосвязи недопустим. Правда, Москва сообщила, что попытается достать взрывчатку с моря, но когда это произойдет — неизвестно. Нужно ждать, по крайней мере пока окончится период весенних штормов. Значит, то единственное, чем могла бы теперь заняться группа, пока исключается...

Думая обо всем этом, Шрагин постепенно склоняется к выводу, что предложение о временном выводе группы из города не лишено смысла.

Ну хорошо, группа временно покинет город, но разве это снимает вопрос о получении взрывчатки? Шрагин отлично понимал, как трудно Москве организовать доставку взрывчатки сюда, в город, и с воздуха и с моря.

Мысль о посылке курьера через линию фронта возникла и утвердилась не сразу. Поначалу она показалась Шрагину нереальной и даже несерьезной. Но постепенно его уверенность все возрастала, а сама задача казалась все более выполнимой. Шрагин уже думал о том, кого из группы послать в качестве курьера. Перебрав всех, он остановился на Харченко. За это было многое. Лучше всего курьеру идти в направлении на Киев, а Харченко уроженец тех мест, и недалеко от Киева живут его родители. В версию его похода можно включить достоверный повод — он возвращается к своей семье. При возвращении курьер должен вместе с грузом выброситься с самолета, а Харченко — единственный в группе человек, который занимался в аэроклубе парашютизмом. Наконец, у него подкупающая внешность: добродушный, открытый парень. Поход будет трудным и опасным, а Харченко уже показал и свою железную волю, и физическую силу, и умение действовать в сложной обстановке. Решено — пойдет Харченко. А на это время группу надо из города вывести...

ГЛАВА 36

У генерала Штромма появились регулярные обязанности. Главное командование СС предложило ему ежедневно информировать Берлин о работе местной СД. Он был не на шутку встревожен. Незадолго до этого номинальный начальник местной СД доктор Шпан был переброшен в Киев, и на его место никто не был назначен. Теперь СД возглавлял Релинк, который, впрочем, и при Шпане был там фигурой номер один. И Штромм подумал, не кончится ли дело тем, что начальником местной СД

назначат его самого? Он этого не хотел. Работать Штромм вообще не любил. Кроме того, он далеко не был уверен, что сможет работать лучше Релинка, который подвергался сейчас резким нападкам из Берлина. Подставлять для битья свою спину Штромм не собирался. В самом деле, нелепо было испортить карьеру из-за того, что в этом злосчастном городе обосновалась шайка диверсантов.

Обдумав все это, генерал Штромм занял, как он полагал, хитрую позицию. Каждое утро он являлся в СД, выслушивал сообщение Релинка о делах прошедшего дня, не очень строго журил его за все еще недостаточную решительность, а когда нужно, и похваливал, а потом посылал в Берлин свои секретные реляции, в которых всячески давал понять, что Релинк вполне на месте и что сейчас, когда он, генерал Штромм, ежедневно контролирует его, работа СД становится все более эффективной.

Между тем и Релинк, в свою очередь, думал, что генерал Штромм может занять место начальника СД. Но, зная его леность и пристрастие к спокойной жизни и комфорту, он в своих ежедневных сообщениях генералу подчеркивал трудности своей работы, не забывая каждый раз сказать, что он не имеет возможности высыпаться или что он вынужден прибегать к допингу, чтобы не свалиться с ног во время какого-нибудь ночного допроса. Релинк видел, что эта его тактика достигает цели, и был уже уверен, что сам генерал на должность начальника местной СД рваться не будет. А все, что он делал теперь, выполняя указания Олендорфа, давало ему основание надеяться, что Берлин по отношению к нему сменит гнев на милость.

В это солнечное, веселое утро генерал Штромм приехал в СД в прекрасном настроении. Прошлой ночью он говорил по телефону с Берлином, и сам Кальтенбруннер сказал ему, что работа в местной СД пошла гораздо лучше, и поблагодарил его. Надо было сейчас сообщить об этом Релинку. Генерал прекрасно понимал, что любого человека нельзя только бить, надо и похвалить когда-нибудь. В вестибюле гестапо перед ним вытянулся начальник полиции СД Цах.

— Здравствуйте, Цах, здравствуйте,— благодушно приветствовал его генерал и даже протянул ему руку.— Какие новости?

— Хорошего мало,— отрывисто ответил Цах.

— Что-нибудь случилось?

— Да так, ничего особенного,— чуть приподнял плечи Цах.— Я бы сказал, обычные неприятности.

Генерал понял, что больше Цах ничего не скажет, и стал подниматься на второй этаж.

В кабинете Релинка пахло табачной кислятиной. Пол посреди комнаты был забрызган кровью и посыпан песком.

— Я вижу, ночь была веселенькая?— беспечно сказал Штромм, здороваясь и опускаясь в кресло.

Релинк молча протянул ему надорванный лист бумаги. Это была листовка, которую писал Шрагин. Она была уже напечатана.

— Ерунда! Это теперь у них единственный способ уверить население, что они существуют! Ерунда! Агония! — громко, как обычно, произнес генерал, прочитав первые строки.

— Читайте дальше, генерал, — тихо сказал Релинк.

Когда генерал прочитал до конца, он уставился на Релинка, выпятил вперед губы и спросил:

— Ну, знаете, это уж чересчур. Откуда они меня знают?

— С ночи ломаю над этим голову, — ответил Релинк.

Генерал еще раз заглянул в листовку, точно он вдруг усомнился, что видел там свое имя.

— Да, генерал Штромм, даже два «эм», — удивленно произнес он и вдруг взорвался: — Вы понимаете, Релинк, что я должен предположить? Что красные пролезли в ваш аппарат! Да! Да! А как же иначе? Моя фамилия известна только здесь, с эстрады я не выступаю, и афиши об этом не расклеивают. В лучшем случае в вашем аппарате работают люди, у которых язык длиннее ума. Вы будете сообщать Берлину об этой прокламации?

— Мне нечего сообщать, пока я не найду тех, кто эту листовку выпустил, — холодно ответил Релинк. — И мой долг сейчас не разводить вокруг этого панику, а действовать и во что бы то ни стало найти мерзавцев. В конце концов меня радует, что здесь стоит мое имя. Если враг в наших с вами именах видит силу Германии, этим следует гордиться.

Генерал Штромм подумал, что Релинк прав. Да, да, прав. Еще сегодня ночью он, Штромм, сам сообщит в Берлин о листовке. Пусть там знают, в каком аду он здесь работает и как он своей активной деятельностью разъярил господ коммунистов.

— Какие нити в ваших руках уже есть? — деловито спросил Штромм.

— Была одна, да сегодня ночью оборвалась. Допрашивал одну девчонку. При аресте у нее в сумке обнаружили два экземпляра этой листовки. Так она такое тут устроила! Ленц не остался без глаза только случайно. А меня вот... — Релинк показал забинтованную руку. — Зубами, бешеная сучка! Ленц ее пристрелил.

— Это ошибка! — возмущенно воскликнул Штромм.

— Знаю, — сразу согласился Релинк. — И я уже объявил Ленцу, что отменяю представление его к очередной награде. Но вы должны реально смотреть на факты: подобные типы готовы на все, но они не хотят давать нам показаний. Вчера вечером убит сотрудник полиции СД. Его заколол на улице кухонным ножом шестнадцатилетний мальчишка. И тоже живьем его взять не удалось. Сам начальник полиции Цах также приговорен ими к смерти и регулярно получает об этом письменные уведомления.

— Все же рано или поздно мы доберемся до них, — против обыкновения тихо произнес генерал и решил, что пешком по городу больше ходить нельзя.

— Да, мы доберемся, — вяло согласился Релинк. — Но это путь трудный и длинный. Возьмите историю с аэродромом. По приказу Берлина мы арестовали там механика, немца Вальтера

Шницлера, и отправили его в главное управление. Вчера мне позвонил Олендорф. Этот механик оказался прямым агентом красных, причем с большим стажем.

— Взрыв за ним?— спросил Штромм.

— Он не сознался, но ясно, что он был связан с диверсией. Видите, как глубока и сложна эта красная опухоль. Вчера застрелился полковник из штаба воздушной армии — некий Пинер. При обыске в его кабинете найден дневник. Это документ страшного позора. В нем ненависть к фюреру, предсказание катастрофы рейха, сочувствие русским, восхищение их борьбой. В общем, яма, полная помоев. Судя по дневнику, он написал какое-то письмо фюреру и после этого покончил с собой. Но самое любопытное знаете что? У него в столе нашли письмо того механика с аэродрома — Шницлера, в котором он просил его устроить на работу здесь у нас, на аэродроме.

— Может, он психопат?— предположил генерал Штромм.

— Увы! В штабе полковник пользовался авторитетом и имел очень широкий круг друзей, среди которых был даже заместитель командующего армией. Я всех их вызываю на допрос.

— Может быть, лучше этим делом заняться господам из абвера?— предложил Штромм.— Зачем нам брать на себя эту муть?

— Абвер занимается этим делом параллельно,— ответил Релинк.— Дело в том, что неделю назад мой сотрудник сообщил о настроениях этого полковника. И возможно, полковник почувствовал, что мы заинтересовались им. В одной из его последних записей в дневнике — проклятие гестапо.

— И вы что-нибудь уже предприняли?

— Безусловно,— ответил Релинк, хотя на самом деле он ничего не предпринимал.

— Тогда вы правы,— согласился Штромм.— Это дело может вызвать благоприятный для нас резонанс, и мы сможем еще раз обойти абвер.

— Я подготовлю донесение в Берлин, и, если хотите, мы вместе его подпишем,— предложил Релинк.

— С удовольствием.

После этого Релинк рассказал генералу о подготавливаемой им новой расчистке тюрьмы, так как после облав она снова была забита до отказа. Новая облава планируется на будущее воскресенье...

Утренние обязанности генерала Штромма на этот раз явно затянулись...

ГЛАВА 37

Город начинал высвобождаться из-под серой мути позднего рассвета. Только что закончился комендантский час, но на улицах еще не было ни души. В тишине замершего города Шрагин слышал свои шаги, гулкие и тревожные. Шел он медлен-

но, останавливался возле объявлений и афиш, в то же время тщательно просматривал улицу. И думал о своих делах. Решено окончательно: в городе остаются только он сам, радист Мочалин, «священник» Величко и Федорчук. Все остальные в ближайшие дни уйдут из города к партизанам до тех пор, пока он не даст им сигнал возвращаться. Харченко послезавтра отправляется в далекий путь через линию фронта. Он должен пробиться через фронт и потом вернуться с самолетом, который сбросит все необходимое группе. Да, все это обдумано, твердо решено, и не в его характере отменять свои решения. И все же сомнения не давали ему покоя. Поход товарищей к партизанам будет очень трудным — из города они будут уходить поодиночке; удастся ли им потом собраться всем вместе? Единственным звеном связи с партизанами сейчас является сельский учитель. Вдруг с ним что-нибудь случится в эти дни?.. А поход Харченко почти через половину страны? Надо смотреть правде в глаза — на успех у него шансов гораздо меньше, чем на гибель.

Шрагин стоял перед афишей, с которой на него смотрело курносое, лукавое, страшно знакомое лицо. «Петер»,— прочитал Шрагин и даже вздрогнул. Он же совсем незадолго до войны смотрел этот кинофильм и потом любил мурлыкать про себя беспечную песенку Петера: «Хорошо, когда работа есть...» Он быстро отошел от афиши, точно встретил знакомого, с которым ему нельзя здесь встречаться.

— Хальт! Стоять!— услышал он позади.

Перед ним стояли два патрульных. Шрагин видел, что они смотрят на него не очень решительно; очевидно, их смутил его слишком благополучный вид — кожаное пальто, беличья шапка.

— Что вам угодно?— по-немецки спокойно спросил Шрагин.

— Документы,— ответил один из солдат.

— Но комендантский час кончился,— снова спокойно возразил Шрагин.

— Мы проверяем теперь в любое время, прошу вас...— совсем вежливо пояснил солдат.

Просмотрев удостоверение, солдат вернул его и приложил руку к пилотке.

— Прошу прощения...

По-прежнему неторопливо Шрагин шел дальше и снова думал о своем, и эта встреча с патрулем еще раз подтвердила правильность принятых им решений — оставаться его товарищам в городе, не имея надежных документов, нельзя.

Радист Кирилл Мочалин работал теперь мотористом подсобного катера на том же заводе, где и Шрагин. Этот катер находился в распоряжении главного инженера Грифа. Когда Шрагину нужно было встретиться с радистом, он шел к Грифу и вполне обоснованно просил разрешения воспользоваться его катером.

Так сделал он и сегодня. Мочалин принял его на борт катера у служебного причала, и они помчались на открытый рейд, где стоял ожидавший ремонта минный тральщик. Они сидели рядом в штурвальной кабине. Шрагин передал Мочалину зашифрованный текст его донесения в Москву.

— Считайте, что это уже в Москве,— сказал Кирилл, пряча донесение за подкладку форменки.

Шрагин с улыбкой смотрел на радиста: парень продолжает работать как ни в чем не бывало. Он прекрасно понимал, что мочалинские бодрость и оптимизм идут от непонимания всей тяжести обстановки. Но все равно, видя неунывающего радиста, он даже себя упрекал за излишнюю нервозность.

Катер причалил к тральщику, и Шрагин поднялся по трапу. Адмирал Бодеккер поручил ему выяснить, почему сегодня утром к тральщику вызывали пожарный катер.

Командир тральщика — молоденький худощавый офицер — принял Шрагина в своей тесной каюте. Он рассказал, что сегодня на рассвете к тральщику пришвартовалось ремонтное судно, но сразу же на нем вспыхнул пожар.

— Персонал судна вел себя постыдно,— рассказывал командир тральщика.— Вместо того чтобы отойти от меня, они спустили шлюпку и бросили судно. Мы с огромным трудом оторвались от него, и я по радио вызвал пожарный катер. Пожар был ликвидирован, а судно отбуксировали к вам на заводской причал. Мне все это кажется подозрительным,— закончил командир.

— Да что вы, это же обычное дело,— убежденно возразил Шрагин.— Просто какой-нибудь Ваня бросил окурок в масляную тряпку. Это уже не первый случай. Сейчас я вернусь, доложу адмиралу, и мы пришлем к вам новое судно. А расследовать никогда нелишне...

В последнее время адмирал стал заметно равнодушнее к делам завода. Особенно после того, как все его попытки спасти плавучий док закончились тем, что док развалился пополам и утонул. Адмирал открыто иронизировал над своим, как он говорил, детским планом строить здесь корабли. Вот и сейчас, узнав о пожаре, он беззлобно выругался и сказал:

— Хоть бы сгорел весь завод, по крайней мере я смог бы выбраться отсюда.

Шрагин, точно не слыша его слов, сообщил, что он распорядился направить к тральщику другое судно. Адмирал кивнул и жестом пригласил Шрагина сесть.

— Я помню, что вам очень не хотелось ездить в командировки,— сказал он.— Я очень хорошо это помню. Но сейчас мне крайне необходимо послать вас в Одессу. У начальника гражданского порта в Одессе возникли какие-то трудности в отношениях с местным персоналом. Надо съездить к нему, разобраться и помочь.

Шрагин совсем не был готов к такому предложению и попросил у адмирала разрешения дать ответ завтра.

— Конечно, конечно, поговорите с женой,— по-своему понял его адмирал.— Я очень не хотел бы заставлять вас делать то, что неприятно вашей милой жене. Но все же дело, знаете, прежде всего...

Все решилось вечером.

Шрагин не собирался проводить этот вечер дома. Накануне Эмма Густавовна сказала ему, что в гостях у нее будет только доктор Лангман и Любченко. О том, что будет Лангман, она могла и не говорить. Он бывал здесь почти каждый вечер. Эмма Густавовна уверяла всех, что у Лили с доктором дружба — они оба так любят музыку. Лиля поддерживала эту версию, и в присутствии Лангмана всегда сидела у рояля. Шрагин с тревогой наблюдал за этой «музыкальной» дружбой и давно видел, что дело там не только в музыке. Неприязнь к нему Лангмана была заметней, и если посторонние находили ее естественной, то для Шрагина эта неприязнь была опасностью, так как она могла стать и неприязнью к нему со стороны Лили. Пока в их отношениях установилась безмолвная напряженность...

Шрагина очень удивило, что Эмма Густавовна пригласила Любченко.

— Вы простили Любченко ее хамство? — спросил он.

Эмма Густавовна вздохнула:

— Она так извинялась... Даже письмо прислала. В конце концов она — единственная оставшаяся здесь моя старая знакомая. И она права: у всех нас нервы не в порядке.

Шрагин не собирался вечером выходить к гостям Эммы Густавовны, но неожиданно явился генерал Штромм, от которого всегда можно услышать интересное, и он вышел к столу.

Сначала в гостиной царил беспорядочный разговор, который прерывался, когда Лиля играла на рояле. А в этот вечер она играла много и, как казалось Шрагину, очень хорошо. Когда она кончала играть, доктор Лангман беззвучно хлопал протянутыми к ней ладонями и восхищенно качал головой.

Эмма Густавовна уже накрыла стол и с умиленным лицом слушала игру дочери. Штромм явно тяготился музыкой. Как только Лиля заканчивала играть очередную вещь, он выразительно крякал и, потирая руки, жадно смотрел на стол с приготовленной закуской.

— Господа, я же совершенно забыла!— воскликнула Эмма Густавовна.— Я получила письмо от Аммельштейна, оно адресовано не только мне, но и всем вам...— Она взяла письмо, которое лежало тут же на маленьком столике, и начала читать.

Старик писал, что он тоскует по милому дому своей родственницы, но что, увы, съездить к ней еще раз у него не хватит сил. Он выражал надежду, что летом Эмма Густавовна с дочерью приедут к нему в гости. Во второй половине письма он рассказывал про дела в поместье — работать некому, у него забрали в армию по-

следнего работоспособного мужчину. «Если так будет дальше,— писал он,— то я сам скоро возьму автомат и стану солдатом дивизии стариков под названием «Адольф Гитлер».

— У нашего Аммельштейна, я вижу, мозги окончательно высохли, а язык болтается, как тряпка,— заметил Штромм.

Эмма Густавовна непонимающе взглянула на генерала и продолжала читать.

«Впрочем, недавно мне дали трех работников,— писал Аммельштейн.— Но они русские, и ждать от них толку не приходится. Они ленивы и ничего не умеют. Вдобавок я их боюсь. Ведь только и слышишь теперь, что эти же русские там у вас, даже в тыловых городах и среди бела дня, убивают наших соотечественников. Так что будьте осторожны и вы...»

— Я не хочу слушать эту клевету,— громогласно заявил Штромм.

— Почему вы считаете это клеветой?— невозмутимо спросил Лангман.— Аммельштейн пишет то, что ему известно, и он пишет об этом своим близким, а не в «Фелькишер беобахтер».

— И все-таки это клевета,— рявкнул генерал.— Где вы последний раз видели в нашем городе красных, кроме как на виселице?..

— Да, действительно, теперь у нас как будто порядок,— сбавил тон Лангман, но тут же добавил:— Но вот в Одессе, я слышал, дела очень плохи.

— Откуда вы это взяли?— еще больше разъярился Штромм.

— Еще месяц назад мне звонил коллега, он говорил, что у них в Одессе госпиталь городской комендатуры переполнен ранеными в результате террора и диверсий красных. И я по приказу штаба армии отправил туда своего хирурга и трех младших чинов. Да, только сегодня утром я говорил по телефону с хирургом, и он снова сказал: дела дрянь.

— Ну и напрасно вы болтаете об этом по телефону,— проворчал Штромм и продолжал уже более миролюбиво:— Конечно, румыны справиться с красными не могут. У них нет нашего опыта и наших возможностей. Однако можете быть уверены, мы им поможем — порядок будет в Одессе.

В этот момент Шрагин думал о командировке в Одессу, о том, что надо на нее соглашаться. Когда в Москве планировалась операция, на случай если в этом городе Шрагину осесть не удастся, ему была дана явка в Одессе. Почему бы теперь не воспользоваться этим? Может быть, появится возможность перевести его товарищей в Одессу, а не отправлять их в опасный поход к партизанам?

Его размышления прервала подошедшая к нему Любченко.

— Между прочим, как раз в Одессе есть специалист, которому вашей жене следовало бы показаться,— наклонясь к Шрагину, сказала она шепотом.

Шрагин затаил дыхание. Это ее «между прочим» прозвучало как продолжение его мысли. Пауза длилась одно мгновение, и Шрагин взял себя в руки. Лиля уже давно жаловалась на боль

в груди, и Эмма Густавовна безапелляционно заявляла, что у нее туберкулез. Исследования, которые были сделаны Любченко в ее больнице, ничего не показали, но Эмма Густавовна продолжала настаивать на своем. Да и сама Любченко, видимо не желая еще раз ссориться с ней, согласилась, что, несмотря на результаты исследований, Лиле следует показаться хорошему специалисту.

— Если бы вы могли организовать поездку Лили в Одессу,— продолжала Любченко,— я написала бы письмо этому профессору. Когда-то мы вместе с ним работали, и он меня наверняка помнит.

— Большое спасибо, Мария Степановна, это обязательно надо сделать,— сказал Шрагин и в эту минуту окончательно решил — он должен ехать. Надо только попросить адмирала Бодеккера разрешить взять с собой Лилю. Кроме всего прочего, он просто боялся теперь оставлять ее здесь одну...

ГЛАВА 38

Кирилл проснулся поздно. Все еще срабатывала морская привычка — высыпаться как следует перед вахтой. Теперь он называл вахтой встречи со Шрагиным и передачу затем на Большую землю его донесений. По расписанию эта вахта была три раза в неделю, но случались еще и авральные, сверх расписания, о которых он узнавал по сигналу в условном месте. Сегодня как раз авральная.

Солнце нахально лезло в окна, в доме вкусно пахло свежевыпеченным хлебом, из кухни доносились голоса жены и матери. «Повезло мне с Ларкой,— радостно думал Кирилл,— мировая женка получилась, даже с мамой живет душа в душу». Другой раз ему бывало даже обидно, что мать так заботлива и нежна к его Ларе. Но сейчас их негромкий разговор там, в кухне, вызвал у него блаженное ощущение дома, уюта. Он вспомнил боцмана своего парохода Арсентьича, свирепого богатыря. Однажды за ужином в камбузе, наслушавшись трепотни матросов об их приключениях на берегу, боцман вдуг сказал: «Босяки вы и бесштанники, в одном похабстве всю жизнь видите. А главная-то радость жизни на своем берегу, где у тебя дом, жена, детишки. Хватитесь, босяки, да будет поздно».

«Дураки мы были, это верно, а боцман знал, что говорил,— думал сейчас Кирилл, нежась в мягкой и теплой постели.— Вот кончится война, снова буду ходить в загранплаванья, а когда буду возвращаться, на причале меня будет ждать Ларка. Завалю ее заморскими подарками, одену, как куколку. Только бы война кончилась...»

Шрагин был доволен радистом. Он не знал, что Кирилл, встречаясь со своим лучшим дружком Ленькой, который работал в полиции, добросовестно пересказывал ему все, что слышал о войне от Шрагина. Ленька все же не мог понять, как может Кирилл сидеть сложа руки и спокойно смотреть, как берлинские гав-

рики поганят их родной город. Мало того, он еще катает их на катере. Кирилл отмалчивался. Шрагин запретил ему даже намекать другу на какую-то свою тайную работу.

Между тем Ленька уже действовал в одиночку. По службе в полиции у него двое суток работа, сутки — отдых. В свои свободные ночи Ленька охотился на гитлеровцев. Он стрелял их из малокалиберной винтовки. Огневую точку Ленька оборудовал в заброшенном садике около разваленного бомбой дома. Одной своей стороной сад выходил на главную улицу — там был забор, а напротив, через улицу,— кинотеатр. Другая, не огороженная сторона сада выходила на параллельную улицу. С наступлением сумерек Ленька занимал огневую позицию и через дыру в заборе наблюдал за подъездом кинотеатра. Увидев там немца посолиднее, он брал его на мушку. Раздававшийся за забором выстрел не был слышен на улице, а немец падал. Ленька быстро прятал винтовку под развалинами дома, выходил садом на параллельную улицу, возвращался не спеша домой и ложился спать.

Несколько дней назад Кирилл был у Леньки в его «холостяцкой каюте» — захламленной комнатке на втором этаже старого дома, опоясанного балконной галереей.

— Трех уже чокнул,— шепотом рассказывал Ленька, и глаза его азартно горели.— Подключайся, дурень, скучать не придется...

Вспомнив сейчас об этом, Кирилл усмехнулся: «Ничего, Леня, на последней поверке ты узнаешь, что и я не спал».

Вполне довольный собой и своей жизнью, Кирилл встал с постели и начал делать гимнастику. Потом вместе с Ларкой и матерью пили чай с теплыми ржаными лепешками и разговаривали про жизнь.

Лара рассказала, как в больничной кубовой, где она работала, ночью чуть не случился пожар. И как раз она случайно заглянула в угол, где стоит печка, и видит — дрова из нее вывалились и уже горит пол. Хорошо, что воды в кубовой сколько хочешь. Директор больницы обещал благодарность объявить.

— За что тебя благодарить-то?— притворно удивился Кирилл.— За то, что про печку забыла?

— Не тебе судить,— обиделась Лара.

— А ты мужу не перечь, его слово для тебя закон,— рассмеялся Кирилл...

Кирилл пошел на огород и вскопал четыре грядки. Потом обедали, сидели в палисаднике на солнышке, а около шести часов вечера мать и Лара ушли на дежурство. Кирилл не знал, куда себя девать. Вспомнил, что Ленька звал его сегодня в кино — показывают какой-то немецкий фильм с танцами и песнями, сеанс в семь часов, кончится в девять, а Шрагин придет только в час ночи. Так что времени на кино есть с походом.

В половине седьмого Кирилл был уже у Леньки. Поднявшись на балконную галерею, он увидел на двери амбарный замок, которым Ленька запирал свою каюту. «Чего это он так рано поперся?» — подумал Кирилл и бегом спустился с галереи, он надеялся

найти приятеля у входа в кино. Ему бы оглянуться, когда он бежал, но он очень спешил и потому не увидел, что за ним бежали двое по обеим сторонам улицы.

Леньки у кинотеатра не было. Кирилл потолкался возле театра и пошел домой. И теперь бы ему надо было оглянуться. Впрочем, уже стемнело, и вряд ли он заметил бы тех двоих, которые снова шли за ним...

В это время его дружок Ленька с окровавленным лицом стоял посреди кабинета Релинка. Его взяли дома час назад...

Ищейкам нетрудно было установить, что все три немца, убитые из мелкокалиберной винтовки, получили пули с одного направления. И не так уж трудно было потом обнаружить и место, откуда стреляли. Там, в саду, была оставлена засада. Сегодня утром Ленька шел мимо своего заветного места и увидел метнувшегося в саду человека. Он не очень встревожился, но после дежурства все же решил посмотреть, не сперли ли, случаем, винтовку. Сказать по совести, укрыта она была халтурно. Он переоделся дома и пошел к заветному месту. В саду никого не было. Кирпичи, которые закрывали винтовку в подвале сгоревшего дома, лежали так, как он их положил. Он совсем успокоился и вышел на улицу, направляясь к центру города. Походил еще около часа и тоже, не замечая за собой слежки, к шести часам вернулся домой, чтобы подождать Кирилла и вместе идти в кино. Он разжигал примус, когда в комнату ворвались полицейские СД. Одного он полоснул по харе финкой, другому бросился под ноги и сбил с ног. Но он был один... Его увезли в СД, а во дворе осталась засада.

Релинк рассчитывал сломить Леньку, что называется, с ходу, не дав ему опомниться. Еще не начиная допроса, он дал сигнал, и на парня обрушился град ударов плетьми. Ему выбили глаз, отсекли половину уха. Он все это выдержал на ногах и только нещадно ругался, захлебываясь собственной кровью. Потом его подвели к столу Релинка.

— Кто твои сообщники?— спросил немец.

— Никого... нет... сука двуногая,— медленно ответил Ленька.

— Называй фамилии сейчас же, иначе смерть!— закричал Релинк.

— Зря, сука, дерешь горло, сказал — никого нет.

— Добавить!— приказал Релинк.

Снова засвистели плети...

Между тем Кирилл вернулся домой. Было восемь вечера. Мать и жена на работе. Не зажигая света, он прилег в столовой на тахту матери и заснул. Проснулся в диком страхе: ему показалось, что он проспал. Было десять минут двенадцатого. Чтобы освежиться, облил себе голову холодной водой и размялся. Решил проверить радиостанцию. Задвинув засов входной двери, он спустился в подвал, прикрыв за собой люк. Там зажег свечу, открыл дверь в тайник и вошел. Воздух здесь был такой спертый, что свеча на-

чала гаснуть. Прикрепив свечу в нише над рацией, он, махая куском фанеры, стал выгонять из тайника застоявшийся воздух. Работа почище гимнастики, даже спина взмокла, зато свеча больше не гасла. Из ящика, на котором всегда сидел, он вынул противотанковую гранату и положил ее в нишу, а из-за рации достал пистолет. Это он сам разработал такую предосторожность, хотя никогда всерьез не думал, что ему придется ею воспользоваться. Когда он однажды показал эту гранату Шрагину, тот сказал только одно слово: «Разумно». Но у Кирилла тогда похолодела спина. «Неужели когда-нибудь придется эту гранату пустить в дело?..» — думал он каждый раз, вынимая гранату перед началом работы.

Кирилл подсел к рации и стал подключать концы от батареи. С удовольствием подумал о том, что скоро будет новый аккумулятор. И в это время до него донесся приглушенный стук в дверь.

Кирилл посмотрел на часы, послушал их — идут. Нет. Значит, стучит не Шрагин, тот приходит минута в минуту.

Стук повторился, но уже громче. Может быть, Ларка или мама?

Кирилл вылез из тайника, поднялся по лестнице и приоткрыл люк. Он услышал за дверью мужские голоса. Говорили по-немецки. В дверь начали бить чем-то тяжелым. С треском проломились дверные доски.

Кирилл закрыл люк, задвинул запор и спустился с лестницы. Заскочив в тайник, он взял пистолет, погасил свечу и вернулся в подвал. Над его головой грохотало. Немцы уже ворвались в дом. Грохот над головой прекратился, только поскрипывала одна половица. Очевидно, в сенцах оставили караульного. Метнулась мысль — вырваться из дома, но тотчас потолок над головой снова загрохотал. Они искали его, и это продолжалось довольно долго. Кирилл крутнул колесиком прижатой к часам зажигалки — четверть первого. Шрагин придет через сорок пять минут. Кирилл судорожно думал: что предпринять? А там, наверху, в сенцах, повидимому, шел обыск. Вот упало с лавки ведро, вода полилась в подвал. Чем-то острым били подряд во все половицы и все ближе и ближе к люку. Вот ударили в люк. Молчание. Еще ударили, еще и еще. Затрещали доски. Кирилл поднял пистолет и три раза выстрелил вверх. Раздался протяжный крик. Загремели сапоги, и все стихло.

«Один свое получил»,— злорадно подумал Кирилл, и эта мысль как-то его успокоила. Вдруг там, наверху, раздался звук, похожий на барабанную дробь. То, что это через пол стреляют в него из автомата, Кирилл понял, только почувствовав резкий горячий толчок в левое плечо. Кирилл бросился в тайник, закрыл его дверцу на засов и сел на ящик. Там еще стреляли. Но ничего, тут его со всех сторон укрывает толстый слой земли. Разве что через дверцу. Кирилл вскочил, осторожно снял со стола и поставил на пол рацию, стол придвинул к дверце, а сам сел на ящик в глубине ниши. Теперь немцы могут сколько хотят стрелять и через дверцу. Между тем они уже проникли в подвал и выстукивали его стены.

Обнаружив дверцу в тайник, они решили прострочить ее из автомата. Пуля ударила в рацию, и в ней что-то печально звякнуло.

«Лампочку, гады, разбили»,— подумал Кирилл и пожалел, что сел в нишу на ящик, а не на рацию. Он вспомнил о времени и снова чиркнул зажигалкой. Было без двадцати час. Значит, Шрагин уже идет. Надо что-то делать! Уже нельзя ждать! Нельзя допустить, чтобы схватили Шрагина! Думать мешали автоматные очереди, стук пуль, нарастающая боль в плече.

Дверь затрещала. Кирилл взял гранату, сорвал с нее предохранитель и бросил ее к двери.

Последнее, что он увидел, было оранжевое пламя, метнувшееся снизу вверх. Взрыва он уже не слышал...

Шрагин услышал взрыв, когда находился от дома Кирилла шагах в ста. Он увидел, как крыша дома распахнулась, точно книжная обложка, и тотчас весь дом охватило пламя.

Он круто повернул и, дойдя до перекрестка, прижавшись к стене дома, стал наблюдать за улицей. Оттуда, от горящего дома, доносились неразборчивые крики. Потом к центру города промчался мотоциклист, а минут через десять к горящему дому проехала пожарная машина и за ней машина «Скорой помощи».

«Всё. Связи нет,— думал он, машинально идя к своему дому.— Связи нет... Связи нет...» — Он думал о главном и еще не сознавал в этот страшный момент, что не стало веселого, неунывающего Кирилла.

ГЛАВА 39

За час до полудня Федорчук и Юля вышли на улицу — ничего особенного, просто муж с женой решили прогуляться по случаю воскресного дня. Они степенно и неторопливо обойдут свой квартал и у последнего поворота пройдут мимо Григоренко. Федорчук, не останавливаясь, скажет одно только слово: «Ждет»,— и они пойдут дальше, к своему дому. Там они сядут у ворот на скамеечку и будут мирно беседовать, пока не увидят вдали приближающегося Шрагина. Тогда на скамеечке останется одна Юля, а Федорчук пройдет в сад — там его пост во время встречи Шрагина с Харченко.

На эту последнюю встречу с Харченко Шрагин шел, как всегда, собранный и уверенный в правильности своего решения.

И Григоренко, стоявшему, как положено, на перекрестке, и Юле, сидевшей на скамеечке, и Федорчуку, который встретил его в садике,— всем Шрагин хотел бы сказать: «Все в порядке, дорогие друзья, мы действуем...» Но он прошел мимо них молча.

Харченко сразу угадал настроение Шрагина и тоже держался уверенно.

— Горючее заправлено, мотор проверен. Осталось включить первую скорость,— сказал Харченко, улыбаясь. Уже несколько дней специально не брившийся, он неровно зарос темной щетиной. На нем была куртка, перешитая из старого армяка, и громадные

кирзовые сапоги. Свои каштановые вьющиеся волосы он остриг под машинку.

— Маршрут похода изучили? — спросил Шрагин.

— Как стихи, даже все деревни запомнил.

— И по резервным маршрутам тоже?

— А как же... Если поход зависит от этого, считайте, что я уже по ту сторону фронта. А донесение у меня тут... — Харченко постучал пальцем по лбу и отдал текст донесения.

Шрагин поджег его и, когда бумага догорела, бросил в печь. И эта прошедшая в молчании простая процедура вдруг приобрела какую-то почти мистическую значимость, будто с этой исписанной бумагой сгорело все, что было периодом подготовки, и с этой минуты Харченко был уже в походе. Они долго молчали.

— Я знаю, Павел Петрович, как вам будет трудно, — первым нарушил молчание Шрагин. Он хотел сказать Харченко «ты», но не мог пересилить себя. — Опасности вас ждут буквально на каждом шагу. Но земля, по которой вы будете идти, все-таки наша, родная. И наши люди вам будут помогать. И земля и люди... — Шрагин остановился, ему показалось, что он говорит совсем не теми словами, которые сейчас уместны.

— Я хочу сказать... — начал Харченко. — Для достижения цели я сделаю все. И если я все же не дойду, знайте — я погиб, как положено... каждому из нас.

— К чему этот разговор? — спросил Шрагин.

— Потеряться страшно, Игорь Николаевич, — не сразу ответил Харченко. — Какая-нибудь полицейская сволочь кончит меня в безвестной деревушке... Даже могилы не будет. А у меня старики, я у них один-единственный.

— Вы не можете потеряться.

— Согласно плану похода я зайду к родителям Григоренко, — продолжал Харченко. — Хочу оставить у них записку, чтобы они переслали ее после войны моим старикам. Можно?

— Только сами спрячьте ее получше, — сказал Шрагин.

Пора было прощаться. Шрагин встал. За ним поднялся Харченко.

— Вам надо хорошо выспаться, — сказал Шрагин.

— Не спится что-то...

— Все будет хорошо. Только поскорее возвращайтесь, — суховато и просто сказал Шрагин, будто речь шла о мирной командировке.

— Хотелось бы там, за фронтом, погулять малость без оглядки на гестапо, — попытался шутить Харченко.

— Ладно, вместе потом погуляем, — сказал Шрагин и вдруг запоздало улыбнулся шутке Харченко. Это сразу сблизило их. Они обнялись и несколько мгновений молча стояли, прижавшись друг к другу.

— У нас очень тяжело, — сказал Шрагин, освобождаясь от объятий.

— Знаю.

— И тем больше наши надежды на ваш поход.

— Сделаю все.

— Я сообщил о вашем походе. Дано указание ждать ваших позывных военной разведке всех фронтов. Вам немедленно окажут помощь...

— Все ясно,— сказал Харченко, протягивая руку.— До свидания.

— Да, до свидания, до скорого свидания, мы вас ждем,— быстро сказал Шрагин, сильно сжимая руку товарища.

В окно Шрагин видел, как Харченко проходил через сад, как его остановил Федорчук. Они обнялись, расцеловались трижды крест-накрест, Федорчук подтолкнул Харченко в спину и потом еще долго смотрел на закрывшуюся за ним калитку.

— Дойдет, Игорь Николаевич, дойдет,— сказал Федорчук, входя в дом.— И в честь его похода я подпалю свою нефтебазу. Увидите, что не зря я упросил вас оставить меня в городе.

Федорчук рассказал о своем плане. Он уже достал несколько бутылок с горючим, предназначавшихся для борьбы против танков. Горючку, слитую в ведро, он подожжет с помощью запального шнура.

— Пока шнур сгорит, я убегу,— закончил он свой рассказ.— И не только моих следов не останется, всей базы не найдут. Там же, кроме нефти, прорва бензина, керосина.

Они тщательно обсудили план диверсии, и Шрагин утвердил его с одним лишь условием, что Федорчук приступит к делу, только когда будет уверен в успехе каждого своего шага.

Договорились о встречах и явках на ближайшее будущее. Федорчук передал Шрагину подробное донесение Юли о разговорах летчиков в ее ресторане.

— Спасибо ей большущее,— сказал Шрагин.— Она всегда очень много важного передает.

Федорчук покраснел и тихо сказал:

— Я скажу ей...— Он молча прошелся по комнате и спросил:— Когда уходят наши?

— Я еду на несколько дней в Одессу. Попробую связаться там с подпольем,— может быть, решим перебраться туда, а не к партизанам. На эти дни вы остаетесь за меня, Григоренко предупрежден. Главное — осторожность...

На рассвете Харченко отправился в поход.

Он шел с Зиной, а впереди по обеим сторонам улицы шли Дымко и Григоренко. Перед мостом Григоренко перешел через улицу, и они вместе с Дымко остановились у перекрестка, делая вид, будто читают наклеенные на стене объявления. Остановились возле них и Харченко с Зиной.

— Гляди, подходящее объявление,— Дымко подтолкнул Харченко и прочитал:—«Располагая собственным домом и желанием счастья, пожилой мужчина ищет надежную спутницу жизни». Ты располагаешь желанием счастья?

— Еще как!— отозвался Харченко.

— Значит, порядок,— улыбнулся Дымко.— И мы все располагаем. Счастливого тебе пути.

Дымко и Григоренко, не оглядываясь, пошли обратно в город, а Харченко с Зиной направились к мосту. На случай, если их остановят, у Зины очень надежный документ — справка о работе на бирже. Харченко должен был сыграть роль рабочего, которого она наняла помочь ей принести дрова.

Но они беспрепятственно миновали мост, поднялись на взлобок берега, обошли территорию лагеря и там, где дорога вырывалась на степные просторы, простились. Зина вдруг заплакала.

— Ну, чего ты, дурная!— растерялся Харченко.

— Сама не знаю,— всхлипнула Зина.

Харченко обнял ее и поцеловал в щеку. Она опять заплакала. Тогда он взял ее за плечи, повернул лицом к городу, подтолкнул легонько, а сам зашагал по вязкой дороге. Минут через десять он оглянулся: Зина стояла на том же месте и махала ему платком. Он пошел еще быстрее, потом снова оглянулся. Зина все еще стояла там, но лица ее уже он не мог разглядеть, видел только белое пятнышко платка...

Сверяясь по солнцу, он шел на северо-северо-запад с расчетом сначала попасть в район Харькова. В первый день он прошел не больше тридцати километров. Весеннее солнце растопило снег, но еще не успело высушить землю. Иди по дороге, иди по целине — везде ноги по щиколотку вязнут в липкой грязи. И неотрывно гляди на зеркальные оконца луж — все равно не заметишь, как окажешься по колено в холодной воде.

Никаких опасных встреч в первый день не было. Впрочем, он старательно обходил стороной все селения. А на одиноком, затерянном в степи хуторе, куда он решился зайти попросить воды, старушка накормила его вареной картошкой и дала в дорогу еще две ржаные лепешки. Харченко сказал ей, что идет из плена к своим старикам под Киев.

— Может, и мои вот так идут домой, храни их господь,— тяжело вздохнула старушка, вытирая сухие, выплаканные до дна бесцветные глаза.

Ни одного немца Харченко пока не видел — эта полоса степного юга лежала в стороне от дорог войны. Но то и дело он читал прилепленные к телеграфным столбам краткие объявления-приказы:

«О появлении неизвестных лиц немедленно сообщать представителям немецкой армии или полиции. За укрытие упомянутых лиц — расстрел».

Однако первые пять дней пути прошли без всяких приключений. Он шел с рассвета до темноты. Ночевал в стогах прошлогодней соломы, в заброшенных шалашиках на бахчах, а то и посреди степи на сухом взгорочке.

Если на крупномасштабной карте Украины с обозначенными на ней всеми большими и малыми дорогами нанести маршрут Харченко, он выглядел бы так, будто путник задался целью измерить расстояние между дорогами. Его маршрут был весь в мелких изломах, зигзагах, но все же неуклонно вел к Харькову.

Харченко знал, что все ближе был весенний Днепр, и с тревогой думал, как он через него переберется. И местность вокруг становилась все более обжитой, вскоре уже стало бессмысленным обходить селения. Куда бы он ни сворачивал, впереди возникали силуэты построек. Не доходя до селения километра два, Харченко брал в сторону, чтобы обойти людное место, а затем снова выходил на дорогу.

Это село он издали видел все как на ладони. Белые домики были рассыпаны на отлогом склоне. Он подошел к селу довольно близко, но не заметил ни единой живой души. У него уже кончилась еда, и он подумал, не разживется ли здесь хотя бы краюшкой хлеба. Но совсем близко от деревни, там, где уже начинались окраинные дома, Харченко взял в сторону и пошел по редкому кустарнику вдоль по-весеннему вспухшей речушки. Поравнявшись с селом, он остановился, прислушиваясь, не донесется ли оттуда какой-нибудь звук жизни.

— Дядя, ты партизан? — услышал он детский голос, который прозвучал для него как удар грома.

Он оглянулся и увидел откуда-то взявшегося мальчугана лет десяти в отцовском рваном пиджаке, который свисал ему ниже колен.

— Будь ты неладен... — тихо произнес Харченко, не в силах унять тревожно застучавшее сердце.

— Дядя, ты партизан? — снова спросил мальчишка и сделал несколько шагов назад.

— Да откуда ты взял? Я просто прохожий. Понимаешь? Иду себе и иду. Как тебя звать?

Мальчуган сорвался с места и помчался к селу, крича во весь голос:

— Партизан! Партизан! Партизан!

Харченко быстрыми шагами пошел дальше, но на повороте речушки кустарник кончался, и он увидел, что село было совсем близко. Между хатами метались кричащие ребятишки. Теперь бежать было нельзя. Харченко неторопливо шел по краю пашни. Метрах в трехстах впереди снова начинался кустарник. Только бы дойти до него...

Между двумя хатами среди кричащих ребятишек появился мужчина. В руках у него была винтовка. Он быстро пошел наперерез Харченко. Ребятишки бежали сзади. Харченко видел, что до кустов ему не успеть, но продолжал идти неторопливо.

— Эй, дядя, стой! — крикнул мужчина.

Харченко остановился. Между ними было не больше ста шагов. Харченко уже видел, что в руках у мужчины не винтовка, а толстая палка.

— Кто такой? — крикнул мужчина.

— Путник, до дому иду, — ответил Харченко.

— А где твой дом?

— На Харьковщине.

Они с минуту молчали, разглядывая друг друга.

— Партизан! Партизан! — закричали ребятишки.

— Дураки вы, если я партизан, — сказал Харченко, и эта его простецкая фраза, сказанная с неподдельным огорчением, видимо, успокоила мужчину, и он подошел еще ближе. Теперь их разъединяла только узкая полоска пашни. Харченко уже видел, что мужчине лет сорок, у него рыжая клочковатая бородка, а под густыми бровями чуть светятся маленькие колючие глазки, близко сведенные к мясистому носу.

— Следуй, — строго сказал мужчина и мотнул головой в сторону села.

— А кто ты такой, чтобы приказывать? — спокойно спросил Харченко.

— Я у полиции помощник, — не без гордости ответил мужчина и повторил: — Следуй туда, и все.

— За что? Я мешаю тебе, что ли? — слезно взмолился Харченко.

— Следуй, а то тревогу подыму. — Мужчина вынул из кармана свисток и поднес его ко рту...

Они вошли в хату. Женщина, оторвавшись от стирки, поглядела на них сердито:

— Делать нечего, хуже маленьких, в игру играет.

— Не твоего ума дело, — цыкнул мужчина и показал Харченко на скамейку у окошка. — Сидай там и говори, кто такой.

Харченко обстоятельно, не спеша снял с плеча пустой рюкзак, положил его на пол возле ног, снял кепку, расстегнул ворот рубашки и спросил:

— Тебе как надо знать: во всех подробностях или как?

— Говори, кто такой и чего тебе здесь надо.

Харченко начал рассказывать, что его старики жили на Харьковщине. Он назвал село, где они жили, и объяснил, где оно находится. Между прочим, в этом селе как раз жили родители Григоренко и планом похода было предусмотрено их посещение. Все об этом селе ему подробно рассказал Григоренко.

«Помощник полиции» слушал Харченко очень внимательно и, когда он закончил рассказ, облегченно вздохнул:

— Знаю я, случаем, то село, так что ты вроде правду говоришь.

— Что же это оружие тебе вручили такое холодное? — спросил Харченко, показывая на палку.

— Берданку обещали.

— Ему еще имение в придачу сулили, — подала насмешливый голос его жена.

— Ну, так вот... — продолжал рассказ Харченко. — Меня из плена выпустили. Есть на то и документы. Предъявить?

— Давай для порядка.

Мужчина так долго читал справку, что Харченко уже начал беспокоиться. Он заметил, что, глядя в бумажку, мужчина медленно шевелит губами,— очевидно, ему трудно было читать.

Вернув, наконец, справку, он промямлил:

— Документ как надо.

— В нем только про одно не сказано,— почесывая затылок, сказал Харченко.— Что я уже двое суток ничего не жрал.

— Оксана, дашь чего?

— Да ты что, заместо берданки окорок, что ли, получил?— сварливо отозвалась женщина, но тут же поставила перед Харченко чугунок с отварной картошкой и положила толстый ломоть хлеба.

Харченко ел и расспрашивал хозяина о жизни. Но тот, видимо, не хотел вдаваться в подробности или скорее всего боялся говорить при жене, с которой у него были разные взгляды на жизнь.

— Живем, как все,— сказал он, косясь глаза на жену.— Ждем, когда станет лучше.

— Ну ладно. Как говорится, спасибо этому дому, пойдем к другому...— сказал Харченко.— Спасибо за приют да за ласку...— Он встал и протянул хозяину руку.— А тебе за справедливую службу...

Харченко шел по селу. До самой окраины за ним бежали ребятишки, и, даже когда село было уже далеко позади, он все еще слышал их крики:

— Партизан! Партизан!..

Наконец Харченко добрался до стоящего на Днепре города Крюкова. На другом берегу разыгравшейся половодьем реки был город Кременчуг. Несколько часов Харченко изучал, как лучше и безопасней переправиться на тот берег. Ни одной лодки на реке он не видел, а на единственном железнодорожном мосту безостановочно шагали часовые.

Вскоре Харченко уже знал, что пользоваться лодками в черте города запрещено, но, так как многие крюковские жители работают в Кременчуге, их по утрам на ту сторону отвозят на машинах по железнодорожному мосту, там на рельсах постланы доски.

Ранним утром Харченко в толпе шедших на работу крюковчан благополучно перебрался на ту сторону Днепра...

ГЛАВА 40

Шрагин просил разрешения взять с собой в Одессу жену, чтобы показать ее там профессору, и адмирал Бодеккер отнесся к этому вполне благосклонно, даже упрекнул его:

— Как можно было ждать для этого служебной командировки? Командировка — вещь случайная, а жена-то у вас одна на всю жизнь,— сказал он укоризненно.

В Одессу с завода после ремонта уходил служебный катер, и адмирал предложил Шрагину воспользоваться им...

Было тихое утро. Высокое нежно-голубое небо казалось продолжением неподвижного морского простора. Где-то далеко за горизонтом прошел пароход, оставив после себя серую полосу дыма, по которой только и можно было угадать линию горизонта.

Шрагин и Лиля сидели в открытом кормовом отсеке, за спиной у них клубилось развороченное винтами море. Команда катера состояла из румын — штурвального и механика. Штурвальный, смазливый паренек со стрельчатыми усиками, в лихо сбитом на ухо берете, то и дело с нагловатой улыбкой поглядывал на Лилю и всячески рисовался перед ней. Механик только изредка высовывался из грохочущей утробы катера, чтобы тревожно и быстро оглядеть небо и снова исчезнуть. Он, видимо, боялся самолетов.

Катер шел метрах в трехстах от берега, повторяя все его изгибы. Наверное, штурвальный тоже помнил о самолетах и предпочитал маршрут под прикрытием берега.

Лиля очень обрадовалась поездке в Одессу, но вчера она вдруг сообщила, что вместе с ними хочет ехать доктор Лангман, у него тоже какие-то дела в Одессе. Шрагин категорически отказался брать его с собой — поездка носит служебный характер, это не увеселительный пикник.

— Я понимаю, вас выводят из равновесия наши дружеские отношения с ним,— сказала Лиля.

— Мне не хотелось бы обнаружить, что дружба с этим немцем стала для вас дороже святого дела, к которому я считаю вас причастной,— резко сказал Шрагин, решив поставить все точки над «и».

Больше они об этом не разговаривали.

Сейчас Лиля молчала, кутаясь в шерстяной плед — было довольно прохладно. Шрагин видел, что настроение у нее плохое. И выглядела она очень плохо: бледное лицо, синие круги под глазами, бескровные губы. Она действительно больна, и нервы у нее, должно быть, напряжены до предела. Ему стало жалко ее. Конечно же, ей выпало очень тяжелое и, наверное, непосильное испытание, во всяком случае, она к нему никак не была подготовлена.

Шрагин встретил ее усталый, рассеянный взгляд.

— Вы все же молодец, Лиля,— улыбнулся он.

— Что?— будто проснулась она.

— Я говорю: вы молодец, Лиля.

— Перестаньте,— поморщилась она.

Шрагин положил свою руку на ее холодную белую руку.

— Я отлично понимаю, как вам тяжело,— сказал он сурово.— Мне, Лиля, тоже нелегко. Всем, кто борется с фашистами, нелегко, а многие уже отдали свою жизнь. А вы прямо из консерватории попали в ад. Но уже скоро год, как вы достойно выдерживаете это

тяжелое испытание. Это именно так, Лиля, я говорю совершенно искренне.

Лиля слушала, смотря на него широко открытыми, испуганными глазами.

Штурвальный оглянулся, игриво подмигнул Шрагину, но в ответ наткнулся на такой надменный и злой взгляд, что улыбка мгновенно слетела с его лица.

Солнце поднялось уже довольно высоко, и теперь потемневшее море резко отделялось от неба чертой горизонта. А справа проплывал берег — желто-бурый, холмистый. Лиля, отвернувшись, смотрела в море. И вдруг она неожиданно повернулась к Шрагину и спросила, высоко подняв голову:

— А что вы скажете, если я выйду замуж за Лангмана?

— Во-первых, он женат,— спокойно ответил Шрагин.— Во-вторых...

— Я уеду в Германию к его матери,— не дала ему договорить Лиля.— Она не признает его жены, а у нее там где-то на юге свой домик.

— Вы его любите?

— Боже мой! — рассмеялась Лиля.— Какое это может иметь значение в этом, как вы сами сказали, аду? — Она снова повернулась к морю.

Шрагин подождал, думая, что она скажет что-то еще, но она молчала.

— Это уже решено? — подвинувшись к ней, спросил Шрагин.

— Нет,— не оборачиваясь, ответила Лиля.

— Умоляю вас, не торопитесь,— сказал Шрагин.— Представьте, в каком положении вы окажетесь, когда наши солдаты однажды постучатся в тот домик на юге Германии. Что вы им скажете? Как все объясните? А то, что наши солдаты однажды туда придут,— это неизбежно!

Она не повернула головы.

— Во всяком случае, вы обязаны заблаговременно предупредить меня,— продолжал Шрагин.— Мне же тогда надо будет найти другую квартиру. Я не хочу...

— Не беспокойтесь,— прервала она его гневно.— Если до сих пор ничего такого не случилось, то только потому, что существуете вы.

— Спасибо, Лиля.

Катер круто развернулся и помчался к берегу. Из утробы катера высунулся механик. Он крикнул что-то штурвальному, а тот без слов показал рукой в небо. Шрагин посмотрел вверх и увидел три самолета. Три звездочки на блекло-голубом листе неба. Они летели очень высоко и наискось от берега к морю.

«Наши!» — сердце у Шрагина забилось частыми толчками. Он взял Лилю за локоть. Она обернулась, и глаза ее удивленно расширились: никогда еще не видела у него такого лица — его серые глаза сияли радостью, и ей казалось даже, что они были влажны-

ми. И такой его счастливой улыбки она тоже никогда не видела. Шрагин тихонько сжал ей локоть и, глядя в небо, туда, где летели самолеты, сказал тихо:

— Наши.

Они вместе следили за самолетами, и Шрагин видел, что она тоже волнуется.

— А может, вы ошиблись?— не отрывая глаз от неба, тихо спросила Лиля.

— Наши, наши!— прошептал он ей в самое ухо.

Катер в это время зашел за торчавший из моря громадный каменный валун. Механик выключил мотор. Теперь ясно был слышен далекий звонкий гул самолетов. Выскочивший на палубу механик зацепился багром за утес и подтащил катер к нему вплотную. И он и штурвальный следили за самолетами.

— А где же ваша храбрость, моряки?— по-немецки крикнул Шрагин.

— Мы уже имели с ними дело,— ответил штурвальный на плохом немецком языке.

— Не будут они тратить бомбы на ваш линкор,— насмешливо сказал Шрагин.

— Мы же из-за них на ремонте были,— добавил механик, глядя на удалявшиеся к горизонту самолеты.

— Не будем же мы стоять здесь, пока у русских весь бензин кончится,— сказал Шрагин, смотря на часы...

Но только когда самолеты скрылись, будто растаяли в бездонном небе, механик оттолкнулся от утеса, спустился в утробу катера и запустил мотор. Теперь катер шел, прижимаясь еще ближе к берегу.

И вот уже показался дачный пригород Одессы. Сначала домики лепились к берегу поодиночке, но вскоре они пошли более густо. Берег становился круче и выше. Но нигде не было видно ни живой души. Крутая волна, отброшенная катером, стелилась на пустынный пляж.

Незаметно начался город. Катер оторвался от берега и пошел мористее, а когда впереди открылась очерченная молом одесская бухта, он взял курс прямо на город.

— Я высажу вас на служебном причале!— крикнул штурвальный.

Шрагин кивнул.

Когда до причала оставалось шагов двести, Шрагин увидел там целую толпу немцев. Они стояли возле старой шаланды, с которой на берег сходили какие-то люди. Их обыскивали и строили в шеренгу, перед которой прохаживался высокий гестаповец в черном мундире.

— Не бойтесь, держитесь независимо,— шепнул Лиле Шрагин.

Катер пришвартовался рядом с шаландой, и тотчас к нему подбежал немецкий офицер.

— Кто такие?— кричал он, тараща глаза.

— Потерпите минутку, и мы вам представимся,— спокойно отозвался Шрагин, помогая Лиле сойти на берег. Он неторопливо достал из кармана свои командировочные документы и молча протянул их подошедшему гестаповцу. Но тот читать их не стал, сунул небрежно в карман и приказал солдатам:

— К майору Крафту!

Солдат сделал выразительное движение висевшим у него на груди автоматом. Шрагин взял под руку Лилю, и они пошли впереди солдата.

— Что случилось? Почему?— шепотом спросила Лиля; лицо у нее стало совсем белое, как бумага.

— Сейчас узнаем, не бойтесь,— сказал ей Шрагин и крепче сжал ее локоть.

Он понял, что возмущаться и спорить на причале бессмысленно. Тут действует безотказная машина, и управляет ею совсем не тот гестаповец, который взял документы, он их даже не посмотрел. По документам Шрагин был инженер-инспектор при адмирале Бодеккере, который посылал его в Одессу со специальным служебным поручением. Отдельный документ говорил, что инженер-инспектора сопровождает его жена, которая едет в Одессу показаться специалисту по легочным болезням. К этому документу прилагалась справка о болезни Лили, подписанная начальником медицинской службы восемнадцатой армии. Эту справку дал доктор Лангман. Документы были очень надежные. И все же Шрагин немного тревожился.

Их привели к небольшому дому из белого камня, где у входа стоял часовой. Солдат ввел их в тесную комнатку, приказал стать к стене, а сам стал у двери. За дверью в следующей комнате слышались возбужденные мужские голоса. Дверь распахнулась, и на пороге показался рослый гестаповец в расстегнутом черном кителе. Он удивленно посмотрел на Шрагина, еще более удивленно на Лилю, застегнул китель. Затем он вопросительно посмотрел на солдата. Тот вытянулся, щелкнул каблуками, но не произнес ни звука. Гестаповец повернул назад и захлопнул дверь.

Прошло еще минут десять, и в ту же комнату прошел гестаповец, который на причале взял у Шрагина документы. Вскоре он выглянул из двери:

— Пройдите.

В комнате было четыре человека. Тот, который выходил в расстегнутом кителе, сидел за столом. Очевидно, он был главный, в его руках Шрагин увидел свои документы.

— Вы говорите по-немецки?— обратился к Шрагину гестаповец.

— Да, но когда со мной разговаривают,— ответил Шрагин и с усмешкой посмотрел на гестаповца, отобравшего у него документы.

— В его обязанности не входит разговаривать,— улыбнулся главный и деловито спросил:— Вам, вероятно, нужен номер в отеле?

— Я надеюсь, что об этом позаботился начальник порта господин Нельке,— ответил Шрагин.

Главный гестаповец набрал номер телефона.

— Господин Нельке? Здесь Вилли Крафт. Вы ждете кого-нибудь от адмирала Бодеккера?.. Ах, он где-то пропал?..— гестаповец подмигнул Шрагину.— Так вот, мы позаботились, чтобы этого не произошло. Пришлите машину и отвезите своих гостей в отель. Торопитесь, у меня дела.— Гестаповец положил трубку.— Все в порядке,— обратился он к Шрагину.— Прошу не обижаться, такая уж у нас работа. Извините, мадам,— гестаповец поклонился Лиле.— Должен заметить, мадам, что с вашей прелестной внешностью болеть просто неразумно...

Лиля механически улыбнулась.

За ними приехал сам начальник порта Нельке. Это был совсем молодой человек, наверное, ровесник Шрагина. У него было холеное красивое лицо, статная спортивная фигура, от него веяло благополучием и легкомыслием.

— Везу вас в девятнадцатый век,— весело говорил он по дороге в отель.— Просто удивительно, как русским в этом безвестном миру городе удалось сохранить отель из французской провинции времен Бальзака.

— Нам нужны две комнаты,— сказал Шрагин и, заметив удивление Нельке, пояснил:— Жена больна, ей нужно рано ложиться спать, а у меня могут быть поздние служебные дела.

— Будут две комнаты!— воскликнул Нельке так радостно, будто для него было большим счастьем выполнить эту просьбу гостей.

Им предоставили две большие смежные комнаты. Лиля хотела уйти к себе отдохнуть, но Нельке горячо запротестовал.

— Это ужасно! Это невыносимо! Внизу уже накрыт стол, и вас ждут,— говорил он с таким умоляющим видом, что Лиля обещала спуститься в ресторан чуть позже.

Стол был накрыт в отдельном кабинете, и действительно, там, кроме Нельке, ждали еще четыре человека — все в штатском. Начальник порта представил их Шрагину. Двое оказались инженерами какой-то румынской строительной фирмы.

— Доктор Хакус, имперский банк,— чуть поклонясь, сказал о себе третий. У него была могучая фигура борца и удлиненное, лошадиное лицо.

Четвертый буркнул свою фамилию так, что ее нельзя было разобрать, и принялся ощупывать Шрагина маленькими цепкими глазами.

Тотчас начался обед, причем совсем русский обед, даже с супом. И конечно, икра, водка, тосты и беспорядочные разговоры. Шрагин прекрасно понимал, что он совсем не та фигура, ради которой устраивался бы такой обед. Но в чем же тогда дело? Что за всем этим стоит? Одно блюдо сменяло другое, водку сменило вино, но за столом по-прежнему ни слова о деле. А когда пришла Лиля, все еще больше оживились. И начались тосты.

— За семью!

— За жен!— кричал Нельке, подняв бокал с вином и, обращаясь к Лиле, торжественно произнес: — За вас, в которой мы видим своих далеких и любимых жен.

Обед закончился, и Нельке подал Лиле руку.

— А теперь отдых, отдых...— и, повернувшись к Шрагину: — Все дела — завтра.

Шрагин и Лиля поднялись к себе. Лиля устало опустилась в кресло. И тотчас зазвонил телефон. Шрагин взял трубку и услышал голос доктора Лангмана:

— Не удивляйтесь, господин Шрагин, и не делайте ненужных предположений,— сказал он.— Просто у меня тоже дела в Одессе, и заодно я решил помочь вашей жене поскорее попасть на прием к профессору. У меня машина, и я могу сейчас за ней заехать.

К удивлению и радости Шрагина, Лиля сослалась на усталость и, поблагодарив Лангмана за внимание, попросила его не беспокоиться. Она сама найдет профессора. Положив трубку, она ничего не сказала и ушла в свою комнату.

— Я часок погуляю,— сказал ей вслед Шрагин.

ГЛАВА 41

Шрагин решил пройтись по городу, выяснить, нет ли за ним слежки, и если нет — сейчас же сходить по явочному адресу, который он получил еще в Москве. Это было рискованным шагом — идти на явочную квартиру спустя год. Мало ли что могло случиться за это время! Но идти было нужно. Если квартира в порядке, он получит связь с одесским подпольем, а может, и с действующей здесь оперативной группой чекистов. И в конце концов это, и только это, было его главным делом в Одессе.

Сначала он постоял у подъезда гостиницы, не без удивления наблюдая безмятежную жизнь улицы. Смуглолицый чистильщик сапог, колотя щетками об ящик, сыпал прибаутки, зазывая клиентов. По тротуару и на бульваре фланировали люди, и не только военные. Где-то поблизости захлебывались скрипки румынского оркестра. В спокойном голубом небе сияло катившееся к горизонту солнце. И море под ним тоже сияло.

Шрагин пошел по аллее Приморского парка и вышел к знаменитой лестнице, увековеченной в фильме «Броненосец «Потемкин». Присев там на скамейку, он любовался предвечерней панорамой порта. Слежки не было. Пока не стемнело, он проверил это еще и еще. И тогда направился к явочной квартире.

Это был двухэтажный дом, низ — каменный, верх — деревянный. Вход со двора. По гремучей железной лестнице Шрагин поднялся на второй этаж и остановился перед дверью с табличкой «кв. 3». Над верхней дверной притолокой в стене торчал гвоздь с кусочком проволоки — это был условный знак, что явочная квартира в порядке.

Он постучал в дверь два раза сильно и два раза потише. Прошло минут пять, прежде чем дверь открылась и Шрагин увидел обросшего сивой щетиной мужчину в красной майке и пижамных полосатых штанах.

— Вам кого?— хрипло спросил мужчина.

— Простите, пожалуйста, но я хотел бы узнать, когда вернется Елизавета Петровна?— негромко произнес Шрагин условную фразу.

На лице у мужчины возникла целая гамма переживаний: испуг, удивление, недоверие.

— Елизавета Петровна возвращается сегодня, вы можете ее... подождать...— запинаясь, произнес он, наконец, ответную фразу пароля.

Они прошли в маленькую захламленную комнату, в которой стояла смятая, неубранная постель, единственный стул и стол, на котором лежали книги и остатки еды. Книги лежали и на подоконнике и на полу возле кровати. Шрагин помнил, что хозяин квартиры должен быть не то журналистом, не то редактором, а может быть, даже писателем. Москва тогда точных сведений о нем не имела.

— Давайте знакомиться,— улыбнулся Шрагин, протягивая руку хозяину квартиры.— Игорь Николаевич.

— Здравствуйте, Игорь Николаевич,— пробормотал он, пожимая руку Шрагина своей холодной рукой.— А я... меня зовут... Алексей Михайлович. Вы садитесь, пожалуйста. Вот сюда...— Он пододвинул Шрагину стул, а сам сел на кровать.

— Ну, как у вас идут дела?— спросил Шрагин.

— Какие там дела...— вяло сказал Алексей Михайлович.— Никаких дел я не знаю.— Он ловким и привычным движением выхватил из-под кровати бутылку с румынской водкой — цуйкой и поставил ее на стол.— Не хотите?.. Для бодрости.

— Спасибо, от глотка не откажусь,— заставил себя улыбнуться Шрагин. Ему хотелось поскорее, любым способом установить контакт с этим человеком, хотя все в этой комнате и сам этот человек вызывали у него тревогу.

Они выпили за встречу, выпили по очереди из одного захватанного, мутного стакана.

Алексей Михайлович тут же снова налил в стакан водку и пододвинул его Шрагину.

— Я пас,— отказался Шрагин.

— А я приму... для бодрости...— Алексей Михайлович изобразил подобие улыбки и одним глотком осушил стакан. Он поперхнулся и, прикрыв рот ладонью, сказал:— Будь оно неладно все это...— и тут же протянул руку к бутылке, но Шрагин отставил ее.

Алексей Михайлович растерянно посмотрел на него и вдруг заговорил быстро, обиженно:

— О какой работе вы спрашиваете? Какая работа? Меня же как оставили здесь? Я беспартийный, тихо работал корректором в многотиражке. А меня почему-то вызывают в НКВД и говорят:

«Останетесь в городе. Постарайтесь устроиться к немцам в газету. Это, говорят, приказ Родины, и отказаться нельзя, а когда потребуется — к вам придет человек». Я и остался. В газете-то у немцев я служу. Как и прежде, корректором. Не подличаю, конечно, но жалованье от них имею, на цуйку хватает. А человек обещанный так и не появился. Вот вам и вся моя работа.

— А вам тогда, в НКВД, никаких адресов не дали?— спросил Шрагин.

— Как же, дали, дали, целых два,— закивал он головой.— Прихожу по одному, говорю пароль: «Я от Ивана Ивановича. У вас продается швейная машина?» А в ответ на меня таращат глаза: «Какая машина? Какой Иван Иваныч? Вы, говорят, чего-то напутали...» Я стал спорить: мол, ничего я не напутал. Тогда меня просто шуганули по матери. По второму адресу я и вовсе не пошел, одного хватит.

— Дайте мне второй адрес.

— Ради бога: Южная улица, двадцать семь, квартира пять.

— Какой пароль?

— Да тот же — про машинку, только не от Ивана Ивановича, а от Ивана Петровича.

— Ответ?

— «Иван Петрович предупредил вас, что машинка требует ремонта? Посмотрите ее сами».

«Да, гвоздь с проволочкой на месте, а больше-то ничего нет...» — думал Шрагин.

— Вы не думайте, я не гад какой-нибудь,— нарушил молчание Алексей Михайлович.— Вы дайте мне задание, так я с радостью. Оставался-то я вслепую, но за год такого тут насмотрелся... Я ведь сам пробовал. Вычитывал однажды газетную полосу, гляжу — фраза: «Честный труд во имя великой Германии», и в слове «труд» опечатка: вместо «д» стоит «п». Так я не выправил, газета так и вышла: «честный труп во имя великой Германии». Ну и что? Никто этого даже не заметил. Бумага — рвань, печать слепая...— Он помолчал и продолжал с непонятной улыбкой:— Да, Игорь Николаевич, не так мы все это представляли, не так...

— Вы по себе, Алексей Михайлович, не мерьте,— миролюбиво заметил Шрагин.— От того, что совершают у вас люди, сидящие в катакомбах, у гитлеровцев мороз по коже.

Алексей Михайлович поднял голову, и в глазах его Шрагин увидел обиду.

— Зачем вы так, Игорь Николаевич?— тихо спросил он печальным голосом.— Я же ничем себя еще не запоганил, а если я эту цуйку пью, так куда же мне деться?— Помолчав, он спросил все так же печально:— Так что же, я вам действительно нужен?

— В данном состоянии — нет,— ответил Шрагин.— Могу вам только посоветовать: возьмите себя в руки и поймите — однажды вам придется ответить на вопрос, что вы делали для своего народа, когда он обливался кровью. Ловили опечатки в дерьме, пили цуй-

ку, что еще? Что еще, Алексей Михайлович? Подумайте об этом, пока не поздно...

Когда Шрагин вышел на улицу, было уже темно. Надо было обдумать, идти ли по явочному адресу, который он сейчас получил. Надо идти. Надо. Малейшую возможность установить связь с местным подпольем он обязан использовать.

Именно обязан...

ГЛАВА 42

Шрагин уже понял, почему начальник одесского порта Нельке встретил его с такой предупредительностью. Его втягивали в грандиозную аферу, план которой был, однако, совсем несложным. Нельке представит в Берлин данные о том, что порт нуждается в большом ремонте. Представитель немецкой городской администрации (он присутствовал на обеде) подтвердит данные Нельке. Ремонт брала на себя румынская строительная фирма. (Два ее представителя тоже сидели тогда за обеденным столом.) Ремонтные работы будут произведены на копейки — для виду, а вся огромная сумма, ассигнованная на ремонт, делится между участниками аферы. Шрагин тоже получает довольно крупный куш. За это от него требуется только одно — добиться, чтобы после его доклада о поездке в Одессу адмирал Бодеккер послал в Берлин шифровку, поддерживающую необходимость ремонта.

— Вы же абсолютно ничем не рискуете,— уговаривал его Нельке, когда они на другой день после осмотра порта вдвоем обедали в ресторане гостиницы.— Допустим даже, что наш план провалится, тогда вы скажете, что вы такая же жертва обмана с нашей стороны, как и все берлинское начальство. Мы можем обойтись и без вашей помощи, но все же шифровка Бодеккера хорошо сцементирует все это дело. Вы понимаете меня?— Нельке в упор смотрел на Шрагина своими красивыми веселыми глазами.

— Я все понимаю,— улыбнулся Шрагин.— Но дайте мне подумать.

— Сколько вы будете думать?

— Пять минут.

— Тогда я пойду позвоню по телефону и через пять минут вернусь.

Нельке ушел.

Шрагин мгновенно принял решение. Он не считал, что все это провокация, подстроенная специально против него, но на всякий случай нашел нужным предусмотреть и такой вариант. Он вырвал листок из блокнота и написал на нем:

«Иду на предложенную Нельке аферу, чтобы впоследствии ее разоблачить». Записку он засунул в ботинок под ступню. В случае чего он ее предъявит в оправдание своих действий.

Вернулся Нельке.

— Ну?— весело спросил он.

— Я с вами,— так же весело ответил Шрагин.

— Я не ошибся, вы — человек дела!— воскликнул Нельке и долго тряс руку Шрагина.— За обед уже уплачено. Мне надо мчаться в порт. Вот здесь, у моего стула, портфель. Возьмите его, там половина вашего гонорара, остальное — после шифровки Бодеккера.

Нельке крепко пожал руку Шрагина, поблагодарил его и спросил, сколько он еще собирается пробыть в Одессе. Шрагин сказал, что Бодеккер поручил ему помочь наладить какие-то дела администрации с местными рабочими порта.

— Считайте, что все это налажено!— воскликнул Нельке и весело продолжал:— Все дело в том, что мы добивались именно вашего приезда. Видите, как крепко у нас поставлено дело. Мы провели разведку в лагере вашего адмирала и установили всех из его окружения, с кем он считается. Затем мы выбрали вас и придумали посильную только вам проблему отношений с местными рабочими. Вот и все. Ловко спланировано?

— Ничего не скажешь,— улыбнулся Шрагин.— Тогда я в Одессе пробуду еще дня два, для виду, так сказать, да и жена за это время устроит свои дела.

— Прекрасно. За гостиницу уплачено, а на все остальное денег у вас хватит,— веселился Нельке, показывая на портфель.— Когда вы решите возвращаться, позвоните мне насчет машины. До свидания, коллега, сердечный привет вашей обаятельной супруге...

Лили в номере не было, она еще утром отправилась к профессору. Шрагин решил дождаться ее и по телефону заказал для нее обед.

Лиля пришла подавленная, растерянная. Профессор подтвердил, что у нее в легких очаг, и хотя он небольшой, но находится в активном состоянии. Необходимо усиленное питание, полный покой, а лучше всего — поехать в специальный санаторий. Лиля заплакала, ушла в свою комнату и лежала там ничком на постели.

— Успокойтесь, я сделаю для вас все, что смогу,— утешал ее Шрагин.— Я напишу рапорт адмиралу Бодеккеру. И доктор Лангман, ведь он...

— Ни в коем случае!— возмущенно прервала его Лиля.— Не знаю, как вы, а я рада, что до сих пор ничем ему не обязана.

— Я тоже этому рад,— успокаивал ее Шрагин.— И думаю, что адмирал для меня все сделает.

Верная своему характеру, Лиля вскоре успокоилась, а узнав, что Шрагину нужно пробыть в Одессе еще два дня, вдруг сказала:

— Я уеду сегодня с Лангманом. Мне здесь очень тоскливо.

— У вас на неделе семь пятниц,— усмехнулся Шрагин.

— Эта услуга его не велика,— сказала Лиля.

— Вы уже виделись?— спросил Шрагин.

— Да, когда я была у профессора, он туда приехал. И кстати, он предложил устроить меня в какой-то знаменитый санаторий у них в Германии. Но я категорически отказалась...

В конце дня Лангман зашел за Лилей.

— Не беспокойтесь, я вожу машину отлично,— сказал он.— Кроме того, со мной едет еще мой врач...

До наступления сумерек Шрагин сходил в разведку по тому адресу, который он получил от Алексея Михайловича. На тихой улице он увидел утопающий в акациях маленький домик, производивший впечатление надежности, покоя и уюта. Шрагин твердо решил — как только стемнеет, он сюда придет.

В темноте та тихая улочка выглядела уже опасной: здесь в любом месте могла таиться невидимая засада. И домик тоже не казался погруженным в надежный покой. Он настороженно смотрел на улицу своими темными окнами. Целый час Шрагин, укрывшись в темноте, вел за ним наблюдение — ни звука, ни малейшего шевеления. Надо идти...

Шрагин наискось пересек улицу, поднялся на крыльцо домика и отрывисто постучал в дверь. Долго ничего не было слышно, потом что-то заскрипело за дверью, раздался лязг запора, и дверь приоткрылась.

— Вам кого?— спросил из щели невидимый человек.

Шрагин сказал парольную фразу.

В ответ — молчание: секунда, другая, третья... Целая минута молчания, но дверь оставалась приоткрытой. Шрагин стиснул в кармане рукоятку пистолета. И в это время он услышал нужный ответ...

И вот он уже сидит за столом в маленькой душной комнатке, еле освещенной мерцающим огоньком коптилки. По другую сторону стола напротив него — плечистый мужчина в матросской тельняшке, с благообразным лицом Николая-угодника, с железными очками на носу. Шрагин уже знал, что его зовут Андрей Прокофьевич.

— Да, кинули вы мне под ноги гранатку...— пощипывая бородку, тихо говорил Андрей Прокофьевич.— Пароль-то уже полгода, как изменен. Лежит под ногами граната, шипит, а что делать — не знаю. По всем законам я должен был послать вас к чертовой матери, а с другой стороны...— Он вынул из-за голенища нож и показал его Шрагину:— Вот на него я, на случай, и положился. А где же вы этот пароль получили?

Шрагин рассказал про Алексея Михайловича.

— Первичные кадры,— вздохнул Андрей Прокофьевич.— Мы только в январе узнали, что он оставлен, понаблюдали за ним, видим — пустое место, и решили — от греха подальше — пароль изменить.

Шрагину повезло отчаянно. Андрей Прокофьевич был активным участником подполья и имел возможность связать Шрагина с нужными людьми.

Два дня подряд Шрагин в условленный час приходил к памятнику Ришелье, ждал положенные двадцать минут и уходил.

И только на третий день Андрей Прокофьевич пришел. Они направились в Приморский парк.

— Встретиться с вами не могут... пока...— сказал Андрей Прокофьевич.— Но если у вас есть какое-нибудь сообщение в Москву, можете передать через меня... в незашифрованном виде. Вы не обижайтесь, у них здорово поставлена конспирация.

— А у вас?— улыбнулся Шрагин.

— Сами видели, принял вас по старому паролю,— ответил Андрей Прокофьевич, будто оправдываясь.— Потери все время, каждый человек здесь у нас на вес золота. Тяжело дался нам первый год, ох, тяжело!— снова вздохнул он.

Шрагин слушал своего собеседника и в это время продумывал текст донесения в Москву, которое он теперь же должен передать Андрею Прокофьевичу. На первый раз он никаких сведений в донесение не включит. Он тоже обязан думать о конспирации. В конце концов он написал на клочке бумаги:

«Мой радист погиб. Связь потеряна. Подтвердите возможность использования данного канала связи. Остается острой необходимость радиста, взрывчатки. Грант».

Андрей Прокофьевич взял у Шрагина донесение и спрятал его за подкладку в рукав пиджака.

— Передам через четыре дня,— сказал он.— Раньше возможности нет.

Они распрощались, как давние хорошие друзья, и Шрагин ушел в гостиницу...

Вернувшись из поездки в Одессу, Шрагин, не заходя домой, поехал прямо на завод. С портфелем, набитым деньгами, он вошел в кабинет адмирала Бодеккера и по-военному отрапортовал о выполнении задания.

— Знаю, знаю,— адмирал вышел из-за стола.— Нельке мне уже позвонил и сообщил, как прекрасно вы справились со своими обязанностями. Садитесь. Ну, как там у них дела?

— Нельке, по-моему, прекрасный организатор и хорошо знает свое дело.

В ответ Бодеккер только хитро прищурил один глаз и ничего не сказал. Что могло это означать? То, что Шрагин задумал сделать, было очень рискованно, но если все сойдет так, как он рассчитывал, это, кроме всего прочего, еще больше укрепит его положение при адмирале. И все же он решил пока не торопиться и попытаться получше выяснить отношение адмирала к Нельке.

— Вы так смотрите, как будто сомневаетесь в чем-то?— спросил Шрагин.

— Вы сказали: «Нельке — прекрасный организатор»,— улыбнулся адмирал. Потом прибавил:— «Хорошо знает свое дело». Так вот, я бы подчеркнул слово «свое». Да, с в о е дело он знает отлично.

Шрагин удивленно и непонимающе смотрел на адмирала, ожидая, что он скажет еще. Бодеккер перестал улыбаться, переложил на столе какие-то бумаги и спросил сухо:

— Работы было много?

— Совсем наоборот. Если говорить откровенно, моя поездка туда была совсем не обязательна.

Теперь уже адмирал удивленно смотрел на Шрагина.

— Но Нельке опасался, что весь его местный персонал не сегодня завтра объявит забастовку.

— Я не заметил там ничего похожего. Мне показывали объекты, требующие капитального ремонта, а об этом даже разговора не было.

— Вот как?— поднял брови адмирал и продолжал, будто размышляя вслух: — В высшей степени странно, что необходимость ремонта возникла спустя год после нормальной, а главное, совсем ненапряженной работы порта. Странно, очень странно...

— Но, может быть, необходимость ремонта возникла теперь из-за увеличения нагрузки?— предположил Шрагин.

— Ерунда! Какая нагрузка? В связи с усилением действий советской авиации морские перевозки сокращаются.

— Могли увеличиться каботажные перевозки.

Адмирал гневно посмотрел на него:

— У них уже есть проект ремонта?

— Я видел смету на миллион семьсот тысяч шестнадцать марок.

— Трогательно!

— Что трогательно?

— Трогательны эти шестнадцать марок,— пояснил адмирал и надолго замолчал.— Я не хотел бы говорить об этом,— нарушил он наконец молчание, с трудом заставляя себя говорить,— но вынужден... именно вынужден. Дело в том, что Нельке на флоте — человек случайный, и он... делец, причем в худшем понимании этого слова... Я прошу вас ответить мне честно: вы видели объекты, представленные к ремонту?

— Видел.

— Они действительно разрушены?

Шрагин молчал.

— Отвечайте!— строго потребовал адмирал.

— Я установил, что мое молчание стоит довольно дорого.

— Я вас не понимаю.

— Хотите знать, сколько стоит мое молчание? Извольте,— Шрагин поднял с пола портфель, расстегнул его и высыпал на стол кучу банкнот.— Это только половина цены. Вторую половину суммы я получу, когда добьюсь вашей поддержки планов Нельке.

— Я так и знал,— тихо произнес адмирал, грузно осев в кресле.— Сколько здесь?

— Не считал.

— Почему вы взяли деньги?

— Я еще не пользуюсь у вас таким доверием, чтобы в подобной ситуации не думать о вещественных доказательствах,— ответил Шрагин.

— Но каковы мерзавцы! — воскликнул адмирал. — Сейчас, когда Германии приходится напрягать все свои силы, когда фюрер в каждой речи призывает немцев выполнять до конца свой долг, эти гангстеры решили грабить Германию. Позор! — Адмирал с ненавистью взглянул на деньги и вызвал майора Каппа.

— Пусть узнает, чем занимаются мерзавцы в мундирах!

Майор Капп с первых же слов Шрагина понял, какая эффектная и многообещающая история попадает ему в руки. Он с плохо скрываемой радостью выслушал Шрагина и попросил сейчас же подробно написать обо всем, что произошло в Одессе.

— Вы, господин Шрагин, сделали огромное дело, — говорил Капп. — Ваша заслуга не будет забыта.

— Я представляю его к награде, — объявил адмирал...

Скандальное дело об афере в одесском порту хотя и не было предано широкой огласке, но стало известно очень многим. О нем был издан секретный приказ главного управления имперской безопасности, в котором сообщалось, что участники аферы подвергнуты беспощадному наказанию. В этом приказе превозносились заслуги майора Каппа, но о Шрагине и даже об адмирале Бодеккере не было ни слова. Никакого ордена Шрагин не получил, хотя адмирал свое слово сдержал и послал документы в Берлин. Шрагину выдали только денежную премию в размере трехмесячного оклада. А как только он получил канал связи с Москвой через Одессу, он передал туда сообщение обо всей этой истории, и она мгновенно стала достоянием советской, а потом и иностранной печати. Эта сенсация была тем более скандальной, что она совпала с публичным заявлением Гитлера о том, что теперь все немцы — от руководителей государства до последнего крестьянина — с неописуемым энтузиазмом отдают все, что имеют, своей армии и победе.

«Гитлера опровергают его же жулики» — так озаглавила сенсацию одна английская газета.

Но зато уж совсем непредусмотренным трофеем Шрагина в этой истории стала группа работников главного управления СД, которые были сняты с постов и отправлены на фронт. Им было предъявлено обвинение в разглашении одесского дела...

ГЛАВА 43

Релинк вылетел в Берлин получать орден. Он прекрасно понимал, что орден этот, что называется, очередной, а не за какие-то конкретные заслуги и вызывают его только потому, что статут ордена требует вручения его в столице. Вскоре после победы над Францией ему довелось присутствовать на такой церемонии. Она происходила в актовом зале управления имперской безопасности в присутствии офицерского состава. Стены из черного дуба. Голубые офицерские мундиры. Ордена вручал Герман Геринг. Он был в белоснежном кителе. Поздравительные

речи произносили элегантный густобровый Мартин Борман и, как всегда непроницаемый, Генрих Гиммлер. В заключение все пели «Хорст вессель», глядя на гигантский флаг со свастикой... Теперь Релинк ставил себя на место счастливчиков, которые получали тогда ордена, и, конечно, волновался.

Релинк приготовил к поездке не только новый китель, но и подробный доклад о своей деятельности за последний год, и то, как будет принят доклад начальством, волновало его все-таки гораздо больше, чем церемония получения ордена.

В Берлине он покажет доклад прежде всего своему непосредственному шефу Отто Олендорфу и если получит его одобрение, тогда передаст доклад в секретариат рейхсминистра.

На всякий случай Релинк вез с собой два варианта доклада: один — более победоносный, другой — поскромнее,— мало ли какие там, наверху, сегодня настроения?

В победоносном варианте доклада были такие выражения: «Мы сломили сопротивление города...», «Организованные действия подполья уже в прошлом...», «Перед нами остались лишь разрозненные одиночки...». В более скромном варианте доклада таких категорических утверждений уже не было, но перечисленные конкретные факты деятельности СД убедительно показывали, что за год сделано немало.

И вот на служебном самолете штаба восемнадцатой армии Релинк отбыл в Берлин. Когда самолет приближался ко Львову, он был обстрелян из леса партизанами. Крупнокалиберная пуля вывела из строя один из двух моторов. Самолет стал быстро терять высоту и снова был обстрелян с земли. Один из летчиков был ранен, а офицер, фельдъегерь штаба восемнадцатой армии, убит. После первого обстрела, обернувшись с переднего кресла, фельдъегерь сказал что-то Релинку, и тот согласно кивнул, хотя из-за шума моторов ничего не расслышал.

А после второго обстрела Релинк сам наклонился к фельдъегерю и прокричал:

— Неужели нельзя навести здесь порядок?!

Но тот не повернулся — он был мертв.

Релинк узнал об этом только во Львове, когда самолет совершил неуклюжую посадку и от тряски тело офицера свалилось на пол. Релинка напугала не только смерть сидевшего рядом с ним человека, но и равнодушие, с каким на львовском аэродроме отнеслись к случившемуся, и то, как раненный в руку летчик, смотря на убитого офицера, сказал с мрачной насмешкой:

— Ему уже лучше, чем нам, не так ли?

Пока ремонтировали самолет, Релинк бродил по аэродрому, уже стыдясь своего страха и предвкушая, как он будет рассказывать берлинским чиновникам об этом эпизоде: «Он сидел рядом со мной, буквально рядом...»

Но ему не пришлось рассказывать про это. В управлении имперской безопасности подобные истории никого не интересовали. Более того, Релинк обнаружил, что и сам он и его доклад тоже ни-

кого не интересуют. Когда он вошел в кабинет Олендорфа, тот даже не сразу его узнал, а потом холодно предупредил, что очень занят. Релинк отдал ему скромный вариант доклада, тот, не читая, сунул его в стол и спросил отчужденно:

— Ну, как дела?

— Разные,— растерянно начал Релинк.

— Очевидно, вы работаете неплохо,— снисходительно сказал Олендорф.— Генерал Штромм заявил, что ему там у вас нечего делать, и благодаря этому он уже приземлился здесь.

— Мне будет не хватать его опыта,— лицемерно сказал Релинк, жалея, что вручил не тот вариант доклада.

— Я уверен, вы справитесь,— сказал Олендорф, глядя на часы.

— Вы не знаете, когда мне вручат орден?— спросил Релинк.— Я бы не хотел задерживаться в Берлине.

— Какой орден?— удивился Олендорф и сразу вспомнил:— Ах да, один момент.— Он набрал номер телефона и сказал:— У меня находится Релинк. Да, да, тот самый. Он не хотел бы задерживаться в Берлине, а ему должны вручить орден по годовому приказу рейхсминистра. Хорошо, я пришлю его к вам.— Олендорф положил трубку и сказал вставая:— Идите в управление кадров, начальник ждет вас. Все-таки дня два я на вашем месте пробыл бы в Берлине, подышал его воздухом...— Держа Релинка за руку, он подталкивал его к двери.— Перед отъездом зайдите ко мне, договорились?

Релинк вышел в сумрачный коридор и долго стоял, потрясенный сознанием своей незначительности и ненужности.

Дежурный офицер провел Релинка в кабинет заместителя начальника управления кадров. У самого начальника шло какое-то важное совещание.

Молодой шарообразный полковник встретил Релинка с четко отработанной почтительностью. Он выкатился из-за стола, улыбаясь всем своим круглым отечным лицом:

— Здравствуйте, здравствуйте! Прекрасно, прекрасно! Растет наша когорта славных, растет,— сыпал он слова, как горох, высоким голосом, смотря на Релинка серыми равнодушными глазами, пронизанными кровяными жилками. Потом он пошел к сейфу, достал оттуда коробочку, вернулся к столу и нажал кнопку звонка. Тотчас в кабинет вошел молодой человек с белым мертвым лицом, в офицерском кителе без знаков различия. В руках у него был фотоаппарат с блицлампой. Он стал спиной к окну и поднял аппарат к глазам.

— Пожалуйста, сюда,— показал полковник на стоптанное место ковра. Он вынул из коробочки орден и пальцем прижал его к груди Релинка. Блеснула блицлампа. Полковник сунул коробочку и орден в карман кителя Релинка и протянул руку:— Поздравляю, поздравляю,— и снова блеснула блицлампа.

Фотограф вышел из кабинета. Полковник сел за свой стол. Вошел дежурный офицер. Он вручил Релинку пухлый конверт.

— Это положенная к ордену денежная награда от рейхсминистра,— официально произнес он.— В отеле «Адлон» вам отведена комната номер тридцать девять, талоны на питание получите у портье.

— Желаю хорошо повеселиться,— сказал полковник.

Дежурный офицер элегантным жестом показал Релинку на дверь...

Релинк медленно шел по коридору. Мимо него пробегали деловито озабоченные и очень значительные офицеры, исчезавшие за многочисленными дверями. Здесь шла работа, к которой он не имел никакого отношения. И вероятно, то, что он делал, тоже никому здесь не было нужно. Он чувствовал себя раздавленным, усталым.

И вдруг он испугался того, что свободен от всяких дел. Чем заняться?

Он отыскал в записной книжке телефоны двух своих друзей по офицерской школе. Телефоны не отвечали. И тут Релинк вспомнил, что генерал Штромм, переезжая в Берлин, оставил ему свой здешний телефон, и позвонил ему из комнаты дежурного офицера.

— Здесь Штромм,— услышал он знакомый голос.

— А здесь Релинк.

— О, вы в Берлине? Где остановились?

— Отель «Адлон», комната тридцать девять. Я хотел бы вас видеть.

— Вечер свободный?

— Абсолютно, и есть куча денег.

— Ждите меня в двадцать один ноль-ноль.

ГЛАВА 44

Вечером Релинк и генерал Штромм сидели в аляповато-роскошном ресторане отеля.

— Почти как в Париже, помните? — спросил генерал Штромм.

Релинк не ответил. Нет, это не было похоже на Париж, а главное, совсем не похоже на то, что он видел здесь раньше.

Они уже начали вторую бутылку коньяку, но разговор, который нужен был Релинку, пока не получался.

— Надеюсь, вы довольны моим бегством от вас, хо-хо?— против своего обыкновения громыхать басом тихо говорил Штромм.— Признайтесь, мое присутствие там действовало вам на нервы.

— Нисколько,— ответил Релинк.— Я всегда нуждался в вашем опыте и авторитете.

— Врете, вы боялись меня,— заявил Штромм, но не категорически и наступательно, как всегда, а как-то безразлично.— Но вы мне давно нравитесь, Релинк. Я бы с удовольствием перетащил

вас в Берлин. Я уже не гаффеноберст, хо-хо, я начальник отдела в имперском управлении. Не шутите, хо-хо!

— Перетащите, сделайте одолжение,— шутливо поклянчил Релинк.

— Пока не могу, хо-хо! Я же удрал от вас с мотивировкой, что вы там не нуждаетесь в опеке.

Релинк натянуто улыбнулся. Конечно, после всего, что он пережил в Берлине за один этот день, для него было бы счастьем вырваться из далекого русского города, а значит, и из своей неопределенности или даже ненужности. Но он не верил Штромму и к его словам серьезно относиться не мог. Сейчас его интересовало другое. Он очень ясно чувствовал, что в Берлине все изменилось; будто за год, пока он не был здесь, случилось нечто, чего он не знает...

— Гораздо хуже, что у нас начинают сдавать нервы,— сказал Штромм.

— Разве есть от чего?

Штромм взглянул на Релинка насмешливо:

— А у вас не сдают?

— Пока не замечал.

— Поздравляю вас,— наклонил голову Штромм. Он налил себе коньяку, выпил.— Берлину позарез нужны люди с крепкими нервами. Я доложу о вас фюреру...

— Мои нервы в распоряжении рейха,— подхватил шутку Релинк.

— Нет, Релинк,— покачал головой Штромм.— Берлину действительно нужны люди с крепкими нервами, но не с такими крепкими, как у вас, а то сам рейхсминистр рядом с вами будет выглядеть неврастеником...— генерал Штромм придвинулся к Релинку вплотную.— Неужели вы не понимаете, что господа военные подвели нас, всех нас: фюрера, вас, меня, всех, кто доверил им войну? Мы с вами — верная гвардия фюрера — взяли на себя самую тяжкую работу, а эти лощеные что? Фюрер дал им все: катаются в «мерседесах», адъютанты открывают дверцы, со всех сторон орденами обвешаны, а оказалось-то, что кишка у них тонка.

— А вы не преувеличиваете? Намеченный прорыв к Волге с отсечением Москвы от юга и Сибири...

— Вот, вот!— перебил его Штромм злорадным шепотом.— Они всех втянули в эту игру: на стене — карта, радио передает сводки главного командования, а вы втыкаете флажки. Но вы же не знаете, что, вкалывая булавки в карту, вы стоите по колено в крови, в немецкой крови, Релинк!— генерал нервным движением руки расстегнул карман кителя, вытащил оттуда бумажку и, бережно развернув ее, положил перед Релинком.— Читайте.

Это было стандартное извещение о героической гибели во имя победы на русском фронте Вилли Штромма.

— Для этого я растил сына, да?— шепотом спросил генерал.

Они долго молчали. Релинку было жутко. Все, что он услышал от генерала, он уже слышал и раньше, и вообще в их среде недове-

рие к высокопоставленным генералам было традиционным. Но сейчас впервые он почувствовал, что за этим недоверием стоит нечто определенное,— может быть, уже непоправимое несчастье.

— Вот, дорогой мой Релинк, куда завели нас «мерседесы» и белые перчатки,— сказал Штромм. Он уже взял себя в руки и был совершенно трезв.— Я же видел, вы бьетесь там, в своей дыре, как истинный солдат нашей гвардии. Я это искренне говорю, но я видел также, как все ваши усилия уходят в песок. Вы наносите удар вперед, а в это время вас бьют в спину. И знаете, почему нет конца вашей драке? Да потому, что и русские уже понимают, что мы завязли в болоте. Попомните мое слово, вам будет еще хуже...

В это время джаз оборвал музыку, и офицер громко объявил с эстрады:

— Внимание! Внимание! В городе объявлена воздушная тревога, просьба пройти в бункер.

В ответ раздались насмешливые выкрики, хохот, свист. Официанты заметались по залу с белыми листиками счетов.

Несколько человек уже шли к выходу. Поднялся и Штромм.

— Проводите меня...

Перед отъездом Релинка принял Отто Олендорф.

Олендорф прочел его доклад и целиком одобрил его.

— Вы очень правильно пишете о видоизменении сопротивления,— сказал он.— Мне показалось только, что вы не определили до конца природу этого нового в тактике нашего врага. Она отражает общее положение нашей борьбы во всем ее, я бы сказал, всемирном масштабе. Мы вступили в фазу затяжной и очень тяжелой борьбы; это состязание на выносливость всех сил и нервов в том числе. Сейчас не время выяснять, что привело нас к этому...

— Я вижу свою задачу в одном,— сказал Релинк, почувствовав, что Олендорф ждет от него ответа.— Уничтожать врага беспощадно, умело, каждый день.

— Именно так, Релинк!— ответил Олендорф.— Но я особенно подчеркнул бы ваше слово «умело»! А главную, всеобъемлющую задачу вы прекрасно сформулировали сами — уничтожение.— Олендорф поднял палец.— Но — умело, Релинк. И последнее: я представил вас к повышению в звании, а затем буду ставить вопрос об утверждении вас начальником СД города.

— Спасибо,— скромно, с достоинством произнес Релинк.

— Преданность и умение Берлин видит и ценит.— Олендорф встал и своим знаменитым красивым движением поднял руку.— Хайль Гитлер!

Релинк вскочил и тоже выбросил руку.

— Хайль Гитлер!

В эту минуту все как будто стало на свои места, но — как будто и только в эту минуту...

ГЛАВА 45

Никогда не было так плохо, как в это второе лето войны. Нет связи с Москвой. Ничего не известно о Харченко. Ушедшие к партизанам товарищи вторую неделю ничего не сообщают. Оставшиеся в городе Федорчук и Величко по очереди ежедневно проверяли «почтовые» ящики, через которые могла прийти весточка,— они были пусты. Гестаповцы продолжали свирепствовать. Последнее время даже Шрагин с его документами на улице чувствовал себя неуверенно: ищейки СД хватали кого попало. На днях они арестовали даже немецкого инженера,— им, видите ли, показалось подозрительным, что инженер вечером слишком медленно шел по улице. Адмиралу Бодеккеру пришлось ехать к Релинку выручать своего инженера.

Понесшее большие потери подполье действовало разрозненно, со многими подпольщиками была потеряна связь. И все-таки борьба патриотов продолжалась. Но иногда нельзя было установить, кто действует. С недавнего времени в городе стали регулярно появляться рукописные листовки. По содержанию они были трогательно-наивными, но написаны с явно юношеским пылом. Чья это была работа — неизвестно. «В общем, это работа наша»,— говорил себе Шрагин и был прав. Конечно же, всех этих неизвестных патриотов позвали за собой боевые дела подполья и чекистской группы.

...Возле заводских ворот стояла легковая машина с шофером в гестаповской форме. На заводе явно что-то случилось, раз «черные» появились в такую рань. Шрагин, не заходя в заводоуправление, направился к стапелю, где ремонтировался минный тральщик. То, что происходило на этом объекте, очень его тревожило. По графику ремонт тральщика должны были закончить еще в прошлую субботу, но график давно был сорван. Несколько дней назад работавший в ремонтной бригаде Павел Ильич Снежко, улучив удобный момент, подошел к Шрагину.

— Неладно тут, Игорь Николаевич, бригада нарочно заваливает ремонт,— сказал он шепотом.

А позавчера сам адмирал Бодеккер, просматривая, как обычно, в конце дня сводку о ходе ремонтных работ, вдруг спросил у Шрагина, не кажется ли ему подозрительной затяжка ремонта тральщика. В общем, вся эта история могла кончиться плохо, тем более что последние два дня возле тральщика вертелся майор Капп. Шрагин ничего предпринять не мог — ни он, ни руководители подполья не знали, кто организует этот саботаж. Последние дни Шрагин буквально не отходил от ремонтников, пресекая каждую неуклюжую попытку саботажа. Он рассчитывал, что организаторы саботажа поймут, наконец, что лезут на рожон, и станут действовать умнее и осторожнее. В конце концов этот объект не стоит того, что из-за него могло произойти.

Сейчас Шрагин еще издали увидел на причале толпу людей.

Когда он подошел, рабочие расступились. На земле лежал Снежко. В спине у него торчал самодельный финский нож. Один гестаповец, сидя на корточках, осматривал труп. Другой — это был Релинк — разговаривал с адъютантом адмирала Пицем. Шрагин подошел к ним и, не здороваясь, спросил:

— Что тут случилось?

Релинк резко обернулся на его голос:

— А! Доброе утро, господин Шрагин.— На лице Релинка вспыхнула и тотчас погасла холодная улыбка.— Все ясней ясного — убит человек. Весь вопрос в том, кем и почему он убит.

Шрагин подозвал руководителя ремонтной бригады. Из толпы вышел низкорослый, сухонький, точно запеченный на солнце, мужчина лет пятидесяти.

— Доложите, как это произошло,— строго приказал Шрагин.

На лице бригадира появилось крайнее удивление.

— Как произошло, нам неведомо. Вчера после смены, когда мы все уходили, я позвал его...— бригадир кивнул на труп.— А он промолчал и остался на объекте. Это все видели... Я знал, что под конец смены у него шалил пневматический молоток, и подумал, что он остался его наладить. А сегодня к шести приходим, а он вот так лежит... И все его карманы вывернуты наизнанку...

Релинк, видимо, понял, что сказал бригадир, и обернулся к Шрагину:

— В общем, все ясно — ограбление. Прикажите им работать.

В заводоуправлении из кабинета адмирала Релинк позвонил в СД и приказал прислать на завод медицинского эксперта. Положив трубку, он откинулся на спинку адмиральского кресла и бесцеремонно разглядывал сидевшего перед ним Шрагина.

— Ну, что вы скажете об этом?

— Могу только предположить. Этого Снежко очень не любили рабочие.

— За что?— спросил Релинк.

— Он им порядком насолил. Прошлой осенью он оказался косвенным виновником в потоплении подъемного крана.

— Я помню эту историю,— заметил Релинк.

— Недели две он был тогда под угрозой серьезного наказания, но потом выяснилось, что главный виновник — немецкий инженер, я уже не помню его фамилию, его тогда же отчислили с завода.

— Его фамилия Штуцер,— продемонстрировал Релинк свою безотказную память.

— Да, да, Штуцер. Так вот, когда угроза для Снежко миновала, он начал всячески выказывать свою преданность немецкой администрации. Но у русских есть хорошая пословица: «Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет». Так и этот Снежко. Три дня назад на тральщике был адъютант адмирала Пиц. Снежко ему нашептал — а как он шептал, все видели,— что покраска палубных построек произведена без предварительной грунтовки. Пиц сообщил это мне, и я заставил рабочих в нескольких местах снять

краску. Но грунтовка была сделана. Тогда я, знаете, подумал, не затеяно ли все это, чтобы затянуть ремонт, и буквально взял этого Снежко за горло. За покраску соскобленных мест рабочие, естественно, ничего не получили... Немного раньше Снежко сообщил майору Каппу, будто крановщик и трое рабочих хотели свалить кран с рельсов. Майор Капп остановил работы и целый день вел следствие. За этот день рабочие тоже не получили ни копейки, а подозрение не подтвердилось. Были и другие случаи.

Релинк выслушал Шрагина очень внимательно и даже несколько раз наклоном головы как бы выразил согласие с ним. Но потом сказал:

— Мне остается только добавить, что Снежко подозревал на тральщике саботаж и сигнализировал об этом. Более того, я считаю себя виновным в его смерти. Я очень занят и не смог оперативно отозваться на его сигнал. Но мне интересно: вы окончательно отказались от мысли о возможности саботажа?

— Я допускаю возможность саботажа,— спокойно ответил Шрагин.— Это постоянный и логический фактор, и, кстати, вы напрасно вините себя в смерти Снежко,— вы просто не в силах быть всюду, где может возникнуть опасность саботажа.

Релинк вынужден был проглотить это, по возможности не морщась, и он явно не сразу нашел, что ответить. И вдруг спросил:

— А разве вы не несете ответственность за организацию работ?

— По должности я лицо наблюдающее.

— А по совести?

Шрагин, смотря в глаза Релинку с открытой неприязнью, сказал:

— У вас есть основания подозревать, что моя совесть не чиста? Тогда этот разговор должен продолжаться в вашем служебном кабинете.

— Однако разговаривать с вами, не позавтракав, дело нелегкое. Вы же должны понимать, какая у меня должность. Я всегда, везде вместе со своей должностью,— улыбнулся Релинк...

Они простились, казалось, довольные друг другом. Но каждый из них долго и придирчиво вспоминал этот разговор.

Шрагин еще раз убедился, что Релинк очень опасный противник. На душе у него было тревожно, как у человека, который только что прошел по опасной горной тропе и еще ощущает холод пропасти.

Релинк после этого разговора испытывал к Шрагину только возросшее любопытство: перед ним был редчайший, если не единственный, экземпляр советского человека, которому, по всем данным, он должен был доверять без всякого сомнения. Но одновременно он не мог отказаться от чисто профессиональной привычки смотреть на Шрагина глазами следователя. У него, что называется, в крови было любимое выражение рейхсминистра Гиммлера: «По утрам мне хочется допросить самого себя». Да, Релинку очень хотелось бы допросить этого странного инженера, именно странного

или, во всяком случае, единственного в своем роде. Послушная и четко организованная память подавала ему воспоминания о его первом разговоре со Шрагиным в том немецком доме с глупой хозяйкой-немкой. Тогда Шрагин очень убедительно объяснил природу своего поведения. В одесском деле он оказался правоверней немцев. И вот этого-то Релинк не мог допустить и тем более понять. Он решил немедленно дать приказ своему агенту Марии Любченко усилить наблюдение за Шрагиным.

Шрагин и Величко сидели на скамейке в прохладном сумраке церкви, возле аляповатой иконы, изображающей идущего по воде Христа.

— Напишите эту листовку сами, у меня нет времени,— говорил Шрагин.— Смысл такой: на заводе убит некто Снежко. Его смерть поучительна. Он остался в городе, считая, что, если не лезть в политику, можно жить в ладу и с оккупантами. В заботах о собственной шкуре он, как и следовало ожидать, стал предателем и попросту агентом гестапо. Патриоты вынесли ему смертный приговор и привели его в исполнение. Вечный позор изменникам, вечная слава патриотам Родины! Понятно?

— Чего ж тут не понять,— отвечал Величко.— Одним гадом меньше — воздух стал чище.

Простившись с Величко, Шрагин сделал большой крюк по городу. Ему нужно было попасть на улицу, где на кирпичном заборе мог оказаться условный знак о том, что в город пришло сообщение от товарищей, ушедших к партизанам. Почти ежедневно Шрагин проходил здесь, но знака не было. А сейчас еще издали он увидел возле забора знакомую фигуру Григоренко. От предчувствия беды Шрагин невольно замедлил шаг.

Они поздоровались, как могли это сделать случайно встретившиеся знакомые, и медленно пошли вместе.

— С ночи стою тут вместо метки, до того дошел, Игорь Николаевич, бога молил, чтобы вы пришли...— нервно начал Григоренко.

С походом к партизанам ничего не вышло. К условному месту сбора, недалеко от лесной балки, где действовали партизаны, все добрались благополучно. Но сразу же попали в засаду. Карательный батальон СС и рота гражданской полиции со всех сторон блокировали партизанский район. Во всех селениях и на хуторах были устроены посты. Партизаны, заранее узнав о карательной экспедиции, покинули лесную балку и разошлись по своим деревням. И ни к одному из них нельзя было найти дорожку. Население деревень бдительно оберегало своих партизан. Учителя, который должен был связать чекистов с партизанами, на месте не оказалось — он тоже ушел от облавы и где-то скрывался. Григоренко и Демьянов рискнули заночевать в деревне, как им показалось, у вполне надежного человека, а он ночью привел в дом полицаев. Он, очевидно, принял их за полицейских шпиков и решил «выслужиться». Позже, когда он понял, что произошло, он пытался исправить дело, начал подтверждать все, что они ему говорили, и да-

же прибавлять к этому свои неуклюжие хитрости. Тогда полицаи заподозрили и его самого. Демьянов заявил полицаям, что он и Григоренко бежали из города, чтобы их не увезли в Германию. Очевидно, полицаи на этот случай имели какую-то инструкцию, потому что сразу же без всякого допроса отправили их обратно в город. Ночью они бежали. Григоренко четверо суток окольными путями шел в город. Что с Демьяновым, он не знал, во время побега они потеряли друг друга.

Вид у связного был плохой. Лицо осунулось, от былой его лихости и следа не осталось.

— Идите к Федорчуку,— приказал Шрагин.— Скажите, я приказал, чтобы он приютил вас на первое время. Приведите себя в порядок. Скажите ему, чтобы он по-прежнему следил за сигнализацией, но был очень внимателен. Есть опасность, что кто-нибудь вернется с хвостом наблюдения. Когда немного оправитесь, будете ходить на сигналы. Я с вами пока встречаться не буду. Все донесения — через почтовый ящик на кладбище.

— Ясно, Игорь Николаевич,— чуть ободрее сказал Григоренко.

Шрагин шел домой, погруженный в тревожное раздумье: что будет с его товарищами, когда все они вернутся в город? Положение у них будет еще более сложным, чем раньше: на прежние места работы им идти нельзя — как ответить на вопрос, где они пропадали, нарушив к тому же строжайший приказ, запрещающий покидать город без особого на это разрешения? А на улице их каждую минуту могут встретить прежние сослуживцы.

Нужно было найти какой-то выход. Шрагин остро чувствовал личную ответственность за судьбу каждого своего товарища.

ГЛАВА 46

Шрагин вышел с завода и сразу увидел Григоренко. Он стоял под дождем по ту сторону земляного кургана, некогда бывшего цветочной клумбой. Они встретились взглядами, и Григоренко медленно пошел к ближайшей улице.

— Федорчук просит вас немедленно прийти к нему,— тихо сказал Григоренко, когда Шрагин поравнялся с ним.

— Что случилось?

— Прибыл связной из Одессы.

— Буду через час...

Шрагин ускорил шаг и пошел дальше, а Григоренко свернул в переулок. Считая положение Федорчука наиболее прочным, Шрагин оставил одесским товарищам его адрес, но последние дни он уже не верил, что этот адрес понадобится. Не замечая дождя, Шрагин энергично шагал по улицам города. Он зарезервировал себе час для того, чтобы прийти к Федорчуку, когда стемнеет, и чтобы продумать донесение в Москву — он уже был уверен, что его связь с Москвой через Одессу налажена и что связной прибыл именно с этой радостной вестью.

Федорчук поджидал Шрагина у ворот своего дома.

— Странэньки курьерчик пожаловал,— сказал он, здороваясь.

— Чем?

— Сейчас увидите...

Они вошли в дом, и из-за стола навстречу Шрагину поднялся мальчуган лет шестнадцати. У него был вид беспризорника двадцатых годов: сбившиеся в комья грязные волосы, на плечах — пиджак, свисающий до колен, на ногах — подвязанные бечевкой опорки.

— Меня зовут Боря,— степенно сказал он сиплым голосом и тут же скороговоркой выпалил пароль, который Шрагин оставил одесскому подпольщику Андрею Прокофьевичу.

— Здравствуй, Боря,— Шрагин сжал жесткую ладошку мальчика.— Ну, рассказывай, с чем пришел.

— Ответный пароль,— строго потребовал Боря, высвобождая руку.

Шрагин сказал ответную фразу пароля, и тогда Боря успокоился:

— Так-то лучше будет...

Он вынул из драной подкладки пиджака спичечную коробку и отдал ее Шрагину:

— Там все, что надо...

И действительно, в спичечной коробке было все, что было нужно Шрагину, более того — в ней было все, о чем он мог только мечтать.

Прежде всего он прочитал шифровку из Москвы:

«Все, что вы просили, приготовлено, однако сброс, не обеспеченный оперативной связью или не сопровождаемый вашим человеком, не имеет смысла. Мы еще в мае имели радиосообщение из штаба 26-й дивизии о прибытии к ним вашего курьера, но вашего донесения мы не получили. Дивизия в те дни попала в окружение и была разбита. Судьба вашего курьера не известна. Пробуем организовать доставку вам необходимого с помощью одесских товарищей. Временно связь с нами также через них. Ждем ваших новых радиодонесений и отмечаем большую важность прежних. Очень необходимо знать, что теперь думают и говорят гитлеровцы о Сталинграде. Внимательно следите за их действиями в связи с Кавказским фронтом. Ваша семья шлет вам привет с Урала, у них все в порядке. По нашим сведениям, СД по всему югу Украины проводит тотальный террор, будьте предельно осторожны в действиях группы и своих лично...»

Нетрудно догадаться, что́ значила для Шрагина эта шифровка и с каким волнением он ее читал. В это самое трудное время Москва встала рядом с ним.

В коробке была еще записка от Андрея Прокофьевича.

«Все, как видите, прояснилось,— писал он.— Податель сего будет постоянным связным. Передавайте ему ваши шифровки для

Москвы. Паренек он трижды проверенный, надежный. Он будет приходить к вам два раза в месяц. Числа и прочие условия установите сами. Мы все желаем вам успехов...»

На этот раз Боря унес подробную шифровку Шрагина о положении группы, о том, что происходит в городе, и накопившиеся за время отсутствия связи разведывательные данные.

Боря запрятал спичечную коробку в недрах своего пиджака и сказал:

— Я пошел. Через двенадцать дней буду как часы.

Шрагин с Федорчуком не успели даже толком с ним попрощаться.

— Что Москва шлет? — осевшим голосом спросил Федорчук.

Шрагин прочитал ему шифровку. Федорчук слушал, склонив свою большую кудлатую голову над лежавшими на столе пудовыми кулаками, стиснутыми до белизны в суставах. Потом он долго молчал, справляясь с волнением, и, наконец, сказал негромко:

— Игорь Николаевич, дайте «добро» на мою операцию. Все уже налажено до последней мелочи.

— Расскажите.

И правда, все у него было тщательно продумано, выверено, подготовлено для диверсии на нефтебазе. С наступлением темноты он возьмет ведро и отправится к открытому резервуару с нефтью. Чтобы не вызвать подозрения у часовых, он каждый вечер ходил туда с этим ведром, принося в нем нефть для растопки печи в дежурке. Но на этот раз в ведре будут лежать три бутылки с противотанковой горючкой. К одной из бутылок присоединен бикфордов шнур, кольцами уложенный на дне ведра и прикрытый куском асбеста. Шнур сгорает ровно за девять минут. Федорчук подожжет шнур еще в дежурке и быстро пойдет к цели. Он оставит ведро на краю открытого резервуара и быстро вернется в дежурку. Взрыв первой бутылки подожжет остальные, разбросает горящую жидкость. Сперва от нее вспыхнет нефть в открытом резервуаре, а затем, раздуваемый ветром, пожар неминуемо охватит всю территорию нефтехранилища, в том числе и гигантские закрытые баки с бензином.

Все было хорошо продумано, но все-таки Шрагин «добро» ему не дал. Ему показалось, что Федорчук, загоревшись идеей ответить Москве своей операцией, излишне этим взволнован и может допустить опасную в таком деле торопливость.

— Подождем, Александр Платонович, — сказал Шрагин и, видя, как вспыхнул Федорчук, добавил: — Давайте подгадаем ваше дело к Октябрьскому празднику. Договорились?

Федорчук молчал, было видно, что он не согласен.

Вернувшись домой, Шрагин с досадой вспомнил, что сегодня суббота, а это значит, что у Эммы Густавовны гости. А вот и сама она в присланном ей Аммельштейном ярко-зеленом кимоно, похожая на попугая с перебитыми крыльями.

— Как прекрасно, что вы пришли! — проворковала она. — Идите скорее к столу. Вилли прислал настоящие, самые настоящие сардины...

Вилли — это Аммельштейн.

В последнее время Эмма Густавовна непременно тащила Шрагина в гостиную. После того как генерал Штромм покинул город, ее приемы сильно поблекли. Высокопоставленных, вызывающих у нее трепет гостей обычно приводил генерал. Теперь гостей приводил доктор Лангман, и в застольных беседах образовался абсолютно не интересный Шрагину медицинский уклон. Дружба Лили с Лангманом продолжалась. Устроить ее в санаторий ему не удалось. Но он доставал ей какое-то редкое лекарство, и Лиля последнее время чувствовала себя значительно лучше.

На этот раз в гостиной, кроме Лангмана, были уже знакомые Шрагину начальник военного госпиталя Грейнер и окончательно помирившаяся с хозяйкой дома Любченко.

После ужина Лиля ушла к роялю, диван и кресло заняли Лангман, Грейнер и Эмма Густавовна, за столом остались вдвоем Шрагин и Любченко.

Когда Лиля начала играть, Любченко наклонилась к Шрагину и тихо сказала:

— Я прошу извинения за мою бестактность... тогда,— говорила она, не глядя на Шрагина и будто слушая музыку.— Но, рассчитывая на вашу порядочность, я хочу сказать вам, что я тогда была искренна. Я просто еще не знала толком, кто вы. А теперь Эмма мне все объяснила.

Шрагин молчал, смотря на играющую Лилю.

— Вы любите музыку?— спросила Любченко.

Шрагин еле заметно кивнул. В это время у него в душе звучала своя радостная музыка.

— А для меня в этой обстановке музыка нечто нереальное, но вместе с тем она зовет вернуться в человеческое состояние.— Послушав немного музыку, она спросила тихо:— Вы читали листовку про счет, который всем нам предъявят в свой час?

— У меня нет времени заниматься чтением этой литературы,— не взглянув на нее, ответил Шрагин.

— Мне эту листовку дал больной,— доверительно, будто не замечая тона Шрагина, продолжала Любченко.— Дал и говорит: «Вы, доктор, не беспокойтесь, за вас мы слово замолвим, когда наши придут...»— Любченко многозначительно посмотрела на Шрагина.

Шрагин молчал, напряженно обдумывая то, что слышал.

— А как хотелось бы стать полезной, если бы вы только знали!— продолжала Любченко.— Иду по больнице, вижу свободные койки и думаю: я могла бы на этих койках спрятать наших людей. Выписываю справку очередному больному, который уходит домой, и думаю: а я могла бы такую спасительную справку дать здоровому, которому она нужна гораздо больше, чем тому обреченному больному.

— Вот что, Мария Степановна...— прервал ее Шрагин.— Вы играете с огнем, и я очень рекомендую вам прекратить эту опасную для вас игру. Естественно, я не хочу, чтобы в моей семье из-за

вас были неприятности. Поэтому я сейчас ничего не слышал. Понимаете? Однако я категорически требую в нашем доме эту муть не разводить. Иначе я все-таки приму меры, и тогда прошу на меня не пенять.

Любченко поднялась, сжав тонкие накрашенные губы, и, как в прошлый раз, не говоря ни слова, ушла.

Эмма Густавовна видела, что уходит ее подруга, но только потом, поняв, что она ушла совсем, обеспокоенная, подошла к Шрагину:

— Что у вас опять произошло?

— То же самое,— спокойно ответил Шрагин.— Эта ваша знакомая почему-то упорно хочет привести в ваш дом несчастье. Разговоры, которые она здесь затевает, попахивают тюрьмой.

— Боже мой!— воскликнула Эмма Густавовна.— Надо же ее знать! Она вечно болтает всякую чушь! Потому я ей простила и тот случай. Я ее просто не слушаю.

— Это могут услышать другие,— строго сказал Шрагин.— И тогда однажды вас спросят, почему в вашем доме ведутся разговоры, за которые по немецким законам полагается смертная казнь. Что вы ответите?

— Нет, нет,— еле слышно прошептала она испуганно и вдруг разозлилась: — Я не допущу, я скажу ей сама!

Шрагин, не дослушав ее, ушел в свою комнату. Он совсем не был уверен, что поступил с Любченко правильно, но вести себя иначе он не имел права.

В это время Любченко медленной шаткой походкой приближалась к своему дому. Опять она не сумела выполнить приказ Релинка. Только вчера он внезапно вызвал ее на встречу и приказал более активно прощупать Шрагина. И это Релинк научил ее заговорить с ним о пустых койках в больнице и о справках. А что из этого вышло? Теперь она уже не сможет ходить в этот дом, а Шрагин, чего доброго, донесет на нее в гестапо, и тогда за все придется расплачиваться ей...

Она долго не могла попасть ключом в замочную скважину от волнения, но, когда вошла в квартиру и очутилась в неизменном мире своих вещей, успокоилась, села в кресло и взвесила все спокойно: «Да нет же, все вышло очень хорошо. Мне приказали более активно прощупать Шрагина, я это сделала. Я же не виновата, что он искренне предан новому порядку. Он даже угрожал мне доносом... И рассказать Релинку нужно все именно так, как это было на самом деле...»

ГЛАВА 47

В дежурке было три сторожа. Один из них — Федорчук, старший по ночному дежурству. Перед сумерками он послал одного проверить ворота, а другого — противопожарные средства. Пока они ходили, он уложил в ведро бутылки с го-

рючкой и шнур. Ведро поставил под лавку у своих ног. Когда вернулись рабочие, промерзшие на холодном ветре, Федорчук сказал им:

— Сейчас погреемся. Наложите в печку уголь, а я сбегаю за нефтью.

Он взял ведро, вышел в сенцы из дежурки и поджег шнур. Ветер бил ему в спину, точно подгонял: скорей, скорей. Он перебежал по мосткам через отстойную яму, но когда до первого резервуара оставалось несколько шагов, раздался оглушительный взрыв, и весь охваченный огнем Федорчук упал.

Он даже не успел сообразить, что произошло. А случилось то, чего он боялся: бикфордов шнур нужно было уложить в ведре спиралью, так, чтобы нигде кольца шнура не соприкасались. Десятки раз он репетировал эту укладку. Так он уложил шнур и сегодня, но, очевидно, когда бежал, от тряски спирали шнура сдвинулись, огонь перешел с одного витка на другой, и срок, отпущенный на сгорание шнура, сократился...

Пожарная команда прибыла быстро. Она без особого труда сбила пламя, бушевавшее на месте взрыва, и обнаружила безжизненное, обгоревшее тело Федорчука. Спустя несколько минут он был доставлен в больницу, и здесь выяснилось, что он еще жив.

В больницу приехал Релинк.

— Он вряд ли придет в сознание,— сказал ему врач.— Он не только обгорел, у него вырваны внутренности.

То, что Релинк увидел на постели, ужаснуло даже его, и он сам понял, что этот обугленный человек не заговорит, но распорядился сделать ему укол.

После укола Федорчук приоткрыл страшные, обгоревшие глаза, еле заметно двинулся телом и умер.

Релинк вернулся в гестапо, куда уже были доставлены оба дежуривших с Федорчуком сторожа и три солдата военной охраны. До рассвета Релинк бился с ними, пытаясь получить доказательства, что погибший был диверсантом, но оба сторожа категорически отвергали эту мысль. Они говорили, что Федорчук самый добросовестный рабочий смены, а когда он бывал старшим по дежурству, строже его не было — всю ночь гоняет по базе проверять то, что уже сто раз проверено. Они высказали предположение, что Федорчук наступил на подброшенную кем-то мину. Солдаты совсем ничего не могли сказать — они несли внешнюю охрану базы.

На всякий случай Релинк отправил сторожей в тюрьму, а солдат — в военную комендатуру. Ему было ясно одно: совершена диверсия, и насколько она удалась, не имеет никакого значения. Город о ней уже знает, а именно в этом и есть самые неприятные ее последствия.

Уже под утро Релинк записал в своем дневнике.

«Это непостижимо — после всего, что мы сделали, они продолжают существовать и действуют! Неужели все наши старания впустую?..»

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ

ГЛАВА 48

Из неудачного похода к партизанам вернулись все. И, несмотря на огромные трудности, всем удалось снова зацепиться в городе. Много сделала для этого Зина Дымко. Добытые ею на бирже справки первое время буквально спасали людей. Сергей Дымко устроился в пожарную команду. Ковалеву удалось вернуться на железную дорогу, и он работал грузчиком на товарной станции. Демьянов воспользовался своим старым знакомством с украинскими националистами, и они помогли ему получить работу в строительно-ремонтной конторе. Егор Назаров нанялся рабочим сцены в театр. И только Григоренко пока оставался неустроенным и скрывался то у Дымко, то у Демьянова.

Снова налаживалось взаимодействие с подпольщиками, которые, несмотря на тяжелые потери, продолжали борьбу. У Шрагина складывалось ощущение, что группа уже пережила тяжелый кризис и начала как бы новый этап своей боевой деятельности. Тогда он и дал «добро» Федорчуку.

Диверсия не получилась. И пропал Федорчук. Прошло несколько дней, а о его судьбе по-прежнему ничего не было известно. Жив он или попал в руки СД? Спустя два дня после диверсии была арестована Юля. За их домом установлено наблюдение. Это давало основание предполагать, что СД знает, кто такой Федорчук, и поэтому хочет выявить все его связи.

Шрагин был уверен, что палачи не услышат от Федорчука ни слова, но не мог не опасаться за Юлю. Кроме всего, одесские товарищи знали только адрес Федорчука, и 12 ноября от них должен прийти связной.

Шрагин решил, что в первую очередь он может и должен сделать только одно — перехватить одесского связного и переадресовать его к Величко. Для этого он решил послать Величко в Одессу к Андрею Прокофьевичу.

На 7 ноября пришелся холодный, унылый день. С низкого грязного неба сыпался снег, а когда с залива подул промозглый ветер, снег обернулся косо летящим злым дождем.

В этот день Величко отпевал на кладбище покойника, и Шрагин пришел на похороны. Когда родственники похороненного разошлись, они сели на скамью у соседней могилы и тщательно обсудили план поездки в Одессу...

Серый дождь заштриховал удалявшуюся черную фигуру Величко. Когда она скрылась за поворотом, Шрагин встал и медленно пошел по аллее. И вдруг он остановился, пораженный тем, что услышал. Где-то совсем рядом мужской голос отчетливо произнес:

— Поздравляю тебя, Аня, с нашим праздником Октября.

Шрагин увидел пожилого мужчину с обнаженной головой, стоявшего за малорослой елочкой. Возле него никого больше не было.

Мужчина почувствовал, что на него смотрят, и оглянулся. Увидев Шрагина, он не выказал ни испуга, ни даже смущения.

— Здравствуйте,— сказал он громко.

— Здравствуйте,— ответил Шрагин и подошел к мужчине.— С кем это вы тут беседуете?

Мужчина улыбнулся.

— Когда я шел сюда, я видел, что вы с живым попом беседовали. А у меня нет возможности поговорить с живыми, так я со своей покойной супругой...— Было видно, что он крепко выпил.— Вы что же, вроде тут исповедовались?

— Вроде наоборот,— улыбнулся Шрагин.— Поп мне исповедовался. Я, как и вы, пришел сюда своих стариков проведать, а он привязался ко мне и давай плакаться о своей тяжкой доле.

— У него-то тяжкая доля! Тяжко тем, кто верил в его боженьку и в него заодно, вот этим — да.

— Но вы-то сами, я вижу, верите в загробную жизнь?— сказал Шрагин.

— А с чем же мне ее поздравлять?— нимало не смутясь, спросил мужчина.— Она же новых немецких праздников не знает. Сподобилась умереть на другой день, как немцы в город пришли. А вот попу вашему с праздниками лафа. Он как звонил в колокола по святцам, так и звонит. А верующие — есть немец или нет — носят ему яички, сальце, хлебушек,— мужчина вдруг зорко глянул на Шрагина и сказал:— Вы, я вижу, тоже сытенький, вас-то кто кормит?

— Ловчу, как могу,— ответил Шрагин и добавил:— Только бы совесть не замарать.

— Последнее примечание весьма важное,— серьезно сказал мужчина.— Гляжу я на других ловчил и думаю: перед каким же

богом вы, сволочи, будете свои грехи замаливать? Другие вон ловчат — пожары немцам устраивают...

— Какие пожары?— спросил Шрагин.

— Вы что, с неба свалились? А нефтебаза давеча? А как они трахнули аэродром?— быстро сказал мужчина и замолчал.

— Как это вы не боитесь говорить такое первому встречному?

Мужчина махнул рукой:

— А что они мне сделают? Да если они начнут вешать таких, как я, у них веревок не хватит. Весь город не перевешают.— Вдруг на лице его появился испуг, и он без паузы быстро проговорил:— А теперь давайте разойдемся кто куда...— Он пошел нетвердой, но торопливой походкой, лавируя между могилами и не оглядываясь.

А Шрагин еще долго стоял у елочки, чуть прикрывавшей его от секущего злого дождя, которого он, впрочем, и не замечал, охваченный волнением...

В связи с участившимися бомбардировками города адмирал Бодеккер ввел на заводе круглосуточное дежурство инженеров и сам часто всю ночь находился на заводе. Сегодня у Шрагина было ночное дежурство, и он решил зайти домой — хоть часок поспать. Но ему помешала Эмма Густавовна. Она, очевидно, специально поджидала его.

— Мое терпение иссякло, Игорь Николаевич,— трагическим голосом начала она с места в карьер.— Двусмысленное положение Лили больше нетерпимо. Вы знаете, как серьезно она больна. Здесь она может погибнуть,— старуха промокнула платочком сухие глаза и продолжала:— Доктор Лангман может устроить Лилю в туберкулезный санаторий в Германии. Вчера я получила письмо от Аммельштейна, он обещает помочь деньгами. Но Лиля не может воспользоваться всем этим только из-за своего нелепого положения...

— Эмма Густавовна,— прервал ее Шрагин,— я хочу вам напомнить, что инициатором создания этого положения Лили во имя спасения квартиры были вы, а не я.

— Боже мой, в те дни мы все потеряли разум!— воскликнула старуха.

— Я его не терял и тогда,— устало сказал Шрагин.— Я согласился с вашим предложением не сразу. В конце концов я сделал это для вас.

— Но теперь все изменилось. Жизнь утряслась, и все мы, и вы в том числе, так или иначе в ней устроены. Но получается, что в жертву за это я должна принести родную дочь. Так пусть лучше погибну я!— вдруг патетически выкрикнула она и решительно сказала: — Дайте Лиле возможность уехать.

— Она хочет этого?— спросил Шрагин.

— Да, вполне. Лангман любит ее. Игорь Николаевич, у нее может быть счастливая, спокойная жизнь. Она все решила, но она боится вас.

— Я хочу поговорить с ней. Пусть она зайдет ко мне...

Лиля действительно выглядела плохо: ее мелово-белое лицо было покрыто пятнами нездорового румянца.

— Я слышала все, что говорила сейчас мама. Да, все обстоит так, как она сказала,— быстро сказала Лиля, не глядя на Шрагина.

— Ну что же, заставить вас поступать иначе я не могу и не имею права. Мне остается только пожелать, чтобы принятое вами решение не обернулось для вас и вашей мамы непоправимой трагедией.

— У нас уже давно трагедия,— тихо сказала Лиля.

— Вы не забыли, что помогали мне?— спросил Шрагин.

— Нет. И я знала, что вы теперь воспользуетесь этим,— повысила голос Лиля.— Но это ведь нечестно, Игорь Николаевич.

— Вы ошибаетесь, я никак не собираюсь воспользоваться этим против вас, но я должен быть гарантирован от того, что вы в припадке откровенности не сболтнете однажды обо мне.

— Я клянусь!— воскликнула Лиля.

— Этого мало. Я ведь рискую не только своей жизнью, но гораздо большим. Надеюсь, вы это еще способны понять. Поэтому я напишу полный отчет о вашей деятельности и надежно спрячу этот документ. И если со мной что-нибудь случится и я увижу, что обязан этим вам, я предъявлю его гестапо.

— Я клянусь, клянусь! Никогда!— Лиля очень волновалась. Шрагин видел, что она готова заплакать, но смотрел на нее с иронией.— Прошу вас, Игорь Николаевич, не улыбайтесь, не презирайте меня. Я все-таки советский человек. Я не знаю, что со мной будет, но я знаю одно — я не могу порвать со своей страной... Не могу, поверьте мне. И ваша тайна будет для меня... там... моей гордостью. Поверьте мне.— Она зарыдала и выбежала из комнаты.

Шрагин посмотрел на часы, вздохнул и лег на постель. Он забылся минут на двадцать и очнулся с тяжелой головной болью и противной слабостью во всем теле. Вчера весь день он провел на борту самоходной баржи — от лютого ветра некуда было укрыться. «Недолго было и простудиться»,— подумал Шрагин, не допуская и мысли, что он просто нечеловечески устал...

ГЛАВА 49

Юлю выпустили из гестапо. Она воспользовалась «почтовым ящиком» Федорчука, и вскоре Григоренко вынул из него ее записку. Юля писала, что ей необходимо срочно встретиться со Шрагиным. Григоренко чуть не совершил непоправимую ошибку — он решил зайти к Юле и выяснить, зачем ей нужна встреча. Но, к счастью, свернув на улицу, где жила Юля, он издали заметил подозрительного субъекта, стоявшего в нише ворот возле аптеки, и повернул обратно...

Встречу с Юлей Шрагин продумывал очень тщательно. СД могла выпустить ее из тюрьмы, чтобы выследить ее связи. А вдруг палачи СД сломили ее и она стала их агентом? Но отказать ей во встрече Шрагин не мог. Он помнил свою первую беседу с ней, когда она собиралась травить ядом гитлеровцев, вспоминал, сколько ценных сообщений приносила она ему, а главное, он помнил, как ручался за нее Федорчук. Как за себя!..

Встреча была так организована, что агенты — будь они семи пядей во лбу — не могли проследить до конца путь Юли к Шрагину. В самом начале пути она пройдет по таким местам, где наблюдатель будет неминуемо обнаружен. Но и в этом случае встреча не отменялась. Наоборот, она становилась еще более необходимой: ведь если Юля не знает, что за ней ходит агент, она может принести беду и себе и товарищам. А организация наблюдения за ней говорила еще и о том, что палачи не сумели получить от нее нужных им показаний. Мысль о ее предательстве Шрагин категорически отметал, но по законам конспирации обязан был предусмотреть и это...

Наблюдение велось. Юля между тем вошла в баню, но затем направилась не в раздевалку, а через черный ход во двор, откуда можно было выйти на параллельную улицу. А там Юлю уже ждал Дымко, который повел ее по «цепочке» дальше — к Шрагину. Агент СД будет ходить возле бани больше часа и, когда стемнеет, начнет подозревать неладное. Но только когда баню закроют, он пойдет докладывать начальству, что упустил объект.

Встреча происходила в домике стариков Колесниковых, у которых жил Харченко. Сами они на этот вечер ушли в гости к родственникам. Охраняли встречу участники «цепочки» Сергей и Зина Дымко и Егор Назаров.

Когда Шрагин увидел Юлю, сердце у него сжалось. Всегда прямо и гордо носившая свою красивую голову, она стояла перед ним сутулая, вжав голову в плечи. От опухших синяков лицо ее было перекошено, как после паралича. Не было пышных волос — их остригли в тюрьме. Большие черные ее глаза с усталой болью смотрели на Шрагина. Может быть, целую минуту они так молча стояли друг против друга, потом Юля еле слышно сказала:

— Вот так, Игорь Николаевич...

Шрагин взял ее за плечи и усадил на лавку. Сам сел перед ней на табуретку. Оба были так взволнованы, что даже не поздоровались. Юля оглядела знакомую ей комнату и спросила:

— Как с Пашей Харченко?

— Все в порядке, все в порядке,— поспешно ответил Шрагин.— Юля, что было с вами?

Юля опустила голову и, зажав сцепленные руки между колен, начала рассказывать. Но не о себе, а о Федорчуке. В тюрьме от одного из сторожей нефтебазы она узнала, как Федорчук вышел с ведром из дежурки, чтобы принести нефти, и погиб от непонятного взрыва.

— Наверно, запальный шнур сгорел до срока,— заключила она.— Но живым в их поганые руки он не попал... Я теперь хожу к ним, требую, чтобы они отдали Сашино тело. Хочу похоронить его, как человека, чтобы могилка была. У него же сынишки есть, может, приедут когда поклониться...

Она судорожно вздохнула и, подняв глаза на Шрагина, чуть слышно спросила:

— Почему так случилось? Почему? Он же был так уверен, что все сойдет хорошо. Уходил на дежурство веселый. Сказал: «Под полночь глянь в сторону нефтебазы, увидишь красивую картину». А я ему еще сказала: «Погоди радоваться, как бы не заплакать». А он на это: «Тогда передай Игорю Николаевичу, чтоб он ни о чем не тревожился». Вот я и передаю...

Она откинула голову к стене и некоторое время в упор смотрела на Шрагина, губы ее начали подрагивать, кривиться, она закрыла глаза, борясь с собой, чтобы не заплакать, стиснула губы и закрыла глаза, но слезы уже хлынули из-под густых ресниц, потекли по ее вспухшему лицу. Шрагин взял ее холодную руку и словно отогревал ее в своих ладонях. И молчал...

Юля высвободила руку, концом шерстяного платка вытерла слезы и, будто ничего не было, продолжала:

— А потом явились за мной. Часа два обыск делали. Но Саша как раз в тот день последнего дежурства все до последней мелочи пересмотрел, даже лаз в сарайчике засыпал. Но туда они и не пошли. У нас в печной трубе граната была спрятана — на самый крайний случай. Я уже решила пустить ее в ход, но подумала: а вдруг Саша жив и скрылся?.. Меня они сперва на хитрость ловили — дескать, Федорчук у них, все уже сказал и мне нужно, если я хочу ему и себе хорошего, во всем тоже сознаться. А я сразу поняла — Саша погиб или скрылся. И тогда я им такой шум устроила...— Юля через силу улыбнулась.— С русскими, кричу, не справились, так взялись за своих, за немцев. Хватаете честных фольксдейчей. Я за это самому Гитлеру жалобу пошлю. Они слушали, слушали и давай меня бить... А я им все одно — я честная немка, и Саша мой тоже честный человек, и мы оба, как последние дураки, верно служили новому порядку и вот заслужили такую награду... Свезли меня в тюрьму. А назавтра все сначала. И били опять. А я им все свое кричала. Так девять дней подряд. Потом они сказали, что я дрянь, шлюха, а что любовник мой уже в аду водку с чертями пьет. Я им за эту ложь еще истерику закатила. Тогда они опять меня избили и отпустили. Вот и все. Потом я пошла к себе в ресторан, а меня туда и не пустили. Так что я теперь требую у них не только Сашу, но и работу... Ну гады! Какие гады! Будет им когда конец, Игорь Николаевич?

— Будет, Юля, будет...

— Я чего на встречу просилась — сказать вам то, что Саша просил передать. И еще: поручите мне что-нибудь. Самое трудное. Вы не думайте, я скоро отойду и тогда выполню любое задание!

— Я подумаю, Юля,— сказал Шрагин.— Но надо подождать. За вами их собаки ходят. Вот и сегодня они гнались за вами. Они должны поверить, что вы ни при чем. И когда они снимут наблюдение, мы встретимся. А за Сашу мы все будем мстить. Все...

Провожаемая издали Сергеем Дымко, Юля вернулась домой, но вошла она не через свою калитку, возле которой болтался агент, а через соседские садики. Рано утром к ней явились два гестаповца и обнаружили ее мирно спящей. Явно для виду они провели небрежный обыск и, не сказав ни слова, ушли...

Релинк рвал и метал. Агента, упустившего Юлю возле бани, и того, который не заметил, как она вернулась домой, он отправил под арест, пообещав им еще и отправку на фронт. Он чувствовал, что, как и в случае с типографией, диверсия на нефтебазе совершена его главными и по-прежнему неуловимыми противниками. И теперь, как тогда, нить поиска ускользнула из его рук. Тогда он был виноват сам — поторопился с расстрелом арестованного. Теперь исполнитель диверсии погиб. Но осталась его девка. Релинк не верил Юле и считал ее сообщницей погибшего. Но допросы никаких результатов не дали. «Сколько ее ни тряси, из дуры ничего не вытряхнешь»,— сказал Бульдог. И тогда Релинк решил отпустить Юлю, но неотступно идти по ее следу. Его агенты упустили ее в первые же дни, а дальнейшее наблюдение абсолютно ничего не дало — она или сидела дома, или сама шла в СД и устраивала скандалы, требуя передать ей тело Федорчука и устроить ее на работу.

Первое ее требование Релинк выполнил, рассчитывая, что на похороны могут прийти сообщники погибшего. Не оправдался и этот расчет. Хоронила одна — три могильщика за работу получили от нее золотые сережки. В конце концов Релинк решил больше ею не заниматься, ему пришлось даже принять ее, так как она продолжала добиваться работы.

Юля играла роль дурочки, которая потеряла любовника и теперь хочет как бы заново устроиться в жизни. Она кокетничала с Релинком, но продолжала твердить, что ее Саша был честным человеком и новому порядку хотел только добра и что его оклеветали какие-то завистники. Да боже мой, если бы она заметила, что он занимается какими-то преступными делами, она бы в два счета сама выгнала бы его из дому. Но как же все-таки с работой? Только она все же фольксдейч и хочет получить не какую-нибудь работу, а где почище и жалованье побольше. Тем более что она зазря пережила побои от своих же немцев...

Релинку надоело все это слушать, и он пообещал ей подумать...

Между тем радиослужба СД в Одессе перехватила три радиограммы, адресованные таинственному и неуловимому Гранту. Более того, им будто бы удалось расшифровать эти радиограммы. Релинк не поверил этому, хотя присланный ему текст радиограмм

выглядел вполне достоверно. В двух радиограммах упоминался его город. Релинк считал, что придать выдумке приметы достоверности не так уж трудно, особенно если учесть, что его коллегам в Одессе после скандала с разоблачением аферы в порту было остро необходимо восстановить свое реноме. Ради этого они могли и поднатужиться. Но несколько позже уже через Берлин он получил материал более убедительный, чем эти радиограммы. Две недели назад СД Одессы в результате тщательной агентурной разработки с применением техники обнаружила и арестовала радиста подпольной группы, который принимал радиограммы для Гранта. Он дал показания, что передачи велись Москвой и что туда же он несколько раз передавал донесения, подписанные тем же Грантом. Но так как открытым текстом давалась только подпись «Грант», содержания радиограмм радист не знал. Он и эту подпись считал шифром... Но радист сообщил, что этот очень важный агент или сам приезжает в Одессу из города, где работает Релинк, или присылает связного.

При всем своем недоверии к одесским коллегам и подозрении, что они специально подстраивают ему неприятности, Релинк не мог отмахнуться от этого присланного Берлином материала. Нужно было действовать. В своих рассуждениях Релинк пошел по самому простому пути: свободного выезда из его города в Одессу нет, разрешения выдает военная комендатура; значит, надо запросить оттуда список всех лиц, которым в этом году были выданы такие разрешения. Выяснить, кто ездил неоднократно, и в первую очередь за этими людьми установить наблюдение или даже сразу их арестовать.

Однако все это ни к чему не привело. В сеть, построенную на изучении лиц, получавших разрешения на выезд из города, Шрагин не попал.

Релинк не учел, что адмирал Бодеккер сам располагал правом выписывать такие разрешения. Попавшие же в сеть четверо местных жителей на поверку оказались спекулянтами, и от них Релинк получил только одну пользу: он узнал, что в комендатуре у спекулянтов за проездное разрешение берут взятки.

Релинк передал эти данные в полицию СД Цаху, после чего возникло «дело о коррупции в военной комендатуре города», дело, которое, увы, не оказалось таким громким, как одесское, и снять с него пенки Релинку не удалось.

ГЛАВА 50

В эту вторую военную зиму декабрь был сиротский — не выдалось ни одного по-настоящему зимнего дня. Под Новый год в городе почти не было снега. Люди уже стали вспоминать какой-то давний-давний год, когда вот так же зимы вовсе не было, как на них с холодной яростью обрушился январь — с морозами, с метелями, с пронзительными степными вет-

рами. Город притаился, люди забились в дома, на иных улицах по нескольку дней на снегу следа человеческого не увидишь. Только как стемнеет, по всему городу треск слышен — люди ломали на топку заборы.

Даже СД притихла в эти дни — целую неделю не было облав. Шрагина устраивала эта неожиданная передышка. В декабре группа уже действовала. Зина и Сергей Дымко похитили на бирже и уничтожили около четырех тысяч учетных карточек. Под самый Новый год Ковалев и работавшие на железной дороге подпольщики в пятидесяти километрах от города подготовили разрыв эшелона, в котором увозили людей в Германию,— почти триста человек бежали. Из лагеря военнопленных не без участия Демьянова совершила побег группа офицеров и солдат; все они с помощью подпольщиков скрылись в городе и рвались вступить в борьбу. Величко продолжал выпускать вместе с подпольщиками листовки. Сам Шрагин активно вел разведку.

Но положение группы оставалось очень тревожным. Пропажу учетных карточек на бирже обнаружили скорее, чем предполагали подпольщики. Управа приказала директору биржи сменить весь штат, а список уволенных работников биржи передать в полицию. Зина оказалась без работы и, кроме того, под подозрением, которое могло распространиться и на Сергея. На железной дороге арестован парень, который участвовал в организации побега невольников. Случайно он взят или нет, неизвестно, но Ковалеву надо оттуда уходить... Строительно-ремонтную контору, в которой работал Демьянов, в ближайшее время передадут в инженерно-саперные войска. Демьянову дожидаться этого не следует... Самая последняя новость — внезапно закрыт театр, труппа распущена, и Егор Назаров снова не у дел...

Но самое тяжелое положение с Григоренко. После похода к партизанам он снова не имел ни работы, ни жилья. А главное — у парня сдали нервы. Первыми это поняли его товарищи: они помогали ему скрываться, а он с ними ссорился, упрекал их в эгоизме, считал себя обиженным всеми. А сам тем временем превратился в полного иждивенца и для своего устройства уже ничего решительного не предпринимал.

Шрагину это состояние связного открылось несколько позже — с ним Григоренко держался, как и прежде, приказы его выполнял и при каждой встрече подробно рассказывал, что он предпринимает для получения работы и жилья.

Однажды под вечер Шрагин по расписанию встретился с ним возле вокзала, и они попали в зону облавы. Положение было, конечно, опасным, но далеко не безвыходным. Выручили прекрасные документы Шрагина.

Они уже давно были в полной безопасности, а Григоренко все еще трясло.

— Слушайте, нельзя же праздновать такого труса,— огорченно сказал ему Шрагин. И в ответ услышал:

— Хорошо вам...

— Да, мне очень хорошо,— будто согласился Шрагин и в эту минуту решил, что этот человек больше связным работать не должен. Когда Шрагин сказал ему об этом, Григоренко не обиделся, не удивился, даже ничего не спросил.

— Вам виднее, Игорь Николаевич,— как-то безразлично отозвался он...

В тревожных думах Шрагина о положении группы история с Григоренко занимала свое особое, больное место. Шрагин винил себя в том, что вовремя не разгадал парня, не помог ему стать лучше. Ведь, приехав сюда, Григоренко наверняка считал себя готовым к красивым подвигам и даже к гибели — и тоже красивой и героической. И тогда, вначале, он не устраивался на работу совсем не потому, что не мог найти себе подходящего места. Он просто не мог допустить, что он, предназначенный к совершению подвигов, будет, как Харченко и Дымко, месить тесто на макаронной фабрике, или, как Демьянов, колоть скот на бойне, или, как Ковалев и Назаров, лазить под товарными вагонами, проверяя сцепку. И то, что при первом знакомстве Шрагин принял в нем за уверенность и храбрость, на самом деле было самоуверенностью, скрывавшей от первого взгляда опасное непонимание профессии разведчика. Этот просчет Шрагин не мог себе простить. Теперь он понимал, что быстро обнаружить этот свой просчет он не сумел только потому, что Григоренко стал связным, а выполнять его указания и организовывать встречи не было особенно трудной работой.

Неудачный поход к партизанам окончательно надломил Григоренко. Его душу, как ржавчина, начал разъедать страх. Он старательно скрывал его, но не мог скрыть раздражения и озлобленности. Он подозревал, что Шрагин умышленно затягивает его устройство. «Испытывает меня на излом»,— говорил он товарищам. Между тем Шрагин делал все, чтобы обезопасить его от беды...

После ночи, проведенной в подвале у Дымко, Григоренко утром отправился на базар. Дымко отговаривал его, советовал никуда не ходить и ждать известий от Шрагина.

— Я разведчик, а не сторож твоего погреба,— окрысился Григоренко.— Пойду поищу все же того человека, который обещал мне работу.

Человек, обещавший ему работу, существовал на самом деле, но его обещание было дано еще в прошлом году, и с тех пор Григоренко его не видел. Сейчас, отправившись на базар, он там и не искал его. Не имея последнее время поручений от Шрагина, он ходил на базар только для того, чтобы показать товарищам, будто у него есть там какие-то дела и что он продолжает действовать. Кроме того, он знал, что в базарной толпе он менее приметен и находится в относительной безопасности.

Придя на базар, Григоренко, как всегда, протолкался к будочке старого своего знакомого часовщика, которого за его маленький рост все звали Карликом. В свое время именно Карлик дал ему несколько торопливых уроков своего ремесла. Это был очень добрый человек, и Григоренко последнее время этим пользовался: он

занимал у Карлика деньги под какие-то свои будущие заработки. И хотя Григоренко перед ним хорохорился и врал о каких-то своих успехах в коммерческих делах, Карлик чувствовал, что на самом деле его знакомый живет очень плохо, и каждый раз к его приходу припасал для него еду. Он бы и приютил Григоренко у себя, да сам снимал угол в большой семье.

— Здорово, Карлик!— весело приветствовал его Григоренко, протискиваясь в будочку сквозь узкую дверь и усаживаясь на ящик возле висящих в воздухе коротеньких ног часовщика, который работал, сидя на высоком детском стуле.

Карлик весело и дружелюбно посмотрел через плечо на гостя и продолжал разговаривать с клиентом, принесшим ему мертвый будильник.

— Обе пружины лопнули, и ходовая и звонковая,— поставил он диагноз.

— Дети перекрутили,— огорченно пояснил клиент.

— А зачем вам звонковую чинить, службу проспать боитесь?— спросил Карлик.

— Какая еще служба?— обиделся клиент.

— Так я про то и говорю,— улыбнулся Карлик.— Звонок мы чинить не будем, а ход восстановим, пусть тикают, а то может показаться, что вся жизнь остановилась. А за одну ходовую пружину цена ремонта наполовину меньше.

Приняв заказ, Карлик заслонил окошечко фанеркой и повернулся к Григоренко.

— Ел сегодня?

— Некогда было,— небрежно ответил Григоренко.

Карлик улыбнулся и достал из-под стола ломоть хлеба, на котором лежал маленький кусочек сала.

— Угощайся.

В будочке потемнело.

— Опять метель,— вздохнул Карлик и поплотнее прижал фанерку.— Ну, как твой гешефт? Вышел?

— О долге беспокоишься?— Перестав жевать, Григоренко сузил глаза, глядя на Карлика.

— Дурной ты парень,— вздохнул часовщик.— На кой мне твой долг, я сыт и сплю в тепле. Ты слышал о новом приказе?

— Что еще?— небрежно спросил Григоренко.

— Полиция теперь по домам ходит. Если мужчина или женщина с шестнадцати до пятидесяти лет нигде постоянно не работают, тут же в этап и в Германию. А кто вообще не работает больше чем шесть месяцев — в тюрьму на проверку. Ночью в доме, где я живу, троих взяли. Меня, сволочи, полчаса обсуждали. Рубаху мне задирали, проверяли, не сделал ли я горб из подушки.

Карлик замолчал. Было слышно, как за стеной будочки свистит метель и приглушенно гомонит базар.

— Сахарин немецкий, сахарин немецкий,— без конца повторял басовый голос рядом с будочкой.

— А мне они, сволочи, выгодное дело сорвали,— сказал Григоренко.— Схватили сегодня ночью того человека, который мне товар вез. Хорошо еще, что я словно почуял это — чемодан успел припрятать.

— Предчувствие — великое дело,— задумчиво сказал Карлик, который не верил ни одному слову Григоренко.

За стеной будочки базарный гомон вдруг затих и раздался властный крик:

— Стоять на месте! Всем стоять! Ни шагу!

— Опять облава,— шепнул Карлик.— Жмись сюда.

Григоренко послушно залез под высокий столик и присел там на корточки. Карлик прикрыл его листом бумаги, лежавшим у него на столе, и начал разбирать будильник.

— Что там видишь?— тихо спросил Григоренко.

— Сиди тихо, ничего не вижу. Верхнее стекло снегом залепило, а фанерку лучше не открывать.

Так, притаившись, они просидели довольно долго. Вдруг фанерка с треском отлетела, и в окошечко просунулась голова полицая.

— А, Карлик? Не купишь, случаем, часы?— Не дожидаясь ответа, он отошел от окошечка и в следующее мгновение распахнул дверцу будки. Сквозняком отмахнуло в сторону бумагу, которой был закрыт Григоренко.

— А это кто такой? Ну-ка, вылазь, покажись.

Григоренко выбрался из-под столика и стал перед полицаем.

— Чего в прятки играешь?— добродушно спросил полицай.

— Да грелся он у меня,— сказал Карлик.

— Ну-ка, выйдем на свет, потолкуем,— приказал полицай и вышел из будки.

Григоренко думал одно мгновение, а затем диким прыжком ринулся на полицая, сбил его с ног. Он знал: в трех шагах есть узкий проход между ларьками, а там уже край площади и улица.

Когда опомнившийся полицай поднял крик, Григоренко уже проскочил между ларьками. На краю базарной площади стояла автомашина, в нее грузили задержанных на толкучке людей. Полицаи, стоявшие около грузовика, увидели бегущего Григоренко и стали стрелять. Григоренко слышал свист пуль, но вскоре его скрыл угол дома. Пробежав немного по улице, он перемахнул через невысокий забор, быстро пересек пустынный сад и, снова перемахнув через забор, очутился на другой улице. К счастью, тут никого не было, и он медленно пошел к центру города. Вскоре он вышел на главную улицу, подошел к кинотеатру и, недолго думая, купил билет.

До начала сеанса оставалось почти полчаса, но в фойе было уже довольно много народу. Григоренко стоял возле двери в туалет — на случай если явится полиция, он сможет воспользоваться окном в уборной, которое выходит во двор соседнего дома. Но до начала сеанса ничего не произошло...

Григоренко сел и понемногу успокоился. Он смотрел фильм и думал о том, что ему делать. И чем больше он об этом думал, тем страшнее ему становилось. Положение казалось ему настолько безвыходным, что ему захотелось, чтобы киносеанс длился как можно дольше, целую вечность, спасая его от необходимости выйти на улицу. Ему мерещилось, что у подъезда кинотеатра его уже ждут гестаповцы. Потом он стал внушать себе, что уйдет отсюда благополучно, а на условленном месте увидит метку Шрагина, приказывающую ему немедленно идти на встречу. А там его уже будет ждать человек, который уведет его в безопасное место...

Гестаповцев у кинотеатра не было, и Григоренко без всяких осложнений дошел до места, где он ждал увидеть метку — приказ о встрече. Но метки не было. Он пошел дальше и вскоре оказался возле туберкулезной больницы. И его точно озарило: он вспомнил о врачихе, о которой однажды говорил ему Шрагин. Шел у них тогда разговор о бдительности. И в качестве примера Шрагин привел эту самую врачиху. Рассказал, как она все время лезет к нему с патриотическими разговорами, даже намекает, что готова прятать в больнице патриотов. А он ей не верит ни на минуту... И сейчас, стоя у больницы, Григоренко мысленно стал спорить со Шрагиным. «Почему он не верит этой врачихе? Он вообще никому не верит...» Он уговаривал и взвинчивал себя до тех пор, пока не принял решения.

Возле двери с табличкой «Приемный покой» ему на какое-то мгновение показалось, что он поступает неправильно. Но он тут же отбросил сомнения и постучал. Дверь приоткрылась, старушка в белой косынке спросила, что ему надо.

— Главного врача хочу видеть,— начальственно произнес Григоренко.

— Погоди тут,— сказала старушка и скрылась.

Минут через пять на крыльцо вышла пожилая женщина в пальто, поверх которого был наброшен белый халат.

— Вы ко мне?— спросила она и, видя, что Григоренко медлит с ответом, пояснила:— Я главврач.

Григоренко оглянулся по сторонам и тихо сказал:

— Вы должны меня спрятать, понимаете?

Любченко долго молчала, не глядя на Григоренко.

— Чего вы тянете?— с угрозой спросил он.— Сами же говорили, что можете это сделать, или теперь передумали? Тогда так и скажите, обойдемся.

— Приходите сюда, когда совсем стемнеет,— сказала Любченко и вошла в дом.

До полной темноты оставалось не больше часа. Григоренко решил далеко не уходить. Он уже совсем успокоился, даже хвалил себя за решительность. Медленно дошел до перекрестка, свернул за угол, прошел до следующего перекрестка, снова свернул. И когда он так трижды обошел больничный квартал, стало совсем темно.

Любченко уже ждала его на крыльце.

— Быстро за мной,— шепнула она.

Они вошли в темный, пахнувший лекарствами коридор. Любченко показала ему на дверь:

— Сюда.

Это был ее кабинет. Справа — маленький письменный стол, на котором стоял телефонный аппарат и тускло горевшая керосиновая лампа. Слева, за ширмой,— клеенчатая кушетка, покрытая простыней. Там, возле кушетки, была вторая дверь. В раскрытой голландской печи тлели угли. В комнате было очень тепло, даже душно.

— Раздевайтесь,— сказала Любченко, садясь за стол.

Григоренко снял пальто и повесил его на спинку стула. Но сесть он не успел — два дюжих гестаповца уже выворачивали ему руки за спину.

— Господа, что вы делаете? Как вам не стыдно? Здесь больница!— воскликнула Любченко и, встав из-за стола, направилась к двери.

— Шкура!— крикнул ей в спину Григоренко.

Любченко зацепилась за стул, на котором висело пальто Григоренко, оно упало. Глухо стукнул об пол лежавший в кармане пальто тяжелый «кольт».

Бульдог ногой отшвырнул пальто в сторону.

— Обыщи,— приказал он другому гестаповцу.

— Ого!— сказал тот, показывая «кольт».

Григоренко сделал попытку вырваться, но получил резкий удар ногой в пах и рухнул на пол, теряя сознание...

ГЛАВА 51

Григоренко твердил одно: он болен туберкулезом и, ничего не думая, пришел в больницу, чтобы его посмотрели и положили на лечение.

— Зачем у больного «кольт»? — улыбаясь, спросил Релинк.

Григоренко пожал плечами:

— Этого барахла валяется сколько угодно.

— Что такое «барахло»?— спросил Релинк у переводчика. Тот пояснил ему значение этого слова. Релинк поднял брови и взял лежавший перед ним «кольт». Вынул из него обойму, умело отсоединил затвор и посмотрел сквозь ствол на свет лампы.

— Какое свинское обращение с оружием! — сказал он огорченно и спросил: — Когда вы из него стреляли в последний раз?

— Никогда я не стрелял, я его просто так таскал, на случай,— ответил Григоренко.

— Почему вы явились в больницу так поздно?— спросил Релинк.

— Плохо мне было последние дни, дышать нечем,— жалобно начал Григоренко.— Каждое утро думал: авось отпустит. А сегодня к вечеру почувствовал, ну, прямо умираю, и все.

— Бывает. Туберкулез — болезнь тяжелая,— сочувственно заметил Релинк.— Так... Значит, вы пошли в больницу, и что вы сказали там принявшему вас врачу?

— Что болен и прошу положить на лечение,— ответил Григоренко.

— Именно так и сказали? Припомните-ка получше, а то мы сейчас ваши слова запротоколируем, а мне не хочется предъявлять вам потом обвинение в ложных показаниях. Ну?

— Да нет же, именно так и сказал.

— Хорошо. Зафиксируйте,— обратился Релинк к солдату-протоколисту, сидевшему за пишущей машинкой. Когда пишущая машинка смолкла, Релинк сказал:— С этим эпизодом все ясно. А где вы работаете?

— Постоянно — нигде. Подрабатываю на хлеб где придется,— часы, например, чиню,— ответил Григоренко.

— Часы?— удивился Релинк и, жестом подозвав сидевшего в стороне Бульдога, сказал ему что-то. Бульдог кивнул и быстро вышел из кабинета.— Так... Часы, значит, ремонтировали?— переспросил Релинк и, улыбнувшись, добавил:— Не знал я этого неделю назад, мои часы вдруг начали отставать на целый час, но я их, знаете, вот так потряс, и они пошли правильно.

— Наверное, соринка попала в механизм,— тихо произнес Григоренко.

— Да, да, очевидно...— добродушно согласился Релинк.

В это время Бульдог ввел в кабинет Карлика. Вид у него был страшный: рубашка в крови, все лицо в фиолетовых подтеках.

— Ну-ка, маленький человек,— обратился к нему Релинк,— посмотрите-ка на этого господина, не он ли сегодня прятался у вас в будке?

Карлик с трудом приподнял вспухшие веки и посмотрел на Григоренко:

— Он...

— Как тесен мир!— весело воскликнул Релинк.— Тогда скажите нам: кто он, этот человек?

— Мишей его зовут,— тихо-тихо говорил Карлик.— А больше я ничего о нем и не знаю.

— Чем он занимается?

— Когда-то я учил его своему ремеслу. В общем промышлял он, как многие: что достать, что продать, что поменять.

— Ага!— обрадовался Релинк.— Торговец, спекулянт — прекрасно! Что вы можете сообщить нам еще?

— Ничего.

— Спасибо, маленький человек. Уведите его.

— Итак, зовут вас действительно Михаил?— вернулся Релинк к допросу.— А фамилия?

— Григоренко, я же сказал...

— Ну что же, постепенно все проясняется,— самодовольно говорил Релинк, довольно потирая руки.— А у нас такая обязанность — все выяснять. К вашему сведению, мои люди находились

в больнице совсем по другому поводу, а случайно напоролись на вас. Главный врач из-за вас закатил моим людям истерику, но, так или иначе, приходится заниматься и вами, и, видите, не зря. Нас очень встревожил сегодняшний случай на базаре. Скажите, зачем вам понадобилось убегать?

— Неохота, чтобы в Германию отправили,— ответил Григоренко.

— Ну, это я понимаю...— согласился Релинк и, подождав немного, отдал приказ увести Григоренко.

Оставшись один, Релинк выскочил из-за стола и начал энергично прохаживаться от стены к стене. С момента, когда Любченко позвонила ему из больницы, Релинк был уверен, что вышел на след большого зверя. Эта уверенность не покидала его и сейчас. Конечно, легче всего было бы пригласить в кабинет Любченко и на очной ставке уличить Григоренко. Но, во-первых, эта улика может остаться единственной, и она еще не ведет по следу дальше. Во-вторых, на данном этапе следствия нельзя было раскрывать причастность Любченко к СД. Наоборот, Григоренко надо внушить, что она к его аресту не имеет никакого отношения. Релинк уже не раз убеждался, что среди арестованных безотказно действует свой неуловимый беспроволочный телеграф, и Григоренко может по нему сообщить на волю, что Любченко — агент СД. Тогда вся операция развалится в самом начале, а капкан в больнице начисто выйдет из игры...

Релинк стремительно прошел в соседнюю комнату, где находилась Любченко.

— Вспомнили?— еще с порога спросил Релинк.

Любченко покачала головой.

— Обязательно надо вспомнить,— сказал Релинк, садясь на диван рядом с ней.— Вы понимаете ситуацию? Если бы этот тип был от вашего подполья, он явился бы к вам с установленным паролем. А он пароля не знал, он сослался на то, будто о возможности спрятать человека вы говорили сами. Кому? Кому вы это могли сказать?

— Ума не приложу,— сказала Любченко. Кроме того, что она действительно не могла вспомнить, кому она это говорила, она еще и боялась, что Релинк может заподозрить ее в работе на два фронта.

— Хорошо...— подождав немного, сказал Релинк.— Идите домой, и я просто умоляю вас: завтра к вечеру вы должны, вы обязаны вспомнить.

— Я стараюсь...— пробормотала Любченко, вставая, и с жалкой улыбкой добавила:— Старческая память...

— Нужно вспомнить,— повысил голос Релинк.— Завтра вечером я пришлю за вами машину.

Релинк вернулся к себе и снова начал вышагивать от стены к стене.

В кабинет вошел Бульдог. Увидев мечущегося начальника, он почтительно стал у двери.

— Ну, что скажешь?— спросил Релинк, продолжая ходить.

— Все то же...— пробасил Бульдог.— Дай мне его на полчаса, и он скажет все. Я же вижу, материал некрепкий.

— А если он, ничего не сказав, околеет?— спросил Релинк.— Уже забыл историю с рыжим подпольщиком?— Он несколько раз прошелся по кабинету, остановился перед Бульдогом и приказал:— В больнице держать засаду внутри и снаружи. Брать каждого подозрительного. Тот, кто послал туда этого типа, может прийти сам, чтобы узнать, как дела. Причем учти: в больнице может быть их агент. А этот Григоренко должен думать, что мы его личности не придаем значения. Узнай у Цаха, куда он завтра посылает заключенных для работы. Мы направим туда и его, но ты поставь его на такое место, чтобы его было видно за версту вокруг. Возможна попытка его отбить, или он попробует бежать сам или войти с кем-нибудь в контакт. Все это предусмотри. Головой отвечаешь за каждый промах.

— Ненужный спектакль,— усмехнулся Бульдог.

— Изволь выполнять приказ...

Утром Григоренко снова привезли на допрос. Делая вид, будто ему некогда, Релинк мельком, досадливо взглянул на стоявшего перед столом Григоренко и, продолжая перебирать на столе бумаги, заговорил небрежно:

— Я вызвал вас, только чтобы объяснить вам ваше положение. Как вы сами понимаете, вы для нас — персона, случайно попавшая нам под ноги. У нас есть дела поважнее. Но порядок есть порядок. Мы вынуждены навести о вас необходимые справки. Это займет время, а у нас существует порядок: мы посылаем заключенных на работы. Я думаю, вы не откажетесь, тем более что вы до ареста, по вашим словам, зарабатывали на хлеб чем придется. Я не имею права превращать СД в санаторий для безработных,— Релинк мимолетно улыбнулся Григоренко и сделал знак Бульдогу увести его.

Ожидая в камере отправки на работу, Григоренко обдумывал происходящее с ним.

Когда там, в больнице, он получил удар в пах, его мозг точно выключился, и он долгое время попросту не понимал, что с ним происходит. И только когда его привели на первый допрос, мозг его заработал, и первое, что он понял, вселило в него надежду. СД явно не знала, кто он. Гестаповцы в больнице оказались случайно. И врачиха вовсе не предательница, иначе она сообщила бы им, что он ей сказал, когда пришел в больницу. Григоренко стал внушать себе, что все кончится для него благополучно. Еще больше он поверил в это после второго разговора с Релинком. На худой конец его отправят в Германию, а тогда он убежит из эшелона. Да, так и будет. Ему ведь совершенно ясно дали понять, что он фигура для них не важная...

Григоренко и еще трех заключенных (все трое были агентами СД из местного населения) вели на работу через весь город по самым оживленным улицам. Конвоировали их только два полицая

с автоматами. Один шел впереди, другой — позади. Но Григоренко не мог знать, что одновременно по обеим сторонам улицы шли одетые в штатское шпики СД. (Мог ли Григоренко в это время совершить побег? Рискуя жизнью — мог.)

— Ты за что взят? — тихо спросил у него шедший рядом заключенный.

— Да ни за что — слепой случай, — ответил Григоренко.

— Тогда тебе лафа. А меня взяли, когда я нес взрывчатку. Я им теперь говорю: мне дали снести — я и понес, а кто дал, что дал — не знаю.

(Должно было насторожить Григоренко это неожиданное признание? Конечно. Но он отнесся к этому признанию, тревожась совсем о другом — как бы не подумали, что он связан с этим человеком. И он стал его сторониться.)

Их привели на железнодорожную станцию к одиноко стоявшему товарному вагону, и они стали выгружать из него солдатские посылки. Один заключенный работал в глубине вагона, он передавал посылки Григоренко, который стоял в дверях вагона, а третий подхватывал посылки, стоя возле вагона, и складывал их в кучу. Не прошло и часа, как все посылки были выгружены. Тогда им приказали перенести их к пакгаузу, который был шагах в пятидесяти. Они сделали и это. Один из конвойных ушел куда-то, второй — приказал заключенным сесть на груду шпал, а сам стал перед ними.

— Покурить нет? — обратился к Григоренко тот же слишком откровенный заключенный.

— Все отобрали, — ответил Григоренко.

Другой заключенный, до этого молчавший, сказал тихо:

— Завтра выхожу на волю, накурюсь до рвоты.

— А тебя за что взяли? — поинтересовался Григоренко.

— За семечки, — усмехнулся тот. — А грецких орехов не заметили. Повезло, одним словом. А ты завяз крепко? Политический?

— Чепуха, — сказал Григоренко. — Пришел в больницу, а там облава.

— На волю ничего передать не надо?

— Сам скоро выйду.

(Должен был насторожить Григоренко и этот разговор? Конечно.)

Вернулся второй конвойный, и они повели заключенных обратно в СД, и снова через весь город.

Замысел Релинка ничего не дал. Никто отбивать Григоренко не пытался, и сам он о побеге не замышлял.

«Сообщники могут еще не знать о его аресте, — правильно думал Релинк. — А сам он, очевидно, поверил, будто мы не имеем понятия, что он за птица. Это уже хорошо. Ради одного этого стоило устраивать спектакль с работой...»

Первый встревожился Дымко — Григоренко не пришел ночевать. В конце дня Дымко, исполнявший теперь обязанности связ-

ного, использовал сигнальную схему, которая вступала в действие на случай тревоги. Но все-таки, чтобы эта схема сработала, нужно было время...

В день, когда Григоренко разгружал вагон, на допрос его не вызывали. Ночь он проспал совершенно спокойно. Не трогали его и весь следующий день.

Любченко позвонила Релинку по телефону на исходе дня. — Мне нужно срочно увидеться с вами,— сказала она.— Я в больнице.

— Сейчас буду.

Релинк бросил трубку и вызвал к подъезду машину.

В те минуты, пока Любченко ждала Релинка, она еще и еще раз вспоминала то, что заставило ее позвонить ему по телефону. Нет, нет, ошибки быть не могло, но поверит ли в это Релинк?

Релинк еще не успел сесть на стул, когда Любченко сказала, страшно волнуясь:

— Я вспомнила.

— Возьмите себя в руки, ошибка недопустима,— угрожающе сказал Релинк.

— О том, что я могу прятать людей в больнице, я говорила только одному человеку — Игорю Николаевичу Шрагину, зятю моей старой знакомой из местных немок,— быстро, будто опускаясь в холодную воду, проговорила Любченко.

— Я знаю его,— рассеянно отозвался Релинк.— Не может этого быть! Ошибка.

На самом деле Релинка прямо распирало от радостного предчувствия, и он готов был молить бога, чтобы никакой ошибки здесь не было.

— Где и когда вы ему говорили?— спросил он.

Любченко обстоятельно и точно рассказала — минувшей ночью она вдруг вспомнила этот разговор и затем в течение дня успела припомнить множество подробностей того вечера в доме Эммы Густавовны.

Выслушав ее, Релинк уже не сомневался, что Любченко выводит его на самую крупную цель за всю его деятельность здесь. И очень может быть, что эта цель не кто иной, как неуловимый «Грант».

Мысль Релинка летела вперед: «Вот мой достойный отклик на сталинградскую трагедию шестой армии! Нет, нет, эта старая рухлядь, сама того не зная, сделала великое дело, но пока я ей и виду не покажу, как важно все, что она рассказала...»

— Очень хочу, чтобы это не было ошибкой,— холодно сказал Релинк.— Немедленно напишите все, что вы рассказали. Я подожду. Пишите как можно подробнее.

Пока Любченко писала, Релинк набрасывал план операции против Шрагина. Сначала он назвал ее «Ответ на Сталинград». Зачеркнул. Слишком крикливо и не следует лишний раз напоминать о трауре. Он придумал еще несколько названий и остановился

на таком: «Олендорф против Гранта». Начальник управления эту его лесть оценит по достоинству, ему, конечно, будет приятно докладывать рейхсминистру о такой крупной победе, названной его именем.

Затем он начал набрасывать схему операции.

«Первое: немедленно взять Шрагина под неусыпное высококвалифицированное наблюдение.

Второе: арестовать Шрагина не позже как завтра утром...»

Релинк позвонил по телефону Бульдогу:

— Через тридцать минут собери ко мне всех начальников отделов. Будем говорить о летних отпусках...— Последняя фраза предназначалась для Любченко.

Рано утром Шрагин, как всегда, отправился на завод. Выйдя из дому, он на другой стороне улицы заметил человека, подозрительно резко отвернувшего физиономию. Однако человек этот за ним не пошел. Убедившись в том, Шрагин успокоился, тем более что со вчерашнего вечера все его мысли были о новости, сообщенной ему Дымко,— пропал Григоренко. Ночью он думал только об этом, обдумывая версию за версией, какие могли возникнуть в связи с его исчезновением. И сейчас, идя на завод, он тоже думал об этом. Чувство тревоги разрасталось...

У входа в заводоуправление стояли майор Капп и какой-то незнакомый мужчина в штатском.

— Доброе утро, господин Шрагин.— Капп приложил руку к козырьку фуражки и посторонился, давая Шрагину пройти в здание.

Шрагин вошел в темный тамбур перед следующей дверью. И как только внешняя дверь захлопнулась, из темноты на него бросились несколько человек. Его выпихнули на улицу, где уже стояла тюремная машина. Кто-то ударил его по ногам, он стал падать, но его подхватили, втащили в машину, и она бешено сорвалась с места.

ГЛАВА 52

Шрагин с первого же момента понимал, что схватили его не случайно. Весь вопрос в том, что они о нем знают. Во всяком случае, от него они ничего, кроме известной им фамилии, не узнают, чего бы это ни стоило. Это было для него настолько ясно и непреложно, что думать об этом не было никакого смысла. Главная тревога была в другом: один ли он взят? Если арестованы все — ясно, что это результат вольного или невольного предательства Григоренко. Если же других не тронули, еще сегодня вступит в действие специальная схема, по которой на его место становится Демьянов, и работа группы будет продолжаться, а ради этого можно пожертвовать и жизнью. Но если Григоренко вынудили назвать все имена и группа уже в руках гестапо, как он тогда должен вести себя? Вот это следовало обдумать...

Может случиться, что палачи сломили уже не одного Григоренко, тогда очные ставки с ними убедят СД, что он руководитель группы, и после этого его молчание особого значения для следствия иметь не будет. А что в этом случае молчание может дать ему самому? Это тоже следовало обдумать...

Вот очень важное: узнав, что от группы через фронт пошел Харченко, гестаповцы могут устроить ему ловушку, когда он будет возвращаться с радистом и снаряжением. Для этого СД нужно будет только заставить одного из сломленных действовать по их указанию.

В это время Григоренко снова привели в кабинет Релинка, и он сразу почувствовал, что отношение к нему изменилось. Уже по пути из одиночки, когда он замешкался перед лестницей, сопровождавший его Бульдог двинул его кулаком в спину. А Релинк сейчас смотрел на него с такой страшной улыбкой, что он невольно отвел глаза.

— Ну, господин Григоренко, не припомнили ли вы о себе еще что-нибудь интересное для нас?— спросил Релинк.

— Я сказал все,— ответил Григоренко.

— Тогда в попытке обмануть нас я должен обвинить некоего Гранта,— повысив голос, сказал Релинк. Это был его первый пробный шаг для выяснения вопроса о таинственном авторе радиограмм.

Григоренко знал о кодированном названии группы и в первое мгновение не сумел скрыть, как он поражен. Релинку этого безмолвного признания было вполне достаточно, по крайней мере на первое время.

— Ну что, Григоренко?— продолжал Релинк.— Позвать сюда Гранта и будем обвинять его во лжи? Боюсь только, что вам от этого не поздоровится. Грант — человек серьезный.

— Я не разобрал, о ком вы говорите?— наивно начал отступление Григоренко.

— Ах, не разобрали? Грант! Грант! Разобрали?— Релинк показал Бульдогу на Григоренко и сказал:— У него что-то плохо со слухом, посмотри.

Бульдог быстро подошел к Григоренко и с ходу ударил его кулаком в лицо. Григоренко отлетел в угол комнаты и упал, опрокидывая стулья. Второй гестаповец поднял его и усадил на стул посреди комнаты.

Григоренко осмотрелся по сторонам и остановил отупело-испуганный взгляд на Бульдоге, который уже, как прежде, сидел в кресле у стены.

— Сюда, сюда смотри, красная сволочь!— крикнул Релинк по-немецки.

Григоренко послушно повернул лицо к нему.

— Э, ты, я вижу, понимаешь по-немецки. Приятная новость.

Григоренко действительно последнее время уже неплохо понимал по-немецки и сам пытался разговаривать.

С этой минуты Релинк допрашивал его по-немецки. И хотя он часто вынужден был прибегать к помощи переводчика, чтобы уточнить сказанное арестованным, все же так ему работать было удобнее: полный перевод допроса очень замедлял его темп.

— Так что же вы скажете нам, Григоренко, по поводу Гранта?— спокойно спросил Релинк.

— Не знаю я никакого Гранта,— мотнул головой Григоренко. Он решил, что гестаповцы знают откуда-то только это кодированное название их группы, и думают, что это чье-то имя, и ловят его теперь на этот голый крючок.

— Ах, не знаете!— Релинк сделал знак Бульдогу, и тот, на этот раз не спеша, пошел к Григоренко.

— Погодите!— закричал Григоренко.

Релинк жестом остановил Бульдога.

— Хорошо, подождем немного. А пока чисто теоретический вопрос: может так быть, что Грант знает вас, а вы его не знаете?

— Конечно, может,— поспешил ответить Григоренко.— Мало ли кто может меня знать!

— Вы такой популярный в этом городе человек?

— Я никакого Гранта не знаю.

По знаку Релинка стоявший позади Григоренко гестаповец быстрым выверенным движением скрутил ему руки за спину и привязал их там к спинке стула. Затем он прикрутил веревкой к ножкам стула и его ноги. Этот прием допроса Релинк называл «танец со стулом».

Перед Григоренко появился гестаповец с резиновым четырехгранным бруском в руках. Он методически и торопливо расстегнул все пуговицы своего кителя.

— Для начала медленный блюз без головы,— негромко распорядился Релинк.

Первый удар — по груди. Затем, сделав шаг с поворотом, гестаповец бил чуть ниже плеча, еще шаг с поворотом — и удар по шее. После третьего удара Григоренко обвис и начал падать вперед, но гестаповец удержал его за спинку стула. Еще шаг с поворотом — еще удар. Новый взмах бруска...

Григоренко закричал.

— Пусть дама немного отдохнет! Танец нелегкий,— сказал Релинк и, выйдя из-за стола, стал вплотную перед Григоренко.

— Не надо кричать и не надо обижаться. Ты же не знаешь, это самый новый метод лечения туберкулеза.

Гестаповцы захохотали.

Взяв себе стул, Релинк сел лицом к лицу с Григоренко и спросил сочувственно:

— Больно? Ничего не поделаешь, не всякое лечение приятно. А теперь отвечай коротко и точно на мои вопросы. В каком году родился?

— В девятнадцатом,— прохрипел Григоренко.

— Где?

— В Харьковской области, село Федоровка.

— Значит, ты не местный житель?

— Нет.

— Как здесь очутился?

Григоренко не отвечал. Он только в это мгновение сообразил, что автоматически сообщил о себе подлинные данные, а в его версии, приготовленной на случай ареста, данные были совсем другие. В спокойной обстановке, не оглушенный болью, может быть, он и смог бы как-то согласовать сообщенные им подлинные сведения с версией, но сейчас он лишь вспотел от страха.

— Я приехал сюда... еще перед войной... Послали на работу... Инструктором физкультуры...— запинаясь, проговорил Григоренко, и это было уже из версии.

— Так, так,— Релинк вернулся за свой стол.— Вот твой паспорт. Почему здесь нет положенной отметки о работе в этом городе?

Григоренко молчал, не понимая, как у них мог оказаться его паспорт, который он, уходя к партизанам, спрятал в старой квартире.

— Ну, ну, отвечай быстрее!— крикнул Релинк.— Где штамп о работе?

— Не успел поставить,— ответил Григоренко.

— Ах, не успел! А почему в паспорте совсем другое место рождения?

Григоренко молчал. Релинк снова подошел к нему вплотную.

— Плохо твое дело, очень плохо. Надо было, покидая свою старую квартиру, спрятать паспорт получше. Или не надо было отмечаться там в качестве постоянного жильца. И уж во всяком случае, следовало помнить, что сказано в твоем фальшивом паспорте.— Релинк обратился к гестаповцам:— Быстрый фокстрот!..

Через полчаса Григоренко без сознания унесли в камеру...

Релинк вызвал машину и вместе с двумя сотрудниками выехал на квартиру Шрагина. Это входило в разработанный им план операции «Олендорф против Гранта». Он ехал вполне довольный собой: пока все шло так, как он задумал.

Эмма Густавовна и Лиля были дома. Дверь открыла старуха. Она недоуменно и испуганно смотрела на ворвавшихся гестаповцев, не узнавая Релинка, который однажды был у нее в гостях.

— Эмма Густавовна, здравствуйте,— улыбнулся ей Релинк.— Можно к вам на минуту?

— Прошу, прошу,— засуетилась старуха, все еще не узнавая гостя.

Релинк решил напомнить ей о себе:

— Я очень сожалею, что с тех пор, как побывал у вас вместе с генералом Штроммом, больше не имел возможности воспользоваться вашим милым гостеприимством.

— Я тоже сожалею об этом, господин...— старуха замялась.

— Релинк.

Они прошли в гостиную.

— Ваша дочь дома?— спросил Релинк.

— Валяется в постели,— ворчливо ответила старуха.

— Позовите ее, пожалуйста, нам надо поговорить всем вместе.

Лиля вышла заспанная, со злым, мятым лицом и, не ответив на приветствие Релинка, села на диван.

— Где господин Шрагин?— спросил у нее Релинк.

— Наверное, на своем заводе,— ответила за дочь Эмма Густавовна.— А впрочем, кто его знает, он же нам никогда не говорит, куда идет.

— Нет, Эмма Густавовна, он не на заводе,— вздохнул Релинк.— Мы его сегодня утром арестовали.

Лиля схватилась рукой за горло и смотрела на Релинка полными ужаса глазами.

— Что я тебе говорила!— истерически крикнула старуха.

— Что вам говорила мама?— быстро спросил Релинк, не сводя глаз с Лили.

— Пусть она сама скажет,— еле слышно произнесла Лиля.

— Я говорила ей, что он темный и жестокий человек,— почти торжественно произнесла Эмма Густавовна.

— Почему у вас такое мнение?— повернулся к старухе Релинк.

— Боже мой!— всплеснула она руками.— Два года прожить в семье и ни разу не показать себя человеком, у которого есть сердце.

— Так... Еще что?— спросил Релинк.

Но сколько он ни бился, больше старуха ничего конкретного сообщить не могла. И тогда он снова обратился к Лиле:

— А что вы скажете?

— За что вы его арестовали?— спросила Лиля.

— Об этом позже. Пока я хочу послушать вас, ваши впечатления о господине Шрагине.

— По-моему, он хороший и честный человек,— помолчав, ответила Лиля.— То, что говорит мама,— это несерьезно. Ей не нравится его характер. Мне тоже его характер не по душе, но человек он хороший... Да, он хороший человек,— с вызовом повторила она.

— Жене муж чаще всего кажется хорошим,— усмехнулся Релинк.

— Боже мой, какой он ей муж!— воскликнула Эмма Густавовна.— На глазах у него доктор Лангман открыто ухаживает за его женой, а он и бровью не поведет.

— Мама!— возмущенно крикнула Лиля.

— Почему я должна молчать? Я все-таки твоя мать, и, если мое сердце болит за тебя, я молчать не могу,— старуха выхватила из рукава платок и прижала его к глазам.

— Ваши семейные дела меня не интересуют,— сказал Релинк, сам в это время решив, что прямо отсюда он поедет к доктору Лангману. Он уже видел, что эти две женщины ничего подлинного о Шрагине не знают.

— Прошу прощения,— Релинк встал.— Но мы должны произвести обыск в комнате господина Шрагина.

Ничего важного от этого обыска он не ожидал. Шрагин не такой дурак, чтобы хранить в этом доме изобличающие его документы.

Релинк откланялся и уехал...

В самом начале разговора с Лангманом Релинк сделал тактическую ошибку. Он намекнул, что арест Шрагина чем-то угрожает доктору. Лицо Лангмана сразу стало каменным, и он сухо спросил:

— Вы видите во мне соучастника господина Шрагина, я правильно вас понял?

— Нет,— твердо ответил Релинк.

— Тогда что вам от меня нужно?

— Коротко — ваши впечатления об этом человеке.

— Мы вернулись на старое место,— поморщился Лангман.— Неужели вы не понимаете простой вещи: или я его сообщник, и тогда я полезен вам, или... вы зря тратите на меня время?

— Я слышал что-то...— Релинк заставил себя улыбнуться,— о вашем с ним сообществе... в семейном или лирическом плане.

— Как видно, в этом плане СД работает здесь хорошо,— холодно сказал Лангман.— Но все же эти сведения не точные. Мои отношения с той женщиной — мое личное дело. Но мужем ее является господин Шрагин.

— Нет у нее больше мужа.

Лангман усмехнулся:

— Мне важно слышать это от нее. Только от нее. Вероятно, и это вам непонятно,— спокойно сказал Лангман и вдруг спросил:— Надеюсь, ее вы не арестовали?

— Пока нет,— сухо обронил Релинк, злорадно почувствовав, что он нашел, наконец, способ заставить этого типа быть разговорчивым.— Но я никаких гарантий на этот счет не даю. Ее муж — наш враг, и, как видно, очень крупного масштаба.

— Это подозрения или установленный факт?— спросил Лангман.

— К сожалению, факт. Вернее — к счастью, поскольку он уже в наших руках.

— Тогда зачем вам мои сторонние впечатления о нем, если, конечно, вы не считаете меня его сообщником?

— Я должен решить, как поступить с его женой,— ответил Релинк.

— Могу сказать одно,— с трудом преодолевая нежелание говорить об этом, сказал Лангман,— для нее этот брак не был счастливым.

— А для него?— быстро спросил Релинк.

— По моим наблюдениям, он из тех мужчин, которые просто не умеют быть женатыми и не понимают, что такое семейное счастье. Его сердце и голова во всем, что за стенами дома.

— А их брак не был ли фикцией стратегического свойства?— спросил Релинк.

— Не думаю... не думаю...— медленно ответил Лангман.

— А в этом случае, как вы понимаете, она — его сообщница и ее мамаша — тоже, и тогда арест их обеих неизбежен,— сказал Релинк.

— Вы не сделаете этого,— спокойно и уверенно произнес Лангман.

— Это почему же?— удивился Релинк.

— Я прошу вас не делать этого,— совсем не просительно, а почти угрожающе сказал Лангман.

— К сожалению, я не могу чьи-то личные интересы поставить выше интересов рейха,— сказал Релинк, вставая.— Я раб законов, которые придумал не я...

От Лангмана Релинк вернулся в дом Шрагина. Обыск там, конечно, ничего не дал. Сказав женщинам, что без его разрешения они не должны уезжать из города, Релинк поехал обедать. Спустя час он приехал в СД, вызвал Бульдога и спросил, как ведет себя Шрагин.

— Спокоен. Будто сидит не в одиночке, а в купе экспресса. Давайте лучше посмотрим на него здесь.

— Рано. Григоренко сюда,— распорядился Релинк.

— Он еще не очухался.

— Пусть врач сделает ему укол, и тащите. Живо!

Укол привел Григоренко в странное состояние. Он понимал, что его привели в этот кабинет на допрос, но что́ это означает для него, полностью не сознавал. Боль, которая оглушила его на предыдущем допросе, словно растворилась в нем, вошла во все поры его тела и вроде даже прижилась в нем и не лишала его больше сознания. А вот теперь ему угрожала новая боль, которой уже негде раствориться, потому что он весь полон болью прежней.

Григоренко с ужасом следил уголком разбитого глаза за Бульдогом. Тех двух палачей, которые стояли позади него, он только слышал, знал, что они здесь, рядом. А вот там, у стены, на полу лежал черный, тускло лоснящийся резиновый брусок, заряженный болью. Он думал только об этом, и оттого сидевший за столом Релинк казался ему наименее опасным.

— Ну, Григоренко, продолжим нашу беседу,— негромко сказал Релинк и обнаружил, что арестованный его не слышит и смотрит на лежащий у стены резиновый брусок. Релинк усмехнулся и крикнул во весь голос:— Эй, Григоренко! Внимание!

Григоренко неторопливо повернул к нему свое вспухшее лицо.

— Ты слышишь меня?

Григоренко кивнул головой.

— Тогда все в порядке. Вернемся к твоему знакомству с Грантом. Не вспомнил ты его?

Григоренко отрицательно повел головой.

— Ты что, говорить разучился?— закричал Релинк.— Отвечай, как положено человеку, языком. Не вспомнил Гранта?

— Н-нет,— Григоренко с трудом разорвал слипшиеся губы.

— Вот теперь ясно — не вспомнил. Но, может, ты знаешь его под другим именем? Внимание, Григоренко! Я сейчас назову тебе

другое имя Гранта. Слушай! Его зовут Шрагин! Игорь Николаевич Шрагин!

Как ни был занят болью мозг Григоренко, все же имя руководителя группы ошеломило его, и он понял, где находится. Релинк, конечно, видел, какое впечатление произвело названное им имя, и уже не сомневался, что Шрагин и Григоренко знают друг друга. Теперь надо ковать железо, пока горячо, и попытаться выяснить имена всех участников шайки.

Релинк подошел к Григоренко:

— Ну, ты убедился, что мы все знаем. И право же, зря ты натерпелся от этого...— Релинк показал на резиновый брусок.— Зря, потому что Грант, он же Шрагин, уже давно сказал нам, что знает тебя.

— Этого не может быть!— вдруг твердо и ясно произнес Григоренко.

Релинк разгадал природу этой уверенности Григоренко и сказал почти задушевно, начиная новую, заранее продуманную атаку:

— Запомни на будущее: я никогда не говорю неправду. У меня просто нет времени выдумывать ложь. Итак, Шрагин сказал нам, что хорошо знает тебя. Снова не веришь? Слушай тогда, какую он дает тебе характеристику: неумен, самоуверен, самонадеян, недисциплинирован. И что совсем уж обидно — трусоват. Только трусость, сказал он, могла заставить Григоренко бежать в больницу, где он и напоролся на гестапо.

Григоренко молчал. Его больной мозг кольнуло подозрение: что-то уж очень похоже на правду то, что он сейчас слышал.

Релинк подал сигнал Бульдогу, тот — своим подручным: круг, описанный кулаком в воздухе,— это знаменитая бульдожья «мясорубка».

Эта пытка была придумана с изуверски точным расчетом. Человека били, кололи финками, выламывали ему руки и при этом внимательно следили, чтобы он не потерял сознания полностью. А когда человек оказывался на грани этого состояния, пытка прекращалась и Релинк задавал жертве вопросы. «Заглушить сознание, обнажить подсознание» — так научно Релинк определил задачу этой пытки.

— Ну, Григоренко, отвечай!— кричал Релинк.— Ты знаешь Шрагина? Знаешь?

Григоренко смотрел на него кровавыми глазами и молчал.

— Добавить,— тихо произнес Релинк и потом внимательно следил за глазами Григоренко. И когда их стала затягивать пелена, поднял руку:— Стоп! Отвечай, Григоренко, ты знаешь Шрагина?

— Знаю,— еле слышно ответил Григоренко.

— Укол,— распорядился Релинк.

Пока вызванный врач делал укол, Релинк нервно курил, смотря через окно на улицу.

После «мясорубки» и укола сознание Григоренко точно отделилось от него и стало существовать само по себе. Ему подчиня-

лась только малюсенькая частица сознания, которая ведала всем, что было связано с болью, расплавленным свинцом наполнявшей его тело, и той, еще не изведанной, которая таилась в резиновом бруске. И когда Релинк опять подошел к нему, а резиновый брусок очутился в руках у Бульдога, эта малюсенькая частица его сознания напряглась до предела.

— Последний вопрос, Григоренко, и ты пойдешь спать,— громко сказал Релинк.— Ты должен назвать нам всех участников вашей банды. Ты понимаешь меня?

Григоренко молчал, не сводя глаз с резинового бруска в руках Бульдога...

ГЛАВА 53

Надо подводить черту,— так сказал себе Шрагин, обдумав все в каменной тишине одиночки. Он не тешил себя безосновательными надеждами. Конечно, он будет бороться за жизнь до конца. Прежде всего надо выяснить, что им известно, но и это ему нужно знать главным образом для того, чтобы установить, что послужило причиной провала и каковы будут его последствия для дела. Очень важно, какой их ошибкой воспользовалась СД. Скорей всего провал мог начаться с Григоренко. Но Шрагин не считал его предателем. Он понимал, что Григоренко просто не мог стать полноценным разведчиком, это ему не было дано. Самолюбивый, самовлюбленный, а такие люди всегда не тверды характером. На минутном вдохновении, на порыве они могут даже совершить подвиг, но, оказавшись в положении обреченных, они, как правило, теряют мужество, а от человека, который потерял мужество, можно ждать чего угодно. Григоренко — человек именно такого склада, и если провал идет от него, виноват в этом не только и даже не столько он, Григоренко. Нельзя от человека требовать того, что ему не дано. Шрагин прежде всего винил себя. Наконец, может оказаться, что Григоренко и не виноват в провале. Так или иначе, надеяться на чудо глупо и надо подводить черту... Сделано все же немало. Впрочем, как можно это высчитать, с чем сравнить? Лучше сказать так: мы сделали все, что смогли, и то, что сделано, не пропало даром...

На войне час смерти не выбирают. И пока война не кончилась, ее закон непреложен: на место погибших становятся другие...

Шрагин был готов ко всему и хорошо знал, что его ждет. И желал себе он только одного — умереть так, чтобы даже его смерть была его победой над врагом...

Релинк торопился. Не давать подследственным возможности опомниться, не давать им времени на обдумывание хода следствия! В отношении Григоренко это помогло.

Первый допрос Шрагина Релинк назначил на утро. Хотел после хорошего сна быть со свежей головой. Но хорошего сна не получилось. Еще вечером он обнаружил, что волнуется и даже нервничает. Вот запись, сделанная им в дневнике в эту ночь:

«Завтра утром первая атака на персона грата. Черт возьми, я же довольно хорошо его знал, и он знал меня. Мы разговаривали. Я же мог взять его на год раньше. Перестрелять сотни воробьев, выдавая каждого за двоюродного брата орла, и знать при этом, что сам орел недосягаемо грозно парит над тобой,— это ли не позор для охотника? И вот орел в клетке. Завтра первый допрос. Волнуюсь, как, бывало, в военном училище перед экзаменом. А он, говорят, спокоен. Не верю. Он волнуется и нервничает больше меня. Он знает, что его ждет. Во время допросов за его спиной будет стоять смерть, а не за моей. И эта особа — моя надежная помощница».

Ровно в восемь часов утра Шрагина ввели в кабинет Релинка. Когда он сел на стоящий посреди кабинета стул, Релинк удалил всех, кроме двух солдат, которые стояли у дверей. Остался еще и солдат-протоколист за столом у пишущей машинки.

Шрагин внимательно рассматривал Релинка и видел, что он пытается скрыть волнение.

— Доброе утро, господин Шрагин,— чуть заметно улыбнулся Релинк.

Шрагин, не отвечая, продолжал в упор рассматривать его.

— Ну вот...— продолжал Релинк уже без тени улыбки, а строго и несколько заученно.— Во время нашего последнего разговора на заводе вы сами высказали пожелание: если у меня есть основания предполагать, что совесть у вас не чиста, продолжить наш разговор в моем кабинете. У меня есть это основание, и я выполняю ваше пожелание. Прошу вас назвать ваше подлинное имя и служебную принадлежность.

— Требую теперь же запротоколировать мое заявление,— четко и ясно произнес Шрагин.

— Прошу,— Релинк сделал знак протоколисту записывать.

— Меня зовут Игорь Николаевич Шрагин,— неторопливо сказал Шрагин.— Больше никаких показаний о себе я не дам и прошу не тратить на это время и усилия. На вопросы, меня не касающиеся, готов отвечать. Таково мое непреклонное решение. Всё.

— Ни к чему хорошему подобное поведение не приведет,— заметил Релинк.

— Почему? И смотря кого,— сказал Шрагин.— Вы лишаетесь возможности оперировать моими показаниями. Для вас это неприятность чисто юридического характера, но поскольку юрисдикция и гестапо — понятия до последнего времени незнакомые друг другу, неприятности ваши не так уж велики. А для меня не говорить о себе приятно, ибо я страстный поклонник скромности. Что же касается всех других тем, то мне доставит удовольствие поговорить с умным человеком, каким я вас искренне считаю.

— Благодарю за комплимент,— усмехнулся Релинк, отмечая про себя удивленно, что Шрагин сказал ему о том же, о чем говорил ему вчера вечером Олендорф,— о соблюдении в этом деле юридических норм.

— Но беда, господин Шрагин, в том, что вы арестованы СД, вы, а не кто-нибудь другой. И поскольку у нас здесь не клуб филателистов, здесь ведется следствие, а не происходит общий разговор, а следствие касается вас, только вас.

— Поскольку вы употребили выражение «арестован», не мешало бы вам сообщить мне, за что я арестован.

— Допрос все же веду я, а не вы.

— Если подойти к нашей ситуации философски,— совершенно спокойно сказал Шрагин,— то еще можно поспорить, кто кем арестован и кто имеет больше прав на предъявление обвинения. И все же любопытно, за что я арестован?

Релинк, многозначительно помолчав, четко произнес:

— Вы арестованы как опасный враг Германии.

— В таком случае я считаю вас арестованным как опасного врага моей страны,— в тон Релинку проговорил Шрагин и добавил:— И я могу сейчас же конкретизировать свое обвинение. Хотите?

— Допрашиваю я.

— Тогда вы и потрудитесь конкретизировать свое обвинение.

Релинк откинулся на спинку кресла, сложил руки на груди и долго смотрел на Шрагина молча и иронически, а Шрагин точно с таким же выражением смотрел на него.

— Значит, вы не знаете, за что арестованы?— не меняя позы, спросил Релинк.

— Не имею понятия.

— А чем, позвольте узнать, вызвано ваше заявление о том, что вы не будете давать показаний? Где логика? Ведь арестованный человек, не чувствующий за собой вины, наоборот, не должен бояться говорить о себе.

— А я и не боюсь,— подхватил Шрагин.— Я просто оскорблен самой необходимостью доказывать, что я не верблюд, тем более что вам моя работа и мои поступки хорошо известны.

— Но речь-то как раз идет о той вашей деятельности, которая до недавнего времени была нам неизвестна.

— Была неизвестна? Значит, теперь известна. Ну, а мне это не известно, и совершенно естественно мое желание узнать, о чем идет речь.

— Речь идет о вашей враждебной Германии деятельности,— заговорил Релинк.— И даже этой стандартной тактикой саботажа следствия вы доказываете свою принадлежность к названной мною деятельности. Мы это уже не раз видели, но кончалось это одинаково: языки развязывались. Мы умеем этого добиваться,смею вас уверить, господин Шрагин.

— О, это понятно,— кивнул головой Шрагин,— вам следовало бы учесть, что в Берлине меня знают. Знают там и о моем аресте,

и для начала я требую, чтобы в отношении меня соблюдались соответствующие законы немецкой юрисдикции. Прошу это запротоколировать,— сказал Шрагин солдату, и тот, как послушный механизм, застучал на машинке.

— Стоп!— заорал на него Релинк.

— В чем дело?— спросил Шрагин.— Почему вы отказываете мне в элементарном юридическом праве требовать внесения в протокол моих заявлений?

— Я вам покажу юридическое право!— сорвался на крик Релинк.

— Стыдно впадать в истерику, господин Релинк,— сказал Шрагин насмешливо.

— Ну вот что,— сказал Релинк, поднимаясь.— Мне надоела эта игра в кота и мышку. Я вам даю час на то, чтобы вы опомнились, осознали, где вы находитесь и что вам грозит.

— Постарайтесь разумно использовать этот час и вы,— спокойно отозвался Шрагин, вставая...

Релинк готов был с кулаками броситься на стул, на котором только что сидел Шрагин. «Негодяй! Неужели он всерьез не понимает, что мы в пять минут выбьем из него идиотскую фанаберию?»— разъярял себя Релинк. И вдруг он вспомнил слова Шрагина о том, что в Берлине знают о его аресте. «Что он имел в виду? Что Берлин получит о его аресте информацию не из рук СД? Может быть, это сделал Лангман?»

Релинк быстро набрал номер телефона доктора.

— Здравствуйте, доктор Лангман. Это Релинк. Хочу сообщить, что ваша просьба мною выполнена. Не хотите ли, кстати, узнать, что за птица муж некоей интересующей вас дамы?

— Нет, не хочу, это меня совершенно не интересует,— быстро сказал Лангман.

— Тогда у меня к вам все. До свидания.

Не услышав отклика, Релинк швырнул трубку и грязно выругался.

«Адмирал Бодеккер! Вот на кого надеется Шрагин,— озарило Релинка.— Только на него. Не случайно адмирал позволил себе, не дальше как вчера вечером, позвонить и выразить свое удивление и недоумение по поводу ареста Шрагина и даже не пожелал ничего в ответ выслушать».

Обдумав, как лучше и хитрее повести разговор с адмиралом, Релинк набрал его номер телефона и тотчас услышал его глухой голос:

— Адмирал Бодеккер у телефона.

— Здесь Релинк. Сейчас вы в состоянии говорить спокойно?

— Мне не о чем с вами разговаривать,— ровным глухим голосом заявил адмирал.— Все, что я считал нужным, я уже сказал вашему начальству в Берлине. Прошу извинить, у меня совещание.

«Так... Это весьма интересно,— думал Релинк, еще держа в руке умолкшую трубку.— И объективно получается, что Шрагин

и адмирал находятся в каком-то сговоре. Неужели нитка потянется к этой надутой лягушке с адмиральским званием?»

Релинку очень хотелось сейчас поверить в это, и он тут же позвонил майору Каппу. Но телефон майора не отвечал. Соединившись с адъютантом Бодеккера, Релинк узнал, что Капп в кабинете адмирала на совещании.

— Вызовите его,— приказал Релинк.

Услышав голос Каппа, он спросил:

— Упиваетесь болтовней адмирала? Больше у вас нет никаких дел?

— Обсуждается очень важный вопрос,— ответил Капп.

— Прошу вас немедленно быть у меня,— Релинк бросил трубку.

До приезда Каппа Релинк обошел кабинеты, в которых его сотрудники вели допросы людей, считавшихся сообщниками Шрагина. Во всех кабинетах происходили «танцы со стулом», и эта картина несколько успокоила Релинка: все шло правильно, так, как следует.

— Двое подготовлены,— доложил Бульдог.— Третий безнадежен.

— Не позже как через час проведем очные ставки,— сказал Релинк и вернулся в свой кабинет. Там его уже ждал Капп.

— Что за сверхважные вопросы вы обсуждаете с вашим адмиралом?— насмешливо спросил Релинк.

— Действительно, очень важные,— ответил Капп.— Вырабатываются меры по уничтожению завода на случай оставления нами этого города.

— Что, что?— не поверил своим ушам Релинк.— Очевидно, у вашего адмирала прокисли мозги.

— Таков приказ штаба группировки «Юг». Мотивируется это ходом военных событий на Кавказе.

— Мне все это известно, но почему об этом идет болтовня на каких-то полугражданских совещаниях?— Релинк решил не обнаруживать перед майором свою неосведомленность.

— Совещание созвал адмирал, и оно довольно узкое,— пояснил Капп.

— Ладно, я разберусь в этом,— заявил с угрозой Релинк.— Вам известно, что адмирал берет под защиту арестованного у вас опасного врага Германии?

— Мне известно только его недоумение по этому поводу, но должен заметить, что в своем недоумении адмирал далеко не одинок.

— Вы тоже недоумеваете?— спросил Релинк.

— Я уверен в вашей осведомленности.— Капп явно уклонялся от прямого ответа.

— Но ведь вы, а не я — глаза партии на этом заводе,— ехидно заметил Релинк.

— Со стороны партии ко мне претензий нет,— с достоинством ответил Капп.

— А вы, майор, сами посмотрите на себя со стороны,— предложил Релинк.— Я ведь помню, как вы прибежали ко мне с листовкой, которую на самом деле сорвал на заводе этот мерзавец, которого мы арестовали, а не вы. Тогда вам почему-то нужно было получить о себе мое мнение. А теперь вы ссылаетесь на то, что вами довольна партия. Что же произошло между этими нашими встречами? Не понимаете? А я понимаю и поэтому могу пожелать вам одного — поскорее понять это самому. А теперь, преодолев недоумение, не можете ли вы припомнить что-нибудь об этом мерзавце, свидетельствующее о том, что глаза партии на заводе еще не совсем ослепли?

— Разве только одно,— подумав, ответил Капп.— Он слишком правильно и безошибочно вел себя, как человек, полностью отдавший себя интересам Германии. Если быть искренним и говорить то, что есть на самом деле, я больше ничего сказать вам не могу.

— Спасибо, майор, спасибо,— иронически поклонился Релинк.— Можете возвращаться к болтовне об эвакуации завода. До свиданья.

Капп покинул СД немало встревоженный...

Час давно прошел, а Релинк все еще не начинал очную ставку... Шрагин в это время напряженно обдумывал свою первую схватку с Релинком. Игра в кота и мышку, которая так разъярила Релинка, давала ему основание думать, что СД прямых улик против него не имеет или, во всяком случае, знает о нем мало.

«Что будет теперь? Неужели час еще не прошел?— думал Шрагин.— Если сейчас они прибегнут к физическому воздействию, это еще раз подтвердит, что они обо мне знают мало и рассчитывают вырвать у меня признание. Ну что же, попробуйте, господа, у меня есть ради чего все выдержать, и этого у меня вам не отнять...»

Войдя в камеру, гестаповцы скрутили ему руки за спину, стянули их до боли шнуром, и это еще раз сказало ему, что его ждет. Игры больше не будет.

Релинк в эту минуту решал: подвергнуть Шрагина обработке до очной ставки или после? Решил — после. На его партнеров по ставке может подействовать, что они, изуродованные, увидят его здоровым и вполне благополучным.

Шрагина усадили в глубокое мягкое кресло, стоявшее сбоку стола, и по приказу Релинка развязали ему руки. Так он будет выглядеть не только благополучным, но и как бы приближенным к Релинку и, уж во всяком случае, совершенно свободным.

В кабинет втащили Григоренко и посадили его в центре кабинета на стул. Его трудно было узнать. На вспухшем багрово-синем лице мертво поблескивающие, равнодушные, точно ничего не видящие глаза. Его безвольное тело обвисло на стуле.

— Григоренко, смотри! Кто этот господин в кресле рядом со мной? — прокричал Релинк.

В глазах у Григоренко, устремленных на Шрагина, возникло напряжение. Он явно узнал Шрагина и сделал движение, будто хотел выпрямиться.

Шрагин смотрел на него со спокойным и даже равнодушным любопытством, но сердце его больно заныло от жалости к связному. Надо было быть Шрагиным, чтобы и в эту минуту почувствовать себя виноватым за то, что привелось пережить этому парню.

— Ну, Григоренко, ты знаешь этого человека?— крикнул Релинк.

В это время Бульдог стал возле Григоренко, который сразу опустил глаза и не сводил их теперь с сапог своего палача.

— Ну, Григоренко, это наш последний к тебе вопрос — знаешь ты этого человека?

Григоренко отрицательно повел головой, продолжая смотреть на сапоги Бульдога.

— А вы знаете этого неразговорчивого человека?— подчеркнуто вежливо обратился Релинк к Шрагину.

— Первый раз вижу.

— Слышишь, Григоренко? Он тебя первый раз видит, он не знает тебя, а ведь это Игорь Николаевич Шрагин.

Григоренко поднял голову и уставился на Шрагина воспаленными глазами.

— Игорь Николаевич,— глухо и печально, точно жалуясь, произнес Григоренко.

— Прекрасно!— подхватил Релинк.— Значит, ты знаешь этого человека. Его фамилия Шрагин? Да?

Григоренко утвердительно кивнул головой.

— Вы посмотрите получше,— вдруг резко сказал Шрагин.— Вы ошибаетесь.

Григоренко долго смотрел на него и потом довольно ясно сказал:

— Не надо, Игорь Николаевич...

— Уведите его,— приказал Релинк. И когда дверь за Григоренко закрылась, он обратился к Шрагину:

— Все ясно. Григоренко знает вас, а вы знаете его, и мы это фиксируем.

По приказу Релинка в кабинет ввели Дымко. Он выглядел лучше Григоренко, сам держался на ногах, но лицо его перекосили кровавые подтеки.

— Ты знаешь этого человека?— обратился к нему Релинк.

— Этого?— по-детски переспросил Дымко, пальцем показывая на Шрагина.— Нет, этого не знаю.

— Как?— взорвался Релинк.— Ты же говорил, что знаешь Шрагина, что тебе о нем говорил твой знакомый Федорчук, а теперь на попятный?

— Почему на попятный?— удивился Дымко.— Про Шрагина мне действительно говорил Федорчук, но этот гражданин, может быть, вовсе и не Шрагин, я же его не видел.

Такого поворота Релинк явно не ожидал и на мгновение растерялся. И от растерянности он даже пропустил возможность воспользоваться словами Дымко и привязать к Шрагину раньше погибшего Федорчука.

Релинк метнул бешеный взгляд на Бульдога.

— Увести,— приказал он и потом сказал Шрагину:— Все ясно. Только беспощадный руководитель мог добиться у своих подчиненных такой дисциплины страха. Этот ваш человек, по фамилии Дымко, дал о вас наиподробнейшие показания, а увидев вас, проглотил язык. Но мы зафиксируем и это.

— Если у вас юридическая сторона следствия так поставлена,— усмехнулся Шрагин,— вы можете привести сюда на очную ставку любого прохожего с улицы.

— Плевал я на то, как вы смотрите на юридическую сторону нашего следствия.

— Нехорошо, господин Релинк,— заметил Шрагин с усмешкой.— Плевать на юрисдикцию может вышибала в борделе, но не следователь.

— Молчать!— заорал Релинк.

— Молчать — это моя цель. Весь этот постыдный балаган затеяли вы, а не я,— сказал Шрагин.

В дверях возникла борьба, и в кабинет влетел, чуть не упав, истерзанный Назаров. Рубаха на нем была разорвана от ворота донизу. Из носа сочилась кровь.

— Собаки, бешеные собаки,— с яростью произнес он, оглядывая кабинет. Шрагина он при этом точно не замечал.

— А ну, тихо!— приказал ему Релинк.— Кто этот человек?

— Иди ты...— Назаров предложил Релинку довольно далекий маршрут и сказал:— Бьют, сволочи, людей. Какой Шрагин? Кто такой Шрагин? А что вам толку, гады проклятые? Сергей продал вам душу? Ждите! Завели себе Мишку Распутина, целуйтесь с ним, собаки поганые.

Бульдог ударом резинового бруска сбил Назарова с ног, и его вытащили из кабинета.

— Вы думаете, я не понял, что этот тип сообщил вам, как ведут себя на следствии ваши сообщники?— оскалился Релинк.— Но именно это мы сейчас и зафиксируем. И вообще хватит. Все ясно. И должен огорчить вас: каникулы ваши, господин Шрагин, окончены.— Он обратился к Бульдогу:— Взять его! Устройте ему как следует первый «танец со стулом»...

Спустя час гестаповцы принесли в одиночку безжизненное тело Шрагина. Пришедший туда врач сделал ему укол и сказал встревоженному Бульдогу:

— Все в порядке. Он крепкий, утром будет готов к новым «танцам».

Бульдог вернулся в кабинет Релинка и доложил, что Шрагин «оттанцевал» свое безрезультатно.

— Только зубами скрипел,— пожал плечами Бульдог.

— Ты разучился работать!— закричал на него Релинк.— Что ты докладывал мне об этих бандитах? А что вышло на самом деле?

— А чего нянчиться с ними?— взъелся Бульдог.— Все же ясно, по пуле в затылок, и делу конец!

— Завтра к утру ты дашь мне подписанные ими признания в сообщничестве со Шрагиным, или я отправлю тебя на фронт.

— Но...— заикнулся Бульдог.

— Выполняй приказ, черт тебя возьми!— крикнул Релинк.

Поздно вечером Релинку домой позвонил из Берлина Отто Олендорф и сказал не здороваясь:

— Я снова по поводу инженера, которого вы взяли у адмирала Бодеккера. Почему вы мне не напомнили, что это тот же человек, который вскрыл одесскую авантюру?

— Да, но он...

— Его вина перед Германией доказана так же бесспорно, как и его заслуга?— перебил Олендорф.

— Я веду следствие,— сказал Релинк.

— Прекрасно, ведите. Но прошу вас учесть следующее: об аресте этого инженера Бодеккер сообщил гросс-адмиралу Деницу и потребовал проверки ваших действий. Гросс-адмирал получил заверение нашего рейхсминистра, что дело это будет взято под особый контроль. Вам все ясно?

— Да, ясно,— неуверенно отозвался Релинк.

— Прошу извинить за поздний звонок,— вежливо произнес Олендорф и дал отбой.

Релинк немедленно позвонил Бульдогу и приказал ему прекратить обработку арестованных и, как только они придут в себя, отправить их в тюрьму, по одному в общие камеры, и к каждому подсадить по агенту. Не давая Бульдогу возможности вставить слово, Релинк торопливо положил трубку. Потом он схватил первое попавшееся под руку — это была настольная лампа — и с размаху швырнул ее в стену.

ГЛАВА 54

Сергея Дымко схватили на глазах у Зины. После ночного дежурства он возвращался домой. Зина видела в окно, как он перешел через улицу, направляясь к дому. Когда он поравнялся с водопроводной колонкой, двое мужчин бросились на него. Тотчас подлетела легковая машина, в нее втолкнули Сергея, и машина умчалась к центру города.

Зина растерялась только в первые минуты. Она бесцельно ходила по комнате, наталкивалась на вещи, бормоча: «Так, так, так...» Потом она тщательно осмотрела жилье, уничтожила все, что могло вызвать подозрение гестаповцев. И когда они приехали делать обыск, Зина делала вид, будто не знает об аресте мужа.

— Да вы скажите, чего вы ищете,— говорила она гестаповцам.— Я сама вам покажу где что.

Сначала они не отвечали и продолжали обыск, но потом наблюдавший за ней гестаповец вдруг спросил:

— Где тайник мужа?

— Что, что?— спросила Зина.

— Где он хранит оружие, документы?— пояснил гестаповец.

— Оружие?— испуганно вытаращила Зина глаза.— Сохрани господь, да вы что? Да я своими руками выбросила бы это на помойку. Да если бы он принес в дом такое, я бы его самого из дома выгнала.

И все-таки ее забрали и продержали в СД двое суток. Когда ей говорили, что ее муж враг Германии, тайный агент Москвы, она то принималась смеяться («Ой, боже ж ты мой, не могли вы выдумать чего полишее!»), а то принималась реветь, требуя, чтобы ей тут же вернули мужа.

— Мы же с ним, как полные дураки, жили с полной верой в германский порядок,— рыдала она.— А вы как нас обласкали за это? Бог накажет вас за вашу неправду.

В конце концов следователь отказался от мысли подозревать в чем-нибудь эту тупицу. Для порядка, что ли, они избили Зину и на другой день приказали ей убираться к чертям.

Утром Зина снова была в приемной СД. Там она быстро перезнакомилась с родственниками других арестованных, узнала все царящие здесь порядки и приметы. Она узнала, например, что, пока идет следствие здесь, в СД, арестованным ничего передать нельзя, не принимают. Зина тотчас сбегала домой, соорудила маленький сверточек с едой и вернулась в СД. Передачу у нее не взяли ни в этот день, ни на следующий, ни на третий. А на четвертый вдруг взяли. Это была вдвойне хорошая примета: значит, ее Дымко долго не мучили и в ближайшее время переправят в тюрьму. Теперь надо ходить туда.

В тюрьме у Зины не принимали передачу целую неделю. Отвечали: «У нас такого не значится». Тогда Зина бежала в СД, но там ей говорили то же самое. Кто-то из опытных посетителей этих страшных мест сказал, что дела ее плохи. Когда не берут ни там, ни здесь, это чаще всего означает, что с арестованным покончили.

Поздно вечером Зина, обессилевшая от горя, плелась домой. Возле самой калитки ее поджидал незнакомый мужчина.

— Ты Зина Дымко?— тихо спросил он.

— А что?

— Что, что... Если ты Зина Дымко, скажи, тогда и узнаешь что.

— Ну да, я Зина Дымко,— устало произнесла она.

— А как мужа звать?

— Сергей,— автоматически ответила Зина.

— Тогда держи записку и бывай здорова.— Мужчина сунул ей в руки свернутую бумажку и быстро ушел.

Дома Зина зажгла коптилку и прочитала записку. Она задохнулась от волнения, сразу узнав почерк Сергея.

«Срочно помолись за всех нас в церкви. Помяни за здравие отца и детей его. Уповай, дорогая моя Зиночка, на бога, молись ему исправно, ну и, даст бог, увидимся. Одну твою зачерствелую посылочку сегодня получил. Не надо больше, самой, поди, есть нечего, а мы тут какую ни на есть похлебку имеем. А вот к жене отца и к свекрови сходить надо, чтобы помолились они о нем. Остаюсь твой любящий муж Сергей».

Зина сорвалась с места и, забыв про комендантский час, помчалась через весь город к попу. Она правильно поняла, что Сергей приказывает ей обратиться к Величко. Еще до ареста муж както сказал ей: «Если со мной что-нибудь случится, поскорей дай знать об этом попу Величко». Она тогда еще стала спрашивать, почему об этом нужно знать попу. А Сергей рассмеялся и сказал: «Если бы все попы были такие, я бы, Зиночка, в бога поверил».

Неожиданный стук в окно порядком напугал Величко, он подумал, что пришли и за ним. Все улики своего небожественного промысла он надежно спрятал в церкви и как раз в этот вечер пришил к рясе под мышкой две петельки и подвесил туда «кольт». Величко решил: если за ним придут гестаповцы и он увидит, что они ведут себя уверенно, он поделит обойму между ними и собой.

Увидев Зину, он даже растерялся немного:

— Будь ты неладна, что это тебе ночью до бога потребовалось?

Когда он узнал, кто такая Зина, и прочитал записку Сергея, он сказал:

— Мне все ясно. Отец, он же Батя, значит Шрагин, и все его товарищи живы. И тебе надо сходить в семью, где жил Шрагин, не помогут ли они со своими связями. Ладно, Зина, будем думать, что делать, но ты ко мне больше не ходи. Будет у тебя что ко мне срочное, поставь на свое окно... вот это.— Он оглянулся и взял с полки глиняный горлач.— Если тебя сейчас остановят возле моего дома, скажи, что носишь мне молоко и приходила за посудой. А на другое утро, как поставишь у себя на окне горлач, к восьми утра иди на рынок. Там я тебя буду ждать. Тебе все понятно? Ну и хорошо, а теперь иди, только не на улицу, а через сад.

Как только Зина ушла, Величко повесил на шею массивный крест, взял завернутый в парчу требник и вышел из дому. Он торопился к связному от подполья. Если его сейчас остановят, он скажет, что идет причащать умирающего.

Но его никто не остановил...

Спустя два дня на квартиру, где жил Шрагин, отправилась Юля. Это было опасное поручение, потому что дом Шрагина был, конечно, под наблюдением и посыльный мог быть схвачен.

Было решено, что утром Юля снова пойдет в СД и еще раз поскандалит там по поводу того, что ей не дают работу. А потом она пойдет на квартиру Шрагина, и, если там ее схватят, она скажет, что в приемной СД ее попросила сходить сюда незнакомая жен-

щина. Да и все-то поручение — попросить снести в тюрьму передачу Шрагину. Все носят...

Дверь открыла Лиля. Она не узнала в Юле той, которой она однажды ночью передала свою подругу Раю.

— А мы с вами знакомы,— решила напомнить ей Юля.— Помните, я вашу подружку однажды спасла?

— Извините, темно тогда было,— смущенно пробормотала Лиля и вдруг испуганно спросила: — Так вы от Раи?

— Нет, я от Шрагина,— ответила Юля.

Лиля сделала шаг назад, и в это время в переднюю вышла Эмма Густавовна.

— Что здесь происходит? Кто это?— раздраженно спросила старуха.

— Она пришла от Игоря Николаевича,— тихо произнесла Лиля.

— Ему надо помочь,— сказала Юля.— Передачу в тюрьму снести.

— Почему это мы должны ему помогать? Кто он нам? Что он нам принес, кроме беды?— закричала Эмма Густавовна, не обращая внимания на протестующие знаки дочери.

— Он же в тюрьме сидит,— укоризненно сказала ей Юля.— Голодают там люди.

— Вы что хотите? Чтобы и нас туда упрятали?— продолжала кричать старуха.— Убирайтесь отсюда! С меня довольно горя без вас!— Эмма Густавовна распахнула дверь на улицу.— Убирайтесь! Слышите? Убирайтесь! Иначе я позову полицию!

— Ну и люди же вы!— с ненавистью сказала Юля и выбежала из квартиры.

Эмма Густавовна и Лиля вернулись к прерванному завтраку, но еда не шла им в горло, и они долго сидели молча, не глядя друг на друга.

— Я снесу ему передачу,— тихо сказала Лиля.

— Ни за что!— взвизгнула Эмма Густавовна.— Ты сошла с ума! Сделать такое, когда все решено с твоей поездкой в Германию! Ты подумай только! Может, наконец, лопнуть терпение и у доктора Лангмана.

— Я снесу,— повторила Лиля.

Эмма Густавовна вдруг решительно сказала:

— Ладно, твоя жизнь впереди, а моя уже окончена. Я снесу сама.

И действительно, на другой день Эмма Густавовна явилась в тюрьму. Она стояла в очереди к окошечку тюремщика с таким видом, что никто не решался с ней заговорить. Сама она боялась прикоснуться к этим людям, будто они были прокаженные.

Тюремщик принял от нее сверток, проверил его содержимое и спросил:

— Записка есть?

— Нет и не будет,— с гордым достоинством ответила Эмма Густавовна.

Тюремщик глянул на нее удивленно.

— А кому передача-то?

— Некоему Шрагину.

— От кого?

Эмма Густавовна молчала. Лицо ее покрылось красными пятнами.

— Ну, говорите же — от кого, я записать должен,— грубо торопил ее тюремщик.

— От знакомых,— еле слышно произнесла старуха.

— Ответа ждать будете?

— Нет, нет,— Эмма Густавовна отшатнулась от окошечка и быстро вышла из тюремной канцелярии.

Она вернулась домой взвинченная до предела. Всю дорогу она репетировала сцену, которую собиралась устроить дочери за те унижения, через которые она ради нее прошла. Но дома оказался Лангман. Поздоровавшись с ней, он сказал:

— Вы очень хорошо и разумно поступили.

— Я не такая плохая, как думают некоторые,— мгновенно перестроилась Эмма Густавовна, кивнув на дочь, и ушла в свою комнату.

Лиля проводила ее недоумевающим взглядом.

— Мне очень жаль Шрагина,— сказал Лангман.— И я не очень доверяю канцелярии Релинка. Но все же, кажется, господин Шрагин действительно запутался в грязных делах.

— Что вы называете грязными делами?— спросила Лиля.

— То, к чему я и вы не имеем никакого отношения,— ответил Лангман, спеша разрядить обстановку.

— Вы в этом уверены?— с непонятным Лангману вызовом спросила Лиля.

— Право же, мы говорим не о том...— Лангман взял Лилю за руку.— Я пришел сказать вам, что наконец все у нас в порядке. Путевка уже получена. Мне дают отпуск на десять дней специально для устройства наших дел. Словом, вы увидите чудесную весну в наших краях. И давайте говорить об этом...

ГЛАВА 55

В тюрьме, как и в других тюрьмах, действовал особый уклад жизни, который всегда устремлен к одной общей для всех заключенных цели — преодолеть тюремные стены. Это преодоление иногда происходит в прямом смысле — заключенные совершают побеги. Но чаще оно означает просто устранение разобщения. Не бывает таких тюремных тайн, которые остались бы для заключенных нераскрытыми, только это происходит медленно. Разгадка тайны складывается из еле приметных крупиц узнавания, и этот процесс длится недели, месяцы, а иногда и годы.

Уже через три дня после перевода в тюрьму Шрагин знал, что вместе с ним здесь находятся Дымко, Назаров и Григоренко. Он знал, что Григоренко лежит в тюремном госпитале. Когда пришла с воли первая передача и тюремщик без всяких объяснений буркнул «от знакомых», Шрагину хотелось думать, что передачу принесла Лиля и что это сигнал надежды: она пытается установить с ним связь и посильно помочь ему. Но потом долго передач не было.

В камере, где сидел Шрагин, было еще семнадцать человек — народ самый разный. Соседом Шрагина по нарам оказался какой-то младший чин из гражданских полицаев. Напившись, он застрелил на улице немецкого офицера. Его заподозрили в принадлежности к подполью, а он даже не помнил, как убил того офицера. После каждого допроса он все больше приходил в ярость и однажды сказал Шрагину: «Жалею, что убил только одного гада...»

Шрагин решил, что полицай — подсаженный к нему провокатор, и не верил ему.

Другим соседом был тихий мертвенно-бледный, флегматичный парень, он обвинялся в ограблении интендантского склада. Ровным печальным голосом рассказывал он Шрагину: «У меня битьем вырвали признание, что я это ограбление совершил по приказу красного подполья. Теперь осталось только ждать, когда к стенке поставят...»

Однажды ночью Шрагина осторожно разбудил сосед-полицай и, прижавшись ртом к его уху, прошептал:

— Белобрысая тихоня — ихняя собака, подсадка, одним словом, учти.

Шрагин промолчал.

Утром полицая расстреляли. А тихий парень продолжал ждать своей стенки и все грустно пересказывал свою историю.

Шрагин все тверже убеждался, что полицай сказал ему правду.

На допрос его довольно долго не вызывали, и он видел в этом еще одно подтверждение того, что СД знает о нем очень мало и, наверное, пытается сейчас собрать улики.

Допросы возобновились в конце февраля. Они происходили ночью в подвальной камере тюрьмы. Шрагина приводили туда и требовали, чтобы он сознался в деятельности, враждебной Германии. Палачи выжидали минуту-две, а затем, как бешеные собаки, набрасывались на него. Спустя час его приносили в камеру и швыряли на нары. Каждый раз одно и то же. На первых трех допросах присутствовал Релинк, но потом он перестал приезжать в тюрьму, и Шрагин был отдан во власть Бульдога и его подручных. Даже этот палач без нервов стал перед допросами Шрагина подбадривать себя шнапсом.

Шрагин выработал суточный график управления своей волей. Приходя в сознание, он сопротивлялся боли и ни о чем больше не

думал. Главное — не дать вырваться ни стону, ни вздоху. Проходили часы, и боль точно уставала мучить его и затихала, сбившись в комок в каком-нибудь одном месте. Теперь, когда боль как бы была укрощена, Шрагин начинал думать о том, что с ним происходило. Еще один бой с врагом выигран...

Во второй половине дня Шрагин начинал готовиться к новому допросу. Нужно было внушить себе, что вчерашняя боль уже побеждена и не опасна. Для этого нужно отвлечься от мыслей о ней, включиться в разговор товарищей по камере, узнать тюремные новости.

Хорошо перед допросом вспомнить о своих боевых друзьях. Держатся ребята славно, а ему так и бог велел показать им пример железной выдержки. Хорошо, но очень трудно думать перед допросом о жене, о сынишке, о старшей сестре, которая была для него матерью. Но стоило ему подумать о близких, как сердце его наполняла нежность и к горлу подступал горький комок. «Это нельзя»,— говорил себе Шрагин и торопился думать о другом: о родном Ленинграде и о других городах, которые он видел в жизни, о друзьях по довоенной работе, которые сейчас где-то далеко, так же, как он, в бою; о партии, которой он однажды и на всю жизнь дал клятву верности. На всю жизнь и на смерть тоже...

И вот распахивалась дверь камеры, и тюремщик кричал:

— Триста первый, выходи!

Триста первый — номер Шрагина...

На этот раз допрос был особенно тяжелым. Бульдог бил Шрагина резиновым бруском только по голове и все по одному месту — чуть выше правого виска. Ударит, подождет несколько секунд и бьет еще... Потом еще... После третьего удара Шрагин свалился на пол, его перевернули, чтобы открылась правая сторона головы, и Бульдог снова взялся за резиновый брусок... Самое страшное, что Шрагин не терял сознания...

В одной камере со Шрагиным находился и правил в ней власть веснушчатый рыжий парень, которого все звали Дока. Это была его кличка в воровской шайке. Они ограбили какого-то крупного спекулянта, взяли золотишко, поделили, как заведено: Доке — главарю шайки — половину, а остальным всем поровну. Потом поссорились, и его «дружки» из зависти навели легавых на своего главаря. Доку арестовали и теперь таскали на допросы, били, требовали показать, где он спрятал свое золото. Но он с удивительной стойкостью все переносил и молчал, а злость потом срывал на обитателях камеры. Он был разочарован в человечестве и всех соседей по камере, кроме Шрагина, называл не иначе как падло. В Шрагине его потрясала сила воли. Он понимал, что немцы хотят его сломить и делают для этого все, а «кремневый дядек» стоит перед ними насмерть, как пытается стоять и он сам... Заметив, что между Шрагиным и Григоренко есть какая-то связь, однажды Дока влез на нары к Шрагину и сказал шепотом:

— Ты тому сопляку, дядек, не сочувствуй, он — товар трижды проданный. Они из него манную кашу сделали. А только он и до этого был манкой. Понимаешь, о чем я, дядек?

— А ну, как они из меня тоже манную кашу состряпают? — невесело усмехнулся Шрагин.

— Что ты, дядек! Ты брось...— Дока долго лежал молча, потом снова повернулся к Шрагину: — Тогда одно, дядек,— надо умереть с музыкой.

Снова Дока долго молчал, а потом вдруг задрал кверху ногу, из-за обшлага брюк достал какой-то блестящий предмет и протянул его Шрагину:

— Возьми, дядек. Не громкая, но все же музыка.— Это был кусок лезвия опасной бритвы.— Не пистолет, конечно, и не граната, а все же, если какой гад подойдет на шаг, из него можно сделать рождественского гуся. По горлу надо, дядек, только по горлу. Словом, бери.

Шрагин взял бритву, спрятал ее в щель потолка, поблагодарил Доку, повернулся на бок, будто собрался засыпать, и закрыл глаза. Мысль, только что пришедшая ему в голову, казалась неправильной, но он считал себя обязанным тщательно ее обдумать...

Новый допрос для Шрагина чуть не кончился катастрофой. Был момент, когда то зыбкое и чужое сознание вдруг обрело над ним силу и начало приказывать ему просить у палача пощады. Большего оно пока не требовало, но лиха беда начало. Именно в этот момент Бульдог сделал ошибку: не угадав состояния своей жертвы, он нанес ей еще два удара резиновым бруском, и из уха Шрагина хлынула кровь.

На другой день Шрагин уже не мог подняться с нар. Придя в сознание, он думал только об одном — об ожидающем его ночью допросе.

Попытался, как обычно, готовиться к нему и прежде всего отвлечь внимание от боли, но мысль его ни на чем не могла остановиться, тотчас ускользала, таяла... Помимо его воли одна мысль неотступно билась болью в его воспаленном мозгу: «Скоро ночь... скоро ночь... опять допрос... опять...» Перед вечером, очнувшись от недолгого забытья он на какое-то мгновение с необыкновенной ясностью увидел и оценил свое положение. И принял решение...

Обитатели камеры после вечерней проверки разошлись по нарам. До неизменного времени допроса оставалось около часа. Шрагин достал из щели в потолке лезвие бритвы и, сказав себе: «Я не дам вам порадоваться моей моральной смерти», взрезал себе вены на одной и потом на другой руке. Убедившись, что кровь упруго брызжет из обеих ран, он закрыл глаза...

Но произошло то, чего он не мог предвидеть: кровь просочилась сквозь нары и залила лицо заключенного, лежавшего на первом этаже. Весь залитый горячей кровью, охваченный со сна ужасом, он поднял крик. Прибежали тюремщики, и Шрагин был немедленно перенесен в больницу.

Релинка поднял с постели телефонный звонок Бульдога. Услышав от него о происшествии в тюрьме, он подумал сначала, что ему это снится, и долго молчал, собираясь с мыслями.

— Вы слышите меня? — осторожно спросил Бульдог.

— Если он умрет, считай себя солдатом на фронте, — сказал Релинк осипшим голосом. — Я сейчас приеду в тюрьму...

Он вызвал машину и стал быстро одеваться. Релинк понимал, что Шрагина не сломить, а это означало, что следствие так и не даст ему в руки эффектного материала, тем более что Берлин по-прежнему требовал, чтобы это дело было юридически доказано. Но Релинк все же еще надеялся включить в дело все совершенные в городе и известные Берлину антигерманские диверсии. Пусть Шрагин молчит, говорить будут Григоренко, Любченко, подготовленные свидетели. Но спектакль без главного героя не спектакль. Смерть Шрагина вызовет ярость Олендорфа: он вынужден будет донести об этом гросс-адмиралу Деницу. Черт возьми!

Релинк бросился к телефону и набрал номер доктора Лангмана.

— Прошу прощения, доктор, но мой звонок вызван срочной необходимостью, — быстро заговорил Релинк, не давая возможности собеседнику вставить слово. — Я сделал все, что вам было нужно, теперь прошу вас сделать все, что можно, для меня. Известный вам господин Шрагин сейчас в тюрьме вскрыл себе вены, и я не надеюсь на квалификацию тюремных врачей.

После долгой паузы Лангман сказал:

— Хорошо, я пришлю специалиста.

— Это надо сделать немедленно.

— Естественно, — отозвался Лангман и положил трубку.

В тюремной больнице Релинк не подошел к Шрагину, возле которого хлопотали врачи. Он сидел в кабинете начальника тюрьмы и рассматривал найденный на нарах кусок бритвы. Начальник тюрьмы — белый от страха — стоял у стены, стараясь не привлекать внимания Релинка.

В кабинет осторожно вошел Бульдог. Бесшумно прикрыв за собой дверь, он выразительно посмотрел на начальника тюрьмы.

— Прошу вас выйти, — приказал Релинк, и начальник тюрьмы мгновенно покинул свой кабинет.

— Ну, что?

Бульдог в ответ только руками развел.

— Ты понимаешь, что произошло?

— Он вроде еще дышит, — сказал Бульдог.

— Дурак! Что произошло с тобой, не понимаешь? Ну, ничего, пока ты заглотнешь на фронте русскую пулю, у тебя будет время пошевелить мозгами...

Релинк уехал из тюрьмы только на рассвете. Врачи ничего хорошего не обещали...

ГЛАВА 56

Узнав, что Шрагин выжил, Релинк вдруг подумал: лучше бы он умер. В конце концов за самоубийство заключенного понесло бы ответственность тюремное начальство, зато смерть автоматически закрыла бы дело, которое из-за вмешательства адмирала Бодеккера стало таким сложным и бесперспективным. А теперь это ничего не обещающее следствие надо возобновлять. Применять к Шрагину сильнодействующие меры допроса больше нельзя, а надеяться на то, что он заговорит сам, не было ни малейшего основания.

Когда Шрагина сразу после выздоровления привезли в СД, он был еще очень слаб, говорил тихо и медленно, но в пристальных серых его глазах Релинк видел прежнюю его силу. Отдавая приказ доставить к нему Шрагина, Релинк думал воспользоваться его физической слабостью, но сейчас он уже видел, что это ничего не даст.

— Я должен выразить сожаление о случившемся с вами,— начал Релинк, не глядя на Шрагина.— Но право же, можно было не прибегать к столь крайним мерам.

— Вы не можете судить об этом, пыткам подвергался я, а не вы,— негромко сказал Шрагин.

Наступила довольно долгая пауза. Релинк не собирался спорить или опровергать факт применения пыток, он в это время смирял в себе раздражение, вспыхнувшее оттого, что он вынужден вести этот разговор.

— Так или иначе, следует объективно признать, что на данном этапе бой выиграли вы,— глядя мимо Шрагина, продолжил Релинк.— Впрочем, я никогда не переоценивал возможности сотрудника, который вел допросы. Ну что ж, теперь мы поведем дело по всем классическим правилам и...

— Почему нет протоколиста?— перебил его Шрагин.

— Потому что не происходит допроса,— пояснил Релинк.— Я просто решил вместе с вами разобраться в нашей ситуации, чтобы затем не возникло никаких недоразумений. Итак, юридическая сторона ситуации такова. Кто вы — мы знаем. Чем вы здесь занимались — мы тоже знаем. Ваши сообщники — правда, к сожалению, пока не все — нам известны и находятся в наших руках. Мы не имеем только вашего признания своей вины. Вы человек юридически образованный и, значит, знаете, что чистосердечное признание вины всегда является фактором, сильно смягчающим формулу наказания. И наоборот, естественно. Так что, когда вы захотите сделать это признание, поставьте нас в известность через тюремную администрацию. Но ждать это бесконечно мы не сможем, хотя бы потому, что мы не собираемся долго оставаться в этом городе, а возить с собой тюрьму с несознавшимися преступниками нецелесообразно...— Релинк, довольный тем, как элегантно ведет он этот разговор, улыбаясь, посмотрел на Шрагина и, словно на нож, наткнулся на его спокойный изучающий взгляд. Молчаливый

поединок взглядов длился секунду-другую, и Релинк встал.— Последнее уточнение — не поймите превратно наше терпение. Тех сведений, которыми мы в отношении вас располагаем, вполне достаточно для смертного приговора. И только для смертного. Один раз вы уже попытались сами распорядиться своей жизнью. Этому помешал, кстати заметить, доктор Лангман,— если бы не его вмешательство, мы сейчас не имели бы возможности беседовать. Теперь ваша жизнь снова в ваших руках, но я верю, что на этот раз вы поступите разумнее.

Когда Шрагина увели, Релинк вызвал Бульдога:

— Шрагина и его компанию перевести в криминальный лагерь,— приказал он.— Обложи их там со всех сторон агентами. Посмотрим еще раз их связи. Не попробуют ли они бежать?

— Я не могу его видеть, я его пристрелю,— сказал Бульдог.

— В свое время я не лишу тебя этого удовольствия, а пока выполняй мой приказ...

Шрагина перевезли в тюрьму среди бела дня в открытом кузове грузовика и только с одним конвойным. Везли по главной улице, хотя это совсем не был кратчайший путь. Недалеко от рынка машина остановилась, шофер куда-то ушел, и минут двадцать не возвращался. Шрагин сразу понял: Релинк затеял с ним какую-то новую игру...

У железных тюремных ворот с львиными мордами машина простояла минут десять, пока конвоир переругивался через глазок с тюремной охраной. Как всегда, возле тюрьмы толпились родственники арестованных. Они сочувственно разглядывали Шрагина. Знакомых среди них он не увидел. Совсем близко за косогором сверкала гладь реки. Водный простор звал, манил, и вдруг у Шрагина блеснула мысль: до косогора метров сто, не больше, а там можно скатиться в заросшую бурьяном балку. А дальше что? Ночью такой побег, может, и окончился бы удачно, но сейчас, днем, эта затея обречена на провал. Но, может быть, именно этого и хочет Релинк?..

Шрагина ввели через железные ворота, и он оказался в так называемом предбаннике — между внешними и внутренними воротами тюрьмы. Через маленькую калитку его втолкнули во двор и повели налево, в уже знакомый ему одноэтажный корпус, где были одиночки для особо важных преступников.

Очутившись в одиночке, Шрагин сел на привинченную к стене деревянную койку и стал думать. Собственно, ничего особенно сложного не произошло. По-видимому, Релинк испуган его попыткой самоубийства и теперь хочет создать впечатление, будто следствие отныне входит в строго юридическое русло. Но зачем ему это? Ясно, пожалуй, одно: у него по-прежнему нет веских улик, а почему-то на сей раз они ему нужны. Вряд ли он серьезно верит, что Шрагин сам признает свою вину. Но тогда может быть только одно простейшее решение загадки: Релинк решил тянуть дело, выигрывая время и выжидая обстановку, когда он сможет ликвидировать его, не считаясь ни с какой юрисдикцией. Что же следует

делать в данной ситуации? Побег? Но надо трезво смотреть правде в глаза: без помощи извне побег совершить невозможно, даже при облегченном режиме заключения. А рассчитывать на слепой случай глупо. На чью же помощь можно рассчитывать? Оставшихся, судя по всему, на свободе Демьянова и Величко вовлекать в это дело нельзя: они продолжают борьбу, и ставить их под удар он не имеет права. Да и связи с ними все равно нет...

Разумнее всего было бы воспользоваться помощью Юли. Федорчука уже нет в живых, и она свободна в своих поступках. Если она однажды принесет ему передачу, никого это не удивит,— ведь Дымко на очной ставке с ним заявил, что знает его через покойного Федорчука. Дымко, наверно, решил в растерянности, что на мертвого можно валить все, и не подумал, что этим раскрыл связь между всеми троими. Впрочем, Релинк тогда, кажется, не обратил на это внимания или он уже и сам догадывался об этом. Так или иначе, теперь это заявление Дымко могло оправдать заинтересованность Юли в его судьбе: как-никак знакомый человек... Но что может сделать Юля? Еще не известно, в каком она сама сейчас состоянии...

Зина каждый день приносила передачи для мужа и потом весь день бродила около тюрьмы. Ей казалось, что так она ближе к своему Сергею. Вскоре после ареста мужа она один раз виделась с Юлей, но ей показалось, что Юле тяжело слушать ее рассказы о Сереже — пусть сидящем в тюрьме, но все-таки живом...

В этот вечер Зина пришла к Юле во второй раз.

— Слушай, я сегодня видела Игоря Николаевича,— возбужденно сообщила она.— Я была возле тюрьмы, и его туда привезли. В открытом грузовике. Я сразу его узнала.

— Да ты же его раньше и в глаза никогда не видела,— хотела Юля образумить свою подругу.

— Однажды мне описал его Сережа. Ну точно он, я не могла ошибиться, я его с двух шагов видела.

— Ну, какой он, опиши...

— Рослый такой...— начала рассказывать Зина, смотря вверх...— Кожаное пальто, коричневое... Шапка такая, с серым мехом и с козырьком. Глаза такие светлые, красивые. А лицо желтое, и синяки во такие под глазами. Уши еще у него такие прижатые, вроде как мочки приросшие...

— Знаешь, похоже... Честное слово, похоже...— произнесла Юля, начиная волноваться. Она стала ходить по комнате. Еще и еще раз просила Зину описать Шрагина. А потом решительно сказала:— Да, он! И завтра я понесу ему передачу. Так мы и проверим, есть ли он там...

Они посмотрели друг на друга и вдруг, точно по команде, обе заплакали. Юля обняла Зину, прижалась к ней:

— Ой, Зинка, Зинка, разве думала я, что будет, когда сватала тебя за Сергея?

— А что ты должна была думать?— говорила Зина, всхлипывая и крепче прижимаясь к подружке.— Ты, может, думаешь,

я жалею о чем? Так знай — я все равно счастливая. Сережку только жалко... так жалко...— и она заплакала навзрыд.

Юля гладила ее по голове, приговаривая:

— Мы обе счастливые... очень счастливые... верно — счастливые...

— Сережа сегодня записку прислал,— деловито вытирая слезы, сказала Зина.— Требует, чтобы я меньше ему носила и сама лучше питалась. Приказывает: все его вещи поменять на продукты. Представляешь? Вот дурной-то парень...

Они улеглись на одной постели и долго еще шептались, погасив свет. А рано утром, когда город еще спал, они вместе пошли к тюрьме...

Было тихое весеннее утро. После холодной ночи черепичные крыши тускло серебрил иней, со стороны лимана веяло промозглой сыростью, и чем ближе Зина и Юля подходили к тюрьме, тем сильнее их прохватывала эта холодная сырость.

У тюрьмы возле окошечка, где принимали передачи, уже стояли несколько женщин. Юля и Зина тоже стали в очередь. Все молчали. О чем говорить этим женщинам? Все у них одинаковое — горе и надежды. Даже их серые, тревожные лица были похожи друг на друга...

Ровно в восемь открылось окошечко, и дежурный комендант тюрьмы начал принимать передачи. Молча, почти без слов, он брал узелочки и, услышав фамилию заключенного, сверялся по списку. Женщины тоже молча отходили в сторонку дожидаться — может, будет ответ. Вот отошла от окошечка Зина. Теперь очередь Юли.

— Шрагин?— Комендант уставился на нее.— Вы родственница?

— Знакомая,— ответила Юля.

— Значит, Шрагину.

— А что, нельзя?

— Почему нельзя? Можно...— комендант отложил в сторону узелок и тихо сказал:— Вы его можете даже повидать... вот там, на берегу, работает...

— Спасибо...

«Значит, им зачем-то нужно, чтобы со Шрагиным кто-то встретился»,— подумала Юля, отходя от окошка. Ничего хорошего за этим быть не могло, но Юля не считала себя вправе отказаться от возможности повидать Шрагина. Она подошла к Зине:

— Жди меня здесь и посмотри, не пойдет ли за мной какая-нибудь сволочь.

Подойдя к береговому склону, Юля сразу увидела небольшую группу заключенных, засыпавших землей промоину. Единственный конвоир сидел в стороне. Когда Юля стала спускаться по береговому склону, она увидела и второго конвоира, он стоял у самой воды и смотрел на качавшуюся на волнах белую стаю чаек. Оба конвоира вроде бы не обращали на Юлю никакого внимания, хотя видели ее. Она прошла совсем близко от заключенных, и сердце ее сильно забилось — она увидела Шрагина. Он стоял, облокотив-

шись на лопату, среди других заключенных, которые тоже прекратили работу и с любопытством смотрели на приближающуюся к ним девушку. В этот момент Шрагин узнал ее, улыбнулся и чуть приподнял руку. Еще не зная, как она поступит дальше, Юля подошла к конвойному, который стоял у воды.

— Что скажешь, красотка? — спросил он у нее по-немецки и вполне миролюбиво.

— Можно мне поговорить с одним заключенным? — улыбаясь, спросила Юля.

— С каким же? — подмигнул ей солдат.

— Вон с тем, в кожаном пальто...

— О! Ты, я вижу, знаешь толк в мужчинах, — засмеялся солдат. — Муж?

— Знакомый...

Солдат, в упор разглядывая Юлю, сказал:

— Ну иди поговори, только без глупостей...

Юля подошла к заключенным и позвала Шрагина. Он вопросительно посмотрел на конвойного, но тот демонстративно отвернулся.

— Здравствуйте, — почти весело сказал Шрагин, быстро подходя к Юле.

— Боже ты мой, что они с вами сделали! — прошептала Юля жалостливо, чисто по-женски, всматриваясь в желтое опухшее лицо Шрагина. — Здравствуйте, Игорь Николаевич.

— Ничего особенного, — сухо отозвался Шрагин и спросил: — Сами придумали навестить?

— Сама. С Зиной мы тут.

— Больше никто не знает?

— Никто.

— Очень хорошо. Но учтите: теперь они будут за вами следить.

Юля кивнула:

— Я сама так подумала.

— И все же постарайтесь как-нибудь передать нам сюда оружие. Попытаемся бежать, все равно нас отсюда живыми не выпустят...

— Попробуем, Игорь Николаевич. Оружие будет, а вот доставить как?

— Пока мы здесь, это еще можно. А теперь идите и помните: за вами обязательно будут следить...

Юля поднялась на береговой склон и пошла к Зине, стоявшей возле забора против тюремных ворот. Очень долго они шли молча.

— Видела что-нибудь? — спросила Юля, когда тюрьма была далеко позади.

— Как только ты на склон спустилась, один побежал за тобой, только правей, где дрова сложены.

— Гады... Наверно, и сейчас за нами идут. Урони-ка платок.

Зина, обернувшись назад, подняла платочек и сказала, догнав Юлю:

— Идет. По той стороне улицы...
— Пусть идет, гад! Но все время помни об этом.
— Не маленькая.
На перекрестке они расстались. Шпик пошел за Юлей. «Иди, гад, иди,— думала Юля.— Ничего нового своим хозяевам не принесешь, я у них уже известная».

ГЛАВА 57

В середине мая весна вместе с теплым морским ветром ворвалась в город, мгновенно распушила молодую зелень деревьев, затопила улицы густым ароматом цветущих акаций. Впервые за войну город ощущал весну не только как приход долгожданного тепла. На Кавказе гитлеровцы откатывались под ударами Красной Армии. Достаточно было взглянуть хотя бы на школьную карту, чтобы понять, что, теряя Кавказ, немцам нужно спешно уходить и отсюда, иначе они могли оказаться в гигантском мешке и без дороги для отступления.

Еще в конце апреля все подразделения СД группы войск «Юг» получили из Берлина секретный приказ под номером двенадцать-двенадцать, в котором было прямо сказано: «Мы не должны допустить даже тени возможности повторения зимней трагедии».

Далее в приказе говорилось, что война — это прежде всего движение, а всякая стабильность опасна, ибо она выгодна противнику. Затем следовало малопонятное утверждение, что сражение на Кавказе «исчерпало себя» и в связи с этим весь юг стал бассейном бесполезной консервации немецких сил.

Но нас сейчас особо интересует вторая часть приказа, так как она имеет прямое отношение к судьбам наших героев. Этот раздел приказа озаглавлен «Завершение оперативной деятельности» и начинается словами: «Мы уходим последними...» Тут главное командование СД уже не плавает в мутных рассуждениях стратегического свойства, тут все профессионально точно, ясно и деловито. Консервация и частичный вывоз агентуры. Упрощение (понимай — уничтожение) архивов, не имеющих перспективной ценности. Эффективное завершение оперативной работы, демонстрирующее уверенность и решительность сил СД. Перехват агентуры, оставляемой в городе абвером. Создание из своих агентов террористических групп, которые будут действовать в тылу противника. Максимальный угон населения на запад, даже при отсутствии транспортных средств. Уничтожение промышленного и жилищного потенциала. Вывоз всех объективных ценностей. Минирование зданий СД, тюрьмы и криминальной полиции. И хотя на выполнение приказа давался довольно большой ориентировочный срок — пять месяцев,— все эти мероприятия начинают осуществляться немедленно.

Релинк теперь в форме, он энергичен, решителен, хитер, бес-

пощаден, неутомим. Вот запись в его дневнике, сделанная 14 мая 1943 года:

«Да, да, да, настоящая война — это движение! В неподвижности болота раскисает мозг. Подумать только: мы в СД дожили до болтовни об юриспруденции! Как нужен всегда ясный и четкий приказ! Исполнять его — наслаждение, потому что в твой мозг, в твою душу, черт возьми, переходит ясность приказа и ты весь устремлен к ясной цели».

Можно было подумать, что в эти дни Релинк, занятый более важными делами, забыл о Шрагине. Но это было не так. Он все время помнил о нем. Последние данные наблюдения говорили, что Шрагин и его сообщники явно к чему-то готовятся, скорей всего к побегу. Но с воли никто, кроме тех двух девок, с ними не был связан, а в серьезность помощи с их стороны Релинк не верил. А главное, он знал, что люди Бульдога не дремали. На всякий случай в очередном телефонном разговоре с Берлином Релинк напомнил Олендорфу о непомерно затянувшемся деле Шрагина и спросил, как рассматривать это дело теперь, в свете приказа двенадцать-двенадцать. В ответ он услышал телеграфную фразу: «Решайте на месте». С этой минуты Релинк уже точно знал, как он завершит это дело...

Сначала побег был назначен на субботу. Все было подготовлено и тщательно продумано, распределены обязанности между Шрагиным, Дымко, Назаровым и Григоренко, но вдруг заболел Дымко. Бежать без него Шрагин не считал возможным, и он решил подождать, надеясь, что Дымко скоро поправится. Похоже было, что он просто чем-то отравился. Кроме всего прочего, нельзя было очень надеяться на боеспособность Григоренко. Прошло два дня, и стало известно, что у Дымко брюшной тиф, его увезли в тюремную больницу.

Можно только предполагать, каких мук стоило Шрагину принять решение о побеге без Дымко. Он нашел нужным предварительно поговорить об этом с Зиной. В этот день она принесла в лагерь второй наган. Шрагин отошел с ней в уголок за бараком.

— Мы бежим без Сергея,— глухо сказал он.

— Я понимаю...— тихо отозвалась Зина.— Вчера в тюремной больнице мне сказали... Сергей без сознания... вряд ли вытянет...— по ее лицу потекли слезы.

Шрагин обнял ее за плечи.

— Поверьте мне, Зина, если бы заболел я, а не Сергей, я, не задумываясь, приказал бы остальным бежать.

— Я понимаю, Игорь Николаевич... Я все понимаю...— Она посмотрела на Шрагина глазами, полными слез.— Желаю вам счастья, Игорь Николаевич. Как будет рад Сережа, если у вас все выйдет хорошо!..

Шрагин пожал маленькую руку Зины и быстро пошел прочь...

Вечером, передавая наган Григоренко, он сказал:

— Каждый патрон — смерть врага. Только так. Ясно?

— Будьте уверены,— произнес Григоренко, пряча наган под рубаху...

Шрагин смотрел на него и в эту минуту от всего сердца желал ему боевой удачи в побеге. Сколько сил уже здесь, в лагере, положил Шрагин на то, чтобы помочь парню разобраться во всем, что с ним произошло, и воскресить в нем желание продолжать борьбу! Понял ли он, что ему представляется единственная возможность в бою получить право снова считать себя солдатом Родины?

Итак, побег в ночь на пятницу...

В среду на склоне дня к Шрагину подошел Дока — вор, с которым он сидел недавно в одной тюремной камере. Шрагин и раньше видел его в лагере и удивлялся, что тот не возобновляет тюремного знакомства. И вот он, наконец, подошел.

— Что, дядек, считаешь дни по кукушке?— спросил он весело и, не дождавшись ответа, сказал:— Так знай, дядек: кукушка трепло, а бога нет.

Шрагин молчал, ожидая, что последует дальше, и услышал то, что ждал.

— Сегодня ночью даю деру. Хочешь со мной? Все подготовлено на ять. Одному тикать, конечно, сподручнее, но я, дядек, имею к тебе сердечное расположение. Иду за это на риск.

— Спасибо,— ответил Шрагин.— Но я не хочу, чтобы ты рисковал.

Дока говорил что-то еще, но, обнаружив, что Шрагин его не слушает, замолчал, покачал укоризненно головой и пошел в свой барак.

А утром на поверке выяснилось, что Дока действительно бежал. Охранники взбесились: три раза пересчитали заключенных, потом разбили их на несколько групп и пересчитали еще раз. Главный охранник побежал в комендатуру, наверно, докладывать о ЧП. Шрагин, стоя в строю, думал: действительно ли Дока бежал или все это зачем-то организованный спектакль?

Вернувшийся из комендатуры главный охранник скомандовал:

— Все уголовные — налево, политические — направо!

В небольшой группе политических оказались Шрагин, Григоренко и Назаров. Конвойные окружили политических со всех сторон и повели из лагеря. Скоро стало ясно, что их возвращают в тюрьму. А там непременно обыск. У Григоренко и Назарова найдут наганы, и это конец. Шрагин коротко и выразительно взглянул на товарищей, и они поняли его без слов. Когда колонна шла по мосту, они, точно по команде, швырнули оружие в реку. Охрана даже не успела понять, что произошло...

Первым о побеге Доки узнал Бульдог, и это он приказал немедленно вернуть в тюрьму всех политических и, только когда ему доложили, что Шрагин и его сообщники водворены в одиночные камеры, пошел докладывать о происшедшем Релинку.

Релинк выслушал его и небрежно сказал:

— Ну что ж, все упростилось само собой. Больше этим не занимайся...

Бульдог удивленно смотрел на Релинка.

— Что тебе непонятно? Сейчас твое дело главное — пункт четыре приказа двенадцать-двенадцать. Начиная с завтрашнего дня каждое утро будешь докладывать мне только об этом.

Шли дни за днями, весь аппарат СД был занят выполнением приказа, и снова можно было подумать, что Релинк забыл о Шрагине.

Как-то утром Бульдог докладывал ему о том, как выполняется четвертый пункт приказа — «уничтожение промышленного и жилищного потенциала».

— И только по одному объекту дело обстоит безобразно,— сообщил Бульдог.— Это судостроительный завод. Вчера у меня произошла очередная схватка с адмиралом. Я ему прямо сказал, что ведет он себя подозрительно.

— Ну-ну, а как он на это реагировал?— оживился Релинк.

— В самом деле! Помните историю с недостроенным русским военным кораблем? Достроить его он не смог, хотя громогласно обещал. А когда было решено срезать с корабля стальную броню для установки ее на танках, кто задержал это дело на несколько месяцев? Адмирал Бодеккер. Специалисты, которые работают теперь со мной, должны осмотреть стапеля и цехи завода, чтобы рассчитать минирование, а он запретил это делать. Говорит: «Вы своими руками сеете панику». Он меня почти выгнал из кабинета...— слово «почти» Бульдог употребил зря, Бодеккер предложил ему покинуть кабинет прямо и недвусмысленно.

— Сейчас же едем к нему,— весело сказал Релинк.

Мстительность была в его злобной натуре. Недаром среди друзей у него было прозвище «Унауслешлих» — незабывающий. Адмиралу Бодеккеру он собирался припомнить все: и его надменное обращение, и вмешательство в дело Шрагина, из-за чего он вынужден возиться с ним до сих пор.

По дороге на завод Релинк спросил у Бульдога:

— Вы ему сказали, что на приказе двенадцать-двенадцать стоит гриф рейхсминистра Гиммлера?

— Как-то не пришлось...

— Ну и прекрасно!— воскликнул Релинк с непонятной Бульдогу веселостью.

Когда их машина уперлась в заводские ворота, Релинк приказал шоферу включить сирену. Охранники заметались и в панике не могли сразу открыть ворота. А сирена все гудела. Так, не выключая сирены, машина подкатила к корпусу заводоуправления и здесь еще повыла с минуту. Из окон начали высовываться люди...

— Я иду прямо к адмиралу, а ты найди этого осла, Каппа, и веди его туда же,— приказал Релинк.

Не глядя на вскочившего за своим столом адъютанта адмирала, Релинк стремительно вошел в кабинет.

— Хайль Гитлер!— крикнул он, резко выбросив вперед руку.

Адмирал чуть приподнялся в кресле, но на приветствие не ответил.

— Чем обязан?— сухо спросил он, не предлагая Релинку сесть.

— Разговор обещает быть длинным,— сказал Релинк.— Я сяду...

— Да, да, садитесь...— Адмирал смотрел на Релинка настороженно, но в то же время презрительно.

— Вежливость, я слышал, привилегия королей,— с наглой улыбкой начал Релинк, но в следующее мгновение улыбка слетела с его лица, и он отчеканил:— Но ответить на приветствие, в котором звучит имя вождя, вам все же следовало... даже не считаясь с тем, довольны вы лично вождем или нет.

— Я попросил бы вас не заниматься здесь ни провокациями, ни моим воспитанием,— серое лицо адмирала стало розоветь.

— А теперь перейдем к делу,— официально и сухо продолжал Релинк.— Почему вы мешаете моим людям выполнять приказ рейхсминистра Гиммлера?

Адмирал ответил не сразу, а когда он заговорил, Релинк увидел, что он уже смят.

— Поймите простую вещь,— сказал адмирал, устало согнувшись в кресле.— На заводе идет ремонт наших военных судов. Немедленно среди рабочих возникнет паническое настроение, опасная болтовня...

— Вы не лишены права,— прервал его Релинк,— написать Гиммлеру, что считаете его сеятелем паники. Но я и мои люди обязаны выполнять его приказ, мы — на войне.

— Но все это можно сделать немного позже, мы же не завтра уходим отсюда,— сказал Бодеккер.

— Мне не известно, когда мы уходим,— холодно заметил Релинк.— Мне известен приказ, который я выполню любой ценой.

Адмирал молчал, лежащая на столе его худая рука подрагивала.

— Раз уж нам довелось поговорить, мне бы хотелось чисто почеловечески понять вас...— заговорил Релинк.— К примеру: вы в свое время обещали спустить на воду недостроенный русскими военный корабль. И не спустили. Было принято умное решение — разрезать сталь корабля на бронеплиты для танков. Вы были против этого и, насколько мне известно, полностью эту работу выполнить так и не дали. Плавучий док под вашим неусыпным руководством... затонул. Теперь вы не даете моим людям выполнить приказ рейхсминистра. Вы что, решили не сердить русских и, скажем, вернуть им завод на ходу?

Под щеками адмирала заходили желваки, и он спросил негромко:

— Это допрос?

— Это еще не допрос,— ответил Релинк, недвусмысленно подчеркнув «еще».

— Тогда продолжать этот разговор я буду только после того, как вы получите право меня допрашивать.— Адмирал сделал движение, будто он собирается встать, но не встал.

В это время в кабинет вошли Бульдог и майор Капп.

Релинк упивался местью, у него уже был подготовлен последний удар адмиралу, но предварительно он решил совместить все же приятное с полезным.

— Я хочу вернуться к делу, ради которого приехал,— сказал он.— Скажите, господин адмирал, в присутствии представителя партии: вы дадите нам возможность выполнять свои обязанности?

— Делайте что хотите,— устало промолвил Бодеккер.— Только оставьте меня в покое.

— Боже мой!— воскликнул Релинк с улыбкой.— Мы могли совершенно не беспокоить вас. Согласитесь, адмирал, что весь этот неприятный разговор возник из-за вашей... непонятной позиции в совершенно ясном деле. Но теперь все позади...— Релинк встал и обратился к Бульдогу:— Идите, действуйте...

Бульдог и майор Капп вышли. Релинк поклонился адмиралу и тоже направился к двери, но посередине кабинета остановился.

— Да, чуть не забыл,— Релинк с улыбкой смотрел на адмирала.— Вы помните еще вашего инженера-инспектора Шрагина? Ну, того самого, в адвокаты которому вы пытались привлечь гросс-адмирала Деница? Сегодня я его расстреляю. Если вы действительно уважаете гросс-адмирала Деница, пошлите ему свое извинение. До свидания, адмирал. Хайль Гитлер!— На этот раз, не дожидаясь, ответит адмирал на приветствие или нет, Релинк круто повернулся и быстро вышел из кабинета.

ГЛАВА 58

Обдумав все, что произошло, Шрагин больше не тешил себя никакими надеждами...

Молчали мертвые стены одиночки. Мертвую тишину время от времени нарушало металлическое щелканье заслонки на глазке двери. И тогда в круглой дырке появлялся живой глаз тюремщика. Несколько секунд его глаз, не моргая, смотрел на Шрагина. Потом снова щелкала заслонка и железный глаз закрывался. Два раза в день тюремщик приносил железную миску похлебки и кусок хлеба. Стоял, ждал, пока Шрагин съест, и уходил с миской. По этим приходам тюремщика Шрагин вел счет дням и ночам.

На третьи сутки Шрагин спросил тюремщика, какая там, на «воле», погода.

— А тебе-то что?— оскалился тот.

— Да вот не знаю, в чем пойти погулять...

— На том свете гулять будешь,— по-своему ответил шуткой тюремщик и вырвал миску из рук Шрагина.

Грохнула металлическая дверь, лязгнули запоры, и снова сдвинулись молчаливые стены. Да, надежд никаких! Как заставить себя не думать об этом? Лучше вспоминать. Еще раз пройти весь путь, начиная с того дня, когда он узнал, что поедет в этот город. И Шрагин заставил себя снова переживать торопливую дорогу сюда и потом — каждый день жизни и борьбы. Он снова жил и боролся вместе со своими товарищами...

На пятые сутки утром в камеру вместе с тюремщиком вошел Бульдог.

— Ничего сказать не хотите? — спросил он.

Шрагин не ответил. На лице Бульдога мелькнуло подобие улыбки, и он быстро вышел.

Видя, как тюремщик нетерпеливо переступает с ноги на ногу, Шрагин ел похлебку нарочно медленно, обстоятельно закусывал хлебом.

— Кончай хлебать! — не выдержал тюремщик. — Тебе наедаться не к чему... — Он вырвал из рук Шрагина миску и ушел, по пути выплеснув в парашу остатки.

В этот день второй раз похлебки не дали. А вечером снова явился Бульдог. Он был заметно пьян и, войдя в камеру, долго молча смотрел на Шрагина.

— Ну, красный господин, будешь говорить? — спросил он глухим голосом, каким он всегда говорил во время пыток. — Не будешь? Ну и не надо. Мы тебе сами поможем молчать. Твой трамвай пришел на конечную станцию. Понимаешь? Там поворота назад нет... — Он покрутил пальцем перед лицом Шрагина. — Там тупик... конец... Понимаешь? — Было видно, что ему этот разговор доставляет наслаждение, весь его облик, глаза, интонация выражали его торжество над умом, волей и даже над строгой мужской красотой Шрагина. Расширенное и утяжеленное книзу лицо палача покрылось розовыми пятнами.

Шрагин молчал и с ненавистью смотрел ему прямо в лицо. Бульдог спросил, подождав:

— Значит, молчишь, как покойник? Считай, что так это и есть... — Он помахал рукой, пробурчал пьяно: «Я еще не прощаюсь», — и ушел...

В первое мгновение эта мысль привела Шрагина в растерянность, верней, она просто заняла все его сознание, не вызвав, однако, ни страха, ни даже огорченья, — ведь он и раньше был готов к этому. Но одно — думать про это вообще, не зная, когда это произойдет, и, естественно, еще надеясь в глубине души... Третьего дня, например, когда ночью на город был налет советской авиации и бомбы вдруг стали ложиться так близко, что с потолка его камеры посыпались куски кирпича, надежда вдруг стала очень реальной. Но теперь Шрагин знал: это произойдет сегодня, сейчас...

Срок жизни определялся часами, а может быть, даже минутами. К этому привыкнуть, наверно, нельзя. Усилием всей своей

воли Шрагин пытался заставить себя спокойно и логично думать об этом и обо всем, что с этим связано, но не успевал он сосредоточиться на одной какой-нибудь мысли, как какая-то уже неподвластная ему сила толкала его сознание к чему-то другому.

«...Ольга с Мишкой не пропадут, о них позаботятся. Сколько же это Мишке сейчас? Я уезжал — ему было ровно месяц, а сейчас... Погоди, сколько же?..»

«...Я могу винить себя в одном — что сделал меньше, чем мог... Были ошибки... Например... А, что теперь думать — их уже не исправишь...»

«...Все-таки Демьянов и Величко действуют, борется подполье, и то, что я выбываю из строя, просто еще одна потеря...»

«...Сейчас на войне... и вот сейчас и сейчас погибают солдаты, идущие вперед, на врага... Я тоже шел вперед... Я — с теми солдатами, которые сейчас гибнут, и не следует преувеличивать значение моей смерти... Она, кстати, могла прийти гораздо раньше... когда сделано было меньше... А бывает и так: солдат только сегодня попал на фронт, и сегодня же товарищи его хоронят...»

«...Ольге будет трудно... А потом вырастет Мишка...»

«...Меня одного или всех? Если Григоренко — тоже, как бы он не сорвался?..»

«...Найдут ли когда-нибудь наши могилы? Найдут, найдут... Наверняка попадется в руки наших товарищей какая-нибудь сволочь, которая будет знать, как с нами все тут... Они должны заплатить...»

«Как это говорил тогда учитель на кладбище?.. Хорошие такие и очень точные слова... Покалечили, сволочи, память...»

«...Главное, что мы выстояли, когда было самое тяжелое... и для нас и для всего народа... Тогда было важно, чтобы выстоял хотя бы еще один человек... И мы выстояли... И действовали, как могли. Весь город свидетель этому... Приедет ли когда-нибудь в этот город Ольга с Мишкой?..»

«...Если и Григоренко — тоже, как он будет держаться — боюсь... Умереть надо, как в бою, как в атаке — грудью вперед, не закрывая глаз... И наша смерть должна быть страшной врагу, а не нам... Так... Именно так...»

«Если бы казнили публично, перед народом, я бы им устроил шум... Но уже ночь... Они сделают в темноте, без лишних глаз и ушей...»

Так отрывисто и беспорядочно думал Шрагин, а в это время его предельно напряженный слух ловил каждый звук там, за железной дверью. Но ни звука не было слышно — мертвая тишина.

К казни давно все было готово. Опаздывал Релинк, пожелавший лично присутствовать при расстреле. Бульдог, днем зарядившийся водкой, к вечеру уже протрезвел, и у него дико болела голова. Вытянув ноги, он сидел на диване в кабинете начальника тюрьмы Гроссвальда...

Бульдог вошел в камеру Шрагина вскоре после полуночи с двумя солдатами. Он сделал знак — солдаты набросились на Шрагина и связали ему руки за спиной.

— Выходи, красный господин!

В коридоре Шрагин увидел стоявших возле своих камер Назарова и Григоренко. Проходя мимо, он внимательно глянул в их лица: Назаров был возбужден, он, кажется, даже не узнал Шрагина, а у Григоренко лицо было абсолютно равнодушное, он мельком взглянул на Шрагина и стал смотреть вверх.

Двенадцать ступенек вниз, и Шрагина ввели в подвал с низким сводчатым потолком, который весь блестел от сырости. Подвал был узким и длинным, он как бы повторял тюремный коридор там, наверху. Делать подвал и под камерами — опасно. Зрение и сознание Шрагина-разведчика в первую минуту зафиксировало это чисто автоматически, но затем он начал осматривать все уже сознательно — это помогало отвлечься от того, ради чего его привели в этот подвал...

Его поставили спиной к боковой стене. В противоположной стене, чуть наискосок, была неглубокая ниша, и там на каменном карнизе сидели пятеро солдат и фельдфебель. У солдат на коленях лежали автоматы, а у фельдфебеля спереди, на ремне, висела расстегнутая кобура с пистолетом. Солдаты посматривали на Шрагина с испуганным любопытством, но, когда он стал смотреть на них, они заговорили между собой.

Привели Григоренко и Назарова. Их поставили рядом со Шрагиным. Григоренко оказался в середине.

— Все...— еле слышно произнес Григоренко.

— Вот как они боятся нас...— тихо отозвался ему Шрагин.

Назаров чуть наклонился вперед, чтобы увидеть Шрагина, и громко сказал:

— Это не страшно, главную муку мы выдержали...

— Умрем, товарищи, без страха, как подобает чекистам,— уже громче сказал Шрагин и посмотрел на Григоренко. Сейчас глаза у Григоренко не были равнодушными, но в них было какое-то больное сочетание решимости и тоски. И Шрагин сказал ему:— Родина узнает, как мы погибали, помните об этом...

— Родина все узнает!— почти радостно воскликнул Назаров.

Послышался топот ног по каменным ступеням — в подвал спустились Бульдог, начальник тюрьмы Гроссвальд и Релинк.

Они остановились перед обреченными. Релинк в упор насмешливо смотрел в глаза Шрагину.

— Ну, господин Шрагин, что вы от меня ждете?— спросил он.

— Приговор,— громко сказал Шрагин.

— Приговор себе вы вынесли сами. Нам остается только привести его в исполнение. Я — враг всяческих формальностей.

— Я тоже,— сказал Шрагин.— Но все же, когда мы будем вешать вас, мы эту формальность соблюдем, хотя вам от этого легче не будет...

Григоренко нервно рассмеялся. Назаров ожесточенно крикнул:

— Всех вас до одного повесим! Всех!

— Кончайте!— крикнул Релинк.

Начальник тюрьмы повернул выключатель, и в глубине подвала вспыхнула яркая лампочка, осветившая щербатую стену.

Солдаты тюремной охраны отвели Шрагина, Григоренко и Назарова к освещенной стене и быстро вернулись назад. Пятеро солдат и фельдфебель стали в ряд поперек подвала. Фельдфебель вынул из кобуры пистолет и близоруко его осматривал, будто обнюхивал.

Они стояли так же, как раньше: в середине — Григоренко, справа от него — Шрагин, слева — Назаров. Их поставили лицом к стене, но они вместе, как по команде, повернулись лицом к палачам.

— Товарищи, мы выполнили свой долг до конца. Умираем за нашу Родину, за ее победу! Родина нас не забудет!— негромко сказал Шрагин.

Назаров, выдвинув вперед правое плечо, закричал:

— Смерть гитлеровским бандитам! Чекисты не сдаются! Стреляйте, гады! Всех не перестреляете!

Что-то крикнул Релинк, за ним — Бульдог, и все покрыл глухой грохот автоматов...

ЭПИЛОГ

Дорогой читатель! Поверь, мне было бы гораздо легче и приятнее придумать и написать, как подпольщики сделали подкоп под тюремную стену, взорвали корпус одиночек и спасли моих героев. И мне тяжко было писать только что прочитанную тобой последнюю главу.

Несколько раз я начинал писать и откладывал, и у меня было ощущение, будто я продлеваю жизнь Шрагину и его товарищам. Две недели вовсе не подходил к письменному столу — взял и уехал в город, где все это происходило. И там сразу же пошел в тюрьму, в корпус одиночек, где сидели перед казнью Шрагин, Назаров и Григоренко. Сознаюсь, меня вела туда мысль: «Я ведь пишу все-таки не отчет, а повесть. Посмотрю тюрьму, и, если увижу, что возможность побега была хоть малость реальна, попробую спасти своих героев...»

Я обошел корпус одиночек со всех сторон — увы, он так расположен в тюремном дворе, что подобраться к нему подземным ходом снаружи невозможно.

Сопровождающий меня представитель администрации тюрьмы уже знает, что меня интересует, он тоже хочет, чтобы мои герои спаслись, но настроен пессимистически. Показывая на корпус одиночек, говорит:

— Строили еще при царе, положили метровые стены, и они уходят в глубь земли на несколько метров. Между прочим, первыми узниками этого корпуса были восставшие в 1905 году матросы крейсера «Очаков»... — Он с трогательной злостью смотрит на глухую стену корпуса, вздыхает и говорит: — Вашим героям бежать отсюда немыслимо. Рыть к ним туннель можно только со стороны

берега, а там во все стороны голое место, и оно хорошо просматривается со сторожевых вышек.

Мы заходим в корпус и смотрим камеры-одиночки. Между ними тоже метровые стены. Каждая камера — это каменный ящик за кованой дверью.

— Понимаете, в чем горе,— говорит мой спутник.— Даже если допустить, что вашим героям удалось вырваться из корпуса,— что потом? Они оказываются на пустом тюремном дворе, который тоже идеально просматривается с вышек. А им же еще нужно преодолеть почти пятиметровый тюремный забор. Немыслимо, немыслимо...

Да, я понимаю, побег отсюда походил бы на чудо из очень доброй сказки.

Но не только в этом была бы сладкая неправда. Я встречался в городе со многими людьми, которые так или иначе в одном строю со шрагинцами боролись с врагом. И они лишь маленькая горстка уцелевших. Я им говорил о своем желании спасти моих героев и просил их рассказать, как спаслись они сами.

— Это было самое тяжелое время,— рассказал мне один из них.— Город буквально захлебывался кровью. Я должен был погибнуть, понимаете — должен был. Подо мной уже горела земля. И тут руководство подпольем приказало мне покинуть город и идти навстречу фронту. Мне удалось уйти, и вскоре я стал солдатом Красной Армии. Потом я дошел с войсками до Вены и тоже вот царапины не получил, а мои боевые ордена говорят, что я и на войне не прятался за спины товарищей... Теперь вот сын у меня. Школу кончает. В прошлом году приходит домой весь в синяках, говорит, ребята в классе сказали ему, будто его отец, то есть я, никакой не герой, раз словчил выжить. Он, конечно, за меня в драку... Выслушал я его, ушел в сад и, поверите, плакал там. Честное слово. Понимаете, я же действительно по всем статьям должен был погибнуть...

Мы разговаривали, стоя на улице, где номерной знак на каждом доме повторял имя моего главного героя. Это теперь улица его имени. По ней он каждый день ходил на завод... К нам подошел седой человек, опиравшийся на тяжелую самодельную палку. Он поздоровался с моим собеседником по-приятельски на «ты». Я познакомился с ним и узнал, что он бывший командир полка, с которым мой собеседник дошел до Вены. Узнав, о чем мы говорили, он сказал:

— Я принял полк в середине войны. Стало быть, в середине. Из того состава, который я принял, до Вены дошло... примерно... нет, лучше не высчитывать. Такая уж это была война, и иначе победить в ней было нельзя. Такая, стало быть, война. Старались, конечно, побеждать малой кровью, но ведь малая кровь — тоже кровь. А в такой войне малая кровь — это, брат, все равно могил не счесть. А то читаешь другую книгу о войне — оторопь берет: все же как лихо надо было воевать, а я-то, дурак, не умел. Оскорбляют такие книжки нас, выживших, а главное, тех, погибших. А вы, как

я понял, пишете о чекистах. Эти ж люди все время на острие ножа грудью шли. Что ж вы им подушечки на грудь будете подкладывать? Оживлять мертвых? На радость, стало быть, любителям сладенького чтения? Я бы не стал...

На другой день я поехал на кладбище, к могиле Федорчука.

Мы ехали вчетвером: Юля, я и двое сыновей Федорчука: один из них — курсант военного училища, другой — студент художественного института, оба поразительно похожи на отца — плечистые, светловолосые, голубоглазые. Они звали Юлю мамой, хотя родила их совсем другая женщина. Оба они родились еще до войны, в маленьком городке на севере Украины. Там и теперь живет их родная мать. У них две матери. Обе эти женщины дружат и вместе хранят память о Федорчуке. Надо было видеть, с какой печальной нежностью относится Юля к этим парням... Она сказала мне накануне: «Я же знала, что у Саши есть двое сынишек, и, когда я добивалась в гестапо, чтобы мне дали захоронить Федорчука по-человечески, я же еще тогда думала — вот приедут на его могилу сыновья, и я скажу им, какой у них был отец настоящий человек, чтоб строго сами жили, чтоб людьми стали...»

Когда мы сидели у могилы, к нам присоединился Сергей Дымко. Он живет и работает в этом городе, сегодня у него первый день отпуска. Сергей зашел к Юле, узнал, что она поехала на кладбище, и поспешил сюда. Он сидел сейчас возле могилы, опустив голову, и за все время не проронил ни слова и, казалось, не слышал, как Юля рассказывала сыновьям Федорчука об их отце... О чем он думал в это время, что вспоминал? Может, вспоминал, как валил черный дым из печей Бухенвальда и Дахау, где он провел последний год войны? Или как он вернулся в этот обожженный город к своей Зине и они вместе, словно заново, начинали жизнь?.. «Другой раз сердце как защемит, как защемит — зачем, думаю, я жив остался? Мне ж на парней Федорчука глаза трудно поднять...» — сказал он мне, когда мы в местном краеведческом музее стояли перед стендом, посвященным памяти Шрагина и его боевых товарищей. Там была и его фотография. Возле нас остановилась группа школьников. Они рассматривали экспонаты, документы, фотографии и шепотом переговаривались. Паренек, показывая на фотографии, сказал: «Все погибли... все до одного...» Ребятишки пошли дальше. И вот после этого Дымко сказал, как у него сердце щемит. И потом добавил: «Из нас, выживших, только Харченко повезло, он из боя не вышел ни на минуту...»

По дороге сюда я заезжал в Киев и побывал у Харченко. О том, что он пережил, можно написать отдельную книгу. Трижды обойдя смерть, теряя последние силы, он пробился, наконец, через фронт к своим. Но дивизия, в которой он оказался, находилась в глухом окружении. Харченко там даже поесть не успел — вместе с дивизией пошел в бой, который окончился трагически — дивизия была разгромлена.

Харченко попал в плен. Судьба мотала его по лагерям смерти. Трижды он бежал, но его ловили. Дважды он умирал от голода, но

его спасли добрые люди. И все-таки однажды он прорвался в Киев. Там он у надежных людей отдохнул и ушел к партизанам. Оттуда снова отправил в Москву свое донесение. Обещали прислать за ним самолет, да так и не прислали. И он воевал вместе с партизанами до самого освобождения Киева.

— С нашими войсками пришел в Киев и сразу явился в госбезопасность,— рассказывал он мне.— Доложил все как положено, а в ответ услышал, что Шрагина и других моих товарищей уже нет в живых...— Тут он надолго прервал рассказ. Сколько времени прошло с тех пор, а вот как вспомнит про эти минуты, теряет власть над собой этот сильный, плечистый, седой человек...

Вскоре после освобождения Киева Харченко был сброшен с самолета на словацкую землю, и там он, превратившись в майора Черных, возглавил партизанский отряд и воевал до победы. Теперь он почетный гражданин одного из городов Словакии.

— Я и там чувствовал себя бойцом группы Шрагина и во всем стремился быть похожим на него,— рассказывал он.— Вроде как я попал туда по его командировке и должен буду перед ним отчитаться. Не вроде, а так и есть. Я и сейчас перед ним отчитываюсь. Недавно ездил в наш город и словно повидался там с Игорем Николаевичем...

Где-то с геологическими экспедициями бродит по стране еще один уцелевший шрагинец — Ковалев. Он стал разведчиком земных недр. Его разыскивали товарищи из города, где он воевал в группе Шрагина. Его разыскивал и я. Мы нашли его адрес, писали ему, он не ответил. А однажды мне позвонили по телефону.

— Звоню вам по поручению Ковалева,— услышал я незнакомый голос.— Он просил передать вам, чтобы вы писали о Шрагине, о Федорчуке, еще о ком-то, кто достоин, а он в герои не вышел...— и человек положил трубку. Наверное, так его научил сделать Ковалев. Я знаю о нем только то, что он, как и Дымко, попал в Бухенвальд. И я хочу его понять. Как понимаю я Демьянова, который в первый же день освобождения города и уже зная о гибели товарищей надел шинель, взял винтовку, рядовым солдатом пошел с армией на запад и погиб в бою где-то на берегу Тиссы. Он иначе поступить не мог.

Агент СД Любченко повешена по приговору военного трибунала.

По-своему закономерна судьба Лили и ее матери Эммы Густавовны. Лиля уехала в Германию. Но затем Лангман то ли вернулся к своей прежней семье, то ли его настигла где-нибудь смерть — от нее на войне никто не застрахован. Так или иначе, Лиля его больше не видела. Конец войны застал ее в санатории на юге Германии, куда ее устроил Лангман. Она оказалась одна, абсолютно одна среди чужих людей, а где-то была торжествующая победу ее настоящая Родина. И тогда, подождав сколько смогла Лангмана, поехала в Берлин и явилась там в советскую комендатуру. Она заявила, что является женой советского разведчика, который был арестован гестапо, а она была угнана в Германию. Ей поверили

и спросили, куда она хочет ехать. Почему-то она захотела ехать в Омск. И там, в Омске, Лиля оказалась не менее одинокой, чем в Германии. Она пыталась работать, но долго на одном месте не удерживалась. Один из ее сослуживцев писал мне, что она «почему-то избегала дружбы и даже хорошего знакомства». Мы знаем, почему она боялась дружбы. Она боялась вопросов, на которые нельзя не ответить. Первое время она вообще избегала говорить о том, что делала в военные годы. Позже она стала намекать, что вела тайную работу в тылу у немцев, что ее муж был разведчиком, а она его помощницей. Но так как она ровно ничего о работе Шрагина не знала, она придумывала неуклюжие героические истории, в которых неизменно себе отводила довольно значительные роли. Дальше — больше, и вот она уже рассказывает, как убила немецкого генерала и еще начальника гестапо. Или как она пробралась в тюрьму к мужу и уже почти спасла его, но их настигла погоня и в перестрелке муж был убит, а ее схватили и после пыток отправили в Дахау... Вскоре работавшие с ней люди стали замечать, что она ведет себя все более странно. Однажды она заявила, что за ней следят два гестаповца, которые специально прибыли в Омск, чтобы ее выкрасть или убить. В доме для душевнобольных она пробыла несколько лет и там умерла. Врач, лечивший ее, написал мне, что ее помешательство было необратимым, так как оно было вызвано длительным и глубоким потрясением. Я с жалостью думаю о Лиле, но никто, кроме нее самой, в ее трагической судьбе не виноват. Ее мать не дожила и до конца войны. Когда немцы начали покидать город, старуха несколько дней обивала пороги штабов и учреждений, требуя, чтобы ее увезли в Германию. Она ссылалась при этом и на своего родственника фон Аммельштейна, и на генерала Штромма, и на других своих высокопоставленных знакомых, но над ней только смеялись. Старуха слегла и больше уже не встала.

Да, жизнь прожить — не поле перейти. А когда на жизнь обрушивается война, в которой решается судьба твоей Отчизны, в действие вступают беспощадные законы борьбы не на жизнь, а на смерть. Нет, я не мог написать неправду и с ее тщедушной и неверной помощью спасти моих любимых героев от гибели. Все как было, так и было, иначе писать нельзя.

...Я захожу в подъезд давно обжитого московского дома. У этого подъезда ждала Шрагина автомашина, на которой он умчался на юг, навстречу своему подвигу. По этой лестнице он в то утро спускался. Впрочем, было еще не утро — был второй час ночи. А вот и дверь, которую он тогда запер, веря, конечно, что он сюда вернется. На двери табличка с его именем. Табличка из меди. Он сам привинтил ее еще до войны, когда получил эту квартиру. Это его дом, и здесь он собирался жить долго. Хотя он знал, что разведчики подолгу дома не живут. Он просто хотел всегда и везде знать, что в Москве есть дом вот с этой ЕГО дверью...

Нажимаю кнопку звонка. Дверь открывается, и передо мной стоит... он! Рослый, плечистый, с красивым и строгим лицом.

— Вам кого?— спрашивает он, немного удивленный и смущенный тем, что я его так жадно рассматриваю.

— Ольга Николаевна дома?

— Заходите.

И вот мы с Ольгой Николаевной Шрагиной сидим за столом и рассматриваем семейный фотоальбом. На каждой странице — он. И я слышу тихий голос сидящей рядом со мной беловолосой женщины.

— Это мы с ним на лыжной вылазке...

Молодые, красивые, стоят они в веселой толпе лыжников.

— А это мы с ним в день свадьбы, еще в Ленинграде...

Так снимают молодоженов все фотоумельцы — плотно, рядышком, и головы чуть наклонены друг к другу. Оба еле сдерживают смех.

— А это мы с ним уже здесь, в Москве... Мы и наши друзья в день его рождения. Видите, он изображает пьяного. Все смеются, потому что знают — он больше рюмки никогда не пил... А это мы, когда я привезла Мишку из родильного дома. Видите, какой он счастливый...

В комнату, где мы сидим, заходит Миша Шрагин, и я снова жадно смотрю на него и волнуюсь все больше.

— Мама, я в институт,— говорит он баском и, поцеловав мать в лоб, быстро уходит. И уже от дверей обернулся и, блеснув такой знакомой мне, белозубой, шрагинской улыбкой, сказал:— Не забудь, что и тебе надо на завод...

Хлопнула дверь.

Вот так же уходил в институт и его отец. Только целовал он не мать — ее он лишился еще в детстве,— а старшую сестру, которая была ему вместо матери.

А Миша Шрагин в это время выходит из того подъезда, в который не вернулся его отец, и торопится навстречу жизни, которую ему дал, которую защитил от врагов его отец — Игорь Николаевич Шрагин. Чекист. Разведчик. Герой Советского Союза.

1948

ПОСЛЕДНИЙ ГОД

РОМАН-ХРОНИКА

Первая революция
и следующая за ней
контрреволюционная эпоха (1907—1914)
обнаружила всю суть
царской монархии,
довела ее до «последней черты»,
раскрыла всю ее гнилость, гнусность,
весь цинизм и разврат царской шайки
с чудовищным Распутиным во главе ее,
все зверство семьи Романовых —
этих погромщиков, заливших Россию кровью...

В. И. Ленин

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Метель, весь вечер кружившая по прямым улицам Петрограда, немного утихомирилась, и фонари, вырвавшиеся из снежной круговерти, освещали выбеленный Невский. Ветер еще гнал поперек проспекта снежную поземку, выстилая тротуары косыми белыми полосами. На циферблате башенных часов городской думы, залепленном снегом, с трудом можно было разглядеть — они показывали начало двенадцатого.

Шел последний час 1915 года.

Невский обезлюдел. Изредка промчится возок с закутанными седоками. Пустые трамваи, ненужно трезвоня, медленно волочили по снегу желтые пятна. А перед самой полночью свет на Невском погас, и проспект стал похож на заснеженное темное ущелье.

На другой день петроградские газеты напишут, что русская столица никогда не знала такой грустно-тягостной новогодней ночи. «Что мы могли пожелать друг другу в Новом году? В самом деле — что?» — спрашивала газета «Новое время» и на вопрос свой не отвечала.

В «Вечерней газете» были напечатаны стихи без подписи:

Мы новый год встречаем по привычке,
Но нет бывалой радости и суеты,
О фронте, о солдате в думах я и ты,
И мы страшимся новогодней переклички.
Там бой гремит, и в эту божью ночь
Мы сердцем слышим свист свинца
И шепчем: до победного конца...
И все сомненья гоним прочь...

Война стала несчастьем России, которому не было конца. На фронтах унизительные поражения следовали одно за другим. На-

родная кровь лилась рекой. Редкие успехи рождали мимолетные, быстро угасавшие надежды, после чего горечь неудач была еще острее.

Почему все так трагически сложилось? Почему великая Россия задыхается в унизительном бессилии? Бездарность военного командования? Беспомощность промышленности удовлетворить нужды фронта? Экономическая разруха? Лицемерие союзников, заставляющих Россию жертвовать всем во имя их интересов? Разгул черной распутинщины вокруг царского двора? Министерская чехарда в беспомощном правительстве? Измена?.. Обо всем этом заговорили даже с трибуны Государственной думы. И хотя газеты печатали думские речи с цензурными изъятиями, их смысл был ясен. Но те же газеты кричали с первых страниц: «Война до победного конца!» Эти же слова произносили в церкви попы, добавляя к ним как божью печать: «Аминь». И всего несколько дней назад государь-батюшка, находясь в действующей армии, говорил своим солдатикам кротким голосом: «Только до победного конца...»

...Ах как славно ему там было, на Западном! Надо будет придумать какую-нибудь достойную награду генералу Эверту. Чувствуешь, что весь фронт в крепких его руках...

Командующий фронтом действительно постарался и пребывание царя на его фронте провел как грандиозный спектакль без единой накладки. Репетиции шли две недели. По ночам немцы слышали доносившиеся с русской стороны перекаты «ура!» и по тревоге поднимали свои передовые линии. А в это время в штабных блиндажах шли неслышные немцам «живые» беседы с царем русских героев, кавалеров Георгиевского креста. Роль царя исполняли командиры дивизий, и делали это весьма похоже — вопросы, которые монарх повсюду задавал своим солдатам, были давно известны. Как и ответы, которые любил царь...

Словом, все было сыграно точно по сценарию, вплоть до «случайной» встречи царя с бородатым казаком с четырьмя крестами на груди, который сказал ему: «Сплю и вижу себя в Берлине, ваше величество!»

Славно было там. Славно...

Как великолепны были звенящие оркестрами минуты смотра!

Сидя на тихом карем коне, он возвышался над снежным полем, и перед ним слаженно, со снежным хрустом печатали шаг колонны. С каким восторгом смотрели на него солдаты! Как дружно кричали «ура!», ничуть не сбиваясь при этом с шага! У него даже слезу прошибло. Он посмотрел на державшихся поодаль генералов — разве можно с такими солдатами воевать плохо?.. У него возникло радостное предчувствие, что теперь все пойдет иначе. Всегда после плохого бывает хорошее. Всегда... И он поднимал руку к папахе, отдавая честь своим верным солдатам, и слышал в ответ перекатное «урааааа!».

Только вот было холодно, у него застыли и начали противно дрожать колени. Что-то уж больно долго шли колонны. Наверно,

медленней, чем надо. Потом за обедом он сказал об этом генералам и услышал ответ командующего армией генерала Рогозы:

— Ваше величество, ритм марша был уставной, но мы не можем справиться с желанием солдат получше вас разглядеть, а оттого и задержка. Простите это вашим солдатам... и нам тоже...

Ну что ж, наверное, это так и есть. Колени уже отогрелись, и к нему вернулось хорошее настроение. Он написал текст телеграммы царице:

«Сегодня утром сделал последний смотр армии Западного фронта. Отличный вид войск...»

Передав текст телеграммы адъютанту и распорядившись приготовить поезд, сказал генералам:

— Спасибо... Передайте мою благодарность войскам...— Он равнодушным, сонным взглядом обвел генералов, увидел их счастливые от его похвалы лица и сказал печально:— Как можно... Как можно...— Радость мгновенно смыло с генеральских лиц...— С такими солдатами идти только вперед... А бесцельно губить таких солдат... Как можно...— Он сказал это тихим, глуховатым голосом и надолго замолчал, прикрыв блеклые глаза припухшими веками.

Генералы с вытянувшимися лицами сидели неподвижно и преданно смотрели на него.

Николай медленно, точно с трудом, приоткрыл глаза и продолжал тихим, кротким голосом:

— Силы неприятеля на предельном истощении. Мы как никогда близки к победе... Будьте вполне покойны... я не заключу мира, пока мы не изгоним последнего неприятельского воина из пределов наших, и не заключу его иначе, как в полном согласии с нашими союзниками... Я не забуду этого смотра и рад, что мне удалось увидеть доблестные части армии, и прошу передать мою благодарность всем войскам за их преданную службу, радующую мое сердце. Храни вас бог, господа...

Царь замолчал, и командующий фронтом генерал Эверт, подождав, осторожно подал голос.

— Ваше величество, мои войска...— начал он, но царь остановил его вялым движением руки.

— Вы получите необходимые приказы,— вдруг строго сказал он и встал...

Почему так спокоен и уверен царь? Он не сомневается, что «тройственное согласие» в конце концов победит. Это ему доказали как дважды два — четыре: раньше — английский король Георг Пятый и его советники, а позже — приезжавший перед самой войной в Петроград французский лидер Раймонд Пуанкаре, который оставил ему безымянную памятную записку, где на одной странице были сведены все данные о военных ресурсах тройственного союза и Германии и внизу строка: «Вывод напрашивается сам собой...»

То, что война для России идет тяжело, что велики ее людские потери, это царя не очень беспокоит. Когда однажды председатель Государственной думы Родзянко обратил его внимание на тяжелые потери русской армии и огорчился падению международного престижа России, царь сказал: «О потере престижа в глазах Англии и Франции не может быть речи. А о чьем еще мнении мы должны тревожиться?» Яснее и циничнее не скажешь.

Итак, война до победного конца... Война до победного конца... Слова эти стерлись, приобрели второй, зловещий смысл. В театре развлечений музыкальный эксцентрик Юрьев исполнял куплеты с рефреном:

А мне не нужен тот конец,
Раз будет он могилой...

Зрители в зале испуганно переглядывались. Веселые куплеты воспринимались как заупокойное песнопение. Впрочем, в газетной хронике происшествий недавно промелькнула заметка о том, как оказавшийся в зале театра развлечений фронтовой офицер пытался выстрелить в куплетиста за призыв к измене...

2

У англичан не существует такой, как у нас, традиции встречать Новый год. Однако в этот час в окнах английского посольства на Английской набережной Невы горел свет и в широком окне на фоне кружевной гардины то возникал, то исчезал силуэт человека. Это посол в России его величества короля Англии сэр Джордж Бьюкенен расхаживал по своему кабинету. Все-таки своя новогодняя традиция здесь была — в эту ночь посол подписывал годовой отчет посольства. К этому моменту в его кабинете собирались сотрудники. Сгрудившись у стола, они наблюдали, как посол подписывает отчет, и затем слушали его резюме о прошедшем годе и работе каждого из них. Обычно он делал это легко, с юмором, когда даже критическое замечание воспринималось без обиды. В заключение лакей приносил поднос с бокалами шампанского, и в общем весь этот церемониал заканчивался празднично.

На этот раз сотрудники с серьезными лицами стояли посередине кабинета, провожая взглядами посла, маячившего между окном и стеной, и слушали его глухой, сердитый голос.

Невысокого роста, с седой головой, белыми пышными усами, но с моложаво крепкой фигурой и легкой походкой, сэр Джордж Бьюкенен был человеком неуловимого по облику возраста. Он сам шутил, что утром бывает старше на десять лет, а вечером дамы по поводу возраста, как правило, ему льстят. Позади у него была большая и нелегкая жизнь английского дипломата и разведчика. Службу в России он называл своей лебединой песней, но каждый раз добавлял с улыбкой: «Потом у меня будут песни уже других, менее элегантных птиц».

В Россию он приехал в 1910 году, сразу после Болгарии, где тоже был послом. Назначение в Петербург было для него почетным, и он работал с полной отдачей своих недюжинных способностей, с предельным напряжением своего изворотливого ума. И сумел так поставить свое посольство, что для него работали множество очень ценных своей осведомленностью русских людей самого разного положения и в обществе, и в государственной машине. Его широкие связи Лондон ставил в пример другим послам. Вершиной этого его умения было установление тесных связей с самим царем. Еще в начале войны немецкие газеты писали, что Бьюкенен — второй, некоронованный царь России. Это было, конечно, преувеличением, но он действительно имел возможность и не раз влиял на очень важные решения русского монарха.

До недавнего времени он чувствовал себя в России уверенно. Но к концу 1915 года начал ощущать тревогу за всю свою деятельность здесь. Это пришло почти незаметно. Вдруг начали обрываться многие его связи, а уцелевшие стали все чаще питать его неточной информацией. Как будто какая-то неведомая сила встала между ним и Россией, и пробиться через нее он не может...

«Немецкая партия» — так он однажды назвал эту силу. Но он имел в виду не какую-то оформленную организацию, а сонм лиц, которые в личных корыстных интересах заняли прогерманскую позицию, так или иначе враждебную Англии.

Главная опасность этой «партии» в том, что в нее входили люди нередко с очень высоким положением в русской столице. В результате явно ухудшились отношения Бьюкенена с царем и в особенности с царицей. Он признавал втайне, что недооценил эту «партию», не сумел предвидеть неизбежность ее усиления с ходом войны — когда он думал об этом, лебединая песня приобретала что-то слишком прямую для него символику. Еще недавно в шифрограммах из Форин Офиса он то и дело читал тешившие его душу похвалы, все, что он думал, все его самостоятельно принятые решения, как правило, в Лондоне одобряли. А как раз сегодня, в последний день года, пришла шифрограмма, в которой он снова за извилистыми дипломатическими фразами без особого труда прочитал плохо скрытое недовольство.

Совсем неудивительно, что сегодняшний церемониал подписания годового отчета был совершенно непохож на прошлогодние...

Бьюкенен ходил по кабинету и, не поднимая взгляда, бросал злые, отрывистые фразы:

— Неужели вы не понимаете, что слепота и глухота для дипломата смерть?.. То, что в России все плохо, видно ребенку. Почему плохо? — спросил он, остановившись перед окном и смотря в непроницаемую мглу над Невой. Потом резко повернулся и зашагал к стене. — На этот вопрос мы не даем удовлетворительного ответа, потому что всей глубины положения не видим... — У стены он бросил взгляд на картину, изображавшую охотничий выезд с борзыми, и повернул назад: — Но даже хорошо ответить — это полдела. Наше положение представителей союзной державы обя-

зывает нас не только протоколировать, но и действовать. А каких действий можно ждать от слепых и глухих?..— Если бы в этот момент Бьюкенен посмотрел на своего сотрудника Грюсса, представлявшего в посольстве английскую стратегическую службу, он увидел бы на его лице еле заметную усмешку. В эту минуту Грюсс был очень доволен собой — он еще три месяца назад сообщил своему начальству, что, по его ощущению, аппарат посольства все чаще становится жертвой инерционной позиции и проходит мимо важных фактов и явлений...

— Я призываю вас утроить усилия...— продолжал Бьюкенен.— Мы вступаем, возможно, в самый трудный для нас год. Великая Британия ждет и требует от нас работы на уровне великих переживаемых событий...— Посол остановился посередине комнаты и первый раз посмотрел на своих притихших сотрудников.— Спасибо. Можете разойтись по домам,— произнес он с мягкой, неуверенной улыбкой...

3

Над Петроградом низко нависала черным небом зимняя ночь. Сверни с Невского, и сразу попадаешь в густую темень. Воет ветер. Хлещет по ногам поземка. В редком окне горит свет — громадный город встречает Новый год в тревожном сне. Так легче — укрыться с головой под одеялом и, ни о чем не думая, постараться заснуть. Может, утро действительно окажется мудренее?..

В пустом замороженном трамвае, неторопливо катившемся к Нарвской заставе, ехали два пассажира, два малорослых простецких мужичка. В легких пальтишках и мелкодонных кроличьих шапках с суконными наушниками, они сидели плотно рядком, съежившись от холода. Они явно не торопились к новогоднему столу. Это были филеры петроградской охранки Косой и Голубь, им было приказано вести в эту ночь наблюдение за чайной Самсонова, где под видом встречи Нового года будет проходить сборище фабричных бунтовщиков и подстрекателей. По окончании сборища они должны двух его участников взять под персональное наблюдение и проводить до дому.

На поворотном круге филеры сошли с трамвая, подняли воротники и зашагали, подталкиваемые в спину ветром, по свежему скрипучему снегу. Темень хоть глаз выколи, только под ногами от снега низкий свет.

— Ты хорошо помнишь где?— спросил Голубь.

— Как до церкви дойдем, направо, там сто шагов.

— Снег скрипучий, за версту слышно.

— Надо ступать сразу всей ногой,— сказал Косой, выматерился и добавил:— А главное, все напрасно, сколько мы за ними ходим, а что толку, когда их что вшей на тифознике.

— Не скажи,— вяло возразил Голубь.— Мой приятель в Крестах служит, говорит, битком набито.

— А сколько их еще бегают...

— Слышал, как начальник сказал — в одночасье всех схватим.

— Рук не хватит,— снова выматерился Косой.

— Не нашего ума дело, найдут и руки...

— Найдут... найдут,— проворчал Косой, закрывая рот воротником.— У меня шурин из деревни приехал. Сала привез, меду, я, дурак, водки достал...

— Служба не дружба,— со злостью выговорил Голубь.— Сполняй, что приказано. По случаю работы в такую ночь красненькая обещана, если дело не завалим.

— Эта красненькая давно стала синенькой...

Возле церкви они остановились. Впереди справа были видны слабые проблески света — там и была чайная. Подошли к ней поближе. Ставни на окнах дома были закрыты, и свет пробивался в щели.

— У входа двое стоят. Видишь?— шепнул Голубь.

— Пикет выставили, гады.

Ближе подходить нельзя. И перейти на другую сторону улицы тоже опасно: увидят.

Они стояли, притулившись к холодной стене возле каменного туннеля ворот.

— Интересно, двор проходной?— сказал Косой.

Голубь не отозвался.

— А если что... куда от них денемся? Я схожу посмотрю...

Минут через десять Косой вернулся:

— Там склады и прохода нет. Но между складами есть щель, туда они не сунутся.

Помолчали, прислушиваясь к студеному посвисту ветра.

— В девятьсот пятом работать было куда лучше,— вздохнул Голубь.— Все ясно было — бери и тащи. Я однажды за ночь троих припер, часы «Павел Буре» получил. Во...— Он засунул руку за пазуху, вытащил часы на цепочке, поднес к глазам и снова вздохнул:— Люди за столами уж песни поют.

В первый день 1916 года Голубь и Косой сдали начальству совместный рапорт-отписку, и мы сейчас имеем возможность этот документ прочитать.

«...К назначенному исходному сроку мы заняли пост наблюдения в 30 шагах от чайной Самсонова, имея возле себя ворота для возможного маневра на случай сближения с объектами. У входа в чайную стояли два пикетчика, что не давало возможности дальнейшего приближения ввиду скрипевшего под ногами снега. Однако видимость была сносная. Сбор бунтовщиков произошел, однако, раньше нашего приближения, в чем нашей вины не было, так как мы вышли на точку в назначенное нам время... Пикетчики

один раз сменились... В 1 час и 40 минут после полуночи участники сходки начали покидать чайную. Не по одному, как обычно, а тремя компаниями, причем шумно и даже пели... Согласно приказу двоих взяли под наблюдение и проводили по адресам.

1. Шел без осторожности. Рост выше среднего. Короткое, до колен пальто. Сутулый. Ходит вразвалку. Адрес: Звенигородская, дом 2, угловой дом по Загородному. Центральный подъезд. Наблюдение вел Косой.

2. Рост средний. В шинели и шапке с ушами. Сапоги. Быстрый ход и с оглядкой. Адрес: Михайловский переулок, д. 11. По вхождению в дом зажегся свет на втором этаже в окне втором справа. Наблюдение вел Голубь.

1 января 1916 г.

Подписи филеров».

Прямо на рапорте внизу сделана приписка:

«Адрес на Звенигородской установлен ранее, там проживает машинный механик с электростанции Горяев Н. Связан с группой Чиликина — распространение прокламаций. Подвергался задержанию. Внешне схож с ныне прослеженным. Михайловский нечто новое. Произвести установку. Подпись: ротмистр Куцевалов».

Явно начальственная резолюция вверху слева:

«Присоединить к документации об использовании для сходок новогодней ночи как прикрытия». Подпись неразборчивая.

Так встречала Новый год охранка. В работе. В неусыпном бдении у ворот царского двора.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

В последние дни перед новым, шестнадцатым годом у Николая все приятное окончилось там, на Западном фронте, оно словно растаяло вместе с последними звуками военных оркестров.

С фронта он направился в Царское Село, ему захотелось скорей, скорей в милое лоно семьи, единственное место, где он может быть самим собой, где его любят верно и бескорыстно.

Огорчения начались еще в пути... Тяжкий разговор со Спиридовичем. Откладывать его было нельзя — он вообразил себя оракулом в политике, и его следовало поставить на место. А сделать это Николаю было нелегко. Он особо расположен к генералу Спиридовичу, вот уже десять лет возглавляющему его личную охрану. Он знает, это вызывает ревность дворцового коменданта генерала Воейкова, и всячески старается их примирить. Воейкова он тоже любит и пренепременно зовет за стол, когда хочет выпить в узком кругу, и знает шутку придворных, будто Воейков нашел счастливую судьбу на дне рюмки. Воейков возле него три года, но знает он

его издавна по тем временам, когда генерал командовал полком лейб-гвардии его величества — молодость царя была тесно связана с этим полком. И ему приятно было с простодушным Воейковым за рюмкой водки вспоминать веселые истории из полковой жизни.

Со Спиридовичем его связывает нечто иное... Особое доверие и любовь к нему возникли сразу, с первой встречи, и окончательно утвердились в 1912 году в Киеве, в те страшные для царя минуты, когда в зале театра раздались выстрелы и сидевший недалеко от него премьер-министр России Столыпин упал, сраженный пулями террориста. Услышав выстрелы, царь зажмурился, а когда глаза открыл, уже не видел ничего, кроме плотной, затянутой в китель спины Спиридовича, которая закрывала его от всего страшного мира. В следующее мгновение Спиридович провел его в закулисную комнату, а затем отвез в резиденцию. Самообладание Спиридовича восхитило царя. «Он был абсолютно спокоен, стоял передо мной как гранитная скала»,— рассказывал потом царь, не зная, что это его свидетельство поставят Спиридовичу в вину. Комиссия, расследовавшая убийство Столыпина, выдвинула обвинение в преступной халатности нескольким деятелям охранки, и в том числе Спиридовичу. Все они были уволены со своих постов. Кроме Спиридовича, в отношении которого царь распорядился вообще прекратить всякое следствие...

Однажды царь спросил у него:

— Но как все-таки вы сумели тогда сохранить полное спокойствие?

— Ваше величество, я знал одно: пока я жив, вы в безопасности, о чем же мне было волноваться, раз я был жив?

Царь запомнил и этот ответ. Когда он давал распоряжение министру внутренних дел закрыть дело в отношении Спиридовича, сказал:

— Всяк понимает, что он по службе своей отвечал только за мою жизнь. Я был цел и невредим, и это давало ему полное право быть спокойным...

Да, многое, очень многое за последние десять лет связано у Николая со Спиридовичем, он не раз мог убедиться, что генерал в отличие от многих его приближенных, в том числе и генерала Воейкова, хорошо разбирается в событиях, имеет о них свое твердое мнение, и царь не раз к нему прислушивался.

Ему нелегко было провести этот неприятный разговор в поезде. Но промолчать он не мог. Генерал точно помешался на социал-демократии и ее революции. Он ему прямо так и сказал, что эта социал-демократия его загипнотизировала и ослепила... Царь вспомнил, какое при этом растерянное лицо было у генерала, сердце кольнула жалость, но нет, нет, все это сказать ему было необходимо. Он просто не понимает, что в России, со всей спецификой ее государственного устройства, попросту не может быть никакой партии, которая могла бы стать во главе разношерстного населения России и тем более поднять его на свержение освященного богом монархического строя.

Но царь видел, что Спиридович с ним не согласился... И не прав ли генерал Воейков, который твердил ему, что Спиридович из тех, кто считает, что на Руси умные люди с него начинаются и на нем кончаются?

Николай неприятно задумался. Может, именно в этот момент и возникла трещина в его доверии генералу, которая, становясь все больше, привела к тому, что спустя несколько месяцев Спиридович был отправлен в Ялту градоначальником.

Царица встретила его в своей гостиной, как всегда, со слезами восторга. Целовала исступленно его лицо и руки, влюбленно заглядывала ему в глаза, гладила волосы... Они поднялись на антресоли гостиной и сели, держась за руки, на широкий диван из красной кожи, и Николаю сразу стало удивительно спокойно, тепло, даже война отодвинулась куда-то далеко-далеко. Сквозь решетку перил он смотрел на стоявшую внизу беломраморную фигуру женщины, религиозно склонившей голову, и наслаждался молитвенной тишиной, близостью жены...

— Ники, на фронте опять плохо. Ты уже знаешь? — сказала вдруг Александра Федоровна.

Он стукнул кулаком по колену:

— Боже, когда же это кончится?

Вот и здесь война надвинулась на него, страшная своей неуправляемостью, бесконечными бедами.

— Ники, не надо так. Бог с нами, — напряженно прошептала царица и положила свою холодную белую руку на его сжатый кулак. — Все плохое пройдет, Ники, и бог воздаст нам и нашей бедной России за все, что мы претерпели вместе с нашим верным народом.

Лучше бы она этого не говорила...

Боже, какое несчастливое царствование досталось ему! Ведь было же предсказание святого отшельника Серафима о судьбе романовского рода: в начале его царствования будут несчастья и беды народные, будет война неудачная, а после нее — смута. Но затем настанет светлая эра, и жизнь его будет долговременной и счастливой... И все было точно как в пророчестве. Не успел он надеть корону, в Москве в дни коронации случилась трагическая ходынская катастрофа. Потом была гнусная война с япошками, а после нее смута. Потом еще одно страшное несчастье — родился неизлечимо больной сын, наследник... Хватит же! Хватит! Где же она, светлая эра? Где счастье?

Наконец, эта война... Ему льстило, что Россия наравне с Великой Британией и Францией принимает участие в новом переделе мира. Наконец, его самолюбие тешила мысль, что он насолит императору Вильгельму, чье надменное отношение к себе он больно и обидно чувствовал... Но кто думал, что война будет такой долгой? Король Георг уверял, что могущественный британский флот задушит Германию морской блокадой. Пуанкаре говорил, что Франция прекрасно подготовлена к победоносной войне и что Германия бу-

дет быстро раздавлена в русско-французских тисках... Где это быстро? Где смертоносная морская блокада? Война идет второй год, и Николай все чаще с раздражением думает о том, что всерьез эту войну ведет один он и его Россия.

И главное, нет этой войне конца. И нет сил ее понять. Ну почему столько неудач? Почему радость удач непрочна, развеивается как дым? Такие великолепные солдаты, а беда за бедой... Неужели бог оставил нас и не слышит наши молитвы?

— Ники, о чем ты думаешь? — Голос жены неясно донесся до него, и он растерянно оглянулся по сторонам.— Бедный ты мой, замучили тебя. Забудь обо всем...

— Это ужасно,— перебил он ее.— Я иногда, когда стою перед иконой, готов закричать: «За что? За что?!»

— Боже, Ники, что ты только говоришь...— шептала Александра Федоровна, прижав руки к груди и смотря на него голубыми, льдисто блестевшими глазами.— Наш Друг говорит: «Бог дал свою судьбу каждому, и бог всегда справедлив...» Роптать, Ники, грешно, роптать грешно... грешно...— повторяла она трагическим шепотом.

В Ставке война, а здесь вся Россия лезла к нему, ворочалась, как горячечный больной, толкая его то одним боком, то другим. Не было дня без неприятностей, без бед всяких. Нет, не нашел он покоя в Царском Селе. То вдруг выяснилось, что у военной промышленности иссякает запас меди, и не понять, кто в этом виноват и что надо делать. А для закупки меди за границей нет золота — оно ушло на закупку оружия туда же, за границу. А где, кстати, это оружие? А то вот министр внутренних дел подсунул записку начальника охранки Глобачева. И снова про социал-демократию, что надо ее ликвидировать под корень, иначе беда. Помешались они, что ли, на этой социал-демократии? Фабричных смутьянов надо пороть, и вся недолга — сразу успокоятся. А надо-то решать с Думой — вот где смута, окончательно там обнаглели, подрывают всякое доверие к власти. А закрыть ее, говорят, опасно. Почему опасно? Мало того, вроде знающие и верные люди советовали почтить Думу своим присутствием на заседании. Черт их разберет... Министры еще, как на подбор, безрукие, лезут к нему со всякой чепухой, сами ничего не хотят решать и делать. Да еще и подвести могут за милую голову. Один Сазонов чего стоит. Жена права — его надо убирать, как убрал он других, позволивших себе протестовать против того, что он принял на себя управление войной... Газеты распустились до невозможности — пишут что попало, а цензоры хлопают ушами.

Обо всем этом с ним каждый день говорит жена. Бедняжка, как она самоотверженно принимает на себя удары судьбы и защищает его от них!.. И дома нет покоя... Он даже подумал, покидая Царское Село, что в Могилеве, в Ставке, все же получше, там есть Алексеев, знающий войну человек, при нем, когда нужно принимать решение, можно самому не ломать голову, он все продумает и скажет, как надо.

2

И впрямь в первые часы Ставка привиделась ему тихим и прочным местом, где все идет по раз и навсегда заведенному порядку и где он может приказать не беспокоить его, и никто не посмеет носа показать.

Позавтракав, он встал из-за стола и начал ходить по комнате мелкими, скользящими по мягкому ковру шажками. Его что-то знобило, болела голова. Он подошел к голландской печке, приложил ладонь к изразцовым плиткам, разрисованным петухами, и отдернул, обжегшись. С суеверным страхом подумал: не заболевает ли? Ведь если больным встретишь Новый год, потом весь год будешь в недугах.

За спиной у него скрипнула дверь, это граф Фридерикс. Только он может входить без предупреждения.

— С добрым утром, ваше величество,— старческим невнятным голосом произнес министр двора.

Николай кивнул не оборачиваясь, ему не хотелось затевать разговор со стариком, у которого на все времена две неизменные темы: земельные угодья двора да непомерные траты великих князей. И только если разойдется, услышишь от него тысячу раз слышанное про то, как и что славно было при батюшке Александре.

Николай оглянулся на него, и ему вдруг стало жаль старика. Положив на стол папку с бумагами, он ссутулясь стоял возле стола, опираясь на него рукой, его уже плохо держали ноги. Обвислые щеки, оттопырясь, лежали на высоком вороте мундира. Широкие погоны с царским вензелем сползали с плеч. Преданно смотревшие на него выцветшие глаза слезились. Вот уж кто истинно предан ему и престолу. Этот и умрет, как верный пес, на дворцовом пороге.

Николай подошел к столу и, взглянув на папку с золотым вензелем, спросил:

— Есть что-нибудь сверхсрочное, Владимир Борисович?

— Как всегда, не читал, ваше величество,— ответил Фридерикс, склонив седую голову и покорно смотря на царя из-под белых кустистых бровей.— Генерал Алексеев у себя,— добавил он, напоминая царю его неизменный утренний распорядок.

Когда Николай вошел в кабинет Алексеева, тот, оторвавшись от бумаг, поднял расстроенное лицо и быстро встал, на его груди качнулись витые аксельбанты и два креста.

— Со счастливым возвращением, ваше величество,— сказал он без особой почтительности, сказал, будто негромко скомандовал. Такой уж у него характер — редко кто видел улыбку на его вечно сердитом лице. Даже своим внешним обликом он как бы говорил всем, что он весь в войне, только об этом думает, только об этом склонен разговаривать, а тут радоваться нечему.

Они поздоровались. Царь сел в свое кресло с именным вензелем на спинке и, посмотрев на заваленный картами и бумагами стол, ощутил привычную тревогу — ну что там еще стряслось?

Как всякий дилетант, слепой волей судьбы поставленный над знающим дело человеком, Николай уважал Алексеева и не очень любил. Но когда ему со всех сторон шептали: «Алексеев не справляется», он молчал — знал, что в его окружении Алексеев единственный, кто знает войну и кто всегда говорит ему правду. Жена последнее время тоже настроена против Алексеева, уверяет, что он лезет в политику и заискивает перед левыми, но Николай не реагирует на это, знает — жене шепчут про Алексеева те же, что шепчут и ему.

Алексеев четко произнес глуховатым баском, будто прочитал из сводки:

— За истекшие сутки, ваше величество, ничего существенного не произошло.

Это была не полная правда, но Алексеев решил не портить монарху предновогодний день и договорился об этом с другими штабными генералами, которых царь пожелает сегодня выслушать. Отрезая всякую возможность конкретного разговора о войне, Алексеев подал царю лист бумаги с крупно напечатанным текстом:

— Это ваше новогоднее послание войскам... Все фронты его уже получили и сегодня зачитывают перед строем и в окопах.

Царь взял бумагу и стал читать.

«...Минул 1915 год, полный самоотверженных подвигов Моих славных войск. В тяжелой борьбе с врагом, сильным числом и богатым всеми средствами, они и сломили его и своей грудью, как непреоборимым щитом родины, остановили вражеское нашествие...»

Он поднял взгляд на генерала, собираясь возразить: совсем недавно на фронте он говорил солдатам, что враг истощен... Но тут же передумал — к чему затевать этот разговор, если послание уже зачитывают на фронтах? И продолжал читать дальше.

«...Помните, что без решительной победы наша дорогая Россия не может обеспечить себе самостоятельной жизни... без победы не может быть и не будет мира... Я вступаю в Новый год с твердой верой в милость божию, в духовную мощь и непоколебимую твердость и верность всего русского народа и в военную доблесть Моих армий и флота...»

Он вернул послание Алексееву и, смотря в окно, за которым медленно падал редкий снег, сказал:

— Сейчас как никогда убежден, что так думают все мои солдаты.

— Мы здесь осведомлены, ваше величество, как счастливы были вы среди солдат,— сказал Алексеев с неподходящей сухостью.

— Один бородач, кавалер четырех «георгиев», сказал мне, что он во сне видит себя в Берлине,— улыбаясь воспоминанию, тихо произнес Николай.

Алексеев промолчал, поправляя на носу простые железные очки.

А Николай вдруг подумал: «Боже, какая нелепость этот бородатый мужик в Берлине, в парке Потсдамского дворца, где так нежно благоухают розы...»

Николай шевельнулся в кресле.

— Чем сейчас займемся?

— Генералы служб собраны, ваше величество...

Они прошли в зал заседаний. При их появлении сидевшие за длинным столом генералы энергично встали, все, как один, глядя на монарха.

— Садитесь, господа...— по-штатски попросил царь и занял свое место во главе стола.

Генералы штаба по приказу Алексеева докладывали о всяких, пусть и важных, но все же побочных делах войны: о ходе обновления вагонного парка, об увеличении числа тыловых лазаретов, о рационе для пленных немцев, об изменении положения о фронтовых церквах и священниках, об ускорении подготовки прапорщиков, об увеличении артиллерийских ремонтных мастерских...

Николай слушал генералов рассеянно — он разгадал их заговор, был им за это благодарен и потому никого не перебивал, не задавал вопросов, прекрасно зная, что все эти дела могут быть решены и без его участия. Скорее бы только все это кончилось. Голова болела все больше. И надвигалось время завтрака с членами союзнических военных миссий при Ставке.

Доклады наконец кончились. Николай поблагодарил генералов, поздравил их с наступающим Новым годом и отпустил.

3

В бело-голубой столовой, в зимнее время и днем залитой светом нескольких люстр, иностранные представители в ожидании царя стояли у стола, каждый у своего места, и тихо переговаривались. Услышав скрип сапог, умолкли и повернулись к двери с любезно-почтительными лицами.

В распахнутых дверях Николай остановился. Старший по званию английский генерал Вильямс — высокий, плотный, с косо падающими плечами — вытянулся, чуть слышно сдвинул каблуки сапог и приветствовал монарха по-английски. Николай кивнул ему и пригласил всех сесть. Задвигались стулья, и тотчас два лакея начали подавать завтрак. Это заняло две-три минуты, и лакеи, пятясь с поклонами, отошли к стенам.

— Желаете ли вы, ваше величество, поделиться впечатлениями о поездке на фронт?— спросил Вильямс.

— Впечатления прекрасные,— улыбнулся Николай, заправляя салфетку за ворот своего полковничьего мундира. Он ответил тоже по-английски и весь дальнейший разговор за завтраком вел на английском языке. Русский царь знал этот язык в совершенстве и любил им пользоваться. Он уже хотел было начать рассказывать о воодушевлении, которое наблюдал в войсках, но вспомнил о случившихся на фронте бедах и промолчал.

— Несколько дней провел в семье,— начал он, меняя разговор.— Хотел немного отдохнуть, но возле Петрограда дел не меньше, чем здесь.— Он обвел бесцветными глазами участников завтрака. Когда его взгляд достиг французского представителя маркиза де Лягиш, тот, ответно улыбаясь, спросил:

— Как чувствует себя наследник? Мы все так скучаем по нему.

— Возле матери ему все-таки лучше,— ответил Николай.— Он тоже всех вас помнит и просил вам кланяться и поздравить с Новым годом.

— Пока он жил в Ставке,— подхватил черноглазый, черноусый толстяк — сербский полковник Лондкиевич,— каждый из нас видел в нем своих сыновей, и на душе становилось теплее.

— Мне он тоже доставлял много радости и скрашивал мою жизнь здесь,— с искренней печалью сказал Николай и некоторое время задумчиво смотрел вверх на массивные люстры. Он думал сейчас совсем о другом — что завтрак скоро кончится, все традиционно перейдут в курительную комнату, и там ему не избежать разговора о положении дел на войне. Особенно не любил он такие разговоры с генералом Вильямсом, называл его про себя лисой с бульдожьей хваткой...

— Как здоровье императрицы?— подобострастно спросил де Лягиш.

— Благодарю вас... Она здорова, очень устает...— ответил Николай и добавил с улыбкой:— Быть женой русского императора нелегкая должность.

— О да, о да!— закивали все.

— Мне кажется, ваше величество, вы не должны ей позволять так расходовать свои силы,— сочувственно сказал Вильямс.

Николай строго взглянул на англичанина. Это что, намек? Последнее время он со всех сторон слышит эти проклятые намеки, что его жена занимается не своими делами.

Вильямс понял свою ошибку и поспешно добавил:

— Шутка сказать, воспитывать пятерых детей!

Но его уточнение ничего не разъяснило. Наоборот, получилось, будто англичанин подчеркивает, что удел императрицы — заботы материнские.

Николай молча направился в курительную комнату.

Гости разговаривали о погоде, о прелестях русской зимы. Вильямс сосал свою сигару, но при этом то и дело посматривал на царя, явно поджидая момент подойти к нему со своими вопросами. Николай это видел, и, когда разговаривавший с ним француз ото-

шел от него, а Вильямс быстро к нему направился, он громко объявил:

— Господа, я приглашаю вас сегодня вечером на молебен в нашей церкви, так что сегодня мы еще увидимся.— Николай выразительно посмотрел на часы и быстро вышел из курительной.

Проходя в кабинет, бросил на ходу адъютанту:

— Ко мне никого...

Он любил свой кабинет в Ставке — светлую комнату со стенами, обитыми небесно-синими штофными обоями. Мебели немного — стол, угловой диванчик, два кресла и стул. Все привезено из Царского Села — так пожелала жена, сказала — пусть эти вещи напоминают тебе о доме, о нас... Стол особый — он украшен, как сказали ему, неповторимой резьбой, выполненной северными корабелами два века назад. Он распорядился не ставить стол к стене, чтобы резьба была видна со всех сторон. Стоящий в углу диванчик будит в нем приятные воспоминания — в царскосельком дворце он стоял в спальне жены, и они любили сиживать на нем, чувствуя волнующую близость друг друга... Но здесь он садился на него очень редко — как сядет, так сразу становилось ему одиноко и тоскливо...

Сейчас, усевшись за свой резной стол, он открыл папку.

Сверху лежало письмо от матери. Не читая, он положил его в стол. Опять, наверное, сплетни — пересуды об Алисе. Все точно сговорились терзать его. Что плохого она всем им сделала? Что плохого в том, что они любят друг друга и во всем хотят помочь друг другу, ведь оба они самим богом помазаны на престол? Она умная, все понимающая женщина, безмерно любит Россию и хочет ей только добра. Наконец, она единственный человек, которому он верит до конца и может доверить самые сокровенные мысли, зная, что они встретят понимание и поддержку. Они все хотят отнять ее у него. Дело дошло до мерзкой клеветы, ее имя треплют в грязных петербургских подворотнях, будто речь идет не о царице, а о какой-нибудь прачке. И здесь та же цель — разрушить их счастливое согласие. Для этого придумываются и отвратительные истории про нее и Друга. Все они прекрасно понимают, что Григорий являет собой божью и народную мудрость. Именно это и пугает всех мерзавцев, кому не дорог трон, не дорога Россия. О, как была права жена, когда еще давно просила его проявить решительность, ударить кулаком по столу, напомнить всем, что он самодержец российский! Да, так он и сделает, и будет безжалостен к этой своре бездомных собак, пусть только кончится проклятая война.

Николай с болью сердца думает о том, как тяжело царице переносить все это одной там, в царскосельском дворце, окруженной неверными, лживыми людьми. Он обязан сделать все, чтобы она не чувствовала себя одинокой.

Николай отодвинул от себя папку, достал из стола лист бумаги с короной и вензелем...

«Моя возлюбленная!

От всего сердца благодарю тебя за твое милое письмо...— писал он четким, чуть наклонным почерком.— Самое горячее спасибо

за всю твою любовь и ласки за эти шесть дней, что мы провели вместе. Если б только ты знала, как это поддерживает меня и как вознаграждает меня за мою работу, ответственность, тревоги и пр.!.. Право, не знаю, как бы я выдержал все это, если бы богу не было угодно дать мне тебя в жены и друзья... Вчера после того, как мы расстались, я принимал толстого Хвостова — в течение полутора часов. Мы хорошо и основательно потолковали. После чаю я взял эту книгу —«Девушка-миллионер»— и много читал. Чрезвычайно интересно и успокаивает мозг... Я спал плохо или, вернее, очень мало, потому что не могу заснуть, ноги у меня так мерзли, что я наконец залез с головой под простыни и таким образом согрел край постели — в конце концов это помогло!.. Прибыв сюда нынче утром, я застал такую же холодную погоду, как дома,— 10 град. Теперь холод меньше, нет ветра, масса снегу. После длинного доклада — обычный завтрак со всеми иностранцами... Благослови бог тебя, моя душка, и дорогих детей! Навеки, мое дорогое Солнышко, твой старый муженек

Ники...»[1]

Приказав адъютанту отправить письмо, Николай почувствовал облегчение — вроде потолковал с женой, утешил ее своей любовью. Он взял со стола недочитанный роман «Девушка-миллионер» и направился в спальню, предвкушая удовольствие узнать, как развиваются дальше любовные приключения симпатичной героини этого английского бульварного романа...

4

Когда царь, улегшись на кушетке, с упоением читал роман о веселых приключениях авантюристки, английский генерал Вильямс и его французский коллега де Лягиш прогуливались по снежной дороге возле дома, где они жили. Разговаривали неторопливо. Подолгу молчали, прислушиваясь, как морозно скрипел снег у них под ногами.

— Что он привез из царскосельской спальни... что?— спросил Вильямс, придерживая рукой поднятый меховой воротник шинели.

— От разговора с вами он явно уклонился,— заметил Лягиш, потирая рукой стывшее ухо.

— Она должна была призвать его к решительности,— развивал свою мысль англичанин.

— Что-то незаметно,— сказал француз, пытаясь закрыть уши коротким воротником.— Удивительно его непостоянство в мыслях. Я помню, как год назад он сказал мне, что Дума — это не больше как клапан, с помощью которого он будет искусно выпускать пар из котла. А перед этой поездкой на фронт он уже сказал мне, что Дума — это навязанное России проклятье.

[1] Письмо подлинное, датировано 31 декабря 1915 года.

Молчание. Скрипит снег. Где-то далеко-далеко вскрикнул паровоз. У одинокой сосны они повернули обратно.

— А что, собственно, Дума?— остановился Лягиш.— Там в резких речах, которые его пугают, выражается желание, чтобы Россия воевала лучше. Этого, надеюсь, хочет и он, хотим и мы.

— Под обстрелом Думы находится он, верховный главнокомандующий, а это опасно.— Генерал Вильямс, чуть пройдя вперед, тоже остановился и смотрел, как медленно падал снег.— Бьюкенен был прав — взяв на себя войну, царь связал себя по рукам и ногам, не учел, что главное раздражение страны от хода войны.

— А по-моему, наоборот,— возразил Лягиш, зябко постукивая ногой о ногу.— Это как раз дает ему право, исходя из интересов войны, решительно навести порядок в Петрограде.

— Но где ему взять решительность?— наклонился к французу Вильямс.— Помните, с какой гордостью он однажды рассказывал, как крестьянин назвал его «наш добрый и тихий царь-государь»?

Лягиш промолчал, и они пошли дальше. Слушали скрип снега под ногами... Вильямс шагал выпрямившись, твердо ставя ноги. Лягишу было холодно в его обычно короткой шинели и легком картузе, он частил шаги, подергивал плечами, закрывая рукой то одно ухо, то другое.

У них нелегкое положение и слишком велика ответственность, ибо они знают, что́ поставлено их странами на карту этой войны. Генералу Вильямсу, когда он уезжал в Россию, военный министр Китченер сказал, что в этой войне решается, будем ли мы иметь право продолжать петь «Правь, Британия!» или мы должны будем забыть наш гимн... Для Франции сильная Германия — угроза непосредственная и смертельная, без устранения которой немыслимо будущее государства. Так что у Вильямса и Лягиша в их работе при Главной Ставке задача была одна, и они действовали дружно, помогали друг другу и даже обменивались информацией. И сейчас у них одна общая тревога — они установили, что на военные усилия России, на ее решимость вести активную войну все большее давление оказывает нечто для них необъяснимое, но очень опасное — положение в стране и Петрограде. Однако полного представления о катастрофическом положении страны они не имели и думали, что всесильный русский монарх способен навести порядок, ему бы только решительности побольше. По-видимому, так думали и в Лондоне и в Париже и требовали от своих агентов узнать позицию царя... Не так-то легко это сделать — вот сейчас он вернулся в Ставку, побывав и в армии, и в Царском Селе. С чем он вернулся? От разговора с Вильямсом, даже мимолетного, он явно уклонился. А Лягишу он рассказал такое... невозможно поверить.

Вильямс повернулся к шагавшему рядом французскому коллеге:

— Так что он вам все-таки сказал?

Под седыми, аккуратно подстриженными, побелевшими от инея усами маркиза шевельнулась улыбка:

— Не поверили? Сам потрясен. Но факт. Он сказал мне буквально следующее: «Единственное приятное воспоминание о днях, проведенных в Царском Селе, это три вороны, которых я застрелил в дворцовом парке...»

— Невероятно! — Вильямс остановился, смотрел прямо перед собой в снежную мглу.

— Между тем факт, — топчась на месте, продолжал Лягиш. — Действительно же Россия — это особая страна, здесь все не так, как представляется европейцу.

— Самое страшное, что он со своими воронами может оказаться в таких обстоятельствах, когда единственным спасением для него станет только сепаратный мир с Германией. Вы думали об этом? — спросил Вильямс, продолжая смотреть вперед.

— Вы считаете реальностью существование в Петрограде пронемецкой партии? — перестав топтаться, спросил Лягиш. Он подумал в эту минуту, что еще сегодня сообщит в Париж об опасении английского коллеги.

— Партии вряд ли, — ответил Вильямс и пошел дальше. — Но круг влиятельных лиц, пуповиной связанных с Германией, есть, и они не спят. И наконец, в Петрограде и возле царского дворца есть просто немецкие агенты. Не могут не быть. И для них создавшаяся сейчас обстановка максимально благоприятна.

Они молча еще раз дошли до одинокой сосны, где их следы на снегу поворачивали обратно, и Вильямс снова остановился.

— Интересно, устроит ли он после молебна традиционный русский новогодний ужин? Позовет ли нас?

— Как любит он говорить: «Все в руках божьих», — рассмеялся француз. Ему было что сообщить сегодня своему правительству...

Когда царь собирался идти в церковь, Фридерикс спросил у него, на сколько персон накрывать ужин.

— На двух, — ответил Николай.

— Кто будет иметь честь быть приглашенным? — поинтересовался министр двора.

— Вы, Владимир Борисович, только вы...

РАЗМЫШЛЕНИЯ

За что Россию обрекли потерять миллионы своих людей на полях неправедных сражений первой мировой войны?

Официальная хроника возникновения и развязывания войны выглядела очень просто и даже благородно. 28 июня 1914 года в городе Сараеве сербский террорист с символической фамилией Принцип убил наследника австрийского престола Франца Ферди-

нанда и его жену. Потрясенная страшным горем, Австро-Венгерская империя 23 июля предъявила Сербии резкий ультиматум. Он был отклонен, и через пять дней австро-венгерские войска двинулись в Сербию. Россия, верная славянскому братству, поднимается на помощь сербам и 30 июля объявляет всеобщую мобилизацию. В ответ Германия, верная своим обязательствам перед Австро-Венгрией, 1 августа объявляет войну России и спустя два дня — Франции, которая становится союзницей России. 4 августа Англия объявляет войну Германии. Позже и тоже блюдя верность своим обязательствам, в войну включаются Япония, Турция, Италия... Кажется, все логично, ясно и даже благородно.

И получается, что все началось с выстрелов в Сараеве. В русском журнальчике «XX век» были напечатаны стихи:

От случая возник пожар всесветный...
А если б дрогнула рука убийцы,
Мы б не узнали ужасов войны.

Ну что ж, это не первый случай, когда слепая поэзия пыталась спрятать за шелковым покрывалом грязное скотство действительности.

Подлинные причины возникновения войны были так же далеки от стреляющего Принципа, как далек город Сараево от Лондона, Парижа, Берлина, Вашингтона и Петербурга, где эта война и была «сделана». Все это уже описано в сотнях книг, и человечество не сегодня узнало, кто, почему и как организовал эту кровавую войну. В этих книгах в зависимости от того, кто, как и во имя чего писал, была или заведомая ложь, или полуправда, или, наконец, правда. Но над всем написанным сияет ленинская правда об этой войне. Владимир Ильич Ленин в первые же месяцы войны сказал о ней единственную на века беспощадную правду. Читаем!

«Европейская война, которую в течение десятилетий подготовляли правительства и буржуазные партии всех стран, разразилась. Рост вооружений, крайнее обострение борьбы за рынки в эпоху новейшей, империалистической, стадии развития капитализма передовых стран, династические интересы наиболее отсталых, восточно-европейских монархий неизбежно должны были привести и привели к этой войне. Захват земель и покорение чужих наций, разорение конкурирующей нации, грабеж ее богатств, отвлечение внимания трудящихся масс от внутренних политических кризисов России, Германии, Англии и других стран, разъединение и националистическое одурачение рабочих и истребление их авангарда в целях ослабления революционного движения пролетариата — таково единственное действительное содержание, значение и смысл современной войны» [1].

В одном абзаце все об этой войне. Абсолютно все! И мы понимаем, что выстрелы в Сараеве — это совсем не тот «случай», от которого «вспыхнул пожар всесветный». И мы знаем, что, «если

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 26, с. 15.

б дрогнула рука убийцы», война все равно началась бы. И мы видим всю ложь призыва к русскому солдату: «В бой за веру, за царя и отечество».

В эту кровавую войну Россия была введена силой могущественной и весьма реальной. Русский капитализм почувствовал свою силу, дающую ему право занять свое место на мировой арене. Россия просто не могла миновать этого кровопролития, и это не зависело от того, кто сидел на троне — Николай Второй или какой другой отпрыск романовского рода.

Военных союзников России ее завоевательские претензии не пугали. Мир рынков, который они собрались разделить, был велик, а неисчислимые людские ресурсы России союзников обнадеживали — активность России в войне спасет жизни солдат Англии и Франции. Дело дошло до того, что у этих союзников России был в ходу подсчет: сколько стоит солдат цивилизованной Европы и сколько — темной мужицкой России, и выходило, что российский стоил в три раза дешевле...

Война началась, и в первые же ее дни, желая показать миру свое военное могущество и чтобы помочь Франции, терпевшей поражение от немцев на Марне и под Парижем, Россия начинает второпях подготовленное наступление в Восточной Пруссии. «Кратчайшим путем — к Берлину»,— возвестил русский главнокомандующий великий князь Николай Николаевич. Одновременно он отдает приказ наступать в Галиции. Немцы перебрасывают силы с Западного фронта на Восточный. Франция выручена из беды, но русские войска, неся колоссальные потери, вынуждены отступать из Пруссии. Так в эти первые же недели войны для России определилась стратегия ее военных действий. Сказать точнее, определилось почти полное отсутствие далеко нацеленной и точно рассчитанной стратегии. В конце 1915 года начальник штаба Главной Ставки генерал Алексеев, получая от царя очередное повеление ускорить начало наступления для облегчения положения Франции, сказал с горечью: «Мы столько потеряли, ваше величество, спасая других, что невольно хочется спросить: будет ли кто-нибудь спасать нас?..»

Война давалась России тяжело. Обилие военачальников, отлично знающих парадные ритуалы, при резкой недостаче знающих, как воевать, постоянно сказывалось на ходе сражений. И за это Россия платила кровью. Не хватало пушек и снарядов к ним. Винтовок и тех не хватало — в начале войны их закупали на золото за границей. От всего этого каждый шаг вперед давался слишком дорогой ценой. Потери росли от сражения к сражению. Все глубже оседало народное горе. Росло недоумение — почему все идет так плохо? И все большее число россиян задавали вопрос: за что гибнут наши люди?

На этот вопрос говорили правду, единственную правду только большевики. Эта война, говорили они, продолжение все той же антинародной политики государства капиталистов и помещиков, и поэтому отношение к этой войне может быть только одно — пре-

вращать ее в войну гражданскую, в войну против самодержавия, против власти капиталистов и помещиков.

Но трудно, очень трудно было пробиться к народу голосу большевистской правды. Война прервала революционный подъем. Против загнанных в подполье большевиков велась борьба ожесточенная, на полное уничтожение. Достаточно сказать, что за годы войны их Петроградский комитет подвергался разгрому более тридцати раз. Были закрыты все печатные издания большевиков. Но буквально в первые же дни войны в России стали распространяться антивоенные листовки. Ленин, на которого царская охранка охотилась с особой яростью и тщанием, вынужден в это время находиться за границей, но и оттуда он через газету «Социал-демократ», через приезжавших к нему работников партии руководит деятельностью большевиков, помогая разобраться в сложнейшей обстановке и познать единственную правду о войне.

Очень трудно было пробиться к народу ленинской правде, но этим занималась партия честных и самоотверженных, которая знала, верила, что каждое слово этой правды, достигшее хотя бы одного человека, отзовется, получит новую жизнь, множась в сознании и сердцах других...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Мысль принять во дворце рабочих царю подала, как это ни странно, царица. По ее письмам и дневнику можно увидеть, как пришла она к этой мысли... Прочитала бюллетень департамента полиции за 1915 год и раздосадовалась: ну что же это такое, в самом деле? На каждой странице про рабочие беспорядки по всей Руси... и еще это противное, совсем не русское слово «пролетариат» — фи!

Своей досадой она поделилась с министром двора, престарелым Фридериксом. Весь в золотом шитье старик качнулся на слабых ногах, вроде бы поклонился царице:

— Ваше величество, что же тут сказать? Жиды мутят... И еще — стало больно много образованных...— У Фридерикса уже давно на все семь бед один ответ.

Александра Федоровна даже осерчала на старика:

— Ну что вы, право, твердите все одно и то же? Рабочий-то люд русский и вовсе не образованный, чего ему мутиться?

— Вы правы, люд это темный, ваше величество, но его можно повести куда хочешь. Разве могу я забыть, как мужики, которые в девятьсот пятом году громили мое имение, потом кланялись мне до земли и говорили, крестясь, мол, не ведали, что творили. Это уж так, ваше величество...

Царица прошла через свою спальню и по антресольной лестнице спустилась в кабинет мужа. Он сидел за столом, сжав голову ладонями, читал какой-то державный документ и не слышал, как появилась жена,— даже чуть отпрянул, увидев ее перед собой. Тя-

жело поднялся из кресла, улыбаясь и одергивая вздыбившийся на плечах китель:

— Ты возникла как тать, испугала меня...

— Прости, что помешала. Но знаешь, что я надумала? Почему бы тебе не устроить прием рабочих? Ты же однажды принимал даже купцов. Поговорил бы с ними по душам, как ты умеешь. Спросил бы у них — что они, в конце концов, хотят? Почему они все время устраивают беспорядки?

Царь задумался. Вспомнил недавно читанную записку екатеринбургского губернатора о том, как там на металлическом заводе чуть не возник бунт из-за системы штрафов, введенной на заводе администратором-немцем.

— Это мысль, моя милая,— тихо сказал он.— В самом деле, мы все время третируем этих людей, подозреваем их во всех смертных грехах, а они — и тут Гучков прав — снабжают фронт оружием и делают это все лучше. А кто ими повседневно занимается? Разве что полиция...— Тут Николай что-то вспомнил и лирическую сентенцию оборвал и долго молча и хмуро смотрел в пространство. Что он там видел? Не девятьсот ли пятый год? Не московское ли восстание рабочих, когда он не спал три ночи подряд и ему меняли грелки в ногах, чтобы прекратить озноб. Все не было тогда из Москвы вестей, справился ли с бунтом посланный им туда его Семеновский полк?— Я подумаю об этом, дорогая,— рассеянно сказал он.— Спасибо за мысль и за твои тревоги о государстве нашем.

Александра Федоровна, шурша длинным платьем, подошла к нему вплотную и положила руки ему на плечи, вздрогнув от прикосновения к холодным полковничьим погонам.

— Открытие Думы ты решил окончательно?— спросила она, глядя ему в глаза.

— Да. Все, буквально все, и даже Хвостов, советуют это сделать. Думу тоже нельзя только ругать, это вызывает там озлобление. Поэтому я решил сам присутствовать на ее открытии.

Ее руки соскользнули с его плеч.

— Боже... Ты полезешь в этот гадкий муравейник?!— тихо воскликнула она, тревожно глядя в его неуловимые глаза.

— Дорогая моя, это вызовет шок у думских крикунов, заткнет им глотки, они не посмеют...

— А если посмеют?— прервала его царица, ее возбужденные глаза расширились, заблестели.

— Успокойся, дорогая, закрыть Думу так же просто, как и открыть. А если они, не считаясь с моим шагом к примирению, начнут старое, тогда вся Россия будет приветствовать закрытие Думы. Понимаешь?— И без паузы спросил:— Какая утренняя температура у Алексея?

— Нормальная,— бегло ответила она.— Ты говоришь, и Хвостов советует?

— И очень убедительно. Им вообще сейчас владеет идея, что государственная власть должна использовать каждый предлог для

показа, что она служит обществу, а если мы не будем этого делать, откроется возможность действовать нашим противникам.

— Общество... общество... Я не понимаю, что такое общество,— раздраженно сказала она.— Но выходит, что ты собрался кокетничать с теми, кто нас всячески поносит. Между прочим, Григорий говорит, что Хвостов начал вилять.

— Что это значит — вилять?— спокойно спросил Николай.

— Ну... и нашим и вашим...

— А кто же это — вашим?

— Григорий не уточнял.

— Глупости, дорогая. Хвостов вилять просто не может...— Царь тихо рассмеялся.— Хоть он и Хвостов, а хвоста для виляния у него нет, вся его судьба до назначения министром располагает к вере ему, он наш, дорогая, весь наш со всеми потрохами, и к тому же на плечах у него хорошая голова, я в этом уже убедился...— Николай помолчал задумчиво и сказал:— И вот именно ему я и передам твою мысль о приеме депутации рабочих, и я уверен, он сделает это наилучшим образом...

Каминные часы начали хрустально отзванивать одиннадцать часов. Царь по-детски отсчитал звонки.

— Извини меня, дорогая, я еще не успел дочитать документ, а в приемной уже сидит Штюрмер, которого я пригласил на одиннадцать. И это как раз по открытию Думы, надо обсудить его речь...— Николай взял со стола недочитанный им текст речи премьера.

— Ну как он?— спросила царица.

— Штюрмер? Пока могу сказать только, что он робеет перед собственной властью. Но это пройдет...

— Мне нравится, что он такой... импозантный...

Царь промолчал...

Когда Александра Федоровна поднялась на антресоль и скрылась там за дверью, он взял со стола колокольчик, позвонил им отрывисто и опустился в кресло. В дверях бесшумно возник дежурный адъютант.

— Пригласите премьер-министра...

Пока Штюрмер неровной походкой шаркал по паркету, приближаясь к столу, царь невольно внутренне улыбнулся, вспомнив слова жены об импозантности премьера,— его смешила и перечерченная золотыми галунами громоздкая фигура Штюрмера, от лица до живота рассеченная черным клином бороды, и его длинные усы, торчащие в стороны, как сабли.

— Здравствуйте, Борис Владимирович,— царь вышагнул из-за стола и протянул руку поспешившему приблизиться премьеру.— Садитесь, пожалуйста.

Штюрмер подождал, пока сел царь, и, опираясь руками на подлокотники, осторожно опустился в кресло и подобрал под себя вечно ноющие от подагры ноги.

Пока он усаживался, царь вдруг вспомнил, как являлся к нему на аудиенцию другой премьер — Столыпин, про которого до

сих пор в секретных сводках охранки нет-нет да и читает он высказывания, будто он был единственной надеждой России, как он являлся к нему в подчеркнуто штатском виде, однажды даже в плохо поглаженных брюках, и как независимо, даже нахально держался, вообразив себя вторым царем России...

— Я весь внимание, ваше величество,— тревожно и радостно произнес Штюрмер...

Царь стряхнул неприятное воспоминание и спросил с улыбкой:

— Ну, как, освоились в делах своих?

— Что вы, ваше величество! Этого, я думаю, не будет никогда! Столько дел! Столько дел! Страшно подумать!— восклицательно проговорил Штюрмер, не сводя глаз с монарха.— Одна надежда на вашу монаршию поддержку,— добавил он тихо.

— Народная мудрость утверждает, что не боги горшки обжигают, но с божьей помощью вы справитесь, я уверен,— сказал царь серьезно и подвинул к себе текст речи премьера. Лицо у Штюрмера будто спряталось в бороду и смешно выглядывало из нее.

Царь опустил взгляд на бумагу.

— Борис Владимирович, я ознакомился с представленной вами речью на открытии Думы...— Он заглянул в конец речи...— Не слишком ли она велика?

— Можно сократить,— мгновенно ответил премьер.

— И сказалось, я думаю, то, что вы впервые будете на трибуне столь непривычной и мало привлекательной.

— Именно, ваше величество!— воскликнул Штюрмер.

— Нет смысла метать перед ними бисер,— продолжал царь.— Речь должна быть краткой и весьма сдержанной. Вы перед Думой не отчитываетесь, а только благоволите информировать ее. Я бы рекомендовал вам построить речь так...

— Минуточку, ваше величество! — Штюрмер согнулся к стоящему у кресла портфелю, защелкал его замками и вынырнул над столом уже с тетрадкой в руках, приготовясь записывать монаршие повеления.— Я весь внимание, ваше величество...

— Первое, и это лейтмотив всей вашей речи — война до победного конца и рука об руку с нашими союзниками. Второе — все для войны и победы! Абсолютно все! — Царь пристукнул по столу ребром ладони.— Третье: войну мы ведем очень тяжелую, и, как всякая война, она состоит не только из успехов. Но тут вы выразите радость по поводу взятия нашими войсками Эрзерума.

— Уже взяли, ваше величество?— радостно вырвалось у Штюрмера — ему очень хотелось сообщить Думе что-нибудь приятное и получить взамен расположение.

— Возьмем,— сухо отозвался Николай.— Далее, о вере правительства в великую духовную силу нашего народа, который понимает, что будущее России начнется с его победы над сильным

и коварным врагом. Пусть сидящие там господа задумаются над этой мыслью, прежде чем лезть на трибуну со своими прожектами будущего государства нашего...— Царь помолчал, глядя в окно, за которым густо падал снег...— Что же касаемо внутренних дел государства... Тут главное не залезать в дебри. Пройдитесь бегло по таким, скажем, вопросам, как... реформа церкви... земства... Скажите о необходимости введения земских учреждений в некоторых районах Сибири... но опять-таки бегло... Да, обязательно о немецком засилье, из ваших уст это прозвучит весьма пользительно...— Царь подумал и заключил:— И я думаю — вполне достаточно. А закончить речь надо оптимистическими фразами о войне и грядущей победе.

Закончив записывать, Штюрмер сказал:

— Я все понял, ваше величество, и речь переделаю. Как всегда, возле вас все проблемы видятся и глубже и яснее. Спасибо, ваше величество.

— У вас ко мне что-нибудь есть? — подчеркнуто устало спросил царь, это был его испытанный прием прекратить аудиенцию.

— О, целый портфель, ваше величество! — воскликнул Штюрмер, еще не усвоивший манер царя. Но увидев, как он нахмурился, поспешно добавил: — Но я не позволю больше отнимать ваше бесценное время и постараюсь все решить сам.

— Вот это мне всегда особо приятно слышать, а то ко мне идут все, кому не лень, с делами, которые обязаны решать сами.

Штюрмер встал, низко поклонился:

— Желаю вам здоровья, ваше величество, на радость и во благо отчизны нашей, а себе я все же оставляю надежду, что, когда мне будет действительно трудно, я получу вашу мудрую помощь.

— Естественно,— еле слышно произнес царь и, когда премьер уже поднял с пола свой тяжеленный портфель, сказал:— Я забыл сообщить вам, что я тоже буду на открытии Думы.

— Не может быть!— глупо воскликнул Штюрмер, но царь будто не слышал, добавил:

— Там, в этом... учреждении нам с вами нужно будет держаться очень спокойно, с полным достоинством власти и без всякого показа нашего им противостояния, наоборот — мы там будем заняты одним из наших государственных дел, и пусть это станет примером для тех, кто будет в думском зале. До свидания, Борис Владимирович...

Штюрмер уже сделал шаг от стола и вдруг остановился:

— Ваше величество, а само открытие Думы уже предрешено?

Царь на этот явно глупый вопрос не ответил и погрузился в чтение бумаг. Штюрмер почти на носках вышел из кабинета. Посмотрев на закрывшуюся за ним дверь, Николай подумал: неужели он действительно глуповат?..

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Один из руководителей Азово-Донского банка, Яков Васильевич Вишау, пригласил биржевого дельца Грубина к себе домой, предупредив, что у него есть интересное предложение.

Они знакомы давно. Грубин держит в Азово-Донском банке часть своего капитала, это дает ему небольшой, но уверенный доход. В коммерческих делах они разительно несхожи. Грубин сама осторожность, Вишау славится своими рискованными, но почти всегда удачными предприятиями. Он давно уже старается втянуть Грубина в свои масштабные операции. Вот и сейчас Вишау уговаривает его войти вместе с ним в сделку по перекупке на Дальнем Востоке большой партии марли для действующей армии.

— Это же беспроигрышный билет!— говорил Вишау напористо, горячо, и в это время его живое цыганское лицо успевало отражать то восторг, то муку, то недоумение, то испуг.— Громадный запас этого товара лежит там с японской войны. Представляете? Товар всеми забыт, это абсолютно точно! Хозяин складов считает, что за давностью хранения, причем хранения, никем не оплаченного, товар давно стал его собственностью! И он прав. Об этом есть пункт закона.

— И все же фактически это не его товар,— вставил Грубин, морщась от трамвайного скрежета. Они разговаривали в огромном кабинете, все окна которого выходили на Литейный проспект, где трамвайный путь делал поворот, и время от времени в их разговор врезался железный скрежет трамвайных колес.

— Ну почему вы не можете понять, что эту юридическую сторону дела он берет на себя? Рискует он, а мы этот риск только оплачиваем и то в случае удачи...— Вишау всей своей мощной фигурой выдвинулся из глубокого кожаного кресла вперед и смотрел на Грубина с мучительным непониманием.

— Нет. Я воздержусь,— тихо и твердо ответил Грубин и, неторопливо сняв с носа очки, сложил их и защелкнул футляр.

Вишау вскочил и остановился перед Грубиным со скорбным, как будто испуганным лицом.

— Непостижимо...— прошептал он.

— Не сердитесь на меня, для такой сделки вы компаньона найдете.

— А вы из-за своей осторожности потеряете большие деньги,— сказал Вишау высоким голосом, словно зачитал приговор.

— Моя любимая жена, выходя за меня, сказала: «Никакого риска», и нарушить это условие нашего брака я не могу,— доверительно ответил Грубин. Он виновато улыбнулся тонкими белыми губами и спросил:— Скажите-ка лучше, что нового в верхах?

Жена Вишау близка к салону балерины Кшесинской, там бывает петроградская знать, и Грубин не раз по этой цепочке получал ценную информацию...

— Лучше не знать,— ответил Вишау с печальным лицом.

— Что так?— поднял светлые брови Грубин.

— Никому нет веры,— шепотом ответил Вишау.

— Никому? Так быть не может,— задумчиво сказал Грубин.— И потом неясно, кто кому не верит?

— Никто никому, Георгий Максимович.

— Но я-то, например, вам верю,— улыбнулся Грубин, снимая пылинку с форменного сюртука банкира.

— Ну, дорогой мой, когда вера пропадет и в нашем деловом мире, рухнет финансовый фундамент державы, тогда и всему конец.

— Кстати, Яков Васильевич, как у вас котируется Манус? Ему верить можно?

В больших черных глазах Вишау зажглось любопытство:

— Удивлен, Георгий Максимович. Не я, а вы ведете с ним дела-делишки. А спрашиваете у меня.

— Никаких дел-делишек у меня с ним нет, только давнее знакомство. А вас ведь не зря называют финансовым градусником.

— Ну что ж, отвечу...— Вишау оглянулся на окна, за которыми заскрежетал трамвай, переждал и сказал:— Манус — фигура прочная, я в него верю.

Грубин улыбнулся:

— А говорите: никто никому.

— То о мире, где действует власть,— тихо ответил Вишау и, взглянув на круглые настенные часы, стал торопливо застегивать верхние пуговицы мундира.

— Власть — это государь,— так же тихо произнес Грубин.

Рука Вишау, застегивавшая пуговицу, на мгновение замерла, лицо застыло в удивлении. Но это, может быть, потому, что он застегнул последнюю пуговицу и ворот давил шею. Он одернул мундир и сказал разочарованно:

— Я очень сожалею, что мы не сговорились...

Грубин вышел на Литейный и, подняв меховой воротник, неторопливо направился к Невскому. Встречей с Вишау он на этот раз недоволен. Разве только получено еще одно подтверждение, что Манус фигура все еще прочная — это ему очень важно знать. Ну и еще вот это «никому нет веры». Но это Грубин наблюдает и сам.

На Невском, перейдя Аничков мост, Грубин посмотрел на часы городской думы и пошел еще медленнее — там, у думы, он должен быть точно в три. Всех связанных с ним людей он приучает к немецкой точности.

Тайная работа органически вошла в его жизнь, плотно слилась с его коммерческой деятельностью и словно спряталась в ней. Добыча ценной информации была, конечно, нелегким и кропотливым делом, однако широкий круг разнообразных знакомых, деловые связи, умение слушать, способность читать газеты между

строк помогали тому, что «пустым» он никогда не был. Но оставался один момент в его работе, который постоянно его тревожил,— встречи со связными, которым он передавал информацию и от которых получал новые задания своих далеких начальников. Сейчас у него было два канала связи. Один постоянный, через завербованного немецкой разведкой шведа, работавшего чиновником в шведском посольстве. Другой канал был чисто немецкий, но связники здесь менялись. В прошлом году приезжал связник, для русских властей являвшийся представителем шведской электротехнической фирмы «Эриксон», поставлявшей России телефонные аппараты и коммутаторы. Его сменил научный сотрудник скандинавского метеоцентра, приезжавший для координации службы прогнозов погоды. Последнее время связником был пожилой респектабельный господин, официально приезжавший в Петроград как представитель шведского международного банка. Грубин понимал, что к нему посылают опытных и умелых людей, и все же тревожился — поди знай, насколько тот осторожен, не тащит ли за собой тень русской контрразведки? И вообще каждый новый человек, посвященный в твою тайную службу,— это уже опасность, об этом ему говорили еще в академии генерального штаба. Но что мог сделать Грубин? Только одно — быть предельно осторожным самому и сводить к минимуму срок общения со связниками. Ни минуты лишних разговоров. Только о деле и без ненужных подробностей...

Сейчас ему предстояла встреча со шведом. Нагловатый молодой человек относился к этой своей работе без должного чувства ответственности, она была для него просто дополнительным и солидным заработком. Грубину не раз приходилось делать ему замечания, но швед выслушивал их с ухмылочкой на розовощеком лице и отмалчивался...

Грубин увидел его издали. Рослый, в куртке мехом наружу, гольфы заправлены в нездешние, отороченные мехом высокие ботинки на толстенной подошве. На голове финская суконная шапка с козырьком. Ну вот, опять! Сколько раз он просил его приходить на свидания, одевшись поскромнее и больше по-местному,— не действует. И конечно же, все прохожие пялят на него глаза.

Грубин прошел мимо, и швед пошел за ним вдоль галереи Гостиного двора. На углу Апраксиной линии они остановились. Грубин передал шведу небольшой сверток.

— Мы в расчете,— сказал он одними губами по-немецки.— На ваше имя и адрес я выписал журнал «Двадцатый век», все номера будете отправлять по тому же адресу. Все. До свидания...

2

Георгий Максимович Грубин появился в Петрограде за два года до войны. Заканчивался двенадцатый год. Газета «Русское слово» писала в конце декабря:

«Грядет Новый год. И хотя он Тринадцатый, наше суеверное чувство молчит, и мы смело и с надеждой смотрим вперед. Давно Россия ждала такого времени, и ее истерзанная душа заслужила на него святое право...»

Вот в это будто бы спокойное время Георгий Максимович Грубин и появился в Петрограде. Финансовые дельцы русской столицы обнаружили возле себя худощавого господина, всегда строго и со вкусом одетого, немногословного, но очень приятно умеющего слушать других. На бирже и в петербургских банках сделали вывод, что это человек с деньгами и хорошо знает им цену. Появлению его никто не удивился... Тогда в финансовом мире то и дело появлялись новые дельцы. У них даже было свое прозвище: «кометы». Весь интерес к новой «комете» — сколько она продержится на финансовом небосклоне.

Присмотревшись к Грубину, финансовые тузы Петербурга сделали вывод, что этот в трубу не вылетит. Грубин играл только наверняка, всякое дело, в которое он ввязывался, приносило ему доход. Замечено было, однако, что в большую, сопряженную с риском игру Грубин не вступал. Банкир Манус сказал о нем вскоре: «Лошадка серая, но верная...»

Георгий Максимович был женат на венгерке, очень красивой женщине цыганского типа, Алисе Яновне. Детей у них не было. Они вели светскую жизнь, но без показного шика и в тщательно избранном кругу людей. В их доме на Васильевском острове бывали знаменитые артисты, художники, высокопоставленные чиновники, дипломаты. Алиса Яновна интересовалась искусством и по пятницам устраивала в своем доме салон служителей муз. Но и это делалось вполне серьезно, с участием знаменитых музыкантов и известных меценатов. Так, однажды на вечере-конкурсе, где выступали солисты из церковных хоров, главным судьей был Федор Шаляпин, и вечер этот потом имел серьезную прессу. Во всем остальном семья Грубиных не была, что называется, на виду, и кто они такие, откуда приехали в Петербург, об этом было известно только то, что скупо рассказывали сами супруги...

Георгий Максимович родился и рос где-то в провинции, на юге. Родители его — средне богатые люди — умерли еще в прошлом веке, оставив его пятнадцатилетним сиротой. Вскоре он уехал в Австро-Венгрию к родственникам отца. Окончил университет в Вене. Там он познакомился со своей будущей женой — единственной дочерью крупного венгерского помещика. Однако отец ее не пожелал принять в свою семью русского, и кончилось это тем, что в 1907 году супружеская пара переехала жить в Россию. В 1910 году отец Алисы Яновны умер, и только тогда они получили часть большого наследства. В конце концов они обосновались в Петербурге, где Грубин решил заняться коммерческой деятельностью. Такую историю семьи знали их знакомые...

Грубин был похож на англичанина — высокий, худой, с узким интеллигентным лицом, несколько отяжеленным подбородком. Его серо-голубые живые глаза прятались за стеклами золотых очков.

Негустые белесые волосы он расчесывал на строгий прямой пробор. Говорил он негромким ровным голосом, никогда не раздражался. Европейское образование, острый ум делали его интересным собеседником для людей любого круга, и со всеми он был ровно интеллигентно-почтителен.

Его жена говорила по-русски с заметным акцентом, но умение держаться в обществе и, наконец, ее яркая красота и обаятельность делали милой ее не совсем правильную русскую речь. Одевалась она тоже строго, но видевшие ее впервые потом надолго запоминали ее стройную фигуру, ее широко расставленные большие черные глаза, ее иссиня-черные волосы, тонкую шею, ее пухлые губы, улыбку, открывавшую белоснежные зубы, и ямочку на подбородке, ее низкий гортанный голос.

На самом деле история этой семьи была несколько иной...

Георгий Максимович Грубин родился в 1869 году в Одессе в семье немецкого колониста Макса Грубера, который вел оптовую торговлю виноградом на экспорт. Его мать была русская. Дело отца было поставлено хорошо, и семья жила в достатке. В 1880 году умерла мать, и одиннадцатилетний Георгий переехал с отцом в Германию, в Гамбург, где отец вступил в дело своего родственника и стал совладельцем процветавшей пароходной компании. Отец обожал своего единственного сына и мечтал видеть его образованным человеком, государственным чиновником высокого ранга. После окончания гимназии Грубин был отправлен в Вену, где с блеском окончил университет. Там он действительно познакомился с дочерью венгерского помещика Алисой и женился, получив за ней солидное приданое. Молодые вернулись в Германию, после чего последовала военная служба Грубина. И вот тут началась его новая, неожиданная для его отца и для него самого судьба.

Некое военное начальство обратило внимание на то, что курсант военного училища знает русский язык. Его вызвали в Берлин, и он стал слушателем специального курса академии генерального штаба. После трех лет обучения, получив младшее офицерское звание, он работал в генеральном штабе, в его восточном отделе с ориентацией на Россию. На этой службе он сделал довольно быструю карьеру, дослужился до звания обер-лейтенанта и был причислен к свите молодого императора Вильгельма...

В 1909 году Грубин из Берлина исчез. Для непосвященных его исчезновение произошло незаметно, сослуживцам же стало известно, что по семейным обстоятельствам он отчислен в резерв. И только очень узкий круг людей из немецкой разведки знал, что обер-лейтенант Генрих Грубер отбыл в длительную служебную командировку...

Молодые Груберы вскоре обосновались в венгерском городе Деньдьеше, где проживал отец Алисы. Оттуда, из Венгрии, Георгий Максимович начал хлопотать о возвращении себе русского подданства, как родившемуся в России. Хлопоты увенчались успехом, и в августе 1910 года супружеская пара сошла с парохода

в Одессе — в это время они уже были Грубиными. Они сняли дом на побережье под Одессой и некоторое время скромно жили там, не заводя знакомств и ничем не занимаясь, кроме своего сада. Особо любопытные люди могли узнать, что они вынуждены жить на побережье в связи с болезнью легких у Алисы Яновны. Весной 1912 года Грубины переехали в Петербург, где купили дом на Васильевском острове.

До начала русско-германской войны оставалось два года. За этот срок Грубин и его жена заняли в жизни Петербурга свое скромное и вместе с тем прочное место.

3

В этот морозный февральский день 1916 года Георгий Максимович после разговора с Вишау и встречи со связным должен был обедать с банкиром Игнатием Порфирьевичем Манусом.

Вишау сказал Грубину, что он ведет с Манусом дела-делишки, но это была неправда. В делах Мануса Георгий Максимович никогда участия не принимал, что делало их отношения свободными от взаимной подозрительности и осторожности.

Грубин держался с ним независимо, но с той долей почтительности, которую не мог не заметить и не оценить Манус. Он пользовался советами Мануса, но последнее время чаще к нему за советами обращался Манус, убедившийся, что у этого осторожного коммерсанта умная голова.

Директор правления Товарищества петербургских вагоностроительных заводов, член совета Сибирского торгового банка, акционер и кандидат в председатели правления Общества Юго-Восточной железной дороги, акционер Сибирского торгового банка, Игнатий Манус ворочал миллионами. Среди дельцов говорили: «Ищи, где роет Манус, там перепадет и тебе...» Это был человек болезненно самолюбивый, злопамятный, к врагам своим беспощадный.

Под стать его финансовой мощи был и он сам — крепко сколоченный пятидесятилетний мужчина с лобастой головой на короткой толстой шее. Глубоко под выдавшимися вперед надбровьями поблескивали умные, будто равнодушные ко всему светлые глаза. На коротких литых ногах он прочно стоял на земле, а руки у него были поразительно маленькие, пухлые и холеные. Он шутил, что руками только оформляет чеки и оттого они у него сохнут. Одевался он скромно и даже небрежно, не любил галстуки и потому чаще бывал в наглухо застегнутых сюртуках. Указательный палец его левой руки перехватывал перстень с крупным голубоватым «лунным камнем», про который он говорил «мой талисман»...

«Деньги ум любят»,— говаривал Манус, и многие его финансовые дела это подтверждали. Его операция, в результате которой он стал во главе Товарищества петербургских вагоностроительных

заводов, была проведена им с таким блеском, что за это ему простили ее беспощадную жестокость к конкурентам.

Манус финансировал черносотенную газету «Гражданин» и сам под псевдонимом Зеленый печатал на ее страницах полезные для себя статьи, однако на верхи политики он до недавнего времени не лез.

В финансовой деятельности Мануса была одна особенность, которой не мог не заинтересоваться Грубин. В большинстве его коммерческих предприятий значительную часть представлял немецкий капитал. До начала войны это обстоятельство никакой роли не играло. Более того, участие немецкого капитала считалось признаком солидности предприятия — немец в плохое дело деньги не вложит. Наконец, в этом можно было увидеть и своеобразное отражение дружеских отношений России и Германии и даже родства их монархов. С началом войны положение резко изменилось. О засилье в русских делах немецких банкиров закричали газеты, заговорили ораторы в Государственной думе. Был момент в начале 1915 года, когда Манус был очень этим встревожен. Он даже начал зондировать почву для перевода своего капитала в нейтральную Швейцарию, чтобы оттуда вести свои коммерческие дела. От этого шага его, как он считал, спас Грубин...

Они встретились тогда в последний день масленой недели. Вечером в ресторане Кюба, увидев одинокого Грубина, Манус пригласил его за свой стол вместе отужинать...

Манус только что провел бурное собрание основных русских акционеров общества вагоностроительных заводов. Атмосфера на собрании создалась очень напряженная — акционеры, перепуганные антигерманской агитацией, хотели бы отречься от немецкого капитала, но не знали, как это сделать... Манус был в ярости — с помощью немецкого капитала нажили, мерзавцы, состояния, а теперь, видите ли, проснулись в них русские патриоты... Но такая же атмосфера назревала и в других его делах... Совет личного юриста перебазироваться в Швейцарию, который еще вчера выглядел абсурдным, стал казаться ему вполне приемлемым, более того, единственно верным: или разорение, или Швейцария...

Обо всем этом Манус и собирался осторожно поговорить с Грубиным. А у Георгия Максимовича была своя, очень важная задача для этой, как казалось Манусу, случайной встречи...

Публики в зале было немного, тогда, в первый год войны, вообще многие люди ходить в ресторан стеснялись. Не горели парадные хрустальные люстры, зал скромно освещали матовые факелы бра и настольные лампы с зелеными абажурами. Музыки не было, слышалось только позвякивание посуды и неясный говор гостей за несколькими столами. Манус заказал ужин седовласому метрдотелю и, когда тот ушел, спросил:

— Как идут дела? Вы расстроены чем-то?

— Хорошему настроению мешают известия с фронта,— тихо ответил Грубин, не поднимая спрятанных за очками глаз и поглаживая крахмальную скатерть.

— На войне как на бирже: сегодня проиграл, завтра выиграл,— ответил Манус.

Грубин поднял взгляд:

— На бирже, Игнатий Порфирьевич, не льется кровь.

— Это еще как сказать...— Крупное налитое лицо Мануса скривилось улыбкой.— Кости на бирже трещат, и еще как. И дух там всегда кто-нибудь да испускает. У нас с вами тоже война.

— У нас с вами?— подняв узкие белесые брови, сказал Грубин.— Не дай бог.

«Знает свой шесток»,— подумал Манус. Конкурентов грубинского масштаба он мог топить как слепых котят.

— Я в том смысле, что и вы и я ведем на бирже свою войну,— продолжал Манус.

— Вы мне льстите,— улыбнулся Грубин.— Это похоже... если бы генерал так сказал солдату.

— И по существу, генерал был бы прав. Какой он сам воин без солдата?

— Я бы побоялся быть при вас солдатом.

— Бездарный генерал?— Глубоко сидящие глаза Мануса сузились, он точно целился в бесстрастное лицо собеседника.

— Нет,— ответил Грубин.— Генерал излишне смелый, а тыл у него не обеспечен. Впрочем, если не врут газеты, это же самое происходит и на настоящей войне.

Манус сдвинул густые брови и, наклонившись над столом, сказал:

— Знаете что, давайте кончать игру в жмурки...

В это время к ним приблизилась целая процессия: впереди шествовал метрдотель, за ним официант и мальчик с подносами, заставленными едой. Закуски на стол подавал сам метр — это была привилегия только для таких гостей, как Манус. Все происходило в молчании — никто из служащих в этом ресторане затевать разговор с гостями не имел права.

Манус нетерпеливо ждал, пока официанты отойдут, и наконец, он снова склонился над столом:

— Я слушаю вас, Георгий Максимович... насчет моих тылов, пожалуйста...— напомнил он.

— Газеты — опасность для вас не очень серьезная,— не сразу начал Грубин.— Они ведут себя как сплетницы — что услышат на базаре, то и кричат. Приятного, конечно, мало, но кто их читает? Половина населения вообще газету в руки не берет, в селе неграмотные, а остальные к газетному крику относятся несерьезно.

— Здесь, в столице, газетную брехню читают все, а дела делаются здесь,— быстро и сердито проговорил Манус.

— Газетами можно управлять,— ответил Грубин.— Но и это требует умения. И тут мы с вами подошли к самому важному вопросу...— Грубин поправил на носу очки и продолжал с невозмутимым лицом:— Кто у нас министры и почему именно эти люди министры? Вы знаете, я учился и некоторое время жил в Вене и Будапеште, наблюдал тамошнюю жизнь, политику, коммерцию

Австро-Венгрии, Франц-Иосиф — старый маразматик, но возле него всегда есть правительство из умных людей. Кто нашел их и сделал министрами? Люди вашего масштаба и вашей сферы деятельности, Игнатий Порфирьевич.

Манус выпрямился и с интересом осмотрел стол:

— По-моему, самое время подкрепиться...

Оба они пить не хотели, и подошедший было официант снова отошел. Манус сам переставил графинчик с водкой на подсобный столик:

— Чтоб и соблазна не было...

Ел он с аппетитом и несколько шумно, будто весь отдавшись этому занятию и больше ни о чем не думая. Но, видя перед собой его круглое здоровое лицо, Грубин знал, что думает он сейчас не о еде... «Думай, думай, Игнатий Порфирьевич, мне так важно, чтобы ты проглотил мою сладкую приманку...»

Грубин знает цену Манусу и его возможностям. Конечно, он типичный выскочка, но обладает таким сильным характером и такими недюжинными способностями, что не воспользоваться этим было бы грешно...

Став миллионщиком, Манус, как и прежде, мыслит только категориями наживы и все окружающее рассматривает в одном аспекте — мешает это или помогает ему делать новые миллионы. Жадность его к наживе поистине беспредельна, и горе тому, кто вставал на этом его пути. Но он еще и тщеславен. И Грубин делает ставку на тщеславие Мануса, ему нужно, чтобы он полез в политику. Это будет политикой только в ограниченном понимании Мануса, на самом деле Грубину нужно, чтобы он влез в среду черных дельцов, близких к правительственным кругам, к распутинско-протопоповской камарилье...

Разговор возобновился только за десертом.

— У нас министров назначает царь,— сказал Манус. Он прекрасно помнил весь ход разговора.

— Весь вопрос, кто предлагает кандидатуру,— уточнил Грубин.

— Надо думать, премьер-министр.

— После Витте и Столыпина в России нет премьер-министра,— ответил Грубин.— Россия как общество развивается с опозданием против Запада лет на двадцать. Дворянское сословие, фамильные привилегии — все это анахронизмы. Недавно я прочитал в американском журнале статью Форда. Он пишет, что основа политики — экономика, и делает вывод: как минимум политика не должна мешать развитию экономического могущества Америки. В России этого не понимают, и, что особенно обидно, не понимают даже такие люди, как вы...

Манус молчал. То, что он услышал, последнее время интересовало его очень сильно. Но он просто не представлял себе, с какого боку он может укусить этот сладкий пирог, возле которого хлопочут те же не признающие его магнаты Рябушинский с Коноваловым... Но интересно, что думает об этом хитрый Грубин...

— Ну хорошо, я ринусь в политику, запущу дела, и конкуренты сожрут меня с костями,— рассмеялся Манус.

— На те деньги, что вам стоит газета «Гражданин», можно иметь при себе человека, который будет делать для вас все, что надо,— серьезно ответил Грубин.

Манус внимательно посмотрел на него: неужели он набивается на эту роль? А что? Не взять ли его, в самом деле, в свою упряжку? Лишний умный человек при деле всегда на пользу.

— Не знаю я такого человека,— сказал Манус.

— Найти можно,— ответил Грубин и, неторопливо сняв очки, принялся методично протирать стекла замшевым лоскутком.

Но, как Манус ни старался, Грубин не предложил ему свои услуги, только пообещал помочь в поиске нужного человека.

— Давно хочу у вас спросить...— Манус отодвинул от себя тарелку и вытер губы салфеткой.— Почему вы с вашей мудрой головой так осторожничаете в делах? Я же вижу, у вас острый нюх, вы ведете только верную игру и всегда знаете, у кого козыри, а ставки делаете только минимальные. К примеру, ваше дело с брезентом для армии. Вы же сами его нащупали, и я сразу увидел, что эта сделка может стать грандиозной. А вы сняли с нее первую пенку и отошли. Извините, конечно, что лезу в душу, но в чем дело?

На тонком лице Грубина возникла и застыла сдержанная улыбка. По всей вероятности, Манус хотел предложить ему участие в его делах и этим способом пристегнуть к себе...

— Моя умная жена говорит: у нас денег больше чем достаточно, наследников у нас нет, и я не хочу, чтобы ты променял меня на биржу,— сказал Грубин.— И я с ней полностью согласен. Мы живем счастливо, у нас есть время и средства, чтобы пользоваться радостями жизни. А вы, Игнатий Порфирьевич, относитесь к людям совсем другой школы жизни. В вашей жизни ничего, кроме денег, нет. Я ни разу не видел вас ни в театре, ни в концерте, а ведь в Петербурге все это первоклассно. Но я вовсе не считаю вас темным человеком. Нет. Просто у вас такой грандиозный масштаб дел, когда вы не имеете права позволить себе выключиться хотя бы на час.

— Положим, когда я хочу, я прекрасно выключаюсь,— усмехнулся Манус.— Но ходить в театр, смотреть, как там кривляются люди,— занятие не для меня.

— А у нас с женой каждое посещение театра — это праздник.

— Я этого не понимаю,— проворчал Манус.— Мне рассказывают про московского купца Третьякова. Закупал картины, галерею какую-то создал. Значит, дохлый он купец и дохлое у него дело.

— А Россия, Игнатий Порфирьевич, за это дохлое дело публично его благодарит. Рос-си-я! Я бы на вашем месте однажды купил бы у какого-нибудь разорившегося помещика дорогую картину и подарил бы ее столичному музею. Эта трата дала бы вам большие дивиденды, в том числе и политические.

— Ну нет, этого вы не дождетесь,— рассмеялся Манус.
— Хотите серьезный разговор?— вдруг спросил Грубин.
Улыбка мгновенно слетела с налитого лица Мануса:
— Только этого и жду, тем более мы раньше, по-моему, подошли к важному вопросу.
— Я рад, что вы это заметили... Дорогой Игнатий Порфирьевич, вам пора вкладывать деньги в политику. Роль крупного дельца вы переросли.
— Кто гарантирует проценты с капитала?
— Министры, которых вы возьмете в свои руки.
Они надолго замолчали. Манус покачал усмешливо головой:
— Как покупать поставщиков и прочий такой товар, я знаю. А это?
— Техника та же,— улыбнулся Грубин.— Разве стоить это будет чуть дороже. Но и выигрыш... соответственно...

ГЛАВА ПЯТАЯ

Николай все-таки тревожился по поводу затеянного им приема рабочей депутации. Он не разделял страхов Фредерикса и генерала Воейкова, которые считали, что рабочие могут устроить против него какие-то эксцессы. Воейков даже предлагал во время приема расставить в зале сотню преображенцев. Николай это неуемное усердие высмеял: «Кого же я тогда буду принимать? Преображенцев?»... Нет, нет, в этом он целиком полагается на охранное отделение и свою личную охрану во главе с генералом Спиридовичем. Его тревожило другое — он не знал, как лучше провести этот прием, чтобы не стать мишенью для насмешек в той же Думе.
Он решил посоветоваться об этом с умным Хвостовым.
Хвостов был принят незамедлительно, и вот он уже сидел в кресле перед столом царя.
— Алексей Николаевич, я пригласил вас только по одному вопросу — о приеме мною депутации рабочих...
— Все подготовлено, ваше величество,— отозвался Хвостов.— Даже известны имена членов депутации. Я позволил себе сам решить количество, их будет одиннадцать человек. Больше не надо, ваше величество.
— Да, да, вполне достаточно, если с каждым по два слова сказать, уже нужен целый час.
— Весь регламент приема, ваше величество, тридцать минут.
— Хорошо бы уложиться... Время невероятно дорого.
— Беречь ваше время — моя обязанность.
— Ну а кто же они будут, эти мои гости?
Хвостов отыскал в папке нужную бумажку:
— Все они, ваше величество, с вагоноремонтного завода.
— А почему все с одного завода? Эффектней было бы представительство более широкое.

— Ваше величество, вы соизволили высказать пожелание, чтобы этот прием был подготовлен поскорее, а проверка каждого нового депутата потребует времени. Еще соображение такое: этот завод хорошо работает и там уже давно не было никаких беспорядков, так что пусть остальные поймут, что именно поэтому данный завод и удостоен чести послать депутацию.

— Не лишено, не лишено,— задумчиво согласился царь.

— Доложить поименно, ваше величество?

— Ну-ну...

— Возглавит депутацию управляющий заводом потомственный почетный гражданин господин Станков. Личность сильная и ничем не замутненная. Далее идут: мастер из кузнечного цеха Александр Серов, из столярного — Михаил Попов, из механического — Василий Делов и, наконец, из категории недавних крестьян, теперь рабочих: Михаил Кузнецов, Дмитрий Абашкин, Амон Павлов, Прокофий Лебедев, Прокофий Каганов, Иван Рыбак и Николай Бойков. Все, ваше величество.

— А что это там за Каганов?

— Каганов?— Хвостов заглянул в свою бумажку и рассмеялся:— Моя ошибка, прошу извинить, ваше величество, я неправильно прочитал: не Каганов, а Качанов. Прокофий Качанов.

— И что это там за имя... Амвон?

— Не Амвон, ваше величество, а Амон. Представьте, есть такое имя, проверили по святцам.

— Чего только нет в России,— тихо посмеялся царь.

— Все есть, ваше величество! Как в Греции!— улыбнулся Хвостов.

— А при чем тут Греция?— нахмурился царь.

— Это в пьесе господина Чехова «Свадьба» один грек то и дело повторяет за пьяным столом, что у них в Греции все есть...

Царь рассмеялся:

— Конечно, где-где, а уж в Греции все есть... Но почему так много недавних крестьян?

— Не случайно, ваше величество. Эти еще не прошли, так сказать, пролетарского образования, и они не будут особо разговорчивы...

Царь улыбнулся:

— Понимаю... участники депутации уже знают, что будут у меня?

— Ну что вы, ваше величество!— даже обиделся Хвостов.— Как можно кого бы то ни было загодя уведомлять о подобном? Все они проверены нами тщательнейшим образом, но с соблюдением всех мер, чтобы им самим ничего не стало известно. Мы их доставим в Царское Село в казармы полка охраны, а потом оттуда уже прямо сюда, во дворец. Тут расчет еще и на потрясение их умов,— улыбнулся Хвостов.— Словом, все готово, ваше величество. Соблаговолите назначить день и час.

— Это надо сделать до открытия Думы,— сказал царь, перелистывая странички настольного календаря.— Вот, лучше всего в понедельник, двадцать пятого января.

— Слушаюсь, ваше величество... Но вас не смущает, что это понедельник?

— Наоборот. Рабочий день, а у них получится праздник.

— Действительно это хорошо, ваше величество,— Хвостов сделал пометку на своей бумаге.— Вы, ваше величество, соизволили распорядиться об открытии Думы. Уже есть ваше волеизъявление насчет дня точно?

— Не будем торопиться с объявлением дня, но, думаю, где-то десятого — пятнадцатого февраля. Я собираюсь назначить одновременно заседание Думы и Государственного совета. Пусть будет постоянный противовес серьезности болтливой Думе.

— Это очень умно, ваше величество... Но я позволю себе просить вас, чтобы о дне открытия Думы я был извещен хотя бы дня за два.

— Я сделаю такое распоряжение. А что есть у вас по думскому вопросу?

— Всякое, ваше величество. Как обычно, в нашем обществе идут разные толки. Время сложное, и тем больше всяких оракулов.— Хвостов положил перед собой и раскрыл папку.— Вот, к примеру... Типичное из салонной и кулуарной болтовни... Думаде должна свалить правительство и создать правительство доверия.

— На всех перекрестках болтают об этом,— осерчал царь.— А я просто не могу уяснить себе, что это такое — правительство доверия? Кто им нужен в это правительство?

— Ясно кто, ваше величество,— тихо и огорченно ответил министр.— Родзянко... Милюков... Гучков и так далее.

— И даже Гучков?— поднял брови царь.— Кстати, как там с его болезнью?

— Плох, очень плох,— безразлично ответил Хвостов.— Но он, ваше величество, последнее время сильно поднял свои акции тем, что их военно-промышленный комитет кое-чего добился с производством оружия.

— Это же результат усилий всего государства! Как можно на этом спекулировать какой-то отдельной личности? А если Гучков умрет, то все дело станет? Чушь! Наконец, почему эти... правительство доверия, а все другие без доверия? И за что доверие именно и только этим?— Царь так осерчал, что выговаривал это Хвостову, с такой злостью глядя на него, будто он главный виновник этой непонятности.

— Ваше величество, все тут более чем ясно,— заговорил Хвостов, когда монарх малость поостыл.— Доверие только тем, кто критикует правительство. Вы, ваше величество, изволили точно выразиться — спекуляция. Теперь выходит, что хорош только тот, кто мажет дегтем ворота государственной власти.

— Мне это надоело,— тихо произнес царь.— Мое доверие — вот главное доверие. И только так!

— Истина, ваше величество,— согласился Хвостов. И, решив несколько пригасить опасный гнев царя, добавил:— Истины же ради следует уточнить, что эти разглагольствования о правительстве доверия весьма поименны.

— То есть?— насторожился Николай.

— Мы всех крупных и мелких спекулянтов знаем поименно, и список их не так уж велик. Опасность в другом — в нынешней атмосфере всесветного критиканства само это словечко «доверие» весьма привлекательно, и многие люди клюют на него вслепую. Опять же не случайно за это словечко ухватились и социал-демократы, этим все в руку, что может завлечь слепых людей в их сети. Мы попробуем показать в прессе нескольких таких наиболее рьяных крикунов на эту тему. Я уже об этом доверительно говорил с некоторыми редакторами и вооружу их соответствующим материалом. Недавно, к примеру, мы получили неопровержимые данные об одном крупном чиновнике-путейце — он гребет взятки лопатой и при этом кричит о правительстве доверия.

— Великолепно!— воскликнул Николай, любовно смотря на своего министра — вот же человек в его правительстве, который умно действует сам...— Алексей Николаевич, подорвать доверие у кричащих про это доверие — это шаг чрезвычайно полезный.

— Сделаем, ваше величество...— Хвостов помолчал, вздохнул и сказал просительно:

— Ваше величество, соизвольте разрешить мне высказать одну не очень приятную мысль?

Царь нахмурился:

— Высказывайте...

— Ваше величество, благодатную почву для критики власти создает Григорий Распутин...— Хвостов увидел, как в это мгновение лицо Николая буквально потемнело, но он решил сказать все, ибо сейчас это был для него вопрос жизни и смерти, он уже точно знал, что Распутин и его шайка роют под ним яму, и не желал пассивно ждать, пока его в эту яму свалят.

— Ваше величество! Я, конечно, могу и заблуждаться, даже сам хотел бы ошибиться, но факты, которыми я располагаю... Освободите, ваше величество, мою совесть от свинцовой тяжести, разрешите мне представить вам обстоятельную записку...

— Необязательно,— отрезал царь.— Надоело, Алексей Николаевич, надоело! Все это совершенно несерьезно, сенсация для приказчиков, а не тема для этого кабинета.

— Ваша воля — закон,— послушно склонил голову министр.— Я только обязан, ваше величество, заметить, что и тут мною движет беспредельная любовь и преданность вам и трону.

— Верю,— негромко отозвался царь и, надвинувшись грудью на стол, сказал: — Давайте-ка лучше поговорим о том, как провести прием депутации, чтобы она осталась довольной.

— Почему же это быть ей недовольной?— чисто автоматически спросил Хвостов.

— Я беспокоюсь, чтобы прием не стал ненужным ни мне, ни им, и полагаю, что вы продумаете и это,— сердито выговорил царь.

— Я продумаю, ваше величество.

— Дайте мне хотя бы справку об этом заводе. Хорошо бы знать, нет ли каких конкретных нужд у тех, кто будет в депутации, чтобы я мог на них отозваться.

— Это будет сделано, ваше величество. Но хорошо известно, как умеете вы задушевно говорить с людьми, вызывая их на откровенность, и если вы каждому скажете хоть одно слово, это станет ему памятным на всю жизнь.

Царь встал.

Хвостов, низко кланяясь, попятился к двери...

Ох как трудно быть министром в государстве Российском...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Рабочую депутацию привезли в Царское Село на поезде рано утром и поместили в просторной комнате казармы, где были убраны койки и поставлен большой стол, окруженный стульями. Но поначалу за стол сел только приставленный к депутации офицер охранного отделения капитан Гримайлов, который был в штатском. О том, кто он такой, знал только управляющий заводом Станков, крупнотелый розовощекий здоровяк лет пятидесяти, в глухом черном сюртуке и надраенных до зеркального блеска сапогах.

Начальник охранки генерал Глобачев, инструктируя капитана Гримайлова, говорил:

— Будьте с рабочими депутатами уважительны и демократичны, от разговора с ними не уклоняйтесь — люди хоть и проверенные, а осторожность не мешает. В случае чего ориентируйтесь на управляющего, это человек вполне надежный и умеющий управлять этой публикой...

Капитан Гримайлов для этой миссии избран не случайно. Это умный работник охранки, человек гибкий, с юмором, контактный. Однажды он этими своими качествами заслужил высочайшую похвалу — во время свидания в норвежских шхерах Николая и Вильгельма он был прикомандирован к свите германского императора и так сумел сдружиться с одним из личных его адъютантов, что сумел получить от него ценную информацию. С тех пор он прикомандирован к двору, обслуживает дворцовые дела...

Однако здесь, среди рабочих, капитан чувствовал себя, что называется, не в своей тарелке и знаменитая его контактность что-то не срабатывала. Он сидел один за столом, управляющий Станков в глубине зала нервно прохаживался от стены к стене. Рабочие толпились возле окон, разглядывали зимний царскосельский сад, строго расчерченный дорожками, посыпанными желтым песком.

Гримайлов встал из-за стола и, подойдя к управляющему, стал вместе с ним прохаживаться.

— Волнуемся?— тихо спросил капитан.

— Еще бы,— ответил Станков, не оборачиваясь к собеседнику.— Такое не каждый день случается... Народ, однако, приехал вполне спокойный, так что...— Он недоговорил — в этот момент в группе рабочих раздался дружный смех, мгновенно умолкший.

Грималов, а за ним и Станков подошли к рабочим.

— Небось Делов что-то выкинул?— весело спросил Станков, обращаясь к смуглолицему рабочему с черными цыганскими глазами.

— Я им, господин управляющий, высказал мнение,— совершенно серьезно ответил он,— что нас привезли сюда блоху подковывать — помните?— как Левшу когда-то...

Рабочие снова посмеялись, но уже тихо. У всех в глазах тревожное любопытство, они, конечно, были возбуждены одним тем, что находятся в Царском Селе, где жил сам государь. Скованно они себя чувствовали и оттого, что были по-парадному одеты, некоторые даже при галстуках.

— Надоели они мне,— продолжал Делов, и его цыганские глаза весело блестели...— Спрашивают, будто я сам царь — зачем мы тут? Ну я, к примеру, Попову отвечаю: ты столяр? Столяр. Значит, тебя ковать железо не заставят, ковать будет Серов из кузнечного...— Видя, что управляющий благосклонно улыбается, он продолжал балагурить дальше.— Лично я одного боюсь, вдруг задумано сделать меня министром по спиртоводочной части...— переждав смех, добавил:— Откажусь, братцы, сразу же откажусь, ставить меня на такую должность все равно, что козу пустить в капустный огород. Всю эту промышленность в трубу пущу...

Видя, что управляющий и неизвестный штатский смеются вместе с рабочими, Делов обратился к угрюмому рабочему с обвислыми усами. Это был один из недавних крестьян.

— Ну а ты, Николай Бойков, чего пригорюнился? Боишься, что на войну отправят? Не боись, Николай Бойков. Там, говорят, полегче, чем на заводе, война-то не с утра до вечера, там пострелял малость и дрыхни себе в окопе... пока не убитый, конечно. А если убьют, тебе будет все равно.

— Отвяжись,— пробурчал Бойков и спрятался за спину товарищей.

— А сам-то войны не боишься?— Капитан Грималов решил прощупать балагура.

— Это я-то?— весело отозвался Делов, внимательно глядя в глаза незнакомцу.— А чего мне бояться? Я же отсрочку имею, а вообще-то у войны один горький момент — там могут убить ни за что ни про что. Верно я говорю?

Грималов усмехнулся:

— Там все же убивают не просто так, а в бою за отечество.

— А какая разница уже убитому, за что он убит?— мгновенно спросил Делов и по тому, как незнакомый господин с лица озлился, понял, что надо остановиться. Сказал спокойно:— Тут наши с завода...— он повел головой на окружавших их депутатов,— они

вроде бы боятся, зачем привезли нас сюда. А я эту их боязливость высмеиваю как могу — ну, царь здесь живет, но почему же надо его бояться, если он нам отец родной и всей Руси государь? Разве я не правый в этом?

— В этом ты прав,— подчеркнув «в этом», ответил Гримайлов, но счел за лучшее разговор не продолжать и отошел в сторону. Но с этого момента он все время издали наблюдал за Деловым — что-то ему не нравился этот балагур... Выбрав момент, он спросил управляющего Станкова, что за человек этот Делов? Станков улыбнулся:

— Не беспокойтесь, мы кому попало звание мастера не даем...

Из дворца прибыл адъютант царя — офицер в дорогой шинели с бобровым воротником, ему, видно, не понравился воздух в комнате, несколько утяжеленный от парадно смазанных сапог, он повел розовым носиком и, сделав широкий жест, пригласил всех следовать за ним.

Мастеровые шли за ним плотной кучкой, чуть впереди вышагивал важно адъютант, замыкали шествие управляющий Станков и капитан Гримайлов. Дорога до дворца была тщательно разметена от снега и посыпана песком. Сияло холодное солнце, белый снег слепил глаза. Дым из труб Александровского дворца поднимался к блеклому небу синими свечами. Зима здесь была по особому нарядная.

Все ближе было приземистое здание дворца, над которым лениво реял трехцветный стяг романовской России. Поначалу шли прямо к колоннадному подъезду, где были установлены непонятные скульптуры, но потом свернули и обошли дворец сбоку — там, в торце здания, был так называемый фельдъегерский вход.

С солнца войдя в вестибюль, депутация, наткнувшись на слепой сумрак, невольно остановилась, тесно сгрудилась. Скоро, однако, пригляделись. Их пригласили раздеться. Дворцовые слуги, стоявшие у стен вестибюля, рассматривали их почти испуганно, просто им трудно было поверить своим глазам: во дворце — рабочие! А они, меж тем, гости царя, а это значит, надо принимать от них одежду и отвешивать положенные поклоны. И они кланялись, но что-то не очень усердно и будто стесняясь друг друга.

Депутацию провели в небольшой так называемый Угловой зал, стены которого были обиты малиновым шелком. В глубине зала стоял стол на гнутых золоченых ножках, за ним — кресло с высокой спинкой, увенчанной двуглавым орлом. Позади кресла — высоченные белые двери, по бокам которых замерли солдаты-преображенцы.

Депутацию выстроили в середине зала двумя шеренгами, чуть впереди встал управляющий заводом Станков. В это время под потолком вспыхнули яркие люстры — зал будто затопило солнечным светом. Вот когда депутаты оробели всерьез, стояли недвижно, напряженно смотрели, что делалось вокруг. Из боковой двери в зал вошел престарелый чин в расшитом золотом мундире — это был министр двора Фридерикс. Он положил на стол какие-то бумаги,

оглядел зал, скользнул невидящим взглядом по шеренге депутатов и ушел, осторожно ступая гнущимися ногами. А когда он только возник в проеме высоченных дверей, депутаты подумали — царь. Даже дыхание задержали, но быстро опомнились — больно староват и непохож вовсе. Через боковые двери в зал вошли министр внутренних дел Хвостов и рослый генерал в голубом мундире — это был начальник охранного отделения Глобачев. Генерал стал у стены, а Хвостов приблизился к депутации.

— Господа депутаты,— сказал он негромко.— Сейчас наш государь-император всея Руси соизволит принять вас. Его величество изъявил монаршее желание поговорить с вами, но вы уж постарайтесь не утомлять государя и поберечь его драгоценное время.

Хвостов вернулся к генералу Глобачеву и стал рядом с ним.

Тотчас снова медленно открылись высоченные двери позади стола, и в них появился царь в скромной полевой форме полковника, без всяких орденов. Он прошел мимо стола и остановился в нескольких шагах перед депутацией.

— Здравствуйте, господа,— еле слышно произнес Николай с растерянной улыбкой и оглянулся на стоявшего позади него генерала — то был начальник его личной охраны жандармский генерал Спиридович.

Управляющий заводом Станков негромко, в тон царю, ответил:

— Здравия желаем, ваше величество.— Он оглянулся на депутацию, и мастеровые нестройно произнесли:

— Зрав... ва... величество...

Станков выпятил грудь и уже громче сказал:

— Многие лета вам, ваше величество!

Царь переминулся с ноги на ногу и повернулся к Хвостову, точно спросил у него — дескать, что же дальше?— и потом заговорил тихим, глуховатым голосом:

— Нелегкие дни переживает теперь наша отчизна. Злой и коварный враг ведет против нас постыдную войну, и доблестные сыны отчизны, ваши братья, с оружием в руках, с тем оружием, которое вы куете, отстаивают честь и величие России, нашей матери-Родины. Я знаю, вы все хорошо работаете, а это значит — вы хорошо сознаете свою братскую ответственность перед нашими славными воинами. Спасибо вам за это...— Царь говорил, не смотря на депутацию, а чуть повернувшись вправо, к окну, за которым медленно падал снег...

Царь вздохнул и продолжал:

— Все истинные россияне понимают, что победа над врагом в общей битве рука об руку с нашими доблестными союзниками есть то главное, ради чего мы все живем и ради чего помирают россияне на фронтах войны, а в тылу утраивают свои усилия, которые...— Царь запнулся, он всегда путался из-за этих «которые» и сейчас не знал, как окончить эту длинную фразу, и вдруг сердито заключил:— Без победы нет у нас будущего...— и, решив уточнить, добавил:— Грядущая победа не за горами, и все наши уси-

лия даром не пропадут...— Он помолчал и тихо произнес:— Спасибо...

Царь отступил на два шага назад. В это время управляющий Станков сделал шаг вперед, прокашлялся и заговорил округлым рокочущим баском:

— Ваше величество, государь наш! Мы пришли к вам выразить великую любовь и веру в вашу отеческую и государственную мудрость, чтобы сказать вам о нашей беспредельной преданности вам и престолу. С этой любовью и верой мы работаем во имя нашей грядущей победы над коварным врагом. Трудовой люд нашей великой державы с величавым спокойствием встречает все испытания времени, и никакие трудности не согнут нашей воли и веры. С этим твердым заверением мы и пришли в ваш дом. Примите же нашу коленопреклоненную любовь и преданность, а в память о нашей встрече соблаговолите принять от нас символический подарок...— Станков оглянулся назад, и кто-то из депутации передал ему вылитую из чугуна фигурку кузнеца с занесенным над наковальней молотом. Тотчас впереди царя возник начальник личной охраны монарха генерал Спиридович, который взял подарок и, бегло показав его царю, унес и поставил на стол.

— Спасибо... спасибо...— поклонился царь и, выпрямляясь, сказал:— Ваши слова запали мне в душу. Замечательные слова. Они тем более трогают меня, что именно на вашу среду мне нередко указывают, что там полно неверных и жаждущих смуты. Теперь я вижу, как далеко это от истины. Со своей стороны, я заверяю вас, что как я, так и мое правительство — мы будем неустанно заботиться о ваших интересах и благодарно наблюдать ваш честный труд во благо отечества. Спасибо...

Царь сделал отрывистый поклон головой и снова подошел к депутации поближе. Приблизились туда и Хвостов с Глобачевым. Царь пожал руку управляющему Станкову и попросил представить ему депутацию. Станков начал, показывая рукой на отдельных депутатов, называть их фамилии. Царь кивал представленному, уже смотря на следующего. Депутация стояла в два ряда, и тем, кто стоял во втором ряду, при представлении приходилось высовываться между стоявшими впереди — царь даже улыбнулся, когда один малорослый депутат вдруг вынырнул между плечами впереди стоявших. Когда был представлен последний в шеренге Василий Делов, царь спросил у него:

— Как, милейший, настроение?

В мгновенно сгустившейся тишине послышался веселый голос Делова:

— Лучше всех, ваше величество!— Глаза его так бесовски сверкали, что царь задержал на нем несколько удивленный взгляд и ответил тихо:

— Это приятно слышать...— И, видимо, подогретый бодрым ответом Делова, спросил у стоявшего рядом с ним недавнего крестьянина Ивана Рыбака:— Нет ли, милейший, просьбы какой?

Рыбак стушевался, словно съежился весь, закинул взгляд к потолку, потом опустил на царя и произнес глухо:

— Как бы войну одолеть...

Царь улыбнулся:

— Я тоже думаю об этом денно и нощно...

С этими словами царь по-военному сдвинул каблуки, еле заметно поклонился, развернулся через левое плечо, приставил ногу и ушел из зала вялыми шагами. Высоченные двери закрылись за ним.

Словно из-под земли перед депутацией возник адъютант, который вел ее сюда, во дворец. Он сделал выразительный жест рукой на дверь и первый направился к ней. Депутация, смешавшись в кучку, пошла за ним.

В коридоре каждому депутату был вручен памятный подарок — нечто завернутое в синюю бумагу и перевязанное розовой ленточкой с бантиком...

Свертки эти были развернуты только в вагоне поезда, в котором депутация возвращалась в Петроград. В каждом свертке была небольшая фотография Николая с его автографом и железные, вороненые карманные часы фирмы «Павел Буре». Сунув фотографии в карманы, депутаты любовались часами:

— Эй, Михаил, сколько на твоих?— весело спросил Делов.

— На моих что-то много — уже седьмой час пошел...

— А на моих ровно два.

— На моих без пяти три...

— Ну, братцы, что же мы так теперь и будем жить — каждый со своим временем?— весело спросил Делов.

Ехавший вместе с депутацией капитан Гримайлов, услышав этот разговор, достал из кармана свои золотые и, отщелкнув крышку, громко объявил:

— Сейчас точно одиннадцать часов пять минут, всем надо часы завести и поставить на это время...

Не все знали, как сие делается, и на это ушло не меньше получаса, и Гримайлову пришлось еще несколько раз объявлять точное время. Делов попросил его показать свои золотые, спросил:

— Тоже царем даренные?

— Подарок от службы,— сухо ответил Гримайлов и спрятал часы, которые действительно дарены были ему царем как раз за те его успехи при сопровождении царя на встрече с Вильгельмом в норвежских шхерах.— Ну что, сильно переволновались?— спросил он у Делова, вглядываясь в его смуглое цыганское лицо.

— Было дело,— усмехнулся Делов.— Аж коленки щелкали...

Кто был поближе и слышал их разговор, засмеялся.

— Чего скалитесь?— оглянулся на них Делов.— Волнение вполне понятное — нешуточное дело: царь с тобой разговаривает.

— А ты ответил ему лихо, царь даже заулыбался,— сказал кто-то.

— Ответил по правде — настроение у меня лучше всех...

— А мне что-то царь меньше ростом показался,— включился в разговор Рыбак, который все еще не мог опомниться после разговора с царем, и ему все вспоминались всякие подробности.

— Сила его не в росте — в скипетре,— уважительно пояснил мастер из столярного цеха Попов, все еще рассматривавший свои часы.— А память нам дадена хорошая — как поглядишь, какой там час, так государя вспомнишь.

— А без часов так и из памяти вон?— весело спросил Делов.

Попов не ответил, отвернулся и тщательно запрятал часы в карман.

Когда поезд уже приближался к Петрограду, управляющий Станков поднялся со своего места и громко сказал, обращаясь ко всем:

— Расскажите дома и на заводе, как побывали мы у нашего царя-батюшки. Расскажите, как он прост и обходителен, как понимает наши нужды и обещал нам свои заботы... Как верит он в скорую победу над врагом... Часы всем покажите... Договорились?

Все разноголосо выразили свое согласие...

В это время в кабинете монарха тоже разговаривали о прошедшем приеме.

— Я доволен... я доволен...— задумчиво повторял царь. Он все-таки был возбужден этим необычным приемом. Сказал Хвостову:— Хорошо подготовили это дело. Спасибо.

Хвостов благодарно склонил голову. Царь спросил у Глобачева:

— Ведь достойно похвалы, генерал?

— О да,— негромко ответил Глобачев. Он в эти минуты знал о Хвостове куда больше царя — не дальше как сегодня он читал агентурное донесение о том, что Распутин в кругу близких ему людей говорил, что Хвостов главный его враг, и клялся с целованием креста, что свалит его в самое ближайшее время. Есть у Глобачева информация и о том, что Хвостовым очень недовольна императрица, а это уже более чем серьезно.

— Я дам прессе указание напечатать отчеты о приеме рабочей депутации,— сказал Хвостов.

Царь насторожился:

— Только, ради бога, пусть не расписывают, а то я их знаю — так размалюют, что люди будут смеяться. А все было так мило, душевно и просто. Я бы желал, чтобы о приеме было написано коротко и даже намеренно сухо.

— Совершенно правильно, ваше величество,— вмешался Глобачев.— Об этом следует написать не как о каком-то чрезвычайном происшествии, а как про обычное дело в ряду других дел двора.

— Именно,— кивнул царь.— Мне интересно было бы узнать, каково впечатление у депутации?

— Будем знать еще сегодня, ваше величество, мой человек сейчас поехал с ними в Петроград,— заверил Глобачев.— Если соизволите, завтра же вам доложу.

— Хорошо бы еще узнать, как отнесутся к приему господа социал-демократы?

— Будем знать и это, ваше величество...— Глобачев даже сейчас уже знал, что в социал-демократических кругах еще три дня назад пронюхали о предстоящем приеме и даже пытались выяснить, кто окажется в депутации, а на сходке рабочих в литейном цехе Путиловского завода неизвестный оратор, но явно от социал-демократов назвал этот прием запоздалым и дешевым заигрыванием царя с рабочим классом... Но сейчас Глобачев говорить об этом не будет — зачем расстраивать царя, когда он так доволен приемом?..

В Петрограде меж тем депутаты, выйдя с вокзала, разошлись кто куда, искать свои трамваи, чтобы поскорее добраться до дому.

Василий Делов сел в трамвай вместе с мастером из столярного цеха Поповым. Попытался с ним заговорить:

— Ну что скажешь, столяр?

— А что говорить-то?— вяло отозвался тот, глядя в окно на бежавшую мимо улицу.

— Все ж не в пивной мы с вами были, а у самого царя-батюшки.

Столяр молчал. Разговора не получилось, и скоро Попов, бегло простившись, сошел на своей остановке. На следующей сошел и Делов, хотя ему еще было ехать да ехать... Посмотрел внимательно, не сошел ли за ним кто еще, и остался стоять среди ожидавших трамвай. Все вроде было спокойно и чисто. Теперь ему нужен был седьмой номер, чтобы добраться до Шлиссельбургского проспекта. «Семерка» скоро подошла. На ней он доехал до предпоследней остановки. Здесь он снова внимательно осмотрелся и зашагал к близкому переулку. Шел по нему один-одинешенек — здесь жил рабочий люд, и все в это время на работе. Опять же хорошо — легко обнаружить, если кто за тобой тащится...

Но вот и заветный адрес — старый двухэтажный деревянный дом. Дверь сорвана с петель, висит боком. Порог обледенел. В подъезде темно и тихо. Делов постоял, послушал и стал не спеша подниматься по скрипучей лестнице.

Дверь открыл ему тот человек, к которому он шел,— плечистый парень в студенческой тужурке нараспашку. Это был давно знакомый ему большевик со странной фамилией Воячек, частый гость на их заводе.

Прошли в его комнатушку в самом конце темного и длинного коридора.

— Раздевайся. Чаю хочешь?

— Не откажусь. Там нам чая пожалели,— рассмеялся Делов.

— Экономит батюшка наш,— усмехнулся Воячек, разливая чай в эмалированные кружки.

Они пили горячий чай с сахаром вприкуску. Василий Делов с юмором рассказывал, как прошел прием депутации.

— ...и в заключение преподнесли каждому часы. Вот они — царские,— он достал их из кармана, и они вместе их осмотрели...— Я у него спрашиваю: зачем нам, ваше величество, эти часики, а он отвечает — чтобы вы не проспали время, когда мое царствие кончится.

Посмеялись, и Воячек спросил строго:

— А в самом деле, ты там не болтал лишнего? Я ведь тебя знаю.

— Вот как на духу,— сверкал Делов своими цыганскими глазами.— Разговор у меня с ним был. Честное слово. Он спросил у меня: «Как настроение, милейший?», и я ответил как на параде: «Лучше всех, ваше величество!» И он меня похвалил... А больше ни слова, товарищ Воячек, я ж не дурной, чтобы там трепаться. Я даже со своими говорил только по-французски, понимал, что вокруг уши поразвешены.

— Тоже мне свои,— усмехнулся Воячек.— Половина там были мастера, а это народ на корню купленный.

— Не все, товарищ Воячек, не все...— серьезно заметил Делов.— Я наблюдал и видел — не один я понимал, что все это оперетка.

— Не такая уж глупая эта оперетка,— обронил Воячек.— Поглядите-ка, как мы уважаем наш рабочий класс... даже часов не пожалели. Ладно, давай-ка договоримся, что́ отвечать про прием, если будут спрашивать заводские.

— Это же надо решать по тому, кто у тебя спрашивает. Одному — удостоился, мол, высокой чести, а другому — про оперетку. И вообще, я думаю, если одну только правду рассказывать, самый последний дурак сам поймет, что оперетка. Господи, чего там только не было! Наш управляющий подносит ему чугунную фигурку кузнеца. Я в этот момент не вытерпел, шепнул кузнечному мастеру: гляди, тебя царю дарят, так даже этот бирюк чуть не засмеялся.

— Пожалуй, ты прав, надо серьезно рассказывать, как было, а народ у нас понятливый, сам разберется, что к чему. А теперь — новое дело к весне поближе. Я должен поехать в Москву.

— Насовсем?— встревожился Делов.

— Надо ехать, а на сколько — и бог не знает. Когда уеду, вместо меня к вам на завод будет ходить Соколов, ты его знаешь.

— Это тот рыжий?

— Тот самый. Помогайте ему, как мне.

— Все сделаем, не беспокойся.

— Спасибо. Допивай чай и уходи, ко мне скоро должны прийти...

Они простились. Делов, уже держась за ручку двери, обернулся:

— Терпежу больше нет глядеть всю эту оперетку с танцами.

— Недолго осталось,— помахал ему рукой Воячек...

Выписка из докладной записки капитана Гримайлова в охранное отделение.

«...Безусловно, данный прием, при умелом его распропагандировании, покажет демократическое устремление государя быть ближе к своим подданным любого положения. Воздействие подобных приемов на общество было бы бо́льшим, если бы они проводились чаще или, во всяком случае, регулярно и не выглядели бы явлением исключительного порядка, ибо последнее вызывает и удивление и, как следствие, кривотолки. Это подтверждают уже имеющиеся на этот счет агентурные данные».

(В этом месте генерал Глобачев написал на полях: «В этом решающим является собственное воззрение государя».)

...«Считаю необходимым обратить внимание на агентурное донесение (лист 4, 2 тетради), где приводится высказывание инженера Путиловского завода Кирьянова при его беседе с рабочими, вернувшимися из поездки на фронт, куда они сопровождали изготовленное их заводом оружие, что они в своей поездке узнали больше, чем рабочие делегаты, ездившие к царю. В этом я усматриваю не лишенное основания суждение по существу приема, носившего все-таки парадный характер, что крайне необходимо учесть в рассуждении на будущее...» (Пометка генерала Глобачева: «Маниловщина. Мы не можем в сие вмешиваться».)

...«Сами участники депутации, непосредственно после приема, не высказывали серьезных взглядов на происшедшее, не стали предметом их разговоров даже обращенные к ним впечатляющие слова Государя о войне и грядущей победе, однако это могло быть предопределено и низким уровнем мышления. Что же касается впечатления в обществе, оно может оказаться поверхностным по вине прессы, которая информировала о приеме более чем кратко...» (Замечание на полях генерала Глобачева: «Таково было повеление Государя».)

...«Опыт приема в целом считаю необходимым подытожить и изучить по получении всех агентурных данных, дабы не впасть в субъективность оценок, чего не лишены и эти мои первые впечатления». (Резолюция генерала Глобачева: «Не позже 15 февраля доложите мне лично итоговый материал...»)

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Нева уже освободилась ото льда, сама снесла его в Балтику, теперь только одинокие льдины проплывали по рябой от ветра, вздувшейся реке. Солнце щедро заливало Петроград ярким, пока еще холодным светом, сверкало на шпиле Петропавловки.

Французский посол Морис Палеолог в дни ледохода часами просиживал в кресле перед широченным окном, смотря на беспорядочное и вместе с тем неудержимо устремленное движение ледяных полей и думая о своем, о том, что волновало и тревожило его этой весной. Ему 55 лет, но он полон сил и доживет почти до конца второй мировой войны. Сейчас идет еще эта первая, она в полном своем развороте, и ей не видно конца. Более того — чем дальше, тем неопределеннее видится ее окончание, тем более окончание победное. Дома, во Франции, война застряла у Вердена и кровоточит там безудержно и опасно. Англичане верны себе и предпочитают воевать где угодно, но не там, где главный противник — немцы. Одна Россия всю войну честно несет свой тяжкий крест... Но здесь явно назревает кризис государственной власти, который может подорвать военные усилия страны — что толку в союзнике, который потеряет власть над армией?

На днях посол вынужден был принять печально известного своими авантюрными похождениями начальника канцелярии премьера Штюрмера отъявленного распутинца Манасевича-Мануйлова.

Еще год назад Палеолог ни за что не принял бы этого человека, а теперь ему так нужна была информация, что он решил воспользоваться и этим нечистым источником. Мануйлов позвонил ему по телефону и настойчиво просил о приеме, ссылаясь при этом на весьма необязательный повод, но посол подумал о том, что этот тип вертится возле премьера, вдруг он по легкости ума выболтает что-то важное, о чем более солидные люди молчат. Вполне может статься, что он сам предложит информацию за деньги — он из таких. И вообще, зачем он добивается приема? Не послан ли он с умыслом кем-то другим и личностью покрупнее?..

Все же когда Мануйлов вошел в его кабинет, посол довольно подчеркнуто избежал рукопожатия.

Меж тем Мануйлов держался непосредственно, если не развязно — удобно усевшись в кресло перед посольским столом, заложил ногу на ногу и деловито спросил:

— Известно ли вам, ваше превосходительство, насколько серьезно у нас положение на фронте и в тылу?

— Думаю, что известно,— небрежно ответил посол.

— Я опасаюсь, что по одному важнейшему вопросу вы можете невольно оказаться в заблуждении, в каком находятся многие официальные лица, даже, боюсь сказать, сам государь.

Палеолог молчал, но за этим молчанием все-таки было приглашение визитеру продолжать свою мысль.

— Ваше превосходительство,— оживленно заговорил Мануйлов, настороженно глядя на Палеолога.— Я для вас лицо, конечно, неофициальное, более того, я имею основание предполагать ваше осудительное ко мне отношение, но я тем не менее из тех нетитулованных патриотов России, которые имеют достаточно данных для размышлений о весьма серьезных делах. В данном случае речь

идет о смертельной угрозе нашему государству от вполне реальной революционной смуты.

— Я располагаю свежей и весьма надежной информацией, что в русской армии царит сейчас высокий боевой дух,— сухо обронил посол.

— О да! Но только в частях, находящихся на передовой! — воскликнул Мануйлов.— Но за их спиной и весьма близко, в так называемом войсковом резерве царит катастрофическое разложение. И это неудивительно. Целую зиму резервные части провели в ужасающих условиях переполненных казарм. Достаточно сказать, что даже в более привилегированных преображенских казармах вместо тысячи двухсот солдат расквартировано более четырех тысяч. Далее — кто находится в этих резервных частях? Лица всех народностей и национальностей, включая и евреев. Словом, каждая казарма наполнена, фигурально выражаясь, идеальным бульоном для культуры революционных бактерий. Теснота, духота. Из-за недостатка офицеров призванные не загружены занятиями и нет надлежащего за ними контроля. И конечно же, наши анархисты всех родов и различий не дремали. За зиму произошли бунты в нескольких резервных частях, это факт, ваше превосходительство. Теперь представьте себе, что произойдет, когда эта серая разложившаяся масса прибудет на передовую линию, где тоже действуют враги нашего строя. Оттуда тоже имеются донесения о непрерывно ведущейся в окопах левыми пораженческой агитации, которую не останавливают даже смертные приговоры военно-полевых судов. Теперь прибавим к этому, конечно, известные вам сведения о беспорядках в тылу и, что особенно тревожно, на заводах, работающих для фронта. Вспомните недавнюю историю Франции, вы должны раньше и лучше других понимать всю грозную опасность, нависшую над Россией. Я нахожу нужным сообщить вам, что люди гораздо большего масштаба, чем я, узнав, что я направляюсь к вам, просили меня быть с вами откровенным до конца.

Палеолог молчал. О революционной ситуации в сегодняшней России он сам думал не раз, и сказанное Мануйловым не было для него неожиданным откровением. Но его заинтересовало последнее признание визитера, и он решил, что называется, взять быка за рога. Спросил:

— А что же думает об этом господин Штюрмер? Или он тоже находится в заблуждении?

— О нет,— тихо ответил Мануйлов.— Если бы ему не мешали заблуждающиеся, он навел бы порядок. Быстро и решительно.

— Но разве я могу ему помочь? — с иронией спросил посол.

— Безусловно,— невозмутимо ответил Мануйлов.— Поддержка посла союзной державы стоит много.

Палеолог встал, он не хотел продолжать этот разговор — не хватало ему какой бы то ни было связи с распутинским премьером.

— Благодарю вас за откровенность,— холодно сказал он...

— Извините, ваше превосходительство, за отнятое у вас время, но я сейчас чувствую себя как человек, исполнивший долг совести.

Когда Мануйлов ушел, Палеолог посидел немного в раздумье и, не откладывая, написал шифрограмму об этом визите, он тоже исполнил свой долг — пусть там, в Париже, разбираются в степени важности его информации, но знают, что он не пропустил ее мимо ушей...

По свинцовой Неве плыла одинокая льдина со сверкающим на солнце голубым отколом. Посол проводил ее задумчивым взглядом:

— Вот и эта глыба уйдет в море, в небытие.

Он любил красиво пофилософствовать и в связи с этим часто встречался с камергером Базили, тоже склонным к таким рассуждениям. Однажды, гуляя по набережной Невы, они подошли к памятнику Петру, и вдруг Базили сорвал с головы фуражку и воскликнул: «Привет тебе, величайший революционер!» Последнее время Палеолог и Базили видятся редко — камергера отправили в Ставку, где он занимается дипломатическим протоколом, посол об этом весьма сожалеет, ибо в Петрограде достойных собеседников раз, два и обчелся... Но действительно же, потрясающе неуяснима Россия и все, что происходило здесь во все времена и происходит теперь. Средневековые обряды, обычаи и великолепный, возвышающий душу балет. Лакейство людей низших классов и высочайший аристократизм духа среди избранных. Но там же, среди избранных, вдруг возникает грязный Распутин, и сама царица приглашает его вместе с ней к причастию. Боже, как же понять такую Россию? Как узнать, что она хочет, что приемлет, а что отвергает? И сколько же у нее терпения и неисчерпаемой силы! Ни одно государство не смогло бы существовать, понеся потери, какие понесла Россия, а она существует и продолжает эту страшную войну... Палеологу хотелось бы знать, понимают ли Россию те, кто сейчас ею управляет? Неужели прав Хвостов, в разговоре с ним сказавший: «Наш народ в веках приказной — что власть прикажет, то он исправно и выполнит». Неужели это правда и только этим следует объяснять неиссякаемое терпение и могущество России? Коллега Палеолога английский посол Бьюкенен смотрит на все это проще, он как-то сказал: «У нас нет ни времени, ни острой необходимости заниматься разгадкой русской души, нам следует только делать все, чтобы Россия на своих фронтах продолжала выполнять свой союзнический долг». Но почему теперь он так нервничает по этому поводу? Может, от того же, о чем говорил Мануйлов. Но Россия воюет и сейчас готовит новое большое наступление. Нет, нет, Палеолога куда больше волнуют не фронтовые, а внутренние дела России, впрочем, здесь он видит опасность и для дел военных...

Палеолог действует в высшем свете, там у него много друзей, особенно среди аристократических дам, с которыми он встречается и получает от них иной раз бесценную информацию о жизни и де-

лах на верхушке русского общества. Кроме того, ему доставляют удовольствие эти встречи с красивыми, утонченными женщинами, которых он с чисто французским умением располагает к откровенной и изысканной болтовне обо всем на свете. И именно там он гораздо раньше, чем Бьюкенен, узнал, например, о готовящемся аресте бывшего военного министра Сухомлинова, а из уст одной придворной красавицы он впервые, и опять же раньше Бьюкенена, услышал имя Штюрмера как возможного русского премьера. Там же он постоянно добывает идущую от графини Фредерикс информацию о всем, что делается при дворе, в том числе и про грязные проделки Распутина. И вот эта информация очень тревожит посла Франции, тревожит Париж...

Скоро в Петроград должны прибыть с визитом французский министр юстиции Вивиани и вице-министр артиллерии и военного снабжения Альберт Тома. Этот визит готовился долго и тщательно, и Палеолог в этом активно участвовал, и именно он настоял, чтобы в Россию ехали именно эти деятели, хотя в Париже кое у кого было сильное сомнение в разумности посылки в монархическую Россию двух популярных социалистов. А Палеолог видел в этом умный, тактический ход. Главная задача визитеров — разведка русского общества — кто же сделает это лучше этих прославленных своей гибкостью ораторов, могущих покорить любую аудиторию? Наконец Франция покажет России своих социалистов, которые не только не опасны власти, но и верно ей служат, принимая активнейшее участие в войне. Разве это не пример, достойный подражания? Вивиани ехал вместе со своей супругой, и это тоже не случайно — мадам Вивиани недавно потеряла на войне сына от первого брака, и ей в визите предопределена своя роль — смотрите, французские социалисты отдают войне своих сыновей. Обязанности между двумя главными визитерами точно разграничены: Вивиани занимается главным образом изучением русского общества, но вместе с Тома участвует и в переговорах по вопросам военным. Кроме того, Тома собирается еще ознакомиться с работой русской военной промышленности. Это смешение обязанностей тоже должно показать русским, что французские социалисты не только политические деятели, им доверены и дела военные. Палеолог, думая об этой стороне визита, отлично понимал, что у таких верных и сильных слуг русской монархии, как генерал Алексеев, и, наконец, у самого русского монарха визитеры-социалисты вряд ли вызовут симпатию и, конечно же, не изменят их отношения к идеям социализма. Тут можно было полагаться только на политическую искусность гостей, на их известную всей Франции гибкость и изворотливость... Действительно же, эти два политических хамелеона с удивительной ловкостью сумели перекраситься из борцов против буржуазии в ее верных слуг. Имя Альберта Тома в работах Ленина того времени встречается не раз среди имен других социал-предателей...

Вивиани и Тома прибыли в Петроград 5 мая. Встреча их на Финляндском вокзале была умышленно скромной, самой крупной фигурой там был французский посол, а Россию представляли несколько государственных чиновников второго разряда. С вокзала визитеры в сопровождении одного Палеолога проследовали в «Европейскую» гостиницу, где они и будут жить — это должно подчеркнуть демократизм и скромность прибывших.

Завтрак был подан в их апартаменты. Мимолетный разговор о дорожных впечатлениях. Мадам Вивиани скорбным голосом рассказала, как ей всю дорогу было страшно и как она всякий раз вздрагивала, услышав немецкую речь убийц ее сына. Жена посла, взяв ее за руку, сказала, что война страшна, раз она отнимает у нас детей. Мадам Вивиани согласно опустила голову и промокнула глаза кружевным платочком.

Постепенно дамы повели свой разговор, а мужчины занялись делом.

— Мы приехали с целью выяснить военные и общественные ресурсы России и попытаться, на опыте Франции, помочь ей активизировать военное производство,— вполголоса говорил Палеологу Вивиани.

— Тут кое-что можно сделать,— обронил посол.

— Затем мы будем настаивать на посылке во Францию не менее четырехсот тысяч русских солдат.

— А это нереально,— твердо произнес Палеолог.— Даже называть эту цифру Алексееву или царю я бы не советовал, оба они при каждом случае не устают говорить о напряженном положении с резервами, а назвать эту цифру сейчас, когда они готовят новое большое наступление, было бы крайней неосторожностью, это вызовет большое раздражение.

— А на что же тут можно рассчитывать?— деловито спросил Тома.

— При особой вашей настойчивости тысяч на пятьдесят, не больше.

— Хоть что-нибудь,— усмехнулся Тома.— И вообще тут главный аспект психологический: смотрите, французы, русские рядом с вами — воевать надо лучше,— он тихо рассмеялся.

— Далее, мы будем рекомендовать пойти на уступки Румынии, чтобы она как можно скорее выступила на нашей стороне,— сказал Вивиани.

— Здесь вы ничего конкретного не добьетесь,— убежденно сказал Палеолог.— Они ответят вам то, что я уже давно слышу от них: мол, тут главные затруднения не в Петрограде, а в Бухаресте и что они не могут пообещать Румынии воевать вместо нее...

— Не лишено,— усмехнулся Тома.— Но будет важна даже одна постановка этого вопроса. И, наконец, проблема Польши, ее государственности.

— Рекомендую этот вопрос поднимать, когда уже сделаете все остальное. И говорить об этом следует сверхосторожно.

— А если их пугнуть возможностью предоставления Польше автономии немцами? — спросил Тома.

— Вряд ли испугаются, они достаточно хорошо осведомлены о традиционной польской ненависти к Германии.

Вивиани строго и чуть насмешливо смотрит на Палеолога:

— Я вижу, вас тут сделали пессимистом?

— Просто я тут кое-что знаю, — ответил посол.

— Многое, я думаю, прояснится у царя, — заключил разговор Тома.

Поездка в правительственном салон-вагоне по царскосельской железной дороге прошла в приятном Палеологу легком разговоре о Франции. Вивиани с юмором рассказывал о жизни Парижа, о новостях высшего света. Послу хотелось узнать о многом, и они не заметили, как перед окнами вагона оказался царский павильон станции. Здесь их ждали два закрытых экипажа. В один сели Палеолог и Тома, в другой Вивиани и встречавший их главный церемониймейстер двора. Тома с любопытством смотрел в окошко кареты и вдруг, откинувшись на спинку сиденья, рассмеялся:

— Невероятно! Я, социалист Тома, сейчас предстану перед русским самодержцем! Не-ве-ро-ят-но! — Он помолчал, задумался и спросил: — Я смогу увидеться с русским социалистом Бурцевым?

— Не надо на этом настаивать, — холодно ответил посол. — Он считается смертельным врагом царя, и просьба о свидании с ним может перечеркнуть весь ваш визит.

— Но почему? Они же по просьбе Франции вернули его из сибирской ссылки?

— Я сам занимался этим и пребывал при этом в щекотливейшем положении, которого вам лучше избежать.

— Но что же я скажу своей партии, когда вернусь? — спросил Тома. — Что социалистов в России нет? Кто мне поверит?

Палеолог чуть не сказал, что таких, как он, социалистов в России действительно нет, но удержался и сказал, не скрывая раздражения:

— Еще раз говорю вам — не поднимайте этот вопрос...

От подъезда Александровского дворца одна за другой отъезжали кареты и экипажи с замысловатыми золочеными вензелями на дверцах, и французские гости вынуждены были в стороне пережидать разъезд. Церемониймейстер объяснил, что сегодня именины царицы и сейчас уезжают ее гости — лица царской фамилии.

Отъезжающие толпились и в вестибюле дворца: золотое шитье мундиров, дорогие меха, сверкание драгоценностей, легкий говор по-французски. Тома и Вивиани смотрели на все это с огромным любопытством, не замечая, что иные гости, наверно зная, кто они такие, смотрели на них с презрительным любопытством.

Тома, Вивиани и Палеолога провели в Угловой зал, высокие окна которого выходили в парк, где под ярким солнцем лужайки светились нежной зеленью. Вивиани все, что видел, старался запомнить — он обещал дать газете социалистов подробные очерки о своем путешествии в Россию.

В зал вошел Николай. Он был в полковничьем кителе, на груди, кроме обычно носимого им Георгиевского креста, поблескивал еще и военный крест Франции, явно надетый для этого приема.

Палеолог представил царю его гостей, не уточняя, конечно, что они социалисты. Царь пожал им руки и, сделав шаг назад, стоял перед ними руки по швам. Неловкая пауза. Николай улыбнулся и потрогал рукой на своей груди французский крест:

— Как видите, я ношу ваш военный крест, хотя я его не заслужил...

— Не заслужили? Как можно? — восторженно возмутился Вивиани...

— Конечно, не заслужил, — совершенно серьезно ответил Николай. — Ведь такой крест дается героям Вердена, а я там и близко не был. — Если бы он при этом не улыбнулся, французы не знали бы, что им сказать, а уточнять, что награда эта чисто символическая, было бы бестактно, притом понадобилось бы напомнить о великом вкладе России в эту войну, а это уж совсем некстати, учитывая, что через минуту они начнут излагать монарху свои просьбы о новых вкладах.

Царь сделал жест рукой, приглашая гостей к круглому столу, возле которого стояли четыре кресла.

Беседу начал Палеолог:

— Ваше величество, господа Тома и Вивиани приехали со столь важными намерениями, что они счастливы благосклонно предоставленной вами возможности видеть вас и говорить с вами, ибо никто другой ответить на их вопросы не сможет.

На лице Николая мелькнула тень недовольства:

— Почему же? Представители дружественной и героической Франции везде у нас встретят и понимание, и исконное расположение...

Это было почти отказом вступать сейчас в переговоры. Мгновенно заговорил Вивиани. Он информировал царя о целях визита, но сделал это очень искусно, потопив все его конкретности в подкупающем красноречии. Великолепный французский язык, доверительная интонация, яркая образность речи — в ход были пущены все приемы ораторского искусства. Словно позабыв о своих конкретных задачах и просьбах, он красочно рисовал образ героической, окровавленной Франции, а в подтекст уходила мысль, что Франция достойно выполняет свой союзнический долг и что ей нельзя не помочь, если она этой помощи попросит. Под конец Вивиани припас душещипательный рассказ о французском солдате, который, умирая от раны, полученной при штурме Вердена, умолял своего капрала сообщить в Россию, что он во имя общей победы воевал как положено солдату Франции. Когда Вивиани рассказы-

вал это, глаза его наполнились влагой, заблестели, да и Николай явно растрогался и взволнованно воскликнул:

— А немцы уверяли всех, что французы не способны быть солдатами!

Вивиани ответил мгновенно:

— Но это правда, ваше величество! Француз не солдат! Он воин!

После недолгого взволнованного молчания заговорил Тома. Поначалу тихо, будто размышляя вслух:

— Величие Франции — ее народ. И России тоже! — Царь согласно кивнул, и, подбодренный этим, Тома как бы спросил у самого себя: — Как же должен быть счастлив человек, который как вы, ваше величество, может сказать «мой народ»... — Сделав этот ловкий реверанс перед монархией и монархом, Тома без паузы продолжал: — История делается народами. Но и личностями тоже. И когда деяния личности сливаются с помыслами народа, эта личность входит в историю.

Николаю эта сентенция понравилась, и он одобрительно посмотрел на француза.

— А когда несколько великих народов,— повысив голос, продолжал Тома,— объяты единой целью, горе тому, против кого они восстали. Вот почему наша общая уверенность в победе непоколебима, как гранитная скала...

Царь слушал своих гостей с большим интересом — своим окружением он давно был отучен от подобных свободных и красивых речеизлияний. Тома это почувствовал и не ограничился тем реверансом вначале, по ходу разговора он еще не раз высказывал элегантные комплименты своему венценосному собеседнику и в заключение сказал с подкупающей искренностью:

— Ваше величество, мне страшно подумать, какой великий груз любви к своему народу и ответственности перед ним лежит на вашем добром сердце!

— Вам страшно только подумать...— совсем расплавился Николай,— а мне этот груз надо нести день за днем, год за годом...

Возможно, в этот момент Николай понял, что выразился о себе нескромно — лицо его посуровело, и он сделал знакомое многим движение всем телом к столу, будто он собирается встать — это означало, что аудиенция окончена. Но французы этого сигнала не знали, и Тома сказал:

— Ваше величество, победно закончив войну, вы непременно приедете во Францию, где вас встретят как...

Николай встал, одернул китель:

— Я люблю Францию и буду рад ее увидеть,— произнес он несоответственно сухо и даже сердито.

Французы тоже встали.

— Мы благодарим вас, ваше величество, за эти счастливые для нас минуты,— склонив голову, проникновенно сказал Вивиани.

Царь отрывисто кивнул им и ушел вялой походкой...

Из Царского Села в Петроград в салон-вагоне возвращались одни французы, можно было поговорить откровенно. Как только поезд тронулся, Тома, потирая руки, воскликнул тихо:

— Все-таки мы его подцепили на крючок прочно и безбольно.

— Не торопитесь, вы плохо его знаете,— отозвался Палеолог.— Вы добились, однако, немалого, вы его явно взволновали, это редко кому удавалось. Но он на удивление непостоянный человек, утром он целует своего министра, а тот, вернувшись в министерство, находит на своем столе повеление о своей отставке.

— Однако общая его благосклонность к нам бесспорна,— сказал Вивиани.

— Я побеспокоюсь о том,— сказал Палеолог,— чтобы о визите узнало побольше людей двора, это несколько облегчит вам разговор с тем же Алексеевым. Только в этом я вижу пользу приема...

Через день французы увиделись с премьером Штюрмером. Это произошло на завтраке дома у министра иностранных дел Сазонова. По протоколу завтрак устраивала супруга министра. Кроме премьера, присутствовали еще четыре министра, и среди них — военный. Разговор за столом велся подчеркнуто светский и далекий от дел, интересовавших визитеров. Сказывалось, конечно, и присутствие на завтраке жен министров. Разговором владел Штюрмер, рассказывавший всякие веселые истории и даже анекдоты. Однако Тома знал, что протоколом предусматривалась и его деловая беседа с премьером.

Рассказав еще один анекдот из серии «генерал и его денщик», Штюрмер извинился перед дамами и пригласил Тома в курительную комнату.

Там француз сразу же приступил к делу. Спросил:

— Какие у вас главные претензии к своей военной промышленности?

— Они элементарны: не хватает оружия, снарядов,— развел руками Штюрмер.— Последнее время, правда, положение несколько улучшилось, но просьбы армии по-прежнему не удовлетворяются. Это большая наша беда,— вздохнул Штюрмер и расправил двумя руками свои усы-кинжалы.

— У нас тоже так было,— подхватил Тома,— но теперь заводы работают ритмично, и я, отвечающий за снабжение армии и особо артиллерии, абсолютно спокоен.

Штюрмер выпучил на него глаза и молчал, занявшись теперь своей роскошной бородой. Тома даже растерялся — он ждал вопроса и не дождался.

— Хотите, ваше превосходительство, узнать, что́ помогло нам наладить дело?— сам задал он ожидаемый вопрос. Штюрмер молчал, продолжая таращить на него свои крупные глаза.— Заводы России плохо работают наверняка потому, что рабочие не стараются. А не стараются они по той причине, что нет у них ни личной заинтересованности в этом, ни чувства личной ответственности за

плохую работу. Ваши военные заводы, поверьте мне, могли бы удесятерить свою продуктивность. Для этого нужно провести милитаризацию производства и самих рабочих. Что это означало бы для рабочих? Освобождение от мобилизации на фронт — это раз. А за плохую работу — наказание со всей строгостью военной дисциплины как за невыполненный приказ, это два. И кривая продуктивности быстро поднимается вверх,— Тома даже взмахом руки показал, как стремительно и как высоко взлетит та кривая.

Штюрмер дернулся всем телом и, наклонясь вперед, сказал вполголоса:

— У нас сделать это немыслимо. Не-мыс-ли-мо! Против правительства немедленно восстанет Дума. А господа русские социалисты и прочие силы анархии возликовали бы необычайно и немедленно подняли бы крик на всю Россию, что мы заводы превратили в казармы и прочее и прочее. А на требование удесятерить продуктивность те же анархисты научили бы наших рабочих выдвинуть требование, чтобы мы их и снабжали в десять раз лучше, и платили бы им в десять раз больше.— Штюрмер поднял палец:— Россия, милейший мой, это Россия, и французские мерки к ней не годятся.

— Но разве в России нет власти, войной облеченной на решительные действия?— жестко спросил Тома.

Штюрмер долго молчал, поглаживая лежавшую на его груди бороду, и наконец ответил:

— Я удивлен, что вы, именно вы, не понимаете столь элементарного закона, что любой нажим на фабричных немедленно вызывает контрдействие, а размер и форма его могут быть весьма опасными. Особенно в обстановке продовольственных перебоев и всяких иных неурядиц, которые весьма легко и даже соблазнительно приписать власти. И тогда может произойти бог знает что. И без этого нам, господин Тома, нелегко, ибо огромная, серая Россия во многом неуправляема. Достаточно того, что мы сумели заставить ее надеть шинель и воевать.

— Но разве русские рабочие совсем лишены патриотического сознания?— помолчав, спросил Тома.

— Исчерпывающие данные об этом вам могут дать в нашей полиции,— усмехнулся Штюрмер.

— В полиции?— Тома сделал вид, будто не понимает, при чем тут полиция.

— Именно, именно в полиции,— повторил Штюрмер.

Потянулось молчание. Тома не знал, как продолжать разговор. В это время к ним из столовой пришел Палеолог.

— Ну как, нашли вы общий язык?— преднамеренно легко, почти весело спросил посол, внутренне смеясь над ситуацией, в которой общий язык должны найти известный социалист и не менее известный сатрап самодержавной власти.

— По крайней мере, мы кое-что выяснили,— ответил Тома, вставая...

На другой день за завтраком во французском посольстве Тома, рассказав о своей беседе с премьером, спросил:

— Неужели тут так далеко зашло?

— Да, достаточно далеко,— подтвердил Палеолог.— И это главная трудность и главная тревога русской власти.

— Но тогда это означает, что революционное брожение в среде русского пролетариата обрело больший масштаб, чем у нас, в стране первой революции?— недоуменно проговорил Вивиани.

— Не забудьте, что здесь тоже уже была первая революция,— ответил посол.— В тысяча девятьсот пятом году. И тогда здесь происходило форменное вооруженное восстание и главной его силой были рабочие. И то, что та революция ничем реальным для рабочих не разрешилась и была жестоко подавлена властью, оставило свою глубокую и неизлечимую рану. Вы, французские социалисты, помнится, тогда приветствовали русскую революцию и даже возлагали на нее какие-то надежды...— Палеолог лукаво улыбнулся и спросил:— И выходит, что те ваши надежды не оправдались.

Тома задумался над словами посла, и он не мог не почувствовать в них оттенка укора и даже прямого напоминания о том, какая метаморфоза произошла с ним самим за последнее десятилетие. Решив, видимо, как-то разрядить разговор, Вивиани сказал:

— Мы, однако, приехали сюда не изучать уроки той русской революции, а сделать все необходимое и полезное для нашей Франции в войне, и в этом мы вправе надеяться на помощь посла Франции.

— Я этим и занимаюсь,— сухо обронил Палеолог, но подумал, что не стоит больше дразнить этих визитеров, как-никак, они же министры его правительства...

А тут еще добавил Тома:

— И все-таки, несмотря на ваши уроки пессимизма, я побываю на русских заводах и потом обогащу вашу информированность о русских рабочих, что крайне важно для уяснения реальных возможностей России в войне, которая решается не в великосветских кругах...

Проглотив явный намек в свой адрес, Палеолог сказал:

— Советую вам быть предельно осторожными. Кроме всего, вас могут обвинить в революционном подстрекательстве, вы ведь для русской власти социалист, а значит, революционер.

— Они должны знать, что мы давно заняли совсем иную позицию,— ответил Тома и тут же пожалел о сказанном, так как мгновенно последовал вопрос посла:

— Но вы же не будете прокламировать это в разговоре с русскими рабочими?

В тот же день французские визитеры выехали в Ставку, где им предстояла встреча с генералом Алексеевым.

Из Могилева Тома отправился в поездку по заводам, и Алек-

сеев принимал одного Вивиани. Генерал был подчеркнуто холоден. У него лежала на столе шифрограмма от русского представителя при французской ставке генерала Жилинского.

«Оба визитера,— сообщал генерал,— весьма популярные личности во Франции — в прошлом как общественные деятели социалистического толка, а ныне как причастные к правительству. Эта их двоякая популярность, на мой взгляд, не может считаться прочной. В данный момент они, отказавшись от своих прежних взглядов, активно служат власти, объясняя свою новую позицию патриотизмом, вызванным обстоятельствами войны, в которой на карту поставлена судьба Франции. Но всякой войне приходит конец, и какую позицию они займут тогда, неизвестно. Я лично расцениваю их как временщиков и рекомендовал бы соответственно к ним относиться, избегая с ними полной откровенности, хотя формально они будут представлять интересы правительства и даже главного командования, о последнем свидетельствует письмо генерала Жоффра, которое будет дано им для вручения вашему превосходительству...»

Для Алексеева достаточно одного определения — временщики. Когда приторно улыбающийся Вивиани утром вошел в кабинет, генерал хмуро глянул на него, сухо ответил на его приветствие и небрежным жестом показал на кресло перед своим столом.

— Надо проехать от Петрограда до вашей Ставки, чтобы понять, как громадна Россия и как прелестна русская нежная весна...— Вивиани хотел предварить дело, как он полагал, приятной генералу лирикой, но Алексеев выслушал его восторги с каменным лицом, и тогда француз будто проглотил свою сияющую улыбку и, выхватив из кармана письмо Жоффра, протянул его Алексееву. Тот взял письмо и положил его на стол. Вивиани протестующе поднял руку:

— Ваше превосходительство, генерал Жоффр просил вас прочитать письмо сейчас же по вручении.

Это прозвучало почти как приказ, и Алексеев усмехнулся:

— Желание моего французского коллеги для меня, конечно, закон...

Он распечатал письмо, быстро пробежал его глазами и положил на стол.

— Генерал Жоффр, ваше превосходительство, доверил мне передать вам устно, что он намерен между первым и пятнадцатым июля начать на фронте большое наступление и он был бы рад, если бы вы, ваше превосходительство, тоже могли начать наступление не позже пятнадцатого июля, это отнимет у противника возможность переброски подкреплений с одного фронта на другой.

Алексеев долго молчал, рассматривая свои сцепленные на столе руки, думая, до чего же легкомысленны французы даже в генеральской форме. Он мог бы сейчас сказать этому временщику, что Россия начнет наступление даже раньше, но не скажет — он же не француз...

Алексеев поднял наконец на гостя взгляд из-под насупленных бровей.

— На эту просьбу генерала Жоффра я сейчас ничего ответить не могу...— маленькая пауза...— так как подобные решения принимаю не я, а наш государь. Просьба, однако, будет доложена его величеству, а о дальнейшем французская ставка будет уведомлена, как положено, через нашего представителя во Франции генерала Жилинского...— И без паузы вопрос:— Вы остановились при вашей военной миссии?

— Да, конечно,— смятенно ответил Вивиани, понимая, что деловая часть аудиенции окончена.— Но в миссии сейчас междувластие — генерал Лагиш дела уже сдал, а новый руководитель миссии генерал Жанен прибудет сюда только через несколько дней.

— Ничего, штат миссии достаточно информирован и введет вас в курс наших дел.

Генерал в упор смотрел на француза, и ему, кажется, доставляла удовольствие его растерянность — пусть знает штатский временщик, что здесь ему не болтливая Франция...

Аудиенция на том закончилась, и Вивиани покинул Ставку. Но когда он вернулся в свою миссию, ему сообщили, что он приглашается вечером на совещание у царя.

Совещание, однако, тоже не принесло ему радости. Николай вел его строго, никому, в том числе и Вивиани, не давал выговориться, хотя по отношению к французу был отменно вежлив и называл его «наш дорогой гость», но и в этом обращении Вивиани не мог не чувствовать, что его принимают здесь явно как лицо неофициальное и к военным делам имеющее только косвенное отношение. Вскоре весь разговор на совещании свелся к обсуждению только одного его вопроса — о том, сколько своих солдат может послать Россия во Францию. Число, названное им сразу же, что называется, повисло в воздухе, и к нему никто не возвращался, речь шла только о том, послать сорок или пятьдесят тысяч. Ничего определенного не было решено и о сроках отправки. Ни о Румынии, ни о Польше вообще не было сказано ни слова. И, только уже прощаясь с Вивиани, царь сказал ему небрежно:

— Что касается вопросов не столько военных, как дипломатических, на их решение необходимо время и специальная подготовка.

Оба социалиста вернулись в Петроград заметно приунывшие и раздраженные. По поводу своей поездки на заводы Тома сказал послу очень уклончиво:

— Вы правы, положение здесь очень сложное. Главное — ни в чем нет порядка. Вовремя не поступает сырье, низкая квалификация рабочих и многое другое.

— А какое впечатление о настроении рабочих?— спросил посол.

Тома разозлился:

— Как, вы полагаете, мог я это выяснить, разговаривая с помощью переводчика, не знающего трети французских слов?

Посол поздравил Вивиани с успехом в отношении посылки русских солдат во Францию и поспешно добавил:

— Дело не в количестве, важна, как вы сами говорили, полезнейшая символика самого факта, надо только, чтобы вокруг этого у нас был поднят большой шум, а в этом лично ваша роль будет очень велика.

Вивиани промолчал. Посол видел, что визитеры могут вернуться домой в плохом настроении, и понимал, что вину за неудачу они могут возложить на него. Надо было до отъезда сделать все, чтобы улучшить их настроение...

И пошли приемы... Роскошный многолюдный завтрак у великой княгини Марии Павловны, где произносились сладкие спичи в адрес Франции и французов... Грандиозный, на четыреста кувертов банкет от имени русской столицы и Думы, которым руководил сам Родзянко, а слово от имени правительства держал министр иностранных дел Сазонов. (Только Палеолог знал, скольких сил ему стоило уговорить на это министра...) Участники банкета спели русский гимн «Боже, царя храни», а затем в зале появился Федор Шаляпин, который запел революционную «Марсельезу», подхваченную всеми гостями. Само соседство этих гимнов было противоестественно, но никто этого будто не заметил, разве что присутствовавшие на банкете министры откровенно правого толка не без испуга посматривали на вдохновенно поющих, а сами только беззвучно шевелили губами.

В этой атмосфере душевного подъема, созданного пением гимнов, Вивиани произнес блистательную речь о нерушимо верной любви Франции к России. Он кончил ее с глазами, полными слез. Воздев руки к небу, он прокричал исступленно:

— Бог видит! Мы вместе будем идти до конца, до того светлого дня, когда попранное врагом право будет отомщено! Мы обязаны этим перед своими умершими, иначе они всуе пожертвовали жизнью! Мы обязаны этим перед грядущими поколениями!

В зале разразилась буря восторга.

В заключение слово было предоставлено лидеру кадетской партии в Думе Маклакову. Тоже, между прочим, оратор не нитками шитый, и наконец-то французские социалисты увидели и услышали русского политического деятеля. Он производит на них великолепное впечатление, более того, они находят в нем какое-то родство с собой. Особенно после его слов о том, что он был и остается закоренелым пацифистом, но это не мешает ему быть страстным сторонником этой войны, которая превратит Францию и Россию в законодателей будущего всего человечества.

Палеолог не ошибся в своих расчетах — после этого банкета его гости воспряли душой и, перебивая друг друга, высказывали ему комплименты и даже назвали его французской душой русской столицы...

После Октябрьской революции, уже находясь в эмиграции, Родзянко в статье «Накануне катастрофы» вспомнит об этом визите, как он выразится, «послов французского красноречия» и о том грандиозном банкете, где исполнялись гимны: «Боже, как все это было странно, обманно и не нужно России в то страшное время. Странно, если не провокационно выглядело то, что Франция сочла нужным в это время делегировать к нам именно социалистов. Обман и самообман владел и всеми нами, и французскими гостями, когда мы вместе с воодушевлением пели царский гимн и «Марсельезу», пытаясь в своих душах соединить несоединимое. А главное — все это было не нужно и бесполезно прежде всего России, но и Франции тоже. Обман и самообман носил и персональный характер. Помню свой разговор с А. Тома без свидетелей. Он в своем самообмане был великолепен. Принимая меня чуть ли не за лидера левых, т. е. за своего единомышленника (неужели он в этот момент не помнил, кем был сам в тот момент?), он с горящими глазами уверял меня, что революция в самом воздухе Европы, и мы должны взяться за руки под ее знаменем, и что-то еще в таком же роде...

Но я виделся с ним и после февральского переворота, когда он снова примчался в Россию. И его глаза так же, как тогда, горели, но говорил он мне нечто совсем другое — что надо думать не о революции, а о победе над Германией, что спасет и Россию и Францию, как бы вы думали от чего? От революции! Я не верил своим глазам и ушам — с такой политической эквилибристикой я в родных пенатах не встречался... Во время этого нашего разговора у стен Думы бушевала сама революция, которая именитому социалисту, оказывается, была так же не нужна, как и России. Так не правы ли были наши левые, называвшие подобных социалистов социал-предателями. И все, все это было мимо России, которой мой собеседник попросту не знал, но хотел свой личный опыт сделать историческим. А все вместе взятое, происходившее тогда, было не чем иным, как кошмаром бессилия...»

17 мая Тома и Вивиани покинули Петроград, увозя более чем скромные результаты визита и обманные впечатления о русском обществе, воодушевленном верой в победу и охваченном горячей любовью к Франции.

Так была перевернута еще одна пустая страница шестнадцатого года, последнего года русской монархии.

А кровопролитная война продолжалась — генерал Брусилов в эти дни заканчивал последние приготовления своего фронта к большому наступлению. В эти дни он еще не мог знать, что будет коварно обманут Ставкой и верховным главнокомандующим Николаем II и начнет свое наступление без обещанной поддержки других фронтов, в результате чего блистательно начатое наступление, достигнув Карпат, повиснет в воздухе. Австро-венгерская армия понесет тяжелейшее поражение, потеряет до полутора милли-

онов солдат и множество оружия, но хода войны этот успех не решит, а будет стоить России новой большой крови. Потом, спустя много лет, английский военный историк Лиддел Гарт напишет о брусиловском наступлении: «Россия пожертвовала собой ради своих союзников, и несправедливо забывать, что союзники являются за это неоплатными должниками России...» Но увы, и этот долг союзниками России будет скоро забыт, более того, не пройдет и двух лет, как они пошлют свои войска на север и юг России душить избранную народом Советскую власть. А еще позже Брусилов, после непростого и нескорого раздумья, отдаст себя в распоряжение Красной Армии и верно будет служить в ее рядах до последнего дня своей жизни...

А тогда, в шестнадцатом, завершив наступление, которое дало России гораздо меньше, чем могло дать, Брусилов отлично знал, кто ему помешал, и в своих воспоминаниях напишет: «Ставка, по моему убеждению, ни в какой мере не выполнила своего назначения управлять всей русской вооруженной силой, и не только не управляла событиями, а события ею управляли, как ветер управляет колеблющимся тростником». Напишет он и о полной военной неграмотности царя: «Преступны те люди, которые не отговорили самым решительным образом, хотя бы силой, императора Николая II возложить на себя те обязанности, которые он по своим знаниям, способностям, душевному складу и дряблости воли ни в коем случае нести не мог...»

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Поезд из Петрограда прибывал в Москву утром. Стояли слякотные апрельские дни, и Москва на ночь погружалась в тяжелый мокрый туман, и потом до полудня город жил в сумерках. Ехавший этим поездом Александр Воячек туман благословлял. В битком набитом жестком вагоне он сидел, зажав меж ног чемодан, и наблюдал в окно белую муть, в которой как призраки проплывали деревья. За ночь он даже не вздремнул, уж больно дорогой сверток прятал он на груди под студенческой тужуркой, да и нервы были напряжены — эта поездка была для него очень серьезным поручением партии, может быть, самым серьезным во всей его, правда, не такой уж долгой жизни большевика. Еще на вокзале в Петрограде он пережил неприятные минуты — ему показалось, что за ним тащится «хвост», но, слава богу, ошибся — подозрительный тип, похоже увязавшийся за ним еще в здании вокзала, исчез. И все же осторожность не мешала. Воячек прохаживался вдоль поезда и внимательно смотрел, и, только когда поезд уже тронулся, вскочил в свой вагон и втиснулся на боковое место неподалеку от двери. Осматривал, точно ощупывал, каждого, кто пробивался через вагон. Если «хвост» сел в поезд, он будет искать его в мешанине пассажиров и это сразу будет заметно. Но прошел час, другой, и ничего подозрительного Воячек не увидел.

Вагон постепенно засыпал. На плечо Воячеку привалился головой бородатый дядька в армяке и тут же успокоительно стал похрапывать. Умолк наконец ревевший в соседнем купе ребенок. Стало тихо, только колеса погромыхивали под дрожащим полом вагона. Куртку на груди распирал завернутый в холст сверток, Воячек расстегнул верхние пуговицы пальто и засунул руку за борт тужурки, чтобы все время держать сверток. В нем — нелегальная литература — ценнейшие издания Ленина, полученные из-за границы. В Москве Воячек снесет это в Лефортово, там, возле военных казарм,— явочный адрес, где он поселится и будет работать среди солдат. В Петроградском комитете ему разъяснили, что это сейчас наиважнейшее дело партии.

На явочной его ждет Владимир Бруев, такой же, как он, студент. Воячек видел его один раз, когда тот в прошлом году приезжал в Петроград. Они встретились на квартире учительницы Вольской, связанной с большевиками. Толком познакомиться и поговорить не смогли — полиция совершила налет на квартиру и всех, кто там был, забрали. Допрашивали ночь напролет, но, очевидно, не имея никаких улик, утром всех отпустили. Бруев тут же уехал домой в Москву... Оказывается, он племянник учительницы, и она характеризовала его наилучшим образом — давно связан с большевистски настроенными московскими студентами, участвовал в студенческой стачке протеста против войны, очень начитан, со своим устойчивым мнением и все такое прочее... Однако в Петроградском комитете Воячеку о нем говорили осторожней и советовали — до поры до времени, пока сам его не разглядит как следует, полностью ему не доверяться.

Для предстоящего Воячеку дела очень уж с руки была эта явочная квартира. Отец Бруева работал военным врачом при лефортовских казармах и жил на их территории. Конечно же, вести оттуда работу среди солдат будет очень удобно. Но каков все-таки сам он, Владимир Бруев? Пока Воячеку не нравится только то, что он не рабочий парень, все, кто из интеллигентов, для него революционеры в полцены. Правда, ему объяснили, что думать так — ошибка и что с таким подходом можно усомниться и в товарище Ленине. Этот довод, что называется, сразил Воячека...

В Петрограде Воячек до последних дней работал на вагоноремонтном заводе и, честно сказать, с большой грустью расстался с заводскими товарищами, ведь каждого он сам нашел и сумел сделать их боевыми работниками партии, готовыми без страха пойти за ним на все. Но ничего, оставшийся за него огненно-рыжий рассудительный Миша Соколов и вместе с ним веселый слесарь Вася Делов поведут дело дальше — оба они парни толковые и смелые...

Дрожит под ногами вагонный пол. Тяжко и нервно спят вокруг люди. Душно. Вяжет волю сон, но Воячеку заснуть нельзя. Не спит и его память...

Пяти лет не прошло, как он, вот в таком же набитом людьми вагоне, ехал из Твери в Петербург поступать в политехнический

институт, оставив свое сердце в селе Марьине, что под городом Торжком, где он родился, где рос и начинал учиться. С первого класса в сельской школе и потом в тверской гимназии он постигал знания жадно, упорно. Еще не окончив школы, он стал репетитором сына помещика, на чьей земле стоял его родимый дом. Три лета подряд прожил он в помещичьем доме. Нет, нет, к нему там относились хорошо. Помещик был человек гулевой, в доме у него всегда было полно гостей из Москвы и из столицы, приехавших охотиться, а точнее, пьянствовать на природе. С сыном помещика Воячек подружился, вместе они зачитывались книгами из семейной библиотеки. Парнишка он был неплохой, с доброй душой, и это он упросил отца устроить Воячека вместе с ним в тверскую гимназию. А позже какой-то приятель его отца, служивший в министерстве просвещения, помог им поступить и в политехнический. Но в первый же год студенчества их дружба оборвалась — сын помещика не выдержал зубрежки по техническим дисциплинам и уже после первого семестра бросил институт и устроился на казенную службу. Ну и бог с ним, хотя у Воячека с ним было связано только хорошее. О том времени у него только одно тягостное воспоминание — о том, как его отец с матерью приезжали навещать его в помещичьем доме. В хозяйские покои их не пускали, и он сидел с ними в пропахшей серым мылом людской, а в это время из дома доносилась красивая музыка — жена помещика играла для своих гостей на рояле. А ему было безотчетно стыдно перед отцом и матерью и страшно хотелось, чтобы они поскорей уехали. А отец все норовил повидать помещика, чтобы поклониться ему в ноги за сына.

— Сашок,— в который раз просил он,— сходи за барином, уговори его выйти во двор на минуточку.

— Не пойду, батя! Ни за что не пойду!— сердито отвечал он...

Странным образом вот эти наезды родителей в имение, где он жил, потом помнились ему ярче всего другого...

Воячек и в институте учился не щадя сил и уже со второго курса стал получать повышенную поощрительную стипендию и каждый месяц отсылал родителям пятерку, а сам другой раз неделями жил впроголодь.

Надо заметить, что состав студентов в политехническом был весьма демократическим, и не случайно, что именно в этом институте раньше, чем в других, произошли революционные выступления и большевики имели здесь своих людей еще со времени первой революции. С одним из них Воячек вскоре познакомился. Это был его однокурсник латыш Сеня Строд — веселый парень с пшеничной бородкой и синими глазами. Однажды этот самый Сеня Строд пригласил его на студенческую вечеринку в дом его приятельницы, учившейся на Бестужевских курсах. Поначалу вечеринка была как вечеринка — пили чай с домашним печеньем, хозяйка квартиры музицировала на рояле, все вместе пели песни, декламировали стихи Некрасова и потом прямо по некрасовской железной дороге въехали в разговор о политике, и первая же тема — ко-

му нужна эта война? Тут его несказанно удивил Сеня Строд, которого он держал за безалаберного обожателя женского пола. Вдруг он достает из кармана своей студенческой тужурки какую-то помятую брошюрку и начинает ее читать вслух.

В этот час Воячек впервые услышал имя Ленина, который и был автором той брошюрки. Каждая фраза из нее обжигала душу ясной, зовущей правдой, узнав которую честный человек уже не мог жить по-прежнему, не стремясь проникнуть в суть явлений жизни, которая до этого существовала вроде бы сама по себе, ничем особенно тебя не затрагивая. В тот же вечер Строд дал ему еще одну брошюру. А когда наступила зима, Строд свел Воячека на вагоноремонтный завод и связал его там с большевистской ячейкой... Сам Строд, оказывается, уже давно работал в ячейке на заводе «Треугольник»... Вот так Воячек и стал большевиком. Казалось бы, все произошло слишком просто и вроде легко, но это привело его в рабочую среду, и только там он сам осознал, что это для него означало быть большевиком. Отныне его жизнь ему не принадлежала и все в ней теперь было подчинено святому делу революции.

А сейчас Воячек уже просто не может себе представить, что жизнь его могла пойти как-то иначе и без этой опасной, но счастливой деятельности солдата великой ленинской правды, правды революции. Будто обрел он второе зрение, чтобы видеть то, что другим не видно, и постиг то, что другим неведомо...

Вагон меж тем, учуяв утро, зашевелился, закашлял, загудел хриплыми со сна голосами, снова в соседнем купе заревел ребенок. Проводник погасил свечу в фонаре над дверью, и все в вагоне, даже лица людей, окрасилось в синее.

Пассажиры с чемоданами, узлами стали сбиваться к выходной двери. Воячек тоже протиснулся туда в плотную гущу. Поезд то шел, то останавливался, пропуская встречные воинские эшелоны. Наконец медленно-медленно докатился до Москвы и остановился возле открытой дощатой платформы, за которой в три ряда стояли какие-то другие поезда.

Пассажиры ринулись из вагона, потащили Воячека, но тут же случилась непонятная задержка — сзади напирали, а впереди заколодило. Только оказавшись на площадке вагона, Воячек понял, в чем дело — прямо перед выходом из вагона натиск пассажиров сдерживали двое полицейских — выставив вперед плечи, они распихивали на стороны поток пассажиров, а позади них стоял шпик в меховой шапке лодочкой — этих Воячек угадывал с одного взгляда. Как только их взгляды встретились, шпик рванулся к вагону.

Все решали секунды. Пихнув стоявшего перед ним бородатого дядьку навстречу шпику, Воячек скользнул в сторону от дверей и увидел бегущего ему навстречу вдоль вагона другого шпика. Воячек швырнул сверток под колеса вагона, а сам бросился вперед, приготовясь сбросить шпика с платформы. Но в это мгновение оказавшийся за его спиной полицейский сжал его голову мертвым обхватом и стал валить на спину...

Под конвоем двух полицейских Воячека с вокзала на извозчике свезли в московскую охранку в Гнездниковском переулке. Ничего, кроме горькой досады, он не чувствовал и на помощь себе призывал удачу, которая вроде уже блеснула — шпики сверток, кажется, прозевали... В чемодане ничего особо опасного для него нет. Письмо, вклеенное в дно, если они его найдут, серьезной уликой стать не может — кому и кем оно написано, поди узнай. Подумав об этом, Воячек немного успокоился, только досада жгла его душу. Но Сеня Строд не раз говорил ему, что большевик, не столкнувшийся хоть однажды с охранкой, еще не большевик...

Больше часа его продержали в арестной комнате на первом этаже — шерстят небось чемодан. Так это и было — когда его провели наконец на второй этаж к следователю, первое, что Воячек увидел,— свой распотрошенный чемодан. В руках у следователя был его студенческий билет.

Следователь всмотрелся в фотографию на билете, потом в него самого и спросил негромко:

— Стало быть, вы господин Воячек?

Отпираться было бессмысленно — студенческий билет был его единственным документом, по которому он собирался легально жить в Москве, и по нему он был студентом, но не политехнического института, а педагогического. Все остальное для охранки — полная неизвестность...

Воячек весь собрался и нетерпеливо посматривал на следователя, который продолжал обнюхивать его студенческий билет.

— Билет липа?— спросил следователь.— Можете не отвечать, мы сами установим это в два счета...— Он отбросил билет на край стола, положил перед собой чистый лист бумаги и уставился на Воячека белесыми глазами. Воячек смотрел на него. Это был человек уже в летах, его розовую лысину обрамлял жиденький венчик седых волос. Дряблые щеки покрыты сеткой склеротических жилок, две глубокие морщины прочерчивали удлиненное лицо от ноздрей к уголкам тонкогубого рта. «Износился дядя на казенной службе»,— усмешливо подумал Воячек.

— С чем пожаловали в Москву, господин Воячек?

— Давно хотелось ее посмотреть, сходить в Третьяковскую галерею, образовалась свободная неделя, вот и поехал.

— Значит, экскурсия, и ничего больше?— Тонкие губы следователя изогнулись в злой улыбке.

— Выходит, так и есть.

— А что вот это?— Следователь взял со стола и издали показал синюю тетрадку. Несколько дней назад Сеня Строд дал ему эту тетрадку почитать, сказал: «Погляди, что сочиняют для рабочих в петроградских салонах...» Воячек все прочитать не смог — сплошная чушь, какие-то бабьи причитания.— Ну так что это за опус?

— Что-то вроде альбома,— спокойно ответил Воячек.— Мой товарищ дал мне это почитать. Какие-то похоронные стансы.

— Однако тут запросто хоронят здравствующую особу государя.

— Разве? — удивился Боячек.

— Ну как же...— следователь открыл тетрадку и продекламировал тихим голосом:

Никто уж не спасет Россию,
Мы падаем в разверзстую могилу,
И славный Государь наш милый
Покинут богом, он бессилен...

Каково?

— Типичное интеллигентское нытье,— пожал плечами Боячек.

— Кто такой Владимир Бруев? — вдруг жестко спросил следователь.

— Понятия не имею. Бруев, вы сказали? Совершенно точно — не знаю.

— В вашем чемодане обнаружено тщательно спрятанное письмо именно господину Бруеву. («Врет, письмо безадресное».)

— Чудеса какие-то...

— Вы состоите в социал-демократической партии?

— Нет. Но должен заметить, как и очень многих, социалистические идеи меня интересуют.

— Вы с ними хорошо знакомы?

— Нет. Но я читал Маркса. Специально брал в Петроградской публичной библиотеке. Надо сказать, чтение нелегкое.

— Вполне с вами согласен,— кивнул следователь.— Некоторое время назад вы были задержаны полицией в Петрограде на квартире некой госпожи Вольской. За что?

— Тогда там задержали всех, за что — не знаю, но так как я попал туда случайно, тут же был отпущен. («Откуда следователю известно об этом?»)

— Вы знали всех, кто там был?

— Никого не знаю, меня привела туда знакомая студентка.

— А разве там не было господина Бруева? («Неужели Бруев уже у них и дает показания?»)

— Но я же его не знаю.

— А вот Бруев вас там видел.

— Ну, заявлять такое — это уж его личное дело. («Что же выдал им Бруев еще?»)

На этом первый допрос был прерван, и Боячека отвели в арестную комнату. Он нервничал... Судя по всему, Бруев уже у них и дает показания, это сильно осложняло положение. Боячек, конечно, помнил этого великовозрастного студента с нервным тиком костлявого лица. Но что еще он сообщил охранке? Что мог сообщить? Он, конечно, должен был знать, что к нему едет человек из Петрограда, но кто именно, он знать не мог. Но тогда откуда знает охранка, что письмо он вез ему? Это могло быть только их догадкой...

Обдумав все, Воячек решил придерживаться своей экскурсионной версии, а все показания Бруева отрицать, и, если у охранки ничего еще против него не припасено, доказанного обвинения ей не состряпать. Но что у них может быть еще? А если они уже связались со своими в Петрограде и получили что-нибудь по тому задержанию на квартире Вольской? Ну что ж, в отношении себя он сказал правду — его тогда отпустили без всяких последствий. И он уже объяснил, что на ту квартиру попал случайно, туда его привела знакомая курсистка с Бестужевских. Между прочим, так это записано и в петроградской полиции — на этот счет его выручила задержанная вместе со всеми девушка, которая раньше, чем он, заявила, что привела его туда она. Потом выяснилось, что это была подружка Сени Строда, и он смеялся: «Я же знал, кому тебя поручал...» В общем, если московские охранники уже имеют материал по тому задержанию, они ничего существенного против него там не найдут.

Второй допрос состоялся вечером, и теперь все записывалось сидевшим в сторонке протоколистом. Сразу же следователь зачитал показания Бруева, в которых тот сознавался, что в той петроградской квартире он оказался не случайно — госпожа Вольская его тетка, она давно связана с революционно настроенными студентами, и он сам просил ее связать с ними и его. Далее он сообщал, что там, на ее квартире, он видел студента Воячека, личность которого он устанавливает по предъявленной ему фотографии на студенческом билете, выданном на имя Воячека. Затем он показывал, будто вскоре после той его поездки в Петроград ему уже в Москве позвонил по телефону неизвестный, предупредивший, что к нему приедет из Петрограда человек, вместе с которым он будет работать среди солдат в лефортовских казармах и что этим человеком, очевидно (?!), и является упомянутый выше Воячек и что, таким образом (?), обнаруженное у Воячека письмо адресовалось ему — Бруеву...

Воячек видел, что из всех этих «очевидно» и «таким образом» улик обвинения охранке не слепить, но было неизвестно, что Бруев сообщил ей еще...

Воячек не успевает это обдумать, так как в этот момент следователь вынул из стола и положил перед ним его холщовый сверток:

— Ваше?

— Категорически нет.

— Врете, господин Воячек! Вы это выбросили, выходя из вагона, но вы не учли, что это было замечено и зафиксировано свидетельскими показаниями.

Воячек удивленно смотрит на следователя:

— Я полагал, что ваше учреждение серьезное, а вы занимаетесь мелкими фокусами. Повторяю, это не мое и что в этом свертке, я не знаю. (Расчет Воячека простой: сверток они могли найти потом, а про свидетелей следователь врет или он еще не успел со-

стряпать их показания, во всяком случае, он их ему не предъявляет...)

— А что вы скажете по поводу письма, обнаруженного в вашем чемодане?

— С таким же успехом вы могли обнаружить там все, что вам необходимо.

Белесые глаза следователя скрылись в злом прищуре:

— Господин Воячек, вы должны знать, что огульное отрицание вины, как и дача ложных показаний, принесет вам серьезный вред. И не думайте, пожалуйста, что мы тут слепцы без разума. Таких, как вы, через наши руки прошел легион, и все выкрутасы сей публики нам хорошо знакомы. Вы пойманы с поличным и отсюда делайте все выводы, постарайтесь-ка вернуть себя в реальность своего положения и оставьте детскую игру с нами.

— Мне не до игры с вами, и на ваши вопросы я отвечаю одну только правду.

— Ну как знаете, но сейчас от вашей правды полетят перья.

Следователь отдал по телефону распоряжение привести к нему арестованного Бруева и, откинувшись на спинку кресла, смотрел с ухмылкой на Воячека.

Воячек в эти минуты был совершенно спокоен — пока что охранка не предъявила ему ни одной доказанной улики. Теперь нужно было достойно выдержать очную ставку...

Бруев вошел и у двери остановился сгорбленный. Руки плетьми свисали почти до коленей. Воячек с трудом его узнал — правая сторона его лица была сплошным оплывшим синяком.

— Подойдите ближе, Бруев,— пригласил его следователь,— станьте вот здесь и посмотрите на этого человека.

Взгляды Воячека и Бруева встретились. Воячек быстро спросил у него:

— Вас били? — Бруев кивнул.— Потребуйте, чтобы это было занесено в протокол.

— Молчать!— заорал следователь.

— Нет, я молчать, как он, не буду и требую занести в протокол, что арестованный Бруев подвергся в охранке избиению.

Протоколист замер, смотрел на следователя, но тот сделал жест рукой, будто отбросил то, что сейчас происходило.

— Отвечайте, Бруев, вы знаете этого человека?

— Кажется, я однажды его видел,— тихо ответил Бруев.

— Где? Где вы его видели?— напористо спросил следователь.

— В Петрограде.

— Где точно?

— В одном доме... в гостях.

— У вашей тетки госпожи Вольской?

— Да.

— Когда это было?

— В прошлом году.

— Вы все тогда были задержаны полицией?

— Да.

— И этот господин тоже?

— Кажется... тогда всех забрали.

— По какому поводу были гости?

— День рождения хозяйки квартиры.

— Этот господин был там под какой фамилией?

— Я его фамилии не знаю.

— Как же это, Бруев?— Следователь так разозлился, что на дряблых его щеках проступил синеватый румянец.— Вы же сказали нам, и это занесено в протокол, который вы подписали, что фамилия этого господина Воячек и что именно он должен был приехать к вам в Москву, чтобы вместе с вами вести подрывную агитацию среди солдат. Вы что, не говорили нам этого?

— Говорил...— еле слышно ответил Бруев.— Но эту фамилию я прочитал только в показанном мне вами студенческом билете. А кто должен приехать, я не знал, мне было сказано тогда по телефону только, что приедет человек с письмом.

— Вот с этим письмом?— Следователь показал распечатанный конверт.

— Да. Но письмо же без адреса, так что оно могло быть и не ко мне.

— Все так и есть, господин следователь,— врезался Воячек.— Ни он, ни я к этому волшебно найденному вами письму не имеем никакого отношения.

— Молчать, вас об этом не спрашивают!— крикнул следователь.— Отвечайте, вы приехали к Бруеву?

— Я приехал в Москву, а этого Бруева я вижу впервые.

— И, значит, Бруев врет, что видел вас у госпожи Вольской?

— Почему обязательно врет? Он может просто ошибаться, как всякий человек в подобной ситуации, а если человека еще и бить, он может сказать...

— Молчать! Молчать!— прокричал следователь...

На этом очная ставка и закончилась. Бруева увели. Следователь взял себя в руки и долго читал что-то в лежавших перед ним бумагах.

— Почему вы не оформили протокол очной ставки?— спокойно спросил Воячек.

— Не торопитесь, всему свой час,— не отрываясь от бумаг, ответил следователь и добавил:— В том числе и вашей решетке тоже свой срок...

Воячека отвезли в Бутырскую тюрьму, а следователь направился с докладом к начальнику следственного отдела полковнику Рындину.

— С Бруевым все ясно...— сообщил следователь.— Только по одним его собственным показаниям его в два счета можно отправить в Сибирь. А вот с приезжим из Петрограда Воячеком дело посложнее. Это нелегальщик крепкий, а у нас хороших улик против него нет.

— Ваше предложение?

— Воспользоваться нашим соглашением с петроградскими коллегами и этапировать его туда.

— Опять генерал Глобачев поднимет шум, что мы спихиваем ему всякий мусор.

— Не поднимет, он сразу поймет, что получил хорошую дичь. И поскольку вылетела та дичь явно из Петрограда, им и карты в руки сделать из этой дичи эффектное жаркое.

— Хорошо, оформляйте этап...

Спустя неделю Воячека в арестантском вагоне отправили в Петроград...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Решено: Дума открывается в среду, десятого февраля, и на ее открытии будет присутствовать царь.

Двумя днями раньше Николай вернулся из Ставки. Все время, проведенное там, вспоминалось ему как один бесконечный, по-зимнему сумеречный день. Войну точно заколодило. Утренние доклады генерала Алексеева тоже казались ему одним бесконечным докладом с повторением одних и тех же, ставших оттого нереальными слов «перестрелка»... «поиски разведчиков»... «артиллерийская дуэль»... «отражали натиск противника»... «понесли небольшие потери»...

В связи с предстоявшим открытием Думы он попросил как-нибудь усилить сводки, печатающиеся в газетах, и тогда в них появились некие туманности вроде: «в Илуксте взорваны пять горнов под пятью немецкими блокхаузами»,— что такое эти горны и блокхаузы, не пояснялось, или: «наш воздушный корабль «Второй» сбросил на станцию Монастержиско десять двухпудовых и пять пятипудовых бомб и ящик стрел»,— чтó за станция, где она находится, снова не разъяснялось, впечатление должны производить пуды и таинственные стрелы как некое новое оружие... Да вот на днях, для возбуждения гнева против врага, дали в сводку строку о том, что «под Двинском противник применял бомбы с удушливым газом»; или вдруг такое: «К северу от Боян вызвавшийся на разведку ефрейтор Глущенко (в действительности девица Чернявская) подобрался к проволочным заграждениям противника и, несмотря на тяжелое ранение в ногу с раздроблением кости, выполнил поручение и дополз обратно в наши окопы...»

Николай знал, что все это, как любил он говорить Алексееву, «виньетки вокруг войны», на что тот однажды с осторожным раздражением ответил: «Ваше величество, война не скачки, где финалы в каждом заезде...» Да, уж какие там скачки... В общем, если не выйдет еще со взятием Эрзерума... Но нет, дело там идет вроде хорошо, и Эрзерум, судя по всему, обречен, и Дума сможет получить в подарок эту турецкую крепость, и это заткнет рот критикам

войны и Ставки... Одно плохо, что эта победа будет связана с именем великого князя Николая Николаевича — это его фронт... Когда он сказал царице об успешном наступлении на Эрзерум, она нахмурилась и сказала обреченно: «Опять его имя зазвучит громче твоего». Он разозлился, ответил: «Войной, Алиса, все же руковожу я, а не он, и Эрзерум только ее частность, приятная, конечно, а сейчас и крайне выгодная. Наконец, в сообщении об этой победе его имя можно и не называть...»

Но если откровенно, его самого этот Эрзерум тревожит, эта победа на таком далеком и весьма локальном участке фронта подчеркнет мертвое стояние и неудачи на главных фронтах. И конечно же, про этого верзилу Николая будут судачить, что он-то вот воевать умеет. Но это действительно можно пригасить — в сообщении об этой победе можно подчеркнуть активную роль Главной Ставки. И это будет правдой — великий Николай, надо сказать, тот фронт, пользуясь своей причастностью к династии, обеспечил всем сверх надобности. А сколько в архиве Ставки одних только его личных ответов на всякие запросы и требования Николая! Посмотрел недавно — толстенная папка!

Но все равно Эрзерум действительно частность, никак не меняющая всей картины войны. В эту зиму Николай с особо острой тоской ощущал эту проклятую, бесконечную войну и все, что она вызывала внутри России. Однажды ему приснилось, что он ночью в легкой солдатской шинельке стоит один посреди снежного поля, посреди воющей вьюги, вокруг не видать ни зги, а какой-то потусторонний голос со слепого неба повелевает ему: иди, иди, иди... А он будто окаменел и не может шага сделать... Он потом не раз вспоминал этот леденящий сон и зябко при этом ежился. Действительно проклятая, бесконечная и неподвластная война. Последнее время он среди окружавших его в Ставке военных все реже произносил ставшие трафаретными слова о грядущей победе. Она, эта победа, была не видна, как не видно было, куда идти в той приснившейся ему метельной ночи...

Так или иначе, а открытие Думы надо готовить, все говорят, что оставлять этот клапан закрытым опасно. Пусть выговорятся. Между прочим, он эту тревогу и не совсем понимает, ибо это требовало от него отказаться от привычного взгляда на российское общество, всегда представлявшееся ему монолитным сплавом образованного дворянства, делового купечества, преданного чиновничества и трудолюбивого крестьянства. А теперь, если верить всяким советчикам, уже ни на кого целиком положиться нельзя. Дума, конечно, мерзость — для нее вообще нет ничего святого, а вот надо к ней подлаживаться...

В это утро Николай пригласил в Царское Село министра внутренних дел Хвостова и начальника охранки Глобачева. Они приехали вместе и терпеливо ожидали в приемной, когда их пригласят в кабинет царя. Тихо разговаривали, держа на коленях папки «к докладу». Хвостов, уже почувствовавший сгущавшиеся над ним тучи, но реальной опасности еще не сознававший, задавал

Глобачеву зондажные вопросы, но тот отвечал сдержанно, немногословно и больше уклончиво...

— Что там болтает Распутин об открытии Думы? — спросил Хвостов.

— Ничего умного, — пожал плечами генерал...

— Вас не тревожит сводка по Штюрмеру?

Глобачев улыбнулся:

— Мне по должности тревожиться не положено...

— Речь-то все-таки идет о министре-председателе, — заметил Хвостов. Глобачев глянул на министра с притворным испугом:

— Вы готовы его кем-нибудь заменить?

Хвостов надолго замолчал, испытывая досаду, что этот генерал, в конечном счете ему подчиненный, позволяет себе так с ним разговаривать. Но надо терпеть — Хвостов прекрасно знает, что такое охранное отделение и какие у него, в общем не подвластные ему, возможности...

Первого и одного в кабинет пригласили генерала Глобачева. Хвостов рассудил это так: царь хочет сначала получить всю необходимую информацию, а уж потом говорить с ним о делах практических. Но какую информацию понес туда Глобачев? К чему надо быть готовым?

Меж тем Глобачев уже отвечал на первый вопрос Николая, и, конечно же, это снова был вопрос о Думе, Глобачев его ждал и хорошо продумал ответ. Его задача сейчас не встревожить монарха настолько, чтобы у него возникла мысль Думу не открывать. Глобачеву, как, может, никому другому, известно, до чего накалено общество и как назрела необходимость приоткрыть клапан хотя бы в Думе.

— Ваше величество, ничего экстраординарного в агентурных материалах в связи с предстоящим открытием Думы нет... — спокойно, ровным голосом докладывал Глобачев. — Общая реакция положительная даже при том, что о вашем решении быть на открытии Думы никому не известно. Однако положительная реакция имеет разные предпосылки в зависимости от субъекта, чье высказывание нами зафиксировано. Но, подчеркиваю, общая тональность положительная. А наша поездка в Думу эту тональность, конечно, усилит.

— Что говорят в самой Думе? — спросил царь.

— Приведу, ваше величество, наиболее резкое высказывание ультралевого депутата Чхеидзе. Причем, как это ни огорчительно, ему стало откуда-то известно о возможности посещения Думы вами. Откуда он получил эту информацию, мы выясняем.

— Это же крайне возмутительно, генерал! — осерчал царь. — В который раз так случается, что важнейшая информация секретного порядка просачивается?!

— Разделяю ваше возмущение, ваше величество. В данном случае предварительные данные дают основание полагать, что информация получена из дворцовых кругов, возможно, от Распутина...

У Николая даже жила на лбу вспухла от гнева.

— Прошу установить это точно.— Он бесцельно переложил на столе бумаги и сказал тихо:— Это знать он не мог...— И все-таки он об этом с женой поговорит, и она в эти дни запишет в своем дневнике: «...что бы ни происходило вокруг, а отвратительные злые люди клевещут на Друга, будто он виноват во всем...»

А Глобачев промолчал, он-то точно знал, что эта информация пошла от Распутина, а в Думу ее принес редактор «Гражданина» Мещерский, весьма близкий к распутинскому кругу. Наконец, только Распутин мог знать такую подробность, что царица против поездки мужа в Думу.

— Все же что говорят сейчас в Думе?— спросил царь, желая уйти от неприятной темы.

— Так вот, высказывание Чхеидзе: «Нам хотят закрыть рот монаршей десницей»,— бесстрастно прочитал по бумаге Глобачев и быстро добавил:— Тут ни удивляться, ни возмущаться нет необходимости — Чхеидзе есть Чхеидзе. А вот гласный из националистов Половцев по поводу возможного посещения Думы вами выразился так: «Это напомнит всем, что Дума — государственное дело, а не сходка безответственных крикунов».

— Вот это правильно,— заметил Николай.— Это какой же Половцев?

— Тот самый, ваше величество: Россия для россиян и так далее. Но замечу, к слову, убеждения его похожи на флюгер, и не дай бог, если ветер сильный.

Царь улыбнулся:

— Я его помню, помню — излишне горяч и не очень разборчив в выражениях, но все же патриот, ничего не скажешь...

— Вообще, ваше величество, атмосфера в самой Думе вокруг открытия спокойная, но что будет там, когда начнется будничная говорильня, ни за что поручиться нельзя.

— Я надеюсь, что мое посещение Думы многих приведет в рассудок. Ну а если они снова распояшутся, закроем Думу в два счета. Я собираюсь дать Штюрмеру заблаговременно подписанный мною рескрипт о закрытии Думы, и он, если что, сразу же вынет его из портфеля. А никаких уличных эксцессов произойти не может?

— Исключено, ваше величество. Вместе с начальником департамента полиции мы продумали абсолютно надежную блокировку всего района Таврического дворца. Министр Хвостов наш план утвердил...— Имя Хвостова названо генералом умышленно небрежно, походя, расчет генерала точный — немедленно последовал столь же небрежный вопрос царя:

— Ну, как Хвостов?

— В каком смысле, ваше величество?

— Как вам с ним работается?

Глобачев чуть пожал плечами, шевельнув погоны:

— Моя служба, ваше величество, все же сама по себе...— Летучая пауза...— Мне он не мешает.

— А кому-нибудь мешает?— натянуто улыбнулся царь.

— Мне трудно ответить, ваше величество. Но он человек энергичный, настойчивый, в задуманном не уступчивый, а это далеко не всем и не всегда нравится.

— Я думал об этом,— тихо обронил Николай, невольно подтверждая все данные, пришедшие за последнее время в руки Глобачева о неприятии Хвостова в определенных кругах. И совершенно ясно, что об этом известно царю и он об этом думает... Можно забросить еще один крючок:

— С другой стороны, ваше величество, со времени его назначения прошел столь малый срок, что всякое суждение, тем более осуждение, может оказаться поспешным.

— Да, конечно,— согласился царь.— Но меня, и именно в связи с этим, огорчило, что вы назвали имя Распутина. Я-то как раз собирался просить вас как-нибудь потактичнее дать понять Хвостову, что вряд ли ему стоит...— Царь замялся и произнес раздраженно:— У него достаточно серьезных дел, чтобы тратить время и силы на некрасивую борьбу с человеком, которому доверяет двор...

Вот оно, главное, что чаял услышать генерал,— агентурные данные подтвердил сам царь: Хвостов ведет войну против Распутина, и это может кончиться для него катастрофой — подобные сюжеты проходили через охранку уже не один раз...

— Ваше величество, все же мне неудобно давать советы министру, которому я, в конечном счете, подчинен...— Глобачев, кроме всего, не хочет, как бы то ни было, лезть в эту взрывоопасную ситуацию.

— Мне вы подчинены в большей степени,— холодно обронил царь, и Глобачеву предстоит немало подумать над этой монаршей фразой, чтобы решить для себя, была ли она подтверждением просьбы царя дать полезный совет Хвостову.

— Я хотел бы получить, и побыстрее, хотя бы краткую, но пофамильную характеристику левого крыла Думы.

— Пожалуйста, ваше величество.— Глобачев взял из папки сколотые листы бумаги и положил на стол. Царь взял их, тут же начал читать, и чтение это явно оказалось интересным — он перевернул страницу, другую, начал читать третью и только тогда отложил документ в сторону, сказав:

— Весьма любопытно, Константин Иванович, и мне по душе, что вы это заблаговременно сделали... Но каков ноев ковчег?! Всякой твари по паре.

— Именно, ваше величество. Но в этой их разномастности я позволю себе усматривать и положительное свойство — никакого объединения там произойти не может.

— Да уж, да уж,— улыбнулся царь...— В одну коляску впрячь нельзя осла и трепетную лань...

Глобачев почтительно посмеялся, но его ум, приученный цепко следить за словами собеседника, отметил, что царь цитирует басню неточно... Потом спросил:

— Ваше величество, программа лично вашего действия при открытии Думы разработана?

— Ну какая там может быть программа? Молебен, надо думать, какое-то их слово ко мне, я отвечу, и все... У вас ко мне есть что-нибудь еще?

— Хочу просить, ваше величество, разрешить мне оставить вам записку по поводу большевиков. Я все больше склоняюсь к тому, что мы в этом направлении либеральничаем, и предлагаю несколько конкретных мер по обузданию этой опасной публики.

— Оставьте, я ознакомлюсь... Что еще?

— Имеем новые данные о Гурлянде.

— А что он еще может? Его эра давно кончилась вместе с его духовным отцом Столыпиным.

— Ваше величество, эта личность умна и необычайно изворотлива. Мы из нескольких источников имеем совершенно надежную информацию, что премьер Штюрмер готовит ему значительную должность.

— Штюрмер мне об этом ничего не говорил.

— Зато говорил самому Гурлянду, а тот говорил уже многим. А ведь он как был ярый столыпинец, так и остался.

— Проследите за этим, а я Штюрмеру скажу при случае, что столыпинская челядь нам не нужна.

— Ваше величество, разрешите высказать предположение? Возле Гурлянда есть свой круг людей, которые не могут нас не интересовать. Так не лучше ли будет иметь этого Гурлянда под рукой, но не у Штюрмера, а у нас. Ведь он до сих пор числится чиновником нашего министерства. Может, сделать так: пока Штюрмер его еще не назначил, мы потребуем от Гурлянда исполнения каких-то обязанностей по его причисленности к нам, это позволит нам видеть его регулярно и изучать его окружение. Но есть и другой ход — Гурлянд лезет в акционерное общество «Треугольник», скупает его акции. Его можно впихнуть даже в правление общества, и тогда он там завязнет крепко...

Царю что-то начало не нравиться, что ему говорят про какие-то сыщицкие тонкости, и он поднятием руки остановил Глобачева:

— Сами, пожалуйста, разберитесь.

— Слушаюсь, ваше величество. Последнее, с вашего разрешения: при чтении моей записки обратите особое внимание на раздел о подрывной деятельности большевиков на фронте. Это очень опасно, ваше величество, при том, что мы наблюдаем, как лица командного состава армии явно уклоняются от решительных мер.

Царь кивнул и выразительно посмотрел на часы...

Глобачев встал и, сделав поклон, ушел...

Дождался своего череда и Хвостов. Он сразу же заметил: царь чем-то недоволен и к нему явно холоден — еще недавно он выходил из-за стола ему навстречу, подавал руку, а сейчас даже не встал...

Хвостов подготовил для разговора пять вопросов и, усевшись за приставной столик, уже начал выкладывать на него свои бумаги, и вдруг услышал:

— Алексей Николаевич, я вас долго не задержу, да и у меня надвинулись другие дела...— Хвостов перестал таскать из портфеля бумаги, поднял выжидательно голову.— Я хочу вас попросить только об одном: займитесь сейчас только Думой... и больше ничем.

— К открытию Думы все готово,— поспешно сообщил Хвостов.

— Открытие — это только начало ее работы, а меня интересует Дума после открытия... после, Алексей Николаевич. Вам следует быть в курсе каждого часа работы Думы и предпринимать все необходимое, чтобы мы не имели там огорчительных сюрпризов. Еще раз хочу сказать вам — занимайтесь только этим... Только...

— Понимаю, ваше величество...— пробормотал Хвостов. Он все отлично понимал и уже не жалел, что ему не пришлось докладывать свои вопросы, в конце доклада он собирался снова говорить о дискредитации престола Распутиным...

Тут бы ему и остановить свою войну со святым чертом, но на это у него понимания не хватило.

Возвращаясь в Петроград, он смотрел из автомобиля на безбрежные снежные равнины и все решительнее думал о том, что надо побыстрее завершить тщательно продуманную им радикальную операцию против Распутина. Да, именно побыстрее, ибо опоздание тут смерти подобно...

2

Манус совет Грубина принял. Вернее будет сказать, совет пал на уже хорошо подготовленную почву. Манус и сам был человеком достаточно умным, чтобы точно и трезво оценить обстановку в стране и понять, что сейчас действовать ему в одиночку, без поддержки в верхах, попросту опасно. Он очень болезненно пережил позорную для себя историю, когда в начале шестнадцатого года у него вырвали из рук по всем статьям ему принадлежавшее миллионное дело с ремонтом товарных вагонов. Он пустил в ход свои привычные связи, не пожалел денег на «смазку», но ничего сделать не смог. Все решил какой-то третьестепенный чиновник министерства путей сообщения, отыскавший в томах уложений и инструкций бог весть когда внесенный параграф, по которому сделка Мануса была объявлена незаконной. Еще тогда Манус подумал: имея ход к министру путей, я бы вам показал параграф...

В общем, Манус ринулся искать связи в верхах, чтобы вместе с деньгами делать и свою политику.

Главным его контрагентом по таким делам стал рекомендованный Грубиным Николай Федорович Бурдуков — несколько странный чиновник из министерства внутренних дел. Странный

тем, что, будучи причисленным к министерству внутренних дел в чине шталмейстера, он ничем определенным там не занимался и вообще неделями мог не бывать на службе. Но вместе с тем он мог оказаться причастным к самому важному делу министерства. Это был человек хитрый и болезненно жадный к деньгам, будучи чиновником уже в летах, он о дальнейшей карьере не помышлял и поставил себе целью приобрести солидный капитал. Возле Мануса он сразу почувствовал запах больших денег. И чем бо́льшие доходы виделись ему впереди, тем тоньше и изощреннее он действовал. Бурдуков отлично знал все ходы и выходы в высших государственных сферах и, кроме всего, был близок с комендантом царскосельского дворца генералом Воейковым, который, в свою очередь, был на короткой ноге с царем, и это особенно льстило Манусу... Располагал Бурдуков связями и в других полезных местах.

У самого Мануса обнаружился лисий нюх на полезных людей, на него уже работало несколько человек, и один стоил другого. Возле него оказался князь Михаил Михайлович Андронников. Это была удивительная личность. Он был никто, хотя его принадлежность к какому-то княжескому роду Кахетии была бесспорной. Он был ничто, но обладал, хотя и невысоким, государственным чином коллежского регистратора. Отчисленный за неуспеваемость из Пажеского корпуса, где он только потом не работал: и в министерстве внутренних дел, и даже при обер-прокуроре Святейшего синода. Жил он припеваючи и все время был на поверхности столичной жизни — его имя то и дело мелькало в газетах. Его знали все царские министры и сановники. Более того, одни с ним считались, а другие даже побаивались его. Средства к жизни он зарабатывал различными коммерческими предприятиями, особых успехов тут у него не было, но он всегда был с деньгами. Однако не коммерция была его главным занятием. Это был аферист, жулик, действовавший с удивительной по своей простоте отмычкой... В день рождения какого-нибудь министра он отправлялся к нему с частным визитом (как не принять князя!), дарил ему иконку и вручал поздравительное послание, написанное таким возвышенным стилем, что до его смысла трудно было добраться. Но было очевидным, однако, что поздравитель преклоняется перед министром, считает его выдающимся служителем царя, надеждой России. Кроме иконки и поздравления, он вручал министру... сплетню. Например, что об этом министре говорит другой министр. Причем сплетня не была выдуманной, так как некоторое время назад он побывал с визитом у того, другого министра и нарочно втянул его в разговор о министре этом. В ответ сей министр говорил, что он думает о министре том, а с этим князь немедленно бежал к министру тому. И вот уже два государственных деятеля были завязаны князем в крепкий узел и впредь нуждались в его полезной информированности. Теперь князь уже выполнял их прямые поручения: узнать, что думает о нем тот или другой из круга влиятельных лиц. А всех повязанных им деятелей Андронников использовал для проталкивания денежных дел, ходатаем по которым он нанимался к кому

угодно за немалые гонорары. Карьеризм, коррупция были тем болотом, в котором распрекрасно чувствовал себя князь Андронников. А если добавить еще, что у него были связи с фрейлиной царицы Вырубовой и Григорием Распутиным, станет понятным, как много мог сделать князь для Мануса и его дел. Однако Манус все же его опасался — уж больно легок, несерьезен был этот лощеный толстяк. Поэтому сам он с князем никогда не встречался — все делалось через Бурдукова.

Были вблизи Мануса и другие фигуры... По ходу заседания русского правительства велся протокол, он затем перепечатывался в трех экземплярах, переплетался в тетради, которые рассылались царю, премьеру и министру внутренних дел. В техническом аппарате правительства трудился скромный чиновник Губенников, в обязанности которого входило оформление таких тетрадей. Чиновник этот был куплен Манусом, и от него и шла информация о всех принятых правительством решениях. Необходимо отметить, что покупку этого чиновника подсказал Манусу не кто иной, как все тот же Грубин, которому эта информация была нужна не меньше, чем Манусу.

Вот с какими «политиками» связался Манус, и понятно, на какую «политику» его подвигнул Грубин, который издали весь этот год следил за новой деятельностью Мануса, знал о каждом его шаге, а встречаясь с ним, получал от него информацию для немецкой разведки. Но повседневное руководство Манусом во всех этих делах он осуществлял через Бурдукова.

Но сегодня Грубину придется заниматься им самому — пообедать вместе пожелал Манус. Позвонил утром и настойчиво пригласил в ресторан. Грубин знает, в чем дело,— сегодня в суворинской газете «Новое дело» названа фамилия Мануса и впервые прямо сказано, что он является тайным агентом-хранителем немецких интересов. Наверное, встревожился... Но обедать Грубин откажется — неразумно долго на глазах быть в его обществе. Хотя со страху, что ли, Манус пригласил его в какой-то малоизвестный ресторан «Севастополь» на Обводном канале. Даже извозчик дважды переспросил название и адрес...

Ресторан оказался затрапезным. Воняло кухней. Окна маленькие, темно. Единственно, что хорошо и кстати,— глубокие ниши-кабинеты, задергивающиеся бархатными замусоленными портьерами. В одной из таких ниш Манус ждал Грубина...

— Еле нашел ваш «Севастополь»,— смеялся Грубин, опускаясь на скрипучий просиженный диванчик.— Самое подходящее место для ангела-хранителя немецких интересов...— Грубин захотел сразу дать понять, что он не придает серьезного значения газетной статье.— Я обедать не буду, у меня через час деловое свидание на другом конце города. Я даже извозчика не отпустил. И вам не советую нюхать эту вонь, голова разболится.

— Переедем в другое место?— предложил Манус.

— Зачем? — И без паузы: — Разве Бурдуков не советовал вам в свое время купить акции этой газеты?

— На все рты платков не накупишься,— ответил Манус.

— А вот Рубиншейн, насколько мне известно, собирается эту газету проглотить.

— Да черт с ним, с Рубинштейном!

— Хорошо. Пусть черт будет с ним...— Грубин, чуть сдвинув гардину, осмотрел зал.

— Я вижу, и вы боитесь появиться со мной на людях...— Глаза Мануса сощурились в презрительной усмешке.— А я-то не о себе пекусь. Как бы это не повредило Протопопову, он-то все же человек государственный, министр...

— Эта газетная брехня не повредит никому, тем более Протопопову,— рассудительно начал Грубин.— Но кое-что предпринять следует. Первое — пожертвуйте приличную сумму на санитарный поезд императрицы. И не жмитесь. Спустя пару дней хорошо бы побывать у нее Распутину и узнать, как она расценила ваш жест. То, что она скажет, передать князю Андронникову, а это значит, всему городу... Второе — узнать точно, кто автор статьи. Бурдуков должен вызвать его в министерство внутренних дел и потребовать, чтоб он предъявил документы, подтверждающие его обвинение в ваш адрес. Документов у него, естественно, нет, и Бурдуков скажет ему, что вы подаете на него в суд. Тогда Андронников должен посоветовать редактору замолить свою вину перед вами на страницах той же газеты. Третье...— Грубин обаятельно улыбнулся...— Паника отменяется. С волками жить — по-волчьи выть. А теперь прощайте.

— Спасибо,— тихо сказал Манус, пожимая руку Грубину...

«Удивительные эти русские...— думал Грубин под снежный скрип извозчичьего возка.— Могут, не дрогнув, идти на эшафот и расстроиться из-за пустяков... Манус... Манус... Гроза биржи, дрогнувший от выходки какого-то газетного щелкопера... Комплекс русской неполноценности... Нервы нужно иметь, господа...» Последние слова Грубин произнес вслух, и извозчик обернулся:

— Чего изволите, ваше благородие?

— Поезжай быстрее,— рассмеялся Грубин. У него было хорошее настроение — в общем, все шло как надо...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Таврический дворец, где происходят заседания Думы, оцеплен полицией и второй цепью агентов в штатском. Улица для движения перекрыта с раннего утра. Толпы любопытных горожан отодвинуты в стороны от дворца. Густо падал снег, и несколько дворников в белых фартуках непрерывно разметали его на подъезде к дворцу.

Генерал Глобачев в простеньком штатском пальто стоял в толпе любопытных, внимательно смотрел и слушал. Для него

было неожиданностью, почему собрались эти люди? Не замыслено ли что? Но люди стояли спокойно, и на лицах у них ничего, кроме праздного любопытства. Народ самый разный, но больше попроще. Рядом суетился мужчина, по виду мастеровой. Ростом не вышел, он то поднимался на цыпочки, то норовил пролезть вперед. Глобачев тихо спросил у него:

— А чего это тут ждут?

— А лихо их знает,— не оборачиваясь, ответил мастеровой.— Поутру шел мимо, гляжу — полиция Таврический оцепляет.

— Думу будут арестовывать,— знающе сказал кто-то рядом.

Глобачев даже дыхание задержал — допущена ошибка! Оцепление ставили на глазах улицы, а его вообще надо было спрятать... Стоявший неподалеку шпик заметил, что генерал сильно рассержен,— забеспокоился, завертел головой, не проглядел ли он чего?..

Депутаты Думы начали прибывать к часу дня, съезжались дружно, не как обычно — кто когда, ведь бывало, что и кворума нет заседание открывать.

В начале второго часа по тому, как замельтешились возле дворца полицейские и охранники, толпа поняла — сейчас наконец что-то произойдет, и стала подвигаться поближе к дворцу. Но к этому времени уже возникло третье кольцо оцепления — конные жандармы. Специально обученные лошади боковым шагом быстро отжали толпу назад, к линии, обозначенной полосатыми столбиками.

В ворота дворца начали въезжать автомобили с членами правительства и иностранными послами. Они запрудили площадку перед подъездом дворца, но эта пробка была быстро ликвидирована, и машины одна за другой укатили на стоянку в ближайший переулок. Тут же, у ворот дворца, появился громоздкий автомобиль председателя Думы Родзянко, на самом въезде его машину занесло задними колесами в сугроб, шофер пытался стронуть машину, но ее колеса с визгом буксовали. Машину облепили полицейские и чуть не на руках вынесли ее на дорожку. Тучную фигуру Родзянко узнали издали, и в толпе послышались аплодисменты. Глобачев про себя это отметил, все-таки простолюдины Думе симпатизируют...

Родзянко в здание не вошел, остался в небольшой группе думцев, вышедших для встречи царя. К этому времени снегопад еще усилился и царский кортеж машин точно вынырнул из белой мглы и въехал во двор. Несколько машин, миновав подъезд, остановилось дальше, прямо перед подъездом остановилась машина царя. Выскочивший из нее начальник личной охраны Николая генерал Спиридович распахнул заднюю дверцу, через которую вышли царь и великий князь Михаил Александрович. Николай для своего сопровождения в Думу выбрал именно этого князя, потому что в царской семье он был самой бездеятельной фигурой, не вызывавшей к себе заметных отрицательных эмоций. Наоборот, российский обыватель весьма ему сочувствовал, когда он недавно был

подвергнут царем наказанию за женитьбу без его разрешения. Царица, однако, записала тогда в дневнике, что «Михаил чересчур никто, чтобы, находясь рядом с Ники, вызывать чувство почтительного уважения»...

Царь был в шинели и полковничьей папахе. Приложив руку к виску и ни к кому лично не адресуя своего приветствия, он быстро поднялся на ступени и, сопровождаемый встречающими, прошел во дворец. Внутри Думы шествие уточнилось: впереди шли царь и великий князь, за ними — Родзянко и генерал Спиридович и позади — думцы...

На улице толпа поняла, что никакого зрелища не будет, и стала расходиться, и вскоре там, где она стояла, остались только черные фигуры охранников в штатском — они проявились как на снимке. Наблюдавший это Глобачев заметил себе, что следовало приказать агентам расходиться вместе с толпой. Сложная у генерала служба — век живи, век учись...

Меж тем в Таврическом царь и великий князь прошли в Екатерининский зал и остановились перед иконой Николая-чудотворца. Благонамеренная газета «Русское слово» напишет потом: «Два святых имени Николая в эту минуту как бы слились вместе, даруя России великую Надежду...»

Думцы прихлынули к иконостасу, сбившись за спиной царя.

Но давайте почитаем, как вся эта церемония преподносилась России, и воспользуемся для этого репортажем специального корреспондента Петроградского телеграфного агентства. (Цитирую по газете «Народное слово» № 33 за 1916 год.)

«...Во время молебствия, после провозглашения Царского многолетия и вечной памяти всем, на поле брани живот свой положившим, Государь император приложился к святому кресту.

Затем Его Императорское Величество обратился к членам Государственной думы со следующими словами: «Мне отрадно было вместе с вами вознести Господу Богу благословенные молитвы за дарованную Им нашей дорогой России и нашей доблестной армии на Кавказе славную победу. Я счастлив также находиться посреди вас и посреди верного Моего народа, представителями которого вы здесь являетесь. Призывая благословение Божие на предстоящие вам труды, в особенности в такую тяжкую годину, твердо верю, что все вы и каждый из вас внесете в основу ответственной перед родиной и мной вашей работы весь свой опыт, все свое знание местных условий и всю свою горячую любовь к нашему отечеству, руководствуясь исключительно ею в трудах своих. Любовь эта всегда будет помогать вам и служить путеводной звездой в исполнении вами долга перед родиной и Мною. От всей души желаю Государственной думе плодотворных трудов и всякого успеха».

Слова Его Императорского Величества были покрыты долго не смолкавшими криками «ура!» и гимном, исполненным хором всеми собравшимися.

Председатель Государственной думы М. В. Родзянко обратился к Государю Императору со следующей речью: «Ваше Императорское Величество! Глубоко и радостно взволнованные, мы все, верноподданные ваши члены Государственной думы, внимали знаменательным словам своего Государя. Какая радость нам, какое счастье! Наш русский Царь здесь, среди нас. Великий Государь! В тяжелую годину еще сильнее закрепили вы сегодня то единение ваше с верным своим народом, которое нас выведет на верную стезю победы. Да благословит Вас Господь Бог Всевышний. Да здравствует Великий Государь всея Руси».

Раздались вновь долго не смолкавшие крики «ура!».

Из Екатерининского зала Император изволил проследовать через средние двери в зал общего собрания Государственной думы, где был встречен восторженными криками «ура!» членов Государственной думы и публики. Всеми присутствующими был исполнен гимн. Его Императорское Величество, остановившись среди зала заседаний, изволили милостиво отвечать на приветствия. При продолжающихся криках «ура!» проследовал в полукруглый зал. Здесь Государь Император и великий князь Михаил Александрович расписались в золотой книге для почетных гостей, после чего Государь Император изволил выйти из зала и проследовал по правому коридору, где собрались чины канцелярии Государственной думы. Его Императорское Величество благодарил чинов канцелярии за труды, причем соизволил осчастливить милостивыми расспросами некоторых из них, состоящих на действительной военной службе.

Заседание открывается в три часа двенадцать минут дня. В великокняжеской ложе великий князь Михаил Александрович. В дипломатической ложе представители союзных нам государств. Ложи печати и публики переполнены.

Председатель Государственной думы М. В. Родзянко приглашает членов Думы выслушать «Высочайший Указ о возобновлении занятий Государственной думы...»

Таким сладким и пустым суесловием сей лицемерный спектакль преподносился России как торжество единства монарха, народа и его избранников, единства, которым тут и не пахло. Лобызая крест, царь если и молил о чем бога, то разве о том, чтобы его затея с поездкой в Думу утихомирила ее. Думцы на этом спектакле были каждый со своими, на эти минуты затаенными мыслями, подсказанными отнюдь не богом, а их собственными деляческими соображениями — Родзянко в своих воспоминаниях говорит, что каждый гласный Думы был негласным слугой определенных кругов и своих собственных, часто элементарно меркантильных интересов. Что же касается России, она была так далека от этого спектакля, как далек был фронт, где рекой лилась народная кровь, как далеки были от Таврического дворца затерянные в снежных просторах голодные крестьянские избы, в которых с безнадежной тоской оплакивались кормильцы, уже убитые на войне.

А теперь на основании свидетельств участников этого события восстановим некоторые его истинные подробности...

Царица еще утром этого дня снова пыталась уговорить мужа не ехать в Думу, тем более что был для этого, по ее мнению, серьезный предлог — по пути из Ставки в Петроград царь схватил насморк.

— Ники, отмени поездку,— умоляла она мужа, прижав руки к груди.— Наш Друг сказал, что вся эта затея против тебя, в том богом проклятом дворце не будет ни одного человека, который хорошо бы к тебе относился. Чего стоит один этот Родзянко! И ты же простудился, чихаешь!

Николай все-таки верил в полезность своей затеи и всячески отшучивался, зная, впрочем, что отменить поездку он уже попросту не может.

— Я буду на них чихать, и всех моих недругов свалит инфлюэнца. Наконец, Спиридович будет вооружен до зубов, чуть что, он же перестреляет их как куропаток.

— Господи, за что мне еще и это испытание? За что?— повторяла царица, обратив свои воспаленные глаза к лепному потолку.

В этот момент в кабинет, где происходил этот разговор августейших супругов, вошел генерал Спиридович, он был при полном параде.

— Ну, видишь?— весело воскликнул царь.— Ты только подумала об опасности, а он уже тут как тут. Александр Иванович, защитите меня от моей супруги, она не пускает меня в Петроград.

— Ваше величество, ваш приказ для меня закон!— На красивом лице генерала светилась улыбка, адресованная царице.— Но тут, признаюсь, ваша личная охрана бессильна. Я могу только заверить ее величество, что ее венценосный супруг в полной сохранности и весьма скоро будет доставлен перед ее голубые очи.

Царица, сдвинув брови, смотрела на генерала тревожно и недобро, она мистически недолюбливала Спиридовича за то, что однажды он оказался возле ее мужа там, где был убит Столыпин, ей виделось это каким-то роковым предрешением, что, когда этот человек будет рядом с Ники снова, совершится какое-то злодейство.

Из опубликованных за рубежом воспоминаний Спиридовича:

«Решение царя ехать в Думу было непреклонно, однако вряд ли он был уверен, что этот его шаг изменит Думу, но он, возможно, думал, что потом, когда Дума примется за старое, это развяжет ему руки: я сделал все, что мог, дабы показать вам свое расположение и свою надежду, так пеняйте же теперь на себя... В те дни я слышал произнесенную им фразу, что Думу так же легко закрыть, как и открыть... Решение, однако, было непреклонно, и отговорить его ехать в Думу не могла даже Александра Федоровна вкупе с могущественным Другом...»

По дороге из Царского Села в Петроград царь был сумрачен и дважды спросил Спиридовича, не может ли произойти каких-нибудь эксцессов? Генерал твердо заверял, что это исключено, хотя

не раз в эти дни вспоминал, как в Киеве в трижды процеженный зал Оперного театра проник убийца Столыпина Багров. Он сам, не дальше как вчера, задавал царский вопрос генералу Глобачеву, и тот ответил ему, что это невозможно физически, так как на расстоянии не меньше пятидесяти шагов от царя непроверенный человек оказаться не может, и что царь все время будет находиться в плотном окружении надежных лиц. В профессиональную сметку Глобачева Спиридович верил... Да, для охранки это было весьма нервное дело — обеспечить гладкий ход торжества единства царя с народом.

Никаких эксцессов не произошло. Но и Родзянко боялся какой-нибудь политической выходки со стороны наиболее эксцентричных депутатов. «Я не мог не думать,— писал он в воспоминаниях,— о том, что кто-то может решиться на какую-нибудь экстравагантную выходку в присутствии царя из чисто карьерных побуждений, чтобы прослыть сверхсмелым политиком, тем более что атмосфера в стране и в столице благоприятствовала таким надеждам. Думая об этом, я принял решение: с отбытием царя из Таврического не объявлять перерыва и продолжать работу Думы по намеченной программе. Рассчитывал я и на то, что сразу после встречи с монархом никто из экстремальных ораторов на трибуну не полезет...»

Как только Николай покинул дворец, в его коридорах загремел энергичный звонок, созывающий депутатов в зал заседаний.

Ту же цель Родзянко преследовал и произнося свою вступительную речь. Он возвышенно говорил о единении царя с народом, что только это станет решающим условием для победы в войне. Он приветствовал сидящих в посольской ложе представителей военных союзников России и заверил их, что Россия непреклонно верна своему союзническому долгу. Этим он еще и напоминал депутатам, что в зале находятся «посторонние», с чем нельзя не считаться. Тут очень кстати пригодилось встреченное овацией сообщение о взятии Эрзерума. И Эрзерум тоже был выдан как предупредительный сигнал — неужели кто-то посмеет оплевать эту, добытую кровью, победу?

Ни одного опасного вопроса внутреннего положения в России Родзянко в своей речи не затронул. Зная, однако, сколь накален вопрос о правительстве доверия и не желая выглядеть противником его, Родзянко хитро отозвался на него общими фразами о великом значении взаимного доверия власти и народа — так или иначе, это слово «доверие» он произнес.

Затем выступил премьер Штюрмер. Его речь Родзянко имел возможность загодя прочитать и надеялся, что ее выслушают спокойно. В ней тоже важные внутренние дела страны были обойдены молчанием, вместо этого премьер говорил о таких третьестепенных делах, как реформа церкви, или о заслугах поляков, дающих основание назвать их братьями, или о ненависти к немцам и их засилье

в стране. То, что об этом засилье говорил человек, обвиняемый в немецком первородстве, тоже, по мнению Родзянко, имело успокоительный характер.

В общем, декларация Штюрмера была выслушана спокойно, по крайней мере внешне. Затем выступили военный министр Поливанов и Григорович — военно-морской. Это были строгие, без особых подробностей речи о войне, о которой дилетантам лучше не болтать, тем более когда есть Эрзерум. И наконец, Дума выслушала программное выступление министра иностранных дел Сазонова. Его речь, академически спокойная, обстоятельная, сплетенная из сложных дипломатических формулировок, рисовала сложнейший мир межгосударственных отношений, в котором Россия занимала свое достойное место.

Словом, до вечера в Думе царила атмосфера покоя, а может быть, равнодушия. Так или иначе, Родзянко в этот день умело удержал Думу от каких-либо нападок на власть. Под самое закрытие заседания он пригласил на трибуну депутата Шидловского, который выступил от имени так называемого «прогрессивного блока», объединившего несколько думских фракций. Он как бы открывал прения. Но и тут Родзянко был уверен, что никакой неприятной случайности не произойдет. Выбор им первого оратора не был случаен... Сергей Иллиодорович Шидловский, пятидесятипятилетний богатый помещик из Воронежской губернии, был весьма характерным типом российского общественного деятеля. В свое время он был депутатом Третьей думы — столыпинской и теперь — Четвертой, всегда он был на виду и вместе с тем никогда не влезал в рискованные ситуации, очень умно выбирал боковые позиции, даже крах Столыпина, которому он верно служил в Третьей думе, он словно предвидел и заранее занял половинчатую позицию, благодаря чему избежал опасной ныне клички «столыпинец» и уже успел прослыть умеренным октябристом. Умный и злословный думец Шульгин называл Шидловского «толковым приказчиком в магазине российской политики». В нынешней Думе он занимал туманную позицию объединителя разных взглядов, почему и мог выступать от имени целого блока фракций.

Свою тщательно продуманную и отредактированную речь он прочитал ровным солидным баском, когда и общие фразы казались исполненными высокого смысла. Ему даже поаплодировали...

Чтобы покончить с этим помпезно-лицемерным днем открытия Думы, приведем несколько строк из статьи Милюкова, впоследствии напечатанной им в его выходившей в Париже газете «Последние новости»:

«Ту Думу уже не могло спасти ничего и никто, ни явление Государя, ни даже явление Христа. Она представляла собой крестьянскую сходку, которую посетил полицейский пристав. Но так как самый последний из думских деятелей знал, что удержаться сейчас на поверхности можно, только безудержно крити-

куя власть, визги и крики были неизбежны, при том, что никакой конструктивности в думской критике не содержалось, в тот момент даже свалить Штюрмера Дума не могла».

Вечером в царскосельском дворце царило почти праздничное настроение. Родственники и ближайшее окружение поздравляли Николая с победой над Думой. «Это его личный Эрзерум»,— сказал в тосте за ужином великий князь Михаил Александрович, который в этот вечер не уставал рассказывать различные подробности пребывания монарха в Думе. Успокоившаяся царица нежно смотрела на своего смелого и мудрого мужа. В дневнике она запишет: «Все-таки я никогда не должна забывать, что Ники мужчина и ему свойственно принимать мужественные решения...»

А утром, когда во дворце еще спали, в Думе началось новое заседание и снова с ее трибуны зазвучала резкая критика власти.

Прочитав первые такие думские речи, царь пришел в ярость. Его еле уговорили немедленно не закрывать Думу — он все-таки понял, что сделать это сразу после посещения им Думы неразумно.

— Господи, неужели все это происходит в моей России?— вопрошал он с тоской в голосе...

Меж тем его Россия оставалась сама по себе — окровавленная, истерзанная тяжкой войной, угрюмая в своей еще не всем понятной решимости...

Спустя несколько дней царь уехал в Ставку. Его поезд отходил из Петрограда в полночь, он ехал на вокзал из Царского Села на автомобиле вместе с генералом Спиридовичем и личным адъютантом. В пути он не произнес ни слова, и умный Спиридович никаких разговоров не поднимал, видел, что монарх не в себе.

Было приказано — никаких провожающих. Николай никого из штатских деятелей не хотел видеть, он уезжал с уже не раз пережитым, привычным ощущением, что здесь, в столице, он оставляет весь этот неподвластный емубедлам неорганизованности, безответственности и всяческой нечисти, а там, в Ставке, его ждет налаженная как часовой механизм военная работа, его главная работа для войны.

Царский поезд из четырех салон-вагонов стоял у пустынного перрона. Цепочка жандармов была расставлена по ту сторону поезда, а здесь только у царского вагона, вытянувшись в струнку, стоял окаменевший рослый жандармский полковник. Небрежно ему козырнув коротким взмахом руки к папахе, Николай поднялся в свой вагон. В салоне горел яркий свет, бликами отраженный в надраенной бронзовой арматуре. Окна закрыты плотными шторами. Сбросив на руки адъютанта шинель и папаху, Николай сел на угловой диван. Тишина. Все, тревожившее его еще час назад, как отрезано...

Вдруг с грустью и раздражением ему вспомнилось прощание с женой. Он всегда расставался с ней неохотно и потом тосковал всю разлуку, но сейчас к грусти примешалось раздражение. Весь вечер и последние их минуты она говорила ему о делах, тер-

зала его душу, и без того уставшую от всего, что было там, в Царском Селе, его жизнью все эти дни, одна Дума чего ему стоила... А она говорила, говорила, и невозможно было ее остановить... Тот ей не симпатичен, и она его боится, а тот ей нравится, а он обойден вниманием двора, про того Друг сказал, что ему нельзя верить и его надо гнать, а тот, наоборот, свято верен династии, и его надо куда-то назначить — он всего, что она говорила, даже не упомнил. Ну зачем она мучила его в эти последние минуты? Ему и жаль ее, что она принимает близко к сердцу все эти дела, и досадно, что она не понимает, как все это рвет ему нервы...

Поезд так плавно тронулся, что он этого не заметил. Только когда бесшумно открылась дверь в коридор вагона, он услышал глухой рокот колес. В дверном проеме возник генерал Спиридович:

— Разрешите, ваше величество?— Царь кивнул, смотря на генерала настороженно — неужели и он с какими-нибудь делами?

— Разрешите доложить? Поезд отошел в ноль семнадцать, наружная температура минус девять градусов.

— Заметно потеплело,— равнодушно заметил царь.— Присаживайтесь...— Он пододвинул к генералу лежавшую на столе коробку папирос...— Хотите?

— Спасибо, ваше величество, стараюсь курить поменьше.

— Поверили докторам?..— Николай взял папиросу, генерал мгновенно протянул ему зажженную спичку. Пустив дым к потолку и следя за ним, царь сказал:— Меня папироса часто успокаивает... или отвлекает, что ли... Мы отошли в семнадцать минут первого, а помнится, отправление предполагалось точно в полночь?

— Пришлось заменить помощника машиниста,— нахмурил красивое лицо генерал...— Он пришел после свадебного пьянства, глаз открыть не может...

Николай сдвинул брови к переносице:

— Как? На моем поезде пьяный машинист?

— Помощник машиниста, ваше величество, он поезд не ведет, его обязанность следить за топкой, и ему...

— Александр Иванович!— прервал его царь.— Как можно? Это же мой поезд! Если здесь дошло до такого безобразия, как можно требовать порядка на железных дорогах? Вы понимаете это? Что же это делается в России?

Спиридович молчал, проклиная себя за то, что сказал правду о причине опоздания отправки поезда.

— Ваше величество, это входит в круг моих обязанностей, и я могу заверить вас — уже идет строжайшее расследование этого безобразного случая.

Царь ударил кулаком по столу, лицо его мгновенно побагровело:

— Отправьте мерзавца в солдаты! Проследите, чтобы его послали в пекло! Пусть почувствует, что́ он пропил!

Они долго молчали. Николай все не мог успокоиться — то мучительное, неподвластное, что, казалось ему, осталось в Петрограде, вдруг настигло его в поезде...

— Где Воейков? — вдруг спросил царь.

— В свитском вагоне, ваше величество.

— Пригласите его ко мне...

Спиридович понял — царь захотел выпить...

Воейков не заставил себя ждать. Когда он вошел, адъютант царя уже ставил на стол графинчик и обожаемый монархом розовый балык.

— Присаживайтесь, Владимир Николаевич, перекусим на сон грядущий... — Николай торопливо наполнил рюмки, рука у него дрожала, и в свою рюмку он перелил, рассмеялся: — Себе — от душевной щедрости. За что же мы выпьем? Давайте за наш полк. За гвардию!

Они выпили. Воейков перебрал в уме все свои дела, которые он давно готовил, ожидая вот такого случая.

— Как настроение, Владимир Николаевич?

— Настроения нет, ваше величество, есть только работа, и ее невпроворот, — улыбнулся Воейков.

Они молчали, занявшись балыком. Воейков решил приступить к делу.

— Ваше величество, в Екатеринославе при смерти вице-губернатор, — с беглой печалью сообщил он.

— Ваш родственник? — настороженно спросил царь, который уже знал, что последует дальше — не впервой ему воейковские хитрости.

— Да нет, ваше величество, но у меня есть на примете весьма стоящий человек на эту должность.

— Подождите, пока вице-губернатор умрет, — рассерженно сказал царь и встал: — Пора спать, завтра рано вставать.

Воейков ушел, про себя чертыхаясь: как это он не разглядел, что царь в плохом настроении? И ему еще жалко было, что остался несъеденным балык — он тоже любил его...

В это же заполуночное время жандармский капитан Грimайлов дождался наконец возможности доложить генералу Глобачеву об итогах приема царем рабочих. Капитан был очень точным исполнителем и, помня приказ генерала сделать этот доклад, каждый день записывался на прием к нему, но у того все не было времени его принять. И вот уже за полночь ему позвонил адъютант генерала — можно прийти. То, что генерал принимал его так поздно, Гримайлова не удивляло, последнее время все охранное отделение работало до поздней ночи...

— Что у вас? — не отрываясь от бумаг, спросил Глобачев.

— Доклад по приему рабочих государем...

— Что? Что? Я не понял...

— Вы мне в свое время приказали подготовить доклад...

Глобачев поднял серое от усталости лицо и уставился на капитана злыми глазами:

— Вы считаете это чрезвычайно важным?

— Был ваш приказ, ваше превосходительство, доложить вам лично не позже пятнадцатого,— ответил капитан, невольно подтянувшись.

Глобачев оглядел свой заваленный бумагами стол, точно приглашая сделать это и капитана. Потом снова уставился на него:

— Вы имеете полностью речь в Думе социал-демократа Чхенкели?

— В нашем отделе должна быть,— ответил Гримайлов, уже понимая, что никакого доклада о приеме царем рабочих не будет и что он зря потратил время на его подготовку.

— Я спрашиваю у вас, капитан, не о том, что должно быть, а о том, что есть. Вы сами читали речь Чхенкели?

— Не читал, ваше превосходительство, я был занят подготовкой доклада, очень много собралось материалов, нужно было...

— Раньше, капитан, я не обнаруживал у вас отсутствия сообразительности,— перебил его генерал тихо и даже вкрадчиво, чего в охранке боялись больше крика.— Вы нашли нужным возиться с прошлогодним снегом и освободить себя от своих прямых обязанностей? Так я должен вас понимать?

— Совершенно очевидно, ваше превосходительство, я допустил ошибку,— четко выговорил капитан, зная, что Глобачеву в таких ситуациях перечить нельзя.

— Но в своей ошибке, как я понял, вы считаете виновным меня? Вы же заявили, что выполняли мой приказ.

— Я обязан был сам разобраться, что́ в данный момент важнее и...

— И не выполнять мой приказ?

— И своевременно снестись с вами по поводу необходимости его выполнения...

Глобачев повернулся в кресле всем телом и, помолчав, сказал:

— Не медля ни одной минуты, возьмите под свой личный контроль следующее...— взяв со стола бумажку, Глобачев заглянул в нее и продолжал:— Чхенкели говорил в Думе об оскорблении грузинского народа, прогрессивист Ефремов говорил о попранных правах русского народа. Дума этим откровениям аплодировала. Спрашивается — кто оскорблял тот грузинский народ? Кто попирает права русского народа? А господин Шульгин, может быть собравшись это уточнить, договорился до того, что во все время председательствования Горемыкина у России не было головы, которая думала бы о ее судьбе. Как это прикажете понимать? Разве государь в это время отсутствовал? Далее — кому понадобилось непременно зачитывать в Думе телеграмму великого князя Николая Николаевича? Разве Дума до этого не знала, что взят Эрзерум? Значит, это было не что иное, как повторная реклама великому князю? Зачем в этой телеграмме упоминается еще и генерал Юденич да еще как герой Эрзерума? Видимо, кому-то понадобилось напомнить, что прославленные наши военные гении засланы на третьестепенный фронт, когда на главном действуют неумелые растяпы? Так? Эти вопросы задаю вам не я. Государь уехал

в Ставку, но генерал Спиридович предупредил меня, что он в бешенстве, и я его понимаю, а все это может кончиться тем, что учреждение, в котором вы получаете жалованье, будет объявлено несостоятельным и потерявшим свою былую силу. Если это не тревожит вас, то меня — в высшей степени. Я требую от вас элементарного. Надо разобраться в подоплеке этих провокаций в Думе, сами последите за агентурной разработкой участников этих провокаций. И, наконец, надо обеспечить контрдействие там же, в Думе. Этой провокационной болтовне должны быть противопоставлены голоса разума и преданности престолу. Утром отправляйтесь в Думу и, особенно не стесняясь, поговорите с двумя-тремя наиболее надежными из правых.

— Прошу совета, ваше превосходительство, что́ взять за исходное в разговорах с ними? — осторожно спросил Грималов.

— А разве вам не ясно? Тревога за положение в обществе и государстве, — резко произнес генерал. — И церемониться нечего. Все они вас знают, и им известно, что вы прикомандированы ко двору, они видели вас совсем недавно возле государя, когда он приезжал в Думу. С этого и начните — вспомните атмосферу того дня, установите то, что от нее теперь осталось, и ставьте вопрос ребром — почему они молчат, когда кричат враги династии? Почему не реагируют на явные провокации против монаршей власти? Кому-нибудь из наиболее солидных можно даже подсказать тему — государь и война. Напомнить, какую тяжесть несет он на своих плечах и каково ему в это время слышать тявканье шавок, которых ничего, кроме личной карьеры, не интересует. Действуйте, капитан, и больше не отвлекайтесь ни на что без моего личного разрешения. И я хотел бы завтра же услышать от вас, что вами сделано.

— Слушаюсь, ваше превосходительство... — Капитан Грималов уставно развернулся через плечо и энергично вышел из кабинета, думая с досадой на себя, что действительно же прием рабочей депутации — давно забытая всеми и вообще бесполезная затея...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1

Великий князь Николай Михайлович, имея высокие придворные и воинские звания генерал-адъютанта, генерала от инфантерии, по специальному указу царя числился историком России. Была у него, однако, еще одна деятельность особого порядка, где он мог даже влиять на ход истории непосредственно, — великий князь последние шесть лет был, ну, что ли, адвокатом Англии при царском дворе. Конечно, его никто не вербовал и за эту работу ему не платили денег, он выполнял ее, что называется, по призванию и убеждению.

Сэр Джордж Бьюкенен познакомился с великим князем в Болгарии, когда был там послом, а Николай Михайлович приезжал в Софию с визитом к болгарскому царю Фердинанду.

Во время приема во дворце болгарского царя они уединились в стеклянной галерее, выходившей в дворцовый парк, и Бьюкенен заговорил с князем о величии России — страны, которая для многих в Европе является загадочным сфинксом.

— О, это давнее заблуждение Европы,— рассмеялся Николай Михайлович.— Наша страна огромна и сильна, но уменью жить нам следует учиться у Европы.— Великий князь, который казался на голову выше Бьюкенена, сверху вниз лукаво и выжидательно смотрел на собеседника: «Ну, что вы, сэр, скажете на это?» Он обожал легкий светский разговор, когда мог демонстрировать зрелость и самостоятельность суждений. Разговор с Бьюкененом доставлял ему особое удовольствие, князь боготворил англичан и обожал разговаривать по-английски.

— Увы, Европа не едина. И в ней есть всякое,— легко вздохнул Бьюкенен и добавил:— Например, Франция с ее революцией, уничтожившей монархию.

— Я воспринимаю Францию только через французов, их грациозный язык, ее пикантную, но всегда душевную литературу и, наконец, умение французов жить весело, не отягощая себя проблемным глубокомыслием. Такая Франция мне глубоко симпатична...— Николай Михайлович сказал это весело, убежденно и продолжал:— В отношении же крушения французского трона я скажу так: если русский всем своим существом создан для монархического образа правления, то французу, по его характеру, нужна республика со всеми ее вольностями.

— А что вы скажете о нас, англичанах?— спросил Бьюкенен, чуть склонив набок голову.

— О! Вы — это серьезность Европы, вас от французов отделяет не Ла-Манш, а совершенно другое свойство крови и ума.

— Великолепно сказано! Благодарю вас, ваше высочество,— тихо и мягко произнес Бьюкенен.

— А то, что Европа, как вы выразились, не едина, это-то для нас и прекрасно,— весело продолжал великий князь.— Россия может взять у французов характер, у немцев деловитость, а у англичан государственный ум.

— Еще раз благодарю вас,— поклонился Бьюкенен и спросил:— Ну а что же Европа взамен возьмет у русских?

— Терпение, выносливость, непритязательность и умение... пить водку.

Князь рассмеялся, а Бьюкенен с учтивой улыбкой сказал:

— Прекрасные, истинно мужские качества.

— Теперь я благодарю вас, сэр,— чуть наклонил голову князь...

Бьюкенен запомнил этот разговор. Он понял, что великий князь из тех русских, которые молятся на Европу. Приехав в Петроград послом Англии, он немедленно возобновил знакомство с ве-

ликим князем. На третий же день после приезда протелефонировал князю и был приглашен вскоре на утренний кофе. Вот и это «на кофе», а не на традиционный в Петрограде обед или ужин, тоже говорило о европейских привязанностях князя. В его дворце все было на европейский лад. Слуги носили обычную одежду, никаких камзолов или ливрей. Бьюкенена провели в маленькую столовую, где стоял небольшой овальный стол и два жестких белых кресла. В углу — этажерка с книгами, увенчанная бронзовой фигуркой Наполеона. Больше в комнате ничего не было. Князь вышел в сером клетчатом костюме. В свои пятьдесят лет он выглядел молодо. Тщательно выбритое розовощекое лицо было гладким, без морщинок, не старили его и усы с бородкой а-ля Николай.

— О, как я рад снова видеть вас, сэр Бьюкенен,— заговорил князь, появляясь в дверях, и, приближаясь к гостю легкой, пружинистой походкой, протянул вперед обе руки.

Пожимая послу руку и не отпуская ее, князь провел его к столу.

— Не думал, не думал я, что увижу вас в своем доме. Я все время помнил наш разговор в Софии. Редко так бывает: краткий разговор, и ты открываешь человека, который тебе близок и нужен.

— Взаимно, ваше величество,— ответил Бьюкенен серьезно.— Я тоже не забыл нашего знакомства и только поэтому позволил себе позвонить вам.

— Великолепно! Мы теперь будем видеться, мне о многом хочется с вами поговорить, излить душу. Поверьте, в огромной нашей столице мне иногда буквально не с кем поделиться откровенными мыслями.

— Это все же преувеличение, ваше высочество,— улыбнулся Бьюкенен.

— Увы, сказана правда,— произнес князь серьезно и даже печально.— Поживите у нас немного, и вы поймете меня.

Князь замолчал. Благообразное лицо Бьюкенена выражало беспредельное внимание, участие и обеспокоенность, но он выжидательно молчал.

— Нас упорно хотят убедить, например, что наша война с Японией — это малозначительный эпизод, который следует забыть,— энергично заговорил князь.— Как можно забыть позор? Витте сумел помпезно обставить предписание мирного договора, но разве этот договор перечеркнул то, что случилось? А главное в том, что мы не сделали выводов на будущее и можем очутиться перед новым позором.

— Но разве император этого не понимает? — осторожно спросил Бьюкенен.

Князь выпрямился в кресле и сказал раздумчиво:

— В его позиции... слишком большую роль играет... характер. Неудача в японской войне... последовавшие затем беспорядки в стране... буквально смяли его.

— Но теперь-то мирная пора, и Россия процветает,— заметил Бьюкенен.

— Это опасное заблуждение, мой друг,— ответил князь.— Об этой опасности ему говорит даже его мать, императрица Мария Федоровна, полагающая, что это затишье перед бурей.

Бьюкенен слушал и думал о том, что он не ошибся, возобновляя связь с великим князем. Если при первой же встрече князь находит возможным быть с ним столь откровенным, то что же будет потом...

— Я вижу, у вас неважные отношения с императором,— тихо и печально сказал Бьюкенен.

— О нет, отнюдь! Из чего вы это заключили? — удивленно поднял брови князь.— Наоборот, он со мной весьма мил, хотя знаю, что иногда своими суждениями я не делаю ему приятное.

— Но тогда вы просто обязаны советовать ему делать все полезное для России...

Князь нахмурился:

— В советниках недостатка нет. Все дело в том, что советы одних он принимает, а других только терпеливо выслушивает. Я отношусь ко вторым.

— Но, по моему убеждению, для умного человека ни один хороший совет даром не проходит,— возразил Бьюкенен и ждал: в сказанной им фразе заключено слишком важное — что ответит сейчас князь?

Николай Михайлович, конечно, понял, что́ ждет от него английский посол, и решил дальше пока не идти. Он промолчал и, протянув большую белую руку, позвонил в колокольчик.

Слуга поставил на стол фарфоровый поднос с кофейником, двумя изящными чашечками и печенье в фарфоровой вазе.

— Может быть, вы любите с ликером?— спросил князь.

— Предпочитаю сливки.

— Сливки для господина,— распорядился князь.— А я пью только черный и за это имею домашнее прозвище Турок,— рассмеялся он.

За кофе говорили о бурном развитии всесветной моды на автомобили, о непомерной дороговизне французских курортов, о зимнем сезоне в Петербургской опере, и оба думали о том главном, что было сказано, верней недосказано раньше. Великий князь надеялся, что сегодня он сделал все, чтобы приблизить к себе Бьюкенена, а в такой дружбе с послом английского короля крылись для него немалые надежды и даже расчеты. Князю хотелось играть заметную всем роль в управлении Россией.

Бьюкенен, в свою очередь, считал, что сделал сегодня очень много — князь сказал ему то, о чем вслух в России не говорят, и князь не может не понимать, какие векселя выдал. По-видимому, подтверждается информация, что князь страдает от честолюбивой зависти к своему венценосному родственнику и как минимум хотел бы быть при нем главным советником.

2

Первым экзаменом для Бьюкенена в России стала критическая ситуация на Балканах: Россия, давно добивавшаяся союза славянских стран, заняла такую позицию, что сама могла оказаться вовлеченной в войну против Австрии. Это нарушило бы все планы Англии и Франции, рассчитывавших на участие России в большой войне, которая была уже на пороге.

Бьюкенен получил строжайшее указание добиться, чтобы Россия в балканской ситуации заняла более гибкую позицию... Вот когда пригодились и великий князь Николай Михайлович, и проанглийски настроенный министр иностранных дел Сазонов, с которым английский посол к этому времени уже был очень дружен.

Сазонов на каждой аудиенции у царя говорил о неподготовленности Балканских стран к серьезной войне, что должно предостеречь Россию от преждевременного вмешательства в конфликт. С другой стороны, великий князь Николай Михайлович уже как историк напоминал Николаю, как дорого обошелся России прошлый балканский поход. К этому времени относится и письмо Николаю от матери императрицы Марии Федоровны, в котором она заклинала его не верить Вильгельму и быть готовым к его пакостям против России.

Русский царь, который не отличался решительностью, заколебался, и в результате балканская война оказалась изолированной, и в этом виде она устраивала Англию, ибо в междоусобной борьбе Балканские страны ослабевали, а для Британии испокон веков было тем лучше, чем больше было слабых, ибо тем легче было их разделять и властвовать.

Бьюкенен свою задачу выполнил и был удостоен высокой похвалы. А спустя два года Англия поручила ему дело еще более ответственное — осуществить тщательное наблюдение за вступлением России в большую войну. Тут было немало особых трудностей. Россия имела союзнический договор только с Францией, и он был так составлен, что Россия далеко не при всех обстоятельствах была обязана вступать в войну. Договора с Англией вообще не было. Более того, за последнее время между Россией и Англией не раз возникали конфликты. Но летом 1914 года на карту ставилась судьба мира и Англии в том числе. Меж тем английские политики старались предусмотреть все, чтобы на долю Великобритании в грядущей войне выпала не самая тяжелая ноша. В решении этой задачи буквально все зависело от участия в войне России. Каким оно будет, учитывая, что Россия ориентировалась на более поздний срок начала войны? Двинет ли она в бой все свои неисчислимые человеческие резервы? Будет ли непреклонно, несмотря на жертвы, вести активную войну продолжительное время?

Бьюкенен понимал, сколь ответственна в этот момент его роль в России, и развил активнейшую деятельность. К этому времени он уже пользовался большим доверием и самого русского монарха.

Активно действовала в России и профессиональная английская разведка. Военный атташат и аппарат посольства были насыщены опытными разведчиками, которые имели связи в самых разнообразных кругах Петербурга и собирали данные о положении в стране и настроениях в различных кругах русского общества. Словом, Бьюкенен имел все основания написать в канун войны, что английский термометр способен устанавливать температуру России в самых различных ее местах, на самых различных уровнях ее общества и своевременно обнаруживать очаги заболевания.

Первый год войны был вершиной деятельности Бьюкенена в России. Дело дошло до того, что немецкие газеты однажды назвали его вторым, некоронованным царем России. Он и в самом деле так сумел поставить себя, что на вершине российской власти от него никаких секретов не было и действительно царь не раз пользовался его советами и называл его не иначе, как «мой верный друг»... Но этого оказалось мало для того, чтобы знать великую Россию, ее жизнь, чаяния и вовремя заметить и понять происходящее за пределами дворцов, министерских кабинетов и великосветских салонов.

К концу второго года войны положение внутри страны сильно осложнилось, и Бьюкенен слишком поздно обнаружил, что божественный русский самодержец далеко не всесилен в своей державе. В то время, о котором ведется рассказ, Лондон уже в категорической форме требовал от Бьюкенена выяснить именно это — способен ли русский царь продолжать активную войну. Тревога Лондона была послу понятна, но здесь сам царь твердил ему: война до победного конца!

И тогда Бьюкенен решил выяснить, не говорит ли кому-то, не думает ли царь на самом деле нечто другое? Он начал всестороннюю разведку ближайшего окружения монарха...

3

Борясь с сильным ветром, толкавшим его в грудь и задиравшим полы великоватой и дыбом сидевшей на нем шинели, генерал-майор Дмитрий Николаевич Дубенский пешком направлялся в петроградский дворец великого князя Николая Михайловича, и он даже представить себе не мог, что сейчас по продуваемому балтийским ветром Петрограду его ведет воля английского посла сэра Джорджа Бьюкенена...

Судьба генерал-майора Дубенского была довольно оригинальной. Долгие годы он числился по генеральному штабу и перед войной стал членом совета главного управления коннозаводства, занимался закупкой лошадей для армии. Мучила его и даже разоряла одна неожиданная причуда — он на собственные деньги издавал газету «Русское чтение», призванную, как он думал, содействовать успокоению русского общества. Газета была чудовищно скучной и серой, однако ее курс был официально одобрен, и Дмит-

рий Николаевич ежегодно получал пособие на нее от министерства внутренних дел... А когда началась война, на него нежданно-негаданно свалилось назначение на должность историографа при Главной ставке. Он ездит теперь в свитском вагоне царского поезда и пишет отчеты о пребывании царя в действующей армии. Кроме того, он причастен еще и к изданию «Летописи войны» — это нечто вроде семейного альбома его величества. Вращается он в самых верхах, видится с самим императором, но не приобрел почему-то ни светского лоска, ни начальственной фанаберии, а среди высоких особ не приобвыкся и держался робко. И с ним никто особенно не считается — вот и сегодня хамы интенданты не дали ему автомобиля, хотя прекрасно знали, к кому он направляется...

Великий князь принял Дубенского в своем рабочем кабинете. Генерал-майор, потирая озябшие руки, с почтением разглядывал шкафы с книгами.

— Не хотите рюмочку с холода? — ласково предложил князь.

— Премного благодарен, ваше высочество... не пью... печень, — повинился Дубенский.

— Нам, Дмитрий Николаевич, давно следовало встретиться, — сказал князь, садясь за громадный письменный стол, крытый зеленым сукном. — Оба мы занимаемся нашей историей и, наверно, частенько повторяем друг друга.

— Историей, ваше высочество, теперь занимается кто угодно, — огорченно вставил Дубенский, но князь словно не услышал его бестактности и продолжал:

— Откровенно признаюсь, в чем у меня крупный пробел. И вы и я должны собирать и фиксировать высказывания государя по самым различным темам, ибо только это сделает историю содержательной и придаст ей государственный уровень. Согласны с этим?

— Как же! Как же! — Дубенский поспешно выхватил из кармана носовой платок, высморкался и добавил: — Непременно, ваше высочество!

Князь невольно отвернулся, когда Дубенский сморкался в мятый клетчатый платок, и, смотря в окно, за которым ветер раскачивал голый тополь, продолжал:

— Я слышу государя главным образом, когда он в кругу нашей семьи, о войне он здесь говорить не любит, наверно, сам хочет от нее отдохнуть. В общем, нам следует наладить обмен высказываниями государя. Не возражаете?

— С превеликим желанием...

— Вы сопровождали государя в его поездке на фронт перед Новым годом? — спросил князь.

— Непременно. И удостоился его похвалы за описание парада на Западном фронте. Очень все было трогательно. — Маленькие зеленоватые глаза Дубенского восторженно заблестели.

— Это то, что напечатано в «Ниве»?

— Частично, ваше высочество. У меня взяты высказывания его величества, поскольку репортеры при этом не были...

— Кроме опубликованных, были какие-нибудь высказывания еще? — строго произнес князь.

— Да целый короб, ваше высочество! — всплеснул руками Дубенский, отчего китель его вспучило горбом на спине и оттопырились погоны.

— Поделитесь же, — не то попросил, не то приказал Николай Михайлович. — Мне в данный момент особенно необходимы высказывания о перспективе войны.

— Сколько угодно, ваше высочество. Но, не зная, зачем зван к вам, я не захватил своих тетрадей, — виновато улыбнулся Дубенский.

— Давайте для начала по памяти. А те, которые мне окажутся нужны, вы потом напишете...

Дубенский задумался, сморщил свое маленькое лицо: действительно, всяких высказываний государя он слышал превеликое множество, но какое может заинтересовать князя?

— Я помогу вам. Не было ли, например, момента, когда государь доверял солдатам или генералам какие-нибудь свои сомнения по поводу завершения кампании?

— Боже упаси, боже упаси, — казалось, Дубенский сейчас поднимет руку и перекрестится.

— Ну почему же? — В бархатном голосе князя послышались нотки нетерпения. — Вполне естественно, что государь, желая услышать мнение своих воинов, мог, хитрости ради, высказать какое-то сомнение. Понимаете, как важно отразить в истории столь доверительное отношение государя к военным людям.

Дубенский снова наморщил лоб, мучительно думая, что сказать. Князь ждал, с трудом подавляя в себе раздражение против недалекого собеседника, к помощи которого он вынужден обращаться.

— Война до победного конца! Только об этом и заявляли его величество. Только об этом, — сказал наконец Дубенский.

— Ну не может быть, чтобы он всюду говорил одну и ту же фразу... — В голосе князя появилась твердость: то, что он услышал от Дубенского, он знал и без него. — Припомните, пожалуйста.

Дубенский смешался и, боязливо глядя на князя, старался изо всех сил вспомнить то, что нужно.

— Разве вот... — начал он нерешительно. — Уже в поезде было... Как раз его величество просмотрели мой отчет, похвалили и вдруг спрашивают у меня: «А не устали вы от всего этого?» Я, конечно, вскочил: «Никак нет, ваше величество». Он глянул на меня с большой серьезностью, и на том разговор и кончился.

— Ну видите? — ободряюще, мягко и тихо сказал князь. — Это же очень существенно — его величество интересуется, не устали ли его люди от войны. Пожалуйста, еще что-нибудь подобное.

Дубенский шумно вдохнул воздух маленьким носом и начал нерешительно:

— Было еще так... Сразу после парада государь разговаривал с командующим генералом Эвертом. Его величество было весьма

довольны, как прошел парад. Благодарили генерала. И вдруг спрашивают: «Собираетесь похоронить в снегах и этих славных воинов?» Командующий побледнел. Отвечает: «На все божья воля, ваше величество». Государь заметно осерчал, говорит: «Если мы потеряем и эти силы, то лучше в драку и не лезть...»

— Крайне интересно, Дмитрий Николаевич. Крайне...— задумчиво произнес князь.— Вот это и есть подлинная история.

— Уж как есть, ваше высочество,— согласился Дубенский, не очень понимая князя.

— А прямого высказывания о возможности мира не было? — осторожно спросил князь и пояснил:— Ведь для того, чтобы иметь точное мнение по любому вопросу, государь должен все взвешивать и так и этак.

— О возможности замирения, ваше высочество, никаких слов сказано не было,— твердо ответил Дубенский.— Не было такого случая...

— Большое вам спасибо, Дмитрий Николаевич.— сказал князь мягко, решив, что на сегодня хватит.— Ну вот, и давайте договоримся — будем встречаться, и вы будете помогать мне в обогащении истории России.

— Со всей готовностью, ваше высочество!..

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1

Сэр Джордж Бьюкенен вел дневник почти каждый день. Он был уверен, что его свидетельство войдет в историю этого времени, и, конечно же, думал о последующей публикации дневников. Однажды он сказал на приеме, что без мемуаров дипломатов история была бы неполной. Он сказал это специально для немецкого посла в Петрограде графа Пурталеса, обронившего перед этим весьма неосторожную фразу о преимущественном праве Германии требовать пересмотра распределения мировых рынков. Пурталес принял этот мяч и ответил, что серьезные люди с осторожностью относятся к учебникам истории и тем более к мемуарам послов... Это было давно, еще до войны.

Бьюкенен не мог предугадать, как бесславно закончится в России миссия посла его величества короля Англии Георга при дворе его императорского величества Николая Второго и что его личная катастрофа станет частью катастрофы русской монархии, в которой он сам сыграет свою немаловажную роль. Явно назревавший кризис русской монархической власти со своей личной судьбой он никак не связывал. Он продолжал судить и рядить Россию, учить ее уму-разуму...

Вот первая запись в его дневнике 1916 года:

«...На бессарабском фронте русские, всегда готовые оказать возможную для них поддержку своим союзникам, предприняли

наступление с целью оказать некоторую помощь доблестным защитникам Вердена, столь ожесточенно теснимым германцами. Хотя это наступление и сопровождалось некоторым успехом, однако оно не дало определенных успехов ввиду того, что было предпринято без достаточной подготовки, а также вследствие недостатка аэропланов и других военно-технических средств...»

Сколько в этой записи лицемерия! Вначале признание, что русские всегда готовы оказать поддержку своим союзникам и что наступление на бессарабском фронте — это помощь осажденному немцами французскому городу Вердену. Но так как наступление в общем не удалось, Бьюкенен уточняет — некоторую помощь. И виноватыми в этом Бьюкенен считает только русских. Меж тем наступление, о котором он пишет, только потому и было не подготовлено, что оно началось до срока, так как царь и Главная ставка подверглись ожесточенному нажиму союзников, в том числе и Бьюкенена вкупе с французским послом Палеологом. У русской армии не оказалось аэропланов и других военно-технических средств только потому, что Россия, уже понесшая в войне колоссальные материально-технические потери, не получила вооружения от той самой Англии, которая не только обещала это сделать, но уже получила за это сполна русское золото. Бьюкенен все время старался представить для истории виноватой во всем саму Россию. В данном случае у него не хватило, что ли, чернил написать о том, что в результате этого неудачного русского наступления защитники Вердена все-таки получили решающую передышку, так как немцы сняли оттуда значительные силы и перебросили их на восток...

Так или иначе, Бьюкенен прекрасно понимал, что это неудачное наступление — все, что могла тогда сделать Россия. Даже больше, чем могла. Но об этом он в дневнике не пишет...

С новым нажимом на русских в отношении ведения войны теперь следовало подождать, и Бьюкенен приступает к выполнению не менее важного задания своего правительства. Надо выяснить, насколько опасны для русского царя прогерманские тенденции. Этим занимается весь аппарат посольства. Этим же занимается вся английская резидентура, внедренная в Петрограде и в других местах России под различными прикрытиями, включая разные коммерческие представительства.

Как раз в это время царь производит совершенно неожиданное, если не сказать удивительное, изменение в правительстве: на пост премьера он назначает Штюрмера, мало кому известного третьестепенного деятеля.

Появление нового премьера явилось полной неожиданностью и для Бьюкенена, и для французского посла Палеолога, им на это пеняют Лондон и Париж и требуют срочно дать исчерпывающую характеристику Штюрмеру.

Вот так спустя несколько дней аттестует его Бьюкенен:

«...Дед Штюрмера был австрийским комиссаром на острове Св. Елены во время пребывания там Наполеона, а сам он занимал

последовательно должности церемониймейстера при русском дворе и ярославского губернатора. Обладая умом лишь второго сорта, не имея никакого опыта в государственных делах, преследуя исключительно свои личные интересы, отличаясь льстивостью и крайней амбициозностью, он был обязан своим новым назначением тому обстоятельству, что был другом Распутина и пользовался поддержкой окружавшей императрицу камарильи. О нем я буду говорить еще ниже, теперь же упомяну как о факте, показывающем, к какому сорту людей он принадлежал,— о том, что он назначил начальником своей канцелярии бывшего агента охранки Мануйлова...»

Теперь ознакомимся с аттестацией, какую дал Штюрмеру французский посол Палеолог:

«Последние три дня я со всех сторон собирал сведения о новом председателе совета министров Штюрмере, и то, что я узнал, меня не радует. Шестидесяти семи лет, он ниже посредственности, ограниченный ум. Мелочная душа, низменный характер, подозрительная честность, никакого опыта, никаких знаний в крупных делах. Во всяком случае, изощренный талант к хитрости и лести. Семья его германского происхождения, как показывает его фамилия. Он внучатый племянник барона Штюрмера, бывшего комиссара австрийского правительства, сторожившего Наполеона на острове Св. Елены. Ни его личные качества, ни его прошлая административная карьера, ни его общественное положение не давали ему права на высокий пост, который ему вверен ко всеобщему удивлению. Но его назначение становится понятным, если допустить, что он был выбран как орудие, то есть именно за свою незначительность и гибкость, и выбор этот был сделан под влиянием камарильи царицы и энергично поддержан перед царем Распутиным, с которым Штюрмер близко связан. Это предвещает нам «счастливые дни»...»

После обеда Бьюкенен был у министра иностранных дел Сазонова. Этот строгий кабинет, обставленный черной неполированной мебелью, был, пожалуй, единственным местом во всей государственной службе России, где Бьюкенен чувствовал себя как у себя в посольстве и мог говорить все, что думает.

Они сели в кресла возле тлевшего камина. Бьюкенен понимал, что назначением Штюрмера Сазонов расстроен не меньше его, но внешне министр этого не показывал, был протокольно улыбчив, усевшись в кресло, как всегда, положил ногу на ногу, расправил складочку на брюках, откинулся на спинку и, сомкнув руки на груди, спокойно смотрел на посла. Бьюкенен был меньше ростом, и ему неудобно было глубоко опускаться в кресло, ноги тогда не доставали до пола, и он всегда садился на край кресла и держался прямо, опираясь на подлокотники.

Эти их традиционные беседы у камина всегда для дела. Здесь Бьюкенен получал ценную информацию, а Сазонов тонкими намеками подсказывал послу, что следовало бы сказать царю в поддержку своих идей и что надо сообщить в Лондон.

— Как новый премьер? — спросил Бьюкенен.

— Мы выслушали его тронную речь, — улыбнулся уголками губ министр. — Россия... Бессмертное самодержавие... Мудрость государя... Надежда на дружную работу правительства... и что-то еще, я уже не помню.

— Что о войне? — Бьюкенен невольно подался вперед.

— Ни слова. Очевидно, дано понять, что война не дело правительства... — Тонкие длинные брови министра на мгновение приподнялись.

— О положении в стране? — Лицо у посла злое, напряженное, глаза прищурены.

Сазонов разомкнул руки и, наклонясь вперед, сказал тихо:

— Какое значение, говорил он о чем-то или умолчал? Сам факт его премьерства должен ответить вам на все ваши вопросы. Война? На юге уже начинается распутица, и ждать какого-то движения нельзя. Положение в стране? Глупо думать, что посредственность в силах сделать невозможное... — Красивое, немного скуластое лицо министра ничего не выражало, только темные его глаза точно спрашивали у посла: неужели вы сами этого не понимаете?

— Кому нужно было это назначение? — Голос Бьюкенена даже осел от злости, он прокашлялся и громко прорвавшимся голосом спросил: — Германии?

Сазонов только пожал плечами, а глаза его спрашивали все то же.

— Мои люди утверждают, что среди населения царит недоумение — назначен немец, — продолжал Бьюкенен.

— Боже, какое это имеет значение! — Сазонов снова откинулся на спинку кресла и продолжал, смотря в потолок: — Это, друг мой, поверхность явления. А глубинное совсем в другом. Забастовки на Путиловском заводе... На Николаевской верфи прекращено строительство военных кораблей... На фронте усталость и пораженческие настроения... Все это было и до Штюрмера...

Они надолго замолчали. Бьюкенен, опустив седую голову, думал о том, что услышал, и искал какой-нибудь логический выход из положения. Сазонов перевел взгляд с потолка на собеседника. Посол поднял голову:

— Но есть же Главная Ставка, и там не могут не думать обо всем этом? — спросил он с возмущением и надеждой.

— Ставка — это война в чистом виде, — не утвердительно, а точно думая вслух, тихо произнес Сазонов. — И там государь вместе с Алексеевым закрыты от всего военными картами.

— А пораженческие настроения?

— Для этого есть военно-полевые суды, и они работают...

Зазвонил телефон.

— Извините... — Министр неторопливо прошел к столу и взял трубку: — Сазонов слушает... Да... Да... Спасибо... — Он положил трубку, вернулся к послу, но в кресло не сел и, взяв железные щипцы, начал шевелить уголья в камине. — Вот вам новость

еще — в отставку уходит Поливанов, и военным министром будет Шуваев — тихое ничтожество из интендантов...

— И это в такое время,— еле слышно сказал Бьюкенен и тяжело поднялся из кресла.

— Ну видите! Уже можно проследить тенденцию,— почти весело заговорил Сазонов, смотря, как искрятся разворошенные угольях.— Курс на ничтожества.

— А чем же не угодил Поливанов?

Сазонов не спеша поставил щипцы в чугунный колчан и повернулся к послу:

— Могу только предполагать... он уважительно относился к Думе, был связан с Гучковым, для него этого более чем достаточно. А кажется, Наполеон утверждал, что дураки приказы выполняют лучше умных.

— Вопрос, кто приказывает Штюрмеру. Распутин?

Сазонов помолчал, качаясь с носков на каблуки, и сказал с улыбкой:

— В общем, очередь за мной...

— Ну вас-то тронуть не посмеют...— не очень убежденно сказал посол.

— Да? Вы так думаете?— Улыбка на лице министра погасла.— Вы плохо знаете Россию, мой друг.

О том, что может быть убран и Сазонов, Бьюкенен боялся даже думать, и сейчас он находился в таком смятении, что ему вдруг захотелось уйти отсюда.

— Я могу о Поливанове сообщить в Лондон?

— Обязаны, по-моему...

— Тогда я поспешу...

Солнце быстро заходило, и поперек Невы легли длинные синие тени. А в небе уже летала сквозь высокие облака холодная прозрачная луна. Автомобиль посла мчался по безлюдной набережной, таща за собой снежный крутящийся шлейф...

В посольстве царила тишина. Сбросив шубу на руки лакею, Бьюкенен направился к лестнице. Там его встретил секретарь.

— Мгновенно ко мне шифровальщика и Грюсса,— на ходу, не здороваясь, распорядился Бьюкенен.

Через час шифрограмма об отставке Поливанова была отправлена в Лондон. Новый военный министр был охарактеризован словами Сазонова. Причина снятия Поливанова была объяснена тоже точно по Сазонову...

Бьюкенен остался в кабинете вдвоем с Генри Грюссом. Этот молодой рослый англичанин числился вторым секретарем посольства, но представлял он английскую стратегическую службу, проще говоря, разведку. Были в посольстве и другие сотрудники от этой службы. Прекрасно понимая, сколь важна и необходима эта работа, которой он и сам занимался в свое время, Бьюкенен, однако, старался быть с ними не очень откровенным, не хотел, чтобы они сообщали по своим каналам какие-либо данные, идущие от него. Исключением из этого правила был Генри Грюсс, который сам

рассказывал послу о том, что делал по своей службе, часто просил у него совета, кляня при этом своих бездарных начальников. Более того, он уже не раз заговаривал о своем желании перейти на дипломатическую службу, которая, как он говорил, чище во всем. Последнее время Бьюкенен называл Грюсса «мой юный друг Бенджи»... Бьюкенен не знал, что его юный друг уже давно отправлял по своим каналам в Лондон весьма критические донесения о деятельности посольства.

Сейчас посол поделился с Грюссом планом своей поездки с семьей на юг России.

— Я все-таки хочу сам посмотреть страну, поговорить с людьми, мы обязаны иметь представление о том, что думают сейчас русские люди.

— Полезное дело,— как-то неуверенно сказал Грюсс.— Хотя и будет оно для вас очень трудным. Власти позаботятся, чтобы вы увидели только то, что им выгодно.

— Не так-то им просто будет это проделать, дурачить себя я не позволю, вы мой характер знаете.

— О да, сэр,— почтительно улыбнулся Грюсс.

— Вы здесь поддерживайте связь с Палеологом, я его об этом предупрежу. И если будет серьезная причина, телеграфируйте мне о возвращении.

— Благодарю за доверие, сэр,— наклонил голову Грюсс.

Просьба Бьюкенена была уважена, и его отъезда из Петрограда официальная рука не коснулась. Его никто не провожал. Только на перроне Московского вокзала, когда он появился там с женой и дочерью перед самым отходом поезда, его встретил какой-то небольшой чин в форме путейца, который провел семью посла к их вагону, помог жене и дочери посла подняться на площадку, после чего отдал честь Бьюкенену и пожелал счастливого пути. Поезд тут же тронулся...

Начиная вот с этого небольшого чина в форме путейца, вся поездка посла была так обставлена, что он до самого Крыма ничего не увидел и ни с кем не поговорил, перед ним неизменно возникал только тот самый путеец с вопросом: «Какие будут приказания, ваше сиятельство?..» Ну а в Крыму ему показали такие «потемкинские деревни» и с таким умением провели весь спектакль общения посла с местным населением, что Бьюкенен не раз бывал до слез растроган. Он возвращался в Петроград с мыслью, что его недавний пессимизм вызван был только тем, что он столицу принял за Россию и что отныне он все свои столичные впечатления будет проверять воспоминаниями об этой поездке.

Вскоре Бьюкенен совершил еще одну поездку — в Москву, где он попал в многодневную праздничную круговерть по случаю избрания его почетным гражданином первопрестольной.

В эту поездку он взял с собой Грюсса. Сказал ему: «Может быть, меня там утопят в торжествах, тогда вы проведете все необходимые наблюдения...»

Грюсс с этой задачей справился. Он снабдил интересной информацией посла. Но куда более интересное сообщение он послал своей службе и в нем со злой иронией описал, как московские политиканы ловко изготовляли из английского посла почетного гражданина своего города и тот млел при этом от тщеславия.

А немного позже сам Бьюкенен запишет в своем дневнике: «...К несчастью, политическое положение в течение протекших с тех пор месяцев настолько изменилось к худшему, что я уже не мог смотреть в лицо будущему с той уверенностью, как во время моего избрания...»

Первые большие огорчения ждали его сразу после возвращения из Москвы.

2

Чехарда в правительстве продолжалась... Третьего марта царь убрал Хвостова с поста министра внутренних дел. В английском и французском посольствах переполох — убран министр, который был открытым врагом всего германского!

Меж тем если восхождение Хвостова на сей пост еще имело некую связь с германским вопросом, то его падение уже никакого отношения к нему не имело. А сама история карьеры Хвостова весьма примечательна — в ней как в капле воды отражен мир царской власти того времени...

К этому высокому посту Хвостов рвался давно и издалека. Еще в самом начале века, будучи вологодским губернатором, он сумел добиться благорасположения царя. Позже, будучи уже нижегородским губернатором, он с особым блеском и шумом провел традиционную нижегородскую ярмарку. И снова царь был им доволен. Хвостов решил: пора...

Друзья Хвостова, имевшие возможность бывать во дворце матери царя, вдовствующей императрицы Марии Федоровны, начали рекламировать его как самую подходящую фигуру для укрепления правительства.

Вскоре к Хвостову в Нижний нагрянул «святой старец» Григорий Распутин, но Хвостов решил обойтись с ним круто, он хотел, чтобы его министром назначил царь, а не Распутин, он знал, что за всеми ставленниками «святого старца» ходила злая молва...

Распутин повел себя нагло и заявил Хвостову, что послан Царским Селом посмотреть его душу.

— Ну что ж, смотрите, смотрите, если увидите,— рассмеялся Хвостов, и, как потом ни старался Распутин перевести разговор на серьезный лад, это у него не получилось. Хвостов отшучивался, ерничал. Прикидывался то глухим, то неразумеющим. Распутин в тот же день уехал. Проводы его Хвостов поручил рядовому полицейскому.

Не прошло и часа после отъезда Распутина, как с нижегородской почты Хвостову доставили подлинник телеграммы, отправленной Распутиным из Нижнего в Царское Село Вырубовой. Хвостов, с трудом разбирая каракули Гришки, прочитал: «Хотя бог на нем и почиет, плохое на нем густо».

Хвостов рассмеялся — он думал, что не так-то легко людям Вырубовой изменить хорошее мнение о нем самого царя.

Он ошибся... Когда спустя месяц он приехал в Петроград и попросил аудиенцию у царя, Николай в отличие от прежнего принял его стоя, холодно слушал, не вступал в разговор и вскоре дал понять, что прием окончен.

Хвостов вернулся в Нижний, ясно понимая, что его восхождение наверх не состоялось. Но не таков был Хвостов, чтобы капитулировать. Он начинает новый штурм столицы совсем с другой стороны и добивается своего избрания в Государственную думу от Орловской губернии, где у него было огромное имение.

В те времена злоязычные утверждали, что наиболее краткий путь в Думу устлан крупными кредитными билетами. Путь туда Хвостова тоже не был длинным — в 1912 году он уже занял свое кресло в правом крыле думского зала Таврического дворца.

Тщательно все обдумав, Хвостов выбирает себе верного коня для въезда в большую политику. Что он учитывал? На Балканах уже пылал очаг войны, и, поскольку в нее была вовлечена Болгария, война не казалась очень далекой. В России стали модными разговоры о русском патриотизме и об исторической верности России славянству. А явное вмешательство в балканскую войну Германии породило антинемецкие настроения. Учтя все это, Хвостов для своей думской деятельности избрал разоблачение опасности засилья в России немецкого капитала. Он не спешил. Выяснял обстановку. И наконец подал голос. Сначала он осторожно заговорил об опасности широкого проникновения в русскую экономику немецкого капитала. Позже он скажет и о влиянии немцев на русскую политику. Тема была выбрана правильно. Его интервью вышли на первые страницы газет. Появились его фотографии. Читатели газет вглядывались в туго налитое шарообразное лицо, чуть удлиненное с помощью аккуратной бородки и стоявших ежиком волос над мыслительно сдвинутыми бровями и выпуклыми глазами. В черносотенной газете князя Мещерского «Гражданин» в заметке о новых думцах было сказано о Хвостове как о зрелом и смелом политическом деятеле, который принес в Думу мысли народа из его глубин.

Свою новую грандиозную спекуляцию он рассчитал точно — когда началась война с ее сразу же последовавшими неудачами, Хвостов на своем коне оказался в центре внимания. Свалить вину за военные провалы на немецкое влияние, на подрывную силу немецкого капитала, на пронемецкую агентуру — это устраивало и военное командование, и так называемое общественное мнение, и черносотенную клику.

Когда английский посол Бьюкенен обратил внимание монарха на достойные истинного патриота России речи Хвостова в Думе, царь согласился с ним и сказал:

— Я давно имею в виду этого человека...

— Да, да, именно такие люди нужны сейчас трону,— воодушевленно подхватил Бьюкенен...

На другой же день Хвостов узнал о расположении к нему Николая. Об этом позаботился Бьюкенен. Под большим секретом он передал мнение царя о Хвостове одной великосветской даме, которая — посол это хорошо знал — была близко знакома с Хвостовым. Бьюкенену было выгодно, чтобы Хвостов не терял времени и воспользовался благоприятными обстоятельствами.

Хвостов немедленно произносит в Думе еще одну антинемецкую речь, еще более острую, вызвавшую еще больший резонанс в печати.

Царю давно хотелось убрать из кресла министра внутренних дел Щербатова, которого он невзлюбил с первого знакомства, и, может быть, только потому, что в свое время заменил им Маклакова, а того царь любил за веселый нрав и покладистость. Но дать отставку Маклакову и назначить Щербатова потребовала царица. Маклаков вдруг вызвал неприязнь у Распутина, и этого оказалось достаточным. Теперь и царица была недовольна Щербатовым. Царь решил воспользоваться этим и сообщил жене, что собирается сделать Хвостова министром внутренних дел. Царица уступила, но прежде пожелала поговорить с Хвостовым...

3

Хвостов отправился в Царское Село с портфелем, набитым материалами о немецком проникновении в русскую экономику, политику, и всю дорогу репетировал, как покороче и поэффектнее сказать об этом русскому монарху. Во дворце ему объявили, что принимать его будет не царь, а Александра Федоровна. Это повергло его в растерянность — ведь именно царица прервала его первое восхождение к власти. Кроме того, говорить ей то, что он собирался сказать царю, неразумно — молва о ее пронемецких связях не затихала. Но о чем же тогда говорить с царицей?

Александра Федоровна сразу заговорила о возможном его назначении министром внутренних дел.

— Вас очень хвалит мой муж,— начала она, расправляя на коленях белое платье и не глядя на Хвостова.— Я тоже рада увидеть вас на этой высокой должности,— добавила она скороговоркой и посмотрела на его круглое гладкое лицо.— Но мне очень хотелось, чтобы вы взяли товарищем министра сенатора Белецкого. Сделайте это для меня. Нам будет спокойнее, если охранять нас будет человек опытный, которого мы хорошо знаем, которому верим. Тем более что вы сами в этих делах... пока не имеете опыта.

Хвостов молчал, не зная, что ответить. Глупо говорить по поводу назначения заместителя министра, когда сам еще не министр. Сбивали с толку устремленные на него холодные, с расширенными зрачками голубые глаза царицы, ее красивое лицо, не выражавшее, однако, ничего, кроме злости.

— Всякое ваше желание, ваше величество, для меня закон,— ответил он наконец.

— Хочу, чтобы вы знали — не все одобряют ваше назначение,— сказала царица, освободив его наконец от леденящего взгляда.

— Догадываюсь,— склонил голову Хвостов.— Очень об этом сожалею...— Он многозначительно помолчал, поднял голову и, смело смотря в глаза царице, сказал клятвенно:— Я сделаю все, чтобы мнение обо мне изменилось.

— Ну вот и прекрасно,— бесстрастным, холодным голосом произнесла царица и встала.— Желаю вам успешно служить России и трону...

Хвостов возвращался в Петроград и думал о том, что на сей раз барьер, кажется, преодолен. Но что же дальше? Почему царь не пожелал говорить с ним? Может быть, есть на этот пост кто-то еще? Пожалуй, нет. Вряд ли он захочет предложить кому-нибудь после того, как Александра Федоровна явно одобрила его кандидатуру и даже сказала: «Вот и прекрасно». А то, что Белецкий станет товарищем министра по всем этим хитроумным и опасным делам, это даже хорошо. В случае чего он, Хвостов, всегда может напомнить, кто пожелал видеть на этом посту именно Белецкого...

Теперь предпринимать что-либо было невозможно и оставалось только терпеливо ждать. Спустя три дня его вызвали к царю. Он снова взял с собой тяжелый портфель, желая многое рассказать царю, но Николай начал говорить сам.

— Я внимательно читаю ваши речи,— говорил царь ровным и глуховатым голосом.— Вы давно заинтересовали меня. Похвально, что вы всегда и теперь смело беретесь за крупные дела. Иные не понимают, что нельзя быть политиком и государственным деятелем, распыляя себя на мелкие дела. Я думаю, что многие наши беды оттого, что мы не умеем отыскивать смелых, энергичных людей.

Хвостов внимательно слушал и молчал. Поддерживать эту мысль царя было бы опасной нескромностью. Он только страстно хотел, чтобы царь не затягивал эту вступительную часть аудиенции. Ведь все уже ясно. Энергичный, смелый человек найден, надо объявлять назначение его министром.

— Что вы думаете о продовольственном положении?— вдруг спросил царь.

Хвостов опешил. Неужели он хочет сунуть его в министерство торговли или — не дай того бог — земледелия?..

— Частная инициатива, ваше величество, только это — главный ключ к проблеме,— подумав, ответил Хвостов. Он считал, что этими словами как бы осуждает бытующую в последнее время

идею передать продовольственное дело министерству внутренних дел. И царь должен понять, что он говорит уже как возможный министр внутренних дел, который не хочет брать в свои руки продовольственное дело.

Но царь сказал:

— Насколько я знаю, вас в Думе поддерживают многие, но не все.— Он помолчал и спросил: — Что следует, по-вашему, сделать, чтобы в Думе такие, как вы, народные представители получили поддержку абсолютного большинства?— Говоря это, царь опустил пухлые веки и смотрел на свои сцепленные на столе руки.

Хвостов напряженно думал — у него и в мыслях не было продолжать карьеру в Таврическом дворце. Дума для него не больше как трамплин. И он решает сыграть ва-банк, зная, однако, что царь гневается на Думу.

— Ваше величество!— проникновенно сказал он.— Что есть Дума в наши тяжкие дни? Народное представительство? Как бы не так. Народ, который нас выбрал, находится сейчас на фронте и там с оружием в руках вершит наиглавнейшее государственное дело — защищает отчизну, трон, громит врага. А что делает в это время избранная им Дума? Что делают многие господа депутаты? Помогают вести священную борьбу тем, кто вручил им мандат в Думу? Отнюдь, ваше величество. Мне стыдно — я каждый день вижу, как Дума отдаляется от тех, кто ее избрал. Мне стыдно, ваше величество,— повторил Хвостов тихо и низко опустил голову.

Когда он ее поднял, то увидел, что монарх, нахмурясь, смотрел в полированный стол и, казалось, тяжело думал. И тогда Хвостов добавил негромко и проникновенно:

— Не нужно мне, ваше величество, большинства в этой Думе.

Царь движением головы освободился от своих мыслей и, слабо улыбнувшись глазами, сказал:

— Я все же буду с интересом наблюдать вашу деятельность в Думе и читать ваши речи...

Хвостов и на этот раз вышел из дворца в смятении. Он остановился на площадке подъезда, не в силах сделать шага. Значит, все было блефом? И все, что он во второй раз так умно и ловко строил, снова рассыпалось как карточный домик? И значит, ничего не стоит мнение императрицы с ее хваленой властью над мужем? Кому же тогда верить? На кого полагаться?

Он боялся сойти с площадки подъезда. Ему казалось, что потом он уже никогда не поднимется по этим ступеням.

Поезд двигался медленно. Хвостов тупо смотрел в окно, за которым медленно поворачивалась унылая равнина. Паровоз сильно дымил, и окно то и дело закрывало грязной пеленой.

Что он будет делать завтра, неизвестно. Сегодняшний день он считал важнейшим рубежом всей своей жизни. Он шел к нему издалека и был слишком уверен, что завтра у него начнется совсем другая жизнь, и оттого сейчас с ужасом хоронил все свои надежды.

Он глубоко забился в раковину пролетки, когда ехал с вокзала к себе домой, на Мойку, ему чудилось, что все знают о его катаст-

рофе и смеются над ним. Позже он признался своему другу, что в этот день увидел собственную смерть...

Около десяти часов вечера Хвостову позвонил домой премьер Горемыкин. Он сообщил, что только что получил повеление его величества о назначении его управляющим министерством внутренних дел.

— Да, я уже знаю об этом,— с нахальной небрежностью ответил Хвостов. Он даже не обратил внимания на то, что назначен не министром, а управляющим министерством. Впрочем, в ноябре он уже станет министром...

...И вот летом 1915 года он вошел в свой министерский кабинет: просторный, устланный коврами, с белыми колоннами позади огромного письменного стола, с глубокими стегаными креслами, с несколькими телефонами на специальном столе и массивной люстрой, подвешенной к центру лепного медальона.

Отпустив встречавших его чиновников, он сел в кресло и громко произнес: «Отсель грозить мы будем шведу...»

Поначалу Хвостов продолжал свою антинемецкую деятельность, хотя прекрасно понимал всю ее опасность для своей новой карьеры. Ведь теперь со всем враждебным России он должен бороться сам. Но не мог же он сразу заклать своего коня, на котором въехал наконец в большую политику. Он решил действовать осторожно. Никаких антинемецких заявлений общего характера. Целью для атак он избирает только так называемое «Электрическое общество», в котором засилье немецкого капитала было слишком явным, между тем как опасных связей наверху у этого общества вроде не было.

А главное, нужно было забирать в руки всю грозную власть российского министра внутренних дел...

4

Друг Хвостова Шадурский свидетельствовал, что в его характере большой бедой была склонность переоценивать свои возможности и зарываться. И еще мешала ему никогда не оставляемая им забота о чисто личных выгодах...

Зарвался Хвостов и на этот раз... Он поставил перед собой сразу две задачи: провести активную разведку всех опасных для него сил, действовавших на вершине государственной власти, и найти наиболее выгодное и надежное применение своему собственному немалому капиталу. Вторая задача была связана с первой, точнее, первая служила второй. Наконец, он собирался довести до конца разоблачение «Электрического общества». Это было уже делом принципа.

Начав разведку сил возле трона, он сразу же столкнулся с сильными препятствиями, за которыми без труда мог разглядеть

своего заместителя Белецкого. Исполнив волю императрицы, Хвостов сам вручил ему все ключи от внутренней разведки, а теперь не мог получить от него необходимую полную информацию. Белецкий работал на царицу, а своего министра считал с самого начала временщиком, ибо знал, что Александра Федоровна была против этой кандидатуры и только уступила царю, получив за это его, Белецкого.

Хвостов установил, что в столице действует несколько кружков, имеющих для обделывания своих дел прямые связи с царским двором или чинами правительства. Собственно, о существовании этих кружков он знал и раньше, но теперь с большим трудом все-таки вырвал некоторые данные у Белецкого и от аппарата министерства и получил более точное о них представление. Сильно помог его друг Шадурский, которого он назначил начальником департамента общих дел.

Самым могущественным и опасным был кружок распутинский. К нему шли нити из других кружков, а главное, и к крупным финансовым воротилам. Кроме того, через разных лиц эти кружки были связаны и между собой. Это, однако, не устраняло их жестокой конкурентной борьбы.

Хвостов решил начать с распутинского кружка. Взвесив все, он вовсе не собирался его разгонять или выводить на чистую воду. У него был план добыть материал, изобличающий участников этого кружка в неблаговидных делах, и таким способом обрести власть над ними, закрыть им доступ к царской семье и затем сделать их исполнителями своих замыслов. Кроме того, он решил заняться князем Андронниковым, потому что получил данные о его связях с «Электрическим обществом».

Шадурский предупреждал его о могуществе распутинского клана, имеющего своих людей везде, и советовал не торопиться, хорошо подготовить удар. Но Хвостов резонно возражал, что, если они будут долго готовиться, об этом пронюхают распутинцы, которые есть и в министерстве. Тот же Белецкий может захотеть выслужиться перед царицей. И наконец, Хвостов заверил Шадурского, что царь будет на их стороне.

Он решил, что самого Распутина ни в чем обвинять не будет, это вызвало бы опасный гнев царицы. Он представит его в роли наивного и чистого человека, который невольно стал оружием в руках негодяев. И собирался показать царю, сколь это опасно для трона, для государства, ведущего войну.

Хвостов не мог положиться на предоставляемую ему агентурную информацию — ее было мало, и он боялся, что Белецкий нарочно снабжает его неточными сведениями. Воспользовавшись отсутствием Распутина в столице, Хвостов отдал приказ произвести тайные обыски у всех его секретарей, которые знать об этом не должны. С помощью Шадурского были подобраны верные и опытные сотрудники, и спустя неделю в руках Хвостова были документы о многих грязных делах, проворачиваемых через Распутина. Только у одного из трех распутинских секретарей, Симоновича,

было обнаружено и сфотографировано около тридцати явно преступных коммерческих дел и заготовленные собственноручные письма Распутина на имя различных государственных деятелей и крупных чиновников. Эти распутинские записки были волшебным ключом к государственным сейфам, к огромным барышам. Хвостов отдал приказ арестовать секретарей Распутина. Он считал, что распутинская шайка уже в его руках.

Немедля Хвостов отправился к Вырубовой — самой близкой к царской семье фрейлине императрицы и самой истовой поклоннице Распутина. Всеми своими связями она представляла для Хвостова грозную опасность. Он хотел заверить ее, что он не против Распутина, а хочет только охранить его от всяких проходимцев.

Ничего у него из этого не вышло — Вырубова не только не пожелала иметь с ним дело, но и дала понять, что ему не верит сама императрица.

Но Хвостов зарвался и остановиться уже не мог...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

1

На другой день, вернувшись после обеда в министерство, Хвостов обнаружил на своем столе письмо из личной канцелярии императрицы. Распечатал, а там записочка от руки и подпись — Вырубова. Текст короткий — по повелению императрицы немедленно прекратить преследование секретарей Распутина. И все.

Так вот отчего толстая баба была вчера такая бешеная! Может быть, она думала, что он, Хвостов, поехал к ней, уже получив это письмо?..

Прочитав записку еще раз, Хвостов пришел в ярость, порвал ее в клочья и швырнул под стол, в корзину. Он имеет полное право не считать эту записку официальным документом и реагировать на нее не станет. Посмотрим, что они придумают еще. Но, по-видимому, он попал им в самый глаз. Ничего, есть еще царь...

Он еще не успел остыть, как в кабинет к нему ворвался премьер Штюрмер — громадный и грозный со своими усами, которые, как два черных меча, торчали в стороны, с бородой лопатой. На нем был расшитый золотом мундир, наверное, с какого-то приема пришел.

— Алексей Николаевич, вы с ума сошли,— выдохнул он, держась рукой за сердце.

Хвостов стоял и молча исподлобья смотрел на премьера. Возражать на такое заявление премьера было нелепо, а возмущаться нельзя.

— Как вы могли пойти на эрест секретарей Распутина, не посоветовавшись со мной?

— Арест аферистов в моих прерогативах,— сдерживая гнев, ответил Хвостов.— И если я по поводу каждого афериста стану советоваться с вами, у вас, Борис Владимирович, не останется время управлять державой.

— Абсурд, абсурд!— крикнул Штюрмер. Последнее время это было его любимое словечко, когда он гневался и все время переступал своими согнутыми подагрой длинными ногами.

— Где вы были утром, я звонил вам из Царского? Словом, я приказал Белецкому освободить их. Это нужно было сделать немедленно. Немедленно. Вы получили распоряжение ее величества?

— Была записка госпожи Вырубовой,— ответил Хвостов.

— Где она?

— Я не засоряю архив подобными бумагами. Я ее порвал и выбросил в корзину.

Огромный Штюрмер протиснулся за стол Хвостова, выгреб ногой из-за его кресла корзину и, опустившись на колени, стал вынимать оттуда клочки бумаги. Потом кряхтя поднялся и принялся раскладывать клочки на столе.

— Нужно записку подклеить,— бормотал он, раскладывая клочки по смыслу.— Ее следует в любом виде немедленно вернуть Александру Сергеевичу Танееву.

— Он что, коллекционирует записки своей дочери?— усмехнулся Хвостов, понимая, однако, что дело очень серьезно.

— Боже праведный, неужели вы ничего не понимаете?— тихим голосом спросил Штюрмер, вытаращась на своего министра.— Дайте клей.

— Ну положим, эту работу у меня есть кому сделать. Присядьте, Борис Владимирович.

Хвостов взял разложенные на какой-то папке клочки записки и прошел в соседнюю комнату, где работал его личный и верный адъютант.

— Немедленно склейте и сделайте фотокопию, подлинник принесете мне,— шепотом распорядился Хвостов и вернулся в кабинет.

Штюрмер сидел в кресле, вытянув длинные ноги, жесткий ворот его форменного мундира был расстегнут, он шумно дышал.

Хвостов сел за свой стол.

— Через пять минут записка будет реставрирована,— сказал Хвостов и, подождав немного, спросил:— Может, вы мне все-таки что-нибудь объясните?

Штюрмер отрицательно повел головой и сказал с укоризной:

— Алексей Николаевич, Алексей Николаевич, что же вам надо пояснять? И вы и я крещены на свои посты Григорием Ефимовичем.

— Положим, я крещен им совсем в другую сторону,— возразил Хвостов.— Он до сих пор не простил мне, как я его выставил из Нижнего.

Штюрмер посмотрел на него с откровенным сожалением:

— Неужели мне нужно вам объяснять, что, если бы он не простил, вы бы здесь не сидели.

— Меня назначил государь.

— Меня тоже,— кивнул Штюрмер. И вдруг наклонился к Хвостову через стол и спросил тихо:— Неужели вы против Григория Ефимовича?

— Нет, Борис Владимирович,— так же тихо ответил Хвостов.— Я только хотел устранить от него лиц, которые его дискредитируют. Он просто не знает, кто пользуется его именем.

— Боже мой, какое вам до этого дело,— замахал руками Штюрмер.— Допустим, кто-то пользуется его поддержкой, ведет там свои коммерческие дела. Какое это имеет отношение к высокой дружбе Григория Ефимовича? Там его любят, уважают его народный ум. Он спас нам всем наследника. Задумайтесь наконец — эта высота и какие-то мелкие аферисты, которые лезут со своими делами к Григорию Ефимовичу. А куда они не лезут? Думаете, к вам не лезут? Думаете, ко мне не лезут? Еще как лезут. Их вынуждены принимать мои секретари. Так что же, моих секретарей тоже за решетку? Абсурд!

Хвостов внимательно слушал Штюрмера и думал: «Дурак, дурак, а какую хитрую защиту придумал». И сказал печально:

— Не подумал об этом, Борис Владимирович.

— Хочу вам дать совет.— Штюрмер принялся застегивать мундир.— В Царском к вам относятся по-разному, и вы, принимая серьезные решения, всегда должны об этом помнить. Вы не имеете права обмануть доверие государя.

Хвостов понял: Штюрмер оттого так в общем мягко говорит с ним, что там, в Царском Селе, сегодня он, наверно, еще раз убедился, что царь ему, Хвостову, доверяет. И все же, решив, что неразумно получить в стан своих противников еще и Штюрмера, сказал:

— Я благодарен вам, Борис Владимирович, за государственный урок.

— Дай бог, дай бог,— пробормотал Штюрмер.

Адъютант принес конверт с реставрированной запиской и протянул его Хвостову.

— Дайте сюда,— приказал Штюрмер.— Так-то будет лучше...— Он спрятал конверт в свою папку.

2

Хвостов все же понял, что его власть министра внутренних дел, издали видевшаяся ему всесильной, оказалась ограниченной со всех сторон. Даже Вырубова может им командовать, куда уж дальше...

Это ставило под сомнение все его планы. Совсем не безграничными оказались возможности и в отношении собственного капитала, который он собирался вложить в перспективные дела го-

сударственного масштаба,— куда он ни сунется, а там уже сидит или Манус, или Рябушинский, или кто еще из когорты, которую трогать было опасно.

Правда, Хвостов не зевал в своем министерстве — залез в его гигантские секретные фонды, несколько сот тысяч рублей он попросту присвоил, а около миллиона истратил на подкуп людей, которые могли оказаться ему полезными. Он видел беспомощность Штюрмера, его непопулярность в обществе и решил его свалить. Государственная машина России была в полном расстройстве, все вокруг было неустойчиво, нужно только выбрать момент, проявить энергию и решительность, показав, на что он способен.

Но для начала ему следовало расположить к себе все слои общества. Тщательно обдумав все возможности на этот счет, он остановился на устранении Распутина.

Сама эта идея была изобретена не им, об этом почти открыто говорил повсюду депутат Думы Пуришкевич, на это возлагали последние надежды в салонах, принадлежащих лицам царского рода. На днях Хвостов читал секретное донесение агента о том, что великий князь Николай Николаевич в узком кругу друзей говорил о готовности пожертвовать своим состоянием, чтобы не стало Гришки Распутина. Вся Россия и фронт с ненавистью поминали Распутина. И Хвостов решил, что, если устранение Распутина окажется связанным с его именем, это возвысит его над всеми и поможет ему взять в свои руки полную власть.

Хвостов решил рискнуть и вовлечь в операцию по устранению Распутина своего заместителя Белецкого. Учитывая, что Белецкий по поручению царицы ведал охраной Распутина, важно было добиться хотя бы того, чтобы он не мешал. Хвостов рассчитывал на то, что этот опытнейший полицейский деятель не мог быть удовлетворен постом начальника департамента...

Хвостов доверительно раскрыл Белецкому свой расчет в скором времени стать премьером и что тогда он хотел бы видеть Белецкого на посту министра внутренних дел. Белецкий решил, что и этот шанс тоже упускать нельзя, и обещал свою помощь...

О физическом устранении Распутина пока речи у них не было. Для начала сговорились, как его изолировать: Хвостов разрешил Белецкому ежемесячно выдавать Распутину полторы тысячи рублей из секретного фонда министерства. За это Распутин должен был прекратить толкать к царю темные делишки своих клиентов, на чем он, кстати, зарабатывал гораздо меньше. Кроме того, в день рождения и в день своего ангела Распутин будет получать еще по три тысячи рублей. За все это он будет преданно служить Белецкому, а значит, и Хвостову в рассуждении их дальнейшей карьеры. Белецкий должен был прибрать к рукам и Анну Вырубову, на что Хвостов также выдал ему немалые деньги.

Однако, не полностью доверяя Белецкому, Хвостов подсадил к Распутину некую мадам Червинскую — бойкую и хитрую даму полусвета, способную на любую авантюру. С ее помощью Хвостов знал все, что делается возле Распутина, и мог частично контроли-

ровать Белецкого. Частично потому, что Хвостов не мог не думать о способности Белецкого разгадать роль этой дамы. Кроме того, Хвостов возлагал надежды на появившегося возле Распутина в роли начальника его охраны полковника Комиссарова, которого привлек туда с согласия Хвостова Белецкий. Хвостов отлично знал этого полковника и был уверен, что верно он будет служить тому, кто больше заплатит, а в этом Белецкий с министром тягаться не мог... Распутин, казалось Хвостову, был обложен со всех сторон, был известен каждый его шаг, уши филеров слышали каждое его слово...

Хвостов произвел обыски у секретарей Распутина, когда Распутина в столице не было. Поступило сообщение, что Распутин уже знает про это и торопится в Петроград. Как заставить его не мстить? Об этом Хвостов сговаривается с Белецким. В сейфах министерства находились два страшных для Распутина документа. Во время поездки на пароходе по Волге пьяный Распутин устроил дебош в ресторане. А когда его призвали к порядку, он кричал на весь ресторан: «Кого трогаете? Со мной спит сама императрица Александра Федоровна...» Это было зафиксировано в полицейском протоколе, который в свое время доставил в министерство перепуганный насмерть саратовский губернатор... Вторая история была того же порядка. Пьяный Распутин, похваляясь перед своими гостями, заявил, что царская дочь Ольга бегает к нему по первому зову. В подтверждение он тут же позвонил по телефону и действительно говорил с Ольгой, сказав ей, чтобы она мигом была у него, так как «мочи нет». Не прошло и часа, как в автомобиле приехала укутанная в меха женщина, которую Распутин увел в свою спальню... Но охранка без особого труда установила, что приезжала к нему известная дама полусвета, которую звали Ольга...

Хвостов договорился с Белецким, что тот предъявит Распутину эти документы и предупредит его: если он хотя бы пальцем шевельнет против министерства внутренних дел, эти документы будут переданы царю. Но Хвостов не был уверен, что Распутин испугается. Он скрыл от Белецкого, что историю с Ольгой не так давно рассказал царю, а тот на это никак не реагировал, только пожал плечами. Но Хвостов не знал, что царь был страшно разгневан и устроил Распутину взбучку. Распутин нашел нужным после этого уехать на некоторое время из Петрограда.

3

Распутин испугался и клятвенно пообещал Белецкому ничего не предпринимать против министерства внутренних дел и его руководителей. Пообещал он привести к смирению и Вырубову. А за выплаты, установленные ему Хвостовым, просил сердечно его поблагодарить. Но Хвостов все же тревожился, считая, что клятвы Распутина стоят недорого, а злобная его мстительность обидчикам была хорошо известна. Чтобы знать настроения Распутина,

Хвостов решил сам встретиться с ним на конспиративной квартире.

Квартира была оборудована в полузаброшенном угловом доме на Мойке. Вход туда был совершенно отдельный и находился в туннеле ворот, что делало невозможным с улицы наблюдать за входящими. Распутин иногда устраивал в этой квартире дикие оргии, но толстые каменные стены старого дома надежно глушили все звуки, а на втором этаже дома никто не жил. При квартире находился слуга — опытнейший агент Белецкого.

Здесь и состоялась последняя встреча Хвостова с Распутиным...

Первым туда пришел Хвостов. По его распоряжению слуга подал на стол бутылку любимой Распутиным мадеры и вазу с пирожными. Распутин опоздал на целых полчаса, но Хвостов будто не заметил этого — был оживлен и доброжелателен. Выпили за здоровье царя и царицы.

Хвостов завел общий разговор о верных и неверных престолу. Распутин молчал, его глубоко утонувшие во впадинах серые глаза не моргая смотрели на министра. Хвостов спросил, кого из неверных он считает самыми опасными.

— Кому опасные?— глухо переспросил Распутин, расстегивая верхние пуговицы шелковой косоворотки.

— Дворцу, нам — всем, кому дорог наш царь и его семья.

— Государю никто не опасен. Кишка тонка.— Распутин отвернулся от Хвостова, прошел к стоявшему в углу граммофону и начал его заводить, медленно крутя скрипучую ручку. Остановился и, обернувшись через плечо, спросил:— Ты скажи прямо, чего тебе от меня надо?

— Григорий Ефимович, лично мне ничего не надо,— ответил Хвостов.

— Ишь, богат ты, гляжу, ни в чем нужды не знаешь,— усмехнулся Распутин, неторопливо вернулся к столу, налил себе вина, стоя выпил его шумными глотками и с пристуком поставил рюмку.

— В чем мы нуждаемся, Григорий Ефимович, так это друг в друге,— примирительно сказал Хвостов.— Если мы не будем ладить, с нами расправятся поодиночке.

— Кто расправится?— отрывисто спросил Распутин.

— Не хуже меня знаете кто, Григорий Ефимович.

— Не след лишнего дыма на царя пускать! Больно много курильщиков таких, сами дыма напустят, а потом спасают и наград требуют...— Распутин легкими, пружинящими шагами обошел стол, посматривая на министра смеющимися глазами.

Хвостов обнаружил, что он остерегается поднять взгляд на Распутина, стоявшего сейчас перед ним по другую сторону стола... Да, Белецкий был прав, что разговаривать со старцем надо уметь...

— Григорий Ефимович, я хотел бы услышать ваши пожелания мне как министру внутренних дел.

Распутин вскинул голову, выставив вперед бороду, и точно прочитал там, на потолке:

— Жми на совесть свою, не ошибешься...— И, погрозив пальцем, добавил: — Степана Петровича не обманывай.

— Мы с Белецким душа в душу действуем...— сказал Хвостов.

— Гляди...— угрожающе произнес Распутин и сел в кресло напротив Хвостова.— Сам должен знать свое место болотное — змей много. Змей! А змеи кусают кого попало. Слышь?

— Я смею думать, что мы верно служим государю, трону и России,— сказал Хвостов.

— Верно служишь, а чего злишься? А?— склонил голову набок Распутин и вдруг рассмеялся, скаля рот с крупными желтыми зубами.

— Не доставляет, Григорий Ефимович, удовольствия слышать, что мы змеи,— тихо ответил Хвостов.

— Меня вон как обзывают, а я не злюсь. Даже радуюсь. Ейбогу, радуюсь!— Он перекрестился смеясь.— А почему? Ко мне не липнет. Значит, и злиться нечего. Вот так, дорогой...— Он закрыл глаза и спросил: — Так что ж тебе от меня надо, не уразумею что-то...

— Помощи, Григорий Ефимович, вот чего. Если вы и нас с Белецким считаете змеями, как же нам тогда работать?

— По совести, любезный, по совести работай...— вяло ответил Распутин и затяжно зевнул, закрыв рот громадной ладонью...

4

Нет, нет, Распутин по-прежнему его главный враг, и он в любую минуту может нанести смертельный удар. Теперь устранение Гришки становилось не только его козырем перед обществом, но и единственным способом самозащиты.

Устранять немедленно! Белецкий с этим вроде согласен, но очень убедительно объясняет, что для того, чтобы провести это дело хорошо, необходимо время. Наконец, нужен опытный исполнитель. На эту роль Белецкий берет ранее уволенного из министерства мастера всяких темных дел полковника Комиссарова...

Друг Хвостова Шадурский очень тревожился — он не верил ни Белецкому, ни тем более Комиссарову. Ночью без предупреждения он приехал к Хвостову, поднял его с постели и целый час выкладывал ему свои соображения о ненадежности Белецкого...

— Допустим, ты прав...— заговорил наконец Хвостов.— Но ты посмотри, что получается. Я только говорю, а он ищет ситуации для устранения, он приводит в министерство Комиссарова... Не делает ли он больше меня?

— Больше, меньше, это не имеет значения, а руководитель ты.

— Почему же Белецкий не бежит к царице уже теперь?

— Только потому, что он играет в четыре руки и наверняка. На пути к твоему креслу министра он предусмотрел все. Если тебе удастся стать премьером, ты возьмешь его министром внутренних дел. А если ты споткнешься, он с помощью Комиссарова откроет царице твой замысел и, конечно же, за спасение святого старца получит пост министра.

— Что ты предлагаешь?— помолчав, спросил Хвостов.

— Немедленно начать операцию с участием Ржевского!— уверенно ответил Шадурский.— Я с самого начала говорил, что этот путь самый надежный. И тут ты единственный организатор святого дела устранения мерзавца. Да после этого тот же Белецкий будет служить тебе верой и правдой!

— Вызывай ко мне Ржевского на утро,— распорядился Хвостов...

...Не так давно министерство внутренних дел получило от своего агента в Норвегии сигнал о том, что находящийся в Скандинавии в изгнании смертельный враг Распутина авантюрист-черносотенец иеромонах Иллиодор подготовил там выпуск страшной для Распутина и царского двора книги под названием «Святой черт». Хвостов немедленно доложил об этом государю и предложил идею войти в сношения с Иллиодором и выкупить у него рукопись. Царь согласился и разрешил денег на это не жалеть.

Ехать в Норвегию к Иллиодору должен был Ржевский, который хорошо знаком с опальным иеромонахом. Эта операция была для Хвостова еще одним доказательством его желания оградить царский двор от грязи Распутина и его верности царю. Но Хвостов не доложил царю о второй части своего плана, возникшей, впрочем, несколько позже. Он решил привлечь Иллиодора и находившихся в Петрограде верных ему людей к устранению Распутина.

Эту идею предложил Шадурский. Он считал, что устранение Распутина руками этих людей в случае, если царь с самим фактом устранения не примирится, позволит монарший гнев направить в сторону.

Кто такой Ржевский? Считалось, что он журналист, и он действительно имел при себе корреспондентские карточки разных газет, даже иностранных. Но известность в определенных кругах он приобрел не на газетном поприще, а как ловкий авантюрист, который с помощью интриг и шантажа добывал немалые деньги. Последняя ставшая известной его афера состояла в том, что сначала он с помощью Распутина устроил на высокую хлебную должность в министерстве финансов некоего Голдовского, а затем начал его шантажировать, угрожая опубликовать в печати, как он попал на эту должность. Тот, сколько мог, откупался, а потом покончил с собой...

Когда Хвостов только начал с ним переговоры о поездке, Ржевский выдвинул условие — оплата вперед и в иностранной валюте. Выдача и вывоз валюты в военное время были сопряжены со

многими бюрократическими трудностями, а Хвостов никаких документов по этому делу оставлять, естественно, не хотел. Но Ржевский был неумолим, и Хвостову пришлось официально обратиться в валютное управление за разрешением предоставить Ржевскому крупную сумму валюты из специального секретного фонда. Это, конечно, создало серьезную трещину в секретности всей затеи...

Дальнейшая история этой поездки настолько запутана, что в ней невозможно разобраться и сейчас. Ржевский повел себя весьма странно. При переезде русско-финской границы он в ответ на обычную формальную просьбу указать цель поездки устроил скандал русским жандармам, кричал на них, заявлял, что он едет с секретным заданием министра внутренних дел, отчитываться о котором не обязан, и требовал извинения... А уже из Норвегии он стал слать Хвостову открытые телеграммы с бессмысленным, похожим на шифр текстом.

Получив с границы жалобу жандармов на возмутительное поведение Ржевского, Белецкий задумался — почему Ржевский, которому в уме не откажешь, вел себя так? Был пьяный? И этого за ним не числилось. Может, ему почему-то было очень необходимо, чтобы его проезд через границу оказался памятно зафиксирован? И именно для этого он всуе поминал министра, зная, что такое без последствий не оставят или, во всяком случае, запомнят.

Белецкий снес жалобу Хвостову, попросил прочитать. Потом спросил:

— Вы о поездке Ржевского осведомлены?

— Он выехал с очень важным заданием,— коротко ответил Хвостов; большего он сообщать Белецкому не собирался. Добавил только:— Когда Ржевский вернется, мы с вами вместе во всем разберемся...

Белецкий больше ни о чем спрашивать министра не стал. Он вспомнил, как однажды Хвостов, разговаривая с ним, высказал мысль, что было бы полезно подсадить к Иллиодору в Норвегии своего агента. Не взял ли он на эту роль Ржевского, которого Иллиодор знал и даже пользовался его услугами? Но зачем все это Хвостову?

Тщательно все обдумав, Белецкий решил в это дело вмешаться...

И вот Хвостов узнает, что возвращавшийся в Россию Ржевский на границе арестован по приказу Белецкого. Ему предъявлено обвинение в подготовке убийства Распутина, для чего он выезжал в Норвегию к Иллиодору. И будто бы Ржевский все это признал.

Хвостов понял, что сейчас его судьбу решают не дни, а часы, и помчался в Царское Село.

Царь принял его немедленно.

Хвостов целый час докладывал ему о том, какая клоака образовалась вокруг доверчивого Распутина. Грязным дельцам и поли-

тиканам до самого Распутина нет дела, как не интересует их и сама русская держава. Все они озабочены одним — личным обогащением. Но кабы только это. Там действует и прямая немецкая агентура, пользующаяся наивностью Распутина и благодаря этому получающая крайне важную информацию.

— Что же смотрит охранное отделение? Что же бездействует опытный Белецкий? — гневно спросил царь, сдвинув брови.

— Ваше величество, Белецкий не мой человек, вы это должны знать. Я взял его, уступив просьбе Александры Федоровны. Мне и раньше стало ясно, что ее величеству Белецкого рекомендовали люди, далекие от любви и преданности трону. Сегодня мне это совершенно ясно. Помните мой доклад вам о страшной книге Иллиодора, в которой приводятся письма к Распутину ее величества и ваших дочерей? По вашему согласию я послал за этой книгой опытного в таких делах Ржевского. Сегодня я узнал, что Белецкий арестовал Ржевского при его возвращении из этой поездки. И теперь Белецкий стряпает дело, будто Ржевский ездил к Иллиодору с целью организации убийства Распутина. К этому можно было бы отнестись как к непроходимой чуши, если бы за этим не стояла цель свалить меня.

— А вы-то при чем? — удивился царь.

— Как же, ваше величество! А кто посылал Ржевского к Иллиодору? Хвостов. Значит, вали Хвостова, раз он хотел уберечь Распутина и двор от клеветы Иллиодора. А это значит, им почему-то нужно, чтобы клевета Иллиодора прибавилась к той грязи, которой обливают двор и Распутина.

— Мерзавцы! — с яростью проговорил царь и вдруг, выкинув вперед руку, крикнул: — Так действуйте же, действуйте! Я вам верю! Верю! Действуйте!

— Я просто обязан, ваше величество, прежде всего немедленно убрать от себя Белецкого.

— Убирайте! — как будто сразу успокоившись, сказал царь. — Действуйте!..

Хвостов начал действовать. Убрал из министерства Белецкого и всех, кто с ним был связан, и начал на решающие посты сажать своих людей.

В эти дни, свидетельствовал позже Шадурский, Хвостов последний раз почувствовал возможность прорваться к большой власти. Он уже говорил, что на днях свалит Штюрмера и сядет в кресло премьера, собирался сразу после масленицы выслать Распутина в Сибирь, а всю его клику истребить. Он не понимал, что, пока Распутин и его клика еще действуют, все его планы не стоят и копейки...

Не прошло и двух недель после того, как царь заявил Хвостову, что верит ему, и предоставил ему полную свободу действий во имя охраны трона, Хвостов еще чистил министерство, как получил из Царского Села любезнейшее послание царя об отставке...

Кто же такой Распутин и что такое распутинщина?

Конечно, лучше бы эту смердящую помойную яму обойти стороной. Но нельзя — Распутин и распутинщина прочно вписались в историю русского самодержавия и стали символом его нравственного распада и окончательного вырождения. Это нужно сделать тем более, что на Западе буржуазные историки и беглые русские мемуаристы написали об этом много неправды, мимо которой тоже проходить не стоит. Эти труды читаются на Западе и сегодня...

Недалеко ходить... В середине 1976 года в американской печати появилось сообщение из Лос-Анджелеса о том, что проживающая там дочь Распутина семидесятилетняя Мария вместе с неким соавтором пишет книгу о своем отце. Она уехала из России в 1919 году и долгие годы подвизалась в качестве танцовщицы в кабаках и в цирке дрессировщицей зверей, а теперь на склоне лет решила, как сообщали американские газеты, вступиться за честь отца и вернуть ему ореол святого, пытавшегося спасти от революции любезного России царя... А вот председатель Государственной думы М. В. Родзянко в своих мемуарах утверждает, что «распутинцы положили вместе с крайне правыми течениями начало русской революции, отчуждая царя от народа и допуская умаление ореола царского престола»... Если до такой глупости додумался живший в то время в России политик, что тогда ждать от других?..

В тридцатых годах в США было издано пространное исследование крушения Российской империи. И хотя в нем есть раздел о революционном движении в России, в котором, кстати заметить, тоже немало невежественной глупости и заведомой лжи, в этом же разделе о Распутине делается вывод, что при ликвидации русской монархии Ленину и большевикам оставалось только завершить то, что было проделано... Григорием Распутиным. Вот уж поистине нет такой глупости, какая не могла бы прийти в голову людям, занявшимся делом, которого они не знают, но преследующим цель вывернуть историю наизнанку.

Великий князь Кирилл Владимирович — последний русский престолонаследник, кончивший тем, что был актером в Голливуде,— тоже приложил руку к исследованию Распутина и распутинщины. Его августейшему уму принадлежит откровение, что Распутин был человеком... большевиков и ими направлялся. Правда, несостоявшийся наш монарх предварил этот бред оговоркой — «хотя у меня нет для этого вывода формальных данных». И то слава богу... А вот популярный борзописец белоэмигрантской печати Петр Пильский, считавшийся в кругах русской эмиграции серьезным публицистом, в газете «Сегодня» напечатал, что он располагает документом, согласно которому «большевики на своем последнем перед революцией съезде внесли в решение секретный пункт о всяческой, в том числе материальной, поддержке Распутина с целью ускорения взрыва монархии»... На самом деле даже съезда такого не было.

Мы знаем, из какого далекого далека шла к Октябрьской победе наша партия, возглавляемая Лениным, и что на всем этом пути единственной ее опорой был пролетариат России. Невероятно тяжел был этот путь самоотверженной борьбы за свободу и счастье народа. Он отмечен многими могилами по всей Руси. Смерть на виселицах в «столыпинском галстуке». Расстрелы. Смертная сибирская каторга. Через все это прошли большевики, ведя к Октябрьской победе пролетариат России.

Известный жандармский генерал Курлов, прославившийся в борьбе с революцией на Руси своей изуверской жестокостью, а также безудержным лихоимством, сбежав от революции в Германию, верно служил там немецкой реакции. Кроме того, он предавался воспоминаниям. В одном из них он называет большевиков «упорными кротами, которые исподволь, с большой глубины рыли невидимые ходы под трон, и чем дальше, тем больше было этих кротов, и к роковому семнадцатому году, когда все они вылезли на поверхность, это стало бунтом толпы, справиться с которым у нас уже не было сил»... Высказался генерал и о Распутине, назвав его «камнем на ногах тонущей царской семьи». Как видим, жандармский генерал — сам, между прочим, ставленник Распутина — ближе к истине, чем беглые русские и западные историки, политики, публицисты и мемуаристы.

Но что же все-таки такое Распутин и распутинщина?

Можно сказать, что было два Распутина. Один как личность сама по себе. Другой как явление. Для того чтобы они слились воедино, нужно было, чтобы Распутин-личность оказался в России именно в том времени, когда он только и мог стать явлением.

Но кто же он сам по себе?..

Во-первых, умный и хитрый человек, иначе он не стал бы известной всему миру зловещей фигурой в истории последнего десятилетия царского двора. Многие деятели того времени, пользовавшиеся услугами Распутина, потом старательно рисовали его как темного хамоватого мужика, таинственно завладевшего душой русской императрицы и самого монарха.

Ничего таинственного на самом деле не было. Была вполне земная и реальная ситуация, когда умный, ловкий авантюрист Распутин сделал ставку на невежество царской четы и ее окружения, на всю обстановку в самодержавной России и выиграл. Став близким и нужным царской семье человеком, он получил неограниченные возможности для грандиозных корыстных авантюр. Но действовал он не один... «Я далек от мысли,— пишет в своих мемуарах М. В. Родзянко,— что Распутин являлся вдохновителем и руководителем гибельной работы своего кружка. Умный и пронырливый по природе, он же был только безграмотный и необразованный мужик с узким горизонтом жизненным и, конечно, без всякого горизонта политического,— большая мировая политика была просто недоступна его узкому пониманию. Руководить поэтому мыслями императорской четы в политическом отношении Распутин не был бы в состоянии...»

Что верно, то верно — один бы Распутин не мог. Но в том-то и дело, что у него всегда были сообщники и духовные наставники.

Распутина звали старцем, а в 1916 году ему не было и пятидесяти. Но Распутин-авантюрист родился гораздо раньше, он стал им еще на родной Тобольщине в конце прошлого века. Начал он с конокрадства и сразу же попался — его отдали под суд. Пахло тюрьмой. Выручили местные сектанты, с которыми он был связан. Так он в самом начале получает предметный урок, из которого делает необходимые выводы. Просто красть опасно. И во всяком случае, надо иметь сильную спасительную руку. Позже он будет бахвалиться среди друзей, что сперва он «возмечтал пробиться в мировые судьи, ибо известно, что закон что дышло, куда повернул, туда и вышло». И с сожалением добавит: «Но на судью у меня лоску не хватало, да и законов на Руси толстые тома, их же прочитать надо...»

Нивой для своей деятельности он избирает православную церковь, религию. Взвешено все и прежде всего то, что в лоне церкви прекрасно расцветают такие же, как он, люди без того самого «лоска». И наконец, то, что «полиция сюда хода не имеет».

Он отправляется в странствование по монастырям и святым местам. Знакомится с монахами и настоятелями монастырей, которым представляется как «ищущий веру». Церковные начетчики читают ему святые книги — сам он читать не терпел, хотя на это грамоты у него хватало. Он обладал отличной памятью, с первого восприятия на слух мог запомнить целую главу Евангелия. В другом монастыре он эту главу уже пересказывал своими словами, уверяя при этом, что никогда в жизни не держал в руках Евангелие. Так за ним пошла молва как о темном сибирском мужике с божьими мыслями. На Поволжье он сходится с иеромонахом Иллиодором — таким же, как он, невежественным церковником, прославившимся своими скандальными черносотенными выходками. Иллиодор первый называет его «святым человеком», и Распутин понимает, что именно это звание и есть его призвание. Позже, уже в Петербурге, он в разговоре с так называемым «тибетским врачом» Бадмаевым скажет: «На Руси нашей все, что непонятно, люди считают, что это от святости». Именно на это он и поставил.

Дальше уже дело техники. Но и она любопытна и свидетельствует о недюжинных способностях Распутина. Дружба его с Иллиодором была недолгой, его пугала скандальная слава иеромонаха, которым интересовались полиция и светские власти. Последнее, что Иллиодор должен для него сделать,— познакомить его с ректором духовной академии Феофаном. Но нет, Распутин не собирался поступать в академию. Феофан нужен был в другом его качестве — как духовник царской семьи.

Знакомство состоялось, и Феофан с помощью семьи великого князя Николая Николаевича вводит его в царский дворец. Потом многие задавали вопрос: как мог Феофан не разобраться, с кем он имеет дело? Но вот как характеризует Феофана очень хорошо знавший его митрополит Петербургский Антоний: «Слепо начи-

танный сельский священник с доброй душой и ограниченным разумом». Сам Феофан потом говорил, что, приближая Распутина к царской семье, он хотел ей только добра. Может быть. Но дело и тут обстояло гораздо сложнее...

Как раз в это время в руководстве русской православной церковью начались глубокие раздоры. Наиболее темные силы в нем, желая сохранить свои позиции и повергнуть в прах всех и всяческих обновителей церкви, понимали, что их главная опора — царь, царский двор. Им нужен был там свой человек, и на эту роль неразборчивый Феофан избрал Распутина. То, что он невежественный и невоспитанный человек, никого смутить не могло — был же одно время при царской семье припадочный глухонемой инок Митя Козельский, который, роняя сопли, мычал, а царица уверяла, что она его понимает...

У царской четы родились одна за другой четыре девочки. А нужен был наследник престола. Склонная к мистицизму царица решила прибегнуть к потусторонним силам. Так еще в начале века во дворце появился «французик из Бордо» по имени Филипп. Не то спирит, не то гипнотизер, не то фокусник, а как позже выяснится, жулик и агент иностранной разведки. Искусно разыгрывая роль полуприпадочного апостола потусторонних сил, в экстазе падая на пол, Филипп заверял императрицу, что услышанные им голоса твердят: «Теперь родится наследник». Агент русской охранки Рачковский прислал из Франции неопровержимые данные, что Филипп — жулик, авантюрист, связанный со специальными службами, и вдобавок разыскивается французской уголовной полицией. В ответ на это Филипп возводится во дворянство и получает ученую степень, а Рачковский отзывается из Франции. Исчез Филипп «таинственно» — уехал ненадолго в Париж и не вернулся... Но вскоре вместо него во дворце появился другой француз, Папюс, якобы ученик Филиппа. Этот, правда, долго не удержался... И возле Филиппа и возле Папюса немедленно образовались кружки из придворных особ, которые в личных интересах пользовались влиянием чудодеев на царскую семью. Даже М. Родзянко вынужден признавать, что болезненно-мистическое настроение царицы «было немедленно учтено дальновидными политиками Западной Европы, изучавшими всегда более внимательно нас, русских, и особенно придворные настроения. Чтобы иметь сильную руку при дворе русском, быстро ориентировавшись в создавшемся положении, они немедленно решили использовать это настроение»... И дальше он утверждает, что в кружках, образовавшихся возле иноземных пророков, «тайное, незаметное участие принимали, без сомнения, и агенты некоторых иностранных посольств, черпая таким образом все необходимые для них данные и интимные подробности о русской общественной жизни»...

Позже, уже укрепившись близ царской семьи, Распутин, ссорясь с Иллиодором, в ответ на его попреки, что он сам возвысился, а о нем забыл, скажет: «Ишь ты какой ловкий. Я сюда, знаешь,

откуда добирался? От самой Сибири-матушки. А ты хочешь вскочить в одночасье...»

И вот в царском дворце появляется Распутин — рослый русский бородатый мужик с молодыми пристальными серыми глазами под густыми черными бровями, в рубахе навыпуск, в сапогах. Он лампадник дворца. Должность невелика — подлей в лампадки масла, в нужный час зажги. Но лампадки есть в покоях царя и царицы, в маленькой комнате, у всех детей царя. То и дело царица застает его на коленях перед иконой, он неистово бьет поклоны, но бормочет не молитвы, а какие-то отдельные фразы. Рассказывая это жене великого князя Николая Николаевича, царица повторила такие распутинские фразы: «Креститься еще не молиться...», «Божья милость не милостыня — не проси...», «Божья воля — счастливая доля...», «Сотри меня в порошок, а помазанника своего не тронь...»

Распутин внимательно присматривается к жизни царской семьи. Он видит тревогу и боль царской четы за появившегося наконец наследника. Мальчик родился с наследственной по линии матери неизлечимой болезнью крови, его истощали длительные кровотечения. Распутин решает направить свою святость сюда. Он вместе с царицей молится за наследника, говоря ей: «Все от бога, бог дал, бог взял...» Царица все чаще вступает в разговоры с ним, а за ней царь, и оба они благодарны Феофану за то, что возле них появился этот человек с его грубоватой речью, часто непонятной из-за неведомых им словечек. Странствуя по монастырям, Распутин много повидал, и у него было что рассказать этим ничего не видевшим людям. Потом царица говорила своей сестре: «Богу было угодно посвятить его в жизнь и с этим прийти к нам...»

Доверенной царицы возле Распутина становится ее любимая фрейлина Анна Вырубова, становится она и его самой яростной поклонницей, пропагандисткой его чудодейственной святости. Эта не очень умная, но крайне хитрая особа первая объявила Распутина спасителем России и первая же начала использовать его для проталкивания совсем не святых дел, затевавшихся за ее спиной авантюристами князем Андронниковым, Манасевичем-Мануйловым и другими.

Беспредельные любовь и доверие царской семьи Распутин завоевывает благодаря слепому случаю. У наследника не могли остановить очередное кровотечение, и вдруг оно после «заговора» Распутина прекращается. Все! Аминь! Царица говорит всем, что с Григорием Распутиным, с Другом, как она теперь начнет его называть, связано все счастье царской семьи и престола. Она обнаруживает в нем святую народную мудрость во всем. В свою очередь, Распутин, прекрасно понимая, что царская семья ослеплена льстивым окружением, режет ей «правду-матку» о тех льстецах, которые могли ему помешать, и этим тоже укрепляет свое положение при троне.

Такова, если можно так выразиться, экспозиция распутинщины — явления, которое с ним самим связано только по фамилии.

Распутинщину породил не Распутин, а самодержавие, государственный строй, согласно которому безграничная власть над огромной страной была отдана в руки одного человека — Николая Романова, объявленного помазанником божьим. Под стать ему была и его жена Александра Федоровна, Алиса — немка с английским воспитанием, тоже ограниченного домашнего образования, душевно неуравновешенная, склонная к мистицизму. Она утверждала, например, что спиритизм станет наукой, а может быть, даже религией.

И другие многочисленные царские родственники являли собой живое подтверждение вырождения фамилии. Ни один из великих князей не был личностью, а лишь фигурой с бесконечно длинными званиями и чинами.

Царский трон окружала бесчисленная орава причастных к власти людей, среди которых только единицы обладали государственным умом, а подавляющее большинство были карьеристы, спекулянты, хапуги, мелкие политиканы, некоторых подняло наверх происхождение, протекция или деньги, и все они служили самодержавию постольку, поскольку при нем они могли делать карьеру и наживать огромные состояния. Затем следовал толстый слой чиновничества вплоть до сельского старосты и станового пристава — великая армия исполнителей воли царя и его правительства, предержателей монаршей власти на местах, ревнителей и толкователей законов по всей Руси необъятной. Это была та сила, которая держала страну в повиновении самодержцу и уверенности, что все происходящее угодно царю, а значит, осенено богом и потому нерушимо. «С нами бог и земский начальник»,— говаривали на Руси. К этому еще надо прибавить армию попов с их религиозным мракобесием. Эта черная армия денно и нощно славила божественность самодержавной власти и царя — помазанника божьего. Время от времени поповщина открывала то мощи святых, то плачущую икону божьей матери, то святые целебные источники. Эти шулерские дела нравятся царю — помазаннику божьему, более того, он в них верит и вместе с семьей под охраной полка жандармов ездит в святые места. Так с помощью попов людская вера в бога становилась верой в царя. И на этом фоне кого могло удивить появление возле трона еще одного святого старца?

Подтверждение святости авантюриста Распутина — одно из гнуснейших преступлений отцов русской православной церкви перед богом на небе и перед верующими людьми на земле. Они шли на это преступление ради весьма земной цели — им нужно было ввести в царскую семью своего человека, чтобы через него обделывать там свои далеко не святые дела, связанные с захватом и использованием высоких постов в церковной иерархии. И первое время Распутин делал для них все, что мог. Но вскоре он сообразил, что его возможности гораздо шире служения отцам церкви.

Понимал ли сам Распутин сущность своей деятельности возле царской семьи? Ректор Петербургской духовной академии и духовник царской семьи Феофан, который, как мы уже знаем, сам

приблизил Распутина к царской семье и поддерживал молву о его святости, позже, когда он разочаровался в своем ставленнике, о его святости больше не заикался. Но, видимо, желая преуменьшить свою вину, он стал характеризовать Распутина как темного мужика, слепо попавшего в сети, расставленные плохими людьми, который и сам не ведал, что творил... Но вот другое свидетельство и тоже духовного лица — иеромонаха Иллиодора. Он тоже в свое время приложил руку к «выдвижению» Распутина, но позже стал его заклятым врагом за то, что его протеже не вознес его вместе с собой. Вынужденный даже бежать за границу, он свидетельствовал оттуда, что «только отпетые дураки могут утверждать, будто Распутин был слепым орудием и жертвой чужих интересов. Распутин был очень зрячий и видел подальше и получше многих из тех, кто им пользовался, и именно потому, что соображал он хорошо, он сам избрал для себя роль якобы слепого исполнителя чужой воли. Зачем ему было душой влезать в чужие опасные дела, когда у него было свое личное важное дело — загребать деньги?».

Это сказано точно и, как говорится, со знанием дела...

Так это и было — Распутин верно служил всем, исполняя при этом свою заветную мечту — сколотить состояние, чтобы уйти потом в мирскую жизнь и заниматься, как он признался однажды, «миллионными делами и жить в свое удовольствие». Он прекрасно понимал при этом, что получил для этого волшебные возможности. Но в одном он просчитался — недооценил ум и хитрость тех, кому он стал служить. Это были опытные волки, и они сумели из мечты Распутина сделать для него крепкую узду. А обойтись без них он не мог, понимал, что сам вершить большие дела не в силах. «Мне бы дворянское родословие да образование покрепше, я бы знал, куда лететь»,— сказал он однажды Вырубовой. Но чего не было у него, того не было. А была только его святость, в которую царь и царица верили. И он понимал — влезь он открыто в большие финансовые дела, полетит к чертям его святость...

В общем, надо было служить другим, и он служил, изображая слепую непричастность ко всем этим делам. Его душеприказчики в благодарность за выполнение их поручений одаривали его немалыми суммами. Кубышка пухла, но, правда, не так быстро, как ему хотелось. Когда началась война и деньги стали терять свою ценность, Распутин страшно огорчился. «Тыща стала тоща»,— говорил он все чаще своим благодетелям и повышал цены за свои услуги. Распутинская кубышка стала наполняться быстрей, когда в нее пошли дары таких финансовых воротил, как Рубинштейн и Манус.

Как только Распутин обосновался во дворце, сразу же это вызвало пристальный интерес дельцов. Они прекрасно знали, кто такой Распутин, знали цену его святости. Сначала в качестве посредника для связи крайне удобна была Анна Вырубова, но дельцы знали, что иметь с нею дело рискованно. Уж больно глупа, и, судя по всему, даже в царской семье это понимали — многие проекты, которые дельцы хотели провести с помощью Вырубовой через цар-

скую семью, срывались из-за ее глупости, а деньги-то она брала вперед. Потом говорила: «Они не захотели» — и делу конец. Теперь она будет действовать совместно с Распутиным. Этого дураком не назовешь, а то, что с ним в одной упряжке будет Вырубова, представляло возможность иметь хоть какой-то контроль за тем, как будет действовать Распутин.

Контора заработала. Судя по показаниям Вырубовой следственной комиссии Временного правительства, контора начала операции через нее и Распутина еще задолго до войны. Размах дел, проталкивавшихся через царский двор, быстро нарастал. Убедившись в необыкновенных возможностях Распутина, дельцы начали пользоваться его услугами и без поддержки царского двора. Он сам писал записки нужным государственным чиновникам и даже министрам: «Сделай для хорошего человека». Дело дошло до того, что дельцы покупали у Распутина подобные записки без указания адресата и потом сами выбирали, кому эти записки предъявить.

В военные годы для банковских воротил и прочих крупных дельцов открылись беспредельные барыши на всем, что было связано с военными заказами. Оттеснив от Распутина авантюристов мелкого масштаба, таких, как князь Андронников, они впрягли его в свои миллионные дела. Рядом с финансовыми воротилами оказываются дельцы и карьеристы от политики — министры, сенаторы, генералы, депутаты Государственной думы и пр. Распутин работает и на них. На многообещающую ситуацию с Распутиным не могли не обратить внимания и иностранные разведки, в первую очередь немецкая...

В различных позже вышедших мемуарах деятелей западных разведок того времени имя Распутина появляется очень редко — фигура Распутина столь грязна, что эти мемуаристы, заботясь о своем реноме, молчат о том, как они воспользовались этим типом. Но широко известно, что для западных разведок никогда никаких моральных рубежей не существовало. Никто не поверит, что эти разведки, видя возможности Распутина, влезшего в царскую семью, и зная моральный уровень этого человека, не воспользовались бы этим. Конечно же, воспользовались. Особенно когда началась война... Родзянко прямо привязывал Распутина к иностранным агентам.

Если английская агентура пробивалась к Распутину, чтобы вовремя знать, что происходит во дворце, и пытаться предотвратить опасное для Англии, то немцы и их приверженцы с помощью клики Распутина делали то, что им нужно,— получали секретную информацию военного и всякого иного характера. По выражению Александра Блока, Распутин был удобной педалью немецкого шпионажа.

Возьмем только 1916 год. В телеграмме Александры Федоровны из Царского Села в столицу царю есть следующая строчка. «Нужно сделать небольшой перерыв, и тогда все пойдет хорошо.

Он [1] так сказал...» Видимо, царица знала о начавшемся наступлении, и эту строчку следует рассматривать как совет Распутина сделать небольшой перерыв в этом наступлении.

В письме из Царского Села от 4 июня 1916 года, направленном царю в Ставку, императрица пишет:

«...Мой родной голубчик, от всей души благодарю тебя за твое драгоценное письмо. А. [2] позабыла тебе сказать, что наш Друг шлет свое благословение всему православному воинству. Он просит, чтобы мы не слишком сильно продвигались на севере, потому что, по его словам, если наши успехи на юге будут продолжаться, то они сами станут на севере отступать либо наступать, и тогда их потери будут очень велики. Если же мы начнем там, то понесем большой урон. Он говорит это в предостережение».

Из Ставки царь пишет царице 5 июня 1916 года:

«...Несколько дней тому назад мы с Алексеевым решили не наступать на севере, но напрячь все усилия немножко южнее. Но прошу тебя, никому об этом не говори, даже нашему Другу. Никто не должен об этом знать. Даже войска, расположенные на севере, продолжают думать, что они скоро пойдут в наступление, и это поддерживает их дух. Демонстрации, и даже очень сильные, будут здесь продолжаться нарочно. К югу мы отправляем сильные подкрепления. Брусилов спокоен и тверд». (Наивное предупреждение царя о том, чтобы Александра Федоровна никому, даже Другу, не говорила об этом, может только насмешить. Именно Друг советовал не выступать на севере, и как же царица может не сказать ему, что совет исполнен.)

В другом письме царицы в Ставку Николаю видно, что Распутин вмешивается и в государственные дела.

«Наш Друг надеется на большую победу (под Ковелем). Если это сбудется, то он просит ради этого взять на поруки Сухомлинова [3]. Прикажи это сделать без большого шума, секретно Хвостову или сенатору, который производит по его делу следствие. Позволь ему жить дома за поручительством двух лиц. Он стар, конечно, наказание остается, но так старику будет легче нести тяжелое бремя. Он просит тебя сделать в случае, если мы одержим большую победу».

Письмо царицы из Царского Села в Ставку от 21 июля 1916 года:

«...Вечером пойду к Ане [4], чтобы повидать нашего Друга. Он находит, что во избежание больших потерь не следует так упорно наступать. Надо быть терпеливым, не форсируя событий, так как в конечном счете победа будет на нашей стороне. Можно бешено наступать и в два месяца закончить войну, но тогда придется пожертвовать тысячами жизней, а при большей терпеливости будет та же победа, зато прольется значительно меньше крови».

---

[1] Распутин.
[2] Анна Вырубова.
[3] Бывший военный министр, арестованный по обвинению в измене.
[4] Вырубова.

Еще одно ее письмо от 4 августа 1916 года:

«Он [1] огорчен слухами, будто бы Гучков и Родзянко приступили к организации сбора меди. Если это так, то следует, по его мнению, отнять у них инициативу в этом. Совсем это не их дело. Просит тебя быть очень строгим с генералами в случае ошибок... Видишь ли, все страшно возмущаются Безобразовым, все кричат, что он допустил избиение гвардии, что Леш, отступая в течение пяти дней, дал Б. приказ наступать, а он все откладывал и благодаря своему упорству все потерял. Раненые стрелки, да и остальные не скрывают своего негодования».

В письме от 8 августа 1916 года царица спрашивает у царя:

«Интересно бы знать, что ты думаешь предпринять относительно гвардии? Будет ли им дан временный отдых? Наш Друг надеется, что мы не станем подниматься на Карпаты и пытаться их взять, так как, повторяет он, потери снова будут слишком велики».

А вот письмо от 18 августа 1916 года. «Намерен ли ты назначить Беляева военным министром? Я думаю, что это в конце концов был бы разумный выбор. Бобринский находит, что дела не могут идти хорошо, пока у Штюрмера так много дела, он ничем в отдельности не может заняться вплотную как следовало бы. Того же мнения наш Друг».

Из письма царицы от 14 августа мы можем узнать, что Распутину поручалось влезть и в дела главы русского правительства Штюрмера. В письме есть такое место:

«Я ежедневно молю бога о том, чтобы быть тебе полезной и помогать тебе советами. Наш Друг постоянно советует Штюрмеру говорить со мной обо всем, так как тебя здесь нет, для совместного обсуждения с ним всех вопросов. Меня трогает, что старик [2] доверяет твоей старухе. Почему оставили Беляева? Будет ли тебе теперь легче назначить его министром?»

Цитирование подобных отрывков из писем императрицы можно было бы продолжить, но уже ясно видно, близ каких военных и государственных тайн находился Распутин. И не только находился, он даже советовал, когда и где надо наступать или от наступления воздержаться. Но сам-то он в военных делах, как и в государственных, ничего не смыслил. Чьи же это были советы? Ответить на этот вопрос точно, так сказать, пофамильно, невозможно — возле Распутина орудовала многочисленная камарилья темных лиц, оголтелых аферистов, которым ничто не было дорого, кроме денег. Но было бы высшей наивностью думать, что активно действовавшая в Петрограде немецкая разведка не обратила внимания на эту возможность получения архиважнейшей информации. На что, наконец, намекали в своих послевоенных книгах руководители немецкой разведки, в один голос утверждавшие, что в России они имели возможность получать информацию на самом высшем уровне?

---

[1] Распутин.
[2] Штюрмер.

В конце 1915 года офицер русской военной контрразведки, находившийся в главной Ставке, сообщает в Петроград, что в окружении начальника главного штаба генерала Алексеева с большой долей вероятности допускают возможность утечки чрезвычайно важных секретных сведений военного характера через Распутина, «имеющего быть информированным от известного вам лица [1], у которого он пользуется неограниченным доверием...».

Спустя месяц тот же офицер сообщает, что «появление неприятельского аэроплана в районе действующей армии в момент нахождения там государя с новой силой возбудило разговоры об утечке секретной информации и среди возможных мест утечки снова называется Распутин, учитывая, что о предстоявшей поездке было информировано Царское Село»...

Нельзя установить, что по этим донесениям было предпринято. Нельзя даже выяснить, кто их читал. Никаких пометок на них нет, да и кто посмел бы их сделать, учитывая, о ком в них шла речь? Именно здесь проявлялось бессилие русской службы контршпионажа.

Депутат Думы Пуришкевич, вернейший слуга монархии, с думской трибуны и не только с думской громогласно называл Распутина в числе членов так называемой «немецкой партии», все «действия которой на пользу неприятелю».

Но это только один край помойной ямы распутинщины, разместившейся средь царских дворцов. Ее смердящая бездна вмещала в себя всю мерзость выродившейся, сгнившей на корню монархии: невежество, религиозное мракобесие, лихоимство, разврат, продажность — все-все, что отвратно Человеку, наполняло эту яму. Самое страшное и труднообъяснимое, что самодержец России, ее царь, помазанник божий, вместе с женой-царицей сидели в этой яме, уверяя, что они находятся в Гефсиманском саду и дышат мудростью святого старца Григория.

Поэт Александр Блок в своей книге «Последние дни императорской власти» писал:

«Связью власти с миром» и «ценителем людей» был Григорий Распутин: для одних — «мерзавец», у которого была «контора для обделывания дел»; для других — «великий комедьянт»; для третьих — «удобная педаль немецкого шпионажа»; для четвертых — упрямый, неискренний, скрытный человек, который не забывал обид и мстил жестоко и который некогда учился у магнетизера. О вреде Распутина напрасно говорили царю... Мнения представителей власти, знавших этого безграмотного «старца», которого Вырубова называла «неаппетитным», при всем их разнообразии, сходятся в одном: все они нелестны; вместе с тем, однако, известно, что все они, больше или меньше, зависели от него; область влияния этого человека, каков бы он ни был, была громадна; жизнь его протекала в исключительной атмосфере истерического поклонения и непреходящей ненависти; на него молились, его ис-

---

[1] Речь явно идет о царице.

кали уничтожить; недюжинность распутного мужика, убитого в спину на юсуповской «вечеринке с граммофоном», сказалась, пожалуй, более всего в том, что пуля, его прикончившая, попала в самое сердце царствующей династии...»

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

1

С начала 1916 года между Лондоном и Петроградом велась активная переписка по поводу присылки в Англию депутации общественных деятелей России. Эта же делегация должна была посетить и Францию. Послы Англии и Франции весьма заинтересованно наблюдали за формированием делегации. Особенно Бьюкенен. Лондон дал ему понять, что по его донесениям трудно представить, что сейчас происходит в русском обществе.

В начале войны Бьюкенен сообщал, что русское общество едино в своем патриотическом порыве победить Германию любой ценой. А теперь он сообщал, что в этом обществе царит разлад и что вообще в европейском понимании в России нет общественного мнения, способного влиять на государственную власть. Ну а что же тогда Государственная дума? Почему раньше из сообщений того же Бьюкенена можно было понять, что Дума не играет существенной роли в политике и во внутренней жизни страны? А сейчас, по его же сообщениям, в Думе не умолкают беспощадная критика правительства и даже царской семьи. Кто критикует? От чьего имени, если общественного мнения в европейском понимании в России не было? Значит, оно появилось?

В начале этого года в Англии побывало шесть русских журналистов из наиболее влиятельных газет Петрограда и Москвы. В рассуждении познания российского общества журналисты своих гостеприимных хозяев разочаровали. Принимали их по высшему разряду, даже король уделил им время, но услышать от них хотя бы немногое, приоткрывающее тайну общественной жизни в России, не удалось. Только писатель Герберт Уэллс немного поговорил об этом с приезжавшими к нему в гости Алексеем Толстым и Корнеем Чуковским. Но и там ничего существенного сказано не было. А в заключение один из журналистов передал в английские газеты послание, в котором позволил себе написать, что было бы хорошо, если бы Россия скопировала английский образец государственного устройства. Теперь жди раздражения русского двора... Ничего нельзя понять и из выступлений бывшего думца Аладьина, который разъезжал по Англии с лекциями о России. Однажды ему задали прямой вопрос — может ли русское общество оказывать влияние на политику государства? Лектор ответил: русское общество может сделать все... что угодно монарху.

Неудивительно, что руководители английской политики захотели лично увидеть, что называется, руками потрогать деятелей

нынешней русской Думы. И снова возникло непонятное. Лондон хотел увидеть представителей русского крестьянства — самой большой части населения, а в этой роли Петроград предлагал помещиков, по английским понятиям, земельных аристократов. И никаких других крестьянских делегатов прислать не мог... Лондон хотел увидеть типичных представителей русского дворянства, а Бьюкенен запрашивает уточнение — дворян какой позиции? Оказывается, русские дворяне в Думе совершенно не едины в своих взглядах. Чертовски все непонятно в этой России. А выяснить надо. И это не было просто любопытством или стремлением к познанию России. За этим стояла война и связанная с ней тревога — сколь долго может еще продолжать активную войну русский союзник? И еще надо было выяснить, как глубоко проникли в русское общество прогерманские тенденции.

Наконец «парламентская» делегация, составленная из депутатов Думы и членов государственного совета, выехала в Лондон...

Русские деятели произвели в Англии, пожалуй, странное впечатление, и вряд ли англичане, общаясь с ними, получили ответы на свои недоумения по поводу русского общественного мнения. В английских газетах печатали интервью с русскими парламентариями, в которых репортеры то и дело оговаривались, что на такие-то вопросы их собеседники отвечать отказались. А вопросы были самые элементарные. На вопрос о роли Думы в политической жизни России один из думцев ответил, что это находится в единоличном понимании русского монарха. Впрочем, все члены русской делегации на приемах, банкетах и с трибун превозносили мудрость Николая Второго, на которую Россия полагается-де во всех проблемах войны и будущего мира. Англичане спрашивали, кого же представляют в Думе те, кто так резко критикует внутреннее положение в России, и слышали ответ — во всяком случае, не тех, кто дал им мандат в Думу. Ну пойми тут, что к чему...

Делегаты были подобраны из наиболее преданных монархии деятелей, и они честно выполняли полученные в Петрограде инструкции.

Неожиданно из всей делегации выделился Александр Дмитриевич Протопопов. Тут сыграло, конечно, роль, что он являлся товарищем председателя Думы и был руководителем делегации. Но не только это. Он посвободнее разговаривал с журналистами на приличном английском языке, часто шутил и даже позволял себе высказывать довольно смелые мысли, всякий раз подчеркивая, что это его сугубо личное мнение. И однажды объяснил: «Я говорю это даже не как депутат Думы, а просто как Александр Протопопов, а у нас в России Протопоповых, как у вас в Англии — Смитов». После этого в одной газете был напечатан заголовок «Протопопов — русский Смит»...

Впоследствии председатель Думы Родзянко объяснял эту некоторую самостоятельность суждений Протопопова еще и тем, что, как крупный промышленник, он в депутации был наиболее мате-

риально независимым человеком, и, наконец, его природным актерством и склонностью к экзальтации.

Экзальтация и актерство — это сказано мягко. Позже тот же Родзянко выразился более определенно. Это произошло на заседании следственной комиссии Временного правительства. Председатель спросит: «Вы считали Протопопова душевнобольным человеком?» И Родзянко ответит: «Бесспорно».

«...ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. На чем вы это основывали?

РОДЗЯНКО. На массе таких фактов, которые довольно характерны. В последнее время были пункты, на которых он прямо выходил из себя. Когда затрагивали промышленность, он начинал говорить прямо несообразные вещи. Как-то он вечером был у меня. Тогда он еще не был министром. Играли в карты, как всегда, после карт бывал политический разговор. Тут и нашло на него. Он такие вещи говорил, что я посоветовал ему поскорее ехать домой и выпить капель. Этот разговор, который был у меня на квартире, все слушали и перестали возражать. Шингарев, который был доктором, посоветовал: «Александр Дмитриевич, поезжайте домой и выпейте брома». Он тогда схватил меня за пуговицу, потащил в кабинет и начал: «Я спасу Россию. Я чувствую, что я призван». Я говорю: «Вы поезжайте домой, вам надо лечиться...»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Вы не докладывали бывшему императору, что министр внутренних дел, им поставленный,— сумасшедший?

РОДЗЯНКО. Говорил.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Что же он вам ответил?

РОДЗЯНКО. Он покачал головой, но ничего мне не сказал... Но о другом министре царь сказал: «Этот, по крайней мере, не сумасшедший...»

Родзянко все же не врач-психиатр, и царь мог ему не поверить. Но в архиве петербургского Николаевского военного госпиталя доныне хранится официальная история болезни министра внутренних дел Протопопова. И в ней можно прочесть следующее:

«По словам исследуемого, отец его умер от прогрессивного паралича, мать во время беременности страдала неврастенией. Сам исследуемый в 1887 г. после перенесенного тяжелого брюшного тифа страдал периоститом костей голеней на почве наследственного сифилиса по определению проф. Тарновского. В 1894 г. перенес «неврастению кишок», в 1903 г.— неврастению, в 1907 г.— периоститы на голове «с нервными явлениями» (подвергался операции). В 1911 г. снова нервное расстройство. В 1914 г. периостит правой большеберцовой кости. С начала 1916 г. [1] снова нервное расстройство... С апреля 1915 г. по февраль 1916 г. два раза в неделю сеансы у проф. Бехтерева, под влиянием которых, по словам исследуемого, у него развились явления аутогипноза. Означенные выше приступы неврастении, по словам исследуемого, протекали волнообразно, причем период повышенного настроения с большой, неутомимою работоспособностью менялся периодом угнетения,

---

[1] Время поездки в Англию.

подавленностью с мыслями о самоубийстве, в один из таких периодов исследуемый пытался покончить с собой и только случайность — в руки вместо револьвера попалось распятие — помешала ему привести свое намерение в исполнение. Исследуемый считает, что, будучи министром, он уже был больным, например, на одной бумаге сделал пометку «цип, цип, цип», на другой — донесении одного из губернаторов — написал «чепуха», и когда ему показали потом это, он не мог припомнить, как он это сделал...» И так далее [1].

2

В Берлине внимательно следили за ходом визита русских думцев и, конечно же, обратили внимание на высказывания Протопопова, обнаружив в них одну заинтересовавшую их особенность. Ни в одном интервью Протопопов в отличие от других членов делегации не говорил ничего хулительного о Германии. Можно полагать, что это сыграло свою роль в том событии, которое в скором времени с ним произошло...

Думская делегация отправилась домой без Протопопова. Его попросил остаться в Лондоне русский министр финансов Барк, который вел там очень серьезные финансовые переговоры и нуждался если не в свидетеле, то в общественной, так сказать, поддержке. Англичане тоже высказали желание продлить пребывание у них симпатичного Протопопова, наверное, они хотели поближе приглядеться к этому русскому деятелю. Словом, Протопопов остался, а потом возвращался в Россию один...

В солнечный летний день он прибыл в Стокгольм. У него было прекрасное настроение. Опасный морской путь до Скандинавии был позади. Протопопов был необычайно доволен собой. Окрыленный своим успехом в Англии, он видел себя крупной политической фигурой, и, когда ему в Стокгольме предложили встретиться с влиятельным человеком, представляющим интересы Германии, он, недолго думая, согласился. После успеха в Европе ему захотелось стать еще и первым послом мира.

...Утром в назначенный час Протопопов на такси приехал в стокгольмскую гостиницу «Гранд-отель». Швейцар принял от

---

[1] Всю эту медицинскую документацию я показал известному советскому психиатру Р. А. Наджарову. Ознакомившись с ней, он сказал:

— Тут возможен случай прогрессивного паралича с циркулярным течением, то есть с чередованием депрессий и маниакальных состояний.

Я спросил, может ли вообще душевнобольной человек так себя вести, что другим его болезнь может казаться совсем не болезнью, а, скажем, чертой характера?

— Вполне может,— ответил Р. А. Наджаров.— Иной больной, находясь в состоянии нерезко выраженной аффектации, выглядит энергичным человеком, свободным в речи, остроумным, в маниакальном состоянии из-за ослабленного самоконтроля он весьма смел в мыслях и действиях, так как в это время на него действует повышенная самооценка...

Да, именно так и вел себя в Лондоне Протопопов...

него макинтош, шляпу, и он остался в летнем клетчатом английском костюме, он хотел подчеркнуть неофициальность для него этой встречи.

Войдя в названный ему апартамент, Протопопов увидел затянутого в черный костюм худощавого мужчину с узким, будто сплюснутым с боков лицом, который стоял позади овального стола, как бы отгораживаясь им от необходимости рукопожатия.

— С кем имею честь?— негромко по-немецки спросил Протопопов, остановившись в широком проеме комнаты.

— Разве вам мое имя не назвали?— приподнял белесые брови немец.— Впрочем, мое имя вам ничего не скажет, и лучше нам не затягивать процедурную часть.— Он чуть улыбнулся и сделал пригласительный жест, показав на кресло у стола и садясь сам по другую сторону.

Протопопов опустился в кресло и, расстегнув пуговицы тесноватого пиджака, с непроницаемым лицом приготовился слушать.

— В одном вашем интервью в Лондоне вы утверждали, будто у России появился союзник внутри Германии, и это голод. Позволю себе заметить, что утверждение ваше не имеет основания...— начал немец.

Протопопов помнил, конечно, это свое заявление, единственное, кстати, которое он позволил себе сделать в адрес Германии. И вот пожалуйста... Его отечные щеки непроизвольно дрогнули.

— Вы знаете, господин Протопопов, как это знают все, что немцы и их государство образец организованности,— продолжал немец.— В отличие от России война сплотила нашу нацию еще больше. Подчинились этой организованности и естественные во время такой войны продовольственные трудности, в этом смысле мы можем воевать сколько богу будет угодно...— Немец снова еле приметно улыбнулся сплюснутым лицом и продолжал:— Но надо думать, богу хочется все же, чтобы война кончилась как можно скорее. И не только богу. Что вы думаете на этот счет?

— Богу угодно было, чтобы эта война началась, и в его же воле ее окончить,— начал Протопопов.

— Однако божья заповедь «люби ближнего своего» позволяет кое-что и нам, грешным, не так ли?— спросил немец, перебивая.

— Войну начали не мы,— произнес Протопопов, стараясь придать своему надтреснутому голосу металлическую твердость.

— Мы же установили: войну начал бог,— быстро проговорил немец.— А если всерьез, то когда-нибудь, когда отпадет предвзятость и возродится спокойная объективность, мы вместе разберемся в этом. Но сейчас речь идет о конце войны, чего, я уверен, хотят и русские, и мы, и все нормальные люди на земле. Кроме англичан, конечно...

— Все в руках божьих.— Протопопов демонстративно поднял и опустил плечи и прикрыл глаза тяжелыми веками — хорошо бы на этом и кончить разговор, все ясно — немцы хотят мира, и с этой вестью он вернется домой... Но нет, он снова слышит въедливый голос немца...

— В этой войне виновата одна Англия с ее великим лицемерием и столь же великой алчностью. Германия всегда мыслила достаточно трезво, чтобы не считать Россию своим противником. Нам, конечно, нелегко, но, поскольку каждый немец понимает великую справедливость для Германии этой борьбы, он будет сражаться вдохновенно и жертвовать всем во имя победы. Все именно так и происходит. Мы знаем, что и России нелегко. А вот в Англии — я уверен — вы увидели нечто иное...

— Во всяком случае, я увидел и ощутил решимость англичан выиграть эту войну,— вяло сказал Протопопов, испытывая неприятное, пугающее ощущение, что немец за шиворот тащит его в опасный разговор.

— Не верю!— воскликнул немец и, упершись в стол руками, откинул свое легкое тело на спинку кресла.— Или это совсем не та решимость, когда страна готова на алтарь войны бросить столько жизней, сколько бросила Россия или мы.

— Я не понимаю цель нашего разговора,— решительно сказал Протопопов, подумав, что продолжать начатую немцем дискуссию опасно.— Чего вы хотите?

— Вы будете иметь возможность по возвращении увидеться с царем?— спросил немец.

— На это должно быть желание царя,— ответил Протопопов.

— Допустим, он этого пожелает,— сказал немец.— И тогда почему бы вам не рассказать ему о нашем совершенно случайном свидании?

— Темы для разговора выбирает опять же сам монарх,— ответил Протопопов.

— Ну а если он сам спросит вас об этом нашем свидании?

— Я не собираюсь его рекламировать уже хотя бы потому, что на него я никем не уполномочен.

— Вы совестью уполномочены, любовью к России уполномочены!— выспренне произнес немец.

— Тем не менее,— качнул головой Протопопов.

— И даже в том случае, если вы будете знать, что Германия хочет с вашей помощью донести до царя ее взгляды на окончание этой страшной войны?— спросил немец.

Никаких обязательств, связанных с этим свиданием, Протопопов брать на себя не будет, но честолюбивая мысль стать послом мира не оставляла его и в эти минуты.

— Я продолжу свои размышления с вашего разрешения. Впрочем, не свои лично, конечно,— сказал немец.— Так вот... Германия не преследует завоевательные цели. Англия наоборот. Германия хочет одного: справедливого устройства Европы с учетом подлинно государственных интересов великой России.

— Что же... именно... для России?— несколько пугливо спросил Протопопов, невольно втягиваясь в разговор.

— Никаких диктатов или помех в польской проблеме,— твердо ответил немец.

Отлично понимая важность для России и остроту польского вопроса, Протопопов решился уточнить его решающий пункт.

— Вы видите Польшу в границах этнографических или географических? — спросил он.

— Географических,— тотчас ответил немец и добавил с улыбкой: — Этнические данные — это стихия, а география управляема. По этому же принципу мы будем решать и чисто европейские проблемы. Мы подняли меч во имя справедливости для Германии и для всей Европы. И единственно, кому бы мы хотели обрезать когти,— это англичанам. Нельзя, чтобы в нашей тесной Европе оставалась Англия, диктующая всем политику силой. Это патология. В Европе есть только два государства, которые исторически и по своим возможностям имеют право взять на себя заботу о справедливом мире для Европы,— это Россия и Германия. Подчеркиваю: это мысль не моя. Так думает наш кайзер, у которого в этой войне есть одна боль: кровь немецкого и русского народов. Разве об этом не следует знать русскому царю?

Понимая всю важность для Николая этой информации, Протопопов уже представлял себя сообщающим ее монарху. На вопрос немца он, однако, не ответил.

— У нас с вами не переговоры, а просто беседа двух патриотов своих стран, только я в отличие от вас знаю, что хочет и думает руководство Германии,— продолжал немец.— Мы решились на эту беседу, зная и ваш ум, и ваши политические взгляды, и вашу любовь к России. И мы понимаем, что в вопросах, которые сейчас мы чисто пунктирно затронули, есть великое множество всяких аспектов, но обсуждение их — это уже предмет для переговоров официальных, о которых мы страстно мечтаем. Я уверен, что такие переговоры произойдут, все проблемы на них будут успешно разрешены, и тогда наша с вами скромная встреча здесь станет исторической и войдет в учебники,— сказал немец очень серьезно и даже взволнованно. Протопопов таращил на него глаза: черт побери, вот так и делается история...

3

Протопопов отбыл через Финляндию домой. И пока он был еще в пути, немецкая разведка позаботилась, чтобы результаты стокгольмской встречи не оказались зависящими от трусости или храбрости Протопопова.

По всем ставшим впоследствии доступными немецким документам и по мемуарным свидетельствам, где нет ни одного серьезного следа о стокгольмских переговорах, ясно, что этот миротворческий шаг Германии на самом деле был шагом чисто провокационным и главной его целью было вызвать замешательство и взаимное недоверие среди воюющих против Германии государств и воспользоваться этим на фронтах. Поэтому организаторы встречи в Стокгольме не только не озабочены тем, чтобы ее хотя бы

до поры до времени засекретить, но принимают специальные меры, чтобы придать ей самую широкую гласность в России...

Днем на кладбище Александро-Невской лавры Грубин ждал Бурдукова, который опаздывал уже на целых сорок минут. Не в правилах Грубина было мириться с такой расхлябанностью, и, если б не особая важность сегодняшнего дела, он бы давно ушел отсюда. Ему все труднее управляться с этим скользким типом. После того как он сам сосватал его в советники к Манусу, Бурдуков стал наглеть на глазах и уже не раз пытался уклониться от выполнения поручений. Грубин теперь жалел, что в свое время не оформил вербовку Бурдукова как положено, но тогда что-то испугало, показалось, что Бурдуков может его выдать, только бы плату за это предложили хорошую. И Грубин тогда решил построить свои отношения с ним на его патологической алчности и в общем не ошибся — за деньги Бурдуков готов был делать что угодно, его совершенно не интересовало, для чего это делается, и энтузиазм его участия зависел только от размера вознаграждения. Но сейчас Манус платил ему хорошо, наверняка больше, чем Грубин, и вот результат...

Во время прошлой их встречи, на которую Бурдуков пришел, не выполнив простого поручения, Грубин сказал ему:

— Николай Федорович, неужели вы не понимаете, что достаточно одного моего слова Манусу, и он от ваших услуг откажется?..

Как все праздные посетители кладбищ, Грубин медленно бродил по тропинкам между могил и читал надгробные надписи. Здесь простых людей не хоронили. Перед каждой фамилией, высеченной на камне, несколько строк — перечисление званий и чинов.

В каменных серых воротах появилась пышная похоронная процессия. Даму в черном поддерживали под руки два генерала, в толпе преобладали военные. Медленно двигался отряд солдат с винтовками на плече, еще раньше прошел большой военный оркестр.

Грубин проводил взглядом процессию и усмехнулся про себя: «Отвоевался генерал в столичных окопах»,— и, когда повернулся, увидел Бурдукова. Пальто нараспашку, шляпа в руке, свернул в боковую аллею и остановился перед памятником, возле которого назначена их встреча. Смотрел по сторонам, вытирая лицо платком...

Грубин вышел из-за деревьев:

— Я уже уходил, Николай Федорович, и это ничего хорошего вам не сулило.

— Георгий Максимович, поверьте, попал как в ловушку,— начал объясняться, все еще тяжело дыша, Бурдуков.— Был на Васильевском, выхожу на улицу — трамваи стоят, и ни одного извозчика. Пешком шел до самого Николаевского вокзала и только тут схватил извозчика.

Они сели на белую мраморную скамейку перед памятником из черного мрамора.

В это время ветер донес монотонный голос священника, читавшего заупокойную молитву. Бурдуков прислушался с испуганным лицом.

— Хватит примеряться. Пока живы, давайте заниматься делами,— сказал Грубин.

— Я весь внимание,— повернулся Бурдуков.

Грубин подвинулся ближе и начал говорить:

— Дело очень важное. Вы понимаете, конечно, что все наши коммерческие дела, в том числе и приложение вашего личного капитала, зависят от войны, от того, когда она кончится. Если мы хотим сохранить свои капиталы, чтобы потом пустить их в активный оборот, мы должны знать, как обстоит дело с войной, иначе можно сильно просчитаться. Понимаете вы это?

— Еще бы... еще бы... В большой тревоге нахожусь.

— Так что в случае успеха вы будете хорошо вознаграждены не только мною, но и Манусом. Он в курсе...

— Все, что в силах, сделаю...— Бурдуков отдышался наконец и, кажется, был способен слушать.

— И дело-то в общем простое...— продолжал Грубин.— Слухи о возможности мирных переговоров с Германией ходят давно, вы знаете. Но теперь это не слух, а факт. Думский деятель Протопопов, возвращаясь домой из Англии, в Стокгольме встречался и вел переговоры с представителем Германии...

— Откуда же сие известно?— вдруг спросил Бурдуков.

— Вы же знаете, Николай Федорович, у нас с Манусом связи есть в самых высоких инстанциях.

— Как не знать,— уважительно ответил Бурдуков, и в это время трескуче хлестнул залп похоронного салюта. Бурдуков вздрогнул всем телом, посмотрел туда, где стреляли, и сказал:— Это я знаю, знаю... Но как же так? Только третьего дня в газетах были напечатаны слова государя про войну до полной победы Антанты.

— Но однажды кто-то должен начать разговор о конце войны,— продолжал Грубин.— Судя по всему, начинает Германия. Возможно, она сама решила стать на колени перед коалицией, но из престижа хочет сказать об этом прежде всего России, вложившей в войну больше всех. И вы, пожалуйста, успокойтесь: ни я, ни Манус, ни вы не сделаем и шага против интересов России. И задача у нас, повторяю, весьма простая. Дело в том, что этот Протопопов, по отзыву всех, человек не очень серьезный, и что может получиться? Германия, не зная, что он за человек, решила через него передать предложение о почетном для России мире, а этот Протопопов из трусости или непонимания всей важности дела решит свою встречу в Стокгольме сохранить в тайне. А главное, в тайне от царя. Этого не должно случиться. Царь должен знать все. И наша задача сделать так, чтобы независимо от Протопопова царь об этом узнал.

— Если только это, я согласен.

— Только это,— подтвердил Грубин и спросил:— Как лучше сообщить об этом царю?

— Может, сначала царице?

— А ей как?

— Очень просто, через Вырубову.

— А не напутает эта дура? Или вдруг испугается?

— Ей нужно только сказать проще: мол, у Протопопова было очень важное свидание в Стокгольме, касающееся войны. Пусть царица поинтересуется, что там произошло. И все.

— Прекрасно, Николай Федорович,— согласился Грубин.— Но нужно все-таки перестраховаться и как-то сообщить то же самое прямо царю. Но как?

— Может, через генерала Воейкова?

— Опасно. А как бы еще?

— Распутин?— осторожно предложил Бурдуков.

— Тогда снова через царицу...

— Если от него, то это наверняка дойдет до царя.

— А вы скажете ему сами?

— Хорошо,— после долгой паузы согласился Бурдуков.

— А я приму меры, чтобы эта новость попала в прессу.

— Да разве такое напечатают?— удивился Бурдуков.

— В свой час напечатают, а пока важно, чтобы через думских газетчиков эта новость достигла ушей Родзянко и, что еще важнее, ушей министра иностранных дел Сазонова.

— Он же на привязи у англичан, этот Сазонов, он немедля даст знать туда и настроит царя против этого дела,— возразил Бурдуков.

— Однако сам факт встречи в Стокгольме не может не заинтересовать царя, и он наверняка захочет все узнать из первых рук. Вы сами с Протопоповым знакомы?

— Да, но не очень хорошо. Но знаю его еще со времени работы его в провинции.

— Не могли бы вы встретиться с ним сразу после его возвращения?

— Нельзя...— решительно возразил Бурдуков.— Он же знает, что я из опасного министерства внутренних дел...

— Но кто-то с ним поговорить должен, Николай Федорович. Надо авторитетно посоветовать ему не трусить и трезво знать, что стокгольмская история возводит его в ранг крупных политиков России.

— Поговорить с ним об этом мог бы опять же Распутин. Они хорошо знакомы,— предложил Бурдуков.

— Можете подготовить их встречу?

— Постараюсь, Георгий Максимович...

— Вот и все дело, Николай Федорович,— сказал Грубин, посмотрел на часы и встал.— Но нельзя терять ни минуты...

Они вышли на главную аллею и смешались с толпой, возвращавшейся с похорон...

4

Вернувшись в Петроград, Протопопов прежде всего явился с визитом к министру иностранных дел Сазонову. Избежать этого визита он не мог и очень боялся его, знал, что Сазонов обладает острым, злым умом, в Думе далеко не всякий решался задавать ему вопросы, все помнили, как однажды он отхлестал депутата Капниста, сказавшего про него, что он болен англофобией. Сазонов мгновенно ответил, что, очевидно, он заразился этой болезнью у его величества императора, подписавшего высочайший акт союзничества с Англией. Дума замерла, а потом разразилась аплодисментами, которые, словно буря, сдули Капниста с трибуны...

Протопопов втайне надеялся, что Сазонов ничего не знает о его встрече в Стокгольме. Откуда ему знать? На случай, если знает и спросит, Протопопов приготовил два ответа: серьезный и этакий полегче, с шуточками и оговорочками. Он еще надеялся на то, что Сазонову не до Стокгольма, в Петрограде кто-то уже шепнул ему, будто министр висит на ниточке...

Мысленно перекрестившись, Протопопов вошел в кабинет. Сазонов что-то писал за столом. Увидев вошедшего, он отодвинул от себя бумаги и, выпрямившись в кресле, на приветствие Протопопова сухо ответил: «Здравствуйте... садитесь...»

— Ну вот, ваше превосходительство, мы выполнили свою тяжкую миссию,— начал Протопопов с тяжелым вздохом, усаживаясь в глубокое кресло. Сазонов с непроницаемым лицом смотрел на него, чуть сузив глаза.

— Выступать приходилось по три раза на день,— продолжал Протопопов, глядя и не глядя на министра.— А где выступление, там прием, а значит, и застольные спичи. А чего стоят одни их репортеры! Бульдоги с мертвой хваткой! Не чета нашим. И каждому ответь, а что ни вопрос, то какая-нибудь каверза...— Он говорил, все более оживляясь, но голова начала кружиться, закололо иглами в затылке — пронеси, господи... Он продолжал сбивчивый рассказ, боясь остановиться, надеясь, что ему станет лучше.

Сазонов и не ждал услышать от него что-нибудь значительное или интересное об Англии, которую сам прекрасно знал, разве только о том, как выглядит Лондон сейчас, когда война. Но об этом он не услышал, и, когда Протопопов принялся рассказывать об опасностях морского путешествия, Сазонов перебил его:

— Что за слухи о какой-то вашей встрече в Стокгольме?

Протопопов умолк на полуслове. В затылке кололо сильнее — если не пронесет, он совершенно потеряет власть над собой и может наговорить бог знает чего!

— Сущая чепуха, ваше превосходительство,— ответил он со страдальческой улыбкой.— Какой-то тип пожелал со мной встретиться. Я даже фамилии толком не узнал и даже думал, что иду на встречу с моим знакомым коммерсантом Ашбергом.

— А кто же там оказался?

На Протопопова накатывали теплые волны — это приступ.

— Некто... боже, дай вспомнить... кажется, Варбург... или что-то в этом роде... может быть, Варбут...

— Ну хорошо, а в чем суть? — Сазонов вынул из жилета часы и положил перед собой.

— Не стоит вашего внимания, — махнул рукой Протопопов, и голова его стала опускаться на грудь.

— А все же что именно? — спросил Сазонов, точно не видя странного поведения визитера, он думал сейчас только о том, как помешать Протопопову попасть к царю в ближайшие два дня, чтобы успеть предупредить того об опасности стокгольмской ситуации.

Протопопов медленно поднял голову, вздохнул с гримасой улыбки на пожелтевшем лице и сказал:

— Поверхностный зондаж нашей позиции в войне... безответственные предложения. — Он сжал в комок всю свою волю, чтобы остановить приступ.

— Какие предложения? — Голос министра стал металлическим.

— Я же сказал, безответственные.

— Будьте так любезны сказать, какие именно?

— Чтобы в Европе все по справедливости, а Россия с Германией во главе... — Протопопов с великим трудом выдирал из памяти посулы немца, но Сазонову уже было понятно, какую беду вызовет эта история. Он поблагодарил Протопопова за информацию и, еле дождавшись, когда тот шаркающей походкой вышел из кабинета, соединился по телефону с Бьюкененом.

— У меня только что был Протопопов...

— Я все знаю, — ответил Бьюкенен. — Гнуснейшая и опаснейшая история. Необходимы срочные и решительные меры.

— Я уезжаю в отпуск в Финляндию, — сообщил Сазонов.

— Это немыслимо!

— Я уже простился с царем. И это он настоял на моем отпуске.

— Можно это исправить?

— Нет. Я же сам доложил царю о своем крайнем переутомлении.

— Проинструктируйте Нератова, порекомендуйте ему держать тесную связь со мной.

— Хорошо...

Сазонов некоторое время неподвижно сидел в кресле с окаменевшим лицом...

«К черту все... Разум здесь бессилен... Все идет само собой... Катится как камень с горы... Может, даже хорошо, что я уеду. В конце концов, что я могу сделать один? А когда вернусь, по крайней мере, хоть эта гнусная история будет уже позади...»

Из министерства иностранных дел Протопопов поехал домой — ему захотелось скрыться от всех, от всего, даже вот от этой шумной улицы, запереться в квартире, где никто не будет рвать

ему нервы, и если уж навалится приступ, там он перетерпит его в одиночку.

Все кувырком. Сазонов теперь его смертельный враг. Родзянко, тот прямо взбесился, руки не подал, сказал: «Вы взяли на себя позорную роль...» Неужели он промахнулся и этой встречей в Стокгольме перечеркнул всю успешную поездку в Англию, все свои прежние заслуги?

В пустой квартире — семья жила на даче — едко и омерзительно пахло: жена, как всегда, съезжая на дачу, разложила на подоконниках яд против мух. Во всех пяти комнатах мебель была сдвинута в кучи и покрыта коврами, густо засыпанными нафталином. Только в его кабинете все стояло на своих местах, и здесь пахло меньше. Он приоткрыл окно, придвинул к нему кресло и сел, вытянув ослабевшие ноги... Проклятый приступ стоял за спиной, теперь уже не иглы кололи затылок, а начиналось то, что он называл ознобом головы. Мысли возникали в ней как бы помимо его воли и тут же исчезали. Июльские сумерки сгущались в ощущение страха.

«Неужели я погубил себя? Так хорошо все шло... Я завоевал Англию, все их газеты курили мне фимиам, называли мыслящим политиком русского стиля. Один репортер спросил на пресс-конференции, что я сделал бы прежде всего, если бы стал премьер-министром? Я ответил — первым делом я бы помолился богу. Как аплодировали! На другой день мой ответ во всех газетах. Так все шло на подъем, на подъем, и вдруг все летит в пропасть...» Ему стало тоскливо и горько, жалко себя, в глазах у него защипало, и горло стиснуло. И тотчас нахлынула теплая волна, подхватила его и понесла, понесла... Припадок начался.

Когда он очнулся, было уже темно. За окном вдоль набережной Фонтанки уже горели фонари. День уже миновал, и можно лечь спать... спать... спать...

Зазвонил телефон. Протопопов вздрогнул, вскочил с кресла и испуганно смотрел на телефонный аппарат, в мозгу стучало: подойти?.. не подойти?.. Звонки не прекращались. Он медленно, точно загипнотизированный, пошел к телефону. Взял трубку, приложил к уху и молчал.

— Это квартира Александра Дмитриевича? Это квартира Александра Дмитриевича?— кричал высокий, напряженный женский голос, казавшийся Протопопову знакомым.

— Я слушаю,— тихо сказал он.

— Александр Дмитриевич, это вы?

— Да, да, кто звонит?

Он услышал имя одной распутинской дамы.

— Здравствуйте,— сухо произнес он.— Чем могу быть полезен?

— Александр Дмитриевич, вас срочно хочет повидать отец Григорий. Вы понимаете?

— Зачем?— спросил Протопопов.

Дама засмеялась:

— Зачем, это знает только он сам. И он хочет вас видеть срочно. Машина за вами послана и, наверное, уже ждет у вашего подъезда.

— Хорошо, я буду,— сказал Протопопов.

Он должен ехать! Должен! Именно там он может сейчас найти спасение от беды. И никогда еще он от Распутина ничего плохого не имел. Однажды, благословляя его, старец сказал: дремлет в тебе большая сила... И сейчас Протопопов вдруг ощутил в себе эту силу...

Автомобиль доставил его к Распутину домой, на Гороховую, 64... Григорий сидел в гостиной на широченном кожаном диване, и, когда Протопопов вошел, упруго вскочил, одернул синюю шелковую рубаху, сдвинул набок кисти мягкого пояска и быстрыми шагами приблизился к гостю.

— Ну здравствуй... здравствуй... Смотри, похудел на харчах аглицких...— говорил он глуховатым баском, держа Протопопова за плечи и глядя на него.— Скажи мне одно — ты хочешь всех обогнать али хочешь сделать поболе для Руси-матушки и для царя-батюшки?

Распутин так приблизил свое косматое лицо к лицу Протопопова, что он слышал запах вина и еды...

— Но ты не серчай, милай, не серчай,— продолжал Распутин, глядя сбоку на белое после припадка лицо Протопопова цепкими серыми глазами.— Ты ж знаешь, ежели у меня к человеку интерес, то тому человеку или очень хорошо, или, уж не пеняй, очень плохо. Но ты не боись. К тебе — ты знаешь — душа моя добром поворочена. Ты мне только одно скажи: готов ты голову положить за вечное царствование Романовых и служить престолу верой и правдой?

— Для меня это весь смысл жизни,— печально и тихо ответил Протопопов. И весь его вид был жалкий — обвислые неаккуратные усы, надувшиеся мешки под глазами, мятый сюртук.

— А я ведь все знаю, милай, все знаю...— Распутин подмигнул бешеным серым глазом и вдруг длинной ручищей толкнул его в плечо — Протопопов даже отступил на шаг.— Я все знаю, милай. И что к тебе интерес в Царском Селе, тоже знаю. И в Ставке у царя-батюшки. Может, еще завтра поедешь туда. Говорить с тобой будут. Они люди святые, не хитри с ними, говори все как есть, как на душе лежит. Тогда не прогадаешь...

Протопопов глупо улыбался, ему казалось, что все это он слышит во сне. Но Распутин надвинулся на него, пахнул жареным луком.

— Ты меня понял?— Распутин внимательно посмотрел на Протопопова — чего это он склабится?

— Понял, Григорий Ефимович! Все прекрасно понял!— громко и радостно произнес он. Мозг включился! Ясный, схватывающий все. Протопопов шагнул к Распутину, сжал его руку:—

Спасибо, Григорий Ефимович! Спасибо. Согрели вы душу мою, жизнь мне вернули.

— Ну и ладно, милай. Езжай домой и спи спокойно...

5

Утром Протопопову позвонил Нератов и сообщил: в четыре часа пополудни отходит поезд, в котором ему следует отбыть в Главную Ставку...

Когда дежурный адъютант ввел Протопопова в кабинет царя и оставил там его одного, у него возникло ощущение неправдоподобности происходящего. Он стал рассматривать голые стены, рисунок обоев, изразцы на голландской печке. И вдруг увидел царя, который вошел неслышно и уже стоял возле резного стола.

Протопопов замер, опустив руки по швам.

— Здравствуйте, Александр Дмитриевич,— мягко сказал Николай, приглашая его сесть в кресло перед столом и садясь сам.

— Прибыл по вашему высочайшему повелению,— продолжая стоять, глухим голосом произнес Протопопов.

— Садитесь... Садитесь...— Царь внимательно и добро смотрел на него. Потом сказал:— Я хотел услышать о вашей поездке в Англию, то, чего не было в прессе. Как выглядит Англия?

— Будто никакой войны, ваше величество, нет на свете,— ответил Протопопов.— У них же идти в армию уговаривают, многие отказываются, заявляют: не хочу воевать, и все. А меж тем в их парламенте два депутата, Сноуден и Тревелайан, в открытую выступили, что надо вступать в мирные переговоры с Германией... И вообще, ваше величество, они не столько воюют, как говорят про войну...

Царь усмехнулся в густую бородку:

— Недавно английский посол показывал мне их воззвания к бережливости, которые развешиваются у них на стенах... что новая дамская шляпка — это четыре стальных шлема для солдат, меховое манто — пулемет, бриллиантовое колье — пушка, а личный автомобиль — целый аэроплан...

— Ваше величество, живут они беспечно... я посетил их дерби, боже мой... И поэтому никто там просто не может себе представить, что означает эта война для нас.

— Вы знаете, я тоже не раз думал об этом, читая некоторые английские документы или слушая того же английского посла сэра Джорджа Бьюкенена,— доверительно поделился царь.

— Ваше величество, позвольте мне быть откровенным хотя бы перед вами?— спросил Протопопов. Ощущения неправдоподобности не было, и мозг его работал отлично.— Вы знаете о войне все, потому что вы все время на фронте, рядом со своим солдатом, но знают ли о ней наши государственные мужи? Наши, ваше величество! Когда я думаю, почему иные из них вроде Сазонова возражали против вашего решения взять на себя ведение войны,

я спрашивал себя, а не боятся ли они, что вы, ваше величество, на этом посту займете такую высоту, с которой вам станет хорошо видно их нерадение?..— Протопопов счел необходимым для себя напомнить царю, что именно Сазонов в свое время был организатором письма группы министров против решения царя стать главнокомандующим...

Царь внимательно смотрел на Протопопова, и тому показалось, что он не понял смысла его слов.

— Допускаю, что вы правы...— тихо и задумчиво произнес он и спросил:— Ну а как все же англичане?

— Скажу, ваше величество, что меня больше всего поразило... возмутило...— Протопопову стало легко и просто говорить, и он продолжил:— Они думают, что мы какие-то дикари, едим сырое мясо и спим на деревьях.

Царь закачался всем телом, Протопопов не сразу понял, что это он так смеялся — беззвучно, но всем телом.

— Какие только вопросы они не задавали нам! — тихо засмеялся и Протопопов.— Один спрашивает у меня, почему все наши политики носят бороды? Знаете, ваше величество, как я ответил? Сказал — спросите об этом вашего короля, который носит такую же бороду, как и наш государь.

— Метко. Очень метко,— похвалил царь, не переставая смеяться. И сказал:— Я прошу вас, господин Протопопов, не покидая Ставки, подробно написать о своем разговоре в Стокгольме, мне все нужно знать абсолютно точно.

— Понимаю, ваше величество, и сделаю это с полной ответственностью, с большим удовольствием.

— Как вы относитесь к Штюрмеру?— вдруг спросил царь.

— С самым глубоким уважением, ваше величество.

— Ну а что вы думаете о месте и роли Государственной думы сегодня?

— Очень трудный вопрос, ваше величество, ибо Дума — это форменный Ноев ковчег. Надо сделать все, чтобы чистые получили возможность одолеть нечистых, и тогда Дума станет Думой народа, а не ареной для крикунов.

— Верно, очень верно,— согласился царь.— Но создается впечатление, что нечистых там больше.

Протопопов ответил не сразу. Подумал.

— Ваше величество,— начал он несколько неуверенно.— Среди нечистых много таких, которые стали нечистыми из моды ко всяческой фронде. Или из тяготения к газетной славе. Ведь кем-то злоумышленно создана атмосфера, в которой если ты истый патриот России, то ты непременно плохой человек. Не надо ли начинать, ваше величество, с этой самой атмосферы? Заткнуть рот газетам, создать всеобщее презрение вокруг крикунов и ниспровергателей. Ведь тогда все они предстанут перед взором России голыми королями без роду и племени. Их перестанут слушать. Атмосфера, ваше величество, создается людьми, а не возникает сама по себе.

— Я думал об этом,— многозначительно произнес царь.

— Это так, ваше величество. Именно так, уверяю вас!

— Что вы думаете о господине Родзянко?— спросил царь.

Протопопов лихорадочно обдумывал, что́ стоит за вопросом и какого ответа ждет царь.

— Сложная фигура, ваше величество,— наконец ответил он, смотря в серые неуловимые глаза Николая, пытаясь заметить в них хоть какой-нибудь знак.— У меня отношения с ним все больше портятся.

— А он рекомендовал мне вас на пост министра торговли,— сказал царь.

— Не может этого быть!— бестактно вырвалось у Протопопова.

— Уверяю вас...— Царь улыбнулся совсем по-домашнему и наклонил голову в знак прощания...

Протопопова провели в кабинет, где он сел писать докладную записку о Стокгольме...

На другой день 20 июля 1916 года, царь писал жене в Царское Село: «Вчера я видел человека, который мне очень понравился,— Протопопов, товарищ председателя Думы,— он ездил за границу с другими членами Думы и рассказал мне много интересного. Он бывший офицер конно-гренадерского полка, и Максимович [1] хорошо его знает...»

Когда царица читала это письмо, она уже знала о Протопопове, ей о нем рассказали Вырубова и Распутин... «Золотой человек, редкий по святости,— сказал о нем Распутин.— Вот бы кто мог быть настоящим министром внутренних дел, а Хвостов недостоин ботинки ему чистить...»

Остается только добавить, что спустя несколько дней Протопопов стал министром внутренних дел...

6

На третий день после назначения Протопопов испросил аудиенцию у царицы и получил августейшее приглашение прибыть в Царское Село.

Солнечный его праздник продолжался... Автомобиль — его персональный автомобиль!— на мягких своих подушках стремительно нес его к царице, и это было похоже, как бывает с ним в припадке, когда его подхватывает теплая волна. Но сейчас был не припадок, сейчас начиналась его новая жизнь. Признаться, такого поворота судьбы он не ждал и даже не хотел. Ему снилась только необыкновенная популярность. Богатство? Его немалый капитал был удачно вложен в промышленность и разрастался уже как бы сам по себе, не требуя для этого особых его усилий. А хотелось, страстно хотелось популярности. Это привело его в Думу.

---

[1] Генерал свиты.

Снискать там популярность можно было только сенсационными речами, но для этого у него не хватало лоска, образованности, эрудиции, смелости. Кроме того, он не хотел никого обличать или, не дай бог, свергать. Но в Думе, однако, пригодилась его независимость богатого человека, председатель Думы Родзянко назвал его своим заместителем, и он получил место за председательским столом, прямо под портретом царя, изображенного в полный рост при парадной форме. А затем последовала Англия, где он впервые узнал, что такое настоящая популярность — каждый день в газетах твой портрет, твои высказывания. В Стокгольме ему примерещилась роль миротворца...

Протопопов самодовольно покачивался на подушках автомобиля, посматривая на проносившуюся мимо зеленую равнину... Профессор Бехтерев, безнадежно лечивший его от неурядиц с мозгом, говорил, что он удивлял его способностью проявлять себя одновременно и ограниченным и мыслящим, причем во время обострения болезни он чаще преображался в лучшую сторону...

Автомобиль проехал под колоннадной аркой Александровского дворца, остановился перед подъездом...

Камердинер сразу же провел его в кабинет царя. Последнее время Александра Федоровна принимала всех только здесь, как бы подчеркивая этим, что она в Царском Селе занимается делами своего венценосного мужа. Увидев царицу, Протопопов согнулся в поклоне.

Придерживая рукою длинное белое платье, царица спустилась по лестнице с антресолей и направилась к Протопопову, который продолжал стоять, склонившись так низко, что не мог видеть ее приближения.

Она прикоснулась к его плечу, он резко выпрямился:

— Ваше величество,— начал он осевшим голосом...

— Здравствуйте, Александр Дмитриевич,— она, улыбаясь, протянула ему руку.

Протопопов обеими руками бережно взял ее белую холодную руку и, согнувшись, невесомо коснулся губами. Выпрямился и вдруг прорезавшимся голосом сказал:

— Здравствуйте, ваше величество, всем на счастье!

— Садитесь, Александр Дмитриевич. Очень хорошо, что вы приехали...

Она села на изогнутый, обитый синим сафьяном диванчик, а ему показала на мягкий стул около овального столика.

— Мы наслышаны о вас,— сказала она с неподвижной улыбкой на белом лице.— Я вас представляла себе...

— Моложе и симпатичнее?— неуместно серьезно спросил Протопопов и, видя ее смущение, сам ответил:— Это моя беда, ваше величество, я всегда говорю то, что думаю!— Минуту назад начавшийся было озноб прошел, и он чувствовал себя все более уверенно.— А по поводу моего возраста обманываются многие. Обманывает моя энергия, ваше величество, я это знаю.

— Так мало стало вокруг энергичных людей,— печально сказала она.

— Позволю себе, ваше величество, возразить. Они есть! Есть! Только их оттеснили.

— Кто?— заинтересованно спросила она.

— Как раз те, кто и мешает вам их увидеть,— извернулся Протопопов.

Царица сказала:

— Анна Александровна говорит, что у вас много врагов.

— Это естественно, ваше величество!— радостно воскликнул Протопопов.— Когда мне о каком-нибудь деятеле говорят, что у него нет врагов, я смотрю на такого подозрительно. Ведь что это может означать? Что деятель этот не совершил для России и двора ничего ни хорошего, ни плохого. Он, извините меня, как сухая трава: ни коню корм, ни человеку подстилка.

Императрица рассмеялась. Протопопов нравился ей все больше.

— Но я уверен,— оживленно продолжал он,— что среди моих врагов не может быть ни одного, кто был бы истинно предан России и русской монархии.

Царица вспомнила, что первым среди врагов этого человека Вырубова назвала Сазонова. Ну конечно же, он не мог не быть врагом этого искреннего человека, потому что Сазонов холоден ко двору.

— Вас обвиняют, что вы совершили ошибочный поступок в Стокгольме,— неожиданно с сочувствием сказала она.

— Если и были допущены мною ошибки...— неторопливо начал он...— то только по причине моей бескрайней любви и верности отчизне и вам.

— Как это так?— приподняла узенькие брови царица.

— Очень просто, ваше величество, позволите ли вы мне говорить откровенно?

— Я прошу вас об этом.

— Кровавая рана, нанесенная войной России,— это моя рана. Мое сердце обливается кровью, днем и ночью я думаю, все ли делается, чтобы русская кровь перестала литься рекой, все ли делается, чтобы наступило достойное искупление этой крови? Я и раньше не любил Сазонова и не верил ему, а побывав в Англии, я в этом своем чувстве особенно укрепился. Я увидел, что в Англии просто не понимают и даже не осведомлены о том, что мы уже отдали этой войне. Сазонов, вместо того чтобы не уставая напоминать им о нашем великом и страшном вкладе в войну, бесплодно плел дипломатические кружева по поводу Дарданелл или будущего Польши. А у меня сердце болит о будущем России, и только об этом, ваше величество.— Протопопов так разошелся, что, забыв о неуместности жестикуляции в такой беседе, то и дело решительно взмахивал рукой.

— Клянусь вам здоровьем и счастьем всей моей семьи, своей любовью к России и трону, что я ни словом, ни даже жестом ниче-

го не сделал против России, я просто не мог этого сделать, не мог,— взволнованным шепотом произнес он.

— Меня особенно радует, что у вас есть взаимопонимание с Григорием Ефимовичем,— сказала царица.

— Как со всеми истинно русскими!

— На него клевещут,— тихо сказала царица.

— Ваше величество! Я сделаю все! Так я понимаю свою обязанность министра внутренних дел. Я только умоляю вас — не оставьте меня без вашей августейшей поддержки и совета. Разрешите мне при ощущении жажды прикасаться к источнику вашего государственного ума.

— Ради бога, Александр Дмитриевич, ради бога,— растроганно сказала царица...

В эту минуту Протопопов был уверен, что ни черт, ни дьявол ему не страшен.

Возвращаясь из Царского Села, он заехал в Казанский собор и там один, в пустом храме, сотворил благодарную молитву богу...

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

1

Над Петроградом замер теплый и тихий июльский полдень. Даже серая гранитная Нева, словно потеплев, расправила свои вечные морщины и стеклянно отражала стоящие на набережной дворцы и особняки. Бьюкенен всегда просил шофера ехать по набережной медленней. Вот и сейчас он любовался невской панорамой, словно врезанной в блекло-голубое небо. Распластанная на том берегу громада Петропавловской крепости с ее бастионами, башнями, шпилями, а чуть правей и дальше всплывают голубые купола мечети. А на этом берегу — парад дворцов. Зимний с его легкими линиями, будто нарисованный летучей кистью в две краски,— главная резиденция царя, ныне почти им забытая, а еще совсем недавно Бьюкенен бывал здесь на пышных приемах... За окном автомобиля как кружевная лента — ограда Летнего сада, за которой в зеленой тени беломраморные боги... А потом дворец за дворцом, и на каждый гляди — не наглядишься. Вдруг Бьюкенен впервые подумал, что его посольству отведен самый невзрачный...

На душе у английского посла тягостно и тревожно, все идет не так, как хотелось, как ждалось. У него такое ощущение, будто и он и его посольство работают впустую, а в это время в Петрограде происходят одно за другим события, враждебные Англии. И все выше поднимают голову пронемецкие силы, и все это совсем не случайно и тесно взаимосвязано. А люди государственной власти, кроме разве одного Сазонова, не видят или не хотят этого видеть. Даже царь, который всегда ему верил, на последней аудиенции

сказал ему, что чрезвычайно нежелательно искусственно создавать атмосферу недоверия.

Сейчас Бьюкенен возвращался с островов, где он должен был встретиться с великим князем Николаем Михайловичем. Князь позвонил ему в воскресенье и сообщил, что в среду яхт-клуб устраивает на островах смотр яхт и что он будет рад показать ему свою яхту, построенную в Швеции.

Последнее время они встречались все реже, и Бьюкенен понимал, в чем дело: очевидно, великий князь узнал, что царица стала относиться к Бьюкенену резко отрицательно, и решил лишний раз не рисковать. В данном же случае великий князь, по-видимому, умышленно решил встретиться на глазах у всех, чтобы подчеркнуть, что ничего тайного в их знакомстве нет... Еще год назад в их отношениях ничего подобного не могло быть.

По дороге на острова, видя очереди у продовольственных магазинов, и потом там, на островах, проезжая мимо растянувшейся возле дороги вереницы автомобилей и карет, ожидавших своих хозяев, Бьюкенен думал о непостижимой бестактности русской знати, не понимающей, как она выглядит в глазах простых людей. Вот и сегодня совсем не ко времени придуман этот яхт-праздник...

На площадке возле причалов для яхт толпились гости. Дамы в шикарных прогулочных нарядах, широкополых кружевных шляпах, мужчины в летних светлых визитках, шляпах-канотье и с непременным черным зонтиком, как с тростью. «Английская мода — хоть что-нибудь во имя союзничества»,— горько усмехнулся Бьюкенен...

Яхт-клуб был узкокастовым заведением высшей аристократии, объединявшим лиц «голубой крови» и избранной судьбы. Открытые мероприятия клуба неизменно собирали особую публику. Сюда тянулись и люди богатые, но не имеющие знатного происхождения, и безденежные аристократы со звонкими именами и званиями. И тем и другим присутствие здесь давало право потом, в своем кругу, рассказывать о яхт-клубе и о том, кого они там видели, были, так сказать, вместе с ними... Боже, зачем им это сейчас?

Все же кто-то сообразил — смотр яхт отменили. Публика начала разъезжаться. Великий князь Николай Михайлович, очевидно, об отмене смотра знал заранее и не приехал.

Бьюкенен отправился домой. Насладившись невской панорамой, он совсем было успокоился, но ненадолго. У подъезда посольства его встретил секретарь, который, открывая перед ним дверь, шепнул:

— В приемной вас ждет господин Нератов...

«Что-то случилось»,— подумал посол и, приглаживая свои волнистые волосы, заторопился по лестнице на второй этаж... Вспомнил, что автомобиля Нератова у подъезда не было, значит, он пришел пешком, делал он это, только когда хотел подчеркнуть неофициальный характер посещения посольства.

Из просторной, но казенно неуютной приемной они прошли в кабинет Бьюкенена и уселись в глубокие кресла возле холодного камина, закрытого бронзовой решеткой. Бьюкенен, не скрывая тревоги, смотрел в сухое, бесстрастное лицо Нератова и ждал...

— Уезжая в отпуск, Сергей Дмитриевич просил меня в случае, того заслуживающем, связываться с вами и господином Палеологом,— начал Нератов, как всегда, негромким голосом.— Но господин Палеолог уехал в Сестрорецк на открытие госпиталя, и когда вернется, неизвестно. А дело не терпит...

Бьюкенен машинально, точно ожидая удара, прикрыл свои большие глаза.

Выждав немного, Нератов сказал:

— Я располагаю сведениями о скорой отставке Сергея Дмитриевича Сазонова. Это может произойти еще до его возвращения из отпуска.

Красивое мужественное лицо Бьюкенена исказила гримаса боли.

— Не может этого быть...— тихо сказал он. То, что он сейчас услышал, не просто неприятность, к которым он последнее время привык. Это несчастье, размер и последствия которого сейчас невозможно осмыслить.

— Сведения точные?— машинально спросил он.

— Абсолютно. Мой человек видел уже отпечатанное письмо государя Сергею Дмитриевичу... Отмечаются его большие заслуги, а затем по состоянию здоровья... крайнее переутомление... и так далее. Отставка и включение в государственный совет. Завтра это письмо дадут на подпись...

Бьюкенен встал и, быстро переступая крепкими ногами, стал ходить по кабинету. Несчастье вырастало перед ним во весь свой рост. Если говорить все до конца, он терял абсолютно надежную и абсолютно незаменимую опору во всем, что было связано с международной политикой России.

Бьюкенен остановился, вопросительно глядя на Нератова:

— Какой истинный повод?

— Здоровье...

— Какое, к черту, здоровье? Сергей Дмитриевич здоровее всех министров.

— Однако здоровье,— устало повторил Нератов.

Бьюкенен тяжело опустился в кресло, низко склонил седую голову.

Длинную, томительную паузу методично, по секундам отсчитывал маятник больших часов.

— Остановить это можно?— спросил Бьюкенен.

— Кто это может сделать? Вы же понимаете, это идет от царицы.

— А если я... Палеолог... На правах послов союзных держав... обратимся непосредственно к его величеству?— Бьюкенен решительно встал, точно он собрался сейчас же отправиться к царю.— Ведь Сазонов не просто еще один министр. С ним связано все, что

касается нашего союзничества. В Лондоне это встретят... нет, я даже не могу себе представить, какое впечатление это произведет у нас... Я и Палеолог незамедлительно обратимся к царю и скажем ему все, что думаем об этом.

— А это не вмешательство во внутренние дела?— предостерег Нератов.

— Какие внутренние? Это дело всей Антанты!— Бьюкенен встал и сказал решительно:— Сделаем так: завтра утром мы с Палеологом придем к вам. Повод неважен. Я ничего не знаю, вы нам обоим сообщаете эту новость, и мы действуем...

— И вы сошлетесь на меня?— спросил Нератов.— Тогда вам придется заботиться и обо мне.

— Источник не назовем...

Проводив Нератова, Бьюкенен вызвал шифровальщика и продиктовал ему телеграмму в Лондон, в которой он испрашивал разрешения на предпринимаемый им шаг. Прекрасно зная, что к утру ответа не будет, Бьюкенен делал это, только чтобы перестраховаться. Затем он написал текст телеграммы царю...

«Ваше величество всегда разрешали мне говорить столь откровенно обо всех вопросах, которые могут оказать прямое или косвенное влияние на успешный ход войны и на заключение мирного договора, который обеспечил бы мир от возобновления войны на будущие годы, что осмеливаюсь почтительнейше обратиться к вашему величеству по вопросу, который, как я опасаюсь, может в момент, подобный настоящему, значительно усилить трудности, стоящие перед союзными правительствами. Поступая таким образом, я действую всецело по своей собственной инициативе и под своей ответственностью, и я должен умолять ваше величество простить меня за шаг, который, я знаю это, противен всякому дипломатическому этикету».

Эту вступительную часть телеграммы Бьюкенен писал долго — перечеркивал написанное, писал заново, заплетая в текст вводные предложения. Царь должен почувствовать и его почтительность, и его тревогу... Дальнейшая часть телеграммы писалась легко и ясно, даже упрощенно — Бьюкенен знал, что русский монарх туговат на восприятие написанного и оттого предпочитает, чтобы министры делали ему доклады устно.

Вот что было далее в телеграмме:

«До меня доходят упорные слухи, что ваше величество намерены отставить г. Сазонова от обязанностей министра иностранных дел вашего величества, и, так как для меня невозможно просить аудиенции, то я осмеливаюсь просить ваше величество перед принятием вашего окончательного решения взвесить серьезные последствия, которые может иметь отставка г. Сазонова для важных переговоров, происходящих в настоящее время с Румынией, и для еще более настоятельных вопросов, которые будут возникать по мере продолжения войны.

Г. Сазонов и я работали совместно в течение почти 6 лет над установлением тесной связи между нашими странами, и я всегда

рассчитывал на его поддержку в деле превращения союза, скрепленного настоящей войной, в постоянный. Я не могу преувеличить услуг, оказанных им делу союзного правительства тактом и искусством, проявленными им в очень трудных делах, которые мы должны были осуществить со времени начала войны. Равным образом я не могу скрыть от вашего величества тех опасений, которые я чувствую, теряя в нем сотрудника в работе, которая нам еще предстоит. Разумеется, я могу совершенно заблуждаться, и, быть может, г. Сазонов уходит ввиду нездоровья, в этом случае я тем более буду сожалеть о причине его ухода.

Я еще раз просил бы ваше величество простить меня за настоящее личное к вам обращение...»

Эта телеграмма была немедленно зашифрована и отправлена в Ставку начальнику английской военной миссии при Ставке генералу Генбери Вильямсу с тем, чтобы тот доложил ее царю. Непосредственно монарху завтра будет послана их совместная с Палеологом телеграмма.

Утром Бьюкенен получил две шифрограммы. Одна от генерала Вильямса, который сообщал, что телеграфное послание уже передано по назначению и он надеется на успех. Вторая телеграмма пришла из Лондона, от министра иностранных дел сэра Эдуарда Грея. В ней говорилось:

«Ваш поступок вполне заслуживает одобрения. Я благодарен, ваше превосходительство, за то, что вы столь быстро предприняли этот шаг...»

Бьюкенен спрятал шифрограмму в сейф, произнес вслух:

— Теперь все в руках божьих...— И подумал: «Россия сделает меня религиозным человеком...»

Но бог не мог помочь английскому послу...

Генерал Вильямс явно поторопился заверить его в успехе. Делом этим занимались царица, Распутин и премьер Штюрмер, и никакой бог противостоять им не мог...

Любопытно, что телеграмма Бьюкенена царю о Сазонове вскоре таинственным образом попала в руки немецкой разведки. Поднятый в немецкой и европейской печати шум по поводу бесцеремонного вмешательства англичан во внутренние и даже государственные дела России впоследствии доставил Бьюкенену дополнительные неприятности...

2

Спустя три дня после отправления телеграммы послов царю Сазонов, уже получивший отставку и примчавшийся из Финляндии в Петроград, сидел утром в кабинете посла Франции Мориса Палеолога во французском посольстве. Как всегда, безукоризненно и строго одетый, спокойный и ироничный, он делал вид, будто рад случившемуся. Но темно-синий костюм подчеркивал меловую бледность его до блеска выбритого лица, его удлиненные глаза,

всегда строго сосредоточенные, сейчас выражали и смятение и злость. Совсем не случайно он был сейчас не у Бьюкенена, с которым был связан гораздо крепче. Не зная о том, что Бьюкенен на двенадцать часов раньше послал свою телеграмму царю, Сазонов считал, что его английский друг не сделал для него все, что мог, и, кроме всего, упустил время. Общую телеграмму двух послов он считал запоздалым шагом...

— Я подавлен... Париж растерян и все еще не верит...— говорил Палеолог.— Одно из двух: или они...— Смуглое веко его черного, увеличенного моноклем глаза мелко дрожало...

— Вы преувеличиваете значение этого факта,— сказал Сазонов, не желая, чтобы его собеседник углублялся в эту тему.— Тут нет политики. Только личное. Только, мосье Палеолог. Мне не простили протест против того, что государь взял на себя фронт.

Посол, отвергая эту мысль, повел своей массивной головой:

— Нет, Сергей Дмитриевич, то вам простили. Кому не простили, те ушли давно.

— Очевидно, наша с Барком очередь наступила теперь. Лучше поздно, чем никогда,— мягко улыбнулся Сазонов.

— Барк и вы — это финансы и дипломатия — два краеугольных камня, здесь замены, особенно сейчас, чрезвычайно опасны,— говоря, Палеолог нервно курил длинную папиросу, стряхивая пепел в бронзовую пепельницу.

— А лично я счастлив, ибо ухожу от дел, которые вели меня на эшафот, вы, я уверен, понимаете меня,— Сазонов снова улыбнулся уголками сжатого рта, но он отлично знал, что означает его уход для союзников, и сейчас ему доставляло удовольствие наблюдать тяжкое огорчение француза.

— Вы не из тех русских, кто легко может уйти от России,— возразил Палеолог.

— Но я даже не знаю, когда я ближе к России — когда был в составе нынешнего правительства или сейчас? Пожалуй, сейчас. Подумайте, мосье Палеолог,— на лице Сазонова такое выражение, будто он действительно не знает этого.

— Я понимаю... понимаю... Но когда вы были на посту, вы все делали во имя России.

— Не уверен!— с шутливым вызовом ответил Сазонов.— Не уверен, господин посол. Не делать России плохого еще не значит делать ей хорошее. Кажется, у вас есть пословица «Не воровать — это еще не значит быть честным».

— Послушайте, Сергей Дмитриевич, нам сейчас не до пословиц, давайте говорить серьезно...— Палеолог бросил папиросу в пепельницу и встал:— Речь идет о вызове союзникам. То, что ваше министерство передано Штюрмеру, не нуждается в анализе. Все на поверхности. И радоваться этому могут только в Германии.

Сазонов долго молчал, и в эти минуты его бесстрастное лицо точно окаменело — зубы стиснуты, у висков вспухли желваки. Но вот он точно сбросил с себя оцепенение и сказал:

— В России Штюрмера и Протопопова вас ждут сюрпризы покрупнее моей отставки.

— Но... есть еще царь...— неуверенно произнес Палеолог.

— Я знаю о вашем протесте,— продолжал Сазонов равнодушно.— По существу, это был протест двух великих держав, союзников России в страшной войне. Ну и что это дало?

— Я уверен, наши правительства сделают решительный демарш...

— И это будет похоже на суету врачей возле умершего,— в том же тоне продолжал Сазонов.— Настроения в окопах — вот что единственное может остановить наших фокусников. Только это. Изверившись во всем, солдаты оставят фронт, этот серый девятый вал ринется в глубь страны и сметет все... и фокусников в том числе. Кто-кто, а вы, французы, знаете, что такое революция и как она делается.

Палеолог вспомнил в эту минуту свою недавнюю встречу с промышленником Путиловым и его рассказ о катастрофически опасной пропаганде, ведущейся среди рабочих и в солдатских казармах... «Неужели революция?— подумал он.— И не та, дворцовая, о какой болтают в великосветских салонах, а та, страшная, которая казнит монархов на площадях...»

— Вы имеете в виду возможность революции?— спросил он.

— Да, да, и причем ту, которую Ленин прокламирует из-за границы, а наши господа большевики делают ее на фабриках и в окопах энергично,— ответил Сазонов и, вставая, сказал:— Но у меня, если хотите знать, приятное состояние — будто я соскочил с поезда, который мчится в пропасть. До свидания, дорогой друг...

Впоследствии Палеолог в отличие от Бьюкенена еще раз запишет в свой дневник мысли и сведения о грозящей России революции. Однажды такая запись была довольно длинной — о том, как в Петрограде представители французского завода «Рено» стали свидетелями вооруженной схватки рабочих с жандармами... И как премьер России утешил его, сказав, что расправа с бунтовщиками будет беспощадной. Это настолько успокоило посла, что он сразу же, что называется без паузы, записал в дневник болтовню за ужином госпожи Нарышкиной о том, почему в великосветском Петрограде так много бракоразводных сенсаций...

3

Как только Сазонов вышел из французского посольства, филер полиции, стоявший в нише соседнего дома, неторопливо пошел вслед за ним. На углу он передал Сазонова другому филеру, а сам зашел в ближайший полицейский участок и позвонил в свое министерство:

— Сергей вышел из французского дома в одиннадцать двадцать...

Спустя несколько минут это донесение филера уже было доложено министру внутренних дел Протопопову, и тот немедленно соединился по прямому телефону с премьером Штюрмером:

— Борис Владимирович, наш друг только что, видать, попрощался со своими французскими друзьями.

— Французскими?— удивленно переспросил Штюрмер.

— Да, как это ни странно. Скоро я буду знать, куда он теперь проследовал...

— Было ли это только прощание?

— Боже мой, Борис Владимирович, а что он теперь может сделать — член государственного совета, у которого за спиной, кроме спинки кресла, ничего нет?

— Он для нас опаснейший человек,— сказал Штюрмер.— А в сочетании с Бьюкененом вдвойне. Помните об этом...

— Не беспокойтесь, Борис Владимирович, в моих возможностях знать каждый его шаг...

Протопопов испытывал счастье от появившейся у него возможности знать все о любом человеке. Он передал начальнику департамента полиции список тридцати восьми лиц, особо интересовавших его, приказал на каждого завести наблюдательное дело и потом каждое утро начинал с того, что знакомился с данными агентурной слежки и перлюстрированными письмами. Добрая половина занесенных в список была названа ему царицей, поэтому он немедленно докладывал ей о результатах наблюдения. В Царское Село он ездил почти каждый день и видел, с каким жадным интересом слушала царица его доклады по списку.

— Как это прекрасно — знать все,— сказала она однажды, смотря на своего министра расширенными голубыми глазами.— Они у вас как под увеличительным стеклом.

— А как же иначе, ваше величество!— мягко отозвался Протопопов и показал на лежавшую перед ним папку с донесениями.— Все здесь. В том-то и была беда, ваше величество, что до меня в этом министерстве следили за кем угодно, но не за теми, кто является врагами трона и обожаемой мною августейшей семьи вашей.

— Все нас обманывали, это ужасно... ужасно,— печально произнесла царица, и вдруг голос ее стал напряженно звенящим:— Этот негодяй Хвостов вот здесь клялся переловить всех немецких шпионов, клялся мне в верности до гроба и поднял руку на нашего Друга!.. Барк — вот еще кого надо под стекло! Мы забыли о нем! Под стекло!

— Да, ваше величество! Непременно! Он здесь.— Протопопов показал на папку:— Получите полное его отражение. Не беспокойтесь, мы его спеленаем. Между прочим, Барк в Лондоне говорил мне — до чего, мол, дошла Россия: клянчит деньги у англичан.

— Ну видите? Видите? — Голубые глаза царицы сверкали.— Значит, это мы Россию до этого довели? Так? Да?

— Именно это и было за его словами, ваше величество. А сам перед теми англичанами на коленочках — шарк, шарк. Смотреть гадко.

— А еще Гучков! — вспомнила царица. — Он нас просто ненавидит. Я это знаю!

— Отъявленный мерзавец, ваше величество! Я его из-под стекла на минуту не выпущу...

Царица помолчала, глядя в пространство расширенными глазами, и сказала тихо и торжественно:

— Я спасу Россию... Так говорит наш Друг. Это божья воля... Я спасу Россию... — Она повернулась к своему верному министру. — Александр Дмитриевич, не оставьте меня без вашей поддержки...

— Как вы можете так думать, ваше величество! Да для меня сие божья воля. Я умру у ваших ног, ваше величество!.. — заключил он шепотом и закрыл глаза...

4

Переговоры Протопопова в Стокгольме сильно встревожили Лондон. В течение недели Бьюкенен получил три запроса — как на это реагирует русский самодержец? Все попытки получить об этом информацию окольными путями ничего не дали. Царь в Ставке. Был слух, что к нему ездил Протопопов, но никто не знает зачем, другие же сомневаются, что такая поездка могла быть... Великий князь Николай Михайлович спросил об этом императрицу, но она сделала крайне удивленное лицо и... промолчала.

Бьюкенен запросил у своего министра иностранных дел, можно ли добиваться аудиенции у царя специально по этому вопросу, и получил ответ, что пока делать такой шаг рано, это может создать у него впечатление, будто в Англии верят слухам, а не ему.

И вдруг в конце дня телефонный звонок из канцелярии Штюрмера — его величество ждет английского посла завтра в 11 часов утра в Царском Селе. Это сработало его давнее прошение об аудиенции, с которым Бьюкенен обращался еще в прошлый приезд царя из Ставки.

Царь принял его в присутствии царицы. Оба встретили его официально, холодно. Царь с отсутствующим лицом сидел за письменным столом, его бесцветные глаза, утонувшие под опухшими веками, как и вся его фигура, ничего, кроме усталости, не выражали. Бьюкенен впервые заметил на его щеках резко обозначившуюся сетку склеротических жилок. Сидевшая поодаль на диванчике Александра Федоровна, красивая, в светлом платье и накинутой на плечи белой шали, настороженно и недобро смотрела на посла, ее руки, лежавшие на коленях, вздрагивали.

Боже, как непостижимо далеко было время в этом кабинете, когда царь, приветливо его встретив, начинал расспрашивать о его семье, рассказывал трогательные истории о своих девочках, о проказах наследника и потом сам собой завязывался взаимно доверительный серьезный разговор о политике, о государственных делах, когда царь интересовался его мнением и по вопросам, никак не входившим в прерогативы посла... Сейчас в этом залитом солнцем уютном кабинете Бьюкенен ощущал холодную враждебность.

Образовалась мучительная для Бьюкенена пауза, а царь, как было положено, разговора не начинал. Царица шевельнула рукой, и бриллиант на ее перстне холодно сверкнул.

— Знает ли Англия о наших успехах на юге?— спросил наконец царь тихим голосом по-английски.

— О ваше величество! Мне приятно сказать, что успех русских войск на юге играет огромную роль в нашем общем деле,— начал Бьюкенен, но его остановил резкий голос царицы:

— Однако это не мешает английским газетам писать об этом успехе с оскорбительными оговорками.

— Ваше величество,— повернулся к ней Бьюкенен с легким поклоном,— смею вас заверить, что в Англии этот успех никто сомнению не подвергает.

— Еще бы и это...— обронила царица и стала расправлять платье на коленях.

— Так или иначе общими усилиями война идет к ее логическому концу, предрешенному нашими общими планами,— примирительно сказал Николай.

— Конечно! Конечно!— радостно согласился Бьюкенен.— И перестать верить в это было бы преступлением перед человечеством и прежде всего перед нашими народами.

Царица подошла к мужу.

— Я оставлю вас... мне нужно ехать в лазарет.

Царь встал и молча поцеловал ей руку. Бьюкенен тоже встал, низко ей поклонился и сказал проникновенно:

— Ваша забота о раненых, ваше величество, восхищает Англию.

Царица еле заметно кивнула, шурша платьем, поднялась по лестнице на антресоли и скрылась там за дверью в углу.

— Что вы думаете, ваше величество, по поводу послевоенных границ России?— спросил Бьюкенен, присев на край кресла.

Царь взглянул на него и снова уставился в стол, долго молчал и наконец сказал глухим голосом:

— Преждевременно говорить об этом...

— В Лондоне вызвал не столько интерес, как любопытство зондаж на этот счет со стороны Германии, произведенный в якобы имевших место переговорах господина Протопопова в Стокгольме?

Николай спокойно ответил, что не может припомнить, о чем там шла речь, и что вообще это не имеет никакого значения...

Поскольку царь сегодня спокоен, Бьюкенен решается начать разговор о внутреннем положении в России. Конечно, это внут-

реннее дело государства, которое не входит в прерогативы посла, но разве раньше они не разговаривали об этом? И разве царь не благодарил его потом за искреннее его стремление помочь ему своими советами? Вот и сейчас он просто делится с государем своими впечатлениями по поводу перебоев в снабжении продовольствием и выражает возмущение теми, кто хочет воспользоваться подобными внутренними трудностями для своих политических целей.

Царь слушал его с таким ничего не выражающим лицом, что Бьюкенен сказал встревоженно:

— Ваше величество, все это весьма серьезно. Отсутствие хорошей организации этого дела бьет по производителям продовольствия. Вы теряете веру у крестьян вследствие нераспорядительности ваших министров, не умеющих организовать закупку и вывоз необходимого продовольствия.

Царь ответил спокойно:

— Я уверен, что мои министры с этим справятся.

Снова выяснено очень важное: царь не знает истинного положения с продовольствием. Иначе он так не ответил бы...

И вдруг царь добавляет:

— Особые надежды я возлагаю на нового министра внутренних дел Протопопова...

У Бьюкенена чуть не вырвалось: «Не может быть!» — но в следующее мгновение царь сказал:

— Сейчас очень важно, чтобы наши союзные державы были правильно информированы о нас и наших делах...

И хотя царь сказал это вяло, без выражения, Бьюкенен решил ответить:

— Все время, что я в России, ваше величество, я считаю это своим священным долгом и обязанностью.— В его ответе было и согласие с мыслью царя, и решительное отклонение каких бы то ни было претензий на этот счет к нему.

— Я верю,— произнес царь и встал...

Вышедшего из дворца Бьюкенена раздражало все: и этот распахнувшийся перед ним безмятежный летний день с птичьим гомоном в дворцовом парке, и то, что его шофер замешкался подъехать к подъезду, и то, что в автомобиле на сиденье лежал его зонтик, и то, что, выезжая из Царского Села, пришлось стоять, пропуская эскадрон конногвардейцев...

Но что же дала аудиенция? Самое невероятное, что вызовет шок в Лондоне,— назначение стокгольмского героя министром внутренних дел. И еще полная ясность — на прежних его отношениях с царем поставлен крест. А его слова о важности правильного информирования союзников могут означать для Бьюкенена очень многое, вплоть до отзыва его из России.

Бьюкенен видит из автомобиля так хорошо знакомую ему дорогу — неужели он едет по ней последний раз?..

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

1

Дела, события гнали Бьюкенена дальше, дальше, и однажды бывший министр иностранных дел Сазонов запишет в дневник такое признание Бьюкенена: «Я все чаще ощущаю себя теряющей силы лошадью, загнанной сумасшедшим всадником, имя которому история...»

Лондон потребовал досконально выяснить взаимоотношения Государственной думы с царем, правительством и, главное, с фронтом, с войной.

Еще пять лет назад Бьюкенен подумать не мог, что этот скучный парламент русского образца, отчеты о работе которого он никогда не мог дочитать до конца, вдруг станет беспокойным и опасным центром политики. Еще прошлым летом Дума заговорила громко, на всю Россию, с ее трибуны открыто критиковали русское командование, несмотря на то, что главнокомандующим был сам царь, министры стали избегать появляться в Думе, потому что их бранили там на чем свет стоит за неуменье и нераденье... Когда это началось, Бьюкенен подумал, что такое оживление Думы во благо — там критикуют ход войны, значит, Дума хочет, чтобы русская армия воевала лучше, а именно это первым делом нужно Англии. Надо было только ввести святое правило английского парламента — критиковать можно все, кроме короля...

Увы, русскому царю в Думе доставалось не меньше, чем министрам, думские речи становились все более опасными, ибо они подрывали всякий авторитет власти, а последнее время в недрах Думы попросту формировали какое-то новое правительство. Бьюкенен запоздало ринулся заводить связи в Думе...

Наиболее трудно давался ему председатель Родзянко — тучный, рыхлый шестидесятипятилетний человек, всегда мешковато одетый, с походкой враскачку, он производил впечатление этакого добродушного увальня. Это впечатление мгновенно улетучивалось, стоило вам заглянуть в его глаза, пристальные и глубокие. Это был хитрый, изворотливый, образованный политик со сложным характером, имевший устойчивое собственное мнение.

На встречу с Бьюкененом он долго не соглашался — предполагалось, что думское правительство доверия возглавит он, и он, наверное, опасался, что контакт с английским послом может ему повредить. Но, с другой стороны, Родзянко знал, что Бьюкенен вхож к царю, и заручиться его поддержкой там было бы полезно... В начале этого года состоялась их первая неофициальная встреча. Бьюкенен принял его в своей квартире при посольстве. И это был семейный обед.

Жена Бьюкенена, молодящаяся женщина с неподвижным, косметически ухоженным лицом, отметила про себя небрежность одежды гостя, но была с ним непринужденно любезна, сразу повела разговор и стала восторгаться красотой Петрограда, и сказала,

что многие его улицы напоминают ей Лондон. Родзянко выслушал это с неуместно серьезным лицом и ничего не ответил. Тогда дочь добавила, что и Нева очень похожа на Темзу. И снова Родзянко промолчал, только посмотрел на девушку, отметив про себя, что она некрасива и похожа на отца.

— Ты не права,— обратился Бьюкенен к дочери.— Темза чуть похожа на Неву только возле Вестминстера, и вообще Нева более величественна...— Теперь посол смотрел на гостя.

— Я в Лондоне не был, ничего не могу сказать...— глухо произнес Родзянко, как бы ставя точку в этом никому не нужном разговоре. И ему было просто трудно говорить по-английски.

Два лакея бесшумно сменяли на столе блюда и точно растворялись, чтобы вскоре появиться с новыми блюдами.

— А вы знаете, я к русской кухне так и не привык,— заговорил Бьюкенен.— В Болгарии меня убивал перец, у вас обильность.

— Мы во многом невоздержанны,— усмехнулся Родзянко. Он-то как раз любил поесть, болел от этого, но поститься не собирался. Эта английская еда казалась ему безвкусной...

Наконец Бьюкенен и Родзянко остались одни, и, казалось, должен был начаться разговор о деле, но Бьюкенену никак не удавалось подвести гостя к главной интересовавшей его теме. Родзянко искусно уходил в сторону. И Бьюкенен спросил прямо:

— Каково будет отношение к войне правительства доверия, если оно будет создано?

— В вашем вопросе самое важное слово «если», и именно это слово лишает меня права и возможности на ваш вопрос ответить...

Бьюкенен сомкнул густые светлые брови на переносице, но спросил мягко и доверительно:

— Почему мы так разговариваем? Что стоит между нами?

— Россия между нами,— тихо ответил Родзянко.— Я россиянин, а вы у России гость.

— Какой я гость?— воскликнул Бьюкенен.— Я слуга России, только прислан сюда союзной Англией!

— Сегодня прислан, завтра отозван,— парировал Родзянко и, шумно вздохнув, добавил:— А меня отозвать отсюда нельзя. Даже смерть бессильна это сделать...

...После этого у них были еще две встречи, но и они тоже мало что дали Бьюкенену. Он стал про себя называть Родзянко «хитрой тушей»...

Сегодня утром, прочитав столичные газеты с отчетами о речах в Думе, со всем их политическим явно опасным сумбуром, Бьюкенен позвонил Родзянко и пригласил его на файф-о-клок. Председатель Думы приглашение принял...

Бьюкенен знал, что ему опять предстоит трудный разговор, но, памятуя все о том же — что эта «хитрая туша» может стать премьером, он был просто обязан выяснить наконец его отношение к продолжению войны. Бьюкенен согласен на любое правительство, лишь бы оно продолжало войну...

Ровно в пять часов Родзянко — громадный, но удивительно легко двигающийся, быстро поднимался по лестнице, а Бьюкенен, стоя на верхней площадке, в зеркало наблюдал за ним...

Рукопожатие его большой руки было крепким, энергичным.

Они прошли в зеленую гостиную и сели друг против друга возле небольшого овального стола на львиных лапах. Слуга подал чай с молоком и крекеры.

— У вас усталый вид,— сочувственно сказал Бьюкенен, глядя на отекшее лицо гостя. Сам он был воплощением упорно не стареющего английского джентльмена, ведущего раз и навсегда точно размеренную жизнь и следящего за собой во всем, от начищенных до блеска ботинок до геометрически ровно подстриженных усов.

— Тяжелые времена,— сказал Родзянко.— Трагедия в том, что мы окружены людьми, озабоченными совсем не судьбой России.

— Лично я свою судьбу связал с Россией, ее боль — моя боль. Ее надежды — мои надежды,— искренне и мягко ответил Бьюкенен, как будто не понимая и не допуская, что слова Родзянко относятся и к нему.

Родзянко хорошо знал, что надо от него послу, и сегодня решил идти ему навстречу, сегодня это нужно было и ему.

— Наш многострадальный народ несет одновременно два креста: война и развал внутри страны,— начал он сразу, без всякого подхода.— Любая другая страна в нашем положении уже давно встала бы на колени. Велики душевные силы и велико терпение у нашего народа, мистер Бьюкенен. Но настал момент, когда далее испытывать эти качества русского народа — чудовищное преступление перед Совестью с большой буквы.

«Хитрая туша», точно предвидя ход мыслей посла, ставил его во все более трудное положение для ведения разговора на главную тему.

— Есть предел всему,— продолжал Родзянко, расстегнув давивший его крахмальный воротник.— Предел безответственности руководителей пройден уже давно. Безнравственная тупость и глупость, коррупция, грязные интриги — все это сплелось в клубок бесстыдных преступлений, для которых нет меры наказания,— он замолчал, смотря на посла умными серыми глазами изпод насупленных бровей.

— Боюсь, что сейчас не самый подходящий момент для распутывания этого клубка,— не отводя глаз, ответил Бьюкенен.— Все-таки судьба народа, государства сейчас решается на фронте. И там солдату, как никогда, нужны душевная целостность и вера.

Родзянко качнул массивной головой:

— Эта вера солдата давно поколеблена ходом войны,— угрюмо сказал он и помолчал, давая послу прочувствовать этот удар.— Но солдат, который и сегодня отдает все за родину, узнав, что за его спиной наводится наконец порядок, обретет новую веру и будет воевать еще лучше. Поймите, мистер Бьюкенен, того высокого

патриотизма, с которым наши войска начали войну, теперь нет и в помине. Я ездил на фронт и говорю о том, что сам видел и понял.

Бьюкенен слушал, опустив взгляд. Пока его радует только фраза «обретет веру и будет воевать еще лучше». Значит, будет все-таки воевать...

— Мне горько и страшно слышать это, когда до нашей совместной победы осталось буквально несколько шагов,— тихо сказал он.

Родзянко поднял тяжелые веки, осуждающе посмотрев на посла:

— А вы вспомните шаги русской армии, которые она уже сделала. Такие, как, скажем, трагедия армии Самсонова. Она произошла главным образом потому, что мы поторопились помочь союзникам. Мы все время вели войну, обливаясь кровью.

— Вели?— поднял густые брови посол.

— И ведем сейчас и будем вести,— негромко ответил Родзянко.

— Положим, то, что происходит сейчас на русском фронте, явно непохоже на прежние годы,— сказал Бьюкенен.

— Будем же откровенны, господин посол...— продолжал Родзянко низким напряженным голосом, и его крупное лицо стало медленно краснеть...— Разрешите прямо спросить вас: вы считаете, что нами еще мало пролито крови? И еще — что мы сейчас можем сказать нашему солдату, нашему народу, чтобы поднять его дух? Может, возобновим обсуждение вопроса о Дарданелльском проливе, который, по выражению одного моего коллеги, мы уже могли бы заполнить русской кровью? Извините меня, но об этом я считаю себя не только вправе, но и обязанным говорить откровенно...— Родзянко вынул носовой платок, громко высморкался и снова извинился.

Бьюкенен не мог поддерживать разговор в таком духе, хотя собеседник и не представлял собой правительство, при котором он был аккредитован. Но он понимал, однако, что Родзянко говорит сущую правду, оспорить которую просто невозможно...

— Мы же с вами забыли о чае!— сказал посол с любезной улыбкой.

— Спасибо, спасибо, мне следует поменьше пить жидкости,— ответил Родзянко и стал рассматривать висевшую над головой посла картину, изображавшую шествие Христа на Голгофу...

— Сегодня ваши газеты...— начал Бьюкенен, но Родзянко перебил его, не отрывая взгляда от картины:

— Да, да, я читал... немецкий капитал, немецкая партия у трона... Нужно правительство с чистыми руками и так далее...

— Но как к этому отнесется армия?— спросил посол.

— Мистер Бьюкенен,— Родзянко опустил взгляд на собеседника,— в окопах уже давно говорят об измене в верхах. Власти как средоточия государственного ума у нас нет уже давно, а сейчас и подавно. Нынешнее правительство создано по басне Крылова: «Лебедь, рак и щука», да и лебеди наши не белые,— вздохнул он

и сделал движение всем своим грузным телом, будто собирался встать.

— Вы верите в возможность создания правительства доверия?— спросил Бьюкенен.

— Пока еще верю... но с каждым днем моя вера слабеет. Возле нашего монарха слишком много советников, которые настраивают его против такого правительства, пугают его, что это будет означать ограничение его прерогатив. Боюсь, что и я, честно разговаривая с царем, делу не помогаю.

— Я уверен, что царь поддержит все, что реально будет содействовать победному окончанию войны,— твердо произнес Бьюкенен, и Родзянко понял намек.

— Я тоже в это верю, но хотел бы в этом убедиться,— тихо ответил он...— Ведь все в общем просто — армия теряет веру. А реализация ясной и четкой политической программы воскресит эту веру, и тогда Россия еще скажет свое веское слово на фронте. Даже сейчас мы воюем неплохо. Хочу подчеркнуть, господин посол, что с вами я говорю более откровенно, чем в Думе. Там меня может продать каждый второй.

— Я искренне благодарю вас за откровенность и за доверие, которое я оправдаю,— тихо, с давно отрепетированной задушевной интонацией сказал Бьюкенен.— И я искренне желаю вам успеха.

2

Проводив Родзянко до холла, Бьюкенен прошел в свой кабинет и долго ходил там из угла в угол, погруженный в размышления: он пытался охватить умом все, из чего складывается сегодняшняя Россия, ее политика, ее реальные возможности, и очень ясно ощущал свое бессилие. Еще недавно Россия представляла собой бесформенную глыбу, но на вершине ее находился царь, который волшебной силой мог этой глыбой ворочать. Сейчас глыба осталась глыбой, но монарх потерял волшебную силу над ней, глыба стала поворачиваться как бы сама собой... Но так ли уж сама собой?

Бьюкенен вспоминает свои последние встречи с различными деятелями России, в беседе с которыми он пытался прощупать влияющие на трон силы...

...«Перед фронтом с поднятым, заляпанным грязью крестом стоит Гришка Распутин, и все, что солдат знает об этом мерзавце и о любви к этому мерзавцу царской семьи, ожесточает солдата не против немца, а против того, во имя чего его послали воевать...» — это темпераментно и убежденно говорил Бьюкенену член Думы Пуришкевич — крайне правый монархист. И Бьюкенен помнит, как после этой тирады Пуришкевич воскликнул: «Неужели нельзя убрать этого грязного негодяя?» И потом внимательно смотрел на него, ожидая, что он на это скажет. Но Бьюкенен умел молчать, как никто...

...«Немецкая партия обложила царскую семью со всех сторон. Они пролезли в правительство, в Ставку, во все поры политики и экономики. И поэтому все, что происходит сейчас у нас, не может не радовать Германию...» Это своим ровным, убедительным голосом говорил его самый верный человек в русском правительстве — Сазонов, бывший министр иностранных дел, теперь член государственного совета России. Впрочем, об этом говорил ему не только Сазонов. Бьюкенен с этим согласен, он только не думает, что есть на самом деле организованная и оформленная немецкая партия. Он не может допустить, чтобы английское правительство и разведка обвинили его в том, что он пропустил возникновение у русского трона организованной пронемецкой партии или даже группы. Но неужели немцам это действительно удалось? Создать свой опорный пункт в самом сердце России! Этот вопрос Бьюкенен изучает сейчас с помощью всего посольства и особенно с помощью тех его сотрудников, которые являются офицерами стратегической службы.

Самые большие его надежды на Генри Грюсса, который уже нашел ход в ближайшее окружение Распутина и оттуда, так сказать, обратным путем подбирается к людям, которые управляют этим действительно омерзительным и опасным авантюристом с крестом в руках. Вчера у Грюсса было свидание с перспективным человеком из министерства внутренних дел.

Бьюкенен попросил слугу позвать Грюсса...

Грюсс вошел со своей неизменной почтительной улыбкой на розовощеком здоровом лице...

— Свидание вчера состоялось?

— Так точно, сэр, и есть нечто новое,— ответил Грюсс.

— Садитесь, рассказывайте...

— Можно считать установленным,— начал Грюсс,— что финансисты Манус и Рубинштейн действуют разобщенно, хотя и в одном направлении. Новое то, что Манус действует не один. С ним связан чиновник министерства внутренних дел Бурдуков, который, в свою очередь, связан с Андронниковым и другими из этого же клана.— Грюсс сказал все это быстро и убежденно, как не подлежащее никакому сомнению.

— Эта группа действует как нечто целое?— спросил Бьюкенен.

— В финансовом отношении их объединяет Манус. Связь по цепочке, в которой друг другу открыты только смежные звенья. Через них Манус имеет возможность проникать даже в правительство. Но самое интересное, сэр, что, оказывается, и у Мануса есть руководитель. И вот тут самое подозрительное. Что-нибудь говорит вам, сэр, такая фамилия — Грубин?

— Первый раз слышу.

— Эта фамилия изредка мелькала в газетах в связи с тем, что в его доме действует салон искусств.

— Он что, меценат?

— Этим занимается его жена. Она по национальности венгерка. Красавица и умная дама. Салон у них серьезный.

— А кто же он сам?

— Коммерсант средней руки. Действует только наверняка, но никогда крупно. Тем не менее слывет в этих кругах очень умным дельцом. Подозрительное в другом. Он возник в Петрограде, как Феникс из пепла, всего года два-три назад. Никто не знает, откуда он взялся. А то, что известно из его биографии, выглядит очень сомнительно.

Бьюкенен обрадовался — ну конечно же, он всегда об этом думал: никакой немецкой партии нет, а есть хороший немецкий резидент со своей сетью агентов. То, что узнал Грюсс, подтверждало это, и теперь можно действовать.

— Что вы предлагаете предпринять?— спросил он.

— Организовать наблюдение за этим Грубиным, установить его связи и таким образом получить подтверждение моим подозрениям. Прошу вашего разрешения, сэр, взять для этого двух наших сотрудников.

— Действуйте, Бенджи, и помните: тянуть с этим делом нельзя.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

1

К началу войны Дмитрию Львовичу Рубинштейну было 36 лет, но в коммерческих кругах он был уже широко известен. Имя его довольно часто мелькало в газетах в связи с его очень успешной, хотя и нечистой карьерой дельца. Вот сообщение о том, что он получил степень кандидата юридических наук, причем будто бы продемонстрировал глубокое знание коммерческого права... Вот сообщение о преуспевании русско-французского банка со времени, когда директором его правления стал Рубинштейн... А вот лирическое восторженное описание того, как Рубинштейн, «беззаботно улыбаясь, подписывал благотворительный чек на 20 000 рублей. Он сделал это с такой легкостью, с какой многие из нас не пожертвовали бы и рубля»...

Время от времени, однако, появлялись сообщения и о различных скандалах, связанных с похождениями Рубинштейна — картежного игрока и донжуана.

Он успешно вел свои коммерческие дела, был смелым и хитрым спекулянтом, занимаясь главным образом биржевой игрой, скупая и продавая акции. Он был еще специалистом по разорению своих собратьев, за что получил прозвище «Митька-катафалк». Он умел вовремя добыть полезную информацию и всегда играл наверняка, играл крупно, с огромными барышами. К концу войны его капитал был таким солидным, что для него потерять миллион рублей было не особенно чувствительно. Именно такую сумму потерял

он в 1916 году при продаже акций банкирского дома «Юнкер и К° ». Потом он заявил, что этот убыток волнует его не больше, чем прошлогодний снег,— он был еще и порядочный позер, этот Рубинштейн. Была у него еще постоянная кличка «Митька Эр». Один из воротил русского капитала Рябушинский произносил это прозвище с добавлением: «Митька Эр — дешевка...»

Быть солидным, всеми уважаемым финансистом Рубинштейну мешали владевшие им две страсти: карты и женщины, по пятам за ним шла сомнительная слава безудержного игрока и неразборчивого жуира. Впрочем, его это нисколько не смущало, и он даже гордился этими своими качествами. Если долго о нем ничего скандального не рассказывали, он шутил: «Придется мне нанять парочку сплетников для регулярного сочинения скабрезных сказок о моей персоне». Кругленький, розовощекий, маленького роста, неизменно одетый по последней моде, он появлялся в собственной ложе оперы, на званых обедах, где присутствовали сильные мира денег, и везде вызывал к себе по крайней мере любопытство. Однако постоянной раной его тщеславной души было то, что в высших финансовых кругах он принят не был.

До войны и в первый ее год Рубинштейн занимался обычными финансовыми аферами, связанными с военной конъюнктурой, и был в это время далек от всякой политики. Он даже бравировал этим. В интервью репортеру газеты «Биржевые новости» в 1912 году он заявляет, что политика для него дремучий лес, куда он не ходит, и что ему хватает дел на Невском проспекте в его русско-французском банке.

Резкий поворот Рубинштейна к делам, близким к политике, происходит зимой 1915 года, после его возвращения из Кисловодска, где он отдыхал после тяжких трудов на финансовой ниве...

С наступлением осеннего «бархатного» сезона в Кисловодск, несмотря на войну, устремлялась петроградская знать и богачи. Там, вдали от войны, они вели беспечную жизнь, похожую на пир во время чумы. В местной газете целые страницы заполнялись объявлениями, рекламами о пансионах и гостиницах, где за непомерную цену «к вашим услугам первоклассная французская (и другие) кухни, включая колониальные деликатесы, а также всевозможные развлечения: музыкальная программа, танцы, поездки в горы верхом и в пролетках с устройством там пикников и прочее».

Что такое «и прочее», кисловодские гости знали хорошо. Это и запрещенная в то время картежная игра, и рулетка, и дамы легкого поведения. Сверх всего к этому времени в Кисловодск приглашались лучшие концертные силы. Но Рубинштейна больше всего интересовали карты...

Для самых денежных любителей картежной игры в центре Кисловодска в подвальном зале ресторана действовало ночное казино. Там и проводил время, отдаваясь своей страсти, Рубинштейн и сопровождавшая его в этой поездке известнейшая столичная красавица по прозвищу Шурка Зверек. Впрочем, в Кисловодске

была в это время и его жена Стелла, по прозвищу Памятник,— женщина, из которой можно было выкроить трех Рубинштейнов. Она сквозь пальцы смотрела на похождения своего игривого мужа, и, когда по Кисловодску в автомобиле Рубинштейна проезжала Шурка Зверек, Стелла говорила: «Вон поехала наша содержанка». Это послужило даже поводом для написания водевиля, который вскоре показывали там, в Кисловодске, и назывался этот водевиль «Наша содержанка»...

2

Картежная игра шла за общим столом, накрытым как к десерту: вино и фрукты — это для полиции, если она вдруг нагрянет. Все игроки сидели за столом со своими дамами. Сверкали бриллианты, хрустальные бокалы. Только лица у мужчин совсем не такие, как должны быть на десерте. Ставки фантастические. Рубинштейн, куражась перед своей Шуркой, объявлял все более крупные ставки и громко под общий хохот просил у своей дамы денег взаймы под проценты. Но он успевал внимательно следить за действиями сидевшего напротив него элегантного господина с лиловыми щеками, подпертыми высоким воротничком. Рубинштейн уже знал — это шулер, и только ждал момента сыграть эффектный спектакль.

— Стоп, господа!— вдруг звонко закричал Рубинштейн.— Карты на стол! Прошу вас открыть свои карты,— обратился он к элегантному господину.

— Вы ответите банком,— угрожающе произнес тот.

— О да! И этим банком, что на столе, и тем своим, что на Невском! — весело ответил Рубинштейн, и, так как элегантный господин не спешил открывать карты, Рубинштейн, перегнувшись через стол, сделал это сам.

— Посмотрите, господа, свои карты. Вам ясно?..

Из глубины зала появился здоровенный детина, на котором, казалось, гудел распертый мощной грудью смокинг. Не говоря ни слова, он взял элегантного господина за воротник сюртука, как морковку из грядки, выдернул его из-за стола и потащил в темноту зала. Это был установленный здесь церемониал расправы с шулерами, поскольку звать полицию было нельзя.

— Вот так, господа!— тихо воскликнул Рубинштейн и смешал карты.— Продолжим игру.

— Браво, браво!— восторгались дамы. Шурка Зверек поцеловала бриллиант на перстне покровителя.

В это время на место шулера сел новый игрок — человек, которого Рубинштейн неплохо знал, но впервые видел за карточным столом. Это был крупный пайщик коммерческого банка «Юнкер и К°» Фердинанд Августович Крюге.

Рубинштейн давно приглядывался к этому человеку, собираясь привлечь его к своим делам, но оставил эти помыслы, когда

в газетах поднялся тарарам по поводу засилья в России немецкого капитала. Крюге в коммерческом мире так и звали — Немец...

Крюге наклонился через стол к Рубинштейну:

— Дмитрий Львович, я всегда мечтал сразиться с вами на этом поле, хотя представляю, как рискую.

— Не так страшен черт,— рассмеялся Рубинштейн и задорно взглянул на свою даму.— Верно, Зверек?

— Ты славный, Митя,— нежно ответила она, положив ему на плечо свою золотую голову.

Крюге предложил Рубинштейну играть вдвоем в «жмурки». Тогда среди крупных азартных игроков эта игра была популярной. Каждый вытаскивает из колоды без фигур по карте. Чья карта по очкам больше, тот и выиграл. Ставки чем больше, тем лучше — господин случай щекочет нервы, а думать не надо.

Рубинштейну везло, и он сорвал подряд пять взяток. Речь шла о такой крупной сумме, что он стал красноречиво поглядывать на соперника — не остановиться ли, раз так уж пошла игра? Но Крюге проиграл еще три взятки и только после того, как выиграл одну, сказал устало:

— Финита,— и пригласил Рубинштейна подняться в ресторан.

За бокалом шампанского под цыганские романсы, которые замечательно пела знаменитая Варя Панина, Крюге выписал Рубинштейну солидный чек, но не на свой банковский дом «Юнкер и К° », а на петроградский учетно-ссудный банк, и сказал улыбаясь:

— Наш банк теперь не очень популярен. Не хочу вас подводить.

Рубинштейн взглянул на чек, небрежно запихнул его в жилетный карман и сказал:

— Деньги не пахнут.

— На эту тему нам очень стоит поговорить,— вдруг серьезно сказал Крюге и, встретив оживленный, заинтересованный взгляд Рубинштейна, продолжал:— Я мог бы заплатить карточный долг акциями банковского дома Юнкера, и тогда ваш выигрыш впоследствии вырос бы минимум в три раза.

— Не понимаю,— удивленный Рубинштейн склонился к нему через стол.

— Все очень просто,— продолжал Крюге.— Наши акции сейчас обесценены примерно в три раза, но у них обеспечение гораздо более солидное, а главное, более перспективное, чем у банка, где вам по моему чеку произведут выплату. Вы сами прекрасно понимаете, что все определяющие события идут к концу, а когда прозвучит колокол финиша, лошади с нерусским кормом будут самые перспективные для новых заездов.

— Дельно сказано,— улыбчиво кивнул Рубинштейн и спросил с наивной простотой:— Вы имеете в виду лошадей немецких?

— Да.

— А не будут ли они выглядеть такими же дохлыми, как наши? — шутливо, весело спросил Рубинштейн, хотя разговор для него был сверхважен. Он и сам уже подумывал с тревогой о том, как будет выглядеть его капитал, когда война неизвестно чем кончится.

— На ваш вопрос отвечает ход событий, — ответил Крюге. — Война на территории этой страны не происходила и не произойдет, а это значит, что к концу событий индустриальная мощь этой страны окажется в девственном состоянии. Более того, из войны она выйдет еще более развитой и окрепшей, а главное, готовой к активнейшей деятельности в новых мирных условиях.

— Но чем вызвана ваша забота о моих делах?

— Ну во-первых... — замялся Крюге. — Я уже проявил подобную заботу не только о вас. Во-вторых, уже давно вы мне глубоко симпатичны своей непохожестью на инертных тюфяков. И последнее: я живу и действую все-таки в России. И в отличие от крикунов, которые под каждой лавкой ищут немцев и вопят о своем русском патриотизме, я всерьез думаю о завтрашнем дне России, и я уверен, что ее дальнейшее благополучие в экономической связи с Германией, как это и было доказано в довоенный период...

Разговор закончился тем, что Рубинштейн вернул Крюге чек и взамен получил право на приобретение акций банка «Юнкер и К°» на сумму, троекратно превышавшую выигрыш. Но это было только начало. Спустя несколько дней Рубинштейн приобрел у Крюге за половинную сумму векселя великого князя Михаила Александровича на сумму около ста тысяч рублей. Крюге убедил его пойти на эту сделку, чтобы, как он выразился, иметь в своем кармане члена царской семьи, что всегда может пригодиться. Сам он воспользоваться этими векселями не мог — его имя связывают с немецкими интересами, и предъявление к оплате векселей великого князя могло вызвать ярость монархистов.

Рубинштейн вернулся в Петроград, довольный своими кисловодскими сделками и с твердым решением держать финансовый курс на Германию. В конце концов это было единственной возможностью оградить себя от чисто русской экономической катастрофы. И он был благодарен судьбе, подсунувшей ему в Кисловодске этого самого Крюге.

3

Заместитель министра иностранных дел Анатолий Анатольевич Нератов заканчивал завтрак в своей квартире на Фонтанке с родственником, неожиданно нагрянувшим к нему с фронта штабс-капитаном Тусузовым. Тусузову интересно было узнать, что делается в верхах. Он приехал с фронта, где с начала войны нёс офицерскую службу при армейском военно-полевом суде. Никогда Нератов не видел его таким расстроенным и угрюмым. Ему хоте-

лось узнать, что делается на фронте, а Тусузов явно не хотел говорить об этом и расспрашивал, что делается в Петрограде.

— Ты лучше расскажи, как там дела в окопах? — спросил Нератов.

— На войне как на войне, стреляют и даже убивают, — невесело усмехнулся в пушистые усы Тусузов и спросил: — Не скажешь ли, как расцениваются наши военные дела здесь? Нам-то там даже в бинокль всего не увидеть... — Тусузов пытался шутить, но Нератов слишком хорошо его знал, чтобы не видеть его настроения.

— Как ты понимаешь, я занимаюсь только международным аспектом войны, а здесь все неизменно — наш военный союз нерушим...

Они довольно долго обменивались ничего не содержащими фразами, и Тусузов наконец замолчал, опустив голову...

— Как твое мнение, сколько мы еще можем выдержать такую войну? — серьезно и доверительно спросил Нератов.

— Какую именно? — не поднимая головы, отозвался Тусузов.

— С тяжелыми потерями и без заметных успехов...

— Долго не протянем.

— Не хватит вооружения? Живой силы? Почему?

— Главное, на фронте больше нет тех солдат, с которыми мы начали войну, — ответил Тусузов.

— Не понял — они что, все погибли? А пополнение?

— Многие, конечно, погибли, уцелевшие стали другими. А пополнение состоит из людей, которые в ожидании призыва имели время подумать о войне. Теперь они об этом говорят с уцелевшими, — спокойно сказал Тусузов, как видно, давно продуманное.

— Но разве думающий солдат хуже?

— Весь вопрос, что́ он думает...

— А что же он думает?

— Что войну надо кончать и, пока не поздно, спасать Россию.

Нератов подошел к зеркалу, увидел в нем себя — привычного, строго одетого, с гладко выбритым холеным лицом, и тотчас отвернулся, будто сам себе не понравился. Спросил:

— Как это можно кончить войну и спасти при этом Россию? И вообще как это кончить? И от чего спасать Россию?

— Как кончить? — переспросил Тусузов, вставая. — Очень просто: штыки в землю и домой, спасать Россию от преступной власти.

— Ну знаешь... — изумленно сказал Нератов... — Если бы я это услышал не от тебя...

— Вызвал бы полицию? — прищурил голубые глаза Тусузов. — Не хватит, Анатолий, полицейских на всех, кто так говорит или думает. Неделю назад мы судили одного унтер-офицера, так он заявил это на суде.

— Так это же изменник! — воскликнул Нератов.

— И мы его расстреляли,— тихо ответил Тусузов.— Но в последнем слове он называл себя иначе — социал-демократом, большевиком.

— Большевиком? Так это и есть первостепенный изменник!— убежденно и почему-то радостно воскликнул Нератов.— Расстреляли, и делу конец.

— Если хочешь знать, это расстрелять нельзя. Последнее время на передовой все больше таких агитаторов, и их призывы падают на благодатную почву — война осточертела всем, тем более такая война... без света в окошке, и это самая главная опасность войне, России, монархии, всем нам.

— Подожди, подожди...— тихо перебил Нератов и с искренним изумлением произнес:— Но разве солдату непонятно, что во время войны пацифистские настроения — это начало поражений?

— Если бы просто пацифизм,— ответил Тусузов.

— А что ж тут не просто?

— Правда, не хотелось бы говорить.

— Вот тебе и раз... как говорится, спасибо за доверие...

Они стояли друг против друга — высокий, прямой, подтянутый Нератов и сутулый, какой-то совсем невоенный в мешковатом кителе Тусузов,— хоть и родственники, люди одного мира жизни, но один из них знал о войне настоящую правду, и от этого они говорили будто на разных языках. Тусузов в смущении развел руками:

— Извини... Я скажу...— пробормотал он и, решившись, вскинул голову:— Они считают эту войну преступной, потому что она ведется за интересы не народа или России, а фабрикантов и помещиков. И что царь, таким образом, служит не народу, а сословию богатых. Ты бы послушал этого, которого мы судили. Он говорил нам: «Господа судьи, то, что военные промышленники нажили на этой войне золотое брюхо, ясно и вам. А что обещают народу? Дарданелльский пролив? А на кой он ляд нашему крестьянину, который знает, что дома у него уже некому пахать землю? Или рабочему, который как гнул спину на хозяина, так и гнет...»— Тусузов вдруг осекся, посмотрел на брата, слушавшего его с бледным лицом.— Извини, Анатолий,— сказал он другим голосом.— Но ты сам попросил меня... я сказал тебе правду. Ты спросил, я ответил... А что будет дальше, даже подумать страшно... Но неужели здесь никто ничего этого не знает?

— То, что война сложилась для нас тяжело, знают все.

— А то, чем это может обернуться для России, понимают?— снова, вскинув голову, спросил Тусузов.

Нератов не ответил... Он в это время вспомнил недавний разговор с министром Сазоновым, который сказал, что сейчас проблемами России всерьез занимаются только солдаты на фронте... Нератов тогда не понял министра, теперь ему было все ясно, и от тревоги щемило сердце... Неужели все так плохо?

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

1

Для начальника штаба царской Ставки генерала Алексеева ничего, кроме войны, не существовало. И войну он видел как некое особое действо, совершенно оторванное от жизни России. Он однажды признался, что потери на войне не воспринимает как людские потери. Его беспокоит только одно — когда в формуле сражения потери начинают заметно превышать реальные резервы. Войной он занимался ежедневно, старательно, строго, ревностно оберегая свое высокое единоначалие от всех и подчиняясь только одному человеку.

Первые два года это был великий князь Николай Николаевич — грозный, громогласный, но, увы, знающий военное дело далеко не достаточно. Ему не дано было видеть и понимать всю необозримую панораму этой великой войны. Алексеев до сих пор не простил ему трагедию армии Самсонова, которая, он считал, погибла из-за самодурства великого князя: легкомысленно заверив союзников, что готов наступать на Берлин, он без достаточной подготовки погнал в наступление армии Самсонова, Ренненкампфа и другие.

Когда главнокомандующим был Николай Николаевич, царь находился от Алексеева где-то далеко, отгороженный от него могучей фигурой великого князя. Теперь над Алексеевым сам монарх. Только царь стоял за его спиной. Его ежеутренние доклады царю проходят спокойно. Царь молча выслушивает его более чем краткое сообщение о случившемся на всех фронтах, затем выслушивает его предложения, которые к моменту доклада, как правило, уже оформлены в соответствующие приказы. Он крайне редко вмешивался в сложнейшие штабные дела. Но если он это иногда делал, Алексееву бывало нелегко. Собственные мысли о ходе войны возникали у царя спонтанно, беспричинно и необоснованно, но он неожиданно становился упрямым и требовал беспрекословного выполнения своих указаний. Попытки Алексеева возражать вызывали у монарха неудовольствие, даже гнев. Алексеев скоро понял, что царь, как правило, вмешивается в дела войны по чьей-то подсказке. Но все же подобные вмешательства царя были не такими уж частыми, и, кроме того, Алексеев иногда брал на себя смелость «не понимать» некоторые указания монарха и поступать по-своему. И не было случая, чтобы Николай это обнаруживал... Пожалуй, у генерала Алексеева были все основания считать, что с царем ему работать легче, чем с великим князем.

Однако сам генерал не мог стать выше и сильнее самого себя. В этом смысле его очень точно охарактеризовал генерал Брусилов: «...Он обладал умом, большими военными знаниями, быстро соображал и, несомненно, был хороший стратег... но у такого верховного вождя, за которого нужно было решать, направлять его действия, поддерживать его постоянно колеблющуюся волю, он был

совершенно непригоден, ибо сам был воли недостаточно крепкой и решительной. Кроме того, он не был человеком придворным, чуждался этой сферы, и ему под напором различных явлений со всевозможных сторон было часто не под силу отстаивать свои мнения и выполнять надлежащим образом те боевые задачи, которые выпадали на русскую армию».

Положение Алексеева укрепилось в весенне-летние месяцы успешного наступления войск Юго-Западного фронта под командованием генерала Брусилова.

И перед этим наступлением все было как обычно: на царя нажимали союзники — требовали активных действий. У них висел на нитке Верден, а под Трентино терпела поражение итальянская армия. По приказу царя в марте была начата наступательная операция в районе озера Нарочь, но она не удалась и вскоре захлебнулась. Союзники возобновили нажим на царя. Руководители английской и французской военных миссий поочередно прорывались к царю с тревожными депешами, полученными ими из Лондона и Парижа, после чего царь вызывал к себе Алексеева и молча отдавал ему эти депеши. Однажды Алексеев не выдержал и сказал угрюмо:

— Мы все же не можем, ваше величество, воевать за себя и за них...

После долгого молчания царь сказал:

— Приготовьте записку о Нарочской операции, нужно показать, что это наступление мы дальше развивать не могли, укажите потери, отметьте неблагоприятный рельеф местности и скверные климатические условия.

— Кому адресовать?— чисто для проформы спросил Алексеев, отлично понимая кому.

— Пишите без адреса,— ответил царь, подтверждая соображение Алексеева. Генерал повернулся уходить, в это время Николай сказал:— Нужно сделать все, что можно, для наилучшего обеспечения нашего общего наступления...

Это общее наступление уже давно разрабатывалось в Ставке, но Алексеев добился, чтобы о нем не были преждевременно извещены союзники, ему хотелось хоть раз осуществить стратегическую самостоятельность Ставки. Но все равно не так-то легко ему было свести воедино расчеты и действия трех фронтов. Командующий Северо-Западным фронтом генерал-адъютант Куропаткин и командующий Западным фронтом генерал Эверт были весьма влиятельными военачальниками, пользовавшимися безоговорочным расположением монарха, что давало им право обращаться к нему через голову начальника штаба, и оба они к намеченному общему наступлению относились скептически, они неустанно твердили царю, что в предстоящем наступлении можно понести непоправимое поражение, потому что противник в этих местах очень сильно укрепился. Царь мистически боялся новых

поражений. Спорить с ними Алексееву было трудно еще и потому, что совсем недавно он был в подчинении у этих генералов.

Командующий третьим включаемым в наступление Юго-Западным фронтом генерал Иванов находился, по выражению Алексеева, в состоянии «опасного старческого безволия». На его место Алексеев прочил уже хорошо отличившегося в этой войне энергичного генерала Алексея Алексеевича Брусилова. Однако и произвести эту замену было непросто — престарелого Иванова обожал престарелый министр двора граф Фридерикс. Когда Алексеев впервые заговорил об этом перемещении с царем, неосторожно сделав это в присутствии Фридерикса, старый граф истерически воскликнул:

— Иванова трогать нельзя!

Царь, удивленный экспансивностью своего вечно дремлющего министра, посмотрел на него с улыбкой, пошутил:

— Он что, рассыплется?

— Нет! Нет! Нет!— замотал головой Фридерикс и вдруг заявил:— Это шаг против меня!

Но царь сказал:

— Владимир Борисович, вы же давний друг Иванова, неужели вы хотите, чтобы его имя, его реноме были поставлены под удар только потому, что, находясь в преклонном возрасте, он просто физически не сможет сделать то, что требуется.

— Тогда нужно, чтобы он был здесь, при Ставке,— проворчал Фридерикс.

— Вот это мы сделаем, и вы наговоритесь с ним всласть...— милостиво улыбнулся царь. А когда министр вышел, сказал огорченно:— Трудно со стариками...

Брусилов был назначен командующим фронтом. Теперь главной задачей Алексеева стало сломить трусливую позицию генералов Эверта и Куропаткина. Для этого он уговорил царя созвать в Ставке военный совет трех фронтов, и он был назначен на 1 апреля. Совершенно неожиданно царь изъявил желание перед военным советом посмотреть Юго-Западный фронт.

«Зачем это ему понадобилось?»— с досадой подумал Алексеев, но возражать не решился, предположив, что царь захотел посмотреть Брусилова, так сказать, на месте действия. Однако сам царь об этом не говорил и объяснил цели своей поездки весьма туманно. Наверно, прав был Брусилов, который об этих поездках царя впоследствии написал в своих мемуарах: «...царю в Ставке было скучно. Ежедневно в 11 часов утра он принимал доклад начальника штаба и генерал-квартирмейстера о положении на фронте, и, в сущности, на этом заканчивалось его фиктивное правление войсками. Все остальное время ему делать было нечего, и поэтому, мне кажется, он старался все время разъезжать то в Царское Село, то на фронт, то в разные места России без какой-либо определенной цели, а лишь бы убить время...»

Царь уже собирался в поездку, а Брусилов все еще не принял фронт от Иванова, они даже еще не виделись. Алексеев связывает-

ся с Брусиловым — в чем дело? Оказывается, ему от имени Иванова сообщили, чтобы он не выезжал в штаб фронта. Алексеев связывается с Ивановым — оказывается, он получил от Фридерикса указание со ссылкой на царя не покидать фронта. Разъяренный Алексеев идет к царю, но тот ничего не знает об указании Фридерикса. И тогда из Ставки летит телеграфный приказ Иванову, в копии Брусилову — немедленно сдать и принять дела.

Спустя несколько дней Брусилов принял дела от рыдавшего Иванова, который каждую минуту повторял: «Господи боже, за что же так со мной?» А уже на следующий день Брусилов встречал в Каменец-Подольске царя...

Никакого серьезного разговора с царем у него не произошло. Монарх вдруг стал выяснять, почему у генерала плохие отношения с министром двора и генералом Ивановым.

— У меня с ними никогда не было и нет никаких отношений вообще,— не скрывая своего неудовольствия, ответил Брусилов и начал говорить о Юго-Западном фронте, он был категорически не согласен, что этот фронт не способен наступать, и в заключение заявил: — В случае, если фронту не будет дана возможность наступать, прошу освободить меня от обязанностей командующего.

Царь не любил решительные заявления. Он долго, с неодобрительным любопытством рассматривал Брусилова и наконец сказал:

— Я ни за, ни против этого наступления. Прошу вас изложить свои соображения на военном совете...

На военном совете в Ставке царь сидел в сторонке, рассеянно и безо всякого выражения слушал выступающих. Алексеев сообщил, какое большое материально-техническое усиление получат Северный и Северо-Западный фронты, и таким образом лишил командующих этими фронтами генералов Куропаткина и Эверта возможности открыто заявить о своих сомнениях в успехе. А Брусилов, не получавший никакого подкрепления, снова потребовал права провести наступление...

Наконец, вопрос об общем наступлении трех фронтов был решен...

Но затем для Алексеева начались дни, которые он сам назвал потом временем бессильного гнева. Генералы Куропаткин и Эверт под разными предлогами в назначенные сроки не выступили. Но самое страшное для Алексеева было в том, что в военные дела снова вмешалось Царское Село. Черт разберет, кто оттуда давил на царя: царица, Гришка Распутин или кто еще, но верховный вдруг тоже стал сомневаться в успехе всех фронтов и, так или иначе, поддержал позицию сверхосторожных генералов.

И только руководимый генералом Брусиловым Юго-Западный фронт в точно назначенный день и час двинулся в наступление, и его войска в короткий срок добились больших успехов: австро-венгерская армия была фактически разгромлена — более

370 000 пленных, одних офицеров более 8 000, была захвачена масса вооружения. Но не поддержанный северными соседями, истощив свои силы, Брусилов в конце июля прекратил наступление...

За этим последовало застойное лето...

Царь впоследствии не мог не понять, что при общем наступлении трех фронтов успех был бы многократно больше, мог даже стать решающим для всей войны. Однако он ни разу потом не сказал об этом Алексееву, а тот, щадя монарха, не поднимал об этом разговор. На это у него не хватало решительности. Он видел, что царь чувствует себя как бы виноватым перед ним, и Алексееву было достаточно того, что его положение возле монарха пусть на горькой основе укрепилось.

2

Но произошло нечто другое, тревожно нарушившее мир мыслей и чувств Алексеева. Вместе с царем к нему приблизилась Россия со всеми своими бедами, которым не было конца. Он и раньше знал, что Российское государство живет трудно, куда хуже, чем Западная Европа, но никогда глубоко над этим не задумывался, да и всегда было объяснение — своеобразие исторического развития России. Но он хорошо помнил грозный девятьсот пятый год, когда разгорался бунт, угрожавший российской власти и даже двору. Однако государство с этим справилось, бунтовщики были ликвидированы, прочно упрятаны в Сибирь, и Алексеев думал, что положение в стране стабилизировалось. Это подтвердили и первые дни войны, сопровождавшиеся повсеместными патриотическими манифестациями и боевым духом войск, который Алексеев сам в те дни наблюдал.

Но сейчас Россия со всеми своими бедами напоминала о себе каждый день, и Алексеев все чаще обнаруживал зависимость от этого его чисто военных дел.

Россия ворвалась даже в благопристойные завтраки у императора в узком кругу приближенных и именитых гостей. То и дело хозяин стола заводит разговоры о событиях в Петрограде — то о Думе, то о безрассудстве газет, то о нехватке продовольствия. К царю в Ставку стали часто наезжать штатские деятели из Петрограда, после разговора с ними царь становился мрачен, раздражителен, иногда просто недоступен. Незаметно для себя Алексеев тоже стал интересоваться гражданскими делами и событиями. Сначала ему просто не хотелось выглядеть неосведомленным перед монархом. Но затем он понял, что его штабные дела пришли в такую прямую зависимость от всего, что творилось на Руси, когда он просто обязан быть повседневно в курсе ненавистных ему событий.

Теперь он все чаще заходит в штабную комнату, где два полковника занимались систематизацией информации невоенного характера. На удивление всем штабным, он почти ежедневно при-

глашает к себе полковника Мачульского, осуществляющего связь Ставки с петербургской прессой и находящегося в курсе всех газетных сенсаций. Но в кабинет, где работали два полковника, собиравших штатскую информацию, Алексеев заходит сам и никогда не вызывает полковников к себе. Наверное, это от желания подчеркнуть, что его стремление узнать о происходящем в Петрограде и в стране никак, по крайней мере напрямую, не связано с тем главным святым делом, которым он занимается в своем служебном кабинете. Но все труднее ему скрывать тревогу, которую будили в нем чисто гражданские дела. Он думает теперь об этом все время, потому что все время ощущает воздействие этого на его главные военные дела. Чем тревожнее были сведения о внутреннем положении в стране, тем все больше Алексеев утверждался в мысли, что гражданские власти бессильны с этим справиться и что для тыла нужна военная диктатура. В этом он видел спасение.

Эта мысль окончательно укрепилась в нем после нечаянной его встречи с министром внутренних дел Протопоповым. Он приехал в Ставку, но время его аудиенции у царя отодвинулось, и черт дернул Алексеева пригласить его к себе...

Об этой их встрече потом Протопопов написал своему приближенному врачу Бадмаеву: «Как выдержали мои нервы в этот час, не знаю, все-таки они у меня крепкие. Теперь я знаю, какой дьявол находится возле нашего государя. Весь час он сидел за столом неподвижно, как монумент, и не сводил с меня своих мертвящих глаз. Я испытывал нечто подобное тому, как бывало на гипнотических сеансах у профессора Бехтерева — будто я лишился воли над самим собой и с каждой минутой теряю силы, словно из меня вытекает кровь. Это не прошло и теперь, и я прошу вас с подателем прислать того лекарства, что в пузырьках...»

Алексеев был, конечно, наслышан о Протопопове, знал его распутинское «происхождение» и то, что о его деятельности ходит черная молва, но сейчас он имел возможность разглядеть его вблизи и поговорить с ним.

Протопопов вошел в его кабинет с огромным пузатым портфелем, который он, неизвестно почему, оставил посередине комнаты. Они поздоровались, министр сел в кресло и принялся клетчатым платком утирать с лица пот. И потом он все время держал платок в руке, то и дело утирая то лоб, то губы, то шею.

Вскоре Алексеев обнаружил, что никак не может заглянуть в глаза своего собеседника — они безостановочно бегали из стороны в сторону, снизу вверх и обратно, а то министр просто надолго закрывал их синеватыми вспухшими веками. Но все это было чепухой по сравнению с тем, что понес этот министр во время разговора.

Алексеев сумел задать ему только один вопрос — есть ли реальная возможность наладить продовольственное снабжение Петрограда?

Протопопов закатил глаза, и в горле у него забулькало — не то он смеялся, не то не мог проглотить слюну.

— Налицо духовный распад населения! Или, по писанию, себя не познаше...— вдруг выпалил он и стал рассказывать о каком-то ему знакомом французе-прорицателе, который предрек ему этот шестнадцатый год как счастливый, и заключил:— Министерство мне тот француз предрек так точно, будто он в душу государя заглядывал...

Алексеев слушал его и думал: он же тронутый, этот министр. Что же от него можно ждать для России? А когда Протопопова позвали к царю и он ушел, Алексеев непроизвольно бросился к окну и распахнул его настежь, бормоча: «Мразь... мразь...»

3

Глубокими ночами, когда в Ставке все затихало и только на узле связи щелкали телеграфные аппараты ЮЗа, Алексеев писал докладную записку царю, а днем стерег момент поговорить с ним — хотел узнать, как он относится к его предложению. Может быть, нет смысла и трудиться над проектом.

И вот такой момент представился. Царь под вечер пригласил Алексеева прогуляться в саду. Солнце быстро скатывалось за крыши домов, и в небольшом саду Ставки аккуратные дорожки уже покрыла густая тень. Ничто не нарушало тишины покойного вечера. Царь шел на полшага впереди. Он был в летней полковничьей форме, фуражку нес в руке. Алексеев был, как всегда, в своем генеральском кителе, облегавшем его плотную фигуру, и, как всегда, он испытывал некоторую неловкость от того, что император был в воинском звании меньшем, чем он, а ни на минуту нельзя забыть, что перед ним помазанник божий...

— Михаил Васильевич, какая прелесть бабье лето! А?— спросил Николай, не оборачиваясь, и, не дожидаясь ответа, продолжал:— Сегодня утром заходит ко мне милый Фридерикс и говорит: «Что-то давно ничего нет с японского фронта». Я ему: «Владимир Борисович, так там же война окончилась десять лет назад...» Тогда он перекрестился и говорит: «И то слава богу...» — Царь негромко засмеялся, через плечо поглядывая на Алексеева голубыми смеющимися глазами. Все знали: когда царь начинает рассказывать всякие смешные истории о выживающем из ума министре двора, значит, у него хорошее настроение.

— Невеселое дело старость, Михаил Васильевич,— продолжал царь.

— Ну почему?— сухим баском возразил Алексеев.— Я знаю много счастливых стариков, окруженных детьми, внуками. Плоха, по-моему, только преждевременная старость и еще хуже старость душевная.

Царь удивленно посмотрел на него и пошел дальше.

— Когда кончится война,— продолжал Алексеев,— уйду в отставку, буду в имении заниматься садом, а на лето буду созывать близких и друзей.

— Меня позвать не забудьте,— улыбнулся в усы царь.

— Вы же не приедете, ваше величество. Я нужен только для войны, а вы...— Алексеев замялся, не зная, как выразиться.— В общем, хлопот у вас после войны будет не меньше, чем сейчас. Ну а я на покой.— Алексеев помолчал и, смотря сбоку на царя, крякнул по-стариковски:— Как бы не состариться мне здесь, в Ставке.

Царь повернул к нему удивленное лицо:

— Почему вдруг такой пессимизм?

— Ваше величество, фронту исполнить свой долг может помешать тыл.

Царь остановился, внимательно и строго смотря на своего спутника. Он надел фуражку:

— Что вы имеете в виду?

Еще мгновение назад Алексеев решил не говорить до конца, но... когда еще представится такой случай?

— Все, ваше величество,— решительно сказал он.— Я уверен, ваше величество, для тыла нужен военный диктатор, который кончил бы с разгильдяйством гражданской власти, действовал по вашим повелениям и сделал бы уверенной поддержку тылом фронта. А сейчас тыл для фронта — это тревога. За все тревога: заводы не дают боеприпасы, транспорт развален, смута среди рабочих грозит параличом всей промышленности.

Царь слушал Алексеева внимательно и, как видно, не собирался возражать. Он вообще любил слушать своего начальника штаба. Ему нравилось, как он говорил — уверенно, убедительно, без лишних слов. О крепкой руке для Петрограда, для всех гражданских дел он и сам уже думал. Он только не знал, кто мог стать такой крепкой рукой.

— У вас есть кандидатура?— спросил он.

— Я думал... кто-то из великих князей...

— Сергей Михайлович?— со слабой усмешкой спросил царь, желая вызвать Алексеева на то, чтобы он назвал имя Николая Николаевича, конечно же, единственного из великих князей, который мог бы взять в руки гражданскую публику. Алексеев, конечно, знал, что Николай Николаевич неприемлемая кандидатура для императрицы, которая убрала его из Ставки, боясь, что он хочет затмить ее венценосного мужа.

— Ну нет,— улыбнулся в ответ Алексеев,— всем известна мягкость Сергея Михайловича.— И нерешительно сказал:— Почему, впрочем, обязательно великий князь? Разве оскудела земля русская на решительных людей с высоким военным званием? Найдем, ваше величество, непременно найдем.

— Хорошо...— Царь посмотрел на генерала, лицо которого было, как всегда, строгим.— Вы можете мне письменно представить ваши соображения об этом? Всю, так сказать, конструкцию той власти, которую вы имеете в виду.

— Слушаюсь, ваше величество, я сделаю это в кратчайший срок,— по-военному отчеканил генерал и вытянул руки по швам.

Царь кивнул и пошел по дорожке дальше. Алексеев неотступно за ним — сбоку, на полшага позади. На повороте дорожки, прижавшись к дереву, стоял охранник — оба сделали вид, будто не заметили его.

Царь сорвал с березки листочек, растер его пальцами и понюхал.

— Баней пахнет,— тихо засмеялся он.— Какая прелесть баня, Михаил Васильевич. Не забыли по причине пользования ваннами? Я уже забываю. Последний раз был в бане, дай бог вспомнить... ну да, еще когда стажировался в полку. А вот, говорят, у финнов бани совершенно особые, без воды. Даже смешно: баня без воды. Как же они там моются?— Царь снова понюхал растертый листок.— Нет, господа, извольте жаловать русскую баню...

Алексеев слушал его с внимательной улыбкой, а про себя дивился невероятной способности царя мгновенно отключаться от всех дел. И от каких дел! Так или иначе, больше о том главном, невероятно важном Алексеев разговора продолжать уже не мог.

Спустя три дня Алексеев вручил Николаю свою записку, и, хотя на первой ее странице стоял гриф «Совершенно секретно», к моменту, когда царь ее получил, ее содержание уже знали многие. И может быть, раньше всех английский генерал Вильямс. О военной диктатуре для спасения России как действующего военного союзника генерал думал и сам, ну а раз такой проект, и притом русского происхождения, уже есть, Вильямс счел безотлагательным осведомить царя о своем мнении.

За завтраком, когда царь, разговаривая с Алексеевым, обронил фразу, что не может понять позиции Думы по поводу земств, английский генерал, нарушая правила этикета и нисколько не смущаясь, громко сказал:

— Нам, англичанам, понять это еще труднее...

Царь повернулся к нему с застывшим лицом — в самом деле, стало невозможно спокойно поговорить о своих делах, лезут...

— Что непонятно нашему другу генералу Вильямсу?— спросил Николай по-английски, как бы отводя англичанина от разговора, который у него был с Алексеевым.

— Вы уже знаете, ваше величество, мою неисправимо прямую солдатскую душу...— продолжал на ломаном русском языке Вильямс, словно не видя недовольного лица царя и не понимая своей бестактности.— Я, ваше величество, за военную власть повсеместно!

— Ваша мысль неоригинальна,— по-русски ответил царь и повернулся к Алексееву.

Но генерал Вильямс сделал свое дело — ему нужно было только довести до сведения царя, что у генерала Алексеева есть серьезные единомышленники. А он еще сегодня обо всем этом пошлет шифрограмму в Лондон...

Когда записка Алексеева еще перепечатывалась в канцелярии штаба, с ней ознакомился свиты его величества генерал Воейков. Этот оголтелый бездельник все время болтался возле царя, хотя по

главной своей должности дворцового коменданта находиться в Ставке ему было совсем не обязательно. Если не помнить, что царь поручил ему еще и руководить внедрением спорта в армии и среди населения... Должность же дворцового коменданта не требовала от генерала никакой работы. Дворцовое хозяйство, включая охрану дворцов, вели другие многочисленные должностные лица. По статуту обе должности Воейкова не давали ему никаких ни военных, ни административных прав, но правительственные сановники всеми способами добивались его расположения. Крупные дельцы, обделывая через него свои аферы, щедро одаривали генерала. И здесь возможности у генерала были очень велики — он являлся непременным партнером царя, когда тому хотелось выпить, и слыл у него человеком прямой души и бескорыстной преданности...

С опухшими глазами, с красным носом, неряшливыми усами (он очень смешил царицу, показывая, как после еды вытряхивает из усов крошки), похмельно злой генерал Воейков в то утро бездельно слонялся по Ставке и в канцелярии наткнулся на перепечатывавшуюся записку Алексеева о военной диктатуре.

Новость потрясающая! Но кого прочат в диктаторы? Должен быть военный, но кто, кто именно? Это значит, что возле царя появится еще один генерал, да еще и с неограниченной властью в руках! Ничего хорошего это ему, Воейкову, не сулило. На всех появлявшихся возле царя военных он смотрел с одной меркой: как этот человек отнесется к нему, не отодвинет ли его от царя? И если чувствовал такую опасность, тому военному несдобровать, уж генерал Воейков найдет момент замолвить монарху памятное словечко...

Спустя три дня Воейков выехал из Ставки в Царское Село за охотничьими принадлежностями царя. В саду возле Ставки появились вороны, а государь обожает их стрелять. Воейкову эта поездка за ружьями очень кстати. Нет, нет, сам он царице о проекте Алексеева не скажет ни слова, но он знает, что именно она должна прежде всех узнать эту новость. Кто ей скажет? Дело непростое. Если Алексеев, не дай бог, узнает, от кого новость попала к ней, быть беде. Алексеева и царь слушается.

4

Воейков пустил новость обходным путем, и она дошла до царицы, когда сам Воейков уже вернулся в Ставку. В английское посольство эта новость пришла через Лондон, а туда о ней сообщил генерал Вильямс. Лондон немедленно запросил свое посольство в Петрограде — что знает и думает об этом многоопытный посол его величества английского короля сэр Джордж Бьюкенен?

Бьюкенен понимал, что отвечать Лондону можно, только зная точно, кто станет диктатором. На выяснение этого были брошены все силы посольства — вопрос был исторически важным.

Георгий Максимович Грубин прекрасно понимал, какой бедой для Германии может обернуться появление в России сильной власти, когда все последние расчеты германского генштаба были как раз на полный развал власти и страны. Война могла затянуться, а это, кроме всего прочего, отодвигало в неизвестность казавшуюся Грубину такой близкой его послевоенную жизнь на покое и в полном достатке...

Грубин немедля увиделся с Манусом. Они созвонились и встретились в кондитерской Хаммера на Невском, где по утрам обычно собирались биржевые дельцы. Открытая игра на бирже была запрещена, и сделки обговаривались где попало, и, в частности, популярным местом стали кондитерские на Невском.

А в послеобеденное время, когда там встретились Грубин и Манус, кондитерскую заполняли ее дневные посетители, главным образом пожилые дамы и гимназистки.

Они сидели за маленьким столиком в полусумеречной глубине зала. Оранжевый свет настольной лампочки проявлял из сумерек крупное налитое лицо Мануса, отражался летучим блеском в очках Грубина.

— ...Вы понимаете, что означает для нас с вами военный диктатор с неограниченной властью для тыла? — тихо говорил Грубин своим ровным, на одной ноте голосом, не выдавая своей тревоги, но стараясь посеять тревогу в душе банкира.— Прежде всего это будет означать контроль над всеми финансовыми делами. Мне сказали, что военный диктатор тыла будет утверждать каждую операцию, если она на сумму больше двадцати тысяч.

Никто Грубину этого не говорил, но он знает, где у Мануса больное место.

— Я что-то не верю,— тоже тихо сказал Манус.— Выходит, будет два царя, и оба с неограниченной властью. Не может такого быть.

— Ну, подождем — увидим,— равнодушно обронил Грубин и, окинув спокойным взглядом уютный зал, добавил:— Мне-то с моими сделками вообще наплевать.— Они помолчали. Манус думал. Сообщенная Грубиным новость не казалась ему чрезмерно важной, а главное, ему-то чего тревожиться, имея за спиной Протопопова, а за ним царицу. А Грубин перепугался от вечной своей сверхосторожности. Манус посмотрел в увеличенные очками глаза Грубина и покровительственно улыбнулся:

— Опасность вам приснилась.

Грубин поправил на носу очки, не уходя от взгляда Мануса, спросил встревоженно:

— Неужели вы, Игнатий Порфирьевич, не понимаете, в какое положение попадет правительство?..— Он снял очки, защелкнул их в роговой футляр и, смотря на двух гимназисточек, щебетавших за столиком у окна, сказал:— И мне кажется, Игнатий Порфирьевич, что снов я вам никогда не рассказывал, а мои советы, смею думать, не всегда были для вас бесполезными... наяву...

— Давайте-ка без обид, Георгий Максимович, я мог и недодумать сразу... Прошу вас, выкладывайте все...

— В свете этой ситуации...— не сразу заговорил Грубин,— вы переоцениваете возможности Протопопова, который тоже окажется под контролем. Да и известная вам дама может оказаться без сегодняшней ее власти. Вдруг то лицо окажется строптивым и не пожелает слушать ее советы?

Манус слепыми глазами смотрел на Грубина и пошевеливал на пальце перстень с сердоликом. Грубин уже знал — он думает... принимает решение.

— Спасибо, Георгий Максимович...— Он накрыл своей грузной ладонью руку Грубина.— Чек выписывать?..— И рассмеялся...

В середине июля царь получил длинное письмо-протест от совета министров, подписанное Штюрмером. В нем было две страницы доводов против проекта генерала Алексеева, получалось так, что его отвергают все государственные и общественные деятели России и Дума в том числе.

Прочитав письмо, Алексеев сказал царю:

— Держатся за свои привычки как за нечто вечное.

— Но кого, кого на этот пост?— нетерпеливо спросил царь.

Алексеев почувствовал, что монарх уже колеблется...

Идея эта окончательно перестала для царя существовать спустя несколько дней, когда он получил письмо от жены.

«Мой любимый ангел!— писала она.— Уже половина первого, и я только что легла, но я хочу начать письмо, пока я еще помню свой разговор со Штюрмером...» И дальше: «Бедняга был очень расстроен слухами, которые ему передали от лиц, бывших в Могилеве, а когда Родзянко на него набросился, он пришел в полное недоумение. Будто бы предполагается военная диктатура с Сергеем М. во главе, что министров также сменят и так далее. И дурак Родз. налетел на него, спрашивая его мнения по этому вопросу, и так далее. Он ответил, что ничего по этому делу не знает и потому у него не может быть никакого мнения. Я его утешила, сказав, что ты мне ничего об этом не писал, что я уверена, что ты никогда бы не назначил на такое место великого князя, а меньше всего С. М., у которого достаточно дел, которые он должен привести в порядок».

В другом месте письма царица снова возвращалась к этому вопросу и подчеркивала, что учреждение такой должности «поставило бы министров в нелепое положение».

Последний удар по алексеевскому проекту нанес все-таки дворцовый комендант генерал Воейков. Царь позвал его к себе перед обедом выпить по рюмочке. Генерал держался мрачно, вроде бы даже не хотел пить...

— Вы больны?— встревожился царь.

— Я нервничаю,— угрюмо ответил Воейков.

— Что случилось?

— Да вот слышал разговоры о новом диктаторе для России и думаю, до чего память людская коротка. Был же у нас такой второй диктатор России, который хотел стать первым,— великий наш князь Николай Николаевич. Был же ведь он, ваше величество! Слава богу, вовремя убрали. А теперь все снова-здорово.

Царь не ответил, задумался. В эту минуту проект генерала Алексеева о военной диктатуре для тыла перестал существовать и превратился в конце концов в нелепейшее распоряжение царя, по которому каким-то диктатором с половинной властью стал премьер-министр Штюрмер, который и до этого не мог справиться со своими обязанностями, потому что в своем старческом маразме он уже не понимал самых простых вещей... Да и вообще он вскоре был снят...

Так вершились дела в высших кругах царской власти, когда русские солдаты на всех фронтах погибали за царя и отечество...

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

1

Карл Перен появился в русской столице зимой 1913 года. Он снял в гостинице «Гранд-отель» двухкомнатный апартамент и прикрепил на двери скромную визитную карточку: «Доктор Карл Перен».

Спустя несколько дней в газете «Новое время» появилось объявление: «Прорицатель будущего доктор К. Перен. Оккультные знания по новейшим данным. Наука об уме. Магнетическая концентрация (не путать с гипнозом)».

Выписав адреса из справочной книги «Весь Петроград», Перен разослал сотни писем о своих способностях угадывать будущее и сообщал, что им сделаны полностью подтвердившиеся предсказания коронованным особам, в том числе английскому королю и бельгийской королеве.

Скоро в великосветских салонах Петрограда появилась интереснейшая тема для разговоров: необыкновенный прорицатель будущего Карл Перен. Из уст в уста передавались истории о его сбывшихся предсказаниях.

Мосье Перен стал достопримечательностью великосветских кругов, о нем говорил «весь Петербург», и нет ничего удивительного в том, что Протопопов пожелал с ним познакомиться,— он был склонен ко всяческой мистике. Страдая неизлечимым недугом, он уже не раз обращался ко всяким чудодеям-исцелителям и даже к гадалкам. Среди российских промышленников он слыл дельцом хитрым и удачливым, а вот если кошка перебегала ему дорогу, он стоял, считая до ста тринадцати, или возвращался назад. Однако до осени 1915 года Протопопов не встречался с Переном и впоследствии признался ему, что он даже избегал знакомства с ним, так как боялся, что он предскажет ему несчастье, а то и смерть.

Прорицатель будущего господин Перен заинтересовал русскую военную контрразведку, как только он появился в русской столице. Перен именовал себя гражданином французской республики, паспорт у него был американский, а говорить он предпочитал по-немецки. В пограничном регистрационном листке в графе «Цель приезда» Перен записал: «Публичная демонстрация магнетических опытов с целью заработка». Но в Петрограде, сняв дорогой номер в гостинице, он потом никаких публичных выступлений не устраивал. Главное подозрение вызывало то, в каком кругу людей он стал вращаться и делать свои индивидуальные предсказания,— как правило, это были люди с положением, причастные к государственным учреждениям, политическим партиям или военным делам. Причем далеко не всегда с большими деньгами.

Когда началась война, Карл Перен начал всячески выказывать свою принадлежность и преданность тройственному согласию, внес и сообщил об этом в газете 300 рублей на текущий счет Красного Креста. В первые дни войны он посетил французское посольство, где оставил письмо, в котором объявлял себя добровольцем французской армии, готовым по первому зову отбыть во Францию. Письмо его было оставлено без последствий — кстати, в нем он и не указал даже своего адреса.

Теперь Перен с особой настойчивостью добивался знакомств в военных кругах. Контрразведка, зная об интересе к прорицателю в высоких сферах, успокоилась только тогда, когда Перен выехал из России. Пограничная жандармерия получила строгий приказ больше Перена в Россию не впускать...

Уехал он в конце 1915 года, вскоре после того, как его услугами воспользовался Протопопов...

2

Перен продиктовал тогда Протопопову перечень счастливых и несчастливых для него дней. И позже, давая показания следственной комиссии Временного правительства, Протопопов утверждал, что эти дни удачи и бедствий Перен предсказал ему с удивительной точностью. Но главное — это предсказание ему большой государственной карьеры.

Меж тем прорицатель Перен осел в Швеции и здесь узнал, что его восторженный поклонник стал министром внутренних дел России. С этого момента начинается новый тур их отношений.

Протопопов однажды получил от него письмо, полное тревоги за его дальнейшую судьбу. Какие-то запоздалые флюиды заставили чуткого прорицателя издали срочно предупредить Протопопова о том, что есть новые числа месяца, которые для него очень опасны. Но он может сообщить их ему только лично. Далее Перен писал:

«...Я избрал вас потому, что знаю, что вы этого достойны, потому что поверил в вас и в ваше будущее и делал опыты с большим

успехом и еще большие успехи ожидают вас: положение, титул, величие, и они получатся скоро, под вашим управлением возникнет сильная новая счастливая Россия, правда, путь ваш не всегда будет усыпан розами, работа ваша будет трудна и обременительна, но вы преодолеете все препятствия и все затруднения, присущие государственному деятелю. Я утверждаю, что вы осуществите все свои честолюбивые мечты и вас ожидает даже большее, чем вы думаете, но нет розы без шипов, и я боюсь за вас, что вы подвергнетесь болезни между ноябрем текущего года и сентябрем 1917-го...»

«...Я действительно имею силу, но необходимо, чтобы вы осуществили все мои надежды, и только при этом условии я прибуду, но, так как во мне многие нуждаются, попросил бы дать мне знать об этом в продолжение месяца. Само собой разумеется, что, приеду ли я к вашему высокопревосходительству или нет, все это останется между нами, как и все находящееся в связи с моим делом в том случае, если я буду там».

И наконец, Перен сообщал, что безотчетное чувство подсказывает ему, что сейчас ему надо быть в России, возле Александра Дмитриевича, чтобы всего себя отдать познанию его судьбы и отвратить от него беды и несчастья, которые толпятся за его спиной. Это чувство настолько сильно овладело им, что он уже направляется в Россию, но, так как он ожидает сложности с оформлением этой поездки, он просит Протопопова оказать ему помощь, отдав соответствующее распоряжение по своему ведомству...

Протопопов немедленно отдает такое распоряжение начальнику департамента полиции Васильеву. Но распоряжение это (невыполненное) оказалось в военной контрразведке. Видимо, Васильев лучше Протопопова знал, кто такой Перен, но сам отменить распоряжение министра не мог и перебросил его в контрразведку. А там офицер оперативного отдела Сосновский пишет следующую справку: «Ввиду имеющихся данных о г-не Перене... о разрешении ему вернуться не может быть речи...»

С этой справкой начальник департамента полиции Васильев идет к Протопопову. Положение у него щекотливое — главное, он не собирается признаваться, что распоряжение министра он сам отправил в контрразведку. Весь разговор следовало лишить официальной основы и свести к советам и рекомендациям чисто дружеского характера...

Вот какое объяснение об этом представил позже Протопопов следственной комиссии Временного правительства (написано им собственноручно).

«Господину Председателю Верховной следственной комиссии.

Дополнительное показание

Сношения с Переном (20 апреля) [1]

1. Телеграмма моя Перену была ответом на его депешу: «Получили ли вы мое письмо?» Я ответил, что письмо получил, благодарю. Прибавил ли в депеше, что ожидаю следующего письма,— не по-

[1] 20 апреля 1917 года — дата написания показания.

мню твердо, но прибавить мог, так как очень интересовался его предсказаниями.

2. Письмо его лежало у меня на столе, оно относилось к февралю, содержало числа дней, в кои я должен быть осторожен, и сообщение продолжать предсказания.

Не прекратил я сразу получение писем решительною депешею, а послал свой ответ о невозможности его приезда по военным обстоятельствам, потому что не уяснил себе положения после слов Васильева, передавшего мне дело слишком мягко, приблизительно так: «Лучше оставить это дело (приезд Перена в Россию), против его приезда во время войны возражают». Я спросил: «Есть что-нибудь серьезное?» — «Нет, но лучше оставить, не настаивать». После этого разговора я сказал послать ему ответ, ответ составлял нач. канцелярии Писаренков. Его редакцию «Votre arrivée impossible» [1] я изменил в его присутствии, прибавив по-русски «по военным обстоятельствам» или «вследствие военного времени, после войны сообщу». Перевод канцелярии кончался «donnerai nouvelles ultérieurement» [2]. Эта депеша и была послана, слово «сообщить» перевели: «donnerai nouvelles» [3].

3. Перена видел раз во время гадания, в конце 1915 года [4], более никогда его не видел. Считал его американцем [5].

А. Протопопов».

Получив отказ на въезд в Россию, Перен долгое время оставался в Стокгольме и почти ежедневно и вполне открыто посещал немецкое посольство...

Разведки союзных стран Англии и Франции, обеспокоенные возней с Переном и зная о его связи с Протопоповым, предприняли собственную проверку прорицателя и полученные данные спешно передали своим русским коллегам. И вот тут мы находим немало интересного...

«...Представитель американского посольства выразил сомнение в том, что Перен американец, и высказал предположение, что он немецкий шпион...»

«...Разговаривая всегда на немецком языке, Перен старался распространять ложные слухи в пользу Германии и своим поведением внушал сомнение, что он американский гражданин, а не германский подданный, занимающийся шпионством; корреспонденцию Перен получал из Дании и Гельсингфорса, сам показывал одно письмо из Германии... содержавшее угрозы по адресу России...»

«...По данным английской контрразведки... Карл Перен — американский гражданин австрийского происхождения, называет себя хиромантом, «опасный проныра», был указан английской

---

[1] Ваше прибытие невозможно (*фр.*).
[2] Новости сообщу позднее (*фр.*).
[3] Сообщите новости (*фр.*).
[4] Неправда. Они виделись несколько раз.
[5] Почему он вдруг объявляет его американцем, непонятно.

разведке как подозрительный из Петрограда; невеста или любовница Перена — Гетгебюр, проживает в Петрограде. Об этой женщине, бельгийской подданной Алаиде Гетгебюр, проживающей ныне в Петрограде, английская контрразведка получила дополнительные сведения, что она недавно исчезла из Стокгольма, где она жила с австрийцем, натурализованным американцем, ведущим деятельную кампанию в пользу сепаратного мира...»

«...По данным, полученным из Швеции, Перен — еврей из Австрии, натурализованный в Америке; состоит в Стокгольме корреспондентом русского министра Протопопова и его посредником в переговорах относительно сепаратного мира. Он не скрывает, что состоит на жалованье у германцев. Между Протопоповым и Переном происходила до последнего времени переписка при посредстве официальной вализы российской миссии в Стокгольме...»

«По данным французской контрразведки, из лиц, действующих под его (Перена) руководством, можно считать, между прочим, германского банкира Вартбурга из Гамбурга [1], в обществе которого его (Перена) видят...»

В общем, можно уже не сомневаться в том, кем был на самом деле научный прорицатель будущего Карл Перен, за что и во имя чего он так преданно полюбил русского министра внутренних дел.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

1

Теперь мне ясно: главный мой враг — Дума,— сказал царь Протопопову после его очередного доклада о положении в Петрограде.

Протопопов молчал, низко склонив голову.

Одно напоминание о Думе повергало русского царя в прескверное настроение. Он проклинал день, когда подписал указ о создании Думы, проклинал советников во главе с тогдашним премьером Витте, которые уверяли его, что создание Думы спасет монархию от взбунтовавшейся черни. Не Дума должна была покончить с бунтом, а полиция и гвардия. Как делал это Столыпин.

Последнее время царь просто не может понять, кому служат эти люди из Думы. Его пугает пример с Протопоповым. Он же ведь оттуда. Был там одним из главных, вторым после Родзянко; а ведь оказался милейшим человеком и, главное, необходимейшим и полезным монархии. И расплевался со своей Думой в два счета. Значит, ничего святого у него там не было. А остальные что? Для царя остальные — это не больше десятка фамилий: Родзянко, Милюков, Пуришкевич, Шульгин и другие, кто чаще всех вылезает на думскую трибуну и произносит дерзкие, опасные речи. Монарха беси-

[1] Тот самый Вартбург, с которым Протопопов встречался в Стокгольме, возвращаясь из Европы.

ло, что никто из думских не пытался стащить таких ораторов с трибуны. Более того, в зале раздавались аплодисменты. Царь требовал у министра внутренних дел установить пофамильно, кто хлопал.

На этот раз царь принимал Протопопова в чайной комнате. Они сидели у большого стола, покрытого полотняной, вышитой крестом скатертью,— царь во главе стола, министр — поодаль сбоку, и ему все время приходилось сидеть, повернув голову к монарху, и у него болела шея. Особенно трудно было почтительно склонять голову, тогда еще в подбородок врезался жесткий крахмальный воротник... Скорей бы уж отпустили — доклад сделан, что еще надо?.. Возле царя на специальном столике стоял шарообразный самовар, любимый им подарок Тулы к трехсотлетию дома Романовых. А Протопопов все время видит в самоваре свое карикатурное отображение, и это не к месту бесило его.

А царь все думает о чем-то... И вдруг озадачивает:

— Вы боитесь Родзянко и его компании?

— Почему же бояться...— смешался Протопопов, не зная, не ведая, куда клонит царь.

— Встретьтесь с ними,— приказно произнес царь.— Я хочу знать, на чем они могут остановиться?

— Я могу им что-то предложить?— тусклым голосом спросил Протопопов, совершенно не представляя себе, как он может говорить об этом с отвернувшимся от него председателем Думы.

— Этот их прогрессивный блок. Что им надо, что?— Царь гневно смотрел на своего министра.

— Ваше величество, им нужна власть, и больше ничего,— ответил Протопопов и, помолчав, с тоской в голосе добавил:— И еще меня хотят извести из жизни...

— Это же ваши недавние единомышленники... друзья,— сказал царь, смотря на министра с ожиданием.— Ну что вы, в самом деле, за люди, господа политики?

— Какая, ваше величество, дружба среди политиков,— все с той же тоской ответил Протопопов.

— Какая же, Александр Дмитриевич? Какая?

— Эта дружба, ваше величество, до первой министерской вакансии!

— Значит, и этим прогрессивным тоже давай власть?— торжествующе произнес царь. Он, встав из-за стола, прошел к окну и с минуту стоял там, смотря в замутненное дождем стекло. Потом, обернувшись, через плечо спросил:— А Родзянко нужно главное кресло?

— И мое кресло тоже,— тихо, со вздохом ответил Протопопов.

— Это что, серьезно?— Царь вернулся к столу, но не сел.— Что-что, а поста министра внутренних дел им не видать,— твердо сказал он и в это время увидел на внезапно порозовевшем лице министра идиотски-блаженную улыбку. С изумлением глядя на

него, царь сделал к нему шаг — неужели он в самом деле ненормальный?

Протопопову было плохо, приступ накатывался теплыми волнами, щекотно пульсировал где-то в затылке. Он широко улыбался, собирая все силы, чтобы оттолкнуть надвигающееся. Последним усилием воли он заставил себя сидеть, не облокачиваясь на спинку стула, медленно достал платок и, низко опустив голову, приложил его к мокрому лбу.

— Ваше величество, устал я до последней крайности,— тихо сказал он.— Но волю вашу выполню. Я встречусь и поговорю с ними. Только сомневаюсь, что они будут со мной искренни. Они прекрасно знают, ваше величество, как я предан трону и вам. А ведь все замыслы, как они их ни прячут, против трона и вас.

Протопопов говорил серьезно, спокойно, с точной логичностью каждого слова, и царь, тут же забывший о странной его улыбке, сказал благосклонно:

— Это надо сделать, Александр Дмитриевич. Я знаю, чего вам это стоит, но надо... надо...

2

Ничего хорошего для Протопопова из этой затеи царя не вышло. Хитрый Родзянко заманил его в ловушку — предложил встретиться у него дома, сказал, что сперва они должны поговорить вдвоем. А когда он пришел, там оказалась целая дюжина думцев, чуть не весь их прогрессивный блок: и Милюков, который пустил про него прозвище «Гришкин кафтан», и Шульгин, на ядовитый язык которого только попадись, и Шингарев — ученый чистоплюй, и граф Капнист — хитрейшая бестия без бога в душе, и Энгельгардт со своей родословной спесью, и еще какие-то, он потом даже не мог всех в точности припомнить — так он там перенервничал, не успевая огрызаться на все их оскорбления.

Когда еще из передней он через открытую дверь увидел там всех, первая мысль — немедленно уйти, но Родзянко подхватил его за плечи и втолкнул в кабинет.

Даже мебели не хватило — кто сидел, кто стоял. Его усадили в кресло в углу под иконой Михаила Архангела. Никто даже не поздоровался.

— Мы слушаем вас, Александр Дмитриевич,— с места в карьер начал Родзянко.

Протопопов обратился только к нему:

— Михаил Владимирович, я подготовился говорить только с вами... запросто... по душам... и чтобы ничто не вышло из этой комнаты...

Вскочил Милюков, так резко вскочил, что кресло чуть не опрокинулось.

— Пора секретов прошла!— заговорил он громко, точно с трибуны.— Все всем давно ясно! И надо думать, вы хотели раз-

говаривать не об интимных семейных делах, а тогда я просто обязан сообщить своей фракции в Думе, какими откровениями пожаловал нас министр внутренних дел!

— В таком случае я ничего не скажу...— Протопопов попробовал встать, но тело будто свинцом налилось.— Я хотел разговора товарищеского.

Милюков подбежал к нему, навис над ним, забрызгал на него слюной:

— Вы нам не товарищ! Вы в одном хомуте со Штюрмером, который помогает врагам России! Вас в кресло министра посадил Гришка Распутин, и вы счастливы!

— О Распутине я вам отвечу,— начал Протопопов и, остановившись на секунду, сказал: — Но это секрет.

— Секрет полишинеля!— издали крикнул Шингарев.

— Видит бог, я хотел с вами столковаться, но, если я вам враг, говорить не о чем...

Наступила пауза. Думцы переглядывались. Щеголеватый Шингарев сказал, как всегда, по-ученому:

— Мы хотели бы выяснить, можем ли мы быть товарищами. Априорно принять вас как своего товарища мы не можем. Слух о том, что вы креатура Распутина, похож на правду. Вы вошли в правительство, которое возглавляет Штюрмер, а ему не доверяет вся Россия. Вы же публично заявили, что программа Штюрмера — ваша программа, и доказываете это своими делами. Вы даже сюда предпочли явиться не в скромном сюртуке, а в мундире жандармского ведомства; согласитесь, что эта форма в принципе мало располагает к товарищеской беседе. Так объясните нам все это...— Говоря это, Шингарев сидел, развалясь в кресле и поигрывая пальцами, а потом сделал в его сторону широкий приглашающий жест...— Мы слушаем вас...

— Я тоже скажу...— Протопопов обвел их взглядом...— Какой может быть товарищеский разговор, если вы сразу делаете из меня подсудимого. Мало того, господин Милюков грозится завтра же опубликовать мои слова в газетах...— Он замолчал, не зная, что говорить дальше, мысли путались, наскакивали одна на другую. Протопопов поднял голову и начал повышенным голосом:— К моему назначению Распутин не имеет никакого отношения! Я личный кандидат государя, которого я теперь узнал ближе и горячо полюбил!

Он смотрел на всех со злой усмешкой — что же вы приумолкли, голубчики? Давайте признавайтесь, что вы-то государя не любите... Молчите? Тогда я вам добавлю еще.

— Каждый мой шаг в министерстве — это исполнение воли государя.

Прокашлялся Шульгин. Протопопов посмотрел на него — ну что ты скажешь, лысая ехидна?

— Мы должны прежде всего прояснить наши отношения. Я осуждал вас публично и все могу повторить сейчас... Но мы не знаем, что о вас думать: то ли вы мученик и пошли в министерство

с целью сделать что-нибудь прогрессивное, или вы честолюбец и увлеклись блестящим положением, зная, что ничего сделать не можете. Кто вы в самом деле? Были люди, которые вас любили, уважали, а теперь ваш кредит очень низко пал...— Шульгин еще долго говорил в таком же роде, употребляя, однако, словечки осторожности вроде «допустим», «предположим», «если верить»... В смысл того, что он говорил, Протопопов не вникал, а вот эти словечки слышал явственно, и его радовало, что ехидна все же его боится. Да и все они, черт побери, должны бояться! Они же понимают, что он еще сегодня может каждое их слово передать царю...

— Если здесь мне говорят, что меня больше не уважают, то на это ответ может быть дан не в обществе, а лицом к лицу, с пистолетом в руках...— Кто-то засмеялся, но Протопопов даже не обернулся и продолжал, повысив голос:— Что же касается отношения ко мне общества, сужу о нем каждый день в часы приема мною обездоленных и страдающих — никто еще не уходил от меня без облегчения. Это общество меня ценит. Ваша поддержка мне, конечно, нужна, но я ее не нашел. Что же делать? Я пойду дальше без вас, но с моим любимым государем. Я исполняю его волю, ибо я всегда именовал себя монархистом. А вы хотите потрясений, перемены режима, но этого вы не добьетесь!

Протопопов с торжеством наблюдал, что его судьи прячут глаза от его прямого взгляда,— что же это вы засмущались, господа хорошие? Можете мое заявление завтра опубликовать в газетах! Обожглись, господа?

И в самом деле, разговор сразу лишился прежнего накала, а Милюков даже нашел нужным принести извинения за повышенный тон его прежних заявлений и сказал, что его мысль о публикации содержания данной беседы отнюдь не является обязательной.

Разговор сам собой прекратился. Протопопову было ясно, что никакого примирения с блоком у него быть не может и царь тоже не найдет с ними общий язык. Сознание этой объединяющей его с царем ясности вселило в него уверенность, и он неожиданно для себя вскочил с кресла и крикнул:

— Я министр внутренних дел — карающая рука монарха, а не адвокат для либералов, рвущихся к власти! Всякие ваши намеки на несовершенство власти — что это такое? Подкоп под монархию — вот что это такое, и я займусь этим как министр!

— Думайте, что вы говорите!

— Вы грозите народным избранникам!

— Власть нужна только вам!

Протопопов не разбирал, кто это кричал, но, когда подошедший к нему Капнист сказал, что ему нужно, пока не поздно, отказаться от поста министра, он оттолкнул его и крикнул:

— Вопреки всяческим критиканам я спасу Россию! Спасу! Вы это увидите!

В наступившей тишине послышался спокойный голос Шингарева:

— Александр Дмитриевич, я врач, и я советую вам идти домой, принять лекарство, лечь в постель...

Как он оттуда ушел, Протопопов не помнил. Соображать начал только на улице, когда увидел у подъезда шпика, по его приказу сюда поставленного, и ожидавший его автомобиль...

На другой день утром он докладывал царю о своей вчерашней встрече, говорил спокойно, обстоятельно, но так, чтобы его величеству было понятно, какой тяжелый бой провел он там за интересы самодержавия и как непримирим он был к каждой попытке бросить тень на священное царское имя.

— Ваше величество, ни о каком сговоре с ними не может быть и речи. В течение нескольких часов я пытался разъяснить им мудрость ваших деяний, но куда там, они и слушать не хотели, давай им власть, и притом такую, чтобы монарх остался ни при чем...— усталым голосом закончил он свой доклад...

Царь долго молчал, смотря в сторону, потом медленно перевел взгляд на своего верного министра:

— Я вижу, вам было нелегко, Александр Дмитриевич... но это следовало сделать... нам с вами следовало знать, что у них на уме...

И вот это «нам с вами» было для Протопопова высшей наградой за вчерашние переживания и новым подтверждением, что царь с ним и бояться ему нечего...

3

Немецкий посланник в Швеции фон Люциус был испытанным служакой германской дипломатии и разведки. Он работал в Албании при дворе князя Вильгельма Вида, доставленного в эту страну из Германии, и он был среди тех, кто готовил эту «операцию» по вознесению немца на албанский престол. Он работал, кроме того, в Париже, в Софии и некоторое время был советником посольства Германии в Петрограде. Когда перед самой войной его назначили посланником в Швецию, учитывалось прежде всего знание им России — немецкая разведка заблаговременно предусматривала, что нейтральная Швеция может стать идеальным плацдармом для выхода через Финляндию на Россию. Руководитель немецкой разведки подполковник Николаи уже после войны свидетельствовал, что, «не будь у Германии шведского коридора, трудно даже представить, как могли бы мы развернуть успешную работу против России».

Немецкие разведывательные центры и резиденты во время войны действовали в Стокгольме, Гетеборге, Мальме, Хапаранде, Сундсвилле и в других городах Швеции. Отсюда каналы разведки шли в Россию через Финляндию, Эстонию и Латвию. В Стокгольме главным лицом в этом большом хозяйстве был фон Люциус. Высокий, худощавый, с красивым лицом, всегда готовым к мягкой, располагающей улыбке, он в отличие от других дипломатов держался очень свободно, умел рассказывать веселые истории, причем фи-

гурировал в них сам и непременно в роли совершающего какой-то нелепый поступок, который и вызывал смех. Но многие знали, что это была одна из черт его умной и коварной натуры. Действовал он очень осторожно, чтобы не дать повода обвинить его в недипломатической деятельности. Когда возникла возможность свидания с возвращавшимся из поездки в Европу Протопоповым, свидания, которое должно было стать крупной провокационной операцией немецкой разведки, фон Люциус в последнюю минуту отменил свое решение самому встретиться с русским деятелем и вместо себя послал своего агента.

Русский посланник в Стокгольме Неклюдов вел явно неравный поединок с фон Люциусом: он пытался вести наблюдение за немецким посольством, считая своей главной задачей, как писал он в одном донесении, «раскрыть истинное лицо немецкого посланника Люциуса и его штата». Но, чтобы справиться с этим, у него не было ни собственного умения вести такую работу, ни достаточного количества опытных сотрудников. Впоследствии Люциус эту деятельность русского посланника назовет попыткой поймать аэроплан сачком для ловли бабочек...

В этот день фон Люциус как посол должен был присутствовать на торжественном приеме у короля Швеции. Такие приемы выглядели весьма своеобразно — в одном зале вместе присутствовали дипломаты воюющих сторон. Остальные обожали наблюдать происходившие при этом всякие казусные истории и непременно сообщали о них своим правительствам. Фон Люциус на таких приемах позволял себе даже специально «работать на публику» — он перехватывал взгляд Неклюдова и сам в это время улыбался.

Сегодняшний прием фон Люциусу был до крайности некстати — в этот час в Стокгольм должен прибыть связник из России, и встречу с ним нельзя ни поручить другому, ни перенести, ни даже на минуту передвинуть. Связник прибывает на рейсовом финском пароходе и сойдет с него на причал порта во время остановки, а затем снова поднимется на борт.

Это было крайне важное дело — прибудет не простой связник, а выполняющий важнейшее задание агент Хельмер. Он уже давно законспирирован в качестве сотрудника финского общества Красного Креста и вот уже более года выполняет особо ответственные поручения, поддерживая связь с находящимся в Петрограде другим немецким агентом, от которого он сейчас и везет сообщение огромной важности, которое ждут в Берлине с нетерпением и тревогой. Дело в том, что некоторое время назад из Петрограда пришло сообщение агента, будто русский царь под давлением генералов собирается ввести в России военную диктатуру. Агенту было приказано заняться только этим и срочно сообщить, подтверждается ли этот слух. Тревога Германии понятна — вдруг ни с того ни с сего, совершенно неожиданно в России вводится военная диктатура, создается сильная власть военных. Сама Германия к этому времени была на пределе своих возможностей продолжать войну. Было от чего встревожиться. Фон Люциус каждый день получал

шифрограммы из Берлина, требовавшие срочного выяснения этого вопроса...

Сегодня Люциус наконец сможет ответить Берлину. Да и сам он очень волновался — что там, в донесении?

В назначенный час Люциус появился в королевском дворце, показался перед всеми официальными лицами, которым положено было знать, что он здесь, а затем незаметно ушел с приема и помчался в порт.

Хельмер сошел по трапу на причал и, как всегда, направился к портовой лавочке, торгующей газетами и всякой дребеденью «на память о Швеции». Люциус прошел за ним в лавочку. И у Хельмера и у Люциуса в руках были совершенно одинаковые свертки из синей бумаги. В лавочке был применен древний как мир прием обмена свертками. Хельмер, положив свой на прилавок, стал копаться в безделушках, а Люциус, положив рядом свой, заинтересовался газетами. Потом каждый взял не свой сверток, и они вместе вышли. Некоторое время они шли рядом.

— Как торговец? — спросил Люциус об агенте.

— Как всегда, он торговец надежный,— улыбнулся Хельмер.

— Как выглядит Петроград?

— Радостно плохо.

И они разошлись. Хельмер направился на борт парохода, а Люциус помчался в посольство. Там он нетерпеливо вскрыл сверток и прочитал донесение. Агент сообщал, что идея военной диктатуры отвергнута царицей и правительством Штюрмера.

Люциус немедленно послал шифрограмму в Берлин, а сам вернулся на прием в королевский дворец...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

1

Фердинанд Августович Крюге, как и Грубин, был давним немецким агентом и занимался в России главным образом экономическим шпионажем. Еще в конце 1914 года им заинтересовалась военная контрразведка. Подозрения вызвала настойчивость этого коммерсанта, с какой он всякий раз при заключении сделок требовал данных по той отрасли промышленности или предприятия, с которыми прямо или косвенно была связана сделка. Причем было установлено, что в большинстве случаев, получив такие данные, Крюге сделки не заключал, мотивируя свой отказ неперспективным состоянием объекта. И наконец, подозрение усиливала его близость к прогерманскому банкирскому дому «Юнкер и К° ».

Однако военная контрразведка решила, что заняться делом Крюге должна гражданская контрразведка, и материалы первичной разработки Крюге были направлены в министерство внутренних дел. В сопроводительном документе переброска дела обосно-

вывалась тем, что собственно финансовая деятельность не является сферой внимания военного ведомства. А там некий чиновник охранки (подпись похожа на опрокинутую лиру) составил по делу резюме, в котором утверждал, что интерес деловых людей к объектам своего капиталовложения не является бесспорной уликой и может свидетельствовать лишь об осторожности или о разумной расчетливости владельца капитала. Автор резюме ссылался на полученную им компетентную на этот счет консультацию председателя правления Петроградского международного банка С. С. Хрулева о том, что подобная требовательность вкладчиков капитала — характерное явление в период неустойчивости в промышленном предпринимательстве... На этом резюме еще чья-то резолюция: «Все же иметь в виду, но без специального расследования в данное время».

Так, вольно или невольно, был спасен Крюге. Скорее, впрочем, вольно... Министр Хвостов воскликнул однажды: «Не пора ли мне выставить караул у моего личного сейфа!» Он воскликнул это после того, как секретнейший документ министерства, в котором обосновывалась перед царем необходимость увеличения штата полиции, оказался опубликованным в немецких газетах...

Так или иначе, Крюге продолжал действовать и занимался уже не только экономикой. У него было свое, не менее важное, чем у Грубина, задание...

Германия переживала тяжелое время. Война на двух фронтах: на западе против Франции и Англии, а главное, на востоке против России — истощила и измотала ее армию, привела экономику в крайнее напряжение. В стране росло недовольство войной. Падал авторитет кайзера. Все ощутимей была угроза революции. Надо было торопиться...

Немецкая разведка начала операцию «Крещендо», в которую был включен и Крюге.

Сделки Крюге с Рубинштейном в Кисловодске были только началом их сближения. Крюге отлично знал о связях Рубинштейна с распутинской шайкой и понимал, что оттуда он сможет получать ценнейшую информацию любого характера. Но теперь Германии была нужна не только информация.

Крюге был уверен, что Рубинштейн может сделать для него очень много, но он знал, что Рубинштейн даром шага не шагнет и что услуги его будут стоить очень дорого. Однако Берлин разрешил ему не скупиться.

Но Крюге решил, что одних денег при этой сверхответственной ситуации недостаточно, нужно так привязать Рубинштейна к Германии, чтобы это стало для него делом жизни и смерти. И Крюге придумал план такой привязки...

Он отправил в Берлин подробное описание своего плана. Спустя неделю получил одобрение и рекомендацию предварительно найти способ гласно представить Рубинштейна как патриота

России. Это нужно было сделать, так сказать, в порядке противовеса...

Вскоре они встретились в отдельном кабинете ресторана «Донона». Ресторан этот был очень дорогой, вызывающе роскошный. Всем, начиная с окованных латунными полосами дверей, за которыми гостей встречал не традиционный бородатый швейцар, а респектабельный господин в смокинге, изъясняющийся на разных языках, и до отдельных кабинетов, оформленных в английском, арабском и даже китайском стиле, хозяин ресторана как бы говорил своим гостям: вы видите, я не пожалел средств на свое заведение, и вы должны об этом помнить. В меню «Донона» цены яств не указывались...

Рубинштейн здесь завсегдатай, и встречать его вышел сам управляющий. Он провел их в английский кабинет, обставленный чопорной старинной мебелью, с камином, оленьей головой с ветвистыми рогами над ним и копиями картин Констэбля на стенах.

Заказали только кофе с коньяком, и Крюге сразу приступил к делу:

— Дмитрий Львович, есть ли у вас желание положить в карман примерно двадцать миллионов рублей, причем в основном в иностранной валюте, а главное, с приложением с вашей стороны минимальных усилий, так как операцию будут проводить другие люди. И даже не здесь, не в России.

— Я весь внимание,— небрежно обронил Рубинштейн и, откинувшись на спинку кресла, расстегнул верхние пуговицы глухого жилета.

Крюге тонкими узловатыми пальцами размял папиросу, закурил, выпустил вверх струю дыма.

— Коротко, суть в следующем...— начал он ровным шелестящим голосом.— Вы, безусловно, знаете, что в банках Германии заморожены русские процентные бумаги на громадную сумму.

— Как не знать, там засохли и мои денежки, к счастью, небольшие,— кивнул Рубинштейн.

— Если верить справке международного банка, опубликованной перед войной,— продолжал Крюге,— речь идет о миллиардной сумме. Для немецких финансистов этот капитал мертвый, причем даже без реальной надежды оживить его и после войны.

— Как же так?— Рубинштейн вскинул голову и впился в Крюге круглыми черными глазами.— Вы же сами говорили, что после войны финансовые дела России и Германии возродятся с новым размахом.

— Это, Дмитрий Львович, бесспорно,— невозмутимо ответил Крюге.— Но, во-первых, часть процентных бумаг принадлежит лицам и объединениям лиц, которые в силу разных причин уже перестали существовать, так что немцам предъявить эти бумаги к оплате будет попросту некому. Во-вторых, тревожно выглядит перспектива с процентными бумагами, гарантированными самим русским правительством. Где оно, то русское правительство предвоенного времени, которое давало гарантии? Не явится ли после

войны правительство, которое попросту откажется от ответственности за эти бумаги? Достаточно вспомнить, как обанкротились те же немецкие финансисты, когда Франция стала республикой. Это трудно вспомнить нам с вами, но они-то это помнят. Такие вещи нашим братом не забываются, не так ли?

Рубинштейн кивнул, спрятал глаза... Он уже догадывался об идее Крюге. И хотя еще не представлял себе технической стороны дела, уже прекрасно понимал, о каких грандиозных суммах может идти речь. И главное, в валюте.

— Ну вот...— продолжал Крюге, понимая, что его зерна падают в хорошую почву.— Я знаю в союзной нам Франции солидных деловых людей, которые готовы произвести перекупку этих русских бумаг. Они уверены, что в отношении союзника по войне Россия ни при каких ситуациях не откажется от ответственности за русские бумаги. Но они ставят одно условие: они не хотят, вернее, не могут вступать в прямые отношения с немецкими банками. Короче говоря, нужен посредник, и он есть. Это финансисты двух нейтральных стран — Швеции и Швейцарии. Они изъявляют готовность на эту сделку на условиях пяти процентов с оборота. Побожески берут, надо признать. Но...— Крюге стряхнул пепел в хрустальную пепельницу, жадно затянулся и сказал, выбрасывая слова вместе с дымом:— Они хотят иметь какую-то гарантию и требуют оплаты комиссионных услуг вперед. Их можно понять, они тоже встревожены неустойчивостью экономического мира. И эту гарантию должны предоставить им вы. Мне она не по плечу.

— Примерная сумма?— спросил Рубинштейн.

— Порядка двух-трех миллионов,— ответил Крюге и поспешно добавил:— Но эти деньги вам из своего кармана выкладывать не придется. Вам нужно будет только по завершении операции выделить эту сумму от своей прибыли, которую гарантируют французы.

В мозгу Рубинштейна цифры отпечатываются, как в бухгалтерской ведомости, каждая в своей графе: приход-расход-прибыль. Сделка грандиозная! Но что-то больно чиста прибыль... Ах да... Он посмотрел на Крюге:

— Какова ваша доля?

— Пять миллионов,— твердо ответил Крюге.

— Что же получается?— уже вслух подсчитывает Рубинштейн.— Если мы возьмем ваш оптимальный вариант — двадцать миллионов, то после всего у меня останется десять. Что-то не очень того-с.

— Помилуйте, Дмитрий Львович, как можно так считать?— взмолился Крюге, отгоняя рукой папиросный дым.— Фактически вы получаете десять миллионов за стоимость вот этого...— Крюге показал на забытый ими кофейник и графин с коньяком.— Расход — нуль рублей нуль копеек. Доход десять — десять!— миллионов. Побойтесь бога, Дмитрий Львович. Я все-таки беру на себя всю организационную сторону операции, чем, кстати заметить, предохраняю вас от всякого риска.

Рубинштейн несколько секунд молчит, смотря в глаза Крюге, и произносит энергично:

— Заметано! — Он никогда не любил, обсуждая сделки, рассусоливать вокруг да около и славился быстрыми и смелыми решениями. — Что мне нужно сделать?

— Только подписать вот этот документ. — Крюге вынул из кармана бумажку и передал ее Рубинштейну.

Это было трехстрочное обязательство — в случае успеха обговоренной между ними сделки выплатить Крюге пять миллионов рублей. В документе даже не было сказано, что это за сделка.

Пока Рубинштейн, уставившись в бумагу, обдумывал ее смысл, Крюге сказал:

— Дмитрий Львович, все, как видите, строится только на нашем взаимном доверии. Между прочим, ни с кем иным на столь высокую степень доверия я бы не рискнул.

Рубинштейн не верил ни в бога, ни в черта и в особенности в искренность подобных себе деятелей и сейчас подумал, что Крюге в случае его отказа без особого труда может найти на такую сделку другого компаньона.

— Это все лишняя лирика, Фердинанд Августович, — небрежно сказал Рубинштейн. — Дело заметано. — Он встал и, подойдя к столику, заботливо поставленному в кабинете на такой случай для деловых людей, на нем была бронзовая чернильница в виде черепахи, ручки в хрустальном стакане, размашисто подписал обязательство.

— Как любит говорить один мой знакомый крупье: «Сели и поехали». — Рубинштейн, смеясь, отдал бумажку Крюге. — Может, закажем горячего кофе? У меня что-то во рту пересохло.

— Подождите, Дмитрий Львович, надо поговорить еще, — сказал Крюге и, дождавшись, когда Рубинштейн снова сел за стол, сказал: — Береженого бог бережет, не так ли?

— Береженому бог не нужен, — весело ответил Рубинштейн. У него было прекрасное настроение, как всегда после выгодных сделок.

— Я имею в виду богов земных. Вы знаете, конечно, что вокруг вашего имени идет болтовня. Судачат даже о вашей принадлежности к немецкой партии.

— Господи, я отношусь к этому как к жужжанию мухи! — воскликнул Рубинштейн. — О ком сейчас не говорят всякие глупости?

— Однако муха тоже кусается, Дмитрий Львович, — ответил Крюге. — Давно наблюдая за вами, я не раз задавал себе вопрос, почему вы не делаете никаких шагов в защиту своего имени от клеветы?

— Разве заткнешь все грязные рты? — беспечно отмахнулся Рубинштейн.

— Можно и заткнуть, — продолжал Крюге. — Почему бы вам не бросить какую-то сумму на патриотическую благотворительность? Ничто так не трогает сердце русского обывателя, как, ска-

жем, помощь раненым. Мне известно, например, что жена бывшего премьера Горемыкина организовала в своем доме нечто вроде госпиталя, но у нее нет денег, и ее затея выглядит жалко. Фамилия же Горемыкина странным образом до сих пор популярна. Дайте мадам Горемыкиной для ее госпиталя хорошую сумму, а я обеспечу вашему поступку широкую гласность. Посмотрите, Лионозов сунул на госпитальные поезда пятьдесят тысяч, и ему уже год поют за это «Славься».

— Сколько, говорите, он дал?— запальчиво спросил Рубинштейн.

— Пятьдесят тысяч.

— Я дам сто. Подойдет?— с веселым гонором сказал Рубинштейн.

— Прекрасно. Сделайте это завтра же. И еще одно — подумайте, не стоит ли вам прибрать к рукам какую-нибудь газету? Например, суворинскую.

— А это еще зачем?

— Вы знаете, с какой выгодой для себя пользуется ваш коллега Манус газетой «Гражданин»? Но это дело непростое, и вы пока только подумайте...

2

Сообщение о пожертвовании Рубинштейном ста тысяч рублей на благотворительные цели появилось в газетах спустя несколько дней. А затем в журнале «Столица и усадьба» появилась большая групповая фотография, на которой на первом плане были сняты госпожа Горемыкина и Рубинштейн. Они сидели рядом на веранде горемыкинского дома-больницы, и супруга экс-премьера России с растроганной улыбкой смотрела на своего благотворителя. Рубинштейн был счастлив: пролит бальзам на старую рану — его имя появилось рядом с известной фамилией из высшего света!

С этого момента Крюге стал для него тем же, чем Грубин был для банкира Мануса,— добрым советчиком, если не руководителем...

Операция с перепродажей русских процентных бумаг шла своим чередом, а пока Крюге все активнее впрягал Рубинштейна в свои немецкие дела.

Следующее дело, которое провел Крюге на деньги Рубинштейна, касалось прессы. Берлину нужно было, чтобы в столичных газетах появились материалы, направленные против Англии, ее лицемерного по отношению к России союзничества и намекающие на то, что Германия стала врагом России только в результате стараний Англии и что союз России и Германии — двух монархических держав — логически является более естественным, чем союз России с республиканской Францией.

Тщательно все обдумав, Крюге пришел к выводу, что справиться со всей разношерстной петроградской прессой — затея без-

надежная, и в порядке эксперимента решил провести операцию с одной газетой.

Избрано было издание «Новый гражданин», возникшее на обломках черносотенной газеты покойного князя Мещерского «Гражданин». Хозяином нового издания был Павел Федорович Булацель, которого Крюге неплохо знал. Они встретились. Крюге передал Булацелю чек на приличную сумму, и тот напечатал в своей газете очень резкую статью против Англии. Во время переговоров Булацель высказывал опасение, как бы такое выступление не послужило поводом для закрытия его издания, но Крюге убедил издателя, что в обстановке неразберихи, царящей в стране, на это выступление никто не обратит внимания. Да пишут же об этом и другие газеты...

Однако скандал возник, хотя тогда далеко не все об этом скандале знали. Поднял его английский посол Джордж Бьюкенен. Вот что он записал тогда в свой дневник:

«Одна реакционная газета, которая, как я имел основания думать, была инспирирована кем-нибудь из его присных (имеется в виду премьер-министр Штюрмер.— *В. А.*), поместила статью с оскорбительными нападками на британскую армию, в которой говорилось, между прочим, что она продвинулась вперед всего на двести ярдов в течение двух лет. Я заявил Штюрмеру протест, указав на чудовищность того обстоятельства, что подобная статья могла быть пропущена цензором, и потребовал публичного опровержения и извинения со стороны автора, некоего Булацеля. Штюрмер колебался, говоря, что он бессилен в такого рода деле. Я настаивал, и он в конце концов сказал, что пришлет ко мне Булацеля. Когда этот последний зашел ко мне, то я сказал ему, что я думаю о нем и его газете, но мне понадобился целый час, чтобы заставить его поместить опровержение, заготовленное мною для сообщения в печати.

В тот же день попозже Штюрмер просил меня по телефону смягчить тон этого опровержения, но я согласился только на то, чтобы выкинуть одну фразу, которая, как я боялся, могла бы оскорбить чувства наших друзей в русской армии...»

Но на этом Бьюкенен не успокоился. На выступление газеты Булацеля он пожаловался самому царю. В дневниковой записи Бьюкенена об этом разговоре с Николаем мы читаем:

«Я ограничился при своей аудиенции настойчивым указанием на рост германского влияния, на антибританскую кампанию, а также на серьезность внутреннего положения. Если, говорил я императору, я предпринял столь серьезный шаг по поводу нападок Булацеля на британскую армию, то это потому, что, как мне известно, его газета субсидируется могущественной антибританской кликой. Эта кампания ведется не только в Петрограде, но и в Москве и в других городах. И я имею основание думать, что германофилы в России работают в пользу мира, благоприятного для Германии, и пытаются убедить общество, что Россия ничего не выиграет от продолжения войны. Император ответил, что тот, кто

заводит такие речи, когда некоторые русские области находятся еще в руках врага, изменник...»

Но вот что любопытно — несмотря на столь строгое заявление царя, на Булацеле и на его газете это никак не отразилось.

Но Крюге понял, что действовать надо осторожнее и что одна статья погоды не делает. Надо, чтобы какая-то крупная газета заняла постоянную полезную Германии позицию. И здесь снова пригодился Рубинштейн. В свое время подброшенная ему соблазнительная мысль забрать в свои руки крупную газету и поставить ее на службу себе запала в душу Рубинштейна. Кроме всего, он выяснил, что газетное дело выгодное...

Рубинштейн начал тайно скупать акции суворинской газеты «Новое время». Самого Суворина уже не было, он недавно умер, и его детище перешло в руки разношерстного по составу акционерного общества, и это облегчило скупку акций. Единственный человек, выступивший против попытки Рубинштейна купить газету, был старший сын Суворина. Но он спохватился, когда добрая половина акций уже была в кармане Рубинштейна. В своей «Маленькой газете» Суворин поднял крик о том, что истинно русская газета переходит в руки грязного спекулянта Рубинштейна. На вопли суворинского сына никто не обращал внимания, и тогда он, чтобы привлечь к этому делу общественное внимание, устроил скандал на собрании пайщиков «Нового времени».

В момент, когда финансовый распорядитель газеты заканчивал свой вполне благополучный доклад о состоянии капитала акционерного общества, вскочил Суворин.

— Господа, доклад не отражает нашего позора! Газета куплена грязным спекулянтом Рубинштейном!— закричал он и, выхватив из кармана револьвер, сделал несколько выстрелов в окно. На выстрелы примчалась полиция, репортеры, и Петроград узнал об этом скандале.

Крюге решил, что с переводом газеты на новую позицию следует повременить, и постарался успокоить Рубинштейна.

РАЗМЫШЛЕНИЯ

Русская военная разведка и контрразведка могли бы работать хорошо. В свое время в их историю было вписано немало умных, успешных дел. Так, действия русской разведки против Австрии в совсем недавнее время даже противником были признаны удачными. Проводились интересные операции и против Германии. Эти успехи держались на отдельных талантливых ее работниках, но, увы, никак не определяли уровень всей ее деятельности. Более того, и эти успехи в конечном счете тонули в мути всяческих интриг, захлебывались в неразберихе, порождаемой тупой бюрократией, зависимостью от различных беспринципных ситуаций, когда один сановный дурак мог остановить удачно начатую операцию. Словом,

и на этой области деятельности не могло не отразиться все, что было свойственно бездарной русской монархической власти...

В 1916 году русская военная разведка начала перспективную операцию. Летом на одном из участков фронта в ее руки попал немецкий радиоаппарат вместе с работавшим на нем радистом. В это время разведка противника уже активно пользовалась радиосвязью, в то время как в русской армии с этим дело не ладилось. Схваченный немецкий радист выдал шифры, которыми он пользовался, и всю систему подслушивания на этом фронте русской радиосвязи. Русская разведка получила возможность на этом участке фронта прослушивать и расшифровывать радиосвязь противника. Но дело не могло ограничиться только этим. Один захваченный аппарат погоды еще не делал. Нужно было немедленно по его образцу изготовить свои аппараты. Этот вопрос был поднят и тут же... похоронен. Вышестоящий чин разведки, ведавший вопросами радиосвязи, остановил дело, высказав мнение, что «перенимать технику противника означает признать собственную несостоятельность»... Был поднят вопрос об использовании захваченного аппарата и радиста для подброски противнику обманных данных. Составили первую дезинформацию о переброске войск на этот участок фронта, назвали несуществующие номера дивизий. Начальник штаба этот текст не утвердил, ссылаясь на то, что ему названные дивизии и место их пребывания неизвестны.

Офицер разведки стал объяснять, что этих дивизий на самом деле нет, но генерал перебил его, сказав возмущенно: «Моя задача — оперировать дивизиями, которые есть на самом деле. А из-за ваших несуществующих дивизий противник бросит против меня дополнительные и реальные дивизии — что тогда?»

На том дело и кончилось. Подобных эпизодов было множество.

Но что же делалось на самом верху русской военной разведки и контрразведки? Все годы войны начальником генерального штаба был генерал от инфантерии Беляев, он являлся и высшим руководителем военной разведки и контрразведки.

Беляев имел серьезное военное образование и опыт штабной работы на разных уровнях, но личность эта была заурядная. Генерал Брусилов однажды сказал о нем в сердцах: у него своей головы нету...

Беляев с одинаковым усердием молился царю, царице, любому, кто ими обласкан, потому что царский двор он называл не иначе как «святое семейство». Он, заявлявший, что живет в особом священном мире императорской армии, мог оставить все свои священные дела и по просьбе Вырубовой заниматься спасением родственника Распутина от фронта — ну как же, раз просит Вырубова, значит, это угодно императрице. Или мог отложить важное совещание для того, чтобы принять в своем священном кабинете авантюриста князя Андронникова.

Беляев любил говорить, что армия — это особый мир, в котором все подчинено незыблемым уставам, и что армия, чтобы там ни происходило в политике, всегда должна быть готова выполнять

свой священный долг перед отчизной. Посему устав для него и библия, и свод всех законов жизни. Он тщательно ограждал свое ведомство от «штатской» критики. В 1916 году, когда в Думе о военных делах заговорили громко и грозно, в записке на имя военного министра Шуваева генерал Беляев вполне серьезно спрашивал: «Неужели нельзя объявить все военное не подлежащим публичному обсуждению не только в силу его секретности, но главным образом по причине полного непонимания гражданскими лицами особенностей нашей службы...»

Если что-нибудь выгодно отличало генерала Беляева, так разве только исключительное трудолюбие. «Усидчив до удивления»,— сказал о нем военный министр Шуваев. В Думе депутат Пуришкевич, критикуя однажды Беляева, назвал его «человеком бумаги и чернила». А его соратник по генштабу и лучший его друг генерал Леонтьев сказал о нем: «Так, как Беляев знает военную канцелярию во всех ее видах и масштабах, ее не знает никто...» Начальник штаба Главной Ставки генерал Янушкевич, настаивая на том, чтобы Беляев оставался на посту начальника генерального штаба, сказал: «Он классический исполнитель, прекрасно знает службу, а главное, лишен собственных идей и фантазий...»

И вот этот человек был высшим руководителем военной разведки и контрразведки в то время, как человек, находящийся на этом посту, должен обладать высоким даром предвидения, живой гибкостью ума, способностью сквозь сегодняшнее видеть далеко вперед. Всего этого Беляев был начисто лишен...

Беляев возглавил генеральный штаб первого августа 1914 года. Только что началась война. В те дни газета «Новое время» писала:

«Русский народ предстал перед нами как один человек и как монолит. Повсеместные народные манифестации патриотизма под хоругвями и нашим святым трехцветным флагом объединили всех от мала до велика. Беспощадно покарать подлого германца! Эта единая радостная цель, как никогда, сплотила россиян!»

Все немецкое вон из жизни! Петербург объявляется Петроградом. Толпы громят лавки с немецкими фамилиями на вывесках. На площади возле Исаакиевского собора на глазах у полиции идет погром немецкого посольства... У посольства союзной Франции запрудившая набережную Невы толпа кричала «ура!». Кричали «ура!» и возле посольства Англии, хотя она в войну еще не вступила. Даже газета русских черносотенцев «Русское знамя», еще несколько дней назад писавшая, что «Россия Романовых не нуждается ни в варягах, ни в помощниках, ни в советчиках», теперь призывала русский народ «прочувствовать великое единение с французской и английской нациями и оглушить проклятием ненавистную немчуру...». Разгоряченные патриоты тащат в полицейские участки пойманных ими на улицах немецких шпионов —

хватают всех, кто не чисто говорит по-русски. Об этом шеф петроградской полиции пишет рапорт, заканчивающийся так:

«И хотя во всех почти случаях нам приходилось затем задержанных с наступлением сумерек отправлять с извинениями домой, нахожу необходимым донести о вышеизложенном как о массовом явлении, в коем нельзя не увидеть озабоченность населения по поводу охранения государства от враждебных элементов».

Этот рапорт, соединясь в одной папке с аналогичными донесениями из других городов, пошел по начальству все выше и выше, и однажды вся папка попала в кабинет начальника генерального штаба генерала Беляева. Ему переслал ее министр внутренних дел... Начальник отдела разведки полагал, что об этом явлении следует доложить царю.

Неизвестно, включил ли генерал Беляев это в доклад военного министра государю, но возвратил папку в отдел со своей запиской генералу Леонтьеву:

«В столь благоприятной атмосфере нам остается только быть внимательными...»

Увы, это было заблуждением человека, лишенного прозорливости,— от «столь благоприятной атмосферы» вскоре и следа не осталось. А началась, как выразился однажды сам Беляев, «неразбериха и черт знает что». Начать с того, что военный министр Сухомлинов, вскоре обвиненный в измене, угодил под арест. Ясно, что это сильно осложнило всю работу Беляева, в том числе и как руководителя разведки — доверие к ней было подорвано.

Неразбериха и безответственность царили и в разведке. В Петрограде одновременно действовали, мешая друг другу, разведка и контрразведка шестой армии, северного фронта и генерального штаба. Свою разведку и контрразведку вело министерство внутренних дел, его отдельный жандармский корпус. И сверх всего этого в Царском Селе при царской охране, возглавлявшейся генералом Спиридовичем, тоже была своя сверхпривилегированная разведка. Все эти ведомства действовали разобщенно и в атмосфере карьеристского соперничества, они иногда следили тщательней друг за другом, чем за действиями противника.

Словом, как это ни парадоксально, в стране и особенно в Петрограде образовалась атмосфера, благотворная для деятельности немецкой агентуры. Беляев — человек бумаги и чернил — этого не понимал и сетовал только на разобщенность сил разведки и контрразведки. Это, конечно, играло свою роль, но далеко не главную...

На деятельности разведки сказывалось все то, что предопределяло развал всей монархической власти. Но генерал Беляев этого тоже не понимал. Не мог понять. Он был верным до слепоты служакой царя, самодержавной России, и поэтому все, что происходило вокруг, принималось им как должное. На допросах в следственной комиссии Временного правительства он со слезами на глазах будет повторять:

— Я был честен.

Но, увы, для человека его положения, для того чтобы действительно быть честным, мало не брать взяток, как брали другие, или не целоваться с Распутиным, как это делали другие.

Так или иначе, но находившаяся в его непосредственном ведении военная разведка и контрразведка оказались бессильны в борьбе с вражеской агентурой, хотя они располагали хорошими специалистами этого дела.

В Петрограде и по всей России активно действовали немецкая, английская, французская и австро-венгерская разведки. Что касается разведки американской, она до поры до времени занимала позицию нейтрального наблюдателя, внимательно изучающего все, что происходило в России. И только в самом конце войны, когда силы главных воюющих государств, России и Германии, будут истощены до предела, а сохранившая свои силы Англия заявит претензию на роль владычицы мира, далекая могущественная Америка включится в передел мира, и ее разведка ринется в бой.

Английская и французская разведки имели возможность работать почти открыто — их государства были военными союзниками России, и это предоставляло им право не очень прятать свои дела.

Резиденты разведок Англии и Франции, находившиеся в России под самым разнообразным прикрытием, с завербованной ими еще до войны агентурой работали в Петрограде, Москве, Киеве и других крупных городах, ведя наблюдение за всеми сферами жизни государства и в первую очередь за работой промышленности, транспорта, за ходом военных мобилизаций. За Главной Ставкой наблюдали официально прикомандированные к ней английская и французская военные миссии. По праву официальных представителей союзнических армий они знали о каждом шаге царской Ставки. У миссии тоже была своя агентура, завербованная из среды военных многочисленного штата Ставки. Это позволяло знать и всю подноготную в деятельности органа управления войной.

Надо заметить только, что в этой деятельности первенствующее место занимала английская разведка, у которой и агентуры было больше, и профессиональные ее качества были гораздо выше. На вершине всей этой английской службы в России находился посол Великобритании в России, опытный дипломат, политикан и разведчик сэр Джордж Бьюкенен.

Его ближайшим коллегой был французский посол Палеолог, тоже опытный дипломат.

С кем же воевали эти господа, находясь в столице союзной России? Обобщающим ответом на этот вопрос могут быть слова самого Бьюкенена, сказанные им в 1916 году: «В России главной опасностью для Англии стала любая сила, способная по тому или иному мотиву увести русского солдата с фронта».

Упорной и тщательной разведкой таких сил в России занимались разведки Англии и Франции. Заметим сразу, что они явно проглядели главную опасность.

Беду они ждали только от каких-то политических комбинаций вокруг трона, а также от действий Германии и ее агентов в России. Имя Ленина и слово «большевики» в дневниках Бьюкенена появились только в 1917 году, после приезда Владимира Ильича в Петроград.

А в 1916 году Бьюкенен и Палеолог в Петрограде, английская и французская военные миссии при Главной Ставке, все силы разведки этих стран были заняты поиском противников активной войны и искали их главным образом в окружении царя и царицы.

А в это время на рабочих окраинах Петрограда, в пролетарских центрах России уже бурлила, рвалась наружу огненная лава революции. Стачки. Забастовки. Все громче и яростнее звучит призыв большевиков: «Долой самодержавие!» А Бьюкенен продолжает искать революцию возле царя. Даже глубокой осенью 1916 года, разговаривая с царем, он снова и снова повторяет, что главная опасность в деятельности прогерманских сил, стремящихся подорвать союзный договор о войне до победного конца. И когда сам царь вдруг спросил его мнение о беспорядках в Петрограде, посол стал уверять монарха, что (цитирую по его дневнику) «недовольство вызывается сознанием, что в такой богатой стране, как Россия, рабочий класс не может получить предметов первой необходимости». И дальше он записывает, что, когда государь «...стал расспрашивать меня про петроградские забастовки, я не мог дать ему точных сведений».

Кроме всего, Бьюкенен был слепо уверен, что русский солдат, русский народ своего разумения не имеют и все зависит только от тех, кто подписывает приказы. В интервью американскому корреспонденту он заявляет: Россия страна настолько исключительная, что даже ее принадлежность к Европе определяет главным образом география, и то не очень убедительно...

Так или иначе, разведки союзных России государств могли действовать беспрепятственно.

Немецкая разведка служила главному врагу России, и деятельность ее агентуры была связана с большим риском. Но так было только в самом начале войны...

Руководитель немецкой военной разведки полковник Николаи писал после войны, что самым тяжелым для его сотрудников в России был начальный период войны, когда дикий взрыв русского национализма и соответственно антигерманизма, казалось, станет непреодолимой преградой для их работы. Но эта опасность оказалась временной...

Даже во время второй мировой войны вылезали из щелей нашей страны облысевшие, потерявшие зубы агенты полковника Николаи, к которым теперь рвались на связь посыльные уже из гитлеровского абвера.

В начале 1942 года в Ленинграде в отделение милиции явился еле передвигавший ноги, опухший от голода восьмидесятилетний старик.

— Я был немецким шпионом в первую мировую войну,— говорил он, прижимая руки к груди.— Поверьте мне, я говорю правду.

Он просил арестовать его и посадить в тюрьму.

Выяснилось, что он потерял хлебную карточку. Поняв, что он погибнет от голода, и, вспомнив о своей прошлой деятельности, он решил покаяться. Надеялся, наверно, что его посадят в тюрьму и накормят...

Фамилия его Карсавин. Яков Григорьевич Карсавин. Когда началась первая мировая война, он был журналистом, таскал репортерские заметки о происшествиях в вечернюю газету. В начале 1915 года его завербовал агент немецкой разведки Демьянов, хороший его знакомый, даже приятель, занимавший какой-то третьестепенный пост в святейшем правительствующем Синоде. Карсавин стал снабжать его информацией о настроениях в русской столице, получая за это нерегулярно то двадцать рублей, то тридцать, а то и пять. В конце 1915 года резидент устроил его на работу в журнал «Двадцатый век», где он стал вести отдел ответов читателям на различные вопросы юридического характера. В каждом номере журнала два-три ответа. Вопросы и ответы на них ему давал резидент. Все дело тут было в том, что вопросы, которые давал ему резидент, были связаны с военной службой, а из ответов на них можно было узнать весьма многое и весьма полезное для Германии.

Недели за три до Февральской революции резидент исчез. Во время последней их встречи он сообщил Карсавину, что уезжает в служебную командировку. Он дал Карсавину тысячу рублей и сказал, что работать в «Двадцатом веке» больше не надо. Он может устраиваться где угодно и должен ждать, когда к нему обратится от имени резидента какой-нибудь человек. И Карсавин ждал. Но, когда прошло лет десять, он ждать перестал. При Советской власти он в печати уже не работал. Служил в разных учреждениях. К началу второй мировой войны работал контролером в Ленэнерго Выборгского района, готовился выйти на пенсию...

Собирая материалы для этой книги, автор нашел журнал «Двадцатый век» за 1916 год. Судя по всему, Карсавин рассказал правду... В журнале есть юридический раздел под названием «Законовед» и в нем такие, например, вопросы и ответы:

№ 40. А.А.К.— Ораниенбаум. Вопрос. Может ли поступить в школу прапорщиков или в военное училище лицо, окончившее трехклассное среднее училище?

Ответ: Для поступления в школу прапорщиков требуется окончание курса не менее четырех классов гимназии или равного этому курсу училища, а потом указанное лицо может быть принято без экзамена в школу прапорщиков при запасных пехотных бригадах.

Или № 60. Синявину, Казань.

Школы прапорщиков при запасных пехотных бригадах открыты: в Петроградском военном округе, в Москве, Киеве, Одессе, Тифлисе и Иркутске...

Совершенно очевидно, что журнал «Двадцатый век» публиковал весьма полезную для Германии информацию. И это еще один маленький штрих о деятельности немецких агентов в России во время первой мировой войны...

Безнаказанная деятельность немецкой разведки в России стоила новой крови ее солдатам. Но этой же кровью в конечном счете оплачивалась и деятельность разведок союзников России, ибо их главной целью было не допустить ослабления активности русского фронта.

Но что это такое? Во французской газете «Матен» заголовок во всю страницу:

«Триумф русского контршпионажа! Пойман немецкий агент полковник Мясоедов, продававший важнейшие тайны!»

Да, было такое «дело Мясоедова»... Возникновение и ход этого дела представляют интерес...

В декабре 1914 года линию фронта перешел вырвавшийся из немецкого плена подпоручик Колаковский. Сначала он был доставлен в контрразведку Северо-Западного фронта, а затем в разведку генерального штаба. Он рассказал, что, для того чтобы вырваться из плена, он согласился, вернувшись в Россию, работать на немецкую разведку. Такой способ самоспасения из плена не был открытием подпоручика, как не была его открытием и вербовка агентов из числа пленных. На первых допросах он показал, что немецкая разведка дала ему задание взорвать важный железнодорожный мост, убить верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича и организовать капитуляцию военной крепости Новогеоргиевск. Вот так — ни больше ни меньше. Но на третьем допросе он вдруг сообщает нечто новое и сенсационное. Немцы — «вдруг» вспомнил он — приказали ему разыскать в русской армии полковника Мясоедова и связаться с ним, так как он был давним их агентом, завербованным еще в 1905 году.

Так во второй раз (!) жандармский полковник Мясоедов был публично назван немецким шпионом. Первый раз это произошло три года назад. Тогда он работал в военном министерстве, куда его взял его друг военный министр Сухомлинов, взял, не посчитавшись ни с тем, что против Мясоедова была настроена охранка, которую он однажды подвел, ни с тем, что с прежней своей службы на границе Мясоедов ушел со скандалом. Мало того, он поручил ему борьбу с распространением революционной пропаганды среди русского офицерства. К этой работе, надо заметить, он весьма подходил, ибо имел немалые заслуги в борьбе с революционной крамолой, когда служил на границе. Кое-кому, однако, было известно, что на прежних службах он прославился еще и как мародер, развратник, контрабандист и вообще темный делец. Это было известно

и тем, кто давал ему письменные блистательные характеристики, о том, однако, умалчивая,— для службы в корпусе жандармов честность и порядочность не были обязательны... Это был вполне заслуженный деятель жандармерии, лично известный многим высокопоставленным лицам. Сам царь жаловал его ценными подарками, а грудь его украшали 26 русских и иностранных орденов.

И вдруг в апреле 1912 года в суворинской газете «Вечернее время» появляется статья о том, что полковник Мясоедов немецкий шпион. Газета «Новое время» печатает интервью с промышленником Гучковым, чьи деньги, кстати заметить, были вложены в эту газету, и он тоже утверждает, что Мясоедов шпион. Это обвинение поддерживает даже заместитель военного министра Поливанов. Шум поднимается невероятный. Но если внимательно приглядеться к газетной шумихе, нельзя не заметить, что постепенно все чаще рядом с фамилией Мясоедова начинает мелькать фамилия военного министра Сухомлинова с непременным напоминанием, что они друзья. А еще позже Сухомлинов упоминается уже и без Мясоедова...

Что же происходит с нашим шпионом Мясоедовым? Он требует немедленного расследования обвинения его в шпионаже, но никто этим не хочет заниматься. Тогда он вызывает издателя Суворина и Гучкова на дуэль. Суворин уклоняется, и Мясоедов расплачивается с ним вручную: встретив его на ипподроме, публично бьет по щекам. Дуэль с Гучковым состоялась. Мясоедов промахнулся, а Гучков благородно выстрелил вверх, даровав «шпиону» жизнь. Немного позже гучковская газета печатает опровержение своего материала о Мясоедове, а побитый Суворин пишет Мясоедову дружеское письмо и заверяет его в своем совершеннейшем почтении. Затем и военное министерство опровергает обвинение. Все кончилось тем, что Мясоедову пришлось уйти в отставку. Сухомлинов же остался в кресле военного министра. Но это была только первая часть спектакля. Сейчас, спустя три года, начиналось его продолжение...

В то время, когда имя полковника назвал бежавший из плена подпоручик, Мясоедов находился на Юго-Западном фронте, занимался там ближней военной разведкой. Его незамедлительно арестовывают, предъявляют ему обвинение в шпионаже и отдают под военно-полевой суд. Однако среди судей возникло разногласие по поводу доказанности обвинения и командующий фронтом генерал Иванов отказался утвердить смертный приговор. Тогда дело Мясоедова было срочно переброшено в военно-полевой суд Варшавской крепости, который, не имея для того никаких точных доказательств, признал Мясоедова виновным в шпионаже и мародерстве, и он был повешен. О том, как организаторы этого процесса торопились виселицей утвердить обвинение Мясоедова в шпионаже, сделать его, так сказать, необратимым, свидетельствует такой, к примеру, факт... Еще не было суда, а комендант Варшавской крепости уже запрашивал высокое начальство — казнить ли Мясоедова сразу после приговора или ждать утверждения приговора

военным командованием. Получает ответ: казнить незамедлительно. А смертный приговор был утвержден спустя четыре дня после казни...

Вскоре последовало обвинение в измене и военного министра Сухомлинова. Правда, с ним так скоро расправиться уже не могли, он был слишком близок царю и, несмотря на то, что работал плохо, пользовался большим его доверием. Но с креслом министра он все же расстался и был арестован...

Что же касается Мясоедова, то он попал, выражаясь на языке артиллеристов, в тройную вилку... Как немецкий шпион, вздернутый на виселицу, он был крайне нужен многим высокопоставленным лицам российского государства и в первую очередь главнокомандующему Николаю Николаевичу, которому очень с руки было свалить на шпиона свою вину и за поражение двух русских армий в Восточной Пруссии, и за отступление в Галиции, и за прорыв фронта в Польше. Наконец, он давно не терпел военного министра Сухомлинова с его близостью к царю. Русской службе контршпионажа с ее слабой деятельностью «дело Мясоедова» было ниспослано самим богом. Руководитель контрразведки 6-й армии полковник Батюшин, принявший самое активное участие в создании этого сверхскоростного дела, тотчас получил штаны с лампасами — стал генералом... Сверх всего, казнь Мясоедова была по душе охранке, которая не забыла невольных разоблачений Мясоедовым ее провокаций в те времена, когда он служил на границе.

Но вернемся к руководителю всей военной разведки и контрразведки Беляеву, тем более что к «делу Мясоедова» пришлось прикоснуться и ему...

Генерал Беляев внимательно следил за развитием «дела Мясоедова», помня, что за Мясоедовым стоит министр Сухомлинов, а за тем обожающий его царь. Как же можно?.. Когда оно возникло в первый раз, оно побывало и в его руках. Уставной буквоед сразу увидел в нем юридические слабости, обрадовался этому, однако мнения своего о деле истории не оставил. Только Сухомлинову сказал: «Несолидная история»,— и поспешил передать дело своему подчиненному полковнику Ерандакову, попросив составить свое резюме. И ждал его в тревоге, боялся, как бы Ерандаков, бывший полковник жандармерии, не поддался влиянию оттуда. Газеты с воплями о шпионе Мясоедове старался не читать... Но и Ерандаков засвидетельствовал, что в деле нет ничего, определенно доказывающего обвинение... Дело повисло в воздухе. А тут и газеты замолчали и даже начали печатать опровержения собственных специальных сообщений.

Уф, кажется, пронесло... Беляев поздравил министра.

Новое возникновение этого дела теперь, во время войны, Беляев наблюдал уже издали и был благодарен за это провидению. Да и для такого наблюдения времени оказалось в обрез. Не успел он все обдумать, как Мясоедов уже был доставлен в Варшаву и начался суд. В эти дни крайне расстроенный Сухомлинов показал Беляеву письмо начальника штаба ставки генерала Янушкевича.

Там были строки: «Надо до праздников поспешить покончить с Мясоедовым, дабы успокоить общественное мнение».

Мнение общества было успокоено — Мясоедова вздернули на виселицу. Беляев спросил зашедшего к нему в кабинет Ерандакова, как он на все это смотрит. Полковник закатил глаза к потолку:

— Не моего ума дело...

«И не моего тоже»,— решительно сказал себе Беляев, он же прекрасно знал, как хотел видеть Мясоедова повешенным великий князь Николай Николаевич. И вообще чего думать о Мясоедове, когда теперь снаряд может разорваться рядом: тот же великий князь на Мясоедове не остановится, ему надо убрать и Сухомлинова...

Так немного позднее и случилось...

В глазах Беляева пошатнулись параграфы самого устава, и было это для него страшнее землетрясения. Он судорожно искал свое безопасное место в этом неверном, трясущемся мире... Ему докладывали, что приехавшие в Россию по договоренности с Красным Крестом немецкие сестры милосердия, вместо того чтобы выяснять положение немецких военнопленных, занимаются шпионажем. А он отдавал распоряжение о предоставлении им более свободного режима передвижения. Почему? Из страха перед царицей, которая возглавляла комитет помощи русским военнопленным в Германии, а она все время твердила: как мы сделаем что-нибудь плохое для немцев, они сделают так же для наших...

Положение Беляева осложнялось буквально с каждым днем. К 1916 году оно стало совершенно невыносимым. Куда уж дальше, если страшное слово «измена» появилось уже рядом с именем военного министра и даже — страшно подумать — рядом с именем царицы!..

Он продолжал направлять контрразведку на обозначившиеся цели и, конечно, в первую очередь на германский шпионаж. Но тут его ждали новые сложности и опасения. Его люди нащупывали явно «горячие» точки, начинали их разработку, и вскоре выяснялось, что под подозрение ставятся столь крупные люди, которых без монаршего разрешения трогать было по меньшей мере неосмотрительно. Обращаться же за поддержкой к царю он не решался, да и не мог. И все-таки в ряде случаев русская контрразведка проявила решительность, и несколько человек были осуждены за шпионаж. Беляев ловил себя на том, что каждый такой успех его уже не радует, а тревожит...

Постепенно на фронте борьбы против шпионажа создавалось трагикомическое положение. Если какой-нибудь тревожный сигнал поступал в военную контрразведку, там прежде всего искали не шпиона, а предлог перебросить сигнал в министерство внутренних дел, особенно если возникшее подозрение касалось какого-то хоть мало-мальски сановного лица. А там дело или сдавалось в архив или перебрасывалось в другую инстанцию. Военная разведка, к примеру, сигнал по Рубинштейну переадресовывает в комиссию генерала Батюшина, и тот отдает приказ об аресте. На другой день

после ареста министр внутренних дел Протопопов звонит Батюшину по телефону и предупреждает его, что дело Рубинштейна «беспокоит дамскую половину двора». Это для того, чтобы Батюшин не торопился со следствием. Тем более что и сам Протопопов, как мы скоро узнаем, был возле последней рубинштейновской аферы. А спустя несколько дней приходит приказ из Ставки — Рубинштейна освободить... Это из показаний самого Протопопова следственной комиссии Временного правительства.

В конце 1916 года военный министр Шуваев вызвал к себе генерал-квартирмейстера Леонтьева, практически руководившего в генштабе контрразведкой, и спросил:

— Нет ли у нас в руках какого-нибудь дела, которое могло бы продемонстрировать нашу борьбу с вражескими агентами?

Леонтьев, не задумываясь, ответил то, что думал:

— Слава богу, нет...

Нет, нет, немецкие агенты могли действовать спокойно...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

1

Французская контрразведка узнала в Париже, что готовится операция по перепродаже находившихся в Германии русских процентных бумаг и что в ней участвуют русские финансисты, в частности Рубинштейн. Она информировала об этом свое правительство, и вскоре в Петроград прибыла официальная записка, обращавшая внимание русского правительства на эту враждебную союзничеству операцию. Записка была направлена в министерство внутренних дел. Там каким-то образом она попала в руки работавшего в министерстве некоего Манасевича-Мануйлова, и в тот же день он пожаловал на квартиру Рубинштейна.

Они давно знали друг друга, не раз встречались у Распутина, но симпатий друг к другу не испытывали. Манасевич завидовал богатству Рубинштейна, а тот видел в нем нахального мелкого афериста, а значит, человека бездарного и ему бесполезного. Однако Рубинштейн знал, что Манасевич вертелся в высоких кругах, и иметь его врагом было нерасчетливо. Вот почему, когда Манасевич позвонил Рубинштейну и самоуверенно заявил, что он сейчас же едет к нему по крайне важному для него делу, не терпящему отлагательства, Рубинштейн не осадил его.

— У вас крайне важное дело? — спросил он подчеркнуто удивленно, но в тот же момент сообразил, что Манасевич без достаточного основания не позволил бы вести себя так, и сказал: — Приезжайте. Для вашего грандиозного дела у меня есть десять минут.

Когда лакей провел Манасевича в кабинет, Рубинштейн в ярко-красном шлафроке сидел в кресле с газетой в руках.

Рубинштейн не сразу опустил газету, и гость остановился посреди кабинета, невольно замечая его дорогую роскошь — и стены, обитые синим сафьяном, и резной стол с перламутровой инкрустацией, и огромный диван, кресла светло-желтой кожи, и разлапистую, в несколько аршин хрустальную люстру... Рубинштейн, подождав еще немного, опустил газету и уставился на гостя.

— Здравствуйте, Дмитрий Львович, здравствуйте,— сиплым простуженным голосом произнес Манасевич. Его худое с оттянутым вниз острым подбородком лицо было белым как бумага, а глаза блестели воспаленно и тревожно.

— Давайте ваше грандиозное дело,— насмешливо сказал Рубинштейн.— Садитесь...

Манасевич взял стул, поставил его близко к креслу, где сидел Рубинштейн, и сел, касаясь коленями Рубинштейна.

— Давайте, давайте ваше дело,— отодвинулся Рубинштейн.

Манасевич наклонился и сказал тихо:

— Вам, Дмитрий Львович, грозит большая опасность.

Рубинштейн широко улыбнулся:

— Она не грозит в наши дни только памятнику Петру Великому, и то еще как сказать.

— Дмитрий Львович, вас арестуют,— продолжал Манасевич.

— Слушайте, вы... я в эти детские игры не играю, у меня времени нет.

Манасевич замолчал, его воспаленные тревожные глаза метались из стороны в сторону, на белом худом лице проступили красные пятна.

— Из Парижа пришла бумага о вашей операции по перекупке замороженных в Германии русских процентных бумаг. Операция охарактеризована как враждебная делу союзников,— на одном дыхании сказал Манасевич и замолчал, глядя на Рубинштейна.

«Даже если это шантаж,— думал Рубинштейн,— одно то, что этот тип знает о сделке, крайне опасно...»

— Откуда вы это знаете?— спокойно спросил он.

— Эта бумага пока в моем сейфе,— ответил Манасевич.— Но еще сегодня я обязан ее передать.

— Кому?

— В соответствующую службу.

— Передавайте,— кивнул Рубинштейн.

— Вы надеетесь на свои связи? Это безнадежно, Дмитрий Львович, на бумаге есть резолюция министра начать следствие. Машина уже пущена в ход...

— Я не верю,— отрывисто произнес Рубинштейн.

— Чему не верите, Дмитрий Львович?

— Ничему. Все это чушь.— Рубинштейн взял газету и стал искать в ней место, где ему пришлось прервать чтение.

— Хорошо, я открою вам все мои карты.— Глаза Манасевича снова заметались из стороны в сторону.— Вы можете не верить, это ваше право, но в данном случае очень опасное для вас право. Итак, французская бумага пока у меня в сейфе и машина действи-

тельно пущена в ход. Остановить ее может только один человек — премьер-министр Штюрмер. Вы знаете, что я близок к этому человеку. Так вот, я на этом решил заработать. Говорю об этом прямо и открыто, тем более что вы тот человек, который сам никогда не упустил бы такого момента.— Манасевич криво улыбнулся дергающимися губами и продолжал:— Но для того чтобы Штюрмер остановил машину, одной моей просьбы недостаточно. Старик, как вы знаете, любит деньги.

Рубинштейн веселыми глазами смотрел в развернутую газету.

— Значит, речь идет, Дмитрий Львович, о достаточно крупной сумме,— продолжал Манасевич.— В пределах, однако... миллиона.— Он прокашлялся.— И тогда я тот опаснейший документ отдам вам.

— Десять минут истекли,— невозмутимо сказал Рубинштейн и, отложив газету, встал.— Прошу извинить, у меня дела.

Манасевич удивленно смотрел на него.

— Прошу извинить,— улыбнулся Рубинштейн,— у меня дела.

Манасевич медленно поднялся:

— Дмитрий Львович, вы совершаете непростительную ошибку.

— Не ошибаются только идиоты. Прощайте.— Рубинштейн позвонил в колокольчик и сказал вошедшему слуге:— Проводите господина.

— Вы пожалеете, Дмитрий Львович,— сказал Манасевич, обернувшись на пороге...

2

Нельзя сказать, что Рубинштейн был в панике. Он верил в волшебную силу денег и своих связей, которые не раз его спасали. Так что не паника, нет, но тревога все же в его душу запала. Впервые в ситуацию вплеталась большая политика, а она, как правило, безликая. Ее делают, ею оперируют столько людей с высокими постами и званиями, что на них никаких денег не наберешься. И все же сейчас Рубинштейн думал об одном из этой безликой шайки — о министре внутренних дел Протопопове. С ним он хорошо знаком, однажды Распутин заставил их поцеловаться и поклясться быть «конями в одной упряжке». Не раз по совету Распутина Рубинштейн делал дорогие подарки Протопопову то ко дню ангела, то к пасхе, то к рождеству. Так что, если он на французском донесении написал резолюцию о расследовании, он же может эту резолюцию и перечеркнуть. Но беда в том, что человек он без хребта. Сегодня он может резолюцию перечеркнуть, а завтра написать еще более крутую. Тут нужно перестраховаться дополнительно... Вырубова! Вот на кого можно поставить. Тоже любит деньги, тоже не раз получала от него дары, она может с его делом запросто шагнуть в покои царицы и сказать: «Губят, матушка, хо-

рошего человека и друга Григория». А тогда не будет страшна никакая резолюция...

Рубинштейн не знает, каким временем он располагает, чтобы успеть предотвратить беду. Так или иначе, действовать нужно безотлагательно, сейчас же. И прежде всего следует увидеться с организатором этой сделки — Крюге. Одна голова — хорошо, две — лучше.

Распорядившись слуге вызвать к подъезду автомобиль и подать одеться, Рубинштейн вскоре помчался на Васильевский остров, где на четырнадцатой линии в пятиэтажном новом доме жил Крюге. Он уже неделю не выходил из дому, лежал с тяжелой простудой.

Служанка, открывшая дверь, не хотела его впускать.

— Барин болен... барин болен...— твердила она с каким-то балтийским акцентом.

— Хуже будет, если помрет,— буркнул на ходу Рубинштейн и, сбросив пальто, устремился по коридору этой хорошо известной ему огромной, казенно обставленной квартиры, в которой его компаньон жил один.

Крюге действительно лежал в постели, держа на голове резиновый пузырь со льдом. Увидев Рубинштейна, он смахнул пузырь, приподнялся в удивлении:

— Дмитрий Львович?..

— Он самый... Здравствуйте.— Рубинштейн сел поодаль на стул — он боялся болезней и больных. Взглянув на заросшее, землистого цвета лицо Крюге, подумал: вот уж некстати эта болезнь, и спросил:— Как чувствуем себя?

— Да вроде получше,— поспешно ответил Крюге.— Рассказывайте, что случилось?— Он прекрасно понимал, что Рубинштейн пришел не просто навестить его, да и видел, что он встревожен.

— Возникла... одна неприятность...— начал Рубинштейн и рассказал о визите Манасевича.

Крюге вскочил с кровати и, забыв туфли, зашагал босиком от стены к стене. Костлявые ноги, всклокоченные волосы, задравшаяся штанина пижамы настроили Рубинштейна на веселый лад.

— Может, вы закончите этот танец?— насмешливо сказал он.

Внезапно остановившись, Крюге спросил тихо:

— Когда ближайший поезд на Гельсингфорс?

— По-моему, лучше взять аэроплан,— совершенно серьезно ответил Рубинштейн, но Крюге видел в его глазах откровенную насмешку.

— Вы понимаете, что это катастрофа?

— Под обломками гибнут нерасторопные,— буркнул Рубинштейн и, вынув из жилетного кармана сигару, занялся ею. Он очень не любил трусливых и не собирался это скрывать.

Крюге надел стеганый халат, выгреб ногой из-под кровати ночные туфли. Рубинштейн все еще занимался сигаретой.

— Дмитрий Львович, не разыгрывайте передо мной театр,— резко сказал Крюге.— Вы сделали грубую ошибку — Манасевича надо было купить. А теперь вы и на себе и на мне затянули петлю.

Рубинштейн поднял на него черные круглые глаза.

— Манасевич дрянь...— спокойно ответил.— Вы уж меня не учите, кого покупать, кого продавать. Я эту торговлю знаю лучше вас.

— Что вы предлагаете?

— Для начала в это дело надо запрячь Протопопова. Товар тоже гнилой, но, поскольку резолюцию написал он, а нам нужно выиграть время, начать придется с него. Где этот ваш француз?

— Час назад звонил мне, он остановился в «Астории».

— Можете вы завтра привезти его ко мне на дачу?

— Зачем?

— Я позову Протопопова. Француз с моей и с вашей помощью объяснит Протопопову, что наша операция с русскими бумагами выгодна Франции. Опять же союзной нам Франции, и это значит, что мы с вами не преступники, а достойны поощрения. Кроме того, не забудем, что сам Протопопов не только министр, но и довольно ловкий делец. Нам с вами придется с ним поделиться.

Крюге подошел к Рубинштейну.

— Вы молодчина, Дмитрий Львович,— сказал он тихо и, видимо, искренне. Но вдруг тревожно спросил:— А если он откажется ехать к вам на дачу?

— Ему прикажет Распутин,— ответил Рубинштейн.— Вы только потом не забудьте о всех этих моих дополнительных расходах. Ваша задача привезти француза.

Француз, о котором они говорили, приехал в Петроград неделю назад и зарегистрировался в гостинице как представитель парижского учетного банка Шарль Надо. Правда, позже оказалось, что он вовсе не финансист, а журналист, а еще позже выяснится самое главное, что он не финансист, не журналист, а агент французской разведки Сюртэ Женераль. Но все это выяснится позже, гораздо позже, когда это и для Рубинштейна и для Крюге уже не будет иметь никакого значения. А пока он был представителем французского банка, того самого, который якобы проводил операцию с русскими процентными бумагами, и на руках у него была соответствующая документация, на которой Крюге и Рубинштейн должны были поставить свои подписи. Однако дело с подписанием документов затормозилось, так как в привезенных французом документах оказались несколько измененные суммы, отчего куш Рубинштейна заметно уменьшался. Они это опротестовали. Шарль Надо будто бы сносился со своим банком, который, по последним сведениям, пошел на какие-то уступки, и оставался в Петрограде — ждал из Парижа исправленную документацию.

3

Как и обещал Рубинштейн, Протопопову приказал ехать к нему на дачу Григорий Распутин.

— Езжай, там тебя ждет радость,— сказал Распутин и пояснил, что дело там, кроме всего, еще и денежное.

А когда Протопопов стал возражать, что ввиду некоторых обстоятельств ехать ему к Рубинштейну не с руки, Распутин сказал:

— Верь мне, а не бумажкам. Их пишут грязные люди...

Ослушаться Протопопов не посмел, но думал о поездке с тревогой. Он понимал, как может быть расценена поездка министра внутренних дел на дачу человека, замешанного в преступлении, которое можно квалифицировать как измену.

Только своему верному секретарю Павлу Савельеву он сказал, куда едет. Но чтобы несколько обезопасить себя, объяснил, что хочет сам допросить Рубинштейна по одному важному подозрению. В случае чего секретарь мог дать такие показания. Кроме того, он приказал секретарю не отходить от телефона до его возвращения и в случае возникновения каких-нибудь серьезных обстоятельств немедленно телефонировать ему на рубинштейновскую дачу...

Миновав Сестрорецк, автомобиль Протопопова свернул на песчаную, поднимавшуюся вверх дорогу. Колеса то и дело вязли в песке, и машина, завывая мотором, двигалась медленно. Попадавшиеся по дороге редкие по осени дачники глазели на важный автомобиль, и это страшно нервировало министра — не дай бог, кто узнает его,— и он поглубже забился в угол сиденья.

Наконец шофер остановился у ворот, встроенных в глухой высокий забор, покрашенный в голубой цвет. И как только Протопопов вылез из машины, калитка возле ворот открылась, и он увидел широко улыбающегося Рубинштейна:

— С благополучным прибытием, дорогой Александр Дмитриевич!

— Здравствуйте,— хмуро ответил Протопопов, поспешно проходя мимо Рубинштейна в ворота. Его покоробила фамильярность банкира. Другое дело, когда он такой с ним в гостях у Распутина, но в других местах...

А Рубинштейн в это время взял его под руку, повел по выложенной кирпичом дорожке к дому.

— Александр Дмитриевич, мне известно о документе из Франции и о вашей резолюции на нем,— тихо, интимно начал Рубинштейн и чуть сжал его руку. Протопопов замедлил шаг: откуда он мог узнать? Но спросить нельзя, это выглядело бы признанием, что он не хозяин в своем министерстве. Сейчас несколько успокаивало только то, что ехать сюда посоветовал сам Распутин...

— Вы, Александр Дмитриевич, вправе делать любые распоряжения,— продолжал Рубинштейн в том же интимно-доверительном тоне.— Но любое ваше необоснованное решение может покалечить судьбы людей, в том числе и близких вам, и потому вы должны остерегаться действовать непродуманно...— Протопопов

хотел освободиться от цепкой руки банкира, но в это время услышал: — В данном случае я и Григорий Ефимович нашли необходимым предостеречь вас от подобных действий...

Дальнейший разговор невозможен — они уже поднимаются на широкое, отделанное мрамором крыльцо.

В просторной гостиной ему представили француза — высокий, красивый, совсем не похож на банковского деятеля, а больше на артиста, и одет пестро, и говорит легко, с улыбочками да ужимочками. Кроме того, ему представили еще какого-то господина Крюге — этот хотя бы по виду походил на серьезного человека.

Француз начал объяснять, сколь выгодна для союзной Франции операция по перекупке замороженных в Германии русских процентных бумаг. И не только для Франции, но и для России, которая, пользуясь частными средствами, вырвет из рук врага свои финансовые обязательства, по которым рано или поздно пришлось бы платить золотом.

Француз говорил убедительно, только его улыбочки не нравились Протопопову, мешали улавливать смысл. Но, по его словам, действительно эта операция выглядит совсем иначе, чем в той бумаге из Франции...

— Александр Дмитриевич, необходимо важное уточнение,— вступил в разговор Рубинштейн.— Для нас вы здесь не министр, а человек делового мира, умеющий видеть и понимать большую коммерцию. Я хочу объяснить вам, возле какого грандиозного дела вы оказались и можете принять в нем участие, не как министр, конечно,— улыбнулся с серьезными глазами Рубинштейн и тут же уточнил: — Вы можете рассчитывать на чистых пять — семь миллионов. Семь миллионов, Александр Дмитриевич! — воскликнул Рубинштейн, ожидающе глядя на Протопопова. У того душа замерла, вихрем заметались мысли, мозг странным образом одновременно фиксировал все: и радужные семь миллионов, и то, что в его успокоение говорил француз, и опасность для него всей этой ситуации.

— По своему положению я не могу участвовать в этом деле,— смятенно произнес Протопопов.

— Вашего участия и не надо,— ласково, как ребенку, ответил Рубинштейн.— А тайна вашего текущего счета в банке, тем более во французском, будет обеспечена.

— Безусловно! — воскликнул француз.

— За что же я получу столь... большую долю? — спросил Протопопов, глядя на красивого француза.

— Тот французский документ, на котором вы начертали резолюцию, должен быть дезавуирован,— ответил Рубинштейн.

— Ему уже дан ход,— тихо сказал Протопопов. И вдруг неожиданно для себя пояснил: — Я же не знал, что речь идет в этом документе о вас, в нем только сам факт операции.

— Тогда вообще все в полном порядке! — весело заявил Рубинштейн. Он думал в это время о Манасевиче — как он-то мог догадаться, кто проводит операцию?

Зазвонил телефон. Рубинштейн взял трубку.

— Я слушаю,— сказал он измененным, старческим голосом.— Кто звонит?.. Да, он здесь... Вас, Александр Дмитриевич...

Протопопов услышал голос своего секретаря Савельева:

— Вам нужно немедленно уехать оттуда, немедленно,— на другом конце провода положили трубку и дали отбой.

— Меня срочно вызывает царь,— сказал Протопопов.— Проводите меня...

Недалеко от курзала с автомобилем Протопопова разминулись две военные машины. В первой сидел генерал.

Протопопов закрыл глаза и судорожно перекрестился.

У подъезда в министерство его ждал секретарь.

— Час назад ко мне зашел Манасевич,— рассказывал он, пока они поднимались в кабинет.— Хотел видеть вас. Я ответил, если у него что-нибудь срочное и важное, я имею возможность связаться с вами по телефону. Тогда он сказал: сообщите ему, что в известном министру деле по бумаге из Франции господа военные нас опередили и выехали на дачу Рубинштейна, чтобы арестовать его...

Манасевич, в бешенстве от того, что сорвался его план получить от Рубинштейна солидный куш, сам поехал в военную контрразведку и сообщил, что располагает точными сведениями — Рубинштейн пытается откупиться от обвинения. Это было немедленно доложено председателю комиссии по борьбе со шпионажем Северо-Западного фронта генералу Батюшину, и тот дал приказ об аресте. Генерал допускал, что Рубинштейн действительно может откупиться, но французский документ сначала был получен военной контрразведкой, и, конечно же, ей будет поставлено в вину непринятие мер по столь крупному и точно установленному преступлению. Тем более что возле этого дела вертелся Манасевич-Мануйлов. И для того чтобы этот опасный человек сам стал свидетелем решительных действий военной контрразведки, генерал Батюшин согласился на просьбу Манасевича включить его в оперативную группу, ехавшую арестовать Рубинштейна. Манасевич был причастен к министерству внутренних дел, и, наконец, именно он явился с тревожным сигналом в военную контрразведку...

Так Манасевич оказался свидетелем ареста Рубинштейна и мог досыта упиться местью этому пройдохе, которого погубили жадность и неуважение к нему, Манасевичу.

Увидев идущих к даче военных, Крюге, ничего не говоря Рубинштейну, спрятался на кухне в кладовку...

Когда стемнело и еще шел обыск, он выбрался из кладовки и незаметно покинул дачу.

Вернувшись в Петроград, он бросился спасать Рубинштейна, а точнее, самого себя. Еще в тот же вечер он вызвал к себе домой Симановича, секретаря Распутина. Посулив ему большую сумму, он предложил немедленно связаться с Распутиным. Тот должен не откладывая ехать в Царское Село и говорить с царицей, за что он тоже получит немалые деньги. Кроме всего прочего, Распутин

должен сообщить царице, что у Рубинштейна находятся векселя великого князя...

По различным документам дальнейшая история с Рубинштейном выглядела так... Делом его занялась комиссия, возглавлявшаяся генералом Батюшиным. Предупрежденный и сам понимавший, что на спасение Рубинштейна будут брошены влиятельные лица, генерал приказал вывезти Рубинштейна из Петрограда в Псков и там содержать в тюрьме. Но комиссия даже не успела приступить к допросам арестованного.

Распутин поработал хорошо...

26 сентября 1916 года царица в связи с предстоящей в Ставке у царя аудиенцией министра внутренних дел Протопопова писала своему супругу:

«Не забудь при свидании с ним и поговори с ним относительно Рубинштейна, чтобы его без шума отправили в Сибирь. Протопопов совершенно сходится во взглядах с нашим Другом на этот вопрос. Протопопов думает, что это, вероятно, Гучков подстрекнул военные власти арестовать этого человека в надежде найти улики против нашего Друга. Конечно, за ним водятся грязные денежные дела, но не за ним же одним».

Боясь, как бы царь все-таки не забыл об этом ее указании, 28 сентября в очередном письме мужу она снова пишет:

«Ангел мой! Затем поговори с ним относительно Рубинштейна...»

И наконец из Ставки от самодержца России последовало строгое указание освободить Рубинштейна. В Петрограде не знали, что делать. Отменить приказ об аресте Рубинштейна генерал Батюшин отказался. Дело было не в его принципиальности. Он боялся, что впоследствии этот его шаг будет ему поставлен в строку. В Царском Селе возникла идея снять генерала Батюшина с этой должности и на его место посадить более послушного. Но поступили иначе — от царицы поступило распоряжение изъять дело из военного ведомства, передать в министерство юстиции и там его прикрыть. А если министр заартачится, назначить нового министра, который выполнит приказ о прекращении дела. Дошло до того, что министры внутренних дел и юстиции совместно с генералом Батюшиным обсуждали, как найти выход из положения. Собственно, только одну трудность им нужно было преодолеть — никто из них не хотел оставить в архиве своих личных следов, связанных с освобождением Рубинштейна...

Между тем Рубинштейн делал свои дела и в тюрьме. Там, в Пскове, не покидая одиночки, он по совету Крюге освободился от акций замаранного банка «Юнкера и К° », продав их богачу промышленнику Второву.

Как в конце концов сговорились «заинтересованные лица», неизвестно, но Рубинштейн был освобожден, а его дело превратилось в две странички протокола обыска. Куда девалось все остальное, поди узнай. Словом, «заинтересованные лица» хорошо позаботились не только о сокрытии своих личных следов.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

1

Генерал Спиридович все время помнил и тяжело переживал размолвку с царем тогда, в поезде, и понимал, что прежнего доверия к нему царя не будет. А главное, как бы подводилась черта его усилиям внушить монарху тревогу перед растущей опасностью революции. Нельзя было сказать, что генерал Спиридович обожал царя,— нет, но была его высокая при нем служба, было понимание, что лучшего монарха, пока есть этот, Россия иметь не может, и была возможность как-то влиять на царя...

Среди крупных деятелей жандармерии Спиридович был из наиболее умных, а может быть, и самый умный. Приняв участие в подавлении революции 1905 года, он в отличие от большинства своих коллег увидел в тех событиях не просто бунт черни, спровоцированный подстрекателями, а новый этап в развитии русского общества, вызванный и внутренним положением страны, и деятельностью совершенно новой политической силы — российской социал-демократии. Этот его вывод многие деятели охранки не поддерживали...

Позже они спохватятся, поумнеют на этот счет, а тогда Спиридович с тревогой наблюдал их заблуждение и всеми силами старался помочь им прозреть. Он пишет и печатает в жандармской типографии только для служебного пользования две книги. Одна о партии эсеров, в ней он доказывает, что эсеровский террор — это спонтанная истерика слепых и разрозненных людей и что справиться с эсерами совсем нетрудно. Другая же книга о русской социал-демократии, о большевиках как о политической партии нового типа, имеющей умную и крайне опасную строю политическую программу и ведущей за собой большие массы людей, в первую голову пролетариат. Спиридович призывал беспощадно расправляться с большевиками, применяя законы военного времени даже в тылу. Одновременно он считал крайне необходимым вести умную агитацию против социал-демократической программы, за монархический, богом данный России строй.

Но у Спиридовича не было надежды, что его поймут и поддержат в жандармерии, и он решил — только воля монарха способна круто повернуть штурвал. Он держал при себе рукопись книги о социал-демократии, дожидаясь удобного момента попросить царя прочитать его труд. Такой момент оказался в той зимней поездке на фронт, царь рукопись прочитал и пригласил его к себе в вагон...

— Я прочитал... прочитал... И не без интереса...— начал Николай задумчиво и потом долго смотрел в окно, за которым медленно каруселила заснеженная русская равнина... И вдруг повернулся к генералу.— Мне кажется, вас увлекла теория борьбы. А моя голова и, надеюсь, головы всех моих благонамеренных подчиненных заняты практикой борьбы, в которой одна ясная цель —

достижение победы на войне...— Он показал на лежавшую перед ним рукопись.— У вас непереносимо часто повторяется слово «революция», вы точно под гипнозом этого слова, а заодно и под гипнозом у ваших социал-демократов, большевиков.— Николай отодвинул от себя рукопись и откинулся на спинку дивана.— Недавно Протопопов давал мне читать показания большевиков, арестованных в Иваново-Вознесенске. Право, смешно — какие-то ткачи и даже ткачихи вознамерились свергнуть меня. Боже, где тот Иваново-Вознесенск и где я? И вообще вы как конь с шорами на глазах — видите впереди только социал-демократическую революцию. А уж если говорить об этом всерьез, то революционная гидра многоголова, и я, например, больше встревожен революционной угрозой со стороны Думы, где все эти Родзянки и Гучковы уже собрались создавать правительство без моего участия...

— Ваше величество, думские дальше речей не пойдут!— мягко воскликнул Спиридович, от волнения его красивое лицо покрылось румянцем.

— А если пойдут?— наклонился вперед царь.

— Их можно попросту разогнать.

— Ну видите, как получается,— поморщился царь и снова откинулся на спинку дивана.— А ваши коллеги, занимающие самые высокие посты, говорят мне, что сейчас разогнать Думу — значит сознательно загнать ее в подполье, на нелегальное положение. А так она вся у нас на глазах...

Спиридович уже понимал, что царь его позицию не разделяет и не разделит — его упрямство известно, но, может, его встревожит последний аргумент — война?..

— Ваше величество, я сейчас думаю тоже только об одном,— заговорил он энергично,— о нашей победе над врагом. И, как могу, содействую этому. Но дело-то в том, что социал-демократы, большевики сейчас стремятся подорвать как раз военные усилия России, поэтому они активно действуют непосредственно в окопах, и их пораженческие призывы не могут не иметь успеха. Так же, как бедный всегда мечтает повергнуть в нищету богатых, так солдат, сидящий в окопе, мечтает о конце войны и своем возвращении целым домой.

— Вы заблуждаетесь,— подняв руку, прервал его царь, светлые глаза его потемнели, как всегда, когда он терял терпение.— Русская армия самоотверженно воевала, воюет и будет воевать впредь...

Разговор явно окончен, но Спиридовичу было невероятно трудно встать, у него вдруг появилось ощущение, что это последний его разговор с царем. И чтобы убедиться, что это не так, он начинает свой обычный доклад о порядке прибытия в Царское Село.

Царь выслушал его молча, закрыв глаза, и потом только кивнул еле заметно.

Спиридович покинул вагон в полном смятении.

2

Нельзя сказать, что царь в событиях 1905 года не узрел революции. Посылая в Москву на подавление декабрьского восстания рабочих свой Семеновский полк, Николай писал московскому генерал-губернатору: «Надеюсь, что Семеновский полк поможет вам раздавить окончательно революцию...» Есть и другие царские документы, где он употребляет выражения «революционная смута», «бунт, вызванный революционерами». Но все дело в том, что́ царь понимал под этим словом «революция», в чем видел ее силу и опасность.

Как известно, славного руководителя московских большевиков товарища Баумана убил нанятый охранкой уголовник. На письменном столе царя впоследствии почти одновременно появилось два документа. В одном было тревожное сообщение начальника московского жандармского управления о том, что похороны Баумана вылились в мощную революционную манифестацию — триста тысяч участников! Другим документом было представление министра юстиции по поводу помилования убийцы Баумана. Наученный охранкой, он заявил, что совершил убийство в ответ на оскорбление его патриотических чувств. Николай на этом документе начертал одну букву С, что означало — согласен помиловать. На сообщении о манифестации его пометок нет, но он вспомнил о ней спустя два месяца, в дни московского декабрьского восстания, принимая с докладом министра внутренних дел, и сказал ему:

— Сейчас восстали те же, что шумели на похоронах, тогда и надо было всех их переловить и не было бы ничего теперь...— И добавил:— Это все те же, кому снится революция...

А когда министр доложил ему о беспорядках в Казани и Екатеринбурге, царь воскликнул:

— Безрукие генерал-губернаторы! Прикажите им переловить и к ногтю! Я теперь точно знаю, где у меня хорошие генерал-губернаторы: там, где нет подобных безобразий.

Царь смотрел на революционные беспорядки как бы с другой стороны. Но это не помешало тому, что усилиями всех карательных и сыскных служб во главе с царем, обнаружившим в страхе за себя и за свою власть беспощадную решительность, первая русская революция была утоплена в крови. Когда Семеновский полк после подавления московского восстания вернулся в Петроград, на устроенном в его честь параде люди, даже хорошо знавшие монарха, с удивлением обнаружили, что он может говорить очень громко. Царь кричал: «Спасибо, семеновцы, дорогие мои! От всей души горячо благодарю вас за вашу службу! Благодаря вашей доблести, стойкости и верности окончена крамола в Москве!»

Вскоре возле него появляется Спиридович как начальник его личной охраны. Он понравился царю с первой встречи. Рослый, чуть рыжеватый, как и сам Николай, с красивым, несколько холодным лицом, он всем своим обликом олицетворял силу и спокойст-

вие. Проработав несколько лет до этого в жандармерии, в том числе в Москве у знаменитого полицейского «мыслителя» Зубатова, он много знал, разговаривать с ним было интересно, и то, что он не сыпал, как другие, пустопорожние льстивые слова, а говорил дело, тоже нравилось Николаю. Потом тот трагический вечер в киевской опере, когда был убит премьер-министр Столыпин, а находившегося в нескольких шагах Николая прикрыл собой Спиридович. Это еще больше приблизило к нему царя, теперь он часто брал его с собой на прогулки и весьма доверительно с ним разговаривал. Однажды Николай спросил:

— Я слышал, что вас, когда вы служили в Киеве, ранили эсеры?

— Недостойно вашего внимания,— решительно отвел этот разговор Спиридович. Но добавил:— И вообще эсеры — это типичный политический дым. Не больше...

— Что же тогда огонь?— легко поинтересовался царь.

— Большевики, ваше величество!

— Большевики?— удивленно рассмеялся царь, может быть, впервые услышав тогда это название.— Что это такое?

Спиридович коротко, но вполне серьезно объяснил, и снова царь рассмеялся:

— Мне больше нравятся меньшевики, очевидно, их меньше.

— Но и они, ваше величество, тоже социал-демократы.

— Социал-демократы, социал-демократы,— вдруг нахмурился Николай.— Надоело. Со смутой покончено. И ваши большевики могут свою опасную программу проповедовать только каторжникам в Сибири.

Царь так рассердился, что, не окончив обычного маршрута прогулки, заторопился во дворец.

Меж тем дальнейшие события показали: партия большевиков продолжала действовать и силы ее все увеличивались. Большевики оказались избранными в Думу второго созыва. Царь был в ярости, он приказал охранке очистить Думу от большевиков. Они были схвачены и осуждены на многолетнюю каторгу. А Дума распущена. Однако и в третью и в последнюю, четвертую, Думу большевики снова были избраны.

Начавшаяся война как будто ослабила деятельность революционеров. Но Спиридович в это не верил...

...В начале 1915 года Спиридович был срочно вызван к царю и застал у него в кабинете начальника особого отдела дворцового коменданта полковника Ратко, в обязанности которого входило информировать монарха о положении в стране. Полковник, вытянувшись, стоял перед столом и, двигая головой, следил за царем, который с покрасневшим лицом быстро ходил вдоль стены. Увидев Спиридовича, царь быстро прошел к столу, схватил лежавшую там бумажку.

— Не угодно ль ознакомиться...— Царь стоял перед ним и нетерпеливо ждал, когда он прочтет бумажку.

Это была большевистская листовка, призывающая солдат прекратить братоубийственную войну и обратить оружие против извечных своих поработителей — капиталистов, помещиков и монархической власти.

— Да, ваше величество, они в самом начале войны заняли эту пораженческую позицию,— сказал Спиридович, положив листовку на стол.

— Это не позиция, а измена!— гневно сдвинув брови, сказал царь.— Как вы можете спокойно об этом говорить? Народ, возвышенный любовью к отчизне и трону, ведет войну, а за его спиной изменники!— Царь повернулся к полковнику Ратко:— Распространители пойманы?

— Насколько мне известно, нет, ваше величество. Листовка найдена в кармане убитого солдата.

— Трижды измена!— задохнулся царь и нервно расстегнул ворот гимнастерки.— И достойный на нее ответ. Мой верный солдат прочитал эту грязную бумажку, пошел в бой и погиб. Наградить солдата Владимиром! Слышите? Владимиром!..— Царь подошел к Спиридовичу и сказал желчно:— Вы знаток этой страшной банды, не так ли? Сейчас же оставьте все, вместе с Воейковым поезжайте в охранное отделение, и чтобы к вечеру был готов проект приказа о беспрекословном соблюдении закона военного времени об измене и изменниках. Расстрел перед строем. Расстрел перед строем. Только это...

— Слушаюсь, ваше величество. Разрешите отбыть?

Царь сделал жест — убирайтесь, и Спиридович удалился с глубоким поклоном, не завидуя оставшемуся в кабинете полковнику Ратко.

И может быть, эта вспышка гнева Николая и отданный им приказ попутали Спиридовича — он решил, что царь изменил свою позицию, и поторопился отдать ему свою рукопись, а это окончилось для него очень плохо...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1

Последнее время у Грубина все чаще появлялось ощущение, что он может опоздать с выходом из всего этого бедлама. Ему казалось, что все в России стало настолько ясным и необратимым, когда он уже ничего существенного, принципиально нового сообщить в Германию больше не может. Однако исконно немецкое чувство дисциплины жило в нем, и он говорил себе: не торопись... не торопись.

Вот и сейчас, глухой ночью, слыша ровное дыхание жены, он думал, как лучше и быстрее выполнить полученное на днях задание своей службы — от него требовали точного, хорошо мотивированного заключения о том, не увеличились ли за последнее время

шансы сторонников сепаратного мира и насколько реально их осуществление.

Но почему Берлин снова тревожит реальность сепаратного мира?.. Неужели его догадка о готовящемся наступлении была ошибочной?..

Часы в столовой басовито пробили два раза — все-таки надо постараться уснуть... Протяжный далекий гудок парохода — уснуть... уснуть...

Утро принесло новые волнения. Горничная подала ему в постель газету «Биржевые ведомости», с первой страницы которой кричал заголовок крупными буквами: «Положить конец немецкому засилью!» Была бы это какая другая газета, вроде булацелевского «Нового гражданина», он бы и внимания не обратил на такой заголовок — эти газеты все время визжат о немецком засилье. А сегодня это напечатано в газете солидной, никак не склонной к политической истерике... Тон статьи строгий, категорический, хотя и не крикливый, в ней нет ни фактов, ни фамилий, ни даже намеков, но сказано нечто такое, чего раньше никогда не было: «...если власти не покончат с безнаказанным немецким засильем, Россия вправе будет назвать это изменой отечеству...» И в самом конце фраза: «Отечество, народ, как всегда, с надеждой взирают на своего государя». Получалось так, что власти и царь — это не одно и то же, но вместе с тем, поставленные рядом, они невольно объединялись. Во всяком случае, так до сих пор еще не писали.

Жена, расчесывавшая перед зеркалом длинные пушистые волосы, спросила:

— Что в газете интересного?

— Интересного? — механически переспросил Грубин. — Абсолютно ничего.

— Есть объявление о смерти жены Инсарова?

— Да боже мой, кого это интересует? — против обыкновения повысил голос Грубин. Жена обернулась на него с укоризненной улыбкой и, ничего не сказав, снова повернулась к зеркалу.

Поначалу у Грубина мелькнула мысль, что эта статья войдет убедительным аргументом в его ответ Берлину. Но если такое печатается в солидной газете, не является ли это сигналом для начала каких-то особых и уже государственных действий против всего немецкого? Положение в Петрограде и без того крайне напряженное. Население наэлектризовано постоянной нехваткой продовольствия, начались перебои даже в торговле хлебом. Война продолжает пожирать людей... Властям, конечно, очень выгодно направить возмущение населения в сторону, на все немецкое, повинное-де в бедах государства. И если эта статья сигнал к такого рода действиям, в Петрограде может мгновенно возникнуть смертельно опасная обстановка... И опасная именно для него самого. Манус станет одной из первых жертв, а тогда удар неминуемо обрушится и на него. Грубин с тревогой думает о том, что в последнее время он не заботился, как раньше, чтобы его связь с Манусом была невидима другим. Черт бы его взял, этого зарвавшегося Мануса!

Надо принимать срочные меры, чтобы избежать удара. Это еще можно сделать — главное, не растеряться. И тогда надо выходить из игры...

Утренний чай проходил при свете люстры — окна были синие, запоздалое осеннее утро только начиналось, на улицах еще горели фонари. Алиса Яновна, приподняв широкие рукава японского халата, сама наливала чай, посматривая на мужа, но вопросов ему больше не задавала, у них было заведено: о том, что касалось дел мужа, ей интересоваться не положено, об этом мог заговорить только он сам. А Грубин в это время думал, как бы меньше встревожить жену новостью, которую он приготовил...

— Знаешь, дорогая, я хочу срочно продать наш дом со всеми его потрохами,— сказал он ласково.

Алиса Яновна поставила чашку на стол, черные ее брови взметнулись крыльями, в глубине черных глаз удивление:

— Тебе нужны деньги?

— Что ты, милая...— Он погладил руку жены.— Но сделать это надо срочно. Еще сегодня я скажу моему доверенному, чтобы нашел нам квартиру с обстановкой поближе к центру.

— Я так полюбила этот дом,— печально сказала она, пряча глаза в пушистых ресницах. Грубин обнял ее за плечи и, касаясь щекой ее мягких волос, сказал тихо:

— Пора домой, родная... До-мой... Понимаешь?

— Боже, неужели?— прошептала она с радостно заблестевшими глазами.— Ко мне возвращается мой Генрих...— Она порывисто обняла мужа:— Дождались... дождались...

— Но, Алис...— Он мягко и решительно отстранил ее.— Никому даже тени намека... Ни-ко-му... Это может привести к катастрофе.

— Можешь быть спокоен, ты знаешь меня...— И вдруг сказала озабоченно:— Мы же на пятницу позвали гостей.

— Напиши всем, что ты больна... инфлуэнца. Извинись... И готовься к переезду на новую квартиру. Горничную отпусти, скажи, у нас пошатнулись дела, дай ей денег...— Он улыбнулся.— А гостей мы позовем уже там... дома...

До обеда Грубин ездил по банкам, смотрел, что там делается, слушал, что говорят. Ничего нового и особенно тревожного он не видел, все было как всегда. Даже досадно стало, что давеча утром он так испугался газетной статьи, вспомнилось, как сам он поучал однажды Мануса не обращать серьезного внимания на газетные вопли. Да, нельзя распускать нервы. Нельзя. Может, и с домом спешить не надо?..

Он заехал в Гостиный двор к хозяину ювелирной фирмы Морозову. Неделю назад с ним было договорено о покупке драгоценностей, теперь нужно было закрепить договоренность и заплатить аванс.

С места в карьер Морозов сказал, что цена на его товар повысилась в полтора раза. Грубин не выразил ни удивления, ни огор-

чения — лихорадка с ценами теперь обычное явление, но все же ждал объяснения... Морозова он неплохо знал, не раз покупал у него дорогие подарки для жены — это был хитрый делец, умело вел свое ювелирное дело и не без успеха играл на бирже. Но он был не очень умен, этакий истинно русский купец среднего масштаба, далекий от политики и гордящийся этим, он в тех же «Биржевых ведомостях» читал, наверно, только биржевые ценники, а статьи, которая сегодня встревожила Грубина, он просто не заметил...

— Почему так подскочила цена? — не дождавшись объяснения, спросил Грубин.

— Вы же знаете, цены всегда диктует рынок, — ответил Морозов. — Вам объяснять это не требуется. А вот только что приезжавшая ко мне княжна Палей очень осерчала и ничего не хотела понимать.

— Неужели она хотела покупать? — спросил Грубин.

— Представьте... и хотела взять приличную партию бриллиантов. Я сам удивился...

Грубин заметил, что и ювелира это тревожит.

— А что же случилось на рынке?

— С одной стороны, непонятно резко возрос спрос, с другой — упали в цене деньги... — Морозов озабоченно помолчал, поглаживая пальцами свое розовощекое простоватое лицо. — Я у вас хотел бы... спросить. Ну положение с деньгами понятно. Но почему вдруг так подскочил спрос?

— Первое объясняет второе, — ответил Грубин и продолжал: — Вот и я хочу закрепить свои деньги. То, что тогда отобрал, я беру... — Он вынул чековую книжку, заполнил чек и передал ювелиру. Тот взял его неуверенно и слишком долго разглядывал, но все же положил в стол со словами:

— Договор, как известно, дороже денег... — И снова вернулся к тревожившему его вопросу: — А не лучше ли мне закрыть торговлю?

Вместо того чтобы воспользоваться выгоднейшей конъюнктурой? — ответил Грубин.

— Господин Грубин, — вдруг решительно сказал ювелир. — Наша с вами сделка совершена, забудьте о ней, а теперь скажите мне откровенно — нет оснований у меня бояться?

— Чего?

— Той самой конъюнктуры. Вы, конечно, знаете Басова. Миллионщик. Знаете, что он мне предложил? Продать ему все мое дело на корню. Зачем оно ему?

— Спросили бы у него, — уклонился Грубин.

— Спросил. Но ответа не услышал. Но послушайте дальше. Мой главный конкурент вот тут, наискосок через Невский — Бурхарб в субботу закрыл свое дело. Я поехал к нему — почему? Ведь наш товар и на пожаре не горит. А он ответил, что проверять это свойство нашего товара он не хочет. И все. Смотри-

те — княжна Палей, Басов, Бурхарб да вот и вы... С чего бы все это?

— Не знаю, ей-богу, не знаю...— ответил Грубин и поспешил уйти...

2

Началось то, что он предугадывал. И первый отсюда вывод — надо как можно скорее перевести деньги в ценности, причем по любой цене. А дом надо продавать немедленно. Но — стоп, стоп — не паникую ли я снова?

В два часа дня Грубин зашел пообедать в Деловой клуб на Литейном. Он любил это заведение, где всегда царила тишина и не было показной роскоши. Вышколенные официанты походили на преуспевающих чиновников, скромное меню умещалось на маленьком листке, но блюда готовились по-домашнему, без претензий. Утром здесь были удивительно вкусные молочные завтраки, обеды до шести вечера, и ресторан закрывался. Сюда хаживали самые крупные дельцы, с которыми всегда можно было перекинуться новостями, получить полезный совет...

Войдя в ресторанный зал, Грубин остановился — кто тут есть? И ему повезло — он увидел известного в России богача Леонида Андреевича Манташева, с которым был знаком. И не просто знаком... Год назад он заинтересовался одним выгодным делом, но, тщательно его разведав, обнаружил мастерски скрытый в нем подвох. Когда он отказался от участия в этом деле, то узнал, что делом заинтересовался сам Манташев. Грубин немедленно воспользовался этим для знакомства с Манташевым и как раз здесь, в этом ресторане, рассказал ему о подвохе. Манташев поблагодарил его и спросил, как удалось ему открыть аферу. Грубин ответил: осторожность и еще раз осторожность — это мой принцип. Спустя несколько дней Грубин прочитал в какой-то газете разоблачение жуликов, которые вели именно то дело,— Манташев никогда не прощал, если кто-нибудь пытался его обмануть... После, когда Манташев появлялся в Петрограде, они несколько раз виделись здесь же, в Деловом клубе, но только здоровались...

Сейчас Манташев, судя по всему, уже пообедал и просматривал газеты. Подходя к его столику, Грубин увидел, что он читает французскую газету.

— Можно подсесть на пару минут?— спросил Грубин, подойдя к его столу и почтительно поздоровавшись.

Манташев не спеша оторвался от газеты и поднял на него большие внимательные глаза:

— А! Великий маэстро осторожности! Здравствуйте. Садитесь. Но я уже отобедал...— Освобождая место для Грубина, он отодвинул в сторону лежавший на диванчике ворох прочитанных газет.— Что вам заказать?

— Ради бога, ничего... Я забрел сюда просто так... чтобы побыть среди живых людей...

Манташев неожиданно рассмеялся и, показывая на зал, где обедали несколько человек, сказал:

— Это они-то живые? Все мертвецы, только они еще не знают этого...— Грубин вдруг увидел, какое у него усталое лицо. Большой делец, обладатель огромного состояния, вложенного в солидные дела, он был человеком веселого нрава, любил и понимал шутку, его черные глаза отражали живую душу. Он даже конкурентов душил весело. Все знали, как он одной своей жертве сказал: «Дорогой мой, относитесь к происшедшему как к уроку в школе деловых людей и пока поблагодарите меня устно, а придет время, я потребую урок оплатить». И когда спустя некоторое время неудачник провел выгоднейшее дело, Манташев послал ему письмо с напоминанием об уроке и потребовал оплаты по профессорской ставке. И получил перевод в двадцать пять рублей...

Сейчас перед Грубиным сидел совершенно другой Манташев, усталый, злой, с потухшими глазами.

— Зачем же вам понадобились живые люди?— спросил он.

— Тревожно мне, Леонид Андреевич,— тихо ответил Грубин.

— И мне тоже... и мне,— пробурчал себе под нос Манташев и вдруг с любопытством посмотрел на Грубина:— А отчего тревога-то?

— Читали сегодняшние биржевые?

— Читал. Чепуха,— отрезал Манташев.

— Ну как же, Леонид Андреевич? В пороховую бочку суют зажженную тряпку.

— Порох давно отсырел,— категорически ответил Манташев. Он подозвал официанта и показал на груду газет:— Уберите этот мусор...

Они молчали, пока не ушел официант. Потом заговорил Манташев, заговорил энергично, в его черных глазах поблескивала злость, усталое его лицо оживилось:

— Мне говорили, что вы человек Мануса...— Грубин протестующе поднял руку, но он продолжал:— Ладно, ладно, не вы его человек, а он ваш, это не играет никакой роли. Но вы на него непохожи. Он настолько врос со своими деньгами во все, что по инерции еще именуется Россией, что уже не видит собственные колени — мешает пузо с барышами. Но вы-то, я знаю, финансист осторожный, а значит, думающий и на авось не полагающийся. Я же помню то дело... Так неужели вы не понимаете, что ваша бочка с порохом существует не сама по себе. Допустим, она в трюме парохода, который напоролся на скалу и идет ко дну. Какое значение, взорвется она или нет? Для нас с вами корабль — наше государство и прежде всего его фундамент — экономика, а именно здесь удар о скалу и пришелся. Я только что читал французскую газету. Они пишут, что русская экономика напоминает сейчас воздушный шар с простреленной оболочкой, он еще летит, но падение его неизбежно. Союзнички пишут, и они знают...

Грубин слушал его, пытаясь скрыть охватившую его тревогу, но не за корабль-Россию, конечно, а только за то, сумеет ли он

спасти капитал, выйти из этой страшной игры, чтобы обрести затем в родной Германии спокойную жизнь, о которой мечтал все эти годы. Он не заметил, что Манташев уже давно молчит и смотрит на него с недоброй усмешкой.

— Как же спастись?— спросил Грубин.

— И как спасти капитал?— подхватил Манташев и мгновенно ответил:— Не знаю. Каждый спасается в одиночку, и его спасительным плотом в океане является его ум...— Манташев умолк, ожидающе смотря на Грубина.

— Ну а если что-нибудь изменится на войне?— нерешительно начал Грубин.

— Что война? Что и какие изменения вы ждете?— Манташев не скрывал злости, но Грубин понимал, что эта злость не на него, а на все, что привело его к этим мыслям, и ему, наверно, нужно было перед кем-нибудь выговориться.— Войны уже нет!— продолжал он, глядя в пространство.— Ее проиграли и мы и немцы. Парадокс? Это истина, дорогой мой. Ис-ти-на...

— А если войну остановит мир?

— И это для нас с вами уже не имеет никакого значения, поскольку мы не сидим в окопах. Для нас важно только одно — есть у нас деньги или их уже нет. Так вот — у нас их нет. Тот рубль, который мы называли золотым, сейчас стал в лучшем случае жестянкой. А что вы можете сделать с этими жестянками?

Грубин подавленно молчал, а Манташеву словно доставляло удовольствие, что он загнал собеседника в тупик без выхода. Но ведь и сам он был в этом тупике... И вдруг он точно нашел что-то утешительное, в глазах у него загорелось злорадное оживление:

— Одно приятно — весь мир перевернут на спину. Весь! А знаете, что бывает с ежом, когда его перевернут на спину? Он становится беззащитным, у него открыто голое брюхо. Мир перевернут на спину! Кто его поставит на ноги? Может быть, маленькие нейтралы вроде Швеции, которые, как это ни смешно, выиграли эту войну. Но скорее всего это сделает Америка, она сейчас словно на другом корабле. Но сколько она за это возьмет? Захочет ли она получить жестью вместо золота? О, она поступит иначе! Она взрежет голое брюхо ежа и запустит руки в его внутренности. Она потребует концессий! И тогда мы с вами со своими жестянками превратимся в бедных родственников при американском богатом дядюшке, а он, как известно, к бедным родственникам нежных чувств никогда не испытывал. Вот о чем следует думать, дорогой мой осторожник, которого явно покинула осторожность, вы, дорогой мой, опоздали высадиться с этого корабля. Опоздали!...

Они вместе вышли на улицу, молча попрощались. Манташев сел в поджидавший его автомобиль.

Грубин стоял на краю тротуара, смотря вслед умчавшемуся миллионеру. Потом, ничего не видя и не слыша, пошел к Невскому. В виски ему стучало: опоздал... опоздал... опоздал... Страшно... Неужели он из этого проклятого бедлама выйдет нищим и не обеспечит любимой Алисе безмятежную жизнь, которую обещал ей все

эти годы? Она потеряет веру в него, а значит, и любовь. Нет! Смириться с этим невозможно!..

На углу Невского он остановился и посмотрел вокруг. Был разгар дня. В высоком блеклом небе, как сквозь мутное стекло, расплывчато виднелось солнце. Прямой и широкий Невский проспект жил... Катились по нему гремучие трамваи, наполненные пассажирами, и это были живые люди, которых вели куда-то их вполне житейские дела и заботы. Проносились пролетки на дутых колесах с величественными извозчиками на облучках, а в раковинах пролеток, спокойно откинувшись на подушки, сидели пассажиры — люди, надо думать, со средствами, и их тоже звали куда-то их житейские дела. Житейские, черт возьми!.. Вдруг он услышал какой-то ритмичный шум и увидел колонну солдат. Она медленно выползала с Фонтанки на Невский, сворачивая в сторону Адмиралтейства. Впереди печатали шаг офицеры. И где-то внутри колонны возник высокий, распевный голос:

Мы воюем за матушку-Россию,
Мы воюем за батюшку-царя!

И вся колонна грянула припев. Слов его Грубин разобрать не мог, только в конце ясно громыхнуло трижды: «Ура! Ура! Ура!»

С плаката на стене бравый усач при четырех «георгиях» на военной гимнастерке смотрел на Грубина, на всех и строго спрашивал: «Ты подписался на пятисполовинойпроцентный военный заем во имя близкой победы?»

Грубин шел по тротуару вслед за колонной, и постепенно к нему возвращалась надежда, пока неуверенная, но надежда. Внутренний голос все громче говорил ему: никакой паники, собери все свои силы и делай то, что наметил. Делай!

3

Лондон потребовал от Бьюкенена найти предлог для поездки в русскую Главную Ставку и во что бы то ни стало увидеться с царем. Видя, какой разброд царит в русском правительстве, английские лидеры хотели уверенно знать позицию и настроение царя. Кроме того, они, очевидно, хотели перепроверить данные, которые получали из русской Ставки от своей военной миссии.

Прочитав шифрограмму, Бьюкенен, как положено, расписался в углу бланка, но перо зацепилось, и он резким росчерком оборвал подпись...

Абсолютно не понимали там, в Лондоне, особенности положения дипломатов при русском дворе. К царю прорваться было нелегко, даже когда он жил дома в Царском Селе, замкнутый в узком семейном кругу. А теперь, чтобы только попасть в Ставку, нужно было преодолеть множество бюрократических барьеров и до поездки могли пройти месяцы...

Бьюкенен использовал несколько способов дать знать царю, что он рвется к нему в Ставку, но его сигналы до монарха явно не доходили.

С тех пор как премьер Штюрмер руководил министерством иностранных дел, Бьюкенен хорошо узнал его и понял, что этот ставленник Распутина не так примитивен, как его характеризовали. При довольно ограниченном уме он был опытнейшим и ловким интриганом, Бьюкенену, общаясь с ним, приходилось напряженно вслушиваться в каждое его слово. В свою очередь, Штюрмер понял, что английский посол для него очень опасен, и на открытую борьбу с ним пока не шел, решив, что раньше надо подорвать давнее уважение и доверие к нему царя. А пока это доверие еще есть, он, несмотря на благорасположение императрицы и поддержку Распутина, начинать решающий бой с Бьюкененом опасался. Пока он вооружал против него Александру Федоровну, рассчитывая, что она соответственно настроит и своего венценосного супруга. С Бьюкененом же был предельно благожелателен и даже льстив, делал вид, будто идет на все, чего желает посол, на самом деле ничего не делал, потом объясняя это тем, что власть его далеко не безгранична. Бьюкенен прекрасно знает, что его власть сейчас может быть ограничена только царицей, и должен понимать, что пытаться обойти премьера бесполезно и опасно. Разгадывая эту штюрмеровскую стратегию, английский посол приходил в бешенство, которое должен был, однако, скрывать...

Так Штюрмер поступал и с просьбами Бьюкенена о желании посетить Ставку — после каждой такой просьбы посла он немедленно ехал к императрице и получал ее согласие на отказ...

И вот Бьюкенен в третий раз пришел к Штюрмеру с просьбой о поездке в Ставку. Словно не расслышав приглашения сесть, посол стоял, давая понять, что аудиенция носит какой-то особый характер, но длинной не будет — он не намерен сегодня выслушивать беспомощные объяснения премьера. Штюрмер медленно поднялся, но больные ноги с трудом держали его гренадерское тело, и он одной рукой оперся о стол.

— Я обращаюсь к вам с этой просьбой в последний раз,— спокойно, негромко сказал Бьюкенен.— И в случае новых проволочек предприму чрезвычайные шаги.

Штюрмер заносчиво откинул назад голову, он всегда это делал, когда перед ним возникала какая-нибудь непосильная его уму ситуация, и каждый раз Бьюкенен внутренне улыбался — он однажды представил себе, как Штюрмер перед зеркалом отрабатывает эту позу, думая, что она подчеркивает величие его положения в государстве. Сам посол, затянутый в черный фрак, олицетворял собой холодную официальность, и лицо его было непроницаемо для Штюрмера, как тот ни вглядывался в него, стараясь сообразить, о каких чрезвычайных шагах сказала эта седая британская лиса. Но надо что-то отвечать... Штюрмер прошелся пальцами по галунам на мундире, как по клавиатуре, и сказал с полным сочувствием:

— Я приму самые решительные меры, господин посол... Я немедленно приму меры,— повторил он и даже сделал движение, будто собирается действовать сейчас же.

— Я жду ответа до завтра,— сухо сказал Бьюкенен и попрощался.

Штюрмер долго стоял, даже про больные ноги забыл. И вдруг обрушился в кресло и схватил телефон:

— Мой автомобиль с полным запасом бензина — к подъезду...

Спустя десять минут он уже мчался в Царское Село...

Бьюкенен вернулся в посольство. В вестибюле у подножия беломраморной лестницы его поджидал Грюсс:

— Получена великолепная шифровка из Лондона, сэр.

— Я не привык работать в вестибюле,— сердито проворчал Бьюкенен, отдавая пальто слуге. Последнее время ему что-то начала не нравиться совершенно неанглийская экспансивность Грюсса.

Они прошли в кабинет, и Грюсс, терпеливо дождавшись, пока посол сядет за стол, молча подал ему лист с расшифрованным сообщением из Лондона.

Министр иностранных дел сообщал, что указом короля командующий Балтийским флотом России награжден знаком Большого Креста Бани. Послу поручалось вручить эту награду, которая уже выслана.

Бьюкенен недоуменно посмотрел на Грюсса:

— Мне непонятен ваш восторг — очередная совершенно неуместная акция.

— Разрешите сказать мое мнение.— Грюсс наклонил тщательно причесанную голову.

Бьюкенен устало выпрямился в кресле.

— Я слушаю.

— Кроме того, что акция, как вы совершенно правильно сказали, неуместная, она еще и бестактная,— заговорил Грюсс.— Наградить командующего Балтийским флотом, забыв о командующем флотом Черноморским! Оба они с их флотами, как мы знаем, не заслужили никакой награды. Но если мы все-таки награждаем адмирала Балтийского флота, почему обходим наградой Черноморского?— Розовощекое лицо Грюсса выражало детское недоумение.

— Ну-ну, это и есть ваше мнение?— Посол нетерпеливо поднял усталый взгляд из-под белых кустистых бровей.

— А не стоит ли, сэр, забыв о бестактной сущности акта, незамедлительно просить царя самого принять эту награду, так сказать, символически за подвиги всего русского флота — это и будет важным поводом для вашей поездки в Ставку. Вспомните, когда наши привезли ему жезл фельдмаршала, он принял их немедленно.

Бьюкенен удовлетворенно молчал. Этому Грюссу все же нельзя отказать в изворотливости. Ход он предлагал отличный.

— Подготовьте шифрограмму в Лондон,— распорядился он.

— Вы не боитесь, что там решение этого вопроса затянется? — спросил Грюсс.

— Боюсь, — ответил Бьюкенен и выжидающе смотрел на Грюсса, как бы подсказывая ему принять решение, касавшееся уже его непосредственной службы. Последнее время он уже не раз через Грюсса прибегал к помощи секретной службы Великобритании, когда нужно было подтолкнуть свое неповоротливое министерство...

— Я попрошу проследить за скорейшим прохождением вашей шифрограммы, — угодливым тоном сказал Грюсс и еще угодливее попросил разрешения идти выполнять поручение посла.

Бьюкенен закрыл глаза и задумался...

В это время царица уже беседовала со Штюрмером. Она принимала его, как обычно, в кабинете царя, сидя за маленьким овальным столиком в глубине кабинета, там, где начиналась лестница на антресоли. Она была в темно-синем закрытом платье, подчеркивавшем нездоровую белизну ее напряженного холодно-красивого лица и беспокойных рук.

Штюрмер сидел перед ней на стуле, ему некуда было протянуть свои длинные ноющие ноги, и он сидел в странной позе, будто обнимая стол широко разведенными коленями. И его, как всегда после дальних поездок на автомобиле, мутило... Он только что кончил доклад о визите к нему английского посла и, изобразив на лице великую тревогу за дела государевы, ждал, что скажет его мудрая августейшая наставница.

— Боже! Что они от него хотят? — Александра Федоровна, прищурив глаза, смотрела куда-то в глубь себя.

«Боже, не пришел ли час свалить седую британскую лису?» — подумал Штюрмер и сказал с грустью и досадой:

— Вы же знаете, ваше величество, что страстью Бьюкенена является открывать глаза монарху на то, что, по его мнению, сам монарх по слепоте не видит. Я уверен, и на этот раз что-нибудь в этом роде.

— Но что, что? Что именно? — повысив голос, спросила царица и, переведя взгляд на премьера, сжала пальцами виски. — Я не понимаю... не понимаю. Они же наши союзники, почему они нам мешают? Главное, мы воюем, а они только и знают, что портят нам нервы.

Штюрмер сочувственно молчал, закатив глаза на краснодеревный, кованный медью потолок.

Александра Федоровна высоко подняла голову (не у нее ли это перенял Штюрмер?). Ее большие светлые глаза были широко открыты и пылали гневом.

— Ведь это он, этот самый Бьюкенен, спровоцировал тогда посещение Думы. Такой позор, такой позор! Толкнуть царя в этот грязный омут, где нас оскорбляют, мешают с грязью! Скажите, зачем это нужно было Бьюкенену? Англии?

— Англии, я думаю, это не было нужно,— тихо ответил Штюрмер, он ждал, чтобы она сказала наконец что-то определенное.

— А зачем это Бьюкенену?— все больше выходя из себя, спросила царица.— Ведь Ники считает его своим другом, он не раз, возражая мне, говорил, что этот посол среди всех самый умный и самый полезный России.

— В немецких газетах его назвали даже некоронованным вторым царем России,— с осторожной усмешкой добавил Штюрмер.

— Боже! Вот до чего дошло!— громко воскликнула царица и, тяжело вздохнув, решительно сказала:— Он не должен ехать в Ставку. Не должен.

— Это будет уже третий отказ,— выждав немного, напомнил Штюрмер тихим голосом.— Он, мне кажется, предельно возмущен.

— О чем вы говорите!— Царица с жестом отчаяния сложила на груди руки.— Злость мелкого чужого чиновника и великая держава! Боже, какой стыд! О чем вы говорите!— Она затрясла головой, точно стараясь освободиться от того, что услышала...

— Но через свою военную миссию в Ставке он может известить его величество о своем желании помимо нас,— бесстрашно продолжал Штюрмер, желая обезопасить себя со всех сторон.

— Я сегодня же напишу Ники. В конце концов, это уже вопрос престижа высшей власти,— она опять вскинула голову.— Мелкому чиновнику следует указать его место! Откажите ему, причем в достаточно резкой форме. Нет, и никаких разговоров! Когда его величество сочтет необходимым его видеть, он будет извещен. Надеюсь, у него хватит ума сообразить, что это моя воля, и значит, воля монарха.

— Я, как всегда, восторгаюсь, ваше величество, и вашим умом, и вашей решительностью,— почтительно сказал Штюрмер, чуть тронув свои кинжальные усы.— Так, и только так, можно поставить на свое место всех, кто, обманувшись в силе и решимости нашей верховной власти, сеет смуту и помышляет влиять на нашу политику.

— Только так... Только так...— произнесла тихо, точно про себя, царица.

Штюрмер встал, выпрямился насколько мог, но не откланивался — был еще один тревоживший его аспект.

— Простите меня, ваше величество, но я бесконечно мал в великом синклите российской власти, я всего лишь ее слуга, и это источник моей гордости и моего счастья.— Он говорил тихим, шелестящим голосом и с собачьей преданностью смотрел на царицу, не понимая, почему она снова вдруг встревожилась.— Научите меня, ваше величество, что мне сказать этому чиновнику, если он заявит, что просит аудиенции по воле своего короля.

Царица, очевидно, ждала, что за льстивым вступлением последует еще какая-нибудь неприятность, каких в последнее время было предостаточно. Но сейчас, узнав в чем дело, она успокоилась.

— Объясните ему с достоинством, что, как вам известно, наши великие монархи, когда это им необходимо, общаются без посредников...— Она задумалась, представила себе, как услышит это Бьюкенен, ее сжатые тонкие губы дрогнули в улыбке.— Хотела бы я видеть, с каким лицом он выслушает ваш ответ.

— Я это сообщу вам немедленно,— понимающе улыбнулся Штюрмер и, покорно склонив голову, добавил:

— Все во мне, ваше величество, протестует против этого, но я вынужден откланяться. Глубоко благодарен вашему величеству за высокий урок...— Он сперва попятился мелкими шажками, потом, будто через силу, повернулся и на подгибающихся ногах вышел из кабинета. Царица смотрела ему вслед и думала: «Как мало возле нас таких верных трону людей...»

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

1

Ответ из Лондона не задержался — очевидно, служба Грюсса и на этот раз приняла необходимые меры. Шифрограмма послу пришла ночью, но еще раньше Грюсс получил сообщение от своих непосредственных начальников о том, что его предложение принято... Но этого сообщения Грюсс послу не покажет — не следует лишний раз демонстрировать ему свои возможности и дезавуировать его действия как официального представителя королевского правительства. Наконец, в депеше есть задание и ему на случай, если поездка посла в Ставку состоится.

Бьюкенен вызвал ночью Грюсса в свою квартиру. Шифрограмма подняла его с постели, он был в халате, лицо помятое, заспанное.

— Прошу простить мой вид, но дорога каждая минута,— сказал посол, приглаживая всклокоченные волосы.— Вот ответ Лондона.

Грюсс бегло прочитал шифрограмму:

— Неслыханная оперативность.

— В Лондоне все же понимают особую важность этого шага.— Бьюкенен посмотрел на Грюсса с той обаятельной, доброй улыбкой, которой дорожили сотрудники посольства как редкой наградой, и сказал:— Дорогой Бенджи, я сейчас досмотрю свой стариковский сон, а вы, не медля ни минуты, приготовьте проект депеши генералу Вильямсу. Тон решительный. Не просьба, а веление короля, поскольку высокие военные награды — это сфера действия монарха. Нужно отрезать все пути для оттяжки дела. Напишите, что для вручения орденов я готов выехать в Ставку послезавтра.

— Но разве ордена уже прибыли?

— Я надеюсь, что мы получим их завтра. В противном случае мы вручение осуществим символически. Надо на этот случай при-

готовить документы с изложением указа короля о награждении. Прошу вас, чтобы к утру все было готово...

— Буду считать бессонную ночь издержкой во имя оперативности,— поклонился Грюсс.

— Все же спокойной ночи, Бенджи...— Бьюкенен приподнял руку, прощаясь...

Телеграмма посла генералу Вильямсу ушла в Ставку в 8 часов утра. Он должен получить ее до традиционного завтрака с царем.

Ответ генерала Вильямса пришел в посольство днем, в начале двенадцатого. Генерал сообщал, что царь благодарит за высокую награду его флоту и приглашает английского посла приехать в Ставку в любой удобный для него день и в сопровождении необходимых ему в поездке сотрудников...

Ровно в двенадцать сэр Джордж Бьюкенен, одетый в черный фрак, вошел в кабинет Штюрмера.

После положенных этикетом любезностей Штюрмер поднялся, опираясь на стол. Откинув голову, он приготовился сообщить послу, что сейчас его поездка в Ставку невозможна. Бьюкенен ждал этого мгновения и, опережая премьера, сказал холодно:

— Я еду в Ставку завтра.

— Я был бы рад, если бы вы могли поехать е е сегодня,— начал Штюрмер, решив, что посол своим заявлением просто демонстрирует непреклонную английскую настойчивость.

— Его величество,— точно не слыша его, продолжал посол,— пригласил меня и мою свиту прибыть в Ставку в любой удобный для меня день. Я решил выехать завтра...— Он вынул из папки царское приглашение и положил его на стол премьер-министра.

Штюрмер прочитал его очень внимательно и вернул.

— Но это...— сказал он сочувственно,— это ведь только ваша служебная переписка с главой вашей миссии.

— Я не понял вас...— Бьюкенен чуть наклонился вперед, будто он не расслышал точно.— Вы допускаете, что глава английской военной миссии сообщает неправду?

— Боже упаси,— вырвалось у Штюрмера.— Но...— Он запнулся и умолк, вдруг сообразив, что сейчас каждое его слово может стоить ему очень дорого.

— Что «но», господин премьер?— мягко и точно подбадривая, спросил посол. Его породистое красивое лицо выражало почтительную готовность выслушать что угодно...

— Я имею... совершенно иные указания,— тихо и озадаченно произнес Штюрмер.

— От его величества?— все с тем же мягким, даже сочувственным вниманием спросил Бьюкенен.

— Да нет...— Штюрмер откинул голову назад: будь ты проклята, седая лиса...

— Разве у России два монарха?— чуть повысил голос посол.

— Ну что вы только говорите,— тихо отозвался Штюрмер, лихорадочно думая, что же он сейчас должен делать, что говорить.

— Тогда все более чем просто,— ответил посол.— От вас требуется только отдать распоряжение о предоставлении мне вагона в завтрашнем поезде. Состав сопровождающей меня свиты вы получите через час. Но это чистая формальность, поскольку государь подбор свиты доверил мне. Не смею больше отнимать у вас время...— Он не спеша поклонился и вышел.

Штюрмер позвонил царице по телефону и рассказал о новом визите посла. Пользоваться для такого разговора телефоном было более чем рискованно, но у Штюрмера никакого другого выхода не было. Все решали уже не часы, а минуты.

Выслушав его, царица долго молчала.

— Хорошо, пусть будет так,— сказала она наконец и положила трубку. Все-таки она была достаточно умна, чтобы понять ситуацию и трезво решить, что изменить ее она уже не может...

2

Английский посол прибыл в Ставку рано утром. Сопровождавшие его сотрудники еще спали по своим купе салон-вагона, а Бьюкенен, уже одетый в парадную форму, при орденах и широкой ленте через плечо, наблюдал из окна маневрирование поезда, смотрел, где поставят его вагон,— все имеет свое значение... И был приятно удовлетворен, когда его вагон остановился окно в окно с салон-вагоном царского поезда.

Было угрюмое осеннее утро, шел мелкий дождь, в перелеске, где укрывались литерные поезда, стелился туман. Неподалеку в шинели, почерневшей от дождя, стоял солдат-часовой. И больше никого не было видно. Но вот Бьюкенен увидел тучного генерала в парадной шинели с малиновыми отворотами, который шел мимо вагона, поглядывая на его окна. Увидев Бьюкенена, генерал отдал ему честь и дал знак, что он войдет в вагон.

Вместе с ним в салон ворвалась холодная сырость.

— Разрешите представиться, ваше превосходительство! Генерал свиты его величества Сандалов.

Они поздоровались. Глядя на рыхлое, нездорово белое лицо генерала, Бьюкенен думал, что для его встречи могли бы выбрать лицо рангом повыше...

— У верховного главнокомандующего до поздней ночи длилось очень важное совещание с участием всех высокопоставленных лиц Ставки...— подавляя одышку, продолжал генерал.— Его величество просили меня прежде всего сообщить вам об этом. Засим передаю вам приглашение его величества к завтраку, который почтят своим высоким присутствием ее величество государыня с августейшими дочерьми.

Генерал щелкнул каблуками, поклонился и ушел.

Бьюкенен стоял неподвижно, сраженный убийственной новостью. Значит, очередным враньем Штюрмера было крушение поезда, после которого дорога-де была временно закрыта, а из-за

этого поездка была отложена на два дня. Так они выиграли время, чтобы царица смогла приехать раньше. Мерзавцы!

В салон, гремя мокрой клеенчатой накидкой, вошел начальник английской военной миссии при Ставке генерал Вильямс.

— Отвратительная погода, сэр,— густым сипловатым басом сказал генерал, сбрасывая в угол накидку.— С благополучным прибытием!— Он энергично пожал руку посла и посмотрел на него.— Вы чем-то расстроены?

— Царица примчалась сюда, чтобы помешать мне,— Бьюкенен сел за стол, оперся на локти, крепко сцепив длинные пальцы.— Невыносимо... невыносимо... Два великих государства ведут великую войну, а здесь свою войну ведут мелкие интриганы вроде Штюрмера и втягивают в нее царскую семью.

Вильямс на это никак не отозвался, подсел к столу и, пощипывая седые пышные усы, смотрел в окно, за которым медленно светлело пасмурное осеннее утро.

Им было о чем и помолчать...

Они давно уже договорились о разделе сфер своей деятельности. Бьюкенен взял на себя тыл, генерал — фронт. Но понятия «тыл» и «фронт» были весьма расплывчаты. Посла и генерала интересовало все, что могло влиять на общий ход войны, и они вместе решали одну общую задачу — не дать России выйти из войны, не пропустить хотя бы тени измены России своему союзническому долгу...

Сейчас ничего нового они друг другу рассказать не могли. Но Вильямса не могло не тревожить, что́ посол собирался сказать царю.

Бьюкенен снял с плеча ленту, повесил ее на стул, расстегнул высокий жесткий ворот форменного мундира и сказал устало:

— Вы не представляете, каких усилий и ухищрений стоило мне попасть сюда...

— Хорошо еще, если цель стоила усилий,— басовито ответил генерал и отвернулся — его немного смешило, что посол вырядился ни свет ни заря, думал, наверно, что его из поезда прямо к царю.

— Это ужасно, когда правительство такой державы возглавляет человек с данными провинциального губернатора, а его мелкое интриганство получает высокое покровительство. И я терплю это день за днем...

Генерал отодвинулся от окна и очень долго раскуривал длинную сигару. Удушливый дым хлынул на посла.

— Прошу прощения...— Генерал запоздало повел в воздухе рукой, разгоняя дым.— А я, знаете ли, не уверен, что умный на этом посту лучше...

— Да вы поймите, в Петрограде делается все, чтобы развенчать божественность царя и представить его в самом неприглядном виде.

— А разве это нельзя остановить?

— Как? — совсем разозлился посол. — Как? Если большинство опаснейших глупостей и безобразий совершается от имени царя? Знает ли он об этом?

— И вы собираетесь это ему сказать? — Генерал серьезно и даже встревоженно смотрел на посла. — Жалоба на царицу? Будете ли вы иметь успех? Наконец, стоило ли за этим ехать?

— А вы не допускаете, что солдат, знающий о безобразиях в отечестве, которое он защищает своей грудью, однажды отвернется от царя и бросит фронт? — У Бьюкенена от волнения даже щеки порозовели.

— Вы не знаете специфики военного организма, в котором мнение и желание солдата слишком мало значат... — спокойно ответил генерал и, положив сигару на пепельницу, продолжал: — Если хотите знать мое мнение, то оно таково... Эту войну не выиграет ни Россия, ни Германия. Они обескровлены и на действия, которые могли бы решить войну, не способны. А при этом спокойствие царя — главное условие, чтобы Россия до самого предельного срока не вышла из войны. И мы с вами обязаны делать все только во имя этого, а все, что мимо этого, отбросить.

Они долго молчали. Бьюкенен думал: а может, генерал прав? Наконец, есть ли сейчас сила, способная навести в России порядок? Но почему со всем, что творится в стране плохого, должно быть связано имя монарха?

— Все же я попытаюсь передать ему мою уверенность в необходимости проявить власть в отношении всяких внутренних дел или хотя бы дать понять обществу, что не он в них виноват.

— Ну что ж, попробуйте... — Обнаружив, что его сигара сама сгорела в пепельнице, генерал легким прикосновением пальца разрушил палочку серого пепла и встал: — Встретимся на церемонии...

3

Без двадцати девять в вагон к Бьюкенену явился адъютант из свиты царя. Рассыпаясь в извинениях, он сообщил об изменении утренней программы. В девять тридцать состоится передача царю английской награды, а потом уже будет завтрак для всех участников торжественной церемонии... Это означало, что потерян завтрак в узком кругу, после которого легко было остаться для разговора с царем наедине... Это царица...

Церемония вручения английской награды проходила в здании Главной Ставки, в небольшой комнате, где посредине стоял только круглый столик с верхом из белого мрамора. Все говорило Бьюкенену, что церемония будет недолгой и не очень торжественной. Присутствовали только главы военных союзнических миссий и Бьюкенен со своей свитой из пяти человек. Все стояли у стен и, ожидая появления царя, тихо переговаривались.

Ровно в девять тридцать в комнату вошли царь и министр двора дряхлый Фридерикс. Министр был в парадной форме полного генерала, мешком висевшей на его костлявой, сгорбленной фигуре, широкие золотые погоны с николаевским вензелем сползали с его плеч. Войдя в комнату, он сразу же пристроился у стены, чтобы легче было выстоять церемонию. Николай вошел в обычной своей полковничьей форме без орденов и аксельбантов, и на нем суконная гимнастерка сидела нескладно.

Царь прошел прямо к Бьюкенену и приветливо с ним поздоровался. Спросил о здоровье жены, дочери и, когда Бьюкенен ответил, что дома у них все хорошо, пошутил: английский дом — это хорошо защищенная крепость... Бьюкенен, глядя с учтивой улыбкой на царя, видел, что его лицо нездорово-желтого цвета, под глазами темные мешки, а глаза красны, как после бессонной ночи...

Царь поздоровался с главами миссий, подошел к столику и пригласил к себе Бьюкенена. Посол стал у столика сбоку, а позади него Грюсс, торжественно державший в руках раскрытый черный футляр с регалиями ордена Бани.

— По-моему,— с еле приметной улыбкой начал царь тихим голосом, приглаживая правой рукой усы,— все, что мы можем здесь сказать в наших речах, всем заранее известно — наш союзный долг нерушим и мы должны выиграть эту войну. Поэтому мы с сэром Джорджем Бьюкененом договорились речей не произносить...— Бьюкенен невольно посмотрел на царя — никакой договоренности у них не было, их взгляды встретились, и царь чуть прищурился с хитринкой.— Поэтому мы здесь произносим только те слова, без которых просто нельзя обойтись.

Бьюкенен подумал в эту минуту — хорошо, что он не успел вынуть из кармана свою тщательно продуманную и написанную речь — сейчас он выглядел бы смешно. Было совершенно ясно, что эту скромную процедуру придумала царица, боясь, что в речах может прозвучать что-то ей неугодное. Он как раз собирался затронуть в речи факты, бросающие тень на понимание некоторыми кругами в России союзнического долга.

Бьюкенен стал так, чтобы говорить, обращаясь к царю, и видеть всех присутствующих, и сказал торжественно, гораздо громче, чем того требовала маленькая комната:

— Мне доставляет огромное счастье исполнить волю его величества короля Великобритании Георга Пятого и вручить вам, ваше императорское величество, орден Бани, символически венчающий победу русского флота и подтверждающий нерушимую верность Британии победоносному союзу с Россией...

Он оглянулся на Грюсса, и тот, приблизившись, протянул ему футляр. Взяв из него знаки Большого Креста ордена Бани, Бьюкенен протянул их Николаю. Царь принял их и, держа в двух руках перед собой, сказал глухо и не очень разборчиво:

— Мои моряки будут счастливы, узнав о такой заслуженной ими награде, а пока я как глава всех вооруженных сил России прошу вас, сэр, передать королю Георгу мою искреннюю благо-

дарность и полную поддержку сказаных вами здесь слов. Я напишу ему.

Царь положил орденские знаки на столик и жестом пригласил всех посмотреть. Обращаясь к Бьюкенену и его сотрудникам, он спросил:

— Как вам понравилась русская осень, по-своему необыкновенно красивая?

Стоявший ближе других к нему Грюсс отчеканил, будто отдал рапорт:

— Россия во всем самобытна и неповторима, ваше величество.

Царь посмотрел на него с чуть оживившимся лицом, но в разговор не вступил — одобрительно улыбнулся и повернулся к послу.

— Для меня всегда глубоко символично противостояние русской весны и осени,— включаясь в предложенный царем разговор, начал Бьюкенен, но Николай перебил его, спросив:

— Почему только русской? Во всей природе весна и осень символы расцвета и умирания.

В это время Фридерикс распахнул дверь и стал там, прислонясь к притолоке, а царь пригласил всех проследовать на завтрак.

Это была столовая Ставки — просторная, ярко освещенная несколькими люстрами, свет которых, отражаясь, сверкал в хрустальной посуде и серебре, в зеркальном паркете. Но Бьюкенен видел только стоявших у стола и весело улыбающихся дочерей царя Ольгу и Татьяну — обе в голубых длинных платьях с кружевными жабо. Царицы, благодарение богу, не было — может, все-таки удастся побеседовать с царем...

По всем правилам этикета Бьюкенен должен был сесть рядом с царем, а оказался между великими княжнами — это уже наверняка придумала царица — и ему волей-неволей пришлось вести с ними нелепый разговор о том, почему в Лондоне всегда туманы, где выращиваются пони и почему они не вырастают в больших лошадей, не собирается ли его дочь, как они, работать в лазарете и еще бог знает о чем...

Царь поглядывал в их сторону с доброй улыбкой, и только одно это утешало — он понимает, что английский посол приехал сюда не для того, чтобы поговорить с его дочерьми.

Завтрак был скромный — холодные закуски, сухое вино, по желанию чай или кофе с печеньем. А после завтрака мужчины перешли в курительную — небольшую комнату с креслами, расставленными вокруг низких столов, на которых лежали коробки с папиросами. Но никто не сел — царь подал пример. Никого своим вниманием он не оставил, с каждым перебросился одной, двумя фразами.

Бьюкенен стоял один в стороне, облокотившись на теплую изразцовую печь, надеясь, что царь к нему подойдет. И он не ошибся.

— Я очень рад вашему приезду,— улыбаясь, сказал Николай.— Я видел, как мучили вас мои дочери — у них тот незабвенный возраст, когда им хочется знать все...— Царь затянулся папи-

росой.— Я помню каждую встречу с вами, хотя далеко не всегда наши беседы были безмятежными. Но именно это мне и дорого. Вы всегда говорите со мной откровенно, без лести, в которой обычно тонет правда. Еще раз благодарю вас за приезд...— Царь уже сделал движение, чтобы протянуть руку для прощания, но Бьюкенен, который слушал его, благодарно склонив седую голову, поднял ее и сказал:

— Ваше величество, я хотел бы поговорить с вами и на этот раз...

Царь нахмурился:

— Я слушаю вас...

Бьюкенен молчал, выразительно смотря на царя,— он должен пригласить его в свой кабинет — разговаривать здесь, когда каждую минуту кто-то мог подойти, было невозможно.

— Я слушаю вас,— повторил царь...

И тогда посол заговорил о том, что в его плане занимало какое-то самое последнее место...

— Мне кажется, ваше величество, что вам сейчас представляется очень удобный момент для прояснения дальневосточных планов России,— начал Бьюкенен, заметив, что царь удивлен и заинтересован предложенной им темой.— Посол Японии в Петрограде виконт Матано стал теперь министром иностранных дел и на днях будет у вас на прощальной аудиенции. Я знаю о глубоком благорасположении виконта к России и к вам в особенности. Используйте это во благо великой своей державы. Побудите Японию усилить военную помощь России вплоть до отправки сюда контингента войск. Но нужно, конечно, предложить Японии соответствующую компенсацию.

— Да, да, я думал об этом,— одобрительно кивнул царь.— Весь вопрос в том, какая именно компенсация может устроить Японию. Что вы думаете об этом?— спросил царь.

— У меня на днях был разговор с виконтом Матано,— с готовностью ответил Бьюкенен.— Он обронил фразу, что Японию устроила бы уступка северной части Сахалина.

— Об этом разговора не будет, вершка русской земли не получит никто,— громко сказал царь, и все присутствующие обернулись в их сторону.

— Позвольте напомнить вам изречение Генриха Четвертого: «Париж стоит мессы»,— мягко возразил Бьюкенен.

— Мне дороже и ближе то, что говорил мой отец: Россия может взять, но отдавать не ее удел.

Бьюкенен понял, что продолжать разговор на эту тему опасно.

— Когда ваше величество предполагает быть в Царском Селе?— спросил он с любезной улыбкой.

— Надеюсь, через две-три недели.— Царь протянул руку и тоже улыбнулся:— И тогда мы поговорим с вами более обстоятельно. Еще раз благодарю вас за приезд в Ставку.

Все. Сражение выиграла императрица и ее гнусный Штюрмер...

На обратном пути в Петроград Бьюкенен почти все дневные часы провел сидя у окна — он смотрел на Россию. По дороге в Ставку он так напряженно думал о предстоящем разговоре с царем, что не успел ничего увидеть. Теперь, когда Ставка была им начисто проиграна, хотелось увидеть Россию хотя бы из окна вагона, увидеть и понять что-то такое об этом времени, в котором он все больнее чувствовал свое бессилие действовать, как бывало, разумно и последовательно.

Теперь было не так, как во время его поездки в Крым, в которой — он это позже понял — власти ловко провезли его мимо России. Хотя литерный поезд шел быстро и на станциях задерживался только на несколько минут, у него было ощущение, что поезд все время движется, с обеих сторон зажатый воинскими эшелонами. Длиннейшие товарные составы с пушками или битком набитые солдатней теплушки то проносились с грохотом навстречу, то литерный их обгонял, и тогда несколько минут можно было разглядывать покрытые брезентом военные грузы и даже лица солдат, высунувшихся из теплушек. Это давало повод для успокоительной мысли о том, что военные усилия России продолжаются и для главной тревоги Лондона, кажется, нет оснований. Во всяком случае, он туда сообщит о том, что сейчас видит...

Но дождь не затихал, иногда становился таким сильным, что за окном ничего не было видно. Земля раскисла, почернела. Однажды он долго смотрел, как мужичок хлестал лошаденку, которая не могла вытащить телегу, завязшую в грязи по ступицы колес. Лошаденка вздрагивала, дергалась вперед и бессильно опускалась на согнутые передние ноги... Проплывшая перед ним картина врезалась в его мозг, и он вспоминал ее потом в Петрограде, и ему виделось в ней нечто символическое... Эта вселенская жидкая грязь, серый бесконечный дождь всему, что он видел, придавали окраску какого-то бессилия, обреченности...

В Пскове Бьюкенен вместе с Грюссом вышли пройтись по перрону. Они не успели сделать и десятка шагов, как на соседний путь прибыл воинский эшелон. Поезд не успел еще остановиться, как из него начали соскакивать солдаты с котелками.

— Где кипяток? — кричали они неистовыми голосами и, разбрызгивая сапогами грязь, бежали куда-то по перрону. Один из них, приземистый, широкоплечий, пробегая, так толкнул посла, что падение было бы неизбежно, если бы Грюсс не поддержал его.

— Вернемся в вагон, — предложил Грюсс, беря посла под руку.

Из всех вагонов остановившегося эшелона на перрон хлынула галдящая масса, которая мгновенно затопила узкое пространство между поездами. И тотчас ее внимание привлекли два барина в длинных черных пальто и черных котелках. И теперь Бьюкенен увидел лица, глаза.

— Глянь, братцы, два ворона гуляют! — крикнул кто-то зло и весело.

Гогот в десятки глоток. Бьюкенену все труднее дышится в кислом запахе мокрого сукна. Грюсс, не выпуская локтя посла, начал проталкиваться к вагону, но раздвинуть серую стену было невозможно. Прямо перед Бьюкененом оказался низкорослый солдатик, таращившийся на него с дикарским любопытством. Бьюкенен улыбнулся ему, а солдат вдруг закричал своим товарищам.

— Гляди, он скалится чего-то!

Грюсс повернулся к серой стене плечом и врезался в нее, таща за собой посла. Пока они добирались до вагона и поднимались на его ступеньки, их сопровождало похожее на звериный вой улюлюканье и свист. Бьюкенен не решался подойти к окну. Его знобило... Поезд, слава богу, тронулся...

Снова Бьюкенен сидел у окна, смотрел в него слепыми глазами, не замечая быстро сгущавшейся темноты. Он думал... Неужели этим диким стадом еще можно управлять? Но везут-то их явно на фронт, и, может, уже завтра они пойдут в бой, и там дисциплина заставит их делать то, что нужно, и даже умирать... Мысль поворачивалась другой гранью: но разве все они не ощущают тех бедствий, какие обрушились сейчас на Россию? Конечно же, ощущают, и отсюда их озлобленность. Только отсюда. И очень она опасна, эта озлобленность...

Но что о них и об их настроении знает царь? Что он вообще знает о положении в его царстве? Чтобы выяснить это, Бьюкенен ехал в Ставку и возвращается ни с чем.

Под мерный рокот вагонных колес Бьюкенена начинает клонить в сон. За окном уже густая чернота. Да, надо спать... Как там у русских говорится: утро вечера умнее?..

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Семь месяцев Александр Воячек сидел в петроградской тюрьме «Кресты» и все это время в одиночке. Четыре стены. По четыре шага во все стороны. Квадратик неба в решетке. Большая часть суток — подвальная каменная тишина. И будто нигде нет никакой другой жизни. Нет Лидочки Корнеевой с фабрики Максвеля, его верной подружки, жены невенчанной. Стал он однажды думать о родной деревне своей Марьино, и она привиделась ему как на туманной картинке, лицо матери с трудом представил себе, и все это было точно из какой-то другой, а не его жизни... Страшно думать в одиночке, мысли вдруг начинают путаться, становятся неуловимыми...

Как праздник — раз в день 15 минут прогулки по тюремному двору, как по дну каменного колодца.

В первую же прогулку первое знакомство. За спиной Воячека вышагивал, тяжело дыша, худой желтолицый дядька. И вдруг Воячек сквозь его шумное дыхание слышит слова:

— Паря, я типографский наборщик Алексей... Говори обо мне всем, кто с воли. Понял? А ты кто?

— Кто? — Воячек подумал: кто же он? — и, чуть обернувшись, ответил через плечо: — Студент.

— Это хорошо, — дохнул ему в затылок наборщик. — Значит, много знаешь всякого, — и повторил с удовольствием: — Хорошо!

Пошли на новый круг, и снова Воячек слышит:

— Одиночки не боись. Коли прячут тебя в одиночку, значит, боятся тебя... Хорошо! А ты знай и думай. Не за себя думай... За дело... И знай: охранка не дура, но там тоже люди, не боги... Понял?..

Уже надвигалась зима, а следствие продолжалось. Однако на допросы его возили в охранку с большими перерывами, иногда целыми неделями не беспокоили. По ходу состоявшихся допросов Воячек понял — у них нет против него солидных улик и они пытаются их найти. И еще он заметил — они всячески стараются опровергнуть его утверждение, что ни к какой организации он не принадлежит, и разными хитростями хотят получить от него имена сообщников. Его дело вел полковник Игумнов — умный и хитрый охранник, не позволявший себе никакого хамства, даже самой малой грубости. Ему лет пятьдесят. Мощная литая фигура, еле вмещающаяся в кресло, лицо совсем простецкое, внимательные серые глаза. Он располагал к себе неуязвимым спокойствием, умением терпеливо слушать.

В охранку Воячека привезли месяц назад. В кабинете Игумнова уже горел свет. Полковник казался усталым, задумчивым. Через открытое окно с Невы донесся басовитый гудок парохода, и тут же его эхо дважды повторилось во дворе охранки, куда было открыто окно.

— Заметили, как интересно, — сказал Игумнов. — Каждый звук на реке непременно отзывается у нас двойным эхом. — Он улыбнулся. — Наш начальник однажды, отчитывая нас, сказал, что мы лучше всего умеем ловить эхо с Невы... — Он помолчал, глядя на Воячека, и продолжал: — Представляю, как я надоел вам... Но, если откровенно, и вы мне. Но ничего не поделаешь: я преданно служу государству, вы так же преданно — своим делам и идеалам. Но знаете, о чем я уже не раз думал? Моя позиция, в общем, элементарна: служба, как все службы, не дружба, и она точно определена инструкциями, и моей обязанностью является охранение российского государственного строя, каким бы он ни был. В этом смысле вы для меня загадка. Служить идее — что это такое? Я пробовал себя ставить на ваше место, тщетно пытался найти твердь под ногами. Все же строгая точная инструкция в данной нашей с вами ситуации подспорье сильное.

— Если у человека идея — единственная цель и смысл его жизни, никаких инструкций, как ей служить, не требуется, вера в идею и его совесть для этого человека вернейший компас, — ответил Воячек, невольно втягиваясь в будто бы абстрактную и неопасную ему беседу, кроме всего, ему еще осточертело круглосуточное молчание его одиночки.

— Вера и совесть...— повторил, точно размышляя вслух, Игумнов, помолчал и ответил: — Нет, для меня и то и другое нечто аморфное, неуловимое в понятной конкретности.

— Для вас совесть неконкретное понятие?— удивился Воячек.

Полковник сделал вид, будто Воячек поймал его на слове, отвел глаза и чуть затрудненно ответил:

— По-моему, в политической борьбе — а у нас с вами в конечном счете происходит именно это — понятие совести идентичным быть не может. Грубо говоря: что для вас поступок по совести, для меня — против совести. И наоборот.

— Не понимаю...— тихо отозвался Воячек, недоумевая, куда же это ведет разговор жандарм.

— Ну как же?!— энергично подхватил Игумнов.— Допустим, я вот сейчас принимаю решение отпустить вас на свободу — это было бы, с вашей позиции, поступком по совести?

— Конечно,— твердо ответил Воячек.— Вы убедились, что предъявляете мне обвинение в том, в чем я не виноват, в вас заговорила совесть, и вы принимаете это решение.

— Так...— вроде бы озадаченно произнес Игумнов.— Ну а если бы вы, отлично зная свою вину, вдруг решили бы прекратить игру в прятки, смело открыли бы правду и повели за нее открытую борьбу, разве это не было бы вашим поступком по совести?

— О нет,— качнул головой Воячек.— Кроме всего, мое признание нанесло бы удар по моим товарищам — какая уж тут совесть?

— Таким образом,— спокойно сказал полковник,— мы можем запротоколировать ваше показание о том, что вы действовали не один, как вы ранее утверждали, а в составе определенной организации. Так?— Он оглянулся на сидевшего в углу секретаря: — Вы записали это признание подследственного?

Протоколист кивнул.

— Ох, как трудно мне с вами, Воячек.

— Всякая провокация — нелегкое занятие,— усмехнулся Воячек, кляня себя за то, что полез в беседу.— Я в свою очередь прошу запротоколировать мое заявление, что участие в абстрактной беседе я показанием по своему делу не считаю.

— Запишите,— подтвердил полковник протоколисту его просьбу.— Но это ваше заявление ничего не меняет, в конечном счете каждое слово, произносимое человеком в трезвом уме и памяти, есть не что иное, как показание о его личности. Еще, кажется, Лев Толстой сказал, что речь дана человеку для выражения своего «я»... Но теперь давайте вернемся к нашей предыдущей беседе. Не забыли? Речь у нас тогда шла об Алексее Соколове. О вашем ближайшем сообщнике по большевистской организации на вагоноремонтном заводе. Вы не хотите изменить свои о нем показания?

— Нет. Я хорошо знаю Соколова, более того, мы с ним, можно сказать, друзья, но дружба это совершенно необязательно полити-

ческое сообщничество. Наконец, вы допрашиваете меня, и я готов отвечать на ваши вопросы в отношении себя. Только себя.

— Но разве может человек существовать в обществе в одиночку? Тем более человек, занимающийся общественно-политической деятельностью?

— Вы, господин Игумнов, допрашиваете меня, а не общество.

— Но мы, Воячек, ведем следствие по являющейся частью общества политической организации, в которой вы — активный участник.

— Разве вы меня в этом уже убедили?— усмехнулся Воячек.

— Весьма важно, чтобы в этом убедился я,— жестко заговорил жандарм.— Как правило, между преступником и правосудием гармонии и взаимопонимания не бывает.

— Следствие это еще не правосудие,— заметил Воячек.— И, по идее, вам необходимо убедить не только себя и меня, но еще и правосудие.

— Рассчитывать на слепоту суда вам, Воячек, нет никаких оснований.

— Ну да, ну да,— быстро согласился Воячек.— Вот тут вы все — гармонические сообщники неправого дела.

— Вернемся, однако, к Соколову,— раздраженно сказал полковник.— Уезжая по заданию своей организации в Москву, вы свои обязанности по вагоноремонтному заводу передали Соколову?

— Кто вам это сказал?

— Василий Делов из механического цеха.

— У вас есть его показания? Покажите.

— В свой час, Воячек, я покажу вам все. Кто такой Никита Горбачев?

— Не имею понятия.

— Ну как же это, Воячек? Вместе с ним вы 11 августа 1915 года были задержаны в проходной, когда на завод шла утренняя смена и у Горбачева был обнаружен номер нелегальной газеты «Социал-демократ», которую он нес на завод.

— Случай этот я помню. Тогда ваши ищейки схватили еще двоих, вы что же, всех их пришиваете ко мне?

Да, Воячек хорошо помнил тот случай. Схватили тогда четырех: его, Горбачева и еще двоих. У Горбачева при обыске действительно обнаружили газету, он нес ее на завод, но у остальных трех, в том числе и у него, ничего найдено не было. Горбачев, очевидно, был у них на подозрении, и они схватили его вслепую и на всякий случай вместе с теми, кто был рядом с ним. Тогда Воячека продержали под арестом девять дней. Потом был суд над Горбачевым, на котором Воячек был свидетелем. Горбачев держался молодцом, пытался уверить суд, что газету ему подсунула охранка, но его завалил один из случайно задержанных вместе с ним. Горбачеву дали четыре года тюрьмы. Остальные, в том числе и Воячек, по суду были оправданы.

— Ну что ж, Воячек, значит, вы не имеете понятия, кто такой Никита Горбачев?

— Действительно так, хотя я и проходил свидетелем на его процессе. Я толком увидел его только на суде, а этого мало, чтобы составить понятие о человеке.

— Оставим проблемы человекознания...— Игумнов взял со стола бумажку.— Вот, Воячек, показания Горбачева, здесь он заявляет, что нелегальную газету, отобранную у него при обыске, он получил от Соколова, который, когда вы уехали в Москву, стал вместо вас заниматься на заводе нелегальной деятельностью.

— На суде он этого не говорил.

— Но, оказавшись по приговору в тюрьме, он получил возможность обо всем подумать и дал дополнительные показания. Что вы смеетесь, Воячек?

— Ну как же не смеяться, господин полковник? Горбачев этот попал в тюрьму в августе 1915 года. Я уехал в Москву в феврале текущего 1916 года. Спрашивается в задаче: как Горбачев, сидя в тюрьме, мог знать о моем отъезде и даже — кто остался на заводе вместо меня. А?

Игумнов молчал, кляня себя за то, что не проверил как следует подготовленный для этого допроса материал. Продолжать допрос было неразумно, и он отправил Воячека в тюрьму...

Оставшись один, полковник погрузился в тяжелое размышление. Дело Воячека уже давно стало для него вопросом служебной чести. Господи, сколько прошло через его кабинет таких Воячеков, и все они, не задерживаясь, отправились в тюрьму или ссылку. Почему же он споткнулся на этом? Впрочем, нет, был еще один трудный случай. Большевик Подвойский. Но то был не допрос, а предварительный разговор с ним как с редактором журнала «Вопросы страхования», вызвавшего подозрение, что он всего лишь крыша для большевистской агитации. И происходил тот разговор не в охранке, а в управлении по делам печати. По справке, Подвойский не имел образования, трижды сидел в тюрьме, а разговор с ним оказался труднейшим — он вел его с таким искусством и так убедительно отводил все обвинения в адрес его журнала, что очень скоро Игумнов почувствовал себя сидящим на мели. А в заключение он так красноречиво развил мысль о пользе страхования для успокоения общества, что прямо хоть хлопочи ему премию от министерства внутренних дел. И было решено тогда понаблюдать за Подвойским и его журналом, а потом сажать его в тюрьму без всяких церемоний и не ожидая, что допросы могут что-нибудь дать. Но Игумнов трезво понимал, что трудность того случая была в том, что Подвойский попросту оказался умнее его. Но Воячек-то совсем не Подвойский, однако, допрашивая его, он каждый раз увязает в своих собственных сетях. Может, прав Спиридович, считающий, что следствие против большевиков мы ведем рутинными приемами и вдобавок церемонимся с этой отпетой публикой. Он тогда как раз имел в виду случай с Подвойским. Так, может, и с этим Воячеком он излишне церемонится? Ведь в конечном счете ясно же, что он большевик, и надо кончать эту игру с ним в юридическую законность. Хватит...

Приняв это решение, Игумнов даже вздохнул облегченно. И все же на душе у него было мутно. А не посоветоваться ли об этом деле со Спиридовичем?..

Воячек меж тем вернулся в тюрьму в свою одиночку. Надзиратель по кличке Усач принял его от конвоя, спросил:

— Не в суд возили?

— Нет, не созрел еще,— ответил Воячек.

— Не горюй,— усмехнулся Усач,— они тебя дозреют. А поскольку ужин ты прогулял, в седьмой камере для тебя кашу сохранили, сейчас принесу...

Воячек не только обжился в тюрьме, она стала для него и своеобразной школой. Считалось, что «Кресты» — тюрьма очень строгая, но, как сказал однажды тоже сидящий в одиночке неунывающий типографский наборщик, строгий режим только на кладбище, там ни до кого не достучишься... Связь между заключенными была все время, знали они, кто за что сидит, откуда кто родом, кем был на воле, слабых поддерживали добрым словом, предупреждали друг друга о «подсадных утках» — провокаторах. А последнее время стало и того лучше. Общее разложение и коррупция государственной власти коснулись и власти тюремной, а большевики не замедлили этим воспользоваться, и у них появились каналы связи на волю. Обкаружились и такие тюремщики, которые задумывались над тем, что делалось вокруг, и симпатизировали большевикам.

В северном отсеке «Крестов» на этаже, где была одиночка Воячека, надзирателем работал угрюмый дядька с обвислыми усами, прозванный заключенными Усачом. Когда Воячека перевели на этот этаж и Усач утром зашел в его одиночку, Воячек сказал весело:

— Приветствую стража государственного и тюремного порядка.

Усач только глянул на него исподлобья. А когда на другой день Воячек повторил свое приветствие, Усач подошел к нему вплотную и сказал злобно:

— Еще вякнешь, попадешь в карцер, там тебя уму научат.

— Да, извините, ради бога,— взмолился Воячек,— я ж не думал, что это вас обидит.

— Я могу тебе и ответить,— совсем распалился Усач.— Мой старший сын, такой, как ты, кровь на войне пролил, мается теперь по лазаретам, а ты, дерьмо, тут отсиживаешься, ряшку растишь...

— А ругаться-то зачем? Я ж не знал. Извините. А только тут у вас тоже не курорт.

— Что заслужил, то и жри.

— Вы ж не знаете, чем я заслужил? Я хотел одного — чтобы люди наши, и сын ваш в том числе, не гибли зазря на фронте.

Усач внимательно посмотрел на него и ушел, гремя ключами.

С этого и начались их новые отношения... Спустя несколько дней Усач спросил у него с усмешкой:

— Интересно все же, как это ты собирался войну остановить?

— В общем-то, очень просто,— спокойно ответил Воячек.— Надо только, чтобы все там, на фронте, поняли, что война эта народу не нужна, и пусть воюют те, кому от этой войны идут барыши. Вот и конец войне.

Усач выслушал это серьезно, покачал головой:

— Поди ж ты как просто, а только это одна брехня.

— Ну сын ваш, к примеру,— продолжал Воячек,— за что он пролил кровь? Кем он был до мобилизации?

— Учился на слесаря, тут, на Путиловском.

— Ну сами поглядите, что произошло? Он пролил кровь, а господин Путилов, который на своем заводе гонит продукцию для войны, положил в карман громадные денежки. Вот вам и все понятие... А вы говорите — брехня...

Не прошло и месяца, как Воячек решился попросить Усача снести на волю записочку его девушке. Тот только кивнул и взял записку. Воячек особенно не рисковал и не подвергал риску подружку Сени Строда, ту самую бестужевку, которая свела его тогда на квартиру Вольской, где они были схвачены полицейской облавой и утром отпущены. Тогда на допросе в полиции и он и она говорили, будто они давние знакомые, и девушка подтвердила, что привела Воячека в гости к Вольской она. В посланной ей с Усачом записке ничего, кроме нежного привета, не было...

Благодаря этой записке товарищи Воячека по борьбе узнали, что к нему есть канал связи.

Спустя несколько дней Усач сказал ему:

— Твоя девушка просила сообщить, что после твоей поездки в Москву ничего нового твои собеседники иметь не могут...

Это было крайне важное сообщение — у охранки никаких новых улик против него нет. Вот после этого Воячек на допросах у полковника Игумнова стал держаться гораздо увереннней.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Генерал Спиридович теперь чаще, чем раньше, наведывался в охранное отделение, встречался там с коллегами, которые были ему симпатичны и с которыми он мог говорить более или менее откровенно. Спиридович все неувереннее чувствовал себя возле царя. Уже бывали случаи, когда Николай не брал его для сопровождения и личную охрану монарха нес генерал Воейков. Чувствительнее стала и неприязнь царицы. Как-то она вдруг спросила: почему он плохо относится к Распутину? «Помилуйте, ваше величество,— ответил он,— у меня к нему нет никакого отношения, я же служу у его величества...» Ответ его, конечно, был не лучшим, и в нем была некоторая двусмысленность, и царица это заметила, сжала тонкие губы и отвернулась от него... А три дня назад, когда он сопровождал царскую чету в церковь, произошел досадный инцидент — в момент, когда царствующая чета входила в церковь, дорогу им перебежал дежуривший в церк-

ви штатский агент охранки. Царица испуганно отпрянула, поскользнулась и чуть не упала, ее вовремя поддержал муж. Она оглянулась на шедшего позади Спиридовича и спросила злобно: «Это, по-вашему, порядок?» В общем, Спиридович понимал, что его положение стало весьма шатким, и, бывая в охранном отделении, втайне присматривал себе местечко, думая, что здесь ему вообще будет лучше, по крайней мере, он получит возможность бороться с опасной революционной крамолой.

В этот солнечный осенний день он снова приехал туда и прошел в кабинет полковника Игумнова. Некогда в Киеве он был его подчиненным и затем по его рекомендации был переведен в Петроград. В охранном отделении он работал в отделе, который вел разработку революционного подполья, и пользовался авторитетом. Игумнов гордился визитами к нему Спиридовича и всячески старался выразить ему свое ученическое почтение, показать, что он свято блюдет советы и рекомендации генерала.

Вот и сейчас Игумнов стал рассказывать Спиридовичу о, как он выразился, невероятно вязком деле, которым он уже давно мучается.

— Не согласитесь хотя бы полистать дело? — попросил Игумнов.— Герой дела как раз из давно интересующего вас стада социал-демократов большевиков.

Спиридович взял дело, перелистал первые страницы и сказал:

— Я прочитаю. Но я вам не помешаю?

— Ну что вы, Александр Иванович! Для меня ученье у вас помехой быть не может. Я в это время почитаю материал по другому делу...

Спиридович начал читать и вскоре увлекся...

Это было дело Александра Воячека. Первое, что вызвало интерес генерала, был отобранный в Москве у Воячека рукописный альманах под названием «Смерть последней надежды». В подзаголовке стояло: «Крик души обреченных, мнивших себя мыслителями». Несколько страничек, исписанных мелким каллиграфическим почерком. На первой странице — цитаты из Библии и Корана, высказывания каких-то безымянных авторов, какая-то мешанина из мистики и мелководной философии вроде: «Человек, ты ничто, ты пылинка во Вселенной, и, помня об этом, забудь гордыню» или: «Судьба, как грозный молох, повелевает, кому, когда и как умереть, роптать бессмысленно, склонись перед молохом» и тому подобное.

Судя по пометкам на полях, в Москве в охранном отделении этот альманах интереса не вызвал, отчеркнуто было только стихотворение под заголовком «Все».

Ничто на свете не спасет Россию.
Надежду, Веру и Любовь —
Все смыла праведная кровь,
Цветы в полях война скосила.
        Все!
Никто уж не спасет Россию,

Мы падаем в разверстую могилу,
И славный государь наш милый
Покинут богом, он бессилен.
Все!
Молчат колокола, и опустели храмы,
Они как памятники о недавнем.
Святые лики с состраданьем
Глядят на завершенье драмы.
Все!

Спиридович еще раз прочитал стихотворение и положил дело на стол:

— Этот Воячек большевик?

— Безусловно, Александр Иванович,— с готовностью ответил Игумнов.— Притом изворотливый, как ящерица, в этом кабинете он оставил не один свой хвост.

— Он сознался в принадлежности к организации?

— О нет, но я думаю, Сибирь ему обеспечена и без этого.

— Я почитаю еще...

Спиридович заглянул в первую страницу дела, где была приклеена фотография Воячека — с нее почти весело смотрел парень с пышной, небрежно закинутой назад шевелюрой.

Увидев, что генерал рассматривает фотографию, Игумнов сказал:

— Да, вот таков он, сей господин студент Воячек, ниспровергатель монархии, агитатор среди солдат...

— Он кто, откуда?

— Говорит, русский. Отец и дед — крестьяне. Уроженец Тверской губернии. В Москве взят на вокзале по нашему наведению, но московские коллеги прошляпили — он успел отделаться от свертка, в котором былиномера газеты «Социал-демократ» и коечто еще... И вот этот сопливый альманах.

— Вы знаете, мне кажется очень интересным: почему у большевика оказался этот продукт салона столичного полусвета? Альманах — порождение, как вы правильно выразились, сопливой интеллигентщины, но что в нем заинтересовало большевиков, почему этот Воячек вез его вместе с таким важным для них изданием, как «Социал-демократ»?

— Александр Иванович, а вы можете это у него спросить,— оживился Игумнов.— Он уже доставлен на допрос, помогите мне, как бывало не раз в Киеве, когда вы вдруг заходили в мою комнатушку, включались в допрос и сразу все прояснялось до дна.

Спиридович согласился. Вскоре в сопровождении конвойного в кабинет вошел рослый Воячек в студенческой тужурке, тесно обхватывающей его плечистую фигуру. Но буйных волос не было, тюремная стрижка оголила его крупную голову, но он то и дело, по привычке, проводил растопыренной пятерней по клочковатому ежику. Опустившись на стул посередине комнаты, он несколько удивленно глянул на сидевшего сбоку стола генерала, потом его веселые глаза остановились на Игумнове, потом на висящем над ним портрете царя — он улыбнулся.

— Его величество свидетель — опять вы зря время на меня тратите,— сочувственно сказал он и, скользнув рукой по стриженой голове, добавил твердо:

— Никаких показаний, требующихся вам, я давать не буду.

— Необходимы только некоторые уточнения,— мягко ответил Игумнов.— Наконец, разве не можем мы поговорить... просто так... Секретаря, как вы видите, нет. Вот и мой непосредственный начальник пожелал познакомиться с вами...

Воячек покачал головой, усмехнулся:

— В этом заведении и разговор просто так?— Воячек смотрел на Спиридовича, как бы приглашая его удивиться вместе с ним.

— Вы что же, и за людей нас не считаете?— добродушно спросил Игумнов, смотря на Воячека спокойными умными глазами. А тот в это время думал об одном: зачем тут генерал? И готовился к опасности. «Они не боги»,— повторял он про себя.

— Нет, почему же,— ответил он Игумнову.— Вы люди. Но с другой планеты. У нас языки разные, разговора не получится.

— Но мы же вот уже разговариваем?

— Это вам только кажется...

— Меня, например,— вступил Спиридович,— интересует совершенно не относящееся к вашему делу. Вот это,— он показал Воячеку альманах.— Вы прочитали сие?

— Ваши сослуживцы в Москве ознакомили меня. Какая-то замогильная дребедень. Надеюсь, вы не думаете, что стишки писал я. А за то, что они там приплели царя, я не ответчик...

— Целиком с вашей оценкой согласен,— улыбнулся Спиридович.— И об ответственности за это вообще речь не идет. Но меня крайне удивило и заинтересовало, почему эта дребедень оказалась у вас.

— Кто-то на вокзале, когда я уезжал в Москву, сунул мне это почитать в дороге,— привычно ответил Воячек.

Спиридович поморщился:

— Нам абсолютно не требуется знать, как и от кого вы это получили, меня интересует, почему в вашей среде оказалась этакая муть. Спрошу более открыто: не решили ли большевики заняться нашей прокисшей интеллигенцией?

— Это мне неизвестно...

Спиридович пренебрежительно швырнул альманах на стол:

— Ну а теперь насчет того, что вам хорошо известно...— Он помолчал, смотря в глаза Воячеку, и продолжал:— Мне хотелось бы не в порядке протокольных показаний услышать от вас... Как вы видите, я генерал и все мы — жандармские офицеры — люди военные... Мне, честное слово, непонятно, какова конечная цель вашей деятельности в армии.

Воячек молчал, смотря мимо Спиридовича — умные глаза генерала мешали, он весь сжался, ожидая нелегкого допроса сразу двумя жандармами...

— Право, не понимаю...— продолжал Спиридович спокойно, негромким голосом.— Ну, допустим, вы достигли успеха и наша

армия прекращает борьбу. Но немец-то вне вашего влияния? Он воспользуется этим и беспрепятственно ринется в глубь России и захватит ее. Как же вы и ваши единомышленники будете реагировать на это? Вы видите, что мой вопрос чисто умозрительный и к вашему следственному делу отношения не имеет, я и полковник Игумнов просто хотим понять то, что вам, очевидно, понятно. Думаю, что в этом заинтересованы и вы, ведь если у вас, большевика, нет какого-то своего разумного расчета, связанного с вашей работой в армии, тогда вас надо обвинять по военному закону за призыв к измене отечеству. Вы понимаете меня?

Воячек понимал и думал о том, что, очевидно, охранка, не получив против него улик в какой-то конкретной вине, решила подвести его под закон об измене. Они все могут... Он угрюмо посмотрел на Спиридовича и спросил:

— А что, если такие же агитаторы, как в нашей армии, есть и в немецкой? Тогда большевики добиваются мира.

— Что-то незаметно у немцев следов такой агитации,— повел головой Спиридович.— Немецкая армия на всех фронтах рвется вперед, и это стоит России большой крови.

— И тем не менее...— с вызовом произнес Воячек и, опустив голову, стал рассматривать свои сцепленные на коленях руки.

— Вы, конечно, считаете себя патриотом России?— спросил Спиридович.

— А если я интернационалист, господин генерал?— спокойно, не поднимая головы, спросил Воячек и продолжал:— Угнетение неимущих классов тоже интернационально. Поэтому и революционное движение тоже интернационально. И поэтому все популярней завет Карла Маркса: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» А солдаты — тот же пролетариат, только одетый в шинели.

— Я Маркса тоже читал,— тихо сказал Спиридович.

Воячек резко поднял голову:

— Интересно, почему же вас не арестовали за это, как меня?

— Подождите... Вы прекрасно знаете, что вас арестовали не за чтение Маркса. Но сейчас у нас разговор абстрактный, не по вашему делу — мы же условились.— Спиридович подумал и продолжал:— Я бы понял вас и вашу позицию, но для этого нужно, чтобы мечта о единении пролетариев всех стран уже была жизненной реальностью. А без этого ваши действия в военной среде не что иное, как угроза открытия фронта врагу и, как следствие этого, отдача русского, вашего, Воячек, народа в рабство немецким вандалам. Каков же он, ваш благородный интернационализм по Марксу, если он приводит к унижению громадного народа, стоит свободы и чести вашей, Воячек, отчизны?

— Но что такое свобода в вашем понимании? И для кого свобода?— запальчиво, точно на диспуте, спросил Воячек, посмотрел на одного жандарма, на другого и сказал тихо, будто себе самому:— Не лучше ли оставить эти никчемные разговоры? К тому же

я не являюсь теоретиком, способным переубедить жандармского генерала.

Спиридович встал и отошел к окну. Игумнов осудительно покачал головой:

— О да, Воячек, вы не теоретик, вы практик, и вы безответственно, даже без должного понимания собственных действий подняли руку на русскую армию, грудью защищающую свою отчизну. И за это мы будем вас судить.

— Можно мне на минуту задержать внимание господина генерала?— спросил Воячек.

— Пожалуйста,— настороженно ответил Игумнов.

Спиридович повернулся от окна и холодно обронил:

— Я слушаю...

— Господин генерал, во время нашего разговора «просто так» вы употребляли выражения «ваши действия», «ваши единомышленники», то есть мои действия и мои единомышленники. Я не хотел вас перебивать, а сейчас хочу напомнить, что наш разговор, как вы сами изволили выразиться, был абстрактный и я соответственно тоже в абстрактном плане высказывал вам всего лишь свое мнение по затронутым вами вопросам.

Спиридович промолчал, посмотрел на часы, звонко защелкнул их крышку:

— Мне, полковник, надо уходить, а вы продолжайте допрос. Я думаю, полковник, мы можем себя поздравить — в наши руки попался опасный нелегал. Но вы, Воячек, все-таки не помогли мне понять, как можно совместить ваш благородный интернационализм с любовью к отечеству. Видимо, мне придется еще почитать Маркса.

Воячек спокойно смотрел на генерала. Игумнов поспешно вызвал конвойного:

— Уведите арестованного...

Дождавшись, когда закрылась дверь, спросил:

— Что думаете, Александр Иванович?

— Я уже сказал — опытный нелегал.

— Он направлялся в Москву специально для работы среди солдат московского гарнизона, вез с собой газету «Социал-демократ» с манифестом большевиков против войны и брошюру Ленина «Социализм и война».

— Манифест я знаю, а что в брошюре Ленина?

— Сильная штука, Александр Иванович...— Игумнов вынул из стола потрепанную книжку и протянул ее Спиридовичу.— Я думаю, что и манифест тоже писал Ленин. Та же железная логика. Но здесь подробнее и взято поглубже.

Спиридович полистал брошюру, задерживаясь на иных страницах, и положил ее на стол:

— Снабжал его этим Петроградский комитет?

— Кто ж еще?

— Но он же был разгромлен?

— Мы накрывали его, Александр Иванович, несколько раз, но он действует и сейчас. Могу сообщить вам неприятнейшую цифру: уже в военное время, точнее, в одном только прошлом году здесь в стачках участвовало полмиллиона рабочих. Полмиллиона, Александр Иванович! И все это работа большевиков.

— А что же законы военного времени?

— Если позволите, Александр Иванович, я скажу вам, что́ я об этом думаю...— Спиридович рассеянно кивнул.— Два обстоятельства мешают нам достичь сколько-нибудь заметного успеха. Большевики низшим классам дали идею, которая им понятна и по душе. А противостоящей идеи нет — совершенно правильно вы об этом пишете в своей книге. А у нас попросту не хватает сил. Ведь теперь прибавился еще и фронт, где большевики действуют все наглее.

— Случаи братания с неприятелем продолжаются?— спросил Спиридович.

— И весьма часто. Я не могу понять одного: армия, там же не только солдаты, там офицеры, там железная дисциплина. Неужели такие вот Воячеки могут развалить нашу армию?

— Могут,— твердо ответил Спиридович. Он с досадой думал о том, что вот и Игумнов понимает обстановку не до конца...— Война, полковник, с ее неудачами осточертела не только солдатам, и теперь еще неизвестно, кто скорей клюнет на такую агитацию — тупой солдат или образованный офицер? Все мыслящие люди, полковник, хотят сейчас получить ответ на мучительный вопрос: почему все так плохо? И так как от имени власти, как вы сами заметили, им никто не отвечает, они прислушиваются к словам большевистских агитаторов, у которых на все есть свое простое объяснение — долой самодержавие. Знаете, что самое отвратительное — большевикам помогают наши политики, клянущиеся в верности монархии, а сами поносят ее на каждом шагу — почитайте одни речи в Думе...

— Все это ужасно... ужасно,— тихо проговорил Игумнов.

— Ничего ужасного, полковник,— будто вдруг стряхнув тяжелые мысли, энергично сказал Спиридович.— Просто всем нам надо работать лучше, внимательней и... беспощадней. Вот вы говорили, что увязли в этом деле... как его... Воячека. А с ним нечего было возиться, он виден насквозь...— Спиридович помолчал и, бегло улыбнувшись, добавил:— Не коснулась ли и вас, полковник, всеобщая расхлябанность и неверие в свои силы?.. Будьте здоровы, и желаю вам успеха...

Генерал Спиридович шел по коридору охранного отделения. Встречные офицеры, завидев его, замирали в стойке «смирно», но генерал их не замечал — Спиридович был в крайнем смятении. Одно ему было ясно — этот большевик Воячек сильнее Игумнова, которого он всегда считал умным и опытным деятелем охранки. И в этой единственной ясности таилась острая тревога...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Суд над Воячеком проходил в Павловске в пустом холодном зале манежа. Заборчиками для скачек с препятствиями был отгорожен угол манежа, там стояли покрытый зеленым сукном судейский стол и новенькая, видать, только что сколоченная скамейка для подсудимых. Перед самым началом процесса Воячек узнал, что вместе с ним будут судить еще двоих: солдата и штатского мужчину лет сорока — оба они были схвачены в прифронтовой полосе, когда распространяли листовки против войны. Воячеку стало ясно, что и его подгоняют под закон о подстрекательстве к измене. Учитывая военное время, можно было ждать любого приговора. Товарищи успели передать ему совет, чтобы он все обвинения отвергал, а на опасные вопросы вообще не отвечал и требовал открытого судебного разбирательства.

В первые же минуты суда его организаторы пожалели, что включили в этот процесс Воячека. Вслед за ним и те двое подсудимых начали все отрицать. Но Воячек, сидя на скамье подсудимых рядом с солдатом, ухитрился шепнуть ему: «Говорите, что листовки вам подсунула охранка». Солдат, а за ним и штатский тут же заявили об этом суду. Воячек тоже сообщил суду о том, как в московской охранке пытались сделать уликой какой-то сверток с литературой, о котором он не имел и не имеет понятия. Суд делал все, чтобы помешать им говорить, обрывал окриками, но повышали голос и подсудимые. Кроме всего, в манеже был гулкий резонанс, от которого вообще трудно было разобрать, что кричал судья или подсудимый. Секретарь то и дело смотрел на судей, видимо не зная, что заносить в протокол.

Разозленный судья читал приговор таким громким голосом, что от резонанса отдельные слова тонули в сплошном гуле. Воячек даже не понял, к чему его приговорили, и вынужден был переспросить.

— Семь лет каторги! — прокричал судья.

Полковника Игумнова на суде не было, он прислал сюда своего сотрудника, который сидел в пристроенной к манежу раздевалке и ход суда слушал через приоткрытую дверь. Сразу после вынесения приговора он умчался в Петроград докладывать.

Игумнов принял его без задержки и, узнав приговор, спросил:

— Как вел себя Воячек?

— Как и у нас, — ответил сотрудник, — все отрицал, требовал открытого суда, а вслед за ним ничего не признали и те двое.

— Ничего, поработает с киркой на сибирском морозце — остынет и поумнеет...

— Все-таки приговор мягкий, — заметил сотрудник.

— Вы сказали об этом судье? — раздраженно спросил Игумнов и, не ожидая ответа, сказал: — Вы свободны...

Вечером Игумнов о приговоре докладывал начальнику охранного отделения генералу Глобачеву. Тот разозлился:

— Последнее время все судьи точно состязаются, кто из них больший либерал, ведь тех двух пойманных с листовками можно было спокойно расстрелять...

Игумнов потом старался о Воячеке не вспоминать, но, помимо его воли, почти на каждом допросе он вдруг вспоминал его и злился. Не забыл Воячека и генерал Спиридович — как-то говоря с Игумновым по телефону, он поинтересовался: «А как тот ваш студент?» Игумнов ответил: «Семь лет каторги». Спиридович помолчал и сказал: «Все-таки добренький приговор, не дотянули вы студента до полной кондиции...»

В холодном зарешеченном вагоне, издавна прозванном «столыпинским», Воячека с этапом везли на каторгу.

Счастливый характер был у этого Воячека — ничто не повергало его в уныние. Наверно, это от того, что все происходящее с ним он считал своей борьбой большевика, ведь нигде не сказано, что бороться надо только там и там-то,— везде надо бороться, важно только, чтобы рядом был хотя бы один человек. А здесь, в столыпинском вагоне, распихано по купе не меньше ста осужденных людей со сломанной судьбой, и каждый его, Воячека, интересует. В его купе вместе с ним пятнадцать человек. Его сразу же заинтересовал паренек с рассеченной губой, что придавало его лицу постоянное зверское выражение. Веселый, злой, физически крепкий, он сразу же стал верховодить всеми, если что случалось, жаловались не конвойным, а ему, и Воячек заметил, что, как правило, конфликты разрешались им по справедливости. Они познакомились.

— Зовут меня Толик, а полностью — Толик Порченая Губа,— представился паренек и тут же сообщил, что получил он пять лет каторги за ограбление в Петрограде генеральской квартиры. Узнав, что Воячек за «политику» получил семь лет, зацокал языком:

— Гляди-ка, политика у них идет подороже генеральского добра,— и, вглядевшись в Воячека, сказал:— А ты на политика непохожий, те больше квелые да больные. В прошлую отсидку, пока не бежал, был я вместе с одним политическим, сгорал человек от туберкулеза, а характера у него было на троих. В день смерти подозвал меня и дал записочку для жены. «Если убежишь, говорит, и до столицы доберешься, свези в Колпино...» И я свез. А как же — закон...

— Ух, генеральская квартирка была фартовая,— рассказывал Толик о своем деле.— Узел набрался — не поднять, и все — вещь к вещи. А завалился я на генеральских орденах. Открыл одну шкатулку, а в ней целая куча орденов блестит, и черт дернул — взял две штуки. А потом, когда узел снес скупщику, выпил на радостях, нацепил на грудь ордена и пошел гулять. Так по этим орденам легавые меня и унюхали.

— А получше, чем воровство, дела себе не нашел?— спросил Воячек.

— Зачем искать-то?

— Мог бы людям пользу приносить.

— Людям? Пользу?— страшно удивился Толик.— А за что? Что мне те люди хорошего сделали? Батька голову положил еще в японскую. Матка спилась, на панель пошла и сгинула. Старший брат взят уже на эту войну и как в воду канул. Вот что, Сашок, я от людей имею, да гори они ярким пламенем. А еще, Сашок, я волю обожаю.

— Хорошую ж ты волю получил — каторгу.

— Я-то? Каторгу? Да ты что, Сашок? Только они меня и видели...— Он приблизил свое лицо вплотную к Воячеку.— Давай вместе тягу дадим.

— Рано об этом,— ответил Воячек.— И ты не спеши, нарвешься — надбавку тебе дадут.

— Мне-то? Надбавку?— Толик свистнул и витиевато выматерился.

Владимирская от века пересыльная тюрьма. Когда колонну заключенных со станции пригнали туда и она остановилась перед крепостными воротами, Воячек вдруг подумал: сколько наших прошло через эти ворота, и невольно разволновался.

Во дворе их построили в две шеренги. Началась перекличка по фамилиям. Потом было приказано выйти вперед политическим. Вышло двое, Воячек шагнул третий. Здесь своя перекличка и тоже по фамилиям. И вдруг Воячеку приказывают вернуться в строй уголовников.

— Я политический,— возразил он.

— Вернись!— гаркнул тюремщик.

Воячек выполнил приказ. А когда уголовных загнали в камеру, к Воячеку протиснулся Толик.

— Ты что же про политику гнул мне липу?— Глаза у паренька злобно блестели.

— Я правду говорил, ошибка какая-то.

Толик недоверчиво посмотрел на Воячека и сказал угрожающе:

— Толику гнуть липу опасно, ты это наперед знай.

На другой день из камеры пофамильно вызвали десять осужденных. Воячека в том числе. Их погнали на товарную станцию, и там они разгружали вагоны, таскали в пакгауз тяжеленные ящики. Воячек от напряжения взмок, у него каменели руки. Когда их привели обратно в тюрьму и построили в шеренгу, Воячека так качало, что он ухватился за соседа. И вдруг к нему подходит тюремщик и орет на весь двор:

— Бери метлу и мети вон до той стены, и чтоб пылинки не осталось.

— Я только со станции и без обеда,— взмолился Воячек.

— В карцер захотел? Мети, мать перемать!

Воячек из последних сил водил метлой по бугристой мостовой и, как всегда, когда ему бывало трудно, повторял любимую поговорку своего друга и партийного крестного Сени Строда: «Взявшись за гуж, не говори, что недюж...»

Остальных заключенных увели в здание. Когда он уже приближался к стене, на тюремном дворе появился пожилой солдат тюремного конвоя, который днем сопровождал их на разгрузку вагонов. Он медленно шел по двору, будто проверял, как чисто вымел его Воячек. Неподалеку от Воячека остановился, не спеша скрутил цигарку, закурил, потом приблизился к нему вплотную и спросил тихо:

— Ты Воячек?

— Я.

— Слушай меня внимательно... В понедельник опять будешь на станции доски разгружать. Старшим у вас будет уголовник по кличке Сивуха. Он тебе кое-что скажет, как он скажет, так и делай. Понял?

Воячек кивнул и пошел дальше махать метлой, которая вдруг стала легкой как перышко. Вот же для чего его оставили с уголовниками — только их выводят из тюрьмы на разные работы! Сердце Воячека обдало теплом — великое боевое братство большевиков действовало и здесь!

Еле дождался понедельника. Еще на рассвете человек двадцать заключенных погнали на станцию, там они выгружали с платформ доски и таскали их к воротам, где стояли тюремные дроги. Короткий зимний день уже кончался, а Сивуха точно не видел Воячека. Это был сухопарый дядька лет пятидесяти, лицо по самые глаза заросло жесткой бородой. Хоть он и был старшим, а работал наравне со всеми и только покрикивал на нерадивых: «Шевелись...»

Когда стало совсем темно, он, стоя у дрог, позвал Воячека:

— Давай-ка подровняем груз...— и когда они перекладывали доски, заговорил тихим хриплым голосом:— Видишь товарняк на втором пути? Сейчас я отвлеку конвойного, а ты — быстро к товарняку, найдешь вагон, на котором мелом на двери крест нарисован, двери в нем будут приоткрыты. Залезай, двери плотно прикрой. Там найдешь одежду, свою по пути выброси. В Москве на Ярославском вокзале найди ночлежку для пассажирских проводников, спросишь там Егора Полетаева, он скажет тебе, что делать дальше. Все запомнил? Лучше переспроси...

— Запомнил. Спасибо...

— Успеха...

Этот путь до Москвы в товарном вагоне, в тридцатиградусный мороз, Воячек, наверно, не забудет никогда. Всю ночь он бегал по вагону, размахивая руками, подпрыгивал, но стоило ему остановиться, как мороз хватал его в ледяные клещи и все его тело становилось деревянным. Он снова принимался бегать. Сколько он так пробежал в грохотавшем по рельсам вагоне?

В Москву поезд прибыл еще ночью. Выскочив из вагона, Воячек, поплутав в лабиринте товарных составов, выбрался на безлюдную площадь и, чтобы не вызвать к себе любопытства, степенно направился к Ярославскому вокзалу и там нашел ночлежку для пассажирских проводников. В протопленной до банного накала комнате вповалку спали проводники. Храп на все голоса и дух такой, что можно задохнуться. Но Воячек чувствовал только спасительное райское тепло. Он стоял у двери, его окоченевшее тело оживало.

— Где тут Егор Полетаев?— крикнул он.

Храп оборвался, в дальнем углу поднялась косматая голова:

— Чего орешь? Иди сюда.

Стараясь не наступить на живое, Воячек пробрался в угол. Косматая голова показала ему место рядом, и, когда лег туда, втиснувшись в жаркую щель между телами, Полетаев дохнул ему в ухо: «Поезд вечером в восемь тридцать с Петроградского вокзала, тут рядом, вагон шестой, я там буду. А теперь — спи».

Казалось, какой тут сон, ко всему еще и есть так хотелось, что в животе ныло, а заснул же, точно в теплое море нырнул...

В начале этого дня полковник Игумнов получил сообщение из Владимира о побеге Воячека. Он немедленно связался по телефону с начальником железнодорожной полиции Петрограда, описал ему внешность Воячека и приказал взять под контроль все вокзалы и товарные станции. Были подняты на ноги полицейские участки близ городских застав. Вызвав к себе дежурного оперативной части охранки, Игумнов приказал отправить опытных агентов на Московский вокзал и к вагоноремонтному заводу. Но отдавая все эти распоряжения, Игумнов испытывал странное чувство, будто все это он делал не для того, чтобы поймать трижды проклятого Воячека, во что он загодя не верил, а только для того, чтобы соблюсти все требующиеся службой формальности. Он уже знал, что большевики побеги своих организуют очень толково, а тут еще и сам Воячек не такой дурак, чтобы высветить себя элементарной неосторожностью.

Третий побег из Владимирки за последнее полугодие! Развалили там охрану безрукие сволочи! Надо немедля послать туда хорошего работника, чтобы провел строжайшее расследование этого побега. Игумнов хотел было связаться по телефону с генералом Глобачевым и доложить ему о побеге, но передумал — пусть он узнает это от кого-нибудь другого. Игумнов чувствовал какую-то свою безотчетную вину в случившемся... А вдруг Воячека все-таки поймают? Игумнов даже представил себе, как тот сидит перед его столом, а он спрашивает у него:

— Ну, Воячек, убедились, что все ваши пути ведут ко мне?

...Пасажирский поезд медленно подходил к перрону Московского вокзала в Петрограде. Было пронзительно морозное раннее утро, а ночь точно окоченела и не могла уйти, густые синие сумер-

ки не могли рассеять зажженные к прибытию поезда фонари, их окутывала изморозь.

Паровоз пыхтя медленно двигался вдоль перрона, его бока были в грязном от копоти инее, а за ним следовал почтовый вагон — белый-белый, точно из снега сделанный, с чуть розоватым пятном замороженного окна.

С поезда сошло совсем немного пассажиров, и они вместе со встретившими их, подгоняемые морозом, заторопились к вокзалу. Только военный инвалид на двух костылях поотстал, и долго еще было слышно, как он вжимал свои деревянные подпорки в промороженный перрон — вжик, вжик, вжик...

Но на перроне остались несколько мужчин, поколачивая ногу об ногу и растирая уши, они стояли порознь, все кого-то ждали. Проводник, появившийся на площадке шестого вагона, крикнул им:

— Чего мерзнете? Все уже вышли.

Поезд медленно покатился назад, на запасные пути, но только когда он, изогнувшись на стрелке, стал исчезать в морозной мгле, эти мужчины, точно по команде, покинули перрон.

В катившемся на запасные пути пустом поезде проводник шестого вагона в своем служебном купе открыл крышку деревянной лавки и вытащил оттуда матрац, под которым спал, скрючившись на боку, Воячек.

— Вставай,— тихо сказал проводник и помог Воячеку выбраться из тесного ящика под сиденьем.— Да скорей же,— торопил проводник, глядя, как бестолково напяливает он меховую шапку и все норовит потянуться замлевшим телом. Они прошли в тамбур вагона, проводник отпер дверь и приоткрыл: — Давай!

— Спасибо...— Воячек порывисто пожал руку проводнику и прыгнул в муть морозного утра. Проводник запер дверь, перекрестился облегченно и занялся приборкой вагона...

Воячек лежал, забившись между грудой шпал и забором, и ругался сквозь сжатые зубы: «Проклятье... проклятье...» Он еле смог заползти в эту щель — вывихнутую ногу скручивало такой болью, что его жар прошибал. А от мороза каменела спина. Досадно было до слез — так складно, что называется, без соринки провести весь побег и споткнуться у самого дома, где его ждут с шаткой надеждой самые дорогие ему люди.

Он решительно встал, чуть не вскрикнув, когда оперся на больную ногу. Навалившись грудью на шпалы, постоял с минуту, переступая с ноги на ногу, как бы привыкая к боли, и решительно вышел на тропинку. Утро все же отпихнуло ночь — перед Воячеком в морозной дымке открылась знакомая придорожная окраина Питера — приземистые склады, фабричные заборы, редкие дома. Тропинка вывела его к железнодорожному переезду, он облокотился на опущенный шлагбаум. Дышал судорожно, от него клубами валил пар. Из-под меховой шапки выбились мокрые волосы, мгновенно оледеневшие. Жарко было от преодоления боли. Но вот же преодолел — вон какой кусок проковылял!..

С грохотом прошел заиндевелый товарный поезд, на площадке последнего вагона он увидел укутанного в тулуп проводника и невольно улыбнулся ему издалека, вспомнил своего из шестого вагона — спасибо, товарищи!..

Действительно, побег удался на славу — научилась партия и этому...

Воячек энергично оттолкнулся от шлагбаума и зашагал по разъезженной ломовыми дороге. Вывихнутая нога, казалось, кричала от боли, но он шел, шел, шел, стиснув зубы до боли в скулах. Когда миновал ворота мануфактуры Максвеля, прислонился к забору. Перевел дух. И дальше...

На Шлиссельбургском проспекте в глухом переулке стояло несколько краснокирпичных домов для рабочих. Он зашел в первый и, хватаясь сильными руками за перила, быстро вскинулся на второй этаж и постучал в дверь пятой квартиры. Открыла молодая женщина. Она, может, целую минуту смотрела на него, а потом бросилась ему на шею, повисла на нем. Он так и внес ее в квартиру.

— Люди, смотрите, кто явился!— кричала она.— Люди, идите сюда!

В переднюю выбежали двое парней и с разбега кинулись на него:

— Сашко! Сашко вернулся!..

...Почти не веря, что это происходит с ним, он лежал в мягкой постели. Бритая щека нежно касалась гладкого полотна подушки. Вывихнутая нога млела в теплом компрессе. А возле него на кровати, на стульях и прямо на полу сидели его друзья, его дорогие товарищи по борьбе — большевики с Александровского паровозного, с вагоноремонтного, с ткацкой фабрики Губбарда. Он знает их не так уж давно — кого год, кого — три, только хозяйку этой квартиры Лиду с Максвеля он знает еще с довоенного времени. Она жена его невенчанная. В первый год войны они вместе листовки против войны клеили, а теперь она сама создала партячейку на мельнице Мордуха. Но всех их связывает такое высокое и благородное братство, когда каждый готов, не задумываясь, жизнью рискнуть за другого.

Он уже рассказал им, как лихо был организован его побег, но никто не восхищался, не спрашивал подробности, и слушали с серьезными лицами, будто он рассказывал о работе...

А потом заговорил Виталий Шурыгин — наладчик станков с Максвеля, лицо у него было задумчивое и тревожное:

— Накипело до крайности... до самой последней крайности... То, что самодержавию крышка, ясно как день... Но что мы сможем потом? Чтоб так не получилось, что шли мы, шли через виселицы, тюрьмы и каторги, а в решающий час сплошали...— Он поднял свои черные злые глаза на Воячека и спросил жестко:— Ты куда теперь пойдешь?

— Туда же, к солдатам,— не задумываясь, ответил Воячек.— Без солдат революция безоружна, а этого допустить нельзя.

— Не меньше недели будешь лежать,— строго сказала Лида...

Все промолчали — знали, что он встанет завтра... Да и Лида знала это...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

1

Покачиваясь на кожаных подушках автомобиля, премьер-министр Штюрмер тревожно думал о предстоящей встрече с монархом. Государь на несколько дней приехал из Ставки и вызвал его... Еще так недавно каждая поездка в Царское Село была для него праздником. Там его окружали милые, любящие люди, которые сами позвали его на этот высокий пост. С ними ему было хорошо, просто, даже весело.

Когда он узнал, что Царское Село прочит ему кресло премьера, он так возрадовался, что в первом же разговоре с царицей сказал о своем намерении немедленно переменить свою немецкую фамилию на русскую, и, не задумываясь, сделал бы это, но императрица почему-то посчитала сие нецелесообразным.

Усевшись однажды утром в это кресло, он произнес про себя слова молитвы, которую сочинил для него Григорий Распутин: «Само́е божье провидение будет со мной в моих деяниях на благо России...» Об этой молитве он узнал накануне от самой императрицы, она соизволила на память воспроизвести ему эти слова и сказала: «Я тоже верю — так будет». Все это было совсем недавно, и, боже, как он был уверен, что все у него будет хорошо и он действительно поведет Россию и себя к вершинам славы.

И вдруг стало происходить что-то неуловимое, непонятное, и праздник стал тускнеть. Недавно, совсем недавно все еще было хорошо, вот в субботу императрица страшно смеялась над его рассказом о том, как он утром по рассеянности надел ботинки на босу ногу. А в понедельник она была мрачнее тучи и задавала ему неприятные вопросы... Что случилось? Кто ей нашептал?..

Он все чаще вспоминает счастливое время, когда был ярославским губернатором. Господи, полный хозяин. За год только раз тревога, когда приезжала правительственная ревизия. Но и это всегда заканчивалось традиционным ужином с ревизорами за городом на волжском берегу... В губернаторстве он отрастил свою бороду-лопату, кинжальные усы и научился так сурово сдвигать мохнатые брови, что от одного этого ярославских купцов в дрожь бросало... А главное, все шло как бы само собой, он мог по нескольку дней не появляться в служебном кабинете, мог спать хоть до полудня и знать, что все идет исправно. Был при нем секретарь, верный его помощник Филичев Сан Саныч — из адвокатов, при нем, господи боже, можно было год проспать без ущерба делу. Предлагал ему ехать с ним в столицу — отказался. Злые языки сообщили, будто Сан Саныч сказал, что с таким бездельником

и лентяем, как он, подниматься в верха все равно что на эшафот. Не верится, не мог сказать такое — он же за время, что служил при нем, двухэтажный дом себе отгрохал, собирался имение покупать...

Но, конечно, столица — это тебе не тихий Ярославль, и пост премьера беспокоен. И что странно, казалось бы, высокая должность в государстве, а настоящей власти в руках не чувствуешь: она у царя. Званий и названий дали целую кучу, а ты другой раз даже своему времени не хозяин. В Государственный совет езжай и сиди там часами, в Синод езжай и опять же сиди там, сам правительство созовешь — опять сиди. К вечеру задница болит... А вокруг-то столько всяких сановников, куда ни повернешься, чтобы не промахнуться, кланяйся, кланяйся, помни, кто из святых кем ему приходится...

Даже в своем правительстве, где он по статуту главный, нет перед ним трепета, ни видимого уважения или хотя бы страха. И у него все чаще ощущение, будто он стоит по колени в трясине и выйти не может. Вдруг выяснилось, что его не слушаются. Правда, он сам часто забывал о собственных распоряжениях. Царица указала ему на это и порекомендовала вести запись своих приказов. И вот тут-то и выяснилось — его не слушаются. Он даже спросил на совете министров — в чем дело? Все промолчали, а этот ученый негодяй министр финансов Барк заявил, будто распоряжения премьера бывают столь грандиозно сложны, что нормальный человек их выполнить не может... И явственно послышался смех. Все негодяи! Воображают из себя!

Но самое страшное все же, что трудно стало с императрицей. Она так гневается по поводу беспорядков в Петрограде, что, слушая ее, он готов провалиться сквозь землю. Он заверил ее, что меры будут приняты, что за безделье он выгонит и того и этого и призовет к делу новых решительных людей. Но, возвратясь в Петроград, он ровно ничего сделать не мог — того выгнать нельзя, потому что у него какое-то родство с женой великого князя, а этого нельзя еще почему-то... А новых решительных людей нет.

Последние дни, сидя в своем огромном сумрачном кабинете, он мучился в дикой тоске. Сколько было всяких планов для самого себя! Купить богатое имение под Черниговом и землю в Крыму рядом с царской Ливадией, жить, ничего не делая. Где те деньги, что приснились ему? Протопопов шептал: Манус, Манус, миллионы. Где он, этот Манус? Сам Протопопов последнее время на глаза не кажется. Ему-то что? У него, говорят, миллионы! А может, именно он и нашептал царице? Он же спит и видит кресло премьера. Он еще стал бояться, что его убьют. Однажды в протопоповской сводке прочитал про какого-то маньяка, собиравшегося убить Распутина и его. Теперь даже в поездках в Царское Село его сопровождал агент охранки — молчаливый верзила по фамилии Могильников, которого он тоже боялся, хотя называл его Петенька и после каждой поездки одаривал пятеркой...

Сегодня ему почему-то еще страшнее, чем всегда. Он предстанет сейчас перед самим батюшкой-царем. Зачем он позвал?.. Прижимая к животу портфель с бумагами, Штюрмер смотрел на проносившиеся мимо голые деревья. И вдруг подумал: «А может, я сейчас получу отставку? Господи, так, может, и лучше? Только бы без позора...»

Во время позавчерашней аудиенции он сам сказал царице: пора бы мне, ваше величество, на покой. Но она его мольбы во гневе, кажется, не расслышала...

Его взгляд упирается в массивный, коротко подстриженный затылок охранника Могильникова, который безостановочно вертит головой туда-сюда: высматривает служивый, нет ли какой опасности по дороге. Автомобиль ревет, мчится, вздымая грязь, приятно пружинит кожаное сиденье. Впереди Царское Село, дворец, там его ждет царь. Сердитый, не сердитый, а царь. И ждет его. Не каждому дано вот так, в автомобиле, мчаться к его императорскому величеству!.. Да и сам он, если подумать, второе лицо в империи. Что бы там монарх ни придумал, а делать-то ему, премьеру России. Пусть изощряется Барк, придет час, скрутим и его. Протопопов заверил — Барк у него под стеклышком. Скрутим, черт бы вас всех побрал! Григория на вас напустим — получите по шее от самой императрицы...

К нему возвращается упоение властью, собственной значимостью, принадлежностью к истории России. Когда его охватывает это самозабвенное ощущение своего величия и высокой предназначенности, все минуту назад тоскливо-трудное и непосильное кажется ему уже случайным стечением обстоятельств, устранить которые нетрудно, надо только призвать к порядку всех этих умников. А еще лучше выгнать их к чертовой матери и набрать людей надежных, готовых живот положить за отечество...

И это премьер-министр великой России! Борис Владимирович Штюрмер... Его называли самым случайным из всех случайных деятелей Российского государства. Это подтверждают его современники, которые имели возможность хорошо его знать. Министр финансов того времени Барк в письме, адресованном, очевидно, очень близкому ему человеку, писал [1]: «...Ну а Штюрмер — это явление особое, хотя в наши дни и типичное, ибо уже не первый год в нашем отечестве государственные деятели подбираются по принципу: чем хуже, тем лучше. Столыпин — исключение и потому был убит. Внешний его вид — царь-государь из помпезной оперы. Но только если молчит. Говорят, он был отменным губернатором, но знаем мы с тобой, что такое наши губернаторы — см. Щедрина. Дураком его не назовешь, но и за умного не примешь. Но ведь бывают люди среднего ума, которые и не жалки, и не смешны, хорошо, честно работают. А этот — уникум, он и смешон, и жалок,

---

[1] Письмо было перлюстрировано и скопировано. Копия хранилась в сейфе Протопопова, но он его, по-видимому, не успел пустить в ход, так как в это время Штюрмер получил отставку.

и еще противен. Он умудряется в течение одного заседания правительства побывать непреклонно грозным, унылым как побитая баба и злым до потери всяческого представления о месте действия. У него довольно изворотливый ум, но он у него мелкий, не позволяющий ему понять самого себя, и оттого он, ничтоже сумняшеся, саму историю примеряет на себя как мундир. В делах он творит неописуемое. Однажды привозит из Царского Села указание в отношении земства и несет такую чушь, что мы все только переглядываемся. Я высказал сомнение в правильности указания, он взвился, заявил, что он мое мнение доложит в Царском Селе, и вопрос снял. А спустя три дня, снова съездив в Царское, опять поднимает вопрос о земстве и теперь говорит дело. А после заседания укоряет мне: зачем вы давеча так громогласно сказали свое мнение, сказали бы мне лично, и я был бы вам благодарен. Ты понимаешь, в чем дело? Он просто с первого раза не понял августейшего указания. А тут как-то открывает заседание и говорит — завтра у меня день ангела, давайте по этому случаю проведем заседание быстро и дружно, сделайте мне такой подарок. Хочешь смейся, хочешь плачь. Первый министр государства! Прошу любить и жаловать...»

А пока Штюрмер прибыл в Царское Село на аудиенцию к царю, полный решимости доказать ему свою преданность и способность выполнить все его предначертания.

Приема пришлось ждать более получаса. Он снова впал в уныние — ему казалось, что в ожидальне — этой комнате, обитой наглухо дубовыми панелями, его просто забыли... Наконец позвали. Он вошел и с беспокойством осмотрелся по сторонам — в краснодеревном кабинете царя никого не было. Штюрмер сделал еще шаг и увидел: монарх стоял у окна за гардиной и смотрел в парк.

Царь повернул голову, чуть кивнул и снова стал смотреть в окно. Штюрмер сделал к нему шаг и тоже стал смотреть. За окном ничего стоящего внимания не было — снова пошел дождь, и парк еле проглядывал в тумане. А царь все смотрел и смотрел. У Штюрмера больные ноги подрагивали в коленях. Он настойчиво стал повторять в уме слова: «Сядьте, ваше величество... Сядьте, ваше величество»,— он верил в передачу мыслей на расстоянии...

И царь отошел наконец от окна и сел за стол. Штюрмер принял эту свою победу как доброе предзнаменование и, даже не дождавшись приглашения, тоже сел, поставив портфель возле бессильных ног.

— Как Протопопов?— опасно не поднимая глаз, спросил царь.

— В каком смысле, ваше величество?— осторожно спросил Штюрмер, глядя настороженно из глубоких глазниц в лицо царя, которое, как всегда, ничего не выражало.

— Он собирался навести порядок с продовольствием. И вы обещали. Где он, этот порядок?— не повышая голоса, спросил царь.

— Вы же знаете, ваше величество, все испортила Дума — впутала в это дело земства, и теперь каждая губерния свои законы пишет.

Царь глубоко, безысходно вздохнул. Подергал аксельбант за металлический наконечник и сдвинул с плеча погон. Поправил погон. И вдруг грудью навис над столом, уставился на Штюрмера потухшими голубыми глазами и спросил тихо, бессильно:

— Почему, Борис Владимирович, все так безобразно? Почему не стало порядка? Где верные люди, на которых триста лет опирался наш трон?

— Да, да,— поспешно ответил Штюрмер.— Где они? Я сам думаю про это.

— Мало думать, Борис Владимирович,— печально произнес царь.— Вы же власть, Борис Владимирович.

— Мы только слуги ваши,— сокрушенно опустив голову, сказал Штюрмер. Он не понимал, что своими верноподданническими словами как бы перекладывает на монарха ответственность за все.

— Вы власть, Борис Владимирович,— медленно и тихо повторил царь.— А власть должна, обязана властвовать. В столице вместо вас властвуют бунтовщики, проходимцы, выскочки, карьеристы, которым не дорога ни Россия, ни трон — ничто им не дорого. Ничто.

Резко поднятая голова Штюрмера точно вынырнула из бороды.

— Надо закрыть Думу,— быстро сказал он.

— Что это даст?— безнадежно произнес Николай.— Выгоним их из Таврического, они будут продолжать свое гнусное дело на улице.

Царь и его премьер молча сидели друг против друга, отягощенные заботой о сохранении государства от всяких посягательств.

— Может...— нарушил Штюрмер тягостное молчание...— У меня была мысль... наиболее опасных из Думы изолировать.

Царь приподнял короткие брови, сморщил лоб и посмотрел на Штюрмера не то с недоумением, не то с интересом.

— Оскорбление царской особы грязной клеветой,— продолжал Штюрмер.— Есть же, наконец, законы... тем более время военное.

Царь молчал. Он и сам думал о такой мере. Тем более что раньше это однажды было сделано, правда, вызвало большой шум. Но эту мысль он отложил после приема председателя Думы Родзянко. Разговор с ним потряс его... Собственно, разговора не было, говорил только Родзянко... Поклявшись в верности монарху, Родзянко говорил тогда страшные вещи. По его словам, Россия стоит перед пропастью, и все, в том числе и царь, толкают страну в эту пропасть. Слушая его, Николай пережил страшные минуты — никто так с ним не разговаривал.

Вспомнив сейчас об этом, царь подумал: «Я тогда смалодушничал... Довольно осторожничать. Штюрмер говорит дело, действительно, Думу надо разогнать... или спрятать всех ее горлопанов в тюрьму, и делу конец...» И вдруг вспомнил, что Родзянко тогда говорил и об этом. Он сказал, что Дума — это единственное место в России, где вслух говорят правду. И прибавил: вы должны понимать, что совет разогнать Думу вам дают те, кто боится правды, а вы помазанник божий, значит, вы сама правда и вам нечего ее бояться. А то, что правда иногда бывает горькой, с этим надо мириться, правда всегда правда...

Самое страшное было в том, что ни тогда, когда он слушал Родзянко, ни теперь, когда перед ним сидел съежившийся в кресле Штюрмер, Николай не знал толком, чего сегодня хочет Дума на самом деле. Но он больше не желал терпеть, что в этой Думе так неуважительно говорят о нем, об императрице, о тех людях, которым он доверил власть. И этот бедняга Штюрмер, преданнейший, порядочный, подвергается всяческому поношению с думской трибуны. Николай вспомнил, что он однажды в сводке охранного отделения о разговорах в кулуарах Думы прочитал, что Штюрмера называют там «государственным импотентом». ...Николай тогда улыбнулся, прочитав, и не вспоминал больше... А сейчас подумал: может быть, и в самом деле он такой, раз не может сплотить вокруг себя сильных людей и справиться со всеми безобразиями?

— Скажите мне, Борис Владимирович, на кого... на кого я могу сейчас безоговорочно положиться в борьбе с безобразиями? — Николай поднял взгляд на премьера, а с него перевел на висевшую в углу икону Николая-чудотворца.

— На меня, ваше величество. — Штюрмер приложил руки к груди, привстал, но слабые ноги его согнулись, и он упал обратно в кресло.

— Что с вами? — спросил царь с участием.

— Но мне пора бы на покой, ваше величество... — тихо вымолвил Штюрмер, дрожащей рукой вынул платок из кармана мундира и вытер лоб.

— На вас я полагаюсь, — сказал царь, будто не слышал его. — А еще кто?

У Штюрмера по спине пробежал холодок. Ручаться за других не в его правилах. Вот если бы самодержец спросил, на кого нельзя положиться, тут бы за ним дело не стало. Он знал, кто его враги — их была целая туча.

— Где «Союз русского народа»? — вдруг спросил царь.

— Как где? Здесь, ваше величество, — ответил Штюрмер, не замечая двусмысленности своих слов.

— Он так хорошо начинал, — продолжал царь, — так красиво действовал. Ведь сейчас все должны стать на защиту трона, против безобразий и беспорядков... Продумайте использование «союза».

— Слушаюсь, ваше величество.

— Вспомните, Борис Владимирович, тогда, в 1905 году, «союз» поднял на защиту трона самых простых людей, и, объединен-

ные в «союз», они стали грозной силой. Сейчас мы должны призвать к действию всех людей, способных поднять патриотические силы России, ведь сейчас положение гораздо тревожнее, чем в те времена. Свяжитесь с губернаторами, где «союз» действовал наиболее активно, посоветуйтесь с ними, пусть они назовут вам надежных, смелых людей, вожаков...— Царь оживился, говорил все более энергично, мысль показалась ему спасительной.

А Штюрмер только повторял, кланяясь:

— Слушаюсь, ваше величество... Слушаюсь, ваше величество,— а сам в это время с бессильной тоской думал о том, что ничего этого он сделать не сможет. Он и сам как-то вспоминал про «Союз русского народа» и спросил о нем министра внутренних дел, а тот махнул рукой и ответил: «Был «союз», да весь вышел...»

— Но кто же все-таки организует беспорядки?— продолжал царь.

— Всякие интеллигенты, ваше величество!— вяло ответил Штюрмер, вытирая платком шею под жестким воротником мундира.

— Но неужели нельзя с ними справиться? Преданных-то больше?! Еще раз говорю вам — разбудите, поднимите «Союз русского народа». Что делает Дубровин?

— Не могу знать, ваше величество.

— Ну вот видите,— укоризненно сказал царь.— Узнайте. Может быть, я захочу его повидать.

— Слушаюсь, ваше величество!..

— Прошу не откладывать, заняться этим...

2

Вернувшись в Петроград, Штюрмер позвонил Протопопову, попросил его немедленно приехать. Тот стал ссылаться на крайнюю занятость, тогда Штюрмер сказал, что приглашает его во исполнение воли его величества. Протопопов ответил тревожно: «Еду...» «Обнаглел он, этот Протопопов, премьер я для него или кто?» — подумал Штюрмер и, положив трубку, записал для памяти, что говорил ему монарх...

Протопопов вошел стремительно, но, опустившись в кресло, схватился за сердце, закатил вверх глаза.

— Я на пределе, Борис Владимирович,— сказал он тихо.— Никто выдержать это не в силах.

— Я тоже нездоров,— сухо отозвался Штюрмер, глядя в свои записки.— Я только что из Царского... Первое — помните, мы говорили с вами насчет изоляции думских горлопанов?..

— Охранное отделение действует,— быстро отозвался Протопопов.— Необходимо серьезное обоснование. Оно готовится.

«Черт бы его побрал, этого Протопопова, что ему ни скажи, он уже действует».

— Промедление недопустимо,— строго глядя на министра, произнес Штюрмер.

Протопопов промолчал, смотря на премьера выжидательно: что еще?

— Второе... «Союз русского народа». Что делает Дубровин?

— Получает у нас ссуды из секретного фонда,— усмехнулся Протопопов.— Из моего предшественника Хвостова они выдоили полмиллиона... если не больше.

— Я получил высочайшую рекомендацию,— повысил голос Штюрмер, откинув голову,— привлечь «союз» к борьбе с беспорядками. Как в девятьсот пятом году.

— Они действуют...— все с той же усмешкой ответил министр.— Только что я получил донесение, что драка у хлебного магазина на Петроградской стороне организована ими. Но что толку от этого, дорогой Борис Владимирович?

— Это частный случай,— отрезал Штюрмер.— А его величество говорит о новом патриотическом подъеме по всей стране. Прошу вас понять это. Отыщите Дубровина — его величество, очевидно, примет его. Я заверил, что вы занимаетесь «союзом» и все, что нужно, сделаете,— соврал он.

— Кое-кто советует дать «союзу» новое название,— сказал Протопопов и, сделав непонятный жест рукой, добавил:— Старое название... не того...

— Разве в названии дело?— спросил Штюрмер.— Главное — привлечь к борьбе с беспорядками большую массу верных людей и...

— Я понимаю, понимаю,— торопливо согласился Протопопов, чтобы остановить премьера, который явно не понимал всей сложности ситуации с этим «союзом».

— Если понимаете, действуйте, Александр Дмитриевич, действуйте!— энергично произнес Штюрмер, радуясь, что с этой минуты дело переложено на другие плечи.

«Союз русского народа», о котором вспомнил царь, возник в тревожные дни первой русской революции 1905 года. Трудовой люд вышел тогда на улицу с грозными для монархии требованиями. Запылали подожженные крестьянами помещичьи усадьбы, остановились фабрики и заводы — рабочие повсеместно объявляли забастовку. Над страной гремел призыв «Долой самодержавие!». Полиция оказалась не в силах быстро справиться с народным восстанием. И тогда верные слуги трона для защиты монархии, а значит, и своих интересов создали тот самый «Союз русского народа». Это не было движение, вдохновленное идеей. Просто помещики, промышленники, крупные купцы решили защищать свое добро, а поскольку сами они не собирались пойти за него врукопашную, они призвали под черные знамена «союза» полицейских шпиков, приказчиков, мелких торговцев, чиновников, обывателей и попросту всякий сброд. Вот очень характерный документ — смета

расходов нижегородского губернатора на спасение губернии силами «Союза русского народа».

«Графа оплата за выход на улицу с применением силы против бунтовщиков, жидов и прочих смутьянов из расчета за год — четыре раза по 800 человек (1 рубль 50 копеек за выход каждому) — всего 4800 рублей».

Ясно, что это были за люди, которые за рубль пятьдесят шли разгонять рабочие демонстрации, сопровождая это пьяным пением царского гимна. Но монархическая печать и государственные мужи кричали тогда о всенародной защите трона и прочее и прочее. Вот что писала в то время «Петербургская газета»:

«Могучая волна истинного русского патриотизма грозным очистительным валом катится по городам и селам России, смывая с земли нашей черную нечисть, посмевшую поднять свою грязную руку на святая святых нашего бытия — трехсотлетнюю династию, дарованную нам божьим провидением».

«Могучая волна» иссякла довольно быстро, и даже многие из тех, что буйствовали под знаменами «союза», поняли, что их принадлежность к черносотенной армии чести им не сделала, а революция в конечном счете была подавлена не ими. А коль скоро на Руси, казалось, установилась тишь да благодать, то на «Союз русского народа» махнули рукой и те, кто его создавал и кормил.

Надолго позабыл о нем и сам царь, хотя он в свое время в поучение всем своим подданным получил из рук руководителя «союза» Дубровина значок почетного члена «Союза русского народа».

И все же от той черносотенной волны кое-что осталось. Охранка и полиция в каждом большом городе располагали отпетыми бандитами из местных черносотенцев, которых использовали для организации всяких провокаций, а если надо, и для убийства неугодных режиму лиц. Несколько таких устранений левых прогрессивных деятелей было проведено именно руками членов «Союза русского народа».

В 1916 году в Петрограде действовали банды из тех самых доблестных патриотов доктора Дубровина. Они занимались грабежами, и полиция справиться с ними не могла. Кроме всего прочего, многие деятели полиции попросту были в доле у бандитов. И наконец, у грабителей были и более высокие покровители.

Начальник петроградской полиции в служебной записке от 19 августа 1916 года на имя начальника департамента полиции министерства внутренних дел Васильева, жалуясь на трудности в борьбе с грабежами в столице, ссылался на помехи, чинимые полиции охранным отделением. В преступлениях участвовали деятели «Союза русского народа», а их опекала охранка. На этой записке начальника столичной полиции имеется неизвестно чья, но явно начальственная резолюция: «Укажите ему со строгим внушением, что соображения охранного отделения превосходят его ведомственные претензии...» Так вот кого и решил царь призвать на защиту своего трона...

3

Грубин переехал в скромный коммерческий дом на углу Гороховой и Морской. Он сам выбрал трехкомнатную квартиру с подъездом в глубине двора, из которого можно было выйти и на Гороховую и на Морскую улицы. Алиса Яновна хотела переменить мебель, но Георгий Максимович сказал: «Не надо, мы проживем здесь недолго...» Эта неуютная сумрачная квартира с маленькими слепыми окнами и просиженной мебелью — последнее их пристанище в этой богом проклятой столице. Коммерческая деятельность окончательно свернута. Деньги превращены в ценности и надежную валюту. Сегодня он отправит жену в Швецию. А пока последние дела. Все связи оборваны, остались только две: Манус и Бурдуков...

Хмурым ноябрьским утром Грубин встретился с Бурдуковым в назначенное время, как обычно, у Гостиного двора, они поднялись на его верхнюю галерею, прошли по ней к Апраксину и стояли там, облокотившись на холодные чугунные перила. Внизу под ними, на Садовой, мутно поблескивали схваченные ледком лужи, крыши проходивших трамваев были белыми от инея, но здесь, на галерее, каменный пол был покрыт замерзшей грязью.

Лицо Бурдукова, посиневшее не то от холода, не то от пьянства, подергивал нервный тик. Грубин уже с трудом его терпел, этим человеком сейчас управляли только алчность и страх, и никогда нельзя было знать, как он поступит, когда алчность поборет в нем страх, или наоборот.

Бурдуков тоже перевел свои деньги в ценности, которые зашил в одежду, чтобы они всегда были при нем. Теперь он страшно боялся опоздать с выездом в Швецию. Разговаривая сейчас с Грубиным, он вздрагивал от каждого звука.

Грубин сжал локоть Бурдукова:

— Надо действовать, Николай Федорович, взять нервы в руки и действовать. Это мое последнее поручение...

Бурдуков, поеживаясь от озноба, недоверчиво смотрел на него.

— Вы говорили, что та газетная статья чепуха, а знаете, какая паника? Многие вкладчики осаждают банки, забирают деньги.

— Все это для нас с вами уже неважно,— ответил Грубин и спросил:— Как с письмом для Вырубовой?

— Готово, но кто его передаст?— угрюмо сверкнув заплывшими глазами, отозвался Бурдуков.

— Мы же договорились, Николай Федорович, это забота ваша.

Речь шла о сфабрикованном письме «группы патриотов», которые призывали монарха порвать договор с лицемерными союзниками России.

— Царь дал слово союзникам,— тихо сказал Бурдуков.

— Чепуха,— остановил его Грубин.— Царь сейчас спит и во сне видит повод отказаться от своего слова союзникам... Хорошо, я сам найду способ передать письмо. Что Распутин?

— Стонет. Кровушка, говорит, пролилась, цены ей откупной нет,— плаксиво ответил Бурдуков, точно повторяя распутинскую интонацию.

— Это болтовня, Николай Федорович. Нужно, чтобы он сказал императрице, что бог открыл ему глаза на союзников. Они Россию изнасиловали.

— Он не дурак, Георгий Максимович,— возразил Бурдуков.— Он сказал мне, что в последнее время каждый раз в Царское Село едет с опаской, примут ли. Даже за жизнь свою опасается.

— Да черт с ним, с его страхами. Важно, чтобы он успел это сказать. Спросите-ка его прямо, сколько он возьмет за это?

— Боюсь, много...— не сразу ответил Бурдуков и, вздрогнув всем телом, обернулся — за их спиной уборщик железным скребком сгребал грязь. Грубин невозмутимо наблюдал за Бурдуковым.

— С такими нервами вы пропадете...

— Звук противный,— поежился Бурдуков.— Я увижу его сегодня, узнаю...

— И сегодня же позвоните по телефону, назовете только цифру, и я отвечу вам, да или нет. Последнее — узнали, что с Рубинштейном?

— Распутин уверяет, что его выпустили и он отдыхает у Горемыкиных.

— Ну видите, Николай Федорович! Разве про Рубинштейна не писали, что он изменник и агент кайзера? А царица его спасла. Прошу вас, свяжитесь с ним, я должен знать, что он собирается дальше делать...

Уборщик продолжал скрести грязь, и этот действительно противный харкающий звук металла по камню начал раздражать и Грубина. Бурдуков, заглянув в глаза Грубину, спросил тихо:

— Георгий Максимович, не пора?

— О разговоре с Распутиным звоните мне попозже, после десяти,— протягивая руку в перчатке, сказал Грубин.— О деле надо думать, Николай Федорович, учитесь выдержке у вашего шефа Мануса.

— Манус, по-моему, потерял голову,— не отпуская его руки, сказал Бурдуков.

— Не судите других, да не будете судимы сами,— Грубин с трудом выдавил на своем лице улыбку и, высвободив руку, добавил мягко:— Давайте работать, Николай Федорович, и мы вместе уедем.

Бурдуков, облокотившись на чугунные перила, смотрел вслед Грубину: «Не сбежишь ли ты, сволочь, еще сегодня?» А Грубин, уходя, ощущал холодную цепкую руку своего помощника и думал:

«Нет, нет, тащить тебя из пожара на своей спине я не собираюсь, стреляные гильзы выбрасывают» [1].

На углу Садовой Грубин проводил взглядом вереницу трамваев, шедших без остановок. Везли с вокзала раненых. Грубин видел за мутными окнами их белые лица и подумал удивленно: а мясорубка все еще работает...

4

Вечером этого же дня Грубин отправлял жену в Финляндию. Для друзей и знакомых она ехала туда отдыхать после перенесенной инфлюэнцы, но никакой инфлюэнцы не было.

Алиса Яновна в Финляндии не задержится, переедет в Швецию и там отдаст на хранение в банк их драгоценности и золото. Заграничный паспорт для Алисы Яновны выправлен, драгоценности надежно упакованы, на семь часов заказан извозчик, который доставит их на Финляндский вокзал. Провожающих не будет — всем знакомым Грубин сообщил, что она уезжает завтра. Потом он будет извиняться и говорить, что напутал с днем отъезда.

На перроне Финляндского вокзала не было ничего похожего на то оживление, какое бывало до войны, когда в летнее время дачники создавали здесь пеструю, веселую суету. Под сводами вокзала стоял плохо освещенный поезд. Где-то впереди шумно сопел паровоз. Пустынный перрон просматривался до конца, а дальше виднелись путевые красные и зеленые огоньки. Городовой в черной шинели и черной барашковой шапке-баранке с кокардой стоял как изваяние у последнего вагона, провожая взглядом редких пассажиров...

Грубины появились на перроне за десять минут до отхода поезда и быстро прошли к своему вагону. Еле поспевавший за ними носильщик втащил в купе два больших желтых чемодана.

Алиса Яновна нервничала, тревожно поглядывала на мужа и сжимала в руках толстые пуховые перчатки.

— Успокойся, все идет хорошо,— тихо повторял Грубин, усаживая ее на мягкий диван и держа за руки.— Подожди немного...— Он вышел из купе, закурил и прошелся по вагону. Пассажиров первого класса было мало. Места были заняты только в трех купе. В одном сидели два священника, в другом, наверное, супружеская пожилая пара, в третьем — полковник с рукой на перевязи.

---

[1] Забегая вперед, скажем, что в дни Февральской революции Бурдуков был арестован при попытке пешком перебраться в Финляндию, при нем было большое количество драгоценностей. Доставленный в Таврический дворец, он в первых же показаниях выдавал себя за русского патриота и топил Мануса, уверяя, что ценности принадлежат Манусу. О Грубине он помалкивал...

Грубин вернулся, сел напротив жены, и в этот момент с перрона в окно их купе заглянул мужчина в широкополой шляпе — он искал кого-то. Встретившись взглядом с Грубиным, человек исчез.

— Не волнуйся, милая, не волнуйся, все хорошо,— сказал Грубин жене, взяв ее руки в свои. Он пытался вспомнить, откуда он знает этого человека...

В это время гулко заблямкал колокол отправления, Грубин торопливо обнял и поцеловал жену.

— До свидания, родная, скоро увидимся... не волнуйся...— тихо сказал он и вышел из купе.

Грубин посмотрел во все стороны. Человека, который заглянул в окно, на перроне не было.

Он подошел к окну и постучал в стекло. Алиса Яновна вздрогнула, вскочила, прильнула к окну, что-то ему говорила одними губами. Он тоже складывал губы трубочкой, шепча: «Люблю, люблю», но сам в это время внимательно посматривал в обе стороны сумрачного перрона.

Когда поезд скрылся из виду, на перроне осталось не более десятка провожающих. Грубин быстро пошел к зданию вокзала и остановился у выхода, будто ожидая кого-то... Все провожающие проследовали мимо, но того, кто заглянул в вагон, не было. Грубин еще раз внимательно оглядел пустой перрон и направился к оставленному у вокзала извозчику...

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

1

Данные Грюсса о странном банковском деятеле Грубине все же встревожили Бьюкенена. Он попробовал в частном разговоре вызвать интерес к Грубину у Протопопова. Из этого ничего не вышло. Была сделана попытка через военный атташат посольства дать сигнал русской военной контрразведке, но там сказали, что это дело гражданских властей. Тогда Бьюкенен вернулся к предложению Грюсса «остановить Грубина своими средствами» и привлечь для этого исполнителей из «Союза русского народа». Еще три дня назад эта идея казалась Бьюкенену абсурдной, и она могла бросить тень на посольство Великобритании. А сейчас он думал уже только о том, как провести это дело, чтобы никто из посольства, кроме Грюсса, не оказался в него втянутым...

Английский посол о «Союзе русского народа» знал давно и даже однажды высказался о нем осудительно, назвав его сборищем необразованных ретроградов. Но сейчас все перевернулось с ног на голову... А эффект может получиться действительно громким и поучающим власти — Петроград узнает, что какие-то патриотически настроенные люди сами начали наводить порядок в столице и взялись за главное — выбить почву из-под ног у про-

германских сил... Почему не попробовать? Кроме всего, Грюсс, судя по его решительности на этот счет, наверняка имеет одобрение проекта от своей службы.

Вечером Бьюкенен вызвал Грюсса к себе на квартиру. Она была в здании посольства, но все же разговор их будет уже не откровенно служебного свойства.

В столовой, куда вошел Грюсс, за вечерним чаем сидела вся семья. Стены были затушеваны темнотой, стол уютно освещала высокая настольная лампа с зеленым абажуром. Грюсс поцеловал руки жены и дочери посла и по приглашению Бьюкенена сел рядом с ним. Как всегда, до блеска выбритое, румяное лицо Грюсса выражало глубокую почтительность, готовность ответить на любой вопрос и понимание, что начать разговор сам он не может...

— Ужасна русская осень,— печально сказала жена посла.— В такие дни, как сегодня, моя тоска по родине беспредельна.

— Работая под руководством вашего мужа, нам тосковать просто некогда,— обаятельно улыбнулся Грюсс, принимая от нее чашку с чаем.

— В молодости тоска бывает совсем от другого,— смотря на дочь, сказал посол.— Не так ли, милая?

Девушка весело рассмеялась, показав длинные зубы, и, подбежав к матери, протянула ей руку. Миссис Бьюкенен — высокая, худощавая — встала и, кивнув Грюссу, пошла за дочерью.

Когда дверь за ними закрылась, Бьюкенен отодвинул от себя чашку:

— Вы имеете что-нибудь о дворцовом перевороте?

Грюсс чуть приподнял плечи:

— Это миф, сэр...— Увидев, что посол нахмурил густые брови, добавил:— Моя встреча с агентом, который может это знать, завтра.

— Мне нужны точные сведения...

— Я сделаю все, сэр.

— Теперь... по поводу этого... Грубина. Я думал об этом,— продолжал посол.— Пожалуй, стоит предпринять нечто радикальное для защиты интересов Англии.

Грюсс поднял голову, на его лице почтительное внимание... Он уже получил одобрение от своей службы, но для него было крайне важно получить одобрение посла, тогда он в случае неудачи автоматически получал защиту посольства. Но посол молчал.

— Трудность в одном: у меня нет достаточной суммы русских денег,— осторожно сказал Грюсс.

— По-моему, у нас есть излишек русской валюты...— Бьюкенен сморщил лоб, точно припоминая, есть ли действительно такая валюта...— Напишите мне записку, что вам нужны деньги на... репрезентацию.

— Слушаюсь, сэр...— коротко кивнул Грюсс. Хотя такое решение посла не было официальным одобрением его идеи, все же это была поддержка...

С утра Бьюкенен в беспокойстве ходил по комнатам посольства, находя там неизменный порядок, придраться было не к чему... Сотрудники, склонившиеся над своими столами, боязливо поглядывали на посла.

Вернувшись в кабинет, он сел в кресло спиной к стоящим в углу часам — возмутительно медленно шло время. Прошло четыре часа, как Грюсс уехал на свидание со своим агентом...

Нервозность Бьюкенена была вызвана тем, что еще несколько дней назад он сообщил в Лондон о возможности дворцового переворота, высказал мысль, что смена монарха может изменить обстановку в пользу Англии, так как переворот совершат люди явно антигерманского направления. Вчера вечером Грюсс подверг сомнению эту мысль весьма убедительно, и, если он теперь окажется прав, Бьюкенен снова предстанет перед Лондоном в неблагоприятном свете... Неприятнее всего было то, что выяснение этого важного дела он вынужден был поручить именно Грюссу, принадлежавшему другой службе.

Шифрограммы из Англии были все об одном: русские должны наступать. Победа близка. Германия обречена. Ждем сообщения, где и когда русские начнут новое наступление. И если слух о перевороте окажется неверным, в Лондоне это вызовет бурю...

Бьюкенен не сегодня понял, что здесь, в России, его главный долг перед Британией — спасение ее подданных от гибели на фронте. Англия не должна выйти из войны обескровленной, ей предстоит возвыситься над Европой, над всем миром. Великая Британия поднимется на костях Германии. Над бывшими германскими колониями взовьется британский флаг. Но сколько же Британии понадобится войск и способных людей, чтобы прочно встать на новых подвластных ей землях?

Нет, Бьюкенен всегда это понимал, понимает и сейчас. Совесть его перед Британией и королем чиста. Он делал все, чтобы Россия не щадила своих людей. Но Лондон не понимает, что сейчас в России сложилась такая обстановка, когда он элементарно не знает, кто сейчас может решить вопрос о новом наступлении и может ли кто-нибудь вообще? Царь, говорят, в состоянии такой прострации, что даже перестал выполнять требования царицы. Истинный хозяин фронта генерал Алексеев ни о каком новом наступлении не хочет и слушать, говорит: не готовы резервы, или вообще отказывается об этом разговаривать, ссылаясь на то, что он всего лишь исполнитель воли монарха.

В Петрограде среди высшей власти полный разброд, и никто не способен на какие-либо решительные действия. Чего можно ждать здесь, неизвестно, но дворцовый переворот может существенно изменить всю картину здешней обстановки. То, что он узнал от великой княгини Марии Павловны, выглядело весьма серьезно и реально — заговор во дворце подготовлен... А Грюсс твердит: сейчас в верхах никому нельзя верить...

Бьюкенен вызвал слугу, распорядился подать пальто.

Вернувшись с пальто на руке, слуга сказал:

— Я велел подать автомобиль...

— Кто вас просил об этом?— Бьюкенен гневно смотрел на слугу.

— Простите, сэр...— Слуга исчез за дверью и через минуту вернулся:— Все в порядке, сэр...— Он замер у двери, распахнув пальто и смотря в сторону.

— Я ведь собрался на прогулку, старина Уин...— как бы извиняясь, мягко сказал Бьюкенен. Он был недоволен собой — гневаться на слугу недостойно английского джентльмена и тем более ему гневаться на старого Уинстона, сопровождающего его многие годы жизни и в Лондоне, и в Софии, и здесь. Право же, этот старик самый преданный ему во всем посольстве.

— Это прекрасная мысль, сэр...— сказал слуга.— Дождя нет, даже проглядывает солнце... Но холодно...— Он встряхнул пальто, как бы приглашая посла поспешить на свидание с хорошей осенней погодой, которая так редка.

Бьюкенен надел пальто, слуга пригладил на плечах мохнатую шотландскую ткань, подал котелок и трость.

— Не тоскуете, старина Уин, по лондонской осени?— улыбнулся Бьюкенен.

— Я всегда в тепле, сэр...— Слуга тоже позволил себе чуть улыбнуться, но улыбка тотчас спряталась в его обвислых белых бакенбардах. Он распахнул перед послом дверь и согнулся в поклоне...

Прогулка по Невской набережной, которая в этом месте называлась Английской, всегда успокаивала. Бьюкенен шел вдоль парапета и наблюдал игру света на Петропавловской крепости — когда проглядывало солнце, ее силуэт становился чуть розовым и шпиль над ним как вспыхнувшая свеча, а когда солнце уходило в тучи, силуэт снова становился фиолетовым, и свеча гасла. Это зрелище завораживало.

Посол вернулся к мыслям о деле... Никогда еще не было, чтобы он ждал, да еще с таким нетерпением, кого-нибудь из своих сотрудников... Действительно все перевернулось с ног на голову. А с этим Грюссом вообще все сложно... В первые два года войны к услугам этого представителя британской разведки Бьюкенен не обращался, не было надобности, он и без него знал все, что происходит в верхах России, где его связи были достаточно широки и полезны. Один Сазонов чего стоил... Грюсс, в свою очередь, делал свое дело, и он время от времени просил его поделиться своими наблюдениями и всякий раз видел, что этот молодой человек ест свой хлеб не зря, его наблюдения были точными...

У него были самые неожиданные связи в различных сферах государственной машины и жизни, и, как правило, это были люди, знающие подводные течения, возникавшие в потрясенной империи. Достаточно сказать, что, установив связь с каким-то маленьким чиновником личной канцелярии императрицы, Грюсс получил возможность знать, что телеграфирует Александра Федоровна мужу. И то, что Бьюкенен узнал из переписки, потрясло его, ибо

превосходило все его представления о размерах вмешательства царицы в государственные и военные дела и о безволии ее коронованного мужа.

На Грюсса работали клерки из банков, какие-то третьестепенные чины жандармерии и полиции, шоферы военных ведомств, официанты и еще черт знает кто. А в результате он располагал информацией, какой Бьюкенен не имел от своих великих князей, сенаторов и думских деятелей.

Сегодня Грюсс поехал, чтобы встретиться всего лишь с техническим секретарем великой княгини Марии Павловны. Поехал неохотно, уверял, что это пустая трата драгоценного времени. Но Бьюкенен настоял, он поверил, что Мария Павловна и ее сын великий князь Борис предпринимают нечто новое, очень серьезное и что у них есть политическая и военная программа, которую поддерживают Родзянко и Гучков и, что особенно важно, хотя и неожиданно, генерал Брусилов, чья популярность после прорыва его войск на Карпаты была очень велика. А вчера сообщили, будто Брусилов находится в Петрограде и у него была встреча с великой княгиней. Словом, все выглядело вполне серьезно и реально...

Но кому сейчас можно верить?..

2

Увидев мчавшийся по набережной автомобиль, Бьюкенен ускорил шаги.

Он прошел прямо в комнату Грюсса, который уже сидел за столом и писал что-то.

— Ну, Бенджи?— нетерпеливо спросил Бьюкенен, опускаясь в кресло и сердясь на все — и на это свое нетерпение, которое он не мог скрыть, и на унижающую его ситуацию, когда он должен что-то просить у своего сотрудника...

— Генерал Брусилов, сэр, приказал кланяться, в Петрограде не было даже его тени,— сказал Грюсс, продолжая писать. Он отодвинул бумаги и пригладил ладонями свой и без того безукоризненный пробор.— Заговор и программа великой княгини — очередной блеф. Но программу я привез. Вот...— Он протянул тоненькую синюю папку с великокняжеским вензелем, послу показалось, что серые продолговатые глаза Грюсса скрывают усмешку.— Еще сегодня это надо вернуть,— деловито закончил Грюсс.

— Надо снять копию...— раскрыв папку, сказал Бьюкенен.

— Прочитайте сначала,— не возразил, только вежливо посоветовал Грюсс.— Но, читая, знайте, что за этой программой ничего и никого нет. Даже самой княгини нет. Мария Павловна еще позавчера приказала секретарю подготовить документы на отъезд в Швецию.

— Это невероятно!— протестующе воскликнул Бьюкенен, и щеки у него порозовели.— Она же сама говорила мне об этой программе, была полна энергии и уверенности!

— Ну что ж, возможно, она ждала, сэр, услышать в ответ, что Англия всей своей мощью готова их поддержать. Но у них самих, кроме благих желаний, нет ничего.

— А Брусилов?

— Две недели назад они послали к нему на фронт какого-то штабс-капитана, но он не вернулся.

— Княгиня сказала, что Брусилов готов поддержать их военной силой.

— Княгиня, сэр, сказала неправду,— тихо ответил Грюсс, глядя на растерянное лицо посла, и продолжал: — Разрешите сказать вам нечто более важное.— Он подождал, пока Бьюкенен, не дочитав, положил папку на стол.— Чтобы не терять зря времени, я встретился еще и с банковским казначеем Постниковым. Помните, я вам говорил о нем в связи с получением от него информации о коммерсанте Грубине? Сейчас он снова сообщил мне серьезные вещи... Во-первых, сам Грубин забрал из личного сейфа в банке все свои ценности. Но это еще не все: оказывается, еще девять финансовых тузов спешно продали свои ценные бумаги, приобрели золото и драгоценные камни, а сегодня с утра ту же операцию проделали еще четверо. Согласитесь, сэр, вот это очень тревожная новость.

— Но кто-то у них ценные бумаги купил?— спросил Бьюкенен, отлично понимая, однако, опасность привезенной Грюссом новости.

— Очевидно, сэр,— кивнул Грюсс.— Но те, кто продал, это крысы, которые упорно грызли переборки корабля и теперь с него бегут.

— Куда?

— Кто куда, важно, сэр, что они покидают корабль.

— Но разве корабль уже тонет?— поднял густые брови посол.

— Боюсь, сэр, что, как установлено, крысы всегда чувствуют беду первыми.

— Гм... крысы,— задумчиво усмехаясь, произнес Бьюкенен и вдруг, откинувшись на спинку кресла, спросил строго и требовательно: — Назовите, кто именно?

— Грубин,— твердо ответил Грюсс и, заглянув в лежавший на столе блокнот, продолжал: — Набутов, Крашенинников, Соловьев, Пахомов.

— Это не крысы, а мыши,— прервал его Бьюкенен.

— Грубин, сэр, не мышь,— продолжал Грюсс, смело смотря на посла.— Этот средний коммерсант опаснее иных крупных финансовых тузов. Все, что я узнал о нем за последнее время, только утвердило меня в прежнем мнении. Грубин — крупная закулисная фигура и явно немецкой ориентации. Более того, я по-прежнему думаю, что он агент Германии. Он не только изъял из банка свои ценности, но он отправил за границу жену. Вы, слава богу, дали мне в отношении Грубина карт-бланш. Позвольте же действовать здесь до конца и не отвлекаться на всякие слухи.

— Вы говорили, что Грубин стоит за спиной Мануса. Что же делает сейчас сам Манус? — спросил Бьюкенен.

— Манус — явление чисто российское, сэр. Он слишком крепко впрягся в тройку императрица — Протопопов — Распутин и, очевидно, как и они, полагает, что ничего страшного, а тем более катастрофического для них произойти не может. Вспомним письмо императрицы, о котором я вам докладывал, оно ведь полно уверенности, что все в порядке и что все к лучшему.

Бьюкенен долго молчал, смотря мимо Грюсса и поглаживая согнутым пальцем свои пушистые белые усы. И вдруг спросил:

— А что Юсупов?

— По-моему, и это блеф. Когда люди затевают подобное дело, они о нем не говорят на всех перекрестках. У Распутина охрана — сам министр внутренних дел, сама царица, и я не допускаю, чтобы угрозы Юсупова не достигли их ушей. Ну а главное — что это дает нам?

— У роковой тройки не станет своего святого,— легко, почти шутливо произнес Бьюкенен и, откинув голову, закрыл глаза... Еще раньше, когда он в первый раз услышал об угрозе Юсупова убить Распутина, это вызвало у него брезгливое отвращение: типичная азиатчина в политике. А теперь он хватается за это со смутной надеждой, что это принесет какое-то улучшение. Однако говорить об этом с Грюссом, пожалуй, не стоит, он же давно сказал, что Распутин — это несерьезная карта в большой игре.

Они долго молчали. Бьюкенен так и сидел с закрытыми глазами, а Грюсс смотрел на него удивленно и чуть насмешливо.

— Можно мне, сэр, высказать одну идею? — спросил Грюсс.

Бьюкенен открыл серые умные глаза.

— ...Конечно, я, может быть, и ошибаюсь, сэр, но бегству крыс я придаю огромное значение, вижу в нем огромную опасность. Если ко всему, что происходит, прибавится еще финансовая паника, на союзной нам России можно поставить крест. И я предлагаю эту панику... предусмотреть.

— Каким образом? — поинтересовался посол.

— Нанести удар по первым бегущим крысам,— ответил Грюсс.— Начать с устранения Грубина, пока он еще не исчез.

— Вас смутили лавры Юсупова?

— Нет, сэр. Я считаю Грубина поважнее Распутина. Посмотрите, сэр... Он главный советник банкира Мануса. Почему же он именно сейчас, когда Манус и компания в своей деятельности достигли апогея, решает уйти с арены?

— Да, почему? И почему не бегут Манус и другие? — спросил Бьюкенен.

— Да потому, сэр, что в отличие от Грубина их корни здесь и они запасаются золотом, полагая, что с ним можно будет начать дела и в аду. Но то, что они запасаются золотом, еще один сигнал о начинающейся панике в финансовом мире, этом последнем устое государства...

— Как же вы собираетесь предотвратить панику? — спросил Бьюкенен после долгого молчания и снова закрыл глаза. Все, что говорил Грюсс, было похоже на правду, но признать это вслух он был не в силах и ждал, что Грюсс, развивая свою мысль, даст ему повод для возражений. Нельзя же ему оказаться в положении, когда он должен верить одному Грюссу?..

— Это сделают русские патриоты, которые тоже все это понимают и готовы принять меры. Мы уже говорили с вами о них, сэр.

Бьюкенен не шевельнулся, не открыл глаза. Он прекрасно знает, что имеет в виду Грюсс, решает — пусть Грюсс делает все, что хочет, на свою ответственность.

— Они сейчас наблюдают за Грубиным, — продолжал Грюсс, — и в нужный момент его... устранят. И придадут этому акту широкую гласность. Петроград и вся страна узнают, чем этот акт вызван, и это будет предупреждением всем, кто пытается стать на путь измены России. Это станет примером для других...

— Я в подобных делах профан, — поставил точку Бьюкенен и встал: — Кроме того, мне по должности не положено вдаваться в дела вашей службы. Меня интересует только то, что связано с политикой и войной. Благодарю вас за информацию...

Бьюкенен не спеша вышел из комнаты. Грюсс проводил его взглядом и, когда дверь закрылась, сказал негромко:

— Вы уже ни черта не понимаете... сэр.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Генерал-майор Дмитрий Николаевич Дубенский уже четыре месяца безвыездно находился в Ставке, готовил очередные выпуски «Летописи войны».

Когда его перевели сюда из генштаба, он страшно возгордился — значит же, была кем-то наверху замечена его благонамеренная приверженность к истории. Шутка сказать — работать рядом с царем, в главной его Ставке. Но вскоре выяснилось, что здесь его попросту не замечают, тут же, куда ни повернись, увидишь сразу трех генералов. А работы невпроворот...

Его официальная должность была — летописец царского поезда, и он был обязан во время поездок царя вести камер-фурьерский журнал и на этом материале выпускать еженедельные десятистраничные журналы «Летопись войны». Но царь ездил все реже, и теперь его поезд курсировал главным образом между Ставкой и Царским Селом, а в эти рейсы его не брали. Недавно на него возложили еще и наблюдение за изданием иллюстрированных альбомов «Великая война в образах и картинах». Очень не по душе ему эти альбомы, у него по-прежнему неодолимый зуд к сочинительству. Работы над ними без конца, и чуть не по каждому неприятности: то напечатали портрет не того генерала, какого надо, то дали неточную подпись под снимком. Весь день он крутится с этими изданиями, и у него нет времени заниматься своим

любимым детищем — выходящей в Петрограде газетой «Русское чтение», а в ней недавно напечатали бог знает что про политику. Он написал резкое письмо редактору Русакову, а тот ответил, что, если газета не будет откликаться на нужды общества, она потеряет последних подписчиков, а редакция уже сейчас тратит последние остатки правительственной ссуды... Нынешней политики Дубенский так боится, что решил от греха подальше в скором времени газету закрыть — она стала опасной и марает его имя.

В этот вечер он уже собирался уйти домой, как прибежал посыльный — его срочно просили явиться в оперативный отдел. Убрав со стола бумаги и заперев их в железный шкаф, Дмитрий Николаевич одернул свой мешковатый китель и, тяжело вздохнув, отправился к оперативникам. Ходить туда он не любил, там война чувствовалась особенно близкой, а именно там говорили о ней цинично, иногда прямо бесстыдно. Кроме того, штаб-офицеры любили подтрунивать над ним и над его работой. Хотя бы к возрасту имели почтение, как-никак через год шестьдесят стукнет, так нет же, не щадят... Особенно едко глумился над ним штабс-капитан Лемке...

В просторной комнате, как обычно, стрекотали, щелкали установленные вдоль стен телеграфные аппараты ЮЗа, с которых ползли в плетеные коробки бесконечные бумажные ленты. Офицеры, сидевшие за огромным столом, прочитывали ленты, резали их и наклеивали на листы твердой синей бумаги. Этой комнаты Дубенский опасался еще и потому, что сюда в любую минуту мог выйти из своего кабинета генерал Алексеев, которого он так боялся, что при виде его терял дар речи...

Только он вошел в комнату, тут как тут главный злослов и ерник Лемке:

— Простите великодушно, Дмитрий Николаевич, что оторвали вас от сверхважной для отчизны работы. Но нам тут случайно и с большим запозданием попалось в руки ваше живописное издание... вот оно — одиннадцатый выпуск,— он открыл альбом на середине...— Вот, посмотрите, сделайте нам одолжение...— Другие офицеры подошли к ним, обступили со всех сторон. Оглянувшись на них, Лемке продолжал своим въедливым голосом:— Вы тут решили мощно поддержать наш Кавказский фронт. Правда, несколько спустя после драки, ибо люди с нормальной памятью уже забыли, что такое Эрзерум. Ну ладно, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Но мы тут растревожились: как бы великий князь Николай Николаевич не призвал бы вас к ответу вот за эти фотоснимочки. Смотрите! Что на этом снимке? Ясно виден один пулемет. Один. Пулемет. Так? А в подписи под снимком сказано — «часть турецких орудий, захваченных в Эрзеруме». Где же тут орудия? Может, их заслонили вот эти стоящие плотно казаки в папахах? Но тогда это надо было пояснить...— Офицеры рассмеялись. Дубенский слепо смотрел на снимок, весь сжался и мол-

чал — возразить ему было нечего... А Лемке перелистнул страницу и продолжал: — А тут еще похлеще. Смотрите. На снимке явно дровяной склад, а точнее сказать — груда жердей, которые при желании можно пересчитать. А что в подписи? Читаем: «Подсчет военной добычи, захваченной нашими войсками». Ай-яй-яй, Дмитрий Николаевич, как же это вы такого не заметили? А если это заметит великий князь? Он же понимает, что за этими жердями в такие далекие дали лезть ему было совсем необязательно, таких жердей можно было, и главное — без потерь, нарубить под Рязанью...

Офицеры еще смеялись, когда распахнулась дверь и в комнату вошел генерал Алексеев, а за ним — полковник, лицо которого Дубенскому показалось знакомым. Но разглядывать да вспоминать было не ко времени. Он вытянулся, замер, выпятив грудь, прижимая к боку локтем альбом, взятый у Лемке.

И вдруг грозный Алексеев обращается к нему и говорит своим железным голосом:

— Очень вы запаздываете со своими красивыми альбомами. Так может случиться, что мы и войну проиграем, а вы все еще будете рассылать победные картинки времен покорения Крыма...— И без паузы уже к оперативникам: — Покажите полковнику всю переписку с Юго-Западным фронтом по поводу пополнений и резервов...— Генерал круто повернулся и ушел к себе.

Дубенский продолжал стоять навытяжку.

— Вольно...— прыснув, произнес полковник Лемке и обратился к полковнику: — Прошу вас к этому столу...

Но полковник подошел к Дубенскому:

— Здравствуйте, Дмитрий Николаевич, неужто не узнали?

— Да как же не узнать?— Память у Дубенского включилась.— Караганов? Петр Нилыч?

Они обнялись.

— Где вы тут сидите?— спросил полковник.

— По коридору последняя дверь направо.

— Как освобожусь, непременно зайду...

— Буду очень рад...

Вернувшись в свою комнату, Дубенский долго не мог сообразить, за что ему взяться.

И вдруг он точно услышал снова железный голос генерала Алексеева: «Мы и войну проиграем, а вы все еще будете...» То, что относилось в словах генерала к нему и его работе, сейчас не помнилось в точности, но вот эти слова «мы и войну проиграем...». Как он только мог произнести такое? Дубенский не решался даже в памяти повторить это...

В это время в дверь постучали, и в комнату зашел полковник Караганов. Когда-то они вместе учились в академии генерального штаба, но Дубенский ее не окончил — его взяли на работу в генштаб. В академии они дружили — оба старательно учились, вместе просиживали ночи за учебниками. Сближало их и то, что

оба они были не из состоятельных семей и денег у них всегда было в обрез...

Сейчас им почти по шестьдесят, и Дубенский не без тревоги вглядывался в постаревшее лицо товарища, думая, что и он сейчас видит его таким же.

— Так ты, значит, на Юго-Западном? Повезло тебе,— сказал Дубенский, думая, что он-то свою военную судьбу зарыл в канцелярщине.

— В чем же ты видишь везение?— поднял сизые, выгоревшие брови Караганов.

— Быть рядом с такими заслуженными генералами... у вас же там и Брусилов...— начал Дубенский, но Караганов перебил его:

— Во-первых, я с ним не рядом,— сказал он, явно злясь.— Во-вторых — и это главное,— мы имеем такую войну, когда ничего не может дать близость даже с военным гением. Мы ведь с тобой знаем все про войну Пуническую, но мы понятия не имеем, что, оказывается, есть еще войны преступные, а участвуя в такой войне, все наши академические знания лучше забыть.

— Я тебя не понимаю...— еле слышно проговорил Дубенский, испытывая нервный озноб от прихлынувшего к сердцу уже привычного страха.

Караганов смотрел на него удивленно и недоверчиво:

— Не понимаешь?.. А ты что же, считаешь, что наша война протекает нормально и по всем тем канонам, которые мы с тобой изучали?

— Трудно, конечно... Очень сильный и коварный противник... Недостаток опытных офицерских кадров...— неуверенно ответил Дубенский.

Нетерпеливо дождавшись паузы, Караганов сказал:

— А ты вспомни нашу страшную катастрофу в Пруссии. Было только начало войны. Армия была хорошо отмобилизована. Офицеров было предостаточно, во всяком случае генерал Самсонов застрелился в окружении блистательных офицеров. Почему же мы так срамно проиграли тогда это сражение?

— Ну... я не знаю...

— А я знаю!— решительно и со злостью подхватил Караганов.— Я начал войну там, дорогой Митя. И для того чтобы понять, что уже тогда все пошло преступно, достаточно ответить на один вопрос: почему не подоспел к Самсонову со своими войсками Ренненкампф?

— Ошибки в стратегии и тактике бывали всегда...

— Митя, опомнись! Оглянись! Подумай! — воскликнул Караганов.— Вспомни простейшую науку, которую мы слышали из уст профессора Кузнецова! Он говорил нам — войну делают люди, но война единственная область, в которой один какой-то человек совершать ошибки не имеет права, ибо любая ошибка измеряется жизнью таких же, как он, людей. А люди, находящиеся во главе войны, должны быть чисты и умны, как боги. Помнишь? Не считаешь ли ты богом великого ростом князя Николая Николаевича?

А ведь это он ринул наших солдат в Пруссию, с криком «на Берлин!», и только для того, чтобы угодить нашим мифическим союзникам! Разве он не соображал, во что это может вылиться? Он же мог это выяснить в течение десяти минут, подойдя к карте военных действий и имея в руках справку о наличном составе солдат и техники. А теперь этому скандально провалившемуся полководцу надевают горностаевую мантию за Эрзерум. Ты можешь мне пояснить, что нам дает этот Эрзерум, кроме новых русских могил и крови на чужой далекой земле?— Караганов вынул из кармана мятую пачку папирос, но, точно решив не закуривать, положил ее на стол...— Ты вот вспомнил Брусилова. Так он и мой бог. Но почему, когда он начинал свое славное наступление, другие фронты, которые должны были его поддержать, стояли на месте? Что же, ваш Алексеев был в это время в отпуску? И всякие эверты делали что хотели? Нет, Алексеев был на месте. В разгар наступления Брусилов связался с ним, просил изменить один частный приказ Ставки и тем спасти солдатские жизни, знаешь, что он ему ответил? Государь спит, и будить его он не будет. И тогда Брусилов изменение приказа взял на свою ответственность. Скажи, так можно воевать серьезно? Государь изволят спать, а его подданные должны идти на бессмысленную смерть? Митя, неужели ты ничего этого не видишь? Да перестань ты на меня таращиться, скажи хоть что-нибудь!— истерично выкрикнул Караганов, схватил со стола пачку и начал трясущимися пальцами доставать из нее папиросу и, не закурив, бросил ее на пол и продолжал уже спокойней:— Митя, дорогой мой! Вся эта война преступна перед святым ликом России и нашего многострадального народа, чьей кровью это преступление щедро оплачивается. Неужели ты этого не понимаешь?

Дубенский молчал, испытывая непреодолимое желание возражать, защитить... Что защитить? Россию? Или самого себя от нахлынувшего ужаса? А может?.. И он решил выдвинуть как щит самое святое:

— Государь-император...— начал он, но Караганов резко взметнул руку:

— Не трогай его... Он виноват только в том, что биологический случай возвел его на престол, который ему не по силам, и что он сразу же от него не отрекся... Он безвольный и бессильный человек.

— Это не так!— крикнул Дубенский.

— Нет, Митя, так...— тихо и обреченно произнес Караганов и, помолчав, добавил:— Через час мой поезд... Покачу обратно в свою пропасть...— летуче улыбнулся Дубенскому:— А я-то, увидев тебя, обрадовался, ну, думаю, Митя скажет мне что-то такое, чего мы там не знаем и что станет нам надеждой... Впрочем, что можешь сказать ты, если подлинный хозяин войны Алексеев, прочитав донесение Иванова, возмущенно воскликнул: «Этого не может быть», и повел меня в оперативный отдел, чтобы я убедился, что истина иная. Однако известно, что двух истин об одном и том же не бывает. Оказалось, прав Иванов, и тогда Алексеев сказал

только, что доложит все верховному, и отпустил меня на все четыре стороны.— Караганов вдруг как-то странно рассмеялся:— А если сильного резерва нет, государь народить его не может... даже со своей плодовитой супругой...— Он встал, протянул Дубенскому руку и, глядя на разбросанные по столу бумаги, сказал с усмешкой:— Завидую я тебе, Митя...— Он крепко, но как-то отрывисто пожал Дубенскому руку и ушел, забыв на столе свою мятую пачку папирос...

Дубенский работать не мог, чувствовал себя раздавленным...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Штабс-капитан Лемке генерала Дубенского недолюбливал, называл его царским лакеем, удобно устроившимся у царской кормушки, он и изводил генерала главным образом для того, чтобы он не чувствовал себя слишком спокойно на своей безмятежной службе...

Никто в Ставке не знал, что обер-офицер управления генерал-квартирмейстер Ставки штабс-капитан Михаил Константинович Лемке ведет подробнейший дневник, в который он заносит не только и не столько свои личные впечатления, как свидетельства участников или очевидцев важнейших событий войны, кроме того, он снимал копии с проходивших через его руки важных документов и вкладывал их в дневник. Он делал это очень осторожно, главным образом по ночам, ибо ведение дневников в таком военном учреждении, как главная Ставка, никак не поощрялось. Особенно осторожным он стал после того, как один из крупных работников Ставки по дружбе предупредил его, что им интересуется военная контрразведка. Позже, правда, выяснилось, что этот интерес был вызван его весьма давней связью с эсеровским журналом «Былое». В общем, Лемке надо было смотреть в оба, тем более что его дневник все глубже забирался в дебри бесславных дел войны и политики [1].

В этот вечер он переписывал начисто запись, бегло сделанную днем...

«...Имел два разговора, полных большого интереса,— писал он.— Зашел в комнату Пустовойтенко [2] по его приглашению, просто поболтать. По-видимому, он соскучился и хотел немного отвлечься от ежедневно расписанной жизни. Мы вспомнили Варшаву, нашу поездку в его тамошнее имение, революционные настроения 1905 года. В это время вошел Алексеев и, поздоровавшись со мной, сел, прося продолжать нашу беседу, и прибавил, что пришел потому, что в его кабинете печь надымила.

— О чем же у вас речь?

---

[1] В 1920 году дневник М. Лемке вышел в Петрограде толстенной книгой под названием «250 дней в царской Ставке».

[2] Генерал-квартирмейстер Ставки.

— Просто вспоминаем старое, когда встречались друг с другом в совершенно другой обстановке.

— Дань прошлому за счет тяжелого настоящего?

— Не то что дань,— ответил Пустовойтенко,— а просто некоторое отвлечение.

— Да, настоящее невесело...

— Лучше ли будущее, ваше превосходительство?— спросил я без особенного, впрочем, ударения на свою мысль.

— Ну это как знать... О, если бы мы могли предугадывать без серьезных ошибок! Это было бы величайшим счастьем для человека дела и величайшим несчастьем для человека чувства.

— Верующие люди не должны смущаться таким заглядыванием, потому что всегда будут верить в исправление всего высшею волею,— вставил Пустовойтенко.

— Это совершенно верно,— ответил Алексеев.— И вы знаете, ведь и живешь мыслью об этой высшей воле, как вы сказали. А вы, вероятно, не из очень-то верующих?— спросил он меня.

— Просто атеист,— посмеялся Пустовойтенко и отвел от меня ответ, который мог бы завести нас в сторону, наименее для меня интересную.

— Нет, а я вот счастлив, что верю, и глубоко верю, в бога, и именно в бога, а не в какую-то слепую и безличную судьбу. Вот вижу, знаю, что война кончится нашим поражением, что мы не можем кончить ее чем-нибудь другим, но вы думаете, меня это охлаждает хоть на минуту в исполнении своего долга? Нисколько, потому что страна должна испытать всю горечь своего падения и подняться из него рукой божьей помощи, чтобы потом встать во всем блеске своего богатейшего народного нутра...

— Вы верите также и в это богатейшее нутро?— спросил я у Алексеева.

— Я не мог бы жить ни одной минуты без такой веры. Только она и поддерживает меня в моей роли и моем положении... Я человек простой, знаю жизнь низов гораздо больше, чем генеральских верхов, к которым меня причисляют по положению. Я знаю, что низы ропщут, но знаю и то, что они так испакощены, так развращены, так обезумлены всем нашим прошлым, что я им такой же враг, как Михаил Саввич, как вы, как мы все...

— А вы не допускаете мысли о более благополучном выходе России из войны, особенно с помощью союзников, которым надо нас спасти для собственной пользы?

— Нет, союзникам вовсе не надо нас спасать, им надо только спасать себя и разрушать Германию. Вы думаете, я им верю хоть на грош? Кому можно верить? Италии, Франции, Англии? Скорее Америке, которой до нас нет никакого дела... Нет, батюшка, вытерпеть все до конца — вот наше предназначение, вот что нам предопределено, если человек вообще может говорить об этом...

Мы с Пустовойтенко молчали.

— Армия наша — наша фотография. Да это так и должно быть. С такой армией, в ее целом, можно только погибать. И вся

задача командования — свести эту гибель к возможно меньшему позору. Россия кончит прахом, оглянется, встанет на все свои четыре медвежьи лапы и пойдет ломить. Вот тогда, тогда мы узнаем ее, поймем, какого зверя держали в клетке. Все полетит, все будет разрушено, все самое дорогое и ценное признается вздором и тряпками.

— Если этот процесс неотвратим, то не лучше ли теперь же принять меры к спасению самого дорогого, к меньшему краху хоть нашей наносной культуры?— спросил я.

— Мы бессильны спасти будущее, никакими мерами этого нам не достигнуть. Будущее страшно, а мы должны сидеть сложа руки и только ждать, когда же все начнет валиться. А валиться будет бурно, стихийно. Вы думаете, я не сижу ночами и не думаю хотя бы о моменте демобилизации армии?.. Ведь это тоже будет такой поток дикой отваги разнуздавшегося солдата, который никто не остановит. Я докладывал об этом несколько раз в общих выражениях, мне говорят, что будет время все сообразить и что ничего страшного не произойдет: все так-де будут рады вернуться домой, что ни о каких эксцессах никому и в голову не придет... А между тем к окончанию войны у нас не будет ни железных дорог, ни пароходов, ничего — все износили и изгадили своими собственными руками...

Кто-то постучал.

— Войдите,— ответил Алексеев.

— Ваше превосходительство, кабинет готов, просвежился,— доложил полевой жандарм.

— Ну, заболтался я с вами, надо работать,— сказал Алексеев и пошел к себе.

Я вспомнил всех чертей по адресу не вовремя явившегося жандарма, мне так хотелось довести разговор до более реального конца.

— Вы думаете,— спросил меня Пустовойтенко,— что начальник штаба будет сейчас работать? Нет, после таких бесед у него всегда только одно желание: помолиться.

— А ваше мнение, Михаил Саввич, тоже такое же?

— Я по складу своего мышления мало гадаю о будущем, а пристально всматриваюсь в настоящее.

— И каким же находите его в пределах нашего прерванного разговора?

— Откровенно говоря, самым безотрадным.

— Ну а верховный?

— Он смотрит с глаз своих приближенных, которым, конечно, не пристало рисовать ему какую-нибудь мрачность. Она невыгодна для них. Каждый, особенно нацелившийся на какое-нибудь жизненное благо, старается уверить его, что все идет хорошо и вполне благополучно под его высокой рукой. Разве он понимает что-нибудь из происходящего в стране? Разве он верит хоть одному мрачному слову Михаила Васильевича (Алексеева)? Разве он не боится поэтому его ежедневных докладов, как урод боится зерка-

ла?.. Мы указываем ему на полный развал армии и страны в тылу ежедневными фактами, не делая особых подчеркиваний, доказываем правоту своей позиции, а он в это время думает о том, что слышал за пять минут во дворце, и, вероятно, посылает нас ко всем чертям. Как может он что-нибудь видеть и знать в такой обстановке? Ведь при выборе любого человека на любое ответственное место видно, до какой степени он не понимает ничего происходящего в России.

— Да, тяжело в такой обстановке. Не завидую вам.

— Зато я завидую вам... Какое счастье знать, что ни за что не ответствуешь в настоящее время! Знаете ли вы, что приходится испытывать ежедневно? Ведь ни один шельма министр не дает теперь окончательного мнения ни по одному вопросу, не сославшись на Алексеева — как он-де полагает. Все умывают руки, но делают это незаметно, тонко. Один Штюрмер чего стоит! Ведь набитый болван, но болван со злой волей, со злыми намерениями. Вы посмотрите на армию. За парадами да обедами ее отсюда не видят, а в ней сапога целого нет, окопа порядочного нет, все опустилось, изгадилось. Да и в тылу не лучше. Там такой хаос, такой кавардак, что сил человеческих нет, чтобы привести в порядок.

— А государь заговаривает когда-нибудь на общие темы?

— Никогда. В этом особенность его беседы с начальником штаба и со мной: только очередные дела.

— Какой же выход, Михаил Саввич?

— Выход? По-моему... терпение.

На этом наш разговор закончился: меня позвали к телефону...»

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

1

После отъезда жены в Швецию Грубин собирался незаметно перебраться в Москву. Там его никто не знает. Он хотел поселиться там где-нибудь на окраине и ждать завершения драмы, когда сможет открыто вернуться в столицу... и явиться к представителям победившей Германии. Он был уверен, что начатое Германией наступление форсирует внутреннюю катастрофу России, которая станет для нее и военным поражением.

Но события разворачивались так стремительно и вместе с тем непоследовательно, хаотично, что выбрать момент для отъезда было невероятно трудно, а покинуть пост раньше времени он не смел.

Однако все связи уже оборваны. Оставлены до последнего момента только две: Манус и Бурдуков. С последним все просто — с ним нельзя рвать прежде времени только потому, что он от страха и для своего спасения может попросту предать... С Манусом все гораздо сложнее... Этот сильный человек, поверивший в его ум, стал для него чем-то вроде любимого произведения для творца.

Более того, в Манусе ему виделась сама Россия с ее стихийной, неразумной силой, которую он покорил и заставил работать на себя, на Германию...

Последнее время они стали почти друзьями, впрочем, так мог думать только Манус. Довольно часто он звонил Грубину по телефону: «Я еду к вам». Явится и начнет исповедоваться в своих великих делах. То ли ему больше не с кем было поделиться своими грандиозными успехами и замыслами, то ли он действительно нуждался в грубинских советах. Грубин же по Манусу и его делам мог проверять обстановку в Петрограде.

Знал ли Манус, кто такой Грубин на самом деле? Скорей всего он не задумывался над этим, главное для него было в том, что советы Грубина помогали ему срывать большие куши. Любой способ загрести миллион для Мануса был хорош. Уже давно на бирже знали его любимую поговорку: «Судят только банкротов...» А то, что Грубин глубоко презирает российскую власть, считает ее бездарной и обреченной, так и сам Манус такого же о ней мнения.

На этом они сходились. Даже когда Грубин однажды подсказал ему наивыгоднейшую, устремленную в будущее операцию с расчетом на замороженный в России немецкий капитал, Мануса нисколько не озадачило, что успех этой операции возможен только, если Германия победит.

Известный русский политик монархист Милюков, находясь в эмиграции, свидетельствовал, что «всякие Манусы не задумывались о победе или поражении России, она для них была не страной, не государством, а всего лишь географическим местом их финансовых афер, и они почти открыто говорили, что их совесть чиста, так как ни русский царь, ни император Германии уничтожения или даже тени позора для своих династий не допустят...» Манус эту концепцию завершения войны не мог не принять безоговорочно уже потому, что на нее он слишком много поставил.

Грубин испытывал сейчас к Манусу еще и некое чувство благодарности за то, что банкир, сам того не понимая, сделал и делал для его тайной службы. Бывало, что Грубин даже сочувствовал этому в чем-то наивному, в чем-то невежественному, но, безусловно, смелому, а в делах просто отчаянному человеку.

Грубин представлял себе, как грохнется он однажды и не соберет потом ни костей своих, ни денег. В такие минуты Грубина подмывало сказать Манусу, что ему надо немедленно, захватив истинные ценности, бежать на край света, но он мог дать ему такой совет, только зная, что сегодня же он сам покинет Петроград... И тогда Грубин утешал свою совесть мыслью, что он сможет как-то помочь Манусу потом, позже, в уже поверженной России.

Вечером Манус неожиданно, без обычного предупредительного звонка по телефону, приехал к Грубину.

— Извините, бога ради,— сбрасывая на ходу пальто, говорил он.— Ехал мимо, гляжу, в окнах вроде светится, знаю — Алисы Яновны нет, дай, думаю, заскочу к соломенному вдовцу...

Они прошли в сумрачно, одной свечой овещенную столовую.

— Что, опять без электричества? — весело спросил Манус, потирая руки, точно ему доставляло удовольствие, что не было света. Заметно похудевший, какой-то беспокойно-оживленный, он быстро ходил по комнате, и его громадная тень от свечи металась по стенам.— Лавина! Форменная лавина, Георгий Максимович! Голова кругом идет, другой раз не разбери поймешь, что происходит! Позавчера всплыло одно дело, как из омута выскочило, и прямо мне под ноги — земля в Крыму, триста пятьдесят десятин и вся по берегу! Представляете, почем она будет после войны? За рубль — сто! Решаю поделиться с Протопоповым, он все мечтал о земельке у моря. Звоню, а он сообщает, что ту землю уже захапал великий князь Николай Николаевич. Ну и шустрый же этот князь...

Грубин достал из буфета коньяк, тарелку с сыром и пригласил Мануса к столу, заваленному газетами.

— Без Алисы Яновны вы стали жить как переселенец...— смеялся Манус, садясь за стол.— Видит бог, загадка вы для меня, Георгий Максимович. Ну чего вы перепугались? Чего? — Он смотрел на Грубина оживленно блестевшими глазами.

Грубин молча поднял рюмку.

Они выпили, и вдруг Грубин неожиданно для себя спросил:

— Игнатий Порфирьевич, вы как-нибудь позаботились о своем капитале?

Вторым глотком допив коньяк, Манус уставился на Грубина:

— То есть как это позаботился? Да я сейчас даже не представляю, сколько у меня этого капитала, в делах у меня заложены миллионы и миллионы, и каждый день налипают новые, вы же знаете...

Грубин встал, прошелся по полутемной комнате и остановился у теплой голландской печи, на карнизе которой стояла свеча.

— Вы, Игнатий Порфирьевич, сами употребили очень точное выражение — лавина...— сказал Грубин, стоя спиной к Манусу и снимая нагар со свечи.— Эта лавина может смести все ваши дела.

— Как это можно? — удивленно спросил Манус, но встал, подошел к печи и заглянул сбоку, чтобы видеть лицо Грубина.— Мои дела, Георгий Максимович, заложены не на фу-фу. Все зарегистрировано банками, а то и правительственными актами...

— А если лавина снесет и банки и правительство? — тихо спросил Грубин.

Манус явно не понимал, куда он клонит.

— Но какая-то Россия, черт побери, останется? — изумленно воскликнул он.— И будет какое-то правительство, которое примет дела от нынешних дураков, а значит, примет и ответственность за те сделки, которые я провел. Деньги, батенька, есть деньги, они счет любят при любой власти.— Манус говорил очень убежденно, но его черные блестящие глаза хотели прочитать что-то на бесстрастном бледном лице Грубина.

— Блажен, кто верует,— улыбнулся Грубин одними губами.— Я лично теряю всякую веру.

— Вы что же предлагаете?— простодушно спросил Манус.— Перевести миллионы в наличность?

— Я ничего не предлагаю, упаси бог,— со вздохом ответил Грубин.— Вы точно определили положение — ла-ви-на, а я всего-навсего подумал вслух, чем это грозит нашему брату коммерсанту.

— Ну а вы что предпринимаете?— спросил Манус, он все-таки чувствовал, что Грубин что-то недоговаривает.

Сняв очки, Грубин похукал на стекла, протер их кусочком замши, снова водрузил на нос и сказал:

— Для меня, Игнатий Порфирьевич, любая ситуация легче, чем для вас. Мои капиталы не ровня вашим. Даже если я их потеряю — это будет мне не дороже собственной жизни,— Грубин улыбнулся холодным лицом.— Ну что вы так смотрите на меня? У меня от вас тайн нет, вы это знаете.

Они долго молчали, стоя у печки, освещенные изменчивым светом свечи, пламя которой металось от их дыхания.

Манус ушел к столу, налил себе коньяку, сделал несколько глотков.

— Я пришел к вам не за спасительным кругом, видит бог,— сказал он оттуда и, вернувшись к Грубину, продолжал, быстро оживляясь:— Дорогой мой друг, ваша прославленная осторожность ослепила вас. Поймите, мое положение сейчас неуязвимо...— Он помолчал и повторил энергично и раздельно:— Не-у-яз-ви-мо!

— Могу сказать одно...— повернулся к нему Грубин.— Пока вашим ангелом-хранителем является Протопопов и пока он министр внутренних дел, вам бояться нечего. Весь вопрос — достаточно ли надежный ангел-хранитель у самого Протопопова?

— Ха-ха-ха!— вдруг громко расхохотался Манус.— По-моему, самый надежный. Сейчас в России сильнее мамы нет никого и ничего. Что вы на это скажете?

— Да, пожалуй, вы правы, сейчас сильнее царицы нет никого,— серьезно ответил Грубин.

— Сейчас и во веки веков аминь!— веселым голосом возгласил Манус. Грубин с его мрачной осторожностью просто не разобрался, что означает его «лавина», он не понимает и того, кто эту лавину породил.— Именно я, Манус, сделал это и потому ее жертвой стать не могу...

Грубин был доволен собой. Он позволил себе минутную жалость к Манусу, но не сказал ему всего, что мог сказать.

2

Утром Грубина разбудил телефонный звонок. Вылезать из-под одеяла в застуженной комнате не хотелось — наверно, опять Манус... Звонок не прекращался. Надев теплый халат и шерстяные носки — он очень боялся простуды,— Грубин подошел к телефону.

— Это господин Грубин? — услышал он подобострастный голос. — Вас беспокоит агент по продаже мебели. Мне сказали, что вы в связи с отъездом хотите продать свою обстановку.

— Что? Повторите, не понимаю, — взволнованно начал Грубин и, взяв себя в руки, ответил: — Я мебелью не торгую... — Он швырнул трубку на рычаг, и ему сразу стало жарко. Сон как рукой сняло. Что это за звонок? Кто мог знать, что он собирается уехать?

Грубин торопливо оделся. Прежде всего нужно немедленно проверить, если ли слежка.

Он вышел из парадной двери на Морскую быстро, внезапно — на той стороне улицы метнулся было и замер, повернув лицо к облупленной стене, господин в длинном черном пальто и меховой ушанке.

Извозчик, как всегда, с девяти утра ждал его за углом, на Гороховой. Грубин шел туда медленно и, только завернув за угол, подбежал к возку, бросился на сиденье:

— На Невский, быстро.

Застоявшийся конь легко подхватил возок и сразу пошел крупной и хрусткой по снегу рысью.

«Надо почаще менять извозчика, — думал Грубин. — Теперь, пожалуй, надо на каждый день заказывать нового и просить ждать в новом месте. Но, может быть, господин в черном пальто вовсе не слежка?..»

Грубин ткнул извозчика в спину:

— Поверни назад, я забыл бумаги.

Когда они заворачивали, навстречу, чуть не столкнувшись с ними, пронесся возок с господином в черном пальто. Рядом с ним сидел еще один, в поддевке.

«Так... У них тоже был приготовлен извозчик, — сказал себе Грубин. — Интересно, куда они теперь денутся...»

На площадке бельэтажа своего дома Грубин через окно смотрел на улицу. Прошло минут десять — на противоположной стороне улицы, из-за угла с Гороховой, появился широкоплечий мужчина в поддевке. Он шел медленно, опустив голову, точно в глубокой задумчивости, потом оглянулся и стал наискось переходить улицу, направляясь к стоявшему у подъезда грубинскому извозчику, поговорил с ним и пошел дальше.

Грубин быстро спустился по лестнице, вышел на улицу и сел в возок.

— Как было велено? — спросил извозчик.

— Да. На Невский. Тебя господин хотел сманить?

— Да нет, ваше благородие, только спросил, свободен ли, и все тут...

Респектабельный, в дорогой шубе с бобром и бобровой шапке с бархатным верхом Грубин сидел, важно выпрямившись, не глядя по сторонам, и лихорадочно думал, что делать. Он осмотрелся, только когда слезал с возка у Коммерческого банка. Те двое на своем извозчике остановились двумя домами раньше и стояли там на тротуаре, разговаривали.

Итак, бесспорно, слежка. Но кто ее послал? И что делать? Грубин думал об этом все два часа, что находился в банке, сидя в справочном кабинете и перелистывая старые котировочные таблицы.

Его особенно тревожили грубость и непрофессиональность слежки — почему агенты действовали так вызывающе открыто, кустарно? Но, может, у охранки уже не хватает хороших работников? А может, это вовсе не охранка? Но нет, военная контрразведка тоже так топорно действовать не могла. Тогда кто послал за ним этих кустарей?

Грубин позвонил Манусу домой, его не было. Он стал звонить по всем известным ему телефонам банкира и наконец нашел его в правлении Международного банка.

— Мне крайне необходимо вас повидать,— сказал Грубин и, опережая возможные возражения, добавил: — Я сейчас к вам заеду,— и положил трубку.

Он назвал извозчику адрес и внимательно осмотрел улицу. Человек в поддевке побежал к своему извозчику. Грубин приказал своему ехать медленно и вскоре увидел агентов, ехавших за ним позади.

Возле правления банка, когда извозчик остановился, Грубин не торопился слезать, ждал, когда те подъедут ближе: здесь свернуть им было некуда, и они остановились в каких-нибудь пятидесяти шагах и тоже не вылезали из возка.

Грубин вошел через огромную дубовую дверь, открытую перед ним величественным швейцаром с черной бородой и усами, в вестибюле сдал шубу гардеробщику и не спеша пошел наверх в кабинет Мануса.

Манус, навалившись мощной грудью на стол, молчал и, прищурив выпуклые глаза, выжидательно смотрел на Грубина.

— За мной ведется слежка,— не здороваясь, сказал Грубин.

— А чертей вы еще не видите? — спросил Манус.

— Я говорю совершенно серьезно. За мной ведется слежка. Два агента таскаются за мной третий час. Сейчас они ждут меня недалеко от вашего подъезда.

Манус перестал улыбаться.

— Этого не может быть,— наконец произнес он уверенно.

— Это есть,— сказал Грубин и прошел к окну: — Вон они, посмотрите.

Манус тоже подошел к окну, посмотрел, потом вернулся к столу, взял трубку одного из телефонов и назвал номер.

— Говорит Манус. У меня есть друг и коллега Георгий Максимович Грубин. Какой дурак мог установить за ним слежку? Прошу вас, прикажите прекратить это безобразие. Да, да, Георгий Максимович Грубин. Хорошо. Особых новостей нет. Да, вечером я там буду. До вечера.

Манус положил трубку и сказал:

— Если какой-нибудь дурак и придумал следить за вами, это будет прекращено.

— Вы с кем говорили? — спросил Грубин.

— Ну с кем я могу о таких вещах говорить? Только с министром внутренних дел, — не без хвастовства, небрежно ответил Манус.

— Что он сказал?

— Проверит, и все будет прекращено. Позвоните мне, если завтра это безобразие будет продолжаться. У вас ко мне только эта чепуха?

— То, что для вас чепуха, для меня серьезная тревога. Если какому-то, как вы сказали, дураку сегодня понадобилось за мной следить, завтра он может отправить меня в Кресты.

— Да не волнуйтесь вы, звоните мне завтра, — сказал Манус и сразу продолжал: — А у меня к вам дело серьезное: как вы думаете, не будет лучше выкинуть Барка из министерства финансов? Что-то он мне палки в колеса сует...

Грубин сейчас совсем не был настроен заниматься чужими делами, решил отделаться общими фразами:

— Никакой министр финансов вашим клерком стать не может...

— Это я понимаю, да-да, — живо сказал Манус. — Но против Барка настроены и мама, и Григорий, и Протопопов, и Штюрмер. Я чего боюсь: как бы они не посадили на это место какого-нибудь дурака. Барк-то голова, с ним одно удовольствие поговорить. Дурак в нашем деле опасней...

— А вы подберите министра сами, — сказал Грубин и подумал: «Давно надо было убрать проанглийского Барка, руки не доходили...»

— В том-то и дело, что подыскать очень трудно, — вздохнул Манус, ероша густые с проседью волосы. — Главный тасовщик министерства мама, а она, если что вобьет себе в голову, не сдвинешь. И подсказчиков у нее целый дворец.

— Разве она уже не верит ни Протопопову, ни Штюрмеру?

— Вера истерички — дым, кто-то дунет, и нет веры...

В эту минуту Грубин принял решение сегодня же покинуть Петроград.

3

Поезд в Москву уходил в 10 часов вечера. Грубин черным ходом покинет квартиру в восемь тридцать. Сядет на трамвай, но не на прямой, идущий к вокзалу, а на тот, который подвезет его к вокзалу кружным путем. Слезет с трамвая где-нибудь в районе Лиговки. Там можно погулять по Пушкинской, здесь около бани и по всей улице до памятника Пушкину ходят дамы с саквояжами. Затем он быстро пройдет на вокзал, купит билет и сядет в поезд.

Закусив всухомятку и приготовив все к отъезду, Грубин разделся и лег в постель. Спал крепко, без снов. Будильник поднял его в семь часов. Не зажигая света, он долго смотрел из окон на улицу. Но ни один из уличных фонарей не горел, и ничего разглядеть было нельзя.

Ровно в восемь тридцать он вышел из дома и, как планировал, в девять с минутами сошел с трамвая на Лиговке — темной, безлюдной, заваленной снегом. Между черных домов улица виделась ему как лесная просека. Заваривалась метель, свистящий ветер хлестал в лицо. Он медленно шел по Лиговке, слушая подвывание ветра, скрип снега под ногами, и говорил себе: «Все кончится хорошо». Он сделал свое дело и со спокойной совестью предстанет перед высокими, как боги, начальниками, которые послали его сюда, в Россию. Он заслужил право на дальнейшую спокойную жизнь, и у него есть для этого средства. Все будет хорошо... Алиса, любимая, немного терпения. Скоро... И мы будем жить ради наших детей, которых ты так хотела...

Он не успел понять, что произошло. Его словно пронзила молния боли...

Над Грубиным, лежавшим в сугробе возле тротуара, склонились двое.

— Готов...

— Быстро раздевай...

Переваливая мертвого Грубина с боку на бок, они стянули с него шубу, пиджак, брюки, оставили только нижнее белье. И исчезли в белой мути метели.

...Через день в газете «Союза русского народа» «Русское знамя» в разделе хроники появилось краткое сообщение о том, что на Лиговке обнаружен труп убитого и ограбленного мужчины лет пятидесяти, личность которого пока не установлена.

Еще через день у подъезда банков и редакций газет были разбросаны листовки в виде письма группы русских патриотов.

«Неизвестный убитый и ограбленный, личность которого, как пишут газеты, не установлена, есть не кто иной, как Грубин Георгий Максимович — человек достаточно хорошо известный в деловых кругах русской столицы... Есть у нас враги — люди, которые носят русскую фамилию (впрочем, это далеко не всегда), для которых наше лихолетье — источник баснословной наживы. Господин Грубин из этого круга. Его барыши на наших несчастьях огромны... Смертный приговор над ним свершен, когда он направлялся на Московский вокзал, чтобы покинуть Петроград, а затем и Россию. Еще раньше он свои барыши перевел в шведские банки и отправил туда свою супругу. Так крысы решили бежать с корабля, который, по их мнению, тонет. Но крысы ошибаются. Несмотря ни на что, Россия — устойчивый корабль, и он идет к неминуемой победе. На его мостике — великий наш капитан — самодержец российский...» «...Истинно русские патриоты все видят и знают, что им надлежит делать во спасение отчизны. Смертный приговор Грубину — одно из таких дел, которому мы решили придать гласность, чтобы пример крысы Грубина не увлек за собой и других крыс. Мы предупреждаем — смерть ждет всякого, кто бы он ни был!..»

Когда утром Манус входил в банк, швейцар с низким поклоном дал ему эту листовку...

Манус прекрасно знал, кто такие эти русские патриоты. Он сам получал от них грозные предупредительные письма, в которых они называли его не иначе как германским шпионом.

Когда ему это надоело, он попросил у Протопопова найти тех, кто ему угрожает. Их нашли в два счета. Топор лежал под лавкой этого же министерства. И все прекратилось.

Единственно, что сейчас поразило Мануса в листовке,— это осведомленность ее авторов о последней позиции Грубина. Он же и ему советовал позаботиться о спасении капитала. И листовка подтверждала правильность его, Мануса, отношения к этом совету Грубина. Ну а во всем остальном, как говорится, божья воля. И царство ему небесное, Георгию Максимовичу. Осторожно он жил и действовал, а под конец перестарался...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Председатель военно-промышленного комитета Александр Иванович Гучков утром в своем кабинете поджидал промышленника Путилова, который должен повезти его на свой завод показать новый цех, начавший работать на войну. Теперь такое не каждый день...

Еще совсем недавно Гучков гордился деятельностью своего общественного комитета — русская промышленность начала давать фронту вооружение, недостаток которого стоил России большой крови. Он доказал бездельникам с государственными постами, что при уменье и раденье дело движется.

Однако торжество длилось недолго. Гучков был разносторонне образованным человеком, опытным организатором промышленности, он постигал эту науку и дома, в России, и в Австрии, и в Германии, где учился и даже работал на немецком предприятии. Он довольно скоро понял, что первый успех достигнут главным образом за счет устранения препятствий, созданных безрукой государственной администрацией. А дальнейшее развитие успеха упиралось в преграды, которые преодолеть было невозможно. Война дезорганизовала всю экономику. Рабочую силу отнял фронт, он же подмял под себя транспорт. На замену устаревшего оборудования не было ни времени, ни средств. И наконец, производительность труда. Здесь царила какая-то стихийная неразбериха. На двух одинаковых заводах результативность труда была поразительно неодинакова. Гучков с присущей ему энергией принялся за изучение этой проблемы и столкнулся с явлением, которое долго не мог и даже не хотел понять...

У Гучкова было несколько русских промышленников, на которых он опирался во всех своих начинаниях. Среди них Алексей Иванович Путилов, петроградский завод которого стал чем-то вроде полигона, где проверялись идеи комитета. Кроме того, Гучков считал его одним из наиболее современно думающих предприни-

мателей. Во всем, что касалось устранения помех, порожденных сверху, Путилов активно поддерживал Гучкова, и именно его завод одним из первых начал с заметным нарастанием давать продукцию для фронта. Однако именно Путилов же первым поднял тревогу о невозможности в нынешних условиях решить проблемы повышения производительности труда, обновления оборудования и организационного получения сырья в достаточном количестве. В отношении сырья и оборудования Гучков был с ним согласен, но предлагал не опускать руки и атаковать соответствующие правительственные ведомства. В отношении же продуктивности труда у них возникло разногласие. Гучков считал, что здесь все решает умелая распорядительность заводской администрации. Немецкий фабрикант учил его: надо быть во всем умнее своего рабочего, и тогда никаких осложнений на фабрике не возникнет. А Путилов считал, что все дело в климате среди фабричного люда, который формируется обстоятельствами, порождаемыми за пределами промышленности. Он утверждал даже, что работа целого цеха может зависеть от одного плохого рабочего, склонного к смутьянству. Именно поэтому он так ратовал все время за введение в промышленности военного положения, то есть военной дисциплины. Однако его собственный петроградский завод и без этого работал пока вполне сносно. Но сейчас и у него дела шли все хуже и хуже, и он не уставал твердить, что причиной всему деятельность политических сил.

Теперь и Гучков понимал, что смута — серьезная опасность, но он еще верил в силу управления твердой рукой и в возможность воздействия на фабричных разумным словом...

Путилов вошел в его кабинет явно чем-то встревоженный, но ничего объяснять не стал, и они отправились на его завод.

Утренние петроградские улицы были затоплены туманом. Сыпался, слепя автомобильные стекла, не то снег, не то дождь.

— Все-таки русский человек может все, когда захочет,— начал Гучков, но Путилов движением головы показал на шофера, и Гучков замолчал. «Вот времечко настало,— усмехнулся про себя Гучков,— при лакее говорить нельзя...» Так молча они ехали до самого завода.

Тут что-то происходило. Посередине улицы стояла толпа, по виду рабочих, а у самых заводских ворот с обеих сторон, как памятники, возвышались конные жандармы. Путилов, однако, смотрел на все это совершенно спокойно. Встречавший его управляющий заводом высокий сухощавый эстонец Брейтигам сел в автомобиль, и они подъехали к закрытым заводским воротам.

— Ну что, Владимир Федорович?— спросил Путилов, пока открывали ворота.

— Все то же,— ответил с заметным акцентом управляющий.

— Объясните шоферу, как проехать к новому цеху...

Машина остановилась возле мрачной кирпичной постройки высотой с трехэтажный дом, со сплошной вверху полосой незастекленных окон. Стены зимней кладки в белых потеках инея,

вход еще не сделан, вместо дверей большой лист фанеры. Вдоль стен лежали груды строительного мусора.

Они вошли в цех. Гучкова прежде всего поразила тишина. Когда глаза привыкли к сумраку, он увидел, что станки бездействуют, а рабочие кучками стоят в проходах, разговаривают, смолят самокрутки. Они не обращали на вошедших ни малейшего внимания. Или, может быть, делали вид, что не обращают внимания. Только с десяток рабочих, оказавшихся совсем близко, смотрели на них с каким-то равнодушным любопытством. Воняло махоркой и горелым машинным маслом, было промозгло холодно. Гучков повернулся к Путилову: тот стоял с окаменевшим лицом, только желвак шевелился под виском.

— Что тут происходит? — тихо спросил Гучков.

— Что происходит? — громко переспросил Путилов, и его голос отдался гулким эхом. — Господа рабочие! Председатель военно-промышленного комитета господин Гучков интересуется, что здесь происходит? Ответьте ему.

— Бастуем, и все дело, — коротко ответил кто-то из рабочих, стоявших поближе.

— По какому поводу? — спросил Путилов.

— Требуем освободить нашего арестованного в субботу товарища и оборудовать в цехе отопление, — сказал стоявший в этой же группе высокий белолицый парень в куртке, перешитой из шинели.

— Вот так, значит... — Путилов обращался к Гучкову, но продолжал говорить громко для всех: — Их товарищи на фронте мерзнут в окопах, но воюют с врагом, а им нужны печки у каждого станка...

Рабочие со всего цеха постепенно подходили к площадке, где стояли Гучков и Путилов, и теперь перед ними стояла густая черная толпа. Гучков видел множество белевших в сумраке лиц и над ними летучий пар от дыхания. И видел устремленные на него глаза. Много их, этих глаз.

— За то, что наши товарищи мерзнут в окопах, отвечаете вы, оставившие их без сапог и зимней одежды! — послышался резкий голос из толпы и вслед за ним неровный гул человеческих голосов. Толпа качнулась и приблизилась немного.

— Неправда! — неожиданно для себя крикнул Гучков. — В результате усилий военно-промышленного комитета снабжение фронта улучшено и проблема сапог снята!

— Ну да, ну да, — ответил тот же резкий голос. — Снята! Живые снимают сапоги с убитых!

Прерывистый гул колыхнулся по цеху — неужели это они смеялись? Гучков повернулся к Путилову и невольно сделал шаг назад.

— А вы, значит, решили оставить наших солдат без снарядов? — крикнул Путилов своим гортанным напряженным голосом.

Из толпы вышел рабочий небольшого роста в безрукавном кожухе.

— Вот что, господа хорошие,— начал он при наступившей тишине, начал тихо, а потом заговорил все громче, и стало понятно, что резкий голос из толпы принадлежал ему:— Если вы заявляете, что от одного нашего цеха зависит снабжение фронта снарядами, значит, плохи дела у нашего отечества.

— Войну кончать надо!— горластым, надсадным голосом крикнул кто-то в толпе.— Хватит крови и позора!

Рев толпы наполнил цех и, казалось, все усиливался. У Гучкова возникло жуткое ощущение — ему казалось, сейчас произойдет что-то страшное. Он перестал улавливать смысл того, что видел и слышал, и невольно жался к Путилову. А тот все с тем же окаменевшим лицом, дождавшись, когда рев затих, сказал спокойно и примирительно:

— Отопление будет через 10 дней...— И обратился к управляющему:— Успеете, Владимир Федорович?

— Постараемся сделать за неделю...

— Освободите Кузьмина!— резко и громко сказал рабочий в кожухе, стоя впереди толпы.

— Его арестовали не мы,— ответил Путилов.— Если он ни в чем не виноват, его выпустят.

— Почему же не виноват?— грубо сказал рабочий в кожухе.— По-вашему, он сильно виноват — он всюду говорил правду, но разговор не о том. Или Кузьмин возвращается в цех, или мы бастуем! А завтра станут и другие цеха!

Наступила тишина. Напряженные ее секунды Гучков чувствовал всем своим существом, его стало знобить, ему казалось, что тысячи глаз устремлены на него, только на него. И вдруг снова неожиданно для себя крикнул:

— Господа! Но это же измена! Вы способствуете врагу!

В толпе нарастал, становился громче и громче гул мужских голосов, послышались крики, крепкая ругань, но рабочий в кожухе, все время стоявший впереди толпы, поднял руку, и снова стало тихо.

— Еще надо разобраться, кто наш главный враг,— сказал он, без страха глядя на Гучкова.— Такой же, как я, немецкий рабочий, на которого напялили шинель, или кто другой... поближе...— Он перевел взгляд на Путилова.

Гул явного и дружного одобрения прокатился по цеху, отдавшись эхом в сумрачной его глубине.

— Пойдемте, Александр Иванович, разговаривать бесполезно...— Путилов взял Гучкова под руку, и они, сопровождаемые новой вспышкой гула, неразборчивыми выкриками, вышли из цеха и сели в автомобиль.

В здании заводоуправления они поднялись на второй этаж, в кабинет управляющего заводом. Путилов сел в жесткое кресло за столом, показал Гучкову на такое же кресло напротив, попросил управляющего оставить их вдвоем.

— Владимир Федорович, позвоните все же в полицию насчет Кузьмина...— крикнул Путилов вслед управляющему.

В ушах Гучкова еще не умолк рев толпы, он рассеянно смотрел на Путилова, и его белое лицо с жидкой бородкой виделось ему расплывчато, похожим на лик Христа со старой иконы.

Путилов смотрел мимо Гучкова на занимавший всю стену план завода и искал на нем этот самый новый цех, пока не понял, что на карте его еще нет. Записав что-то на календаре управляющего, он бросил карандаш на стол...

— Вот так, Александр Иванович... Вот так...— тихо сказал он.— Извините меня великодушно, но я не мог не показать вам это... У меня создалось впечатление, что вы все... там...— Путилов показал рукой вверх,— не представляете себе истинного положения вещей. Помните наш недавний спор?

— Какой?

— По поводу продуктивности работы завода. Вы говорили про силу разумного слова. Разве есть такое слово вот для этого рабочего, что пикировался с нами? А он, между прочим, еще недавно был лучший сборщик орудийных замков...— Путилов помолчал, закрыв глаза.— Положение шагнуло за пределы разума и разумных слов. Или нами будут приняты какие-то радикальные меры, или... катастрофа. Вы сами оценили положение совершенно точно: измена. Массовая измена!..

Гучков молчал. Он, конечно, знал, что такое социал-демократы с их агитацией, и понимал их опасность, знал по донесениям в его комитет с заводов и фабрик, из разговоров с промышленниками, но его организованный деловой ум воспринимал это как явление, далекое от его сферы деятельности. Его дело — организация промышленности, а то дело полиции, охранки — вечной бедой России была размытость функций различных государственных ведомств. Последнее время он все чаще возмущался безрукостью министерства внутренних дел.

Но сам он сегодня впервые столкнулся с этой опасностью, что называется, лицом к лицу и пережил жуткие минуты ярости, бессилия и даже страха. Да, это опасность и лично для него, для его семьи, жизни, для его капитала, наконец... Но что же можно сделать? Как это погасить?

Он повернулся к Путилову, высокий крахмальный воротничок врезался ему в щеку, и он рванул его от шеи:

— Но, может быть, если освободят их человека, а вы сделаете в цехе отопление...

— Они найдут еще сто поводов,— спокойно ответил Путилов.

— А если убрать всех подстрекателей?

— Слово «подстрекатель», Александр Иванович, надо забыть,— убежденно ответил Путилов. Он поставил локоть на стол и, склонив голову, оперся худощавой щекой на ладонь и продолжал тихим голосом, будто говоря о чем-то сугубо житейском и даже интимном: — Подстрекателей, Александр Иванович, нет. В охранке работает мой близкий знакомый, полковник, он просветил меня на сей предмет... Есть политическая партия, которую все мы прозевали и которая сейчас в России самая мощная полити-

ческая сила, ведущая за собой огромнейшие толпы. То, что мы сейчас видели, работа этой партии. Господа социал-демократы. Боль-ше-ви-ки... И у них одна задача — уничтожение русской монархии и всей российской буржуазии... нас с вами в том числе, и, может, в первую очередь. И если мы, именно мы не примем меры к спасению России и себя, все рухнет к чертовой матери.

— Что же вы предлагаете? — тихо, в тон Путилову спросил Гучков.

Путилов продолжал так же тихо и доверительно:

— Ударить в колокола, как Минин и Пожарский, заложить все, что мы имеем, но спасти Россию... Мы люди дела, последние в России люди дела, и только мы и можем сейчас что-то предпринять.

— Но что? Что? — нетерпеливо спросил Гучков. О том, что нужно что-то предпринимать, чтобы отвратить угрозу народного бунта, Гучков думает и разговаривает не впервые. Есть круг людей, в который входит и он, где эта тема муссируется уже давно, но, если быть откровенным, он в близкий глобальный бунт еще недавно не верил. Сейчас верит...

— Лично я постараюсь разбудить всех, на ком держится экономика государства,— несколько оживленней сказал Путилов.— Для всех нас вопрос прост — с сего дня отдать все во спасение отечества. Но мы только фундамент, и к тому ж у нас нет опыта вершить дела государственные. Поэтому на фундаменте следует срочно построить государственную власть, способную с помощью армии, этой последней силы государства, со всей решительностью и беспощадностью остановить бунт и навести в государстве порядок. Вы, Александр Иванович, принадлежите к нашему миру и миру тому, вы же еще и член Государственного совета, поэтому я с вами и решил поговорить...

— Другой, более решительный царь? — осторожно спросил Гучков, пытаясь вглядеться в глаза Путилова, прячущиеся в глубоком подбровье.

— Разве такого царя найдешь? — вздохнул Путилов.— Нужно правительство с царем в голове. Это прежде всего... А потом можно найти и царя, если... потребуется...

— Сложность, Алексей Иванович, в том, что нынешнее безмозглое правительство поддерживает царь и его окружение.

— Тем хуже для царя с его окружением,— тихо и печально отозвался Путилов и продолжал, отжимая в кулаке свою бородку: — Я мыслю себе так... Единственное место, где сейчас еще можно что-то сделать вопреки правительству дураков, это Дума. Там это можно и облечь в юридически оправданную операцию от имени, так сказать, общества. Надо идти к Родзянко и поднять его на бунт Думы против правительства. Свалить правительство, изолировать Николая с его окружением. Создать правительство из решительных людей, способных беспощадно подавить революционную смуту. А мы все это поддержим, дадим деньги. Какие угодно

деньги! Не знаю, как другие, а я бы хотел во главе этого правительства видеть вас.

Гучков ничего не ответил. Он думал о том, что Путилов прав: остались только две реальные силы — армия и мир деловых людей, которых он хорошо знал, имел в нем немало друзей, умных, решительных, которые не спасуют и в таком деле. Но для того чтобы эти две силы объединить и привести в действие, в самом начале нужна помощь влиятельных лиц из той же армии и из политических кругов. Без привлечения этих сил можно все пустить на холостой ход. Он лично хорошо знает многих нужных людей и готов хоть сегодня вступить с ними в переговоры. Медлить нельзя...

Гучков поднял голову, коснулся пальцами своих круто падающих усов и спросил:

— А вы думаете, что все это еще можно остановить?

— Вспомните, Александр Иванович, девятьсот пятый год! — тихо воскликнул Путилов.— Все же вокруг пылало, а прошло несколько месяцев, и все — пожара не стало. Сейчас главное — создать правительство, которое сможет навести в государстве порядок. Это правительство решительно поддержат наши европейские союзники, а это гарантия могучая.

— Но пойдет ли ва-банк Родзянко? — подумав, сказал Гучков.

— Пойдет. Должен пойти. Он же рвется возглавить правительство доверия. Пообещайте ему. Ведь только одно слово изменится — вместо «доверия» будет «действия»...

— Он не так прост...— Гучков отрицательно качнул головой.

— Да что стоит его сложность по сравнению с нашей задачей? — воскликнул возмущенно Путилов — ему показалось, что Гучков хочет укрыться за сомнениями.— Разговор начистоту — вопрос стоит так: или вы сегодня же включаетесь в это дело с полной верой в него, или сейчас же скажете мне «нет», и мы расстанемся... по-хорошему...

— Давайте вместе обдумаем, что должен сделать в Думе Родзянко? — вместо ответа деловито сказал Гучков.

— Вот это уже разговор мужской,— сдержанно ответил Путилов.

В следующие три дня автомобиль Гучкова можно было видеть в самых разных местах Петрограда. Он встречался с деловыми людьми, которых хорошо знал, которым верил и теперь хотел привлечь к участию в святом деле спасения России от ужаса революции. Эти люди боялись революции не меньше, чем он сам, и они тоже были решительными противниками нынешнего правительства, неспособного к действию. Но, к великому недоумению Гучкова, многие из них свое участие в деле ставили в прямую зависимость от того, что будет с царем и монархией, и были убеждены, что Россия без монархии немыслима. Гучков легко обещал им и монархию, и царя, будучи уверен, что потом эти люди будут вынуждены подчиниться ходу событий.

Среди лиц военных Гучков ожидал большей решительности. Он встретился с генералами Крыловым, Поливановым и Гурко...

Генерал Крылов готов на все — так он заявил поначалу. И даже предложил в качестве военного диктатора начальника штаба Ставки генерала Алексеева, тем более что именно он недавно выдвигал идею военной диктатуры. Но дальше следовала куча оговорок, главная из которых — надо все делать так, чтобы каждый шаг происходил от имени монарха. Опять монарх!..

Гучков встречался и с политиками, которых он считал в той или иной степени способными на действия или хотя бы достаточно умными, чтобы не помешать этому действию. Он встретился с Терещенко, Крупенским, Шульгиным, Милюковым — все они поддерживали свержение нынешнего правительства, но, когда речь заходила о дальнейшем, они словно теряли способность мыслить логически и снова и снова начинали беспредметные рассуждения о том, как лучше поступить с царем — свержение или мирная передача короны наследнику. Или великому князю Михаилу... или еще кому... Опять та же кость в горле!.. Когда Гучков сказал Шульгину, что сейчас главное — немедленно подавить революцию, тот патетически воскликнул: «Я монархист до мозга костей и призыв к подавлению хочу услышать из уст монарха, тогда я и сам возьму винтовку!..» На что Гучков ответил: «Придет время, и оно уже за вашей дверью, когда вы поймете, что сейчас только голос пулемета способен остановить непоправимую беду...» [1]

И все-таки Гучков не терял надежды и продолжал убеждать нужных людей. В отношении политиков он решил поставить на их характер, верней, на извечную их бесхарактерность — надо начать дело, и оно само потянет за собой тех из них, у кого есть голова на плечах.

Теперь Родзянко. С него все должно начаться...

Председатель Думы Михаил Владимирович Родзянко понимал, что для предотвращения катастрофы Дума ничего сделать не может. И все же еще надеялся на что-то... Последнее время на стереотипные вопросы «Как дела?» или «Что нового?» он отвечал тоже стереотипно: «Все идет как идет». Это его выражение даже попало в печать. В юмористическом журнале было напечатано злое стихотворение про некоего доморощенного Диогена, с которым происходят всякие жизненные неприятности, а он твердит в ответ: «Все идет как идет», наконец его загоняют в бочку, с великим трудом туда его запихивают (явный намек на комплекцию Родзянко), а он из бочки кричит: «Все идет как идет...»

Особенно тяжело и ясно Родзянко осознает, что разброд, царящий в самой Думе, устранить немыслимо. И дело было уже не в том, что правые думают иначе, чем левые. Все перепуталось.

---

[1] Пройдет несколько месяцев, и Шульгин напишет своей рукой: «Пулеметов! Пулеметов — вот чего мне хотелось. Ибо я чувствовал, что только язык пулеметов доступен уличной толпе и что только он, свинец, может загнать обратно в его берлогу вырвавшегося на свободу страшного зверя. Увы — этот зверь был... Его величество русский народ...» А разговаривая с Гучковым, он этого еще не понимал...

Только самые левые ясно хотят одного — свержения самодержавия. А среди всех остальных, даже среди тех, кто примкнул к «прогрессивному блоку», никакого единства не было, любое начинание блока тонуло в бесконечных спорах по поводу чуть ли не каждой фразы, а то и слова. Последнее время выявилось нечто еще более страшное — многие депутаты все, что происходило в Думе, стали рассматривать под единственным углом зрения — поможет ли это им спасти личные состояния, имения, фабрики, должности?.. Да и сам Родзянко, думая о надвигающейся катастрофе, все чаще с тревогой думал о своем громадном имении в Екатеринославской губернии. Все идет как идет — это верно. Но как же жить дальше? Как, как спасти и монархию, и привычный уклад жизни? Единственная и, кажется, последняя надежда — «правительство доверия». Но если медлить с действием, ничего не получится. Слух о монархическом заговоре во главе с царицей, программа которого: сепаратный мир с Германией и подавление революции беспощадной диктатурой,— все упорнее. Сиятельные идиоты не понимают, что это только ускорит революцию. Наконец, и это, может быть, самое опасное: социал-демократы все активней действуют по всей России и в армии, призывая к свержению самодержавия и соблазнительной экспроприации частной собственности, и охранка, судя по всему, справится с ними не в силах.

Утром Родзянко приехал в Думу...

Таврический дворец пустовал, в его залах и коридорах царил сумрак. Депутаты еще не съехались после затянувшихся летних каникул.

Старик швейцар, суетливо снимая с председателя пальто, сказал почтительно:

— Только вам, Михаил Владимирович, и не спится...

Родзянко направился в свой кабинет. Через час у него важное свидание. Он долго думал, где его провести, чтобы разговор остался в тайне и в то же время чтобы никто не мог усмотреть в этой встрече нечто конспиративное.

Человек, которого он ждет,— Александр Иванович Гучков. Еще не так давно Родзянко относился к нему, мягко говоря, прохладно, и дело было не только в партийных разногласиях. Как столбовой дворянин Родзянко не мог ни на минуту забыть, что Гучков выскочка из московских купцов. Но он всегда признавал, что это человек интересный, умный, словом, не рядовой. Чего стоило одно его участие в англо-бурской войне на стороне буров! Его умелые действия во время русско-японской войны, когда он непосредственно на фронте в качестве уполномоченного Красного Креста организовал эвакуацию и лечение раненых, снискали ему всеобщее признание.

Историк и экономист по образованию, воротила в крупной коммерции, он во всем действовал смело и решительно. При Столыпине он стал председателем Думы, сидел вот в этом самом кабинете, но стоило Столыпину замахнуться на Думу, как он скандально сложил с себя обязанности председателя. Он прославился

как завзятый дуэлянт, не дающий спуску обидчикам. Всем памятна история его ссоры в Думе с Милюковым, после которой Гучков вызвал его драться. За дуэлянтские похождения он был приговорен к заключению в крепости на месяц, но по царскому указанию через неделю был выпущен.

Он добился снятия бездеятельного военного министра, любимца царя Сухомлинова, отдачи его под суд. Правда, эта история стоила ему потери всякого расположения в царской семье, особенно у царицы. Так или иначе, это человек деятельный и всегда с твердой собственной позицией. Последнее время, став председателем военно-промышленного комитета, он при том хаосе, какой царил повсюду, сумел сделать немало для улучшения снабжения фронта вооружением...

Два дня назад в коридоре Государственного совета Гучков остановил Родзянко.

— Рад, что встретил вас, собирался искать,— энергично и громко сказал он.— Мне кажется, что обстоятельства принуждают нас встретиться для серьезного разговора. Вы это не чувствуете?— И, не дожидаясь ответа, закончил:— Когда почувствуете, дайте мне знать. Извините, что задержал вас...— И он широкими шагами заспешил дальше.

«Но что ему надо?— подумал Родзянко.— На пустые разговоры он не станет тратить время, он человек в высшей степени деловой... Вот кого не хватает Думе — такого человека дела...»

И вчера звонок по телефону:

— Ну как, Михаил Владимирович, не почувствовали?

— Я встречусь с вами охотно.

— Минуточку, я загляну в свой кондуит... Значит, так... я могу в четверг, в 11 часов утра. Место выберете вы сами и сообщите — мне все равно где...

И вот сейчас они встретятся здесь, в Думе.

Но что все-таки хочет Гучков? Понимая, что разговор будет о самом важном, Родзянко достал из сейфа заветную папку со своими записями. Бегло просматривая их, он восстанавливал в памяти то, что в них не вошло, и делал на полях пометки.

Дверь бесшумно открылась, и в кабинет вошел тщедушный мужчина с болезненно-желтым лицом:

— Доброе утро, Михаил Владимирович.

Родзянко вздрогнул и нехотя отозвался:

— Да, да... проходите.

К нему пожаловал заведующий министерским павильоном Думы Лев Константинович Куманин. Родзянко давно предупрежден, что этот пронырливый господин является главным информатором Протопопова обо всем, что происходит в Таврическом дворце. Хотя он числился по министерству юстиции, надо думать, что второе жалованье, по министерству внутренних дел, ему не мешало. Куманин уже узнал о том, что заказан кофе на две персоны, и пришел выведать, кого председатель собрался принимать в пустой Думе.

— Однако вы, Михаил Владимирович, не знаете усталости,— мягким голосом начал Куманин. Ожидая приглашения сесть, он уже положил руку на спинку кресла. Но приглашения не последовало.

— Это я уже слышал от нашего швейцара...— ворчливо ответил Родзянко, не отрываясь от бумаг. Воробьи, живущие на карнизах Таврического дворца, знали, что думский швейцар — человек полиции. Родзянко поднял голову и взглянул на Куманина, но тот и бровью не повел.

— Если на открытие Думы пожалует господин Протопопов и, как тогда, не захочет быть вместе с другими министрами, куда его определить?— спросил он.

— Лев Константинович, разве это моя обязанность?

— Да все тревожусь я, как бы чего не напутать, в рану соли не насыпать.

— Вы что, Протопопова считаете раненым?

Куманин неопределенно хмыкнул:

— Да как считать, Михаил Владимирович... Кабы я был министром, я бы Думу за квартал обходил.

— Посоветуйте это Протопопову... У вас ко мне все? Я очень занят...

Куманин поклонился и вышел, ступая на носках.

Просмотрев записи, Родзянко придвинул к себе корзиночку с почтой. Письма, письма, письма — вся Россия засела письма писать. Можно не вскрывать, в письмах одно и то же — проклятья Распутину, обвинения генералов в измене, вопли о нехватке продовольствия...

Родзянко взял два конверта с казенными штемпелями. Вскрыл миниатюрным ножичком первый, посмотрел на подпись... «Примите уверения в искреннем уважении и преданности, князь Львов...» Начал читать письмо: «Председатели губернских земских управ, собравшиеся в Москве... вот итоги их единодушного мнения... Беспрерывная смена министров и высших должностных лиц государства в таких условиях, в которых она происходит, в связи с постоянным изменением проводимой этими лицами политики ведет к прямому параличу власти... Мучительные, страшные подозрения, зловещие слухи о предательстве и измене, о тайных силах, работающих в пользу Германии... Председатели губернских земских управ пришли к единодушному убеждению, что стоящее у власти правительство, открыто подозреваемое в зависимости от темных и враждебных России влияний, не может управлять страной и ведет ее по пути гибели и позора, и единогласно уполномочили меня в лице Вашем довести до сведения членов Государственной думы, что в решительной борьбе Государственной думы за создание правительства, способного объединить все живые народные силы и вести нашу родину к победе, земская Россия будет стоять заодно с народным представительством...»

Тяжело вздохнув, Родзянко взялся за другое письмо. Это от главноуполномоченного всероссийского союза городов... «Ми-

ластивый государь Михаил Владимирович. Тревога и негодование все больше охватывают Россию...» Он не стал читать — все про то же... Все всё видят и правильно понимают, кроме одного — Дума ничего, решительно ничего сделать не может... На эти письма он и отвечать не будет.

Но вот письмо из родного Екатеринослава. От управляющего имением.

Родзянко с тревогой распечатал конверт:

«Глубокоуважаемый Михаил Владимирович!

Все мы тут беспокоимся, как Вы там, как со здоровьем...» (Это неважно, дальше, дальше... Вот!) «Не получив от Вас ответа, второй раз пишу о том же. Надо решать с южным клином Ваших земельных угодий, что, как я уже писал, составит что-то около 800 десятин. В прошлом году, как Вы знаете, мы не взяли там и половины урожая из-за засухи. В этом году снимем и того меньше — снова засуха и отсутствие в деревнях работоспособных мужиков, вчера, например, в поле работало... четыре человека. Покупатель клина пока еще не отвалился, но надо решать незамедлительно. Напомню еще, что нынче обработку под озимые мы там не проведем — по той же причине. А что будет по весне, один бог знает... А деньги останутся деньгами, и, когда полегчает, можно будет осуществить Вашу давнюю мечту — купить соседнее с северной стороны имение. Оно так заколоченное и стоит и пойдет по дешевке...»

Родзянко оторвался от письма. Боже, как далеко отринулось от него все это: его бесценное имение, богатейшая земля от горизонта до горизонта, беззаботная его жизнь там с семьей в большом добротном доме, пахнущем зимними яблоками, пруд под сенью вековых лип, его любимый цветник, звуки рояля, летящие из открытых окон в тихий вечерний сад...

Комок к горлу...

Управляющий еще верит в деньги — наивная душа. Нет. Не продавать ни в коем случае! Сегодня же надо послать телеграмму...

Гучков — коренастый, плотный, затянутый в черный сюртук — вошел стремительно, казалось, ворвался. Энергично сжал руку Родзянко. Сел в кресло, устроился в нем поудобнее. Огляделся вокруг:

— Ничего не изменилось... В сих стенах прошли не лучшие дни моей жизни...

— Я могу повторить ваши слова,— вздохнул Родзянко, прикрыв глаза набухшими тяжелыми веками.

— Ну вот, значит, мы думаем одинаково и нам нужно быть вместе,— сразу перешел к делу Гучков, глядя на рыхлое лицо председателя Думы.

Родзянко пошевелился в кресле всем грузным телом:

— Ныне единомыслие двух человек — это уже праздник.

— Здесь, в Думе, в особенности,— быстро отозвался Гучков и продолжал энергично:— Но Россия, Михаил Владимирович, на преданных ей людей еще не оскудела, и преданность эта еще объ-

единяет многих,— он умолк, точно ожидая возражения, и продолжал:— Я думаю, мы не будем тратить время на обсуждение положения, и вы и я прекрасно о нем осведомлены. Я скажу вам лишь то, что вы, может быть, еще не обнаружили: Дума мертва. Согласны?— Он выжидательно смотрел на Родзянко острыми серыми глазами.

— Тогда зачем, Александр Иванович, вы здесь? — с неподвижным лицом спросил Родзянко.

Гучков не ответил. Помолчали...

— Есть предложение, Михаил Владимирович, использовать во имя России предстоящую сессию Думы, я уверен, последнюю ее сессию. Вас разгонят — это ясно как божий день. Но последнюю сессию еще можно использовать,— сказал Гучков.

— Как?— приоткрыл глаза Родзянко.

— Устроить громкий скандал бездарному Штюрмеру и свалить его.— Гучков провел ладонью по столу, как пыль смахнул.

— Вот тогда нас разгонят наверняка,— вяло возразил Родзянко.

— И это уже не будет иметь никакого значения. Дума свое дело сделает — спихнет с места камень, который обрушится, сметая на своем пути всю нечисть, и за одно это Россия до земли поклонится Думе. А если мы это не сделаем, Россия вышвырнет нас из своей памяти!— сказал Гучков несколько повышенным голосом, его начинала злить сонная инертность Родзянко.

— За сильное решение можно не собрать большинства голосов,— немного оживился Родзянко, он начинал понимать, что за предложением Гучкова стоит нечто серьезное.

— И не надо, Михаил Владимирович. Не надо!— Гучков прижал левую руку к груди.— Нужен только скандал вокруг Штюрмера. Он, этот скандал, начнется в Думе, и его подхватят могучие силы. Очень могучие, Михаил Владимирович. Вы меня знаете, я слов зря не бросаю. Общими усилиями мы вышвыриваем Штюрмера на свалку, заставим сделать это Царское Село. Встанет вопрос о новом премьере, и мы назовем его имя.

— Премьеров называет царь.— Родзянко даже немного подался вперед всем большим телом.

— У него нет ни одной достойной кандидатуры. Премьера выдвинем мы, люди дела, его поддержит армия, Брусилов и другие. Это все уже договорено.

— Я могу услышать имя премьера?— опустив глаза, спросил Родзянко.

— Это может быть Кривошеин, Гучков, Родзянко, соперничества тут не будет, премьером станет достойный момента человек с не запятнанной перед Россией совестью,— быстро, как о чем-то не очень существенном, сказал Гучков.— Но дело не только в премьере, мы создадим сильное и честное правительство. Создадим наконец, Михаил Владимирович! Создадим! И оно положит свои чистые руки на штурвал России.

— А что с царем?— В голосе Родзянко послышалось волнение, и Гучков удивленно взглянул на него: а ему-то, первому парламентарию России, зачем давиться этой костью?

— Наше новое правительство, Михаил Владимирович,— энергично продолжал Гучков,— подняв на это армию, спасет и царя! И монархию! И Россию! Это поймет и царь — второй девятьсот пятый год допустить нельзя.

— Конституция?— Родзянко нахмурился.

— Потом и конституция. Сначала надо сбросить с палубы всю шваль, цепляющуюся за государственный штурвал, и, главное, подавить угрозу революции.

— А война?

— Мы ее выиграем, Михаил Владимирович! Нас поддержат союзники. Помощь Англии уже гарантирована. Германия на пределе своих сил, а силы России при этих событиях удесятерятся...

Родзянко долго молчал, казалось, он задремал — неподвижен, глаза закрыты. Гучков ждал, нетерпеливо смотря на него.

— А кто же начнет... скандал в Думе?— шевельнулся, открыл глаза Родзянко. Гучков понял: он боится, что эта роль отводится ему, и невольно улыбнулся:

— Это сделает Павел Николаевич Милюков. Вашей обязанностью будет только дать ему возможность произнести свою речь. Он скажет именно то, что надо. Остальные заботы не ваши, и пусть они после этого закрывают Думу, от нее больше ничего не требуется...

— В общем, государственный переворот?— тихо, почти шепотом, спросил Родзянко.

— Назовите как хотите, но без этого спасти от революции Россию и монархию немыслимо, вы понимаете это сами...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

1

В оценке положения российских дел и правительства во главе с негодяем Штюрмером Родзянко был целиком согласен с Гучковым. Создание сильного и честного правительства — в конце концов, именно об этом он думал, поддерживая давнюю идею «правительства доверия»... «Этого, пожалуй, было достаточно, чтобы дать согласие на думский бунт против правительства Штюрмера, но как же потом? Что будет с Думой? Она как бы выводилась из дальнейшей борьбы? А я? Что будет со мной?» Тут Родзянко прикасался к весьма деликатному вопросу, который во время разговора с Гучковым держал в уме: ведь получалось, что новое правительство, если оно будет, пусть и умное и честное, должно стать правительством массового террора. Он же понимал, что значит подавить революцию в ее сегодняшнем масштабе... Ему не хотелось бы оказаться при этом премьером... И можно ли вообще

обойтись без этого?.. Здесь в мыслях Родзянко начиналось смятение...

На другой день Родзянко отправился к Штюрмеру. Больше всего он желал услышать от премьера угрозы в адрес Думы, это развязало бы ему руки при ведении ноябрьской сессии — вы угрожаете нам разгоном, и мы на удар отвечаем ударом.

Когда он вошел в кабинет Штюрмера, тот не встал, как всегда, поздороваться. Родзянко в сером, изрядно помятом костюме сел без приглашения в кресло, печально застонавшее под его тяжестью.

— Извините, Михаил Владимирович, я не могу встать, ногу вывихнул,— быстро сказал Штюрмер и повернулся боком, точно хотел пригласить Родзянко убедиться.

— Ваша нога к делу отношения не имеет,— сдержанно начал председатель Думы, глядя на усатую физиономию премьера и тщетно пытаясь поймать его взгляд... Сколько раз он за последнее время разговаривал с этим ничтожным человеком и все больше удивлялся ему, вот уж поистине — плюнь в глаза, он скажет — божья роса. Родзянко открыто презирал его, не скрывал этого от него самого и говорил с ним, не боясь последствий.— Сначала, Борис Владимирович, старый мой вопрос — не собираетесь подавать в отставку?

— Господи, с полным моим удовольствием, но на все воля божья и государя нашего...— с еле заметной улыбкой сказал Штюрмер, но тут же надменно закинул голову назад, выставив вперед бороду.— А вы все еще считаете, что только в моем уходе спасение России? Да поймите же наконец, что я только исполнитель воли монарха. Скромный исполнитель, не больше...

— Если бы монарха...— тихо сказал Родзянко и, повернув свое массивное, нездорово-желтоватое лицо к премьеру, спросил:— Но, может, нас все-таки ожидает что-нибудь приятное?

— Вас лично?

— Я тоже исполнитель...

— Только одно,— сказал Штюрмер, насупившись, и, сдвинув мохнатые брови, продолжал:— Мы разговариваем на пороге сессии Думы, и я хочу предупредить вас: если Дума будет содействовать неспокойствию в державе...

— Остановитесь!— Родзянко выпрямился, выпятив большой живот, поднял тяжелую руку.— Как вы смеете грозить Думе, вы подотчетны ей как форуму народных избранников!

— Опять же я выполняю волю царя, Михаил Владимирович,— шевеля волнистой бородой, продолжал Штюрмер.— Он соизволил дать мне на этот счет вполне ясное указание, о чем я вас и предупредил. И позвольте спросить: как вы можете называть Думу форумом народных избранников? Тогда, значит, весь наш народ против царя?— Голос его, от природы низкий и благозвучный, становился все выше и выше и снова вернулся на низы.—

Нет, Михаил Владимирович, ваша Дума и народ — это разные вещи, и мы в случае чего распустим Думу и сделаем это как раз в интересах нашего народа.

— Угроз ваших я не принимаю и буду действовать по совести. Но что вы все-таки хотите от Думы и от меня? — спросил Родзянко, презрительно сощурясь.

— От вас только одного — пресекать речи, дискредитирующие все святое для русского человека.

— Например, Распутин? Если для кого он свят, то разве для вас, он же посадил вас в это кресло.

— Я ничего общего с ним не имею! — воскликнул Штюрмер, он вытянул вперед свои неестественно короткие костлявые руки, точно показывая, что они чисты.— Но нельзя... это желание свыше...— Он медленно убрал руки...

— Не позорьте царя, он не может защищать мерзость.

Штюрмер закатил широко открытые глаза к потолку и долго молчал. Потом сказал тихо:

— Я в Думе не буду... нога...

— Как у графа Остермана, у которого в критические моменты всегда болела нога?..— усмехнулся Родзянко.

— Я не шучу. Я не приду...

Но он пришел...

— С тяжелым чувством я вхожу сегодня на эту трибуну...— тихим голосом и скорбно, как на панихиде, начал Милюков свою речь, но постепенно голос его набирал силу...

Слово Милюкову предоставил не Родзянко, а его заместитель. Под предлогом, что, произнося вступительное слово, он потерял голос, Родзянко вообще вышел из зала, чтобы обратиться за помощью к думскому врачу.

Речь Милюкова была построена сложно, и не сразу можно было понять, к чему он ведет. Он назвал факты темной деятельности различных официальных лиц, обогащающихся на тяжкой для народа войне, но пока высоко не брал. Факты следовали за фактами, и постепенно в сознании слушавших сама собой складывалась страшная картина разнузданной коррупции и стяжательства и возникал вопрос: почему власть это терпит?

Затем, казалось, без всякой связи, Милюков перешел к фактам подозрительной осведомленности немцев не только о происходящем в России, но и о замыслах русского командования. Милюков недавно вернулся из поездки за границу, и у него были свежие данные. Пронемецкие русские салоны в Швейцарии, тесно связанные с высшими петроградскими кругами того же толка, включали сюда и царский двор. В доказательство он пересказал статью из немецкой газеты «Нейе фрейе пресс» о том, что сама царица связана с этими пронемецкими кругами за рубежом. Можно ли после этого недоумевать и удивляться, что противник осведомлен о наших крайне важных тайнах?

Зал загудел от возмущения, но было непонятно, чем он возмущен: тем, что оратор назвал имя царицы, или сутью его обвинений. Тогда Милюков, как бы отводя молнию гнева в сторону, резко повысив голос, заговорил о Штюрмере. Приведя факты, доказывающие его зависимость от темных сил, включая Распутина, Милюков обвинил премьера в измене.

Теперь гневный гул зала был понятен — Штюрмера ненавидели все. Сам Штюрмер, сидевший на местах правительства, только качал головой. В зале раздались крики: «Позор!», «Под суд изменников!»

— Какой и чьей победы мы можем ждать в таких обстоятельствах? — кричал и не мог перекрыть шум Милюков.

Председательствующий торопливо объявил перерыв. Забыв о вывихнутой ноге, Штюрмер стремительно вышел из зала. Он обернулся и сделал знак министрам следовать за ним, но многие явно не торопились показать с ним свою солидарность.

В тот же день Штюрмер созвал заседание совета министров, на котором внес два предложения, точнее, требования: распустить Думу на длительный срок и вынести решение о привлечении Милюкова к судебному преследованию за его речь.

Но совет министров первое требование Штюрмера решительно отклонил, а судиться с Милюковым порекомендовал ему в личном порядке.

Вконец озадаченный и перепуганный, Штюрмер вечером был у Распутина, стал ему рассказывать о речи Милюкова, но старец оборвал его:

— Да, знаю я все... знаю... Слабый ты оказался... слабый...

2

Английский посол сэр Джордж Бьюкенен и французский посол месье Палеолог обсуждали в кабинете у Штюрмера текст сообщения для печати о согласии Англии передать России Константинополь и Дарданеллы. Штюрмер в расшитом золотыми галунами мундире был развязно весел, поминутно неуклюже шутил и сам громогласно хохотал над своими утками, поглаживая свою ассирийскую бороду и расправляя кинжальные усы. Бьюкенен с непроницаемо замкнутым лицом наблюдал за ним: «Неужели он забыл вчерашнюю Думу, где Милюков назвал его изменником? Или он никого и ничего не боится и ему наплевать на все?»

Дочитав текст сообщения, Штюрмер передал его стоявшему рядом с нахмуренным, тяжелым, совсем нефранцузским лицом Палеологу.

— Все распрекрасно? — самодовольно спросил Штюрмер и вдруг рассмеялся: — Господин Палеолог, с чего это вы столь печальны? Завидуете английскому коллеге, ха-ха-ха! А счастье было так близко: Дарданеллы — России и вам овация такая же, как вашему коллеге. Но Франция почему-то промедлила...

Бьюкенен не сводил пристальных глаз со Штюрмера — неужели он не понимает, что овацию в Думе вызвал вовсе не Константинополь — она была демонстрацией против немецких политиков, пытающихся оклеветать Англию? Понимает он или нет? Поразительно!.. Однако уточнить это Бьюкенен сдержался, промолчал. Палеолог ничего не ответил Штюрмеру, даже не улыбнулся его смеху и откровенно смотрел на Бьюкенена, ожидая, когда он начнет прощаться...

Они уже направились к двери после ритуала прощания, когда Штюрмер попросил Бьюкенена остаться на минутку.

Извинившись перед Палеологом, Бьюкенен вернулся к столу премьера, но в кресло не сел.

— Я подаю в суд на Милюкова за его хулиганскую речь,— злобно сказал Штюрмер и тоже встал.

Бьюкенен молча ждал, неприступно строгий и элегантный.

— Но мне необходима ваша консультация...— Штюрмер взял со стола лист бумаги и продолжал:— Вот два места из его речи, где он упоминает вас, помните? Вы разрешили ему ссылаться на вас?

— Я не являюсь его консультантом,— холодно ответил Бьюкенен.— Однако по существу сказанного Милюковым в отношении антианглийской кампании у меня с ним разночтения нет.

Штюрмер в изумлении вылупил свои бессмысленные светлые глаза:

— Но, бог мой, кто же, по-вашему, лидер антибританской кампании?

— Вот это я и пытаюсь установить,— ответил Бьюкенен.

— Если установите, умоляю вас, поставьте меня в известность,— попросил Штюрмер, прижимая короткие руки к золоченой груди.

Под белыми, аккуратно подбритыми усами Бьюкенена возникла и погасла усмешка:

— Ваше превосходительство, у вас же есть сильный министр внутренних дел, есть полиция, специальные службы, и с их помощью вы все можете узнать гораздо скорее...— И, поклонившись, добавил:— Вам стоит только этого захотеть.

Штюрмер стоял и долго смотрел на закрывшуюся за Бьюкененом дверь. Его мелкий ум интригана не мог охватить всей сложности создавшейся вокруг него ситуации, но, как чуткая собака, он чувствовал опасность и решил не откладывая ехать в Царское Село — матушка царица Александра Федоровна, как всегда, направит его мысли куда следует...

Немедля он позвонил в Царское Село, но адъютант царицы ответил, что царица больна и принять не может...

У России в это время было две императрицы. Жена Николая Александра Федоровна и его мать Мария Федоровна — вдова покойного царя Александра. Старая императрица была женщина неглупая, властная, к царствованию сына она относилась весьма критически, а его брак с Александрой Федоровной считала несчастьем своего царского рода. Она пыталась влиять на сына и вы-

рвать его из-под власти супруги, но сделать ей это было очень трудно.

Существование в России двух императриц и связанные с этим ситуации пытались использовать английская и немецкая разведки. Так, Бьюкенен в своих дневниках прямо признает, что он имел регулярную информацию о настроениях в окружении Марии Федоровны, знал о предпринимавшихся ею шагах и имел возможность давать ей советы.

Немецкая разведка прекрасно понимала, какую опасность для германских интересов представляет влияние на Николая его матери с ее яростной антигерманской позицией. Мария Федоровна прекрасно знала немецкую императорскую семью, знала, что представляет собой кайзер Вильгельм, которого она называла не иначе как «однорукое ничтожество»: немецкий император с детства имел одну неразвитую руку, и у него была разработана целая система декоративных способов скрытия этого физического недостатка. Именно из окружения Марии Федоровны попадали в печать материалы с опасно достоверными фактами, свидетельствующими о недалеком уме и лживости Вильгельма, об ироническом и даже презрительном отношении к нему признанных умов Германии.

Николай побаивался матери, но она была далеко, жила в это время в Киеве, а Александра Федоровна с ее советниками была рядом. Во время редких в последнее время свиданий с сыном Мария Федоровна старалась воздействовать на него, взывала к его монаршему самолюбию, раскрывала ему губительность многих его действий под влиянием жены. Он не раз поддавался нажиму матери и обещал что-то исправить, но, возвращаясь затем к супруге, тут же отказывался от своих обещаний. И он все больше верил жене, внушавшей ему мысль, что его мать просто ненавидит ее, ревнует его к ней и хочет ей насолить и разрушить их счастливый брак.

Но в случае со Штюрмером все-таки победила Мария Федоровна. Когда Штюрмер отправился в Царское Село, чтобы рассказать царице о скандальном заседании Думы, где его назвали изменником, и получить от нее спасительные советы, именно в этот день Николай вернулся из Киева от матери.

Подробных и точных данных об этой их встрече нет, но, судя по всему, разговор у них был очень серьезный, он поверг Николая в большую тревогу и растерянность. Но так или иначе, Штюрмер с поста премьера был устранен, и все попытки Александры Федоровны предотвратить это ни к чему не привели. Разве только форма устранения была сделана внешне почетной для Штюрмера.

Внезапная катастрофа Штюрмера принесла большое огорчение германской разведке. «Штюрмер уже одной своей фамилией создал для нас благоприятную атмосферу»,— писал в своих воспоминаниях руководитель немецкой военной разведки полковник Николаи.

Английская разведка это событие занесла в свой актив...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

1

Алексей Иванович Путилов имел деловую квартиру на Большой Конюшенной улице, недалеко от дома, где помещалось правление путиловских заводов. Почти всегда окна этой квартиры были задернуты шторами. Хозяин приезжал сюда только по делу и ненадолго, поэтому в квартире не было никаких слуг. Обставлены только две комнаты — кабинет и гостиная. Вдоль стен кабинета стояли шкафы с томами различных энциклопедий и справочников. На особом столе лежали сброшюрованные комплекты столичных газет. У стены небольшой письменный стол, над которым висел портрет отца Путилова — старика с таким же, как у сына, аскетическим лицом, чем-то напоминающим лик Христа. Перед столом в беспорядке стояли глубокие кожаные кресла. Громадные окна из целого стекла закрывали тяжелые гардины.

Здесь в сумрачный ноябрьский день собрались могущественные люди русского капитала — Вышнеградский, Коновалов и Коншин. Именно они первыми приглашены к Путилову не случайно. Александр Иванович Вышнеградский — директор-распорядитель Петроградского международного коммерческого банка, у него в руках заграничные связи русского капитала. Алексей Владимирович Коншин — владелец суконных фабрик, глава торгово-промышленного банка. Здесь были сосредоточены основные капиталовложения в промышленность и торговлю. Александр Иванович Коновалов — мануфактурный король России. Все они владели громадными личными капиталами и были из тех, кто находился на вершине сложного разветвленного клана русских капиталистов. И они еще молоды, полны сил. Только одному из них — Коншину — под шестьдесят, остальные еще не достигли своего пятидесятилетия, а Путилову через несколько дней будет пятьдесят лет.

Отрезанный толстыми гардинами от хмурого дня, кабинет залит ярким светом огромной многоярусной люстры. Глубокие кожаные кресла, казалось, стояли беспорядочно, и каждый сидящий чувствовал себя как бы сам по себе. Сам Путилов сидел в таком положении, что видел всех. Прямо перед ним, положив ногу на ногу, сидел Вышнеградский — моложавый, приторно красивый, по моде одетый — черные полосатые брюки, серый сюртук с черной оторочкой на лацканах, остроносые лаковые туфли с гамашами, тонкие усики, маленькая холеная бородка, рыжеватые волосы на английский пробор. Сколько времени бесполезно тратит он на светскую жизнь, на всякие выставки, вернисажи, премьеры! А делец меж тем первоклассный. И свои деньги растит, и банк ведет хорошо. Путилов знает, как он из-под носа у двух банков перехватил зарубежный кредит на строительство морского флота. Блеск! С ним ухо держи востро, но в деле, ради которого они собрались,

он может быть очень полезен — через его банк жилы русского капитала тянутся за границу и обратно...

Чуть позади него, правей, сидит Коншин — выглядывает из глубокого кресла, как медведь из берлоги,— крупный, какой-то косматый, а глазки маленькие, злые. Он один здесь из прошлого века, как и все его суконные фабрики, о которых что ни год поднимается шум, что там невозможно тяжелые условия труда. Он и торгово-промышленный банк ведет по старинке, и это по душе купцам и промышленникам средней руки, им это кажется более надежным. Но свой капитал растит лихо. Сколько ему дает одно шинельное сукно, заказ на которое он получил вовремя... Он копейку даром не отдаст, и если поймет, что революция может отнять у него все, то должен как раненый медведь ринуться в бой...

Коновалов, что сидел левее, наиболее симпатичен Путилову. Веет неизбывной силой от этого неуклюжего белобрысого русака с крупными голубыми глазами. Все у него крупное, вон кулаки положил на подлокотники кресла, как пудовые гири... Сам ведет свою мануфактурную империю, и как ведет! Не полагается, как Коншин, на одну конъюнктуру, остро чует время, заранее угадывает спрос, маневрирует, а если уж навалится на конкурента, у того только кости трещат. Сыну дал образование и теперь действует вместе с ним, но сам работает как вол, не зная усталости. Да ведь и здоров как бык. Революция для него — смерть, и он должен пойти на все, чтобы ее избежать...

Если эти трое сегодня скажут «да», это будет значить очень много — за ними пойдут другие... Ну что ж, можно начинать разговор.

— Можно подумать, что я пригласил вас, подобрав по именам — два Александра и два Алексея...— Путилов улыбнулся, чтобы скрыть волнение, пригладил свою жидкую бородку и сказал серьезно:— Но сейчас всем деловым людям пристало, забыв обо всех распрях, срочно объединиться... Разве я позволил бы себе еще три года назад позвать вместе Алексея Владимировича Коншина и Александра Ивановича Коновалова? Вряд ли их интересы когда-нибудь совпадали. А теперь я знаю, надеюсь, по крайней мере, что сегодня, здесь мы все единомышленники. Нас созвало сознание великой и страшной беды, нависшей над Россией. Давайте начнем с того, что мы выскажемся по поводу сегодняшней обстановки. Начну я...— Путилов помолчал немного.— Мы с Коншиным недавно удостоились чести и были званы на совещание к самому Протопопову. Какое впечатление у вас, Алексей Владимирович?— сказал он.

— Маразм,— низким отрывистым голосом ответил Коншин.

— Именно,— кивнул Путилов.— Этот министр от психопатии, видите ли, собрался решить продовольственную проблему. Я бы вообще к нему не пошел, если бы не знал, что продовольственный вопрос сейчас — это не задача накормить людей, а еще одно средство удержать их от бунта. Но там мы увидели суету бездельников и слепцов. Обстановка в отечестве смертельно опасная.

Я лично могу сказать вам, что сегодня я уже не хозяин своего здешнего завода. В цехах орудуют банды фабричных. Власти бездействуют, более того, власти против этого уже бессильны — это главное. Мы это должны понять и зафиксировать... Пока я закончил.

Коншин заворочался в кожаной берлоге кресла.

— На моей фабрике в Серпухове такие же банды, и полиция спит,— сказал он хриплым басом.

— Вы, Александр Иванович?— обратился Путилов к Коновалову.

— Да как-то по-разному у меня...— неожиданным для своей могучей фигуры тенорком ответил он и вдруг добавил:— А резать это надо на корню!

Вышнеградский снял ногу с колена, сказал чистым, ясным голосом:

— Надо кончать войну, и все встанет на свои места...

— На войну все валит и Протопопов. А мы, Александр Иванович, делать так не можем, война для нас стала благоприятнейшей конъюнктурой, длящейся по сей день,— возразил Путилов, оглядывая всех вопросительным взглядом: разве вы можете возразить? Увидев, что Вышнеградский смотрит на него, удивленно подняв брови, продолжал, обращаясь к нему:— Кроме всего, вы предлагаете лекарство долгого действия, а горло нам могут перерезать завтра.

— И все-таки...— наклонился вперед Вышнеградский.— Фиксируя сегодняшнюю опасную обстановку, умолчать о войне мы не можем. Мы живем не на какой-то другой планете, и война сильно влияет на нас. Достаточно сказать о повсеместной нехватке мужской рабочей силы.— Вышнеградский закинул ногу на ногу и поправил складку на брюках.

Некоторое время длилось молчание. Было слышно, как сопит Коншин.

— Зафиксировать войну мы, конечно, можем... сделаем это...— примирительно сказал Путилов.— Но и на войну мы должны смотреть по-своему. Конечно, окончание войны станет для нас новым благом, но дело-то в том, что большевиками нам предложена совсем другая война, они науськивают фабричных на повсеместный бунт против царя, самодержавия и в первую очередь против нас с вами. У меня есть их листовка, в ней прямо написано: заводы и фабрики должны принадлежать рабочим! Вот о чем у нас речь, Александр Иванович... Пожалуйста, господа, кто еще хочет сказать?

Коновалов переложил большие кулаки с подлокотников себе на колени, деликатно откашлялся и заговорил грубоватым тенорком, чуть окая:

— Паралич управления страной — такова моя общая оценка. Я и не только я уже давно говорим об этом в Думе. Сюда входит и бессилие власти подавить бунт. Особо я хотел бы отметить развал транспорта, этим смертельно опасно нарушено кровообращение

экономики государства. И в заключение скажу, что и наша Дума тоже находится в параличе.

Путилов согласно кивал головой и, когда Коновалов замолчал, победоносно посмотрел на Вышнеградского, и тот ответил своим ясным, но на этот раз несколько напряженным голосом:

— Господа, я хочу разъяснить мои слова о войне. Россия находится в военном союзе с двумя сильнейшими государствами Европы. И Америка от нас тоже не так далеко, как кажется. В связи с этим мы не можем свои проблемы решать в изоляции от внешнего мира. Я каждый день беседую с нашими коллегами из Англии и Франции. И не далее как вчера принимал крупного финансиста из Америки. Все они встревожены нашими внутренними проблемами. И все они тоже опасаются нашей революции — Россия, подожженная революцией, им не нужна. Они даже сейчас уже воздерживаются предоставлять нам кредиты именно из этого опасения. Но они лучше нас осведомлены о положении в Германии, знают, что она на пороге экономической, политической и военной катастрофы, и потому главную задачу видят в быстрейшем завершении войны. А мы хотим, как я понял сейчас, плюнуть во все стороны и заняться сугубо внутренним делом.

— Скажите, Александр Иванович,— тихо, с горестным изумлением спросил Путилов,— вы понимаете, что революционный бунт стучит в наши двери?

— Отлично понимаю,— спокойно ответил Вышнеградский,— но не хочу этот вопрос рассматривать изолированно от всего остального и от войны в первую очередь.

Наступило долгое молчание. Путилов, опустив голову, думал о Вышнеградском — зря он его пригласил, не подумал, что он по горло увяз в собственных интересах, пуповина которых уже давно тянется в заграничные банки. Что ему бунт в России?.. В свою очередь, Вышнеградский сейчас хвалил себя за то, что сделал это разъяснение, он уже сообразил, что деятельный Путилов затеял какую-то большую авантюру, чтобы спасти свои заводы, и скликает на это других, хочет на всех разложить материальную поддержку того, что он затеял. Но с какой стати он должен лезть в это дело?

— Экономика, что там ни говори, фундамент государства. Взорви фундамент, и здание рухнет. А экономика — это мы, и Россия сейчас смотрит на нас с надеждой, может быть, уже единственной и последней надеждой. Все мы знаем — Россия не умрет. Никогда не умрет. Весь вопрос — какой она выйдет из данной трагической ситуации? Бунтовщики добиваются, чтобы Россия предстала перед всем миром голой, с красным знаменем, на котором написано: «Смерть царям, помещикам и капиталистам». Мы же хотим, чтобы мир увидел ее здоровой, сохранившей все свои традиционные силы и привычки...— Путилов проговорил все это тихим, ровным голосом, опустив голову, и вдруг поднял ее и сказал громко:— А для этого нужно только одно — убрать из жизни России всех бунтовщиков!

— Как это сделаешь? — проворчал Коншин.

— Физически, Алексей Владимирович! Фи-зи-чес-ки! — воскликнул Путилов.

— Так это ж дело полиции... не наше дело... — хрипло пробасил Коншин.

— Сейчас это наше кровное дело! — возмущенно сказал Путилов. — Вспомните девятьсот пятый год — тогда уже была революция. И достаточно было иметь сильного министра внутренних дел, чтобы зарыть ту революцию в землю...

— Выходит, плохо зарыли, вылез покойничек, — послышался высокий голос Коновалова.

— Именно, Александр Иванович! Именно! Плохо зарыли, а того министра укокошили. Полиция с охранкой ту могилку даже притоптать забыли. И что получается сейчас? Царь верит правительству, а его, по сути дела, нет. Вот покойничек и вылез из могилы, и занес дубину над Россией, и нашей с вами крови этот упырь хочет напиться в первую очередь. И теперь полиции сей покойничек не по силам. В ход пойдет армия!.. — Путилов умолк, порывисто дыша, требовательно смотрел на всех по очереди, но никто не смотрел на него — сидят в креслах, как барсуки в норах, каждый сам по себе.

И снова подал голос Вышнеградский.

— И все-таки поскольку наши силы теперь крепко завязаны в один узел с капиталами наших союзников, мне кажется, надо кликнуть на помощь их — вместе, господа, воюем с германцем, давайте вместе душить и революцию... — сказал Вышнеградский.

— Александр Иванович, скажите мне... — Путилов задохнулся от гнева, но мгновенно справился с собой и продолжал: — Когда горит ваш дом, под крышу уже занялся, побежите вы за пожарниками в другой город? — Путилов осуждающе покачал головой и продолжал: — Разрешите мне, Александр Иванович, несколько подробнее остановиться на этом, причем я заранее прошу у вас прощения, что позволяю себе разъяснить ваши проблемы вам. Итак, западные финансисты советуют нам поскорее кончить войну. Знаете, что за этим советом? Они прекрасно осведомлены обо всем. Знают, что истощены силы Германии и наши. Знают о реальной угрозе революции и для нас и для Германии. И поэтому их идея проста: кончайте поскорее свою ставшую безнадежной драку, и мы начнем пахоту вашей экономики нашими силами. Они хотят, чтобы ваш банк занимался не международными связями и делами русского капитала, а чтобы он превратился в исполнительный филиал их банков. Простите меня, но мы вступили в эту войну на равных с ними, и мы не хуже их знаем, где и как можно пахать... — Обычно очень сдержанный, Путилов говорил горячо, со злостью, его желтоватое лицо теперь покрылось темным румянцем. — И я бы на вашем месте ответил им: в самом деле, господа, давайте-ка кончайте войну, тем более что у вас сохранены силы, и тогда вместе возьмемся за дела согласно нашим прежним условиям. Но вы так сказать им не смогли, потому что вы знали и зна-

ете, что за вашей спиной развалена, безвластная Россия. Тогда какой же у нас выход?— спросил Путилов и энергично ответил:— Только один у нас выход — взять власть в свои руки не столько буквально, сколько по сути, чтобы Запад понял, что отныне он имеет дело не с шайкой Штюрмер — Протопопов, а с людьми, действительно ответственными за все дела России. И когда Запад увидит, что эта власть покончила с опасностью революции, он перестанет давать нам беспредметные советы, Запад начнет с нами советоваться на равных. Вопрос стоит только так... То, что мы собрались сейчас открыто, не моя личная инициатива. Пока я не могу вам сказать всего, что предопределило эту нашу встречу, но смею вас заверить — а вы знаете меня достаточно хорошо — я не позвал бы вас сегодня, если бы сам не верил, что это необходимо до самой крайней крайности.

Путилов замолчал, ожидая, что они теперь скажут. Будет ли он иметь возможность после разговора считать, что инициативная группа деловых людей для спасения России создана? Если это можно будет сказать сегодня, завтра на зов этой группы придут многие, кто трезво понимает положение и хочет действовать.

Первым заговорил Вышнеградский.

— Я обязан свой ответ расчленить на два,— сказал он, подняв взгляд на люстру.— В том, что касается меня лично и моих личных финансовых возможностей, я вашу позицию поддерживаю. Но мой банк — это его вкладчики, оказавшие мне доверие, и тут я единолично решать не могу, я могу действовать пока только как Вышнеградский.

— Спасибо и на том, Александр Иванович,— благодарно произнес Путилов.

— Мне несколько легче, чем Александру Ивановичу,— торопливо забасил Коншин.— Мой торгово-промышленный банк, как барометр, отражает сегодняшнюю погоду, и, если новая сильная власть наведет в стране порядок, барометр тут же покажет «ясно» и вкладчики банка будут единодушны, они поддержат меня. Но что будет, если из этой затеи ничего не выйдет? А личными капиталами я, Алексей Иванович, во имя этой надежды готов рискнуть.

— Спасибо, Алексей Владимирович...— ответил Путилов и посмотрел на Коновалова.

— Как вы знаете,— начал Коновалов тихим тенорком,— я несколько лет жил в Германии, в Эльзасе, получил там образование, работал на их фабриках. У немцев есть поучительное выражение, правда, оно чисто мануфактурное, но я его помню всегда: «Нитка рвется только в плохих руках». В этом смысле идея, собравшая нас здесь, сомнений у меня не вызывает, и мне еще легче решать, чем Александру Ивановичу. У меня банка нет, но у меня есть сын, который на равных со мной распоряжается капиталом. Я обязан согласовать свое решение с ним. Но я действительно хочу, чтобы мой капитал не обратился в прах. Иная моя позиция была бы просто противоестественной, и поэтому я лично «за». Но вот

что еще... Я связан немаловажными обязательствами с моей фракцией в Думе и должен сообщить о своем решении моим коллегам по фракции.

— Нельзя ли с этим не торопиться?— спросил Путилов, его и без этого ответ Коновалова устраивал мало.— Очень я боюсь вашего думского базара.

— Речь идет о двух, максимум о трех лицах,— ответил Коновалов.

— Все же я просил бы вас подождать ну хотя бы неделю. Поймите историческую ответственность момента... Поднимая меч против этой банды, мы должны быть уверены, что удар будет для нее неожиданным. У этой гидры сто голов, что ни фабрика, ни завод, то своя голова. И все они должны быть срублены в одночасье, одним взмахом. Только так будет успех. Это должно быть подготовлено в строгой тайне...

— Ну хорошо. Но долго молчать я не смогу. Вы это тоже должны понять...— сказал Коновалов.

— Как раз я этого и не понимаю!— взорвался Путилов.— На одном полюсе ваша чертова фракция, а на другом Россия, наши с вами капиталы. Как можно сомневаться, к какому полюсу быть лицом?

Коновалов молчал. Коншин и Вышнеградский тоже.

— Барсуки в норах... ничего не понимают... Ничего... Надо звать других... Сдаваться нельзя...

2

В большом двухэтажном здании петроградского главного почтамта на Почтовой улице была во дворе одна дверь, которая открывалась только изнутри. Снаружи на ней даже ручки не было. В самое разное время суток через эту дверь в здание почтамта входили мужчины в штатском. Но прежде чем войти, они нажимали кнопку звонка, скрытого под нижним железным козырьком окна, находившегося от двери шагах в двадцати, и тогда она изнутри приоткрывалась. Это был вход в служебное помещение, не имевшее прямого отношения к благородным делам почты. Специальные чиновники министерства внутренних дел производили там перлюстрацию писем. В их распоряжении было изобретение какого-то господина Савелкина, который получил за него от министерства внутренних дел 800 рублей. Это был железный, герметически закрытый бак, в котором кипела вода, а пар по резиновой трубке поступал к стоявшему рядом столу, за которым сидел чиновник, вскрывавший конверты. В резиновую трубку был вставлен мундштук от клизмы, и чиновник аккуратно водил струей пара по месту склейки конверта, вскрывал его и передавал на большой стол, за которым сидело несколько читчиков. Иные письма изымали целиком и, так сказать, в подлиннике складывали в папку с надписью «Департамент полиции». Из других выписывали цита-

ты с указанием, кто и кому это крамольное письмо отправил. Цитаты вносили в ежедневную сводку, у которой было глухое, для непосвященного непонятное название «Сводка изъятий».

К середине 1916 года количество перлюстрированных писем достигло 10 тысяч, и по случаю сей круглой цифры четверо чиновников получили от министерства внутренних дел наградные от 40 до 125 рублей. Об этом было распоряжение по департаменту, неосторожно написанное начальником департамента Васильевым прямо на рапорте старшего чиновника «почтовой группы» тайного советника Мардарьева.

Впоследствии Протопопов будет двумя руками открещиваться от этого своего почтового ведомства, будет говорить, что он только слышал про перлюстрацию от кого-то, но позже, уличенный документами, признает, что массовая перлюстрация писем была и что она обходилась государству в 130 тысяч рублей каждый год. Признает он и то, что иные изъятые письма он сам возил в Царское Село — царю и царице.

К сожалению, архив с этими письмами пропал — в министерстве Протопопова были предусмотрительные люди. Сохранилось только две папки, оказавшиеся в личных бумагах начальника департамента полиции Васильева. Среди писем, изъятых в ноябре — декабре 1916 года, оказалась копия письма из действующей армии, по-видимому, командира полка какому-то, судя по откровенности письма, близкому его другу и тоже из военных, но жившему в Петрограде. Конверта при письме нет. На самом письме рукой Протопопова написано только одно слово «Доложено». Любопытно, кому? А на приколотой к письму бумажке начальник департамента полиции написал: «Копия направлена начальнику охранного отделения».

Письмо начинается с воспоминаний о недавних днях, проведенных автором письма в Петрограде, в семье человека, которому он писал. Целый абзац поклонов «супруге твоей очаровательной», «безусым продолжателям твоего рода» и еще каким-то лицам, называемым по именам.

А далее автор письма пишет:

«...Настроение у меня по-прежнему ужасное от безысходности и бессилия перед стихией событий. Не развеяли его ни поездка в столицу, ни твои старания, тем более что здесь по возвращении я получил новый удар. Скажу тебе прямо — твой оптимизм, если он не был только от желания поправить мое настроение, происходит или от твоей полной слепоты, или от умышленного нежелания задуматься над происходящим. Не серчай за эту откровенность, но посуди сам.

Помнишь нашу поездку за Нарвскую заставу, на пункт формирования пополнения, и как на Петергофском шоссе твой автомобиль был задержан на целый час буйствующей толпой фабричных, запрудившей улицу и кричавшей гадости по поводу священных для нас с тобой лиц и монаршей власти. А вот что ждало меня в полку. На станции меня встретил ординарец. Спрашиваю, что

в полку, а он отвечает — митинг. Что за митинг? Не знаю, говорит, как раз за вами поехал, а устроили митинг большевики.

Приезжаю в полк, и вправду митинг. Весь полк митингует, даже с передовой пришли. На ящике из-под снарядов стоит оратор — солдат в расхристанной шинели — и кричит то же самое, что мы слышали с тобой на Петергофском шоссе. Ну хорошо — там была, как ты сказал, стихийная толпа, которой все равно, лишь бы не работать, но здесь-то у меня фронт, здесь наши устои каждый день и час освящаются народной кровью, здесь решается судьба России. И здесь я слышу омерзительнейшие слова о государе, о династии и о священной нашей войне. Моя рука невольно потянулась к нагану, но в это время меня поразила мысль: почему в этого оратора не стреляет мой полк? Почему стоят в покорности мои офицеры? Я сжал зубы и прошел в свою избу. А когда кончился митинг, вызвал к себе одного солдата, я воюю с ним вместе с октября четырнадцатого года, когда я только принял батальон. Он был трижды ранен, но возвращался ко мне, он стал для меня, если хочешь, символом бессмертия России, а для полка вроде реликвией, последние месяцы я, признаться, даже охранял его от беды, отводя под разными предлогами с передовой, когда там было жарко. Я зову его по имени-отчеству, и он меня тоже. Сам он, между прочим, из фабричных, работал на Ивановской мануфактуре слесарем, и в полку он тоже, когда надо, чинит пулеметы. Удивительно народный тип. Трудолюбив. Даже про войну говорит, что это работа. Хозяйственный. Рассудительный. Его всегда здравые, ясные мысли прямо поражали меня. И вот я вызвал его и спрашиваю: Прохор Фадеич, был на митинге? Отвечает: был. Что скажешь? Молчит, в пол глядит. Спрашиваю: кто это выступал? Отвечает: большевик, кто же еще. Откуда он взялся? Да это ж, отвечает, наш солдат, неужели вы его не признали? Пулеметчик наш. В журнале еще он был на фотографии вместе с царицей в ее лазарете, она ему «георгия» вешала... Я прямо обомлел — действительно же, ораторствовал он... И снова я спрашиваю Прохора — что он думает про митинг? Молчит. Прошу его — скажи, не бойся, мне же надо, мол, знать, что думают мои солдаты. И вот что я услышал. Если думать да глядеть, какая наша жизнь, правду он говорил, наш пулеметчик. Правду. Я не выдержал, закричал: а ты, значит, три года воевал, трижды пролил свою кровь за кривду? А он отвечает: тут, на фронте, о России наша забота, чтоб не извел ее германец под корень. Все ж она нам мать-отчизна, даже если другой раз она нам и вроде мачехи. Пулеметчик-то отчизну и не трогал, он только власть нашу нынешнюю трогал... Тогда я ему говорю: он же, этот наш пулеметчик, хочет убить государя нашего. А Прохор на это: зачем убить? Только свергнуть, раз он довел Россию до такой беды, что у народа никакой жизни не стало. Я ему: как тебе не стыдно? Тебе царица «георгия» вручала, говорила с тобой. А он усмехается: в лазарете потом в курилке про это смеялись. Так что, если по правде, мне бы лучше тот «георгий» от вас принять... Я так растерялся, что попросил его уйти... Он потоптался и, пре-

жде чем уйти, сказал: зря серчаете, правда, она, какая ни есть, все равно правда...

Пишу тебе утром. Всю ночь не спал, но на позиции, слава богу, тихо. И вот что я хочу тебе сказать: России нашей с тобой, какую мы знали и любили, какой присягали, больше нет, а мы, ее верные сыны, подведены к обрыву... Я не знаю, кто такие эти большевики, которые собрались делать другую Россию, но если мой Прохор пошел за ними, наше с тобой дело плохо и тебе с твоим оптимизмом будет еще хуже, чем мне. Себя я сейчас кляну за одно — столько я на фронте со своими солдатами и ни разу не доходил до мысли, что они народ России, народ, который, как душой ни криви, приличной жизни не знал. А для большевиков народ и те, что бунтарили на Петергофском шоссе, и мои солдаты. Вечером ко мне по поводу митинга забегал один мой подпоручик — хороший мальчик, на двух языках изъясняется. Прибежал, глаза навыкате: господин полковник! Это же разбойники! Они же хотят у моего отца отнять родовое имение!.. И я подумал: конечно, этот подпоручик за большевиками не пойдет и их никогда не поймет. Но он-то в роте один...

Продолжаю письмо уже вечером. Весь день была крутня по поводу митинга. Приезжали из дивизии вести следствие. Пятерых арестовали, в том числе и оратора-пулеметчика. Объявлено, что будет военно-полевой суд. Я глядел на их суету и думал: поздно, господа. Поздно... А только что у меня был Прохор. Сам пришел, и не просто сам, а от солдат и насчет арестованных. Думаешь, просил за них? Отнюдь. Его послали предупредить меня, что, если случится что с арестованными, быть беде. И добавил — полк не позволит их тронуть. Так и сказал — полк. И я это должен понять так: полк этот уже не мой, а их полк...

Вот так, дорогой мой друг. А ты говоришь — все утрясется. Большевики делают теперь такую тряску, от которой все не утрясется, а провалится в тартарары.

Извини меня за это неприятное письмо, но мне больше некому сказать о своем смятении и горе...»

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

1

Но вот почувствовал тревогу и Манус...

Две недели он проворачивал грандиозную сделку, связанную с подрядами на строительство военных кораблей. Сам морской министр дал на это дело свое сиятельное «добро». Манус уже прошел по всем ведомственным лабиринтам, все предусмотрел, одних купил, других обманул, и, когда осталось только сегодня утром получить твердо обещанную подпись одного и не очень уж высокого морского чина, все полетело к чертям. И не

конкуренты его обошли, а просто само это дело рухнуло — не будет ни кораблей, ни подрядов на их строительство.

И все-таки Манус сразу не сдался — помчался в Царское Село к придворному адмиралу Нилову, которого он обласкал раньше таким подарком, каким он еще никого не одаривал, чтобы тот нужное слово во дворце замолвил. И замолвил же, раз морской министр Григорович, который неделю жался, сразу дал «добро». Что же случилось? Каким-то вторым сознанием Манус чувствовал, что выяснить это ему крайне необходимо, даже не думая уже о потерянном огромном доходе...

Адмирала Нилова он застал в его особняке, расположенном вблизи Александровского дворца — резиденции Николая. Ординарец взял у Мануса его визитную карточку, провел его в приемную, обставленную, как дамский будуар, бархатными креслами, пуфиками и гнутыми диванчиками, в углу на подставке из красного дерева — беломраморный ангел с распахнутыми крыльями. Однако на стене в массивной золотой раме висела огромная картина, изображавшая сражение парусных кораблей.

Прошло, может быть, целых полчаса, прежде чем появился Нилов. Он вошел шаткой походкой, в расстегнутом кителе и домашних туфлях вместо сапог. Был он не то пьян, не то в диком похмелье — заплывшие глаза, синющие губы, волосы клочьями. Повалившись в кресло за столом, он смотрел на Мануса глазами мученика.

Манус стал рассказывать, что произошло, но на первых же его словах Нилов сморщился как от боли и сказал сипло:

— Я все знаю... подрядов не будет...

— Но что случилось? Еще вчера морской министр...

— Подрядов не будет,— простонал Нилов.

— Почему?

Нилов не отвечал и смотрел на него тяжелым свинцовым взглядом, от которого Манусу стало безотчетно страшно.

— Почему?— повторил он негромко.

Адмирал уронил тяжелую голову на грудь и сказал глухо:

— Мой вам совет... уезжайте... куда глаза глядят.

— Не понимаю...— пробормотал Манус.

— Не сегодня, так завтра... поймете... Уезжайте... Я спать хочу...— Нилов и впрямь закрыл глаза и засопел.

И Манус уехал... Всю дорогу понукал шофера:

— Прибавь... Прибавь...

А тот только крутил головой и кричал, не оборачиваясь:

— Гололед...

Еще и метель вдруг закрутила, забелила все вокруг, автомобиль точно повис в этой белой мути. Манус крикнул шоферу:

— Может, остановимся?

Шофер покрутил головой — неужели он видел дорогу?

Манус зажался в угол сиденья и пытался думать — не получалось. Для того чтобы выстроить мысли в порядок, ему не хватало

чего-то самого важного, чего он попросту не знал... Что же могло случиться?

Занавес метели упал, когда въезжали в Петроград. Все вокруг стало привычным и прочным, но страх не проходил. Сначала он распорядился ехать домой, но тут же свое распоряжение переменил — в министерство внутренних дел. Оказаться сейчас дома он побоялся, а Протопопов должен все знать, у него все и прояснится...

Когда он вошел в кабинет, Протопопов, понурясь, сидел за столом. Увидев Мануса, встрепенулся всем телом:

— Где вы пропадали?

— Ездил в Царское Село...— садясь в кресло и пряча свое смятенное состояние, ответил Манус, всматриваясь в непонятно изменившееся лицо министра.— А что случилось?

— Я разыскивал вас по всему городу,— почему-то почти шепотом говорил Протопопов.— Чего ездили в Царское?

— Дело было... к Нилову...

— С подрядами для флота?

— Все лопнуло...

— Я знаю... знаю...— закивал Протопопов.— Со вчерашнего дня все новые государственные заказы и сделки остановлены,— без паузы:— Игнатий Порфирьевич, нам надо посоветоваться...— Протопопов вышел из-за своего громадного стола и жестом пригласил Мануса сесть вместе с ним за стоявший в углу кабинета маленький столик.

Министр долго смотрел на Мануса тревожно и боязливо, будто еще не решив, говорить ли.

— Как вы думаете, Игнатий Порфирьевич, распорядиться своим капиталом?

— То есть...— поднял брови Манус, играя непонимание, а сам в эту минуту вспомнил вдруг свой недавний разговор с Грубиным о том, что делать с капиталом, и подумал: вон еще когда можно было все начать...

— Хочу вас категорически предупредить, что я говорю с вами сейчас не как министр внутренних дел...— продолжал Протопопов.— У меня тоже есть капитал, и настало время принять меры к его сохранению.

— Остановка правительственных заказов достаточное к тому основание?— деловито спросил Манус. Он уже успокоился, когда речь идет о деньгах, он предпочитает, чтобы все было выяснено до конца.

— Понимаете, какое дело...— затрудненно проговорил Протопопов.— В общем смысле ничего не изменилось, все идет своим чередом, но этот акт вызовет... новое резкое падение рубля, и в рассуждение этого о капитале следует позаботиться... и не откладывая...

Так начался этот разговор, закончившийся разработкой сложного плана их совместных действий по спасению капиталов. Деньги будут переведены в швейцарский банк. Это обеспечит Протопо-

пов, воспользовавшись правом министра внутренних дел оформлять такого рода переводы даже в военное время. Но сделать это нелегко, его враги могут докопаться до сути операции и помешать. Чтобы они не успели этого сделать и чтобы он мог быть тверд в проведении операции, ему необходимо получить безоговорочную поддержку царя и царицы. Тем более что возник слух, будто на его пост кого-то уже готовят. Организовать такую поддержку должен Манус, это его взнос в общее дело. Наконец, на случай беды делается так, будто переводятся деньги одного Мануса...

На все это Манус согласился и дивился про себя, что Протопопов сумел так хитро продумать эту операцию — все-таки не зря говорили, что раньше делец он был отменный...

Через час домой к Манусу явился перепуганный насмерть срочным вызовом Бурдуков. После смерти Грубина он все свои надежды связывал с Манусом, и он верил ему больше, чем Грубину. В свою очередь, и Манус, помня обо всем, что сделал для него Бурдуков, старался подавить в себе брезгливое чувство к этому наполовину разрушенному страхом и пьянством человеку.

— Я весь внимание...— Бурдуков слезящимися глазами преданно смотрел на своего кормильца и спасителя.

— Дело срочное...— начал спокойно Манус, будто речь шла просто еще об одном его поручении.— Надо встретиться с Распутиным. Незамедлительно. Берите мой автомобиль и поезжайте к нему. Он должен сегодня же повидать ее... понимаете?— Бурдуков быстро кивнул.— Задача одна — он должен там укрепить положение Протопопова, на него готовятся наскоки, и их надо отвести. Никаких новых кандидатур. Тронуть его — это смертельная опасность трону и государству... а значит, и нам с вами...— На массивном налитом лице Мануса дрогнула тень улыбки.— За это Распутину миллион. От меня. Слово мое закон, вы знаете и ему это внушите.— Манус помолчал и, положив руку на плечо Бурдукова, сказал мягко и доверительно:— Думаю я, что это последнее мое поручение вам и ваша последняя возможность доказать мне свою преданность, после чего вы о своей судьбе можете уже не тревожиться...— Он чуть толкнул его в плечо.— Поезжайте с богом...

Не прошло и часа, как Бурдуков привез Распутина на квартиру опереточной артистки Лермы, где они обычно встречались...

Распутин был мрачный, злой, выслушал Бурдукова рассеянно и сказал:

— Надоело и ни к чему. Слаб оказался Протопопов. Слаб, вожжу не держит... ерзает куда попало.

— Это не разговор, Григорий Ефимович,— решительно остановил его Бурдуков.— Кому, кому, а вам выходить из дела рано. Сами недавно жаловались, что мошна на покой еще не тянет.

— Зато у вас тянет,— проворчал Распутин и вдруг стал изпод косматых бровей рассматривать висевшую на стене фотографию какой-то балерины в пачке... Потом повернулся к Бурдукову

и, глядя на него затуманенными серыми глазами, сказал пророческим голосом:

— А Россия меж тем гибнет.

— Причитания поберегите для других,— строго сказал Бурдуков, в деле он умел быть крут.— Сейчас давайте о деле.

— Дело, дело... Что толку от него?— шумно вздохнул Распутин, расстегивая ворот синей шелковой косоворотки.

— А то, что Манус обещает вам, если Протопопова не тронут, миллион. А если он что обещает, это, вы уже знаете, закон,— внушительно сказал Бурдуков.

— Врешь.— Утопленные в глубоких ямах глаза Распутина заблестели.

— В таких делах не врут, Григорий Ефимович,— ответил Бурдуков.

— Вам верить — землю жрать,— проворчал Распутин, посмотрел на Бурдукова испытующе.— Я этих барышников знаю. К тому же мне передали, что старый Горемыкин хочет собрать для меня миллион среди своих. Эти понадежней.

Бурдуков молчал, соображая, что говорить дальше, его худое землистое лицо подергивал нервный тик...

— Ну что ж, Григорий Ефимович, идите к Горемыкину,— холодно и с угрозой сказал Бурдуков.— Но только дадут ли? Кроме всего, они вам на дорожке Пуришкевича приготовят. Игнатий Порфирьевич как раз сказал: надо, чтобы Григорий Ефимович поскорей получил мой миллион и выскочил с ним живьем. Пусть это будет нашей главной отплатой ему за все, что он для нас сделал.

— Смотри, барышник, а с богом в душе,— садясь в кресло, успокоенно произнес Распутин.

— Вообще идти за этим миллионом к Горемыкину или к великим князьям вам не резон,— продолжал Бурдуков, видя, что Распутин качнулся...— Сколько они на вас помоев вылили... гордость надо иметь, Григорий Ефимович, да и времени у всех нас в обрез, не забывайте об этом. А если Манус говорит «сделаю» — закон. И вы и я это знаем.

— Продаст — прокляну,— шепотом сказал Распутин и поднял руку со сложенными перстами для проклятия.

— Манусу, Григорий Ефимович, лучше не грозить,— скромно потупив взгляд, тихо сказал Бурдуков.

— Про себя проклял,— ответил Распутин.— Больно много развелось неверных.— Он вдруг легко, пружинно выбросил из кресла свое крупное литое тело и, одернув косоворотку, сказал:— Я у мамы буду завтра. Все сделаю.

2

Пятого декабря под вечер, предварительно созвонившись с Вырубовой, Распутин ехал в Царское Село.

Настроение у него хорошее. Кажется, крепко запахло миллионом, и сегодняшняя поездка дорогу к нему укорачивала. Он сде-

лает все, что надо этому Манусу, да и дело-то не очень страшное. Про фронт узнавать не надо. А царица и сама за Протопопова горой...

Автомобиль двигался медленно — падал снег, и впереди за пять шагов шевелилась непроницаемая мгла. Распутину вдруг показалось, что его везут совсем не туда.

— Сколько еще до Царского? — наклонился он к шоферу.

— Верст десять осталось, — ответил ему сидевший рядом с шофером охранник и добавил: — Чуть опоздаем.

— Не дело опаздывать, — проворчал Распутин, откидываясь на спинку сиденья.

— Гнать нельзя, — сердито сказал шофер.

— А с чего бы тебе серчать? — ласковым басом спросил Распутин.

Шофер не ответил, только кивком головы показал вперед, где кружилась метель.

В круглой прихожей дворца его встретила Вырубова в сером оренбургском платке на толстых плечах, как всегда, приложилась к его руке.

— Слава богу, приехал, — крестясь, сказала она. — А то уж Александра Федоровна нервничать стала. Говорит, как вы могли позволить Другу ехать в такую погоду.

— Бог меня не обидит... — сказал Распутин, твердо шагая по ковровой дорожке дворцового коридора, отставая от него, прихрамывала Вырубова.

Царица ждала их в кабинете царя. На небольшом овальном полированном с бронзой столе был накрыт чай. Кипел желтый сверкающий маленький самовар, и ярко, как бирюза, голубели тонкие чашки, чайник и ваза с печеньем. Распутин заметил, что в стороне на маленьком столике приготовлена его любимая «Мадера» из Массандры, и низко поклонился, опустив к полу сильную руку:

— Здравствуй, светлая моя, здравствуй на радость России, — говорил он мягким баском, выпрямившись, благословляя царицу и властно вглядываясь в ее неуловимые голубые глаза. Она взяла его тяжелую руку, наклонилась и благоговейно поцеловала ее. Он видел в ее глазах тревожный, вопрошающий блеск и решил, что прежде всего надо погасить ее тревогу, которая всегда опасна для делового разговора.

В углу в камине, обшитом красным деревом, весело потрескивали поленья. Багровый отсвет играл на полированном краснодеревном потолке и его медной поковке.

Распутин оглядел хорошо знакомый ему кабинет царя и заговорил весело, непринужденно:

— Хорошие сны вижу... Сегодня под утро вижу... святой ко мне пожаловал. Спрашивает: чего это ты, Григорий, молитву на ночь укоротил? Я ему как на духу, так и так. Молиться, говорю, устал. Видать, больно живуча всякая мерзость. А он говорит: «Не ждал я от тебя, Григорий, такого, не ждал». И спрашивает, что

бывает, когда дом строится? Мусор и грязь кругом, а потом все убирают, и стоит всем на радость новый светлый дом. Подумай, говорит, об этом за утренней молитвой. Сказал и исчез...

— Поразительно... поразительно...— прошептала царица; восторженно глядя на Распутина, она истово перекрестилась.— А вчера утром сын спрашивает у меня: мама, а куда девался мусор, который горами лежал, когда строили нашу церковь? Поразительно! Аня, ты понимаешь, как это все связано, как это все значительно! Господи!— Они все трое перекрестились.

Вырубова подошла к Распутину и, осторожно взяв под локоть, повела к чайному столу. Они остановились, ожидая, когда сядет царица.

— Прошу, друг мой,— сказала царица, опускаясь на кресло.

Распутин одернул синюю шелковую рубаху и сел. Вырубова рядом с ним.

— Такой вещий сон, понимаете, государыня-матушка. Так что после утренней молитвы я сразу к телефону. Ане, значит, звоню, так и так... Имею жажду приехать в вашу обитель света, мудрости и надежды...— Он снова окинул кабинет веселым взглядом и продолжал:— Дураки говорят — царя во дворце нет, а он всегда здесь. Вот и сейчас я вижу его добрые глаза, слышу его спокойный голос, пью глотками его мудрость.

— Поразительно... поразительно,— снова прошептала царица, смотря на Распутина просветленно и восторженно.

— Когда я странствовал по скитам,— начал Распутин новый, заранее приготовленный рассказ,— однажды встретил я инока-отрока, лет ему было шестнадцать, не боле. Между прочим, дюже похож был на обожаемого наследника нашего — такие же большие глазенки и светлые кудельки. А уже коснулся его души всевышний, одарил его великим пониманием божественного помысла. Разговор у меня с ним был на всю жизнь памятный. Ведь дитя еще, а сколько в нем было понимания. Я тогда веру искал. Спросил у него: что есть вера? Глянул отрок на меня своими большими глазами и говорит: «Вера — это все доброе, что делают люди». Великая истина божьего отрока! Истина!— Серые глаза Распутина горели пламенем веры, лицо сделалось бледным, скулы обострились.

Как любила его, как верила ему в такие минуты царица!

— Истина, истина,— повторяла она, мелко крестя грудь.

— А сколько же мы видим вокруг людей без веры!— вдруг громко и гневно воскликнул Распутин, сдвинув косматые брови и устремив на императрицу налитые болью глаза.

— Да, да, да, да,— закивала царица. И вдруг, вскинув голову, добавила:— Но есть и с верой люди. Есть!— Она встала, прошла к большому столу и принесла оттуда лист бумаги.— Прочитайте.

Григорий не очень-то любил это занятие — чтение, но побежал по строчкам взглядом, спотыкаясь на словах. Это была телеграмма царице от верных ей монархистов из Архангельска: вдруг объявились вот сыны «Союза русского народа». Они клялись ей

в готовности сложить голову, защищая русский трон от басурманов.

Распутин долго читал, отставив бумагу далеко от глаз.

— Хорошими людьми написано... с большой верой люди,— многозначительно и тихо промолвил он, прочитав.

— Я должна им ответить, Григорий Ефимович,— сказала царица.— Помогите мне, чтобы слово божье было в моем ответе. Я их поблагодарю, а потом хорошо бы слова такие... от бога, от веры. Помогите.

— Записывайте,— сказал Распутин и закрыл глаза с закинутой вверх головой. Вырубова с удивительной для ее комплекции проворностью поднялась и, хромая, принесла с большого письменного стола тетрадь и карандаш.

Когда она уселась и устроилась писать, Распутин приоткрыл глаза и точно в полусне начал диктовать:

— Слова ваши добрые — вера божья... Клятва ваша истинно народная, православная, и в ней опора трона во веки веков...

— Хорошо... очень хорошо,— кивала царица, заглядывая в тетрадь, где писала Вырубова.— Мы напечатаем это в «Новом времени» — и письмо, и мой ответ. Пусть все ироды знают, что́ на самом деле думают и чего хотят истинно русские люди.— Царица гневно глядела прямо перед собой, и на белых ее щеках проступали розовые пятна.

— Истинно, истинно,— пророчески произнес Распутин и продолжал:— Надо беречь трон от людей без веры. Так и шныряют они возле нашего батюшки-царя.

Царица повернулась к нему, спросила тихо:

— О ком вы?

— Вон едет в Ставку новый премьер Трепов. Чего он едет? Своих будет протаскивать на вышку, а как же. Отставку ему царь не дал. Он теперь думает — незаменимый, и под это потащит своих и будет спихивать неугодных. Полетят верные люди, Штюрмером призванные. Первым делом, конечно, Протопопов. А Алексей-то Дмитриевич единственный с такой большой верой и преданностью. Но Трепову он не нужен, мешать ему будет. В юстицию он своего Макарова уже сунул, теперь очередь Протопопова. На него охоту ведут с двух сторон: Трепов мутит, и Родзянко мутит. Обоим нож в горле, что Протопопов служит не им, а трону. Поглядел бы наш батюшка-царь в глаза Трепову, а потом в глаза Протопопову и все бы прочитал до дна. У одного глаза без веры, а у другого верой сияют.

— Неужели они по-прежнему хотят его убрать?— в ужасе спросила царица, глядя на Распутина расширившимися зрачками.

— А чего же еще, светлая вы моя. А трогать Протопопова нельзя. Большая будет беда. Очень большая.

— Нет, нет,— подняла царица белые руки.— Я не позволю!— вдруг тонким голосом крикнула она.

— Только вы, светлая моя, и можете спасти трон от этой беды, только вы. И раз вы этого желаете, я специально за вас вознесу богу молитву.

— Храни вас бог, Григорий Ефимович. Храни вас бог! — сказала царица с глазами, полными слез.

— И тебя храни всевышний, государыня-матушка, и деток твоих чудесных, сладких. Отовсюду слышится хвала вашим дочерям, — помолчав, начал он как будто новую притчу. — Столько добра они делают по своим лазаретам. Значит, святой верой они преисполнены. И от этого красота у них и в лицах и в душах. А через них людская любовь и к трону поднимается.

— Да, да, девочки работают от всей души, не знают усталости, полны впечатлений. Я слушаю их рассказы и вижу, как они день ото дня взрослеют.

— Рядом с ними мужает и обожаемый нами наследник, — продолжал Распутин, как бы сдерживая распиравшую его радость.

— Да, да, — просияла царица. — Вчера, слышу, он спрашивает Ольгу — раненые солдатики плачут?

— Божье дело, божье! — серьезно, даже сурово сказал Распутин и встал. — Благодарю вас, светлая моя, за эти минуты душевной радости.

— Мы же забыли о чае! — растерянно воскликнула царица. — Аня!

— Пищу душевную с той мешать не надо, — торжественно вымолвил Распутин и стал низко кланяться, пятясь задом к дверям.

Вернувшись в Петроград, он позвонил Бурдукову и, не называясь, сказал:

— Сделано, — и дал отбой.

Да, дело было действительно сделано. На другой день царица писала в Ставку Николаю:

«Он (Распутин) был в хорошем, веселом настроении. Видно, что он все время думает о тебе и что все теперь будет хорошо. Он беспокоится по поводу предстоящего приезда туда Трепова, боится, что он снова тебя расстроит, привезет ложные сведения, я хочу сказать — новости, и подсунет своих кандидатов взамен кого-нибудь на его место для путей сообщения. Жаль, что ты не одобряешь Валуева. Это очень верный и честный человек. Затем поскорей отделайся от Макарова, не мешкай (прости меня), мне лично хотелось бы, чтобы ты взял Добровольского. По-видимому, история, рассказанная тебе Треповым, неверна. (Есть однофамилец его, тоже сенатор.) Посылаю тебе выдержку из газеты, списанную ею (Вырубовой) относительно случая, разыгравшегося между Треповым и милым Добровольским. Он (Распутин) предполагает, что это акт мести.

Но Калинина [1] оставь, друг мой. Я знаю, что надоедаю тебе, прости меня. Но я ни за что бы этого не делала, если бы не боялась,

---

[1] Фамилией Калинин в переписке царя и царицы назывался Протопопов.

что ты снова станешь колебаться. Держись своего решения — не поддавайся. Как можно колебаться между этим простым, честным человеком, который так горячо нас любит, и Треповым, которому мы не можем доверять. Не уважать, не любить, а наоборот? Скажи ему, что этот вопрос исчерпан, что ты запрещаешь ему вновь касаться его и вести совместную игру с Родзянко, который добивается отставки Протопопова. Он служит тебе, а не Родзянко, и раз ты сказал, что ты не собираешься его отставить, он обязан работать с ним. Как он смеет идти тебе наперекор? Ударь кулаком по столу! Не уступай (ты говорил, что в конце концов тебе придется это сделать) и будь властелином. Слушайся твоей женушки и нашего Друга. Доверься нам! Погляди на лицо Калинина и Трепова. Ясно видна разница: белое и черное. Пусть твоя душа читает вернее».

И дальше в этом же письме:

«Получила две милые телеграммы из Архангельска от монархической партии. Я ответила с помощью нашего Друга, и он просит тебя непременно позволить, чтобы телеграммы эти были напечатаны. Скажи Фридериксу, чтобы он дал нам на это разрешение, а также чтобы печатал первой их телеграмму и мою в «Новом времени». Это откроет людям глаза...»

Так Распутин еще раз спас Протопопова... Но, кажется, это было последнее его крупное дело. И вряд ли он успел получить от Мануса обещанный миллион...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

1

Зашевелилась Америка... Нет, нет, о ее вступлении в войну против Германии речи еще не шло — американских толстосумов вполне устраивало невмешательство в войну и продолжение гигантского бизнеса на поставках обеим воюющим сторонам. Однако в Америке знали и о том, что война уже до предела измотала всех ее участников, знали и о возникновении новой, грозной и для Америки опасности — революции.

Германия обратилась с нотой к американскому президенту Вильсону и папе римскому о ее готовности вступить в переговоры о мире. Почти одновременно и как бы поддерживая этот шаг Германии, Вильсон обращается в Берлин, Лондон, Париж и Петроград с запросом — на каких условиях правительства этих стран готовы прекратить войну? Все было ясно — Америка, прежде чем вступить в войну, должна была знать, каковы аппетиты у ее будущих союзников и сколь покладиста сейчас Германия. Без этого невозможно высчитать, что же может получить от войны Америка. Железная деловитость американцев общеизвестна.

В Лондоне и Париже все это понимали и к запросу Вильсона отнеслись с плохо скрытым раздражением, отвечать на него не торопились — зачем раньше времени раскрывать свои карты? Но как

к запросу американского президента отнеслась Россия? Этот вопрос серьезно тревожил... Бьюкенен и Палеолог получили жесткие инструкции — выяснить позицию России и сделать все, чтобы она не позволила себе какого-нибудь самостоятельного ответного демарша.

С утра английский и французский послы в английском посольстве совещались о том, что им предпринять. Их положение осложнилось тем, что в тот же день, когда они получили инструкции, новый, недавно назначенный министр иностранных дел России Покровский обратился к ним с просьбой проинформировать его о позиции их стран. Оба они немедленно запросили у своих правительств разъяснений, что им следует сказать русскому союзнику. Когда придут ответы, неизвестно, а Покровский предупредил, что Россия с ответом Вильсону тянуть не намерена.

Оба они прекрасно понимали, чем встревожены их правительства. Россия вложила в войну неизмеримо больше своих союзников, а ее доля в послевоенном разделе сфер влияния неправомерно мала. Как к этому отнесется Америка? Не использует ли это для давления на союзников России? Наконец, сама Россия не пойдет ли вдруг на сепаратный мир с Германией в расчете выиграть на этом, тем более что в России идея такого мира родилась уже давно и муссируется все время.

Что же сейчас могли сказать Покровскому послы Англии и Франции?

Бьюкенен молча ходил по кабинету — сюртук расстегнут, красивое лицо замкнуто выражением недовольства. Палеолог, заложив руки за спину, стоял у окна и смотрел на торосную ледяную Неву, его последнее время все больше раздражало, что английский коллега на каждом шагу поучает его, а свои суждения произносит как непререкаемые истины, всякий раз подчеркивая их несубъективность: «Мы — англичане — считаем...», «Мы — Англия — не позволим...»

Сейчас они молчали после короткой стычки как раз на этой почве... Палеолог высказал мысль, что у России все-таки есть основание быть неудовлетворенной тем, что ей обещано после войны. Бьюкенен, гордо подняв седую голову, заявил, что Англия ничем России не обязана. Палеолога это возмутило, но он ответил мягко, что Россия вправе думать об этом иначе... Бьюкенен вспылил и с мгновенно покрасневшим лицом спросил: «Скажите, мы с вами еще союзники?..» — «Да, — ответил Палеолог, — но мы с вами еще и союзники России...»

Бьюкенен прекратил хождение из угла в угол, сел за стол и сказал устало и примирительно:

— Если мы с вами спорим, бог мой, что же будет за столом больших переговоров?

Палеолог принял руку примирения, обернулся от окна к Бьюкенену и сказал с улыбкой:

— Давайте верить, что в спорах родится истина...

— Хотелось бы...— кивнул Бьюкенен и, помолчав, продолжал:— В просьбе Покровского мне видится хитрость — они хотят сегодня знать, что отводится России. А за этим надежда, не стали ли мы к концу войны щедрее к России?

— А если никакой хитрости нет?— Палеолог подошел к столу и опустился в кресло.— А есть только то, что сказал Покровский,— опасение, что русский ответ Вильсону в чем-то не совпадет с ответами союзников.

— Что значит «не совпадет», если есть подписанные на высшем уровне документы, которых никто не дезавуировал? Мы — англичане — свою подпись расцениваем как закон. А ссылка на возможность несовпадения — это и есть намек на то, что те документы могут быть дезавуированы.

Бьюкенен победоносно смотрел на своего французского коллегу — вот вам железная английская логика! Палеолог задумчиво поднял густые брови:

— Но в таком глобальном потрясении мира, как эта война, могут возникнуть и какие-то новые идеи, особенно когда наступает наконец ситуация мира и можно подсчитать, что положено каждым на алтарь войны. Не считаясь с этим, можно попасть впросак...

— Вы имеете в виду возможность сепаратного мира России с Германией? — спросил Бьюкенен, с трудом пряча злость на своего коллегу с его французским комплексом человечности.

— И это тоже...— кивнул Палеолог.

— Но разве русскому царю неважно, как он будет выглядеть тогда перед лицом своих союзников?

— Когда им столько брошено в костер войны, ему можно об этом и не думать.

— Мы — Англия — отказались бы это принять!— отрезал Бьюкенен, вороша бумаги на столе.

И опять они надолго замолчали. Палеолог, прикрыв глаза, думал о том, что он должен еще помнить и о широких симпатиях во Франции к России при одновременном прохладном отношении к англичанам. Не может не помнить об этом и его правительство... Бьюкенен же думал только об одном — под каким предлогом можно уклониться от выполнения просьбы русского министра... Не считаем возможным вмешиваться в столь высокое государственное дело... Нет, это неубедительно... Вот что надо! Мы плохо осведомлены и опасаемся ввести в заблуждение. Но запросы своим правительствам нами посланы, надо подождать ответы.

Эту мысль Бьюкенен и высказал. Палеолог облегченно согласился и тут же ушел...

2

Палеолог вернулся в свое посольство... От разговора с Бьюкененом разболелась голова, и он решил, не появляясь в служебных помещениях, пройти в квартиру, принять таблеток и прилечь на часок.

Швейцар посольства — молодой стройный красавец, на которого неизменно обращали внимание гости посольства,— принимая шубу, поздравил посла с хорошим днем русской зимы. Палеолог слепо посмотрел на него — о чем это он? — и не ответил, только улыбнулся дежурно и, устало сутулясь, направился к лестнице. Скорей бы прилечь, забыть хоть на час всю эту бесконечную кутерьму. Поднимаясь по устланной мягким ковром лестнице, он уже начал расстегивать пуговицы тесного жилета, как увидел явно поджидавшего его вверху советника Поля Ратье — коротенького, с округлым брюшком, с аккуратными стрелочками усов под орлиным носом. Он издали показывал ему какую-то бумажку и от нетерпения переступал с ноги на ногу. Этого человека, связанного с французской разведкой Сюрте Женераль, Палеолог любил за веселый нрав и уважал за умелую, полезную работу, шутя называл его — мои глаза и уши... Что же он там добыл?

Ратье не утерпел, спустился на несколько ступенек навстречу послу и отдал ему бумажку. Это было приготовленное им для отправки в Париж краткое донесение об убийстве Григория Распутина.

Палеолог два раза прочитал донесение и поднял взгляд на советника.

— Сенсация номер один,— сказал он тихо и, подумав, спросил: — Не выдумка?

— Этот мой агент никогда ничего неточного не давал,— ответил Ратье; его круглое лицо сияло от удовольствия, что он преподносит послу потрясающую новость.

— Все-таки я проверю. Срочно автомобиль.

Головной боли как не бывало — Палеолог уже представил себе вечерний Париж, газетчиков, кричащих на его улицах эту потрясающую новость...

Палеолог отправился в яхт-клуб, где рассчитывал повидать весьма осведомленных во всем лиц,— там в это обеденное время мог быть и великий князь Николай Михайлович... Вздымая снег, автомобиль мчался по набережной. Палеолог не без злорадства подумал: знает ли эту новость его английский коллега? Какое у него было бы лицо, если бы эту новость он узнал от него?..

В яхт-клубе Палеолог не пробыл и часа. Великий князь новость подтвердил, но подробностей еще не знал и он...

Теперь в английское посольство!.. Увы, Бьюкенен новость знал и разговор о ней повел в своей так ненавистной Палеологу поучительной манере...

— Мы обязаны осмыслить, что означает сие для наших с вами интересов,— с места в карьер предложил английский посол.

— Россия вернулась во времена Борджиа... Повторение пира в Имола...— задумчиво отозвался Палеолог, которому хотелось поиграть этой новостью...

Бьюкенен удивленно и осудительно посмотрел на коллегу:

— Англию интересуют политические последствия.

— Русское общество будет ликовать... И не только русское,— убежденно ответил Палеолог.

— И царица тоже? И царь?— с сарказмом спросил Бьюкенен. Устремив встревоженный взгляд в пространство, продолжал, чеканя слова:— То, что вы поименовали сенсацией номер один, учитывая все обстоятельства, может вызвать опасный взрыв, и мы должны сделать все мыслимое и немыслимое, чтобы предотвратить этот взрыв, который может привести к немедленному выходу России из войны. Вы только представьте на минуту, что сейчас происходит в Царском Селе!— Бьюкенен смотрел на Палеолога с таким выражением лица, будто кричал ему: «Ну возьмитесь же наконец за ум, отбросьте свое французское легкомыслие!»

Палеолог этот крик услышал — выдержав взгляд Бьюкенена, сказал твердо, с достоинством:

— Распутин есть Распутин, а Россия есть Россия, отождествлять эти понятия неосторожно и опасно...

Бьюкенен готов был взорваться, но сказал сухо:

— Давайте каждый подумаем и завтра встретимся...

Так во второй раз за день они расстались, весьма недовольные друг другом.

3

30 декабря 1916 года Распутин был убит. Вот что записал об этом в своем дневнике Бьюкенен:

«Утром 30 декабря Петроград был взволнован известием о его убийстве. Тремя главными действующими лицами в этой исторической драме были князь Феликс Юсупов, Пуришкевич (бывший [1] реакционер, нападавший на Распутина при открытии сессии Думы) и великий князь Дмитрий Павлович. Роль последнего была чисто пассивной, и его присутствие означало, по-видимому, его одобрение тому, что они все трое считали законной смертной казнью. Распутин, к которому была приставлена специальная полицейская охрана, по-видимому, предчувствовал опасность, и князю Феликсу, приехавшему за ним в своем автомобиле, стоило некоторого труда убедить его приехать к нему на ужин во дворец Юсуповых. Здесь его ждал ужин, напоминающий пиры Борджиа с отравленными пирожками и вином. Распутин отведал и тех и другого, но без всякого вреда для себя. Напрасно прождав действие яда, князь встал и, извинившись, поднялся по винтовой лестнице в комнату в верхнем этаже, где ожидали великий князь, Пуриш-

---

[1] Очевидно, теперь Пуришкевич в глазах Бьюкенена уже революционер.

кевич и доктор. Взяв у великого князя револьвер, он спустился обратно к Распутину, и, когда последний рассматривал старинное хрустальное распятье на одной из стен, он выстрелил в него сзади в левое плечо. Услышав выстрел, трое остальных участников спустились вниз, и доктор констатировал начало предсмертной агонии. Затем они удалились, чтобы сделать приготовление к удалению тела. Но Распутин не был убит. Поднявшись и отбросив князя Феликса, когда последний по возвращении из столовой наклонился над ним, он выбежал через коридор во двор. Здесь его окончательно добил выстрелами Пуришкевич. Тело было отвезено на автомобиле на Крестовский остров и сброшено в Неву через прорубь. Благодаря кровавым пятнам, оставшимся на снегу, оно было найдено на следующее утро. Через несколько дней Распутин был погребен в Царском Селе в присутствии императора и императрицы, митрополита Питирима и Протопопова».

И дальше Бьюкенен записал:

«Убийство Распутина, хотя и вызванное патриотическими мотивами, было фатальной ошибкой. Оно заставило императрицу решиться быть более твердой, чем когда-либо, и оно было опасным примером, так как побудило народ подняться за осуществление своих мыслей на деле. Оно сделало, кроме того, более затруднительным для императора вступить на путь уступок, даже если бы он был к этому расположен, так как в этом случае он дал бы возможность подозревать, что он уступил, опасаясь убийства. По словам Родзянко и других, его величество был на самом деле очень расположен избавиться от Распутина, но я не могу сказать, так ли это».

Мистера Бьюкенена понять трудно... Еще вчера Распутин для него средоточие всех зол и опасностей, и его устранение — благо. А сегодня устранение Распутина — фатальная ошибка. В чем тут дело? Почему такая непоследовательность? Да только потому, что сэр Джордж Бьюкенен, который в своих записках и в выступлениях всегда нескромно заявлял, что он глубоко знает и любит Россию, на самом деле ее не знал и, уж конечно, не любил. Бьюкенен не знал русского народа, его жизни, его страданий и чаяний. И что самое недопустимое для посла — он не имел представления об истинных силах русского общества, принимая за них узкий круг высокопоставленной знати, среди которой он и действовал, повернувшись спиной к России...

С убийством Распутина ничего не изменилось в Петрограде и на многострадальной земле российской. Это только английскому послу могло присниться, что убийство Распутина породило революционные настроения народа. Ничего не могло измениться с этим убийством. Есть Распутин, нет Распутина — уже не играло роли. Судьба России в это время решалась не во дворцах, а в самых глубинах ее народа. Надвигалась революция как смертный приговор царизму.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

1

Министра внутренних дел Протопопова камердинер разбудил в семь часов утра.

— Курьер, ваше превосходительство,— млея от страха, бормотал слуга.— Говорит, очень важно... курьер, ваше превосходительство...

Протопопов, чертыхаясь, вылез из-под пухового одеяла, натянул на себя стеганый атласный халат и, качаясь со сна, вышел из спальни в переднюю. В темноте он долго не мог разглядеть курьера и сначала услышал только его шелестящий голос:

— Велено, ваше превосходительство... в собственные руки.

Вернувшись в спальню, он раздернул гардины, но за окном была темная синь зимнего утра. Тогда он прошел в кабинет, зажег весь свет — люстру и большую лампу на столе — и сел к столу. Долго шарил по столу в поисках очков, потом протирал их и наконец прочитал надпись на пакете: «Его превосходительству господину министру в собственные руки». Это было написано рукой начальника департамента полиции Васильева — с чего бы это он сам стал подписывать пакеты?

«Изображает усердие»,— машинально и недовольно подумал Протопопов и ножичком из слоновой кости взрезал пакет. В нем была записка на четвертушке бумаги, написанная от руки тем же начальником департамента, без всякого обращения и без подписи:

«Подозрительно исчез Григорий Распутин, ввиду исключительности лиц, связанных с этим и заинтересованных этим, крайне необходимо ваше присутствие в министерстве. Ваш автомобиль отправлен к вам».

Протопопов привык к разным выходкам Распутина и не очень встревожился, он больше был недоволен, что начальник департамента позволил себе в такую рань поднять его с постели.

— Господи, даже спать не дают!— сказал он, жалея себя, и, кряхтя и охая, направился к выключенному на ночь телефону. Он назвал номер начальника департамента и тотчас услышал его густой басок:

— Васильев слушает...

— Что все это значит?

— Ваше превосходительство, по телефону не могу. Обстоятельства случившегося особые. Глубоко извиняюсь, но умоляю вас немедленно приехать.

Протопопов почувствовал волнение Васильева, который славился своим железным спокойствием и выдержкой.

— Хорошо, сейчас буду.

Камердинер помог ему одеться.

— Прикажете кофе, ваше превосходительство?

— Нет. Проверьте, есть ли у подъезда автомобиль...

На улице было холодно и промозгло. Шофер открыл ему заднюю дверцу и, поддерживая под локоть, помог влезть в автомобиль.

— В министерство! — хрипло приказал Протопопов, кутаясь в шубу. А ехать-то несколько минут — не успел забыться в полусне, слышит:

— Ваше превосходительство, приехали...

Начальник департамента ждал его в адъютантской и, не спрашивая разрешения, вошел вслед за ним в кабинет.

Не снимая бобровой шапки, не расстегивая шубы, Протопопов сел за стол и молча с испуганным и сердитым лицом смотрел на начальника департамента — обычно строгое, непроницаемое лицо Васильева было неестественно бледным.

— Ваше превосходительство, я полагаю, что Распутин убит...

— Полагаете или знаете? — спросил Протопопов, таращa еще не проснувшиеся до конца выпуклые глаза и странным образом еще не вникая в суть услышанного.

— Разрешите доложить обстоятельства, которые известны... Дежурный полицейский в два часа ночи, находясь возле дворца Юсупова на Мойке, услышал выстрелы и вскоре увидел отъезжавший от дворца автомобиль. Войдя во двор, он увидел возбужденного князя, который объяснил, будто он застрелил свою собаку. Полицейского в здание дворца не пустили. Но в этот момент выбежавший из дворца господин Пуришкевич в крайнем возбуждении заявил, что они убили Гришку Распутина — несчастье и позор России. По непроверенным данным, там находился еще и великий князь Дмитрий Павлович.

— Они не были пьяны? — спросил Протопопов, оставаясь в странном состоянии, когда у него возникал интерес к мелким подробностям, а страшное для него существо события будто вовсе его не трогало.

— Они были возбуждены, — удивленно глядя на него, ответил начальник департамента Васильев и замолчал, сбитый вопросами министра. — Далее... — продолжал он, вспомнив, на чем остановился. — От охраны Распутина мы узнали, что около полуночи за ним домой на Гороховую приезжал Юсупов и они вместе уехали в неизвестном направлении.

— Почему они не последовали за ними? — спросил Протопопов.

— Юсупов — особа, близкая двору... Так или иначе охрана подтверждает, что домой Распутин не вернулся.

— У него достаточно в Петрограде мест, где он может провести ночь, — задумчиво, скосив глаза на стол и кривя губы, сказал Протопопов, вдруг понимая, что ему просто не хочется поверить в то, во что, очевидно, уже верил начальник департамента.

— Мы уже проверили все возможные места, там его не было и нет, — сказал Васильев.

Они надолго замолчали.

Протопопов подумал о Царском Селе, о царице и закрыл глаза, будто спрятался от всего... Он медленно расстегнул шубу, сбросил с головы тяжелую шапку, ему стало жарко, он медленно и шумно дышал...

Начальник департамента, уверенный, что несчастье произошло, уже несколько привыкший к этому, понимал и все его последствия, в том числе и особенно последствия лично для него, и думал сейчас о том же, о чем он начал думать с той минуты, когда его поднял с постели телефонный звонок начальника столичной полиции Попова: что можно предпринять, чтобы его ведомство, включая и его самого, вышло из этой истории без катастрофических последствий?

— Юсупов, как вы знаете,— заговорил он снова, внимательно наблюдая министра — проснулся он наконец, поймет то, что сейчас услышит?— задумал это давно и довольно открыто об этом говорил. Если великий князь участник... это будет выглядеть как дворцовый заговор, который нам, по существу, недоступен.

Протопопов повернул к нему свое мятое со сна лицо и стал слушать с напряженным вниманием в выкаченных глазах...

— Когда вступают в действие подобные лица,— продолжал неторопливо Васильев, уже видевший, что министр его мысль уловил,— мы не в силах применять все свои возможности. Кажется, сама императрица на ваш доклад о сговоре великих князей сказала вам, что сюда вашим людям лезть не следует, так как это их чисто семейное дело и император сумеет справиться с этим сам. Вы это помните, ваше превосходительство?

— Да, да, она это говорила,— словно очнувшись, излишне оживленно сказал Протопопов и даже приподнял вверх углы губ, как будто улыбнувшись... Однако странное восприятие им происшедшего продолжалось. Только теперь он в мыслях своих как бы перескочил на другую сторону случившегося и обдумывал уже последствия, но и тут его мысль пугливо далеко не уходила, и потому он еще не сознавал всего ужаса случившегося для него и его судьбы.

— Несколько усложняет ситуацию то, что там был Пуришкевич,— продолжал начальник департамента.— Но можно доказать, что мы его не просмотрели. Мы действительно располагаем информацией наружного наблюдения о том, что Пуришкевич вчера проследовал во дворец к Юсупову, ну а что он там делал, мы не могли знать по причине, которую я изложил ранее.

— Эти наблюдения зафиксированы?— спросил Протопопов.

— Есть рапорт...

Начальник департамента, как только прибыл в министерство и узнал о происшедшем, первое, что сделал, вызвал к себе агента, который вел наблюдение за Пуришкевичем, и внушил ему, что нужно немедленно написать рапорт о проведении им еще в семь часов вечера наблюдения за Пуришкевичем вплоть до дворца Юсупова.

— Это хорошо... это хорошо...— тихо самому себе сказал Протопопов. Да, у него есть возможность объяснить и даже оправдать свое бессилие предупредить несчастье... если оно все-таки случилось.

— Что вами предпринято?— спросил он Васильева.

— Все, что только в наших силах. На ноги подняты все наши люди. Сейчас во дворце Юсупова находятся, кроме ответственных лиц следствия, градоначальник генерал Балк, командующий корпусом жандармов генерал граф Татищев, начальник охранного отделения Глобачев. Я недавно оттуда и сейчас снова поеду.

— Таким образом, в этот... слух уже посвящены многие?— спросил Протопопов.

— Все строжайше предупреждены о тайне расследования,— ответил Васильев, прекрасно понимая, что́ стоит за вопросом министра.— Ваше превосходительство, я уверен, что это свершилось, и нам сейчас следует беспокоиться не о том, как сберечь слух, а о том, как, учитывая все обстоятельства, приличнее выглядеть перед двором и...— Васильев чуть запнулся, тревожно глянув на министра, и заключил:— ...перед русским обществом.

Протопопов понял Васильева, однако обсуждать с ним этого не хотел. Он долго молчал, закрыв глаза, потом сказал:

— Узнайте, что есть нового...

Но когда начальник департамента направился из кабинета, остановил его:

— Позвоните отсюда.

Васильев соединился со своим заместителем, который сейчас руководил расследованием.

— Я нахожусь у его превосходительства,— сказал он.— Доложите, что у вас нового? Так... так...— Он довольно долго слушал... Протопопов в это время почувствовал приближение приступа.— Всех этих людей немедленно доставьте в департамент. Я сейчас буду...— закончил он и, положив трубку, сказал министру:— Новые подробности подтверждают, что преступление совершено.

— Я могу доложить об этом?— тихо спросил Протопопов, в голове у него начинался шум.

— Я бы, ваше превосходительство, постарался сделать это как можно позже, когда будет больше данных, уличающих лиц высокого положения. Разрешите мне идти...

Оставшись один, Протопопов долго сидел неподвижно, прислушиваясь к сигналам приступа, и облегченно вздохнул, почувствовав, что сигналы затихли... Начал работать мозг... Да, да, он не будет спешить информировать императрицу... Но снова он еще не представлял себе это событие во всей его сложности, ему было только страшно от мысли, что неотвратимо наступит час, когда он по этому поводу должен будет отправиться в Царское Село.

Совсем недавно он был свидетелем катастрофы премьера Штюрмера. Выдвинутый на этот пост императрицей, с ее помощью убравший из правительства сильнейшего Сазонова и забравший себе портфель министра иностранных дел, такой уверенный в себе и в высокой поддержке, он в один прекрасный день слетел со всех своих постов. Его убрали, и царица защитить его не смогла. Для Протопопова катастрофа премьера прозвучала тогда как тревожный набат, и он слышал его почти каждый день. Сейчас он слышал его очень громко, реально, и опять в голове у него гул...

Вся Россия расколется пополам — на ликующих и скорбящих. Но Россия — ерунда, а вот что скажут, как поведут себя царь с царицей? Чьи головы полетят?.. Протопопов передернулся в кресле, его бросило в жар, а потом все его тело, точно обретя невесомость, затряслось мелкой дрожью. Начинался припадок. Как понервничает, так припадок. Распутин говорил: «Это тебя бес качает...» А тибетский доктор и его друг Бадмаев пугает, говорит, будто у него в голове что-то нарушено. Но он всех пугает, этот незадачливый делец и доктор. Все врачи любят пугать, им нужны больные с деньгами — Манус прав и в этом. На самом деле все это у него от нервов и еще от того, что так уж у него устроен мозг — может сам выключаться, чтобы отдохнуть. Так объяснила ему одна монашка, приятельница Распутина. Ей он верит, у нее глаза сильные...

Припадок продолжался. Протопопов находился в приятной прострации. Будто лежал в теплой ванне. И видения, видения накатывали, как виды в синематографе... Одно другого приятней... Вот он видит себя на берегу тихого пруда, по которому плавают белые лебеди и кричат ему нежно, любовно: курлы... курлы... И вдруг он видит себя летящим средь пушистых облаков. Лететь легко-легко, нужно только чуть пошевеливать распахнутыми руками. Он видит внизу города, реки, леса. И нисколько не страшно — воздух упругий, качает его на своих теплых волнах...

Сквозь приятнейшие ощущения свободного полета Протопопов слышит резкие звонки телефона и даже знает, какой телефон звонит — прямой из Царского. Звонок гремит все чаще, все длиннее.

Полет оборвался... Он видит свой кабинет с белыми колоннами. Видит дрожащий от собственного звонка телефон. Берет трубку, прижимает ее к уху и молчит. Он слышит знакомый голос адъютанта царя генерала Максимовича:

— Отвечайте! Это кабинет министра? Отвечайте!

— Протопопов слушает,— произнес он с трудом.

— Почему не отвечаете? Это говорит Максимович!

— Я слушаю,— хрипло отозвался Протопопов.

— Что у вас с телефоном, я плохо слышу!

— Я слышу хорошо,— прокашлявшись, ответил Протопопов.

— Из окружения известного вам лица сюда достигли нехорошие слухи. Вы понимаете, как все здесь взволнованы. Что я могу сказать им?

— Мне очень трудно что-то посоветовать,— начал Протопопов.

— Факт имеет место?— перебил рычащим голосом Максимович.

— Скорее всего да.

2

Поздним утром в квартире Мануса раздался продолжительный телефонный звонок. Манус брился в ванной комнате, решил не подходить, никаких срочных важных дел он не ждал. А телефон захлебывался в бесконечном звонке. Ругаясь, Манус вытер полотенцем небритую щеку и подошел к телефону. В трубке клокотал женский, немного знакомый голос:

— Пропал отец Григорий... вы слышите, пропал... нигде его нету... В полночь его увез Юсупов... Мы думаем о худшем... Мерзавец Юсупов выполнил свою угрозу... И никто отца Григория не защитил... Никто! Никто!— Голос задохнулся в рыданиях, и Манус узнал его — Вырубова!— Вас просят... все вас просят... Я говорю от них. Спасите для всех нас отца Григория! Не пожалейте денег!..

— Что? Да при чем тут деньги?— прервал ее Манус. Он с трудом переносил эту фрейлину царицы. Сколько трудов каждый раз стоило вбить в ее голову то, что она должна была передать царице! Единственно, что умела эта толстая дворцовая дама — выклянчивать деньги. Какие только поводы не придумывала: то сон она видела, черная собака за ней бежала — быть беде, не найдется ли тысчонка какая? И ей совали тысчонки, помня о ее волшебных связях... Вот и сейчас ему показалось, будто она просит денег под исчезновение Распутина.

— Надо звонить не мне, а Протопопову,— сказал Манус.

— Мы ему больше не верим!— крикнула Вырубова.

— Это опасно — не верить. Слышите? Сейчас очень опасно ему не верить! Ну хорошо, повесьте, будьте добры, трубку, я буду узнавать.

— Мы умоляем вас! Умоляем!— кричала Вырубова клокочущим голосом.— Государыня...

— Хорошо, я займусь этим...

Дома у Протопопова сказали, что он уже давно в министерстве. Манус взглянул на часы — еще не было девяти. Да, видно, что-то случилось...

Манус позвонил секретарю Протопопова, тот подтвердил, что министр у себя в кабинете, но приказал ни с кем его не соединять.

— Доложите,— говорит Манус...

— Никого, господин Манус...

Манус повидал на своем веку всякого, и ничья смерть задеть его сердце не может. Он спокоен. Однако надо подумать о том, как скажется на его жизни и делах возможная гибель Распутина. Сам

Распутин ему больше не нужен, слава богу, он успел сделать очень важное — царица не позволит убрать Протопопова. И если Распутин действительно убит, обещанный ему миллион сэкономлен... Но Вырубова сейчас кричала, что они Протопопову больше не верят. Вот это страшно — Протопопов начал оформлять пересылку денег в Швейцарию. Потребуется еще не меньше месяца, пока дело будет завершено. Значит, нужно сделать все, что только можно, чтобы смерть Распутина не вышибла Протопопова из кресла министра. Все решит, как он себя сейчас поведет, мозги-то у него все же набекрень... Черт бы его побрал — велел ни с кем не соединять. Наверно, наложил полные штаны...

Ну а если Протопопова вышвырнут — что тогда? Об этом страшно подумать. Не говоря уже о спасении денег, могут всплыть на поверхность все его грандизоные дела, которые России, мягко говоря, никакой пользы не принесли. Раньше Манус успокаивал себя тем, что его соучастниками были слишком высокие лица и в случае чего сама императрица не даст его в обиду. Но теперь ей не до Мануса — если Распутин мертв, для нее это означает, что все вокруг разверзлось и потеряло опору. При ней был божий человек, и его убили — посмели именно потому, что он своей святостью оберегал ее и ее гнездо, помогал им жить. Потому и убили...— так думает царица, и она может наломать костей. А Манус... Что ей Манус? Однако позвонили от нее именно ему, значит, он им нужен и они еще верят в его силу...

Размышления Мануса прервал лакей, доложивший, что пришел господин Бурдуков и просит срочно его принять... Так... И этот в штаны наклал...

— Пусть подождет, я оденусь...

Манус прошел в спальню и не спеша оделся, обдумывая, что посоветовать Бурдукову. Просто отмахнуться от него нельзя — если увидит, что его бросают в беде, он может пойти на все, а знает он много.

Манус прошел в кабинет, сказав лакею пригласить туда Бурдукова.

В кабинет вошел, боязливо окинув его взглядом, Николай Федорович Бурдуков. Совсем исхудал он от тревог — сюртук обвис на косых плечах, лицо из одних костей, глаза мечутся туда-сюда...

— Игнатий Порфирьевич, новость знаете?— спросил он почти шепотом, глаза его, перестав метаться, уставились на Мануса.

— Знаю. Ну и что?— ответил Манус.— Дрожите?— Последнее время, особенно после убийства Грубина, Бурдуков вызывал у Мануса брезгливое отвращение — стонет, что пора из России уезжать, вместе с тем хапает деньги всюду, где удается, а от страха на глазах усыхает. Но приходится его терпеть, он еще нужен, а кроме того, он может и продать.

— Николай Федорович, мой вам совет...— начал Манус, но в это время зазвонил телефон, и Манус взял трубку.

— Откуда мне знать, где он?— ответил он по телефону и кивнул Бурдукову, чтобы садился... Он долго слушал, подняв светлые

брови и качая головой.— Я все понимаю. Хорошо...— Он положил трубку и, насмешливо смотря на Бурдукова, сказал: — Это вас касается — вас ищет великая Анечка Вырубова, прямо визжит — найдите Бурдукова и чтобы он немедля звонил ей в Царское Село...

— Спасибо за спасение,— сумрачно ответил Бурдуков, потирая пальцами желтый, иссеченный морщинами лоб.— А я, между прочим, только что из Царского, от адъютанта ее величества графа Ростовцева.

— Что же вы не зашли там к Анечке? Нехорошо обходить друзей...— сказал Манус, поглаживая свой массивный бритый подбородок.

— Ничего веселого, Игнатий Порфирьевич,— тихо ответил Бурдуков.— Пожар, Игнатий Порфирьевич.

— Где?— удивленно поднял брови Манус.

Бурдуков неопределенно показал рукой.

— Там. Ростовцев говорит — катастрофа. Государь вызван из Ставки.

— Кем?

— Не надо шутить, Игнатий Порфирьевич... А она, извиняюсь, совсем рехнулась. Даже Ростовцев боится зайти к ней.

— Неужели все держалось на Гришке?— легко спросил Манус и принялся неторопливо раскуривать сигару.

— На Гришке не на Гришке, а теперь важно, что выкинет она,— неожиданно деловито заговорил Бурдуков.— Единственно, кто мог бы с ней сейчас говорить, так это генерал Воейков, но он в Ставке. Ростовцев говорит — она великих князей называет убийцами, а всех приближенных к власти изменниками.

— Как это всех?— внешне небрежно спросил Манус, но внимательно всматривался в Бурдукова.

— А так. Все, говорит, предали царя и Россию.

— Ничего, Протопопов вернет ее в чувство, ему не впервой,— выпустив струю дыма, сказал Манус.

— Игнатий Порфирьевич, не заблуждайтесь,— еще энергичнее заговорил Бурдуков.— Если с Гришкой случилось что, Протопопову крышка, а значит... и нам с вами.

Манус долго молчал, он уже был уверен, что Бурдуков держит что-то за пазухой...

Бурдуков вынул из портфеля синюю папку и, пододвигая ее Манусу, сказал:

— А вот тут кое-что... небезынтересное вам, Игнатий Порфирьевич.

— Что еще такое?— Манус отложил сигару и раскрыл папку. Вот что было у него за пазухой. В папке были документы предварительной разработки контрразведкой германского шпиона Грубина. Пока Манус читал, Бурдуков не сводил с него напряженного взгляда. Манус умел отлично владеть собой, Бурдуков знал это и старался разглядеть на его крупном гладком лице следы волнения, но так и не нашел их. Манус внимательно читал, потягивая сигару...

На первом листе был список лиц, подлежащих допросу по делу Грубина. Манус в списке стоял первым. Вторым князь Андронников. И еще человек двадцать. Пятым стоял Бурдуков. Но Протопопова в списке не было...

Затем он прочитал перевод опубликованного в шведских газетах заявления жены Грубина Алисы Яновны. Узнав о гибели мужа в Петрограде, она рассказывала о его самоотверженной деятельности в России для Германии, которой он был туда послан. Никого из людей, с которыми Грубин был здесь связан, она не называла...

Затем следовали материалы русской военной контрразведки. И среди них справка о частных встречах Грубина с Манусом. Манус забыл о раскуренной сигаре, держал ее в левой руке, пока она не обожгла ему пальцы. Выругавшись, он швырнул сигару в камин, не отрываясь от чтения. Он уже понял все.

— Зачем это у вас?— спросил он, закрыв папку и положив на нее тяжелую ладонь.

— И вы и я были тесно связаны с Грубиным,— дрогнувшим голосом ответил Бурдуков.— Ничего хорошего это нам с вами, Игнатий Порфирьевич, не сулит. Вы же понимаете.

— Отчего это дражемент в голосе? Папка же в ваших руках,— сказал Манус и начал раскуривать новую сигару, посматривая на Бурдукова.

— Да. Но только до четырех часов, когда я обязан ее вернуть человеку, которому это дело поручено.— Бурдуков подвинул папку к себе.

— Сколько это может стоить?— добродушно спросил Манус.

— Очень дорого,— тихо ответил Бурдуков.

— Но, может, вдвоем мы осилим?

— Вдвоем, конечно... вдвоем.— Бурдуков помолчал, глядя на папку, и добавил тихо:— Но после этого я стану нищим.

— Сколько?— повысил голос Манус. Он начинал бой, и, как всегда в такие минуты, он спокоен, собран, лицо его непроницаемо.

— Полмиллиона, но в золоте,— неестественно смело ответил Бурдуков, но лежавшая на папке его рука подрагивала.

Манус молчал... Он думал, что цена будет значительно больше, и был уверен, что золото предназначено самому Бурдукову, и никому другому.

— Могу я знать, кого мы с вами в одно мгновение сделаем богатым?— спросил он небрежно — решение-де принято и хочется выяснить только эту в общем несущественную деталь.

— Нет,— решительно ответил Бурдуков, отводя глаза в сторону.— Поставлено условие: имя знаю только я, с меня взяли письменное обязательство, в случае чего делу дадут ход, и я пропал.

— Неосторожно с вашей стороны,— сочувственно сказал Манус.— Я ведь сам могу найти выход из положения, свой выход, понимаете? Наконец, эту папку у вашего инкогнито могут взять. Что тогда?

Худое желтое лицо Бурдукова стало медленно темнеть.

— Я столько для вас сделал, Игнатий Порфирьевич, а вы...— Он запнулся, будто от сильного волнения.— Неужели я заслужил?

— Не пойму, что вы так встревожились?— спросил Манус.— Так и так папка эта перестанет существовать, и вы в полной безопасности.

— А мое обязательство?

— Ну это уж, извините, ваша оплошность,— холодно сказал Манус, думая: «Ну что ты, жадная крыса, теперь придумаешь?»

— Ужас... ужас...— забормотал Бурдуков, наморщив лоб, и вдруг спросил:— А может, тогда попробовать выкупить мое обязательство?

— Это опять-таки ваша забота,— спокойно ответил Манус.

— Но, потеряв на папке, он может заломить невероятную цену.

— Поторгуйтесь... А потом я и помогу вам, тысяч двадцать — тридцать дам.

— Но как вы получите папку?— быстро спросил Бурдуков, его воспаленные глаза снова метались в темных впадинах.

— Это уже мое дело. Имеющий власть может приказать дать ему это дело...— Манус взглянул на папку — под номером 1707,— он записал номер на своем календаре.

Бурдуков понимал, что «имеющий власть» — это Протопопов, для того он в самом начале и сказал, что Протопопову крышка. А если Протопопов удержится?.. Он, конечно же, потребует папку к себе, но тогда выяснится, что папка у него, Бурдукова, ибо он взял ее под расписку в личной канцелярии министра, сказав, будто есть распоряжение дело это поручить ему.

У Бурдукова взмокла спина, руки, лоб, он выхватил платок...

Зазвонил телефон. Манус неторопливо снял трубку.

— Да. Здравствуйте, Александр Дмитриевич.— Манус подмигнул Бурдукову.— Я час назад пытался с вами соединиться, но ваш секретарь сказал, что вы приказали не соединять ни с кем. Да... Что вы говорите? Значит, это тоже факт. Ах негодяи! Ах негодяи! Понимаю, понимаю... Я приеду к вам. Ну через часок... Хорошо, постараюсь раньше. До встречи.

Манус положил трубку.

— Ну, Николай Федорович, что будем делать?

— Теряю голову, Игнатий Порфирьевич,— тяжело вздохнул Бурдуков, вытирая лицо платком.

— Не голову вы теряете, Николай Федорович, а четверть миллиона в золоте,— с усмешкой сказал Манус, едва скользнув светлыми навыкате глазами по Бурдукову, и, встав из-за стола, направился к двери.

Бурдуков вскочил и бросился за ним.

— Папку захватите, она скоро понадобится,— на ходу обронил Манус.

Они вышли в переднюю.

— Игнатий Порфирьевич... даю вам честное слово,— лепетал Бурдуков, загораживая дорогу Манусу, он даже раскинул костлявые руки.

— Знаю я теперь цену вашему честному слову. Одевайтесь. Я доставлю вас в министерство.

— Подождите, Игнатий Порфирьевич,— вдруг решительным тоном сказал Бурдуков.— Возвращать папку в министерство опасно. Она должна быть переправлена в охранку, и на это есть срок — три дня...— Манус видел, что сейчас он говорит правду.

— А пропасть к чертовой бабушке эта папка не может? — задорно спросил Манус.— Я выписываю вам чек на пятьдесят тысяч. Ладно, по случаю исчезновения Распутина на семьдесят пять...

Бурдуков стоял перед Манусом, смотря на него остановившимися глазами, и побелевшие губы его вздрагивали, точно не решаясь что-то произнести.

— По рукам, Игнатий Порфирьевич,— прошептал он наконец.

— Вернемся,— сказал Манус, первый прошел в кабинет и стал открывать сейф.— Положите сюда,— сказал он, когда толстая стальная дверь со щелкающим звуком отворилась.

Бурдуков нерешительно подошел и, оглядываясь на Мануса, положил папку в сейф.

Манус запер сейф, прошел к столу, выписал чек и бросил его Бурдукову, тот бегло глянул на сумму и спрятал чек в портфель.

— Задумано было неплохо, Николай Федорович, и за это семьдесят пять тысяч не так уж мало. За такие деньги министры сочиняют правительственные решения. Но я объясню, что вам помешало. У вас впереди ума идет подлость, а надо наоборот. Вы в министерство?

— Нет, поеду домой.

— Как хотите. Простите, я тороплюсь...

3

Покачиваясь на пружинном сиденье автомобиля, укутавшийся в медвежью доху Манус смотрел на заснеженную пустынную улицу, испытывая привычное чувство успокоения после хорошо проведенного дела... Но какова крыса этот Бурдуков!

Автомобиль резко остановился — Мануса чуть не сбросило с сиденья. Вплотную перед машиной клубилась черная толпа кричащих женщин, окруживших растерянного полицейского.

— Узнай, что там,— сказал Манус шоферу и задернул занавески на боковых стеклах. Попробовал прислушаться к крику толпы, но ничего разобрать не смог. В это время из-за угла вылетели на рысях конные полицейские, они с ходу врезались в толпу, рассекли ее на части и погнали за угол.

Вернулся шофер.

— Булочная объявила, что хлеба сегодня не будет,— сказал шофер, садясь за руль, и добавил: — Каждый день такое...

...Манус стремительно вошел в кабинет Протопопова и увидел его понуро сидящим за своим огромным столом.

— Доброе утро, Александр Дмитриевич! — громко произнес Манус, сбрасывая доху на диван.— Убиты горем? — спросил он, крепко сжимая вялую руку министра.— Давайте-ка вместе во всем разберемся и, как положено людям дела, без эмоций...— Манус сел в кресло, поудобнее в нем расположился и спросил легко: — Так что же случилось?

Протопопов ему не нравился — сразу видно, что скис: мятое серое лицо, темные круги под глазами, дергается как петрушка на нитке, ищет на столе какую-то бумагу, а руки трясутся...

— Александр Дмитриевич, нет такого события, с которым нельзя совладать,— спокойно, нравоучительно начал Манус, вертя на пальце тяжелый перстень с сердоликом.— На вашем посту тем более... Кто убил Распутина? Люди. Кто захочет использовать это против нас с вами? Тоже люди. А мы кто — пешки, что ли? Давайте-ка спокойно разберемся, что и как...

Протопопов выслушал это вроде невнимательно, все искал какую-то бумагу. Но вот нашел наконец, положил перед собой, и Манус увидел, что в эту минуту министр вроде бы пришел в себя, в его больших глазах затеплилась живинка...

— Сперва то, что установлено...— Протопопов нервно дернулся в кресле и начал рассказ: — Феликс Юсупов...

— Тоже мне фигура,— вставил Манус.— Кроме красивой жены, у него за душой ни гривенника...

— Феликс Юсупов...— продолжал Протопопов,— около полуночи свез Распутина к себе во дворец. Это проследил наш агент. Но затем агент совершил оплошность — установив, к сколь высокой особе проследовал его объект, он дальнейшее наблюдение прекратил. Теперь он ссылается на то, что был-де приказ, чтобы возле таких зданий нашими агентами не пахло.

— А был такой приказ? — перебил Манус.

— Говорят, был. Все равно агента под дисциплинарный суд. Дальше: полицейский услышал выстрелы в стороне дворца и увидел отъезжавший от дворца автомобиль.

— Чей? — спросил Манус.

— Неизвестно. Или юсуповский, или великого князя Дмитрия, или Пуришкевича. Ночь была, а агент держался на расстоянии.

— Автомобиль великого князя ваш агент видел?

— Да, но потом, позже, когда полицейский уже смог попасть во дворец. Пуришкевич сразу сказал полицейскому, что они убили Распутина. Полицейский увидел кровь на полу, изъял у Пуришкевича разряженный револьвер. Так что если все сопоставить, он, конечно, убит или тяжело ранен и находится, естественно, без по-

мощи. Или добит где-то в другом месте. После сигнала полицейского во дворец прибыли более крупные чины полиции во главе с градоначальником. Начато расследование, но расследовать-то нечего. Весь вопрос: где Распутин или его труп, увезенный из дворца в автомобиле? Таким образом, в убийстве, кроме этих трех, участвовал кто-то еще, кто увез труп. Минимум два человека. Пока поиски трупа ведут около тысячи человек.

— С царицей не говорили?— спросил Манус.

— Нет.

— Это ошибка.

— Но что я ей скажу?— воскликнул Протопопов и закачался в кресле.

— Хотите меня послушать?— Манус пристально смотрел в темные глаза министра, словно гипнотизировал его...— Бросьте все и поезжайте в Царское Село. Ваше присутствие здесь все равно ничего не даст, а там вы можете спасти все. В том числе и наше с вами дело. Докладывайте царице спокойно, с достоинством, с огромным сочувствием. Ни о каком агенте, которого отдаете под суд, ни слова. Наоборот, агент — герой. Он знал, что Григория Ефимовича увозит князь Юсупов, и в нарушение правила повел слежку. Ну а во дворец он войти не посмел, тем более что он увидел там во дворе автомобиль великого князя Дмитрия.

— Он увидел позже. И не он увидел, а полицейский,— как-то автоматически уточнил Протопопов.

— Когда увидел, неважно. Кто увидел, неважно,— продолжал Манус спокойно и убежденно.— Важно, что увидели ваши люди и не посмели вести слежку за людьми из царской семьи. Был такой приказ. Григория Ефимовича, живого или мертвого, ищут две или, скажите, даже три тысячи человек. Надежд на то, что он будет найден невредимым, мало. Все складывается к тому, что он убит. Вот так вы и докладывайте императрице. А в этом месте потеряйте дар речи. А потом попросите разрешения вместе с ней помолиться за святую душу Григория. А помолившись, включайте гнев против особ царствующей семьи, ставших на путь борьбы с монархом. Скажите ей, какой ошибкой было изъять из вашего министерства охрану Царского Села и лиц царствующей династии и ее друзей.

— Да, да, я ей однажды говорил об этом,— оживился Протопопов, его руки заерзали по столу.

— Прекрасно, напомните ей об этом разговоре. И дальше. Ей надо подбросить...

Мануса прервал телефонный звонок. Протопопов коротко поговорил и, положив трубку, по другому телефону отдал распоряжение кому-то немедленно отправиться к великому князю Дмитрию Павловичу и сообщить ему, что выезд в Крым ему категорически воспрещен.

— Кто звонил?— спросил Манус.

— Ростовцев. Он передал приказ императрицы.

— Прекрасно. То, что он хотел удрать, работает на вас. И ей следует подбросить мысль о том, что Распутин — это только нача-

ло. Напомните ей о заговоре против нее и скажите: «Извините меня, матушка, но теперь я буду смотреть за всем сам».

— Да, да, да,— мелко кивал Протопопов, и лицо его уже выражало решительность.

— Поезжайте немедленно.

Протопопов распорядился по телефону подать машину к подъезду министерства и уже направился к шубе, скомканной на диване рядом с дохой Мануса, но в это время Манус сказал:

— Есть еще одна беда.

Протопопов замер, согнувшись над шубой.

— Что еще?— выпрямляясь, он схватился за поясницу.

— Установлено, что Грубин был немецким шпионом.

Протопопов шаркающей походкой вернулся к столу:

— Откуда вам известно?

Манус рассказал о визите к нему Бурдукова.

— Боже, какой негодяй! Я его выгоню!— воскликнул Протопопов.

— Не надо, не надо, всему свой час,— спокойно сказал Манус.— Пусть лучше будет у вас на глазах. Но нужно сделать вот что: пригласите его к себе и в присутствии надежного человека между прочим скажите, что вам звонили военные по делу 1707, и спросите — у него ли это дело? Пусть он ответит при свидетелях. А дело-то у меня в сейфе. Вы помолчите немного, поиграйте у него на нервах и скажите, что вы хотите попозже услышать его доклад о работе по этому делу. И все, пожалуй...

— Ясно. Очень умно,— оживился Протопопов, вернулся к дивану и стал энергично надевать шубу, благодарно посматривая на Мануса. Нет, нет, не зря понимающие люди говорят, что у Мануса царская голова...

4

Тревожиться Манусу надо было гораздо раньше...

Как и предрекал Грубин, в семнадцатом году Манус лишился всех своих капиталов. Но кости свои все же собрал и удрал за границу. Там он попытался, не имея средств и полагаясь только на свою изворотливость, начать новую биографию дельца. Он нашел там какого-то тоже бежавшего из России купца, который в отличие от него вывез немного золота. Манус предложил ему совместную игру на бирже. Купец, помня о былой славе крупного удачника, согласился. Игра длилась недолго — они разорились...

Кончилось тем, что Манус зарабатывал на хлеб, работая грузчиком в марсельском порту, и там вскоре умер.

Так завершилась судьба человека, который все же оставил свой след в русских архивах...

Что же касается князя Андронникова, то он тогда, после разговора с Манусом у ресторана, поверил в одно — опасности нет. Ему, конечно, жалко было денег, отданных Бурдукову, но он утешал себя тем, что жизнь и покой души стоят все-таки дороже тех денег. И на другой день Андронников ринулся в новые авантюры...

Насколько ловок был этот проходимец, говорит тот факт, что имя его появляется и в послеоктябрьском, уже советском архиве.

В книге, вышедшей в Издательстве политической литературы, «В. И. Ленин и ВЧК» опубликовано следующее письмо Владимира Ильича Зиновьеву от 10 июля 1919 года:

«Прошу назначить — исключительно партийных, опытных, абсолютно надежных и беспристрастных — товарищей для расследования поведения и данных о случае

1. Исаака Григорьевича Шимановского, секретаря Петроградской Чека (честный ли человек, не было ли случаев воровства, проверить).

2. б. князя Андронникова (друга Распутина, Дубровина и т. д.), служащего в Чека в Кронштадте.

Председатель Совета Народных Комиссаров

10/VII 1919 г.». *В. Ульянов (Ленин)ВП*

После Октябрьской революции Андронников перебрался в Кронштадт — надеялся, может быть, что здесь его в лицо никто не знает. Там он связался с контрреволюционной белогвардейской организацией «Петроградский национальный центр»... Потом, на допросе в ЧК, он будет клясть себя за то, что он поверил «этим из центра», будто они в два счета сбросят Советскую власть. Между прочим, на следствии и потом на суде Андронников был уличен и признался в том, что до революции занимался шпионажем в пользу Германии.

По делу «центра» он был осужден.

Но почему в записке В. И. Ленина он назван служащим Кронштадтской Чека? Дело в том, что, находясь в Кронштадте, он до самого ареста посещал семьи оставшихся не у дел или скрывшихся бывших морских офицеров, выдавал себя за чекиста и за обещания всяческого содействия брал деньги. Очевидно, до В. И. Ленина дошла жалоба кого-то из пострадавших. В общем, Андронников до конца оставался авантюристом, быть на этой земле в какой-нибудь другой роли он не мог.

ГЛАВА СОРОКОВАЯ

1

За утренним чаем царь сказал жене, что у него будет Бьюкенен. Она сжала пальцами виски и простонала:

— Боже мой... боже мой!.. Они все живут и продолжают терзать тебя, а нашего Друга нет, и это они его погубили.

— Успокойся, дорогая.— Он погладил бело-голубоватую холодную руку жены.— Успокойся, никому не позволено меня терзать.

— Все они торжествуют, что рядом с нами нет отца Григория!— Глаза царицы расширились, задрожали губы.

— Успокойся, успокойся.— Николай видел, что надвигается вспышка истерии, против которой он всегда употреблял одно средство: спокойный, рассудительный разговор.— Ты не права, дорогая, ни один мало-мальски уважающий себя человек не может торжествовать по поводу такого мерзкого убийства. Англичанин тем более. Ты же знаешь англичан. Бьюкенен, я уверен, потрясен этим так же, как и мы.

— Ты сравниваешь с ним меня, себя. Боже мой! Что ты сказал? Что ты сказал?— Ее голос задрожал, она уронила голову и прижала кружевной платок ко рту.

Он встал, приблизился к жене и молча гладил ее вздрагивавшие плечи. Она вдруг выпрямилась и, закинув к нему голову, заговорила по-английски быстро и совершенно спокойно:

— Хочешь, я скажу, с чем к тебе явится Бьюкенен? На Григории они не успокоятся. Он будет требовать новую жертву — Протопопова. Но и это не все. Они хотят, чтобы ты прогнал все свое правительство и создал новое из лиц, которых они давно приготовили. Ты же сам говорил мне, что думские хулиганы то и дело бегают в английское посольство. Зачем они туда бегают? Выкурить сигару с Бьюкененом? О нет, нет!

Николай вернулся на свое место и, отодвинув тарелку, сидел с нахмуренным, недовольным лицом, смотрел на разрисованные морозом окна.

— Ники, пойми, пойми. Григорий только начало заговора против тебя, против нас, против твоей самодержавной власти. И я не удивлюсь, когда станет известно, что Бьюкенен находится во главе заговора,— быстро, со злостью проговорила царица.

— Ах оставь, пожалуйста.— Лицо царя сморщилось, потухшие глаза его смотрели на жену, но точно не видели ее.— Нельзя во всех видеть своих врагов. Тогда лучше не жить и, во всяком случае, не считать себя самодержцем великой России.

— Но, милый, в том-то и счастье наше, что Россия вся с тобой! С тобой!— Теперь царица говорила воодушевленно и смотрела на мужа восторженно блестевшими глазами.— Но ее любовь к тебе должна помочь тебе разглядеть твоих врагов. Они и враги России. Смерть Григория как молния осветила мне все вокруг. И мне стало страшно. Я увидела пустыню, и по ней бегали шакалы. А ты знаешь, что сказала Аня? Что, стреляя в него, они стреляли в меня. Боже, боже! Какая пустыня! Один Протопопов, один он. Никогда не забуду, как он стал вместе со мной на колени и молился за нашего друга Григория. Один человек среди шакалов. Один! А Бьюкенен против Протопопова, против. И когда убедишься в этом сам, вспомни наш разговор. Последнего хотят убрать. Единственного.— Она всплеснула руками и, уронив их на стол, точно окаменела.

— Решаю я, а не Бьюкенен,— мягко начал царь.— Протопопову я тоже верю, и поэтому я принял отставку Трепова, который не хотел с ним работать. Я дал ему отставку, я ему предпочел Протопопова. В общем, прошу тебя, милая, успокойся, я все вижу, и, если Бьюкенен позволит себе хотя бы одно лишнее слово, я дам ему отпор...

2

Бьюкенен приехал в царскосельский дворец за десять минут до назначенного срока. Ни минутой раньше, ни минутой позже. Старый дипломатический служака, он пристально следил за протоколом своего приема у монарха. Когда прошло пять минут после назначенного часа приема, он стал думать, что бы это значило: случайность? Умышленное пренебрежение? Крайняя занятость монарха?

В обитой высокими дубовыми панелями комнате ожидания никого, кроме него, не было. Бьюкенен подошел к высокому окну. И отшатнулся. Мимо окна проходил царь. Он явно прогуливался — шел медленно, сцепив за спиной руки и подставив лицо морозному солнцу.

Бьюкенен знал, что царь любил иногда между двумя аудиенциями совершать прогулочный моцион, но почему в час, назначенный для приема именно его? Случайно ли, что царь гуляет именно здесь, прекрасно зная, что он уже в приемной и может увидеть его в окно? Все это промелькнуло в голове посла, пока царь неторопливо направлялся к левому подъезду дворца... Бьюкенен решает: «Сегодня портить из-за этого нервы не следует».

Почти неделю по служебным каналам шла шифрованная телеграфная его переписка с Лондоном по поводу предстоявшей аудиенции у царя. Английское правительство к этому времени уже имело представление о положении в России, составленное по донесениям посла, разведки и военной миссии. Вывод в документе исключал всякую двусмысленность — Россия накануне государственной политической катастрофы, а это повлечет за собой и катастрофу военную. Последнее было главным. Если Россия выйдет из войны, Англии придется резко увеличить свое участие в войне на фронтах Европы и Азии. Особенно в связи с назревающим вмешательством в войну Америки. И сейчас, когда развал Российской империи стал абсолютной реальностью, в Лондоне всполошились не на шутку и, взвесив все, решили, что в настоящий момент в России единственной реальной силой, способной на необходимые для Англии действия, все же остается царь с его правами самодержца. Лондон разрешил Бьюкенену говорить с царем в открытую и не очень придерживаться дипломатического этикета.

Войдя в кабинет, Бьюкенен увидел царя стоящим посередине с бесстрастным лицом, с опущенными по швам руками. Вся его фигура выражала холодную официальность. Они обменялись положенными приветствиями, и Николай, возвращаясь к столу, не оборачиваясь, показал на кресло у стола. Они сели. В это мгновение у Бьюкенена мелькнула мысль, не отказаться ли от задуманного им разговора, но он не успел принять решения.

— Вы уже знаете, наверно, о смерти графа Бенкендорфа,— тихо сказал Николай.

— О да, это огромное горе и огромное несчастье,— ответил Бьюкенен.— В качестве вашего посла в Англии граф сделал невообразимо много для нашего военного союза. Англия скорбит о его кончине.

Царь грустно покачал головой и некоторое время молчал, не поднимая глаз. И вдруг выпрямился и сказал:

— Я бы не знал, кем его заменить, если бы не было Сазонова...

Бьюкенен молчал, не зная, следует ли ему считать сказанное царем как официальное назначение Сазонова в Лондон на место умершего посла.

— Ну видите, как все складывается в жизни,— продолжал царь мягко, но глаза его смотрели на посла холодно и отчужденно.— У нас с поста министра иностранных дел ушел Сазонов, а у вас с этого поста ушел сэр Грей, и мы, кстати заметить, по этому поводу никаких протестов не делали.

Подбеленные сединой густые брови посла напряженно сдвинуты, глаза обращены внутрь — он вроде пытается сейчас понять сказанное... Но не понять тут нечего, и напоминание царя о его протесте ничего хорошего не сулило. Кроме всего прочего, оно было и предостережением по поводу новых подобных попыток, с которыми он сюда как раз и приехал.

— Меж тем события идут своим ходом,— продолжал Николай, поглаживая свою лежавшую на столе руку.— И союзническая конференция, которая скоро состоится в нашей столице, я почти уверен, будет последней, посвященной войне. А следующая будет уже о победоносном для нас мире.

В эту минуту Бьюкенен все-таки решил, что откладывать то, с чем он приехал, не следует и не царю увести разговор в сторону.

— У меня, к сожалению, нет уверенности, что эта конференция будет последней о войне,— заговорил Бьюкенен с печалью в голосе, чувствуя холодок на спине от собственной смелости. Он смотрит в неуловимые глаза царя...— Более того, я сомневаюсь в ее острой необходимости, требующей, однако, весьма рискованной поездки наших государственных деятелей в Россию. Мы не забыли трагическую гибель по пути в Россию лорда Китченера.

— Почему такой пессимизм?— ободряюще мягко спросил царь, чуть приподняв брови.

— Ваше величество,— чуть повышает голос посол и продолжает торопливо, точно боясь, что его остановят:— Меня и других

ваших друзей в Лондоне тревожит, если не сказать, удручает политическое положение в России. Русское общество разобщено, правительство не имеет ни авторитета, ни поддержки. На будущей конференции с таким партнером союзные правительства не смогут чувствовать себя уверенными, что решения конференции будут претворены в действие. А речь-то идет о войне, которая нам всем так дорого стоила и которую еще надо завершить.— Закончив, Бьюкенен стиснул пальцы сплетенных на коленях рук.

— Я и мой народ едины в нашем решении выиграть войну,— помолчав, сердито произнес Николай и спросил:— Этого союзным правительствам мало? И вообще, разве есть у кого-нибудь основание предъявлять нам претензии по поводу исполнения нами союзнического долга?— Его продолговатые глаза сузились, спрятались...

Бьюкенен прекрасно понимал, что отвечать на это очень опасно. Ведь он сейчас должен подвергнуть сомнению сказанное царем, а это значит оскорбить его. Но Лондон сказал ясно: вы обязаны выяснить решимость царя при нынешних обстоятельствах продолжать активную войну. Решимость он высказал, но понимает ли он обстоятельства, даже знает ли он их?

— Ваше величество,— Бьюкенен упрямо наклонил голову, смотрит на царя исподлобья.— Все дело в том, что вы и ваш народ не едины в оценке способности людей, которым вы вверили ведение войны,— заговорил Бьюкенен не о самом главном, а о том, о чем кричат русские газеты.— В этом смысле между вами и народом стена взаимного непонимания. Народ судит об этих людях с железной логичностью — столько на фронте потеряно жизней, а успеха нет. В стране ощущается жестокий продовольственный кризис...— Заметив, что царь согласно кивнул головой, Бьюкенен умолк.

— Вы забыли еще железнодорожную разруху,— с чуть приметной усмешкой сказал царь и спросил:— И что же, по-вашему, следует сделать, чтобы на фронте появились успехи, в магазинах хлеб, а на транспорте порядок?

— Сам я рекомендаций дать не могу, не способен.— Сейчас Бьюкенен тоже следует указанию Лондона: в наиболее резких моментах ссылаться на русское общественное мнение.— Но, если судить по вашей прессе, народ ваш хочет одного — сильного правительства, которое могло бы победно завершить войну.

— Я уже усилил правительство.— Бьюкенен увидел, что царь снова раздражен. Но нужно было доводить разговор до конца.

— Вы, ваше величество, так часто последнее время меняете членов правительства, что их трудно даже запомнить. России необходимо созданное вами твердое правительство. Это сразу вернуло бы вам доверие народа, которое вы имели в начале войны, и тогда впереди у всех нас уверенная победа.— Бьюкенен замер, слыша стук собственного сердца,— сказано почти все...

Николай сделал движение, будто хотел встать, но только выпрямился в кресле, одернул гимнастерку и, чеканя слова, сказал:

— По-вашему, я должен приобрести доверие своего народа? А может быть, он должен приобрести мое доверие?

— И то и другое, ваше величество,— поспешно ответил Бьюкенен и снова замер, ожидая взрыва, который оборвет разговор. Но царь молчал, слепо смотря в сторону. Бьюкенен выждал еще немного и сказал: — Поймите меня правильно, ваше величество, стены между вами и народом воздвигают германцы. Это им так же необходимо, как раздоры между нами, союзниками.

Николай, склонив голову набок и поглаживая ус, недоуменно смотрел на посла.

— Да, да, ваше величество, у Германии есть в России и возле вас верные ей люди, ее агенты. Они косвенно влияют на ее величество и прямо на других лиц в отношении рекомендации на государственные посты различных бездарностей. Ведь не случайно же в народе говорят, что ее величество работает в интересах Германии.

— Это гнусная инсинуация,— произнес Николай, и глаза его сверкнули гневом.

— Конечно! Конечно! — заторопился Бьюкенен.— И тем же германским агентам нужно, чтобы эту инсинуацию люди повторяли, и основания для правдоподобности инсинуации создали те же немецкие агенты.

— Кандидатов на высокие посты выбираю я сам,— вдруг заявил царь.

— Но вы физически не можете знать всех возникающих кандидатов,— тихо и сочувственно сказал Бьюкенен.— Ну как мог, например, стать министром внутренних дел Протопопов? Пока он министр, разлад между вами и народом, между вами и Думой будет усугубляться. Ну как может питать доверие народ или Дума к министру, который поменял общественную деятельность на карьеру, изменив своей партии, пославшей его в Думу, который тайно встречался с германским агентом в Стокгольме, вся деятельность которого на посту министра пахнет содействием Германии.— Бьюкенен умолк, весь сжался — теперь он сказал все. Поднял взгляд и увидел невероятное — царь смотрел на него с задумчивой улыбкой. Боже, чему он может сейчас улыбаться? А царь просто вспомнил свой утренний разговор с женой, предсказавшей атаку Бьюкенена на Протопопова. «Какая же она у меня умница»,— думал он сейчас. Воспользовавшись тем, что посол замолчал, Николай сказал, резко повысив голос:

— Протопопов не является германофилом. Вы сами, сэр Бьюкенен, подхватили и эту инсинуацию, распространяемую теми самыми немецкими агентами, о которых вы изволили здесь говорить. Стокгольмская история раздута любителями этим заниматься. И вообще, разрешите все-таки мне самому выбирать своих министров.

Бьюкенен покорно склонил голову. Он понял: больше эту тему трогать нельзя и, пока царь не оборвал аудиенцию, следовало перейти к последней теме...

— Ваше величество, разрешите мне сказать все, тем более что мне осталось сказать наиболее важное,— сказал он, не поднимая головы.

Николай чуть кивнул, смотря на Бьюкенена недобро сузившимися глазами.

— Думаете ли вы, ваше величество, об угрозе революции?— Бьюкенен не отрываясь смотрел в глаза монарха.— Знаете ли вы, что на страшном языке революции говорят уже повсеместно? Но что самое страшное — это проникло и в армию. Страшно подумать, как могут дальше развиваться эти события. Кто защитит вашу семью, если развяжутся инстинкты толпы? Люди, знающие положение лучше меня, говорят, что революцию сейчас может подавить только армия.

— Что-то мне непонятно — то вы говорите, что в армии революция, и в то же время армия должна подавлять революцию. И вообще мне кажется, вы преувеличиваете эту опасность,— совершенно спокойно заключил Николай и встал, одергивая суконную гимнастерку.

Расчет вызвать у царя тревогу перед революцией, а значит, действия, не оправдался. Царь разговаривать на эту тему не стал...

В дневниковой записи Бьюкенена об этой встрече с царем он рисует себя эдаким ангелом-хранителем русской монархии. В ней и следа нет главного направления разговора — разведки царя как единственной оставшейся в России реальной силы, способной снова сделать активным русский фронт против Германии. Это, и только это, волновало тогда английского посла...

Но то, что царь был действительно возмущен Бьюкененом, можно установить по одному очень серьезному факту. У Бьюкенена в царской семье, как мы знаем, был свой преданный человек — великий князь Николай Михайлович. Через него посол знал все о жизни Романовых. Кроме того, Бьюкенен не раз использовал великого князя для влияния на царя в определенном, нужном Англии направлении. Как раз за неделю до визита к царю Бьюкенен имел встречу с Николаем Михайловичем, и они сговорились, что великий князь до встречи посла с царем тоже произведет соответствующий нажим на монарха, что, очевидно, и было сделано, так как спустя два дня после своей аудиенции у царя Бьюкенен получил следующую записку от великого князя:

«Первое (14.1.1917 г.).

Для вас одного.

Дорогой посол!

Я получил повеление от его величества императора удалиться на два месяца в свое Крушевское имение (близ Херсона).

До свидания и всего хорошего.

Да здравствует Англия и да здравствует Россия!

Сердечно вам преданный Николай М.».

Так Бьюкенен накануне революции лишился своего очень важного помощника.

А до полного краха русской монархии оставалось меньше двух месяцев...

ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ

1

Может создаться впечатление, будто русский царь опасности революции не понимал, а поэтому и вся российская власть в этом направлении бездействовала. Это не так. Первая русская революция 1905 года стала для царя грозным уроком, и мы знаем, что он, оберегая трон и монархию, проявил тогда и решимость и беспощадность, по праву заслужив звание Николай Кровавый. Но у него, очевидно, возникла тогда и уверенность, что достаточно иметь хорошего министра внутренних дел и решительно действующую жандармерию и можно покончить с любой смутой. А эта уверенность помешала ему разобраться, что угроза новой революции во сто крат опасней, потому что она впитала в себя силу и гнев всего народа, поднятого на борьбу великой правдой большевиков.

Жандармский генерал Курлов, отличившийся как безудержный лихоимщик и беспощадный каратель первой революции, в 1917 году сбежал в Германию и затем опубликовал там немало воспоминаний о своей верной службе царю. В одном из них он пытается анализировать позицию царя в отношении революции... «Государь,— пишет он,— находился в трагическом неведении о масштабе опасности, созданной на этот раз очень сильной политической партией большевиков, сумевших проникнуть буквально во все поры общества. Уводило его от революции еще и то, что лица, отвечавшие за порядок в государстве и охранение монархии, докладывали ему то, что было на поверхности, что муссировалось газетами и в слухах, и тогда внимание государя отвлекалось то Родзянко с его в общем безопасными идеями, то интригами в дворцовых кругах, то какими-нибудь узковедомственными делами. И еще одно — у него сохранилось наивное представление, что все призванные им к власти лица делают каждый свое дело, а значит, все идет как надо... А мы в это время, засучив рукава и без перчаток, пытались гасить повсеместный подземный пожар, схожий с тем, как горят торфяные болота, когда огня не видно, а воздух накален... Я часто бывал в доме на Александровском — там круглосуточно шла напряженная работа, там все было похоже на фронт, и петроградские тюрьмы были забиты пленными с этого фронта, так что петроградские большевики не могут пожаловаться, что мы были к ним невнимательны, и не случайна их ярость к одному слову «жандарм»...»

Мрачный дом на углу Александровского проспекта и Мытнинской набережной, что возле Биржевого моста, официально именовался «Отделение по охранению общественной безопасности и порядка Петроградского градоначальства и столичной полиции». Коротко — петроградская охранка. Здесь был центр борьбы царской власти с революционным Питером.

Итак, дом петроградской охранки на углу Александровского проспекта и Мытнинской набережной. В то время, о котором наш рассказ, главным человеком в этом здании был генерал-майор отдельного корпуса жандармов Константин Иванович Глобачев. Прежде чем в начале 1915 года оказаться на этом посту, он занимал высокие жандармские должности в Гродно, в Варшаве, в Нижнем Новгороде. Но царь запомнил его по службе в Польше, где имя Глобачева было окружено всеобщей ненавистью.

Потом он получил назначение в жандармское управление Нижнего Новгорода, затем год проработал в Севастополе и оттуда в начале 1915 года был переведен в Петроград.

И в Нижнем и в Севастополе он действовал энергично, ожесточенно, беспощадно. Когда началась война и газеты трубили о патриотическом единстве и воодушевлении русского общества, Глобачев продолжал хватать людей по малейшему подозрению. Дело дошло до того, что севастопольский губернатор послал в Петроград жалобу, в которой писал, что «действия жандармского управления вызывают в городе вредное общему духу раздражение».

Не сыграла ли эта жалоба свою роль в назначении Глобачева в Петроград, где в это время уже требовалась сильная и беспощадная рука?..

2

В петроградской охранке окна кабинета Глобачева выходили во двор. Тоже, наверно, из предусмотрительности. Но от этого в кабинете и днем было сумрачно, поэтому окна и днем бывали зашторены, и громадную комнату заливал яркий свет трех люстр, а на письменном столе стояла еще лампа-прожектор, направленная на дверь, благодаря чему каждый входивший в кабинет видел самого Глобачева очень смутно. Во время допросов этот прожектор направлялся в лицо арестованного. И был заведен такой порядок — выезжая откуда бы то ни было в охранку, Глобачев сообщал об этом своему адъютанту, тот шел в кабинет, зажигал полный свет и проверял каждый угол, после чего не выходил из кабинета до появления начальника...

В сложной петроградской обстановке Глобачев быстро разобрался и поначалу избрал для себя довольно хитрую стратегию и тактику. Должность его официально называлась «начальник отдела по охране общественной безопасности и порядка в г. Петрограде». Приняв отдел, он сразу же обнаружил там серьезную для себя опасность — охранка была втянута в карусель, перешвыри-

вания дел, касавшихся шпионажа. Глобачев изымает из недр охранки все подобные дела и этим отводит от себя ответственность за безрукую борьбу со шпионажем и высвобождает значительные силы охранки для борьбы с революцией.

Во всем, что касалось борьбы с революционной крамолой, на Глобачева можно было положиться. Он любил говорить: я эту опасность не только умом сознаю, всей своей шкурой чувствую...

Пока министром внутренних дел был Хвостов, охранка действовала вполне самостоятельно, но с приходом на этот пост Протопопова положение изменилось. Новый министр подключал охранку ко всем своим интригам, и Глобачеву скрипя зубами приходилось вести разработку великосветских салонов, организовывать слежку за министрами, политическими деятелями и даже за иерархами церкви. Охранка стала той самой лупой, через которую Протопопов и царица так любили рассматривать всякого, кого они считали своим противником. Однажды, получая от Протопопова фамилию очередной «жертвы под лупу», Глобачев не выдержал, сказал, что охранка занимается бог знает чем и кем на радость главным врагам трона. На это Протопопов сухо заметил, что прямые указания ее и его величества следует выполнять беспрекословно.

Ну что ж, решил Глобачев, значит, каждый сотрудник охранки должен работать в два раза больше. Сам он появлялся на службе раньше всех и уходил позже всех. Все рабочее время его кабинет напоминал штаб большой воинской части, ведущей длительное нелегкое сражение. Все стараются как могут, но Глобачев работой охранки недоволен. Ему кажется, что и в Варшаве и в других местах дело шло лучше, там подчиненные понимали его с полуслова и считали за честь безукоризненно выполнить любой его приказ. А здесь у него полно столичных умников, у которых, видите ли, есть собственные мнения, а послушаешь их, видишь, что их рассуждения только к тому и ведут, чтобы меньше работать. В Варшаве он таких, не думая, гнал в шею, а тут, кого ни тронь, у него опасная родня за спиной. А в Петрограде, как нигде, революцию надо бить монолитным кулаком, а не растопыренной пятерней...

Только что его кабинет покинул один из таких умников, ротмистр Калимов — какой-то двоюродный племянник жандармского генерала Курлова. Работает в группе, разрабатывающей цитадель революции — Путиловский завод, но что ему ни поручалось, все провалено — упустили большевичку, пронесшую на завод подстрекательские листовки, не опознали большевиков, ночевавших у провокатора, при наблюдении явочной квартиры смутьянов прозевали там сходку... Что это? Неуменье? Нераденье? А может, саботаж? Ведь сам Протопопов сказал ему на днях, что многовато арестов и что это раздражает общество... Но нет, на подобные замечания он реагировать не будет...

В кабинет без предупреждения вошел грузный полковник Остафьев — любимец Глобачева. Он вызвал его сюда из Варшавы,

и был он из тех работящих охранников, кто разделял главную тревогу начальника, действовал решительно и безоглядно.

— Все арестованы и доставлены в тюрьму,— пробасил Остафьев, садясь в кресло и отдуваясь.— Но нелегко было. Всех брали в одночасье.

— Что дал обыск?

— Маловато,— вздохнул Остафьев.— Но для завязки кое-что есть.

— Допросами руководи сам. Я ни минуты не сомневаюсь, что все эти так называемые рабочие, включенные в военно-промышленный комитет, на самом деле негласная агентура большевиков.— Глобачев помолчал, думая.— Иначе зачем им было нужно без ведома комитета болтаться по петроградским заводам, а потом там на сходках шла болтовня о положении в военной промышленности. Вот что,— оживился Глобачев,— дай задание всем, кто ведет следствие по фабричным бунтовщикам, чтобы спрашивали про этих рабочих комитетчиков. Попробуем обвинить их в разглашении военных тайн.

— Все-таки зря мы не арестовали и нашего агента из комитета, он бы давал показания, какие нам необходимы. А сидя вместе с ними, продолжал бы их разработку.

— Что об этом говорить?— вздохнул Глобачев.— Белецкий уперся, на министра ссылался — нельзя, мол, оставить комитет без агента. Ладно. Так скольких же взяли?

— Всего вместе с комитетскими сорок два, но я уверен — нитки потянутся в разные стороны и возьмем еще не меньше тридцати.

— Ладно. А если кто не будет годен для суда, сошлем в административном порядке.

— Между прочим, один из комитетчиков, некто Ежов, может не дотянуть до суда. У него чахотка на пределе.

— Сам околеет — тоже неплохо. А пока жив, допрашивайте.

— Ясно. Но тут есть еще один нюанс — наш агент, который был при этом Ежове, сблизился с другом Ежова, а это знаете кто? Керенский.

— Великолепно! Этот крикун меня весьма интересует.

— А по-моему, балаболка.

— Не скажи, его речи в Думе всегда поднимают муть вокруг власти.

— Не знаю, не знаю... А знаешь, что говорит агент? Что его можно завербовать.

— Ни в коем случае. Подобные ветрогоны в одну минуту могут поставить нас под удар. А агента на него нацель. И придется тебе в конце этой недели взять на себя Путиловский...

— Что там?

— По-моему, бунт — абсолютная реальность.

Остафьев помолчал, угрюмо смотря, и сказал:

— Да... Наперегонки идем — кто кого успеет обойти.

— Я все чаще вспоминаю ту ночь в Варшаве в девятьсот пятом, когда свихнулся подполковник Русанов. Помнишь?

— Но он слаб был, наш Русанов...

— Как он кричал: «Мы их не переловим! Они нас повесят...»

Они помолчали, будто вместе прислушались к той далекой варшавской ночи.

— А переловили же...— неопределенно, не то вопросительно, не то утвердительно, произнес Остафьев.

— Вот что...— вернулся в сегодняшний день Глобачев.— Приготовь-ка письмо нашим людям по месту каторги этого... Прохорова. Надо, чтобы его там как следует приголубили...

3

Спустя несколько дней Глобачев был на докладе у Протопопова. Он тщательно подготовил доклад и хотел заразить министра своей тревогой, но тот слушал его с рассеянным видом, ковырял спичкой в ухе и потом рассматривал извлеченное... Глобачев с трудом подавлял вскипавшую в нем злость и, не закончив доклада, воскликнул:

— Ваше превосходительство, я плохо сплю оттого, что мое ведомство делает слишком мало в рассуждении великой опасности, грозящей трону слева!

— Размер этой опасности я сознаю,— хмуро сказал Протопопов.— Но следует помнить, что мы действуем не в безвоздушном пространстве, а в реальном обществе, а это механизм сложный. Когда власть усиливает пресс, происходит как бы сжатие пружины. И чем больше власть давит, тем сильнее сопротивление... Вот вам факт буквально сегодняшний. Вы арестовали какого-то Ежова, и мне уже звонил по этому поводу Керенский.

— Это понятно, они друзья,— вставил Глобачев.

— Нет, не то важно. Этот горлопан кричал мне по телефону, что Ежов смертельно болен, что он не удивится, если узнает, что мы начали арестовывать покойников, и так далее...

— Могу дать справку — как только я узнал, что Ежов тяжело болен, я распорядился его освободить...— сказал неправду Глобачев.

— Да? Вот это замечательно,— обрадовался Протопопов и, извиняясь, начал искать в записной книжке чей-то телефон. Нашел. Позвонил и сказал:

— Передайте, пожалуйста, Александру Федоровичу, что звонил Протопопов — человек, о котором он мне говорил, освобожден. Да, да...

Положив трубку, он повернулся к Глобачеву и с виноватой улыбкой сказал:

— Пожары надо тушить, когда огонь еще не охватил дом.

Протопопов хотел этой мелкой философией о сжатой пружине прикрыть нечто абсолютно личное, что ему было подороже само-

чувствия государства и общества. Он знал, какое возмущение среди его думских коллег вызвало его назначение, а все они обладали достаточно злыми языками, чтобы всесветно ославить его как министра, благословившего массовый террор. Но этот нехитрый ход его мыслей Глобачев прекрасно разгадал и решил идти напролом. В конечном счете, если ему не позволят делать то, что он считает кровно необходимым для трона, делать ему в охранке нечего и пусть его лучше уволят...

— Ваше превосходительство, мысль о пружине, которую вы высказали, мне понятна,— начал он спокойно и никак не подчеркивая двусмысленности своей фразы.— И насчет пожара тоже. Действительно же, его тушить надо, пока он не охватил весь наш дом. Но сейчас вопрос стоит так, что все русское общество может оказаться погребенным под обломками пожарища, вызванного революционным взрывом. И так как общество механизм не только сложный, но и стоглаво умный, оно нас поймет и поддержит. Надо только ему все прямо объяснить. Я уже не говорю, что мы с вами служим государю и трону, избранным большевиками главной своей целью.

Протопопов молчал. Искал удобный поворот этому опасному для него разговору. Государство... большевики... все это, конечно, важно, но для него сейчас самое важное — удержаться на этом высоком посту, а для этого он должен предусмотреть все обстоятельства...

— Давайте договоримся так...— заговорил он наконец.— Вы продолжайте свое святое дело. Все, что вы начали при моем предшественнике, доведите до необходимого конца. А в будущем мы будем вместе советоваться, как шагать дальше. Я, вы, новый начальник департамента полиции — мы будем вместе выверять свои действия во всех аспектах. Не возражаете?..

— Ладно...— с трудом произнес Глобачев свое любимое словечко и, понимая, что аудиенция окончена, встал.

— Я искренне желаю вам успеха в вашем трудном, но крайне необходимом государству деле...— Протопопов протянул ему руку через стол, и, так как стол был громадный, рукопожатие у них получилось неловким, скользящим...

4

Глобачева все более угнетало ощущение, что вся его работа идет вхолостую. Ну не совсем вхолостую, но без ясно видимых эффектных результатов. Чего стоил один Петроградский комитет большевиков! Сколько раз его накрывали полностью, не говоря об арестах отдельных его деятелей, не раз брали связи комитета, в тюрьму и на каторгу отправлены десятки комитетчиков, а не далее как вчера полковник Садчиков, занимающийся этим проклятым комитетом, снова явился к Глобачеву с сообщением, что комитет опять действует.

Но это ощущение появилось у Глобачева не вчера, а гораздо раньше, еще в конце лета, и он хорошо помнит в связи с чем...

Началось с удачи — на Старо-Невском накрыли давно запримеченного, но ловко ускользавшего большевика. Накрыли в момент, когда он проверял отремонтированный им стеклограф и для пробы печатал несколько экземпляров листовки. Глобачев помнит даже его фамилию — Прохоров.

Деваться Прохорову было некуда, и он подписал показания, в которых сознавался, что он социал-демократ, большевик, что стеклограф его личная собственность и что на нем он собирался печатать листовку, которую у него отобрали при аресте. Но дальше начинались «но» — он не назвал организацию, в которую входил, не назвал сообщников и утверждал, что текст листовки сочинил сам. В то, что он большевик-одиночка, Глобачев не верил, таких вообще не бывает. Лгал Прохоров и насчет листовки, текст которой он наверняка от кого-то получил, а как раз она была очень важная. Приближался второй судебный процесс над военными моряками в связи с бунтом на линкоре «Гангут». Листовка, изъятая у Прохорова, призывала рабочих Питера провести всеобщую стачку протеста против суда. Большевики очень опасно использовали и первый суд, призвав армию включиться в борьбу с самодержавием.

Прохорова допрашивали самые опытные следователи охранки, но к первым своим показаниям он не прибавил ни слова. Попробовали на него нажать, но и это ничего не дало — он молчал и грозил отказаться от подписанных им показаний. Глобачев принял решение передать дело в суд, но перед тем захотел сам поговорить с подследственным — а вдруг он все-таки передумал и расколется...

Утром к нему привели Прохорова. Было ему лет сорок. Рослый, плечистый, он стоял перед его столом, прочно расставив массивные ноги в простых дегтярных сапогах, и смотрел на него с каким-то веселым любопытством — дескать, интересно, что этот генерал придумал? Глобачеву говорили, что он вообще весельчак, на допросах острит, смеется. Ну что ж, Глобачев видел и таких...

— Вы, Прохоров, делаете большую ошибку,— наставительно, но мягко начал Глобачев.

— Да, да, так глупо завалиться со стеклографом в руках,— легко согласился Прохоров.

— Я о вашем нежелании дать показания,— уточнил Глобачев.

— Но после той главной моей ошибки все остальное — чепуха,— с оттенком печали ответил Прохоров.

— Хорошо, чепуха...— покачал головой Глобачев.— Она будет вам стоить лишних пять, а то и семь лет тяжелой каторги,— на печаль печалью отозвался Глобачев.

— Дайте мне хоть столетнюю каторгу, я и глазом не моргну — отбуду там от силы год, ну два и вернусь,— весело и убежденно произнес Прохоров.

— Могу вас огорчить — за последние годы оттуда никому бежать не удавалось...— Глобачев закурил папиросу и подвинул коробку на край стола:— Курите?

— С удовольствием,— улыбнулся Прохоров. Он подошел к столу и, неловко орудуя большими, заскорузлыми пальцами, извлек из коробки папиросу.— Тогда уж и огоньку, если можно...— Глобачев подвинул к нему спички. Прохоров с наслаждением на лице сделал долгую затяжку и вернулся на прежнее место.— Насчет побегов у вас, извините, неточные сведения. Но я-то имел в виду не это — меня из каторги выручит революция.

— Не смешите меня, Прохоров,— по-дружески попросил Глобачев.— Вся ваша революция сидит в Крестах и дробит камни на каторге.

— Ой, не так это,— покачал головой Прохоров.— Разрешите притчу сказать?

— Что еще за притча?

— Про ястреба...— с лукавой улыбкой начал Прохоров.— Один ястреб, значит, решил переловить всех птиц в перелеске. Но откуда ни возьмись орел. Момент, и нет нашего ястреба...— Прохоров помолчал, глядя с интересом на жандарма — дошло до него или не понял? И заключил:— Так что пока есть орел, никакой ястреб всех птиц не переловит. Для ясности: орел — это наша партия... большевики.

Глобачев помолчал, подавляя злость, и рассмеялся:

— Когда будете на сорокаградусном морозе дробить камни или валить лес, расскажите эту притчу каторжникам... они вам темную сделают... Однако у меня нет времени слушать ваши притчи, последний раз говорим вам: сообщники — и каторга наполовину короче.

— Ну как же можно?— удивился и огорчился Прохоров.— Вы хотите, чтобы я отправил на каторгу тех, кто должен меня освободить. Зачем же вы из меня дурака строите?

Прохорова увели. Глобачев вернулся к своим делам, мимолетно подумав только о том, что вместе с Прохоровым изъята и опасность появления большевистских листовок о судебном процессе, а это уже немало.

Увы, когда в октябре начался суд, Петроград наводнили те самые «прохоровские» листовки, и на целых три дня жизнь столицы была парализована всеобщей стачкой, в которой участвовало более ста тысяч человек. Положение сложилось столь грозное, что было решено приготовленные смертные приговоры не выносить...

И тогда вот и появилось у Глобачева то самое ощущение бессилия. Вдобавок его бесило, что министр Протопопов и начальник департамента полиции сумели втянуть его во множество мутных, или, как он выражался, крысиных, дел, весьма далеких от той главной и грозной опасности, которую он не переставал чувствовать. Мало того, постепенно в эти крысиные дела он вынужден был втянуть и многих своих сотрудников, а от этого удары охранки по главной опасности становились слабее и все чаще запаздывали...

Вдруг кто-то в департаменте придумал написать и отпечатать в типографии письмо к рабочим с призывом во имя победы над врагом прекратить смуту. Подпись под письмом — «Патриоты России», а распространять письмо приказали через агентов охранки, действующих среди рабочих. Чушь. И опасная чушь... Или за тысячу верст в Николаеве не могут справиться с забастовкой, остановилось строительство военных кораблей, и ему приказывают послать туда своих самых опытных агентов. Но тут хоть главная цель. Но в Петрограде-то с этой же целью не лучше. Получая приказ о Николаеве от самого Протопопова, Глобачев сказал об этом, а министр рассердился:

— Послушать вас, так Петроград населен одними большевиками.

— Ваше превосходительство, их сотни, тысячи! — воскликнул Глобачев.

— У страха глаза велики,— проворчал Протопопов.

— Они возникают, как клопы, повсюду! — энергично заговорил Глобачев.— Мы уже обнаружили их среди интеллигенции, даже среди ученых. Не далее как вчера мой агент из Политехники сообщил, что некий профессор Тимирязев изволил выразиться, что монархия — это анахронизм, который пора сдать в археологический музей.

— Ничего, ничего... — недовольно хмурясь, ответил министр.— А агентов отправьте в Николаев немедля...

Пришлось отправить... А то вдруг приказ из департамента — срочно внедрить агентуру в среду анархистов, там-де зреет серьезная опасность. Пришлось внедрять. А оказалось, анархистов тех восемнадцать человек и ничего у них там не зреет, так как главное их занятие — ночные грабежи под флагом экспроприации буржуев. Всего дела для двух расторопных полицейских...

А чего стоит такое еще дело... Явный проходимец Мануйлов, пригретый самим премьер-министром Штюрмером, испугался, что некий господин Пец хочет отбить у него любовницу, опереточную диву Лерму. И ему, начальнику охранки, отдают приказ немедленно арестовать соперника Мануйлова как пособника немцев. И он производит арест, занимается следствием. Подозрения не подтверждаются. Вокруг ареста возникает шум, и после этого ему же поручают найти способ «мягко» закрыть дело, освободить арестованного, но сделать это так, чтобы он не мог встречаться с опереточной... Черт знает что ему суют, мешая делать главное!

Злясь на все это, Глобачев втайне прекрасно понимал, что все отвлечения охранки все же не главная причина его устойчивых неудач, но ему хотелось иметь хоть какое-то оправдание, когда его спросят, почему охранка не справляется со смутой...

А к концу шестнадцатого года Глобачев чувствовал себя на ощупь бредущим в каком-то безысходном лабиринте. Он делал все, что мог, но агентура давала все более ясные и тревожные сведения, что в Петрограде назревает восстание, что в него собираются вовлечь не только фабричных, но и солдат на фронте.

5

Поздним декабрьским вечером, когда Глобачев сидел в своем кабинете над необыкновенно тревожной сводкой агентурных данных, бесшумно вошел адъютант:

— К вам поднимается генерал Спиридович...

— Сразу же проводите ко мне,— распорядился Глобачев. А этому что от него надо? Но он давно читал книгу Спиридовича об опасности социал-демократии и считал, что об этом они думают одинаково. Мелькнула мысль: не воспользоваться ли тем, что Спиридович начальник личной охраны царя, чтобы передать свою тревогу в Царское Село?..

Спиридович вошел со словами:

— По-прежнему ночами не спит одна бедная охранка...

Они поздоровались.

— Что бедная, это точно,— усмехнулся Глобачев, направляя лампу-прожектор в сторону.

— Не дают денег?— поднял брови Спиридович, садясь в кресло.

— Не дают нормально работать,— тихо произнес Глобачев и, видя, что гость на его слова не реагирует, решает сделать прямой ход:— Неужели у вас, в Царском Селе, некому сказать государю, что, если не сделать все, что надо, сегодня, завтра будет поздно?

— Некому, Константин Иванович... Некому,— еле слышно ответил Спиридович, смотря в пространство.

— А вы? Еще когда вы били в колокол...

— Я завтра уезжаю в Ялту.

— Неужели он едет отдыхать?— потрясенно спросил Глобачев.

— Я еду без него,— усмехнулся Спиридович.— Еду к месту своего нового назначения — править городом Ялтой.

— Что случилось?

— Долго рассказывать, Константин Иванович... Знаете, зачем я к вам зашел? Узнать, прежний ли вы Глобачев или...

— Или, Александр Иванович,— тихо ответил Глобачев и повторил:— Именно или...

— Я никого не хочу винить,— помолчав, сказал Спиридович.— Значит, так ей, России, Константин Иванович, и надо.

Они молчали. Было слышно, как шуршит бьющий в зашторенные окна метельный снег.

— А ведь еще можно! Можно!— вдруг воскликнул с тоской Глобачев.— Я же выявил все их берлоги. Дайте мне сегодня полк. Один полк! И развяжите руки! Я бы такую варфоломеевскую ночь устроил! Утопил бы эту большевистскую ораву в ее собственной крови!— Глобачев тихо выкрикивал фразу и каждый раз бил по столу сжатым до белизны кулаком. Потом уронил руки плетьми по бокам кресла и выругался матерщинно — длинно и яростно.

Снова молчание. Вой метели за окнами. Спиридович зябко поежился в кресле:

— В общем, сам бог отправляет меня в Ялту. Новую Помпею увижу издали. Так что мне лучше, чем вам.

— Я не пойму одного — неужели государь ничего не помнит?— с яростью спросил Глобачев.— Совсем недавно был у меня Нижний. Сормово! Это же бастион левых. Губернатор в штаны наклал — не совладаем! А я там такой сенокос устроил! Под корень брал! Под корень! И стало тихо.

— И сейчас там тихо?— с оттенком иронии спросил Спиридович.

— Так на мое место дурака послали,— вздохнул Глобачев.

Спиридович встал, прошел к окну и, приоткрыв гардину, смотрел в замороженное стекло.

— Нет, Константин Иванович...— заговорил он, не оборачиваясь.— Сейчас, по-моему, уже поздно. Косить надо было начинать куда как раньше. Как с той первой революцией покончили, надо было передохнуть малость из хитрости и снова косы в руки. Эта социал-демократическая зараза живуча. У нее идея соблазнительная — бить богатых. Бедных-то легионы, и у них против богатых зло застойное. Большевики на этой злобе всю свою карусель и крутят. Против этой заразы лекарство одно — страх. А страх в один день не посеешь. Кроме того, большевики пролезли на фронт к солдатам, а тех уже ничем не испугаешь, у них в руках винтовки.

— Бог ты мой, сколько раз я докладывал об армии.— Глобачев выхватил из груды синюю папку, раскрыл ее.— Вот... Еще в прошлом году идея у меня была — в каждом полку выделить одного надежного офицера и сделать его нашим представителем. Оставить ему воинское жалованье и от нас дать полсотни. И закоротить его прямо на военно-полевой суд. Представляете, какая пошла бы косьба! Так где этот проект утопили? Вот, пожалуйста, заключение министерства финансов! В текущем году подобные ассигнования не предусмотрены... Ну скажите, зачем наш министр полез в министерство финансов? Он же каждый год миллион кидает на поддержку верных газет. Кому нужны эти газеты? А тут полез к финансистам. Чушь! Безответственность! Тупость!

Спиридович быстрыми шагами вернулся к столу:

— Что ваш министр, Константин Иванович, когда сам царь не понимает этой смертельной для него опасности. Он же больше боится Родзянко с Гучковым. Если хотите знать, скажу между нами: я уезжаю только потому, что слишком настойчиво пытался открыть ему глаза на угрозу социал-демократической революции. В нашем последнем разговоре об этом он заявил, что монархия и Россия — это одно целое и никто никогда эти понятия не разъединит. Он окружен праздными сановниками, карьеристами, дураками, они заслоняют от него реальность и вовлекают его в свои эгоистические интриги. А царица тут первый и главный заслон, потому что ей он свято верит во всем по сей день. Не далее как се-

годня утром я с ними прощался, был позван к завтраку. У обоих на лицах все еще траур по Гришке. Я решил ни с чем не считаться и сказал ему: ваше величество, не гневайтесь, но я обязан сказать вам — нет более грозной опасности, чем социал-демократия с ее идеями. Царица пальцы к вискам прижала, говорит: дайте же ему отдохнуть, ради бога, и сами отдохните получше в благословенном Крыму, а когда мы там будем, приходите к нам запросто в Ливадию. А он добавил: там, говорит, мы и вернемся к разговору о ваших социал-демократах. О ваших — так сказал. Вот и весь разговор.

— Ужас... Ужас,— прошептал Глобачев и вдруг с яростью спросил:— А знаете, где сейчас революция?— Он показал на дверь:— Рядом! За дверью! Вплотную!

— Да-а-а,— после долгого молчания вздохнул Спиридович.— Здесь у вас я сейчас оставляю последнюю свою надежду.

— Все-таки я еще немножечко верю,— тихо сказал Глобачев, вставая.— Вдруг блеснет разум там, в Царском Селе, и тогда за нами не станет...

Спиридович покинул охранку далеко за полночь. Шагал неторопливо по темным улицам Петрограда, пиная сапогом комья снега...

До революционного взрыва оставалось полтора месяца...

6

Как встречал русский царь 1917 год, установить не удалось. Есть только одно свидетельство и то через третьи руки — воспоминания некой дамы, почему-то скрывшейся за инициалами Н. Н., опубликованные в русском эмигрантском «Журнале для всех». Там есть место, где она приводит следующие строки из письма лейб-медика Е. С. Боткина ее мужу: «В ту, обычно сияющую огнями ночь дворец был погружен во мрак и уныние. Вскоре после наступления Нового года я пошел к Ним, чтобы поздравить, я так всегда делал. Он, Она, дочери Ольга и Татьяна играли в домино, последнее время они очень полюбили эту игру. В соседней комнате стояла елка с потушенными свечами, там никого не было. Наследник уже спал. Я поздравил Их, и Они поздравили меня. Странно и даже нелепо звучали привычные слова «С новым счастьем». Я еще, как врач, пожелал им крепкого здоровья, на что Он ответил с улыбкой, что на слабое здоровье Он пожаловаться не может. Но никакого другого разговора не получилось. Им, наверное, хотелось продолжать игру, и я вскорости ушел...»

Известно, что в рождественские дни вся царская семья присутствовала на ежевечернем церемониале вручения у елки подарков нижним чинам царскосельского гарнизона. Сначала царь с наследником проводили парадный смотр и поздравляли строй с рождеством Христовым, а затем великие княжны вручали подарки.

Газеты об этом ритуале писали скупо, а многие вообще обошли его молчанием — слишком тяжко было на Руси, чтобы восторгаться этим действом, не нужным ни царю, ни солдатам, ни тем более измученному народу. Более того, оказывается, эти подарочные представления тревожили охранку. Поначалу комендант царскосельского дворца генерал Воейков решил эту рождественскую церемонию проводить в Александровском дворце, где проживала царская семья, и избрал для этого голубой зал. Туда уже и елку затащили, как вдруг... генерал Воейков получает грозную бумагу из охранки. В ней говорится: «...размеры зала (96×16 аршин) создадут обстановку, когда августейшая семья окажется всего в 30—35 шагах от массы, что абсолютно недопустимо. В качестве одного из заменяющих вариантов можно предложить манеж Конюшенной части...» Туда и была срочно перетащена елка...

Номера петербургских и московских газет, вышедшие 1 января 1917 года, навевали в лучшем случае грусть, а то и просто отчаяние. Так, в газете «Биржевой день» ее редактор С. Касторский поместил статью под заголовком «Жизнь без надежды» и для цензора после этих слов — знак вопроса — дескать, все, что в статье, это не утверждение, а всего лишь предположение. Но, как говорится, хрен редьки не слаще... Читаем, представив себе, как это читалось в те дни... «Многие думали — хоть бы не кончалась эта новогодняя ночь никогда и не наступало утро во всей его устрашающей наготе. Спросите у докторов — они скажут вам, как небывало часты сейчас самоубийства — люди не хотят просыпаться... Не просыпаться... не просыпаться...»

А вот «Московским ведомостям» все нипочем — в номере от 1 января 1917 года читаем: «Одним словом, благодарение богу, Россия вступает в Новый год при многих благоприятных предзнаменованиях, смягчающих неизбежно трудные условия нынешнего времени...»

И снова только большевики ясно видели происходящее и говорили народу правду. Вот пожелтевшая от времени листовка Московского бюро РСДРП — она появилась на улицах, на собраниях накануне Нового года. В ней точная характеристика монархии: «...отжившее свой век правительство является образцом бездарности и низости. Дворцовые интриги, захват власти проходимцами и изменниками, предательство и провокации стали обычным делом правящей шайки...» Точнее не скажешь... О пролетариате в листовке говорится, что его возмущение «растет, массовое революционное движение неизбежно. И правительство и буржуазия спешат отвести от себя руку пролетариата... Революционная борьба за демократическую республику, открывающая путь к последней борьбе — к борьбе за социализм,— вот его цель...»

Что же касается самого царя, то его неведение о происходящем уже вышло за пределы элементарного понимания. 23 февраля (!) 1917 года он отправляет из Ставки письмо царице, в котором ни слова о политике и событиях. Все письмо о чисто семейных делах. Есть в нем и такое:

«Мне очень не хватает получасового пасьянса каждый вечер. В свободное время я здесь опять примусь за домино. Эта тишина вокруг гнетет, конечно, если нет работы...»

В письме, отправленном им на другой день, читаем:

«Мой мозг отдыхает здесь — ни министров, ни хлопотливых вопросов. Я считаю, что это полезно мне не только для мозга». Все остальное и в этом письме — дела семейные.

А вот что писала ему царица 25 февраля (!) 1917 года. Все-таки сказывалось, что Царское Село было к Петербургу ближе, и то, что к царице продолжали приезжать опекаемые ею деятели. Вот что она пишет об уже начавшейся революции:

«Это — хулиганское движение, мальчишки и девчонки бегают и кричат, что у них нет хлеба — просто для того, чтобы создать возбуждение, и рабочие, которые мешают другим работать. Если бы погода была очень холодная, они все, вероятно, сидели бы по домам. Но это все пройдет и успокоится, если только Дума будет хорошо себя вести».

Видно еще из письма, что она даже действует, дает советы своему венценосному мужу. Читаем:

«...Уволь Батюшина (речь идет о деятеле военной контрразведки.— *В. А.*), вспомни, что Алексеев твердо стоит за него. Батюшин выбрал себе адъютанта — теперь он полковник, который прежде был очень беден. Его жена принесла ему в приданое 15 000, теперь же он стал очень богат. Странно! Батюшин тоже запугивает людей, заставляет платить ему большие суммы, чтобы не быть высланными (без всякой вины). Отделайся от него, мой дорогой,— я говорю о Батюшине,— поскорее...»

И дальше прямо «гениальный» совет:

«Забастовщикам прямо надо сказать, чтобы они не устраивали стачек, иначе будут посылать их на фронт или строго наказывать...»

Нет, нет, они уже ничего понять не могли...

ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ

Генерал Дубенский, отдавший немало сил воспеванию благолепия царского двора, мудрости государя, с ужасом наблюдал распад царской власти. Даже в Главной Ставке близ монарха не находил он покоя, и в начале декабря под предлогом болезни он поехал в Петроград. Его вела туда слепая надежда, что там же государственная власть, которая призвана и которая может охранить государство от хаоса и безвластия.

Увы, не нашел он покоя в столице. Более того...

Утром он направился в военное министерство, решил добиться аудиенции у министра Шуваева. Не любил он этого человека, считал его лукавым, двуличным, но все же министр, и у него он может узнать какую-то утешительную правду... У него была тайная вера,

что в столице все непременно должны знать что-то такое, что противостоит всем страшным разговорам и его собственным мыслям.

В приемной Шуваева толпились генералы, о чем-то тихо переговаривались, лица у них были встревоженные. Адъютант министра, выслушав просьбу Дубенского о приеме, поморщился:

— У вас достаточно важное дело? Его превосходительство очень заняты.

— Да, дело крайней важности, я приехал из Ставки,— раздраженно ответил Дубенский.

— Я доложу. Посидите, пожалуйста...

Пришлось ждать больше часа. Адъютант несколько раз проходил в кабинет министра и, возвращаясь, даже мельком не останавливал взгляда на нем. Проходили в кабинет и военные разных рангов.

Наконец пригласили его.

Шуваев встретил его приветливо, пожал ему руку, справился о здоровье, усадил в кресло перед своим столом.

— С чем пожаловала к нам наша главная пресса?— мимоходом спросил министр, и было видно, что мысли его заняты чем-то другим.

Дубенский молчал, не зная, как начать разговор. Решил не вилять, сказал:

— Приехав из Ставки сюда, я чувствую себя как человек, перенесшийся из атмосферы спокойного дела в какой-то содом... Одни газеты чего стоят!

— Но в этом, как вы выразились, содоме есть, Дмитрий Николаевич, своя закономерность. Мы здесь испытываем тяжесть не только войны, но и всей создавшейся в стране обстановки, которая оставляет желать лучшего,— жестко проговорил министр.

— Меня потрясает потеря веры.

— Веры во что, Дмитрий Николаевич?— летуче спросил Шуваев, он высмотрел на столе какую-то бумажку и переложил ее поближе к себе.— Потеря веры, говорите? Ну что ж, и это тоже закономерно — правительственная власть, Дмитрий Николаевич, применительно к создавшимся сейчас условиям своих функций управления страной не выполняет, и отсюда все последствия, в том числе и то, что вас потрясло. Да что говорить, Петроград, столица российская, на глазах превращается в очаг смуты. Чего стоит один продовольственный вопрос...— Шуваев сначала не собирался открыто говорить с Дубенским, но затем подумал: он же из Ставки, находится там близко к царю, вдруг да расскажет ему о том, что от него явно скрывают.

— Но разве Протопопов не берет это дело в свои руки?— спросил Дубенский.— Я в Ставке слышал, будто он заверил государя, что, если продовольствие передадут в его министерство внутренних дел, он быстро наведет порядок.

На лице Шуваева застыла злая улыбка:

— Дмитрий Николаевич, дорогой мой, неужели вы еще прислушиваетесь к тому, что бормочет Протопопов? Если хотите,

именно он сам первый и порождает людское неверие, о котором вы изволите говорить. Да если бы он был умный или просто нормальный человек, он понимал бы, что Дума сейчас могла стать единственной серьезной опорой власти во всех внутренних делах страны. Но теперь это уже упущено. Закроют они Думу или не закроют, она на компромисс с властью уже не пойдет. И это сделал Протопопов. Хотите всю правду? Я склоняюсь к существующему и весьма солидному мнению, что Протопопов человек, теряющий рассудок не в фигуральном смысле, а в буквальном. А общий результат всего этого в том, что сейчас каждая булочная, каждая мясная лавка стали плацдармами оголтелого антимонархизма и еще более опасного анархизма.

— А что же полиция... охранное отделение?— тихо спросил Дубенский.

Министр рассмеялся:

— Устаревший вопль «где околоточный?». Сообщу вам одну шутку начальника охранки генерала Глобачева. У него спросили: можно ли очистить столицу от элементов, порождающих смуту? Он ответил: можно, но при условии, что первыми из Петрограда будут вышвырнуты Протопопов и Распутин.

— Странная шутка,— поморщился Дубенский.

Министр усмехнулся:

— Шутки начальника охранки, наверно, не бывают веселыми.

Шуваев молчит, он достаточно умен и предусмотрителен, чтобы дальше этот разговор не вести.

На том Дубенский и ушел в состоянии полного смятения.

Взяв на улице извозчика, Дубенский помчался в министерство внутренних дел. Там в управлении по делам печати работал его хороший знакомец камергер Катенин, с которым у него давно устоялись доверительные отношения. Другие издатели газет считали его душителем русской прессы, называли Аракчеевым, а у Дубенского никогда никаких столкновений с ним не было, более того, благодаря ему он для своей газеты получал государственные субсидии и почаще других и покрупнее. Наконец, Катенин всегда был хорошо осведомлен обо всем, что делалось «на верху», и не раз подсказывал темы для выступления газеты, которые потом отмечались как своевременные и удачные. Дубенский даже думает, что в летописцы при царе он попал не без участия Катенина...

Катенин его принял тотчас. Они сели в кресла у ломберного столика. Высокий, худой до костлявости, с острым моложавым лицом камергер как-то бочком устроился в кресле и спросил:

— Что нового в главном поезде государства?

— Не знаю, что делать с газетой...

— Что делать с газетой?— Глаза у Катенина сузились, он провел ладонью по своему лицу сверху вниз и, зажав пальцами острый подбородок, сказал тихо:— Продайте ее, пока не поздно...— Помолчал и добавил:— Но, пожалуй, уже поздно, не найдете покупателя. Да просто закройте ее, сославшись на соображения материального порядка.

Дубенский и сам еще в Ставке однажды думал об этом, и совет Катенина его не удивил и не огорчил...

— Воспользуйтесь приближением Нового года,— продолжал свою мысль Катенин.— К этой дате в жизни газет всегда происходят подобные события, да и вообще сейчас никто не обратит на это внимания...

— Боже мой... боже мой...— прошептал Дубенский.— Александр Андреевич, что же это происходит вокруг? Я вчера прочитал столичные газеты, это ведь тоже измена.

— Измена кому, Дмитрий Николаевич?— прищурился Катенин.

— Как это кому? Монархии! Государю!

— А если они давали присягу не монархии, а анархии, то они, значит, вполне последовательны, эти редактора.

— А вы? А ваше управление?— тревожно спросил Дубенский.

— Я неизменный и верный слуга монархии,— сухо и даже немного обиженно ответил Катенин.— Но моя служба всего лишь маленькая частица государственной власти, и я всегда на ту государственную власть опирался, зная, что без этой опоры я ничто. Сейчас, Дмитрий Николаевич, мне опираться не на кого и не на что.

Они долго молчали. Дубенский пытался справиться с собой, утихомирить колотившееся сердце. Катенин смотрел прямо перед собой остекленевшими глазами, барабанил по подлокотнику кресла длинными тонкими пальцами. Потом сказал раздумчиво:

— Все мы, Дмитрий Николаевич, сейчас должны выяснить одно — степень своей личной вины в том, что в государстве нашем была недооценена грозная опасность анархии и главных ее деятелей — большевиков. Но я думаю, мы с вами можем сказать, что наша вина в этом косвенная. Меня же, вы знаете, ваши коллеги прозвали Аракчеевым за то, что я как раз пытался охранить династию... И вы тоже жизнь свою отдали монархии и лично монарху.— Катенин встал, сходил к столу и вернулся, держа в руках лист ватмана, на который была наклеена истрепанная газетная страница.— Вот... не изволите ли посмотреть...

Дубенский окинул взглядом полосу газеты, вслух прочитал название:

— «Социал-демократ»...

— Вот там я отчеркнул главное...— продолжал Катенин...— Там напечатан черным по белому призыв к русским солдатам воспользоваться тем, что в их руках оружие, и повернуть его против самодержавия и свергнуть его. Все очень просто, как видите...

— Но как же это вы допустили?— задохнулся Дубенский.

— Эта газетка, дорогой Дмитрий Николаевич, печатается весьма далеко от меня — в Швейцарии, и дотянуться туда я не в силах. Выпускается она там под руководством главаря большевиков Ленина, сюда ее доставляют его специальные курьеры.

Только за последние недели охранка при арестах изъяла шесть экземпляров этой бандитской газеты.

— Шесть? — почти радостно удивился Дубенский.

Катенин посмотрел на него внимательно и ответил:

— Не далее как вчера генерал Глобачев сказал мне, что воздействие этой газеты на рабочие массы колоссальное. И объяснил почему. Все наши газеты, вкупе с Думой, своим неумолкаемым лаем на государственную власть подготовили великолепную почву для семян, бросаемых к нам из Швейцарии Лениным. Любовь к монархии стала предосудительной. На фронтах плохо. В стране плохо. Безвыходно. И в это время тебе шепчут — выход есть, надо только свергнуть монархию. Вы видите, как до дыр зачитана газетка? Глобачев считает, что каждый такой номер газеты прочитывают тысячи людей. Глобачев сказал мне доверительно, что его ведомство надежный заслон перед этой газетой поставить уже не может. И если до солдат этот призыв еще не дошел, то петроградские обыватели, громя булочные, уже кричат: «Долой самодержавие!» Дорогой Дмитрий Николаевич, спасти то, чему мы с вами служим, может только чудо...

— Но что же делать теперь мне? — по-детски вырвалось у Дубенского.

— Я бы на вашем месте вернулся в Ставку — последний оплот самодержавия там, — твердо произнес Катенин и, улыбнувшись, добавил: — Если можете, возьмите с собой и меня...

Совет Катенина Дубенский воспринял как единственное для себя спасение от окружившего его ужаса. 31 декабря вечером он выехал из Петрограда в Ставку. Ему повезло — туда перегоняли после ремонта один из свитских вагонов царского поезда.

Кроме него, в вагоне оказался только один человек — хорошо знакомый ему церемониймейстер двора барон Штакельберг. Дубенского обрадовало, что он увидел его таким, как всегда, — холеное надменное лицо, крепкая, по-военному выпрямленная фигура, в строгом мундире; ему нравилось даже то, что барон разговаривал с ним как обычно — свысока и даже пренебрежительно.

Поезд скоро отошел. Они сидели в салоне без света. Дубенский почтительно молчал. В салоне бесшумно появился проводник вагона:

— Ваше превосходительство, изволите приказать зажечь свет?

— Не надо, — ответил Штакельберг. — Задерните занавески. Мы скоро ложимся спать.

Проводник исчез. Штакельберг сказал:

— Неделю назад в Пскове при отходе поезда в окно такого же вагона был брошен камень. Представляете? Счастье, что вагон шел пустой.

— Ужас, — прошептал Дубенский.

— Но нельзя же вдоль всей дороги поставить солдат,— рассудительно пояснил барон.

— Не нашли, кто бросил? — робко поинтересовался Дубенский.

— Это несущественно,— ответил барон.— Ну, поймали бы, допустим, расстреляли бы... а камень бросит кто-то другой... И давайте-ка лучше ложиться спать.— Барон встал.— Мое купе первое от салона, ваши все остальные, выбирайте любое...

В купе успокаивающая неизменность — крахмальное белье, теплые одеяла из верблюжьей шерсти, привычно рокочут вагонные колеса. Дубенский торопливо залез в постель и укрылся с головой. Странным образом ни о чем думать ему не хотелось, страстно хотелось одного — поскорее добраться до Ставки, там государь и, что бы ни случилось, там величие и покой...

Он проснулся оттого, что кто-то толкал его в плечо. Рывком поднялся и не сразу в темноте разглядел, что над ним склонился барон Штакельберг. Было тихо как в могиле. Поезд стоял.

— Надо вставать, господин Дубенский,— тревожным шепотом сказал барон.— Что-то происходит.

Дубенский быстро оделся.

— Наденьте и шинель,— посоветовал барон.

Они прошли в салон. Полной темноты здесь не было — поезд стоял у какого-то вокзального здания, и свет единственного фонаря проникал в салон.

— Мы стоим в Пскове,— сказал барон.— Меня разбудил проводник вагона и сообщил, что на станции происходят какие-то беспорядки и поезд дальше, кажется, не пойдет. Но он сказал, что там митингуют солдаты, и я подумал, вы же в генеральской форме. Выйдите, посмотрите, что там делается, и от моего и своего имени потребуйте отправки поезда.

Дубенского сковал страх.

— Ну идите же, идите,— услышал он рассерженный голос барона.

С юных лет воспитанное в нем чувство дисциплины оказалось сильнее страха, и он пошел.

На площадке вагона стоял взъерошенный проводник. Здесь был слышен какой-то неясный гул, вскрики человеческих голосов.

— Там митингуют, ваше превосходительство,— тихо пояснил проводник.

— Кто митингует?

— А кто ж их знает... вроде солдаты.

— Где они?

— Да вот от нашего вагона шагов двести, там вагоны с солдатами, они вроде и митингуют.

Дубенский спустился на заснеженный перрон и как загипнотизированный пошел вдоль поезда. Вскоре он приблизился к сбившимся в кучку офицерам. Увидев его, они вытянулись, удивленно на него уставились.

— Генерал-майор свиты его величества Дубенский,— представился он.— Что тут происходит?

Один из офицеров щелкнул каблуками:

— Находившиеся в эшелонировании солдаты сто четырнадцатого пехотного полка по призыву подстрекателей покинули на станции вагоны и провели митинг. Требовали, чтоб им объявили, куда их везут и зачем везут. Командира полка в эшелоне нет, он выехал к месту назначения раньше, а начштаба полка ответить не смог и не имел права. Сейчас солдаты вернулись в вагоны принимать решение. Мы ждем.

— Вы из этого полка?

— Никак нет, ваше превосходительство. Мы, группа офицеров, следуем согласно предписанию в Могилев, куда зачислены в дежурную часть.

— Но почему вдруг командовать стали солдаты?— строго спросил Дубенский.

Офицеры молчали. Потом один сказал:

— Насчет дальнейшего движения поезда вам все может пояснить начальник станции, он только что прошел к себе.

— Идемте к нему.

В кабинете начальника станции было полно возбужденно разговаривавших солдат. Увидев незнакомого пожилого генерала, они расступились, образовали проход к столу, за которым сидел рыхлый мужчина в железнодорожной форме.

— Почему задержан поезд?— спросил Дубенский своим мягким, совсем не начальственным голосом. Он еще продолжал находиться под гипнозом дисциплины, никак сам себя не ощущая и не контролируя.

— А вы, извиняюсь, кто будете?— спросил начальник простуженным голосом.

— Генерал-майор свиты его величества Дубенский,— четко проговорил Дубенский и заметил, что начальник станции заметно сробел.

— Гляди, братцы, от самого царя генерал!— без всякого почтения сказал кто-то за спиной Дубенского, и солдаты примолкли.

— Солдаты хотят знать, куда их везут,— сказал начальник...

— Имеем на то право!— крикнул кто-то позади, и снова солдатня разноголосо забурлила.

— Такого права у вас нет в силу секретности всех военных перевозок,— обернувшись назад, поучительно выговорил Дубенский и спросил:— Где ваш начальник штаба?

— Я здесь,— послышался голос от дверей, и к столу протолкался малорослый офицер с обожженным ветрами лицом, в видавшей виды, явно фронтовой шинели.

— Майор Потапов, ваше превосходительство.

— Почему не командуете своими солдатами?

— Ваше превосходительство, в пути объявились агитаторы, вскружили солдатам головы, будто их везут на убой, и получилось полное неподчинение.

— Где эти агитаторы? Почему вы не подвергли их аресту?

— Ваше превосходительство... за них же все...

— Значит, частью командуют агитаторы?

— Так выходит...— уныло согласился майор.— Сейчас же вообще воля им дана...

В это время послышался топот ног, голоса, и в кабинет вошли человек десять солдат, впереди шел, сильно прихрамывая, молодой солдат, шинель на его широких плечах была распахнута. Это был не кто иной, как Воячек.

Солдаты оттолкнули Дубенского в сторону и приблизились к столу начальника станции. Плечистый сначала обратился к солдатам:

— Товарищи, слушайте наше решение...— Теперь к начальнику станции:— Слушай, служивый, и ты... Мы выяснили, что в составе есть вагоны с провиантом для фронта, их отправляй как положено, это дело святое. Так же и остальные вагоны, но кроме наших. Их отцепляй, и мы останемся здесь. Решение наше такое и другого не будет. Пошли, товарищи...

В кабинете остался только Дубенский, который не мог прийти в себя после того, что произошло здесь на его глазах.

— Ну, видите?— с непонятной ухмылкой спросил начальник станции, вытирая платком вспотевшее лицо.— Попробуй я не подчиниться, ведь убьют же ни за что ни про что. А у меня трое детей мал мала...— Заметив наконец, что стоящий перед ним генерал потрясен, сказал утешительно:— Считайте, ваше превосходительство, что обошлось еще хорошо, а то вот давеча на станции Дно этакое было со стрельбой. Мы их сейчас отцепим, а вы проследуете дальше, так что идите в свой вагон и ждите отправки...

Уже светало. На перроне кучками стояли солдаты. Кто-то с чайником бежал к кипятильнику, двое со смехом перебрасывались снежками. И все они были совсем нестрашными, непохожими на тех, что пришли с бородатым...

Дубенский все рассказал барону Штакельбергу, тот выслушал его с вытаращенными глазами и сказал:

— О ваших смелых действиях я доложу государю.

— Все-таки я не понимаю, что происходит,— не в лад ответил Дубенский. Действительно же, то, чему он только что стал свидетелем, его мозг военного уразуметь не мог.

Не прошло и часа, как их вагон покатился дальше. Штакельберг звонком вызвал проводника:

— Любезный, нам бы чаек согреть...

— Сию минуту, ваше превосходительство.

Барон принес из своего купе саквояж и выложил из него на стол разнообразные дорогие закуски и штоф водки.

— Между прочим, дорогой Дмитрий Николаевич, сегодня уже

Новый год, и мы с вами, хотя и с небольшим опозданием, встретим его как положено...

Так Дубенский встретил 1917 год, в котором ему, и уже скоро, предстояло пережить невообразимое... Больше месяца он пробыл в Ставке, абсолютно ничего не делая. Целыми днями находился в своем кабинете, читал, холодея от ужаса, петроградские газеты и потом сидел неподвижно в бессмысленной задумчивости. И еще писал, писал что-то в своем заветном дневнике, пряча его потом за голенище сапога.

И все же Ставка не обманула его ожидания — здесь еще царил покой и святость присутствия царя. Иногда он издали видел его, когда тот проходил по коридору Ставки или гулял в саду, и этого мимолетного видения монарха хватало ему надолго — его величество здесь и все вокруг спокойно...

Но однажды в Ставке поднимется переполох — все будут куда-то уезжать. Куда, зачем — этого Дубенский не знал и не хотел знать — вместе со всеми ехал и царь, и, зная это, Дубенский был совершенно спокоен. Вместе с царем хоть в ад кромешный — не страшно...

Поезд меж тем будет двигаться неровными рывками, с непонятными остановками в чистом зимнем поле.

Но потом поползут слухи... слухи... слухи... Один страшнее другого. И однажды на какой-то безвестной станции в их свитский вагон войдет дворцовый комендант генерал Воейков и, ни на кого не глядя, скажет негромко:

— Его величество только что отрекся от русского престола...

Дубенский, ничего не соображая, прошел в салон и стал там у окна — жизнь для него оборвалась...

И вдруг в это время мимо свитского вагона прошел царь. Он увидел в окне Дубенского, улыбнулся и отдал ему честь...

Об этом последняя запись в его дневнике.

Спустя месяц Дубенский сидел перед следователем Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства и отвечал на его вопросы. На столе перед следователем лежал его помятый дневник.

Почти три часа бился с ним следователь, тщетно пытаясь получить от него показания по важным вопросам, связанным с деятельностью Ставки, а зачуханный, нервный генерал все норовил рассказать, как после отречения царь лично с ним простился... В конце концов следователь понял, что его подследственный попросту человек недалекий, был он слепым слугой царя и приближенным к нему случайно и ничего особенно важного он знать не мог.

Дубенского оставили в покое... Как дальше сложилась его судьба, точно установить не удалось... Тем не менее он помог нам кое-что узнать о волнующем нас 1916 годе, последнем годе русской монархии...

1974

СОДЕРЖАНИЕ

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
АРДАМАТСКИЙ

«ГРАНТ»
ВЫЗЫВАЕТ
МОСКВУ

ПОСЛЕДНИЙ
ГОД

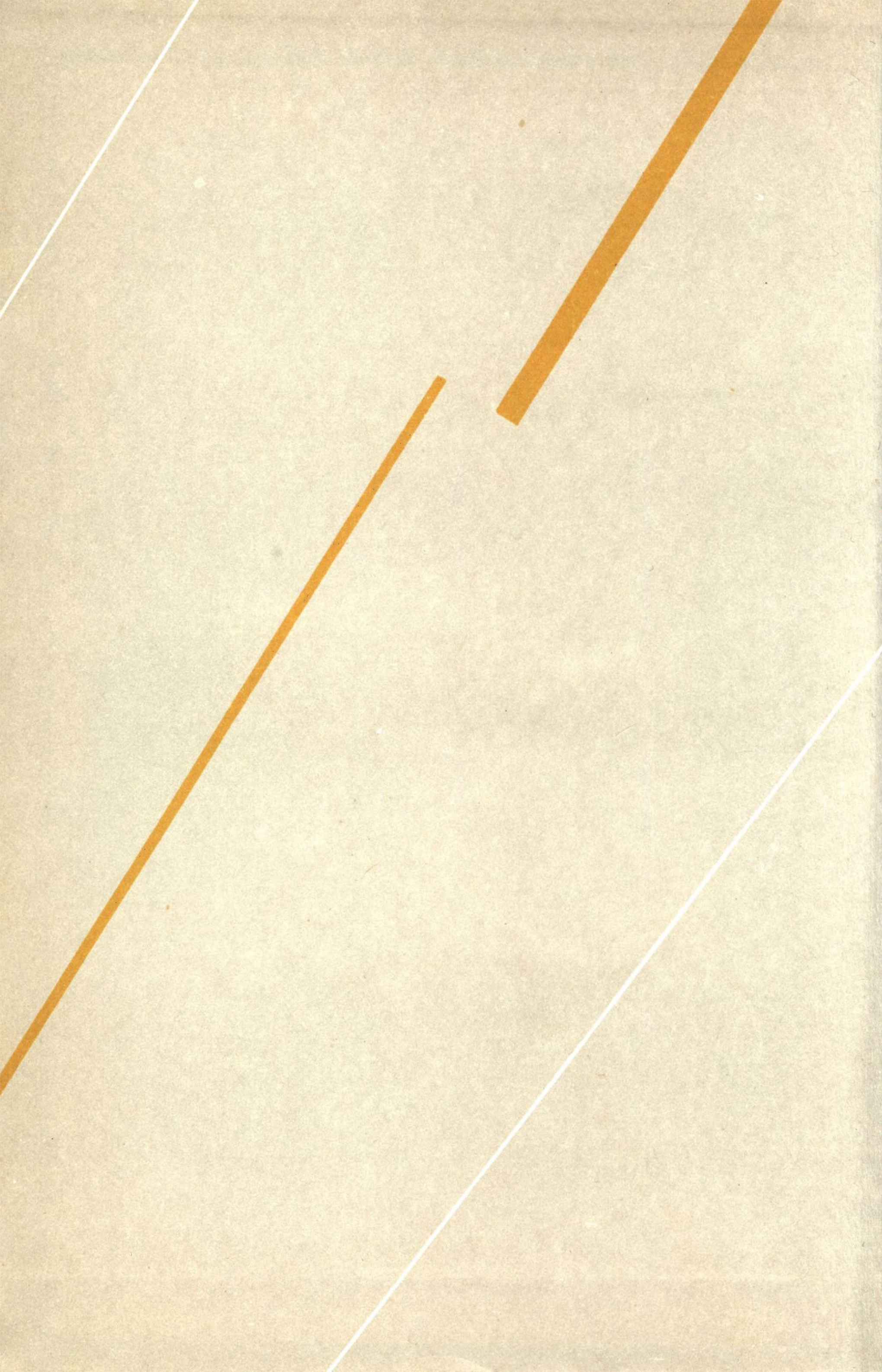
Редактор Т. Халилова. Художественный редактор С. Биричев. Технический редактор Е. Полонская. Корректоры Б. Тумян, Т. Филиппова

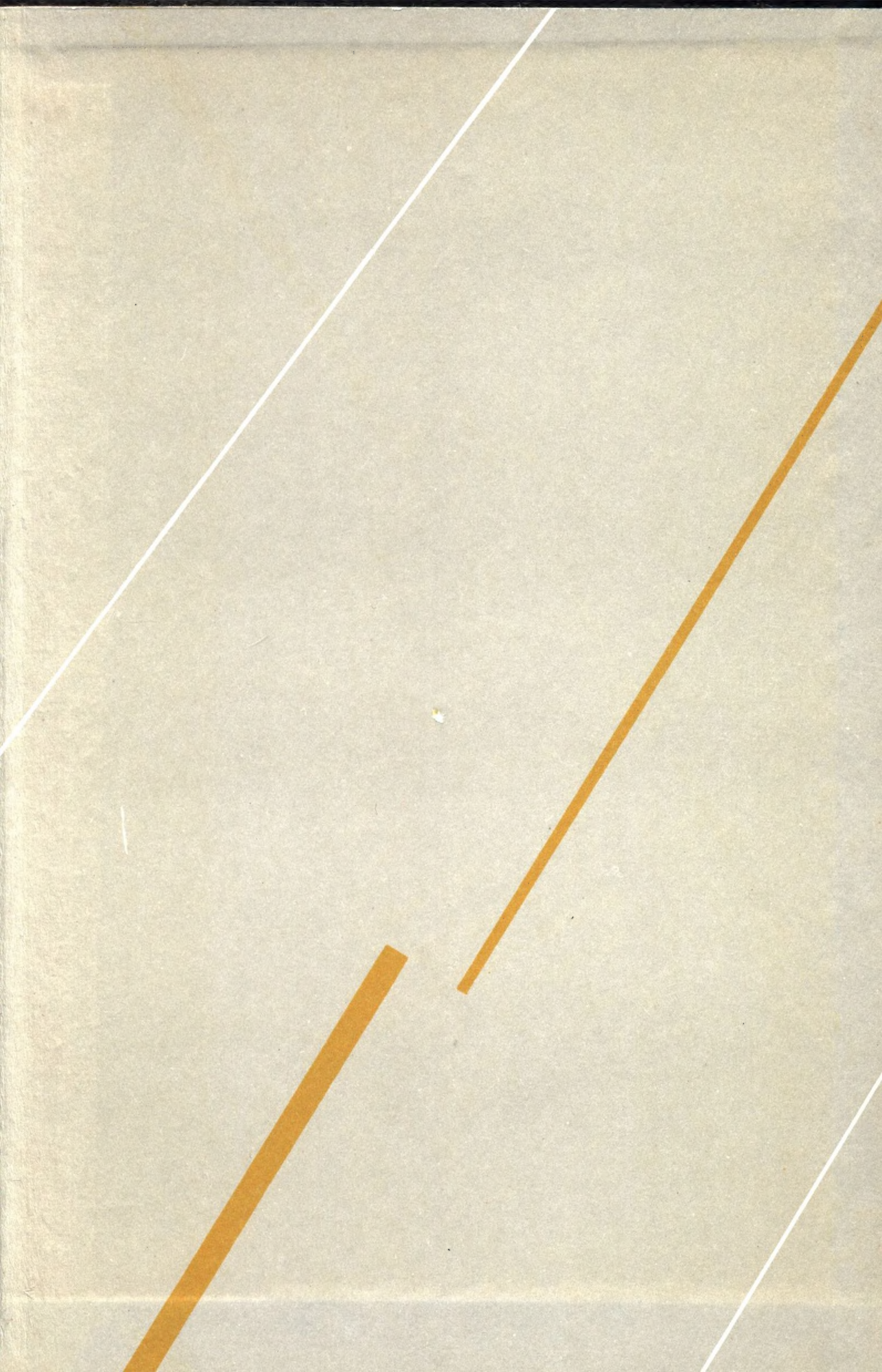
ИБ № 5020

Сдано в набор 03.07.87. Подписано в печать 22.12.87. Формат $60 \times 90^1/_{16}$. Бумага кн.-журн. Гарнитура «Обыкн. новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 44 + 1 вкл. = 44,06. Усл. кр.-отт. 44,62. Уч.-изд. л. 51,52 + 1 вкл. = 51,56. Тираж 200 000 экз. Изд. № III-2844. Заказ № 1074. Цена 3 р. 40 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.





ВАСИЛИЙ
АРДАМАТСКИЙ